ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

Н. А. НЕКРАСОВ

I

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

РЕДАКЦИЯ

П. И. ЛЕБЕДЕВ-ПОЛЯНСКИЙ (ГЛАВ. РЕД.),
И. С. ЗИЛЬБЕРШТЕЙН и С. А. МАКАШИН

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
1 · 9 · МОСКВА · 4 · 9

ХРАНИТЬ НАСЛЕДСТВО — ВОВСЕ НЕ ЗНАЧИТ
ЕЩЕ ОГРАНИЧИВАТЬСЯ НАСЛЕДСТВОМ

ЛЕНИН

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

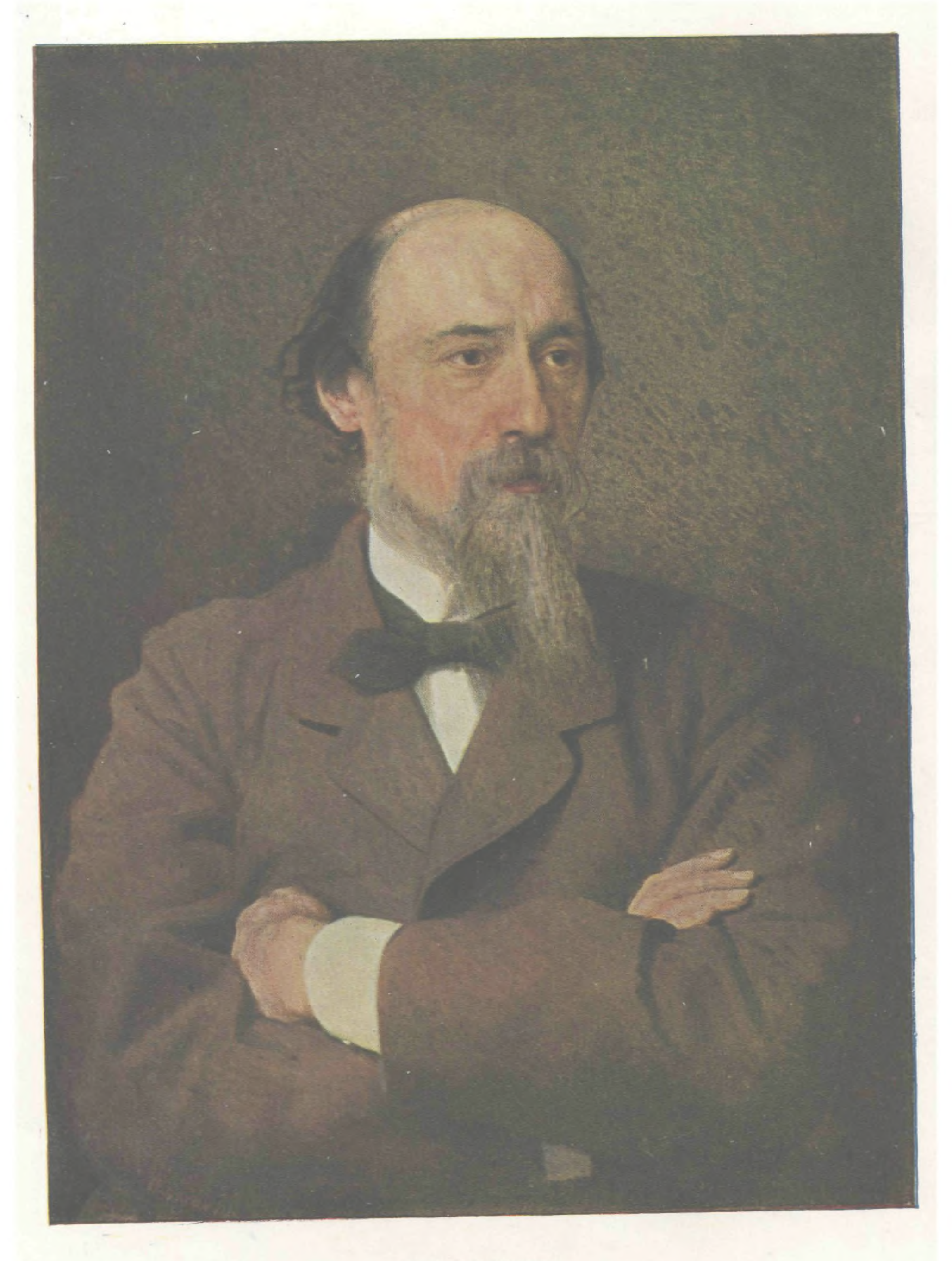
49-50

Н. А. НЕКРАСОВ

I

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
1 · 9 · МОСКВА · 4 · 9

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ ИСПРАВЛЕННОЕ



Н. А. НЕКРАСОВ
Портрет маслом И. Н. Крамского, 1877 г.
Третьяковская галлерея, Москва

ОТ РЕДАКЦИИ

Очередные три тома «Литературного Наследства» посвящены великому русскому поэту и общественному деятелю Николаю Алексеевичу Некрасову. Первый том вышел (первым изданием) к 125-летию со дня рождения писателя (1946 г.).

Изданием некрасовских томов редакция продолжает свою систематически осуществляемую работу по изучению творческого наследия классиков русской революционно-демократической литературы и критики. Некрасовские тома непосредственно примыкают, в этом отношении, к ранее вышедшим томам «Литературного Наследства», посвященным Чернышевскому, Добролюбову и Щедрину — ближайшим великим соратникам и единомышленникам поэта.

Некрасов — явление громадного общественно-исторического и литературного значения. Дореволюционная критика не была в состоянии определить это значение. Буржуазная критика, даже в лице наиболее талантливых своих представителей, не понимала или осуждала важнейшие художественные завоевания Некрасова: превращение поэзии в прямую форму общественной деятельности и политической активности, революционную целеустремленность и пропагандистскую конкретность некрасовского поэтического жанра. Несостоятельность, обнаруженная идеалистической критикой перед проблемой Некрасова-художника, сопровождалась грубыми искажениями идейно-политического облика поэта и всего содержания его творчества. Подлинно революционный народный поэт, Некрасов неизменно изображался то в виде народника, то в виде либерала. Некрасов называл свою поэзию «музой мести и печали». Народническая же и либеральная критика стремилась представить Некрасова только певцом «печали», замалчивая его как трибуна народной «мести», не умея понять, каким революционным содержанием, ненавистью к угнетателям, призывом к борьбе были насыщены произведения поэта.

Советское литературоведение, опираясь на марксистско ленинский метод изучения идеологии, на оценки, данные шестидесятникам и Некрасову в трудах В. И. Ленина, устранило господствовавшую в старой критике либерально-народническую путаницу вокруг Некрасова и заложило основы для правильного научного понимания его творчества. Некрасов был осмыслен исторически, как идеолог того течения русской общественной мысли, которое Ленин называл просветительством и революционной демократией.

Современное изучение Некрасова должно итти по двум путям. С одной стороны, это — разработка отдельных проблем его творчества на основе ленинского понимания Некрасова как великого писателя и общественного деятеля русской революционной демократии, изучение мастерства и стиля поэта, его значения в истории русской литературы. С другой стороны, это — собирание, систематизация и разработка богатого литературного наследия Некрасова и различных архивно-документальных материалов, относящихся к его творчеству и биографии. В последней области советским литературоведением сделано многое. Все же до самого последнего времени значительное количество некрасовских материалов — художественных, литературно-критических, эпистолярных, мемуарных и биографических — продолжало оставаться неизданным, невыявленным (для анонимно печатавшихся произведений) или несобранным и, следовательно, недоступным широким кругам читателей и исследователям.

В настоящем томе представлены обе указанные линии изучения Некрасова.

Работам теоретического, исследовательского характера посвящен первый, статейный раздел тома. Однако документальные материалы, печатаемые в других разделах

книги, часто оказывались столь содержательными, что публикация их также неизбежно перерастала в научно-исследовательскую разработку той или иной историко-литературной или биографической темы. Общей задачей всех этих работ являлось стремление осветить отдельные важнейшие вопросы изучения Некрасова, выделить те узловые моменты творческой и общественно-биографической проблематики поэта, которые до сих пор не подвергались углубленной научной разработке.

Том открывается вступительной статьей А. Еголина «Идеалы Некрасова». В ней дается общая литературная и общественно-политическая оценка великого поэта, выступавшего во всеоружии передовых демократических идеалов своей эпохи. Выяснение идеалов Некрасова, определение роли и места его творческого наследия в социалистической культуре нашей страны сегодня приобретают особенно важное значение в связи с известными постановлениями ЦК ВКП(б) по вопросам литературы и искусства, в связи с борьбой партии за перестройку идеологической работы, за высокую идейность советской литературы. Историческому осмыслению Некрасова как представителя лучших традиций русских революционеров-демократов XIX века посвящена статья Б. Козьмина «Великий поэт революции». Она суммирует и обобщает те данные, которые были накоплены в области изучения Некрасова как поэта и общественного деятеля, неразрывно связавшего свое имя с историческим делом подготовки русской революции и пропагандой ее идей.

Историко-литературная проблематика Некрасова разрабатывается в двух статьях. Статья Вас. Гиппиуса «Некрасов в истории русской поэзии XIX века» изучает вопрос о месте поэта в историко-литературном процессе. Исследование своеобразных и сложных соотношений творчества Некрасова с основными литературными явлениями прошлого позволяет видеть в его поэзии узел, в который стянуты все основные нити передовых течений русской поэзии, начиная с Пушкина. Статья А. Лаврецкого — «Литературно-эстетические взгляды Некрасова», в сущности, впервые серьезно ставит вопрос об эстетике Некрасова и ее претворении в практике литературно-критической деятельности поэта. Известно, что деятельность эта, высоко оцененная в 40-х годах Белинским, не подвергалась до сих пор углубленному изучению исследователей творчества Некрасова. Материалы настоящей статьи со всей наглядностью показывают несостоятельность такого невнимания к проблеме Некрасова-критика. Они устанавливают, что литературно-критическая работа Некрасова 40—50-х годов сыграла немалую роль в литературно-общественной борьбе эпохи и что знание ее необходимо также для понимания творческой практики самого Некрасова. Изучению журнально-издательской деятельности Некрасова посвящена статья В. Евгеньева-Максимова «Некрасов-журналист». В обобщающем изложении она подводит итоги многолетним изысканиям автора в этой области изучения поэта.

Второй раздел тома занят новыми приобретениями некрасовских текстов. Раздел открывается «Автобиографиями Некрасова». Автобиографические заметки поэта и его предсмертные дневниковые записи, известные до сих пор лишь в отрывочных и недостоверных по тексту публикациях, впервые появляются здесь в полном и научно реконструированном, по мере возможности, виде. К собственно автобиографическим материалам Некрасова тесно примыкают составляющие вторую часть той же публикации дневники и воспоминания его сестры А. А. Буткевич за 1876—1877 гг. Эти материалы, с одной стороны, существенно пополняют сведения о юношеских годах поэта, с другой — сообщают ряд важных фактов о последних месяцах жизни Некрасова и его предсмертной борьбе с царской цензурой. Третью часть публикации образуют рассказы Некрасова о его прошлой жизни, записанные с его слов или по памяти А. Н. Пыпиным, В. А. Панаевым, А. С. Сувориным и С. Н. Кривенко. Таким образом, публикация в целом представляет собой исчерпывающий свод всех приведенных в известность автобиографических материалов Некрасова, впервые собранных воедино, критически проверенных и комментированных В. Евгеньевым-Максимовым и С. Рейсером.

Литературное наследство Некрасова досталось советской стране несобранным, неизученным и во многом искаженным царской цензурой. За истекшее тридцатилетие усилиями советских исследователей некрасовский стихотворный фонд обогатился

рядом новых, значительных открытий и в основном и существенном будет исчерпан в соответствующих томах выходящего 12-томного полного собрания сочинений поэта. В этих условиях редакция не сочла целесообразным включать в настоящее издание публикацию многочисленных неизданных вариантов, имеющихся в рукописях Некрасова, и ограничилась напечатанием лишь нескольких из них, имеющих особое значение: к поэмам «Белинский» и «Мороз, Красный нос», к стихотворениям «Размышления у парадного подъезда», «Крестьянские дети» и «Балет». Из новых художественных произведений Некрасова удалось дать стихотворение «Карета» и отрывок «Если ты красоте поклоняешься». Наконец, в той же подборке помещен ряд произведений хотя и бывших в печати, но не вошедших ни в одно из существующих собраний сочинений Некрасова и потому неведомых читателям. Таковы стихотворения «В альбом М. Фермор», «Среди моих трудов досадных...», «Зачем насмешливо ревнуешь», два отрывка из поэмы «Недавнее время» и запись-размышление Некрасова (в прозе) о роли мысли в поэзии — чрезвычайно важное теоретическое высказывание поэта.

Из обширного наследия Некрасова — литературного критика, до последнего времени были известны лишь случайные отрывки: кроме статьи о Тютчеве (1850 г.), критического обзора «Заметки о журналах за июль месяц 1855 г.» из «Современника» и фельетонов из «Свистка» (авторство которых в полном объеме устанавливается также лишь в настоящем издании), было известно всего полтора-два десятка юношеских фельетонов и рецензий сороковых годов. Пятидесятые же годы, наиболее существенные для окончательного становления Некрасова, были представлены случайными и малозначительными статьями. В этих условиях особое значение приобретает публикация (А. Максимовичем) семи анонимных статей из литературно-критического цикла Некрасова 1855—1856 гг.: «Заметки о журналах». Исследователи получают значительное количество журнальных статей, относящихся к периоду полной идейной и творческой зрелости Некрасова, к моменту его сближения с представителями революционной демократии. Статьи эти, содержащие отзывы о таких писателях, как Пушкин, Гоголь, Тургенев, Писемский, Лев Толстой, высказывания о задачах литературы, о борьбе с безидейностью в искусстве и пр., будут являться отныне основным материалом для изучения взглядов и позиции Некрасова второй половины 50-х годов.

Несмотря на большое значение «Свистка» для истории сатирической журналистики и литературно-общественной борьбы шестидесятых годов, несмотря на то, что именно в нем работа Некрасова теснейшим образом переплетается с работой Добролюбова, вопросы атрибуции анонимных некрасовских текстов в «Свистке» не были подвергнуты в прежней исследовательской литературе внимательному рассмотрению. Эту задачу во всем ее объеме впервые осуществляет публикация «Некрасов — участник „Свистка“» (А. Максимовича). В ней устанавливается более или менее исчерпывающий список напечатанных в «Свистке» произведений Некрасова — прозаических и стихотворных, которые здесь же и публикуются (за исключением ранее известных).

Таковы основные приобретения первого тома в области текстов Некрасова, существенно увеличивающие их ранее известный фонд.

Следующий раздел тома посвящен исследовательским разысканиям по общим и частным вопросам биографии и творчества Некрасова. Все работы, образующие раздел, построены на свежих документальных материалах, в большей своей части неизданных, извлеченных из различных архивных собраний, и частично на материалах хотя и бывших в печати, но впервые вовлекаемых в орбиту научного исследования.

Обращение к этим материалам позволило осветить ряд важных эпизодов жизни Некрасова (работа С. Рейсера, документирующая по первоисточникам историю попыток Некрасова поступить в С.-Петербургский университет), иначе представить фигуры современников, чья жизнь и деятельность так или иначе соприкоснулись с биографией поэта (статья К. Чуковского о Григории Толстом, знакомящая нас с этим, в сущности, никому до сих пор неведомым, кратковременным спутником на журнальном пути Некрасова), по-новому осмыслить отдельные некрасовские произведения (работа И. Власова, обосновывающая новое понимание стихотворений «Смолкли честные...» и «Страшный год», как прямой отклик на события Парижской

Коммуны и франко-прусской войны) и др. Несколько особое место в ряду работ данного раздела занимает исследование «Некрасов и литературная политика самодержавия» (Б. Панковского и С. Макашина), посвященное изучению вопроса о принципах, методах и тактике журнальной борьбы Некрасова. Создатель и руководитель «Современника» и «Отечественных Записок»— двух лучших передовых журналов эпохи — характеризуется здесь не только как великий поэт, но и как выдающийся общественный деятель русской революционной демократии, крупнейший организатор и руководитель ее литературных сил, твердо и мужественно противостоящий на своем «журнальном пути» постоянному натиску и всем ухищрениям цензурно-полицейских властей царизма.

Последние два раздела тома не требуют особых пояснений. В первом из них, мемуарном, печатаются неизданные и забытые воспоминания о Некрасове. Отметим забытую главу из известных воспоминаний Авдотьи Панаевой, впервые публикуемые мемуары писательницы А. Г. Степановой-Бородиной, рассказывающие о чувствах восторженного преклонения, которые проявляла революционно настроенная молодежь 70-х гг. перед Некрасовым. Здесь же печатаются воспоминания Е. И. Зариной-Новиковой и Вас. Ив. Немировича-Данченко, а также записи двух бесед с Н. Г. Чернышевским о Некрасове в 1889 г., Н. А. Панова и М. П. Краснова.

В заключающем первый том разделе сообщений помещен ряд небольших работ информационного и публикаторского содержания. Все они привносят новые, порой весьма существенные, данные в различные области изучения Некрасова и обогащают наши знания о жизни, деятельности и литературной судьбе поэта.

Особо следует выделить сообщение «Достоевский о Некрасове и Щедрине». Печатаемые здесь два письма Достоевского к драматургу Д. В. Аверкиеву представляют, несмотря на частность повода, по которому они возникли, выдающийся общий интерес. Они дают новое выразительное свидетельство той глубокой принципиальности и идейной непримиримости, которыми характеризовалась вся практика литературно-редакторской работы Некрасова и Щедрина.

Второй том целиком посвящен эпистолярным материалам и состоит из двух разделов: Письма Некрасова и Письма к Некрасову.

Публикуемая С. Рейсером и др. подборка писем Некрасова не исчерпывает всех неизданных писем поэта, имеющихся в распоряжении редакции «Лит. Наследства». Печатается лишь часть наиболее значительных в том или ином отношении писем.

Публикуемые письма представляют все периоды жизни Некрасова, начиная от одного из самых ранних писем к А. А. Буткевич — 1842 г. и кончая запиской к тому же адресату, от октября 1877 г., написанной умиравшим поэтом.

В отличие от выборочной публикации писем самого Некрасова (объясняемой тем, что все его эпистолярное наследие в скором времени будет целиком издано в осуществляемом Гослитиздатом двенадцатитомном Полном собрании сочинений поэта), в основу публикации неизданных писем к Некрасову положен принцип максимальной полноты. Общее число писем, входящих в публикацию В. Евгеньева-Максимова, С. Макашина и др.,—468. Сюда входит 415 писем к Некрасову от 146 корреспондентов; 30 писем, адресованных не лично Некрасову, а в редакцию «Современника» и «Отечественных Записок», а также на имя соредакторов Некрасова по этим изданиям — Чернышевского, Салтыкова-Щедрина и Елисеева (письма эти сохранились в архиве Некрасова и были, несомненно, известны ему); 23 письма самого Некрасова, непосредственно связанных с некоторыми из публикуемых писем к нему и образующих вместе с ними двустороннюю переписку, наконец, ряд других эпистолярных материалов (напр., письма: П. В. Анненкова к А. А. Буткевич, И. А. Гончарова к А. А. Краевскому, А. М. Скабичевского к Н. К. Михайловскому и др.), публикуемых как в основном тексте, так и в комментариях.

Хронологические рамки публикации охватывают все протяжение литературной деятельности Некрасова. Самое раннее письмо датировано 19 марта 1840 г., самое позднее— 3 августа 1877 г. Однако основную, самую обширную и в историко-литературном отношении наиболее ценную группу представляют письма, относящиеся к периоду «Отечественных Записок» и, отчасти, «Современника».

Кроме писем писателей и других литературных сотрудников, публикация включает письма различных других корреспондентов Некрасова, в том числе официальных и неофициальных цензоров некрасовских журналов. Особый интерес в этой «цензорской группе» представляют письма Ф. М. Толстого. Изученные К. И. Чуковским в работе, имеющей монографический характер, они выделены из алфавита общей публикации и помещены непосредственно вслед за ней.

В приложениях печатаются: аннотированное описание не включенных в публикацию писем к Некрасову из бумаг Комитета Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым (Лит фонд) и хронологический указатель всех сохранившихся писем к Некрасову как ранее известных, так и впервые появляющихся в настоящем издании. Указатель снабжен библиографическим аппаратом и алфавитным ключом.

Таким образом, публикация впервые как бы исчерпывает весь приведенный до сих пор в известность фонд писем к Некрасову и является серьезным вкладом в документацию изучения не только Некрасова периода «Отечественных Записок», но и всего десятилетия с конца 60-х по конец 70-х годов.

Третий том, как и второй, занят документальными публикациями, а также разного рода справочно-библиографическими указателями.

В первом разделе третьего тома «Из литературного наследия Некрасова» печатается ряд не известных ранее некрасовских прозаических текстов, извлеченных из первопечатных публикаций эпохи — анонимных и псевдонимных. В статье Г. Берлинера «Некрасов в борьбе с Полевым и Булгариным» впервые устанавливается принадлежность Некрасову трех анонимных рецензий из «Литературной газеты» и «Отечественных Записок» 40-х гг. Особый интерес представляет памфлетная рецензия на «Очерки русских нравов» Булгарина, высоко оцененная при своем появлении Белинским, но до сих пор остававшаяся неизвестной. В статьях «Некрасов — театральный критик» и «Некрасов-фельетонист» подводятся итоги разысканиям в области выявления анонимных некрасовских произведений в названных жанрах. Наиболее интересные из вновь выявленных текстов тут же публикуются.

Отдел, озаглавленный Вокруг Некрасова, содержит подборку разнообразных материалов, относящихся к различным частным вопросам изучения жизни и деятельности поэта. Укажем здесь важные в биографическом отношении письмо Некрасова к Добролюбову об Авдотье Панаевой и письма последней к Некрасову и к Ипполиту Панаеву; не менее интересные уже в историко-литературном отношении публикации ряда забытых и неизвестных отзывов о творчестве поэта как в современной ему печати (в том числе публикацию запрещенной цензурой статьи Г. Е. Благосветлова (?) «Н. П. Огарев и Н. А. Некрасов», предназначавшейся для «Сына Отечества»), так и в переписке современников (письма А. Н. Пыпина к Н. Г. Чернышевскому, Я. П. Полонского к А. И. Стронину, композитора Н. В. Щербачева к поэту А. А. Голенищеву-Кутузову и др.); письма сестры поэта А. А. Буткевич к библиографу С. И. Пономареву, содержащие основной материал для истории посмертного издания сочинений Некрасова; два сообщения, обогащающих художественную иллюстратику и иконографию поэта (неизвестные рисунки художника А. М. Волкова к стихотворению «Суд» и материалы к истории создания И. П. Пожалостиным портрета Некрасова), и др.

В разделе Агентурно-полицейские и цензурные материалы печатаются публикации «Из разысканий о Некрасове в архивных фондах III Отделения и Департамента полиции», «П. А. Вяземский — цензор Некрасова», «Из цензурной истории „Кому на Руси жить хорошо“» и, наконец, «Некрасов, запрещенный для народа».

В разделе Из журнально-редакторской деятельности Некрасова помещены материалы, относящиеся к истории и практике издания «Современника» и «Отечественных Записок». Это, прежде всего, гонорарные ведомости «Современника» за 1856—1859, 1863—1864 гг. и «Отечественных Записок» за 1871 г. С опубликованием их значительно проясняется вопрос об авторстве анонимных и псевдонимных статей в обоих журналах. История «Современника» конца 50-х гг. дополнительно освещается публикацией письма-обращения И. Панаева и Н. Некрасова

к участникам так называемого «обязательного соглашения», т. е. к Тургеневу, Толстому, Островскому и Григоровичу, извещающего о расторжении договора 1856 г. и предлагающего новые условия сотрудничества. Здесь же печатаются материалы о хозяйственно-издательской практике «Современника» (правила организации подписки на журнал, инструкция И. А. Панаева К. И. Вульфу). К истории «Отечественных Записок» относятся публикации договоров Некрасова с Краевским и вариантов к ним.

Особый раздел посвящен описанию книг из личной библиотеки Некрасова, находившейся в Карабихе и ныне уже не существующей (публикация Н. Ашукина).

Завершающий раздел третьего тома — Справочно-библиографические материалы. Здесь помещены два хронологических указателя анонимных и псевдонимных текстов, напечатанных в «Современнике» за 1847—1866 гг. (публ. Ю. Масанова) и в «Отечественных Записках» за 1868—1877 гг. (публ. С. Борщевского) с раскрытием авторства, и три библиографических указателя Л. Добровольского, В. Лаврова и С. Рейсера — «Некрасов в письмах и воспоминаниях современников», «Некрасов в стихах русских поэтов,» и «Библиография библиографии Некрасова».

В иллюстративном оформлении некрасовских томов редакция несколько расширила обычные для «Литературного Наследства» рамки привлекаемого изобразительного материала. Наряду с документальной иллюстратикой и иконографией, в издании репродуцируется ряд произведений русской живописи 60—80-х годов прошлого века, непосредственно не связанных с поэзией Некрасова, но близких ей идейно и тематически. Включение в иллюстративный фонд некрасоведческого издания картин и рисунков таких выдающихся передовых художников, как Перов, Морозов, Неврев, Прянишников, Репин, Саврасов, Ярошенко, Савицкий, Мясоедов, Суриков и др., позволило во многих случаях дать более убедительные зрительные образы «некрасовской России»— жанровой и пейзажной — по сравнению с тем, что дают прямые иллюстрации к Некрасову, нередко слабые по исполнению и идейно чуждые некрасовской поэзии.

В подготовке некрасовских томов редакции оказали помощь своими указаниями и предоставлением различных материалов В. Е. Евгеньев-Максимов, С. А. Рейсер и К. И. Чуковский.

Ближайшее участие в начальной стадии научно-организационной работы над изданием принимал А. Я. Максимович, а в позднейшей стадии архивно-текстологической и редакционной работы — Л. Р. Ланский и Наталья Эфрос.

Подбор иллюстративных материалов выполнен Натальей Эфрос при участии М. И. Гонтаевой и Е. П. Населенко. Фотографии «некрасовских мест» в быв. Ярославской и других губерниях, а также подписи к этим иллюстрациям, иногда впервые устанавливающие связь воспроизводимого сюжета с тем или иным произведением Некрасова или эпизодом из его биографии, принадлежат А. В. Попову.

Работа над изданием, начатая еще в 1941 г., была прервана событиями Великой Отечественной войны. Вместе со всей литературной наукой редакция «Литературного Наследства» понесла за годы войны тяжелые утраты. В дни ленинградской блокады погибли известные советские литературоведы, участники некрасовских томов: Е. В. Базилевская, Г. В. Берлинер, В. В. Гиппиус, А. Я. Максимович. На фронтах Отечественной войны, в боях с фашистскими захватчиками, пали В. М. Лавров и С. П. Шестериков.

Второе издание первого некрасовского тома несколько отличается от первоначального, вышедшего в 1946 году. В текст книги редакцией внесено около трехсот дополнений и уточнений фактического характера. Все изменения текста сделаны с сохранением пагинации первого издания.

СТАТЬИ

ИДЕАЛЫ НЕКРАСОВА

Статья А. Еголина

«Я лиру посвятил народу своему»,— имел полное основание сказать Некрасов, подводя итоги своему творческому пути. Самые лучшие произведения поэта — о народе. Свою музу он назвал «сестрой народа». Его творчество выражало передовые, прогрессивные идеи его времени. Поэзия Некрасова будила умы и сердца от векового рабского застоя.

Поэт лелеял надежду увидеть свою родину «свободной, гордой и счастливой». Но всю жизнь Некрасов видел вокруг себя страдающих крестьян и городских бедняков, забитых нуждой и бесправием.

Зрелище бедствий народных
Невыносимо, мой друг;
Счастье умов благородных
Видеть довольство вокруг,—

писал он в поэме «Дедушка».

Народ, родина, революция — это коренные темы некрасовского творчества. Думы о России являются центральным мотивом всех произведений Некрасова. Поэт гордился великим чувством свободы, глубоко коренившимся в сердцах передовых людей эпохи.

Идеал Некрасова — свободная родина. Поэт боролся за родину для народа, за право народа быть истинным хозяином своей страны.

Во имя этой любви к родине люди отдавали свою жизнь в справедливых войнах с иноземными врагами. В борьбе против царской власти лучшие люди России тысячами погибали в Сибири, «в пустынях снеговых». Реакционные силы царской России угнетали подлинных патриотов. Подвергались гонениям Пушкин, Лермонтов, Герцен, Салтыков-Щедрин, Чернышевский и многие другие. Некрасов говорил, что «со стороны блюстителей порядка» он «был вечно под судом».

В поэме «Несчастные», написанной с изумительной силой, Некрасов по его признанию, «хотел вылить всю свою душу». Поэт с особой задушевностью говорит о родине, русском революционном размахе, о Руси. Чутьем гениального художника Некрасов угадал великую освободительную роль России и высокое назначение ее народа. Он отделял как внешнее, наносное, официальную императорскую Россию от родины и народа-богатыря.

Некрасов уважал в русском народе активное начало, «привычку к труду благородную», стремление и способность добиться свободы революционным путем:

Да не робей за отчизну любезную...
Вынес достаточно русский народ.
. . . .
Вынесет все — и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе.

Задача поэта, по мысли Некрасова, состоит в том, чтобы напоминать человеку высокое его призвание. Поэт верил, что

Сбирается с силами русский народ
И учится быть гражданином.

Поэт болел за судьбы России и всей своей поэзией призывал к работе по преобразованию ее в «могучую» и «всесильную» страну.

Поэзия Некрасова была источником воспитания и воодушевления для ряда поколений революционных борцов. Некрасов являлся «властителем дум» молодежи 60—70-х годов. В эпоху 80—90-х годов его поэзия стала призывным маяком, освещавшим путь борьбы за народное дело.

Творчество Некрасова резко противостояло народнической теории о «герое» и пассивной толпе. Его стихи обращались непосредственно к народу, поэт от самого народа ждал активных и решительных действий за свое освобождение.

Некрасов воплотил в своем творчестве образ непобедимого русского народа. Поэт знал ту силу, которая сохранила живой ум русского крестьянина и вывела его из-под унизительного гнета крепостного состояния.

Поэт-трибун прославлял тех, у кого «ноги босы и едва прикрыта грудь». Некрасов предсказывал им «славный путь».

Величие Некрасова в том, что он сквозь мрачную действительность крепостнической России провидел светлое будущее своего народа и воспел его в волнующих стихах.

Даже во времена крепостного права Некрасов не сомневался в торжестве народного дела:

Над всею Русью тишина,
Но не предшественница сна:
Ей солнце правды в очи блещет,
И думу думает она.

Мы ценим Некрасова не только за реалистическое изображение прошлого. Поэт нам бесконечно близок своей устремленностью вперед. Рисуя безотрадную картину родины, Некрасов с удивительной проницательностью бросал пытливый взгляд в заманчивое будущее. Своеобразие подхода к изображению жизни отражено в словах Некрасова:

Привычная дума поэта
Вперед забежать ей спешит...

Типична в этом отношении некрасовская поэма «Дедушка». Рассказывая о чудесных картинах жизни в Тарбагатае, где люди вольготно живут, так как «волю да землю им дали», поэт при помощи прямого сопоставления говорит об ужасах окружающего:

Ну... а покуда подумай,
То ли ты видишь кругом:
Вот он, наш пахарь угрюмой,
С темным, убитым лицом:
Лапти, лохмотья, шапчонка...

Некрасов предчувствует наступление «иных времен». В те далекие времена, когда «над великою русской рекой» стоял «стон бесконечный», поэт смело рисовал картины грядущего светлого дня.

Как близка к современной действительности некрасовская картина будущего Волги:

Я слушал жадно иногда
И тот напев унылый,
Но гул довольного труда
Мне слаще слышать было.
Увы! Я дожил до седин,
Но изменился мало.
Иных времен, иных картин
Провижу я начало...
В случайной жизни берегов
Моей реки любимой:
Освобожденный от оков,
Народ неутомимый

Созреет, густо заселит
Прибрежные пустыни;
Наука воды углубит:
По гладкой их равнине
Суда-гиганты побегут,
Несчетною толпою,
И будет вечен добрый труд
Над вечною рекою...
Мечты!.. Я верую в народ.

Вера в счастливое будущее своей родины никогда не покидала революционного поэта. Он знал, что народ не вечно будет подавлен самодержавием и угнетен помещиками и капиталистами.

Поэт ждал наступления новой эры в жизни родной страны, он призывал грядущее:

О время, время новое!
Ты тоже в песне скажешься,
Но как?.. Душа народная!
Воссмейся ж, наконец!..

Некрасов жил в то «горькое время», когда у него, как у народного поэта, должны были преобладать «горькие песни», отражающие народные бедствия. Некрасов это прекрасно сознавал, но он жадно тянулся ко «времени новому», во имя которого он жил и боролся.

Наблюдая кошмарные явления современной ему действительности, Некрасов неустанно мечтал о том времени, когда будет возможно подлинное просвещение:

Эх! Эх! придет ли времечко,
Когда (приди желанное!..)
Дадут понять крестьянину,
Что розь портрет портретику,
Что книга книге розь?
Когда мужик не Блюхера
И не милорда глупого —
Белинского и Гоголя
С базара понесет?

В предсмертные дни Некрасов писал:

О, Русь! Ты несчастна — я знаю,
Но всё ж, озирая мой пройденный путь,
Я к лучшему шаг замечаю.

Мечту о прекрасном будущем России диктовала Некрасову его вера в высокие моральные качества и силы русского народа.

Некрасов восхищался теми скрытыми силами, которые заложены и в крестьянине-богатыре, и в «величавой славянке», и в богатейшей русской природе.

Поэт верил в народ:

В рабстве спасенное,
Сердце свободное —
Золото, золото
Сердце народное!

Некрасов глубоко сожалел, что творческие силы русского народа подавлены, забиты, что крепостнический строй и капиталистическая эксплоатация губят страну, но он не сомневался, что крестьянские «топоры лежат — до поры», что придет время и восстанет народ. Революционное мировоззрение вдохновило Некрасова на создание гениальной песни «Русь», которая останется в веках как изумительное произведение о неисчерпаемых силах великого русского народа.

Рать подымается —
Неисчислимая!

Сила в ней скажется
Несокрушимая!
Ты и убогая,
Ты и обильная,
Ты и забитая,
Ты и всесильная,
Матушка-Русь!

Недаром наши великие вожди Ленин и Сталин обращались к этим строкам Некрасова. Характеризуя положение нашей страны в различные периоды ее исторического развития, Ленин в марте 1918 г. писал, что надо «...добиться во что бы то ни стало того, чтобы Русь перестала быть убогой и бессильной, чтобы она стала в полном смысле слова могучей и обильной. Она может стать таковой... У нас есть материал и в природных богатствах, и в запасе человеческих сил, и в прекрасном размахе, который дала народному творчеству великая революция,— чтобы создать действительно могучую и обильную Русь» [1].

Товарищ Сталин в своей речи о задачах хозяйственников вспоминал некрасовские слова из стихотворения «Русь», когда говорил о старой России, о ее отсталости [2].

Ни один писатель до Некрасова не ставил так настойчиво вопрос о народном счастье, о путях его осуществления. Как поэт, живущий интересами народа, Некрасов поднял извечный вопрос: «Где же ты, тайна довольства народного?». Некрасов превратил крестьянина в героя, судью, допрашивающего: «Кому живется весело, вольготно на Руси?» Впервые в русской литературе крестьянин был возведен на такую высоту, впервые с такой реалистической силой все стороны жизни были оценены с точки зрения крестьянства.

Некрасов не мог, по историческим условиям, дать в своем творчестве ни образа пролетарского революционера, ни образа рабочего, сознающего свои классовые интересы. Только в союзе с рабочим классом, под его руководством, крестьянство оказалось той побеждающей силой, какой мечтал его увидеть Некрасов.

Некрасов мечтал создать радостную, победную песню, которая раздавалась бы над просторами родных рек: «Уступит свету мрак упрямый, услышишь песенку свою над Волгой, над Окой, над Камой».

Сколько горечи и досады слышится в словах поэта, по поводу того, что ему приходится пока «песни петь унылые». Для Некрасова характерно горячее стремление петь песни радости, жажда счастья и веселья. В этом — одна из обаятельных черт его творчества. Крупнейшее свое произведение — поэму «Кому на Руси жить хорошо» — Некрасов заключил главой «Доброе время — добрые песни». Устами счастливого Гриши автор говорит о веселой песне как «воплощении счастья народного»:

Удалась мне песенка! — молвил Гриша, прыгая:—
Горячо сказалася правда в ней великая!
Завтра же спою ее вахлачкам — не всё же им
Песни петь унылые...

Установившаяся традиция видеть в Некрасове поэта уныния — явно ошибочна. Некрасов называл себя поэтом «мести и печали».

В своих произведениях он дал яркие картины народного гнева и беспощадной расправы с поработителями.

Выражая в своих стихах печаль и скорбь народа, Некрасов звал к мести угнетателям:

Взрослые люди — не дети,
Трус, кто сторицей не мстит,
Помни, что нету на свете
Неотразимых обид.

Н. А. НЕКРАСОВ

Фотография 1856 г.

С надписью поэта: „Карлу Ивановичу Вульфу на память. Н. Некрасов. СПб. 1856. Авг. 9"

Институт литературы АН СССР, Ленинград

У Некрасова никогда не было изображения печали без гнева. Он был поэтом великой борьбы, идеологом революционного крестьянства. Несчастья и муки людей взывали к яростному возмездию:

Но кипит в тебе живая кровь,
Торжествует мстительное чувство.

Бескорыстная, святая любовь к родине неизбежно, по мнению Некрасова, связана с ненавистью к тем, кто мешает освобождению народа:

Так глубоко̀ ненавижу,
Так бескорыстно люблю!

Всю жизнь Некрасовым владела одна великая идея — идея народного освобождения. Его стихи, «свидетели живые за мир пролитых слез», были преисполнены «музыки злобы». Поэт отвергал «миролюбивую лиру», музу, «ласково поющую и прекрасную», ее «песню сладкогласную», «гармонию волшебную»:

Но рано надо мной отяготели узы
Другой, неласковой и нелюбимой Музы,
Печальной спутницы печальных бедняков,
Рожденных для труда, страданья и оков...
. . . .
В убогой хижине, пред дымною лучиной,
Согбенная трудом, убитая кручиной,
Она певала мне — и полон был тоской
И вечной жалобой напев ее простой.

Некрасов гордо и вызывающе заявлял: «Лелеяли мой слух суровые напевы». Поэт прославляет Гоголя-сатирика, который «в диких криках озлобленья» искал и находил общественно-психологическую опору для своего обличительного творчества.

В глазах Некрасова именно поэт-обличитель является «благородным гением»:

Питая ненавистью грудь,
Уста вооружив сатирой,
Проходит он тернистый путь,
С своей карающею лирой.

Его преследуют хулы:
Он ловит звуки одобренья
Не в сладком ропоте хвалы,
А в диких криках озлобленья.

И веря и не веря вновь
Мечте высокого призванья,
Он проповедует любовь
Враждебным словом отрицанья...

В то время, когда некоторые литературоведы изображали Некрасова поэтом безысходной тоски, дореволюционная «Правда» подчеркивала в творчестве Некрасова жизнеутверждающее начало.

«Правда» в связи с тридцатилетием со дня смерти Некрасова писала о нем, как «о нашем любимом поэте-гражданине». По прямому указанию Ленина — цитировать и растолковывать творчество писателей старой народнической демократии — «Правда» за короткий период (ноябрь 1912 г.— октябрь 1913 г.) поместила о Некрасове четыре статьи, инструктивное письмо и обращение к культурно-просветительным организациям.

В эпоху борьбы с самодержавием и капитализмом наша партия видела в Некрасове своего союзника. Центральный орган партии знал, как много говорила сердцам передовых людей рабочего класса поэзия Некрасова. «Правда» (от 29 декабря 1912 г.) писала: «Если кто трудится и борется

в надежде на лучшее будущее, какой бы черный и неблагодарный труд ни утомлял его к концу рабочего дня, нужен его душе и отдых, и светлый праздник мысли, и поддержка дружеского сочувствия... Пусть позовет он к себе Некрасова, пусть перечтет его страницы, полные горячей любви к человеку,— с этих страниц польются в утомленную душу такое тепло и такая жажда иной, лучшей жизни, что захочется снова работать, снова бороться, снова отдавать свои силы черному дню настоящего во имя завтрашнего дня...» [3].

Иногда литературоведы не видели или не хотели видеть той выдающейся роли, которую играл Некрасов в литературно-общественном движении 60—70-х годов. Но уже в 1862 г. Ап. Григорьев признавал, что «молодое поколение в настоящее время никого кроме его 〈Некрасова.— *А. Е.*〉 не читало»[4].

Поэзия Некрасова, несмотря на обилие в ней картин народных бедствий, носит бодрый, оптимистический характер. Поэт любуется картиной крестьянского труда. Некрасов очарован красотой человеческих чувств, красотой любви крестьянской женщины к мужу, детям и родителям.

Нашлись критики, которые уже в наше время доказывали, что Некрасов, идеализируя зажиточного крестьянина, иногда выступал чуть ли не певцом деревенского кулака. Ничем иным, как чудовищной клеветой на народного поэта, нельзя назвать эти выступления критиков!

В доказательство своего нелепого утверждения эти критики цитировали обычно «Дедушку» и «Мороза, Красный нос». Но в том и другом произведениях Некрасов говорит только об идеале зажиточной жизни для забитого, нищего, голодного крестьянина.

Творчество Некрасова, представляющее изумительный образец спаянности поэзии с жизнью, содержит немало рельефных картин, где кулачество, как и всякая другого рода эксплоатация, разоблачается морально и социально.

В «Горе старого Наума», в подзаголовке, именуемом «Волжской былью», Некрасов бичует кулака словами самого героя:

«Округа вся в горсти моей,
Казна — надежней цепи:
Уж нет помещичьих крепей,
Мои остались крепи.
Судью за денежки куплю,
Умилостивлю бога»...
Полвека прожил так Наум
И не тужил ни мало,
Работал в нем житейский ум,
А сердце мирно спало.
Встречаясь с ним, я вспоминал
Невольно дуб красивый
В моем саду: там сети ткал
Паук трудолюбивый.

В стихотворении, начинающемся словами: «Да! провинция пустеет», Некрасов говорит, что «земледелец наш беднеет», а

Народившийся кулак
По селеньям зверем рыщет,
Выжимает четвертак.

Некрасов всюду подчеркивает антинародную сущность кулака. В своих крупнейших произведениях («Кому на Руси жить хорошо», «Современники») Некрасов обнажает эксплоататорскую роль буржуазии, показывает изнанку буржуазного прогресса, связанного с разорением крестьянства «сетями»:

Знаю: на место сетей крепостных
Люди придумали много иных.

НЕКРАСОВ И ПАНАЕВ У БОЛЬНОГО БЕЛИНСКОГО

Картина маслом А. А. Наумова, 1884 г.

Музей революции, Ленинград

Некрасов презрительно говорит о торгашах, купцах, в первую очередь, отмечая их антиморальную сущность («купчик-выжига, с Лубянки первый вор»). Многострадальный крестьянин Яким Нагой, из деревни Босово, вконец разорился из-за тяжбы с купцом:

Яким, старик убогонький,
Живал когда-то в Питере,
Да угодил в тюрьму:
С купцом тягаться вздумалось!
Как липочка ободранный,
Вернулся он на родину
И за соху взялся.

А эпоху пореформенного развития капитализма в целом Некрасов определил стихами:

Бывали хуже времена,
Но не было подлей.

Поэт благоговел перед родиной. Он говорил о ней тепло и задушевно:

Родина — мать! по равнинам твоим
Я не езжал еще с чувством таким,
Вижу дитя на руках у родимой,
Сердце волнуется думой любимой...

Некрасов с сердечной нежностью изображает деревню, крестьянские избы:

Опять она, родная сторона
С ее зеленым, благодатным летом,
И вновь душа поэзией полна...
Да, только здесь могу я быть поэтом!

Из этой пламенной любви к родине, к ее великому народу, к изумительной русской природе и выросла та поэзия, которая составляет наше национальное богатство.

Несовершенство общественных отношений не давало возможности наслаждаться красотой природы. Отсюда — надо бороться и бороться за изменение основ социальной жизни.

«Родная земля» способна вдохновить его на продолжение и усиление борьбы:

За дальним Средиземным морем,
Под небом ярче твоего,
Искал я примиренья с горем,
И не нашел я ничего!
Я там не свой: хандрю, немею,
Не одолев мою судьбу,
Я там погнулся перед нею,
Но ты дохнула — и сумею,
Быть может, выдержать борьбу!

Некрасов наполнял священное для него понятие патриотизма новым подлинно демократическим и революционным содержанием. Он презрительно говорил о казенном «патриотизме» господствующих классов, подменявших понятие родины понятием о властях, любовь к отечеству — любовью к царям.

Поэт с чувством нескрываемого отвращения и презрения относился к реакционерам — «патриотам» и славянофилам, проповедывавшим националистические чувства. Еще в начале сороковых годов в своих рецензиях (например, на книгу «Русский патриот», 1842) Некрасов, повидимому под благотворным влиянием Белинского, осуждает «квасной патриотизм», дает отрицательную оценку псевдопатриотическим виршам. То же многократно выражал Некрасов и в своих стихотворениях.

В «Недавнем времени» он дал едкую, но правдивую характеристику славянофилов:

Наезжали к нам славянофилы,
Светский тип их тогда был таков:
В Петербурге шампанское с квасом
Попивали из древних ковшей,
А в Москве восхваляли с экстазом
До-Петровский порядок вещей,
Но, живя за границей, владели
Очень плохо родным языком
И понятья они не имели
О славянском призваньи своем.

В поэме «Кому на Руси жить хорошо» поэт также осуждающе говорит о реакционных лжепатриотах:

... Бахвал мужик!
Каких-то слов особенных
Наслушался: Атечество,
Москва первопрестольная,
Душа великорусская,
«Я — русский мужичок!»

Поэт посылал проклятья угнетателям русского трудового народа, «владельцам роскошных палат», помещикам и капиталистам.

Некрасов — поэт крестьянской демократии: все свои симпатии он отдает крестьянину-бунтарю. Некрасов видел зреющую силу в крестьянском движении, в стремлении народа опрокинуть весь строй неправды и надругательства над человеком труда. В своем творчестве он запечатлел рост сознания в русском крестьянстве, развитие в нем чувства человеческого достоинства.

Знаменательно для Некрасова, что из всех крестьянских образов в его творчестве наиболее ярким получился образ бунтаря Савелия. Этого несгибаемого человека, отдавшего всю свою жизнь борьбе за интересы крестьянства, поэт запечатлевает с необыкновенной силой. Савелий вынес

Лет двадцать строгой каторги,
Лет двадцать поселения,—

но не сдался. Уже столетним стариком, в ответ на упреки окружающих, что он «клейменый, каторжный», Савелий с гордостью, «весело» скажет:

Клейменый, да не раб!

Выдающуюся роль в освободительной борьбе Некрасов отводил передовой интеллигенции. Разоблачая либеральных болтунов, «богатых словом — делом бедных», клеймя «ликующих, праздно болтающих», поэт-революционер с восхищением отзывался о подлинных борцах за народное дело. «На Руси жить хорошо», по мнению Некрасова, лишь революционерам, так как только их жизнь полна великого смысла, красоты и правды.

Некрасов испытывает чувство гордости за свою страну, выдвинувшую самоотверженных борцов с темными силами царской реакции:

Быть может мы, рассказ свой продолжая,
Когда-нибудь коснемся и других,
Которые, отчизну покидая,
Шли умирать в пустынях снеговых.
Пленительные образы! Едва ли
В истории какой-нибудь страны
Вы что-нибудь прекраснее встречали.
Их имена забыться не должны.

Некрасов был убежден, что только народная революция может осуществить его заветные мечты. И только после этого будут созданы благоприятные условия для развития богато одаренного русского народа и полного использования природных богатств нашей родины.

Некрасов неустанно подчеркивал, что любовь к родине органически связана с протестом против крепостнического строя. Декабрист «дедушка» из любви к родине и народу не мог не бороться против общественного порядка, поддерживавшего рабство и надругательство над личностью крестьянина:

Кто же имеющий душу
Мог это вынести? Кто?
Непроницаемой ночи
Мрак над страною висел...
Видел — имеющий очи
И за отчизну болел.

Создавая галлерею героических образов революционеров, рисуя крестьян-бунтарей, Некрасов звал к революции, он верил в ее очистительный огонь, который уничтожит все мерзости эксплоататорского строя.

Поэт-революционер, Некрасов всю жизнь грезил картиной народного восстания. Поэзия Некрасова всегда служила живым источником вдохновения и призывом к борьбе.

Невозможно представить себе более кровную связь поэта с родиной, чем та, которая существовала у Некрасова. Взаимоотношения гражданина и родины Некрасов уподобляет отношениям сына и матери. Самый большой проступок для человека — это забвение своего долга перед родиной. Осуждая либералов, заявлявших на словах о своей любви к народу, но на деле не желавших палец о палец ударить, чтобы реализовать эти обещания, Некрасов писал:

Страшись их участь разделить,—
Богатых словом, делом бедных,
И не иди во стан безвредных,
Когда полезным можешь быть!

По мнению Некрасова, человек не может иметь интересов, расходящихся с интересами народа. Эгоистов, думающих только о личном благополучии, не связанном с благом народа, поэт презирает и третирует как недостойных имени гражданина. Ради свободы родины человек должен итти на любые жертвы. Жена декабриста Трубецкая во имя любви к родине безропотно переносит все лишения.

Исполненная решимости выполнить гражданский долг до конца, она говорит:

Нет, я не жалкая раба,
Я женщина, жена!
Пускай горька моя судьба —
Я буду ей верна!
О, если б он меня забыл
Для женщины другой,
В моей душе достало б сил
Не быть его рабой!
Но знаю: к родине любовь
Соперница моя,
И если б нужно было, вновь
Ему простила б я!..

Истинный патриот и гражданин, по мнению Некрасова, неизбежно должен быть революционером. Поэт с восхищением отзывается о «достойных гражданах» — революционерах:

ПОСЛѢДНІЯ ПѢСНИ

СТИХОТВОРЕНІЯ

Н. НЕКРАСОВА

САНКТПЕТЕРБУРГЪ

Въ типографіи А. А. Краевскаго (Басейная, № 2)

1877

ИЗЪ ПОЭМЫ: МАТЬ

ОТРЫВКИ

(Посвящается Еленѣ Осиповнѣ Лихачевой)

I

Въ насмѣшливомъ и дерзкомъ нашемъ вѣкѣ
Великое, святое слово: мать
Не пробуждаетъ чувства въ человѣкѣ.
Но я привыкъ обычай презирать.
Я не боюсь насмѣшливости модной.
Такую музу мнѣ дала судьба:
Она поетъ по прихоти свободной,
Или молчитъ, какъ гордая раба.
Я много лѣтъ среди трудовъ и лѣни
Съ постыднымъ малодушьемъ убѣгалъ
Плѣнительной, многострадальной тѣни,
Для памяти священной... Часъ насталъ!..

ЭКЗЕМПЛЯР «ПОСЛЕДНИХ ПЕСЕН», ПОДАРЕННЫХ НЕКРАСОВЫМ 3 АПРЕЛЯ 1877 г. ХУДОЖНИКУ И. Н. КРАМСКОМУ, И СТРАНИЦА ТОЙ ЖЕ КНИГИ С НАДПИСЬЮ ПОЭТА, РАЗЪЯСНЯЮЩЕЙ ПРИЧИНЫ ПРОПУСКОВ ТЕКСТА В ПОЭМЕ «МАТЬ»

Третьяковская галлерея, Москва

... Хоть мало,
И среди нас судьба являла
Достойных граждан... Знаешь ты
Их участь?.. Преклони колени!..

Беззаветная преданность революционно-демократическим убеждениям вдохновила Некрасова на такие выдающиеся произведения, как «Поэт и Гражданин», «Белинский», воспевавшие революционную борьбу:

Иди в огонь за честь отчизны,
За убежденья, за любовь...,
Иди и гибни безупречно.
Умрешь не даром... Дело прочно,
Когда под ним струится кровь.

Стихи Некрасова стали знаменем революционной интеллигенции, с этим знаменем она без страха и сомнения вступила в неравную борьбу с царизмом.

Поэт, самоотверженно любивший русский народ, признавал:

Кто, служа великим целям века,
Жизнь свою всецело отдает
На борьбу за брата-человека,
Только тот себя переживет...

Некрасов всю жизнь терзался из-за того, что не мог для борьбы с царизмом уйти в подполье, стать человеком революционного подвига, подобно Чернышевскому, Михайлову и другим своим единомышленникам. Гениальный поэт, воспитавший поколения революционных борцов своими стихами, создатель легальной трибуны русской демократической мысли (журналы «Современник» и «Отечественные Записки»), Некрасов, тем не менее, бичевал себя за то, что не ушел «в стан погибающих», что к революционной цели шел, «не жертвуя собой». Отсюда — самоосуждение, покаяния Некрасова.

Он писал:

Народ! Народ! Мне не дано геройства
Служить тебе,— плохой я гражданин,
Но жгучее, святое беспокойство
За жребий твой донес я до седин!

Некрасов, занимавший передовые позиции в литературной борьбе эпохи 60-х годов, имел смертельных врагов в реакционном и либеральном лагере. Поэт имел твердые революционные убеждения и поэтому не считал нужным оправдываться от всякого рода клеветнических обвинений. Некрасов отлично понимал, что он и его враги — два антагонистических лагеря, у которых нет и не может быть ничего общего.

Гордо и решительно поэт заявлял:

... мой судья — читатель-гражданин.
Лишь в суд его храню слепую веру.

Назначение своей поэзии Некрасов видел в том, чтобы «напоминать человеку высокое призвание его».

Вожди революционной демократии — Белинский, Чернышевский и Добролюбов — были для поэта «светильниками разума». Естественно, что Некрасов создал поэзию, которая и своим содержанием, и своей формой противостояла традиционной литературе, оторванной от народа и далекой от его интересов.

Характер своей поэзии Некрасов определял словами: «У всякого писателя есть своя своеобразность, у меня—реальность». А враждебно настроенный в отношении Некрасова критик Авсеенко, желая оскорбить поэта

12

~~ПРОРОКЪ~~

~~(Изъ Барбье)~~

В воспоминание о ~~Памяти~~ Чер——ском

Не говори: «Забылъ онъ осторожность!
Онъ будетъ самъ судьбы своей виной!..»
Не хуже насъ онъ видитъ невозможность
Служить добру, не жертвуя собой.

Но любитъ онъ возвышеннѣй и шире,
Въ его душѣ нѣтъ помысловъ мірскихъ.
«Жить для себя возможно только въ мірѣ,
Но умереть возможно для другихъ!»

Такъ мыслитъ онъ — и смерть ему любезна.
Не скажетъ онъ, что жизнь его нужна,
Не скажетъ онъ, что гибель безполезна:
Его судьба давно ему ясна...

Его еще покамест нерасп[яли]
Но час придет — он будет
на кресте
Его послал бог гнева и печ[али]

«В ВОСПОМИНАНИЕ О ЧЕР⟨НЫШЕВ⟩СКОМ»

Собственноручная расшифровка Некрасовым стихотворения «Пророк» в экземпляре «Последних песен», подаренном поэтом И. Н. Крамскому 3 апреля 1877 г.

Третьяковская галлерея, Москва

В мае 1875 г. Некрасова посетил народнический революционер и литератор П. В. Григорьев, писавший под псевдонимом П. Безобразов и незадолго перед тем напечатавший статью о поэте (в апрельской книжке «Библиотеки» за 1875 г.). Некрасов долго говорил с ним о революции. В 1883 г., находясь за границей, в эмиграции, Григорьев-Безобразов поместил в женевской «Правде» свои воспоминания об этом памятном для него свидании. Он привел в них, в частности, следующие слова, сказанные ему Некрасовым:

«— Вот, вы говорите в ваших статьях о моих характеристиках Белинского, Добролюбова, Писарева... У меня есть еще портрет Н. Г. Чернышевского... Хотите, я вам прочту его?..».

И Некрасов прочел затем стихотворение «Не говори: Забыл он осторожность!».

Достоверность и тем самым ценность приведенного свидетельства до сих пор не были признаны в полной мере.

Воспроизводимая здесь страница из экземпляра «Последних песен», подаренного Некрасовым художнику И. Н. Крамскому, устраняет отныне всякие сомнения относительно того, что стихотворение 1874 г. «Не говори: Забыл он осторожность!», известное под заглавием «Пророк», посвящено поэтом именно Н. Г. Чернышевскому, страдальческой участи которого Некрасов не мог забыть в течение всей своей жизни.

Перечеркнув заглавие «Пророк. (Из Барбье)», Некрасов первоначально написал: «Памяти Чер⟨нышев⟩ского», а затем заменил: «В воспоминание о Чер⟨нышев⟩ском». Внизу страницы Некрасов вписал четверостишие, отсутствовавшее по цензурным причинам и в первопечатном журнальном тексте и в отдельном издании «Последних песен» (последняя строка обрезана при переплетении книги):

Его еще покамест не распяли,
Но час придет — он будет на кресте
Его послал бог гнева и печ⟨али⟩
⟨Царям земли напомнить о Христе⟩

и унизить его творчество, свою статью о нем назвал: «Реальнейший поэт», имея в виду, что Некрасов — художник, не чуждающийся самых разнообразных и «грубых» жизненных тем. С нашей точки зрения, это определение Некрасова является высшей похвалой поэту.

Вокруг творчества «старого русского демократа» (так Ленин называл Некрасова), как при жизни поэта, так и после его смерти велись страстные споры. Если сторонники эксплоатации и угнетения испытывали злую ненависть к музе Некрасова, то в революционной и демократической среде его стихи, зовущие к борьбе, встречались с чувством горячей любви и восхищения:

На бой, на труд!
За обойденного,
За угнетенного...

Поэзия Некрасова отражала кровные, насущные нужды и интересы народа. Стихи Некрасова читались с увлечением, зажигая сердца молодежи горячей любовью к народу и ненавистью к его поработителям.

Выражая мнение передовой части общества, Добролюбов характеризовал Некрасова: «Любимейший русский поэт, представитель добрых начал в нашей поэзии, единственный талант, в котором теперь есть жизнь и сила»[5].

Политическое значение поэзии Некрасова то же, что и публицистических и критических статей Чернышевского. В разных областях литературной деятельности они выражали одну идею — идею борьбы за освобождение народа.

Чернышевский рассматривал поэзию Некрасова как оружие революционной борьбы с самодержавием и крепостничеством. Он писал Некрасову: «Правда, и людям самостоятельным критика может быть полезна, когда в состоянии обнаружить недостатки в их убеждениях (только в убеждениях, в понятиях о жизни), и заставить их вернее смотреть на жизнь,— но в этом отношении Вам опять-таки критика вовсе не нужна: я не знаю, какие ошибочные убеждения нужно было бы Вам исправлять в себе»[6].

Идейная близость Некрасова и Чернышевского видна и из факта совместного писания ими публицистических статей. А. Н. Пыпин говорит, что «Заметки о журналах» в «Современнике» составлялись так: «Заметки» ведены были Чернышевским, но (вначале, сколько я помню) иногда с близким участием Некрасова: есть страницы, начатые одним и продолженные другим»[7].

Дружба великих деятелей демократии не прекращалась на протяжении всей их жизни.

В центральном своем произведении — поэме «Кому на Руси жить хорошо» — Некрасов всесторонне изображает дореформенную и пореформенную Россию. Показывая угнетенное крестьянство и эксплоатирующих его старых и новых хищников — помещиков и капиталистов, Некрасов призывает разночинную интеллигенцию к борьбе за «народное дело», призывает ее итти на помощь начинающей пробуждаться исполинской силе Савелия-богатыря. Борцом за дело народа Некрасов изображает Гришу Добросклонова. Сын дьячка, жившего «беднее захудалого последнего крестьянина» и «батрачки безответной», Гриша выступил как защитник интересов крестьянства. Он

Стал пылким и восторженным
Певцом освобождения
Униженных, обиженных
На всей святой Руси.

С горячей нежностью и любовью нарисован образ Гриши — революционного демократа. Поэт понимает, что Гриша не один, что за ним идет «рать

неисчислимая», обладающая несокрушимой силой. Тяжел путь Гриши, но и славен, потому что величайшее счастье, по мысли Некрасова, состоит в борьбе за освобождение угнетенных. На вопрос: «Кому на Руси жить хорошо?»— Некрасов отвечает: борцам за счастье народа. В этом и заключается смысл концовки поэмы:

Быть бы нашим странникам под родною крышею,
Если б знать могли они, что творилось с Гришею.
Слышал он в груди своей силы необъятные,
Услаждали слух его звуки благодатные,
Звуки лучезарные гимна благородного —
Пел он воплощение счастия народного!

Поэзия Некрасова преисполнена революционного энтузиазма и веры в конечную победу народа. Наряду с крестьянством автор значительное место уделяет изображению революционной интеллигенции. Поэт прославляет революционных борцов, противопоставляя их либеральным реформаторам.

Обращаясь к истории, к прошлому своей страны и народа, Некрасов выделяет деятелей освободительного движения. В начале семидесятых годов печатаются знаменитые некрасовские поэмы: «Дедушка», «Недавнее время», «Русские женщины» («Декабристки»). Через образы борцов предшествующих поколений Некрасов устанавливает живую преемственность идей от декабристов к Белинскому, Петрашевскому, Добролюбову и семидесятникам. Едва ли можно найти в русской литературе более яркое прославление политических ссыльных, чем это сделал Некрасов в поэмах о декабристах. Читая поэмы Некрасова о революционерах прошлого, современные борцы узнавали в них себя. Недаром самую большую популярность из всех произведений Некрасова имели его историко-революционные поэмы. И недаром цензура ни одно произведение Некрасова на современные темы не исказила так, как его поэму «Русские женщины».

Некрасов отстаивал обличительное направление, единственно передовое направление в литературе того времени. В письме Тургеневу от 30 декабря 1856 г. он писал: «Есть ли другое — живое и честное ⟨направление.— *А. Е.*⟩, кроме обличения и протеста? Его создал не Белинский, а среда, оттого оно и пережило Белинского, а совсем не потому, что «Современник» — в лице Чернышевского — будто бы подражает Белинскому».

Некрасов боролся против теории «искусства для искусства». В статье «Заметки о журналах за июнь месяц 1855 года» он писал:

«Нет науки для науки, нет искусства для искусства,— все они существуют для общества, для облагорожения, для возвышения человека, для его обогащения знаниями и материальными удобствами жизни» [8]. Поэт очень сожалел, что молодой гениальный писатель Л. Толстой «переходит на сторону Дружинина» [9].

Обращаясь к Л. Толстому, Некрасов дал замечательную характеристику революционно-критического направления в литературе: «Особенно мне досадно, что вы так браните Чернышевского... Вам теперь хорошо в деревне, и вы не понимаете, зачем злиться; вы говорите, что отношения к действительности должны быть здоровыми, но забываете, что здоровые отношения могут быть только к здоровой действительности. Гнусно притворяться злым, но я стал бы на колени перед человеком, который лопнул бы от искренней злости — у нас ли мало к ней поводов? И когда мы начнем больше злиться, тогда будет лучше,— т. е. больше будем любить — любить не себя, а свою родину» (письмо от 22 июля 1856 г.) [10]. В другом письме к Л. Толстому Некрасов заявляет со всей решительностью о своей демократической позиции в художественной литературе: «Изменить ха-

рактер своего писания я не могу... а потому не ждите от меня ничего по части стихов, что б пришлось по вашему вкусу»[11].

Борьба Некрасова с теорией «чистого искусства» нашла отражение во многих его стихах, но полнее всего — в стихотворении «Поэт и Гражданин». Гражданин упрекает Поэта в бездействии. Указывая на перемену, происшедшую в общественной обстановке (стихотворение написано в 1855 г.), Гражданин с возмущением говорит Поэту:

Пора вставать! Ты знаешь сам,
Какое время наступило;
В ком чувство долга не остыло,
Кто сердцем неподкупно прям,
В ком дарованье, сила, меткость —
Тому теперь не должно спать...

Поэт оправдывается, ссылаясь на лозунги сторонников «искусства для искусства», выраженные в известных стихах:

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

Но эти мотивы решительно отвергаются Гражданином. Обращаясь к Поэту, он говорит:

С твоим талантом стыдно спать;
Еще стыдней в годину горя
Красу долин, небес и моря
И ласку милой воспевать...

Затем следует знаменитое обращение к Поэту, где подчеркнута сущность литературно-эстетических взглядов Некрасова:

А ты, поэт! избранник неба,
Глашатай истин вековых,
Не верь, что неимущий хлеба
Не стоит вещих струн твоих!..
Будь гражданин! служа искусству,
Для блага ближнего живи,
Свой гений подчиняя чувству
Всеобнимающей любви...

В течение многих десятилетий эта поэтическая декларация Некрасова служила непререкаемым заветом передовым силам русского общества в борьбе против безидейности, аполитичности в искусстве и литературе.

Некрасовское направление в русской поэзии не могло оставить литературные круги равнодушными: начались страстные споры и разногласия, не затихавшие в течение многих лет.

Литераторы, защитники «чистого искусства», скептически и враждебно относились к демократической поэзии Некрасова. Однако все видные русские писатели, независимо от направления, подчеркивали своеобразие некрасовского творчества. Тургенев в рецензии на стихотворения Тютчева писал: «Легко указать на отдельные качества, которыми превосходят его ‹Тютчева› более даровитые из теперешних наших поэтов: на пленительную, хотя несколько однообразную грацию Фета, на энергичную, часто сухую, жесткую страстность Некрасова...»[12].

Никто из поэтов до Некрасова не спускался так глубоко в «низкую» жизненную прозу, чтобы черпать в ней вдохновение. Поэзия Некрасова всецело соответствовала требованию Белинского к писателю: быть «гражданином, сыном своего общества и своей эпохи».

ВЕЧЕРИНКА

Картина маслом В. Е. Маковского, 1877—1897 гг.

Третьяковская галлерея, Москва

Никто до Некрасова не поднимал «низкую» прозу жизни на такие вершины поэзии, не был так близок к подлинно демократической точке зрения на социальную действительность. Некрасов имел право сказать, что в его стихе «кипит живая кровь». Только ему оказалась по силам задача создать новый стиль демократической поэзии.

Некрасов создал поэзию, вполне отвечающую задачам революционной демократии. Он чутким ухом поэта-демократа услышал «музыку злобы» преисполненных гневом народных масс. Недаром Тургенев, отрицательно относившийся к его поэзии, высказал истину, заявив, что стихи Некрасова, собранные в один фокус, «жгутся».

Однако самый высокий пафос, самые благородные стремления, не будучи выражены в соответственной форме, никогда не произведут своего действия на читателя. Некрасов же зажигал своими стихами. Этого мог достичь только первоклассный художник, великий поэт.

Творчество Некрасова оказало плодотворное влияние на все последующее развитие русской поэзии. Если символисты находили Некрасова, с его темой борьбы за гражданские идеалы, «старомодным» и ценили в нем только мастерство, «музыку диссонансов» (Бальмонт), то все демократически настроенные поэты второй половины XIX века и первых десятилетий XX века, вплоть до наших дней, жили и творили, испытывая очарование «музы мести и печали».

Поэзия Маяковского созвучна творчеству Некрасова своим политическим пафосом, глубокой идейностью и ориентацией на народные массы. Из современных советских поэтов по своим творческим принципам особенно близки к Некрасову Твардовский, Исаковский, Сурков, Лебедев-Кумач и многие другие.

Творческое наследие Некрасова, представляющее в истории русской литературы ярчайший пример беззаветного служения народу, оказалось живым, плодотворным и в наше время. Поэт-гражданин получил всеобщее признание в стране победившего социализма.

Правильно сказал А. В. Луначарский, отмечая столетие со дня рождения Некрасова: «Не принижая ни на минуту ни великих алтарей Пушкина и Лермонтова, ни более скромных, но прекрасных памятников Алексея Толстого, Тютчева, Фета и других, мы все же говорим: нет в русской литературе, во всей литературе такого человека, перед которым с любовью и благоговением мы склонялись бы ниже, чем перед памятью Некрасова» [13].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] В. Ленин, Сочинения, XXII, 376.
[2] И. Сталин, Вопросы ленинизма, 11-е изд., 328.
[3] «Дооктябрьская «Правда» об искусстве и литературе», М.—Л. 1936, 122—123.
[4] Ап. Григорьев, Собрание сочинений, вып. 13-й, П., 1918, 20.
[5] «Книга и Революция» 1921, № 2, 72.
[6] Н. Чернышевский, «Литературное наследие», II, М.—Л., 1928, 338.
[7] А. Пыпин, Некрасов, СПб., 1905, 38.
[8] Н. Некрасов, Сочинения, М.—Л., 1930, III, 437.
[9] Там же, 273.
[10] Там же, V, 252.
[11] Там же, 291.
[12] «Современник», 1854, № 10, отдел критики, 23—26.
[13] Сборник «Некрасов в русской критике», М., 1944, 90.

ВЕЛИКИЙ ПОЭТ РЕВОЛЮЦИИ

Статья Б. Козьмина

1

Имя Некрасова значительно более, чем кого-либо другого из великих русских поэтов прошлого, связано с русской революцией. В истории нашего освободительного движения Некрасову должно быть отведено видное и почетное место. Его право на это неоспоримо и неотъемлемо. И как поэт, и как редактор наиболее передовых журналов своей эпохи Некрасов сделал для пропаганды идей революции неизмеримо больше, чем многие из профессионалов-пропагандистов.

Поэзия Некрасова — явление громадного исторического значения. Признавать это были вынуждены даже люди, отнюдь не разделявшие его политических воззрений. Сошлемся хотя бы на свидетельства таких чуждых некрасовской «музе мести и печали» людей, как Ап. Григорьев и анонимный критик «Отечественных Записок» — по всей вероятности, С. С. Дудышкин. «Песни Некрасова сделались, без преувеличения говоря, событиями»,— писал в 1862 г. первый из них [1]. А другой годом позже признавался: «Стихотворения Некрасова оставят после себя очень видный *шаг* в развитии наших общественных чувств» [2].

В этих суждениях нет ни капли преувеличения. В течение десятилетий Некрасов был любимейшим поэтом революционно настроенной молодежи. Напомним, что над его могилой, прерывая речь Ф. М. Достоевского, сравнившего почившего поэта с Пушкиным, присутствующие землевольцы и среди них молодой по возрасту, но уже видный участник революционной борьбы, Г. В. Плеханов, заявили: «Он был выше Пушкина» [3].

Поэзия Некрасова зажигала молодежь своей страстной любовью к обездоленному люду и ненавистью к угнетателям и эксплоататорам народа. Стихи Некрасова учили читателей, что для человека, сознающего свои обязанности по отношению к обществу, существует лишь один достойный его путь — служение народу. Они внушали непреодолимую ненависть к социально-политическому строю, основанному на неравенстве и подавлении свободной человеческой личности. Они призывали порвать с «ликующими и праздно болтающими» и уйти «в стан погибающих за великое дело любви». Такие произведения Некрасова, как «Песня Еремушке», «Железная дорога», поэма «Кому на Руси жить хорошо» и др., производили не меньшее революционизирующее воздействие, чем подпольные прокламации.

Г. В. Плеханов передает интереснейший эпизод, относящийся ко времени пребывания его в последнем классе военной гимназии. «Мы сидели, после обеда, группой в несколько человек,— пишет он,— и читали Некрасова. Едва мы кончили «Железную дорогу», раздался сигнал, звавший на фронтовое учение. Мы спрятали книгу и пошли в цейхгауз за ружьями, находясь под сильным впечатлением всего только что прочитанного нами. Когда мы стали строиться, мой приятель С. подошел ко мне и, сжимая в руке ружейный ствол, прошептал: «Эх, взял бы я это ружье и пошел бы сражаться за русский народ!». Эти слова, произнесенные украдкой в не-

скольких шагах от строгого военного начальства, глубоко врезались в мою память. Я вспоминал их потом всякий раз, когда мне приходилось перечитывать «Железную дорогу» [4].

Можно было бы привести многочисленные свидетельства мемуаристов-революционеров, удостоверяющих громадное влияние, оказанное на них поэзией Некрасова и определившее их будущий жизненный путь. Ограничимся одним достаточно ярким и показательным примером.

Известный народоволец Н. А. Морозов, рассказывая в своих воспоминаниях о массовом движении революционной молодежи 70-х годов «в народ», утверждает, что это движение возникло под влиянием поэзии Некрасова, которой современники Морозова зачитывались в юношескую пору своей жизни. По стихотворениям Некрасова, утверждает Н. А. Морозов, они знакомились с тяжелым положением русского крестьянства и с эксплоатацией, которой население деревни подвергалось со стороны помещиков, кулаков и чиновников. Если тогдашние книги, трактовавшие о социализме, и оказывали сильное влияние на молодых революционеров, то благодаря тому, что «душа молодых поколений уже была подготовлена к ним Некрасовым с ранней юности» [5].

Конечно, в этом утверждении Н. А. Морозова имеется некоторая доля преувеличения. Он сам оговаривается, что многие его современники, которым он развивал свои мысли о поэзии Некрасова как о «рычаге» движения в народ, оспаривали его. Из признаний революционеров 60-х и 70-х годов прошлого века мы знаем, что сочинения Чернышевского, Добролюбова и Писарева оказывали на них не меньшее влияние, чем поэзия Некрасова. Несмотря, однако, на это, только что приведенное свидетельство Н. А. Морозова крайне интересно и важно. *Самая возможность такого преувеличения* имеет большое показательное значение.

Русскому правительству революционная настроенность Некрасова и впечатление, производимое его стихотворениями на читателей, были хорошо известны. Еще в 1848 г. Ф. Булгарин доносил III Отделению: «Некрасов — самый отчаянный коммунист; стоит прочесть стихи его и прозу в С.-Петербургском альманахе, чтоб удостовериться в этом. Он страшно вопиет в пользу революции» [6]. И после Ф. Булгарина осведомители,— как по долгу службы, так и добровольные,— многократно информировали правящие круги об опасности, которую поэзия Некрасова представляла для существовавших тогда порядков.

2

Некрасов вошел в историю русской литературы и русского общества не только как поэт, но и как журналист. Он руководил двумя лучшими, наиболее демократическими журналами своего времени — «Современником» и «Отечественными Записками».

В годы подготовки отмены крепостного права, когда история поставила перед Россией задачу глубоких преобразований, долженствующих изменить весь ее социально-политический строй, «Современник» превратился в орган, открыто отстаивающий интересы замученного тяжелой крепостной неволей русского крестьянства. И если в эти годы, под влиянием крайнего обострения классовой борьбы, в стране сложилась революционная ситуация, то журнал Некрасова сыграл в этом исключительную по важности роль. Руководители русской революционной демократии того времени — Чернышевский и Добролюбов — могли успешно выполнять свое громадное по историческому значению дело также и потому, что они пользовались полным доверием, горячей симпатией и непрестанной поддержкой со стороны Некрасова, разделявшего их политические взгляды

и сочувствовавшего тем целям, которые они перед собою ставили. В эти годы «Современник» поистине являлся идейным штабом русской революции. Не случайно то обстоятельство, что многие виднейшие представители революционного движения тех лет состояли сотрудниками журнала Некрасова. Не говоря уже о таких центральных фигурах революционного

НЕКРАСОВ
Фотография Деньера, 1873 г.
Институт литературы АН СССР, Ленинград

лагеря, какими были ближайшие сотрудники «Современника» — Чернышевский и Добролюбов, в этом журнале в те годы участвовали: организатор крупнейшего тайного общества 60-х годов «Земля и Воля» — Н. А. Серно-Соловьевич, член Центрального комитета этого общества Н. Н. Обручев, автор знаменитой прокламации «К молодому поколению» — Н. В. Шелгунов, его друг — М. Л. Михайлов, поплатившийся каторгой и преждевременной смертью за распространение этой прокламации, распространитель другой выдающейся прокламации того времени «Велико-

русс» — В. А. Обручев и один из руководителей студенческого движения 1861 г. в Петербурге — И. А. Пиотровский, а также виднейший польский революционер 60-х годов — Сигизмунд Сераковский. Некрасов мог не иметь подробных и точных сведений о революционно-подпольной работе этих своих сотрудников, однако ему, несомненно, было ясно, что они служат революции не одним лишь пером. Сознавал он и то, что они смотрят на свое сотрудничество в «Современнике» как на одно из средств служения тому делу, которому они посвятили все свои силы.

В дневнике Добролюбова мы находим весьма ясное высказывание насчет того, как он смотрел на свою деятельность в качестве журналиста. В 1859 г. не изживший еще своих либеральных иллюзий Герцен, полемизируя с «Современником», допустил на страницах «Колокола» чудовищный по своей несправедливости и необоснованности намек на то, что сотрудники некрасовского журнала играют на-руку реакции. Возмущенный этим выпадом Герцена, Добролюбов занес в свой дневник следующие строки: «Однако хороши наши передовые люди! Успели уже пришибить в себе чутье, которым прежде чуяли призыв к революции, где бы он ни слышался и в каких бы формах ни являлся» [7]. Сказать яснее, какую задачу ставят перед собою руководители «Современника», нельзя. Последовательно, неуклонно и планомерно они вели журнал с таким расчетом, чтобы в максимальной мере способствовать пробуждению в русском обществе революционных мыслей и чувств. И эта задача была блестяще разрешена ими. Ленин отмечал, что Чернышевский умел своими «подцензурными статьями воспитывать настоящих революционеров» [8]. То же самое можно повторить с полным правом и о Добролюбове. Да и другие ведущие сотрудники журнала по мере своих сил помогали разрешению этой задачи. Вот почему революционная молодежь 60-х годов смотрела на «Современник», как на своего идейного руководителя [9]. Точно так же расценивали некрасовский журнал и противники революции из либерального лагеря. Недаром И. С. Тургенев называл Чернышевского и Добролюбова «литературными Робеспьерами». А реакционер М. Н. Катков, ожесточенно травивший Чернышевского и его политических друзей, писал: «Вы не бьете, вы не жжете. Еще бы! Но в пределах вашей возможности вы делаете то, что вполне соответствует этим актам» [10]. Понимали это и органы тогдашнего политического розыска. В записке о деятельности Чернышевского, составленной для нужд III Отделения, мы находим замечание, с правильностью и меткостью которого нельзя не согласиться. Имея в виду многочисленные прокламации, появившиеся в России в 1861—1862 гг., автор записки писал: «Прокламации суть как бы вывод из статей Чернышевского, а статьи его — подробный к ним комментарий» [11]. Эти слова полностью объясняют нам, почему правительство в 1862 г. поставило неотложной задачей во что бы то ни стало изъять Чернышевского из русской литературы и на пути к достижению этой цели, за неимением в своих руках твердых доказательств участия идейного руководителя «Современника» в революционной работе, не остановилось перед подлогами, при помощи которых ему удалось осудить Чернышевского на долголетнюю каторгу и ссылку.

Лишившись в лице отправленного в Сибирь Чернышевского и преждевременно погибшего Добролюбова своих руководителей и наиболее ярких и талантливых публицистов и критиков, «Современник» не мог не потускнеть. Однако и после этого он не переставал, хотя и без прежней яркости, глубины и последовательности, служить делу борьбы с абсолютизмом и помещичьей властью. Характерно, что среди сотрудников некрасовского журнала в эти годы мы находим члена Центрального комитета «Земли и Воли» А. А. Слепцова и известного эмигранта Льва Мечникова. Имеются указания на то, что с «Современником» был в то время связан и другой

видный эмигрант, бывший член Центрального комитета той же «Земли и Воли», а позднее основатель Русской секции I Интернационала, Н. И. Утин. Конечно, участие этих лиц в «Современнике» не могло бы осуществиться без ведома и согласия Некрасова.

В 1866 г. «Современник» был закрыт правительством. Не прошло и двух лет, как Некрасов принимается за издание другого журнала — «Отечественных Записок». Если этот новый некрасовский журнал и не сыграл в истории русской культуры и общественной мысли такой исключительной роли, как «Современник», то все же «Отечественные Записки», руководимые Некрасовым, по справедливости завоевали себе репутацию лучшего русского журнала своего времени. Как и в «Современнике», в «Отечественных Записках» участвовало немало людей, причастных к революционному движению, во главе с эмигрантом П. Л. Лавровым, являвшимся постоянным сотрудником этого журнала. Идейная близость между «Отечественными Записками» и революционным движением 70-х годов несомненна. Революционеры находили на страницах этого журнала ответ на большинство волновавших их вопросов. Видный участник освободительного движения тех лет, О. В. Аптекман, в своих воспоминаниях писал: «Целое поколение, поколение 70-х годов, энергичное и боевое, считало «Отечественные Записки» почти что своим органом» [12]. Недаром впоследствии, уже через много лет после смерти Некрасова, «Отечественные Записки», подобно «Современнику», были закрыты правительством, и эта карательная мера мотивировалась именно близостью этого журнала к революционному подполью.

И как поэт, и как журналист Некрасов выступал в качестве упорного и непримиримого врага современного ему социально-политического строя России. Прекрасно сознавая это, правительство, тем не менее, не осмелилось наложить свою лапу на Некрасова. Учитывая широкую популярность, которой пользовался Некрасов, и его многочисленные связи с представителями различных слоев русского общества, оно не решалось расправиться с этим своим врагом так бесцеремонно, как оно привыкло расправляться с другими своими противниками, часто гораздо менее опасными, нежели Некрасов. III Отделению хорошо была известна непричастность поэта к *активной* революционной деятельности. В случае ареста Некрасова правительство рисковало оказаться в чрезвычайно нелепом и компрометирующем его самого положении, так как ни малейших доказательств причастности Некрасова к революции, кроме стихотворений, прошедших через цензуру, у него не было и не могло быть. Правда, можно было поступить с Некрасовым так же, как это было сделано с Н. Г. Чернышевским. Во время его процесса судебные доказательства были подменены лжесвидетельствами и подложными документами, уличающими обвиняемого в «преступлении». Однако такое средство расправы было опасно для самого правительства. К нему можно было прибегнуть один раз, но повторять его было бы рискованно. Опыт с делом Чернышевского показал, что, как ни толсты стены «здания у Цепного моста», как ни молчаливы и надежны сотрудники III Отделения, темные махинации, творившиеся при производстве этого дела, не остались тайной. И в России, и даже за границей стало известно, что Чернышевский был осужден на каторгу только в результате того, что его судьи, всемерно старавшиеся удовлетворить желания царя, сделали вид, что они не замечают сфабрикованных жандармами подлогов.

Вот почему Некрасов, в течение ряда лет работавший рука об руку с Чернышевским и всемерно помогавший ему превратить легальный журнал, бдительно контролируемый цензурой, в орган революции, избежал судьбы вождя революционной демократии 60-х годов.

3

Усадьба, в которой провел свои детские годы Некрасов, ничем не напоминала хорошо знакомые нам по романам 40-х и 50-х годов прошлого века культурные «дворянские гнезда», в уютных гостиных и изящных будуарах которых разносторонне образованные и утонченные представители господствующего класса соревновались перед лицом молодых красавиц в прениях на высокие философские и эстетические темы. Ребенку Некрасову помещичья жизнь открылась с иной стороны, гораздо более прозаической,— со стороны, хорошо известной крепостным рабам, кровью и потом которых скреплялось дворянское благополучие. С ранних лет Некрасов был свидетелем диких сцен помещичьего разгула, жестокости и самоуправства, жертвами которых являлись не только крепостные его отца, но и он сам и его мать, скоро сошедшая в могилу от необузданного нрава и тиранства своего мужа. В течение всей своей жизни Некрасов не мог забыть те ужасы, которые проходили перед его глазами в детстве и которые впоследствии нашли себе яркое отражение в его стихотворениях «Родина», «Псовая охота» и др.

Некрасов с детства научился смотреть на помещичью усадьбу глазами бесправного крепостного мужика. Он возненавидел ее и с чувством нравственного удовлетворения наблюдал, уже в зрелые годы, за гибелью усадебной жизни, за запустением «дворянских гнезд»:

И, с отвращением кругом кидая взор,
С отрадой вижу я, что срублен темный бор —
В томящий летний зной защита и прохлада,
И нива выжжена и праздно дремлет стадо,
Понурив голову над высохшим ручьем,
И набок валится пустой и мрачный дом,
Где вторил звону чаш и гласу ликований
Глухой и вечный гул подавленных страданий...

Печальная участь помещичьей усадьбы была в глазах Некрасова справедливой расплатой за вековое бесправие и угнетение, в которых дворянство держало своих крепостных, за безжалостную эксплоатацию их труда. Он сознавал полную законность необузданной злобы против помещиков, переполняющей сердца русских крестьян, и жалел лишь об одном — о том, что эта злоба не находила себе свободного выхода.

17-летним юношей Некрасов покинул родной дом, ставший ему ненавистным, и очутился без всяких средств к жизни на улицах Петербурга. Северная столица поразила его своей роскошью, блеском и импозантностью. «Петербург — город великолепный и обширный! — писал молодой Некрасов в автобиографической повести «Жизнь и похождения Тихона Тросникова».— Как полюбил я тебя, когда в первый раз увидел твои огромные домы, в которых, казалось мне, могло жить только счастье».

Однако роскошная столица неприветливо встретила юного Некрасова. В течение ряда лет ему пришлось вести жизнь «мыслящего пролетария», поддерживая свое существование случайными заработками, столь скудными, что будущему великому поэту довелось вплотную познакомиться с нищетой, голодом и холодом. Суровая борьба за существование намного обогатила жизненный и социальный опыт Некрасова. «Я узнал,— вспоминал он в названной повести,— что у великолепных и огромных домов, в которых я замечал прежде только бархат и золото, дорогие изваяния и картины, есть чердаки и подвалы, где воздух сыр и зловреден, где душно и темно и где на голых досках, на полусгнившей соломе в грязи, стуже и голоде влачатся нищета, несчастия и

преступления. Узнал, что есть несчастливцы, которым нет места даже на чердаках и в подвалах, потому что есть счастливцы, которым тесны целые домы... И я спустился в душные те подвалы, поднялся под крыши высоких домов и увидел нищету, стыдливо прикрывающую лохмотья свои, и нищету, с отвратительным расчетом выносящую ее на показ... И сильней поразили меня такие картины, неизбежные в больших и кипящих народонаселением городах, глубже запали они в душу, чем блеск и богатства твои, обманчивый Петербург! И не веселят уже меня твои гордые здания и все, что есть в тебе блестящего и поразительного!».

ТОРГ (СЦЕНА ИЗ КРЕПОСТНОГО БЫТА)

Картина маслом Н. В. Неврева, 1866 г.

Третьяковская галлерея, Москва

Так открылась перед Некрасовым неприглядная изнанка столичной жизни. Блестящий Петербург предстал перед ним, как «изношенный фат без румян».

И именно этот Петербург,— Петербург тесных, сырых и зловонных каморок, приюта нищеты,— изображал впоследствии Некрасов в своих произведениях. «Громадный, стройный и суровый» город, «опоясанный гробами, своими пышными дворцами», не обманул поэта «величьем царственным своим». Некрасов сумел взглянуть на этот город глазами нищего, ищущего куска хлеба, проститутки, гранящей городские тротуары в поисках из-за нужды позорного заработка, голодного воришки, пойманного с поличным на месте преступления. Он отразив в своей поэзии социальные контрасты столицы, в которой бедняку — «житье трудное», а «миллльонерам — рай». Он понял, что большой город — омут, в котором хищники расставили свои сети для бедного люда. Он уяснил

себе, что не нравственная испорченность и не дурные природные инстинкты толкают этот люд к нарушениям закона, а отсутствие средств к жизни, порождающее жестокую необходимость бороться любыми средствами за кусок хлеба. Не эти люди виноваты в своей злосчастной судьбе, а все общество, к которому они принадлежат и которое должно нести ответственность за их гибель. Не они являются действительными преступниками, заслуживающими справедливой кары, а лицемерно твердящие о праве и нравственности знатные и богатые, которые, пользуясь покровительством закона, наживаются на страданиях обиженных судьбой маленьких людей, тем самым толкая их на преступления.

Ложь и лицемерие лежат, по мнению Некрасова, в основе всего современного ему общества, его права и морали. В стихотворениях великого поэта перед нами раскрывается целая галлерея образов эксплоататоров народа, начиная с сановников, генералов, крупных чиновников и помещиков и кончая мелкими хищниками: квартирохозяйкой, содержателем извозчичьего двора, хозяйкой мастерской дамских нарядов и т. п. Как ни различно положение этих людей в обществе, всех их объединяет стремление жить на чужой счет под защитой покровительствующих им закона и власти. Погоня за наживой — основной стимул, движущий всеми действиями представителей господствующих классов. Деньгам приносятся в жертву лучшие чувства человека:

Говорят, есть страсти, чувства —
Не знаком, не лгу,—

говорит про себя ростовщик в одном из стихотворений Некрасова. Из-за наживы и денег «брат поднимает на брата преступную руку свою». Иначе и не может быть в обществе, где все семейные и родственные отношения сведены к денежным.

Обиженные судьбой труженики, маленькие люди городских низов изображались не одним Некрасовым, но и другими писателями, как до него, так и одновременно с ним. Однако Некрасову удалось обнаружить в душе этих жертв социальной несправедливости новые черты, не замеченные другими. Гоголевский Акакий Акакиевич безропотно подчиняется обездолившей его судьбе, не сознавая всего ужаса своего положения. Макар Девушкин в «Бедных людях» Достоевского, в отличие от Акакия Акакиевича, чувствует несправедливость существующих общественных отношений, но вместе с тем питает уверенность в неустранимости и неизменяемости их. Герои стихотворений Некрасова не только сознают то общественное зло, жертвами которого они являются, но и носят в себе скрытую злобу по отношению к современному обществу. Однако злоба эта еще не находит себе иного выхода, как в мелких протестах против социальной несправедливости. На планомерную борьбу за свои интересы у обездоленных и угнетенных еще нехватает сил.

Совместная работа с Белинским, оставшаяся для Некрасова на всю его жизнь незабываемым воспоминанием, помогла молодому поэту осмыслить его петербургские впечатления и наблюдения. Белинский указал и уяснил Некрасову причины, порождающие темные стороны современной цивилизации. Через Белинского и при его помощи Некрасов ознакомился с идеями утопического социализма и убедился в том, что для борьбы с недугами, от которых страдает современное общество, потребны не паллиативы, а самые решительные и крайние средства. Ни филантропия, лицемерный характер которой был для Некрасова вполне ясен, ни частичные реформы помочь не могут. Современное общество необ-

ходимо перестроить сверху донизу. Это — единственный возможный путь для осуществления социальной справедливости и для обеспечения каждому человеку возможности спокойной, светлой и радостной жизни. Эта мысль легла в основу всего поэтического творчества Некрасова и всей его общественной деятельности в роли литератора и журналиста. Когда Некрасов пришел к выводу о безвыходном тупике, в который зашла современная цивилизация, перед ним встал мучительный и тяжелый вопрос: где же реальные силы, которые могут обеспечить разрешение грандиозной задачи, стоящей перед человечеством? В современной ему России, задавленной деспотизмом самодержавия Николая I, он не мог найти этих сил.

Большим ударом для Некрасова явилась преждевременная смерть Белинского. В лице великого критика он имел не только учителя, но и лучшего друга. Потеряв его, он почувствовал себя одиноким. У Некрасова было немало личных и литературных приятелей; со многими он был связан долговременной дружбой; многих из них он ценил как выдающихся представителей искусства. Но вместе с тем Некрасов сознавал то, что эти люди, близкие Белинскому, еще при его жизни начали отходить от него, а потеряв его, решительно свернули с того пути, по которому шел автор знаменитого письма к Гоголю, не появившегося в печати, но во множестве рукописных списков распространявшегося в тогдашнем русском обществе.

В поэме «Саша» и в ряде других произведений Некрасова мы находим немало суровых высказываний о «либералах сороковых годов», у которых слово никогда не сходилось с делом и которые приходили в отчаяние, как только им предстояло поступиться чем-либо ради своих убеждений. Резко осуждал Некрасов этих «рыцарей доброго стремленья и беспутного житья» с их «постыдным бессилием раба». Однако наряду с этим Некрасов считал необходимым указать обстоятельства, смягчавшие в его глазах их вину. На этих людей он смотрел как на искалеченных тяжелыми политическими условиями, в которых они осуждены были жить и работать, как на жертвы той реакции, быть свидетелями торжества которой им выпало на долю. В наброске «Человек сороковых годов», Некрасов вкладывал в уста одного из таких людей следующее признание:

На всех, рожденных в двадцать пятом
Году и около того,
Отяготел жестокий фатум:
Не выйти нам из-под него.
Я не продам за деньги мненья,
Без крайней нужды не солгу...
Но — гибнуть жертвой убежденья
Я не могу... Я не могу...

Эти слова показывают, что бессилие и нерешительность людей 40-х годов Некрасов ставил в прямую связь с поражением восстания декабристов и наступившей после него реакцией, в условиях которой росли, развивались и формировали свой характер и свои убеждения эти люди.

Как ни сурово отзывался Некрасов о «людях сороковых годов», он в то же время сознавал и в себе самом некоторые черты характера, свойственные им. Подобно им, Некрасов был «сын больной больного века», и он, как и они, прошел «через цензуру незабываемых годов». И это наложило на него неизгладимый отпечаток, освободиться от которого полностью ему никогда не удавалось. Он с болью в душе сознавал это и, преувеличивая свою вину, доходил до того, что считал свою жизнь погибшей даром. Люди, находившие в себе силы пожертвовать собою за убеждения, всегда были предметом его зависти.

Бичуя себя, Некрасов забывал о широком отклике, который его поэтическая деятельность встречала в стране, и о громадном общественном значении, которое в силу этого приобретали его стихотворения и поэмы. Человек, усвоивший идеи Белинского и в течение всей своей жизни сохранявший верность им, человек, нашедший в себе силы пойти на полный разрыв со своими стародавними друзьями из лагеря либерального дворянства и бесповоротно соединивший свою судьбу с проповедниками крестьянской революции в лице Чернышевского и Добролюбова, человек, в самых тягчайших цензурных условиях не выпускавший пера из рук и продолжавший смело вести свой журнал в избранном им направлении,— такой человек грешил против истины и проявлял высшую несправедливость по отношению к себе, когда отзывался о своей жизни, как о «бесполезно погибшей».

Правда, порой Некрасов «к цели шел колеблющимся шагом». В его жизни были мучительные минуты, когда ему приходилось итти на компромиссы со своей совестью, приводившие в негодование людей более стойких, но не способных вполне объективно отнестись к тяжелому положению, в котором оказывался в такие минуты Некрасов.

«Некрасов,— пишет В. И. Ленин,— колебался, будучи лично слабым, между Чернышевским и либералами, но все симпатии его были на стороне Чернышевского» [13].

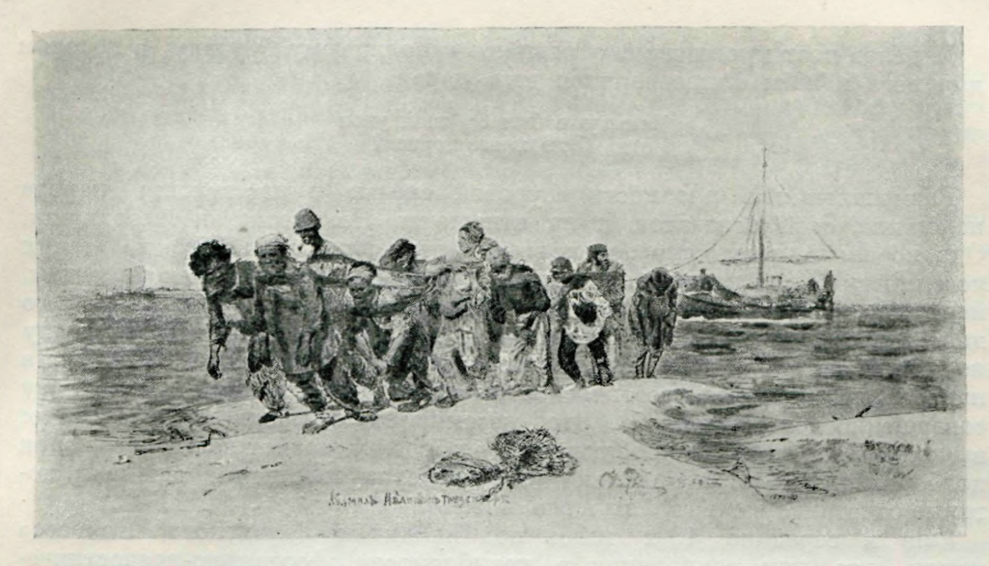
Отмеченная Лениным «слабость» объясняет многое в жизни Некрасова. Она являлась одной из причин, удерживавших его от вступления в ряды активных революционеров, но она не могла помешать ему в момент крайнего обострения классовой борьбы в условиях предстоящей отмены крепостного права решительно порвать связи с либералами и стать под знамя крестьянской революции. В этом его громадная, незабываемая заслуга. И она резко выделяет его из среды тех «людей сороковых годов», которые на всю жизнь оставались, по его выражению, «героями слова, а на деле детьми».

4

Характеризуя политические воззрения Герцена и выясняя причины, породившие его колебание между демократизмом и либерализмом, В. И. Ленин указывал, что он принадлежал «к помещичьей, барской среде». «Он,— писал Ленин про Герцена,— покинул Россию в 1847 г., он не видел революционного народа и не мог верить в него». В этом была не вина, а беда Герцена. Когда же в 60-х годах Герцен увидел в России восставший на защиту своих интересов народ, «он безбоязненно встал на сторону революционной демократии против либерализма» [14]. Это в известной мере можно сказать и о Некрасове.

Из статистических данных и секретных документов, ставших известными лишь в позднейшее время, мы знаем, что в царствование Николая I в русской деревне было весьма неспокойно. Факты и цифры показывают, что в тогдашней России крестьянское движение неуклонно нарастало и ширилось. Отношения между крестьянами и дворянством с каждым годом обострялись.

Однако в современную печать сведения о волнениях крестьян и о расправах их над помещиками не проникали. До русских интеллигентов того времени доходили только смутные, не всегда достаточно определенные слухи о событиях такого рода. Зато одно было для них совершенно очевидно и несомненно: это то, что массового крестьянского движения — такого, например, как при Пугачеве,— в современной им России нет. Они поэтому считали, что если в деревне и происходят порой волнения и столкновения между крестьянами и помещиками, то эти явления имеют



БУРЛАКИ НА ВОЛГЕ

Литография с картины И. Е. Репина с авторской раскраской и дарственной надписью художника Людмиле Ивановне Грузенберг, 15 августа 1914 г.

Третьяковская галлерея, Москва

случайный характер, вспыхивают без видимой связи между собой в различных местностях России и разновременно, а потому без особых затруднений подавляются властями. При таких условиях им казалось, что крестьянство, взятое в массе, продолжает терпеливо, безропотно и покорно переносить угнетающее его крепостническое рабство.

Некрасов в этом отношении не был исключением среди своих современников. Вспоминая впоследствии эту пору, он писал («Недавнее время»):

А народ — мы не знали о нем.
Правда, дикие, смутные вести
Долетали до нас иногда
О мужицкой расправе, о мести,
Но не верилось как-то тогда
Мрачным слухам. Покой нарушался
Только голодом, мором, войной...

Оторванность от народа, так ярко отображенная в этом стихотворении, отсутствие полного и точного представления о происходящем в деревне, о думах и чаяниях крестьянства, не могли, конечно, не отражаться на политических настроениях Некрасова и сказывались на его поэзии.

В стихотворениях Некрасова можно найти немало жалоб на политическую пассивность и апатичность русского крестьянства. «Спит народ под тяжким игом»,— писал он. «Народ угнетенный глух перед общей бедой»,— читаем мы в другом его стихотворении. «Терпенье безмерное» русского крестьянства не раз «досаду родит» в поэте и возбуждает порой грустные думы о будущности этого «терпеньем изумляющего народа». Существующий порядок начинает иногда казаться Некрасову настолько крепким, что трудно даже мечтать о перестройке его.

В стихотворении «На Волге» поэт писал:

Прочна суровая среда,
Где поколения людей
Живут и гибнут без следа
И без урока для детей.

И далее поэт продолжал, обращаясь к волжскому бурлаку, в котором для него как бы олицетворялся весь народ:

Чем хуже был бы твой удел
Когда б ты менее терпел?

Размышления о прочности «суровой среды» и пассивности народа наложили свой отпечаток и на отношение Некрасова к революции. Однако ни в коем случае нельзя преувеличивать значение таких пессимистических настроений и высказываний Некрасова, как это делал, например, Г. В. Плеханов. В речи, произнесенной по случаю 25-летия со дня смерти Некрасова, Г. В. Плеханов утверждал, что поэт «ни на минуту не мог поверить в возможность широкого революционного движения в народе», что массовое крестьянское восстание «представлялось Некрасову совершенно немыслимым» [15]. Это, несомненно, ошибочное утверждение: взгляды Некрасова на революцию и его оценка возможности революции подверглись с течением времени довольно существенным изменениям, которые отчетливо запечатлены в его поэзии.

Еще в середине 40-х годов под влиянием Белинского Некрасов понял, что при сохранении в незыблемости феодально-крепостнического строя народ осужден на тяжелую, беспросветную жизнь. Понял он и то, что светлое будущее народа недостижимо мирным путем, без насильственной борьбы, а также и то, что без участия самого народа эта борьба не может рассчитывать на успех. Однако в политических условиях России того времени народная революция представлялась ему делом хронологически неопределенного будущего. Убежденный в необходимости революции, он не видел, однако, в тогдашней России общественной силы, способной осуществить ее. Под влиянием этого, естественно, не могли иногда не зарождаться сомнения относительно ближайших перспектив борьбы.

Эти сомнения сказались, между прочим, на стихотворном диалоге «Поэт и гражданин» (1856), в котором, несомненно, нашли свое отражение беседы, происходившие тогда между Некрасовым и Чернышевским. На призывы «гражданина» служить лирой «неимущим хлеба» и итти «в огонь за честь отчизны» «поэт» отвечает указанием на прочность и непоколебимость зла и на безнадежность борьбы против него. Вспоминая годы своей юности, «поэт» восклицает:

Куда ретив был мой Пегас!
. . . .
Клянусь, я честно ненавидел,
Клянусь, я искренно любил!

И далее рассказывает о том, как его любовь и ненависть, не встречая отзыва в окружающей среде, угасли и как это побудило его «сложить смиренно руки» и прекратить борьбу в сознании своего одиночества и отсутствия поддержки.

К о г д а б я в и д е л х о т ь б о р ь б у,
Бороться стал бы, как ни трудно...—

признается он «гражданину». Однако борьбы-то он нигде не видел. В результате тяжелых разочарований и гибели юношеских надежд ему не оставалось ничего другого, как с грустью признаться:

Под игом лет душа погнулась,
Остыла ко всему она,
И муза вовсе отвернулась,
Презренья горького полна.
Теперь напрасно к ней взываю —
Увы! сокрылась навсегда.

Поэт был несправедлив по отношению к самому себе. Он недооценивал своих сил, значения своей борьбы и преувеличивал свою разочарованность. Он напрасно упрекал свою музу, что она будто бы навсегда покинула его. В действительности же муза не переставала вдохновлять поэта на его песни, и эти песни, передаваемые им, чем дальше, тем с большей силой ударяли по сердцам слушателей. Гнетущее чувство одиночества и безнадежности, охватывавшее подчас поэта, сменилось радостным сознанием, что призывы его музы, наконец, перестали оставаться безответными и начали находить небывалый ранее отклик со стороны общества.

Призывы и доводы «гражданина» не прошли бесследно для «поэта» и оказали на него могучее возрождающее влияние.

5

Разрыв Некрасова с его прежними друзьями — Тургеневым, Боткиным, Дружининым и другими членами их кружка — как ни тяжел он был для поэта, облегчался тем, что, несмотря на близость их, полного единомыслия между ними никогда не существовало. Даже в самые тяжелые годы николаевской реакции, в так называемую «эпоху цензурного террора», когда Некрасов, лишившись в лице Белинского своего идейного руководителя, остался в одиночестве и в силу этого поневоле теснее сблизился с людьми, занимавшими в то время — за смертью Белинского и эмиграцией Герцена — передовые посты в русской литературе,— между ним и представителями либерального дворянства на каждом шагу обнаруживались весьма существенные разномыслия.

Когда мы теперь знакомимся с письмами этих людей к Некрасову и их перепиской друг с другом, относящейся к 40-м и 50-м годам прошлого века, для нас становится совершенно ясным их несколько снисходительно-

БУРЛАКИ

Картина маслом А. К. Саврасова, 1871 г.

Третьяковская галлерея, Москва

высокомерное отношение к Некрасову и далеко не всегда благоприятное для поэта мнение о его поэтическом творчестве. Поэзия Некрасова в основных и ведущих ее мотивах была чужда им и принималась ими только с весьма существенными оговорками. Вместе с тем, они не могли не сознавать силу и остроту поэтического дара Некрасова и то волнующее и возбуждающее воздействие, какое его стихотворения производили на читателей. По выходе в свет в 1856 г. книжки стихотворений Некрасова Тургенев, нередко склонный категорически отрицать существование у Некрасова поэтического таланта, был вынужден признать, что стихотворения этого поэта, «собранные в один фокус,— жгутся»[16]. Тогда же он писал М. Н. Лонгинову: «Я никогда не сомневался в огромном успехе стихотворений Некрасова. Радуюсь, что мои предсказания сбылись... Что ни толкуй его противники, а популярнее его нет теперь у нас писателей — и поделом»[17].

Сознавая силу поэзии Некрасова, его друзья стремились побудить его перестроить свою лиру на их лад. Это они делали и в разговорах с ним, и в своих письмах к нему, и на страницах печати.

«Одни честные мысли,— поучал Некрасова Тургенев, имея в виду его стихи,— нельзя назвать поэзией»[18]. В свою очередь В. П. Боткин писал Дружинину в сентябре 1855 г.: «Зачем, любезный друг, ограничиваете вы гонение на дидактику одним только гоголевским направлением; надобно гнать ее везде, начиная с некоторых стихотворений Некрасова, который, кажется, начинает впадать в дидактизм»[19]. Дружинин незамедлительно выполнил это указание Боткина. Воспользовавшись выходом в свет отдельным изданием повестей Тургенева, он противопоставил этого писателя — «благороднейшего эпикурейца-поэта», по выражению Дружинина,— «сумрачным дидактикам». Фамилии «дидактиков» названы не были, но далее следовало вполне ясное и понятное для читателей указание на то, кого именно имеет в виду Дружинин: через несколько строк он, как бы мимоходом, упомянул о «довольно неудачном выражении одного писателя: «любить ненавидя»[20].

Читатели хорошо понимали, что эти выпады Дружинина направлены против Некрасова. Именно он был тем писателем, который своими поэтическими произведениями разрушал столь любезную сердцу Дружинина «светлую философию», долженствующую затушевывать мрачные стороны русской действительности того времени и отвлекать читателей от участия в борьбе за переустройство русского общества. Именно Некрасов был тем писателем, у которого слово «любовь» неизменно сочеталось со словами «ненависть» и «злоба». Именно он в 1852 г. воспевал поэта, горящего святой злобой:

Со всех сторон его клянут
И, только труп его увидя,
Как много сделал он, поймут,
И как любил он — ненавидя.

(«Незлобивый поэт»)

Именно он, Некрасов, в другом стихотворении утверждал:

Кто живет без печали и гнева,
Тот не любит отчизны своей.

(«Газетная»)

Это он говорил о «русских мыслях»,

В которых так много злобы и боли,
В которых так много любви.

(«Крестьянские дети»)[21]

Неразрывная связь любви с ненавистью постоянно являлась одной из характернейших черт поэзии Некрасова. Для него любовь и ненависть являлись двумя сторонами одного чувства. Любовь к человеку всегда у него была соединена с ненавистью к тому, кто этого человека угнетает и оскорбляет. Любовь к родному народу порождала в нем неутомимую злобу к его притеснителям и эксплоататорам.

Этого не понимали Боткин и его друзья, делавшие наивную попытку убедить Некрасова, что он «клевещет на себя», утверждая, что

То сердце не научится любить,
Которое устало ненавидеть.

«Не знаю я,— писал Боткин в декабре 1855 г.,— насколько ты можешь ненавидеть,— но насколько ты можешь любить, я это чувствую. Я не знаю другого сердца, которое так же умеет любить, как твое...» [22].

Хорошо известно, какую упорную борьбу вели друзья Некрасова с Чернышевским за «Современник». Для них в этой борьбе вопрос был поставлен не только об их влиянии на широко распространенный, пользовавщийся большою популярностью среди читателей журнал, но также и о руководителе этого журнала Некрасове. Боткин, Дружинин и другие члены их кружка прилагали все усилия к тому, чтобы пересоздать Некрасова по своему образу и подобию и заставить его музу служить их идеалам и целям. Естественно поэтому, что те «неверные звуки», которые порой проникали в поэзию Некрасова, приводили их в восторг; они стремились убедить поэта, что именно эти «неверные звуки» и есть самая настоящая, доподлинная поэзия.

Когда в 1855 г. Некрасов призывал свою музу «замолкнуть»:

Я сон чужой тревожить не хочу,
Довольно мы с тобою проклинали...—

друзья поэта восприняли эти строки, как его отказ от «злобы» и «ненависти». Тургенев, посылая это стихотворение («Замолкни, Муза мести и печали!») П. В. Анненкову, сообщал, что Некрасов «просветлел и умягчился». Еще более восторженно приветствовали они некрасовское стихотворение «Тишина» (1857), в котором им хотелось видеть доказательство готовности Некрасова примириться с действительностью.

Однако ни упреки, ни похвалы друзей не подействовали на Некрасова. В основном он всегда оставался верен своей «музе мести и печали».

Отрицательным отношением к его поэзии друзья Некрасова облегчали ему предстоящее расхождение с ними.

Мы упоминали выше о том, что в 1856 г. стихотворения Некрасова вышли отдельным изданием. Эта небольшая книжка имела выдающийся успех. В течение нескольких дней все издание было распродано. Цензор Волков, рассматривавший, по приказанию министра народного просвещения, книжку Некрасова по выходе ее в свет, в своем заключении писал о ней: «Книгу Некрасова видишь почти в каждом образованном семействе; все ее читают, все от нее в восторге, все торопятся приобрести ее! Бесспорно, велик талант у г. Некрасова» [23]. В одном лишь Волков был неправ, когда писал эти строки: далеко не все были в восторге от стихотворений Некрасова. В правительственных кругах его книга вызвала сильную тревогу и негодование на цензуру, пропустившую ее. «Аристократическая сволочь», по выражению герценовского «Колокола», сочла эту книжку «чуть не адской машиной», усмотрев в ней нечто вроде «призыва к оружию»[24].

Тургенев, как мы уже знаем, считал успех, выпавший на долю стихотворений Некрасова, вполне заслуженным. Не признать этого было нельзя. И тем не менее Некрасову пришлось выслушивать много неприятного

от своих друзей. По их мнению, он допустил ошибку, зря раздразнив своей книгой правительство. Подобные упреки не могли не оскорблять Некрасова. В апреле 1857 г. он писал Л. Н. Толстому: «...кстати скажу, что я был серьезно обижен тем несомненным фактом, что̀ все мои литературные друзья в деле о моей книге приняли сторону сильного, обвиняя меня в мальчишестве. Ах, любезный друг! Не мальчишество на этом свете только лежание на пуховике, набитом ассигнациями, накраденными собственной или отцовской рукой. Каковы бы ни были мои стихи, я утверждаю, что никогда не брался за перо с мыслью, что̀ бы такое написать, или как бы что написать: позлее, полиберальнее,— мысль, побуждение, свободно возникавшие, неотвязно преследуя, наконец, заставляли меня писать. В этом отношении я, может быть, более верен свободному творчеству, чем многие другие... Все это я говорю к тому, что изменить характер своего писания я не могу..., а потому не ждите от меня ничего по части стихов, что б пришлось по Вашему вкусу»[25].

Эта суровая отповедь, формально адресованная Толстому, по существу являлась ответом Некрасова всем его чрезмерно осторожным и чересчур благоразумным друзьям. Из слов Некрасова они могли понять, что борьба, которую они вели за него, ими проиграна, а напечатанная им в «Современнике», вскоре после написания только что цитированного письма Л. Н. Толстому, «Песня Еремушке», с ее яркими революционными призывами, с ее проповедью «необузданной, дикой к угнетателям вражды», должна была окончательно убедить их, что поэт полностью освободился от их влияния и что он твердо стал на путь, далеко расходящийся с дорогой, по которой шли они. На «измену» Некрасова они ответили ненавистью к нему, доходившей до того, что один из них, В. П. Боткин, не стеснялся подзадоривать цензуру в ее борьбе с некрасовским журналом. Трудно было бы поверить в возможность такого факта, если бы сам Боткин не поведал о нем с полной цинизма откровенностью. В одном из писем к Фету, в начале 1866 г., выражая радость по поводу двух предостережений, данных цензурой «Современнику», Боткин писал: «Я же, пользуясь моим знакомством с членами совета по книгопечатанию, стараюсь поддерживать их в их энергии»[26].

Ясно, что к этому времени Некрасов определился для Боткина как классовый враг, в борьбе против которого он считал допустимым любые средства.

6

То двустороннее чувство любви-ненависти, которое, как мы убедились, стало характерным для поэзии Некрасова и которое приводило в негодование его бывших друзей, было вполне понятно для людей из радикально-демократического лагеря. Еще в 1847 г. Белинский писал в одном из писем к К. Д. Кавелину: «Терпеть не могу я восторженных патриотов, выезжающих вечно на междометиях или на квасу да каше; ожесточенные скептики для меня в тысячу раз лучше, ибо ненависть иногда бывает только особенною формою любви»[27].

Вполне понимали чувства Некрасова и Чернышевский с Добролюбовым. Первый из них в романе «Что делать?» вкладывал в уста Лопухова, после превращения его по ходу романа и по воле автора в Чарльза Бьюмонта, характерное упоминание о Некрасове. Говоря с Полозовым о «турецком невежестве», царящем в России и обусловливающем ее «японскую беспомощность», Бьюмонт добавлял: «Я ненавижу вашу родину, потому что люблю ее, как свою, скажу я вам, подражая вашему поэту»[28].

Любовь-ненависть Некрасова являлась не чем иным, как выражением существенных особенностей его патриотизма. Он сам отчетливо понимал

это. В одном из писем к Толстому в 1856 г. он писал: «Когда мы начнем больше злиться, тогда будет лучше, т. е. больше будем любить,— любить не себя, а свою родину» [29].

Любовь к родине сливалась для Некрасова воедино с интересами народа.

Верь, что во мне необъятно безмерная
Крылась к народу любовь...

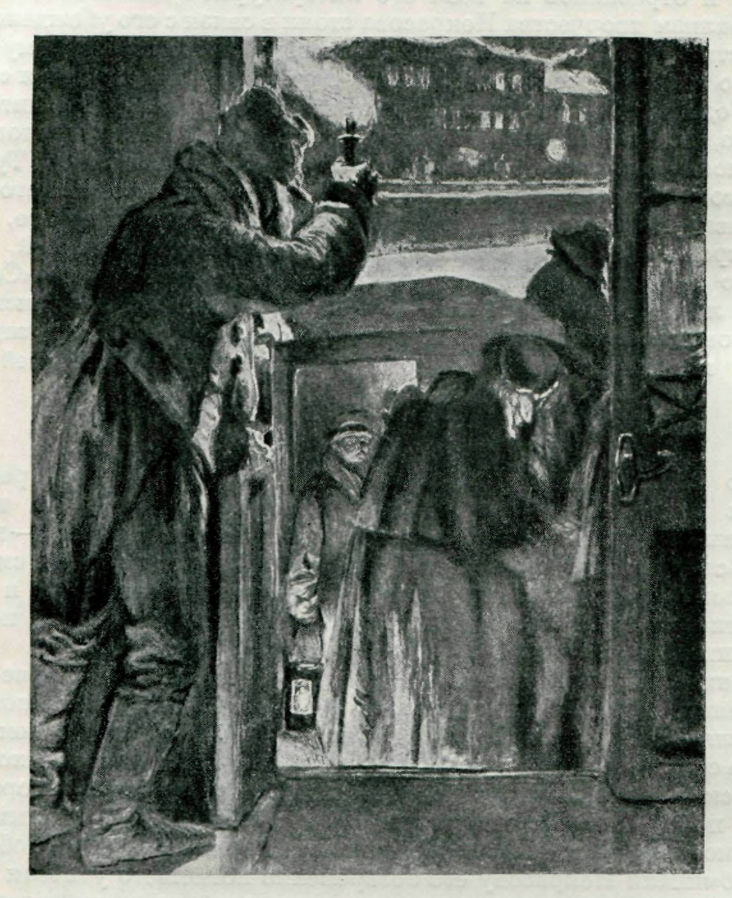


ИЛЛЮСТРАЦИЯ К «РУССКИМ ЖЕНЩИНАМ» («ДЕКАБРИСТКАМ»)
ОТЪЕЗД КНЯГИНИ ТРУБЕЦКОЙ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В СИБИРЬ
Акварель Д. Н. Кардовского, 1922 г.
Третьяковская галлерея, Москва

— писал Некрасов, и он имел полное основание говорить это о себе. Он «музу посвятил народу своему», и она честно служила ему, хотя сам он мучился, считая, что она якобы принесла народу недостаточно пользы.

Некрасов к оценке явлений современной ему общественной жизни подходил с точки зрения соответствия их с нуждами и интересами народных масс.

«Любовь к отечеству,— писал Некрасов в 1855 г.,— заключается прежде всего в глубоком, страстном и небесплодном желании ему добра и просвещения, в готовности нести ему на алтарь достояние и самую жизнь, в горячем сочувствии всему хорошему в нем и в благородном негодовании против того, что замедляет путь к совершенствованию» [30].

Некрасов хорошо знал зло русской жизни и не хотел мириться с ним или закрывать глаза на него. Его отношение к родине отличалось таким же критическим характером, как отношение к ней Белинского, который безгранично возмущался «гнусной российской действительностью» именно потому, что горячо любил свою родину и мечтал видеть ее не угнетенной и отсталой, а свободной и процветающей.

Ненависть Некрасова к произволу, подавлению человеческой личности, бесправию и эксплоатации не только определяла его политические убеждения, но и отразилась на всей его литературной деятельности: критический реализм творчества Некрасова стоял в связи с его убеждением о необходимости для писателя посвятить свое перо служению родному народу.

Когда во второй половине 50-х годов Дружинин, полемизируя с Чернышевским, ополчился против «обличительного направления» в литературе, созданного, по его мнению, в России Белинским, и стал проповедывать необходимость «нового направления», Некрасов в письме к Тургеневу указал, что проповедь Дружинина обречена на неудачу. «Какого н о в о г о направления он хочет? — писал Некрасов.— Есть ли другое, живое и честное, кроме обличения и протеста? Его создал не Белинский, а среда, оттого оно и пережило Белинского, а совсем не потому, что «Современник» — в лице Чернышевского — будто бы подражает Белинскому» [31]. В этих словах Некрасов сжато сформулировал свой взгляд на задачи литературы, и этому взгляду он оставался верен в течение всей жизни.

7

Чувство одиночества, овладевшее Некрасовым после его разрыва с прежними друзьями — особенно с Тургеневым, которого он искренно любил и высоко ценил как замечательного художника слова,— не могло сохраниться у него надолго. Некрасов скоро убедился, что на смену старым друзьям у него появились новые, с неменьшей любовью и преклонением относившиеся к его таланту и лучше старых друзей понявшие и оценившие его творчество.

Сближение с Чернышевским и Добролюбовым имело поистине громадное значение в жизни Некрасова. Узнав этих людей, познакомившись с их мыслями и чувствами, он проникся глубоким уважением к ним. В их лице он встретил представителей новой для него общественной среды, по всему складу мышления и поведения далеких от среды, которая окружала его после смерти Белинского. Своей любовью к народным массам и преданностью делу их освобождения Чернышевский и Добролюбов живо напоминали Некрасову его безвременно погибшего учителя и друга. В них Некрасов нашел истинных продолжателей дела, начатого Белинским.

Первые же выступления Чернышевского на литературном поприще убедили Некрасова в этом. В февральской книжке «Современника» за 1854 г. Чернышевский напечатал рецензию, посвященную критическому разбору романов и повестей второстепенного беллетриста той поры М. В. Авдеева. В своих произведениях Авдеев изображал в идиллических тонах помещичью жизнь. Чернышевский указывал, что произведения Авдеева отмечены ложной тенденцией, ибо «не всякий образ жизни может быть идеализирован в своей истине». Поясняя свою мысль, он писал, что те «голубки», которых рисует Авдеев, в действительности не голуби, а «просто на просто осовевшие под розовыми красками коршуны и сороки», и что от них «плохо приходится очень многим, потому что тунеядцы должны же кого-нибудь объедать» [32].

В цензурных условиях того времени трудно было яснее выразить мысль о паразитизме господствующего класса. Во всяком случае, читатели хо-

рошо поняли, что̀ именно хотел сказать Чернышевский. Друзья Некрасова были глубоко возмущены казавшейся им дерзкой выходкой молодого литератора. Они настаивали перед Некрасовым на удалении автора возмутившей их рецензии из «Современника». Однако их настояния не увенчались успехом. Некрасов хорошо знал, что̀ он делал, когда печатал рецензию Чернышевского, и поэтому поддержал его. Иначе и быть не могло, потому что он сам был вполне согласен с той оценкой, какую

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К «РУССКИМ ЖЕНЩИНАМ» («ДЕКАБРИСТКАМ»)
ВЕЧЕР У ЗИНАИДЫ ВОЛКОНСКОЙ
Акварель Д. Н. Кардовского, 1922 г.
Третьяковская галлерея, Москва

Чернышевский дал общественной роли господствующего класса. Рецензия Чернышевского могла только радовать редактора «Современника», показывая ему, что в лице молодого сотрудника своего журнала он нашел человека, близкого ему по взглядам. Чем дальше, тем более убеждался в этом Некрасов, и скоро чувство взаимной любви и уважения связало его с Чернышевским.

Чернышевский не скрывал от Некрасова, как высоко он ценил его поэтическое творчество, и ставил своею целью поддерживать энергию и творческую инициативу в хандрившем порой и упрекавшем себя в бессилии и ослаблении воли поэте. «Такого поэта, как Вы, у нас еще не было»,— писал Чернышевский Некрасову в 1856 г., указывая на обя-

занность, лежащую на нем по отношению к русскому обществу и народу. «Пожалуйста, постарайтесь укрепить свое здоровье,— убеждал Чернышевский Некрасова,— оно нужно не для Вас одних. Вы теперь лучшая — можно сказать, единственная прекрасная надежда нашей литературы. Пожалуйста, не забывайте, что общество имеет право требовать от Вас: «будь здоров, ты нужен мне...». Вы сделали много... но еще гораздо больше Вы сделаете. Ваши силы огромны и, что Вы ни говорите, свежи. Будьте же здоровы, берегите себя и не освобождайте себя от обязанности трудиться для настоящего сожалениями о прошедшем» [33].

Чернышевский ценил в поэзии Некрасова именно то, что отталкивало от нее его прежних друзей: жгучий протест поэта против чудовищных условий русской жизни, его пламенную любовь к русскому народу, его сочувствие всем обиженным судьбой и людьми, его мечты о светлом будущем, когда не станет ни господ, ни рабов, ни эксплоататоров чужого труда, ни эксплоатируемых.

Добролюбов, с которым, несмотря на разницу в летах, Некрасов особенно сблизился, относился к его поэзии совершенно так же, как и Чернышевский.

«Выучи наизусть и вели всем, кого знаешь, выучить песню Еремушке Некрасова, напечатанную в сентябрьском «Современнике»...,— писал в 1859 г. Добролюбов одному из своих школьных приятелей.—Помни и люби эти стихи: они дидактичны, если хочешь, но идут прямо к молодому сердцу, не совсем погрязшему в тине пошлости. Боже мой, сколько великолепных вещей мог бы написать Некрасов, если бы его не давила цензура» [34].

Как и Чернышевский, Добролюбов настойчиво убеждал Некрасова в том, что он может и должен принести еще много пользы русскому народу. Живший всецело интересами революции и подчинявший им всю свою литературную работу, Добролюбов не только ценил Некрасова, как «представителя добрых начал в нашей поэзии», но и находил его способным сыграть громадную роль в общественном движении, аналогичную той, которую в Италии играл в то время Гарибальди. В одном из писем 1860 г. Добролюбов писал Некрасову: «Опять мне суется в голову Гарибальди; вот человек, не уступивший пошлости, а сохранивший свято свою идею... Очевидно, этот человек должен чувствовать, что он не загубил свою жизнь, а должен быть счастливее нас с Вами при всех испытаниях, какие потерпел. А между тем, я Вам говорю не шутя — я не вижу, что б Ваша натура была слабее его. Обстоятельства были другие... Вы, впрочем, сами знаете все это, но не хотите себя поставить на ноги, чтобы дело делать» [35].

Это замечательное письмо было написано Добролюбовым по поводу стихотворения Некрасова «Рыцарь на час», в котором поэт ярко изобразил переживания и чувства человека, которого недостаток решительности и нравственное слабосилие удерживают от перехода «в стан погибающих за великое дело любви».

Усилия Чернышевского и Добролюбова не пропали даром. Под их влиянием Некрасов исцелился от апатии и хандры. Они укрепили в поэте уверенность в неминуемости конечного торжества того дела, которому он посвятил свою лиру.

Много вынес Некрасов полезного для себя из общения со своими молодыми друзьями. Наблюдая за Добролюбовым, который одно время жил на одной квартире с Некрасовым, последний убедился, что на смену дворянской интеллигенции идет новая интеллигенция, гораздо более близкая народу, не отделяющая своих личных интересов от интересов угнетенных и порабощенных народных масс. Добролюбов был для Некрасова образцом человека, последовательного во всех своих действиях, твердым

шагом идущего к намеченной цели и готового пожертвовать всем ради торжества дела, на служение которому он посвятил свои силы. «Добролюбов,— говорил Некрасов,— это такая светлая личность, что, несмотря на его молодость, проникаешься к нему глубоким уважением. Этот человек не то, что мы: он так строго следит за собою, что мы все перед ним должны краснеть за свои слабости, которыми заражены» [36].

Развитие политической жизни в России на каждом шагу убеждало Некрасова, насколько он был прав, отдав новым друзьям предпочтение перед старыми. Он вскоре убедился, что направление, принятое «Современником» под руководством Чернышевского и Добролюбова, вопреки неоднократным предсказаниям Боткина и Дружинина, не только не привело к падению популярности этого журнала, но способствовало росту его влияния. «Современник» приобрел новых читателей, для которых каждая вновь выходящая книжка этого журнала была предметом не только чтения, но и изучения. Правда, одновременно с этим росла и ненависть к «Современнику» его многочисленных врагов. Однако это не пугало Некрасова, который еще в 1852 г. писал про истинного, понимающего свое общественное назначение поэта:

Его преследуют хулы:
Он ловит звуки одобренья
Не в сладком ропоте хвалы,
А в диких криках озлобленья...

Нарастающая злоба врагов показала Некрасову, что «Современник» становится все более мощной общественной силой. А сознание этого — лучшая награда для истинного журналиста, каким был Некрасов. Выступая плечом к плечу с Чернышевским и Добролюбовым, Некрасов уже не чувствовал себя одиноким в борьбе, которую ему приходилось вести.

Смерть Добролюбова и арест Чернышевского потрясли Некрасова:

Какой светильник разума угас.
Какое сердце биться перестало!
. . . .
Плачь, русская земля. Но и гордись —
С тех пор, как ты стоишь под небесами,
Такого сына не рождала ты
И в недра не брала свои обратно

— писал Некрасов в стихотворении «Памяти Добролюбова». В скончавшемся писателе поэт видел пример того, как следует жить и умирать «для славы, для свободы».

Таким же образцом истинного гражданина являлся для Некрасова Чернышевский. Это видно из стихотворения «Пророк». Найденный в настоящее время новый источник этого стихотворения (см. выше, на стр. XXV) устраняет всякие сомнения относительно того, что оно было посвящено поэтом именно Чернышевскому, страдальческую участь которого Некрасов не мог забыть в течение всей своей жизни. Для Некрасова Чернышевский — человек, понявший «невозможность служить добру, не жертвуя собой», и ради любви своей к делу, ставшему целью его жизни, смело идущий на смерть. Некрасовский «Пророк» не задумывается о личном счастье, потому что его счастье неотделимо для него от счастья общества:

Так, мыслит он — и смерть ему любезна,
Не скажет он, что жизнь его нужна,
Не скажет он, что гибель бесполезна:
Его судьба давно ему ясна...

Некрасов навсегда сохранил благодарную память о замечательных людях, рука об руку с которыми ему пришлось работать в бурную эпоху

революционной ситуации 60-х годов. И когда, уже на смертном одре, он услышал из уст А. Н. Пыпина привет, присланный ему из далекой сибирской ссылки Чернышевским, то он воспринял это как лучшую награду за всю свою литературную деятельность.

8

Никто из сотрудников «Современника» не пользовался в глазах Некрасова таким авторитетом, как Чернышевский и Добролюбов. Некрасов понимал, какое громадное значение имеет их деятельность и какое исключительное влияние завоевали они себе среди революционно-демократических кругов тогдашнего общества. Только учитывая это, можно представить себе, каким тяжелым ударом явились для Некрасова смерть Добролюбова и арест Чернышевского. Утратив их, Некрасов не видел вокруг себя людей, которые могли бы заменить их в редакции «Современника». В жизни Некрасова началась новая полоса одиночества. Однако на этот раз он был уже не тем, каким являлся до сближения с ними. Несмотря на чрезвычайную сложность тогдашнего политического положения в стране, Некрасов нашел в себе силы продолжать дело, которое ранее он вел вместе с ними.

Добролюбов и Чернышевский сошли с литературного поприща в дни, когда Россия переживала переломный момент в своем историческом развитии. Реформа 1861 г., отразившаяся на всех сторонах жизни России, поставила перед нею новые, незнакомые прежнему времени задачи.

Характеризуя отношение революционно-демократических кругов к реформе 19 февраля, В. И. Ленин писал: «Были и тогда уже в России революционеры, стоявшие на стороне крестьянства и понимавшие всю узость, все убожество пресловутой «крестьянской реформы», весь ее крепостнический характер. Во главе этих, крайне немногочисленных тогда, революционеров стоял Н. Г. Чернышевский» [37]. К числу этих немногочисленных людей с полным правом должен быть отнесен и Некрасов. Он сразу же осознал, что наряду с «волей» реформа несет новые страдания русскому крестьянству. «Так вот что такое эта «воля». Вот что такое она!» — воскликнул он, читая царский манифест [38]. Не этого он ждал, не этого он желал для своего народа.

В стихотворениях Некрасова мы находим ряд откликов на реформу 19 февраля, свидетельствующих, что в оценке ее он вполне сходился с Чернышевским. Как и Чернышевскому, ему было ясно, что самодержавно-дворянское правительство, подготавливая отмену крепостного права, отнюдь не считалось с интересами и потребностями крестьянства, а заботилось об одном только — чтобы интересы помещиков пострадали как можно менее от лишения их прежней власти над крепостными рабами.

Что ж не вижу следов обновленья
В бедной отчизне моей?

— спрашивал поэт, констатируя, что «в жизни крестьянина, ныне свободного», попрежнему царят «бедность, невежество, мрак».

«Не много выиграл народ, и легче нет ему покуда»,— писал Некрасов в другом стихотворении. Поэт хорошо понимал, что «на месте цепей крепостных люди придумали много иных», что освобожденные крестьяне остались в полной экономической зависимости от помещиков и что к старому помещичьему гнету, лежавшему на них, присоединяется новый, связанный с проникновением в деревню капиталистической эксплоатации.

Одним из первых в художественной литературе Некрасов отметил появление на нашей родине «кулака», который «по селеньям зверем рыщет

ПРИВАЛ АРЕСТАНТОВ
Картина маслом В. И. Якоби, 1861 г.
Третьяковская галлерея, Москва

выжимая четвертак». В стихотворении «Горе старого Наума» Некрасов показал силу и значение, приобретенные в деревне деньгами. Ростовщик-кулак, ссужающий деньги взаймы за работу, держит всю округу в своих загребистых лапах:

Уж нет помещичьих крепей,
Мои остались крепи,

— самодовольно заявляет он. Для крестьян зависимость, в которую они попали от кулака, явилась ничем не легче крепостной неволи.

Двойная эксплоатация, которой подверглись «освобожденные» крестьяне, неумолимо влекла их к полному разорению. Народ изнывал в непосильном труде, а все плоды этого труда шли в руки дармоедов и хищников:

Работаешь один,
А чуть работа кончена,
Гляди — стоят три дольщика:
Бог, царь и господин.

Со скорбью и негодованием рисовал Некрасов прогрессирующее обнищание и бескультурье пореформенной деревни:

— Как у вас хлебушко? «Нет ни ковриги».
— Где у вас скот? «От заразы подох».
А заикнулся про школы, про книги —
Прочь побежали...
К школе подвешен тяжелый замок,
Нивы посохли, коровы подохли.
Как эти люди заплатят оброк?

Яркую картину крестьянской нищеты Некрасов нарисовал в своей знаменитой поэме «Кому на Руси жить хорошо». Многие страницы этой поэмы могут служить художественной иллюстрацией к ленинским указаниям на грабительский характер реформы 19 февраля.

Нищие крестьянские наделы, недостаточные для пропитания владельцев и для удовлетворения их элементарных жизненных потребностей, и рядом с ними обширные помещичьи латифундии, хозяйство которых основано на безжалостной эксплоатации крестьянского труда,— вот основное противоречие, порождающее все бедствия пореформенной деревни и отражающееся не только на экономическом положении ее населения, но и на всех сторонах его жизни. Малоземелье, нищета и систематическое недоедание пореформенного крестьянства грозят подорвать его физические и умственные силы. Нищета и бесправие гонят крестьянина в кабак. Нищета и бесправие порождают кошмарную участь русской крестьянки, которую безрадостная жизнь и непрерывный непосильный труд заставляют «отцветать, не успевши расцвести»; это они сообщают ее лицу выражение «вечного бессмысленного испуга». Нищета и бесправие уродуют в умственном и физическом отношениях русского крестьянина:

Грудь впалая, как вдавленный
Живот; у глаз, у рта
Излучины, как трещины
На высохшей земле;
И сам на землю-матушку
Похож он: шея бурая,
Как пласт, сохой отрезанный;
Кирпичное лицо,
Рука — кора древесная,
А волосы — песок...

9

Как ни мрачны картины русской жизни, изображенные Некрасовым, в его поэзии нет ни безнадежности, ни пессимизма. Напротив того, его стихотворения 60-х и 70-х годов отличаются глубоким оптимизмом и

уверенностью в том, что, как ни тяжелы испытания, выпавшие на долю русского народа, его ожидает светлое, радостное будущее.

В поэме «Несчастные» Некрасов писал о России:

Она не знает середины —
Черна — куда ни погляди.
Но не проел до сердцевины
Ее порок. В ее груди
Бежит поток живых и чистых,
Еще немых народных сил:
Так под корой Сибири льдистой
Золотоносных много жил.

Некрасов знал, что его родина не только «убогая», но и «обильная», не только «бессильная», но и «могучая»; он понимал, что освобождение русского народа от лежащего на нем гнета даст свободный выход его могучим силам. Вот почему, рисуя мрачную русскую действительность, он одновременно провидел начало «иных времен, иных картин».

Он был уверен в том, что если «русской груди вздохнуть пошире, повольней» —

Покажет Русь, что есть в ней люди,
Что есть грядущее у ней.

История русского народа убеждала Некрасова, что этот народ, не сломленный ни татарским игом, ни помещичьим гнетом, ни ужасами рекрутчины,

Вынесет всё — и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе.

Некрасову чужда всякая идеализация русского крестьянства. В его представлении наш народ — не «народ-богоносец», каким его изображали славянофилы и их эпигоны, и не «коммунист по инстинкту», каким хотели видеть его народники. Отношение Некрасова к русскому народу вполне реалистично, лишено всякого мистицизма и романтизма. Поэт слишком хорошо знал русского крестьянина и не чувствовал потребности идеализировать его. Но он трезво учитывал те могучие умственные и нравственные задатки, которые заложены в русском народе и которые широко разовьются, как только с этого народа будет снята цепь, сковывающая его.

Еще в 1848 г. Некрасов вкладывал в уста героя своего романа «Три страны света» Каютина такие слова о русском крестьянстве: «Я много люблю русского крестьянина, потому что хорошо его знаю. И кто, подобно нашим юношам, после обычной «жажды дела» впал в апатию и сидит сложа руки, кого тревожат скептические мысли, безотрадные и безвыходные, тому советую я, подобно мне, прокатиться по раздольному нашему царству, побывать среди всяких людей, посмотреть всяких див... В столкновении с народом он увидит, что много жизни, здоровых и свежих сил в нашем милом и дорогом отечестве».

Вера в русский народ никогда не покидала Некрасова, и если в его поэзии иногда прорывались пессимистические нотки, то это вызывалось глубокой скорбью поэта при мысли о том, что освобождение народа еще не так близко, как ему хотелось бы, и что народу придется вынести еще не мало страданий, прежде чем он придет к счастливому, светлому будущему.

10

Вера в великое будущее русского народа особенно укрепилась в Некрасове в годы его совместной работы с Чернышевским и Добролюбовым. В общении с ними Некрасов окончательно уяснил себе, что для освобо-

ждения России от власти царя и помещиков возможен только один путь — путь народной революции. Чернышевский и Добролюбов питали твердую уверенность в неминуемости революции в России, в ее близости и конечном торжестве. Исходя из этого, всю работу свою в «Современнике» они подчинили одной основной задаче — всемерно содействовать приближению общенародного восстания. Отводя народным массам решающую роль в революции, твердо уверенные в том, что освобождение народа может быть достигнуто только самим народом, они считали задачей революционно-демократической интеллигенции — способствовать скорейшему пробуждению народных масс и внести в народное движение ту сознательность и ту организованность, которых ему ранее недоставало.

Ход исторических событий убедил Некрасова в том, что вера Чернышевского и Добролюбова в народную революцию имеет под собою твердую почву. В шестидесятых годах Некрасов увидел, что русское крестьянство вовсе не так безнадежно апатично, терпеливо и покорно судьбе, как это порой представлялось ему ранее.

Известно, какими интенсивными повсеместными волнениями ответила деревня на объявление «воли», не удовлетворившей ее ожиданиям. Со всех концов России приходили сведения о волнениях крестьян и об их активных выступлениях против «обманной воли». Час, когда эти волнения перерастут во всеобщую крестьянскую революцию, казался близок. И если и на этот раз надежды друзей народа не оправдались, если дело ограничилось только разрозненными волнениями, волна которых с 1863 г. начала спадать, то все же с полной очевидностью выяснилось, что народ вовсе не примирился со своей участью, что ему уже невмоготу гнет, лежащий на нем, и что теперь он уже способен на активную борьбу против своих врагов.

Некрасов слишком хорошо знал русское крестьянство, чтобы поверить, будто спад волны открытых выступлений и бунтов во второй половине 60-х годов вызывался примирением крестьян со своей участью, их «успокоением». Он видел, что деревня от разрозненных восстаний, легко подавлявшихся правительством, переходит к новым формам отстаивания своих интересов — к упорной, повседневной, малозаметной, но весьма чувствительной для помещичьего класса борьбе на почве своих насущных нужд: к массовым потравам помещичьих лугов, поджогам их усадеб, вырубке их леса, упорному уклонению от выполнения обязанностей, возложенных на крестьян в пользу их бывших «господ». Крестьянское движение вступило в новый фазис, свидетельствующий о том, что злоба деревенского населения против его угнетателей и эксплоататоров не только не стихает, а, наоборот, распространяется, растет и крепнет. Все это поддерживало уверенность, что если не теперь, то в будущем народ, наконец, найдет в себе силу восстать на защиту своих интересов, что месть его врагам будет жестока и что, покончив с ними, он устроит жизнь по своему желанию, сообразно со своими потребностями.

Некрасов понимал, что если Чернышевский и ряд других борцов против бесправия и угнетения были сломлены в неравной борьбе, то гибель их отнюдь не была бесплодна, ибо, жертвуя собой, они подготавливали будущую победу народа. Мир устроен так, что

Даром ничто не дается; судьба
Жертв искупительных просит.

Некрасов преклонялся перед людьми, уходящими «в стан погибающих за великое дело любви», жертвующими собой на благо своей родины и своего народа. Он считал, что долг каждого честного человека, сознательно относящегося к своим обязанностям перед народом,— отречься

от личных интересов и посвятить все свои силы и все свои думы борьбе за свободу. Забвение своего долга перед родиной являлось в глазах Некрасова тяжелым преступлением:

Страшись их участь разделить —
Богатых словом, делом бедных,
И не иди во стан безвредных,
Когда полезным можешь быть.
Не может сын глядеть спокойно
На горе матери родной,
Не будет гражданин достойный
К отчизне холоден душой.

Если борец за счастье народа и погибнет, его слава останется жить вечно:

Кто, служа великим целям века,
Жизнь свою всецело отдает
На борьбу за брата-человека,
Только тот себя переживет.

С глубоким уважением относился Некрасов к зачинателям русского революционного движения — декабристам. Им посвятил он поэмы: «Дедушка» и «Декабристки» («Русские женщины»). Он преклонялся перед страданиями, выпавшими на их долю за попытку с оружием в руках восстать против царского деспотизма. В нарисованных им образах декабристов и их жен, добровольно порвавших со «светом» и ушедших в Сибирь за сосланными туда мужьями, можно найти ряд черт, характерных не для людей 1825 г., а для позднейших революционеров-демократов, современников поэта. Декабрист, нарисованный в поэме «Дедушка», выступает перед нами прежде всего как борец за крестьянские интересы, а изображенные Некрасовым жены декабристов наделены им таким решительным, боевым характером, который был им в действительности чужд. Перед нами, скорее, мужественные деятельницы революционного движения 60-х и 70-х годов, нежели светские дамы, последовавшие за сосланными мужьями гораздо более из любви к ним, нежели из идейных побуждений.

Декабристские поэмы Некрасова свидетельствуют о том, что поэту была ясна революционная традиция и преемственность, соединяющая дворянских революционеров 1825 г. с разночинной революционной демократией второй половины прошлого века. Борьба, которую вели революционеры-разночинцы, вдохновляла поэта, когда он творил «Дедушку» и «Декабристок».

Некрасов высоко ценил самоотверженность революционеров 60-х и 70-х годов, которые «отчизну покидая, шли умирать в пустынях снеговых». Про них поэт писал:

Пленительные образы! Едва ли
В истории какой-нибудь страны
Вы что-нибудь прекраснее встречали.
Их имена забыться не должны.

Обращаясь к матери революционера, захваченного в плен врагами, Некрасов призывает ее не плакать об участи сына, а гордиться им и учить других подрастающих детей своих, что

Есть времена, есть целые века,
В которые нет ничего желанней,
Прекраснее тернового венка.

Преклоняясь перед современными ему революционерами, Некрасов в то же время был уверен, что не им выпадет на долю нанести смертельный удар царизму и освободить народ. Они только подготавливают револю-

цию, совершить же ее и добиться ее победы могут только сами народные массы, когда они повсеместно восстанут на защиту своих интересов.

В этом отношении Некрасов расходился с народниками, признававшими за революционной интеллигенцией решающую роль в борьбе за свободу. Некрасов трезво учитывал силы и возможности интеллигенции и не переоценивал их. Народническая теория «героев», своим вмешательством в ход исторических событий благодетельствующих «толпе», была совершенно чужда Некрасову. В этом отношении он являлся единомышленником Чернышевского и Добролюбова, ясно представлявших себе и историческую роль масс, и значение деятельности революционно настроенной интеллигенции.

Вслед за Чернышевским и Добролюбовым, Некрасов питал уверенность в неминуемости всенародного восстания. В его стихотворениях 60-х и 70-х годов с исключительной силой начинает звучать призыв к народной революции:

Душно! без счастья и воли
Ночь бесконечно длинна.
Буря бы грянула, что ли?
Чаша с краями полна!

Поэт убежден, что жертвы, принесенные русскому народу его лучшими сынами, не пропадут даром, что приближается время, когда народ восстанет с оружием в руках против своих угнетателей:

Каждой стране наступает
Рано иль поздно черёд
. . . .
Грянет беда роковая —
Скажется мигом страна.

Однако для этого необходима большая подготовительная работа: надо воспитывать в народе сознание его интересов и решимость бороться за них, на что потребно не мало времени:

Единодушье и разум
Всюду дадут торжество,
Да не придут они разом,
Вдруг не создашь ничего.

В том, что революция рано или поздно произойдет в России, в том, что она увенчается победой, поэт не сомневается:

Еще народу русскому
Пределы не поставлены.
Пред ним широкий путь.

Оптимизм Некрасова и его вера в русский народ особенно ярко проявились в поэме «Кому на Руси жить хорошо». В ней поэт не только изобразил с неподражаемой силой страдания русского крестьянства, из которого высасывают кровь помещики, чиновники, попы и кулаки, но и с предельной, в цензурных условиях того времени, ясностью выразил свою веру в революционные силы народа.

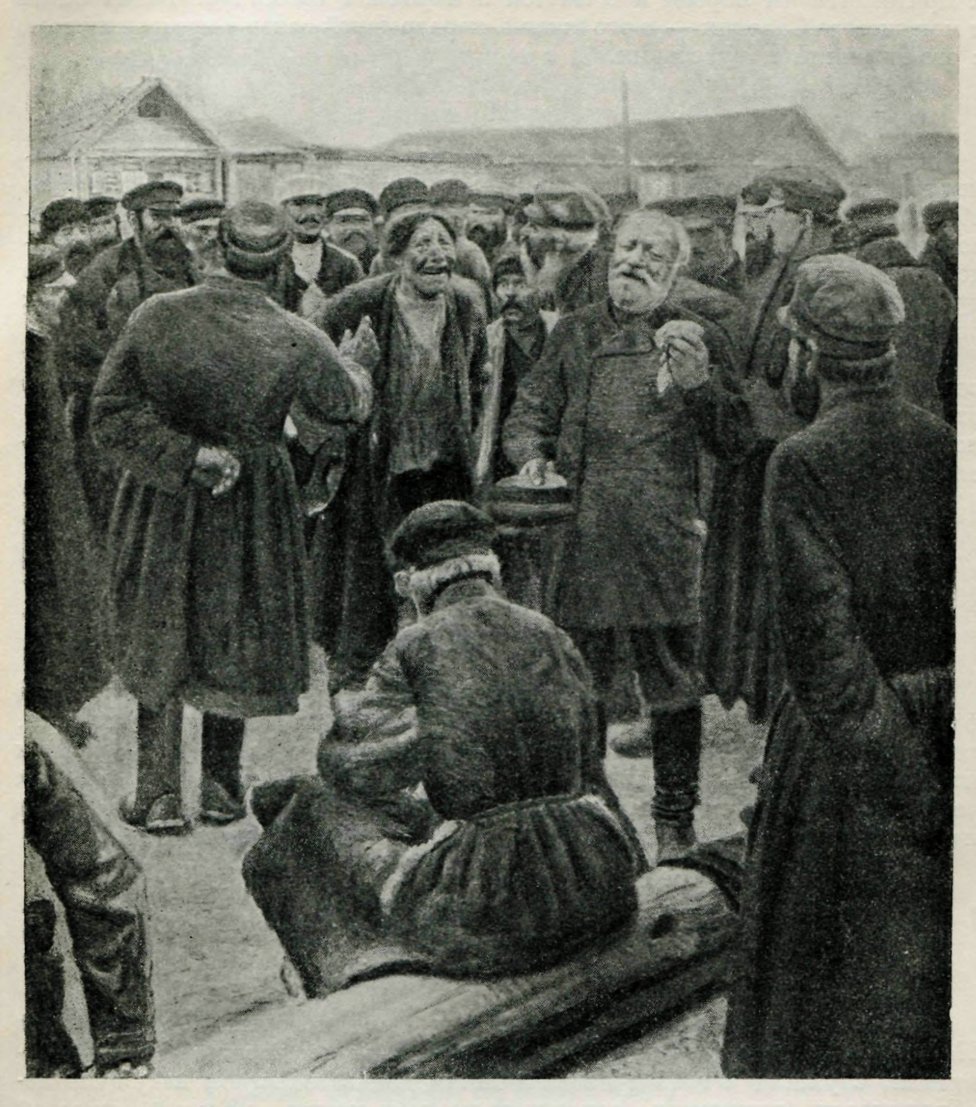
В этой поэме Некрасов говорит уже не о пассивности и бесконечном терпении русского народа, а о том, что

У русского крестьянина
Душа, что туча грозная.

Поэт окончательно убедился, что

Сила народная,
Сила могучая —
Совесть спокойная,
Правда живучая.

Вместо подавленных нуждой и забитых людей Некрасов рисует теперь образы народных героев, посвящающих все свои силы борьбе за счастье народа. Некрасова радует то, что народ начал, наконец, выдвигать из своей среды активных и сознательных борцов.



НА МИРУ
Картина маслом С. А. Коровина, 1893 г.
Третьяковская галлерея, Москва

Таков Гриша Добросклонов, который

. . . твердо знал уже,
Что будет жить для счастия
Убогого и темного
Родного уголка.

Таков же и Савелий, «богатырь святорусский»,— живое воплощение революционной силы и воли того народа, который своим могучим «над-

дай!» сбросит с себя власть помещиков и царя. За отстаивание крестьянских интересов и за сопротивление помещикам и чиновникам Савелий был осужден на каторгу. Там он приобрел недостававшую ему ранее политическую сознательность; он вернулся в деревню с лютой ненавистью к притеснителям народа и с мечтой о народном восстании. Тайна силы и могущества Савелия — в его живой, неразрывной связи с крестьянством, с его мыслями и чувствами.

11

В сочинениях Некрасова мы не найдем развернутой картины социально-политических преобразований. Он не рисовал проектов будущего общественного устройства, воплощающего его идеалы социальной справедливости. Ему, как поэту, а не теоретику, будущее представлялось в художественных образах, а не в социологических схемах. Тем не менее, его произведения дают читателям ясное представление о том, в каких формах поэт мыслил «воплощение счастья народного».

Некрасов давал в своем творчестве мрачные картины современной ему социальной действительности, признаваемой им несправедливой и потому отрицаемой. Эти картины рисовали тяжелую жизнь не только деревни, но и города. Промышленный город с его фабриками и заводами представляется поэту чудовищем, калечащим и губящим людей:

Свечерело. В предместиях дальних,
Где, как черные змеи, летят
Клубы дыма из труб колоссальных,
Где сплошными огнями горят
Красных фабрик громадные стены,
Окаймляя столицу кругом,—
Начинаются мрачные сцены.

Некрасов хорошо знал, до каких чудовищных размеров доходит на фабриках эксплоатация труда рабочих — как мужчин, так и женщин, как взрослых, так и детей. На малолетних, вынужденных судьбой итти на фабрики и заводы, он смотрел как на жертвы, приносимые современным человечеством неумолимому и жестокому богу — капиталу. Вид фабрики наводит поэта на мрачные мысли о том, что делается за ее стенами:

Всё сливается, стонет, гудёт,
Как-то глухо и грозно рокочет.
Словно цепи куют на несчастный народ,
Словно город обрушиться хочет.

(«Сумерки»)

Бедствия фабрично-заводских рабочих, труд которых в современной Некрасову России подвергался жестокой, ничем не сдерживаемой эксплоатации, служили в глазах поэта лишним доказательством насущной необходимости изменения социально-экономических условий русской жизни.

Превращение России из «страны бесправия, невежества и дичи», какой она была в его время, в страну свободы и высокой культуры поэт считал возможным только при помощи крестьянской революции. Пролетариата, как сложившегося революционного класса, Некрасов не видел. Революция создаст необходимые условия для свободного приложения разносторонних талантов русского народа, для широкого использования колоссальных естественных богатств, которыми природа наделила наше отечество.

В семидесятых годах, когда Некрасов издавал «Отечественные Записки», ему пришлось работать рука об руку с народниками, составлявшими преобладающую часть в кругу ближайших сотрудников его жур-

нала. С глубоким сочувствием поэт следил за попытками народнической интеллигенции сблизиться с народными массами, за их «хождением в народ», за упорной борьбой, которую они вели с царской полицией и жандармами. Однако это не значит, что Некрасов был их единомышленником. В его поэзии мы не найдем таких существенных элементов народничества, как преклонение перед русской общиной, которая якобы преграждает капитализму пути для проникновения в деревню и является зародышем, из которого разовьется социалистический строй, как вера в особые, отличные от Запада, пути социально-экономического развития России, как преувеличение значения интеллигенции в жизни народа. Мы уже говорили, какую роль отводил Некрасов народным массам, с одной стороны, и революционной интеллигенции, с другой, в грядущей русской

ВСТРЕЧА.— ПРИЕЗД ЖЕНЫ К ССЫЛЬНОМУ
Картина маслом В. А. Серова, 1898 г.
Третьяковская галлерея, Москва

революции, и видели, насколько он в этом отношении расходился с народниками. Даже в годы сотрудничества с представителями народничества Некрасов продолжал оставаться на тех же позициях, на которых он стоял во время совместной работы с Чернышевским и Добролюбовым. Вот почему и в 70-е годы он являлся продолжателем их дела. Народнические иллюзии и утопии не повлияли на него и не отразились в его творчестве.

В произведениях Некрасова мы не находим картины будущего социалистического общества, подобной той, которую нарисовал Чернышевский в четвертом сне героини «Что делать?». Однако вся поэзия Некрасова пронизана отвращением и ужасом, внушаемыми ему различными формами капиталистической эксплоатации труда и экономическим неравенством между людьми. Его гнев направлен против самых основ не только феодально-крепостнического, но и буржуазного общества.

Поэт мечтал о том, чтобы довольство и свобода стали уделом всех трудящихся, всего народа; он не мог не понимать, что эти его мечты неосу-

ществимы при делении общества на эксплоататоров и эксплоатируемых. Поэт воспевал «бодрый труд», прекрасно зная, что труд может быть бодрым только при том условии, чтобы его плоды оставались в руках самого производителя, а не присваивались бы дармоедами и тунеядцами.

В течение ряда лет, из одной книжки «Современника» в другую, Чернышевский и другие сотрудники этого журнала вскрывали те бедственные последствия, которые влечет не только для трудящихся масс, но и для общества в целом, цивилизация, основанная на принципе индивидуальной собственности, из книжки в книжку они доказывали русскому обществу преимущества коллективной организации труда. Некрасов, еще в молодые годы ознакомившийся с идеями утопического социализма и отразивший их в своей поэзии, не мог не понимать глубокого смысла пропаганды, которую под руководством Чернышевского ведет его журнал; он не мог не сочувствовать ей. Лучшим и наиболее убедительным свидетельством этому может служить все содержание его поэзии. Если в его произведениях и нет картин, изображающих социалистическое общество, то социалистическая устремленность его творчества несомненна.

12

В 1858 г. в статье «О степени участия народности в развитии русской литературы» Н. А. Добролюбов высказал сожаление о том, что в России до сих пор «нет партии народа в литературе» [39]. Однако как раз в то время начала складываться группа писателей, которую мы по праву можем признать зародышем «партии народа». Идейными руководителями ее являлись Чернышевский и Добролюбов, а поэтом — Некрасов. Добролюбов сам, конечно, понимал это и смотрел на Некрасова именно как на замечательного поэта, отразившего в своем творчестве мысли и чаяния народа,— поэта, устами которого говорил сам народ. Недаром в 1860 г. в рецензии на стихотворения Д. Минаева Добролюбов, имея в виду Некрасова, указал, как на «совершившийся факт», на появление у нас поэта, который «умел осмыслить и узаконить сильные, но часто смутные и как будто безотчетные порывы Кольцова и вложить в свою поэзию положительные начала, жизненный идеал, которого недоставало Лермонтову» [40].

В поэзии Некрасова высокое художественное мастерство соединялось с передовым для его времени миросозерцанием. Поэтическое творчество являлось для Некрасова общественным служением. «Пока народы влачатся в нищете, покорствуя бичам», истинный поэт, по убеждению Некрасова, должен всецело включиться в борьбу за их освобождение. Некрасов знал, что только тот поэт, который, «служа великим целям века», отдает свой талант и жизнь «на борьбу за брата-человека», переживет себя и заслужит себе благодарную память потомства.

Поэзия Некрасова теснейшим образом связана с революционным движением его времени. Звуки его музы находили себе отчетливый отклик в чувствах и мыслях людей, любивших русский народ и страдавших за его печальную участь. Так было при жизни поэта, так было и после его смерти.

Не только в интеллигентских кружках, но и в рабочих каморках, в которых воспитывались и развивались будущие борцы революционной армии пролетариата, поэзия Некрасова будила мысль и пробуждала то двуединое чувство любви и ненависти, которое поддерживало в людях мужество, воспитывало в них волю к борьбе и двигало на самопожертвование и подвиги.

Н. К. Крупская в 1921 г., в связи со столетием со дня рождения Некрасова, имела полное основание написать о нем следующие весьма знаменательные строки: «Как ни далеко от нас некрасовское время, известные

духовные узы связывают нас с Некрасовым... Это наш поэт, хотя и отделяют нас от него три революции, не оставившие камня на камне от старых порядков»[41].

Некрасов был одним из любимейших поэтов Ленина.

С собранием его стихотворений Ленин не расставался ни в ссылке, ни в эмиграции. По свидетельству Н. К. Крупской, он «чуть ли не наизусть выучил» эти стихотворения[42].

Вождь русского пролетариата ценил Некрасова как поэта, верно служившего родному народу и ненавидевшего его врагов. «...Некрасов и Салтыков,— писал Ленин в статье «Памяти графа Гейдена»,— учили русское общество различать, под приглаженной и напомаженной внешностью образованности крепостника-помещика, его хищные интересы, учили ненавидеть лицемерие и бездушие подобных типов...»[43].

Некрасов никогда не увлекался «красивыми», пустыми словами о «чистом искусстве», стоящем выше будничных и мелочных житейских интересов. Он сознавал, что только связь с народом придает искусству смысл и ценность. Вслед за Чернышевским и Добролюбовым, он рассматривал литературу как оружие, которое должно быть употреблено на осуществление великого дела освобождения народа. Литература призвана учить людей правильно расценивать нужды общества, формировать общественное сознание, воспитывать волю к борьбе за лучшее будущее народных масс. Только та литература, которая стоит на высоте этих задач, является не пустой забавой, а серьезным делом, имеющим историческое значение. «Я лиру посвятил народу моему»,— писал о себе Некрасов. И именно в этом — громадная, неувядаемая заслуга великого поэта перед русским народом, который навсегда сохранит благодарную память о своем певце, не дожившем до победы революции на его родине, но своими замечательными песнями подготавливавшем ее торжество.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Ап. Григорьев, Стихотворения Н. А. Некрасова.—«Время» 1862, №№ 7, 17.

² «Литературная летопись».—«Отечественные Записки» 1863, №№ 9, 4.— Подчеркнуто автором.

³ Г. Плеханов, Похороны Н. А. Некрасова.—«Литературное наследие Г. В. Плеханова», М., 1938, сб. VI, 236.

⁴ Г. Плеханов, Сочинения, X, 389

⁵ Н. Морозов, Повести моей жизни, М., 1933, II, 184—185.

⁶ М. Лемке, Николаевские жандармы и литература. 1826—1855 гг., изд. 2-е, СПб., 1909, 186.

⁷ Н. Добролюбов, Полное собрание сочинений, под ред. П. И. Лебедева-Полянского, М., 1939, VI, 487.

⁸ В. Ленин, Сочинения, IV, 126.

⁹ О роли, которую играл «Современник» в формировании революционных убеждений молодых революционеров, можно судить хотя бы по признанию, сделанному во время следствия по каракозовскому делу одним из участников его, Шагановым. «Я благоговел перед государем, по освобождении крестьян,— рассказывал Шаганов,— я тогда плакал от радости этому, но скоро стали говорить и писать, что и эта реформа ничего не стоит. «Современник» прямо проводил эту мысль, что не ждите от правительства ничего хорошего, ибо оно не в состоянии дать этого; хорошее можно взять только самому народу. Эти журналы, как «Современник» и «Русское Слово», стали какими-то евангелиями молодежи, а в этих журналах прямо говорилось, что без экономического переворота нет спасения миру и что всякий честный человек должен стараться об участи своего народа».— В. Евгеньев, Дело Каракозова и редакция «Современника».—«Заветы» 1914, № 6, 88.

¹⁰ «Виды на entente cordiale с «Современником».—«Русский Вестник» 1861, № 7.

¹¹ М. Лемке, Политические процессы в России 1860-х годов, М.—П., 1923, 388.

¹² О. Аптекман, Общество «Земля и Воля» 70-х гг., П., 1924, 34.

¹³ В. Ленин, Соч., XVI, 132—133.— Выделено нами.

¹⁴ Там же, XV, 466, 468.

¹⁵ Г. Плеханов, Соч., изд. 2-е, М.—Л., 1925, X, 392—393.

¹⁶ И. Тургенев, Первое собрание писем, СПб., 1892, 37.

[17] «Сборник Пушкинского Дома на 1923 г.», П., 1922, 148.
[18] Е. Колбасин, Тени старого «Современника».— «Современник» 1911, № 8, 239.
[19] «Сборник Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым», СПб., 1884, 487.
[20] А. Дружинин, Собрание сочинений, СПб., 1865, VII, 293—294.
[21] Характерно, что эти строки Некрасова процитировал известный народоволец А. Д. Михайлов в показаниях, данных им во время следствия.— А. Прибылева-Корба и В. Фигнер, Народоволец А. Д. Михайлов, Л.—М., 1925, 157.
[22] «Голос Минувшего» 1916, № 9, 177.
[23] «Книга и Революция» 1921, № 2, 39—40.
[24] «Из Петербурга».—«Колокол» 1857, № 2.
[25] Н. Некрасов, Сочинения, М.—Л., 1930, V, 291.
[26] А. Фет, Мои воспоминания, II, 24.
[27] В. Белинский, Письма, СПб., 1914, III, 300.
[28] Н. Чернышевский, Полное собрание сочинений, М., 1939, XI, 311.
[29] Н. Некрасов, Соч., цит. изд., V, 252.
[30] «Заметки о журналах»,—«Современник» 1855, № 10, 169—170.— Эта статья без подписи; авторство Некрасова устанавливается его собственным указанием в письме к Боткину; см.: Н. Некрасов, Соч., цит. изд., V, 228.
[31] Н. Некрасов, Соч., цит. изд., V, 273.
[32] Н. Чернышевский, Полное собрание сочинений. СПб., 1906, I, 111—112.
[33] Н. Чернышевский, Литературное наследие, М.—Л., 1928, II, 340—343.
[34] «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова», М., 1890, I, 354.
[35] «Книга и Революция» 1921, № 2, 72.
[36] Авдотья Панаева. Воспоминания, Л., 1927, 385.
[37] В. Ленин, Сочинения, XV, 143.
[38] Н. Чернышевский, Полное собрание сочинений, М., 1939, I, 747.
[39] Н. Добролюбов, Полное собрание сочинений, М., 1934, I, 211.
[40] Там же, М., 1935, II, 594.
[41] Н. Крупская, Памяти Некрасова.—«Информационный бюллетень МОНО», 1921, № 2, 2—3.
[42] Письмо Н. К. Крупской к М. И. Ульяновой от 26 (13) декабря 1913 г.— См.: В. Ленин, Письма к родным, 1894—1919, М.—Л., 1934, 396.
[43] В. Ленин, Сочинения, XII, 9.

Н. А. НЕКРАСОВ
Фотография начала 1870-х гг.
С надписью поэта: „Милому другу Ивану Федоровичу Горбунову. Н. Некрасов"
Частное собрание, Москва

НЕКРАСОВ В ИСТОРИИ РУССКОЙ ПОЭЗИИ XIX ВЕКА

Статья Вас. Гиппиуса

1

В истории русской поэзии нет судьбы более сложной, чем судьба Некрасова. Выступив в литературе впервые в годы глубокой общественной реакции конца 30-х годов, он не растет органически из ученика в самостоятельного поэта, как это бывает обычно: «Мечты и звуки» — первая некрасовская книга — противостоят его зрелому творчеству, и только ценою натяжек можно установить связь между этой романтикой и позднейшей некрасовской лирикой. Некрасов начинает находить свою поэтическую индивидуальность с половины 40-х годов, с развитием демократического движения в общественной жизни и литературе. Только тогда он самоопределяется в своих взаимоотношениях — уже не с Бенедиктовым или Подолинским, которым подражал в «Мечтах и звуках», а с Пушкиным, Лермонтовым и Кольцовым. Взаимоотношения эти очень сложны и часто противоречивы. Он вступает со своими учителями и предшественниками — и прежде всего с Пушкиным — в творческую полемику. Росту революционного движения на его демократическом этапе в 50—60—70-е годы соответствует рост творческой самостоятельности Некрасова. Становится совершенно ясно, что Некрасов не подражатель, а продолжатель и Кольцова и Лермонтова, но в еще большей мере — самобытный поэт-новатор; что Некрасов — наследник Пушкина, несмотря на глубокую и принципиальную новизну своей поэзии. Но Некрасов и еще более школа демократической поэзии, им основанная, вступают в прямой идейно-художественный конфликт со школой «эстетов», опиравшихся на Пушкина,— правда, на Пушкина переосмысленного, понятого ограниченно и исторически ложно. И если Некрасов и Пушкин связаны глубокой исторической преемственностью, в конечном счете восходящей к преемственности двух этапов революционного движения в России, то Некрасов и Фет становятся знаками двух враждебных поэтических и общественных направлений. При этом ходовые понятия «гражданской» и «чистой» поэзии, как выясняется, не покрывают собою действительных поэтических направлений: демократическая лирика не чуждалась интимных мотивов; с другой стороны, буржуазно-дворянская реакция ощущала потребность в своей политической поэзии и создавала ее. Знамя Некрасова и знамя Фета означали нечто большее, чем жанрово-тематическое различие: прямое политическое содержание не всегда проступало явно, но это были знамена противоположных идеологических систем.

Историко-литературное место и роль Некрасова могут быть полностью уяснены только в свете всей истории русской поэзии, до сих пор во всем своем развитии не исследованной. В пределах статьи возможна лишь постановка проблемы, лишь первые шаги на этом неисследованном пути.

Некрасов, как и всякая большая культурная сила, не мог получить равного и общего признания у современников. Отношение критики к Некрасову

очень знаменательно: сначала — видимость общего признания (при весьма различной, конечно, степени понимания); на первых порах прямого отрицания не было; оно пришло позже, с разгорающейся борьбой, и исходило от тех же, кто сначала, в числе других, признавал его. В первую половину 50-х годов признание Некрасова было общим; на этом примере можно было наблюдать, как невыявленные общественно-идеологические противоречия проявляются—не в скрытой, даже, а лишь прикрытой форме; все предпосылки близкого конфликта налицо, но сохраняется видимость согласия и мира. Здесь тема оценок Некрасова современниками может быть затронута в той только мере, в какой и критикам разных направлений приходилось ставить проблему места Некрасова в истории русской поэзии.

Для Дружинина, самого активного из поборников «артистического» направления в литературе, Некрасов был одним из «дидактиков», изменивших будто бы пушкинским заветам «артистизма» во имя «односторонне» понятого Гоголя. Но он не называл Некрасова в своих боевых статьях, только разумея его в ряду тех, кого иронически отождествляет с английскими «лекистами» (читай: реалистами). А переходя к конкретной критике, к рецензиям на книги Фета и Ап. Майкова, и Дружинин вынужден ставить рядом имена Некрасова, Майкова, Полонского, Фета (в первой статье); Фета, Тютчева и Некрасова (во второй). Для Дружинина, делавшего вид, что все противоречия легко снимаются в высшем синтезе (в данном случае пушкинском), и это было не мало, хотя уже одно неумение распознать все различие удельного веса Майкова и Некрасова свидетельствовало об исторической близорукости критика. Дружинин же шел и дальше и в рецензиях 1858 г. на «Стихотворения» Майкова признавал «поэтический горизонт Майкова в некотором смысле обширнее горизонта его товарищей и соперников»; затем Некрасов получал прекраснодушный упрек в том, что поэзия его «не дает нисколько отзыва на врожденную во всяком человеке потребность ясности и счастия», и, наконец, упрек уже вовсе юмористический — будто «для женщин... эта поэзия или непонятна, или даже возмутительна».

Так невольное признание перебивалось плохо скрытой враждой. У союзника Дружинина — И. С. Тургенева — признание и вражда сменяли друг друга: еще в 1854 г. Некрасов хотя и лишен для него «печати великой <пушкинской> эпохи», но выше его из современников он ставит одного лишь Тютчева; Фета и Майкова Тургенев помещает в одном ряду с Некрасовым (а не с Тютчевым). И лишь начиная с конца 60-х годов, Тургенев в полемическом ослеплении произносит все свои изумительные по жестокости и несправедливости отрицательные отзывы о Некрасове.

Гораздо бо́льшая зоркость проявлена была Ап. Григорьевым — далеко не безусловным и не беспристрастным поклонником Некрасова, подчас недалеко уходившим и от Дружинина в порицаниях «желчных пятен» Некрасова. Но историко-литературное чутье заставляло Ап. Григорьева заявлять решительно: «И ведь что уж хотите, ничего не поделаете: имя поэта не ставится в ряд с именами даже даровитейших из второстепенных деятелей литературы, каковы, положим, в разных родах Фет, Полонский, Гончаров; нет, оно наряду с именами Кольцова, Тургенева, Островского». Сближение с Островским было для Григорьева пределом признания, а имя Кольцова указывало и на преемственность с недавним прошлым поэзии. Ап. Григорьев этим сближением не ограничился, протянув от Некрасова нити и к Лермонтову; вопрос о Пушкине для него решался иначе, и даже всепокрывающая, казалось бы, формула «Пушкин — наше все» потребовала оговорок, и среди них была оговорка о Некрасове (статья о Л. Толстом). Ап. Григорьев писал о Некрасове в 1862 г., когда вопрос о месте поэта в ряду великих писателей первой половины века уже был затронут революционно-демократической критикой. Вопрос этот

НЕКРАСОВ
Фотография Орлова, начало 1860-х гг.
Институт литературы АН СССР, Ленинград

требовал ясного ответа, особенно после того, как почин Дружинина в борьбе с «дидактизмом» во имя «артистизма», в борьбе с гоголевским направлением и русскими «лекистами» во имя традиций Пушкина (понятого, как поэта «ясной стороны жизни») был поддержан целой группой, целым «заговором», и в составе его — такими сильными противниками, как Тургенев и Лев Толстой.

При всей сложности исторических соотношений между Пушкиным и Некрасовым, при всей сложности некрасовского восприятия и усвоения Пушкина (о чем речь будет дальше), нужна была ясность в одном: сводима ли историческая роль Некрасова к роли одного из многих, усвоивших наследие Пушкина и ценимого с той точки зрения, удачно или неудачно он совершенствует отдельные частности этого наследия, или же это была роль новой исторической силы, призванной сказать новое слово и отметить эпоху *своим* именем. Ап. Григорьев понимал это, когда писал о действенности стихов Некрасова: «Стало быть, есть же в них что-то такое свое, особенное, «некрасовское», и стало быть, это свое, особенное, «некрасовское» коренится в самом существе русской национальности!» Но признание это обязывало ставить Некрасова в ряд не с одними современниками (хотя бы и талантливейшими из них), но и с теми основоположниками русской поэзии, которые определили собою лицо всей дальнейшей русской поэзии, прежде всего с Пушкиным, а затем с Лермонтовым и Кольцовым.

Эти три имени порознь звучат во многих дружественных и враждебных оценках некрасовской поэзии, но для вождей революционной демократии — для Чернышевского и Добролюбова — характерно соотнесение Некрасова с этим тройственным рядом в целом. Общий смысл сопоставле-

ний был всегда один и тот же: высокая оценка Некрасова, как оправдание самого сопоставления; любовь к нему, несравнимая по силе и по интимности с тем чувством, какое вызывали его предшественники; сомнения и колебания в определении объективного исторического места Некрасова в ряду великих поэтов, и в то же время — надежда на его будущий, еще более полный расцвет. Отдельные отзывы отличались, однако, оттенками.

Чернышевский в известном письме к Некрасову от 5 ноября 1856 г. был наиболее решителен.

«Такого поэта, как Вы, у нас еще не было, —писал он,— Пушкин, Лермонтов, Кольцов как лирики не могут итти в сравнение с Вами. Ваши произведения, изданные теперь, имеют более положительные достоинства, нежели произведения Пушкина, Лермонтова и Кольцова» [1]. Тот же тон восторженного признания прозвучал через двадцать лет на могиле Некрасова в ответе молодого Плеханова и его товарищей Достоевскому: «Он выше их!» — выше Пушкина и Лермонтова. Но даже для Чернышевского этим вопрос об историческом месте Некрасова не решается: «надобно желать, чтобы мы принуждены были забыть для Вас о Пушкине, Лермонтове и Кольцове, как для Кольцова забыли о Цыганове и Мерзлякове, как для Лермонтова забыли об Огареве». Этого Чернышевский ждал от *будущего* Некрасова, но за настоящим этой роли признать не мог.

Добролюбов впервые сопоставил трех поэтов в статье 1859 г. о Никитине. Намечая новый синтетический путь для русской поэзии, он мечтает и о поэте, который осуществил бы этот синтез: «Нам нужен был бы теперь поэт, который бы с красотою Пушкина и силою Лермонтова умел продолжить и расширить реальную здоровую сторону стихотворений Кольцова». Облик будущего поэта представляется здесь скорее как некоторый мыслимый идеал, потому и дальнейшие слова: но пока нет такого поэта» и т. д.— при изучении отношения Добролюбова именно к Некрасову — не могут играть роли ограничительного довода.

В том же 1859 г., через четыре месяца после рецензии на Никитина, Добролюбов возвращается к вопросу о пути современной поэзии после Пушкина, Лермонтова и Кольцова, но ставит его уже иначе. Умалчивая об идеале поэта синтетического и как бы мирясь с завершенностью пушкинского периода, Добролюбов ставит перед современной поэзией более реальные и определенные задачи: «осмыслить и узаконить сильные, но часто смутные и как будто безотчетные порывы Кольцова и вложить в свою поэзию положительное начало: жизненный идеал, которого недоставало Лермонтову». Такого поэта он видит не только в будущем, но и в настоящем, очевидно, разумея Некрасова и делая лишь оговорку — правда, весьма принципиальную — о том, что подлинные возможности нового поэта остаются в современных общественных условиях недоразвитыми.

Видимое противоречие между двумя близкими по времени высказываниями Добролюбова на сходную тему исследователи Некрасова пытались различным образом объяснить или устранить [2]. При этом, однако, не учитывалось, что сопоставление нового поэта с Пушкиным, Лермонтовым и Кольцовым имеет у Добролюбова в каждом из этих двух случаев различный смысл. В первом случае речь идет об идеальном слиянии лучших сторон творчества трех поэтов, во втором — о вполне реальных, исторически обусловленных идейно-художественных фактах: о коррективах к поэтическому содержанию лермонтовской и кольцовской (но не пушкинской) поэзии. Нет оснований предполагать, что добролюбовская оценка Некрасова менялась на пути от первого отзыва ко второму. Отношение Некрасова к Пушкину, Лермонтову, Кольцову намечено Добролюбовым лишь в самых общих чертах, но и то немногое, что им сказано, намекает на значительную сложность этих отношений. Гладкая и круглая формула — синтез поэзии всех трех предков Некрасова — была бы здесь, разумеется, недостаточна.

2

Литературные отношения Некрасова к Пушкину в свое время послужили предметом довольно оживленной научной полемики [3]. Но полемика эта не могла привести к положительным выводам уже потому, что исходила из ложного основания, которое не подвергалось сомнению никем из споривших. Таким ложным основанием было абстрактно-формалистическое понимание «высокого» и «низкого» в поэзии. Применение этой абстракции к живым историческим фактам — к поэзии Пушкина и Некрасова — заставляло утверждать, что Некрасов либо следует литературной инерции «высокой» поэзии, пушкинским «штампам», либо «снижает» высокую поэзию прозаизмами, грубостью, обращением к фольклору и тогда обнаруживает самостоятельность. В работе К. А. Шимкевича, появившейся в 1926 г., устанавливалось, как необходимый корректив, лишь раздвоение самого Пушкина на «представителя высокой поэзии» и «фламандца», чем вопрос несколько уточнялся, но все же не решался по существу.

Абстрактным понятием «борьба со штампами» объединялись иногда совершенно разнородные явления. Одно дело — воспроизведение ритмики, а то и словесно-сюжетной схемы общеизвестных произведений («Казачья колыбельная песня» и т. п.)— словом, традиции перелицованной «Энеиды» и позднейших алмазовских и минаевских «перепевов», которые могли и не иметь пародийной в подлинном смысле слова функции. И совсем другое дело — подлинная полемика по существу, подчас далеко выходящая за пределы борьбы со «штампами». Так, не раз цитированные слова «гражданина»:

Еще стыдней в годину горя
Красу долин, небес и моря
И ласку милой воспевать...

— борются не со «штампами» высокой поэзии во имя снижения и прозаизации, а с кругом лирических тем, который должен отступить именно перед в ы с о к о й, в новом значении, поэзией. Такую борьбу за высокую гражданскую тему знала и пушкинская эпоха. «Поэт и гражданин», невольно для Некрасова, воспроизводит в сущности поэтическую полемику декабриста Вл. Раевского с Пушкиным, которого Раевский призывал:

Оставь другим певцам любовь,
Любовь ли петь, где льется кровь...

Но сам Пушкин еще раньше, чем было написано послание Раевского, начинал свой гражданский «гимн» совершенно сходным противопоставлением:

Беги, сокройся от очей,
Цитеры слабая царица... и т. д.

Формула декабристской поэзии (Пушкина, Раевского) и формула Некрасова, возникшие в разных исторических условиях, в существе лирической темы однородны. Эта тема — назначение поэта «в годину горя» (ср. рылеевское «в роковое время»). Некрасовская ирония в отношении таких тем, как «краса долин, небес и моря и ласки милой» — относительна, а не абсолютна, и не идет ни в какое сравнение с издевательским перечнем поэтических штампов — именно штампов, а не круга тем — в трактате Л. Толстого об искусстве («девы, волны, пастухи, пустынники, ангелы, дьяволы во всех видах, лунный свет, грозы, горы, море, пропасти, цветы, длинные волосы, львы, ягненок, голубь, соловей») [4].

Схема «высокая поэзия Пушкина, сниженная Некрасовым», несостоятельна не только потому, что сложность пушкинской поэзии не покрывается эпитетом «высокая» (даже и с оговоркой о примеси «фламандщины»), но и потому, что сложность некрасовской поэзии не может быть понята без учета и осмысления ее высокого пафоса. Это схема чисто формалистическая.

Распределение поэтического материала и соответственно поэтического стиля по твердым категориям высокого и низкого предполагает в основании художественной системы незыблемые догмы мировоззрения, незыблемые критерии оценки. Так и было в системах ортодоксального классицизма, там, где они отражали соответственные идеологические нормы. Уже в пределах классицизма заколебались эти нормы, а с ними — идейно-эстетическое содержание «высокой поэзии»: державинское понимание уже не равнялось сумароковскому, карамзинское и романтическое — державинскому. Пушкин, поэт нового исторического периода,— декабристского и последекабристского, — органически воспринявший ту бурную переоценку идейных ценностей, какую принесла с собой французская революция, — Пушкин, преобразователь русской литературы, освободивший ее от множества условностей и указавший ей пути свободного развития, должен был исходить из иных, более свободных и широких эстетических принципов, чем даже принципы его ближайших предшественников. «Высокое» сохраняет значение для Пушкина не как норма, а как п р е д е л, которого поэзия достигает на идейных подъемах.

Понятие «низкой» действительности, как отрицательная эстетическая категория, в эстетике Пушкина было предметом полемического внимания. Пушкинские реабилитации «низкого» демонстративны, и чем прозаичнее, тем демонстративнее («Все это низкая природа», «Тьфу! прозаические бредни!»); по существу же вопрос об эстетическом равноправии всякого материала решен уже для него, как одновременно с ним — для Гоголя. Эстетически низкого не существует, но высокое сохраняет все свои права наряду с нейтральным в этом отношении, а в сущности, основным поэтическим материалом; этот материал — всестороннее поэтическое отражение внешнего мира и внутреннего мира человека.

Пушкин широко раздвигает пределы этого поэтического мира и свое отношение к нему дает с величайшим разнообразием оттенков. Непритязательная запись впечатления, часто окрашенного иронией или грустью, и сентенция, обобщающая целый круг впечатлений или целый жизненный опыт, естественно, требуют разной формы выражения. Но различие стилевых оттенков зависит в то же время от самого поэтического предмета и от оценки его поэтом: природа и мир личных переживаний человека, мир творчества, наконец, мир истории — все может войти в «поэтический мир», но, войдя в него, занимает свое место в своеобразной «иерархии» поэтических предметов. Свободно созданный поэтом поэтический предмет может входить в поэзию и в своей непосредственной эмпирической ценности — с отрицательным знаком оценки (от иронии до сатирического негодования) и в разных степенях сублимирования (для чего используются семантические формы прежней поэзии и создаются новые) — и, наконец, как знак высокого эстетического жизненного идеала.

Оттенки стиха создаются для каждой ступени этой «иерархии», хотя бы это было в пределах одного произведения. Жанрово-стилистические границы унаследованных поэтических систем тем самым подрываются в корне: стиль поэтического элемента определяется уже не жанром целой вещи, а местом этого именно элемента в общей системе. Это особенно ясно в «Евгении Онегине», а из лирических стихотворений — в «Осени». С этой стороны поэзия Пушкина требует еще изучения; здесь для иллюстрации приведу только несколько показательных примеров, располагая их в порядке «степеней».

1. Скучна мне оттепель; вонь, грязь — весной я болен.

2. Как это объяснить? мне нравится она,
Как, вероятно, вам чахоточная дева
Порою нравится...

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К СТИХОТВОРЕНИЮ «РАЗМЫШЛЕНИЯ У ПАРАДНОГО ПОДЪЕЗДА»

Рисунок А. И. Лебедева, 1865 г.

Русский музей, Ленинград

3. Здоровью моему полезен русский холод;
К привычкам бытия вновь чувствую любовь.
Чредой слетает сон, чредой находит голод.

4. Ведут ко мне коня; в раздолии открытом,
Махая гривою, он всадника несет,
И звонко под его блистающим копытом
Звенит промерзлый дол, и трескается лед.

5. Унылая пора! очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса.

6. И забываю мир, и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем.

Все эти примеры взяты из одного стихотворения — из «Осени». Последний пример — не предел «высокого» в поэзии зрелого Пушкина, но для движения по следующим «ступеням» нужно обратиться к «Воспоминаниям в Царском Селе», к «19 октября 1836 года», наконец, к «Памятнику».

Здесь сознательно приведены и названы только такие примеры, которые имеют характер личных признаний, но их можно было бы распространить и на все содержание пушкинской поэзии.

Поэзия Пушкина не покрывается ни односторонней формулой «высокой поэзии», ни двусторонней формулой сочетания высокой поэзии с «фламандщиной». «Высокое» для Пушкина — прежде всего в объективных ценностях культуры и в сфере истории, как культуры созидаемой и движущейся. Поэт в системе Пушкина «высок», «возвышен» там, где он поднимается до созерцания больших исторических путей своего народа и человечества.

Для уяснения особенностей пушкинского понимания «высокого» необходимо было бы уточнить его понимание истории; но здесь это возможно, конечно, лишь в тезисах и без аргументации. Для Пушкина история — процесс «таинственный», но отнюдь не в мистическом смысле, а лишь в смысле неясности ее законов; процесс, деятелями которого являются «народы» и их представители — «герои». Народы вступают друг с другом во вражду и борьбу; таковы их исторические пути, в конце которых, как неясный идеал, мерцает мир и содружество народов. Борьба внутри единого народа осмысливается как серьезное, нередко угрожающее осложнение исторической судьбы народа — осложнение, которое в ряде случаев могло быть избегнуто. Одна из первых исторических задач всего человечества, каждого народа, каждого человека — усвоение опыта прошлого, наследование его культурных ценностей; это и должно в результате исторической эволюции привести к «великим переменам». Поэзия Пушкина обращена и в прошлое и в будущее, но связи с прошлым в ней всегда осязательнее и четче. Все это было закономерно для великого поэта той поры, когда активность народных масс в России была минимальной, а опыт дворянского восстания обнаружил свою неизбежную несостоятельность.

Для Некрасова — поэта пробуждающегося народа — история есть прежде всего борьба. Отсюда иное, чем у Пушкина, отношение к прошлому: в своих ближайших явлениях оно расценивается в свете тех же задач борьбы, а в явлениях более отдаленных вовсе исчезает из поля зрения. Отсюда — более напряженная, чем у Пушкина, устремленность в будущее, соотнесенность настоящего с будущим. Самый принцип борьбы и социального антагонизма определяет собою в поэзии Некрасова все его оценки — и, стало быть, всю его художественную «иерархию», причем реалистическая конкретность и резкость, особенно в сатирических оценках, естественно,

повышаются (что связано и с общей эволюцией реалистического метода в литературе). Всем этим и определяются основные возможности историко-литературного отношения Некрасова к Пушкину. Преемственность от Пушкина к Некрасову очень значительна, и ее нельзя ни преуменьшать, ни, тем более, трактовать как робкое, ученическое подчинение пушкинским «штампам». Но преемственность эта имеет свои пределы, исторически и идеологически обусловленные.

Здесь нас интересует прежде всего творческое отношение Некрасова к пушкинскому наследию. Оценки Пушкина, которые Некрасов произносил в своих критических статьях, решающей роли здесь не играют, но они и не безразличны: они не могут ничего изменить в наших выводах, но могут их своеобразно осветить и дополнить. В этом отношении важен отклик Некрасова на статьи Кс. Полевого в «Северной Пчеле» 1855 г. Кс. Полевой воспользовался выходом анненковского издания, чтобы возобновить стародавнюю травлю Пушкина булгаринской группой,— Некрасов выступил с самой решительной защитой Пушкина. Его итог характеристики Пушкина как человека был выражен словами: «... весь его мужественный, честный, добрый и ясный характер, в котором живость не исключала серьезности и глубины» [5].

К молодежи Некрасов обращался с таким призывом: «Читайте сочинения Пушкина с той же любовью, с той же верою, как читали прежде — и поучайтесь из них. Читайте биографию Пушкина, написанную Анненковым,— верьте приведенным в ней фактам (они не выдуманы и не преувеличены), поучайтесь примером великого поэта любить искусство, правду и родину, и если бог дал вам талант, идите по следам Пушкина, стараясь сравняться с ним если не успехами, то бескорыстным рвением по мере сил и способностей к просвещению, благу и славе отечества» («Заметки о журналах» — «Современник», ноябрь 1855 г.).

С этим призывом «итти по следам Пушкина» нужно сопоставить характеристику всего пушкинского периода, которую дает Некрасов в той же статье. Некрасов называет его «прекраснейшим периодом нашей литературы». Оценки эти важны. Они помогают объяснению той несомненной преемственности, которая устанавливается между поэзией Некрасова и поэзией «пушкинского периода».

Некрасов усвоил прежде всего общую поэтическую культуру Пушкина и «пушкинского периода» в тех ее элементах, которые являлись синтезом по отношению к культуре прошлого и, тем самым,— прочным и бесспорным завоеванием. Нет ничего удивительного, что всего яснее обнаружилось это именно в тех ритмических формах, которые были наиболее разработаны Пушкиным — в четырехстопных (особенно строфических) и шестистопных ямбах. Но это лишь наиболее внешняя черта связи Некрасова с Пушкиным.

Некрасов продолжал важнейшую линию пушкинского новаторства, основанную на принципе «иерархии» в поэтическом содержании и стиле. Само собою разумеется, что действительность в некрасовской поэзии иначе размещается по степеням «иерархии», чем у Пушкина, но принцип сохранился. «Низкого» в эстетическом смысле, запретного для поэзии, для Некрасова нет, как и для Пушкина, и в его эстетике это уже не составляет проблемы и не дает повода для демонстративно-полемических заявлений. Некрасовские обращения к той же теме (например, «Наша муза парит невысоко» и т. п.) звучат иронической реминисценцией давно отшумевших полемических бурь. Именно в той сфере лиризма, к которой категории «высокого» и «низкого» были неприменимы, оказывалась возможной наиболее тесная связь с Пушкиным; понятно, что, например, «Осень» и «Зима, что делать нам в деревне?...», с их широтой поэтического диапазона, могли отозваться у Некрасова даже и непосредственно:

Какой восторг... За перелетной птицей
Гонюсь с ружьем, а вольный ветер нив
Сметает сор, навеянный столицей,
С души моей. Я духом бодр и жив,
Я телом здрав. Я думаю... мечтаю.

(«Уныние», 1874 г.)

Ср. особенно строфы 8 и 9 «Осени»:

...Желания кипят — я снова счастлив, молод,
Я снова жизни полн... и т. д.

И в том же «Унынии»:

Иду домой, тоскуя и волнуясь,
Беру перо, привычке повинуясь,
Пишу стихи и — недовольный, жгу.
Мой стих уныл...

Ср. «Зима, что делать»... 1829 г.:

Беру перо, сижу; насильно вырываю
У музы дремлющей несвязные слова.
Ко звуку звук нейдет...

(Ср. также «Мой стих уныл» с пушкинским «Мой путь уныл» в элегии 1830 г.).

Для Некрасова, как и для Пушкина, высокое — не противовес низкому, а предел, которого достигает поэзия, носящая в себе, как потенцию, это высокое начало всегда, но раскрывающая его на больших идейных подъемах. Уже современники говорили о «возвышенном» характере некрасовской поэзии (писал об этом и такой далеко не безусловный поклонник его, как Ап. Григорьев), правильно связывая «возвышенность» Некрасова с его народностью. Высокое в поэзии Некрасова — пафос любви к народу в его осознанной социальной конкретности и пафос революционной борьбы. На этих идейных и эмоциональных высотах Некрасов мог унаследовать поэтическую культуру Пушкина только в самом общем смысле. Важно, однако, отметить случай, когда гражданская патетика позднего Некрасова неожиданно соприкасается с гражданской патетикой раннего Пушкина. Этот случай — «Элегия» (1874) и «Деревня» (1819). Некрасов явно стилизует свою элегию, выдерживая ее в архаическом стиле 10—20-х годов [6], возвращаясь к александрийскому стиху, не тронутому им с 1851 г., и даже прямо — возможно, даже сознательно — воспроизводя пушкинские поэтические формулы:

...Увы! пока народы
Влачатся в нищете, покорствуя бичам,
Как тощие стада по выжженным лугам,
Оплакивать их рок, служить им будет муза.

В «Деревне» Пушкина:

Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,
Здесь рабство тощее влачится по браздам
Неумолимого владельца.

За словесным совпадением здесь, однако, нет полного совпадения образов. Пушкинские словесные формулы, пушкинские эпитеты становятся допустимыми у Некрасова не в конкретной картине, а в обобщении большого масштаба. Пушкин — во власти поэтического языка своего времени, но говорить он хочет о конкретном: о «рабстве», т. е. о рабах (обычная метонимия), которые истощены, влачатся и, действительно, «покорствуют» ударам «бича»; другой вопрос, все ли здесь соответствует исторической реальности, а также — не придается ли образам, именно вследствие некоторой неточности реалий, более отвлеченный и более общий смысл?

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К ПОЭМЕ «КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО»
(«САВЕЛИЙ — БОГАТЫРЬ СВЯТОРУССКИЙ»)

Рисунок А. И. Лебедева 1882 г., перечеркнутый цензором и не допущенный к изданию

Институт литературы АН СССР, Ленинград

Для Некрасова поэтическая формула «влачиться, покорствуя бичам» может быть допустима только для гораздо бо̀льшего обобщения (судьба даже не народа, а народов), но в сочетании с неустаревшим эпитетом «тощие» она становится знаком связи с молодым Пушкиным и, тем самым, с декабристским этапом русской гражданской поэзии. Стилистическими средствами Некрасов осуществлял здесь ту же задачу, какую тематическими средствами осуществил в «Дедушке» и «Русских женщинах».

Наиболее тесно соприкасался Некрасов с теми элементами пушкинской поэзии, которые являются у самого Пушкина пробами новых путей и симптомами дальнейшего развития поэзии, являются, так сказать, потенциально некрасовскими. Эти симптомы обнаруживаются несомненнее всего в «Путешествии Онегина», в стихотворениях «Румяный критик мой...», «Когда за городом задумчив я брожу», «Сват Иван, как пить мы станем...». Связь эта была уже не раз отмечена К. А. Шимкевичем и обстоятельно обследована. Установлено было и сходство общего стилевого колорита и прямое обращение Некрасова к мотивам этих именно пушкинских вещей («Румяный критик...» и «Гробок»; «Когда за городом...» и «О погоде»; «Сват Иван...» и «Сват и жених»).

Можно было бы продолжить сопоставления, включив, например, в их круг отрывок «Подруга дней моих суровых», который кажется даже и непосредственно связанным с портретной живописью голландцев XVII в.: Доу или Мириса («И медлят поминутно спицы в твоих наморщенных руках»). Об этом отрывке восторженно отозвался Некрасов, говоря об анненковском издании («Заметки о журналах», декабрь 1855 г. и январь 1856 г.). Но существенны не столько чисто изобразительные средства, объединяющие обоих поэтов общим «фламандским» колоритом, сколько те более широкие идейно-художественные соответствия между Некрасовым и Пушкиным, которые с несомненностью обнаруживаются в том же самом поэтическом материале. Острота отрицательных общественных оценок в стихотворении о двух кладбищах, определяющая собою эпиграмматически-лапидарный стиль соответствующих поэтических формул; иронически-трезвый реализм «Путешествия Онегина» и «Румяного критика»; унылый колорит в обобщенной картине русской действительности (в том же «Румяном критике»); наконец, свободный доступ в поэзию народно-бытового и песенного начала,— все это было путями к Некрасову и сохранило значение для его поэзии как явление, родственное по общему своему направлению. Отмечу особое значение «Свата Ивана» для Некрасова и его круга. Стихотворение (озаглавленное тогда в печати «Монолог пьяного мужичка») было целиком приведено Чернышевским в первой статье об анненковском издании Пушкина («Современник» 1855, № 2). Замечательно также, что Некрасов не только создает своеобразный вариант к пушкинскому «Монологу пьяного мужичка», но впоследствии и сам обращается к тем же «трем Матренам и Луке с Петром» в «Солдатской» («Только трех Матрен да Луку с Петром помяну добром» и т. д.). Общим источником и для Пушкина и для Некрасова могла быть народная поминально-прибауточная песня, но нет сомнения, что для Некрасова эти фольклорные имена были новыми знаками поэтической связи с Пушкиным.

Так воспринимал и развивал Некрасов наследие Пушкина. Но историко-литературное отношение его к Пушкину этим не исчерпывалось: Некрасов, поэт нового исторического периода, поэт революционной демократии, должен был выйти за пределы пушкинской поэзии, как бы широки эти пределы ни были. Некрасов принимал и продолжал Пушкина, но непосредственно демократическое и революционное направление некрасовской поэзии разлучало ее с Пушкиным там, где в эстетическом мировоззрении Пушкина вступал в права идеал гармонии, чуждый эстетической системе Некрасова. Белинский говорил о Пушкине: «У него диссонанс и драма

всегда внутри». Это наблюдение, конечно, гораздо вернее и точнее, чем традиционный образ Пушкина — безмятежного олимпийца; возможно, что определение это нужно даже расширить, признав, что и у Пушкина «диссонанс и драма» не всегда внутри: ведь сам же Белинский находил, например, в стихотворении «Дар напрасный...» «противоречие пафосу» пушкинской поэзии. Но если говорить об основных тенденциях, они очевидны: пушкинская поэзия, полная, конечно, глубочайших внутренних противоречий, стремится к идеалу эстетической гармонии; в поэзии же Некрасова «диссонанс и драма» всегда «снаружи» [7]. Иначе и не могло быть там, где основным содержанием поэзии становятся, как у Некрасова, «диссонансы» общественной жизни. Самопризнания Некрасова, резкими и яркими метафорами подчеркивающие тему непримиренных противоречий в качестве лейтмотива своей поэзии, общеизвестны («Муза мести и печали», «Кнутом иссеченная муза» и многое другое). Отсюда и творческая полемика Некрасова с Пушкиным, полемика — глубоко принципиальная.

В 1851 г. Некрасов пишет стихотворение «Муза», которое строит (как позже «Элегию») в классических «александринах», в стиле высокой классической патетики вообще, начиная ее характерной для пушкинской (и даже допушкинской) поэзии фигурой патетического отрицания:

Нет, музы ласково поющей и прекрасной
Не помню над собой я песни сладкогласной!

Тем резче должно было звучать противопоставление своей музы, с ее особенными, ей одной свойственными чертами, образу музы пушкинской, в то же время переходящему в обобщение всей поэзии «волшебной гармонии» («Она гармонии волшебной не учила...»).

В этом синтетическом образе музы, отвергаемой Некрасовым, явственно проступают и черты пушкинских «муз» («В младенчестве моем...» и «Наперсница волшебной старины», 1821 г.; «С младенчества две музы к нам летали...» в «19 октября 1825 г.»; наконец, превращения музы в восьмой главе «Онегина»). Прямое указание на пушкинскую музу давала строка

В пеленках у меня свирели не забыла...

Однако видеть в этой строке пародию на Пушкина («И меж пелен оставила свирель») вряд ли правильно, даже независимо от вопроса о том, знал ли Некрасов пушкинское стихотворение, когда писал свою «Музу» (вероятнее, конечно, что знал, хотя в печати оно появилось позже)[8]. «Пеленки» могли казаться Некрасову не менее уместными стилистически, чем «пелены»; ведь и у Пушкина свирель оставляет «меж пелен» вовсе не слетевшая с высоты муза, а «веселая старушка... в больших очках и с резвою гремушкой»; пушкинский образ тоже своеобразно снижен по сравнению с традиционными.

Снижение это не случайно: это был симптом романтического, в широком смысле слова, движения, переосмыслявшего классические мифологемы, вносившего в них более жизненные и более индивидуальные черты. Противопоставление своей музы традиционному образу богини, волшебницы, красавицы свойственно было романтическим поэтам разных оттенков, и это всегда был наиболее видный, наиболее демонстративный образ в поэзии каждого. Пушкин в своем стихотворении 1821 г. только наметил в образе «веселой старушки» возможность переосмысления традиции; позже, в восьмой главе «Онегина», он создает уже целую череду образов — «застенчивой» музы лицейских лет (варианты), «вакханочки», «Леноры», «дикарки» и, наконец, «барышни уездной».

Восьмая глава была начата в конце декабря 1829 г. Тогда же вышла в свет книжка «Северных Цветов на 1830 год», где было напечатано стихотворение Баратынского:

Не ослеплен я музою моею;
Красавицей ее не назовут... и т. д.

Новизна и своеобразие некрасовской музы — прежде всего в ее социальной характеристике, в том, что создан образ

Печальной спутницы печальных бедняков,
Рожденных для труда, страданья и оков.

Образ этот не представляется, однако, ни цельным, ни законченным. В этом образе, как и в пушкинских «музах» 1821 г., колеблются черты реально-психологические и всецело символические. Но и там, где облик музы символичен, он резко противоречив: призывы к борьбе и мщению сменяются призывами прощать врагам; тем самым образ отражает не законченный идеал искусства, а только моменты творческого брожения. Противоречие же между символическим и психологическим обликами музы еще более резко:

Той музы плачущей, скорбящей и болящей,
Всечасно жаждущей, униженно просящей,
Которой золото — единственный кумир.

Здесь полемическая направленность образа очевидна. Это отказ от идеализации, хотя бы и в психологическом уточнении, и вместо этого — перенесение на музу объективных черт той действительности, которая стала творческим предметом собственной поэзии. Так поступал и Пушкин в «Евгении Онегине», но в его системе этим не исключалась поэтическая идеализация. Реальные черты некрасовской музы противостоят не столько символическим чертам пушкинских «муз» 1821 г., сколько реальным чертам той пушкинской музы, которая

Явилась барышней уездной
С печальной думою в очах,
С французской книжкою в руках.

Эта пушкинская муза соотносится с его героиней — Татьяной. Некрасовская муза (в этом же облике) тоже соотносится с одновременными женскими образами его лирики — с трагическими героинями стихотворений «Еду ли ночью», «Когда из мрака» и др.

В «Музе» Некрасов осознал особый, самостоятельный характер своей поэзии. В 1855 г. им написано стихотворение «Праздник жизни — молодости годы...», тема которого — осознание не только особенностей, но и качества и исторического места своей поэзии. Как и в «Музе», Пушкин здесь не назван, но очевидный смысл стихотворения — в сопоставлении своей поэзии (и жизни, как ее основы) с поэзией и жизнью Пушкина и родственных ему поэтов:

Праздник жизни — молодости годы —
Я убил под тяжестью труда,
И поэтом, баловнем свободы,
Другом лени — не был никогда.

«Праздник жизни» — прямо пушкинская формула («Блажен, кто праздник жизни рано | Оставил...» и т. д.). «Баловень свободы» и «друг лени» — варианты обычных эпитетов пушкинской поэзии, особенно ранней («Парнасский счастливый ленивец», 1814 г.; «Балованный дитя свободы», 1819 г., мотивы «лени» и «свободы» в ранних стихах вообще; позже, в 1825 г.: «И ты пришел, сын лени вдохновенный» и др.). Некрасов пушкинскими формулами характеризует молодость в социально чуждом ему воплощении, чтобы тем резче и контрастнее ввести в поэзию мотив собственной биографии

... молодости годы
Я убил под тяжестью труда.

Собственная муза выступает с чертами, отчасти уже намеченными в «Музе» 1851 г. («торжествует мстительное чувство»), отчасти новыми, более точными (раскрытие «любви» не как «прощения врагам», а как действенного начала). Но историческое место своей поэзии еще не найдено, и в автохарактеристике звучат ноты самоосуждения («Мой суровый, неуклюжий стих»); «Праздник жизни», так же как и «Муза»,— памятник исканий, памятник поэтического самоопределения.

Образ Пушкина, скрытый в «Музе» и «Празднике жизни», раскрыт в «Поэте и гражданине» 1856 г. Выше пришлось его цитировать, указывая, что в строках о «красе долин, небес и моря» Некрасов борется не против принципа «высокого» в поэзии, а за свое «высокое» содержание. Тем не

ПУБЛИЧНАЯ КАЗНЬ

На рисунке надпись художника: «До 1863 года. Видел собственными глазами»

Рисунок В. И. Сурикова

Третьяковская галлерея, Москва

менее стихотворение полемично, и полемичность эта направлена именно на Пушкина. Предмет полемики — не вся поэзия Пушкина: ее оценка попрежнему высока. Гражданин обращается к Поэту со словами: «Заметен ты. Но так без солнца звезды видны...». Эти же и следующие строки Некрасов, еще до появления «Поэта и гражданина» в печати, приводил в «Заметках о журналах» за февраль 1856 г., обращая их ко всем современным поэтам. По мысли Некрасова, Пушкин был таким солнцем, будет им и будущий великий поэт, о котором он мечтал вместе с Добролюбовым. Поэту диалога Гражданин говорит решительно: «Нет, ты не Пушкин». Не значение и не достоинство Пушкина оспаривается в диалоге, а та эстетическая теория, которая извлекается Некрасовым из пушкинской «Черни» («Поэта и толпы»), понимаемой им как безусловная проповедь искусства для искусства. Заключительной сентенцией «Черни» восхищается некрасовский Поэт (представленный нестойким, колеблющимся); над ней иронизирует некрасовский Гражданин; в этой связи и строки о «красе долин, небес и моря» представляются тоже полемически обращенными к

Пушкину — не к Пушкину в целом, а к Пушкину именно как автору определенным образом понятой «Черни».

Вслед за Белинским и вместе с Чернышевским и Добролюбовым Некрасов видел в «Черни» основную эстетическую декларацию Пушкина (некоторую оговорку делал при этом только Добролюбов). Но в «Поэте и гражданине» это был скорее теоретический спор, чем собственно творческая полемика.

Наиболее значительным фактом собственно творческой полемики Некрасова с Пушкиным был не раз в этой связи отмечавшийся эпизод «Несчастных» (1856) — обращение к Пушкину, как к певцу Петербурга.

О город, город роковой!
С певцом твоих громад красивых,
Твоей ограды вековой,
Твоих солдат, коней ретивых
И всей потехи боевой,
Плененный лирой сладкострунной,
Не спорю я: прекрасен ты
В безмолвьи полночи безлунной,
В движеньи гордой суеты!

Это «не спорю» — не только риторический прием. Спор поэтов, развернутый дальше, не имеет и здесь характера отрицания Пушкина, точно так же, как и в «Празднике жизни», признания взыскательного к себе художника («Нет в тебе поэзии свободной» и т. д.) не означали о т р и ц а н и я «свободной» пушкинской поэзии. Но Некрасов видит свою задачу в развитии того, что было обойдено Пушкиным,— именно в раскрытии социальных противоречий, и заявляет о правах и значении э т о й именно темы:

Душа болит. Не в залах бальных,
Где торжествует суета,

(ср. «И блеск, и шум, и говор балов» у Пушкина)

В приютах нищеты печальных
Блуждает грустная мечта.

Город, еще в «Петербургских углах» (1845) воспринятый Некрасовым в свете социалистических идей и нарисованный средствами поэтики натуральной школы, изображается им в «Несчастных» и в целом цикле других городских стихотворений в свете тех же (но углубленных) идей и теми же (но усовершенствованными) средствами. Это иной и полемический по сравнению с Пушкиным колорит как в смысле общего эмоционального тона, так и в более прямом смысле — к о л о р и т а как приема социальной характеристики. Пушкинские «девичьи лица я р ч е р о з» оттенены у Некрасова образом «недовольной нищеты» в сопровождении таких саркастических строк:

Как будто появляться вредно
При полном водвореньи дня
Всему, что з е л е н о и б л е д н о,
Несчастно, голодно и бедно,
Что ходит, голову склоня!

Но различия поэтических систем обнаруживаются наиболее наглядно не в прямой полемике, а в различном воплощении сходных мотивов. Такие случаи есть и в поэзии Некрасова в ее отношениях к поэзии Пушкина.

Известна пушкинская эстетическая декларация о свободе поэта в «Езерском»:

Зачем крутится ветр в овраге?...
...Зачем от гор и мимо башен
Летит орел, тяжел и страшен,
На чахлый пень? Спроси его...

. . . .
Гордись, таков и ты, поэт,
И для тебя закона нет...

В «Домике в Коломне» Пушкин освещает образ поэта с другой стороны:

От ямщика до первого поэта
Мы все поем уныло...

Обе эти темы — раскрытая Пушкиным тема свободы поэта и лишь намеченная тема русского уныния — Некрасову оказываются близки, и он, подхватывая обе, осознает их как единство. Но в результате пушкинские образы приобретают иные оттенки: у Некрасова ветер не только свободен, но и тосклив, а поэт именно в тоске и унынии — не случайных, если поэт близок народу и народному горю,— находит свою подлинную свободу:

Не заказано ветру свободному
Петь тоскливые песни в полях,
Не заказаны волку голодному
Заунывные стоны в лесах;
Спокон веку дождем разливаются
Над родной стороной небеса,
Гнутся, стонут, под бурей ломаются
Спокон веку родные леса,
Спокон веку работа народная
Под унылую песню кипит,
Вторит ей наша муза свободная,
Вторит ей — или честно молчит.
(«Газетная», 1865)

Знаменательна и такая подробность, как появление образа «волка голодного», как бы заменяющего условно символический образ пушкинского орла, сопоставляемого со свободным ветром и свободным поэтом. Уныние, как основной мотив русской природы, и осознанная связь уныния в природе с унынием в народе специфичны именно для Некрасова (см. особенно «Уныние» 1874 г.), хотя намеки на эту тему были в пушкинском же «Румяном критике».

Такое же идейно-художественное единство противоречивых тенденций — следования за Пушкиным и полемики с Пушкиным — обнаруживается в предсмертной лирике Некрасова, в ее мотивах посмертной судьбы поэта, в мотиве «Памятника». Некрасов не пишет «Памятника» в прямом смысле слова, но он развивает те именно пушкинские мотивы, в которых утверждалась связь поэта с народом. Строка —

К нему не зарастет народная тропа

— уже у Пушкина звучала как новый мотив, не знакомый предшественникам по теме. Но взгляд свой на народ Пушкин бросает с высоты такого исторического обобщения, в котором социально-конкретные черты народа неразличимы. Народ для Пушкина — русский народ вообще, или, как он уточняет дальше,— все народы России; народ — понятие, прежде всего, историческое.

Некрасов возвращается к пушкинскому образу «народной тропы», но классическая традиция «памятников», завершенная Пушкиным, в его поэзии прервана и возобновлена быть не может. «Поэт» некрасовской системы не двоится на два лика — на лик живого человека, страдающего всеми противоречиями современности и соотносимого с «детьми ничтожными мира», с одной стороны, и монументальный лик гения-героя — с другой.

Некрасов знает единый, цельный образ человека-поэта. В основах мировоззрения Пушкин и Некрасов не расходились: для них обоих бытие человека кончается его могилой. Но раздвоение образа поэта, возможное

для Пушкина, все же опиралось на такие элементы его мировоззрения, которых не было у Некрасова: эстетические ценности Пушкин мог отделять от жизненной эмпирики. Такое отделение невозможно для Некрасова, невозможно и раздвоение образа человека-поэта, невозможно, тем самым, и соприкосновение с классической традицией «памятников» — здесь рубеж, отделяющий Некрасова от Пушкина. Некрасов в своей поэтической системе не знает — и не может знать — другого соответствия теме пушкинского «Памятника», кроме темы народной памяти над реальной могилой человека-поэта; при этом будущая могила может быть и могилой одного из единомышленников, с которым поэт идейно связан:

Вам же — не праздно, друзья благородные,
Жить и в такую могилу сойти,
Чтобы широкие лапти народные
К ней проторили пути
(«Друзьям»)

Связь поэта с народом (в демократическом смысле слова) воспринимается Некрасовым как еще более органическая, еще более интимная связь, чем это было в историческом обобщении Пушкина. Поэт не только «любезен» народу, он воспринят народом во всей сложности и противоречивости своей жизни и творчества, он будет судим народом и «прощен» им; поэзия его будет принята народом и усвоена им; и это произойдет не в неопределенном будущем, а в исторически точный, хотя хронологически неизвестный момент времени, вместе с завершением борьбы за народное освобождение:

Уступит свету мрак упрямый,
Услышишь песенку свою
Над Волгой, над Окой, над Камой...
(«Баюшки-баю»).

Последние стихотворения Некрасова («Друзьям», «Баюшки-баю», «Сон») дают и окончательные решения стилистической проблемы высокого и низкого.

Романтизм в своем движении к «верности действительности» сделал возможным обновление традиционной классической символики: если можно было назвать музу веселой старушкой, барышней уездной, как у Пушкина, стал возможен и образ музы, которая «прибрела на костылях» («Баюшки-баю»). Но даже для Пушкина на этом пути были свои жанрово-тематические границы: на известных высотах «прекрасное должно быть величаво». Народ в лаптях находит свое место у Пушкина, и не только в порядке «фламандщины», т. е. нарочитого «снижения»; но в теме «Памятника» народ в лаптях невозможен и невозможен вовсе не по социальной природе образа, не потому, чтобы он представлялся Пушкину «низменным» по существу и не включаемым в тему,— а только потому, что тема требовала сублимированных и обобщенных образов; народ в лаптях подразумевался как составная часть народа вообще, но называние его было бы нарушением общих пропорций замысла, а потому и стилистически исключалось. Для Некрасова же «лапти» перестают быть бытовой деталью, а становятся атрибутом высокого понятия народа, так как понятие народа для него сливается именно с понятием крестьянства. Другой, не менее показательный, пример такого возведения бытовой детали на высоту большого обобщения — стихотворение «Сон», где в этой функции мы находим образ «несжатой полосы», т. е. реминисценцию собственного стихотворения 1854 г. Теперь, в 1877 г., эта бытовая деталь переносится в личную лирику и поднимается до многозначительного символа, опять-таки потому, что сфера высоких символов в сознании Некрасова неотделима от образов, непосредственно связанных с народной жизнью. В этой связи следует

Муза.

Нѣтъ, музы ласково-поющей и прекрасной
Не помню надъ собой я пѣсни сладкогласной!
Въ небесной красотѣ, неслышимо какъ духъ,
Слетая съ высоты, младенческій мой слухъ
Она гармоніи волшебной не учила,
Въ пеленкахъ у меня свирѣли не забыла.
Среди моихъ забавъ и отроческихъ думъ
Мечтой неясною не волновала умъ,
И не являлась вдругъ восторженному взору
Подругой любящей въ блаженную ту пору,
Когда томительно волнуютъ нашу кровь
Неразделимые и Муза и Любовь...

Но рано надъ мной отяготѣли узы
Другой неласковой и нелюбимой музы,
Печальной спутницы печальныхъ бѣдняковъ,
Рожденныхъ для труда, неволи и оковъ.
Той Музы страждущей, скорбящей и болящей,
Всечасно жаждущей, униженно-просящей,
Которой золото единственный кумиръ...

Въ усладу новаго ~~[illegible]~~ пришельца въ Божій міръ,
Въ убогой хижинѣ, предъ дымною лучиной,
Согбенная трудомъ, убитая кручиной
Она пѣвала мнѣ, и полонъ былъ тоской
И вѣчной жалобой напѣвъ ея простой...

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА АВТОГРАФА СТИХОТВОРЕНИЯ «МУЗА», ПОДАРЕННОГО НЕКРАСОВЫМ 11 АВГУСТА 1852 г. Н. П. БОТКИНУ

Исторический музей, Москва

Случалось, нестерпѣвъ
~~[illegible]~~ томительнаго горя,
Вдругъ плакала она, моимъ рыданьямъ вторя,
Или тревожила младенческій мой сонъ
Разгульной пѣснею... Но тотъ же скорбный стонъ
Еще пронзительнѣй звучалъ въ разгулѣ шумномъ;
Все слышалось въ немъ въ смѣшеніи безумномъ:
Расчеты мелочной и грязной суеты
И юношескихъ лѣтъ прекрасныя мечты,
Погибшая любовь, подавленныя слезы,
Проклятья, жалобы, безсильныя угрозы.
Въ порывѣ ярости, съ неправдою людской
Безумная клялась ~~[illegible]~~ начать упорный бой.
Предавшись дикому и мрачному веселью,
Играла бѣшено моею колыбелью,
Смѣялась, плакала... и буйнымъ языкомъ
На головы враговъ звала Господень громъ!

Въ душѣ озлобленной, но любящей и нѣжной
Непроченъ былъ порывъ жестокости мятежной.
Слабѣя медленно, томительный недугъ
Смирялся, утихалъ... и выкупалъ вдругъ
Все буйство дикое страстей и скорби лютой
Одной, божественно-прекрасною минутой,
Когда страдалица, поникнувъ головой,
„Прощай врагамъ своимъ!" шептала надо мной.

ВТОРАЯ СТРАНИЦА АВТОГРАФА СТИХОТВОРЕНИЯ «МУЗА», ПОДАРЕННОГО НЕКРАСОВЫМ 11 АВГУСТА 1852 г. Н. П. БОТКИНУ

Исторический музей, Москва

Так вечно плачущей и непонятной девы
Лелеяли мой слух суровые напевы,
Покуда наконец обычной чередой
Я с нею не вступил в ожесточенный бой.
Но с детства прочного и кровного союза
Со мною разорвать не торопилась Муза,
Чрез бездны темные Отчаянья и Зла
Труда и Голода — она меня вела
Почувствовать свои страданья научила
И свету возвестить о них благословила...

Дарю это стихотворение Николаю Боткину с тем, чтоб он никому не давал его читать.

Н. Некрасов

11-го Августа 1852.

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА АВТОГРАФА СТИХОТВОРЕНИЯ «МУЗА», ПОДАРЕННОГО НЕКРАСОВЫМ 11 АВГУСТА 1852 г. Н. П. БОТКИНУ

Исторический музей, Москва

вообще указать, что, говоря о символике поэзии Некрасова, всегда необходимо помнить, что это была специфическая символика, возникшая изнутри реалистического метода и ни в чем не противоречившая реалистическому мировоззрению.

Обновление поэтических систем материалом живой действительности, впервые последовательно осуществленное у нас Пушкиным, получило новое звучание у Некрасова, в соответствии с демократическим существом его идеологии и с дальнейшим движением реализма в поэзии и прозе.

3

Некрасов — поэт обнаженных противоречий. Эти противоречия обоснованы в его поэзии социально-исторически, независимо от того, становится ли ее темой весь народ, его часть или единичный «сын больной больного века». Основное противоречие — сила и бессилие народа: могучая потенциальная сила, но бессилие на этой исторической ступени, в эту пору, в этой ситуации, когда исторически предопределенное освобождение народа еще не осуществимо («Ты и могучая, ты и бессильная...»). Силу и бессилие соединяет в себе и поэт — друг и певец народа, для которого в свете идеала — служения «великим целям века» — собственная жизнь без прямой борьбы за народ осуждена и чувство любви к народу неотделимо от сознания вины перед ним («Неизвестному другу», «Последние песни»).

Так возникают в поэзии Некрасова различные поэтические интонации и целые поэтические формы, противостоящие друг другу, в зависимости от объекта, на который направлена поэтическая энергия. Направленная на отрицательную общественную среду, на господствующие классы, как на народных врагов, она становится обличительной в своем единстве высокого проповеднического пафоса и сатиры. Лиризм, направленный внутрь, на свое поэтическое «я», раскрывается как трагическая тема; но общественное и личное содержание ее сливаются; обличение, обращенное не на врагов, а на близких, на людей своего круга и своего поколения, переходит в самообличение, которое тоже не абсолютно, а включено в сложные комплексы исповеди, призыва, прорицания, плача, гимна («Неизвестному другу», «Рыцарь на час», «Что ни год уменьшаются силы», «Русь»).

На тех же противоречиях основаны и сюжетные произведения Некрасова о друзьях народа («Несчастные»), о самом народе (крестьянские поэмы) и народные характеры (Дарья, Матрена Тимофеевна) и обобщенные образы народа и родины — от «Тишины» до «Кому на Руси жить хорошо».

Как поэт обнаженных противоречий, социально обоснованных в самых остро личных темах, Некрасов был наследником Лермонтова с его «пророческой речью», «горечью и злостью» и «холодом тайным». Лермонтов — поэт пробуждающегося общественного сознания в порабощенной стране — выражал это сознание в общей, идейно еще смутной романтической форме и преимущественно в негативных формах отрицания, неприятия социальной действительности. Но именно эта черта уже современниками Лермонтова была оценена как скрытая сила большого мятежа. «Все наши воспоминания исполнены горечи и злобы»,— писал Герцен в 1851 г., почти цитируя Лермонтова («горечью и злостью»).— «Грусть, скептицизм, ирония — вот три главные струны русской лиры» («Русский народ и социализм»). Тем самым Герцен делал представителем в с е й русской поэзии переходной поры именно Лермонтова, который, по другому его же выражению, «влачил тяжесть скептицизма во всех своих фантазиях, во всех своих наслаждениях» [9]. Классическим остается определение Белинского, данное в письме 16 апреля 1840 г. к Боткину, личности Лермонтова, но всецело верное и для его поэзии: «В рассудочном, охлажденном и озлобленном взгляде на жизнь и людей семена глубокой веры в достоинство того и другого».

В этом — главная мысль и статей Белинского о Лермонтове. Существо и направление этой веры «в жизнь и людей» было неясным, неоформленным, но логика социального отрицания вела Лермонтова к некрасовскому пути. Инстинктом художника он приближался к нему каждый раз, когда положительные ценности раскрывались ему в народной стихии.

Однако преемственность Некрасова от Лермонтова не была непосредственной и прямолинейной. Такие наиболее очевидные случаи, как стихотворение, самим Некрасовым названное «подражанием Лермонтову», или, с другой стороны, как шуточные перепевы лермонтовских стихов («И скучно, и грустно, и некого в карты надуть...», «В один трактир они оба ходили прилежно», наконец, «Колыбельная песня»),— как раз наименее показательны и свидетельствуют только о внутренней свободе в отношении к лермонтовским темам, но не о существе приближений Некрасова к Лермонтову и отталкиваний от него.

Обличительный пафос Лермонтова в самом существе своем романтичен; от каких бы конкретных событий поэт ни отправлялся, он переносит их в некую общую, если не сверхисторическую, то обобщенно историческую сферу, и это особенно ясно не в таких нарочитых обобщениях, как «Пророк», а именно в стихах, где историческая перспектива входит в поэтический замысел, как в «Поэте». Совершенно условна здесь не только типизация образа «утратившего назначение» поэта, но и типизация исторических явлений: «изнеженный век», «ветхий», нарумяненный мир и даже соблазн золота — все эти эмоционально очень острые оценки лишь намекают на черты именно данного «века» и «мира».

Иначе строится обобщение в «Смерти поэта»—в ее обличительном финале. Гневная характеристика царедворцев звучит убийственно с самого начала вовсе не в силу исторической конкретности: обличение подлости отцов и происков сыновей в борьбе новой и старой знати не могло иметь смысла раскрытия подлинных причин гибели поэта; это лишь попутные удары, подготовляющие основной и наиболее обобщенный: «Свободы, гения и славы палачи!», а угроза «божьим судом» поистине звучала тем более мощно, чем менее конкретно она могла восприниматься; здесь брошен только намек на то, что «черная кровь» палачей прольется при этом «божьем суде». Доносчики поспешили расшифровать это как «воззвание к революции», дав невольно для себя любопытную иллюстрацию к вопросу о многозначности романтических символов. Там же, где Лермонтов стремится к исторической конкретности, например, в «Последнем новоселье»,— там неизбежно романтизируется самая история; перипетии полувековой исторической борьбы изображаются как романтический конфликт между великим героем и заблуждающейся толпой.

Поэзия Некрасова в целом не знает того жанра патетической инвективы, для которой в лермонтовской поэзии был и свой, не сливавшийся с другими круг ритмико-строфических форм, тяготеющих к классическому стилю (строфы шестистопного или смешанного ямба). Став направленнее и конкретнее, обличения Некрасова растворились в разнообразных жанровых и ритмических формах, в соответствии с усвоенной Некрасовым от Пушкина свободой в чередовании поэтических элементов. Так, в «Рыцаре на час» оказалось достаточным сосредоточить обличение в попутном словосочетании — даже не в целой фразе («От ликующих, праздно болтающих, обагряющих руки в крови»), в «Песне Еремушке» — в двух строфах перехода от пародии к гимну,— все это на фоне бытовой картины; и в «Размышлениях у парадного подъезда» срединное обличительное звено соединяет бытовое повествовательное начало с песенно-элегическим концом. Но в этом среднем звене обличительный пафос почти растворен в колоритной реалистической сатире. Лермонтов знал подобные перебои авторского тона разве только в «Сашке» и в «Сказке для детей», но там они подчинялись

общему ироническому колориту, за которым скрывалась некоторая неопределенность авторских отношений к действительности.

Некрасовское отношение к враждебной ему социальной действительности именно в силу своей четкости и определенности не нуждалось в обличениях, как особом жанре. Разнообразные формы сатиры, сатиры реалистической, для которой поэзия могла использовать все достижения русской прозы от Гоголя и натуральной школы до ближайших современников-реалистов,— все это ближе соответствовало общему направлению некрасовской поэзии. И стихотворение 1852 г. «Блажен незлобивый поэт», которое должно было быть программным, написанное на смерть Гоголя и на его мотив, создавало в сущности иной образ поэта, чем обычный для Некрасова образ лирического героя. Поэт, «чей благородный гений стал обличителем толпы,/Ее страстей и заблуждений»,— этот поэт ближе к обличителю-Лермонтову, чем к обличителю-Некрасову. Не случайны поэтому и близкие (отмеченные в свое время Ю. Н. Тыняновым) аналогии между этим стихотворением и лермонтовским «Пророком»:

Его преследуют хулы,
Он ловит звуки одобренья
Не в сладком ропоте хвалы,
А в диких криках озлобленья.

Не случайно и лейтмотив стихотворения — «любовь-ненависть» — совпадает с герценовской характеристикой Лермонтова, как не случайно и все антитетическое строение стихотворений в целом и в деталях, восходящее не только к Гоголю (виновнику темы), но и к Лермонтову.

Однако в лермонтовских образах «поэта» нет единства. Два стихотворения — «Пророк» и «Поэт» — таким единством связаны: это лирический герой, уверенный в своей правде и гордо противопоставляющий себя окружающему миру с его ложью. Но пафос утверждения своей правды соединяется с разочарованием в реальности такого утверждения: высокая мечта не выдерживает столкновения с тем, что на языке истории называется реакционным застоем, а на поэтическом языке Лермонтова — холодностью, равнодушием или озлоблением «толпы». Такова трагедия не одного Лермонтова, а всего его «поколения» — передовых людей 30—40-х годов, погибавших в условиях, «где величайшие напряжения, величайшие таланты, величайшие способности поглощаются ‹бездонной пропастью› раньше, чем достигнут в чем-нибудь успеха» (Герцен). Вот почему и лермонтовский «поэт» раздваивался на поэта-трибуна и поэта-скептика. Раздвоенность эта могла сказываться в пределах одной лирической темы как внутреннее противоречие, но могла и олицетворяться в двух разных героях, как это и случилось в «Журналисте, читателе и писателе». В этом лермонтовском диалоге трибуну-«читателю» противостоит скептик-«писатель». Но скептик этот знает и всю силу высоких вдохновений, как в мечтах о «будущности», так и в обличениях современности; он только не верит в их действенность. Это противоречие прозвучало с полной уже резкостью у Некрасова и было им воплощено в очевидном отклике на лермонтовский диалог — в собственном диалоге «Поэт и гражданин». То, что отчасти намечено было уже у Лермонтова,— мотив общественной ответственности поэта,— стало основным в некрасовской патетике. Из смутного очерка лермонтовского благородного духом «читателя» развился образ стойкого и последовательного борца — некрасовского «гражданина», и здесь за некрасовским текстом явно виден круг идей, уже со всей четкостью выраженных его единомышленниками. Некрасовский «гражданин» противопоставлен «поэту» не как отрицание, а как выражение его лучшего «я». «Поэт» Некрасова прямо восходит к лермонтовскому «писателю»; как и у Лермонтова, он показан в движении, в борьбе, также далекой от разре-

шения в жизни, хотя в существе своем уже оцененной автором. Из двух путей, намеченных «писателем»,— «воздушный, безотчетный бред» или «пророческая речь» — некрасовский «поэт» сделал решительный выбор («И гордо покидал Парнас»). Прогноз лермонтовского «писателя»:

К чему толпы неблагодарной
Мне злость и ненависть навлечь,
Чтоб бранью назвали коварной
Мою пророческую речь

Некрасов показывает сбывшимся:

И что ж?.. Мои послышав звуки,
Сочли их черной клеветой...

Он показывает сбывшимся и дальнейший путь поэта, извилистый, трудный, неразлучный с неудовлетворенностью самим собой.

Отношение Некрасова к Лермонтову может быть охарактеризовано теми словами, какими Огарев определил отношение людей своего круга к Пушкину: «...с его больною стороною мы, может, дружны». Если современник Некрасова чутко улавливал эту «больную сторону» даже в Пушкине, то тем большее значение должна была иметь для современников «больная сторона» Лермонтова, так отчетливо в его поэзии выраженная. Лермонтов, по словам Анненкова, навел Белинского на сознание, что «единственная поэзия, свойственная нашему веку, есть та, которая отражает его разорванность, его духовные немощи, плачевное состояние его совести и духа». Лермонтовское «я» в стихотворении «Гляжу

У ЗЕМСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Картина маслом Н. П. Загорского, 1886 г.

Третьяковская галлерея, Москва

на будущность с боязнью», или «ты» в «Не верь себе...», или «мы» в «Думе» — это, при всех отличительных оттенках, лирический герой с поколебленным, мятущимся сознанием, причем в двух последних и особенно в «Думе» это поэтическое смятение включено в перспективу общественно-исторического. Здесь открывались широчайшие возможности для лирики Некрасова, в которой личное и общественное «я» поэта сливалось окончательно, и поэт ясно сознавал общность своих «недугов» с недугами века.

Некрасов создавал свою лирику личных и общественных диссонансов в 50-е, 60-е, 70-е годы, в условиях, изменившихся по сравнению с условиями времени Лермонтова, но и продолжавших их: основное — порабощение страны, скованность ее жизненных сил, видимое бессилие свободолюбивых порывов — все это в измененных формах продолжало существовать в русской исторической действительности. Эта общность основы делала возможными и более близкие соответствия между мотивами поэзии Лермонтова и Некрасова: жажда свободы и сопротивления всякому, также и духовному рабству; борьба с враждебным прошлым («ошибками отцов»); жажда деятельности и трагедия бессилия — все это, усиленное и обостренное в новых исторических условиях, отозвалось у Некрасова даже и непосредственно; достаточно привести одну его строчку —

Постыдное бессилие раба,

— в которой сгущен и сосредоточен целый комплекс лермонтовских мотивов; сравним строфу из «Думы»:

К добру и злу п о с т ы д н о равнодушны,
В начале поприща мы вянем б е з б о р ь б ы,
Перед опасностью п о з о р н о - м а л о д у ш н ы
И перед властию презренные р а б ы.

Да и тема «ошибки отцов», обращенная к тому же в сущности поколению, прозвучала у Некрасова в «Недавнем времени» (1871):

Таковы ли бывают отцы,
От которых герои родятся?

Но, в то время как тема бессилия (хотя и с существенно иными чертами) становится одним из лейтмотивов Некрасова (мотив «Рыцаря на час»), другие лермонтовские темы — такие, как тема преждевременной зрелости и пресыщения,— для Некрасова не могли быть актуальными и соответствий не имели; они остались специфическими для рефлектирующей поэзии 40-х годов, преемственно связанной еще со всей полосой эпикурейской поэзии и со всей ее проблематикой. Преодоление эпикурейского мироотношения различно переживалось Пушкиным, Баратынским, Лермонтовым, но в разных идеологических и поэтических формах оставалось проблемой для них всех. Некрасов—уже по ту сторону этой проблематики, что сжато выражено им в строфе:

Праздник жизни — молодости годы —
Я убил под тяжестью труда,
И поэтом, баловнем свободы,
Другом лени — не был никогда

— строфе, полемически обращенной, как это было показано выше, к поэтам пушкинского периода и круга. Вот почему и лермонтовская «Дума» отзывается в поэзии Некрасова не всем своим содержанием, а только теми мотивами, которые сохранили силу в новых исторических условиях.

Социально-психологическая тема бессилия у Лермонтова и Некрасова, при всех исторически неизбежных оттенках, имеет общий характер. Это бессилие не от отсутствия сил, а от их несоразмерности с желаниями и стремлениями человека. «В начале поприща мы вянем б е з б о р ь б ы» —

не простая констатация психологического состояния, а скрытая мечта о борьбе; то, на что намекал Лермонтов и что для его сознания рисовалось еще в неясных очертаниях, раскрывал Некрасов, для которого понятие «борьбы»,— а значит, и бессилия в борьбе,— звучало уже конкретно.

Поэтому и мотивы бессилия утрачивают в поэзии Некрасова тот оттенок фатальности, какой они имеют в поэзии Лермонтова, и, напротив, приобретают иные, у Лермонтова не развитые, черты — строгой сравнительной оценки своего общественного поведения в сопоставлении не только с отвлеченным идеалом, но и с живыми образами — и образцами — борцов. Такая оценка отчетливее всего выражена в предсмертной лирике Некрасова («...на меня их портреты/ Укоризненно смотрят со стен»). Самое бессилие в условиях сравнения становится не столько абсолютной самооценкой, сколько показателем требований к себе и своему общественному долгу.

Противоречие между фактическим бессилием и потенциальными силами выразилось в поэзии Лермонтова наиболее остро в его знаменитом самоопределении: «железный стих, облитый горечью и злостью». Это была как бы формула лермонтовского отношения к действительности, им отрицаемой: эстетическому выражению потенциальных сил («железный стих») соответствуют эмоции неудовлетворенности и непримиримости; при этом метафорическое определение субъективного тона — «горечь» — закономерно выдвинуто здесь на передний план. Столь же закономерно для некрасовской поэзии решающей оказывается вторая часть лермонтовской поэтической формулы: «злость» — это определение не столько личного переживания впечатлений действительности, сколько отношения к ней поэта. Как Лермонтов наделил «злостью» свой стих, так и Некрасов, уже не однажды, а в ряде самоопределений, говорит о злобе, озлоблении, как об отличительном свойстве собственной поэзии; подобно Лермонтову, у него это — формула общественной поэзии поэта, но еще более определенная. Лермонтов в стихотворении «Как часто пестрою толпою окружен...» исходил из романтической ситуации — мечтающий поэт и равнодушная толпа, «свет» (хотя объективная энергия стихотворения, конечно, перерастала эту исходную ситуацию); Некрасов своей формулой злобы и озлобления говорит прямо о поэте-борце в кругу обобщенно понятой враждебной действительности. Своеобразие каждого поэта и преемственность между ними исторически вполне объяснимы.

В стихотворении 1848 г. «Поражена потерей невозвратной» строка «Погасла и спасительная злоба» имеет несомненный общественный подтекст. В дальнейшем это еще очевиднее, так как черты «злобы», «озлобления» придаются своей поэзии, своей музе:

В душе озлобленной, но любящей и нежной...
(«Муза», 1851)

Друзья мои по тяжкому труду,
По музе гордой и несчастной,
Кипящей злобою безгласной!
(«Чуть-чуть не говоря...», 1856)

Угрюм и полон озлобленья
У двери гроба я стою
(«Поэт и гражданин», 1856)

...Те честные мысли...
В которых так много и злобы и боли,
В которых так много любви!
(«Крестьянские дети», 1861)

Сочетание «злоба и любовь» словесно у Лермонтова не выражено, но за Лермонтова его выразил Герцен, определяя историческую роль Лермонтова словами: «Нужно было уметь ненавидеть из любви». Но еще раньше

«Крестьянских детей», всего через четыре года после брошюры Герцена — в 1855 г., Некрасов пишет два стихотворения, где настойчиво звучит тот же мотив. В одном — «Праздник жизни» — так охарактеризована собственная поэзия:

Нет в тебе творящего искусства...
Но кипит в тебе живая кровь,
Торжествует мстительное чувство,
Догорая, теплится любовь.

Другое: «Замолкни, муза мести и печали» заканчивалось:

То сердце не научится любить,
Которое устало ненавидеть...

В провозглашении этого единства Некрасов опирался на общий смысл лермонтовской поэзии, так именно и раскрытый Герценом, а в формулах отрицания — злоба, ненависть и мстительное чувство — прямо продолжал Лермонтова: ведь и мотив мести, дважды включенный Некрасовым в свое поэтическое самоопределение, тоже восходит к лермонтовской теме поэта:

Иль никогда на голос мщенья
Из золотых ножон не вырвешь свой клинок...

Независимо от всех возможных текстуальных параллелей важно то, что Лермонтов продолжал пути для лирики противоречивого личного и общественного сознания. Такие некрасовские стихотворения, как «Замолкни, муза мести и печали», «Неизвестному другу», «Рыцарь на час», «Разбиты все привязанности» и ряд «Последних песен», являются развитием поэтического метода, разработанного Лермонтовым в его «рефлектирующих» стихотворениях. Общностью основного поэтического содержания и направления предопределялись и более конкретные стилистические соответствия. Некрасов смыкается с той системой образов, которая была закреплена в лирике этого типа Лермонтовым.

Поэтическая символика борьбы и поражения — образы рабства, цепей, тюрьмы, пытки, казни, терний — были Некрасовым унаследованы с тем же общим смысловым и эмоциональным содержанием. Некрасов еще шире их применяет; Лермонтов в своем тюремном цикле связан сюжетными ситуациями; Некрасов пользуется теми же образами для сравнений и метафор, окрашенных общественно-эмоциональным тоном:

...Мне самому, как скрип тюремной двери,
Противны стоны сердца моего.

...Тюремщиком больного не зови...

...Ты умерла: тюрьма освободилась... и т. д.

Образ тюрьмы всецело включается в реалистическую систему Некрасова и стилистическими деталями даже подчеркивает связь с этой системой («скрип тюремной двери»). Более неожиданными, на первый взгляд, оказываются в системе Некрасова образы терний, тернистого пути и особенно тернового венца, где романтическое происхождение несомненно и реалистическая мотивировка совершенно исключена. Между тем для Некрасова эти именно образы особенно значительны, так как с ними связаны его основные общественно-эстетические формулы.

Терновый венец у Некрасова — символ исторических народных страданий:

Народ-герой! в борьбе суровой
Ты не шатнулся до конца,
Светлее твой венец терновый
Победоносного венца!

(«Тишина», 1857).

У ПОДЪЕЗДА
Рисунок М. О. Микешина, 1876 г.
Музей революции СССР, Москва

Тернии—также и символ будущей борьбы за народ:

Выводи на дорогу тернистую!..
(«Рыцарь на час», 1860 и др.)

В то же время терновый венец становится знаком единства страдающего народа и поэта, призванного «воспеть его страданья». Образом этим заканчивается программное стихотворение 1855 г. «Праздник жизни...» («И венцом терновым наделяет/Беззащитного певца...»),как и другое, почти одновременное и еще более программное стихотворение «Поэт и гражданин»:

Но шел один венок терновый
К твоей угрюмой красоте.

Этот образ прямо восходит к лермонтовской символике:

И прежний сняв венок — они венец терновый,
Увитый лаврами, надели на него...

Пускай толпа растопчет мой венец,
Венец певца, венец терновый!..

Зачем тебе венцы его вниманья
И тернии пустых его клевет?

Не привожу примеров других общих образов (цепи, пытки, казни), так же широко использованных Некрасовым вслед за Лермонтовым, а в конечном счете — вслед за всей традицией гражданской поэзии: между Рылеевым, Полежаевым, Лермонтовым и Некрасовым устанавливается, таким образом, прямая преемственность. Место этих образов в разных поэтических системах было, однако, различным. У Лермонтова образы эти рождались в процессе обобщения романтических тем — борьбы «героя» и «толпы», хотя в то же время в них отражался и гораздо более широкий исторический трагизм поэта, как подлинного исторического героя, и «толпы», как враждебной ему среды; энергия и эмоциональная насыщенность этих образов уже создавали предпосылки для некрасовского пафоса, но в романтической системе Лермонтова все подобные образы и мотивы были вполне органическими, дополняя и оттеняя другие, того же происхождения и характера. Так, в отрывке «Не смейся над моей пророческой тоскою» образ казни на плахе соотнесен с образом «удара судьбы», а образ тернового венца — притом «растоптанного» толпой — с образом «недоцветшего гения», причем сочетаются все эти образы не логикой темы, а лишь общим эмоциональным колоритом. В стихах «Памяти Одоевского» «венцы внимания», «тернии клевет» и «коварные цепи»— комплекс нарочито условных образов, противостоящих простым и свободным впечатлениям природы и близкого природе простодушного сердца человека. Значение образов колеблется, но остается неизменным общий трагический эмоциональный тон.

В некрасовскую систему те же образы входили как неорганические, инородные и потому подчеркнуто выделенные на общем реалистическом фоне системы, как знак большого художественного обобщения. Колеблющееся у Лермонтова значение образов у Некрасова делается устойчивым; историческое обоснование образа не только подразумевается, но иногда на него указывается в самом тексте:

Есть времена, есть целые века,
В которые нет ничего желанней,
Прекраснее тернового венка.
(«Мать», 1868)

Романтический по своему происхождению образ [10] играет уже роль не одного из многих подобных, а роль особого, необычного, выделенного и противопоставленного своему образному окружению. Тем самым, ему

придается функция вершинного и обобщающего в композиции стихотворения.

Наибольший историко-литературный интерес представляют те случаи в поэзии Некрасова, когда образы, восходящие к романтическим системам, вступают в соприкосновение с образами иного, реалистического происхождения. Так, образ «музы в терновом венке» чередовался и сочетался у Некрасова с образом «кнутом иссеченной музы», невозможным у Лермонтова. Некрасов же в своем восьмистишии 1848 г. «Вчерашний день часу в шестом» наглядно показал, как, исходя из метода натуральной школы, почти что буквально из «Физиологии Петербурга» («...зашел я на Сенную»), можно притти к высокому поэтическому символу, а в стихотворении 1855 г. «Безвестен я...» посредством тех же образов показал возможность синтеза реалистической и романтической символики:

Нет! свой венец терновый приняла,
Не дрогнув, обесславленная муза
И под кнутом без звука умерла.

Как уже сказано, прямо по лермонтовским путям Некрасов не шел, но такие пробы, однако, бывали, и самая их возможность показывает, что Лермонтов был для Некрасова не только «наследством», но и живым современным явлением (так было и фактически: ведь Некрасов дебютировал еще при жизни Лермонтова). Одна такая проба уже отмечена: это «Блажен незлобивый поэт», задуманный по следам «Пророка»; другой пример — «На Волге», явно восходящее к «Мцыри».

Некрасов воспринял «Мцыри» не только как ритмико-синтаксический образец, но применил этот образец к сходной теме исканий и разочарований юноши или подростка в поисках жизненного пути. Некрасов воспринял здесь всю ритмическую систему «Мцыри»: не только бесстрофный четырехстопный ямб сплошной мужской рифмовки с узаконенными переносами, но и периодическое строение стиха с полновесными существительными в мужских рифмующих окончаниях. В поэме Некрасова есть строки, звучащие по-лермонтовски до полной иллюзии:

Зато, добытая с тех пор,
Привычка не искать опор
Меня вела своим путем,
Пока рожденного рабом
Самолюбивая судьба
Не обратила вновь в раба!

Это как бы самостоятельная свободная вариация на тему «Мцыри», которая могла бы занять свое место в этой поэме. А вот варианты уже к отдельным мотивам и эпизодам:

В каких-то розовых мечтах
Я позабылся. Сон и зной
Уже царили надо мной...

Сравним у Лермонтова:

Трудами ночи изнурен,
Я лег в тени. Отрадный сон
Сомкнул глаза невольно мне

Или — у Некрасова:

Какие клятвы я давал —
Пускай умрет в душе моей

У Лермонтова:

Воспоминанья тех минут
Во мне, со мной, пускай умрут...

Очевидно, этот ритм применим — по крайней мере, в русских стихах — для нагнетания однородных эмоций, подчеркнуто резких и не находящих разрешения,— таков именно эмоциональный мир лермонтовского героя. И у Некрасова ритм этот представляется оправданным там, где он дает вариант,— пусть исторически своеобразный,— того же эмоционального мира. Но Некрасов соприкоснулся с Лермонтовым лишь в исходной психологической теме, а не в ее развитии; уже в данной поэме внутренняя убедительность лермонтовского ритма для некрасовской темы ослабевала (в дальнейшем он смог быть использован Некрасовым лишь в пародийно-сатирическом «Суде» 1868 г.). Лермонтовская тема при всей подлинности психологического рисунка и при всей точности местного колорита остается в пределах романтического конфликта «естественного состояния человека» с искусственным и ложным миром насилия (символически представленным в образе монастыря). В некрасовскую тему — пробуждения сознания под влиянием социального зла — органически включены мотивы данного исторического времени и данной социальной среды.

Движение в этом направлении испытывала уже поэзия Лермонтова. Это не был завершенный и последовательный демократизм, но это было предрасположение к нему, которое обнаруживалось, прежде всего, объективно, в творческой практике. Лермонтов шел в значительной мере по пушкинскому следу, к народности как к творческой основе и к реалистически конкретному методу творчества. В его эволюции не было перелома, а было преобразование романтизма изнутри, притом очень органическое и глубокое. Лермонтов не искал внешних, декоративных признаков народности и не отказывался от прежнего лирического содержания, но разрабатывал это содержание новыми средствами. Показательный пример — «Завещание», стихотворение, в котором та же тема, что и в прежней романтической лирике Лермонтова,— тема одиночества и обреченности; но недавнее «Я в мире не оставлю брата» теперь раскрыто в жизненных ситуациях, притом с полным отказом от поэтических эффектов: основным выразительным средством является теперь глубоко экспрессивная лирическая интонация [11]. Та «нагая простота», к которой стремился Пушкин, возобладала здесь в пределах, вряд ли не превышающих пушкинские требования. И естественным следствием отказа от «условных украшений стихотворства» (Пушкин), всегда ориентированных на исторически конкретный стиль определенной культуры, было приближение к свободной стихии демократической народности. Лирический герой «Завещания» дан вне социальной окраски, он нейтрален. Эту же нейтральность, которая объективно вела к демократизму, находим мы и в «Бородине», и в «Казачьей колыбельной песне», и — в особенно любопытной по связи с Некрасовым — «Соседке»: простота поэтической речи в сочетании с легкими ритмическими параллелизмами создала здесь ту близость к народной песне, которая и на деле превратила стихотворение в песню. В лермонтовском творчестве это стихотворение 1840 г. было одним из многих несбывшихся обещаний, но оно оказалось и одним из зерен некрасовской лирики. Лермонтов показал здесь, что в песенной форме и в границах несложного сюжета может быть отражено индивидуальное чувство жизни: здесь — тоска по воле и готовность к борьбе, с чем связан и образ женщины-товарища.

Стихотворение «Соседка» имело и непосредственные последствия для Некрасова. В 1850 г. он написал довольно близкое подражание ему. Это была первая (очень неудачная) редакция стихотворения «Буря». На основе ритма «Соседки» Некрасов построил бытовой и психологический эпизод, где самая ситуация — герой и «соседка» — лишь отдаленно восходит к Лермонтову, где опасному предприятию лермонтовского сюжета соответствует, без всякого налета пародии, всего только свидание в грозу и бурю, но где несомненно общее с Лермонтовым эмоциональное содержание: на-

КРЕСТЬЯНИН НА ПАШНЕ
Акварель П. П. Соколова, 1874 г.
Музей русского искусства, Киев

строение жизненного подъема, переживание любви, понимаемой как приобщение к полноте жизни. Отсюда и близкие к Лермонтову лирические интонации:

Не казалась бы ночь ей темна.
Да настолько ли любит она?..
...Без надежды вхожу я в беседку,
Озираюсь — и вижу соседку...

Через три года Некрасов переработал «Бурю», причем вытравил все черты сходства с Лермонтовым: двустишия шестистопного хорея не вызывали уже никаких ассоциаций с Лермонтовым; исчезли песенные интонации вообще, а попутно и те общепоэтические банальности, в которых Лермонтов был неповинен («Наше счастие тихо цветет» и т. п.). Любопытно, однако, что пародия Алмазова на первую редакцию «Бури» («Кофей», 1851) высмеивала, как видно, не эти банальности, а как раз обыденность сюжета и простоту поэтической речи.

Устремления лермонтовской поэзии последних лет к народности оставались бы разрозненными, если бы не возникло стихотворение, где они возведены в большое обобщение. Это — «Родина», стихотворение, о котором отозвались так восторженно и Белинский и Добролюбов. То скептическое, как может показаться на первый взгляд, отношение к истории, которое раскрывается в первых строках «Родины», на самом деле вовсе не было таковым: оно знаменовало переход к иному, прогрессивному историзму, для чего и нужно было разрушить ложный казенный образ России и выдвинуть его другое, не показное содержание — природу и народ. Частности этого нового образа России уже даны были Пушкиным, но обобщение создано Лермонтовым. В этом почти предсмертном стихотворении как бы намечена новая, так и не осуществленная самим поэтом творческая программа. Она стала «программой» для Некрасова. Лермонтовское отрицание официозных и славянофильских исторических построений, лермонтовское непосредственное чувство близости к русской природе и народу

разделялись Некрасовым всецело. Вместе с тем Некрасов напитал лермонтовское обобщение живой и действенной исторической идеей, тем историзмом, обращенным в будущее, который был подготовлен лермонтовским отрицанием. Все частности лермонтовской «Родины» получили дальнейшее развитие, начиная с пейзажа, который особенно близок к лермонтовскому в «Тишине» Некрасова.

...Суровость рек, всегда готовых
С грозою выдержать войну,
И ровный шум лесов сосновых,
И деревенек тишину,
И нив широкие размеры...

Этот обобщенный внешний образ России много раз видоизменялся и углублялся в творчестве Некрасова. Но и другие лермонтовские намеки были им раскрыты с большой полнотой. За «дрожащими огнями печальных деревень» он показал и быт, и события, и характеры, и чувства. «Отрада многим незнакомая» (этими словами Лермонтов подчеркивает необычность своего восприятия русской деревни) — стала одним из органических мотивов поэзии Некрасова:

Запаслася скирдами, родная,
Окружилася ими она,
И стоит словно полная чаша...
("Рыцарь на час»).

А две заключительные строки «Родины» (восходящие к Пушкину, но ставшие в композиции лермонтовского стихотворения особенно многозначительными) широко развернулись во многих образах и эпизодах «Кому на Руси жить хорошо».

Так обобщенный лермонтовский образ родины дробился на элементы, которые развивались в поэзии Некрасова. В то же время Некрасов создавал свои обобщения родины. Но у Некрасова народ уже не только угадывается за природой, как в «Родине» Лермонтова,— для Некрасова понятия родины и народа совпадают, а природа воспринимается либо как фон, как обстановка народной жизни, либо как ее символ. Такой символ — Волга в ее разливе в «Размышлениях у парадного подъезда», где основное и глубочайшее обобщение — народный стон,— обобщение, подготовленное мотивом бурлацкого «воя» («На Волге»). Образ родины сливается с образом народа, а народ олицетворяется в «сеятеле и хранителе» родины — мужике. Так в «Размышлениях», так и в стихотворении 1861 г., замечательном по органическому единству личного и социально-исторического пафоса:

Что ни год — уменьшаются силы,
Ум ленивее, кровь холодней...
Мать-отчизна! дойду до могилы,
Не дождавшись свободы твоей!..
Но желал бы я знать, умирая,
Что стоишь ты на верном пути,
Что твой пахарь, поля засевая,
Видит ведреный день впереди...

Такое обобщение могло быть создано только зрелой демократией в условиях реально обострившейся борьбы. Но симптомом возможности такого обобщения была «Родина» Лермонтова, в которой отвергнутому пафосу дворянской государственности противопоставлена непосредственная любовь к родине, обобщенная в ее недворянских, народных чертах, с деревнями, избами и мужиками. Некрасов смыкается не только с лермонтовской лирикой душевных противоречий, но и с теми предпосылками демократической реалистической поэзии, которые были заложены в лермонтовской романтике. Некрасов развивает их в своей реалистической системе,

в которую своеобразно включенными оказались и многие достижения романтической символики — там, где они помогали поднимать реальное и частное до обобщений большого масштаба.

4

Литературная преемственность между Кольцовым и Некрасовым прямее и яснее, чем в случаях, рассмотренных выше. Задачи, возникавшие при усвоении наследия Кольцова, были довольно точно формулированы Добролюбовым. Он указывал будущему поэту «реальную, здоровую основу» кольцовской поэзии, считая только, что ее нужно «расширить», или, как выразился он в другом месте, «осмыслить и узаконить сильные, но часто смутные и как будто безотчетные порывы Кольцова». К этому надо прибавить еще одно, более конкретное высказывание Добролюбова о Кольцове: «Кольцов жил народной жизнью, понимал ее горе и радости, умел выражать их. Но его поэзии недостает всесторонности взгляда; простой класс народа является у него в уединении от общих интересов...» («О степени участия народности в развитии русской литературы»),— вот почему Добролюбов считает Некрасова стоящим на более высокой ступени поэзии. Добролюбов вынужден был говорить намеками, но намеки эти нетрудно раскрыть. «Реальная, здоровая основа» кольцовской поэзии — ее демократизм. Однако это демократизм в его начальной стадии — он исторически ограничен, его изображение крестьянской жизни лишено социально-исторической перспективы. Правда, Кольцов не только эмпиричен и этнографичен,— поэзия его эмоциональна, она полна «порывов», но порывы эти романтичны («смутны» и «безотчетны»); они не ведут к цельному и последовательному пониманию народной жизни. Новый, революционный демократизм, отправляясь от кольцовской основы, должен его «расширить» и «осмыслить». Таков смысл оценок Добролюбова, ближайшего соратника и единомышленника Некрасова. Добролюбов убедительно доказал, что Некрасов не только продолжает Кольцова, но и расширяет и углубляет его, что поэзия Некрасова — новый и более значительный этап демократического искусства.

Поэзия Некрасова могла быть таким этапом, так как выросла не только из Кольцова, но и из Пушкина, и не только из Пушкина, но и из Гоголя, натуральной школы и русской реалистической прозы. Поэзия Некрасова реалистична, тогда как Кольцов, при всей «реальной и здоровой» основе своей поэзии, при всей подлинности в его ощущении природы крестьянского быта и земледельческого труда, во многом остался русским романтиком 30-х годов. Поэтический мир Кольцова насыщен подлинными жизненными впечатлениями, но он и не притязает на соблюдение всех реальных пропорций: в этом поэтическом мире показаны и социальные отношения, но скорее как фатальная неизбежность; в этом поэтическом мире видное место принадлежит труду, но скорее как радостному идеалу, чем как отражению реальности. Это одно бывало не раз поводом для нападок на Кольцова, поводом для отрицания в нем истинной народности. На самом деле, именно романтически обобщенный колорит поэзии Кольцова и, прежде всего, в теме труда делает поэзию его особенно глубокой, исторически особенно жизнеспособной. То же можно отнести к лирическому герою Кольцова вообще, к его психологическому облику. Облик этот и не имеет в виду полного воспроизведения типических черт народной социальной психологии; он не столько точен и конкретен, сколько символичен. Удаль, душевный размах, энергия, с другой стороны — уныние и чувство бессилия в лирическом герое Кольцова вовсе и не задуманы как социальная и национальная характеристика современного поэту русского крестьянина. Взяв от народной песни ее эстетическую и психологическую основу, ее

чистосердечие в раскрытии душевного мира, Кольцов на этой основе раскрыл переживания современного человека, романтика 30-х годов,— переживания общечеловеческие и народные одновременно, поскольку именно народность позволяла раскрыть подлинную человечность.

Для Некрасова — народного поэта нового исторического периода — значение Кольцова трудно преувеличить. Легко угадать, что близость к Кольцову скажется в поэзии Некрасова не столько в конкретных образах и мотивах, сколько в общем направлении поэзии.

В истории творчества Некрасова можно довольно точно установить момент первоначального воздействия Кольцова. В «Мечтах и звуках», написанных еще при жизни Кольцова, нет ни малейшего его отголоска. Интерес к Кольцову был, вероятнее всего, внушен Некрасову Белинским и во всяком случае относится к годам сближения с ним, т. е. не раньше 1842 г. Некрасов был гласным издателем посмертного собрания стихотворений Кольцова (совместно с Н. Я. Прокоповичем; негласным и основным был Белинский). Книга разрешена была цензурой 5 февраля 1846 г.; замысел издания и работа над ним относятся, очевидно, к 1845 г. В том же 1845 г. Некрасов гостит у Герцена и там, под влиянием споров между западниками, пишет стихотворение, которое самого его поражает «странностью содержания» и которое он именно поэтому и через десять лет решается напечатать, только выдав за перевод из Ларры: «Я за то глубоко презираю себя...» На самом деле, это был первый у Некрасова отзвук Кольцова, и не только потому, что в основе четырехстопных анапестов, зарифмованных, как двустишия, здесь угадываются двустопные анапесты Кольцова, но и потому, что, начавшись лермонтовскими самообличительными нотами, стихотворение, начиная с четвертого двустишия, все больше сбивается на кольцовские мотивы и на кольцовские же, близкие к народным, интонации:

Что, доживши кой-как до тридцатой весны,
Не скопил я себе хоть богатой казны...

Это и тематически и стилистически неожиданное (после трех первых) двустишие воспринимается, как отзвук и «Косаря» и «Русской песни» («Как свою казну трудом нажить?..»).

Чтоб глупцы у моих пресмыкалися ног,
Да и умник подчас позавидовать мог...

— это вариация на тему кольцовской песни «Товарищу» («И те ж люди враги, /Что чуждались тебя,/ Бог уж ведает как, /Назовутся в друзья»...).

И что злоба во мне и сильна и дика,
А до дела дойдет — замирает рука...

— это опять вариация кольцовских мотивов слабоволия («Да на путь по душе /Крепкой воли мне нет» и др.). «Странное содержание» стихотворения имело большую судьбу в дальнейшей лирике Некрасова, но важно, что первый эскиз к будущему «Рыцарю на час» был дан по следам и по образцу Кольцова. Это говорит и о том, что Кольцов для Некрасова имел значение не только своей «реальной, здоровой стороной», но и всем существом своего лиризма, вовсе не чуждого противоречивых эмоций. Кольцов показал Некрасову, что и это «странное содержание» может быть выражено во всей простоте народно-песенного языка и стиха. Знаменательно и то, что мотивы, наиболее родственные Кольцову тематически, выражены стихом, очень близким к соответственному кольцовскому; здесь открывались возможности для всей дальнейшей анапестической ритмики Некрасова.

В 1846 г. им написан «Огородник» — стихотворение, оставшееся по своему общему стилю в его поэзии единственным,но важное как промежу-

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Картина маслом К. А. Савицкого, 1874 г.

Третьяковская галлеея, Москва

точное звено. Написанное на мотив, близкий кольцовскому «Бегству», но с более резким и вызывающим демократизмом в основе, оно стилизовано под ту условную народность, которая у самого Кольцова была пережитком традиции русских «романсов» и «баллад». Эффектные внешние образы красавца-героя и красавицы-героини нарисованы приемами, которые и у Кольцова восходят не столько непосредственно к народной песне, сколько к стилизациям Дельвига или Цыганова.

Кольцов был первым в русской поэзии поэтом, выразившим эмоцию радостного труда. Он выразил эту эмоцию, как романтик, не в том смысле, что искусственно придал ее герою, но в том смысле, что здесь, в ущерб точности отражения типических переживаний труженика, были подняты до художественного идеала психологические явления менее типические, но зато наиболее жизнеспособные и многообещающие. Перефразируя слова Гоголя о Пушкине, можно сказать, что Кольцов дал русского земледельца «в его развитии»; он мог это сделать, конечно, лишь потому, что зародыш этого развития уже существовал. Эта черта была глубоко принципиальной и обещала совершенно новое восприятие всей социальной действительности. «Придет ли ему в голову,— писал Гл. Успенский, имея в виду Пушкина,— что этот кое-как в отрепье одетый раб, влачащийся по браздам, босиком бредущий за своей клячонкой, чтобы он мог чувствовать в минуту этого тяжелого труда что-либо, кроме сознания его тяжести» [12]. В этих словах Успенского, как и во всем, что им сказано о Кольцове, сквозь высокую оценку просвечивает и переосмысление кольцовской поэзии: пахарь, нарисованный здесь Успенским,— это уже не вполне кольцовский пахарь; в системе кольцовских образов нет ни босого раба, ни клячонки, ни тяжести труда. Противоречие, замеченное Успенским, было лишь заложено в поэзии Кольцова, но не было в ней раскрыто. Раскрыто оно было Некрасовым.

Поэтический мир Некрасова ближе к кольцовскому, чем к чьему-нибудь другому, уже потому, что труд является основным двигателем этого мира (в прямом или скрытом виде), а труженик (и в первую очередь крестьянин) основным его деятелем. Но поэтический мир Кольцова при всем том был условно-романтическим миром; и тема труда входит в него в идеальном, сублимированном, радостном аспекте (более дифференцирован в этой системе образ лирического героя). Некрасов знает подлинную диалектику в поэтическом осмыслении темы труда. Он знает нагую реальность тяжелого труда и отражает его с той прямотой и верностью, какие стали обязательными после достижений натуральной школы:

Бедная баба из сил выбивается,
Столб насекомых над ней колыхается,
Жалит, щекочет, жужжит!
. . . .
Слезы ли, пот ли у ней под ресницею,
Право, сказать мудрено... и т. д.

Это один аспект на труд. Величайшее напряжение подобной горькой лирики труда, всегда прямо или скрыто обличительной в своем существе,— «Железная дорога», где труд, уже не земледельческий, изображается как прямое бедствие. Но знает Некрасов и другой аспект на труд — восходящий прямо к кольцовским «Песне пахаря», «Косарю» и «Урожаю», к таким лирическим мотивам, как «Весело я лажу/ Борону и соху» и т. п.:

Весело видеть семью поселян,
В землю бросающих горсти семян;
. . . .
Но веселей нет поры обмолота;
Легкая дружно спорится работа...

Здесь (в «Саше», 1855) этот «веселый» колорит мотивирован наивным восприятием подростка. Что этот подросток — помещичье дитя, для Некрасова несущественно, как это видно из «Крестьянских детей», где то же восприятие передано крестьянскому ребенку и где в круг впечатлений включен уже весь круг земледельческих работ:

Но даже и труд обернется сначала
К Ванюше нарядной своей стороной:
Он видит, как поле отец удобряет,
Как в рыхлую землю бросает зерно... и т. д.

Однако и для Некрасова дело не только в разных восприятиях ребенка и взрослого, но и в том, что детское восприятие открывает какие-то существенные «стороны» в самом труде. В самой тяжелой «страде деревенской» заложены те возможности, которые обещают не только веселую работу кольцовского пахаря, но и тот труд будущего человечества, о котором мечтал Чернышевский, когда писал свой четвертый сон Веры Павловны. Что для Некрасова это именно так, показывает другая его картина страды — в поэме «Мороз, Красный нос» (XXI—XXII), в которой и радость и тяжесть труда соединяются в одно почти неразложимое целое:

Стала скотинушка в лес убираться,
Стала рожь-матушка в колос метаться.
Бог нам послал урожай!
. . . .
Спинушка ноет с натуги,
Руки и ноги болят,
Красные, желтые круги
Перед очами стоят...
Жни-дожинай поскорее,
Видишь — зерно потекло...
Вместе бы дело скорее,
Вместе повадней бы шло...

Эта многосторонность и сложность решительно разлучала Некрасова с той славянофильски-тенденциозной поэзией, которая создавала фальшиво идиллические картины крестьянского труда (даже и крепостного), картины, на фоне которых кольцовские песни кажутся сдержанными и умеренными. Такова, например, картина жатвы в «Бродяге» Ив. Аксакова:

Ну-те вы, девки, покиньте прохлады:
Вновь оржаные, томящие страды!
В поле рассыпьтесь, берите серпы,
Жать и вязать золотые снопы!..
Левой рукой забирая колосья,
Каждая правой их режет серпом,
Звонко друг дружке пошлют отголосья,
Выжатым вместе сойдутся путем.
Прочь сарафаны! иль жар вас ознобит?
Душно вам стало? Купанье пособит!

Ни язык — довольно колоритный, ни стремление к эмпирической точности не могут устранить впечатления фальши, отличающего эту картину и от Кольцова и от Некрасова. Стремление к точности создает даже комический эффект: «Левой рукой забирая колосья,/ Каждая правой их режет серпом» — наблюдение безукоризненно. Вся страда хоть и названа «томящей», но представлена каким-то легким роздыхом между прежними «прохладами» (?) и ожидающим после работы купаньем (которое изображено куда подробнее, чем самая работа).

От Кольцова к Некрасову идет и вся вообще традиция ролевых стихотворений, герой которых наделен социально-психологической характеристикой именно как герой из народа. Но Некрасов пошел на этом

пути гораздо дальше Кольцова. Кольцов и в ролевых своих стихотворениях оставался прежде всего лириком. Основным поэтическим заданием его было не создание образа-характера, а то лирическое содержание, которое с этим образом соединялось. Лиризм содержания лишь мирился с известной условностью образов, воспринимавшихся на фоне народно-песенных образов «молодца» и «девицы». Но уже у Кольцова эти образы расцвечивались и более конкретными красками: в «молодце» проступали черты «селянина», «пахаря», «косаря», «бедняка»; в круг поэтических тем входили социальные отношения и противоречия. Правда, очертания социальных тем в поэзии Кольцова неопределенны. Бедность в его поэзии — почти всегда роковая неизбежность, которая может изменить облик человека, но которую сам человек изменить не властен; иногда это расплата за свою же вину; труд в его поэзии показан скорее в свете внутреннего мира человека, чем в связи с условиями мира внешнего. Неопределенность эта имела идеологические основания и в романтической системе закономерна. Важно, что в пределах этой системы Кольцов дал неизмеримо больше, чем кто бы то ни было из его предшественников, внес в поэзию новые оттенки социальной психологии в форме, им разработанной,— в форме песенно-лирического монолога с характерной речевой окраской. Язык героя Кольцов строил на основе живой речи, слегка и, может быть, бессознательно (а потому и не навязчиво) окрашивая его просторечиями и диалектизмами. Но уже явно сознательно Кольцов вносил в язык героя песенные формулы и этим придавал ему общепоэтический, приподнятый над живой речью характер.

Некрасовские монологи типа «Застенчивости» (1852), «Думы» (1860), «Калистрата» (1863) и многие другие восходят к Кольцову, но поэтические проблемы, стоявшие перед Кольцовым, решены в них во многом иначе. Часть этих монологов — как «Застенчивость» — непосредственно смыкается с субъективной лирикой Некрасова, как это бывало и у Кольцова. Другая и наибольшая часть стоит на рубеже эпоса или прямо развертывается в большие лиро-эпические полотна — такие, как «Коробейники» или «Мороз, Красный нос». Бо̀льшая, чем у Кольцова, широта и свобода в изображении и в оценках действительности сказывается, прежде всего, в юморе Некрасова, который идет от Гоголя и Пушкина, почти минуя Кольцова. Само собою разумеется, что и весь идеологический и литературный путь, пройденный Некрасовым, предопределил гораздо бо̀льшую четкость социальной тематики, социально-психологического портрета, наконец — языка героя. И если в «Думе» 1860 г. Некрасов еще варьирует кольцовские монологи, то все последующие переклички с кольцовскими темами, напротив, ясно свидетельствовали о разнице поэтических систем.

В «Коробейниках» Некрасов близко подошел к сфере кольцовских поэтических мотивов: в основе, как нередко у Кольцова, природа, труд и любовь являются как нераздельное поэтическое содержание. Но на такой основе Некрасовым не только создано большое сюжетное целое, но и речи героев и автора даны в таком многообразии оттенков лиризма и юмора, с таким богатством бытового и психологического рисунка, какие не могли появиться в поэтической системе Кольцова. Наглядно обнаруживается это в том эпизоде, который всего ближе к Кольцову по теме. Это тема двух кольцовских стихотворений — «Молодая жница» и «Грусть девушки», она же — тема пятой главы «Коробейников» (и уже приводившихся выше XXI—XXII глав «Мороза, Красного носа»).

Извелась бы, неутешная.
Кабы время горевать,
Да пора страдная, спешная,—
Надо десять дел кончать.
. . . .

Стелет лен, а неотвязная
Дума на сердце лежит:
«Как другая девка красная
Молодца приворожит?»... и т. д.

При общей лирической основе (единство природы, труда и любви), при сходной психологической ситуации несомненно и различие: кольцовская «красная девица» — только носительница лирической темы; некрасовская Катеринушка и особенно Дарья — конкретные и сложные характеры. Что дело здесь отнюдь не только в жанре и объеме, показывают такие некрасовские миниатюры, как «Что думает старуха», «Катерина», «С работы» и др.

СТИХОТВОРЕНИЯ
Н. НЕКРАСОВА

СТИХОТВОРЕНИЯ
Н. НЕКРАСОВА
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
САНКТПЕТЕРБУРГЪ
1873

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ И ФОРЗАЦ ИЗДАНИЯ «СТИХОТВОРЕНИЙ» НЕКРАСОВА 1873 г. С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ ПОЭТА Е. О. ВАЗЕМ-ГРИНЕВОЙ
Собрание И. С. Зильберштейна, Москва

Кольцов открыл Некрасову также возможности обновления стихового ритма, причем Некрасов, конечно, не соблазнился воспроизведением кольцовской строфики. Уже первые отражения поэзии Кольцова у Некрасова 40-х годов только отправлялись от кольцовских анапестов, но не повторяли их. «Дума» и «Калистрат» обновляют кольцовскую хореическую строфу (известную, впрочем, и Дельвигу) уже тем, что рифмуют, по крайней мере, половину строк и всегда почти с окончаниями на сходные формы (коровушку — головушку, говеючи — жалеючи), создавая этим параллелизмом строения в «Думе» особую эмоциональную напряженность, не лишенную иронии, а в «Калистрате» — комические эффекты. Осторожный ввод рифмы придал особый характер также излюбленному размеру Кольцова, его «пятисложнику» — размеру «Урожая» и «Леса»,— в том единственном случае, когда Некрасов уже в конце своего пути применил его в песне «Адмирал-вдовец» («Кому на Руси жить хорошо»). Наконец.

самый размер «Кому на Руси...», впервые использованный Некрасовым в «Зеленом шуме»,— размер, не чуждый Кольцову, хотя и не специфичный для него.

Все это показывает, что в усвоении ритмов, которые вводились в поэзии со знаком «народности», Некрасов проявлял большую свободу и самостоятельность. Он не торопился ими пользоваться, но вспоминал, когда тема этого требовала, и о сравнительно редких образцах.

5

Наследник Пушкина, Лермонтова и Кольцова, Некрасов в то же время великий поэт новой исторической эпохи, поэт глубоко индивидуальный, не подражательный. Иначе и быть не могло. Поэтическая сила и поэтическая самобытность Некрасова обнаруживаются с особенной показательностью в тех случаях, когда поэты, исторически старшие и даже иногда влиявшие на Некрасова, сами подчиняются его влиянию, как бы вовлекаются в его орбиту.

Огарев был очень важным звеном между Лермонтовым и Некрасовым. Его лирика душевных диссонансов, нарочито «бесцветная» по художественным средствам, смыкается с поздним Лермонтовым, автором «И скучно и грустно», «Завещания», «Ребенку»; в то же время своими трагическими интонациями, своими подчеркнутыми прозаизмами, призванными снять с действительности ее условно-поэтический блеск, лирика эта предвосхищает Некрасова. Замечательно при этом, что во многих случаях явных и близких соответствий между этими поэтами нельзя говорить о влиянии ни Лермонтова на Огарева, ни Огарева на Некрасова. Ни «И скучно, и грустно», ни «Завещание» не были еще напечатаны, когда Огарев писал уже такие стихи, как «Мгновение» (1839):

Нет, право, эта жизнь скучна,
Как небо серое, бесцветна,
Тоской сжимает грудь она
И желчь вливает неприметно,
И как-то смотрится кругом
На все сердитей понемногу;
И что-то ничему потом
Уже не верится, ей богу.

Некрасов мог не знать ни «Станции», ни «Утра» Огарева (написанных в 1839 г. и в свое время не напечатанных), когда писал свои «Последние элегии», между тем он был в них близок Огареву не только общим характером стиля, но и деталями. Но Некрасов не мог не знать «Деревенского сторожа» Огарева (напечатанного в 1840 г.), его «Кабака» (1841), его «Избы» (1842) — тех стихотворений, в которых Огарев — прямой его предшественник.

В «Кабаке» Огарева («Выпьем, что ли, Ваня...») перед Некрасовым был образец социально-характерного монолога с интонациями, еще более подлинными, еще более свободными от поэтической условности, чем в подобных монологах у Кольцова. В «Избе» перед Некрасовым было первое после Пушкина развитие пушкинского намека на поэзию деревенских будней («В избушке распевая, дева...» и т. д.):

Только за работой
Молодая дочь
Борется с дремотой
Во всю долгу ночь.

И лучина бледно
Перед ней горит,
Все в избушке бедной
Тишиной томит;

Лишь звучит докучно
Болтовня одна
Прялки однозвучной,
Да веретена...

На этой основе возникли, но совершенно затмив ее, гениальные строки из «Мороза, Красного носа»:

Едет он, зябнет... а я-то, печальная,
Из волокнистого льну,
Словно дорога ему чужедальная,
Долгую нитку тяну...

Преемственность во всех этих случаях ясна. Но «Арестант» (1850; напечатан в «Полярной Звезде», 1857) — случай более спорный: Огарев, строя свой диалог часового с заключенным, не мог знать ни некрасовского «Извозчика», ни «Вина», напечатанных в 1855—1856 гг. [13].

Начиная с 50-х годов, творческие взаимоотношения Некрасова и Огарева вообще не всегда поддаются анализу: сходный круг образов и мотивов появляется у обоих поэтов независимо друг от друга. Эта общность обусловлена характером самого времени. Таковы, например, символы сеятеля и пашни, появившиеся у Огарева в 1858 г. («К ***»: «Когда в цепи карет...»):

...Так сеятель усталый
Над пашнею, окончив труд немалый,
Безмолвствуя, в раздумии стоит,
И на небо, и на землю глядит.
Прольется ль свежий дождь над почвой оживленной,
Или погибнет сев, засухою спаленный.

Некрасов впервые дал символический образ сеятеля раньше Огарева — еще в «Саше» («Сеет он все-таки доброе семя.../ В добрую почву упало зерно»), но углубленный и обобщенный смысл придал ему позже — сначала в строках 1861 г.:

Что твой пахарь, поля засевая,
Видит ведреный день впереди...

затем — в стихах последних лет: «Сеятелям» и «Сон».

Другой случай — огаревские «Размышления унтер-офицера» (1869), которые интонационно и ритмически восходят к «Размышлениям у парадного подъезда»:

Душит нас генеральчик с полчишком,
Душит нас и чиновник с крестишком,
Душит нас что ни есть господин...

Ив. Аксаков — поэт-славянофил, поэт совсем иного, чем Некрасов, социального облика, иного идейного направления. Однако и он, противостоя оживавшему в 50-х годах эстетизму и настойчиво внося в свою поэзию общественно-обличительное содержание, невольно вовлекался на этом пути в сферу влияния Некрасова, и его более поздние гражданские стихи иногда являются откликами некрасовских.

Показателен в этом отношении обмен посланиями между Полонским и Ив. Аксаковым в 1856 г. Полонский в своем послании определил поэзию Аксакова словами «твой жесткий, беспощадный стих» — т. е. почти так, как Некрасов определял собственную поэзию («Мой суровый, неуклюжий стих»). Самоопределение Некрасова появилось в печати вслед за посланием Полонского («Русская Беседа» 1856, № 6; «Современник» 1856, № 8), через несколько месяцев Ив. Аксаков напечатал ответ Полонскому. Зная или не зная в момент создания ответа некрасовский «Праздник жизни», он пишет о своей музе: «Сурово песнь ее звучала»...; наконец, прямо подхватывает мотивы некрасовской «Музы»:

И вот, тоской объят душевной,
Из хора всех доступных муз,
Я с музой бодрой, строгой, гневной
Вступил в воинственный союз.

Вовлекается в орбиту Некрасова и такой поэт, как Аполлон Майков, отчасти продолжавший идиллически-славянофильскую линию Ив. Аксакова, но прежде всего стремившийся следовать за Пушкиным, воспринятым односторонне в его «олимпийском» классическом образе. Однако действительность врывалась и в замкнутый поэтический мир Майкова, и тогда «классицизм», лежавший в ее основе, уступал реалистическим тенденциям, а тяготеть к реалистической поэзии, минуя Некрасова, было уже невозможно. И Майков иногда прямо перепевает Некрасова (его «Под дождем» 1856 г.— явный перепев некрасовской «Бури» 1853 г.); иногда, повидимому, пытается учиться у Некрасова, усваивая его бытовую и социальную конкретность («Дурочка», 1851, «Поля́», 1862). Глубоких результатов это обращение к Некрасову поэта, ему чуждого, иметь не могло, и Майков, в общем, самоопределяется и дальше как «классик», как русский парнасец. Тем знаменательнее тот диапазон воздействий, какой могла охватывать поэзия Некрасова.

Более глубокие идейно-художественные колебания отражены в поэзии Полонского. Знаменательно, что человеческий и поэтический образ Некрасова был для Полонского как бы зна́ком этих колебаний. Полонский то пишет (в конце 60-х годов) стихотворение в защиту Некрасова, то в 1872 г., напротив, активно выступает против него в стихотворении «Блажен озлобленный поэт» (в первоначальной редакции прямо противопоставляя свой идеал поэта Некрасову [14]), то откликается на смерть Некрасова сочувственными стихами и тогда же (1878) пишет свою «Узницу», примыкая к некрасовским мотивам борьбы и жертвы. Существеннее, однако, другое: то, что самый образ лирического героя в основных и наиболее самостоятельных стихах Полонского отчасти близок некрасовскому. Мотивы неудовлетворенности и тревоги, восприятие природы, людей и личных чувств не как явлений замкнутого эстетически самоценного мира, но в свете общественной жизни,— все это разлучало Полонского и с Майковым и с гораздо более ему близким Фетом и приближало к Некрасову. Но для полной идейно-художественной близости сходства эмоционального колорита было недостаточно. Некрасовский реалистический стиль был обусловлен его связью с народной почвой; отрывом от этой почвы предопределялась смутность положительных оценок и перспектив поэзии Полонского; перейти пределы романтического мировоззрения и стиля Полонский не мог.

Если даже поэты, занимавшие промежуточные, а то и прямо враждебные позиции, могли подчиняться поэтическому воздействию Некрасова, неудивительно, что в родственной ему сфере демократической поэзии влияние его было безусловным и полным. Здесь, как выразился И. Н. Розанов, Некрасов был окружен «послушной армией». Случаи прямых выпадов учеников против учителя, возникавших в частных осложнениях идеологической борьбы, иногда в результате непониманий и недоразумений («Песня Еремушке» Минаева, «Поэту-обличителю» Никитина), не ослабляют общего итога. То, что создавалось в русской поэзии в ближайшем некрасовском окружении, нередко звучало энергично и выразительно, но здесь не было создано ничего, что по творческому уровню и по историческому значению могло быть сопоставлено с Некрасовым; не было внесено в достигнутое им ничего принципиально нового.

Последователи Некрасова, как это часто бывает с последователями великих поэтов, усваивали не столько всю его художественную систему в целом, сколько порознь отдельные ее элементы: его пафос борьбы, его иронию и юмор, его реалистическую изобразительность. Революционная

лирика Михайлова и Добролюбова нередко звучала выразительно и энергично, и все же некрасовские «Размышления у парадного подъезда» имели в революционных кругах, даже и позднейших лет, еще больший отклик, хотя и не заключали в себе непосредственно революционной темы. И в позднейших революционных песнях еще ощутима ближайшая связь с Некрасовым,— стоит вспомнить хотя бы известные строки из песни Л. Радина:

> К царству свободы дорогу
> Грудью проложим себе —

восходящие к некрасовской «Железной дороге»:

> Вынесет все, и широкую, ясную
> Грудью дорогу проложит себе...

Для сатирической поэзии 60—70-х годов влияние Некрасова было определяющим. Рядом с Некрасовым-сатириком ближайшее место занимал Добролюбов-сатирик; это было место непосредственного сотрудника, иногда и соавтора, настолько близкого Некрасову, что размежевание между их текстами оказывается подчас затруднительным.

Из плеяды сатирических поэтов 60—70-х годов выделяется Василий Курочкин, но и он шел по некрасовскому пути, иногда прямо варьируя его сатирические мотивы («Ни в мать, ни в отца», 1859; ср. с «Нравственным человеком» Некрасова).

Третья струя — бытовая, изобразительная и сюжетная — отразилась полнее всего в Никитине. Никитин по своей исторической роли никак не может, конечно, быть сопоставлен ни с Некрасовым, ни с Кольцовым, как равный с равными. Никитин — поэт-эклектик; это убедительно было показано Чернышевским и закреплено эпиграммой Некрасова («Никитин, мещанин-поэт, различных пробует пегасов»); наиболее своеобразным бывал он там, где был наименее притязателен,— в лирических пейзажах. В сюжетных стихотворениях Никитина, в его бытовых сценках, даже в наиболее удачных из них, некрасовская крестьянская (и шире демократическая) тематика измельчена, разменена на эмпирические зарисовки быта и почти никогда не поднимается до художественных обобщений (характерный пример: «Ночлег извозчиков» — длинное стихотворение, все «движение» которого основано на том, что извозчики торгуются с хозяином). Можно даже сказать, что художественно наиболее убедительны те стихотворения Никитина, в которых он и не пытается следовать Некрасову,— такие, как «Лесник и внук» или «Вечер после дождя», где откровенно продолжается традиция деревенских идиллий романтической поэзии и создаются предпосылки для тех «гекзаметров», которыми Златовратский изображал деревню и крестьянский труд.

Что никитинская линия могла отделяться от некрасовской, показал Суриков, который в личной лирике перепевал некрасовские мотивы «диссонансов», а в своих бытовых, «ролевых» и пейзажных стихотворениях следовал именно за Никитиным, как бы играя роль его посмертного продолжателя; иногда он выполнял эту роль успешно, но он не указал никаких новых возможностей по сравнению даже с Никитиным, не говоря уже о Некрасове.

От собственно-лирической струи Никитина, очень слабо выраженной и в конечном счете восходящей опять-таки к Некрасову, протягиваются нити разве только к лирике Надсона (сравним, например, «Незаменимая, бесценная утрата» и «Завеса сброшена — ни новых увлечений...»). Но слабый и робкий голос Надсона, при всей его поэтической подлинности (и характерности для своего ограниченного исторического периода), никаких путей в будущее тоже не открывал, а был либо несколько осложненным продолжением той же некрасовской линии, либо отходом от нее в направ-

лении к «камерной» поэзии, к принципам условно-поэтической «красивости», то есть к принципам, Некрасову чуждым.

Историко-литературное место творчества Некрасова, как творчества великого поэта, и не могло быть ограничено только узкой сферой «своего» направления, им созданного, и всего, что к нему непосредственно примыкает. Поэзия Некрасова — узел, в котором стянуты все основные нити русской поэзии от Пушкина до Маяковского и дальше, до наших дней. Но изучение своеобразных и сложных соотношений творчества Некрасова с новейшей русской и современной советской поэзией выходит за рамки данной статьи.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Переписка Чернышевского с Некрасовым, Добролюбовым и А. С. Зеленым», под ред. Н. Пиксанова, М., 1925, 629.

[2] В. Евгеньев-Максимов, «Современник» при Чернышевском и Добролюбове, Л., 1936, 456—458; В. Жданов и А. Лаврецкий, Революционные демократы и поэзия Некрасова.—«Литературный Критик» 1938, № 2, 74—93.

[3] Ю. Тынянов, Стиховые формы Некрасова.—«Летопись Дома Литераторов» 1921, № 4 (и в кн.: «Архаисты и новаторы» 1924); Б. Эйхенбаум, Некрасов.—«Начала» 1922, № 2 (и в книгах «Сквозь литературу», Л., 1924 и «Литература», Л., 1926); К. Чуковский, «Некрасов как художник», П., 1922 (и, с полемическими дополнениями, в кн.: «Рассказы о Некрасове», Л. 1930); К. Шимкевич, Пушкин и Некрасов. Сб. «Пушкин в мировой литературе», Л., 1926.

[4] Сопоставление «Поэта и гражданина» с трактатом Л. Толстого об искусстве было сделано в упомянутой статье Б. Эйхенбаума «Некрасов» (1922).

[5] Ср. характеристику Пушкина в брошюре Чернышевского «А. С. Пушкин»: «Основными чертами его характера были благородство, мягкость и живость».— Н. Чернышевский, Сочинения, СПб., 1906, X, ч. 2, 223.

[6] Б. М. Эйхенбаум отмечал в этой элегии «типичное для старых медитативных элегий ритмико-синтаксическое построение».—«Сквозь литературу», 262.

[7] Выражение «диссонанс» употреблялось в этом смысле самим Некрасовым. В статье 1850 г. о Тютчеве он говорил (по поводу стихотворения «Как под горячею золой») о каждом поэте, имея, стало быть, в виду и себя самого: «грусть его разрешается диссонансом страдания».

[8] Стихотворение «Наперсница волшебной старины» впервые напечатано в т. I, анненковского издания, которое вышло в свет в августе 1854 г. Некрасовская же «Муза» написана не позже августа 1852 г., когда Некрасов передал ее Николаю Боткину. Вероятно, материалы анненковского издания были известны Некрасову, через самого Анненкова, задолго до выхода. «Наперсница...» была перепечатана в «Современнике» 1855, № 2 (вместе с «Воспоминаниями в Царском Селе» и «Воспоминанием»), а в «Заметках о журналах» за декабрь 1855 г. и январь 1856 г. Некрасов упомянул о «Наперснице» в ряде «сокровищ, которыми издание Анненкова обогатило русскую поэзию».

[9] Во французском подлиннике: «traînait le boulet» — «влачил чугунную бомбу» (один из видов каторжных работ).—«Du développement des idées révolutionnaires en Russie». Сочинения Герцена, под ред. М. К. Лемке, П., 1919, VI, 266.

[10] Показателен и автокомментарий Некрасова к этому стихотворению: «Думаю — понятно: жена сосланного или казненного» (приписка на полях).

[11] Ср. тонкий анализ «Завещания» в кн.: Л. Гинзбург, Творческий путь Лермонтова, Л., 1940, 192—194.

[12] Гл. Успенский, Крестьянин и крестьянский труд, III. Поэзия земледельческого труда.

[13] В посмертном издании 1879 г. оба стихотворения были отнесены Пономаревым к 1848 г. Есть основания оспаривать эту дату; черновики «Извозчика» находятся в тетрадях 1855—1856 гг., и появился он в «Современнике» 1855 г. Рукопись стихотворения «Вино» не сохранилась, но в печати оно появилось опять-таки позднее.

[14] Ср. примечания Б. М. Эйхенбаума к этому стихотворению в Собрании стихотворений Полонского (вып. большой серии Библиотеки поэта, Л., 1935, 730—732).

ЛИТЕРАТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ НЕКРАСОВА

Статья А. Лаврецкого*

В письме к Кавелину, в связи с чрезмерно скромной самооценкой своего критического дарования, Белинский отзывается о Некрасове так: «Вот, например, Некрасов — это талант, да еще какой! Я помню, кажется, в 42 или 43 году он написал в «Отечественные записки» разбор какого-то булгаринского изделия с такою злостью, ядовитостью, с таким мастерством, что читать наслаждение и удивление» [1].

Отзыв этот не случаен.

В другом письме Белинский сообщает Тургеневу об одном своем деловом разговоре с Некрасовым, отказавшимся написать рецензию для очередного номера «Современника»: «Стало быть, вы не желаете успеха журналу? — Он поглядел на меня с удивленным видом.— Как? — Да так: вы отнимаете у «Современника», в своем лице, талантливого сотрудника. Вашими рецензиями дорожил и Краевский, хоть этого и не показывал, вы писывали превосходные рецензии в таком роде, в котором я писать не могу и не умею. Вы, сударь, спите, от «Современника» толку не будет» [2].

Оценка Белинского не учтена до сих пор исследователями Некрасова. Это естественно: перед поэзией Некрасова проявления его деятельности как литературного критика кажутся малозначительными. Однако они были, в них сказался ум одного из самых выдающихся русских людей, они важны для понимания его художественного творчества, они сыграли свою роль в литературно-общественной борьбе эпохи и имеют, кроме того, право на внимание и сами по себе.

Рецензии и журнальные обозрения Некрасова, а также литературно-критические высказывания в его письмах относятся к 40-м и 50-м годам. Со вступлением Добролюбова в редакцию «Современника» сотрудничество Некрасова в критико-библиографическом отделе журнала прекращается. А после разрыва Некрасова с Тургеневым и Боткиным исчезают в его переписке высказывания на темы литературы и критики, за исключением весьма беглых замечаний.

Критическая деятельность Некрасова делится, таким образом, на два периода, каждый из которых имеет свои отличительные особенности;

---

* Статья частично опирается на материалы несобранного литературно-критического цикла Некрасова «Заметки о журналах», печатавшегося в «Современнике» в 1855—56 гг. и впервые с тех пор перепечатываемого в настоящем томе (см. ниже публикацию А. Максимовича). При цитировании «Заметок о журналах» ссылки на журнальный первоисточник не выносятся в библиографические примечания, но кратко обозначаются в самом тексте, в скобках. Также не выносятся в примечания ссылки на критические статьи и письма Некрасова, вошедшие в издание: Некрасов, Собрание сочинений, под ред. В. Евгеньева-Максимова и К. Чуковского, тт. I—V. М.—Л., 1930. В этих случаях после цитаты в скобках указываются лишь том (римской цифрой) и страница (арабской цифрой) названного издания. Неоговоренная разрядка в цитатах принадлежит автору статьи.

первый падает на 40-е годы, второй — на 50-е. Мы рассмотрим их в отдельности, а затем попытаемся охарактеризовать Некрасова-критика в целом, выяснить его эстетические принципы и мерила.

I. ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕКРАСОВА

1

Когда пишут о рецензиях Некрасова 40-х годов, то сопоставляют их с суждениями Белинского на те же темы и приходят к выводу, что Некрасов повторял или, в лучшем случае, более или менее удачно варьировал мнения своего учителя. Конечно, Белинский возглавлял то литературное движение, в котором участвовал в гораздо более скромной роли молодой Некрасов; мысли Белинского были для него руководящими, но все же подобное отрицание самостоятельности Некрасова-критика довольно поспешно. Люди одного направления сходятся часто до буквальных совпадений во мнениях и независимо друг от друга [3]. Сохраняя бо̀льшую или меньшую самостоятельность, они не только повторяют, но и дополняют друг друга. Об этом свидетельствуют и подчеркнутые нами слова из письма Белинского Тургеневу.

У Некрасова был свой «участок» боевой работы. При жизни Белинского он в области теории мог быть только учеником. Но в практике литературной борьбы 40-х годов Некрасов очень скоро стал играть свою особую роль.

Эта практика ставила такие задачи, как защита гоголевского направления, «натуральной школы» от нападок пресловутого «триумвирата», как дискредитирование «нравоописательных» повестей и романов, стоявших на пути «натуральной школы» к широкому читателю, как завоевание этого читателя и зрителя «Александринки», не умевшего отличать пьесы Гоголя, Фонвизина, Грибоедова от сочинений Кукольника, Полевого, и т. п. Надо было показать ему всю несостоятельность «официальной идеологии», «квасного» патриотизма, чтобы начать идейно-демократическое воспитание читателя. Этим и характеризуется тематика критической работы Некрасова в 40-х годах. Он проявил в ней уже и зрелое понимание потребностей момента, и критический такт, и силу удара по наиболее чувствительным местам противника, и самостоятельность своих всегда целесообразных приемов.

Вот одна из самых ранних критических заметок Некрасова: «Поль де Кок», из «Литературной Газеты» за 1842 г. (№ 10). Она производит впечатление компиляции из французских источников и, действительно, в известной мере и является таковой. Однако не в этом дело. Вспомним, как противники Гоголя, желая унизить великого писателя, называли его русским Поль де Коком. Поль де Кок был для них синонимом литературной незначительности и моральной неопрятности. Отражая этот маневр, можно было доказывать, что Поль де Кок и Гоголь — несоизмеримые величины. Это и делалось, но вряд ли доходило до рядового читателя. Был, однако, и другой путь: показать, не вступая в спор, кто и насколько выше, что Поль де Кок совсем не так плох, не так мелок и безнравственен, как стараются внушить читателю противники Гоголя. Некрасов это и делает. Он говорит о достоинствах французского писателя, ясно показывает, что все с и л ь н ы е стороны Поль де Кока более или менее напоминают характерные особенности новой школы в русской литературе, вызывающие на нее нападки рутинеров

«Поль де Кок смеется над людскими пороками, слабостями и странностями, выставляя их в яркой противоположности с добром, благородством,

НЕКРАСОВ
Фотография Деньера, 1868 г.
Институт литературы АН СССР, Ленинград

великодушием,— смеется оригинально, колко, резко, а насмешка такое орудие, против которого устоять трудно». Поэтому ложны упреки Поль де Кока в безнравственности.

Сочувственный тон заметки объясняется демократизмом творчества Поль де Кока, воспроизводящего «подробности парижских нравов» — «нравов парижских мещан», «духом наблюдательности» и острой насмешкой над мнимой добродетелью.

Но если в заметке о французском писателе противники «гоголевского направления» затронуты лишь косвенно, то прямой удар наносится им в более обширной рецензии на сборник пьес Н. Полевого («Литературная Газета» 1842, № 43).

«Квасной патриотизм» и к чему он приводит драматургию — вот настоящая тема этой острой, блестяще написанной и блестяще построенной статьи. Дана характеристика и история поистине двусмысленной «славы» Полевого-драматурга, которой он обязан вкусам зрителя Александринского театра. Статья сочетает с памфлетичностью объективный и потому беспощадно-суровый анализ драматургии Полевого, исчерпывающий, при предельной сжатости изложения. «Все пьесы г. Полевого... суть не что иное, как одна пьеса»,— убедительно доказывает автор рецензии, придавая этому эзоповский смысл. Ложная идея «квасного патриотизма» не может породить никакого творческого движения, обречена на повторение одних и тех же фигур, одних и тех же трафаретов, на унылую однотонность, несмотря на все попытки автора разнообразить свои сюжеты.

Особое место среди критических выступлений Некрасова 40-х годов занимают статьи и заметки, посвященные Булгарину.

Булгарин — не только писатель, враждебный «гоголевскому направлению» и своими нравоописательными романами, повестями и очерками компрометирующий самое понятие о сатире. Это гонитель всего прогрессивного в русской литературе, рептильный журналист, провоцирующий репрессии против лучших представителей литературы. Самодовольный ханжа, он сам представлял собой объект для сатиры. И Некрасов не ограничился здесь только литературной критикой. Против литератора, сплошь и рядом действовавшего средствами внелитературными, он считает допустимым разоблачение его как личности, тем более, что Булгарин дает постоянно для этого повод.

Рецензия на «Очерки русских нравов», появившаяся в майской книжке «Отечественных Записок» за 1843 г. (это она была столь высоко оценена Белинским в письме к Кавелину), весьма показательна в этом смысле. Автор «Очерков» претендовал на монополию в области сатиры и оспаривал ее у самого Гоголя. Как ни забавны были претензии Булгарина, он, однако, пользовался влиянием и был для многих настолько признанным «сатириком», что Белинскому одно время пришлось признать сатиру «ложным родом» и назвать социальную сатиру юмором. Одновременно с Некрасовым Белинский смеялся над булгаринской «сатирой», клеймившей личные пороки, настолько отвлеченно от живых людей и обстоятельств, что обличаемые «безбоязненно подходили к своему гонителю, к дряхлому беззубому бульдогу, гладили его по толстой лоснящейся шее и охотно кормили его избытком своей трапезы» [4]. Однако этот «бульдог», не страшный для общественного порока, кусал достаточно больно тех, кто с ним действительно боролся.

Некрасов говорит не только о претензиях Булгарина на сатиру, но и на «физиологический очерк», прославивший «натуральную школу»; он раскрывает с большим знанием журнального дела тот механизм рекламы, с помощью которого Булгарин долго удерживал свои позиции в этом жанре. Рецензия Некрасова — тоже своего рода «физиологический очерк», в котором дана замечательная зарисовка «типа» нечистого на руку журналь-

ного «дельца» — очерк в таком роде, в каком Белинский писать «не мог и не умел».

Другая статья Некрасова о Булгарине, ошибочно приписанная Белинскому [5], также дает сатирически-памфлетную характеристику этой одиозной фигуры русской журналистики. Острота характеристики в том, что написана она не только по материалам булгаринских «Воспоминаний», но большей частью изложена собственными словами их автора, стремившегося, конечно, показать себя в самом выгодном свете. Самодовольная пошлость рассказчика, которая никогда не может быть осознана им самим; наивность лакея по природе, который искренно убежден, что пресмыкательство перед сильными и есть настоящая добродетель; примитивность моральных суждений, по которым то и нравственно, что одобрено начальством и способствует карьере,— все это делает Булгарина настоящим «гоголевским лицом». Не забыта в этом талантливом сатирическом очерке-памфлете и среда, породившая и воспитавшая ее «героя».

По прочтении статьи Некрасова у читателя не могла не возникнуть уверенность в том, что человек подобного склада, с такими понятиями и представлениями о жизни, людях, чести и бесчестии совершенно безнадежен как писатель.

Как эта, так и другие рецензии и заметки Некрасова 40-х годов отличаются тщательностью формы, продуманностью методов и приемов. Они написаны художником слова, умеющим придать своей прозе там, где нужно, и «фельетонную легкость» (слова Белинского из цитированного письма) и образность выражения. Некрасов хочет и умеет заставить читать себя и того, кто не склонен вникать в мысль автора; заставить его следить за своей мыслью, потому что она и занимательна, и забавна, хотя вместе с тем и серьезна. Так написана и упомянутая выше статья о Поль де Коке, в которой остроумно использованы заимствованные из французских журналов бытовые детали из жизни известного романиста. Изложение все время, если можно так выразиться, фельетонно-картинно и согрето тонким юмором.

В этой же «манере» делает критик и свое серьезное замечание:

«Какая разница между Поль де Коком и Бальзаком, который марает двадцать раз одну фразу; у певца молоденьких гризеток воображение богаче и пламеннее, чем у певца женщин от тридцати до пятидесяти лет. Причина очевидна. Поль де Кок, описывающий так верно и остроумно нравы французских мещан, сам настоящий мещанин парижский...»

При всей «фельетонной легкости» Некрасов никогда не забывает о деле. Его рецензии всегда импонируют знанием предмета, о котором он пишет. Прежде всего это относится к его оценкам пьес и их театрального исполнения. Знание сцены, знание взаимоотношений драматурга и театра дает ему возможность в рецензии на драматические сочинения Полевого не только отметить, но и объяснить крайнее однообразие персонажей у этого автора.

«Все подьячие, промышляющие ябедой и распивающие с приличными прибаутками ерофеич в разных пьесах г. Полевого, суть один подьячий, потому что все они писаны для г. Каратыгина 2, а один артист, как бы он разнообразен ни был, не может все-таки совместить в себе всех разнородных, дробящихся до бесконечности оттенков целого класса людей. Расчет писать роли по мерке дарований и средств сценических действований увлек г. Полевого слишком далеко и отнял у его лиц разнообразие. В пьесах его, собственно говоря, нет характеров, в них есть только роли, нередко между собою весьма похожие, преимущественно для гг. Каратыгиных, г-жи Гусевой и г. Сосницкого...» («Литературная Газета» 1842, № 43).

В рецензии о постанове «Холостяка» Тургенева на петербургской сцене Некрасов указывает на такой промах автора:

«Первый акт начинается монологом слуги, развалившегося в барских креслах, второй кончается тем, что слуга ложится на господский диван отдохнуть, с соответствующими прибаутками... автор не расчел, что на сцене их будет произносить актер, и, как подобную роль в десять слов нельзя дать хорошему актеру, то, следовательно, плохой актер; что он, пожалуй, вообразит, что собственно от его роли зависит успех или падение всей пьесы, и постарается, чтоб роль вышла как можно поэффектнее. Таким образом, из мимолетного десятка слов выйдет нечто торжественное... Избежание подобных неприятностей, часто обращаемых поверхностными судьями в вину самой пьесы, приобретается только знанием сцены, и часто даже той сцены, в особенности, где играется ваша пьеса» (III, 330—331).

Но Некрасов знает не только сцену и сложное, мало понятное непосвященному, взаимодействие театра и пьесы, он знает и зрителя, который навязывает свою волю и сцене и автору. В фельетоне «Выдержка из записок старого театрала» в двадцати пунктах охарактеризованы с большим юмором те условия, при соблюдении которых пьеса имеет верный успех у зрителя Александринского театра, создавшего популярность драматургии Полевого, Кукольника, вообще так называемой «ложно-величавой школы».

Псевдопатриотическая драматургия опиралась на идеологически и эстетически неразвитую аудиторию, бурно аплодировавшую, «когда действующие лица били друг друга... целовались, обнимались, упадали на колени друг перед другом и плакали... кланялись друг другу в ноги...» и т. п. [6].

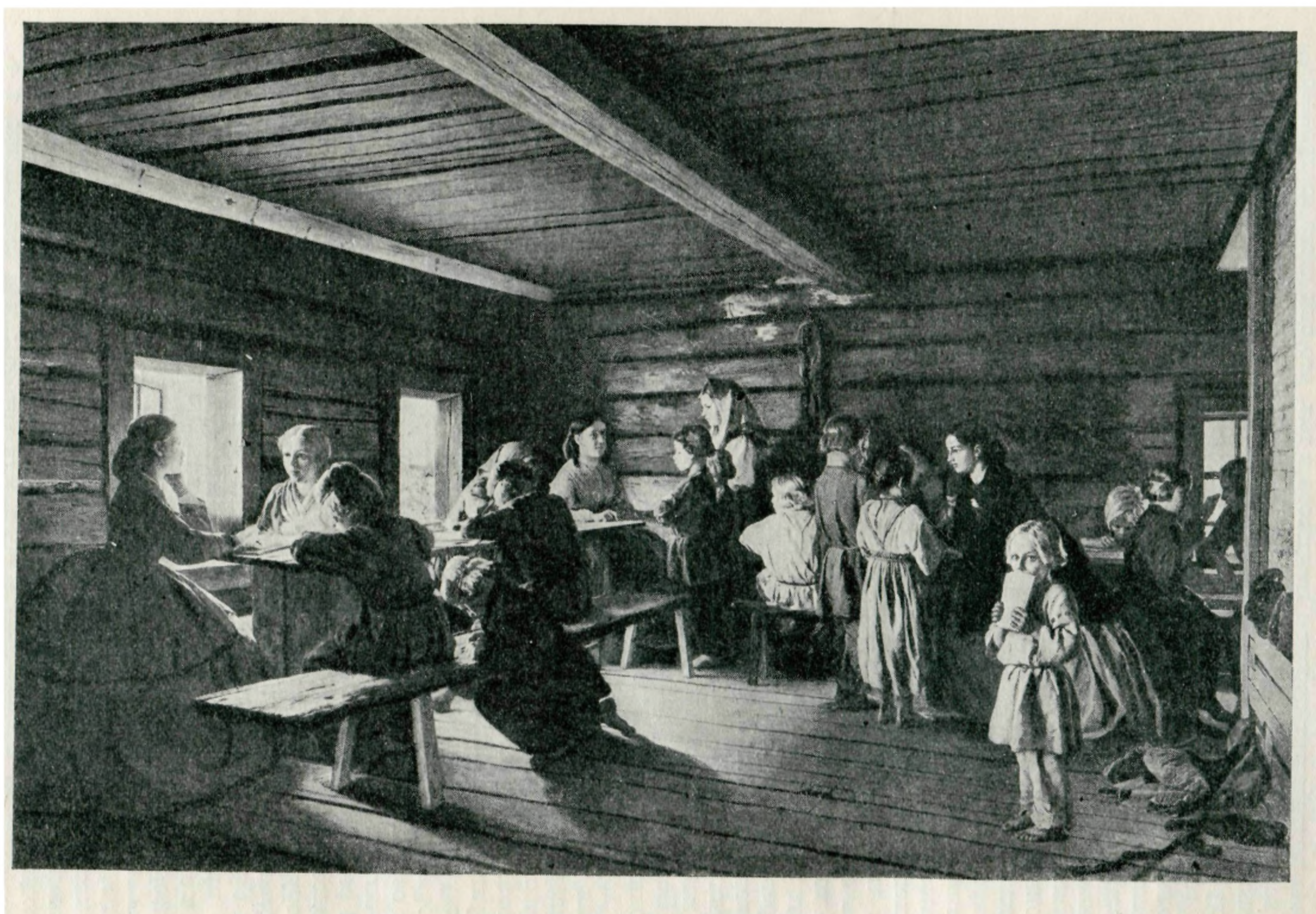
Неправильно было бы усматривать здесь пренебрежение к этому зрителю с примитивным восприятием, нуждающемуся в столь грубых средствах воздействия. Некрасов изучает его вкусы не для того, чтобы третировать его, а для того, чтобы проложить путь к нему. Некрасову ясно, что литературе, достойной этого имени, необходима возможно более широкая воспринимающая среда, социальная база для своего утверждения и развития. В Некрасове-критике нельзя не видеть в то же время и поэта, и редактора. И тот и другой по-своему заинтересованы в вопросах формы. И в статьях, и в письмах Некрасова нельзя не отметить особого внимания к языку, построению, манере изложения и особой лаконичной деловитости высказываний об этом. Редактору далеко не безразлично, «как сделана» вещь; для него форма — связующее звено между содержанием и читателем, звено, при отсутствии которого вещь потянет журнал книзу. Здесь нет приспособления к примитивным вкусам; редактор учитывает эти вкусы, чтобы перевоспитать их. Но как поэт Некрасов судит о форме с точки зрения внутренней потребности в ней самого творца.

Вот строки из письма Некрасова-редактора к Л. Н. Толстому, строки, в которых совпадают эти две точки зрения на форму, что бывает далеко не всегда.

«Зап. марк⟨ера⟩ очень хороши по мысли и очень слабы по выполнению; этому виной избранная вами форма; язык вашего маркера не имеет ничего характерного — это есть рутинный язык, тысячу раз употреблявшийся в наших повестях, когда автор выводит лицо из простого звания; избрав эту форму вы без всякой нужды только стеснили себя: рассказ вышел груб и лучшие вещи в нем пропали» (V, 187).

«Пропали», т. е. не дойдут до читателя. Они бы «дошли», если бы автор не стеснил себя и написал бы «Записки маркера» свойственным ему языком — скажем, языком «Детства». Они были бы на той же или на большей художественной высоте, независимо от того «дошли» ли бы или нет, если бы рассказ маркера был написан не «рутинным», а индивидуализированным народным языком.

В связи с пристальным вниманием Некрасова к форме находится такой прием его литературно-критических работ, как пародирование рецензи-



БЕСПЛАТНАЯ СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА

Картина маслом А. М. Морозова, 1865 г.

Третьяковская галлерея, Москва

руемых им авторов (см. например, пародии в рецензии на «Сто русских литераторов».— III, 337—338).

Сила критических пародий Некрасова в том, что они часто воспроизводят не только форму и манеру, но и подлинную речь пародируемого; они «цитатны». Острый глаз критика улавливает такие элементы разбираемых им произведений, которые являются бессознательными автопародиями.

В рецензии на «Очерки русских нравов» Булгарина эта «цитатность» пародии совершенно открыта. Объявление торгового дома Ольхина о выходе книжки Булгарина пародирует статьи «Северной Пчелы», а то и другое пародируется, в свою очередь, объявлением Легира о ките, «выставленном в новопостроенном балагане». Пародия возникает из сопоставления подлинных «документов».

Тонко пародирует Некрасов рецензируемые сочинения и самым их пересказом.

Пародирование — одно из частных применений общего для Некрасова-критика метода работы: Некрасов не столько анализирует и рассуждает, сколько демонстрирует, показывает автора, но показывает так, что комментарии становятся излишними. Это — уменье повернуть экспонат так, чтобы он был нам отчетливо и со всех сторон виден, вернее, заставить его показать себя.

В той же рецензии на «Очерки русских нравов» Булгарина Некрасов видит только одно лицо, «созданное художнически»: это «лицо человека, обуреваемого... страстью переносить и подслушивающего за ширмами»; «кажется, читаешь на нем страшный процесс, каким этот несчастный дошел до унизительного ремесла, которое сделалось для него страстью и которым он, может быть, наперекор собственным чувствам, так ревностно занимается. Вот таких-то резких типических физиономий надо желать побольше в политипажах. Это, по крайней мере, поучительно и предостерегательно для других». Если Некрасов часто представляет критикуемые им произведения как бессознательные автопародии, то здесь он трактует рассказ Булгарина как бессознательную автосатиру. Вспоминается цитированное вначале письмо Белинского к Кавелину, где за приведенными уже нами строками следует: «... а между тем, он тогда же говорил, что не питает к Булгарину никакого неприязненного чувства». Действительно, эти строки звучат почти по-щедрински: здесь скорее скорбь о той степени падения, которая происходит даже, «может быть, наперекор собственным чувствам», чем озлобление, личная ненависть, но тем убийственнее для Булгарина звучит эта смелая концовка.

В рецензии на «Воспоминания» Булгарина тот же метод получает дальнейшее развитие. Критик демонстрирует Булгарина именно с той стороны, которую последний считает для себя наиболее выгодной. Придерживаясь «в точности выражений самого сочинителя», Некрасов начинает с претензий Булгарина на аристократическое происхождение, основанных на том, что предки его «издревле были княжескими боярами, имевшими одно значение с древними боярами русскими». Подчеркнув эти слова, которыми Булгарин сразу же обнаружил весь комизм своего тщеславия («княжеские бояре» — нечто вроде «барских барынь», т. е., попросту говоря, старших лакеев), автор статьи приводит отрывок, где Булгарин выражает свое мнение о борцах за свободу, в особенности — о национальном герое польского народа Костюшко. «Эти народные герои вообще или простаки, увлеченные мечтами воображения, порожденными увлечениями юности, или хитрецы, или честолюбцы, т. е. тетерева или лисицы»,— пишет рептильный мемуарист, изливая свою ненависть к революции.

В следующих выдержках говорится о детских впечатлениях будущего издателя «Северной Пчелы» (карточная игра в родительском доме, о ко-

торой «страшно вспомнить»: «червонцы ставили на карту не счетом, а мерою — стаканами») и о том, как рано он стал шутом при больших барах; об отце Булгарина и о расправе его с евреем, который осмелился не поклониться; затем после изложения злоключений, постигших отца за его горячность, приводится сентенция благоразумного сына: «Эти пылкие люди в каждом потрясении гибнут первые, гоняясь за правдою и честью», за которой, очевидно, по мнению Булгарина, гнаться не следует, доверившись в этих делах всецело высшему начальству.

Из других колоритнейших цитат мы узнаем, как в столичных гостиных автор продолжает входить в роль шута, играет на гитаре, поет польские песни и смешит дам во время их туалета. Роль эта пришлась ему настолько по нраву, что он восклицает: «Это было мое счастливое время в Петербурге». Узнаем также о том, как быстро отрекся Булгарин и от своей национальности и от религии, считая, что, готовясь стать русским офицером, «приличнее быть русской веры», и каких больших успехов достиг он в изучении православного катехизиса [7].

Вывод из этих и подобных им сведений, «который можно извлечь из книги о самом ее сочинителе», Некрасов предоставил сделать самому читателю.

2

И по форме и по содержанию в статьях и рецензиях Некрасова 50-х годов много общего с предшествующим периодом его работы как литературного критика. «Показ» остается и здесь основным приемом, хотя в соответствии с новыми объектами и меняет свою функцию. Интерес к художественной форме и теперь чрезвычайно значителен. Переходят в 50-е годы и некоторые темы, но одновременно выдвигаются новые задачи, а главное — критика Некрасова приобретает иной характер: она становится более теоретичной. Если мы не ограничимся статьями и рецензиями, а привлечем органически связанную с ними поэзию и переписку Некрасова, то убедимся, что проблемы критики серьезно занимают его в следующем десятилетии. Самая постановка задач, оставшихся от 40-х годов, становится более углубленной. Начнем с них.

Некрасов продолжает борьбу с «квасным» патриотизмом, с «булгаринской школой» за великую русскую литературу и ее гениальных писателей. Но за «гоголевское направление» он уже борется с новыми противниками.

Борьба с псевдопатриотизмом проходит теперь в новых условиях. Крымская война сильно затруднила эту борьбу. Представители «ложновеличавой школы», официальной народности, клянясь в любви к отечеству, заглушают своими крикливыми голосами тех истинных патриотов, которые с болью и тревогой указывают на темные стороны русской действительности, на крепостническую отсталость, обрекающую Россию на поражение. Возвысить честные голоса в такой обстановке было трудно. Тем не менее «Современнику» иногда удавалось высказаться на эту тему. В «Заметках о журналах» Некрасову пришлось иметь дело с Бенедиктовым, заявившим в стихотворении «Отечеству и врагам его» о том, что он любит отечество «во всем»: и «в русской барыне широкой», и «в русской бабе на печи», и «в хмельной с присядкой тряске казачка и трепака».

По поводу этих строк, тут же зло пародированных, Некрасов указывает на «несвоевременность» бенедиктовского смешения подобных пустяков «с предметами действительно существенными и достойными сочувствия каждого русского». «Такой патриотизм,— пишет критик,— давно и достойно отмечен прозванием „квасного“». Далее следует определение подлинного патриотизма, в котором важное место занимает такой существеннейший признак, как благородное негодование против врагов про-

свещения и прогресса, любующихся отсталостью страны и стремящихся последнюю увековечить («Заметки о журналах» за сентябрь 1855 г.).

Другая тема — Пушкин. Тема острая для 50-х годов. С одной стороны, свободолюбивая по самой природе своей муза великого поэта продолжает вызывать озлобление реакционеров, пожалуй, не меньшее, чем при его жизни. С другой стороны, с именем Пушкина связано начало раскола прогрессивного лагеря. К противникам «гоголевского направления» присоединяется новый отряд людей, не запятнавших еще себя прислужничеством к власти, имевших репутацию передовых деятелей. Они делают Пушкина знаменем борьбы против Гоголя. Провозглашая лозунг: «Назад к Пушкину!» они нарушают историческую перспективу и навязывают обществу свое ограниченно-субъективное представление о национальном поэте, подменяя его подлинный образ искусственно созданным ими по своему подобию.

Вопрос осложняется тем, что сторонниками антигоголевского, или, как тогда говорили, «пушкинского» направления, были близкие тогда Некрасову люди (Дружинин, Анненков, Боткин), с которыми у него было много общего во вкусах и понятиях об искусстве.

В свою очередь, поборники гоголевского направления, защищая правое дело, не всегда стояли на теоретически безупречных позициях. Просветительские ошибки в этом вопросе были свойственны и русской революционно-демократической критике. Особенно резко выразились они, как известно, у Писарева, но им не были чужды и Чернышевский и Добролюбов. В основном ошибка заключалась в том, что революционные демократы, борясь против «пушкинского направления», не боролись в то же время за Пушкина, не выявляли той лжи, которой проникнуто было представление о пушкинском творчестве, как идиллически-мирной поэзии; не видели трагического противоречия с действительностью, за которое автор «Онегина» заплатил жизнью. И Дружинин и Чернышевский одинаково убеждены в пушкинском объективизме, в принятии Пушкиным действительности, как она есть, с той, конечно, разницей, что один отвергает то, что ценит другой [8].

Когда П. В. Анненков опубликовал свою известную биографию, она тотчас же подверглась нападкам со стороны старых ненавистников Пушкина. В «Северной Пчеле» появилась статья К. П. (Ксенофонта Полевого), который пытался опорочить не только творчество, но и личность поэта. Нападки эти вызвали глубокое возмущение Некрасова. В ответ он дает свою характеристику поэта, глубоко прочувствованную и объективно верную:

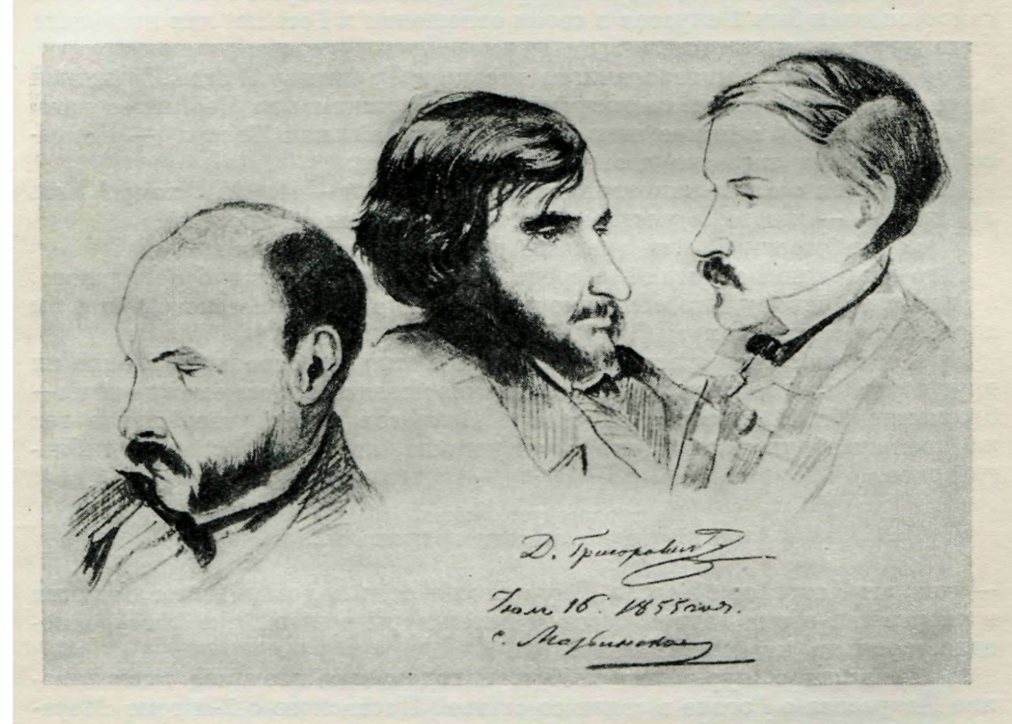
«Все, что усиливается заподозрить в Пушкине г. К. П.— его глубокая любовь к искусству, серьезная и страстная преданность своему призванию, добросовестное, неутомимое и, так сказать, стыдливое трудолюбие, о котором узнаем только спустя много лет после его смерти, его жадное, постоянно им управлявшее стремление к просвещению своей родины, его простодушное преклонение перед всем великим, истинным и славным и возвышенная снисходительность к слабым и падшим, наконец, весь его мужественный, честный, добрый и ясный характер, в котором живость не исключала серьезности и глубины, — все это вечными, неизгладимыми чертами вписал сам Пушкин в бессмертную книгу своих творений, и пока находится она в руках читателей, ни г. К. П., ни подобные ему не подкопаются под светлую личность поэта намеками на какую-то изменчивость, гибкую философию... и прочее» («Заметки о журналах» за ноябрь 1855 г.).

Вчитываясь в эти горячие строки поэта о поэте, полные ощущения живого Пушкина во всем его обаянии, нельзя не признать, что они равно

далеки от представлений о поэте как сторонников «пушкинского направления», так и их противников.

Несколько строк из следующего журнального обзора отразили один из интереснейших моментов духовной жизни критика-поэта: Некрасов за чтением Пушкина. Процитировав впервые опубликованные Анненковым стихи «Подруга дней моих суровых», Некрасов замечает:

«Какая поэзия! Какая музыка! и сколько тут читаешь между строками! Поэт жалеет о своей няне; а кого нам жаль? Нам жаль его самого больше, чем няни, о которой мы забываем, слушая эту музыку любви и сиротливой грусти, исходящую из *благородного, мужественного, глубоко страдающего сердца!* или, лучше сказать, нам



В. П. БОТКИН, И. С. ТУРГЕНЕВ и А. В. ДРУЖИНИН
Рисунок Д. В. Григоровича, 1855 г.
Музей Л. Н. Толстого, Москва

никого не жаль: при чтении подобных вещей господствующее чувство — наслаждение» («Заметки о журналах» за декабрь 1855 и январь 1856 г.).

Последние строки не должны вводить в заблуждение: проникновенное чувство красоты пушкинской музы никогда не было у Некрасова эстетским — в это чувство всегда входило как существеннейший элемент ощущение личности кровно связанного со своим народом поэта и его трагической судьбы.

3

На борьбу «пушкинского» и «гоголевского» направлений Некрасов откликнулся и непосредственно. И здесь он шел от верного ощущения творческой индивидуальности великого сатирика. Оно избавляло Некрасова от теоретических заблуждений его более искушенных в рассуждениях и более образованных друзей.

«Я велел Базунову,— сообщает он Тургеневу,— отослать тебе 2-й том «Мертвых душ». Вот честный-то сын своей земли! Больно подумать, что

частные уродливости этого характера для многих служат помехою оценить этого человека, который писал не то, что могло бы более нравиться, и даже не то, что было легче для его таланта, а добивался писать то, что считал полезнейшим для своего отечества. И погиб в этой борьбе, и талант, положим, свой во многом изнасиловал, но каково самоотвержение!.. Это благородная и в русском мире самая гуманная личность,— надо желать, чтоб по стопам его шли молодые писатели России. А молодые-то наши писатели более наклонны итти по стопам Авдеева» (V, 212).

Эти строки могут служить комментарием к написанным три года до того стихам «Блажен незлобивый поэт». А стихи эти, написанные до сближения с Чернышевским, в свою очередь, свидетельствуют о том, насколько самостоятелен был Некрасов в своем отношении к Гоголю, как неизменна была тут его позиция.

Год спустя после цитированного письма к Тургеневу, когда Дружинин и его группа определились окончательно, обрушились на Чернышевского, стали оказывать влияние и на таких писателей, как Толстой,— Некрасов спрашивал того же своего корреспондента:

«Какого н о в о г о направления он <Толстой — *А. Л.*> хочет? Есть ли другое — живое и честное, кроме обличения и протеста?»

И со свойственным ему трезвым реализмом продолжал:

«Его создал не Белинский, а среда, оттого оно и пережило Белинского, а совсем не потому, что «Современник» в лице Чернышевского будто бы подражает Белинскому» (V, 273).

При некрасовском чувстве Пушкина и Гоголя противопоставление их друг другу было беспредметно, а отрицание преемственности между ними— бессмысленно. В гоголевской сатире Некрасов видел утверждение тех же положительных начал, что и у Пушкина, но более трудное и неблагодарное.

Он проповедует любовь
Враждебным словом отрицанья...

— говорит Некрасов о Гоголе. Ему с его целостным восприятием личности и творчества обоих гениев русской литературы чуждо было рассудочно-одностороннее их истолкование.

В «Заметках о журналах» 1855 г. находим замечательное высказывание Некрасова о Гоголе в связи со статьей Писемского о 2-м томе «Мертвых душ».

«Он почти вовсе отказывает Гоголю в лиризме (подумал ли критик, на к а к о е б е д н о е з н а ч е н и е низводит он одним словом великого писателя и как бы это было прискорбно, если б это было справедливо?). Это делает он на основании двух-трех неудачных лирических отступлений в первом томе «Мертвых душ»? Но почему же г. Писемский позабыл «Невский проспект», позабыл «Разъезд», в котором найдем чудные лирические страницы, позабыл «Старосветских помещиков», чудную картину, всю, с первой до последней страницы, проникнутую п о э з и е й, лиризмом? Ах, г. Писемский! Да в самом Иване Ивановиче и Иване Никифоровиче, в мокрых галках, сидящих на заборе,— есть п о э з и я, лиризм. Э т о - т о и е с т ь н а с т о я щ а я, в е л и к а я с и л а Г о г о л я. В с е неотразимое влияние его творений заключается в лиризме, имеющем такой простой, родственно слитый с самыми обыкновенными явлениями жизни — с прозой,— характер и притом такой р у с с к и й характер! Что без этого были бы его книги! Они были бы только книгами — лучше многих других книг, но все-таки книгами. Гоголь неоспоримо представляет нечто совершенно новое среди личностей, обладавших силою творчества, нечто такое, что невозможно подвести ни под какие теории, выработанные на основании произведений, данных другими поэтами.

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ИЗДАНИЯ «СТИХОТВОРЕНИЙ» НЕКРАСОВА 1856 г., С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ: «МАРЬЕ ВАСИЛЬЕВНЕ БЕЛИНСКОЙ ОТ ИЗДАТЕЛЯ»

Частное собрание, Москва

СТИХОТВОРЕНІЯ

Н. НЕКРАСОВА.

Изданіе К. Солдатенкова и Н. Щепкина.

МОСКВА.

Въ Типографіи Александра Семена.

1856.

и основы суждения о нем должны быть новые» («Заметки о журналах» за октябрь 1855 г.).

Дружинин и иже с ним, при всем уважении к таланту Гоголя, не чувствовали в нем поэта. Для Некрасова же без Гоголя-поэта, Гоголя-лирика не было и Гоголя-сатирика. А поэтичность Гоголя для Некрасова, как и для Белинского, была в том же, в чем заключался «пафос» Пушкина: в единстве художника «с самыми обыкновенными явлениями жизни», исключающем всякое третирование их свысока. И «пушкинское» и «гоголевское» для Некрасова — разновидности русской поэтичности. Без лиризма Гоголь не мог иметь того значения, которое за ним общепризнано: значения «социально-сатирического». Именно лиризм и придает смеху Гоголя светлую, очищающую силу. Он подымает великого писателя над его «странными героями» и над тем обществом, которое их порождает. Некрасову дороги «незримые слезы» художника, слезы любви к поруганной родине, грусть о человеке, униженном и посрамленном, скорбь о потерянном их достоинстве. В некрасовских строках о гоголевском лиризме сказалось глубокое чувство гуманизма русской литературы, объединяющее и «пушкинское» и «гоголевское» начала, и — особенно — гуманизма русской сатиры. Ведь и у гениального преемника Гоголя в этой области — у Щедрина — было также много того лиризма, о котором говорит здесь Некрасов.

4

Неудивительно, что при таком восприятии Гоголя Некрасов связывал с ним все дорогое ему в литературе 50-х годов — и Тургенева, и Островского, и «великую надежду русской литературы» — Л. Н. Толстого.

Сообщая Тургеневу свое мнение о четырех главах его начатого, но неоконченного романа, Некрасов пишет, что они «носят на себе печать той

благородной деятельности, от которой к прискорбию так далеко отошла русская литература» (V, 212), и тут же переходит к Гоголю. В письме к Толстому по поводу одного из севастопольских рассказов — «Севастополь в мае» — тот же мотив: «Это именно то, что нужно теперь русскому обществу: правда,— правда, которой со смертью Гоголя так мало осталось в русской литературе... Я не знаю писателя теперь, который бы так заставлял любить себя и так горячо себе сочувствовать, как тот, к которому пишу, и боюсь одного, чтобы время и гадость действительности, глухота и немота окружающего не сделали с вами того, что с большею частью из нас: не убили в вас энергии, без которой нет писателя, по крайней мере такого, какие теперь нужны России» (V, 220),— той «энергии негодования» (слова Чернышевского, сказанные в то же время), которой наэлектризовал русскую литературу Гоголь.

Говоря в печати о «первоклассных достоинствах» севастопольских рассказов, Некрасов снова указывает на «строгую, ни перед чем не отступающую правду», а также на «богатство поэзии», которая проявилась уже в самой мысли «провести ощущения последних дней Севастополя и показать их читателю сквозь призму молодой, благородной, младенчески прекрасной души, не успевшей еще засориться дрянью жизни». Именно эта «поэтичность», или лиризм образа, в сочетании с неподкупной правдой всего рассказа и придает ему значение общенародное. Образ Козельцева осветит и смягчит скорбь многих сердец, переключит их личное горе в горе общее.

«Бедные, бедные старушки, затерянные в неведомых уголках обширной Руси, несчастные матери героев, погибших в славной обороне! вот как пали ваши милые дети — по крайней мере, многие пали так,— и слава богу, что воспоминание о дорогих потерях будет сливаться в вашем воображении с таким чистым, светлым, поэтическим представлением, как смерть Володи!

Счастлив писатель, которому дано трогать такие струны в человеческом сердце!» («Заметки о журналах» за декабрь 1855 г. и январь 1856 г.).

К «дельному, так сказать, практическому направлению, принятому нашей литературой в последние пятнадцать или двадцать лет», т. е. гоголевскому направлению, относит Некрасов и другие произведения Толстого. Это «практическое» и в то же время подлинно поэтическое направление состоит в изучении своего, национального, во всех его направлениях и сословиях. (Одна из высших похвал Некрасова — «глубоко-русское», «бездна русского», за чем следует обычно «Я в восторге»). Подобно тому, как «Тургенев в «Записках охотника» поставил перед нами ряд оригинальных, живых и действительных лиц, о которых мы до него не имели понятия»,— ряд народных характеров, так «Толстой открыл в своих кавказских и севастопольских рассказах русского солдата».

Понятен интерес критика-поэта,— так любившего в своих художественных произведениях передавать прямую речь народа, говорящего о себе самом,— когда в записях Сокальского он познакомился с подлинным солдатским сказом о восьми месяцах плена у французов. Он особенно рекомендует читателю рассказ, в котором усматривает «несомненные признаки наблюдательности и юмора, словом: таланта... Даровита русская земля!» («Заметки о журналах» за сентябрь 1855 г.).

К этому же направлению относил Некрасов Тургенева, который был для него самым поэтичным писателем после Пушкина, самым любимым из современных писателей. До конца 50-х годов их соединяет дружба, которую без всяких преувеличений можно назвать нежной дружбой со стороны Некрасова. Она основана на сильнейшей симпатии к таланту Тургенева, творения которого Некрасов ценит как величайший дар

не только литературе вообще, но и себе самому. Произведения Тургенева заставляют звучать в нем наиболее интимные струны, будят самые дорогие ему эмоции, самые заветные думы. На тургеневских страницах Некрасов находит то магическое слово, которого ищет и ждет, которое просветляет и разрешает. Некрасов и Тургенев были конгениальны в каких-то существенных чертах своих поэтических натур. Исключительно созвучны они в самом характере своего лиризма, восприятия природы, в понимании и чувстве русского человека... Многое в творчестве обоих являлось результатом их взаимоконтакта. Недаром в литературе сопоставляются Агарин из «Саши» и Рудин.

С Рудиным была связана одна из наиболее волновавших Некрасова тем — тема человека его поколения, вопрос о значении его для русской жизни. И Некрасов чувствовал потребность высказаться о Рудине, договорить то, что, может быть, не досказал Тургенев.

«Я сейчас прочитал Рудина, вторую часть (хочу писать о ней), ей богу, это очень хорошо,— нет, уж мы очень загнали нашего седого Митрофана! И эпилог хорош и верен, только сух несколько... Но по мысли верен. Анненков тут едва ли прав. Противоречия нет. Почему же такая рефлектирующая голова не могла, наконец, попробовать действовать» (V, 236).

Статьи о «Рудине» Некрасов не написал, но то немногое, что сказал о нем в печати,— пожалуй, самое верное из сказанного о Рудине и «лишних людях» вообще в нашей литературе. Некрасов судил о «лишних людях» и изображал их как художник наиболее объективно, занимая тут вполне самостоятельную позицию.

Великий поэт крестьянской демократии мыслил «лишних людей» в исторической перспективе, учитывая все стороны этого своеобразнейшего явления русской жизни.

«Эти люди,— говорит он,— имели большое значение, оставили по себе глубокие и плодотворные следы. Их нельзя не уважать, несмотря на все их смешные или слабые стороны». Их основной порок — «несостоятельность при практическом приложении своих идей к делу» — Некрасов объясняет двумя причинами: во-первых, еще недостаточно подготовлена была почва к полному осуществлению их идей; во-вторых, «развившись более помощью отвлеченного мышления, нежели жизни, которая давала для их воззрений и чувств одни отрицательные элементы, они, действительно, жили более всего головою; перевес головы был иногда так велик, что нарушал гармонию в их деятельности», хотя нельзя сказать, «чтобы у них сухо было сердце и холодна кровь» (Заметки о журналах» за февраль 1856 г.).

Как видно из этой превосходной по отчетливости характеристики, представление о типе «лишнего человека» 40-х годов было у Некрасова шире отражения этого представления в «Рудине» Тургенева, где «не столь ясно и полно выставлена им положительная сторона...». «Вероятнее всего произошло это оттого, — продолжает Некрасов, — что г. Тургенев, сознавая в себе очень сильное сочувствие к своему герою, опасался увлечения, излишней идеализации и, вследствие того, иногда насильственно старался смотреть на него скептически». В этом направлении шли доработки и переделки романа, о которых Некрасов прекрасно знал и которые привели к двойственности образа героя. Учитывая эти недостатки «Рудина» в художественном отношении, Некрасов все же предвидит, что «для Тургенева начинается новая эпоха деятельности, что его талант приобрел новые силы, что он даст нам произведения еще более значительные, нежели те, которыми заслужил, в глазах публики, первое место в нашей новейшей литературе после Гоголя» («Заметки о журналах» за февраль 1856 г.).

Интересно, что к группе писателей, в которых Некрасов видел надежду русской литературы, в особенности — русской прозы, он не причислял Писемского, который, казалось бы, должен был являться для него представителем гоголевского реализма.

Но мы уже видели, как широко мыслил Некрасов гоголевское начало в литературе, как неотделим для критика-поэта социально-сатирический элемент творчества Гоголя от его лиризма. В Писемском именно этого лиризма и не было. Он даже не умел почувствовать его у Гоголя, что и вызвало уже цитированные нами строки Некрасова о лиризме автора «Мертвых душ».

Признавая талантливость Писемского, Некрасов не мог простить ему... «грубости». И не то что Некрасова смущали резко-реалистические картины жизни, обнаженность житейской грязи и пошлости. Конечно, нет. Грубостью было для него отсутствие поэтического такта, художественная фальшь, навязывающая персонажам низменное и мерзкое там, где они в этом неповинны.

«Батманов,— пишет Некрасов Тургеневу,— (особенно первая половина) очень хорош, но какое грубое существо этот господин (т. е. автор)! Я думаю, ты уж прочел 2-ую часть Батманова; эта часть поразила меня своею грубостью, сцена с фраком, львица-княгиня, которая все толкает мужчин, письмо Наумовой о пощечинах, с подписью: женщина, которой очень хотелось за вас замуж — как все это нежно! Удивительно еще, как мало автор затрудняется в разрешении самых трудных вопросов. После этой повести, не знаю почему, он мне иначе не представляется, как литературным городовым, разрешающим все вопросы жизни и сердца палкой» (V, 169—170).

Вот в таком разрешении «вопросов жизни и сердца», в таком разрешении проблемы «лишнего человека», к которой, как мы видели, сам Некрасов подходил так осторожно, которую мыслил в исторической перспективе, в такой упрощенности взгляда — усматривал прежде всего Некрасов «грубость» Писемского.

В письмах к Боткину и Тургеневу Некрасов не менее сурово высказался о «Плотничьей артели» Писемского, хотя и в ней признавал большие достоинства.

«Безвкусие и претензии так в ней грубо высунулись и заняли бо́льшую часть страниц. Длиннейший и ненужный приступ, а потом предлинная — и еще менее нужная — развязка, с попами, попадьями, убийством и пошлыми деревенскими бедными барышнями, заслуживающими более сожаления и теплого слова, чем презрения, которым так самодовольно обременил их автор» (V, 236).

В подобном отношении к своим персонажам, может быть, самый тяжелый грех Писемского,— грех, от которого подлинный реализм, а не натурализм, предохранен «лиризмом» в том смысле, который мы попытались раскрыть выше.

Некрасов-критик, как и Некрасов-поэт, совершенно отчетливо видел ту черту, которая отделяет реализм от натурализма, поэзию от прозы.

5

Нам предстоит теперь перейти от прозы к поэзии в узком смысле слова — к суждениям Некрасова о стихах.

Здесь Некрасов занимает, несомненно, вполне самостоятельную позицию. Его статья «Русские второстепенные поэты» (1850) — одно из значительнейших явлений в истории русской критики. Она вызвала определенный сдвиг в отношении к поэзии, она открыла одного из самых

больших русских поэтов — Тютчева — и, собственно, ввела его в литературу. Редко кто из критиков может похвалиться такой заслугой.

Выступая в защиту стихов, подвергавшихся в 50-х годах своего рода остракизму, Некрасов знал, что расходится по этому вопросу с авторитетнейшим для него критиком, своим учителем — Белинским. В последний период своей деятельности Белинский видел в вытеснении стихов прозой своего рода признак зрелости литературы, все больше обращающейся к таким проблемам, о которых удобнее писать прозой. Конечно, это не означало гонения на поэзию: великий критик неоднократно указывал, что понятие «поэзия» не покрывается стихотворчеством, что

ОСМОТР ПОТРАВЫ

Автолитография С. В. Иванова

Музей изобразительных искусств, Москва

есть поэтическая проза и прозаические стихи. Однако Белинский неоднократно утверждал, что после Пушкина и Лермонтова на внимание может рассчитывать поэт, если и не равного им, то во всяком случае выдающегося дарования. Белинский был не только против посредственных стихов, как ошибочно полагают некоторые исследователи, но и против стихов, хотя и талантливых, но недостаточно значительных. Именно такая формулировка правильно отражает позицию Белинского. А в ней была своя опасность! Не только повышалась требовательность к качеству стихотворных произведений, но создавалась атмосфера, неблагоприятная для развития поэтических талантов. Если право на существование имеют только большие поэты, то климат становится уже слишком суровым, чтобы в нем могли со временем дать плод скромные, но все же живые ростки поэзии, чтобы могли крепнуть и развиваться дарования, которым нужны годы работы над собой для реализации своих возможностей.

Некрасов в этом пункте не соглашался с Белинским. Каждая подлинная поэтическая индивидуальность, как бы мал ни был ее масштаб, вызывает его сочувствие, чуткое внимание, имеет для него, как таковая, свою неповторимую ценность. И свою задачу Некрасов понял так: обосно-

вать право на существование в литературе за каждой поэтической индивидуальностью при условии ее подлинности, а затем — показать, что с поэзией дело обстоит совсем не так плохо, что если и нет сейчас Пушкина или Лермонтова, все же имеются прекрасные поэты, что искры поэзии разгорятся в пламя, которое будет и светить и греть, если мы не убьем поэзии своим холодом.

Взгляд, поражающий трезвым реализмом понимания литературного процесса! Как и в науке, крупные явления в искусстве предполагают наличие целой культуры, заключающейся в массе незаметного, часто малоплодотворного по своим результатам труда. Как нужны многочисленные опыты, часто ошибочные и неэффективные, чтобы обогатить наше знание великим открытием или изобретением, так и без затраченных безуспешно для данного лица сил невозможна настоящая поэзия. А она оправдывает все неудачи, на которые обречены усилия тех, кого муза удостаивает своей благосклонности лишь после многих тщетных попыток.

«Поэтический талант,— решительно утверждает Некрасов,— хоть и не обширный, лишь бы самостоятельный, стоит десяти талантов повествовательных, потому что такие таланты редки во всех литературах» (III, 396).

Показав, что «потребность стихов в читателе существует несомненно», автор приступает к доказательству своего второго тезиса: «если есть потребность, то невозможно, чтоб не было и средств удовлетворить ее. Поэтических талантов даже не так мало у нас, как многие думают» (III, 397). В порядке нагнетания переходит он от более слабых поэтов к более сильным, приберегая для последней части статьи стихи Тютчева. В немногих страницах Некрасова о гениальном поэте сказались наиболее характерные черты его как критика: уверенность суждений, основанная на глубокой убежденности в истинности своих впечатлений, что, в свою очередь, приводило к независимости и решительности оценок. Некрасов совершенно отчетливо знал, чего он требовал от поэта и что́ он у него находил. Это черта редкая. Некрасов не поколебался признать автора стихов, не обративших на себя внимание, автора, о котором впервые заговорил в печати сам же Некрасов, достойным стать в своей области — области лирики — наряду с Пушкиным и Лермонтовым.

«Стихотворения г. Ф. Т. принадлежат к немногим блестящим явлениям в области русской поэзии». «Мы нисколько не задумались бы поставить г. Ф. Т. рядом с Лермонтовым». «Мы можем ручаться, что эту маленькую книжечку каждый любитель отечественной литературы поставит в один ряд с лучшими произведениями русского поэтического гения...» и т. д. (III, 409, 412, 420).

Автор аргументирует свое ответственное утверждение рядом тютчевских текстов, кратко, но конкретно объясняет их исключительные достоинства, предпочитает одни из них другим, но ни разу не вносит каких-либо оговорок в эту общую оценку. Если есть ограничение ее, то лишь количественного порядка: Тютчев написал очень мало. Даже то, что Тютчев не выходит за пределы чистой лирики (политических стихотворений Тютчева Некрасов еще не знал), не служит поводом к снижающим замечаниям о «малом стакане», и т. п., ибо для Некрасова в этой лирике столько содержания, что его с избытком хватило бы на несколько поэтических жанров. С импонирующей цельностью эстетического переживания Некрасов судит без оглядки, без самолюбивой рефлексии: а что, если я ошибаюсь? С полным доверием отдается он своему восторгу, своему энтузиазму поэта, воодушевленного творением другого поэта.

Четыре года спустя, уже после того, как статья Некрасова выдвинула Тютчева в первые ряды русской литературы и интерес к поэзии возродился, Тургенев написал свой отзыв о тех же стихах. Однако при всей высо-

кой оценке поэта, уже признанного, в статье Тургенева нет цельности и смелости некрасовской характеристики.

«В нем одном,— пишет Тургенев,— замечается... хотя часть того, что в полном развитии своем составляет отличительные признаки великих дарований. Круг г. Тютчева не обширен, это правда, но в нем он дома; ... от его стихов не веет сочинением... они не придуманы, а выросли сами, как плод на дереве, и по этому драгоценному качеству мы узнаем, между прочим, влияние на них Пушкина, видим в них отблеск его времени. В даровании г. Тютчева нет никаких драматических... начал» [9], т. е. драматизма. Своеобразие Тютчева как великого новатора в русской поэзии мало уясняется из этой характеристики, сводящей его значение к роли одного из поэтов пушкинской плеяды. Но Некрасов, другой великий новатор русского поэтического искусства, сумел уловить, если не исчерпывающе, то верно специфику Тютчева-художника.

Тютчев воспринимается им не как поэт линий, ярких красочных гамм, а как поэт оттенков, тонких, нежных, доступных лишь зоркому, искушенному взгляду.

«Уловить именно те черты, по которым в воображении читателя может возникнуть и дорисоваться сама собою данная картина,— дело величайшей трудности. Г-н Ф. Т. в совершенстве владеет этим искусством».

Продемонстрировав это совершенное мастерство на трех превосходных примерах («Утро в горах», «Снежные горы», «Полдень»), Некрасов продолжает: «... оттенки расположены с таким искусством, что в целом обрисовывают предмет как нельзя полнее. Нечего уже и говорить, что утро г. Ф. Т. не похоже на вечер, а полдень на утро, как это часто случается у некоторых и не совсем плохих поэтов» (III, 409, 411).

Особое значение имеет признание такого знатока природы и мастера изображать ее, как Некрасов, что «главное достоинство стихотворений г. Ф. Т. заключается в живом, грациозном, пластически верном изображении природы» (III, 409). Это категорическое и столь просто выраженное утверждение, однако, наводит на размышления. О какой природе идет здесь речь? Ведь в отличие от других русских поэтов и от самого Некрасова, Тютчев меньше всего был поэтом русского пейзажа. Конкретных черт русской природы, которых так много у Некрасова, Фета, Тургенева и других больших и малых поэтов и прозаиков, у Тютчева почти нет. Нет у него «местного колорита», пейзажа средней полосы, преобладающего у этих художников. А между тем Некрасов отмечает горячую любовь Тютчева к природе и прекрасное понимание ее. Не вдаваясь в отвлеченные рассуждения, Некрасов уловил здесь специфику Тютчева: крайнюю обобщенность его пейзажа. Тютчев воссоздает не местность, а состояние природы, не столько линии и краски, сколько жизнь природы, и то, что дано в определенном пространстве, не является для него целью, а лишь средством воспроизвести эту жизнь в ее различных моментах. Специфика этих состояний, сменяющих друг друга везде и повсюду,— утро, полдень, вечер и т. п.— и дана столь верно в своей обобщенности. И Тютчеву понятен этот общий, а не местный язык природы. Некрасов, как никто другой в его время, почувствовал эту особенность. Недаром он цитирует стихи: «Не то, что мните вы, природа», которые явились великолепным подтверждением того, что более или менее отчетливо ощущает всякий истинный поэт: чувства жизни природы, одушевленности ее как целого во всей ее объективной реальности.

При всей глубине некрасовского понимания Тютчева есть в нем и односторонность. Конечно, изображением природы «главное» в Тютчеве не исчерпывается: не менее важным является у него трагизм человеческой личности, ее отъединения от природы и коллектива, трагедия индивидуа-

лизма. И притом, эта тема не отделима у Тютчева от темы природы, составляя с ней одно — весьма сложное и противоречивое — целое. Нельзя сказать, что Некрасов прошел мимо этой темы. Он ощущает ее, но как-то смутно, не желая формулировать своих мыслей и углубляться в них. О стихотворении «Душа моя, элизиум теней», он пишет, как о «странном по содержанию», но производящем на читателя неотразимое впечатление, в котором он долго не может дать себе отчета (III, 423).

Характерно предпочтение Некрасовым стихов «Как птичка раннею зарей...», очевидно близких ему по настроению, таким шедеврам тютчевской музы, как «Итальянская villa» и «Silentium». В стихотворении «Итальянская villa» мы встречаемся со столь показательным для Тютчева противопоставлением блаженной тишины природы «злой жизни» человеческого «я». В «Silentium» Некрасову чуждо неверие в человеческое слово.

В одном из своих писем Л. Толстому Некрасов замечает по поводу сообщенного там: «Мне жаль моей мысли, так бедно я ее поймал словом». Но к выводам тютчевского «Silentium» из этого факта Некрасов не склонен: «Нет такой мысли,— утверждает он тут же,— которую человек не мог бы себя заставить выразить ясно и убедительно для другого, и всегда досадую, когда встречаю фразу «нет слов выразить» и т. п. Вздор! Слово всегда есть, да ум наш ленив, да вот еще что: надо иметь веры в ум и проницательность другого по крайней мере столько же, сколько в свои собственные. Недостаток этой веры иногда бессознательно мешает писателю высказываться и заставляет откидывать вещи очень глубокие, чему лень, разумеется, потворствует» (V, 294).

Мысль поистине некрасовская, как Silentium — идея подлинно тютчевская. Тютчев боится доверить «и чувства и мечты свои» — слову, ибо хочет сберечь *для себя* «таинственно-волшебные думы». Некрасов хочет отдать все свое лучшее людям, уверенный в том, что они смогут взять из него то, что им нужно, если он добросовестно выразит себя. Он не жалеет для этого труда, так как верит в способность людей понять друг друга при доброй воле к пониманию, в их способность восполнить оставшееся невыраженным...

Возвращаясь к теме природы в поэзии Тютчева, нельзя не добавить, что и ее Некрасов трактует односторонне. Момент хаоса в природе, противопоставление дня — ночи, сложная диалектика хаоса в мире, отрицающего своей суровой реальностью призрачное бытие человеческого «я» и усугубленно проявляющего себя в «злой жизни» именно этого «я»,— все эти «переливы и переходы» тютчевской поэзии не осознаны Некрасовым, хотя смутно ощущаются им, доходя к нему как-то издалека. Так, приведя стихи «Как океан объемлет шар земной...», Некрасов замечает: «Последние четыре стиха удивительны: читая их, чувствуешь невольный трепет». Чары тютчевской поэзии настолько сильно действуют на ее первого критика, что он не может не поддаваться им даже и тогда, когда не постигает отчетливо некоторых ее аспектов. Все же известная односторонность восприятия помешала критику оценить такие стихи — он считает их «сравнительно слабейшими» — как «Фонтан», «Цицерон», «Сон на море», «День и ночь» и др. (III, 425).

6

Статья «Русские второстепенные поэты», как и другие критические работы Некрасова 50-х годов, написана по той же демонстрирующей методе, непосредственно подающей материал, как и его статьи и рецензии 40-х годов. Но, как уже было сказано, функция этого приема теперь иная. Тогда демонстрировалось убожество, а подчас и морально-низкий уровень литературы булгариных, «ложно-величавой школы», или массовой белле-

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ

Картина маслом С. В. Иванова, 1889 г.

Третьяковская галлерея, Москва

тристической продукции 40-х годов (см., например, статью «Сто русских литераторов»). В 50-х же годах демонстрировалось творчество деятелей большой литературы — Тютчева, Фета, Майкова, Полонского. С этими новыми, более обязывающими темами метод демонстрации справляется нередко блестяще и в смысле подбора материала, и в смысле его группировки и кратких, подобных указующему жесту, комментариев. Особенно удачно применен этот метод в отношении Тютчева, стихотворения которого были Некрасовым впервые сгруппированы по тематическим признакам.

О характере руководящих указаний Некрасова можно судить по таким весьма показательным примерам:

О стихах «Осенний вечер» Некрасов замечает: «Превосходная картина! Каждый стих хватает за сердце, как хватают за сердце в иную минуту беспорядочные, внезапно набежавшие порывы осеннего ветра; их и слушать больно и перестать слушать жаль. Впечатление, которое испытываешь при чтении этих стихов, можно только сравнить с чувством, какое овладевает человеком у постели молодой умирающей женщины, в которую он был влюблен. Только талантам сильным и самобытным дано затрагивать такие струны в человеческом сердце...» (III, 412).

Передача впечатления переходит здесь уже в поэтическое сотворчество. Возникают образы, ассоциирующиеся с некрасовской поэзией.

Это применимо и к замечаниям о стихотворении «Весенние воды»:

«Сколько жизни, веселости, весенней свежести в трех подчеркнутых нами стихах! Читая их, чувствуешь весну, когда сам не знаешь, почему делается весело и легко на душе, как будто несколько лет свалилось долой с плеч, — когда любуешься и едва показавшейся травкой, и только что распускающимся деревом, и бежишь, бежишь, как ребенок, полной грудью впивая живительный воздух, и забывая, что бежать совсем неприлично, не по летам, а следует итти степенно, и что радоваться тоже совсем нечего и нечему...» (III, 413).

Чтобы сделать читателю доступным новый для него мир тютчевской поэзии и ориентировать его в этом исключительном по богатству мире, критик вызывает в читателе аналогии из его собственного опыта и делает это с успехом именно потому, что сам является поэтом.

Самый прием демонстрирования текста, таким образом, приобретает новые особенности, теряя прежние, например — связь с пародией. Она, вообще, не играет уже в 50-х годах той роли у Некрасова, какую играла раньше, что объясняется изменением критической тематики.

Кроме метода непосредственного показа материала, поэт-критик все чаще и чаще дает место анализу, не избегая теоретических рассуждений и публицистики. В «Заметках о журналах» эти моменты явно преобладают.

Следуя примеру Белинского и его обзоров, где характеризуются целые периоды литературной жизни, Некрасов обращается к синтезу, концентрирующему общественные настроения и тенденции. В этом смысле некрасовские «Заметки о журналах» напоминают также общественные хроники Щедрина, которые впоследствии печатались в том же «Современнике».

Так, Некрасов говорит о влиянии на литературу той «положительности», которую приветствовал Белинский в Адуеве-старшем, но которая отнюдь не повысила воспитательного значения литературы.

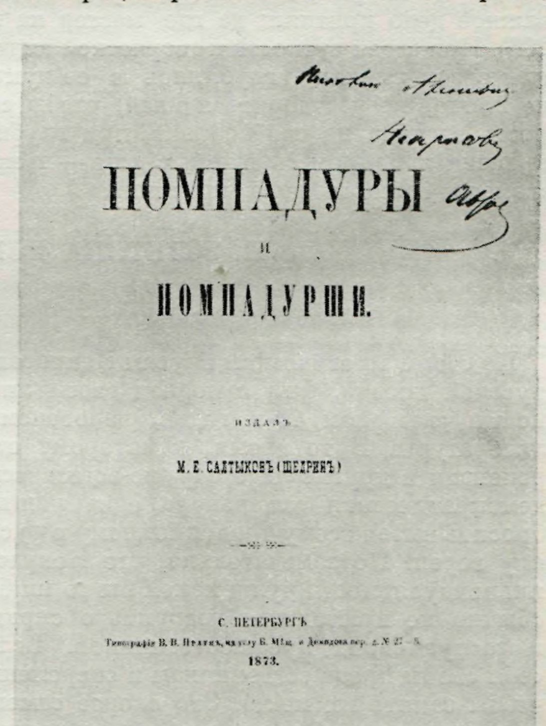
«Кто не встречал теперь в обществе людей молодых, умных, образованных, в высшей степени приличных,— для которых (в двадцать пять лет с небольшим), повидимому, решены уже все вопросы жизни, которые говорят всегда умно, и никогда глупо, касаясь до всего слегка, не возмущаются никаким злом, сознавая (не без похвальной и интересной грусти), что оно неизбежно и неисправимо, которые с готовностью (несколько холодноватой) отдают справедливость всякому доброму делу, но сами не увлекаются никакими страстями, посмеиваясь (впрочем, умеренно и с так-

том) над всяким чувством, над увлечением, и проч., и проч. Кто не встречал в последнее время таких молодых людей? кто не заметил, как эти люди благоразумны во всех случаях жизни, как шаги их по пути ее тверды и верны! Если в чем можно упрекнуть этих мудрецов, так разве в одном, что с ними очень скучно, но и это, пожалуй, можно объяснить их скрытностью, следствием разумного охлаждения, а в остальном приходится только дивиться тому, где, каким образом, через какую долгую и тяжкую борьбу выработали они себе такое уменье побеждать страсти, такую силу души, такую мудрость... Увы, тут нет ни победы над страстями, тут нет ни силы, ни мудрости и, — что всего замечательнее,—тут нет и не было никакой борьбы...»

От этой проникнутой язвительной иронией социально-психологической характеристики общества Некрасов переходит к литературе.

«Мы боимся,— продолжает он,— что если б нужно было олицетворить настоящую русскую литературу, то, при всех ее прекрасных достоинствах, пришлось бы нарисовать нечто вроде сейчас описанного нами молодого человека... и вот почему мы не в восторге от нее. Равнодушие, все-терпящая или холодно-насмешливая апатия, участие в явлениях жизни и действительности какое-то полупрезрительное и бессильное,— это качества не очень почтенные и в отдельной личности, а в целой литературе господство их было бы чем-то сокрушительным в высшей степени» (III, 428—429).

Направление литературных интересов и вкусов, характерное для сторонников «чистого искусства», связывалось образной характеристикой «молодого человека», с антиобщественным настроением. Читателю подсказывалась мысль, что он найдет у них ту черствость, тот социальный индифферентизм, который во всей своей непривлядности выявлен Некрасовым в «положительных людях» эпохи реакции, столь усилившейся в России после 1848 г. Когда Некрасов писал процитированные только что строки,


ПОМПАДУРЫ

И

ПОМПАДУРШИ.

ИЗДАЛЪ

М. Е. САЛТЫКОВЪ (ЩЕДРИНЪ)

С. ПЕТЕРБУРГЪ

1873.

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ КНИГИ «ПОМПАДУРЫ И ПОМПАДУРШИ» М. Е. САЛТЫКОВА (ЩЕДРИНА), С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ АВТОРА НЕКРАСОВУ

Собрание И. С. Зильберштейна, Москва

он имел в виду враждебное Гоголю и Белинскому течение, которое в 1855 г. достаточно определилось. Статьи Дружинина о Пушкине, появившиеся в том же году, выражали уже вполне сложившееся убеждение этого критика, для которого всякий протест в литературе против социального зла был антихудожественным социальным «дидактизмом» и утопической «филантропией». С «положительным человеком» у Некрасова были давние счеты. В свое время он в куплетах, остро талантливых при всей их фельетонности, еще до Гончарова затронул тему адуевщины (например, в «Говоруне»)[10]. Сейчас он рисует в манере «физиологического очерка» тот же «тип», только на более высокой ступени, и осторожно, но сатирически использует его против врагов гоголевского направления.

Последний из журнальных обзоров Некрасова заканчивается «Письмом чиновника», в котором элементы пародии нашли уже другую форму — стилизованного послания автору произведения от лица, им затронутого. В данном случае автор — Соллогуб — отождествлялся со своим героем — «чиновником» из богатых дворян, объявившим войну взяточничеству и огульно заподозрившим в нем всех чиновников, не принадлежащих к «благородному сословию». Классовая ограниченность автора «Чиновника», никчемность его героя, прикрывающего патетическими тирадами свое неумение подойти к какому бы то ни было делу — для всего этого «Письмо чиновника», написанное с точки зрения «специалиста», являлось формой весьма выразительной. Однако послание чиновника не характерно для приемов критической работы Некрасова 50-х годов. Она, как мы видели, связана теперь с крупными явлениями литературы, а не с прополкой литературного поля. Соответственно этому меняется и постановка задач критики. В одном из писем этих годов к Тургеневу Некрасов, сообщая ему о своей потребности написать статью о его повестях, замечает: «Может быть, скажу что-нибудь, что тебе раскроет самого себя как писателя: это самое важное дело критики; да где мастер на него? Сумею ли, не знаю...» (V, 288). При своей чуткости к творческой индивидуальности другого писателя, при своем умении, углубляясь в ее думы и чувствования, не сливаться до конца, не растворяться в ней, чтобы сохранить зоркость и всесторонность взгляда на свой объект, при глубине и широте понимания своего времени и полном созвучии с ним,— Некрасов мог быть таким мастером «самого важного дела критики».

II. ЭСТЕТИКА НЕКРАСОВА

1

По своим эстетическим вкусам Некрасов, один из величайших новаторов русской поэзии, был в период своей литературно-критической деятельности человеком 40-х годов, человеком дворянского периода русской литературы. В то время, к которому относятся известные нам статьи, рецензии и другие литературно-эстетические высказывания поэта, новая, демократическая литература едва лишь зарождалась. Правда, он мог бросить вызов всему традиционному в русской поэзии и тем, кто оставался ему верен. Но замечательно, что Некрасов при столь яркой творческой индивидуальности чужд какой бы то ни было агрессивности, при которой обычно не приходится говорить о справедливом признании достоинств и заслуг своих предшественников. Если Некрасов противопоставляет себя своим предшественникам и современным поэтам, то отнюдь не с тем, чтобы занять их место. Это скорее самокритическое противопоставление или определение своей особой творческой судьбы, не имеющее ничего общего с отрицанием того, чему он себя противопоставляет. Таков характер его изумительной поэтической исповеди «Муза», написанной в 1851 г.,

когда художественный стиль Некрасова уже достаточно сформировался, когда он был уже автором произведений, которые не могли не поразить современников своей исключительной оригинальностью и резко выраженной классовой природой поэта-разночинца. И все же в «Музе» нет и следа какого-либо задора, не то что ущемления, но даже какого-либо ограничения в правах более счастливой музы своего предшественника — Пушкина. Поэт говорит о ней, как о недоступном ему райском видении, а затем о «суровых напевах» своей «неласковой и нелюбимой музы», доставшейся ему волею судеб, говорит, нисколько не претендуя на ее превосходство в чем бы то ни было. Даже в пародиях Некрасов не пытается умалить значение своих предшественников; ирония и сарказм здесь направлены не против них, а против тех явлений жизни, о которых поэт говорит в форме пародии, как более выразительной для данной ситуации.

Его суждения о поэтах, творчески чуждых, даже враждебных ему, проникнуты иногда глубокой симпатией Некрасова как ч и т а т е л я. Не говоря уже о Тютчеве, он ценил и Фета и Майкова, ценил даже больше, чем Тургенев и люди из лагеря, противоположного крестьянской демократии. С присущей Некрасову решительностью и искренностью в оценках он так отозвался о Фете:

«Человек, понимающий поэзию и охотно открывающий душу свою ее ощущениям, ни в одном русском авторе после Пушкина не почерпнет столько поэтического наслаждения, сколько доставит ему г. Фет. Из этого не следует, чтоб мы равняли г. Фета с Пушкиным, но мы положительно утверждаем, что г. Фет в доступной ему области поэзии такой же господин, как Пушкин в своей более обширной и многосторонней области» [11].

Среди приведенных в подтверждение столь высокой оценки стихов Фета встречаем такие, как «Шопот, робкое дыханье», ставшие для шестидесятников предметом пародий и аргументов против поэзии Фета.

Первостепенное значение придает Некрасов Майкову. Восторженно относится он к произведениям в антологическом роде того и другого. В «Заметках о журналах» он приводит стихотворение Фета «Диана», «чтобы не слишком резко перейти и окунуться в омут журнальной повседневности», и так выражает свое восхищение:

«Всякая похвала немеет перед высокой поэзией этого стихотворения, так освежительно действующего на душу...» («Заметки о журналах» за октябрь 1855 г.).

Не забудем, что к стихам в антологическом роде с их «пластикой» критики-демократы относились неизменно враждебно как к жанру, чрезвычайно характерному для поэзии «чистого искусства». В антологическом жанре тенденция к форме за счет содержания находит наибольший простор. Вспомним, что̀ писал вскоре об этом Добролюбов: «сожалеть об отсутствии у поэта «пластического» таланта очень много не сто̀ит... Пластика в поэзии — роскошь, прихоть, аксессуар; поэтам, ничего не имеющим, кроме пластического таланта, мы можем удивляться, но удивляться точно так же, как блестящему виртуозу, которого все достоинство состоит в искусном преодолении технических трудностей игры... Дело поэзии — жизнь, живая деятельность, вечная борьба ее и вечное стремление человека к достижению гармонии с самим собой и природой» [12].

В тот период, к которому относятся имеющиеся в нашем распоряжении материалы, Некрасов, создавая качественно новую художественность, не противопоставлял традиционным эстетическим канонам новую эстетику, как Чернышевский и вскоре Добролюбов. Он был против претензий теоретиков «чистого искусства» на господство в литературе, но не против поэтов этой школы и искренно восхищался ими. Некрасов мог спорить с Анненковым, Боткиным, Дружининым, отстаивая гоголевское направление

в литературе, как наиболее нужное и обществу и литературе, но по вопросу об эстетических мерилах противоречий между ними не возникало, хотя он, несомненно, понимал их по-своему. Это не значит, что Некрасов теоретически был чужд в первой половине 50-х годов новой, революционно-демократической эстетике. Но она у него только зарождалась, изредка прорываясь в отдельных высказываниях, может быть, недостаточно осознанных самим Некрасовым. Можно сказать, что в первой половине 50-х годов Некрасов почти полностью солидаризировался в своих эстетических воззрениях с Тургеневым, испытавшим, как и он, влияние Белинского и во многом гораздо более близким в ту пору к революционно-демократической мысли, чем впоследствии; но как Тургенев, так и Некрасов был тогда дальше от Чернышевского и Добролюбова, чем Белинский последнего периода от своих преемников.

От Белинского идет у Некрасова утверждение реализма в произведениях, посвященных общественным вопросам, утверждение «трезвой и глубокой правды», которую Некрасов так горячо приветствовал у Толстого, особенно в его «Севастопольских рассказах».

«Правду» можно понимать и в субъективном смысле — как правдивость, искренность, и в объективном — как «дельность», «действительность содержания», отмеченную Некрасовым уже в первом дебюте Толстого. С этим связывается такой признак художественности, как простота, которую Белинский называл «красотой истины». Простоту Некрасов с похвалой отмечал в произведениях Тургенева и Толстого. Всякое уклонение от нее встречало со стороны поэта-критика резкое порицание. Одним из таких уклонений являлось для Некрасова изображение болезненных состояний человеческой психики. Вторжение патологии в искусство он решительно осуждал, если художник не умел социально ее осмыслить. Он чуть не забраковал толстовского «Альберта» из-за того, что герою этой повести «нужен доктор, а искусству с ним делать нечего». В этом Некрасов полностью сходился с Тургеневым, который не выносил даже усложненного психологического анализа, обнажения души.

«Эх! пишите повести попроще,— обращается Некрасов к Толстому.— Я вспомнил начало вашего казачьего романа, вспомнил двух гусаров — и подивился, чего вы еще ищете — у вас под рукою и в вашей власти ваш настоящий род, род, который никогда не прискучит, потому что п е р е д а е т ж и з н ь, а н е е е и с к л ю ч е н и я; к знанию жизни у вас есть еще психологическая зоркость, есть п о э з и я в таланте — чего же еще надо, чтобы писать хорошие — п р о с т ы е, с п о к о й н ы е и я с н ы е п о в е с т и» (V, 323—324).

Характерно, что Некрасов вспоминает те произведения Толстого, в которых психологизма меньше. Психологизирование делает душевную жизнь персонажа усложненной, а потому и вызывает ощущение ее болезненности. А патологичность психики ставит ее вне жизни.

Простота правды — не та простота, которая хуже воровства,— это наиболее верное, если не единственно верное, решение задачи художника. А оно требует ума и такта. Простота неумная и бестактная переходит в «грубость», которой Некрасов не выносил, как видно из приведенных уже отзывов о Писемском.

Отвергая «грубость», Некрасов, конечно, далек от какого-либо пуризма: «в стихах иногда невозможно без грубого слова, надо только, чтобы оно оправдывалось необходимостью, да чтобы не было это часто» (V, 454). Грубость не в словах, а в бестактности. В этом отношении Некрасов очень чувствителен. Даже у своего любимейшего писателя — Тургенева — Некрасов отметил раз такую, по его мнению, художническую бестактность. Выражая свой восторг по поводу «Аси», Некрасов обращает внимание автора на то, что «в сцене свидания у колен герой неожиданно выказал

ВОЛОСТНОЙ СУД
Картина маслом М. П. Зощенко, 1888 г.
Третьяковская галлерея, Москва

ненужную грубость натуры, которой от него не ждешь, разразившись упреками: их бы надо смягчить и поубавить» (V, 325).

Но и правда, и простота, и эстетический такт еще не достаточны для создания произведения как эстетического целого. Для этого необходима «выдержанность», которую надо понимать здесь широко. Она не только относится к тону и стилю, но и к мотивировке, особенно, когда речь идет о пьесе. Некрасов упрекает Островского в «пристрастии его к крутым и неожиданным развязкам», объясняя их сценическими условностями. Желание избежать длиннот «доводит его до торопливости и преувеличенной сжатости и тем самым не достигает цели» («Заметки о журналах» за декабрь 1855 г. и январь 1856 г.). Здесь Некрасов отдал уже слишком большую дань установившемуся канону. Драматургия Островского тем и отличается, как показал через несколько лет Добролюбов, что именно выдержанность ее идеи требует подобных развязок, такой кажущейся невыдержанности и немотивированности. Как бы отвечая на упрек Некрасова и других критиков, применявших к творчеству Островского традиционные эстетические нормы, Добролюбов высказывает совершенно другой взгляд: «Драматические коллизии и катастрофа в пьесах Островского все происходят вследствие столкновения двух партий: старших и младших, богатых и бедных, своевольных и безответных. Ясно, что развязка подобных столкновений по самому существу дела должна иметь довольно крутой характер и отзываться случайностью». Дело в том, что «отсутствие всякого закона, всякой логики — вот закон и логика этой жизни»[13]. Нарушая отвлеченные заповеди эстетики, Островский верен высшей правде художника — правде жизни, той «трезвой и глубокой правде», которую так ценил Некрасов в искусстве и с которой и должны сообразоваться всякие эстетические критерии и каноны, а не наоборот.

«Трезвая и глубокая правда» была бы, в свою очередь, отвлеченной схемой, если бы в произведении художника отсутствовало такое качество, как народность. Мы видели уже, какое значение придавал ей Некрасов, как искал в литературе «народных типов» и как ценил их. Его понимание народности сложилось под влиянием Белинского, для которого она означает национальную самобытность, выраженную лучше всего в трудовых — крестьянских — слоях. В конце своей деятельности Белинский пришел к отождествлению нации с этими слоями. В статье «Взгляд на русскую литературу 1846 г.» Белинский восклицает: «Хороша была бы французская нация, если б о ней стали судить по развратному дворянству времен Людовика XV! Этот пример указывает, что меньшинство скорее всего может выражать собою более дурные, нежели хорошие стороны национальности народа, потому что оно живет искусственною жизнью, когда противополагает себя большинству, как что-то отдельное от него и чуждое ему. Это видим мы и в современной нам Франции, в лице bourgeoisie,— господствующего в ней и теперь сословия»[14]. С полным основанием это рассуждение критика можно было распространить и на Россию, которую он, не имея возможности высказаться прямо, имел здесь прежде всего в виду.

Великому поэту крестьянской демократии был как нельзя ближе подобный взгляд на народность. Поэтому он всегда проявлял особый интерес к тому, как народность, так понятая, художественно воспроизведена в литературе. Сам он гениально воссоздавал ее в своей поэзии, и потому полно особого интереса, что̀ он считал близким себе в этом отношении в предшествующей и современной литературе.

Казалось бы, что особенно много внимания он должен был уделять поэтам, вышедшим из народной среды, прежде всего Кольцову, которого признали подлинно народным поэтом авторитетнейшие для Некрасова критики — Белинский, а затем Чернышевский и Добролюбов.

Однако мы не могли найти ни одного высказывания Некрасова о творчестве Кольцова, за исключением стиха в «Несчастных» («вещие песни Кольцова»), хотя поводов для этого имелось более чем достаточно. Мы знаем, что Некрасов собирался писать о Бернсе, настолько он был заинтересован английским народным поэтом, но Кольцов ни в связи с этим неосуществившимся замыслом, ни в аналогичных случаях даже не упоминается. Вряд ли это молчание о нем является случайным.

Никитин вызывает у Некрасова отрицательные оценки.

Никитин, мещанин-поэт,
Различных требует пегасов...

Пренебрежение к Никитину, выразившееся в этих стихах, остается у Некрасова неизменным. В «Заметках о журналах» находим такой отзыв:

«Мы искренно желали бы сказать что-нибудь хорошее о стихотворении г. Никитина «Неудачная присуха», но хорошего ничего сказать не можем. Г. Никитин не без дарования, но он лишен чувства меры, не богат вкусом и не выдерживает народного тона своих стихотворений — недостатки, портящие почти каждую его пьесу» («Заметки о журналах» за октябрь 1855 г.).

Несколько раньше уничтожающей критике подверглось стихотворение Никитина «Бурлак» — на близкую Некрасову тему. «От г. Никитина,— так заканчивается этот отзыв,— как от поэта, рожденного и живущего в народной среде, мы вправе были ожидать чего-нибудь более характерного о лице, избранном им в заглавии стихотворения» («Заметки о журналах» за июль 1855 г.). Никитин, по мнению Некрасова, пишет о своей среде чужими, заимствованными красками. В том же упрекал Никитина Добролюбов.

Не вполне удовлетворяет Некрасова с эстетической точки зрения воссоздание народности у «нашего, бесспорно, первого драматического писателя» — Островского. Великолепное воспроизведение Островским национального характера для Некрасова несомненно: «русский склад и в жизни и в речи дан г. Островскому более, чем кому-либо из современных писателей: он обладает им спокойно и вполне, и от всех его лиц, действительно, веет русским духом». Но в угоду своей тенденции (Некрасов имел в виду «почвенническую» пьесу «Не так живи, как хочется») Островский теряет иногда чувство меры:

«Излишняя боязнь отступать от истины также вредна. Уверяем г. Островского, что ему не для чего с таким, можно сказать, археологическим рвением гоняться за точностью народного языка; ему менее чем кому-либо следует бояться выпасть из русского тона: тон этот в нем самом, в свойствах ума его» («Заметки о журналах» за декабрь 1855 г. и январь 1856 г.).

Взыскательному эстетическому вкусу Некрасова вполне удовлетворяла в современной ему литературе форма народности у Тургенева, Толстого (если не считать неудачного, по мнению критика, рассказа «Записки маркера»), Писемского и Григоровича — у писателей, не принадлежащих ни по своей идеологии, ни по своему художественному методу и стилю к той литературно-общественной группе, с которой навсегда связал себя автор «Размышлений у парадного подъезда».

Наиболее трудно объяснить такую оценку народности в применении к Григоровичу. Однако следует учесть, что в первой половине 50-х годов к Григоровичу как бытописателю русского крестьянства относились совсем иначе, чем теперь. Вспомним глубоко сочувственные строки в статьях и письмах Белинского о крестьянских рассказах Григоровича; отклик Герцена на роман «Рыбаки», о котором он написал целую статью («Роман из народной жизни в России»), где с таким волнением говорил о народных типах автора «Антона Горемыки»; проникнутые симпатией и благодарностью сло-

ва о нем сурового Щедрина в «Круглом годе». При всех своих недостатках Григорович был писателем, сыгравшим большую роль в повороте литературы к «мужику», и этой крупнейшей заслуги не могли забыть те, кто, подобно Некрасову, вместе с Григоровичем этот поворот совершали или всячески содействовали ему.

Чернышевский, который впоследствии так сурово отнесся к подходу писателей дворянского периода к народу, также склонен был в то время скорее преувеличивать, чем преуменьшать народность Григоровича. Он находил, что в его произведениях «ново было то, что крестьянский быт описывался верно, без прикрас, что в описании был виден сильный талант и глубокое чувство» [15], а не слащавая сентиментальность, которую Чернышевский видел у Григоровича позже.

Некрасову, видимо, импонировала эта «верность описания» крестьянского быта, которую он мог оценить больше, чем кто-либо другой, описания, достигавшего почти зрительной конкретности, наглядности живописи [16].

Высоко ценит Некрасов крестьянские типы Писемского, при всей своей антипатии к последнему, отводя им, однако, место вслед за крестьянскими образами Григоровича, не говоря уже о Тургеневе. Рассказ «Питерщик» Некрасов считает лучшим произведением Писемского. В «Плотничьей артели» при всех ее художественных дефектах «все-таки мужики отличные — вещь замечательная, и жаль, что хорошее в ней перемешано с мусором» (V, 226).

Некрасова подкупала у Писемского ядреная крестьянская речь, подслушанная «у самого народа», и, по всей вероятности (он нигде не говорит об этом), ничем не смягченный трагизм крестьянского быта.

В «Заметках о журналах» Некрасов дает восторженный отзыв о «Рубке леса» Толстого, отмечая «полное знание изображаемого быта, глубокую истину в понимании и представлении характеров, замечания, исполненные тонкого и проницательного ума» («Заметки о журналах» за сентябрь 1855 г.).

Но впереди всех в воссоздании народности в литературе Некрасов ставит Тургенева, который «девять лет тому назад <писано в 1855 г.— *А. Л.*> начал свои очерки народных характеров и постепенно поставил перед нами ряд оригинальных, живых и действительных лиц, о которых мы до него не имели понятия» («Заметки о журналах» за сентябрь 1855 г.). Он впереди всех для Некрасова, потому что как никто другой отразил в «Записках охотника» и других произведениях поэзию народной жизни, народной души.

2

«П о э з и я» — это слово выражает высшую эстетическую оценку у Некрасова. Вот несколько примеров.

Некрасов пишет Фету о Тургеневе:

«У него огромный талант, и коли правду сказать, так он в своем роде сто́ит Гоголя. Я теперь это положительно утверждаю. Ц е л о е м о р е п о э з и и м о г у ч е й, б л а г о у х а н н о й и о б а я т е л ь н о й в ы л и л о н в э т у п о в е с т ь и з с в о е й д у ш и, а зачем он так долго держал ее у себя и выдавал так скупо — спросите его, седого гуся! Повесть называется: «Фауст...» (V, 255).

Самому Тургеневу о том же:

«Столько поэзии, с т р а с т и и с в е т у еще не было в русской повести» (V, 266).

Ему же:

«Я читал недавно кое-что из твоих повестей: Фауст точно хорош. Еще мне понравился весь Я к о в П а с ы н к о в и многие страницы Т р е х

ВЫБРОШЕННАЯ НА УЛИЦУ
Рисунок М. П. Клодта, 1860 г.
Третьяковская галлерея, Москва

встреч. Тон их удивителен — какой-то страстной, глубокой грусти. Я вот что подумал: ты поэт более, чем все русские писатели после Пушкина, взятые вместе. И ты один из новых владеешь формой—другие дают читателю сырой материал, где надо уметь брать поэзию» (V, 287, 288).

Об «Асе»:

«Обнимаю тебя за повесть и за то, что она прелесть как хороша. От нее веет душевной молодостью, вся она — чистое золото поэзии. Без натяжки пришлась эта прекрасная обстановка к поэтическому сюжету и вышло что-то небывалое у нас по красоте и чистоте» (V, 325).

Л. Н. Толстому Некрасов пишет, что у него есть «поэзия в таланте» (V, 324). О нем же Боткину: «Читал он первую часть своего нового романа. Оригинально, в глубокой степени дельно и исполнено поэзии» (V, 232).

Это слово является высшей похвалой и тогда, когда оно собственно должно подразумеваться, как непременное условие, без которого не может быть и разговора: «... с третьего... тома в «Современнике» начали появляться стихотворения, в которых было столько оригинальности, мысли и прелести изложения, столько, одним словом, поэзии, что, казалось, только сам издатель журнала ‹Пушкин.— *А. Л.*› мог быть автором их» (III, 468).

Поэзия становится своим собственным предикатом, и, несмотря на опасность впасть в тавтологию, Некрасов продолжает именно так пользоваться этим термином.

Если мы вдумаемся в контекст и смысл понятия «поэзия» у Некрасова, то убедимся, что от тавтологии он далек.

Чуждый всяких претензий на теоретизирование, Некрасов, однако, был поистине озабочен уяснением себе предмета, столь для него важного, и сам пытался отчетливо определить его.

Говоря о превосходстве поэзии в обычном смысле слова — стихов — над прозой, он утверждает:

«Дело прозы — анализ, дело поэзии — синтез. Прозаик целым рядом черт,— разумеется не рабски подмеченных, а художественно схваченных,— воспроизводит физиономию жизни; поэт одним образом, одним словом, иногда одним счастливым звуком достигает той же цели, как бы улавливая жизнь в самых ее внутренних движениях; без этого дара — у древних названного божественным, во всяком случае, необыкновенного дара, напрасно станет писатель пригонять рифму к рифме и строчку к строчке».

Таким образом, и в стихах — дело не в них самих, не в рифме и ритме, а в особом синтетическом характере творческой мысли: «различие между стихом и прозой не есть только внешнее: оно обусловливается самым содержанием литературного произведения»[17].

Но в данной формулировке содержание одного рода — «синтетическое» — тяготеет к стихам, содержание другого рода — «аналитическое» — к прозе. И лишь стихам присваивается высокое звание —«поэзия».

И все же Некрасов возводит прозу в ранг поэзии, когда признает, что художественность ее — высшего качества. Значит, на вершинах искусства различие между стихами и прозой исчезает: и то и другое — поэзия. Понятие это шире стихов и прозы, отдельно взятых.

Несомненна здесь связь Некрасова с Белинским, но все же тождества тут нет. Для Белинского искусство слова, мышление в образах — уже поэзия, независимо от прозаической и стихотворной формы. Для Некрасова же лишь высшая ступень творчества — поэзия, которая, однако, преимущественно выражается в форме стиха. Развивая его мысль, можно сказать, что не всякие талантливые стихи — поэзия, как и не всякая талантливая проза.

Таковы попытки Некрасова логически отделить «поэзию» от «прозы».

Но гораздо важнее для нас те признаки поэзии, которые связаны у Некрасова с наиболее глубокими его эстетическими переживаниями.

Вдумаемся в слово «поэзия» в контексте приведенных выше цитат. Поэзия «выливается из души», тон ее — тон страстного, глубокого чувства, она «веет» молодостью души, словом, поэзия — это тот лиризм, с которым мы уже знакомы по суждениям Некрасова о Гоголе.

Однако и такие признаки более или менее формальны и отражают еще недостаточно своеобразие представления Некрасова о поэзии. Поэзия «улавливает жизнь в самых ее внутренних движениях», но каков характер этих «движений», составляющих содержание поэзии?

Есть у Некрасова еще одно слово, встречающееся рядом со словом «поэзия» или заменяющее его, или подразумеваемое им там, где речь идет о поэзии. Это слово — «грация».

Он говорит о «грациозности» комедии Тургенева, стихов Тютчева, «таланта... всегда грациозного». «Грациозно», судя по его характеристике, и стихотворение «Весенние воды», хотя слово это и не произнесено. Изображение природы, составляющее, по мнению Некрасова, главное достоинство поэзии Тютчева —«грациозно».

Количество примеров можно умножить, но не это нужно, чтобы доказать особое значение для Некрасова этого признака поэзии. Грация пленительна для всех, но не у всех она связана с такими существенными эмоциями и переживаниями, как у Некрасова. Важно, с чем она у него сочетается и что означает для него ее отсутствие. В этом смысле замечательно его высказывание о Жуковском.

«Перечел всего Жуковского,— сообщает Некрасов Тургеневу,— чудо переводчик, и ужасно бедненький поэт; воет, воет, воет — и не наткнешься ни на один стих, в котором мелькнула бы грация скорби...» (V, 206).

Это необычное словосочетание чрезвычайно характерно для Некрасова и как поэта и как критика. Некрасов, видевший поэзию во «внутренних движениях жизни», не находит ее там, где это движение отсутствует и поэт как бы навязывает нам свое чувство, без конца изливая, но не обогащая его. О том, что̀ Некрасов разумел здесь, можно узнать из его поэзии, например, из рассказа о смерти крестьянина и скорби о нем:

Не сказано лишнего слова,
Наружу не выдано слез.

Все время поэт стремится обрисовать сдержанность «внутренних движений», все целомудрие скорби: «Не выдали словом тоски», «Без лишних речей и рыданий/Покойника вынес народ»— повторяет автор, воссоздавая суровую красоту этой картины, проникнутую «поэзией народности».

И та же черта сдержанности «внутренних движений жизни» проходит через всю поэму:

Я ему молвить боялась,
Как я любила его!

— вспоминает Дарья, чей облик так характеризует представление Некрасова о поэзии действительности, которая всегда является для него прообразом поэзии литературы.

«Женщины в русских селеньях», воспетые Некрасовым, прежде всего «грациозны» в том широком смысле слова, который и надо иметь здесь в виду. Их черты: «спокойная важность» лиц, походки, взгляда, «красивая сила в движеньях»:

Я видывал, как она косит;
Что взмах — то готова копна!
. . . .
В игре ее конный не словит,
В беде — не сробеет,— спасет;
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет.

Постоянны в поэтическом идеале русской женщины у Некрасова два момента: спокойствие (не покой!) и сила. Они свойственны не только внешним, но и «внутренним движениям» Дарьи, с трудом поддаются и величайшим испытаниям и сообщают такую грацию ее скорби:

Горда ты — ты плакать не хочешь,
Крепишься, но холст гробовой
Слезами невольно ты мочишь,
Сшивая проворной иглой.
Слеза за слезой упадает
На быстрые руки твои.
Так колос беззвучно роняет
Созревшие зерна свои...

И в облике «величавой славянки», при всем различии, узнаем мы другой любимый образ Некрасова: мать поэта — «с головой, бурям жизни открытою», «под грозой величаво-безгласную».

Красота для Некрасова — это жизнь, владеющая своими силами, уверенная в них, спокойная в сознании власти над ними. Но это и есть грация в ее глубоком значении. Начиная от явлений природы и кончая высоко развитой человеческой индивидуальностью, мы всегда узнаем ее у Некрасова по одним и тем же чертам: свободы и силы.

Поэт в восторге от того, как встревоженный им ястребенок «крылья развил»:

Как взмахнул ими сильно и плавно!
Долго, долго за ним я следил,
Я невольно сказал ему: славно!

Когда умер Грановский, Некрасов написал о нем: «Что-то цельное, что-то полное — больше, чем всякая другая русская личность — представлял собою Грановский. На нем лежала печать *спокойной силы*, которая должна была сказаться и сказывалась,— не тратясь *в колебаниях, в исканиях*,— сказывалась не напряженно, *но уверенно и легко*. Так великая река катится по своему направлению, совершая *не суетливо и важно* свой непреложный, неизменный ход» («Заметки о журналах» за октябрь 1855 г.).

Грация, как существеннейший признак поэзии, требовала от создающей ее личности внутренней свободы, выражающейся в доверии к своим душевным силам и переживаниям.

Тут некрасовский идеал поэзии,— идеал, как нельзя лучше выражавший представление о ней нашей революционной демократии, сталкивался с литературной практикой людей 40-х годов. Поколение, вступившее в литературу после смерти Пушкина, внесло в нее те черты рефлексии и недоверия к своим эмоциям, которые противоречили такому идеалу и вызывали Некрасова самое горячее отрицание:

«Да исчезнет навсегда какая-то... *осторожность, робость, может быть, недостаток веры в собственный ум и сердце* — печальное качество, парализирующее деятельность даже лучших и благороднейших дарований!» (III, 430).

И как критик и как литературный советчик Некрасов стремился помочь своим высокоодаренным друзьям избавиться от этого недуга, мешавшего проявлению в их творчестве той поэзии, которой была так богата их личность. Боязнь трафарета и боязнь фальши сами становятся банальностью и фальшью. Это свое убеждение он всячески внушает Толстому и особенно Тургеневу:

«Рутина лицемерия и рутина иронии губят в нас простоту и откровенность. Вам, верно, случалось, говоря или пиша, беспрестанно думать, не смеется ли слушатель? Так что ж? Надо давать пинка этой мысли каждый раз, как она явится. Мы создаем себе какой-то призрак страшилища, который безотчетно мешает нам быть самими собою, убивает нашу *моральную* свободу».

Он воюет с этой «рутиной иронии», убеждает «не подшибать крыльев у мысли и чувства ежеминутной оглядкой» (V, 289—290, 293).

Особенно тревожит его в этом смысле Тургенев. Человек, «способный дать нам идеалы, насколько они возможны в русской жизни»,— т. е. положительные образы, воплощающие поэзию русской народности, Тургенев, по мнению Некрасова, боится быть самим собой. «Умница-то он большой, но... вывихнут сильно... Вырывая из себя фразерство, он прихватил и неподдельные живые цветы поэзии и чуть тоже не вырвал их! Всякий порыв лиризма его пугает, безоглядная преданность чувству для него невозможна... Этим только и объясняю, почему поэзия его природы так мало отражалась доныне в его писаниях. Авось эта похабная боязнь пройдет, по крайней мере, начинает проходить» (V, 232—233).

А к самому Тургеневу он обращался со следующими словами:

«... прошу тебя — перечти *Три встречи* ‹наиболее, может быть, насыщенное лиризмом произведение Тургенева. — *А. Л.*›, уйди в себя, в свою молодость, в любовь, в неопределенные и прекрасные по своему безумию порывы юности, в эту тоску без тоски — и напиши что-нибудь этим тоном. Ты сам не знаешь, какие звуки польются, когда раз удастся прикоснуться к этим струнам сердца, столько жившего — как твое — любовью, страданием и всякой идеальностью. Нет, просто мне надо написать статью о твоих повестях...» (V, 288).

С таким глубоким пониманием противоречий творчества Тургенева не подходил к нему ни один из современных ему критиков. И вряд ли под-

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К ПОЭМЕ «КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО»

Лубочная картинка, выпущенная изд. И. Д. Сытина в 1902 г.

Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

лежит какому-либо сомнению, что благодаря влиянию Некрасова в период их дружбы поток тургеневского лиризма не раз пробивался наружу из-под сковывавшего его льда рефлексии и недоверия писателя к самому себе.

Эстетика Некрасова — эстетика цельной личности. Теоретически она была обоснована Добролюбовым, но направление мысли здесь то же. Поэтическое проявление такой личности и составляло для Некрасова поэзию. Он горячо приветствует очерк брата Л. Н. Толстого — Н. Н. Толстого — «Охота на Кавказе», потому что видит в нем проявление такой личности, а потому и черты, не всегда свойственные более одаренным друзьям Некрасова по указанным уже причинам.

«... задачу, которую он <Н. Н. Толстой.— *А. Л.*> себе задал, он выполнил мастерски и, кроме того, обнаружил себя поэтом. Некогда писать, а то бы я указал в этой статье на несколько черт до того поэтических и свежих, что ай-ай».

Каковы же эти черты?

«Поэзия тут на месте и мимоходом выскакивает сама собою».

«Любовь видна к самой природе и птице, а не к описанию той и другой».

«Я уверен, что автор не сознал, когда писал, многих черт, которыми я любовался, как читатель, — а это не часто встречаешь» (V, 292).

Это именно то отсутствие «оглядки» на себя, на свои чувства и действия, которого требовал Некрасов, о чем мы писали выше. В полной направленности творческой личности на объект — залог ее здорового отношения к себе и к миру и, вместе с тем, здоровой, полноценной поэзии, от нее исходящей. Некрасову чуждо отношение к миру, к жизни, ее впечатлениям и эмоциям как к «средству для яркопевучих стихов». Предметы поэтического изображения для поэта всегда цель, а не средство. И этот эстетический принцип Некрасова имеет силу не только по отношению к людям, но и к природе. Он недоволен служебной функцией пейзажа в современной ему литературе, и ему кажется эстетически порочным отношение последней к природе.

Описания природы,— говорит Некрасов, «являются обыкновенно, как точки отдохновения после кропотливых странствований по закоулкам человеческого сердца... читатель в самых словах, которыми автор принимается описывать природу, чувствует, с одной стороны, что не здоровая, а болезненная грудь вдыхает в себя тот целебный воздух, а, с другой стороны, что звуки, издаваемые ею, этой грудью, фальшивы, исполнены тонкостей и нежностей, которые идут к природе, как помада к цветку... Это не сила, которая сочувствует красоте и передает ее гармонией; это слабость, которая ищет бальзама своим ранам, и готова его выдавить из каждой травки, каждой букашки» [18].

Однако целебного своего действия природа не окажет при таком эгоистическом к ней отношении. Она врачует лишь тогда, когда человек вступает в общение с природой всем сердцем, без задних мыслей:

Отдаешься невольно во власть
Окружающей бодрой природы;
Сила юности, мужество, страсть
И великое чувство свободы
Наполняют ожившую грудь;
Жаждой дела душа закипает,
Вспоминается пройденный путь,
Совесть песню свою запевает...

Природа тогда не растворяет человека в своей безбрежности, а возвращает человека себе, его совести и его делу. Истинная любовь к природе дает не только успокоение перенапряженной и переутомленной цивилизацией психике, но и нравственное возвышение и очищение, а главное — побуждает к творческому действию, к борьбе и поэзии.

3

При том значении, которое Некрасов придает в цитированных нами высказываниях непосредственности творчества, может казаться, что ум, мысль не составляет для него существенных признаков поэзии, больше того, что они даже исключаются из их числа. Вопрос этот сложен и настолько связан с существенными особенностями Некрасова и как поэта и как критика, что требует особого рассмотрения.

Самому Некрасову бездумная поэзия была чужда с самого начала его деятельности. Уже Белинский отметил, что у него «мысль, поражающая своей верностью и дельностью, является в совершенно соответствующей ей форме»: что его «стихотворения тем выше, что он, при своем замечательном таланте, внес в них и мысль сознательную...» [19].

Действительно, муза самого Некрасова была одной из умнейших муз в мировой поэзии, не теряя ничего в эмоциональности и страстности, а лишь выигрывая в силе и точности их выражения.

Однако это не решает вопроса, а лишь осложняет его. Связанный во многом, не в творческой своей практике, а в своих критических суждениях, со старыми эстетическими канонами, разделяя, во всяком случае до половины 50-х годов, эстетические вкусы своих тогдашних друзей, этот гениальный творец качественно нового искусства слова сам не склонен был высоко оценивать его, видеть в нем высшую ступень в развитии поэзии.

Нет в тебе поэзии свободной,
Мой суровый, неуклюжий стих

— писал Некрасов, отказывая себе в поэзии и в столь существеннейшем для него признаке ее — грации. Известно, как реагировал на столь исключительную недооценку любимым поэтом самого себя Чернышевский, но его восторженное признание гениальности Некрасова вызывало в поэте самое искреннее недоумение.

Однако при всей недооценке своего творчества, в котором сознательная мысль играла такую громадную роль, Некрасов признавал эту мысль одним из самых существенных элементов поэзии. Он любуется мыслью у Тютчева наряду с грацией и оригинальностью (III, 408). Если Некрасов признает превосходство Тургенева над Писемским потому, что у автора «Записок охотника» «всегда больше ума» (V, 225), то для Некрасова это означает — и больше поэзии.

Некрасов отдает себе ясный отчет в том, что выдержанность художественного произведения, художнический такт и верный тон предполагают умную, т. е. сознательную, мысль, что при разрешении наиболее важных своих задач и тем поэт и шагу ступить без нее не может.

Некрасов показал на примере значение неверного тона для судьбы стихотворения,— тона, определенного ложной мыслью. В «Заметках о журналах» он остановился на стихотворении Бенедиктова «Малое слово о великом», где автор, затронув пушкинскую тему, сам напросился на невыгодное для себя сопоставление.

«Мы не думаем требовать,— пишет Некрасов,— чтобы г. Бенедиктов дал нам нечто равняющееся достоинством Пушкину; мы только обращаем внимание его и наших читателей на тон, которым говорит Пушкин, сравнительно с тоном г. Бенедиктова. Не правда ли, тон не последнее дело в литературном произведении, не говоря уже о других требованиях?» В какой степени не удовлетворяет «внутреннему пониманию характера и верному его отражению» бенедиктовская трактовка темы Некрасов показывает на следующем примере. У Пушкина—пишет Некрасов— Петр думает:

Судьбою здесь нам суждено
В Европу прорубить окно... и проч.

Г-н же Бенедиктов заставляет его думать так:

. . . .
Дело сладим как-нибудь...»

Но именно при «внутреннем понимании характера» и невозможен был бы этот неверный тон, фальшь дальнейших строк о «ботике», родившем «флотик» и о том, как «этот флотик флот родил» и т. д. Для Некрасова бесспорно, что «важные исторические факты, имевшие столь сильное влияние на судьбу целого народа», являются здесь «в чуждом им свете», «что на такой тон нельзя написать удовлетворительного произведения о предмете, который избрал г. Бенедиктов» («Заметки о журналах» за сентябрь 1855 г.).

Еще пример.

В 1855 г. на сцене шла комедия Писемского «Ипохондрик». Комедия эта настолько противоречила представлению Некрасова об искусстве и художественности, что он поспешил высказаться и поместил несколько страниц в необычном для подобных отзывов отделе журнала: «Петербургские известия».

Страницы эти наглядно показывают, к каким, по мнению Некрасова, антихудожественным результатам приводит бездумное описательство.

«В комедии г. Писемского нет не только мысли, нет и намека на мысль». Вот почему автор погрешил уже в самом начале против законов искусства: он выбрал ситуацию и характеры, мимо которых мы проходим в жизни «без сочувствия и без негодования». Подобные же явления не могут быть предметом искусства.

«Что нам за дело до этого ипохондрика, у которого поражен мозг и парализованы умственные способности?.. Он был и остался ничтожностью; трудно предполагать, чтобы и до ипохондрии он был существом разумным».

Не все может быть предметом искусства: его темы должны быть связаны со значительными явлениями жизни. Автор не понял, что поскольку человеческая патология остается в ведении врача,— она безразлична для художника. Лишь раскрытие ее связей с общим жизненным строем дает ей право жизни в искусстве.

«Нас может благотворно потрясать появление на сцене таких сумасшедших, как Лир, как Офелия, когда нравственная сила падает перед сокрушительнейшей мощью обстоятельств, когда сумасшествию предшествовали борьба и жизнь».

Писемский дал конец жизненного процесса,— конец, который не может быть интересен без того, что предшествует и дает ему объективный смысл.

Вместо этого «автор только глумится сам и заставляет зрителей глумиться над больным... Такого ли смеха вправе мы ждать после гоголевского смеха?» То же относится и к остальным персонажам комедии Писемского.

«Надо всеми над ними уже совершился общественный суд до появления их на сцену... А между тем в каждом из этих лиц есть задатки для комедии гораздо серьезнейшей, чем та, которой занялся г. Писемский». Эти же лица в своей прежней жизни, когда были в силе, «заставили бы нас смеяться иным смехом» [20].

К таким плачевным с эстетической точки зрения результатам привел ложный выбор сюжета для комедии. Но чтобы сделать правильный выбор из всей массы фактов — отобрать из них те, в которых процесс жизни человека среди себе подобных мог бы быть отображен достаточно выразительно и увлечь нас, зрителей и читателей,— для этого необходима определенная точка зрения на эти факты, необходима мысль, и не мысль вообще, но мысль общественная, осознанная социальная тенденция.

4

К этому выводу мы приходим теперь легко после всей работы, проделанной классиками нашей критики. Но не так легко было понять эстетически-творческую необходимость осознанной тенденции в период деятельности Некрасова как критика. Такой громадный факт, как поэзия Некрасова, не имеющая себе равной после Пушкина по охвату действительности, побуждал к такому выводу. Эта поэзия свидетельствовала о том, что нет иного пути для литературы во второй половине века, когда значение социальных связей и зависимостей людей в такой исключительной мере возросло. Однако утверждению подобной истины не могла не предшествовать вообще и в Некрасове — в особенности — напряженная борьба: и внешняя — с ее явными противниками, и внутренняя — с самим собой, с традиционными вкусами и представлениями о поэзии.

Мы знаем, что Некрасов сразу стал на защиту «гоголевского направления» против своих друзей — Дружинина и Боткина. Его рецензии, журнальные обзоры и переписка свидетельствуют о том, как близко принимал он к сердцу это дело.

Начиная с первого своего журнального обзора, ратует Некрасов за социальную целеустремленность литературы.

«Нет науки для науки, нет искусства для искусства,— все они существуют для общества...»

Он глубоко убежден, что назначение литературы — поддерживать лучшие человеческие чувства, именно те, которые направлены к преобразованию жизни,— чувства, «так беспощадно охлаждаемые действительностью».

ГОЛОД

Рисунок В. А. Серова

Русский музей, Ленинград

Вправе ли литература отказаться от борьбы с теми разлагающими и растлевающими влияниями, которым подвергаются люди в условиях нужды и гнета, когда она может быть надежным противоядием против их миазмов?

Но «литература наша,— пишет Некрасов, — в последнее время, при многих своих хороших сторонах, неприятно поражает своим всетерпящим равнодушием, апатиею, неопределенностью в воззрении своем на такие явления действительности, о которых собственно не должно быть разноречивых мнений» («Заметки о журналах» за сентябрь 1855 г.).

Итак, здесь решительно утверждается необходимость для литературы быть нетерпимой к общественному злу, играть руководящую роль судьи над явлениями жизни.

Еще с большей энергией говорит об этом Некрасов в своих письмах к Л. Толстому, где он мог высказаться свободно:

«В нашем отечестве роль писателя есть прежде всего роль учителя и, по возможности, заступника за безгласных и униженных» (V, 257).

Это заступничество проявляется в гневе и протесте против унижающих и угнетающих, и не ослаблять нужно в «униженных» «энергию негодования», а всячески усиливать.

«Гнусно притворяться злым, но я стал бы на колени перед человеком, который лопнул бы от искренней злости — у нас ли мало к ней поводов? И когда мы начнем больше злиться, тогда будет лучше,— т. е. больше будем любить, любить не себя, а свою родину» (V, 252).

Этими словами Некрасов не только утверждал «гоголевское направление» вообще, но и свою поэзию, которая выражала эти мысли почти теми же словами. Некрасов знал, во что обходится ненависть человеку, знал не хуже Толстого, что ненависть как выражение любви далека от нормы человеческих чувств, но он знал также, что «здоровые отношения могут быть только в здоровой действительности» (V, 257).

Взгляд Некрасова на тенденцию был высказан не только в его критических откликах на явления современной литературы, но и сформулирован, пожалуй, более отчетливо и полно, в таком превосходном произведении, как «Поэт и гражданин».

Здесь гражданственность — требование совести поэта:

Не может сын глядеть спокойно
На горе матери родной,
Не будет гражданин достойный
К отчизне холоден душой.
Ему нет горше укоризны...

Если «назначению» поэта противоречат требования гражданского долга, то решение стоящей перед ним дилеммы лишь одно:

Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан...
. . . .
Довольно даже нам поэтов,
Но нужно, нужно нам граждан!

Таким образом налицо противопоставление поэзии — гражданственности, подчинение первой второй или отказ от первой во имя последней.

Некрасов не мог пойти по одному пути с Дружининым и его единомышленниками, но стихотворение «Поэт и гражданин» свидетельствует, насколько тяготели еще над ним в ту пору дружининские представления о прекрасном в поэзии, о созерцательности искусства и т. д. В благородном порыве он готов был скорее отречься от дорогого ему искусства, чем изменить своей гражданской совести. Сознание того, что, собственно, такой жертвы и не требовалось, было у него еще смутно, хотя временами в известной мере и сказывалось.

И если ты богат дарами,
Их выставлять не хлопочи:
В твоем труде заблещут сами
Их животворные лучи.
. . . .
Но шел один венок терновый
К твоей угрюмой к р а с о т е.

Некрасов-поэт творил поэзию, опровергавшую самым своим существованием старые эстетические принципы; Некрасов-критик еще не мог теоретически осмыслить дело Некрасова-поэта.

Признание нравственной и общественной необходимости социальной идеи в поэзии еще не разрешало проблемы новой художественности, которую ставило некрасовское творчество. Проблема была в том, является ли поэзия социальной тенденции э с т е т и ч е с к и п о л н о ц е н н о й, возможна ли «п о э з и я» в том смысле, который вкладывал в это слово Некрасов, при насыщенности ее общественной мыслью?

В стихотворении «Поэт и гражданин», как и в своих критических статьях, Некрасов еще не пришел к положительному решению этой проблемы, для которого его поэзия являлась аргументом исчерпывающим, неопровержимым.

Даже в последние свои дни он писал:

Мне борьба мешала быть поэтом,
Песни мне мешали быть борцом...

свидетельствуя тем самым, насколько привычно было для него представление о созерцательности подлинной поэзии.

Но мы видели, что в его мышлении были возможности и элементы новой эстетики уже в ту пору, о которой мы говорим.

Представление Некрасова о тенденции и отношении ее к творчеству настолько далеко от механистической упрощенности, что суждение о несовместимости тенденции с полноценной художественностью не может не обнаружить своей несостоятельности.

Чрезвычайно показательно в этом смысле одно высказывание Некрасова. Сравнивая роман Диккенса «Тяжелые времена» с романом Жорж Санд «Лора», Некрасов видит в первом дух буржуазного эгоизма и меркантилизма, признающих идеальную сторону в человеке лишь постольку, поскольку она служит материальному благополучию хозяев жизни.

«В романе Диккенса вы постоянно чувствуете преобладание той положительности, против которой он сам ратует... Даже защищая идеальные стороны человеческой природы против так называемых фактов, против фактического воспитания, стремящегося к подавлению их, Диккенс счел нужным привести положительную материальную причину ‹в смысле «пользы» — *А. Л.*›, почему сохранение нежных стремлений сердца необходимо для человечества» (III, 433).

Итак, Некрасов, как мы убедились выше, за «практическое» — гоголевское — направление в литературе, против «положительности», отвергающей социальную активность искусства, но он и против «положительности» другого рода. «Практичность», т. е. социальная действенность литературы, исключает у него практицизм, мелко-реформистскую тенденциозность, которая, в конечном счете, подобно теории «чистого» искусства, служит укреплению общественного status quo.

Этим объясняется резко-отрицательное отношение Некрасова к «обличительной» литературе, к которой он ошибочно причислял одно время и Щедрина (впоследствии Некрасов высоко ценил сатирика).

«Противно раскрывать журналы,— жалуется он Тургеневу,— все доносы на квартальных да исправников,— однообразно и бездарно!» (V, 312).

Формально он мог здесь сходиться не только с Тургеневым, но и с Дружининым, но мотивы этой отрицательной оценки были противоположны.

Практицизма, преследующего меркантильную «пользу», вульгарного утилитаризма Некрасов не прощает Диккенсу даже за реализм его романа, наоборот: он мирится даже с романтизмом, если в нем есть общественный энтузиазм и революционная страсть к преобразованию мира.

«Пусть разум ваш не всегда оправдывает автора, но ваше сердце невольно становится на его сторону; оно привязывается к тем почти невозможным в действительности лицам, на которых автор сосредоточил симпатии своей души».

Некрасов приветствует прогрессивный, глубоко демократический романтизм Жорж Санд: «...если необходимы и благотворны такие романы, как романы Диккенса, то не менее нужны ... романы, идеализирующие действительность, лишь бы идеализация была искренняя, исходящая из высокой и благородной природы автора, жаждущего видеть человека лучшим, чем он есть, и в тоске неудовлетворенной жажды создающего прекрасные идеалы... Тонкий любитель искусства насладится превосходными характерами, меткой наблюдательностью в романе Диккенса; отдаст ему справедливость за счастливое сочетание с достоинствами художественного произведения полезной идеи... имеющие власть, может быть, даже сделают на основании ее какое-нибудь улучшение в общественном быту,— но никогда не подействует подобное произведение на сердце, никогда оно не наполнит его... такой горячей жаждой деятельности, как то произведение, которое в идеальной стороне человека видит не подспорье его материальному благу, но условие, необходимое для его человеческого существования!» (III, 434—435).

Конечно, романтизму «Лоры», как он ни симпатичен, Некрасов предпочтет такое произведение, «идеальное содержание» которого поднимало бы его реализм над обыденщиной, а реализм познавал бы те материальные условия, которые или мешают, или могут служить подспорьем для «идеальной стороны» человека.

Таким образом, говоря о необходимости социальной тенденции в литературе, Некрасов мыслил ее не только далекой, но и противоположной мелкой тенденциозности. Отражая полно всю жизнь народа, потребности его развития, его исторические задачи, эта тенденция гарантирует и от тенденциозности, искажающей правду жизни. Такая тенденция является убеждением, которым живет и дышит поэт, художник, его плотью, кровью, страстью, а не предубеждением, не преднамеренностью, исключающей свободу творчества. Некрасов с полным правом мог сказать Л. Н. Толстому, что «никогда не брался за перо с мыслью... как бы что написать позлее, полиберальнее? — мысль, побуждение, свободно возникавшие, неотвязно преследуя, заставляли меня писать. В этом отношении я, может быть, более верен свободному творчеству, чем многие другие» (V, 291). И с таким же правом мог он призывать к свободе творчества тех, кто хотя бы временно подчинял свое творчество идеям, которые, сужая их кругозор, делали их произведения тенденциозными (см. заметки о пьесе Островского «Не так живи, как хочется»).

Передовая тенденция эпохи как адекватное отражение и выражение ее является ее истиной, а когда поэт служит ей, «тогда все выйдет ладно: станешь ли служить искусству — послужишь и обществу, и наоборот, станешь служить обществу — послужишь и искусству». Так писал Некрасов Боткину уже в 1855 г. Правда, он не отождествляет еще здесь «истины» с передовой тенденцией, но что мысль его, преодолевая старые эстетические понятия, уже тогда тяготела к такому решению вопроса при всех неизбежных в ту пору противоречиях,— это могут подтвердить и другие его высказывания.

В рецензии на стихотворения Полонского, напечатанной раньше стихов «Поэт и гражданин», находим более правильную постановку интересующей нас проблемы, чем там.

«Любовь к истине, превосходящая всякую другую любовь, вера в идеал, как в нечто возможное и достижимое, наконец, живое понимание благородных стремлений своего времени и если не прямое служение им, то, по крайней мере, уважение и сочувствие им,— вот что спасает талант от постигающей его нередко апатии и других спутников упадка; и вот в чем скрывается загадка того, почему иногда большие таланты перестают развиваться именно тогда, когда все ждут полнейшего их цветения, и наоборот: таланты сравнительно меньшие удивляют нас своим как бы неожиданным расцветом. Безнаказанно нельзя закрывать глаза на совершающееся вокруг нас»[21].

Социальная тенденция здесь еще не осознана как внутренне необходимая в самом творческом процессе. Она признана пока только силой, создающей художнику благоприятную для его творчества атмосферу. Но Некрасов на этом не остановился. Он шел к тем выводам, которые с необходимостью вытекали из приведенных нами суждений его о роли мысли в поэзии.

До нас дошел документ, относящийся к более позднему времени,— заметка, набросанная на полях рукописи стихотворения «Уныние», написанного в 1874 г. Она, несомненно, результат творческого опыта, накопленного поэтом за годы, прошедшие со времени его статей и рецензий 50-х годов, и общения с такими людьми, как Чернышевский, Добролюбов, Щедрин, сменившими прежний круг его друзей.

«Пусть мысль — проза,— сказано здесь,— но следует ли из этого, что поэзия должна обходиться без мысли? Дело в том, что эта мысль-проза в то же время — сила, жизнь, без которых, собственно, нет истинной поэзии. И вот из гармонического сочетания этой мысли-прозы с поэзией и выходит настоящая поэзия», «п о э з и я» в некрасовском смысле слова, который мы пытались выяснить в этой работе.

Изучая эстетику Некрасова, необходимо учесть всю сложность его жизненного и литературного пути. Прямолинейные суждения не дадут правильного представления об эстетике Некрасова в ее развитии.

Здесь надо всегда помнить о следующих фактах: о громадном творческом опыте Некрасова-поэта, открывшего искусству слова новые перспективы вопреки старым эстетическим канонам; об участии Некрасова в революционно-демократическом движении; о дружбе с такими людьми, как Белинский, а затем — Чернышевский и Добролюбов.

Литературно-критическая деятельность Некрасова закончилась в половине 50-х гг. Переписка Некрасова свидетельствует, что поэту пришлось пережить борьбу принципов революционно-демократической эстетики с старыми эстетическими критериями.

Есть все основания полагать, что подобно тому, как в области социально-политической Некрасов стал целиком и полностью на позиции Чернышевского и Добролюбова, так в области эстетики он принял до конца принципы «реальной критики», объективно наиболее гармонировавшие с его собственным творчеством. Но в половине 50-х гг., к которым преимущественно и относится активность Некрасова как литературного критика, ему предстояло еще добиться синтеза своего творческого опыта со своими понятиями об искусстве и красоте.

Поэтическая практика Некрасова уже в то время была самым убедительным, самым блестящим опровержением теории «искусства для искусства». Она била эту теорию по всем пунктам. Чем осознаннее и

последовательнее становились социально-политические убеждения поэта, тем больше расширялся его творческий охват и совершенствовались его художественные средства. Поэзия Некрасова не только не исключала лиризма, а поднимала лиризм на небывалую высоту, включая в него подлинный трагизм социальной действительности. Лирика Некрасова выражала новое отношение к человеку, в особенности — к женщине, эмоции, связанные с небывалым до него проникновением в самые характерные ситуации классового общества.

Творчество Некрасова — лучшее свидетельство плодотворности для поэзии как искусства заветнейшего убеждения и Некрасова-поэта и Некрасова-критика: идеи служения литературы народу.

Он начал свою деятельность борьбой за гоголевское направление и продолжал ее в 50-х гг. против тех, кто хотел лишить литературу «энергии негодования» Гоголя и Белинского. Исключительная чуткость — и общественная и эстетическая — дает Некрасову возможность занять в полемике с противниками критического реализма наиболее правильную позицию по отношению к Пушкину. Некрасов понял, что такой подлинно великий поэт, как Пушкин, чужд объективизма и социального индиферентизма, которые ему приписывались.

«Дельное, практическое направление» литературы, которое всегда и при всех обстоятельствах отстаивает Некрасов, никогда не означало подчинения его узко-утилитарной тенденциозности. Тенденция Некрасова — идея революционно-демократического преобразования всей народной жизни, и Некрасов верит в ее возвышающую человека, а следовательно, и художника, силу. Все это создавало предпосылки для осознания не только ее нравственной, но и творчески-эстетической необходимости для писателя.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 В. Белинский, Письма, СПб., 1914, 306.

2 Там же, 190.

3 В. Евгеньев-Максимов в своей книге «Некрасов и его современники» приводит примеры таких совпадений, которые никак нельзя объяснить заимствованием.

4 В. Белинский, Избранные сочинения, Гослитиздат, II, 460.

5 Принадлежность этой статьи («Отечественные Записки» 1846, XLVI, отд. VI, 40—53) Некрасову убедительно аргументирована П. Е. Будковым.— Сб. «Венок Белинскому», ГАХН, М., 1924, 273—279.

6 Н. Некрасов. Однотомник, под ред. К. Чуковского, Гослитиздат, М., 1937, 471.

7 «Отечественные Записки» 1846, XLVI, отд. VI, 42, 43, 45, 46, 49, 50.

8 Подробнее об этом см.: А. Лаврецкий, Белинский, Чернышевский, Добролюбов в борьбе за реализм, Гослитиздат, М., 1941, 242—244.

9 И. Тургенев, Полное собрание сочинений, СПб., 1898, XII, 305—317.

10 См. об этом в содержательной работе В. Евгеньева-Максимова: «Некрасов и Белинский», вошедшей в кн.: «Некрасов и его современники», 50 и сл.

11 «Современник» 1856, март, 238.

12 Н. Добролюбов, Полное собрание сочинений, под ред. П. Лебедева-Полянского, М., 1939, II, 585.

13 Там же, 58 и 338.

14 В. Белинский, Полное собрание сочинений, под ред. С. Венгерова, X, 410.

15 Н. Чернышевский, Полное собрание сочинений, изд. М. Н. Чернышевского, II, 571.

16 А. Скабичевский, История новейшей русской литературы, 178—179.

17 «Деревенский случай», рецензия на повести Хвощинской, 1854, I, отд. VI, 7. «Современник».

18 «Современник» 1854, № 1, отд. VI, 8.

19 В. Белинский, Полн. собр. соч. под ред. С. Венгерова, IX, 772 и «Письма», III, 306.

20 «Современник» 1855, № 10, 190—192.

21 «Современник» 1855, № 11, отд. VI, 71—72.

НЕКРАСОВ-ЖУРНАЛИСТ

Статья В. Евгеньева-Максимова*

I. ОБЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ЖУРНАЛОВ НЕКРАСОВА

Н. К. Михайловский, проработавший рука об руку с Некрасовым почти десять лет, определяя выдающееся значение его журнальной деятельности и подчеркивая те трудности, которые приходилось ему преодолевать, «чтобы провести корабль литературы среди бесчисленных подводных и надводных скал», говорит: «И Некрасов вел его, провозя на нем груз высокохудожественных произведений, составляющих ныне общепризнанную гордость литературы, и светлых мыслей, постепенно ставших общим достоянием и частью вошедших в самую жизнь. В этом состоит его незабвенная заслуга, цена которой, быть может, даже превосходит цену его собственной поэзии»[1].

С последним утверждением Михайловского согласиться невозможно, ибо в нем сказалась недооценка значения Некрасова как поэта. Но тем не менее это утверждение и интересно и показательно: уже самая возможность ставить вопрос так, как ставит его Михайловский, говорит о многом.

Не менее интересны и показательны слова другого современника Некрасова, А. С. Суворина, относящиеся к тому времени, когда Суворин еще сохранял некоторые связи с прогрессивными течениями эпохи. У свежей могилы Некрасова он писал: «Не стремись Некрасов к независимости, не вырабатывай он у себя практической сметки... судьба журналистики русской, столь часто зависевшая от случая, могла быть иною, а журналистика очень много обязана Некрасову. Для нее тоже нужен был «практический человек», но не того предпринимательского склада, который тогда царствовал нераздельно. Нужен был талантливый человек, понимающий ее задачи, широко на них смотревший, строящий успех журнала не на эксплоатации сотрудников, а на идеях и талантах.

— Один я между идеалистами был практик,— говорил Некрасов,— и, когда мы заводили журнал, идеалисты это прямо мне говорили и возлагали на меня как бы миссию создать журнал.

И он создал этот журнал, несмотря на все препятствия, на отсутствие сотрудников, денег и возможности писать что-нибудь такое, что живо затрагивало бы общество...»[2].

«Судьба журналистики русской могла быть иной» — это сильно сказано и производит не меньшее впечатление, чем слова Михайловского о том, что заслуга Некрасова-журналиста, «может быть, даже превосходит цену его собственной поэзии».

---

* Настоящая статья подводит итог многолетним работам автора этих строк по изучению журнальной деятельности Н. А. Некрасова, а потому автор не считает нужным в последующем изложении ссылаться на свои печатные высказывания об этой деятельности, с оговоркой, что все сколько-нибудь существенное в этих высказываниях использовано в предлагаемом вниманию читателей «Литературного Наследства» обобщающем изложении.

Трудно себе представить более различных, и по своему мировоззрению, и по своей роли в литературе, писателей, чем Михайловский и Суворин, вскоре сделавшиеся, к тому же, непримиримыми врагами. Тем знаменательнее, что они сошлись во взглядах на журнальную деятельность Некрасова, хотя и подходили к ней с различных сторон.

Для Михайловского на первом плане — общественные результаты этой деятельности, выразившиеся в том, что благодаря некрасовским журналам общим достоянием стали «светлые мысли», т. е. передовые идеи демократии, имевшие огромное значение для русского освободительного движения, и «высокохудожественные произведения», составляющие гордость русской литературы.

Для Суворина наибольший интерес представляют организаторские таланты Некрасова, в частности его умение подходить к своим журнальным начинаниям практически, по-деловому, без которого его журнальная «миссия» осталась бы невыполненной.

Сказанное Михайловским и Сувориным нуждается не столько в пояснениях, сколько в конкретизации.

О каких «светлых мыслях» говорит Михайловский?

Само собой разумеется, о тех, которые пропагандировались великими революционными демократами России,— В. Г. Белинским, Н. Г. Чернышевским и Н. А. Добролюбовым.

Белинский успел многое сказать и до того времени, когда возглавил критико-библиографический отдел «Современника», но именно в последние полтора года своей жизни, на страницах некрасовского «Современника», а не какого-либо другого журнала, он сформулировал те взгляды, с которыми сошел в могилу.

Что касается Чернышевского и Добролюбова, то их деятельность настолько тесно связана с «Современником», что ее невозможно представить вне его. Через «Современник» прошла бо́льшая и лучшая часть литературного творчества Чернышевского; «Современнику» всецело отдал себя Добролюбов, напечатав на его страницах все сколько-нибудь значительное, что ему суждено было создать как критику и публицисту.

М. А. Антонович справедливо говорит в своих «Воспоминаниях о Н. А. Некрасове», что если «Некрасов следовал только общему голосу, приобретая Белинского для своего журнала»,— то привлечение к руководящему сотрудничеству в «Современнике» сначала Чернышевского, а затем Добролюбова, которые в ту пору еще ничем или почти ничем не проявили себя в литературе, является его исключительной и очень большой заслугой [3]. Чернышевский отнюдь не впадал в преувеличение, когда за год до смерти писал К. Т. Солдатенкову: «Некрасов — мой благодетель. Только благодаря его великому уму, высокому благородству души и бестрепетной твердости характера я имел возможность писать, как я писал. Я хорошо служил своей родине и имею право на признательность ее, но все мои заслуги перед нею — его заслуги. Сравнительно с тем, что я ему обязан честью быть предметом любви многочисленнейшей и лучшей части образованного русского общества, маловажно то, что он делился со мной последней сотней рублей, он долго был беден и «Современник» не имел денег»...[4].

Нет надобности доказывать, что Добролюбов имел бы не меньшие основания присоединиться к этим словам, чем Чернышевский их написать. Имя Некрасова-журналиста поистине нерасторжимыми узами связано с великими именами Белинского, Чернышевского, Добролюбова. В 40-е годы деятельнейшим сотрудником «Современника» был А. И. Герцен. В 1868 г., когда Некрасов формировал редакцию «Отечественных Записок», он поспешил привлечь к сотрудничеству в них Д. И. Писарева, которое оказалось, однако, слишком кратковременным из-за внезапной смерти критика.

Однако Михайловский, как мы видели, ставил в заслугу Некрасову не только то, что он «провозил» на своих журнальных «кораблях» груз «светлых мыслей», но и то, что он «провозил» на них «груз высокохудожественных произведений, составляющих ныне общепризнанную гордость литературы». И действительно, не будет преувеличением сказать, что в семье великих русских художников слова середины и второй половины XIX века

НЕКРАСОВ
Автолитография А. И. Лебедева, 1877 г.
Альбом рисунков А. И. Лебедева «Кое-что из Некрасова», СПб., 1878 г.

нет ни одного, который не печатался бы в «Современнике» или в «Отечественных Записках», а некоторые из них являлись иногда исключительными, иногда преимущественными сотрудниками этих журналов.

В длинном перечне имен, сюда относящихся, первое место занимают имена И. С. Тургенева и Л. Н. Толстого.

Тургенев, сотрудничая в «Современнике» с января 1847 г., т. е. с первой же книжки журнала, вышедшей под редакцией Некрасова, дал журналу тот цикл рассказов, который сделал его имя одним из известнейших и лю-

бимейших писательских имен,— «Записки охотника», дал журналу лучшие из своих пьес, например, «Месяц в деревне», «Завтрак у предводителя», а кроме того, такие свои прославленные произведения, как «Муму», «Фауст», «Ася», как первые два романа — «Рудин» и «Дворянское гнездо». Не включая в наш перечень многих других произведений Тургенева, отметим, что его сотрудничество в «Современнике» продолжалось до января 1860 г. (в январской книжке за этот год появился критический очерк Тургенева — «Гамлет и Дон-Кихот»). Иными словами, Тургенев проработал в «Современнике» около 14 лет, как раз те годы, когда литературно-общественная репутация писателя стояла особенно высоко и когда еще не проявлялось то расхождение между ним и демократическим лагерем русской общественности, которое впоследствии стало таким острым.

Л. Н. Толстой — подлинный литературный крестник Некрасова и его журнала. Блистательный литературный дебют Толстого,— «История моего детства»,— имел место на страницах «Современника» в 1852 г. А за ним последовали «Отрочество» и «Севастопольские рассказы», не говоря о ряде других замечательных произведений.

Все три части знаменитой трилогии Гончарова непосредственно связаны с «Современником». Если общеизвестно, что «Обыкновенная история» появилась в «Современнике» в 1847 г., то все ли помнят, что одна из лучших частей «Обломова», знаменитый «Сон Обломова», увидела свет в «Литературном сборнике», вышедшем в 1849 г. как бесплатное приложение к «Современнику»? Все ли помнят, что начальные главы «Обрыва», под заглавием «Софья Николаевна Беловодова», также были напечатаны в «Современнике» (1860, № 2)? [5]

Тюрьма, каторга и ссылка, на много лет изъявшие Достоевского из рядов активных деятелей литературы, явились одной из причин, объясняющих, почему сотрудничество его в «Современнике» не могло быть столь интенсивным, как сотрудничество Тургенева, Толстого и Гончарова. Связь Достоевского с журналами Некрасова исчерпывается тем, что его знаменитая первая повесть «Бедные люди» была напечатана Некрасовым в «Петербургском Сборнике», т. е. в том альманахе, который как бы предвозвещал появление «Современника»; его «Роман в девяти письмах» появился в первом же номере «Современника» некрасовской редакции, а в «Иллюстрированном Альманахе» (бесплатное приложение к «Современнику» за 1848 г.) был напечатан рассказ «Ползунков». Что касается «Отечественных Записок», то Достоевский напечатал в них свой роман «Подросток».

Лучшие беллетристические произведения Герцена,—«Кто виноват?», «Сорока-воровка», «Из записок доктора Крупова», — прошли через «Современник», не мало способствуя художественной пропаганде тех идей, которыми вдохновлялась редакция «Современника», с Белинским во главе в 40-е годы.

Усердно сотрудничал в «Современнике» и Д. В. Григорович, поместивший в нем множество повестей и рассказов, в том числе знаменитого «Антона Горемыку» («Современник», 1847, № 11).

Значителен был вклад в «Современник» и А. Ф. Писемского (роман «Богатый жених» в 1851—1852 гг.; рассказы «Леший» — в 1853 г., «Фанфарон» — в 1854 г., «Виновата ли она?» в 1855 г. и т. д.).

Когда в условиях назревавшей революционной ситуации конца 50-х — начала 60-х годов произошло размежевание либерального и революционно-демократического течений в русской общественной мысли и литературе и часть сотрудников «Современника» во главе с Толстым и Тургеневым ушла из журнала, идейно-политическая гегемония в котором уже полностью была завоевана Чернышевским и Добролюбовым, Некрасов сумел во-время сплотить вокруг журнала крепкую группу молодых писателей демократического лагеря. Их произведения, напечатанные в последние

годы существования «Современника», также внесли значительный вклад в русскую художественную литературу. Достаточно назвать здесь «Очерки бурсы», «Мещанское счастье», «Молотов» Н. Г. Помяловского, «Очерки народного быта» Николая Успенского, «Нравы Растеряевой улицы» Глеба Успенского, «Письма из Осташкова» и «Трудное время» В. А. Слепцова, «Подлиповцы» Ф. А. Решетникова и др.

Одновременно Некрасов привлек к журналу таких писателей старшего поколения, как А. Н. Островский и М. Е. Салтыков-Щедрин.

Островский особенно часто стал печататься в «Современнике» именно в 60-е годы, т. е. тогда, когда либерально-дворянская группа сотрудников журнала уже отошла от него. Однако наибольшей интенсивности сотрудничество Островского в некрасовских журналах достигло в годы «Отечественных Записок». Постоянные подписчики, открывая январские или февральские книжки журнала, знали, что найдут в них новые пьесы Островского. И действительно, в № 1 1869 г. появилась комедия «Горячее сердце»; в № 2 1870 г.— «Бешеные деньги»; в № 1 1871 г.— «Лес»; в № 1 1872 г.— «Не было ни гроша, да вдруг алтын»; в № 2 1873 г.— «Комик XVII столетия»; в № 1 1874 г.— «Поздняя любовь, сцены из жизни захолустья»; в № 11 1875 г.—«Волки и овцы»; в № 2 1876 г.— «Богатая невеста» и в № 1 1877 г.— «Правда хорошо, а счастье лучше».

Что касается Щедрина, то в его лице Некрасов приобрел не только выдающегося литературного сотрудника, но и авторитетного соредактора. Совмещая напряженнейшую писательскую работу с трудом соредактора, Щедрин в 1863—1864 гг. сделал очень много для успеха «Современника», в котором, помимо ряда художественных очерков, вошедших в его сборники «Невинные рассказы» и «Сатиры в прозе», напечатал множество критических и публицистических статей, среди них замечательный цикл «Наша общественная жизнь».

В «Отечественных Записках» роль Щедрина как постоянного сотрудника и редактора была еще более выдающейся. Именно в этом журнале полностью развернулось его гениальное сатирическое дарование и были напечатаны все его произведения периода 1868—1884 гг. (т. е. всего периода существования журнала) и среди них «История одного города», «Господа ташкентцы», «Дневник провинциала в Петербурге», «Помпадуры и помпадурши», «Благонамеренные речи», «Господа Головлевы», «За рубежом», «Современная идиллия», «Письма к тетеньке», часть «Сказок» и др.

Продвигая в большую литературу таких писателей, как Гончаров и Тургенев, Толстой и Достоевский, как, наконец, Островский и Щедрин,— Некрасов делал очень большое дело. Хотя все они завоевали бы себе место корифеев русской литературы и независимо от их участия или неучастия в некрасовских журналах, но это, несомненно, потребовало бы бóльших усилий с их стороны и, по всей вероятности, произошло бы значительно позже.

Мы говорили до сих пор о художественно-литературном и критико-публицистическом отделах некрасовских журналов (для последнего отдела необходимо упомянуть еще имена А. Н. Пыпина, М. А. Антоновича, Г. З. Елисеева и Н. К. Михайловского.) Если от этих отделов обратиться к научному отделу, то окажется, что и он был поставлен превосходно. Достаточно сказать, что в научном отделе «Современника» участвовали такие ученые, как А. Н. Афанасьев, Барбот де Марни, В. П. Гаевский, А. Д. Галахов, Т. Н. Грановский, А. Н. Егунов, И. Е. Забелин, Н. А. Ильенков, К. Д. Кавелин, Н. И. Костомаров, М. С. Куторга, В. А. Милютин, Б. В. Ордынский, П. П. Пекарский, Д. М. Перевозчиков, К. Ф. Рулье, П. И. Редкин, А. Н. Савич, С. М. Соловьев, М. М. Стасюлевич, М. Г. Устрялов, К. Д. Ушинский и др.

Общественно-политическое значение пропаганды демократических идеалов, проводившейся некрасовскими журналами в области литературы, критики, публицистики и науки, было тем больше, что она проникала в весьма широкие круги тогдашнего общества, оказывая здесь свое воздействие.

В подтверждение приведем некоторые не лишенные значения и интереса цифры.

Двадцать лет, с 1847 по 1866 г., Некрасов издавал и редактировал «Современник»; десять лет, с 1868 по 1877 г., «Отечественные Записки». Иными словами, в течение тридцати лет русское общество, благодаря Некрасову, подвергалось систематическому воздействию передовых идей. О размерах этого воздействия можно судить хотя бы по следующим, разумеется, приблизительным, подсчетам: в течение тридцати лет Некрасов выпустил, считая круглыми цифрами, триста шестьдесят номеров своих журналов, составивших не менее девяти тысяч печатных листов. Исходя из среднего тиража каждого номера в 5 000 экземпляров, общий тираж всех выпущенных Некрасовым номеров определится цифрой в 1 800 000 экземпляров. Если допустить, что каждый из этих экземпляров был прочтен всего только десятью читателями, то общее число читателей некрасовских журналов составит 18 миллионов.

Приведенные цифры дают возможность приблизительно представить себе подлинные масштабы воздействия некрасовских журналов на общественное сознание. Вот почему вопросы, связанные с изучением истории создания и существования этих журналов, являются одновременно и важными вопросами изучения русской общественной мысли. Создать «Современник» и «Отечественные Записки»,— это значило не просто создать удачные журнальные предприятия; это значило сделать крупнейший вклад в дело развития демократической культуры в нашей стране, в дело идеологической подготовки русской революции.

II. НЕКРАСОВ — ОРГАНИЗАТОР ЖУРНАЛОВ

Во второй половине 40-х годов среди прогрессивных деятелей русской общественности и литературы никто не пользовался бо̀льшим авторитетом, чем Белинский. Благодаря ему «Отечественные Записки» Краевского имели огромный успех и приобрели репутацию лучшего журнала тех лет. Однако положение Белинского в журнале было крайне трудным и ненормальным. Энергичный издатель - предприниматель капиталистического склада Краевский жестоко эксплоатировал великого критика. Белинский имел основания сравнивать себя с Прометеем, прикованным к скале («Отечественным Запискам»), а Краевского — с коршуном, питающимся мясом и кровью Прометея.

Этим возмущались многочисленные петербургские и московские друзья критика, против Краевского негодовали, о необходимости освободить Белинского из-под ига дельца и эксплоататора толковали десятки людей, знавших положение дел в «Отечественных Записках».

Но только один Некрасов оказался способным перейти в этом вопросе от слов к делу. Именно он убедил Белинского порвать с Краевским, а затем, понимая, что великий критик не может и не должен остаться без журнальной трибуны, создал для него эту трибуну.

В условиях николаевской действительности это было нелегким делом. Было очевидно, что получить у властей разрешение на издание нового журнала для группы Белинский — Некрасов — Панаев — не удастся. Выход был один: овладеть каким-либо из уже существующих журналов.

И вот тотчас же после того, как в казанском имении Г. М. Толстого в мае — июне 1846 г. Некрасов договорился с Панаевым и с самим Толстым о

НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ ЗИМОЙ

Акварель И. Шарлеманя, 1856 г.,

Музей истории и развития Ленинграда

предоставлении ими необходимых средств для приобретения какого-либо из уже существующих журналов, он спешно выезжает в Петербург, чтобы начать необходимые поиски и хлопоты [6]. Через месяц к нему присоединяется Панаев. «До 10 сентября» оба они «метались, отыскивая журнал», причем Некрасов даже ездил в Ревель в надежде договориться с проживавшим там собственником журнала «Сын Отечества» К. П. Масальским. Только в 20-х числах сентября им удалось оформить свое соглашение с П. А. Плетневым о передаче им, на правах аренды, редакторских и издательских прав на «Современник». Нет никакого сомнения, что душою этого соглашения был Некрасов. Однако в нотариальном договоре с Плетневым его имя не упомянуто.

Некрасов, являвшийся в глазах реакционеров «отчаянным коммунистом», который «страшно вопиет в пользу революции» (выражение Булгарина в одном из доносов его в III Отделение), был настолько скомпрометирован в политическом отношении, что в официальном документе о его участии в «Современнике» лучше было не упоминать вовсе.

Тем более нечего было и думать хлопотать об утверждении Некрасова или Белинского редактором журнала. Возник вопрос о подыскании человека, который согласился бы взять на себя официальную ответственность за журнал перед властями, был бы приемлем для них с точки зрения полицейской «благонадежности» и вместе с тем был бы согласен не вмешиваться в дела редакции, а лишь номинально числиться редактором.

Такого человека Некрасов и Панаев нашли в лице А. В. Никитенко, совмещавшего звание профессора С.-Петербургского университета с должностью цензора С.-Петербургского цензурного комитета. Правда, Никитенко не сразу понял, что он нужен не как фактический, а как юридический редактор журнала, и пытался вначале вмешиваться в действия новой редакции, что приводило к значительным осложнениям. Но, в конце концов, некий modus vivendi был найден.

Значительно более трудный характер имели возникшие через несколько месяцев после организации журнала осложнения, связанные с Белинским. Последний выразил желание быть третьим «дольщиком журнала», наряду с Некрасовым и Панаевым, но встретил отказ. Объяснялся он тем обстоятельством, что дни Белинского, как это было ясно для всех, уже были сочтены и введение его в «дольщики» неизбежно привело бы к тому, что после смерти критика пришлось бы иметь дело с его наследниками — людьми не литературными, а кроме того по своим моральным качествам не слишком желательными в качестве «дольщиков» журнала. Положение усложнялось тем, что при объяснениях с Белинским Некрасов лишен был возможности говорить с ним вполне откровенно, ибо, щадя Белинского, никогда не решился бы сослаться на основную причину отказа. Белинский очень болезненно переживал конфликт с Некрасовым. Некрасову, чувствовавшему себя в своем общественном и литературном развитии бесконечно многим обязанным Белинскому, также было не легко. Но пойти в этом вопросе на уступки он не мог, между прочим, еще и потому, что финансовая база журнала не отличалась прочностью. Ее составили взносы Панаева и самого Некрасова, причем Некрасову, чтобы сделать свой взнос, пришлось занять деньги у жены Герцена. Тяжелым бременем на журнале лежала выплата как следуемой собственнику «Современника» Плетневу аренды, так и жалования Никитенко. Смертельно больной и остро нуждавшийся Белинский, в свою очередь, стоил журналу очень дорого. Некрасов, не решавшийся ввести Белинского в число «дольщиков», не жалел денег на выдачу ему весьма крупных сумм. Вообще материальные условия работы Белинского в «Современнике» были несравнимы с теми, которые он имел в журнале Краевского. Некрасов сдержал обещание, данное им Белинско-

му еще в 1846 г., при самом начале «Современника»: «Мы предложим вам условия самые лучшие, какие только в наших средствах».

Если благодаря «Современнику» существенно улучшилось материальное положение Белинского, то и моральная обстановка его работы в этом журнале не имела ничего общего с обстановкой его работы в «Отечественных Записках». Вот что говорит об этом сам Белинский: «Я был спасен «Современником»... Без журнала я не мог бы существовать. Я почти ничего не сделал нынешний год для «Современника», а мои 8 тысяч давно уже забрал. Поездка за границу, лишившая «Современник» моего участия на несколько месяцев, не лишила меня платы. На будущий год я получаю 12 тысяч,— кажется, есть разница в моем положении, когда я работал в «Отеч. Записках». Но эта разница не оканчивается одними деньгами: я получаю много больше, а делаю много меньше. Я могу делать, что хочу. Вследствие моего условия с Некрасовым мой труд более качественный, нежели количественный; мое участие более нравственное, нежели деятельное... Не Некрасов говорит мне, что я должен сделать, а я уведомляю Некрасова, что я хочу или считаю нужным делать» (письмо Белинского к Боткину от 4—8 ноября 1847 г.).

Возникший между Некрасовым и Белинским конфликт был устранен в результате взаимных объяснений, и их отношения остались дружескими.

Изучая историю «Современника» в ее начальный период, нельзя не удивляться тому поистине бесчисленному количеству разнообразных, подчас сопряженных с трудными хлопотами дел, которые пришлось выполнять Некрасову. Панаев был слишком легкомыслен, Никитенко — слишком официален, Белинский — слишком болен, чтобы Некрасов мог особенно рассчитывать на их помощь. В результате вся основная тяжесть работы по изданию журнала падала на него, и занятость его в эту пору поистине не имела границ и пределов. А тут еще постоянные денежные нехватки, которые нечем было покрывать, но во что бы то ни стало нужно было покрывать. Лишь благодаря столь напряженной работе и проявленной в ней поразительной энергии, трудоспособности и практической сметке смог Некрасов преодолеть ряд, казалось бы, непреодолимых трудностей. В результате в течение какого-нибудь одного года он выдвигает «Современник» на первое место в ряду тогдашних журналов. Несмотря на крайнее переутомление (Белинский был даже убежден в неизбежности близкой смерти поэта), Некрасов, однако, не мог позволить себе паузы и отдыха. Ход событий ставил перед ним все новые и новые задачи.

Умирает Белинский. «Современник» лишается своей само крупной литературно-идеологической силы. Некрасов озабочен вопросом, как возместить для журнала эту, по существу, невозместимую потерю.

Смерть Белинского совпала с началом «мрачного семилетия» николаевской реакции (1848—1855 гг.).

В эти годы неистовств цензурных и политических репрессий и вызванной ими деморализации общества положение «Современника» было чрезвычайно тяжелым. Журнал страдал не только от непосредственных ударов цензуры. В стране, придавленной чудовищным гнетом политической реакции этих лет, казалось, иссякал самый источник, питавший журнал. В эти годы писали мало и неохотно. «Нечего печатать», «нет материала» — вот лейтмотив многих писем Некрасова этого периода. Резко снизилась подписка. Материальное положение «Современника» сделалось до крайности шатким и непрочным. Нечем было платить и за бумагу, и в типографию, не говоря уже о гонорарах сотрудникам. Приходилось прибегать к постоянным займам. «Современник» не выходил из долгов.

Все эти трудности Некрасову приходилось преодолевать почти что одному. Около него не было людей, которые могли бы помочь ему в его борьбе за существование журнала, более того, не было людей, которые

могли бы оказать ему моральную поддержку. Панаев по своему характеру не мог быть особенно полезным ни в одном из этих отношений.

Только со вхождением Н. Г. Чернышевского, а потом и Н. А. Добролюбова в число постоянных, а затем и руководящих сотрудников «Современника» Некрасов почувствовал, что ему есть на кого опереться. Однако чуть ли не с первых статей Чернышевского против него ополчились наиболее влиятельные сотрудники «Современника», примыкавшие к либерально-дворянской группе. Некрасов оказался в трудном положении. Для него было ясно, что в лице Чернышевского, а затем Добролюбова он нашел сотрудников, могущих стать достойными преемниками Белинского, применительно к новым условиям общественного развития. Но, с другой стороны, Некрасов понимал, что журналу будет трудно обойтись без сотрудничества таких писателей, как Тургенев и Толстой, Боткин и Анненков и других, примыкавших к умеренно-либеральной группе сотрудников журнала. К тому же с некоторыми из них,— в особенности это относится к Тургеневу и Боткину,— Некрасов был связан узами личной и многолетней дружбы.

Однако, в начавшейся внутри «Современника» борьбе Некрасов не поколебался решительно связать судьбу журнала, а вместе с тем и свою собственную литературно-общественную судьбу, с Чернышевским и Добролюбовым, с революционной демократией.

Настойчивые попытки Тургенева, Боткина и других добиться от Некрасова замены Чернышевского на его посту боевого публициста и критика журнала то Дружининым, то Ап. Григорьевым неизменно терпели неудачу. Когда летом 1856 г. Некрасов получил от Толстого письмо, полное резких нападок на Чернышевского, он ответил ему замечательными словами, показывающими, что его позиции во все более обострявшейся идейно-политической борьбе эпохи полностью определились. «Особенно мне досадно,— писал Некрасов Толстому (22 июля 1856 г.),— что вы так браните Чернышевского. Нельзя, чтобы все люди были созданы на нашу колодку... Вам теперь хорошо в деревне, и вы не понимаете, зачем злиться. Вы говорите, что отношения к действительности должны быть здоровыми, но забываете, что здоровые отношения могут быть только в здоровой действительности. Гнусно притворяться злым, но я стал бы на колени перед человеком, который лопнул бы от искренней злости,— у нас ли мало к ней поводов? И когда мы начнем больше злиться, тогда будем лучше,— т. е. больше будем любить — любить не себя, а свою родину...»

И как бы в подтверждение своей полной солидарности с Чернышевским и своего безграничного доверия к нему Некрасов через какие-нибудь две недели после этого письма полностью передает Чернышевскому редакторские права по «Современнику» на время своей поездки за границу для лечения. «Передаю Вам мой голос во всем... так, чтобы ни одна статья в журнале не появлялась без Вашего согласия».

После возвращения Некрасова летом 1857 г. в Россию и последовавшего затем вхождения Н. А. Добролюбова в число постоянных сотрудников, а с начала 1858 г.— в число редакторов «Современника», борьба между революционно-демократической и либерально-дворянской группами в журнале возобновилась с новой силой и, принимая все более острые формы, закончилась полным разрывом Тургенева и его единомышленников с «Современником».

Подробно об обстоятельствах этого знаменитого разрыва, в частности о попытках Тургенева воспрепятствовать напечатанию в «Современнике» статьи Добролюбова «Когда же придет настоящий день?», мы говорим в другом месте [7]. Здесь же важно лишь подчеркнуть, что разрыв с Тургеневым и его идейными друзьями,— психологически оказавшийся очень трудным для поэта,— знаменовал, что в великой идейно-политической бит-

ЖУРАВЛИ ЛЕТЯТ
Картина маслом А. С. Степанова, 1891 г.
Третьяковская галлерея, Москва

ве эпохи, битве между революцией и реформами, материализмом и идеализмом, Некрасов решительно и бесповоротно примкнул к революционно-демократическому лагерю, возглавлявшемуся Чернышевским и Добролюбовым. Когда три Николая — Николай Некрасов, Николай Чернышевский и Николай Добролюбов,— образовав своего рода редакционный триумвират, стали полновластными вершителями судеб «Современника»,— им удалось не просто поднять журнал, но и превратить его в подлинный идейный штаб всего движения «революционного натиска» (Ленин) шестидесятых годов. Авторитетность, влиятельность «Современника» этой поры, острая заинтересованность в нем людей эпохи наглядно демонстрируются и цифровыми данными, определяющими тиражи журнала за то именно пятилетие 1857—1861, которое характеризуется совместным участием всех членов триумвирата.

Если в первое десятилетие существования журнала (1847—1856 гг.) он печатался, примерно, в 2000—3000—3500 экземпляров [8], то в указанное пятилетие тиражи его были таковы:

1857 г.	— 4000	— 4500	— 4300	экз.[9]
1858 г.	— 4500	— 4900	— 4700	»
1859 г.	— 5500	— 5520	—	—	»
1860 г.	— 6600	— 6625	—	—	»
1861 г.	— 7125	—	—	—	»

Неуклонный рост тиража «Современника» происходил, как видим, несмотря на прекращение сотрудничества в нем Толстого (1858) и Тургенева (1860).

В накаленной общественно-политической обстановке «революционной ситуации» шестидесятых годов боевая публицистика и критика Чернышевского и Добролюбова были важнее и нужнее читателю, чем художественные произведения таких мастеров слова, как Толстой и Тургенев. И это хорошо понимал Некрасов.

С 1862 г. тираж «Современника» медленно, но неуклонно (за исключением 1863 г.) снижается, определяясь такими цифрами:

1862 г.	— 6300	— 6000	— 5700	экз.
1863 г.	— 6500	— —	— —	»
1864 г.	— 6100	— 5610	— 5660	»
1865 г.	— 6000	— 5000	— 4600	»

Объяснить это снижение не составляет труда: в ноябре 1861 г. умирает Добролюбов, летом следующего, 1862 г. арестовывается Чернышевский. «Современник» лишается двух своих крупнейших сотрудников и руководителей. Эти события происходят в обстановке все усиливающейся крепостнической реакции. Аресту Чернышевского предшествовала приостановка «Современника» сроком на 8 месяцев. Ходили упорные слухи, что с журналом Некрасова все уже кончено, что по истечении срока его приостановки правительство ни в каком случае не даст разрешения на его возобновление.

Для Некрасова в связи с этим вновь наступила страдная пора. Прежде всего нужно было добиться разрешения на возобновление журнала, а это было сопряжено с большими трудностями. Затем пришлось озаботиться сформированием новой редакции. А это тоже было очень нелегко. Два постоянных и крупных сотрудника — М. А. Антонович и Г. З. Елисеев — нашли себе за время приостановки журнала другую работу и не собирались возвращаться в «Современник». Некрасову пришлось затратить немало сил, чтобы убедить их изменить свое решение.

Приглашенный Некрасовым к участию в руководстве журналом Щедрин пробыл в составе редакции сравнительно недолго (1862—1864). Внутренние и все увеличивавшиеся трения с Антоновичем и Пыпиным, значительно поправевшими в условиях наступившей реакции и недолюбливавшими резкое щедринское слово в журнале, а также тяжелые цензурные условия до крайности раздражали сатирика. Обстановка в «Современнике» после удаления Чернышевского и смерти Добролюбова была неблагоприятной для дружной работы. А без внутреннего единства трудно было противостоять внешним ударам реакции. В результате всех этих обстоятельств Щедрин в конце 1864 г. вышел из редакции «Современника», сохранив, впрочем, дружественные отношения с Некрасовым.

Мы затруднились бы сказать, что Некрасов находился в очень добрых отношениях с прочими членами редакции возобновленного «Современника». Внутренней близостью — такой, какая существовала у Некрасова с Чернышевским и Добролюбовым,— эти отношения, конечно, не отличались.

При таких условиях «молодая редакция» «Современника» в 1863—1866 гг. не была в состоянии проводить с полной определенностью прежнюю революционно-демократическую линию. Наряду со стремлением Некрасова и Щедрина поддержать традиции Чернышевского у некоторых основных сотрудников чувствуется отход к либерализму (Пыпин) и народничеству (Елисеев). Общее снижение теоретического уровня передовой мысли, достигнутого Чернышевским, сказалось и в той ожесточенной полемике, которую вел «Современник» в 1864—1865 гг. с другим радикальным органом, благосветловским «Русским Словом».

Тем не менее, несмотря на то, что общее «понижение тона» в передовых общественных кругах, вновь придавленных крепостнической реакцией, не могло отчасти не коснуться и «Современника», некрасовский журнал и в эти годы (1863—1866) попрежнему стоял на самом левом фланге тогдашней печати, продолжая жестоко критиковать реакционеров и либералов, беспощадно срывая с них маски. В 1863 г. в журнале был опубликован роман Чернышевского «Что делать?», написанный в Петропавловской крепости. Появление его в печати вызвало ярость реакционеров всех мастей и недовольство либералов. Некрасов и Щедрин отдавали себе отчет

в риске, с которым было сопряжено для журнала печатание романа «государственного преступника», романа, в котором пропагандировались идеи революции, социализма и материализма. Тем не менее они не поколебались опубликовать его и тем самым надолго снабдить русское революционное движение документом огромной художественно-пропагандистской силы и значения.

Выстрел Каракозова 4 апреля 1866 г. в Александра II и последовавшая вслед за ним вакханалия полицейского и цензурного террора предопределили скорую гибель «Современника».

В 1867 г., едва оправившись от всего, что пришлось вынести и пережить в связи с запрещением «Современника», Некрасов вновь выступает в роли организатора большого журнала, который в известной мере был призван заменить погибший журнал.

Хотя с момента перехода «Современника» в руки Некрасова протекло свыше 20 лет, хотя за это время в социально-политической жизни страны произошли существенные перемены, хотя с сентября 1865 г. действовал новый закон о печати, упразднивший в отношении ряда изданий предварительную цензуру,— все же, решив вернуться на журнальное поприще, Некрасов вынужден был прибегнуть к старому, испытанному способу. Не сомневаясь, что власти не дадут ему разрешения на издание нового журнала, Некрасов задумал овладеть каким-либо из существующих изданий. Выбор пал на журнал его старого антагониста Краевского. Двадцать лет тому назад Краевский, в пылу полемики против ушедших из «Отечественных Записок» сотрудников, печатно заявлял: «Ни одна статья гг. Белинского, Панаева и Некрасова не будет напечатана в «Отечественных Записках» до тех пор, пока этот журнал издается нами». Сказавшемуся здесь враждебному отношению к будущим руководителям «Современника» и тем паче к самому «Современнику» Краевский не изменял никогда. В «Современнике» он видел не только счастливого конкурента, но и журнал враждебного ему общественно-политического направления. Так было... Но в 1867 г. дело приняло совершенно иной оборот. Краевский всецело был поглощен редакционно-издательской деятельностью в основанной им большой газете «Голос». «Отечественные Записки» его явно тяготили. Имея мало подписчиков, они тяжелым бременем ложились на его бюджет. Наконец, смерть Дудышкина (1866), которому он вверил редакцию журнала, оставила «Отечественные Записки» без редактора.

Будучи, как уже указывалось выше, типичным дельцом капиталистической складки, Краевский готов был передать свой журнал в руки деятеля враждебного лагеря, лишь бы это было для него выгодно в материальном отношении. Начавшиеся между Некрасовым и Краевским переговоры закончились заключением нотариального договора (8 декабря 1867 г.), удовлетворившего в конце концов обе стороны. Некрасов снова встал, хотя и не официально, во главе большого журнала, Краевский же был уверен,— и не ошибся в своей уверенности,— что «Отечественные Записки» обрастут подписчиками и начнут приносить ему значительный доход.

Таким образом, второй раз Некрасову удалось вырвать журнал из рук представителя враждебного лагеря и водрузить над ним свое знамя. Плетневский «Современник» с его консервативными тенденциями не имел ничего общего с некрасовским «Современником»; точно так же и «Отечественные Записки» Краевского, являвшиеся в 50-е и 60-е годы органом крайне умеренного либерализма, не имели ничего общего с «Отечественными Записками» 70-х и 80-х годов под фактической редакцией Некрасова, а затем Щедрина. Овладение журналом враждебного направления являлось не просто удачей, но и большой общественной заслугой Некрасова. Демократическая мысль страны вновь получила журнальную трибуну. И хотя второму некрасовскому журналу не суждено было приобрести

начения «Современника» для новых исторических условий, «Отечественные Записки» сразу же заняли место наиболее передового журнала эпохи и сыграли в истории ее общественного, умственного и литературного развития подлинно выдающуюся роль.

III. НЕКРАСОВ-ЖУРНАЛИСТ И ЦЕНЗУРА

Характеризуя деятельность Некрасова как организатора журналов, останавливаясь на отдельных этапах его трудного журнального пути,— мы не один раз должны были ссылаться на факты цензурного воздействия на его журналы. Борьба с цензурой в их истории играла такую исключительную роль, что неизбежно должна была наложить сильнейший отпечаток на различные стороны журнальной деятельности Некрасова, более того, на его личность и творчество.

Когда в 1848 г. образ действий цензуры в отношении «Современника» принял исключительно агрессивный характер, это ни на ком из руководителей журнала не отразилось так, как на Некрасове.

Запрещение уже разрешенного к выходу «Иллюстрированного Альманаха» существенным образом подорвало финансовую базу журнала. Альманах был объявлен бесплатным приложением к «Современнику», и вот приложение, по неведомой для подписчиков причине[10], не выходит в свет. Это, естественно, вызывает ослабление подписки, многие из подписавшихся считают себя жертвами обмана и предъявляют соответствующие претензии. В результате к материальному ущербу, понесенному журналом, присоединяется еще и моральный. А материальный ущерб был очень велик, ибо определялся не только ослаблением подписки, но и оказавшимися непроизводительными крупными расходами на издание «Альманаха». Изыскивать способы к покрытию этих расходов должен был, разумеется, Некрасов. И он это делал.

В том же 1848 г. цензура запрещает сразу шесть французских повестей, предназначенных для «Современника». Запрещен и большой роман Эжена Сю. В журнале нечего печатать. Чтобы спасти положение, Некрасов, по собственным словам, «пустился в легкую беллетристику и произвел, вместе с одним сотрудником,— роман в 8 частей и 60 печатных листов» (письмо к Тургеневу от 12 сентября 1848 г.). Однако этот роман — речь идет о романе Некрасова и Н. Станицкого (псевд. А. Я. Панаевой) «Три страны света» — оказалось не так-то легко провести в печать. Цензура собиралась и его запретить на том основании, что, представив начало романа, авторы не могли представить конца, ибо конец еще не был написан. Некрасову и Панаевой пришлось направить в цензуру особое письменное удостоверение[11] в том, что «порок в романе будет наказан, а добродетель восторжествует». Только тогда «Три страны света» начали печататься в «Современнике».

Чтобы объясниться со своими читателями по поводу их жалоб на ухудшение содержания журнала и указать на истинную причину этого ухудшения, редакция «Современника» решилась на смелый шаг. В рецензию на книгу Смарагдова «Руководство к средней истории», напечатанную в № 10 журнала за 1849 г., редакция ввела следующие слова: «Вы хотите новых романов, хотите ученых статей, хотите умных рецензий и критик? Но подумали ли вы хотя раз о положении вашей литературы, вашей журналистики? Кто нынче пишет? Нынче решительно век книгоненавидения...»

Выпад редакции не прошел ей даром. Над «Современником» нависла угроза запрещения. Некрасов и Панаев были вызваны в III Отделение и ожидали ареста[12]. Происшедшее на приеме у шефа жандармов Некрасов впоследствии описал в стихотворении «Недавнее время». На этот раз

дело кончилось, впрочем, сравнительно благополучно. Но, когда оно начиналось, больше шансов было, что оно приведет к катастрофе. Ведь вызов Некрасова и Панаева происходил в 1849 г., в котором имела место расправа самодержавия с петрашевцами. Об общественной атмосфере, царившей в это время в Петербурге, Некрасов в запрещенной цензурой строфе того же «Недавнего времени» писал:

Помню я Петрашевского дело
Нас оно поразило, как гром.
Даже старцы ходили несмело,
Говорили негромко о нем.
Молодежь оно сильно пугнуло
Поседели иные с тех пор,
И декабрьским террором пахнуло
На людей, переживших террор...

Но вот царство «террора» пошло на убыль. Смерть Николая I, неудачный исход Крымской войны, первые признаки начинающегося общественного подъема в стране несколько ослабили репрессивность режима. Однако цензурная практика попрежнему оставалась суровой.

В августе 1855 г. цензура искромсала одно из наиболее замечательных творений Толстого «Ночь в Севастополе» (первоначальное название рассказа — «Севастополь в мае»). Некрасов писал по этому поводу Толстому: «Возмутительное безобразие, в которое приведена ваша статья, испортило во мне последнюю кровь. До сей поры не могу думать об этом без тоски и бешенства» (письмо от 2 сентября 1855 г.).

В марте 1856 г. Некрасов предпринимает попытку отстоять в тексте «Очерков гоголевского периода русской литературы» несколько прочувствованных страниц, посвященных Чернышевским Белинскому. В обращении к цензору Бекетову Некрасов пишет: «Бога ради, восстановите вымаранные вами страницы о Белинском. Это слишком печальное действие, и я надеялся и надеюсь от врожденного вам чувства справедливости, что вы не будете гонителем беззащитного и долго поруганного покойника — хотя в том случае, где вам прямо не предписывает этого ваша обязанность. Нет и не было прямого распоряжения, чтобы о Белинском

АРТЕЛЬ РАБОЧИХ
Картина маслом И. П. Стефановского
Третьяковская галлерея, Москва

не пропускать доброго слова, равно не было велено и ругать его. Отчего же ругать его могли и ругали, а похвалить считаете опасным?..»

В том же 1856 г. «Современник» едва не был закрыт за то, что в отсутствие Некрасова, лечившегося за границей, Чернышевский перепечатал из только что вышедшего собрания стихотворений Некрасова три наиболее острых в общественном отношении стихотворения — «Поэт и гражданин», «Забытая деревня» и «Отрывки из путевых записок гр. Гаранского».

В «либеральную» эпоху подготовки крестьянской реформы «Современник», ориентируемый Чернышевским на крестьянскую революцию, попрежнему не имел полной свободы высказываний по основным социально-политическим вопросам тогдашней действительности. Это явствует из ряда фактов, в частности из бурной реакции правящих сфер на помещение в апрельском номере 1858 г. статьи «О новых условиях сельского быта», в которой отстаивалась идея освобождения крестьян с землею, тогда как крепостники ратовали за освобождение крестьян без земли.

К весне 1859 г. относится отказ цензурного ведомства на ходатайство Г. С. Буткевича (зятя Некрасова, за спиной которого стоял сам Некрасов) разрешить ему издание «сатирической газеты с карикатурами» — «Свисток». Однако редакция «Современника» нашла способ обойти запрещение властей и организовала при журнале, под тем же заглавием «Свисток», особый сатирический отдел, отданный Некрасовым в руки Добролюбова.

«В Петербурге цензура свирепствует... перетурка идет страшная»; «цензура становится все хуже»; «наблюдение за «Современником» усилено»; «наши дела здесь идут плоховато: крутой поворот ко времени докрымскому совершается быстро, и никто не может остановить его»,— вот как характеризует Добролюбов «либеральную цензуру» эпохи реформ осенью 1859 г. в письмах к друзьям. А «маститый» А. В. Никитенко, уже давно дослужившийся до генеральского чина и занимавший один из руководящих постов по цензурному ведомству, с горечью констатирует, что «государь оказывается сильно нерасположенным к литературе. Все благородные, разумные и справедливые доводы министра [13] в защиту ее не произвели большого впечатления на ум его, предубежденный ревнителями молчания и бессмыслия».

Неудивительно, при таких условиях, что цензурный пресс все сильнее и сильнее давил на «Современник». В связи с заменой цензора Бекетова цензором Рахманиновым Чернышевский писал Добролюбову: «Рахманинов воображает себя порядочным человеком, но он — глупая скотина. Напрасно вы с Некрасовым защищали его прежде. Ну их к чорту всех от Ковалевского до Рахманинова, проходя через Делянова [14] и уже не говоря о Медеме [15]: все до одного скоты...»

В особенности трудно пришлось «Современнику» в конце 1860 г. и в течение 1861 г., когда в связи с проведением крестьянской реформы, вызвавшей острое недовольство крестьянских масс, в стране создалась революционная ситуация. Цензурные придирки к «Современнику» перешли теперь в настоящую травлю, которая в июне 1862 г. привела к приостановке журнала на восемь месяцев. Некрасову, как указывалось выше, с трудом удалось добиться разрешения на возобновление «Современника».

В весенних книжках журнала за 1863 год — мартовской, апрельской, майской — Некрасов, обманув бдительность цензуры [16], напечатал роман Чернышевского «Что делать?» Как только цензура осознала свою оплошность, это вызвало настоящий пароксизм цензурного бешенства. Если в 1861 г. цензура исключала из «Современника» около 5 печатных листов ежемесячно, а за весь год исключила 56 печатных листов, то в 1863 г. общий объем цензурных вымарок достиг 76 печатных листов! Это со-

ставляло $6\,^1/_3$ п. л. в месяц. Однако из общего количества цензурных вымарок на первые пять месяцев 1863 г. падает всего 20 п. л., или в среднем по 4 п. л. ежемесячно, а на последние 7 месяцев — 56 п. л., или в среднем по 8 п. л. ежемесячно.

Жестоко теснила цензура некрасовский журнал и в 1864 г., очевидно не без влияния «каторжного приговора», вынесенного сенатом Чернышевскому. Не забудем, что в этом приговоре один из основных абзацев был посвящен чрезвычайно отрицательной оценке журнальной деятельности Чернышевского и ее влияния на молодежь. Сенат обвинял Чернышевского в том, что он, будучи «одним из главных сотрудников журнала «Современник», со всею злою волей посредством сочинений своих развивал материалистические в крайних пределах и социалистические идеи... и, указывая в ниспровержении законного правительства и существующего порядка средство к осуществлению вышеупомянутых идей, был особенно вредным агитатором». Некрасовскому журналу, таким образом, предъявлялось обвинение в том, что он был трибуной «особенно вредного агитатора». Некрасов понимал, что существование его журнала висит на волоске, и не ожидал особых перемен к лучшему даже от нового закона о печати, упразднившего предварительную цензуру.

И действительно, едва только осенью 1865 г. был введен в действие новый закон, то установленные им меры воздействия на печать, в частности предостережения, посыпались на «Современник», как из рога изобилия [17]. Создалось положение чуть ли не худшее, чем при предварительной цензуре, ибо существование этой последней в известной,— разумеется, очень относительной,— мере все-таки гарантировало журнал от репрессий, перекладывая значительную часть ответственности на цензора, разрешившего ту или иную статью, тот или иной номер журнала к печати. Теперь же ответственность всей своей тяжестью пала на редакцию журнала.

Вот почему, приступая после закрытия «Современника» к изданию нового журнала, «Отечественных Записок», Некрасов стал думать о замене официальной предварительной цензуры (упраздненной) — цензурою неофициальной. Это ему удалось достичь, войдя в соглашение с некоторыми чиновниками Главного управления по делам печати и Цензурного комитета, которые взяли на себя обязанность просматривать материал, предназначенный к помещению в журнале, и предупреждать о желательности исключения той или другой статьи, как могущей вызвать объявление предостережения или судебное преследование [18].

Однако примененный Некрасовым способ борьбы за журнал, смягчая и ослабляя силу цензурных ударов, не мог оградить его от постоянных, временами очень чувствительных, цензурных взысканий.

Среди них следует выделить объявление «Отечественным Запискам» летом 1872 г. первого предостережения. В официальной мотивировке его указывалась статья «Наша общественная жизнь» (Н. Демерта), как содержавшая в себе «резкое порицание недавно изданных законов о народном просвещении», т. е. протестовавшая против реакционной реформы средней школы, проводившейся гр. Д. А. Толстым. Однако обследование относящихся сюда материалов приводит к убеждению, что предостережение было вызвано не только статьей Демерта, но и некоторыми другими статьями, например, откликами «Отечественных Записок» на «Нечаевское дело», привлекшими внимание самого III Отделения.

В 1874 г. «Отечественные Записки» подверглись особо суровой репрессии: 8220 экземпляров майского номера были задержаны в типографии, а затем уничтожены. Репрессия эта была мотивирована предосудительным содержанием ряда статей, а особенно статьями Михайловского, Успенского, Салтыкова-Щедрина и Кроткова [19].

Таким образом, существование второго некрасовского журнала так же, как и первого, неизменно протекало в напряженной цензурной обстановке. Цензура не переставала держать «Отечественные Записки» под угрозой репрессий и часто прибегала к ним. И если, тем не менее, «Современник» и «Отечественные Записки», последовательно проводившие пропаганду идей, враждебных самодержавию и реакции, держались целыми десятилетиями, то лишь потому, что Некрасов создал, по выражению Михайловского, целую систему «щитов и громоотводов» вокруг своих журналов и чрезвычайно эффективно пользовался ими. Постоянная, напряженная и принципиальная борьба Некрасова с царской цензурой, упорство и энергия, проявленные им на этом участке журнальной борьбы,— одна из неоспоримых общественных заслуг поэта.

IV. НЕКРАСОВ — РЕДАКТОР-ИЗДАТЕЛЬ

В своих воспоминаниях Михайловский пишет о Некрасове: «Для меня нет никакого сомнения в том, что на любом поприще, которое он избрал бы для себя, он бы был одним из первых людей, уже в силу своего ума...» Если тем не менее «он выбрал литературу», так это «потому, что любил ее», если «в литературе выбрал известное направление», так это «потому, что верил в него» [20].

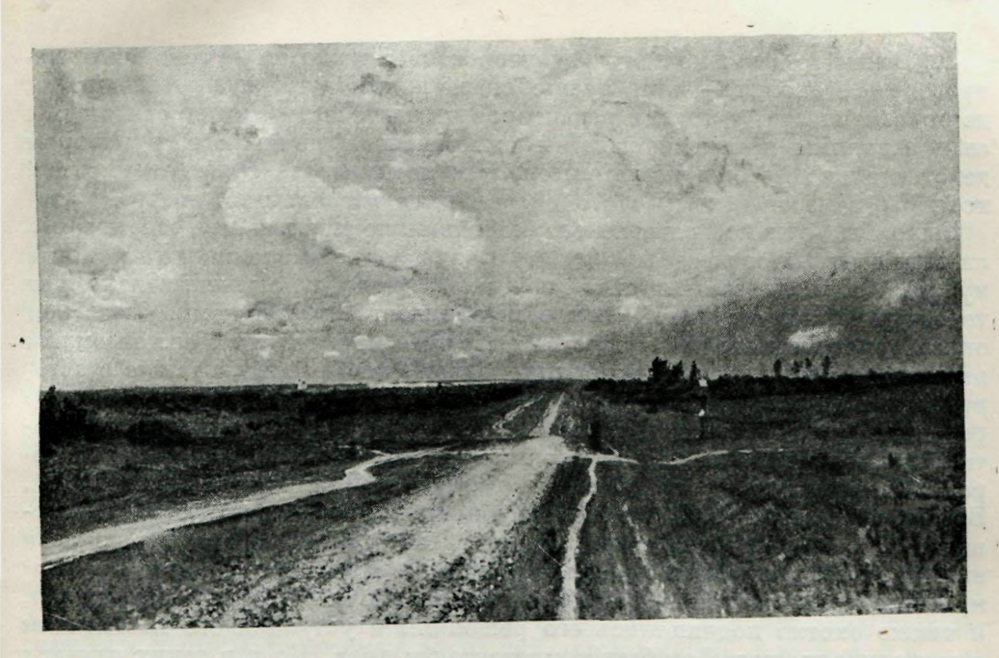
«Одним из первых людей» стал Некрасов и на «поприще» редакторско-издательского дела. О Некрасове мало сказать, что он был хорошим редактором журнала. Он был редактором «идеальным». Так именно характеризует его М. А. Антонович: «Некрасов был идеальным редактором-издателем и довел свой журнал «Современник» до почти идеального совершенства» [21]. Такова же точка зрения П. М. Ковалевского. «Лучшего редактора,— пишет он,— чем Некрасов, я не знал, едва ли даже был у нас другой такой же. Были люди сведущее его, образованнее, Дружинин, например; но умнее, проницательнее, умелее его в сношениях с писателями и читателями не было никого» [22].

Таковы отзывы даже тех сотрудников Некрасова по журналу, которые вовсе не принадлежали к числу его больших доброжелателей.

Выдающиеся качества Некрасова как редактора и руководителя журнала с наибольшей яркостью проявлялись в его редкой проницательности и критическом чутье. Некрасов почти не знал ошибок при подборе сотрудников. Мы уже говорили, как быстро и решительно он действовал, привлекая к сотрудничеству в «Современник» таких людей, как Чернышевский и Добролюбов, только что начавших свою литературную работу. Но и в писателях среднего, даже малого дарования Некрасов умел угадывать те их качества, которые могли быть, если не сразу, то в будущем, существенно полезны «Современнику» или «Отечественным Запискам».

Как редактор, Некрасов превосходно понимал, что привлечь нужного и полезного сотрудника,— это значит сделать только половину дела. Сотрудник только тогда сумеет проявить все свои положительные качества, когда для его работы будет создана максимально благоприятная обстановка. Некрасов и хотел и умел создавать эту обстановку. Прежде всего он стремился поставить сотрудников своих журналов в возможно лучшие материальные условия. А затем, привлекая к сотрудничеству людей, в которых он был уверен, на которых он мог положиться, как на людей определенного, близкого его собственному, образа мыслей, он предоставлял им широкую свободу.

Вот что, например, говорит об этом Елисеев: «В «Современнике»... набирались подходящие к направлению журнала сотрудники, им предоставлялось писать в каждый данный момент, что им бог на душу поло-



ВЛАДИМИРКА
Картина маслом И. И. Левитана, 1892 г.
Третьяковская галлерея, Москва

жит. Никто не следил ни за мыслями ни за фразами. Иногда казалось, что точно редакторы не читают никаких статей в своем журнале, а между тем само собой выходило все ладно. Почему? Да потому, что в журнале-то главным образом и нужно, чтобы все говорили в одно, не только удачные фразы, но и неудачные, т. е. слабые, целые статьи, если только они бьют в одну цель, в общем нисколько не вредят делу. Сделавшись редактором «Отечественных Записок», Некрасов остался к ним в таких же отношениях, в каких был и к «Современнику». Человек от природы несомненно умный, с сильно развитым эстетическим и критическим чутьем, он ограничивался выбором подходящих сотрудников и предоставлял делу итти, как оно могло итти, не подражая тем малоопытным и неискусным кучерам, которые без толку дергают лошадей и мешают им итти спокойно и ровно» [23].

О том же пишет Ковалевский, оттеняя попутно деликатность Некрасова, который не только «никогда не позволял себе вмешиваться» в деятельность главных сотрудников, «но и составителя фельетона он оставлял самостоятельным... До лирических же стихотворений этот первый поэт своего времени никогда не позволял себе дотронуться...» [24].

Михайловский, в полном соответствии с приведенными отзывами, указывает на умение Некрасова «ценить даровитых людей и верить им», на его в высшей степени внимательное отношение к молодым писателям, соединенное, однако, с неизменным стремлением развить в них самостоятельность: «когда молодой сотрудник сколько-нибудь оперялся, он предоставлял его самому себе» [25].

Из сказанного видно, что в основе отношения Некрасова к сотрудникам, кроме доверия, естественным образом вытекавшего из того, что выбор их в огромном большинстве случаев был сделан им самим и что это были литераторы одного с ним направления,— лежало также свойственное ему отсутствие ложного самолюбия.

«... В нем не было мелкого редакторского самолюбия,— говорит о Некрасове Антонович,— или, лучше сказать, амбиции, развитой сильно, до болезненности, у других редакторов и издателей» [26]; он не считал для себя зазорным признать свою некомпетентность в вопросе, в котором действительно не был компетентен, или подчиниться общему решению, хотя бы и несогласному с его собственным взглядом на вопрос.

Было бы, однако, совершенно неправильно заключить, основываясь на приведенных свидетельствах, что Некрасов не имел сильного и, когда нужно, решающего влияния на дела журнала, стушевываясь перед чересчур настойчивыми и самостоятельными сотрудниками. Подобной опасности для него не существовало уже потому, что с его огромным авторитетом крупнейшего и популярнейшего поэта эпохи, а также с авторитетом опытного журналиста, сотрудники считались помимо всякого редакторского давления. С другой стороны, принятая Некрасовым политика допустимых, с его точки зрения, уступок должна была, в свою очередь, сбивать иных сотрудников с их чересчур непримиримых позиций. Весьма характерным в этом отношении является свидетельство Антоновича: «И сотрудники, со своей стороны, столь же просто, благодушно и внимательно относились к замечаниям, возражениям и протестам Некрасова, принимая их без всяких обид и самолюбивых неудовольствий, и также охотно подчинялись его решениям и уступали его настояниям в тех случаях, когда он был компетентен и прав. Но и в таких случаях он никогда не прибегал к своей редакторской власти, а действовал убеждением, урезониванием. Если он находил статью неудовлетворительной, неуместной и неловкой, то обыкновенно говорил автору: «Если вы настаиваете и непременно хотите напечатать статью, то я против этого ничего не имею, особенно, если вы подпишете ее полной фамилией, но вы примите в соображение, что скажут наши противники, что подумает публика, какие возможны перетолкования» и т. д. Слушаешь бывало такие резоны и возражения Некрасова, человека и редактора многоопытного, прекрасно знавшего и читателя, или, как он всегда выражался, подписчика, и литературных соперников, и предержащую власть над печатью,— и невольно согласишься с ним, сдашься на его убеждения. Вследствие его резонов и возражений я не одну свою статью, уже набранную, брал назад и разрывал. То же случалось, например, и с Салтыковым» [27].

И не в одной только сфере чисто редакционных вопросов, сводящихся очень часто к тому, печатать ли статью полностью, или внести в ее текст изменения и сокращения, или же вовсе ее не печатать,— Некрасов умел влиять на сотрудников. В 60-е годы он являлся для большинства демократической литературной молодежи, группировавшейся вокруг «Современника», живым воплощением лучших традиций русской литературы, тесно связанных с именем Белинского. Пыпин утверждает, что если в реакционный период 1848—1855 гг. «завет Белинского» не иссяк совсем в «редакционном кружке «Современника», то это, главным образом, благодаря Некрасову, который «вернее всех остальных... успел понять и сохранить предание Белинского, несмотря даже на то, что в кружке влиятельным лицом был самый давний и близкий друг Белинского — В. П. Боткин» [28].

Видя, подобно Пыпину, в лице Некрасова «верного хранителя» «заветов» Белинского, литературная молодежь проникалась к нему особенным уважением. Некрасов, со своей стороны, не упускал случая путем «задушевных бесед» восстанавливать, сколько было в его силах, ослабевшую во вторую половину царствования Николая I преемственность литературно-общественной традиции, идущей от автора «Письма к Гоголю». Весьма интересно в этом отношении нижеследующее признание Антоновича, высказанное в период наиболее обостренного и враждебного его

отношения к поэту: «...я благодарю вас за те душевные беседы, в которых, между прочим, вы с таким жаром, одушевлением, любовью, даже восторгом говорили о людях, которые были дороги нам и которым принадлежала вся наша любовь. Действительно, чрезвычайно приятно было видеть в вас, в человеке известного поколения, которое враждебно, и, в лучшем случае, недоверчиво относилось к новому времени, столько юношеского жара и увлечения первыми представителями и руководителями этого времени» [29].

Приведенные факты относятся к редакторской работе Некрасова в «Современнике». Подобным же образом шло дело и в «Отечественных Записках». Михайловский констатирует необычайно внимательное отношение Некрасова к начинающим писателям, с которыми он охотно беседовал, «давая им разные советы»; «нельзя было при этом,— продолжает Михайловский,— не любоваться его умом. Он отлично знал пробелы своего образования и никогда не старался их скрыть. Но даже по поводу статей о совершенно незнакомых ему предметах у него находилось умное слово, заимствованное из его огромной житейской и журнальной опытности» [30].

В отношении литературной молодежи, группировавшейся вокруг его журналов, Некрасов был не только внимательным, благожелательным и, наконец, щедрым редактором, но и своего рода наставником, пользовавшимся своим авторитетом, чтобы указать молодежи дорогу как в деле совершенствования своих сил и способностей, так и в деле общественного служения.

Некрасов подавал своим журнальным сотрудникам также пример редкого трудолюбия и поразительной работоспособности. С полным правом он мог сказать о себе:

Праздник жизни — молодости годы —
Я убил под тяжестью труда,
И поэтом, баловнем свободы,
Другом лени — не был никогда.

Все вышесказанное с достаточной полнотой объясняет, почему так спорилось дело в редакциях издаваемых Некрасовым журналов. А что оно спорилось, на это существуют многочисленные свидетельства. «Несмотря на многочисленность редакции «Современника»,— говорит Антонович,— она действовала вполне успешно; литературные дела журнала шли плавно, без запинок и неудач» [31]. То же утверждал и Пыпин. «В редакции «Современника»,— сообщает он,— журнальная работа шла вообще очень дружно, и тогда, когда действовал в ней прежний кружок, и когда после разрыва Тургенева с Некрасовым вступила в журнал новая группа лиц, также более или менее связанных общими взглядами и стремлениями. В обоих положениях журнала главным связывающим звеном был Некрасов» [32]. «Редакционные дела «Отечественных Записок»,— констатирует Михайловский,— шли точно сами собой, точно никто ничего и не делал, тогда как в действительности все много работали; какие-нибудь пререкания были чрезвычайной редкостью» [33]. Ковалевский, отмечая все ту же гармонию между Некрасовым и его сотрудниками, набрасывает следующую, не лишенную насмешливых ноток картину: «Редакция руководилась им неуклонно, как оркестр хорошим капельмейстером. Так, как хороший капельмейстер набирает хороших музыкантов и, убедившись в их умении делать свое дело, требует должного внимания к движениям своей палочки, так и Некрасов умел подобрать сотрудников, которым довольно было сказать: «отцы, маленечко потише»... или «приударить позволяется, отцы — валяйте», и редакционный оркестр исполнял литературные симфонии и фуги, каких в других редакциях не исполнялось» [34].

Издавая журналы с определенной социально-политической программой, Некрасов не мог не понимать, что сила их влияния на общество зависит, в значительной степени, от последовательности и согласованности их политического содержания и верности избранному направлению. Как редактор Некрасов был очень требователен и принципиален в поддержании единства и чистоты направления своих журналов. Об этом свидетельствует хотя бы история его конфликта с Полонским в 1874 г.

26 февраля 1874 г. Полонский был у Некрасова и одновременно с похвалами своей новой поэме «Келиот» выслушал категорический отказ ее напечатать. Этот отказ сильнейшим образом поразил впечатлительного и вспыльчивого Полонского. На следующий день он написал Некрасову длинное письмо. В начале его Полонский говорит, что ему было бы приятнее, если бы Некрасов отказал в помещении его поэмы, признав ее «никуда негодной».— «Я тогда понял бы,— продолжает он,— что если в другой раз напишу что-нибудь такое, что вам понравится, Вы меня отбраните и на зло всяким Б... поместите мой труд на страницах вашего журнала. Теперь и этой надежды я иметь не могу, так как навсегда останусь самим собой, всегда буду независим от всяких предвзятых идей, от всяких журнальных направлений и проч. и проч.,— значит, труды мои для вас навсегда потеряны... Не Ваших сотрудников, Вас я избрал судьею трудов моих. Вы похвалили мой труд, и чем искреннее Ваша похвала, тем грустнее мне за Вас и за Вашу свободу».

Таким образом, Полонский упрекнул Некрасова в том, что он насилует себя и свой вкус из угождения тенденциозно настроенным сотрудникам. Некрасов немедленно ответил на это обвинение. Его ответное письмо не сохранилось. Однако содержание некрасовского ответа совершенно ясно: Некрасов указал Полонскому на то, что не сотрудники, а он сам считает немыслимым его участие в «Отечественных Записках» на том основании, что Полонский находит для себя возможным сотрудничать в махрово реакционном «Русском Вестнике».

Обзор редакционной деятельности Некрасова будет не полным, если не остановиться на той стороне ее, которая обнимает редактирование в узком значении этого слова. Мы относим сюда, с одной стороны, распределение материала, с другой, редакторскую корректуру статей. Распределение материала имеет большое значение в журнальном деле, при ведении которого приходится руководствоваться разнообразными, в том числе и коммерческими, расчетами; в силу этих последних статьи, находящиеся в портфеле редакции, распределяются не только сообразно разным сезонам в году, но даже сообразно известным месяцам в этих сезонах.

Елисеев, бывший соредактором Некрасова в двух журналах, проработавший с ним рука об руку около 18 лет, утверждает, что «в искусстве такого распределения статей по сезонам и месяцам Некрасов был самым опытным из редакторов» [35]. Этого же мнения держится и Ковалевский. «Отношение к календарю,— говорит он,— было у Некрасова самое холодное; ему не было никакого дела до первого числа, если тридцатого попадалась живая статья или материал для нее,— первое число могло случиться хотя бы и 15-го». «Книжка должна свежим человеком выйти в свет,— говаривал он.— И жаркое то хорошо, которое с пылу; зажаренное за полчаса не годится». Зато при нем книжки журнала, в самом деле, были живыми. Не тем, так другим способом, он вдыхал в них жизнь. Когда воздвигались строгости цензурные, он находил средство «не кормить сеном», как выражался, и пускал в ход прибереженные про черный день связи с писателями-эстетиками, или прибегал к тем скучным, но цензурно невинным повестям, которые «читатель любит» как глубокомысленные, и к ученым статьям «повеселее». Это все-таки было не сеном и могло сходить за посредственный овес, впредь до возможности всыпать хороший» [36].

О том, какое большое значение придавал Некрасов правильному, глубоко обдуманному распределению материалов для каждой книжки журнала, можно судить хотя бы по переписке его с Чернышевским, сплошь заполненной относящимися сюда фактами и соображениями [37].

В этой переписке, как и вообще в переписке Некрасова, которая в большинстве своем посвящена журнальным делам, содержится огромное количество критических суждений и критических оценок, поражающих своими глубиной и меткостью. Учитывая эти черты Некрасова, Елисеев имел достаточные основания сказать, что «никто лучше его не мог оценить значения каждой мысли, являющейся в литературе», и что «он был лучшим критиком для всех статей, которые помещались в его журнале» [38].

ЕКАТЕРИНИНСКИЙ КАНАЛ
Акварель Ф. Баганца, 1860-е гг
Русский музей, Ленинград

И если, несмотря на это, Некрасов избегал критиковать статьи главных сотрудников журнала, а тем более категорически настаивать на их переделках и изменениях, то он делал это по соображениям глубоко принципиальным: ему не хотелось создавать каких-либо трений в отношениях с людьми, которым он доверял, с которыми был солидарен в главном и существенном, которые шли с ним рука об руку к одной и той же цели, тем более, что редакционный кружок его журналов был настолько тесным и спевшимся, что случаи представления кем-либо из его сочленов статей, способных вызывать более или менее существенные возражения, являлись большой редкостью. Это не мешало Некрасову в тех случаях, когда он считал это нужным, высказывать критические суждения о статьях даже наиболее влиятельных сотрудников журнала. Интересен в этом отношении эпизод, рассказанный и документально подтвержденный Антоновичем.

В своей статье «В изъявление признательности. Письмо к г. З-ну» Чернышевский, оспаривая мнение З-на, утверждавшего, что он, Чернышевский, во всех отношениях выше Добролюбова, высказал несколько мнений, с которыми Некрасов не мог согласиться. И вот, по прочтении корректуры этой статьи, Некрасов на ее полях делает ряд пометок, в которых его ум и критическое чутье сказались во всем блеске. Приводим текст этих пометок:

«1. Н. Г. В замеченных местах есть фразы, которые можно истолковать тем, что мы вас стесняли при вашем вступлении в наш журнал из почтения к авторитетам. Если это и так, то на Панаева рано и неуместно бросать подобную тень, да и мне, признаюсь вам, лично это не нравится. По крайней мере, Добролюбова я никогда не стеснял.

2. Дальше имена Тургенева, Толстого, Анненкова, Боткина производят в этой статье такое впечатление, как будто вы кадите мертвому с намерением задеть кадилом живых.— Ругайте их в каких угодно других статьях, ни слова не скажу.— Вы имели добрую цель; но, во 1-х, вы преувеличили опасность, предстоящую памяти Добролюбова оттого, что Зарин поставил вас выше его, во 2-х, ужасно будет обидно, если пойдут трепать газетчики имя Добролюбова по поводу этой статейки. Поверьте мне, тон «Полемических красот» нейдет к строкам, где мы имеем целью защитить любимого и высоко ценимого человека. Скажу вам мое впечатление от этой статьи: в ней героем являетесь вы, а не Добролюбов. Я ничуть не против откровенности, не против заявления личного высокого или низкого мнения о самом себе, когда человеку пришла к тому охота; но охота-то пришла не во время, когда мы взялись защищать другого. И вдруг боязнь, чтобы кто не подумал, что «мы ценим себя низко», и на эту тему все заключение. Словом, эти прекрасные две страницы, посвященные вами себе, лучше бы поместить в другую статью.— Однако я должен сказать, что начал говорить только с целью сказать то, что у меня отмечено цифрою 1» [39].

Правила высказывать свое мнение прямо и откровенно, предоставляя в то же время сотрудникам поступать по-своему, Некрасов, как утверждает тот же Антонович, «держался всегда». Характерно, что как ни тверд, как ни самостоятелен был, вообще говоря, Чернышевский, однако он пошел в данном случае на уступки: место под № 1 было им изменено, в других местах сделаны значительные сокращения.

Не менее ярко ум, критическое чутье и литературный вкус Некрасова проявились в области оценки художественных произведений. Имеются многочисленные свидетельства того, насколько с его суждениями и оценками считались поэты и беллетристы, сотрудничавшие в его журналах. В свое время мы имели случай проанализировать с этой именно стороны его переписку с Я. П. Полонским, А. М. Жемчужниковым и Д. К. Гирсом [40]. Последний сначала пытался спорить с Некрасовым, не соглашаясь с некоторыми из сделанных им исправлений в тексте его романа, но, в конце концов, в такой мере уверовал в его редакторскую опытность и критический такт, что готов был утверждать, что Некрасову достаточно будет «несколько прочитанных выдержек из его работы», чтобы решить, «пригодна ли она для „Отечественных Записок“ или нет».

О поразительном умении Некрасова быстро, так сказать, с первого взгляда, оценивать пригодность для журнала присылаемых рукописей, свидетельствует и М. И. Писарев:

«Я не забуду той сцены, которой был свидетелем, сидя однажды в его кабинете. Перед Некрасовым лежала гора рукописей. Возьмет одну рукопись, посмотрит начало, заглянет, минуя несколько листов, в середину, пробежит конец, и рукопись летит в сторону. Ту же самую процедуру он проделал и со второй рукописью, с третьей и т. д.

— Что это вы делаете? — спросил я.

— Прочитываю присланный материал,— ответил Некрасов.

— Да разве можно судить о произведении при таком отрывочном чтении?

— А вот прочтите-ка сами и скажите: хорошо это или плохо?

Я прочел одну из брошенных в сторону рукописей, и действительно: содержание было плоховато»[41].

Последнее, на чем следует остановиться для полноты характеристики редакторской деятельности Некрасова, это на его знании подписчика. Значительный опыт в этом отношении был приобретен Некрасовым уже в первой половине 40-х годов, когда им был издан ряд альманахов и сборников. По крайней мере, ко времени перехода в его руки «Современника» он лучше кого бы то ни было из своих друзей знал, чего хочет и чего ждет от журнала подписчик. Вот весьма характерный пример в этом отношении. В письме к Боткину от 29 января 1847 г. Белинский возмущается отсутствием такта у Некрасова, которое выразилось-де в том, что он не только не понял, но и позволил себе в неподобающем тоне отозваться о повести П. Н. Кудрявцева «Без рассвета», напечатанной в январской книжке «Современника». Менее чем через месяц Белинскому, однако, пришлось констатировать, «что повесть Кудрявцева никому не нравится», что она «не имела никакого успеха, откуда ни посмотришь — не то что бранят, а холодно отзываются» (письмо к Боткину от 17 февраля и к Тургеневу от 19 февраля 1847 г.). Таким образом, Некрасов, заботившийся, понятно, о том, чтобы первый номер «Современника» новой редакции был наиболее выигрышным, обнаружил в данном случае бо́льшую проницательность, чем Белинский.

С течением времени знание им читательской психологии должно было возрастать и возрастать, и он, мало-помалу, приобрел необыкновенное умение популяризировать свой журнал в широких кругах читающей публики. Об употреблявшихся им в этих целях приемах дают представление воспоминания Колбасина и Ковалевского, из которых первый имеет, главным образом, в виду «Современник» 50-х годов, а второй — «Современник» 60-х годов.

По словам Колбасина, Некрасов отнюдь не пренебрегал внешними, так сказать, способами воздействия на читателей: он был «большим мастером на объявления об издании журнала», книжки «Современника» выходили в свет «в изящной обложке сиреневого цвета с картинкой «Парижских мод» и искусно подстриженными повестями, стихотворениями, переводными статьями. Эта модная картинка очень характерна. Когда какой-нибудь близкий знакомый Некрасова подшучивал над таким странным прибавлением к серьезному журналу, поэт говорил: «Нельзя, отец, иначе. Ведь я знаю, что только мне вздумается исключить из моего журнала эту чушь, то „Современник“ сразу лишится половины своих подписчиков. Я не виноват, что у русской публики такие вкусы; вот подождите, „Современник“ пустит корни поглубже, тогда мы выбросим этот сор»[42]. Это обещание было впоследствии исполнено. Но главную причину успеха, сопровождавшего издание «Современника», следует, разумеется, видеть не в этих внешних приемах воздействия на публику, а в том, что Некрасов, по словам того же Колбасина, постоянно считался с ее мнением, дорожил им подчас «гораздо более, чем суждениями записных и признанных знатоков поэзии и изящных искусств», и, наконец, чутко прислушивался к новым веяниям. так как «по своей прогрессивной натуре не мог держаться рутины и обветшалых традиций»[43].

Ковалевский, со своей стороны, отмечает «знание Некрасовым вкусов читателей», благодаря которому он «никогда не ошибался в выборе рукописей: „читаться будет“, — скажет и напечатает. Смотришь, читают

точно» [44]. В результате редакторские таланты Некрасова, в связи с сочувственным отношением общества к той программе, которую отстаивал «Современник», способствовали беспримерному успеху журнала. «Только звон „Колокола" в Лондоне,— говорит Ковалевский,— в силах был покрывать собою „Свисток" „Современника", а руководящими статьями критическими, внутреннего обозрения и иностранной политики руководствовалось чуть не всё, от мала до велика, читающее общество» [45].

Редакторская работа Некрасова неотделима от его издательской деятельности. Лучшими, в смысле надежности и объективности, материалами для ее характеристики являются документы, которые сохранились в архиве конторы «Современника».

Первое, что бросается в глаза при ознакомлении с конторскими книгами «Современника», это — широко практиковавшаяся Некрасовым система авансирования сотрудников, которая в конце концов привела к крайнему обременению журнального бюджета. Заведывающий конторой «Современника» И. А. Панаев в своих воспоминаниях говорит, что «многим деньги выдавались вперед, в счет будущих работ, на неопределенное время, без всякого соображения с финансовым состоянием журнала. На замечания мои, что деньги расходуются несвоевременно и ставят издание в затруднение, Некрасов часто говорил, что если денег журнала не хватит, то для необходимых потребностей издания он даст свои собственные деньги, что неоднократно и делал... Разумеется, при этом не мало сделанных выдач не было записано: он или действительно не припоминал их, или не хотел вспоминать, и я имею основание думать, что не одна тысяча рублей осталась незаписанной. Почти всякому обращавшемуся деньги выдавались вперед... Вообще выдачи денег из кассы „Современника" делались в таких размерах, что у издателей ничего к концу года не оставалось... Резюмируя все, что было сказано мною касательно денежных отношений к литераторам „Современника", я скажу, что таких лиц, из помещавших свои работы в журнале, которые не остались бы должными „Современнику", очень мало, и что общая сумма долгов представляет крупную сумму» [46].

Картина, нарисованная в воспоминаниях И. А. Панаева, находится в полном соответствии с содержанием конторских записей и личных расписок, сохранившихся в архиве «Современника».

Вот несколько цифр, иллюстрирующих слова И. Панаева о задолженности большинства сотрудников «Современника». К 1 января 1864 г. долги сотрудников журналу достигли в своей совокупности нескольких десятков тысяч рублей. Из них наибольшие суммы приходились на долю Н. Г. Чернышевского (13 302 р. 78 коп.), Н. А. Добролюбова (5329 р. 25 коп.), Н. Успенского (2313 р. 55 коп.), Н. Г. Помяловского (1991 р. 17 коп.), Колбасина (644 р. 32 коп.), Григоровича (616 р. 50 коп.), Бекетова (601 р.), Слепцова (522 р. 22 коп.), Дрианского (450 р.), Пыпина (417 р. 8 коп.) и т. д. Так как часть писателей не имела возможности вернуть журналу деньги по обстоятельствам, от них не зависящим (ссылка, смерть), то в 1864 г. Некрасов распорядился списать долги с этих лиц. По счету Чернышевского было, таким образом, списано 14 354 р. 53 коп. (долг самого Николая Гавриловича 13 302 р. 78 коп. + 1051 р. 75 коп., забранные с января по июнь его женой, Ольгой Сократовной); по счету Добролюбова 6169 р. 25 коп. (долг Николая Александровича по январь 1864 г. 5329 р. 25 коп. + 840 р., выданные в течение 1864 г. учителю Юрьеву на воспитание братьев Добролюбова) и т. д. В этом же году было списано в убыток по счету умершего соредактора и соиздателя Некрасова Ив. Ив. Панаева 19 361 р. 36 коп. (долг Ив. Ив. 17 388 р. 68 коп. + 1972 р. 68 коп. вспоможения, выданного его матери Марии Акимовне Панаевой); по счету его вдовы Авдотьи Яковлевны — 5280 р. Неудивительно при

таких условиях, что баланс 1864 г. пришлось свести с дефицитом в 19 643 р. 37 коп.

Уменьшение числа подписчиков на 1310 (в 1864 г. их было свыше 5000, а в 1865 г. осталось около 4000), при тех же расходах и продолжавшемся, хотя и не в таком масштабе, как в 1864 г., списывании в убыток долгов сотрудников, помешало «Современнику» улучшить свое материальное положение в следующем году: баланс 1865 г. был сведен уже с дефицитом в 23 307 р. 43 коп.

Система широкого авансирования сотрудников, ложившаяся тяжелым бременем на бюджет журнала, обязана была своим происхождением,

ПАМЯТНИК ПЕТРУ I И ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР В ПЕТЕРБУРГЕ
Картина маслом В. И. Сурикова, 1870 г.
Русский музей, Ленинград

главным образом, инициативе самого Некрасова. Об этом, кроме цитированных выше воспоминаний И. А. Панаева, свидетельствуют десятки собственноручных записок Некрасова к нему, служивших последнему оправдательными документами при ведении денежной отчетности.

Однако авансирование сотрудников не было единственным средством, к которому прибегал «Современник» в целях облегчения материального положения работавших в нем литераторов. Указание И. А. Панаева в его воспоминаниях на то, что «Николай Алексеевич предугадал много талантов и многим своевременным пособием в трудное время дал возможность развиваться» [47],— подтверждается документами его архива. Из этих документов видно, что из кассы журнала «производились постоянные ежемесячные содержания» некоторым лицам. К числу их относятся, между прочим, Н. Г. Помяловский, В. Слепцов, Н. Успенский и др. [48]

Забота Некрасова о сотрудниках своих журналов видна также из размеров установленного им гонорара.

Вот сведения о полистной плате постоянных сотрудников «Современника» в конце 50-х годов. Известные беллетристы Островский, Толстой, Тургенев, Григорович, Салтыков-Щедрин, Потехин и В. И. Даль получали не менее 75 р. за лист, а нередко значительно больше. Так, Тургенев в 1856 г. получил 100 р. за лист (напр., за «Фауста», помещенного в № 10), в следующем, 1857 г.— 75 р. за лист (в № 3 была помещена его комедия «Чужой хлеб»), но зато имел долю в дивиденде. В 1858 г. Тургенев поместил в «Современнике» «Асю», за которую получил по 75 р. за лист. Но уже в 1859 г. ему был уплачен необычайно высокий по тем временам гонорар, в 4000 р., за «Дворянское гнездо» (в этой повести было менее 10 листов, таким образом Тургенев получил свыше 400 р. за лист).

Что касается Л. Н. Толстого, то он в 1857 г. за свою большую повесть «Юность» (9 л. 7 стр.) получил по 100 р. за лист, а за короткий, сравнительно, очерк «Из записок кн. Нехлюдова» — по 75 р. При этом надо заметить, что и Толстой, в свою очередь, пользовался в это время дивидендом.

Островский, также имевший право на получение дивиденда, как в 1857 г. (за комедию «Праздничный сон до обеда», в № 2), так и в 1858 г. (за комедию «Не сошлись характерами») получил по 100 р. за лист.

Салтыков-Щедрин дебютировал в «Современнике» в 1857 году рассказом «Жених» (в № 10), за который ему было уплачено по 100 р. за лист; а уже в 1859 году, когда материальное положение журнала улучшилось, он получил уже за «Развеселое житье» (№ 2) по 125 р. за лист. Очевидно, по той же причине и Потехину за этнографический очерк «Река Керженец» (№ 2) и за комедию «Новейший Оракул» (№ 3) было уплачено по 125 р. за лист.

Второстепенные беллетристы получали от 40 до 60 р. за лист.

Весьма важным в «Современнике» рассматриваемого периода являлся критико-библиографический отдел. В середине 50-х годов он находился всецело в руках Н. Г. Чернышевского. Его гонорар за статьи критические, библиографические и литературные, как, например, «Лессинг», определился в 1856 и 1857 гг. в 40 р. за печатный лист. В следующем году критико-библиографический отдел, по желанию самого Чернышевского, перешел к Добролюбову; Чернышевский же оставил за собой экономический и политический отделы. В связи с улучшившимся материальным положением журнала он уже получал по 50 р. за лист; по этой расценке была оплачена, например, его известная статья «О новых условиях сельского быта», в № 2, 1858 г. При суждении о размерах литературного заработка Чернышевского в «Современнике» 50-х годов надо иметь в виду, что уже в 1856 г. он заключил с Некрасовым условие, по которому ему назначалось постоянное жалование в размере 3000 р. в год за ведение определенных отделов журнала, чтение вторых корректур и за участие «в заготовлении материала и редакции журнала» [49]. Подобное условие, но относящееся уже к 1858 г., было найдено нами в архиве конторы «Современника»; оно оставляло ту же сумму жалования, но полистный гонорар был повышен с 40 до 50 р.

Добролюбов, начавший свое сотрудничество в «Современнике» статьями о «Собеседнике» (№ 8 и 9, 1856 г.), получил за них по 30 р. за лист. Так же были оплачены его статья «Несколько слов о воспитании» (№ 5, 1857 г.), последняя из статей, помещенных в «Современнике» студентом Добролюбовым, и статья о сочинениях гр. Сологуба (№ 7, 1857 г.). С сентября месяца гонорар Добролюбова был увеличен до 40 р. за лист, однако на этом уровне он продержался менее года, с мая 1858 г. он возрос до 50 р. за лист и таким оставался в течение всего 1859 г. При этом надо заметить, что в 1858 г. Добролюбову было установлено определенное жалование по 50 р. в месяц за чтение вторых корректур.

Приведенных цифровых данных достаточно, чтобы дать представление о размерах гонорара, выдававшегося «Современником». Следует отметить при этом, что помещение безгонорарных статей, обычное явление в журналистике первой половины XIX века, почти не практиковалось «Современником». Только в виде исключения, да и то очень немногие, статьи печатались в журнале даром. Решающую роль играла в этих случаях традиция — не оплачивать литературных дебютов. Об этом весьма определенно говорит Некрасов в одном из писем к Л. Н. Толстому: «в лучших наших журналах,— читаем мы здесь,— издавна существует обычай не платить за первую повесть начинающему автору, которого журнал впервые рекомендует публике».

Однако щедрое авансирование и сравнительно высокие гонорары еще не исчерпывают проявлений того заботливого и благожелательного отношения к материальным нуждам и потребностям основных сотрудников журнала, которого придерживался Некрасов. Известна его попытка привлечь четырех крупнейших сотрудников «Современника» — Толстого, Тургенева, Островского и Григоровича — к участию в «дивидендах». Подлинник договора, оформившего это участие, не сохранился в архиве конторы «Современника». Но его содержание легко восстановить по черновику найденного нами расчетного листа, определяющего размеры дивиденда в 1857 г. Договор устанавливал, что дивидендом следует считать доход от подписки сверх суммы, полученной от 3200 первых подписчиков (эта сумма должна была итти на покрытие расходов по изданию). Дивиденд было предположено делить на две части, причем первая часть в размере $^1/_3$ отходила на долю редакторов, т.е. Некрасова и Панаева; остальные же $^2/_3$ делились между Толстым, Тургеневым, Островским и Григоровичем (обязавшимися сотрудничать исключительно в «Современнике»), соответственно числу печатных листов, написанных каждым из них. Из общей суммы дивиденда должна была вычитаться стоимость расходов по изданию тех экземпляров журнала, которые шли на удовлетворение подписчиков сверх первых 3200. По данным конторы сверх 3200 на журнал в 1857 г. подписалось 785 человек, уплативших (подписная цена на журнал равнялась 15 р.) в общей сложности 10 990 р. Расход по напечатанию дополнительных экземпляров журнала был вычислен в сумме 4779 р. Таким образом, в пользу участников соглашения, считая редакторов, пришлось 6211 р.

Таким образом, Толстой, Тургенев и Григорович получили за каждый лист своих произведений, написанных в журнале, по 218 р. 40 коп. (143 р. 40 коп. дивиденда + 75 р. гонорара).

В 60-е годы Некрасов привлек к участию в дивиденде Чернышевского и Добролюбова. На каких основаниях состоялось их привлечение, мы не имеем точных сведений [50], но размеры полученного ими дивиденда были довольно значительны. Так, в конторских книгах «Современника» содержатся указания на то, что в 1861 г. Чернышевский и Добролюбов получили дивиденда по 5000 р. каждый.

После ареста Чернышевского к редактированию журнала, как мы знаем, были привлечены Антонович, Елисеев, Салтыков и Пыпин. В конце 1864 г. редакционная коллегия была пополнена Жуковским, который как бы заменил поступившего на государственную службу Салтыкова. Участие в составе редакции не только налагало известные обязанности, тождественные с теми, которые нес в свое время Чернышевский, но и давало право на получение постоянного жалования, иногда превышавшего сумму гонорара. По данным архива конторы «Современника», в 1865 г. М. А. Антонович из 4695 р. общего заработка собственно жалования получил 2400 р. (по 200 р. в месяц); А. Н. Пыпин из 3800 р. общего заработка жалования получил 2400 р. (по 200 р. в месяц).

В годы «Отечественных Записок» при распределении доходов, в свою очередь, широко применялся артельный принцип: доходы, получаемые от журнала, Некрасов делил теперь со своими соредакторами — М. Е. Салтыковым и Г. З. Елисеевым.

Чтобы дорисовать картину отношения Некрасова к журнальным доходам, сошлемся на следующее суждение И. А. Панаева из его воспоминаний: «Расчеты с участвующими в „Современнике" постоянными и случайными сотрудниками... производились так широко и нерасчетливо, что для текущих и необходимых расходов по изданию не раз встречались затруднения, вынуждавшие прибегать к займам. Затруднения устранялись иногда только благодаря субсидиям, даваемым Некрасовым из его собственных денег, полученных им из источников, посторонних журналу». Из последующего видно, что такими источниками Панаев считал доходы от издания стихотворений и карточные выигрыши. Соглашаясь, что можно быть различного мнения о том, насколько хорошо играть в карты, Панаев подчеркивает, что «деньги, выигранные Некрасовым у людей, которым не много стоило проиграть, были употребляемы уже гораздо лучше, чем деньги, выигранные многими другими. На деньги Некрасова немало поддерживалось неимущих людей, много развивалось талантов, много бедняков выходило из затруднительного положения»[51].

Сказанное И. А. Панаевым может быть подтверждено документальными данными, устанавливающими тот факт, что позаимствования из личных денег Некрасова в пользу кассы журнала делались иногда щедрой рукой и достигали крупных сумм.

Подводя итог изучению длинного ряда фактов, цифровых и документальных данных, извлеченных нами из архива конторы «Современника», необходимо сделать еще один вывод. Встречающиеся в мемуарной литературе и даже в современных исследованиях утверждения о якобы имевшей иногда место эксплоатации Некрасовым своих сотрудников являются не более как мифом или легендой. Возникла же эта легенда, с одной стороны, благодаря инсинуациям враждебно настроенных поэту людей, вроде Н. Успенского, с другой стороны — вследствие присущей Некрасову деловитости, столь отличавшей его среди других «людей сороковых годов», которым она была вовсе несвойственна и потому вызывала с их стороны иногда неверные истолкования и выводы.

Принимая ближайшее участие в ведении хозяйства журнала Некрасов действительно обнаруживал недюжинные коммерческие способности, которые проявлялись и в большом и в малом. Он никогда, например, не дал бы себя обсчитать и взять с себя лишнее типографии или бумажному фабриканту. Когда он видел, что с него запрашивают, он непрочь был и поторговаться. Вообще, считал своим долгом вникать во все подробности журнального хозяйства и соблюдать его выгоду. Характерна в этом отношении его записка к И. А. Панаеву, относящаяся, повидимому, к началу 1866 г.:

«Я тоже болен и не выхожу. Бумагу не берет менее как 2 р. 90 к.; мы так и порешили — еще на книги 2-ю и 3-ю, а там увидим; прошлогодняя же бумага по 2 р. 55 коп., менее не берет. Может быть, ты сшибешь у него по пятаку?..»

«Сшибать по пятаку» с цены, назначаемой торговцем, Некрасов считал для себя позволительным, но в сшибании пятаков у своего брата литератора неповинен. К такому выводу приводит изучение архива конторы «Современника», лишний раз доказывающее, что мертвый язык цифр и документов иной раз бывает самым веским и убедительным.

V. «ЖУРНАЛЬНЫЕ МОТИВЫ» В ПОЭЗИИ НЕКРАСОВА

Говоря о Некрасове, как о журналисте, невозможно обойти вопрос о связи его журнальной деятельности с его поэтическим творчеством. Этот вопрос был поставлен критикой еще при жизни поэта. Поставлен в плане резко полемическом. Авсеенко в большой статье, напечатанной в «Русском мире» (1874 г.), свою резко отрицательную оценку поэзии Некрасова построил на утверждении, что она — «поэзия журнальных мотивов», т. е. что она «постоянно искала сближения с господствующим

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К СТИХОТВОРЕНИЮ «СВАДЬБА»
Автолитография А. И. Лебедева, 1877 г., представлявшаяся в цензуру
На полях — пометка цензурного разрешения
Литературный музей, Москва

журнальным направлением, черпала из него свои силы и вдохновение...». А так как «господствующее журнальное направление», представленное в 40-е годы Белинским, а в 60-е годы Чернышевским и Добролюбовым [52], расценивалось критиком, как явление чрезвычайно «низменного уровня», то отсюда и вытекало его огульно отрицательное отношение к поэзии Некрасова. Оценка Авсеенко — махрового реакционера и литературного старовера — находится вне полемики. Но он, в известном смысле, прав, называя поэзию Некрасова «поэзией журнальных мотивов». Если «журнальными мотивами» считать те идеи, которые внесли в русскую жизнь великие революционные демократы Белинский, Чернышевский, Добролюбов, то поэзия Некрасова, конечно, «поэзия журнальных мо-

тивов», ибо он как поэт был выразителем того же направления русской общественной мысли. Конечно, не Белинский, не Чернышевский, не Добролюбов создали идейный облик поэзии Некрасова, его создала историческая закономерность эпохи во всем разнообразии своих экономических, социально-политических, культурно-бытовых факторов. Но Белинский, Чернышевский и Добролюбов являлись могущественными проводниками воздействия передовых идей эпохи на Некрасова. Работая многие годы в непосредственной и дружеской близости с «великими демократами», Некрасов укреплялся на тех именно идеологических позициях, благодаря которым он вошел в историю русской литературы и русского освободительного движения как великий и вдохновенный поэт-демократ. В качестве боевого товарища, единомышленника и друга Белинского, Чернышевского и Добролюбова, занимая вместе с ними руководящее место на журнальном посту, отражая нападки противников, нанося им сокрушительные удары, Некрасов постоянно находился в определенной, не только идейно-политической, но и психологической, атмосфере борьбы передового отряда революционной демократии с самодержавием и реакцией. Отсюда тот боевой, страстный, эмоционально-заразительный строй его лиры, благодаря которому песни его «ударяли по сердцам с неведомою силой».

Некрасов постоянно находился в курсе тех вопросов, которые приковывали к себе внимание передовых людей его эпохи, и с особою остротой воспринимал волнующие настроения того времени; одним словом, день ото дня переживал ряд впечатлений, неизбежно отражавшихся на нем и как на поэте. Его поэтические произведения, возникшие в атмосфере журнальной борьбы, прошедшие через ее горнило, должны были приобрести тот характер, который позволяет считать их образцами подлинной гражданской поэзии. Вне этой борьбы трудно, почти невозможно, представить себе Некрасова как поэта. И не только потому, что он художественно выражал в своем творчестве ту идеологию революционной демократии, главной лабораторией которой являлись его журналы, и не только потому, что журнальная борьба наложила яркий отпечаток на самый строй его лиры,— но и отчасти потому, что в его стихах мы постоянно встречаемся с непосредственными, конкретными «журнальными мотивами». Некрасов чаще, чем какой-либо другой поэт, разрабатывает темы и сюжеты, имеющие самое непосредственное отношение к журналистике его времени, насыщенной той самой журнальной борьбой, о которой только что говорилось. Мало того, эти темы и сюжеты освещаются под углом взглядов и настроений, характерных не просто для журналиста, а именно для журналиста такого типа, как Некрасов.

В советских изданиях стихотворений Некрасова, говоря точнее, во всех девяти изданиях однотомного «Полного собрания стихотворений» под редакцией К. И. Чуковского, введен особый раздел, озаглавленный: «Журнальные стихотворения». В последнем, девятом издании (1935) число стихотворений этого раздела равняется 20. Если сюда добавить ряд стихотворений из основного текста, а именно: «Н. Ф. Крузе» (1858), стихотворение «Газетная» (1865), 8 стихотворений цикла «Песен о свободном слове» (1865), «современную повесть» — «Суд» (1867), несколько строф из стихотворения «Недавнее время» (1871) и стихотворение «М. Е. Салтыкову» (1875),— то общее число журнальных стихотворений достигнет 34. Эта цифра достаточно выразительна, тем более, что приведенный перечень отнюдь не является исчерпывающим. В него, например, не вошли некоторые ранние произведения Некрасова, также относящиеся к «журнальным мотивам». Среди них первое место занимает: «Утро в редакции. Водевильные сцены из журнальной жизни» (1841) и «Почтеннейший» (глава 5-я II части романа «Жизнь и похождения Тихона Тросникова»).

Таким образом, «журнальные мотивы» проходят через все периоды творчества Некрасова — от самого раннего до самого позднего. Их совокупность свидетельствует и об исключительном знании Некрасовым различных сторон журнальной жизни, и о его умении ярко и красочно изображать их. Конечно, далеко не все произведения Некрасова, отнесенные нами к области «журнальных мотивов», равноценны как в художественном, так и в общественном отношении. Среди них есть вещи среднего достоинства. Но такие произведения, как «Почтеннейший», «Газетная», «Песни о свободном слове», принадлежат к лучшим образцам некрасовского творчества.

СЕМЕЙНЫЙ РАЗДЕЛ

Картина маслом В. М. Максимова, 1876 г.

Третьяковская галлерея, Москва

«Утро в редакции», написанное Некрасовым в самом начале своего литературного пути, относится еще к жанру «водевильных сцен». Главная их цель — рассмешить публику рассказом о том, как тяжко приходится редактору, который должен срочно изготовить и послать в типографию материал для завтрашнего номера газеты, от толпы назойливых посетителей, по большей части странных и комичных чудаков. Однако водевильный тон, в котором выдержано данное произведение, не затемняет отнюдь не водевильного отношения к литературе, проявляемого редактором газеты Семячко (ему приданы черты Федора Кони) и отчасти его сотрудником Пельским (Перепельский — псевдоним Некрасова-водевилиста). Семячко — «неподкупный» журналист; он пишет «по убеждению», он исполняет свое дело «честно и добросовестно»; литературе предан так, что ее отрицательные стороны, ее «ржавчины», «желал бы смыть кровью и слезами». Семячко имеет полное право сказать о себе: «Я — литератор, а не торговка с рынка. Я могу входить в спор литературный, где от стол-

кновения мнений может произойти польза для науки, искусства или словесности, но в торгашнические перебранки, порождаемые спекулятивным взглядом на литературу моих противников, я входить не могу и не намерен».

Среди «противников» Семячко первое место занимает Задарин (т. е. Булгарин). Он не фигурирует в «Утре в редакции» в качестве действующего лица, но его тлетворное влияние чувствуется повсюду. Задарин — один из тех литераторов, которого как человека, привыкшего торговать своим мнением, легко подкупить, легко задарить. И когда светский франт Буткин пытается уговорить Семячко, чтобы он расхвалил бездарную актрису, суля ему тысячу голландских сигар, дорогие французские часы, обед с шампанским у Кулона,— то здесь сказывается влияние задаринской практики. И когда актер Прыткой пытается вооружить Семячко против своего сотоварища по сцене и передает о нем всякие сплетни, то и в этом случае сказывается влияние культивируемых Задариным нравов.

Разоблачению Булгарина и всей представляемой им «охранительно-продажно-доносительной», по выражению Щедрина, журналистики Некрасов посвящает также ряд страниц в своем романе «Жизнь и похождения Тихона Тросникова» (1843).

Если в 3-й главе II части романа в плане не столько художественном, сколько публицистическом дана яркая характеристика журналистики 40-х годов, причем особое внимание уделено наиболее реакционным ее представителям — Сенковскому, Булгарину, Шевыреву, то в 5-й главе той же части уже в плане чисто художественном изображен Булгарин.

Сказанное о Булгарине в 3-й главе и его образ в 5-й замечательно дополняют друг друга. В 5-й главе, которая вместе с «Петербургскими углами» [53] является одним из высших достижений некрасовской прозы,— Булгарин показан не столько как реакционер, сколько как человек, дошедший до крайних ступеней душевной низости, одним словом, как «страшный негодяй и бездельник, который торгует своими мнениями, обманывает публику и обирает портных и сапожников, пишет за деньги похвалы кондитерам и сигарочным фабрикантам, гонит талант и поощряет бездарность...»

Разоблачению того же Булгарина Некрасов посвятил и одну из острейших своих эпиграмм — «Он у нас осьмое чудо» [54], напечатанную в 1845 г. в альманахе «Первое апреля».

В годы «мрачного семилетия» Некрасов, по цензурным условиям, не мог касаться наиболее актуальной для передовой журналистики темы о правительственной реакции и цензурном терроре. Он вернулся к этой теме позже, прежде всего в поэме 1855 г. «В. Г. Белинский» (в ее заключительной части) и в стихотворении 1871 г. «Недавнее время» [55]. А пока Некрасов поставил перед собой другую задачу: указать на те недостатки печати, которые не находились в слишком очевидной и прямой зависимости от реакции, хотя и были, в конечном счете, обусловлены ею. Об этих недостатках говорится в большом стихотворном диалоге «журналиста» с «подписчиком», озаглавленном «Деловой разговор».

«Подписчик» прежде всего высказывает недовольство отделом «Науки», статьи в котором, по его мнению, настолько специальны, что не представляют никакого общего интереса, как, например: «О роли петуха в языческом быту», «Значенье кочерги», «История ухвата» и т. д. Некрасов, несомненно, не просто сатирически высмеивает здесь чрезмерную специализацию статей с научной тематикой, а выступает против крохоборства и безидейности в науке.

Затем «подписчик» ставит «журналисту» в вину то, что в его журнале слишком много печатается переводов, и высказывается в пользу ориги-

ЗНАХАРКА.

Знахарка въ нашемъ живетъ околоткѣ:
На воду плюетъ, на гущѣ, на водкѣ
Да на какихъ-то гадаетъ травахъ,
Просто наводитъ, проклятая, страхъ!

Радости мало — пророчитъ все горе;
Вздумай бы плакать — наплакалъ бы море.

Да — Господь милостивъ! — нашъ-то народъ
Плакать не любитъ, а больше поетъ.

Что ни предскажетъ кому: разоренье,
Убыль въ семействѣ — всему исполненье!

Божій народъ къ ней гурьбою валитъ
И чудеса про нее говоритъ.

Молвила вѣдьма гордастому парню:
«Эй! угодишь ты на барскую псарню!»

И поглядятъ — черезъ мѣсяцъ всего
По лѣсу парень оретъ: ато-го-го!»

Дядѣ Степану сказала: «Кичишься
«Больно ты сивкой, а сивки лишишься,

«Либо своей головѣ пропадать!»
Стали Степана рекрутствомъ страшить —

Вывелъ коня на базаръ — откупился!...
Весь околотокъ колдуньѣ дивился.

«Сенька! и я понавѣдаюсь къ ней!»
Думаетъ старый мужикъ Пантелей:

«Больно народ-отъ ужь много толкуетъ:
«По-пусту знахарка на воду дуетъ,

«Или и вправь чудеса говоритъ?...»
Вотъ и пришелъ Пантелей — и стоитъ,

Ждетъ: у колдуньи была ужь дѣвица
Чудо не дѣвка! полна, краснолица.

Рядомъ съ ней парень — дворовый, кажись.
Знахарка дѣвкѣ: «ты съ нимъ не вяжись!

«Будетъ твоя особливая доля:
«Малыя слезы — и вѣчная воля!»

Дрогнулъ дворовый, а вѣдьма ему:
«Счастью не быть, молодецъ, твоему....

«ЗНАХАРКА»
Гранка с авторской корректурой Некрасова («Современник» 1860, ноябрь)
Институт литературы АН СССР, Ленинград

нальных произведений русских авторов. Высоким патриотизмом дышат следующие строки стихотворения:

Народности чужой неясные черты
Нам трудно понимать, не зная той среды,
В которой романист рисуется, как дома...
То ль дело русский быт и русское житье!
Природа русская... Жизнь русская знакома
Так каждому из нас, так любим мы ее,
Что как ни даровит роман ваш переводный,
Мы слабую ему статейку предпочтем,
В которой нам дохнет картиною народной,
И русской грустию, и русским удальством,
Где развернется нам знакомая природа,
Знакомые черты знакомого народа...

Наконец, «подписчик» упрекает «журналиста» в том, что в журналах чересчур много места отводится полемике, пустой и неимоверно грубой, вызываемой, главным образом, соображениями журнальной конкуренции.

В 50-е и 60-е годы, в связи со смягчением цензурного режима, а также в связи с обострением борьбы на идеологическом фронте, «журнальные мотивы» в поэзии Некрасова становятся все более и более частыми. Сотрудничая в «Свистке», Некрасов время от времени печатает в нем стихотворения, в которых на «журнальном материале» выражает свое глубокое скептическое отношение к «достижениям либерального прогресса».

Однако наибольшего развития, силы и остроты «журнальные мотивы» в поэзии Некрасова достигают в середине 60-х годов. Новый закон о печати (6 апреля 1865 г.), который преподносился либеральной печатью в качестве крупного достижения эпохи реформ, поставил журнально-газетные темы в центр общественного внимания. Некрасова же, кроме того и в первую очередь, новый закон интересовал с точки зрения тех новых условий, которые он мог создать для его журнала и собственной литературной деятельности.

На этой общественно-психологической почве возникли стихотворения «Газетная» и «Песни о свободном слове».

«Газетная» это — осиновый кол, вбитый в могилу старой цензурной практики. Некрасов знает, что не все цензоры — махровые реакционеры, находящие удовольствие в притеснениях отданной им «на поток и разграбление» литературы. Одного из либеральных цензоров, Н. Ф. Крузе, он еще недавно воспел «как доблестного гражданина», объявившего войну «слугам не родины, а царского семейства», способствовавшего тому, что

...до бедного народа
Дошли великие слова:
Наука, истина, отечество, свобода,
Гражданские права.

Но Некрасов знал, что в царской цензуре люди, подобные Крузе,— не общее правило, а исключение. Да и воспевать Крузе ему пришлось только после его увольнения, лишний раз показавшего, что либеральным цензорам не место в цензурном ведомстве. Обстоятельствами вынужденной отставки Крузе, несомненно, и объясняется та преувеличенная оценка его общественных заслуг, которая содержится в стихотворении. Когда же Некрасов задумал дать читателю представление о царском цензоре обычного, так сказать, типа, он создал (1863) такой образ [56]:

О, как желал бы я служить
Начальником цензуры!
Конечно, не затем, чтоб быть
Бичом литературы,
А так — порядок водворить.

Вот тут-то было б писку!
Пришлось бы многим прекратить
Журнальную подписку.
Я б их, как ураган, застиг
В открытом чистом поле,
Совсем бы не являлось книг
По месяцу и боле.
И я воскликнул бы, поправ
Их наглую свирепость:
«Узнайте мой ужасный нрав
И мощь мою — и крепость!»[57]

НЕКРАСОВ В ЧУДОВСКОЙ ЛУКЕ
Акварель К. И. Горбатова, 1921 г.
Институт литературы АН СССР, Ленинград

Однако наиболее сильный удар по цензуре «доброго старого времени» нанесен был Некрасовым в 1865 г., в стихотворении «Газетная». Оно появилось в № 8 «Современника» за 1865 г., т. е. в первой «бесцензурной» книжке журнала. Еще было не ясно, что̀ ждет печать при новом законе, но Некрасов не мог удержаться, чтобы не воспользоваться первой представившейся возможностью высказать свои мысли о цензуре и ее аргусах. Образ старого цензора в этом стихотворении — может быть, самый яркий образ цензора в русской поэзии, если не считать пушкинских образов в «Посланиях к цензору».

Некрасов наделяет своего «цензора» в «Газетной» убеждением в том, что, исполняя свои обязанности, он делает нужное и полезное дело, а потому достоин полнейшего уважения. Это — цензор-фанатик. Все его мысли сосредоточены на том, чтобы не пропустить никакого «канупера»[58]. Он до крайних пределов развил в себе способность проникать в тайный смысл читаемого, причем этот тайный смысл, сплошь да рядом, чудится ему там, где его вовсе нет.

Элементы гротеска в созданном Некрасовым сатирическом образе не мешают ему быть вполне реалистическим художественным изображением царских цензоров типа Красовского и Фрейганга.

Новому «либеральному» закону о бесцензурной печати Некрасов посвятил свои «Песни о свободном слове». Несмотря на то, что каждое из стихотворений этого цикла и по содержанию и по форме имеет как бы самостоятельный характер и задание, они, подчиняясь единому замыслу, бьют в одну и ту же цель.

В «Литераторах», четвертом стихотворении цикла, изображается отношение к новому закону трех литераторов, которые в автографе именовались: «Писцов, Дворянчиков, Кутьин». К. И. Чуковский справедливо усматривает в подборе фамилий стремление Некрасова указать на то, что литераторы, принадлежащие к различным социальным слоям, относятся к реформе по-разному: литераторы из чиновников (Писцов) и из помещиков (Дворянчиков) восторженно приветствуют валуевский «либеральный» закон о печати; литераторы-разночинцы, демократы (Кутьин) настроены в отношении к нему выжидательно и недоверчиво.

Шестая «Песня» — самая крупная по размерам — носит название «Публика». Речь идет об отношении к демократической и либеральной печати «публики», состоящей из крепостников и реакционеров. Некрасов изображает эту публику в состоянии взволнованности и тревоги. Уничтожение Валуевым предварительной цензуры кажется ей чуть ли не революцией, и она взывает к власти:

Цензура, воспрянь!
Что ж это смотрит Валуев?
Все пошатнулось... О, где ты
Время без бурь и тревог?..

Однако всем содержанием стихотворения Некрасов дает понять, что Валуев неповинен в сколько-нибудь снисходительном отношении к печати, и, как бы в подтверждение, весьма прозрачно намекает на ряд статей в различных журналах, в том числе и в «Современнике», за которые были объявлены предостережения. Смысл стихотворной сатиры Некрасова в том, что реакционеры и крепостники не имеют оснований унывать,— и при новом законе печать несвободна и всецело зависит от произвола властей.

Стихотворение «Осторожность»,— седьмая «Песня о свободном слове»,— говорит, что не только административные кары угрожают писателю, но и судебные (новый закон о печати предусматривал, кроме объявления предостережений, и возбуждение судебного преследования):

Тисни, тисни! есть возможность,—
А потом дрожи суда...
Осторожность, осторожность,
Осторожность, господа!

Невиннейший факт, оглашенный в печати, может дать повод к судебному обвинению то в «оскорблении начал брачного союза», то в посягательстве на «родительский принцип», то в неуважении к религии, то в натравливании «бедных на богатых».

Таким образом, если в четвертой «Песне о свободном слове» мы встречаемся с проявлением иронии и недоверия в отношении нового закона, то в шестой и седьмой «Песнях» поэт выражает свое презрение к очередному обману царского правительства, которое своим либеральным законом не только не улучшило положения печати, а скорее отягчило, усложнило его.

Несколько позже «Песен о свободном слове» Некрасов напишет поэму «Суд», навеянную судебным процессом, возбужденным против Пыпина как

редактора публицистического отдела «Современника» и Ю. Г. Жуковского как автора статьи «Вопросы молодого поколения», напечатанной в номере 3-м «Современника» за 1866 г. Процесс этот, как известно, закончился присуждением каждого из обвиняемых к сторублевому штрафу и к трехнедельному заключению на гауптвахте.

Обзор «журнальных мотивов» в поэзии Некрасова показывает, что сатирические, отрицательные образы доминируют в этом разделе его поэзии. Иначе и не могло быть. Подобно всем писателям прошлого Некрасов жил и творил в условиях политического гнета и бесправия самодержавия. Ему не суждено было увидеть свободное русское слово, вольную журнальную трибуну, о чем он так страстно мечтал. Но ненависть великого поэта-демократа к «палачам слова» и «угнетателям мысли», воплощенная в его стихотворениях, посвященных положению современной ему печати, являлась одной из революционных сил его творчества. Эта сила действовала не только в направлении разрушения того строя, который веками держал в оковах русское слово и мысль, но и одновременно в направлении подготовки почвы для их будущего освобождения.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Н. Михайловский, Литературные воспоминания и современная смута. СПб., 1900, 81.

[2] Незнакомец ‹А. Суворин›, Недельные очерки и картинки.—«Новое Время» 1878, № 662.

[3] «Шестидесятые годы» (Воспоминания М. А. Антоновича и Г. З. Елисеева), изд. «Academia» 1933, 187—188.

[4] Н. Чернышевский, Литературное наследие, М., 1930, III, 351—352.

[5] У Некрасова была возможность получить для «Современника» всего «Обломова», но он уклонился от борьбы за право помещения романа в своем журнале, ибо, по его выражению в письме к И. С. Тургеневу от конца сентября 1858 г., «прелестнейший обед в тюремном замке должен несколько потерять» (Некрасов, Собрание сочинений, М.— Л., 1930, V, 237). Это значило, что Некрасов не считал желательным участие в «Современнике» одного из надсмотрщиков «тюремного замка» (намек на службу Гончарова в цензуре), хотя бы этот надсмотрщик умел изготовлять «прелестнейшие обеды». Впрочем, столь ригористическое отношение к сотрудничеству писателя-цензора не помешало «Современнику» дать высокую оценку «Обломову» в известной статье Добролюбова.

[6] О роли, сыгранной Г. М. Толстым при организации «Современника» см. в настоящем томе работу: К. Чуковский, Григорий Толстой и Некрасов. К истории журнала «Современник».

[7] В. Евгеньев-Максимов, «Современник» при Чернышевском и Добролюбове, Л., 1936, 399—412.

[8] Снижение тиража падает на 1849—1853 гг., т. е. на наиболее реакционный период «мрачного семилетия». В годы Крымской войны наблюдается некоторое увеличение тиража, не превышающее, однако, 3500 экз.

[9] Наличие нескольких цифр в отношении каждого года объясняется тем, что тираж журнала не был одним и тем же в течение всех 12 месяцев: он колебался по месяцам в связи с приливом и отливом подписчиков. Впрочем, эти колебания были невелики и обычно не превышали несколько сот экземпляров.

[10] По «неведомой» потому, что о последовавшем запрещении «Альманаха» подписчики ничего не знали, а редакция лишена была возможности оповестить их об этом.

[11] См. текст удостоверения в кн.: В. Евгеньев-Максимов, Некрасов как человек, журналист и поэт, М.—Л., 1928, 220—221.

[12] М. Лемке, Николаевские жандармы и литература. СПб., 1908, 201.

[13] Министра народного просвещения Е. П. Ковалевского, проявлявшего некоторый либерализм.

[14] И. В. Делянов в 1860 г. был назначен членом Главного управления цензуры.

[15] Н. В. Медем — тогдашний председатель С.-Петербургского цензурного комитета.

[16] См. об этом: В. Евгеньев-Максимов, Роман «Что делать?» в «Современнике».— Сб. «Н. Г. Чернышевский», изд. Ленингр. Госуд. Университета, Л. 1941.

[17] 10 ноября 1865 г. «Современник», согласно новому закону, получил первое предостережение, а 4 декабря того же года — второе.

[18] Новые материалы, относящиеся к этой форме борьбы Некрасова за журнал, публикуются в настоящем томе в статье: Б. Папковский и С. Макашин, Некрасов и литературная политика самодержавия.

[19] О данном эпизоде в цензурной истории «Отечественных Записок» см.: В. Евгеньев-Максимов, История одного цензурного auto da fe.—«Книга и Революция» 1921, XII.
[20] Н. Михайловский, цит. соч., 66.
[21] «Шестидесятые годы», цит. соч., 187.
[22] П. Ковалевский, цит. соч., 275.
[23] «Шестидесятые годы», цит. соч., 403—404.
[24] П. Ковалевский, цит. соч., 293—294.
[25] Н. Михайловский, цит. соч., 72.
[26] «Шестидесятые годы», цит. соч., 197.
[27] Там же, 200.
[28] А. Пыпин, Некрасов, СПб., 1905, 45—46.
[29] [М. Антонович и Ю. Жуковский], Материалы для характеристики современной русской литературы, СПб., 1869.
[30] Н. Михайловский, цит. соч., 72.
[31] «Шестидесятые годы», цит. соч., 202.
[32] А. Пыпин, цит. соч., 227.
[33] Н. Михайловский, цит. соч., 72.
[34] П. Ковалевский, цит. соч., 293.
[35] «Шестидесятые годы», цит. соч., 395.
[36] П. Ковалевский, цит. соч., 294.
[37] См. ст. Е. Ляцкого в «Современном мире» 1911, кн. 9.
[38] «Шестидесятые годы», цит. соч., 226.
[39] Там же, 201—202.
[40] В. Евгеньев-Максимов, Черты редакторской деятельности Н. А. Некрасова в связи с историей его журналов.—«Голос Минувшего», 1915, XI.
[41] «Петербургская Газета» 1902, 6 декабря.
[42] Е. Колбасин, Тени старого «Современника».—«Современник», 1911, VIII.
[43] Там же.
[44] П. Ковалевский, цит. соч., 276.
[45] Там же, 278.
[46] В. Евгеньев, Н. А. Некрасов. Сб. статей и материалов, М., 1914, 128—137.
[47] Там же.
[48] Н. Успенский, как мы знаем, обнаружил удивительную неблагодарность в отношении Некрасова. Клеветнические обвинения Н. Успенского («Развлечение», 1888, №№ 20—21) были документально опровергнуты И. А. Панаевым («Новое Время», 1889, 18 января).
[49] Это условие приведено Е. Ляцким в его статье в «Современном мире» 1911, кн. 9.
[50] Не имеем точных данных, в том смысле, что не найдено «условие» (договор), определяющее основания состоявшегося соглашения. О том же, что соглашение состоялось, говорится в письмах Чернышевского к Добролюбову от 14—16 декабря 1860 г., 21 января и 3/15 мая 1861 г. В письме от 21 января сказано: «Мы порешили с Некрасовым делить доход с «Современника» на 4 части — Вам, мне, Некрасову, Панаеву...»
[51] В. Евгеньев, Н. А. Некрасов. Сб. статей и материалов, М. 1914, 136.
[52] В статье Авсеенко имя Белинского было упомянуто, имена же особенно ему ненавистных Чернышевского и Добролюбова упомянуты не были, хотя, без сомнения, именно их он постоянно имеет в виду.
[53] Напоминаем, что «Петербургские углы» не что иное, как одна из глав того же романа о Тросникове.
[54] О принадлежности этой эпиграммы Некрасову в свое время велся спор: высказывалось мнение, что она принадлежит А. И. Кронебергу. В этом споре мы разделяем точку зрения К. И. Чуковского, утверждающего, что автором эпиграммы надо считать Некрасова.
[55] На строфы из «Недавнего времени», изображающие разговор автора с шефом жандармов, уже указывалось выше. Кроме того, реакция 1848 г. изображена в стихотворении еще в ряде других отрывков, из которых наиболее замечательный («Знал я старца...») ярко рисует образ одного из доносчиков, непомерно расплодившихся в ту пору.
[56] См. стихотворение «Мое желание», впоследствии введенное Некрасовым в текст большого стихотворения «Из автобиографии генерал-лейтенанта Рудометова 2-го».
[57] «Крепость» — игра слов, содержащая намек на Петропавловскую крепость.
[58] Канупер — сильно пахнущее растение. Слово используется здесь метафорически для «эзоповского» обозначения одиозных, с точки зрения цензуры, мнений в статьях.

НОВЫЕ И НЕСОБРАННЫЕ ТЕКСТЫ НЕКРАСОВА

АВТОБИОГРАФИИ НЕКРАСОВА

I. АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ НАБРОСКИ, ВОСПОМИНАНИЯ И ЗАМЕТКИ НЕКРАСОВА.— АВТОБИОГРАФИЯ НЕКРАСОВА, ЗАПИСАННАЯ ДЛЯ М. И. СЕМЕВСКОГО.— ИЗ ДНЕВНИКОВ НЕКРАСОВА.

II. ИЗ ДНЕВНИКОВ И ВОСПОМИНАНИЙ А. А. БУТКЕВИЧ. ПРИЛОЖЕНИЯ. А. А. БУТКЕВИЧ, НАБРОСКИ БИОГРАФИИ НЕКРАСОВА.— Н. В. ГЕРБЕЛЬ, Н. А. НЕКРАСОВ.— М. М. СТАСЮЛЕВИЧ, Н. А. НЕКРАСОВ.

III. ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ А. Н. ПЫПИНА.— В. А. ПАНАЕВ, ВОСПОМИНАНИЯ.— А. С. СУВОРИН, НЕДЕЛЬНЫЕ ОЧЕРКИ И КАРТИНКИ. С. Н. КРИВЕНКО, ИЗ РАССКАЗОВ Н. А. НЕКРАСОВА.

Публикация В. Евгеньева-Максимова и С. Рейсера

Творчество Некрасова богато автобиографическими элементами. Они имеются в значительном количестве уже в прозе Некрасова, т. е. в произведениях, относящихся к первому периоду его литературной деятельности. Для многих страниц таких произведений, как «Жизнь и похождения Тихона Тросникова», «Без вести пропавший пиита», «Тонкий человек» и «Каменное сердце», исследователями давно уже установлен ряд бесспорных и порою очень точных соответствий художественного текста с реальными биографическими фактами. Еще характернее в этом смысле стихи Некрасова. Исследователь никогда не решился бы безоговорочно интерпретировать биографически стихи поэта. Однако оказывается, что сам Некрасов часто прибегал к биографической интерпретации своих лирических стихов.

Рассказывая о судьбе грешневской усадьбы и о своем отце, он дважды вводит в текст автобиографии цитаты из «Родины» (1846); так же использованы строки из стихотворения 1855 г.—«На родине», из стихотворения 1860 г. — «Деревенские новости». Собственное развитие поэта им же иллюстрируется его детскими стихотворениями и обширными цитатами из стихотворения «Сыны народного бича...» (1870).

Нет надобности, однако, ограничиваться биографической интерпретацией стихов и прозы Некрасова, когда в распоряжении исследователей есть подлинная автобиография поэта. Первые ее замыслы относятся к 1855 г., когда, тяжело заболев, 34 лет отроду, Некрасов, в ожидании близкой смерти, задумал писать свою автобиографию, уже не в виде рассказа и не в стихах, а в откровенной форме мемуаров.

Об этом читаем в письме к Тургеневу от 30 июня: «Стихи, впрочем, слишком расшатывают мои нервы, и я теперь придумал для себя работу полегче, и хочу, по этому поводу, спросить твоего совета. Мне пришло в голову писать для печати, но не при жизни моей, свою автобиографию, т. е. нечто вроде признаний или записок о моей жизни — довольно обширном размере. Скажи: не слишком ли это, так сказать, самолюбиво. Впрочем, я думаю прислать тебе начало: тогда ты лучше увидишь, может ли это быть пригодно: главное в том, что эта работа для меня легка...»[1]

Тургенев горячо одобрил мысль Некрасова. 10 июля 1855 г. он отвечал: «Вполне одобряю твое намерение написать свою автобиографию: твоя жизнь именно из тех, которые, отложа всякое самолюбие в сторону, должны быть рассказаны — потому что представляют много такого, чему не одна русская душа глубоко отзовется»[2].

Осуществить этот план Некрасову не пришлось. «Начало», о котором он писал Тургеневу, послано ему не было и, вероятно, не было и написано. Однако мысль об авто-

биографии не оставляла Некрасова и в следующие годы. Он охотно согласился на просьбу М. И. Семевского в 1872 г. сообщить рассказ о своей жизни и продиктовал его присланной Семевским сотруднице. Приблизительно в это же время Некрасов просматривает свою биографию, составленную Н. В. Гербелем для своей хрестоматии.

Незадолго до смерти Некрасов рассказывает отдельные эпизоды своей жизни С. Н. Кривенко,— записаны они были последним по памяти вскоре после смерти Некрасова.

Наконец, в феврале или в начале марта 1877 г. поэт соглашается, по просьбе М. М. Стасюлевича, авторизовать подготовляемую для «Русской Библиотеки» свою биографию.

По этому поводу Щедрин в свойственной ему ворчливой манере писал П. В. Анненкову: «А он-то ⟨Некрасов⟩, в предвидении смерти, все хлопочет, как бы себя обелить в некоторых поступках. Я же говорю: вот шесть томов, которые будут перед потомством свидетельствовать лучше всяких обличений „Русской Старины"»[3].

В напряженном желании облегчить свою душу и сказать правду о себе чувствовалось постоянное ощущение неисполненного долга, вины — мнимой или действительной. Эту черту имеет в виду В. И. Ленин, говоря о том, что Некрасов «сам же горько оплакивал свои грехи и п у б л и ч н о к а я л с я в них» [4].

Своеобразной формой автобиографии являются для Некрасова и его многочисленные рассказы о своей прошлой жизни, которые в таком обилии зарегистрированы мемуаристами. Даже с людьми, мало ему знакомыми, Некрасов легко начинал рассказы о себе.

Так, например, впервые посетив (вероятно, в 1861 г.) П. В. Быкова, Некрасов «кратко начал передавать ⟨ему⟩ эпизоды тех лет, когда он приехал в Петербург, работал за гроши, очутился в роли чернорабочего строчилы на все руки и маялся изо дня в день»[5].

Тот же Быков рассказывает о том, как «Некрасов несколько раз обещал» редактору журнала «Северный Цветок», Ф. А. Зиновьеву, «начать повествование о своих злоключениях в юношеские годы, начинал и не кончал, срываясь с места и отзываясь недосугом. А когда, наконец, исполнил обещание, то разошелся, делал отступления, впивался взглядом в лицо собеседника, точно хотел узнать, какое впечатление произвел на него этот печальный рассказ, и уснащал его возгласами: «Так-то, отец... Трудно поверить!» А в заключение закрыл лицо руками и долго оставался в этом положении»[6].

Воспоминания А. Н. Пыпина, В. А. Панаева, А. С. Суворина, Е. Я. Колбасина, Н. В. Успенского и др. полны такого рода рассказов. Из них в настоящей публикации воспроизводятся записи трех первых из названных авторов. Эти записи передают в прямой или косвенной форме автобиографические рассказы поэта. Достоверность этих записей подтверждается рядом сопоставлений и справок (см. примечания). Этот материал существенно пополняет рассказы самого Некрасова. Сюда же примыкают и публикуемые впервые страницы рассказов Некрасова, записанные С. Н. Кривенко. Не включены, вследствие их недостоверности, рассказы Н. В. Успенского в его книге «Из прошлого» (М., 1889) и в «Иллюстрированной Газете» (1878, № 6, от 5 февраля, 46—47: «Воспоминание о Н. А. Некрасове. Письмо в редакцию»). Не заслуживает доверия и рассказ Е. Я. Колбасина («Тени старого «Современника».—«Современник» 1911, № 8), представляющий собою вольную контаминацию беллетристической прозы Некрасова с ходившими о нем многочисленными сплетнями. Биографический очерк А. Михайлова, напечатанный во 2-м выпуске издания Баумана «Русские современные деятели» (СПб., 1877), является, как это было в свое время показано Стасюлевичем, по преимуществу плагиатом текста «Русской Библиотеки» [7].

С особенной силой желание составить свою автобиографию проявилось у Некрасова во время предсмертной болезни. С. Н. Кривенко рассказывает, как незадолго до смерти Некрасов обратился к нему и Н. К. Михайловскому со следующим предложением: «...Приходите ко мне и записывайте, что̀ я буду говорить; много интересного... Только вот беда: кричу я иногда от боли по целым дням, так что часов определенных никак нельзя назначить. Трудно это вам, пожалуй, покажется: придете, а я как раз в эту самую минуту ору на весь дом так, что, может быть, несколько раз придется приходить, пока выберется часок-другой свободный...». Далее Кривенко сообщает, что план Некрасова не осуществился: «Переглянулись мы с Н. К. ⟨Михайловским⟩, да тем все и кончилось» [8]. Кое-что из рассказов Некрасова Кривенко записал уже впоследствии.

Ни Кривенко, ни Михайловский не были особенно близки к Некрасову, и не знали о том, что свое желание он отчасти осуществил. Несколько заметок Некрасов написал сам — они оформлены в виде дневника; ему удалось самому набросать для памяти и два-три плана, конспекты дальнейших рассказов и один небольшой отрывок; однако огромное большинство публикуемых набросков было продиктовано Некрасовым его близким, ухаживавшим за ним во время болезни. Некрасов имел в виду продиктованные отрывки просматривать и исправлять, но и это намерение ему удалось осуществить лишь для первого наброска, в дальнейшем же следует невыправленный диктант,— этим и объясняются (как и ослаблением памяти больного) отмеченные в примечаниях различные неточности или ошибки. Все публикуемые отрывки уже внешним видом своим свидетельствуют о том, что перед нами неперебеленный диктант. Переписка набело, очевидно, должна была производиться после соответствующей правки Некрасовым набросков, но до этой стадии обработки он дойти не успел, торопясь продиктовать побольше. Очень точно описывает работу Некрасова над автобиографией почти ежедневно посещавший его приятель и врач Н. А. Белоголовый.

В своей статье «Болезнь Н.А. Некрасова» он сообщает, что приблизительно в январе — феврале 1877 г. поэт «под влиянием наплыва... воспоминаний... остановился на мысли составить свою биографию и лихорадочно приступил к этому таким образом: частью он диктовал сам, пользуясь всяким свободным от боли часом, то брату Константину Алексеевичу, то сестре Анне Алексеевне, иногда даже ночью будил их и заставляя писать под свою диктовку...» [9]. Это свидетельство Белоголового позволяет достаточно уверенно датировать издаваемые наброски первыми месяцами 1877 г.; более точная датировка отдельных частей затруднительна.

Этими соображениями определяется и установленный порядок расположения набросков. Они расположены таким образом, чтобы, по возможности, составить связный и последовательный рассказ. Из написанных ранее частей сюда же для полноты введены заново проверенные и дополненные) относящиеся к 1869 г. четыре черновых наброска письма Некрасова к Салтыкову по поводу появившихся в том году в «Вестнике Европы мемуаров Тургенева о Белинском. Эти наброски являются воспоминаниями Некрасов о начальном периоде его литературной деятельности и органически входят в состав автобиографии. Наконец, в текст автобиографии введены и те наброски, автографы которых ныне утрачены или неизвестны, но были в свое время в распоряжении исследователей (А. М. Скабичевского, А. Ф. Кони, В. Е. Евгеньева-Максимова) [10].

К материалам собственно автобиографии Некрасова тесно примыкают составившие вторую часть публикации дневники и воспоминания его сестры А. А. Буткевич, самоотверженно ухаживавшей за братом в 1876—1877 гг. Эти материалы, с одной стороны, пополняют сведения о юношеских годах Некрасова (отношения с крестьянами, с отцом, охота и т. д.), с другой — сообщают ряд важных и интересных подробностей о последних месяцах жизни поэта: о борьбе за «Пир на весь мир», за «Последние песни», о посещении Ф. М. Достоевского, помешанного студента Будде и т. д. Рассказы Буткевич о ее визите к председателю С.-Петербургского цензурного комитета А. Г. Петрову, о его визите к Некрасову, о посещении Салтыковым поэта и т. д. являются почти единственным источником биографии Некрасова в последние месяцы его жизни и ярко характеризуют предсмертную борьбу поэта с царской цензурой.

Гораздо меньшую ценность представляют наброски биографии Некрасова, составлявшиеся А. А. Буткевич, вероятно, в начале 1878 г., сразу же после смерти Некрасов. В примечаниях показан своеобразный метод ее работы: подлинные рассказы поэта Буткевич нередко пересказывала в третьем лице от своего имени, лишь иногда сопровождая их словами, вроде «брат рассказывал...» и т. д. При этом она «редактировала» текст брата, смягчая и сглаживая его или иногда вводя от себя те или иные подробности. Именно этим текстом пользовался Скабичевский, а вслед за ним и другие биографы Некрасова до самого последнего времени, и лишь теперь возможно точно воспроизвести текст самого поэта.

Неожиданную и большую трудность составили биографические справки о мест и времени первой публикации того или другого отрывка. Разыскания осложнялись тем обстоятельством, что в печати сплошь и рядом появлялись отдельные отрывки

фразы и даже слова в составе различных статей и без каких-либо ссылок. Возможно поэтому, что некоторые из библиографических справок о первой публикации текста неточны и будут впоследствии исправлены; здесь дан итог библиографических разысканий, так сказать, в его первом приближении [11].

* * *

Автобиографические записи, или заметки, Некрасова, известные до сих пор лишь в неполных и недостоверных по тексту публикациях и впервые появляющиеся ныне в полном и реконструированном, по мере возможности, виде*, представляют источник большой важности и интереса. Такое значение источника определяется прежде всего обилием содержащихся в нем фактических материалов для биографии поэта. Но содержание записей шире и глубже их фактографической ценности, как ни значительна она сама по себе. Заметки писались, точнее диктовались, Некрасовым тогда, когда он умирал и знал, что умирает. Предсмертные, глубоко искренние и правдивые высказывания поэта о своей жизни дают возможность глубже заглянуть в нее и отчетливо увидеть основные черты духовного облика Некрасова.

Первое, что обращает внимание читателя заметок,— это отношение Некрасова к народу — отношение, которое заставляет видеть в демократизме Некрасова не только и даже не столько систему взглядов, выработанных чисто интеллектуальным путем, сколько глубокое, органически возникшее и органически развившееся общественно-политическое настроение. С этой точки зрения особенно интересна первая группа отрывков.

Шестидесятые годы. Некрасов — в Грешневе. Перед ним — пожарище его родного гнезда. Из беседы с местными крестьянами выясняется, что дом загорелся «в ясную погоду при тихом ветре». Пожар легко было потушить, но из местных жителей никто не хотел этого сделать. Можно предположить, что пожар возник в результате поджога, и уже совершенно несомненно, что нежелание грешневцев тушить огонь свидетельствовало о том, что пожар дома, где жило несколько поколений помещиков, скорее должен был обрадовать их, чем опечалить. Каково же отношение Некрасова к гибели родового гнезда и к обстоятельствам, сопровождавшим эту гибель?

Он рассказывает об этом событии в эпически бесстрастном тоне, не проявляя по этому поводу никакого огорчения. Ни слова упрека ни тем, кто поджигал, ни тем, кто не хотел тушить. Наоборот, чувствуется, что Некрасов в известной мере солидарен с грешневцами в том, что иной участи «гнездо» и не заслуживало. А чтобы искренне проникнуться таким настроением, нужно было не только до конца изжить в себе дворянина, помещика, но и нужно было выработать в себе такие взгляды, которые позволили бы взглянуть на происшествие не со стороны и не господскими, а мужицкими глазами, глазами «мужицкого демократа» (Ленин).

Необыкновенной теплотой проникнуто обращение Некрасова к грешневским детям, «беловолосым ребятишкам» (в первом отрывке), заставляющее вспомнить такие стихотворения, как «Крестьянские дети».

Глубина и органичность демократизма Некрасова, искренность его ненависти к крепостничеству, как к вековой кабале русской народной жизни, сказываются и в том отрывке, где он с чувством гордости и удовлетворения заявляет: «Судьбе угодно было, чтобы я пользовался крепостным хлебом только до шестнадцати лет, далее я не только никогда не владел крепостными, но будучи наследником своих отцов, имевших родовое поместье, не был ни одного дня даже владельцем клочка родовой земли».

Наравне с глубокой и искренней любовью Некрасова к народу автобиографические заметки позволяют судить еще об одной важной черте его духовного облика. Некрасов был человек суровой моральной требовательности к себе, человек на-редкость чуткой

* В нашей публикации использованы все сколько-нибудь существенные варианты рукописей, опущены лишь мелочи, не имеющие никакого значения для понимания текста.

совести. Эта требовательность заставляла его иногда предъявлять себе упреки и в такого рода поступках, которые объективно не содержали в себе никакой моральной вины.

В одной из заметок Некрасов кается, например, в якобы несправедливых стихотворных обличениях по адресу своего отца-крепостника, деспота и самодура («Я должен снять с души моей грех...» и т. д.). Смысл сказанного здесь Некрасовым сводится к тому, что он, имея нравственное право обличать отца за его «личные черты, характер, семейные отношения», не должен был обличать его как «крепостника» на том основании, что крепостничество Алексея Сергеевича Некрасова всецело объясняется условиями эпохи, в которую он жил. «Чем же другим мог быть тогда мой отец?»— спрашивает Некрасов и добавляет: «Я побивал не крепостное право, а его лично».

Но в этом именно утверждении и коренилась ошибка. Ставя вопрос таким образом, Некрасов упускал из виду, что обличения отца-крепостника в его творчестве, данные в образах широкого, типического значения, художественно обобщавшие наиболее мрачные стороны крепостничества вообще, полностью выводили эти обличения за пределы биографических реалий и «побивали» именно крепостное право.

Последующие отрывки дают большой и ценный фактический материал для изучения первых лет жизни Некрасова в Петербурге, по приезде из Ярославля, и первых этапов его творческого пути. К сожалению, эта часть записей носит конспективный характер.

Эта конспективность помешала Некрасову сколько-нибудь подробно рассказать о той исключительной роли, которую сыграл в его жизни и творчестве В. Г. Белинский. Однако имя Белинского все же фигурирует в записях. Так, Некрасов приводит адресованные ему и полные глубокого смысла слова Белинского: «Надо ругать все, что нехорошо, Некрасов: нужна одна правда».

«Поворот к правде», т. е. к реализму. о чем упоминает дальше Некрасов, говоря о своем творчестве, и восходит, как к одному из своих источников, к этому завету Белинского.

Последние отрывки носят совершенно особый характер. Это не что иное, как дневник, дневник человека, знающего, что дни его сочтены. Мы знаем и другой, быть может, еще более потрясающий предсмертный «дневник» Некрасова — его «Последние песни». Но входящий в состав записей дневник, несомненно, писался позднее, чем большинство стихотворений, составляющих сборник «Последние песни». Недаром в самом начале дневника содержится прямое указание, что после создания стихотворения «Баюшки-баю» муза перестала посещать поэта и ему пришлось «приниматься за прозу». Однако и «проза» уже была непосильна для умиравшего в жестоких страданиях поэта. Его краткие дневниковые записи вскоре оборвались.

Примечательно, что дневник открывается словами «Худо, читатель». Это обращение не случайно в устах Некрасова. Слово «читатель» имело для него особый смысл — читателем он называл не просто читателя своих стихов, а читателя-единомышленника, «читателя-друга», по выражению Щедрина. Такого именно читателя имел в виду Некрасов в элегии «Уныние», когда говорил:

Но мой судья — читатель-гражданин,
Лишь в суд его храню слепую веру.

Но читатель-гражданин, к которому обращался Некрасов, не мог еще создать в тех исторических условиях той прочной организованной опоры для передовой литературы, о чем мечтал поэт. Этот читатель еще не был и не мог быть самостоятельной общественно-политической силой. И хотя Некрасов не мог пожаловаться на отсутствие внимания и любви к себе со стороны современного ему русского читателя, особенно радикально-демократической, революционно настроенной молодежи, и хотя как раз в последние дни своей жизни умиравший поэт получил особенно много глубоко тронувших его своей искренностью и теплотой приветствий (среди них: от Н. Г. Чернышевского, студентов Хирургической Академии, сибиряков

и др.),— все же он понимал, что счастья полного и активного единения с «читателем-гражданином», к чему он так мучительно стремился, он не знал.

Но Некрасов глубоко верил в будущее своего родного народа, для которого он жил и творил. К суду этого будущего он и апеллировал с надеждой и уверенностью, что дело его жизни останется в «памяти народной», что грядущий свободный «читатель-гражданин» его родины не забудет его. Этой оптимистической вере в будущее Некрасов остался верен до конца, и не случайно в первой же записи своего предсмертного дневника он процитировал только что сложенные им стихи:

Но ты воспрянешь за чертой
Неотразимого забвенья...

И далее, обращенные к нему слова ободрения и утешения его «музы»:

Не бойся, песенку твою
Над Волгой, над Окой, над Камой
Еще народу я спою...

Свыше 70 лет прошло со дня смерти Некрасова. И теперь весь советский народ является тем «читателем-гражданином», к которому обращался умиравший Некрасов. Вера в будущее не обманула поэта. То единение с «читателем-другом», к которому он так стремился, могло осуществиться и осуществилось лишь в современных нам исторических условиях, которые были созданы русским пролетариатом в его революционной борьбе за власть и после захвата власти в России в борьбе за осуществление социализма.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Н. Некрасов, Письма, 205.
[2] «Голос Минувшего» 1915, № 5-6, 32—34.
[3] Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собрание сочинений, Л., 1939, XIX, 91.
[4] В. Ленин, Сочинения, XII, 132.— Подчеркнуто в подлиннике.
[5] П. Быков, Скорбные дни поэта-печальника.— «Новый журнал для всех» 1913, № 1, 60.
[6] П. Быков, Силуэты далекого прошлого, М.— Л., 1930, 71.
[7] «Вестник Европы» 1878, № 2, 911—912.
[8] С. Кривенко, Собрание сочинений, СПб., 1911, I, стр. XLVI.
[9] Н. Белоголовый, Воспоминания и другие статьи, изд. 3-е, М., 1898, 391.
[10] Первую попытку собрать некоторые записи Некрасова сделал К. И. Чуковский в «Некрасовском сборнике» 1922 г., в публикации «Из записной книжки Некрасова».
[11] Какие-то строки автобиографии Некрасова были опубликованы в газете «Эхо» («Петроградское Эхо») 27 декабря 1917 г. (№ 4). Найти этот номер в ленинградских книгохранилищах мне не удалось. Несколько отрывков настоящей публикации были за время подготовки этого тома к печати опубликованы в журнале «Звезда» 1945, № 1, 138—143.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ПРИМЕЧАНИЯХ К ПУБЛИКУЕМЫМ ТЕКСТАМ

(Автор примечаний С. А. Рейсер)

Евгеньев-Максимов — В. Е. Евгеньев ⟨Максимов⟩, Николай Алексеевич Некрасов. Сборник статей и материалов, М., 1914.

Скабичевский I — А. М. Скабичевский, Николай Алексеевич Некрасов. Его жизнь и поэзия. «Отечественные Записки» 1878, № 5, 93—116; № 6, 365—406.

Скабичевский II — А. М. Скабичевский, Николай Алексеевич Некрасов. Биографические сведения. В изд.: Н. А. Некрасов, Стихотворения. Посмертное издание, СПб., 1879, I, стр. XIII—XXXI.

Письма — Некрасов, Собрание сочинений, V. Письма 1840—1877. Под редакцией В. Е. Евгеньева-Максимова, М.—Л.. Госиздат, 1930.

I

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ НАБРОСКИ, ВОСПОМИНАНИЯ И ЗАМЕТКИ НЕКРАСОВА

⟨1⟩

Я родился в 1821 г. 22 ноября в Подольской губернии в Винницком уезде в каком-то жидовском местечке [1], где отец мой стоял тогда с своим полком. Большую часть своей службы отец мой состоял в адъютантских должностях при каком-нибудь генерале [2]. Все время службы находился в разъездах. При рассказах бывало то и дело слышишь — «я был тогда в Киеве на контрактах, в Одессе, в Варшаве». Бывая особенно часто в Варшаве [и иногда квартируя поблизости] он влюбился в дочь Закревского — о согласии родителей игравших там видную роль нечего было и думать: армейский офицер едва грамотный и дочь [богатого пана] богача — красавица, образованная [певица с удивительным голосом (о ней речь впереди)]. Отец увез ее прямо с бала — обвенчался по дороге в свой полк — и судьба ее была решена [3]. Он подал в отставку дослужившись до капитанского чина, вышел в отставку майором [4] и поселился в родовом своем имении Ярославской губернии и уезда в сельце Грешневе, [лежащем на трактовой [столбовой, почтовой] дороге между Ярославлем и Костромой], куда привез, конечно, и [⟨1 сл. нрзб.⟩ весе⟨лую⟩ польку и], молодую жену и нас двух сыновей своих — Андрея и Николая [5]. Последнему было тогда три года. Я помню как экипаж остановился, как взяли меня на руки (кто ⟨то⟩ светил идя впереди) и внесли в комнату в которой был наполовину разобран пол и виднелись земля и поперечины. В следующей комнате я увидал двух старушек сидевших перед нагоревшей свечей друг против друга за небольшим столом: они вязали чулки и обе были в очках. Впоследствии я спрашивал у нашей матери действительно ли было что нибудь подобное при первом [прибытии] вступлении нашем в [дом отца] наследственный отцовский приют. Она удостоверила, что всё было точь в точь так, и не мало подивилась моей памяти [6]. Хорошая память всю жизнь составляла одно из главных моих качеств [которые не изменяют мне и до сей минуты; более ста тысяч стихов, написанных мною в течение всей моей жизни, я мог бы прочитать наизусть] [и никогда не изменяла мне. Еще недавно я мог на пари прочесть наизусть более сорока тысяч стихов написанных мною в течение всей моей жизни]. Я сказал ей, что помню еще что-то про пастуха и медные деньги. [Это было еще раньше]. «И это было доро́гой» — сказала она. «Доро́гой, на одной станции я держала тебя на руках и говорила с маленьким пастухом, которому дала несколько грошей [с тех пор я все помню, что ни видал, что ни]. Не помнишь ли еще что было в руке у пастуха?» Я не помнил. «В руке у пастуха был кнут» [и рожок],— слово, которое я услыхал тогда в первый раз.

Старушки были — бабушка и тетка моего отца [7].

Сельцо Грешнево стоит на [трактовой] низовой Ярославско-Костромской дороге; она же тогда называлась Сибиркою и Владимиркой: барский дом выходит на самую дорогу и все что по ней шло и ехало и было ведо́мо начиная с почтовых троек и кончая арестантами закованными в цепи в сопровождении конвойных, было постоянной пищей нашего детского любопытства.

Во всем остальном Грешневская усадьба ничем не отличалась от обыкновенного типа тогдашних помещичьих усадеб; местность ровная и плоская, извилистая река (Самарка), за нею [бесконечный дремучий лес, предшествуемый просторным лугом, пастбищем. Во все другие стороны ровная гладь ржаных и овсяных посевов], перед бесконечным дремучим лесом — пастбище, луга, нивы. Невдалеке р. Волга. В самой усадьбе

более всего замечателен — старый обширный сад остатки которого сохранились доныне; ничего остального нет и следа. Где стоял обширный дом, недавно сгоревший, там в третьем году мимоездом увидал я [очень маленькое] скромное здание с надписью «Распивочно и на вынос». И ничего больше!

Самый дом последние 20 лет стоявший в развалинах

. . . . пуст и глух:
Ни женщин, ни псарей, ни конюхов, ни слуг...[8]

недавно сгорел, говорят в ясную погоду при [самом] тихом ветре, так что липы посаженные моей матерью, в 6-ти шагах от балкона только закоптились, среди белого дня. «Ведра воды не было вылито» сказала мне одна баба! «Воля божия» сказал на вопрос мой кр⟨естьянин⟩ не без добродушной усмешки.

Может быть тут простор⟨?⟩ для созер⟨цания?⟩ ⟨нрзб. одно слово⟩ и для всяких⟨?⟩ слухов.

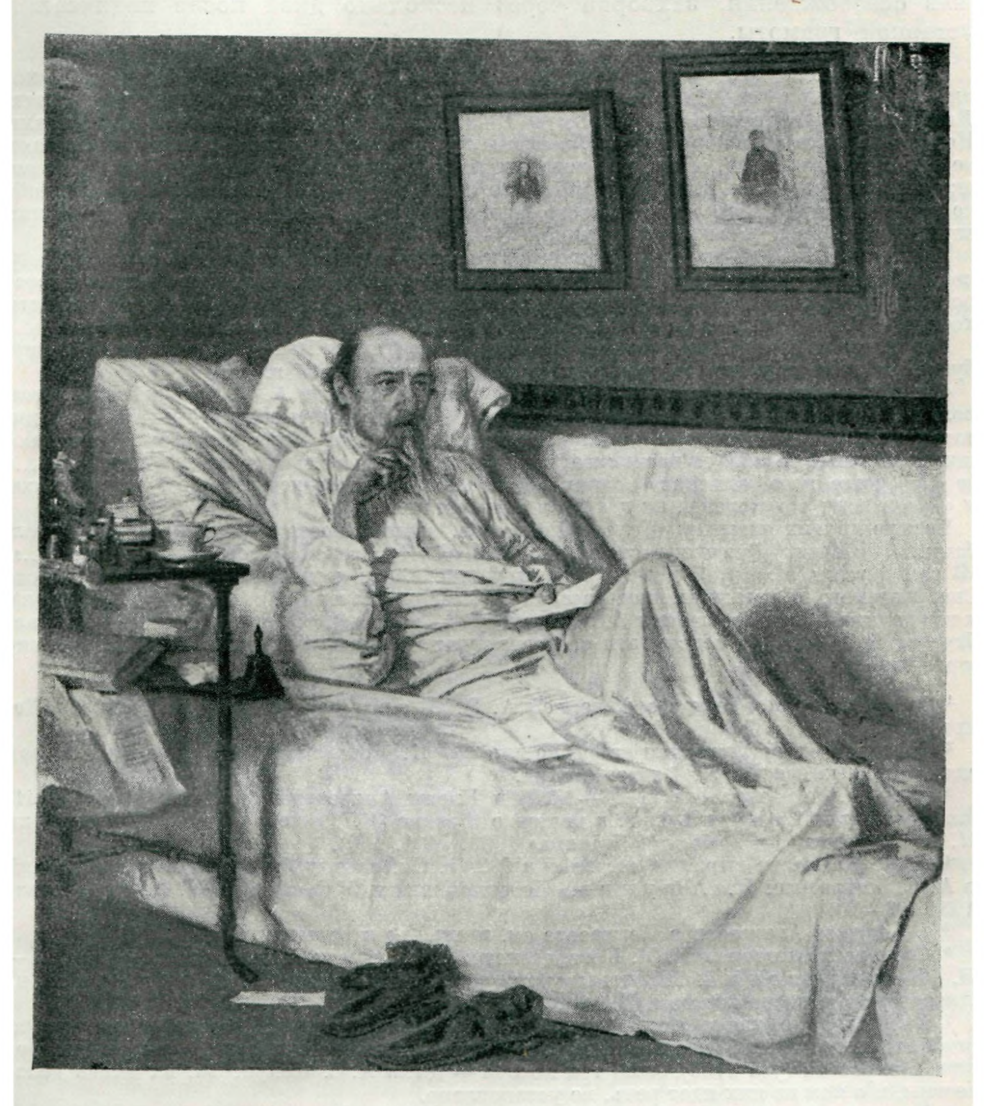
Самый тракт по случаю сильных весенних разливов давно упразднен: почтовая гоньба [переведена на другой высокий берег Волги называвшийся тогда верховым] идет теперь по другому высокому берегу Волги трактом, к которому в старину прибегали толькой весной по случаю бездорожья.

Куда как глухо там теперь стало, не верится, что в 20-ти верстах губернский город Ярославль и в 40-ка Кострома.

Зато Грешневцы теперь сравнительно процветают, пользуясь даже яблоками покинутого сада, которых обыкновенно в начале августа уже нет и следа. Кушайте их на здоровье, беловолосые ребятишки, бегайте в нем сколько душе угодно и, когда вырастете, поставьте в нем икону, а то теперешняя при сельском приходе слишком далека.

Обширное сельцо Грешнево, начинавшееся и оканчивавшееся столбами с надписью: «столько то душ принадлежащих г.г. Некрасовым», составляло только ничтожную часть родовых наших поместий, находившихся кроме Ярославской, еще в Рязанской, Орловской и Симбирской губернии. В одно время, довольно отдаленное, все имение представляло в целом более десяти тысяч душ, из них прадед мой (воевода) проиграл в карты семь, дед мой штык-юнкер в отставке слишком три [9]. Отцу моему проигрывать было нечего, а в карточки играть он таки любил. К выходу его в отставку, по случаю раздела имения с братьями, на всех семерых братьев и двух сестер оставалось четыреста душ, так что им досталось душ по сорока и еще меньше пришлось бы если бы уцелели в живых старшие братья, но трое убиты под Бородиным в один день. Наследство моего ⟨отца⟩ не ограничилось сорока душами; по жребию на часть его досталось крестьянское семейство, которое владело временно само тысячу душами, наследованными от сестры, бывшей за дворянином Чирковым; разумеется они должны были продать его в шестимесячный срок.

Эта история очень интересна, но я не имею времени ее рассказать, упоминаю о ней потому, что она имела большое влияние на судьбу нашего семейства, а может быть и на мою [10]. Крестьяне продали свое наследство незаконным образом еще до раздела имения и отец мой решился дело поднять; вся жизнь его посвящена была этому процессу. Когда хлопоты увенчались успехом, он был уже сед, но получил тысячу, расстроенных до исступления временными владельцами душ. Думаю, что если б он посвятил свою энергию хотя той же военной службе, которую начал довольно счастливо (товарищи его, между прочим, были Киселев и Лидерс [11], о чем он не без гордости часто упоминал)... Однажды, перед нашей усадьбой остановился великолепный дормез. Прочитав на столбе фамилию Не-



НЕКРАСОВ В ПЕРИОД «ПОСЛЕДНИХ ПЕСЕН»

Картина маслом И. Н. Крамского, 1877 г.

Третьяковская галлерея, Москва

красов, Киселев зебежал к нам на минутку уже будучи министром, а с Лидерсом в поручичьем чине отец мой жил на одной квартире; он крестил одного из нас (б⟨рата⟩ Константина). Это были любимые воспоминания нашего отца до последних его дней. Он сошел в могилу 74-х лет, не выдержав освобождения, захворав через несколько дней после подписания уставной грамоты.

Печатается впервые по автографу из собрания В. Е. Евгеньева-Максимова. Рукопись — диктант руки К. А. Некрасова (брата) на 7 листах бумаги большого формата. Листы перенумерованы: «1—7». Листы 1—3 испещрены карандашными поправками Некрасова. Не все эти поправки согласованы и доведены до конца; в нескольких случаях не исправлены падежи, оставлены недозачеркнутыми отдельные места, встречаются неоконченные фразы и т. д. Все эти слова введены в текст в исправленной форме и особо не оговариваются. Место написанного на полях абзаца: «Самый дом... и для всяких слухов» определено предположительно.

На листе 3 зачеркнуты карандашом слова, написанные поперек на полях: «Одним концом по барину» и «ты, творящая бесстрастно». Автобиография записывалась на старом листе, на котором был первоначально записан стих (1865) из «Кому на Руси жить хорошо». Слова: «ты, творящая бесстрастно» — в стихах Некрасова неизвестны.

Рукопись написана Константином Алексеевичем Некрасовым, который был в Петербурге возле брата в период его предсмертной болезни в 1877 г.

Сравнение настоящего отрывка с биографическим очерком А. М. Скабичевского позволяет установить, что несколько мест его работы являются почти буквальными цитатами из рукописи, лишь несколько отредактированными. Таковы отрывки, начинающиеся словами: «Большую часть своей службы он провел в адъютантских должностях...» (в «Отечественных Записках» исправленная впоследствии опечатка: «в гражданских») и «О согласии родителей... по дороге в свой полк...»

Четыре других отрывка: «Сельцо Грешнево, начинавшееся и оканчивавшееся столбами...», «Сельцо Грешнево стоит на низовой Ярославско-Костромской дороге...», «В самой усадьбе...» и «Я помню, как мы подъехали к дому...», изложенные в работе Скабичевского в кавычках как рассказ Некрасова матери (?) (последний отрывок), и три первые — как сообщения А. А. Буткевич — цитаты из того же источника (ср. Скабичевский I, 96—98); тексты эти соответствуют позднейшим копиям А. А. Буткевич (ср. ниже стр. 180—181).

[1] Ср. в настоящем томе с сообщением А. В. Попова «Когда и где родился Некрасов?»

[2] Ср. в автобиографическом наброске для М. И. Семевского ⟨16⟩, где отец назван адъютантом князя П. Х. Витгенштейна.

[3] Брак А. С. Некрасова (1788—1862) и Елены Андреевны Закревской (ум. 1841) был совершен 11 ноября 1817 г. в местечке Юзвине (К. Оберучев, К биографии Н. А. Некрасова.—«Киевская Старина» 1903, № 1, 180).

[4] А. С. Некрасов вышел в отставку в 1823 г. См. сводку биографических сведений о А. С. Некрасове: Н. Ашукин, Летопись жизни и творчества Н. А. Некрасова, 1935, 19—20.

[5] Об Андрее Алексеевиче Некрасове см. прим. 2-е к отрывку ⟨5⟩.

[6] Ср. в воспоминаниях П. М. Ковалевского: «Память у него была удивительная...»— П. Ковалевский, Воспоминания; в прилож. к изд. Д. Григорович, Литературные воспоминания, Л., 1928, 428.

[7] Бабушка, т. е. жена Сергея Алексеевича Некрасова (ум. 1800); о ней в литературе никаких сведений нет, неизвестно даже ее имя. У прадеда Некрасова, Алексея Яковлевича Некрасова (ум. 1760), было три дочери — тетки А. С. Некрасова; их имена неизвестны, и о ком из них идет речь, не установлено.

[8] Неточная цитата из стихотворения «Родина» (1846). В печатном тексте:

. . . . пуст и глух:
Ни женщин, ни собак, ни гаеров, ни слуг...

[9] Сводку данных о семейном положении предков Некрасова — прадеда Алексея Яковлевича (ум. 1760) и деда Сергея Алексеевича (ум. 1800) — см. в назв. книге Н. Ашукина, 19.

[10] Подробный рассказ см. в отрывке ⟨4⟩.

[11] Павел Дмитриевич Киселев (1788—1872) — видный государственный деятель эпохи Николая I, член секретного комитета по крестьянскому делу, сторонник освобождения крестьян в целях укрепления крупного дворянского землевладения, по словам Пушкина (1834), «может, самый замечательный из наших государственных людей»; с 1837 г. по 1856 г.— министр государственных имуществ.

Александр Николаевич Лидерс (1790—1874)— видный военный деятель, генерал-адъютант, в 1855 г.— главнокомандующий Крымской армией, в 1861—1862 гг.— наместник в Царстве Польском и главнокомандующий 1-й армией.

⟨2⟩

Если переехать в Ярославле Волгу и пройти прямо через Тверицы, то очутимся на столбовом почтовом тракте. Проехав 19 верст по песчаному грунту, где справа и слева лесок⟨?⟩, песок⟨?⟩, мелкий кустарник и вереск (зайцев и куропаток там несть числа), то увидишь деревню, начинающуюся столбом с надписью: «Сельцо Грешнево, душ столько-то господ Некрасов⟨ых⟩». Проехав длинную бревенчатую деревню, увидишь садовый деревянный забор, начинающийся от последней деревенской избы, и из-за которого выглядывают высокие деревья; это барский сад. Тотчас за садом большой серый неуклюжий дом.

Об отношениях ко мне Грешнева и грешневцев, мне придется говорить дальше, о своих скажу несколько слов теперь-же, чтобы уже к этому не возвращаться. Судьбе угодно было, чтобы я пользовался крепостным хлебом только до 16 лет, далее я не только никогда не владел крепостными, но будучи наследником своих отцов, имевших родовые поместья, не был ни одного дня даже владельцем клочка родовой земли [1].

Дело моих братьев сказать со временем как это так вышло. Я когда-то написал:

Хлеб полей, возделанных рабами,
Нейдет мне впрок...[2].

Написав этот стих еще почти в детстве, может быть я желал оправдать его на деле.

Итак отношения мои к грешневцам были такие:

Благодарение Богу,
Я совершил еще раз
Милую эту дорогу,
Вот уж запасный амбар,
Вот уж и риги... как сладок
Теплого колоса пар!
— Останови же лошадок!
Видишь: из каждых ворот
Спешно идет обыватель.
Все то знакомый народ,
Что ни мужик, то приятель [3].

Я постоянно играл с деревенскими детьми и когда мы подросли, то естественно, что между нами была такая короткость.

[Здесь я должен сказать несколько слов, как бы они ни были поняты: это дело моей совести. Я должен, по народному выражению, снять с души моей грех. В произведениях моей ранней молодости встречаются стихи, в которых я желчно и резко отзывался о моем отце. Это было несправедливо, вытекало из юношеского сознания, что отец мой крепостник, а я либеральный поэт. Но чем же другим мог быть тогда мой отец? — я побивал не крепостное право, а его лично, тогда как разница между нами была собственно во времени.] Иное дело, личные черты моего отца, его характер, его семейные отношения, тут я очень рано сознал свое право и не отказываюсь ни от чего, что мною напечатано в этом отношении. Разница, повторяю, была между нами во времени, он пользовался своим правом, которое признавал священным

Один...
Свободно и дышал и действовал и жил [4].

Время вывело меня на широкую дорогу:

Сыны народного бича,
С тех пор как мы себя сознали,
Жизнь как изгнанники влача
По свету долго мы блуждали [5].

Не могу не сознаться, что даже в последние мои годы, когда я бывал в Грешневе, я чувствовал какую-то неловкость:

Смутясь ⟨потупили мы взор —
«Нет. Час не пробил примиренья!»
И снова бродим мы с тех пор
Без родины и без прощенья!..⟩[6]

Полностью печатается впервые по автографу (диктант?) А. А. Буткевич из собрания В. Е. Евгеньева-Максимова. Автограф — четыре листа почтовой бумаги большого формата. Отрывок: «В произведениях моей ранней молодости... действовал и жил» — впервые опубликован: Евгеньев-Максимов, 23.

[1] Вскоре после смерти своего отца Н. А. подарил брату Федору следовавшую ему часть отцовского наследства.

[2] Из стихотворения: «На родине». Стихотворение датируется обычно 1855 г.

[3] Из стихотворения «Деревенские новости» (1860). В рукописи: «выписать из пьесы „Дерев. новости“ от стиха „Благодарение богу“ до стиха „Что ни мужик, то приятель“».

[4] Из стихотворения «Родина» (1846). Полный текст этих двух строк следующий:

И только тот один, кто всех собой давил,
Свободно и дышал, и действовал, и жил. .

Возможно, что конец первой строки сознательно продиктован Некрасовым в усеченном виде: предыдущие строки об отце, кажется, дают основание для такого предположения, поэтому сохраняют в тексте цитату в том виде, как она дана в диктанте.

[5] Первые строки стихотворения (без заглавия) 1870 г.

[6] Последние четыре строки того же стихотворения. В рукописи оно записано следующим образом:

1 Смутясь
2
3
4

⟨3⟩

МОЙ ОТЕЦ

Я никогда не имел времени, да и терпенья перечитать кипу родословных бумаг, которые хранились в старом доме. Перебирая их, я прочел только несколько строк. На небольшом синеватом листе было написано:

«Имение у Салтыковых отнять и Некрасовым отдать, Салтыкова в Сибирь сослать. Павел. Год 179...».

Я пошел к отцу с вопросом: «что это за документ?» Отец сказал: «это подлинное благодаря котор⟨ому⟩ мы не умерли с голоду и нам что нибудь осталось.

Предки наши были богаты, прапрапрадед ваш проиграл семь тысяч душ, прапрадед две, дед (мой отец) одну, я ничего, потому что нечего было проигрывать, но в карточки поиграть тоже любил» (то же должен сказать и о себе).

— Как же у нас что нибудь осталось?

— А вот как. Перед смертию ваш дед, а мой отец, живший последнее время в Москве (штык-юнкер в отставке) проиграл последнее свое имение в Рязанской и Ярослав⟨ской⟩ губ⟨ерниях⟩ и умер должно быть не успев совершить законных бумаг. Мы были тогда малы, а старшие братья находились на службе, тем не менее в один прекрасный день имение перешло к Салтыкову. Бабка ваша урожденная Неронова (Костылева) забрав нас всех (стар⟨шему⟩ 9 л.) поскакала в Петерб⟨ург⟩. В Петербурге мать часто уезжала из дому, возвращалась с заплаканными глазами; однажды она сказала нам: «дети, завтра я повезу вас в один дом; когда мы приедем, стойте смирно и ждите и лишь только выйдет дама, упадите на колени и плачьте». На другой день нас привезли в большой дом. Мать оставила нас одних в огромной комнате и сама куда-то ушла. Через несколько времени в дверях показалась красивая женщина; помня прика-

СТРАНИЦА ИЗ АВТОБИОГРАФИЧЕСКОГО НАБРОСКА ‹1›

Автограф К. А. Некрасова (диктант) с карандашными поправками поэта (л. 1)

Собрание В. Е. Евгеньева-Максимова, Ленинград

зание матери, мы упали на колени и стали громко плакать. Красивая женщина подошла к нам и, лаская нас, сказала матери, что просьба ее будет исполнена. Вот ей-то мы и обязаны возвращением нам имения от Салтыкова [1].

Печатается по автографу А. А. Буткевич (диктант?) из собрания В. Е. Евгеньева-Максимова. Автограф — два листа почтовой бумаги большого формата. Впервые опубликовано: Евгеньев-Максимов, 9—10.

[1] В воспоминаниях тетки поэта* приводится рассказ, в общем совпадающий с рассказом Некрасова и кое в чем его уточняющий: «Живши в Москве, отец наш ⟨С. А. Некрасов⟩ любил играть в карты и много проигрывал. Последний проигрыш был в 8 т⟨ысяч⟩ ассигнациями. На расплату заложил Ярославскую деревню Салтыкову, которому обязался платить проценты рубль на рубль и на срок. В скором времени сравнялись проценты с суммою. Салтыков подал закладную, и имение все от отца отобрали. Владел уже им Салтыков,— жить стало нечем, имевши семейство в 9 человек. Завелось дело, что Салтыков брал лихоимственные проценты с Некрасова. Мать наша была очень умная, она отправилась в Петербург, жила там два года, хлопотала по делу. В это время государь Павел Петрович воцарился, и назначена была коронация в Москве, то мать наша переехала в Москву, где имела хороших знакомых. Во время коронации весь двор и царская фамилия приехали в Москву. Тогда знакомый отцу полицеймейстер разводил квартиры для придворных, и просили его, чтобы дом отца назначили для генерала ⟨Г. Г.⟩ Кушелева, который был близок к государю. Когда Кушелев стал в доме отца, то он и мать наша пришли к нему и привели детей 9 человек и со слезами ему объяснили все дело, как Салтыков за лихоимственные проценты все имение у них отнял. Кушелев сжалился над таким семейством, доложил государю. Государь приказал рассмотреть сие дело Некрасова с Салтыковым, и нашли, что Некрасова дело правое, что Салтыков за проценты все имение отнял и владел уже им два года, пользовался доходами. Сейчас приказано было от Салтыкова имение отобрать и отдать Некрасову, а Салтыкова в Сибирь сослать за лихоимственные проценты. Тем дело и кончилось» (Евгеньев-Максимов, 6—7).

ОТРЫВОК ИЗ АВТОБИОГРАФИЧЕСКОГО НАБРОСКА ⟨1⟩

Собственноручная вставка поэта в рукопись-диктант К. А. Некрасова (л. 1 об.)

Собрание В. Е. Евгеньева-Максимова, Ленинград

⟨4⟩

Имение деда разделено было между его сыновьями на четыре части, из которых одна досталась по жребию моему отцу. В состав ее входила де-

* У Евгеньева-Максимова, опубликовавшего ее воспоминания, фамилия не названа. У А. С. Некрасова были три сестры: Варвара, умершая 5-ти лет, Елена, упоминаемая в воспоминаниях, и Татьяна (по мужу Алтуфьева), которая единственно и может быть автором мемуаров.

ревня Грешнево. Мне живо представляется эпизод, характеризующий наши помещичьи нравы. В летний праздничный день проезжал через деревню запыленный тарантас.

Разодетые бабы и девки плясали в хороводе. Тарантас остановился, и в нем зашевелилась меж перин и подушек заспанная, необыкновенно толстая фигура.

Впоследствии оказалось, что это был помещик Владимирской губернии Чирков. Пока переменяли лошадей, он засмотрелся на хоровод, и особенно на отличавшуюся в нем румяную здоровую девку Федору.

«А не дурно было бы купить и увезти ее», — мелькнуло в голове Чиркова. «Кто же здесь помещик, и где он?» Оказалось, что помещик и все его братья на войне, — это происходило в 1812 году, — а в деревне остались только их сестры. Чирков к ним; но старые девы не сговорчивы, да и не смеют распоряжаться в отсутствие брата. Но любезность, ухаживание и, наконец, просто деньги располагают девические сердца. Чирков познает Федору, увозит ее и немедленно женится на ней. Спустя короткое время Чирков умирает, и Федора по смерти его получает в наследство тысячу душ крестьян. Вслед за ним умирает Федора, и оставляет их в наследство своим родственникам в дер. Грешнево. Крестьяне, превратившиеся было в помещиков, не имея права владеть населенными землями, должны были продать своих собратий в 6-месячный срок. В это время, еще в отсутствие отца, появился в деревне какой-то покупщик из «благородных» и, воспользовавшись неопытностью крестьян и краткостью обязательного для них срока, купил у них за бесценок эту тысячу душ с землею. Отец мой узнал об этой проделке лишь за несколько дней до исполнения 10-летней давности. Разумеется началась тяжба, заботам о которой были посвящены несколько лет, и хотя процесс был выигран, но отец раззорился и бедствовал всю остальную жизнь.

Печатается по автографу (диктант?) А. А. Буткевич из собрания К. И. Чуковского. Автограф — два листа бумаги большого формата. Впервые опубликовано: Евгеньев-Максимов, 11—12. (Ср. также «Отклики», 1914, № 18, приложение к № 103 газеты «День»).

⟨5⟩

Я помню себя с трех лет. Писать стихи начал с семи, помню я что-то посвятил матери в день ее именин:

Любезна маменька примите
Сей слабый труд
И рассмотрите
Годится ли куда нибудь[1].

Одиннадцати лет я написал сатиру на брата Андрея, который любил франтить:

Намазав брови салом
И сделавшись чудаком,
Набелил лицо крахмалом,
Моет зубы табаком[2].

У нас в библиотеке нашел я два стихотворения: произведение Байрона «Корсар», перевод Олина, и оду «Свобода» Пушкина.

Когда на мрачную Неву
Звезда полуночи сверкает
И беззаботную главу
Спокойный сон отягощает и т. д.[3]

В гимназии я ударился в фразерство, начал почитывать журналы, в то же время писал сатиры на товарищей. Один из них Златоустовский сильно отдул меня за следующее:

Хоть все кричи ты луку, луку,
Таскай корзину и кряхти,
Продажи нет и только руку
Так жмет, что силы нет нести[4].

А главное, что ни прочту, тому и подражаю. Так к 15-ти годам составилась целая тетрадь, которая сильно подмывала меня ехать в Петербург. Надув отца притворным согласием поступить в Дворянский полк [5], я туда поехал. Это было в 1838 году.

Пушкин в журналах почти не попадался, за Бенедиктовым там шли Печенеговы и т. п. Фразерскому направлению в юности обязан этим поэтам, впоследствии я их вспоминал добрым словом. В «Современнике» в какой то рецензии должны быть сл⟨едующие⟩ стихи.

На днях я их вспомню.

ПЛАЧ О ПОЭТАХ

Мне жаль, что нет теперь поэтов,
Какие были в оны дни.
Нет Тимофеевых, Бернетов
Ах, отчего молчат они!
С толпой забвенных старожилов
Скорблю на склоне дней моих,
Что умер господин Стромилов,
Что Печенегов приутих,
Что нету госпожи Падерной,
У коей был талант примерный.
И Розена барона нет.
Что нет Туманских и Трилунных,
Не пишет больше Бороздна
И нам от лир их сладкострунных
Осталась память лишь одна [6].

Я готовился в Университет, голодал, приготовлял в военноучебные заведения девять мальчиков по всем русским предметам. Это место доставил мне Григорий Францевич Бенецкий, он тогда был наставник и наблюдатель в Пажеском корпусе и чем-то в Дворянском полку [7]. Это был отличный человек. Однажды он мне сказал: «напечатайте ваши стихи, я вам продам по билетам рублей на 500». Я стал печатать книгу «Мечты и Звуки» [8]. Тут меня взяло раздумье, я хотел ее изорвать, но Бенецкий уже продал до сотни билетов кадетам и деньги я прожил. Как тут быть! Да Полевой напечатал несколько моих пьес в «Библиотеке для Чтения». В раздумьи я пошел с своей книгой к Жуковскому. Принял меня седенький, согнутый старичек, взял книгу и велел притти через несколько дней. Я пришел, он какую-то мою пьесу похвалил, но сказал: «вы потом пожалеете если выдадите эту книгу» [9].

Но я могу не выдать (и объяснил почему). Жуковский дал мне совет: снимите с книги ваше имя.

«Мечты и Звуки» вышли под двумя буквами N. N.

Меня обругали в какой-то газете, я написал ответ, это был единственный случай в моей жизни, что я заступился за себя и свое произведение.

Ответ разумеется был глупый, глупее самой книги [10].

Все это происходило в 40-м году. Белинский тоже обругал мою книгу.

Я роздал на комиссию экземпляры, ни одного не продалось, это был лучший урок, я перестал писать серьезные стихи и стал писать эгоистические[11].

Феоклист Онуфрич Боб первый мой псевдоним, Перепельский — второй для прозы и водевилей.

С этим псевдонимом случилось вот что: приятель мой офицер Н. Ф. Фермор помогал мне в работе [12]. Уезжая в Севастополь, он оставил мне

кипу своих бумаг, я пользовался ими для моих повестей, но там был списан отрывок из печатного. Думая, что это собственная заметка Фермора, я вклеил эти страницы в одну свою повесть.

Жаль, что никто из моих доброжелателей не докопался до этого факта, вот бы случай обозвать меня литературным вором.

С Полевым познакомил меня профессор д⟨уховной⟩ а⟨кадемии Д. И. Успенский⟩ [13]. Я у него печатал стихи и что-то маленькое с усилием перевел [14].

Господи! сколько я работал.

А. С. НЕКРАСОВ, ОТЕЦ ПОЭТА
Фотография 1850-х гг.
Институт литературы АН СССР, Ленинград

Уму непостижимо сколько я работал, полагаю не преувеличу если скажу, что в несколько лет исполнил до двухсот печатных листов журнальной работы; принялся за нее почти с первых дней прибытия в Петербург. В «Инвалиде», в литературных прибавлениях к «Инвалиду», в «Литературной Газете», в «Пантеоне» и т. д. [15]. Был я поставщиком у тогдашнего Полякова, писал азбуки, сказки по его заказу. В заглавие сказки: «Баба Яга, костяная нога» он прибавил: «ж⟨...⟩жиленая», я замарал в корректуре. Увидав меня он изъявил удивление и просил выставить первые буквы ж...... ж... Не знаю пропустила ли ему цензура. Лет через тридцать по какому-то неведомому мне праву выпустил эту книгу г. Печаткин. Жи-

леной ж<...> там не было, но зато было мое имя, чего не было в поляковских изданиях [16].

До меня доходили слухи, что Белинский обращает внимание на некоторые мои статейки. Случалось так: обругаю Загоскина в «Еженедельной Газете», потом читаю в «Ежемесячном Журнале» о том же. Позднее мне Белинский сказал: «Вы верно смотрите, <но> зачем вы похвалили Ольгу?» — «Нельзя ругать все сплошь, говорят»: — «Надо ругать все, что нехорошо, Некрасов, нужна одна правда» [17].

Полностью печатается впервые по автографу (диктант) неизвестной руки (К. А. Некрасова?) из собрания В. Е. Евгеньева-Максимова. Автограф — четыре листа почтовой бумаги большого формата. В автографе слова: «Господи! Сколько я работал» и «чего не было в поляковских изданиях» вписаны рукой Некрасова — вторая вставка на оставленное свободным место. В несколько отличной редакции отрывок: «Меня принял седенький, согнутый старичок... ваше имя,— посоветовал Жуковский»,— впервые у Скабичевского I, 114. Привожу редакцию Скабичевского: «Меня принял седенький, согнутый старичок, взял книгу и велел придти через несколько дней. Когда я пришел, он похвалил одно из этих стихотворений, сказал, что у меня есть талант, но к этому прибавил:

— Вы потом пожалеете, если выпустите эту книгу.

Я сказал ему на это, что теперь уже поздно, и объяснил почему.

— Тогда снимите с книги ваше имя,— посоветовал Жуковский».

Отрывки: «У нас в библиотеке... сатиры на товарищей», «Меня обругали... стал писать эгоистические», «Уму непостижимо сколько я работал. Господи, сколько я работал» «Приятель мой, офицер Н. Ф. Фермор... литературным вором», «Был я поставщиком... в поляковских изданиях» — впервые (с мелкими неточностями) у Евгеньева-Максимова, 84 и 91—92. (До того в его же статье: Гимназические годы Н. А. Некрасова».—«Речь» 1913, 29 августа, № 235, 2). Последний абзац в отрывках (с мелкими неточностями) впервые использован в книге В. Евгеньева-Максимова, Некрасов и его современники. Очерки, М., 1930, 49, 57, 59. Отрывок: «Что ни прочту...» и до конца абзаца неточно процитирован и отчасти изложен у Скабичевского I, 105.

[1] В «Литературной Газете» (1845, № 5, 95, «Дагерротип») в «Записках Пружинина» Некрасов вложил в уста мальчика Кондрашеньки эти стихи в следующем варианте:

Любезна маменька! Примите]
Сей слабый и ничтожный труд
И благосклонно рассмотрите
Годится ль он куда нибудь.

К. И. Чуковский предполагает, что «возможно, что эти стишки не принадлежали Некрасову, а были вообще ходячими поздравительными стихами той эпохи, чего Буткевич могла и не знать» (Н. А. Некрасов. Полное собрание стихотворений, изд. 9-е, Л., 1935, 561). Это предположение едва ли верно: слова «...я что-то посвятил матери в день ее именин», определенно указывают на творчество юного Некрасова.

[2] Андрей Некрасов — старший брат Н. А., преждевременно умерший (1820—1838). По словам А. А. Буткевич,—«эта потеря произвела сильный нравственный переворот в юноше: он словно очнулся от той распущенности, в какой провел свои гимназические годы, впервые серьезно задумался о своей участи» (Скабичевский II, стр. XXIII).

[3] Полное заглавие этой книги следующее: «Корсер. Романтическая трагедия в трех действиях, с хором, романсами и двумя песнями, турецкою и аравийскою, заимствованная из английской поэмы Лорда Байрона под заглавием: «The Corsair», СПб., 1827; «Свобода» — ода Пушкина «Вольность».

[4] Включается в собрание стихотворений Некрасова в качестве отдельного отрывка.

[5] Дворянский полк — военно-учебное заведение, существовавшее в 1807—1855 гг.; впоследствии Константиновский кадетский корпус.

[6] Стихи вписаны на оставленное свободным место. Некрасов неточно цитирует строки 1—8 и 12—18 своего стихотворения, включенного в рецензию на «Дамский альбом, составленный из отборных страниц русской поэзии» (изд. 2-е, СПб., 1854), напечатанную в январской книге «Современника» 1854 г. Стихи были написаны от имени посредственного поэта того времени, «когда на поэзию еще не было поднято неумолимого гонения», и были обращены в защиту маленьких поэтов, некогда блиставших в журналах и альманахах. Именно в 1849—1854 гг. наступил неожиданный кризис поэзии, и журналы почти совершенно не печатали стихов.

Стихотворение впервые было приписано Некрасову в книге А. Н. Пыпина, Н. А. Некрасов, СПб., 1905, 233—234; настоящие строки автобиографии окончательно утверждают его авторство. Заглавие «Плач о поэтах» в «Современнике» отсутствует.

Съ Полевымъ познакомилъ меня профессоръ Д. А. Я
у него печаталъ стихи и что-то маленькое служи-
Господи! Сколько я работалъ
лъ перевелъ уму непостижимо сколько я рабо
талъ полагаю не преувеличу если скажу что въ
несколько летъ исполнилъ до 200-т сотъ печат-
ныхъ листовъ журнальной работы принялся
за нее почти съ первыхъ дней прибытiя въ Петер-
бургъ Въ Инвалидѣ въ Литературныхъ прибав-
ленiяхъ къ Инвалиду въ Литературной Газетѣ
въ Пантеонѣ и т. д. Былъ я поставщикомъ у тогда
шняго Полякова писалъ Азбуки сказки по его заказу
въ заглавiи сказки Баба Яга Костяная нога онъ
прибавилъ мною сочинен. я замаралъ въ коррек
турѣ увидавъ меня онъ изъявилъ удивленiе и
просилъ выставить первыя буквы Н... Н...
Изданную пропускала ему цензура Лѣтъ черезъ
тридцать по какому-то неведомому мнѣ праву
выпустилъ эту книгу Г. Печаткинъ. Живой фронти
тисписъ небыло но зато было мое имя, чего
не было в поляковских изданиях
До меня доходили слухи что Бѣлинскiй обращаетъ
вниманiе на некоторые мои статейки случилось
такъ: обругалъ Загоскина въ Еженедельной газе-
написалъ тоже въ Ежемесячномъ журнале о
томъ же. Позднее меня Бѣлинскiй сказалъ вы
верно смотрите зачемъ вы похвалили Ольгу
нельзя Бѣлинскому ругать все столько говорятъ

СТРАНИЦА ИЗ АВТОБИОГРАФИЧЕСКОГО НАБРОСКА ⟨5⟩

Автограф неизвестной руки (диктант)

Слова «Господи! Сколько я работал» (вверху) и «чего не было в поляковских изданиях» (внизу) вписаны рукой Некрасова

Собрание В. Е. Евгеньева-Максимова, Ленинград

Разъяснение упомянутых в стихотворении имен см. в примечаниях К. И. Чуковского к однотомнику Некрасова. Чуковским же подмечено влияние стихотворения С. Стромилова «Море» (1839) на «Непонятную песню» Некрасова из сборника «Мечты и Звуки». Вообще несомненно, что поэты, имена которых называет Некрасов, учитывались им в ранний период его поэтической учебы. Ср. характерную рецензию на «Стихотворения Старожила» в «Литературной Газете» 1843, № 38, 686—689. Старожил — Ник. Диом. Оранский (1786—1847); ср. «Литературный Критик» 1936, № 2, 94.

[7] Штабс-капитан Григорий Францевич Бенецкий в эти годы, т. е. приблизительно в 1838—1840 гг., состоял «учителем разных наук» Дворянского полка и Павловского (а не Пажеского) кадетского корпуса. Сведений о содержавшемся им пансионе в литературе нет.

[8] Историю этой книги см:. В. Е. Евгеньев-Максимов, Некрасов и его современники, М., 1930, 45—46.

[9] В Институте литературы Академии Наук СССР, в библиотеке М. Н. Лонгинова, хранится экземпляр сборника «Мечты и Звуки», в котором на стр. 81 под заглавием стихотворения «Рукоять» рукой Лонгинова сделана пометка: «Жуковский одобрил» (ЛО. 16. 1. 28: III б. 964).

[10] Вероятно, Некрасов имеет в виду резкую рецензию на «Мечты и Звуки» в «Литературной Газете» (1840, № 16, 373—379), но ответ его неизвестен: вероятно, он напечатан не был.

[11] Другое возможное чтение: «и стал писать эгоистически». В. Евгеньев-Максимов разъясняет эти слова следующим образом: «Некрасов, без сомнения, хотел сказать, что после решительного провала его сборника, провала не только у авторитетного критика, но и у публики, он стал смотреть на свой литературный труд исключительно с точки зрения столь необходимого ему заработка» (Евгеньев-Максимов, 91).

[12] Николай Федорович Фермор — офицер, преподаватель Главного инженерного училища, один из первых друзей Некрасова в Петербурге, принимавший участие в издании сборника «Мечты и Звуки». Некрасов был близок со всей семьей Ферморов. Более подробную справку об этой семье см. в настоящем же томе, в комментарии Н. С. Ашукина к публикации стихотворения Некрасова «На скользком море жизни бурной», записанного поэтом в 1838 или 1839 г. в альбом Марии Фермор, сестры Николая Федоровича.

[13] Сведения Некрасова неточны: Дмитрий Иванович Успенский был не профессором, а учителем финского, греческого и латинского языков и катехизического учения в низшем отделении С.-Петербургской духовной семинарии. В 1842 г. Успенский уволился в светское звание в чине титулярного советника: повидимому, некоторое время, уже не будучи духовным лицом, он продолжал еще преподавать в семинарии, но в 1844 г., как сообщает историк академии А. Родосский, он «совсем уволился от учительских должностей и поступил на службу чиновником в штат корпуса путей сообщения» (А. Родосский, Биографический словарь студентов первых XXVIII курсов С.-Петербургской духовной академии. 1814—1869.СПб., 1907, 504). Никаких ученых трудов у Успенского нет: есть лишь указание на то, что он занимался составлением финского словаря, но в печати эта работа неизвестна (А. Надеждин, История С.-Петербургской православной духовной семинарии. СПб., 1885, 40 и 320).

[14] Переводы Некрасова, о которых он упоминает, неизвестны.

[15] Известно одно стихотворение, возможно, принадлежащее Некрасову и напечатанное им в «Литературных приложениях» к «Русскому Инвалиду» («Облака» 1839, № 14). Сотрудничество Некрасова в «Литературной Газете» и «Пантеоне» общеизвестно, хотя до сих пор обнаружено далеко не все напечатанное им в этих изданиях.

[16] «Баба-Яга костяная нога» вышла в издании В. П. Полякова в 1841 г., а второе издание (контрафакция) В. П. Печаткина — в 1871 г.

[17] «Еженедельная Газета»— это, конечно, «Литературная Газета», а «Ежемесячный Журнал» — «Отечественные Записки». Рецензия Белинского на «Кузьму Мирошева» М. Н. Загоскина напечатана в «Отечественных Записках» 1842, № 3, а очень сходная рецензия Некрасова на то же произведение — на несколько дней раньше в «Литературной Газете» 1842, № 9, от 1 марта, 181—184.

Ольга — может быть, роман Д. Н. Бегичева «Ольга». Быт русских дворян в начале нынешнего столетия. Соч. автора «Семейства Холмских», СПб., 1840. В «Литературной Газете» 1840, № 74, от 14 сентября, 1680—1682, напечатана рецензия на этот роман, возможно, принадлежащая Некрасову. В рецензии, написанной, впрочем, в довольно сдержанных тонах, нет особых похвал, а, наоборот, отмечаются «слог вялый и устаревший», растянутость и т. д. Рецензия Белинского на это издание напечатана в «Отеч. Зап.», 1840, № 10.

В. Евгеньев-Максимов с оговоркой высказал предположение о том, что речь идет об Ольге — героине рассказа Веревкина «Любовь петербургской барышни» («Сто русских литераторов», т. II) и о рецензиях, положительной — Некрасова («Литературная Газета» 1841, № 84) и отрицательной — Белинского («Отечественные Записки» 1841, № 7) на этот рассказ (см. «Некрасов и его современники. Очерки», М., 1930, 59). Однако из контекста записи вероятнее, что Ольга — не персонаж рассказа, а заглавие.

⟨6⟩

О МОИХ СТИХАХ

Начал писать с 6-ти лет. Первые опыты — сумбур, вторые подражательность бездумная. NB (о стихах «М⟨ечты⟩ и З⟨вуки⟩, анекдот о «М⟨ечтах⟩ и З⟨вуках⟩», Бенецкий, Жук⟨овский⟩, Белинский, казенные урок⟨и⟩, юмор⟨истические⟩ стих⟨отворения⟩ с признаком толку.

Поворот к правде явившийся отчасти от писанья прозой, крит⟨ических⟩ ст⟨атей⟩ Белинского, Боткина, Анненкова и др⟨угих⟩. Тургенев, Кр⟨аевский⟩, Панаев, ⟨Панае⟩ва.

«Кор⟨сар⟩ в пер⟨есказе⟩ Олина

«Свобода» Пушкина

«Онегин» — сестра [1]

«Библиот⟨ека⟩ для ⟨Чтения⟩ в гим⟨назии⟩.

«Телеграф», «Телескоп» от уч⟨ителя⟩ Топорского.

Полностью печатается впервые по автографу (карандашом), ИЛИ (Фонд 203, № 46). Отрывок от слов «Кор⟨сар⟩» в переводе Олина» до конца изложен у В. Евгеньева-Максимова, 84. Набросок представляет собою конспект, в большей своей части реализованный в дальнейших отрывках.

[1] Повидимому, это место следует понимать в том смысле, что с «Евгением Онегиным» Некрасова познакомила сестра Елизавета (в замужестве Звягина, 1821—1842) или Анна (в замужестве Буткевич, 1823—1882).

⟨7⟩

Прозы моей надо касаться осторожно. Я писал из⟨за⟩ хлеба много дряни, особенно повести мои, даже поздние очень плохи — просто глупы; возобновления их не желаю исключая «Петербургские углы» (в «Физиологии Петербурга») и разве «Тонкий человек» (начало романа в «Современнике») [1].

Рецензий моих много в «Литературной газете», в «Отеч. Зап.» (до 1846 года) и в «Современнике» (начиная ⟨с⟩ 1847 года). В последнем, может быть, найду способ указать некоторые, если мне будут делать запросы. Когда Белинский уехал за границу, я писал много рецензий (1847—48) [2].

Я писал одно время заметки о журналах (в 1855 или в 1854 и ⟨18⟩56 год⟨ах⟩). Эти статейки можно отличить, потому что я их, для отличия от других, начинал словами: Читатель. Антонов⟨ич⟩ принял одну за статью Чернышевского — и наделал оттуда выписок, хваля Чернышевского косвенно. Я ему сказал что статья моя, он свою так и оставил,— не оговорил [3].

«Свисток» придумал собственно я, а душу ему конечно дал Добролюбов — заглавие произошло так. В 1856 году, я жил в Риме и сам видел газету «Diritto» (это значит «Свисток»), кое что из нее даже сам почитывал [4].

Самую суть как возникла статья о братьях ⟨Милеантах⟩, кажется, я рассказал Михайловскому [5].

Из «Свистка» многое я перепечатал, иное не стоит, но там есть «Переписка Москвы с Петербургом», текст — стихи мои, примечания Добролюбова. Эту пьесу я не хотел зачесть своею при жизни (Гербель просто это пустил, в своей хрестоматии, без моего позволения). Теперь ею можно воспользоваться для статейки обо мне, и ввести ее в приложение, когда будет издание моих сочинений [6].

Полностью печатается впервые по копии А. А. Буткевич, ИЛИ (Ф. 203, № 46). Судя по внешнему виду рукописи, копия Буткевич — позднейшего происхождения, перебеленная с иного, неизвестного ныне автографа (диктанта или рукописи Некрасова). Первый абзац см. впервые у К. И. Чуковского во вступительном очерке к повести «Тонкий человек» («Федерация», М., 1928, 13). Абзац: «Свисток» придумал собственно я...» впервые см. Скабичевский I, 98. Последний абзац от слова:

«Эту пьесу...» и до конца впервые опубликован К. И. Чуковским в примечаниях к однотомнику (изд. 2-е, Л., 1928, 470).

В тексте исправлены описки: «Антоновский» вместо «Антонович» и «Милестеких» вместо «Милеантах».

[1] Часть первая сборника «Физиология Петербурга, составленная из трудов русских литераторов» под ред. Н. Некрасова, в которой помещены «Петербургские углы»; вышла в свет в ноябре 1844 г. Начало рассказа «Тонкий человек» напечатано в № 1 «Современника» за 1855 г.; окончание опубликовал К. И. Чуковский в отд. изд. 1928 г.

[2] См. прим. 2-е к наброску ⟨16⟩.

[3] Некрасов имеет в виду заметки, печатавшиеся в «Современнике» с августа 1855 г. до июня 1856 г. (см. в этом томе публикацию А. Максимовича, «Заметки о журналах» — несобранный литературно-критический цикл Некрасова).

[4] Некрасов ошибается в названии газеты — вероятно, он имеет в виду выходивший в 1848—1910 гг. в Италии сатирический журнал «Fischietto» кавуровской ориентации; «Fischietto» по-итальянски значит «свисток». Газету эту упоминает и Добролюбов в написанной в Италии в 1861 г. статье «Жизнь и смерть графа Камилло Бензо Кавура» («Современник» 1861, июнь, июль); «Diritto» же по-итальянски значит «право».

[5] Вероятно, Некрасов имеет в виду «Письмо из провинции» Добролюбова в № 1 «Свистка» («Современник» 1859, январь), в котором были, между прочим, осмеяны незначительные журналисты 50—60-х годов, братья В. и Е. Милеанты, воспользовавшиеся случаем принять участие в протесте против юдофобских выходок редактора «Иллюстрации» В. Р. Зотова и тем создать себе популярность и славу. «Протесты против Зотова» были шумными событиями в петербургской и московской литературной жизни 1859—1860 гг. (подробно см. мои примечания в изд. Н. А. Добролюбов, Полн. собр. соч. М., 1939 г., т. VI, 703 и сл. и по указателю). В напечатанных воспоминаниях Н. К. Михайловского о Некрасове никаких данных об истории этой статьи нет.

[6] В письме от 4 июня 1859 г. к своему другу И. И. Бордюгову Добролюбов процитировал с некоторыми вариантами 3—5 строфы «Петербургского послания», а в позднейшем письме к нему же пояснял: «Изображение Москвы, столько тебя устрашившее, принадлежит мне менее чем наполовину. Это мы с Некрасовым однажды дурачились, и, конечно, все лучшие стихи его» («Материалы для биографии Н. А. Добролюбова...», М., 1890, I, 513 и 522). Таким образом, Добролюбов, кроме примечаний, претендовал и на авторство в некоторой части текста, но в окончательный текст «Переписки» стихи эти, вероятно, не вошли.

⟨НАБРОСКИ ПИСЬМА М. Е. САЛТЫКОВУ⟩

⟨8⟩

Мне попался здесь 4 № «В⟨естника⟩ Евр⟨опы⟩» и я прочел намеки Тургенева и выдержки из писем Б⟨елинского⟩ [1]. Прямо беру эти выдержки на себя, ибо они для меня не новость, — все это, даже в более прямом и резком виде слышал я от самого Белинского; он был не такой человек, чтобы молчать. Подувшись на меня несколько дней, он сам высказал мне свои неудовольствия и свое сожаление о последовавшем в нем внутреннем разрыве со мною. Последовали объяснения не со мною одним, но и с Панаевым. Не надо думать, чтоб я имел тогда то влияние на Панаева, какое приобрел впоследствии. Он был десятью годами старше меня [он был известный литератор] и находился в эту эпоху на верху своей известности. Я его, как и он меня — тогда знал мало; он был для меня авторитет; притом деньги на журнал были его (моих было только 5 т⟨ысяч⟩ ас⟨сигнациями⟩, которые незадолго до того дала мне взаймы на неопределенный срок Наталья Александровна Герц⟨ен⟩). Даже контракт с Плетневым был заключен на имя одного Панаева. [Я же не имел с ним никаких условий]. Значит, в сущности, он один был хозяином дела. Только впоследствии, спустя несколько лет, при перемене контракта с Плетневым [встав⟨лено⟩] прибавлено было в контракте мое имя, чем права ⟨нрзб⟩ мои уравнивались с правами Панаева. Не хочу этим сказать, что Панаев помешал мне сделать желаемое Белинским, но я не мог бы этого сделать помимо его. И мнение [его] Панаева было то же, что и мое, именно, что предоставление [ему] Белинскому доли [ввиду] было бы бесплодно для него и [непр⟨авильно⟩] опасно для дела, в виду неминуемо близкой смерти Белинского, которая была решена врачами, что не было тайной

ни для кого из друзей его: пришлось бы связать себя в будущем, имея дело не с ним, а с его наследниками, именно с его женой, которую все мы не любили, не исключая и Тургенева, который между прочим сочинил на нее злые стихи *. И вот с ней то нам пришлось бы иметь дело. Это особенно пугало Панаева.

⟨9⟩

Мне попался здесь «В⟨естник⟩ Е⟨вропы⟩» и я прочел выдержки из писем Бел⟨инского⟩. Прямо беру их на себя, ибо они для меня — не новость. Не такой был человек Бел⟨инский⟩, чтоб долго молчать. Помолчав несколько дней он высказал мне горячо и более резко, чем в этих письмах, свое неудовольствие и свое сожаление о внутреннем разрыве со мною. Последовали объяснения сначала со мною, потом со мною и с Панаевым. Может быть, плодом этих объяснений и было второе письмо к Тургеневу, в значительной доле уничтожающее первое. Сопоставив эти два письма, останется, что «Н⟨екрасов⟩ действовал добросовестно, но не переходя той черты, где начиналась его невыгода из-за принципа, до которого он не [доразвился] дорос». Кажется, так? Я останавливаюсь на этом. Я был очень беден и очень молод, восемь лет боролся я с нищетою, видел лицом к лицу голодную смерть; в 24 года я уже был надломлен работой из-за куска хлеба. Не до того мне было, чтобы жертвовать своими интересами чужим. Белинский это понимал, иначе не написал бы в том же [самом] первом обвиняющем меня письме, что он «и т е п е р ь меня в ы с о к о ц е н и т». А во втором письме он говорит, что почти переменил свое мнение и насчет и с т о ч н и к а моих поступков. С меня этого довольно. Я не знаю, исчезло ли в его воззрении на меня впоследствии это п о ч т и, но отношения наши до самой его смерти были короткие и хорошие. Я не был точно и д е а л и с т (иначе прежде всего не взялся бы за журнал, требующий [как коммерческое предприятие рассчетливости и устойчивости, выдержанности в однажды установленном плане] практических качеств), еще менее был я ровня ему по развитию; ему могло быть скучно со мною, но помню, что он всегда был рад моему приходу. Отношения его ко мне до самой смерти сохраняли тот характер, какой имели в начале. Белинский видел во мне богато одаренную натуру, которой недостает развития и образования. И вот около этого-то держались его беседы со мною [он ловил меня часто на словах — и это одно слово давало ему повод высказать мне многое, что было для меня и ново и полезно], имевшие для меня значение поучения. Несмотря на сильный по тому времени успех «Современника» в первом году мы понесли от первого года 10 т⟨ысяч⟩ убытка **; денежные заботы, необходимость много работать, вся, так сказать, черновая работа по журналу: чтение и исправление рукописей, а также и добывание их, чтение корректур, объяснение с цензорами, восстановление смысла и связи в статьях [что приходилось иногда делать с одной статьей по нескольку раз — лежала на мне] после их карандашей лежали на мне, да я еще писал рецензии и фельетоны, все это, а также и последовавшие с февраля 1848 г. цензурные гонения, сопровождавшиеся крайней шаткостью почвы под ногами каждого причастного тогда к литературе — довело мое здоровье до такого расстройства, что Б⟨елинский⟩ часто говаривал, что я немногим лучше его. Белинский вообще знал мою тогдашнюю жизнь [мои отношения] до мельчайшей точности и строго говаривал мне: «Что вы с собой делаете, Н⟨екрасов⟩ —

* По манере Тургенева со мною я должен был бы напечатать эти стихи и отпереться было бы ему трудно ибо их слишком многие знают, привожу, конечно — не для печати и даже не для распространения под рукою,— собст⟨венно⟩ д л я В а с три куплета [2].

** В 1-м году «Совр⟨еменник⟩» имел 2000 подписчиков.

смотрите берегитесь, иначе с вами тоже будет, что со мною». При этом в его умирающих глазах я [читал именно ту] уловил однажды выражение, которое я не умею иначе истолковать, как тою любовью, о которой [он говорил] упоминается в письме к Тургеневу, как о потерянной мною. В этом взгляде была еще глубокая скорбь. Впоследствии я узнал от общих наших друзей, что в близкой моей смерти он был убежден положительно. Припоминая и тысячу раз передумывая, я прихожу к убеждению, что главная моя вина в том [что не случилось, как иногда думал Белинский, т. е.] что я действительно не умер вскоре за ним, но за эту вину я готов выносить не только клеветы г. Антоновича [3], но и тонкие намеки г. Тургенева, которые он хитро старается скрепить авторитетом Белинского.

⟨10⟩

Я приехал в Париж, когда уже первая часть романа Гюго вышла и думаю, что Вы были в этом своевременно извещены [4].

4 № «Отеч. Зап». велите послать мне в Париж, по тому же адресу, какой я Вам дал.

Поэму Жемчужникова я получил. Я думаю, что ее печатать в «Отеч⟨ественных⟩ Зап⟨исках⟩» не следует — по причине ее полемического характера [5].

В этом смысле я ему написал.

Я прочел № 4 «Вестн⟨ика⟩ Европы». Тургенев, имеющий свои причины пакостить мне, является на помощь Антоновичу. Два приведенные им отрывка из писем Бел⟨инского⟩, будучи сопоставлены один с другим, в значительной степени уничтожают друг друга, но все-таки тут разгуляться можно. Я же скажу, что по моей роли в журналистике мне постоянно приходилось, так сказать, торговаться, и я думаю, найдется еще не один человек из людей порядочных, который выражал в письме к приятелю свое неудовольствие на меня по этому поводу. Следует ли, однако, из этого, что я должен был или мог действовать иначе? Бел⟨инский⟩ покинул «От⟨ечественные⟩ Зап⟨иски⟩» вовсе не для того, чтоб основать журнал новый, да и мы тогда об этом не думали, — доказательство в том, между прочим, что затевался сборник [6]. Мысль о журнале пришла нам в голову летом 1846 года, когда Белинский ездил со Щепкиным в Малороссию. Об этом и об условиях, на коих он может вступить в дело было ему написано, он отвечал согласием. В начале 1847 года он предложил мне чтоб я ему дал в доходах журнала 3-ью долю. Я на это не согласился, как мне ни было тяжело ему отказывать, не согласился потому, что было трудно уладить дело: у нас еще были Панаев, я, Плетнев, Никитенко, которому тоже, как редактору, кроме жалования принуждены мы были дать долю из будущих барышей (в 1848 году он вышел и от всякого участия как в убылях, так и в барышах отказался). К чему повела бы доля? С первого года барышей мы не ждали (да их и не было, а был убыток), между тем и для нас и для всех друзей Белинского было не тайна, что дни его, как говорится, сочтены. Пришлось бы связать себя надолго ⟨...⟩.

⟨11⟩

Что-то у Вас делается, многоуважаемый Михаил Евграфович? Я Вам написал наскоро, и думал на другой день писать дальше, да дело затянулось; жизнь в трактире идет так, что коли утром что нибудь помешало написать письмо, то день и пропал, и так далее. Живу не то чтобы весело. Я уже живал в Париже — все одна история — шляние по гульбищам и ресторанам, но хорошо то, что нервы отдыхают, а мне это было нужно.

Ни папаши, ни мамаши,
Дома нету никого!

Засыпать и просыпаться под впечатлением этих стишков недурно. В Париже мне надоело, в Киссинген еще рано, на днях уеду куда нибудь и пришлю вам адрес, а покуда пишите по старому. Я здесь читал 4 № «В⟨естника⟩ Е⟨вропы⟩». Напишу Вам об этом подробно со временем, а теперь лень. Скажу только, что я не исполнил желание Бел⟨инского⟩ потому, что не мог, зная что для него из этого ничего не выйдет (ибо он уже дышал на ладан), а себя свяжу. Сколько получил Белинский денег за свое участие в «Соврем⟨еннике⟩», на это есть документы. Из статей, перешедших в «Современник» из предполагавшегося сборника[6], кроме двух все оплачены были деньгами журнала. Затем, никто кроме Белинского не был хозяином содержания журнала, пока он мог заниматься, а хозяином кассы он сам не хотел бы быть. Я имею убеждение и некоторые доказательства, что Бел⟨инский⟩ сам очень скоро увидел, что его положение как дольщика (при необходимости брать немедленно довольно большую сумму на прожиток и неимении гарантии за свою долю в случае неудачи дела) было бы фальшиво. Это он мне сам высказал. Наконец, если б даже Вы остановились на мысли, что я отказал ему по корыстным соображениям, то пусть и так: я вовсе не находился тогда в таком положении, чтобы интересы свои приносить в жертву чьим бы то ни было чужим. Белинский это понимал, иначе не написал бы в том же письме, что все-таки меня высоко ценит. Непременно напишу об этом деле на досуге Вам подробно, а Вы напишите, что Вы об этом думаете. По моему, эти два отрывка из писем уничтожают друг друга в значительной степени, но все-таки для Антон⟨овича⟩ тут пожива хорошая! Да чорт с ним! В конце концов, я думаю так: суть вовсе не в копейках, которые я себе отделял, даже не в средствах, при помощи которых делал известное дело — а в самом деле.

Вот если будет доказано, что дело это исполнял я совсем дурно, что привлекал к нему нечестных и неспособных, обходя способных и честных — тогда я кругом виноват, но тогда только.

Роман Гюго (все 4 части) вышел, что Вы вероятно знаете.

ОСТАТКИ УСАДЬБЫ В ГРЕШНЕВЕ

Нижний этаж дома — единственное строение (помещение для музыкантов), сохранившееся от усадьбы отца Некрасова

Фотография 1910-х гг.

⟨8⟩ Впервые — с пропусками: Скабичевский II, стр. LV—LVI. Полностью в статье Е. Базилевской, Мнимая эпиграмма Некрасова.—«Звенья» 1932, вып. I, 187—188. Автограф, находившийся в собрании А. Ф. Кони, мне неизвестен.

⟨9⟩ Впервые: Скабичевский I, 385—387. Сверено с автографом ИЛИ (Ф. 203, № 63).

⟨10⟩ Впервые: В. Евгеньев-Максимов, Некрасов и его современники, М., 1930, 79—80. Автограф мне неизвестен.

⟨11⟩ Впервые — там же, 77—79. Сверено с автографом ИЛИ (Ф. 203, № 63).

Все четыре наброска написаны в Париже, в котором Некрасов пробыл в 1869 г. с начала апреля до начала мая по ст. ст. (Щедрин. Полн. собр. соч., 1937, XVIII, 212 и Н. Ашукин, Летопись..., 365 и 366).

В самих набросках находим очень немногие данные для уточнения их датировки. В наброске ⟨10⟩ Некрасов сообщает о посланном письме к А. М. Жемчужникову — это, конечно, письмо от 22 апреля (4 мая) 1869 г. (Письма..., 452). Набросок ⟨11⟩ (а может быть, и ⟨10⟩) — ответы на письмо Салтыкова к Некрасову от 18 (30) апреля с вопросами о времени выхода в Париже романа В. Гюго: «L'homme qui rit» (Щедрин, XVIII, 213). Это письмо могло быть получено в Париже не раньше 24 апреля (6 мая). Таким образом, письма были написаны не раньше 22—24 апреля 1869 г.

В письме к А. М. Жемчужникову от 2 (14) мая (начало которого почти совершенно точно совпадает с началом наброска ⟨11⟩ и, вероятно, одновременно и писалось) Некрасов сообщал: «Уеду я в понедельник» (Письма, 454), т. е. 5 (17) мая*. Следующее по времени известное письмо, тоже к А. М. Жемчужникову, датировано 17 (29) мая. (Письма, 461 и Н. Ашукин, Летопись..., 366). Значит, письма набрасывались не позже 5 мая, вернее же всего — в период 25 апреля — 2 мая 1869 г.**.

Все наброски относятся, разумеется, к одному, очень небольшому периоду времени; последовательность написания всех четырех набросков может быть установлена лишь предположительно: наиболее короткий и оформленный в виде письма (обращение к Салтыкову) набросок,— вероятно, последний.

Некрасов, судя по сохранившимся четырем наброскам, долго и тщательно обдумывал свое письмо Салтыкову: ответ на выпады Тургенева, опубликовавшего в своих воспоминаниях в «Вестнике Европы» (1869, № 4) якобы компрометирующий Некрасова в его отношениях к Белинскому материал — отрывки из писем Белинского к Тургеневу. Подробный анализ обвинений Тургенева см. у В. Евгеньева-Максимова, Некрасов и его современники, М., 1930, 70—92 и в его же книге «„Современник" в 40—50 гг. от Белинского до Чернышевского», Л., 1934, 79—92. Письмо, повидимому, осталось неотправленным (все четыре наброска восходят к архиву Некрасова), хотя утверждать это категорически нельзя. В письмах Салтыкова к Некрасову и в их последующей переписке не сохранилось никаких следов этого письма, несомненно, важного и значительного для обоих адресатов, однако следует иметь в виду, что их переписка сохранилась далеко не полностью.

1 19 февраля 1847 г. Белинский писал Тургеневу о Некрасове: «При объяснении со мною он был не хорош: кашлял, заикался, говорил, что на то, чего я желаю, он, кажется, для моей же пользы согласиться никак не может, по причинам, которые сейчас же объяснит и по причинам, которых мне не может сказать... Я любил его, так любил, что мне и теперь иногда то жалко его, то досадно на него за него, а не за себя. Но мне трудно переболеть внутренним разрывом с человеком, а потом ничего... Я и теперь высоко ценю Некрасова за его богатую натуру и даровитость; но тем не менее он в моих глазах — человек, у которого будет капитал, который будет богат, а я знаю, как это делается. Вот уж начал с меня».

1 марта Белинский писал Тургеневу же: «Я почти переменил мое мнение насчет источника известных поступков Некрасова... Мне теперь кажется, что он действовал честно и добросовестно, основываясь на объективном праве, а до понятия о другом, высшем, он еще не дорос, а приобрести его не мог по причине того, что возрос в грязной положительности, и никогда не был ни идеалистом, ни романтиком на наш манер» (В. Белинский, Письма, СПб., 1914, III, 177 и 188). Тургенев опубликовал соответствующие места из писем Белинского, заменив имя Некрасова звездочкой — подстановка эта ни для кого не составляла секрета — и с некоторыми купюрами, так что в целом контекст оказывался еще более резко направленным против Некрасова.

2 Приводимые стихи, которые мы опускаем, были в свое время ошибочно приписаны Некрасову В. Е. Евгеньевым-Максимовым и К. И. Чуковским («Заветы» 1913, № 6, 35—36 и Полное собрание стихотворений Некрасова, Л., 1927, 361). Авторство Тургенева подробно обосновано Е. В. Базилевской в названной в начале примечаний

---

* У Н. С. Ашукина («Летопись...», 366) ошибочная дата — 14 (26) мая. Расчет Е. В. Базилевской в назв. выше статье в «Звеньях» (I, 187) ошибочен, так как ею не учтено, что письмо к Жемчужникову датировано по новому стилю.

** Части 2—4 романа В. Гюго: «L'homme qui rit», вышли в свет в первых числах мая. Известие об их выходе напечатано в «Bibliographie de la France», 1869, № 19. от 8 мая (№ 3828); эти данные подтверждают предлагаемую мною датировку.

ОСТАТКИ САДА В УСАДЬБЕ ГРЕШНЕВО
Фотография А. В. Попова, 1935 г.

статье, в которой стихи и опубликованы. Ср. скрытую цитату из этого стихотворения в письме Герцена Тургеневу от 11 (23) марта 1869 г. (А. Герцен, Полн. собр. соч. и писем. П., 1923, XXI, 331).

[3] Некрасов имеет в виду выпады М. А. Антоновича в его известной брошюре (написанной совместно с Ю. Г. Жуковским) «Материалы для характеристики современной литературы», СПб., 1869.

[4] Роман Виктора Гюго «L'homme qui rit». Русский перевод напечатан в № 4—7 «Отечественных Записок» за 1869 г.

[5] Речь идет о поэме-сатире на М. Н. Каткова «Пророк и я», напечатанной Жемчужниковым в отрывке в 1870 г. в «С.-Петербургских Ведомостях» (№ 38) под заглавием: «О времени недавно прошедшем и частью о настоящем. (Опыт фельетона в стихах)». Ср. Отзыв Некрасова в письме к Жемчужникову от 26 февраля 1870 г. (Письма, 472).

[6] Сборник «Левиафан», задуманный Некрасовым в 1845 г. в пользу Белинского. Сборник не осуществился. Собранный материал был в 1847 г. в большей своей части использован в «Современнике».

⟨12⟩

Письмо к Солдат⟨енкову⟩.
Винокур⟨енный⟩ завод. (Турген⟨ев⟩).
Отец мой.
Белинский и Тургенев ⟨нрзб⟩.
Я не владел крепостными.

Печатается впервые по автографу из собрания В. Е. Евгеньева-Максимова. Публикуемые строки набросаны Некрасовым карандашом на обороте второго листа продиктованного А. А. Буткевич отрывка ⟨3⟩ «Мой отец».

Первая строка, несомненно, имеет в виду столкновение с К. Т. Солдатенковым в 1855 г., накануне выхода первого сборника стихотворений Некрасова. Желание Некрасова возвратить Солдатенкову полученный аванс и издать сборник самому и затяжка издания вызвали резкое осуждение со стороны московских друзей поэта. Характерно, что почти все предсмертные наброски имеют целью оправдаться по поводу тех или иных обвинений, в разное время предъявлявшихся поэту.

Вторая строка наброска имеет, повидимому, в виду винокуренный завод брата поэта, Ф. А. Некрасова, в Карабихе. Обозначение в скобках имени Тургенева имеет, вероятно,

в виду следующий клеветнический выпад, содержащийся в «Дыме» (гл. V, слова Потугина), до сих пор не замеченный исследователями и не учтенный в литературе:

«Иной, например, сочинитель, что ли, весь свой век и стихами и прозой бранил пьянство, откуп укорял... да вдруг сам взял да два винные завода купил и снял сотню кабаков... и ничего».

А. С. Некрасову (третья строка) посвящены отрывки ⟨2⟩ и ⟨3⟩; там же в расширенном виде находим и фразу о крепостных.

Автобиографические наброски, связанные с воспоминаниями Тургенева о Белинском (четвертая строка) и содержащие резкие выпады против Некрасова, неизвестны (вероятно, они не были написаны); наброски письма к Салтыкову 1869 г. ⟨8—11⟩, помещаемые в настоящей подборке, касаются именно этого эпизода.

⟨13⟩

АНЕКДОТ О ДИРЕКТОРЕ ТЕАТРА САБУРОВЕ

Я с ним много играл в карты. Раз Андрей Иванович приехал ко мне, причем ему подавалась мороженая вода и лед, отозвал меня в сторону и сказал: «у меня до вас просьба — поправьте мне маленькие стихи» и прочел что-то о розе, звезде севера. «Вы мастер». — «Да разве вы, Андрей Иванович, знаете, что я пишу стихи?» — «Прошлый год я ездил набирать труппу в Париж. Я бывал в аристократических домах, там я слышу вдруг разговор, кто теперь лучший поэт в Европе, там сказали Некрасов. Я дал себе слово, как ворочусь в Россию, прочитать».

Я исправил «Розу» и послал Андрею Ивановичу экземпляр своих стихотворений [1].

Впервые, с мелкими неточностями, опубликовано К. И. Чуковским в заметке: «Из записной книжки Некрасова» в «Некрасовском сборнике» под ред. и со вступительными статьями К. И. Чуковского и В. Е. Евгеньева-Максимова, Пг., 1922, 58—59. Сверено с автографом неизвестной руки (диктант?) из собрания В. Е. Евгеньева-Максимова (запись на одном листе с отрывком ⟨5⟩) и с копией А. А. Буткевич в ИЛИ (Ф. 203, № 2); в этой копии вместо: «Я исправил...» — «Брат исправил...». Исправляю описку писца или оговорку Некрасова в четвертой строке: «Иван Андреевич» вместо «Андрей Иванович».

[1] Андрей Иванович Сабуров (1797—1866) — знакомый Пушкина, видный сановник, обер-гофмейстер, миллионер, член Английского клуба, в 1857—1863 гг. директор императорских театров; к этому времени и относится рассказ Некрасова (см. «Столетие С.-Петербургского английского собрания», СПб., 1870, 98; М. Бутурлин, Записки.—«Русский Архив» 1897, I, 432; М. Лонгинов, Управление русскими театрами в Петербурге и Москве.—«Русский Архив» 1870, 1557).

Знакомство Некрасова с Сабуровым —«карточного происхождения»: в небольшом, в несколько строк, некрологе А. И. Сабурова в «Иллюстрированной Газете» особо отмечено, что покойный был замечательно искусный знаток в коммерческих играх. (1866, № 9, от 3 марта, 144. О том же см. у Е. Феоктистова, Воспоминания, За кулисами политики и литературы. 1848—1896, Л., 1929, 23—25). В письме к П. В. Анненкову от 16 ноября 1857 г. Тургенев, иронически сообщая о карточной игре Некрасова, между прочим, писал: «...Некрасов, разговаривающий об литературе только с Батмановым, Лаптевым, Сабуровым — есть ужасно прозаическая вещь» («Труды Публичной библиотеки СССР имени Ленина», вып. III, М., 1934, 72).

В воспоминаниях Н. И. Куликова («Русская Старина» 1886, № 12, 628—629) рассказывается характерный для А. И. Сабурова эпизод ухаживания его за некоей балериной П. Очевидно, назначение «Розы» было подобного же рода.

⟨14⟩

Великая моя благодарность графу Александру Владимировичу Адлербергу [1]. Он много проиграл мне денег в карты, но еще более [дал мне денег] сделал для меня, выхлопотав в шестидесятом году позволение на издание моих стихотворений, что запретил Норов в 1856 г.

Это дало мне до 150 т⟨ысяч⟩.

Желаю, чтоб это было напечатано после моей смерти [человек чудесной души].

Н. Некрасов

Впервые у Скабичевского I, 399. Сверено с автографом неизвестной руки (диктант) из собрания В. Е. Евгеньева-Максимова и с копией А. А. Буткевич в ИЛИ (Ф. 203, № 2). В публикации Скабичевского вместо полной фамилии Адлерберга — «А. В. А.» и опущены слова: «проиграл мне денег в карты, но еще более...». В диктанте последние слова от «*Желаю*...» и до конца написаны собственноручно Некрасовым.

[1] Граф Александр Владимирович Адлерберг (1818—1888) — генерал-адъютант, с 1861 г. командующий императорской главной квартирой, член Главного управления цензуры, впоследствии (с 1870 до 1882 г.) министр двора и уделов; личный друг Александра II. О всемогуществе Адлерберга дают понятие следующие слова П. В. Долгорукова: «Адлерберги... ныне составляют какую-то особую династию, которая... составляет в России какое-то особое сословие: царскую дворню» («Петербургские очерки», М., 1934, 129).

Некрасов ошибался, приписывая хлопотам А. В. Адлерберга разрешение второго издания его стихотворений. Запись в дневнике Никитенко 1 апреля 1861 г. разъясняет историю этого издания: «Заседание в Главном управлении цензуры. Министру 〈Евгр. П. Ковалевскому — *С. Р.*〉 сегодня точно хотелось выставить себя перед графом Адлербергом строгим и бдительным стражем литературы. Например, он усиливался опять запретить Некрасова, хотя все, кроме Пржецлавского, готовы были пропустить его, за исключением немногих мест. Наконец, уже и граф Адлерберг заступился за него» (А. Никитенко, Моя повесть о самом себе и о том, чему свидетель в жизни был. Записки и дневник (1804—1877), изд. 2-е, СПб., 1905, II, 11). Таким образом, большинство членов Главного управления цензуры было за разрешение издания, а авторитетное выступление влиятельного Адлерберга окончательно решило вопрос, однако никаких особых хлопот он, насколько известно, не проявлял.

〈15〉

Продолжаю свою юность. Нет, скажу еще об Абазе. Этот симпатичный человек проиграл мне больше миллиона франков, по его счету, а по моему счету так и побольше [1]. Одно время я был в выигрыше до 600 т〈ысяч〉. Самый большой мой проигрыш в один раз был 83 т〈ысячи〉. Если удосужусь, когда-нибудь ворочусь еще к своей игре [2]. Кстати о великих мира сего. М. Н. Муравьева я видел два раза в жизни [3]; с сыном его Леонидом был очень короток, с зятем Сергеем Шереметьевым были мы дружны по охоте [4]. В известный год, в известном обстоятельстве я сказал М. Н. Муравьеву двенадцать стихов, за это даже Катков обругал меня в «Московских Ведомостях», а уж о г. Буренине и говорить нечего [5].

Полностью печатается впервые по автографу (диктант) из собрания В. Е. Евгеньева-Максимова. Запись на одном листе с отрывком 〈5〉. Сверено с записью А. А. Буткевич из того же собрания, начинающейся словами: «О Муравьеве брат рассказывал мне так: Я видел М. Н. Муравьева...», далее текст совпадает с диктантом.

[1] Абаза Александр Аггеевич (1821—1895) — видный государственный деятель умеренно либерального направления, сторонник реформ 1861 г. В 60-х годах — гофмейстер при дворе вел. кн. Елены Павловны, к кружку которой был близок, и член совета Министерства финансов; с 1874 г.— председатель департамента экономии Государственного совета; впоследствии (с 1877 г.) государственный контролер; в 80-х годах недолгое время — министр финансов. В «Архиве села Карабихи» (М., 1916) опубликованы 8 писем Абазы к Некрасову; все письма касаются денежных расчетов, связанных с карточной игрой. В одном из писем (от 6 января, вероятно, 1861 г.) Абаза, отказываясь от очередного приглашения на игру, писал: «Вечером у вас не буду, потому что кончилась игорная моя карьера: не хочу более брать карт в руку, и надеюсь, что вы по дружбе ко мне будете поддерживать в этих мыслях» (стр. 74). Судя, однако, по следующим письмам, этот обет вскоре же был нарушен. В 1875 г. Некрасов просил у Абазы совета и помощи в деле облегчения участи Н. Г. Чернышевского (Письма..., 561).

[2] Этот план Некрасов не осуществил.

[3] О второй встрече Некрасова с М. Н. Муравьевым ничего неизвестно.

[4] Леонид Михайлович Муравьев (1821—1881) имел придворный чин герольдмейстера; о знакомстве его с Некрасовым в литературе сведений нет. Сергей Сергеевич Шереметев (1821—1884) — отставной полковник кавалергардского полка, член строительной конторы Министерства двора, впоследствии егермейстер; вторым браком был женат на дочери М. Н. Муравьева Софье Михайловне. В неизданных записях В. М. Лазаревского (г. Горький, Обл. архив), есть рассказы о встречах Некрасова с С. С. Шереметевым. 5 апреля 1866 г. Некрасов, после покушения Каракозова, обеспокоенный судьбой «Современника», посетил ряд влиятельных сановников Петербурга, в том числе

и С. С. Шереметева (см. К. Чуковский, Поэт и палач, цит. по кн.: «Некрасов. Статьи и материалы», Л., 1926, 33—34).

[5] Текст оды Муравьеву неизвестен. О том, что в ней было именно 12 строк, Некрасов приблизительно в это время говорил и А. Н. Пыпину (см. стр. 192). Выпад М. Н. Каткова против Некрасова в связи с одой находится в передовице «Московских Ведомостей» от 20 апреля 1866 г. (№ 83, 1—2). В этой же передовице помещена и информация об обеде в Английском клубе с язвительным изложением выступления Некрасова. Подробно об оде см. в статье: Б. Бухштаб «О муравьевской оде» — «Каторга и Ссылка» 1933, № 12. Выпад В. П. Буренина по поводу оды Муравьева неизвестен. Может быть, Некрасов имеет в виду пародию на его сатиры в «Общественных и литературных заметках» Выборгского пустынника (т. е. В. П. Буренина) в № 102 «С.-Петербургских Ведомостей» от 17 апреля 1866 г.?

⟨16⟩

⟨АВТОБИОГРАФИЯ Н. А. НЕКРАСОВА, ЗАПИСАННАЯ ДЛЯ М. И. СЕМЕВСКОГО⟩

(Записано 7 июня 1872 г.)

Я родился в 1822 г. в Ярославской губернии. Мой отец, старый адъютант князя Витгенштейна [1], был капитан в отставке. Вышел я из 4 класса гимназии. Уверил старшего брата, что мне нужно ехать в Петербург и там продолжать учение. Прокурор Полозов дал рекомендательное письмо жандармскому генералу Полозову об определении в дворянский полк. Прибыл в Петербург в 1838 г. [2]. В кармане 150 р. ассигнациями. Отказ мой Полозову от дворянского полка. Генерал написал брату, брат пожаловался отцу. Грубое письмо отца. Грубый мой ответ отцу; заключение его. («Если вы, батюшка, намерены писать ко мне бранные письма, то не трудитесь продолжать, я, не читая, буду возвращать вам письма»).

Со мной была тетрадка стихотворений, на нее возлагал я большие надежды. Перебиваясь изо дня в день, я насилу добыл место гувернера у офицера Бенецкого — содержателя пансиона для поступления в Инженерное училище. За 100 р. ассигнациями в месяц я обучал его десяток мальчиков с утра до позднего вечера [3].

В начале 1840 года я приступил к изданию привезенных стишков отдельной книжечкой. Имея ее еще в листах, пошел к Жуковскому в Шепелевский двор, близ Зимнего Дворца. Он жил очень высоко. Вышел благообразный старик, весьма чисто одетый, с наклоненной вперед головой. Отдавая листы просил его мнения. Сказано — притти через три дня. Явился. Указано мне два стихотворения из всех, как порядочные, о прочих сказано: «Если хотите печатать, то издавайте без имени, впоследствии вы напишете лучше, и вам будет стыдно за эти стихи».

Не печатать было нельзя, около сотни экземпляров Бенецким было запродано, и деньги я получил вперед. Книжечка вышла, автор скрылся под буквами Н. Н. Роздал книгу на комиссию; прихожу в магазин через неделю — ни одного экземпляра не продано, через другую — то же, через два месяца — то же. В огорчении отобрал все экземпляры и большую часть уничтожил. Отказался писать лирические и вообще нежные произведения в стихах [4].

Н. Полевой издал «Сын Отечества». Он поместил одно стихотворение [5]. Дал мне работу, я переводил с французского, писал отзывы о театральных пьесах, о книгах — ничего о них не зная. Ходил в Смирдинскую библиотеку-кабинет, брал кое-какие материалы, и заметки составлялись. Так я писал и сам учился.

Желание поступить в университет меня не покидало. Пугала латынь. На Итальянской встретил в увеселительном заведении Успенского — профессора духовной академии. Оба ⟨?⟩ пьяные. Ученый переводчик классиков для академии с откровенностью молодости рассказал о своей судьбе. «Я вас выучу латыни, приходите жить ко мне».

нади ругают все что не хорошо Некрасовъ нужна одна правда

Анекдотъ о Директоре Театра Сабурове

Я выигралъ много игрой въ картишки у Андрея Ивановича прiходовъ комнат причемъ ему подавались морожиная вода и лёдъ отозвавъ меня въ сторону и сказалъ у меня до васъ просьба поправьте мои маленькiе стишки и прочелъ что то о розе Звезде Севера вы мастеръ да разве вы Иван Андреевичъ знаете что я пишу стихи? Прошлый годъ я ездилъ на биржу в Париже я бывалъ въ Аристократическихъ Домахъ тамъ и слышу вдругъ разговоръ кто теперь лучшiй поэтъ въ Европе тамъ сказали Некрасовъ.

Я далъ обетъ своих какъ ворочусь въ Россiю прочитать

Я поправилъ Розу и послалъ Андрею Ивановичу Экземпляръ своихъ стихотворенiй

Великая моя благодарность Графу Александру Владимiровичу Адлербергу онъ много проигралъ мне денегъ въ карты но еще больше ~~мне денегъ~~ сделалъ для меня выхлопотавъ въ Шестидесятомъ году позволенiе на Изданiе моихъ Стихотворенiй что запретилъ Норовъ въ 1856 г. ~~[illegible]~~

Это дано мне до 150 т. ~~[illegible]~~

Н. Некрасовъ

Желаю чтоб это было напечатано после моей смерти. Н. Некрасов

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ НАБРОСКИ ⟨13⟩ и ⟨14⟩

Автограф неизвестной руки (диктант). Слова на полях: «Желаю чтоб это было напечатано после моей смерти...» вписаны Некрасовым

Собрание В. Е. Евгеньева-Максимова, Ленинград

Поселился у него на Охте. Подле столовой за перегородкой темный чулан был моей квартирой. Успенский в полосатом халате пил запоем по нескольку недель.

— «Давай, буду тебя учить».

Две, три недели учит очень хорошо, а там опять запьет. Ходил с ним к дьякону Прохорову. Тот был правой рукой митрополита бывшего Серафима, все духовенство валялось у его ног. У отца дьякона вечный картеж. Тут я выучился играть в преферанс [6].

Начались экзамены в университете. Латинист Фрейтаг был очень строг, но и он с латыни поставил мне 5. Устрялов экзаменовал по русской истории; экзамены шли хорошо, но профессор всеобщей истории Касторский поставил единицу; говорят, любил взятки. Мне нечего было дать. Оставался экзамен по физике, в ней я ничего не знал, приготовиться не у кого, заплатить нечем, рассчитывал получить единицу по этому предмету. При одной единице тогда в университет принимали. Но, уже имея единицу, пошел к ректору Плетневу; он посоветовал отложить физику до декабря и обещал принять при одной единице по всеобщей истории. Успокоенный словом ректора, я загулял. Через две недели прихожу, узнаю, что не принят. Плетнев забыл обо мне заявить конференции. Иду к нему. С горечью выругал его. Мое положение было трагическое. На поступлении в университет я рассчитывал примириться с отцом. Плетнев принял вольнослушателем. Я ходил сюда читать, но учиться и зарабатывать хлеб трудно, и я бросил [7].

Издавал Краевский «Литературную Газету» — прибавление к «Инвалиду». Издатель был Иванов — книгопродавец. Сюда я писал очень много. Краевский по контракту взял на себя всю работу за 18 000 р. ассигнациями, а сдал мне всю ее за 6000 р. в год. В газете был отдел дагеротип. Весь он исписывался мною и в стихах, и в прозе [8].

Я как-то недавно расчел, что мною исписано всего журнальной работы до 300 печатных листов. Отзывы мои о книгах обратили внимание Белинского, мысли наши в отзывах отличались замечательным сходством, хотя мои заметки в газете по времени часто предшествовали отзывам Белинского в журнале. Я сблизился с Белинским. Принялся немного за стихи. Приношу к нему около 1844 г. стихотворение «Родина» [9], написано было только начало. Белинский пришел в восторг, ему понравились задатки отрицания и вообще зарождение слов и мыслей, которые получили свое развитие в дальнейших моих стихах. Он убеждал продолжать.

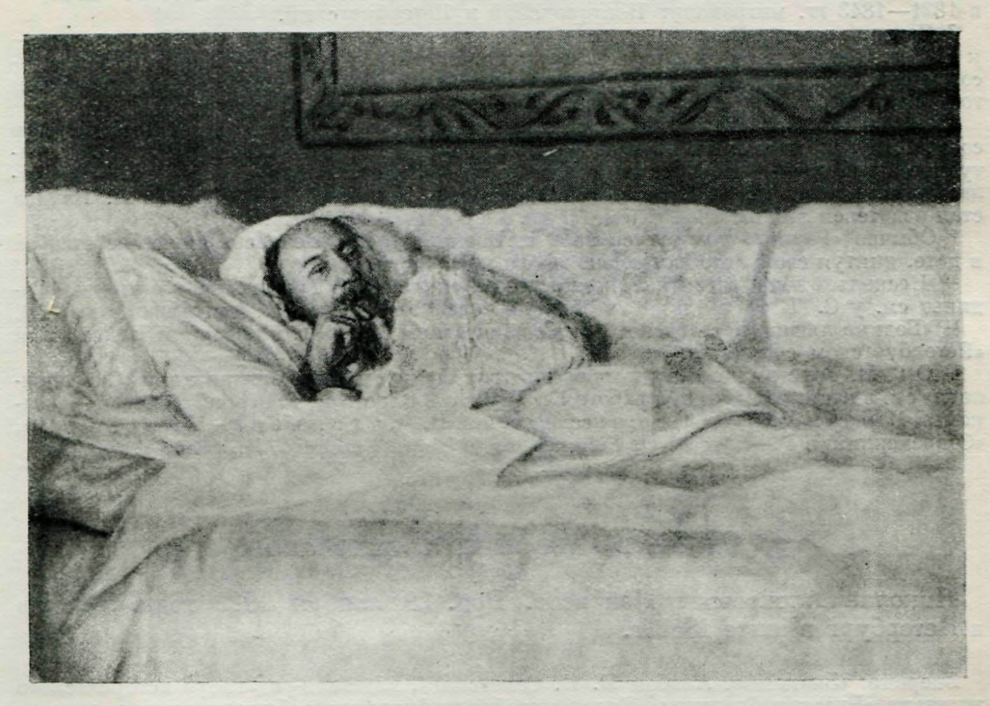
Сижу дома, работаю. Прибегают от Белинского. Иду туда. Впервые встречаю Тургенева. Читаю ему «Родину». Он в восторге: «Я много читал стихов, но так написать не могу,— сказал Тургенев,— мне нравятся и мысли, и стих» [10].

В собрании моих стихотворений печатается «Родина» в начале издания. С 1844 г. дела мои шли хорошо. Я без особого затруднения до 700 р. ассигнациями выручал в месяц, в то время как Белинский, связанный по условию с Краевским, работая больше, получал 450 р. в месяц. Я стал подымать его на дыбы, указывая на свой заработок.

В 1845 г. издал я в Петербурге сборник, в нем между прочим было начало романа Федора Достоевского «Бедные Люди» [11]. Сборник мне дал чистых 2000 р. Я был тогда молод, деньги отдал Белинскому на поездку в Малороссию со Щепкиным. Здоровье Белинского было сильно расстроено.

Летом 1846 г. я гостил в Казанской губернии у приятеля своего, помещика Григория Матвеевича ⟨?⟩ Толстого, он бывал за границей, обладал некоторым либерализмом. Жили мы с ним в бане и, сидя на балконе, часто беседовали о литературе. В соседство приехал Панаев с семьей, у него было там имение. Я возбуждал вопрос об издании журнала. Дело остановилось за деньгами. Панаев заявил, что у него есть 25 000 рублей свобод-

ного капитала, Толстой обещал ссудить также 25 000. Тогда я поспешил в Петербург [12]. Журнал «Сын Отечества» умирал, издатель его Масальский был в это время в Ревеле. Я ездил к нему, но дело ни к чему не привело, тогда я пошел к Плетневу — издателю «Современника», начатого Пушкиным в 1836-м году. Плетнев легко согласился, уступил мне и Панаеву журнал, написал контракт с каждого подписчика давать Плетневу рубль, а если журнал прекратится вследствие явного нарушения цензурных правил, то мы ему платим 30 000 р. неустойки. Первый год, 1847, успех блистательный. Было 2000 подписчиков; вместо прежней платы по рублю мы ввиду успеха журнала обязались платить 3 000 р. Плетневу в год.



БОЛЬНОЙ НЕКРАСОВ

Акварель И. Т. Михайлова по фотографии В. А. Каррика, 1876 г.

Институт литературы АН СССР

В 1848 г. было более 2 800 подписчиков, но тут начались страшные гонения цензуры. Затем наибольший успех «Современника» в 1861 г. — было 6 800 подписчиков. От Краевского я получил «Отечественные Записки» с 3 000 подписчиков, а ныне до 6 000.

Перепечатывается из «Нового мира» 1925, № 1, 83—86 (публикация С. Шпицера). (Перед тем в вечернем выпуске «Красной газеты» 31 января 1925 г, № 26 (714), 5. Публикация А. Кондратьева). Автограф — неизвестной (женской) рукой в тетради М. И. Семевского в ЛОЦИА — остался мне неизвестным. По мнению С. М. Шпицера, запись сделана под диктовку поэта: это «видно из того, что сплошь и рядом в рукописи встречаются обрывки слов и фраз, а также и торопливый почерк».

¹ Петр Христианович Витгенштейн (1768—1842) — видный военный деятель конца XVIII — начала XIX вв.; с 1818 г.— главнокомандующий 2-й армией, расположенной на юге страны.

² Некрасов приехал в Петербург в 1838 г. Штабс-капитан, а с 1843 г. коллежский асессор Николай Петрович Полозов, давший Некрасову рекомендательное письмо, в 1842 г.— товарищ председателя ярославской уголовной палаты («Месяцеслов и общий штат Российской империи на 1842 г.», ч. 2, 49. Сведений за 1838—1841 гг. о Полозове в «Месяцесловах...» нет). Возможно, что впоследствии он переехал в Петер-

бург и в 1854 г. в чине статского советника занимал пост младшего директора Государственного коммерческого банка (см. «С.-Петербургский путеводитель» 1854, 177). Вероятно, скончавшийся в 1862 г. в Петергофе в чине действ. ст. советника Николай Петрович Полозов — то же лицо («С.-Петербургские Ведомости» 1862, № 132). Его брат Даниил Петрович Полозов (1794—1850) — генерал-лейтенант, начальник 1 округа корпуса жандармов, ранее командующий лейб-гвардии 2-й артиллерийской бригадой. О нем см. у П. Потоцкого, История гвардейской артиллерии, СПб., 1896, 305 (портрет), 331, 366, 370, 374, 379; «Русская Старина» 1893, № 2, 338 и др.

[3] О Г. Ф. Бенецком см. прим. 7 на стр. 152.

[4] Ср. прим. 9-е к наброску <5>.

[5] В «Сыне Отечества» 1838 (№№ 5 и 11) Некрасов напечатал не одно, а три стихотворения: «Мысль», «Безнадежность» и «Человек».

[6] О Д. И. Успенском см. на стр. 152 настоящего тома. Серафим (1763—1843) — в 1821—1843 гг. митрополит Новгородский и Петербургский.

[7] Первая попытка Некрасова поступить в университет относится к 1839 г., вторая — к 1840 г. Обе попытки окончились неудачно. Вольнослушателем университета Некрасов числился с 1839 г. по 1841 г. Поправки к рассказу Некрасова см. в настоящем томе в статье С. Рейсера, Некрасов в Петербургском университете.

[8] Статьи Некрасова в «Литературной Газете» частично выявлены и вводятся в состав соответствующих томов Полного собрания сочинений Некрасова (Гослитиздат). Литературное прибавление к «Русскому Инвалиду»—«Литературная Газета» редактировалась и издавалась А. А. Краевским (1840) и Ф. А. Кони в 1841—1843 гг. А. И. Иванов стал издателем лишь с 1844 г. (см. Лисовский, №№ 325 и 435).

[9] Обычно «Родина» датируется 1846 г. Возможно, что Некрасов случайно ошибся в дате, диктуя свою автобиографию много лет спустя.

[10] Несколько иной рассказ о знакомстве с Белинским и Тургеневым и о чтении «Родины» см. у С. Кривенко в записях рассказов Некрасова (см. ниже, стр. 209).

[11] «Бедные люди» Достоевского были напечатаны в 1846 г. в изданном Некрасовым «Петербургском сборнике».

[12] О Г. М. Толстом и его роли в переговорах Некрасова при организации «Современника» см. в настоящем томе, в работе К. Чуковского, Григорий Толстой — знакомый Маркса и Некрасова. Ср. в исследовании В. Евгеньева-Максимова, «Современник» в 40—50-х гг. От Белинского до Чернышевского, Л., 1934.

<17>

<ЗАПИСЬ В АЛЬБОМ М. И. СЕМЕВСКОГО>

Николай Алексеевич Некрасов. Род. 28 ноября 1822 года. Прибыл в Петербург в июле 1838 г.

Впервые: «Знакомые. Альбом М. И. Семевского, издателя-редактора исторического журнала «Русская Старина». Книга автобиографических собственноручных заметок 850 лиц. Воспоминания. Стихотворения. Эпиграммы. Шутки. Подписи. 1867—1888», СПб., 25 марта 1888 г., стр. 51. Сверено с автографом ИЛИ АН. Под записью Некрасова, вероятно рукой М. И. Семевского, поставлена дата: «1873 г.».

ИЗ ДНЕВНИКОВ НЕКРАСОВА (1877 г.)

<1>

<После 3 марта 1877 г.> Худо, читатель! Мой дом—постель. Мой мир — две комнаты: пока освежают одну, лежу в другой. Пол рюмки Кипрского меня опьяняет; гран опия делает меня идиотом, не всегда давая сон. Стихов уже писать не могу, но днями нападает на меня какое-то самомнение. На днях муза моя на прощанье пропела мне такую песнь:

Пускай чуть слышен голос твой,
Не громки темы песнопенья;
Но ты воспрянешь за чертой
Неотразимого забвенья!
. . . .
Уступит свету мрак угрюмый,
Не бойся песенку твою
Над Волгой, над Окой, над Камой
Еще народу я спою [1].

Худо, когда нашему брату приходят на память песни:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный [2].

Я испугался и перестал звать свою музу — не выдержал толь⟨ко⟩ раз. Недуг меня одолел, но муза явилась ко мне беззубой дряхлой старухой, не было и следа прежней красоты и молодости, того образа породистой

Худо читатель! Мой домъ
постылъ. Мой міръ — двѣ
комнаты: пока [illegible]
одну — [illegible] о другой. Мои
рюмки Кипрскаго меня ожи-
вляютъ; граны опія дѣ-
лаютъ меня идіотомъ — ни-
когда давая сонъ. Стиховъ уже
писать не могу, но днями
нападаетъ на меня какое-
то [illegible]. Но вчера [illegible]
за мной, на прощанье пропѣ-
ла мнѣ такую пѣснь.

«Пускай чуть слышенъ голосъ твой
Не громки [illegible],
Но ты воспрянешь за чертой
Неотразимаго забвенья,

Уступишь свѣту [illegible] угрюмый
Не бойся [illegible] твою
Надъ Волгой, надъ Окой, надъ Камой
Еще народу я спою.

Худо когда нашему брату при-
ходятъ на память пѣсни:
А — Я памятникъ себѣ воз-
двигъ нерукотворный

СТРАНИЦА ИЗ ДНЕВНИКА НЕКРАСОВА

Запись после 3 марта 1877 г. Копия рукой А. А. Буткевич

Собрание В. Е. Евгеньева-Максимова, Ленинград

русской крестьянки, в каком она всего чаще являлась мне и в каком обрисована в поэме моей: «Мороз, Красный Нос». Я пожалел, что я не выдержал:

Непобедимое страданье,
Невыносимая тоска...
Влечет, как жертву на закланье,
Недуга черная рука.
Спаси о муза! пой как прежде!
«Нет больше песен, мрак в очах;

Сказать: умри! конец надежде!
Я прибрела на костылях!»
«Еще вчера людская злоба
Тебе обиду нанесла;
Теперь конец, не бойся гроба!
Не будешь знать ты больше зла.
Не бойся клеветы, родимый,
Ты заплатил ей дань живой,
Не бойся стужи нестерпимой:
Я схороню тебя весной» [3].

И с той поры нет моей музы, нет новых песен. День ото дня чувствую себя хуже, слабей. Что же однако делать, надо приниматься за прозу.

Полностью публикуется впервые по копии А. А. Буткевич из собрания В. Е. Евгеньева-Максимова. Отрывок с начала до слов: «Неотразимого забвенья...» с несколькими мелкими вариантами, первоначально напечатан в статье: «Из бумаг Николая Алексеевича Некрасова. Библиографические заметки».— «Отечественные Записки» 1879, № 1, 65 (2-я пагинация). Автограф неизвестен, но был в свое время в распоряжении автора этой анонимной статьи: в копии Буткевич отсутствует, например, дата «март 1877 г.», которую ввожу в текст (с уточнением) из «Отечественных Записок».

[1] Первое четверостишие печатается в собраниях сочинений Некрасова в качестве отдельного стихотворения: *второе — строки 46—49 стихотворения «Баюшки-баю».*
[2] Первая строка «Памятника» Пушкина.
[3] Строки 1—8 и 34—41 написанного 3 марта 1877 г. стихотворения «Баюшки-баю». В настоящем тексте следующие отличия от текста «Отечественных Записок» (1877, № 3, 267—268, знаки препинания по этому изданию):

Строка	2	Неутолимая
»	5	Где ты, о муза!
»	7	Сказать: умрем!
»	36	Всему конец,
»	46	Уступит свету мрак упрямый,
»	47	Услышишь песенку свою
»	49	Баю-баю-баю-баю!

Возможно, что пятая строка («Уступит свету мрак угрюмый»), разрушающая рифму и искажающая текст, восходит к ошибке Буткевич; впрочем, Буткевич обычно копировала текст брата точно,— быть может, эта строка отражает и какие-то намерения Некрасова. Автографа или копии, по которой стихи печатались в «Отечественных Записках», не сохранилось.

⟨2⟩

14-го июня.—Буду писать, что приходит в голову; надо же убивать время.

Он не был злобен и коварен,
Но был мучительно ревнив,
Но был в любви неблагодарен
И к дружбе нерадив [1].

Сибиряки обнаружили особенную симпатию ко мне со времени моей болезни. Много получаю стихов, писем и телеграмм. Было две с двумя десятками подписей. Я хотел сделать на это намек в стихотворении «Баюшки-баю» — и было там четыре стиха:

И уж несет от дебрей снежных
На гроб твой лавры и венец
Друзей неведомых и нежных
Хранимый богом посланец

— да побоялся, не глупо ли будет. А теперь этого вопроса решить не могу и подавно [2].

Вообще, из страха и нерешительности и за потерею памяти я, перед операцией, испортил в поэме «Мать» много мест, заменил точками иные строки [3].

Очень тяжело растревоживать мысли—сейчас боли, как и в эту минуту.

15-е июня, за полдень.

16-е июня. — Любимое стихотворение Белинского было «В степи мирской, широкой и безбрежной» (Пушкин) [4].

Я же когда то очень любил стих⟨отворение⟩ Лермонтова «Белеет парус одинокий» и т. д. А теперь все повторяю: «Когда для смертного умолкнет шумный день» (Пушкин).

16-го июня, 7-й час.

Хотел было анализировать свое положение и свои ощущения, но слишком это мрачная работа, прибавишь себе му́ки — а ее много!

Не забыть ответить Ир-ву (поэт юноша грамотный, но дарования не заметно); пишет, что прибыл в Петербург на занятые деньги [5].

ВИД БАССЕЙНОЙ УЛИЦЫ В ПЕТЕРБУРГЕ В КОНЦЕ 1850-х гг.

В дом Краевского, на углу Бассейной и Литейного проспекта, Некрасов переехал в 1857 г. и жил здесь до конца своих дней

Из альбома акварелей Ф. Баганца, 1858—1860 гг.

Музей истории и развития Ленинграда

Всего более страшно, чтобы мое теперешнее положение не затянулось — или хоть немного бы получше, или поскорей бы конец.

Ничего не понимаю, что со мной делается. Очень тяжело. Дождь. (Воскресенье) ⟨19 июня⟩.

Впервые напечатано у Скабичевского, I, 402—403. Автограф неизвестен.

[1] Печатается в собраниях сочинений Некрасова в качестве отдельного стихотворения.
[2] Эти строки в стихотворение «Баюшки-баю» не включены.
[3] Эти места остались невосстановленными.
[4] Стихотворение «Три ключа». Первая строка у Некрасова неточна. Должно быть: «В степи мирской, печальной и безбрежной».
[5] Кто такой Ир-в, неизвестно.

⟨3⟩

23 августа. Сегодня ночью вспомнил, что у меня есть поэма «В. Г. Белинский». Написана в 1854 или 5 году — нецензурна была тогда

и попала по милости одного приятеля в какое-то Герценовское заграничное издание: «Колокол», «Голоса из России», или подобный сборник [1]. Теперь из нее многое могло бы пройти в России в новом издании моих сочинений. Она характерна и нравилась очень, особенно, помню, Грановскому. Вспомнил из нее несколько стихов, по которым ее можно будет отыскать.

В то время пусто и мертво
В литературе нашей было:
Скончался Пушкин — без него
Любовь к ней в публике ост⟨ыла⟩;
⟨. . . . .⟩
Ничья могучая рука
Ее не направляла к цели;
Лишь два задорных поляка *
На первом плане в ней шумели.
⟨. . . . .⟩
По счастью в нем ** сидели люди
Честней чем был один из них,
Фанатик ярый Бутурлин,
Который не жалея груди,
Беснуясь повторял одно:
«Закройте университеты
И будет зло пресечено».
О муж великий! Не воспеты
Еще никем твои дела,
Но твердо помнит их молва!
Пусть червь тебя могильный гложет
Но сей совет тебе поможет
В потомство перейти верней,
Чем том истории твоей...[2]

} Из конца поэмы

1848 год смерти Белинск⟨ого⟩

«Свисток». Журнальная работа [3].

Полностью печатается впервые по автографу (карандашом) ИЛИ АН (Ф. 203, № 7); основная часть, с начала до слов: «В то время пусто и мертво...», первоначально в примечаниях К. Чуковского к поэме «Белинский».

[1] Поэма в 1859 г. появилась в «Полярной Звезде» Герцена в Лондоне.

[2] Некрасов цитирует по памяти и не вполне точно отрывки из середины и конца поэмы. В копии Буткевич знаки препинания почти полностью отсутствуют: они расставлены по изданию под ред. К. И. Чуковского. «...Том истории твоей...» — «Военная история походов Россиян в XVIII столетии...», написана Бутурлиным по-французски; в переводе на русский язык (А. Хатова) она вышла в свет в Петербурге в 1819—1820 гг.

[3] Запись для памяти — конспект ненаписанного автобиографического наброска.

II

ИЗ ДНЕВНИКОВ И ВОСПОМИНАНИЙ А. А. БУТКЕВИЧ (1876—1877 гг.)

⟨1⟩

1 декабря ⟨1876 г.⟩ я пришла к брату в 12 часов, он лежал на диване одетый и встретил меня весело: — «А знаешь ли, мне кажется, электричество начинает дйствовать, я чувствую себя гораздо лучше, я стал бодрее, сегодня много ходил по комнате, мог даже выпрямиться, чего со мной давно не бывало. Теперь жду хирурга Склифасовского: сегодня для меня роковой день!»

В 2 часа приехал Белоголовый, постоянный доктор брата, а за ним вскоре и Склифасовский [1]. Когда он вошел, брат встал и сделал несколько шагов к нему навстречу. После непродолжительного разговора, доктора заперлись для совещания. Брат лег опять на диван и лежал с закрытыми глазами. Прошло 10 минут; ожидание очевидно начинало томить его, он встал, прошелся по комнате и опять лег. Прошло еще 10 минут —

* Сенковск⟨ий⟩ и Булг⟨арин⟩.

** Комитет для разбора лит⟨ературных⟩ злоупотреблений.

дверь отворилась, и доктора пригласили брата в спальню, где Склифасовский должен был исследовать его. Я вышла в бильярдную и ждала возвращения докторов. Когда они показались, я бросилась к ним навстречу; Белоголовый посмотрел на меня и не сказал ни слова в успокоение. Очевидно было, что предполагаемый им рак прямой кишки был подтвержден Склифасовским. Я хотела говорить с Склифасовским, но Бело⟨оловый⟩ предупредил меня, что им нужно посоветоваться, и они опять

А. А. БУТКЕВИЧ, СЕСТРА ПОЭТА
Фотография 1869 г.
Собрание К. И. Чуковского, Москва

заперлись. В это время приехало несколько друзей, чтобы узнать о заключении Склифасовского, и ⟨я⟩ слышала, как он говорил Унковскому [2], что нашел в прямой кишке опухоль величиною с небольшое яблоко. Безвыходность положения была очевидна.

⟨До 23 марта 1877 г.⟩ [3].

Я сидела в бильярдной, вдруг в дверях показался Салтыков в пальто и в шляпе и делал мне какие-то знаки. Я выскочила.

— Остановили 3-й № «Отечест⟨венных⟩ Записок»!

— За что?

— А чорт их знает!—и посыпалась брань.

— Как же теперь сказать брату?

— Не нужно ничего говорить. Я сейчас был у Краевского, он хочет через кого-то хлопотать, и я тоже еду. Зайду на минутку к Ник⟨олаю⟩ Алексеевичу.

— Да брат только что послал в контору, чтобы ему прислали два экземпляра.

— На что ему два экз⟨емпляра⟩, что он в двух что ли будет читать? Пошлите к Краевскому, у него верно есть пробная, пусть принесут, а двух ему не надо, зачем ему две! Какой странный человек: во всех комнатах чтобы по книжке лежало.

Салтыков пошел к брату и повернувшись ⟨повертевшись?⟩ с минуту вышел, чтобы отправиться хлопотать. Между тем принесли книгу от Краевского (пробную с опечатками). Пересматривая свои стихи, брат нашел, конечно, те же самые ошибки и велел позвать Чижова и упрекал его за невнимание. Чижов безмолвно выслушивал незаслуженные упреки. Через час вернулся Салт⟨ыков⟩ и привез с собою Елисеева, кажется затем, чтобы вместе сказать брату, что 3 № заарестован, но передумали и, поговорив о посторонних предметах, ушли. Но у брата явилось подозрение. «Что они меня морочат? — сказал он,— разве я не понимаю. Какое вдруг участие, вместе пришли навестить!! Никогда этого прежде не было. Что, запретили что ли?». Но внимание его было отвлечено другим обстоятельством. Отпечаталась 7-я ч. — «Последние Песни» и должна была до Святой поступить в цензуру, но сверх ожидания прием был прекращен днем раньше, и дело откладывалось до Фоминой недели. Брат был очень расстроен — выход книги отсрочивался на три недели. «Для меня,— говорит он,— это целая вечность , когда каждый день может быть последним. Я хотел бы, по крайней мере, успокоиться насчет судьбы моей книги. Пошли, — сказал он мне, за Скороходовым [4], вели ему съездить к цензору Лебедеву и попросить, нельзя ли принять не в очередь и просмотреть. Но Лебедев сказал, что без разрешения Петрова [5] он не может ничего сделать. Брат продиктовал мне письмо к Петрову, где просил его разрешить Лебедеву просмотреть частным образом, но передумал послать письмо: «Не хочу я у них ничего просить. Пусть будет как будет». На столе лежали только что записанные мною стихи «Черный день». Брат взглянул на них: «поправь, пожалуйста, там, напиши: друзей, врагов и ц е н з о р о в» [6].

2 3 м а р т а. Пришел Ф. М. Достоевский, брата связывали с ним воспоминания юности (они были ровесники), и он любил его. «Я не могу говорить, но скажите ему, чтобы он вошел на минуту, мне приятно его видеть». Достоевский посидел у него недолго. Рассказал ему, что был удивлен сегодня, увидав в тюрьме у арестанток «Физиологию Петербурга». В этот день Д⟨остоевский⟩ был особенно бледен и усталый, я спросила его о здоровии. «Нехорошо,— отвечал он,— припадки падучей все усиливаются, в нынешнем месяце уже пять раз повторились, последний был пять дней тому назад, а голова все еще не свежа, не удивитесь, что я сегодня все смеюсь; это нервный ⟨смех⟩, у меня всегда бывает после припадка».

Не получая известия согласился ли Леб⟨едев⟩ просмотреть не в очередь книгу брата, он ужасно сердился на управляющего, что не дает ответа. «Пошли ты за этим олухом и спроси, что он там сделал». Пришел управляющий и объявил, что Лебедев без разрешения Петрова не может рассматривать книги, но что если Петров назначит его, то он с удовольствием займется этим на праздниках. Брат продиктовал мне письмо к Петрову, но потом просил изорвать: «Не хочу я ничего у них просить. Пусть будет как будет», и велел поправить стихи «Черный день» [7].

25 марта. Я решилась, не говоря брату, однако, попытать счастья и попросить лично Петрова. Я приехала к нему около 11 часов, он только что воротился из церкви. Я воспользовалась этим, объяснив ему в чем дело, сказала, что долг всякого христианина успокоить, если ему представляется возможность, [успокоить] умирающего, что все стихи уже были предварительно помещены в «От⟨еч⟩. З⟨ап.⟩». Он начал перелистывать книгу и остановился на последнем стихотворении, над этой «отходной», которую брат написал себе. Я следила за выражением [его] лица цензора,— я думала — не может же быть, чтобы у него не дрогнуло сердце, но ни один мускул не шевельнулся на его мясистом лице. Передо мной сидел цензор и пережевывал каждое слово; наконец, причмокнул своей толстой губой: «а что это значит: «Еще вчера мирская злоба», какая это злоба?». Я очень хорошо знала, к чему это относилось, но я это скрыла и объяснила, что такие люди, как Некрасов, имеют много врагов, не раз уже на него клеветали и теперь, может быть, взвели какую-нибудь небылицу. «Да об нем говорят много нехорошего, но неужели же он читает что о нем пишут». — «Нет, но может случайно попало что-нибудь», отвечала я наивно. Он обещал, что если книга не представляет ничего зловредного, выпустить ее через несколько дней. Я приехала к брату; так как он был в спокойном состоянии, то ему и сказала, что я была у Петрова, что он обещал исполнить его желание [8].

26 ⟨марта⟩ пришел студент, пожелал видеть брата, ему сказали, что брат спит; «я подожду, у меня времени много», но говорят ему, что, кроме близких и докторов, к нему никого не пускают. «Никакие доктора его не вылечат, а я его вылечу». Дал свою карточку: Будде, студент, с подарком на светлый праздник. Молодой человек размахивал руками, горячился и вообще имел вид странный. Так как он настоятельно требовал, чтобы его допустили к брату, то его впустили в бильярдную, где он стал ожидать. Он спросил стакан воды и, указывая на грудь, все повторял: «здесь болит». Заметив, что он положительно ненормальный, ему сказали, что Некрасов проснулся, но что извиняется и сожалеет, что не может принять его, что он очень слаб и не может разговаривать. «Что это меня гонят отсюда», — сказал он с сердцем, — и продолжал сидеть. Когда приехали доктора, я вышла к ним и предупредила их, что какой-то юноша непременно хочет видеть брата, но что нам кажется, что он помешан, что нельзя ли, чтобы они сказали ему, что как доктора они никаких посетителей к больному не допускают. А через две минуты молод⟨ой⟩ челов⟨ек⟩ выбежал в прихожую плача навзрыд: «меня выгнали и кто же выгнал»,— схватил пальто и выбежал, крича на лестнице — «теперь мне ничего не остается, как утопиться или застрелиться».

23 августа (1877 г.). Брат вспомнил ночью, что у него есть поэма «В. Г. Белинский», написанная в 1854 или 5 г. Нецензурная она была тогда и попала, по милости одного приятеля, в какое-то Герценовское издание заграничное: «Колокол» или «Голоса из России» или подобный сборник. Теперь, —говорит брат, — из нее многое могло бы пройти в России в новом издании его сочинений. Она характерна и нравилась очень, особенно Грановскому. Брат вспомнил из нее несколько стихов, по которым можно будет ее отыскать:

В то время пусто и мертво
В литературе нашей было:
Скончался Пушкин — без него
Любовь к ней в публике остыла;
. . . .
Ничья могучая рука
Ее не направляла к цели;
Лишь два задорных поляка *
На первом плане в ней шумели.

---

* Сенковский и Булгарин.

Полностью печатается впервые по автографу из собрания В. Е. Евгеньева-Максимова. Отрывок: «Для меня это целая вечность... не в очередь и просмотреть», первоначально в статье В. Е. Евгеньева-Максимова, В руках у палачей слова.— «Голос Минувшего» 1918, № 4—6, 101; отрывок: «Я сидела в бильярдной... Что, запретили, что-ли?», впервые там же, 102; отрывок: «Пришел Ф. М. Достоевский... после припадка», впервые в статье К. Чуковского, Забытое и новое о Достоевском.—«Речь» 1914, 6 (19) апреля, № 94, 4. Запись от 23 августа — сокращенная копия собственноручной записи Некрасова, переделанная А. А. Буткевич в запись своего дневника («брат вспомнил... говорил брат» и т. д. Ср. стр. 169—170).

[1] Николай Андреевич Белоголовый (1834—1895) — известный врач-терапевт, близкий к литературным и радикальным кругам Петербурга, впоследствии редактор «Общего Дела», автор книги: «Воспоминания и другие статьи», изд. 3-е, СПб., 1898. Белоголовый наблюдал за здоровьем Некрасова с 1872 г.; во время предсмертной болезни поэта он вместе с С. П. Боткиным руководил его лечением. После смерти Некрасова Белоголовый напечатал в «Отечественных Записках» (1878, № 10) подробную историю болезни (перепеч. в назв. книге). Полная специальных медицинских подробностей, эта статья оскорбила и возмутила А. А. Буткевич.

Николай Васильевич Склифасовский (1836—1904) — видный хирург, принимавший некоторое участие в лечении Некрасова во время его предсмертной болезни.

[2] Алексей Михайлович Унковский (1828—1893) — юрист, видный либеральный общественный деятель 60—70-х годов, душеприказчик Некрасова.

[3] Запись датируется на основании истории с № 3 «Отечественных Записок», задержанным цензурой и вышедшим в свет 23 марта после изъятия двух статей Д. Л. Мордовцева («Вымирание некультурных рас» и «Оглянемся назад») и рецензии на книгу Н. А. Путяты «Политическая экономия в рассказах» (М., 1876); см. В. Е. Евгеньев-Максимов, Очерки по истории социалистической журналистики в России XIX века М.— Л., 1927, 186—188.

[4] Скороходов — повидимому, управляющий конторой «Отечественных Записок».

[5] Александр Григорьевич Петров (1802—1887) — в это время председатель С.-Петербургского цензурного комитета.

[6] Первоначальный вариант неизвестен.

[7] Эта запись — вариант предыдущей записи.

[8] «Последние песни» вышли в свет 2 апреля 1877 г.; см. объявление в «Голосе» 1877, 3 апреля. Таким образом, ходатайство А. А. Буткевич увенчалось успехом.

⟨2⟩

ЗАМЕТКА

Почему многие стихи брата не вошли при жизни в «Последние Песни» и почему некоторые из вошедших были сокращены, между прочим, «Уныние», из которого выпущено несколько прелестных, живописных, но мрачных картинок [1] и за что пос⟨?нрзб⟩ ⟨одно слово нрзб⟩?

В следующем издании их следует восстановить в тексте (теперь они в примечаниях, это моя вина).

Издавая «Последние Песни» в последний год своей жизни, брат выпустил из них все, что хотя сколько-нибудь могло быть поводом к столкновению с цензурой, относившейся к нему, во время болезни, крайне придирчиво. Он поместил только самые, по его мнению, невинные, боясь, чтобы книга не подверглась аресту — выдержав только что цензурную бурю. Несмотря на все усилия отстоять только что написанную в Крыму новую часть поэмы «Кому на Руси жить хорошо» — «Пир на весь мир», — усилия не увенчались успехом. — «Пир», напечатанный уже в «От⟨еч.⟩ За⟨п.»⟩, был по распоряжению председателя Ценз⟨урного⟩ Ком⟨итета⟩ Григорьева — вырезан. Я помню канун этого дня. Когда № «От⟨еч.⟩ З⟨ап.»⟩ был арестован в типографии за стихотворение Некрасова, брат послал за цензором Петровым и битых два часа доказывал ему всю несообразность таких на него нападков. Он указывал на множество мест в предшествовавших частях той же поэмы, которые, с точки зрения цензоров, скорее могли бы были подвергнуться запрещению; разъяснял ему чуть не каждую строчку

в новой поэме, то подсмеиваясь над ним ядовито, то жестоко пробирая и его и всю клику. Петров выслушивал все упреки терпеливо. Понимал ли он всю скорбь поэта, которому заботливая цензура — в напутствии его в вечность — в последний раз залезала в мозг с своими адскими ножницами, чтобы очистить мысли от «канупера» — или просто томился бесплодностью прений, зная наперед, что: «хоть ты сейчас умри, а мы все-таки не пропустим». Петров пыхтел, сопел и отирал пот с лица, как после жаркой бани, и только по временам мычал отрывистые фразы: «да успокойтесь, Н. А.» или «вот поправитесь, переделаете — тогда и пройдет» [2].

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА ДНЕВНИКА А. А. БУТКЕВИЧ

(Запись до 23 марта 1877 г.

Собрание В. Е. Евгеньева-Максимова, Ленинград

Полностью печатается впервые по автографу А. А. Буткевич из собрания В. Е. Евгеньева-Максимова. Отрывки: «Почему многие стихи... это моя вина», «Послал за Петровым... и всю клику» и «пыхтел, сопел...» и до конца, первоначально не вполне точно

в статье В. Е. Евгеньева-Максимова, В руках у палачей слова.—«Голос Минувшего» 1918, № 4—6, 97—99.

[1] Текст «Уныния» восстановлен в пореволюционных изданиях сочинений Некрасова.

[2] «Пир на вес мир» был запрещен по представлению цензора Н. Е. Лебедева, который в своем рапорте, между прочим, писал: «Из числа помещенных в ноябрьской книжке «Отеч. Записок» статей обращает на себя внимание цензуры своею предосудительностью стихотворение Некрасова под заглавием: «Пир на весь мир»... Отрывок... носит тот же характер оплакивания участи меньшей братии, всеми обираемого мужика, которым отличается постоянно муза Некрасова... Рисуемые поэтом картины страданий с одной стороны и произвола с другой превосходят всякую меру терпимости и не могут не возбудить негодования и ненависти между двумя сословиями («Голос Минувшего» 1918, № 4—6, 97).

Попытки отстоять «Пир», о которых рассказывает А. А. Буткевич, окончились безрезультатно. Ничего не дало и личное обращение Некрасова к начальнику Главного управления по делам печати В. В. Григорьеву в конце декабря 1876 г. (Письма, 579—580). Н. А. Белоголовый в своей статье о болезни Некрасова приводит следующие слова поэта, сказанные ему около этого времени. «Вот оно, наше ремесло литератора! Когда я начал свою литературную деятельность и написал первую свою вещь, то тотчас же встретился с ножницами; прошло с тех пор 37 лет,— и вот я, умирая, пишу свое последнее произведение и опять-таки сталкиваюсь с теми же ножницами» («Воспоминания и другие статьи», изд. 3-е, СПб., 1898, 387).

⟨3⟩

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Брат мой всю жизнь любил охоту с ружьем и лягавой собакой (Об охоте у отца*). 10-ти лет он убил утку на Печельском озере; был октябрь, окраины озера уже заволокло льдом, собака не шла в воду. Он поплыл сам за уткой и достал ее. Это стоило ему горячки, но от охоты не отвадило. Отец брал его на свою псовую охоту, но он ее не любил. Приучили его к верховой езде очень оригинально и не особенно нежно. Он сам рассказывал, что однажды 18 раз в день упал с лошади. Дело было зимой—мягко. Зато после всю жизнь он не боялся никакой лошади, смело садился на клячу и на бешеного жеребца. Но ездить любил шагом и хорошо стрелял с лошади.

По мере того, как средства его росли и он делался самостоятельным, он придал охоте своей характер по своему вкусу и своим планам. Охота была для него не одною забавой, но и средством знакомиться с народом. Каждое лето периодически повторялась. Поработав несколько дней, брат начинал собираться. Это значило: подавали к крыльцу простую телегу, которую брали для еды, людей, ружей и собак. Затем вечером или рано утром, на другой день брат отправлялся сам в легком экипаже с любимой собакой, редко с товарищем—товарища в охоте брать не любил. Он пропадал по несколько дней, иногда неделю и более. По рассказам происходило вот что: в разных пунктах охоты у него были уже знакомцы — мужики-охот-

* По поводу охоты, вспоминаю такой случай: в первые годы, проводя лето у отца в деревне, брат иногда ездил с ним на охоту с борзыми и гончими собаками. Брат не любил этой охоты, а отец очень любил и всегда радовался, когда ему удавалось увлечь с собой брата. В одной из таких поездок, кто-то из охотников — подъезжий или доезжачий — сделал большую ошибку, вследствие которой собаки упустили зверя. Отец вышел из себя и в порыве гнева наскакал на виноватого и отдул его арапником. Брат, не говоря ни слова, поворотил лошадь и ускакал домой; вскоре воротился и отец не в духе и сердитый. Объяснений никаких не последовало, но брат стал избегать отца — уходил с ружьем и собакой и пропадал по несколько дней, охотясь за дичью с своим сверстником Кузьмою Орловским и его отцом, отлично знавшим все места и какую птицу где нужно искать. Отец видимо скучал — на охоту не ездил. Однажды, когда брат вернулся, отец послал меня непременно уговорить его, чтобы пришел обедать. Обед прошел довольно натянуто, но затем подано было шампанское, за которым и последовало объяснение. Отец горячился, оправдывался, что без драки с этими «скотами» совсем нельзя, что тогда хоть всю охоту распускай, но тем не менее дал слово, что при брате никогда драться не будет, и сдержал его.

ники; он до каждого доезжал и охотился в его местности. Поезд, сперва из двух троек, доходил до пяти, брались почтовые лошади, ибо брат набирал своих провожатых ⟨и⟩ уже не отпускал их до известного пункта.

По окончании утренней охоты, выбиралось удобное место, брат со всей компанией завтракал, говорил сам мало или дремал.

Затем компания, которая получила н е м а л о водки и сколько угодно мяса, была разговорчива — брат слушал или нет, это его дело.

ВТОРАЯ СТРАНИЦА ДНЕВНИКА А. А. БУТКЕВИЧ
(Запись до 23 марта 1877 г.)
Собрание В. Е. Евгеньева-Максимова, Ленинград

Он говаривал, что самый талантливый процент из русского народа отделяется в охотники: редкий раз не привозил он из своего странствования какого-либо запаса для своих произведений. Так, однажды, при мне он вернулся и засел за «Коробейников», которых потом при мне читал крестьянину Кузьме. В другой раз засел на два дня и явились «Крестьянские дети». В самом деле, разве возможно выдумать форму этой идиллии? Этот сарай с цветами-глазками!

Вчера утомленный ходьбой по болоту,
Забрел я в сарай и заснул глубоко.
Проснулся: в широкие щели сарая
Глядятся веселого солнца лучи.
Воркует голубка; над крышей летая,
Кричат молодые грачи,
Летит и другая какая-то птица —
По тени узнал я ворону как раз:
Чу! шопот какой-то... а вот вереница
Вдоль щели внимательных глаз!
Всё серые, карие, синие глазки —
Смешались, как в поле цветы.
В них столько покоя, свободы и ласки,
В них столько святой доброты!
Я детского глаза люблю выраженье,
Его я узнàю всегда.
Я замер: коснулось души умиленье...

«Орина, мать солдатская» сама ему рассказывала свою ужасную жизнь. Он говорил, что несколько раз делал крюк, чтобы поговорить с ней, а то боялся сфальшить.

Одно стихотворение, о котором сожалел, что не написал, это эпитафии. С одним из своих друзей, охотником, он однажды переходил кладбище. Гаврило рассказывал ему о покойниках, могилы которых обращали на себя внимание брата. Я помню только эпитафию, произнесенную Гаврилой помещику:

Зимой играл в картишки
В уездном городишке,
А летом жил на воле,
Травил зайчишек груды
И умер пьяный в поле
От водки и простуды[1].

На зимней охоте с ним однажды был казус. Он набрал до 80 человек и ехал на медведя. Мужики шли впереди. Увидал брат зарево пожара и всю свою команду повернул от медведя туда. Деревню спасли, но охота на тот день пропала. Мужики не жалели медведя и убить его брату не пришлось, а деньги отдай. Надували его мужики много, но часто поступали с ним честно.

Круг его летней охоты — луга смежных губерний: Ярославской, Костромской, Владимирской. Он их хорошо знал, и большая часть его типов принадлежит средней России. Память у него была удивительная, он записывал одним словечком целый рассказ и помнил его всю жизнь по одному записанному слову. При работе тетради эти с непонятными никому отметками были перед его глазами.

У него был еще другой род писанья, это так называемые рецепты. Написав что-нибудь нецензурное, он обрезывал листок, оставляя только среднюю узкую полоску, всегда по ней мог прочесть, но никто более[2]. Он находил, что в России должно пускать в публику лишь то, что можно при удобных обстоятельствах напечатать. Куда делись эти рецепты? Сколько могу судить, брат переделал их в удобные стихотворения или просто выжидал время, чтобы напечатать.

Брат мой в деревне и в городе ⟨был другим⟩ человеком. Он не был зол, но печать гнева и печали легла на нем рано. В мелочах слишком колеблющийся, он был решителен в трудном положении.

Характер его вообще был сосредоточенный, молчаливый и скрытный. Напускная любезность (в городе) была нам ясна. Ненавидел фразеров и, заслышав фальшиво-либеральный тон, начинал говорить пошлости. Многие так и уходили, думая, что он говорил искренно, и составляли о нем свои замечания. Врагов у него, вследствие разных причин, было много. Любили его только те, которые его хорошо знали.

Полностью печатается впервые по автографу из собрания В. Е. Евгеньева-Максимова. Большой отрывок с начала (без сноски) и кончая словами: «...были перед его глазами», первоначально (с некоторыми отличиями) у Скабичевского I, 400—401. Место сноски (рукопись на отдельном листе) определено по знаку над словом «отца» в основном тексте. После слов: «Этот сарай с цветами-глазками», Буткевич отмечено: «выписать» — объем цитаты определен предположительно. Слова «был другой» (на стр. 178) вписаны в рукопись карандашом неизвестной рукой; исправляю их на «был другим» для согласования с дальнейшим текстом.

[1] Этот отрывок печатается обычно в собраниях сочинений Некрасова в составе «Записной книжки» как отдельное стихотворение.

[2] Рассказ о «рецептах» кратко изложен в анонимной статье: «Из бумаг Николая Алексеевича Некрасова. Библиографические заметки».— «Отечественные Записки» 1879, № 1, 66 (2-я пагинация). Сходный рассказ, относящийся будто бы к стихотворению «На смерть Шевченко», см. в статье В. Веденеева (псевд. В. Е. Якушкина), Т. Г. Шевченко.— «Русские Ведомости» 1901, № 68, от 10 марта, 3. Впрочем, ни одного подобного «рецепта» среди бумаг Некрасова не сохранилось.

⟨4⟩

С 1844 г. по 1863, пока брат не купил себе имения Карабиху, он почти каждое лето проводил в деревне у отца в сельце Грешневе в 20 верстах от Ярославля. Если брат извещал о дне приезда, отец высылал в Ярославль тарантас, чаще же брат нанимал вольных лошадей или просто телегу в одну лошадь.

Задолго до приезда брата в доме поднималась суматоха. Домоправительница Аграфена Федоровна с утра звенела ключами, вытаскивала из сундуков разные ненужные вещи — «может понадобится», чистила мелом серебро, перестанавливала мебель, вообще выказывала большое усердие. Охотничьи собаки получали свободный доступ в комнаты, забирались под шумок на запрещенный диван и только вскидывали глазами, когда домоправительница торопливо проходила мимо них.

Отец принимал самое деятельное участие в снаряжении разных охотничьих принадлежностей; несколько дворовых мальчишек сносили в столовую ружья, пороховницы, патронташи и проч. Все это раскидывалось на большом обеденном столе; выдвигался ящик с отвертками всех величин, и начиналась разборка ружей по частям. Отец был весел, шутил с мальчиками и только изредка направлял их действия легким трясением за волосы.

При таких охотничьих приготовлениях к приезду брата присутствовал обыкновенно немолодой уже мужик, известный в окрестности охотник Ефим Орловский (из деревни Орлово), за которым посылался нарочный с наказом явиться немедленно: «Н⟨иколай⟩ А⟨лексеевич⟩ ждет».

Как теперь вижу всю эту картину: отец в красной фланелевой куртке (обыкновенный его костюм в деревне, даже летом) сидит за столом, вокруг него мальчики усердно чистят и смазывают прованским маслом разные части ружей. На конце стола графинчик водки и кусок черного хлеба. В дверях из прихожей в столовую стоит охотник Ефим Орловский с сыном Кузяхой, подростком, тоже охотником, который уже успел отстрелить себе палец.

Время от времени отец, обращаясь к одному из мальчиков, говорит коротко: «Поднеси». Мальчик наливает рюмку водки и подносит Ефиму.

Разговор, между прочим, идет в таком роде:

— Ну, так как же,— говорит отец,— в какие места полагаешь двинуться с Ник⟨олаем⟩ Алек⟨сеевичем?⟩.

— А поначалу, Алексей Сергеевич, Ярмольцыно обкружим, а потом, известно, к нам на озеро: уток теперь у нас, так даже пестрит на воде!

— А сам много бил?

— Зачем бить, как можно: мы для Ник⟨олая⟩ Ал⟨ексеевича⟩

бережем. Да у меня и ружьишко то не стреляет, совсем расстроилось. Вот хочу попросить у Ник⟨олая⟩ Ал⟨ексеевича⟩.

Отец улыбается.— Попросить можно. Ну , а Тихменева водил на озеро? (Тихменев помещик-сосед, тоже охотник).

Ефим переминаясь:

— Раз как-то приезжал, да ведь какой он охотник — садит зря, да в пустое место, ему бы только стрелять: не лучше моего Кузяхи.

Печатается впервые по автографу из собрания В. Е. Евгеньева-Максимова.

ПРИЛОЖЕНИЯ

А. А. БУТКЕВИЧ. НАБРОСКИ БИОГРАФИИ НЕКРАСОВА

⟨1⟩

Брат мой родился в 1821 году, 22 ноября в Подольской губернии в Винницком уезде, в каком-то жидовском местечке, где отец наш стоял тогда с своим полком. Большую часть своей службы отец состоял в адъютантских должностях, то при полку, то при каком-нибудь генерале. По обязанностям службы он почти постоянно находился в разъездах — бывал в Киеве на контрактах, в Одессе и особенно часто в Варшаве.

В Варшаве случайно познакомился в доме Закревских и влюбился в старшую дочь, но о согласии родителей нечего было и думать. Армейский офицер, едва грамотный — и дочь богача, красавица и образованная! Отец, не долго думая, увез ее прямо с бала и обвенчался по дороге в свой полк. Разгневанный дед не выдал дочери капитала, назначенного ей в приданое, и жизнь нашей матери, изнеженной, привыкшей к роскоши, с первых же дней потянулась среди всевозможных лишений и печали.

Дослужившись до чина капитана, отец вышел в отставку майором и поселился с семейством в родовом своем имении Ярославской губернии и уезда, в с. Грешневе. Брату тогда было три года. Замечательно, что спустя много лет он рассказывал со всеми подробностями о нашем вступлении в наследственный отцовский приют и спрашивал мать, так ли это было. «Я помню,— говорил мальчик,— как мы подъехали к дому, как меня взяли на руки — кто-то светил, идя впереди — и внесли в комнату, в которой был наполовину снят пол и виднелись земля и поперечины. В следующей комнате я увидел двух старушек, сидевших перед нагоревшей свечой, друг против друга, за небольшим столом; они вязали чулки и обе были в очках. Мать утвердила, что все было точь ⟨в точь⟩ так, и удивлялась его памяти. Хорошая память всю жизнь составляла одно из главных его качеств. Он припоминал еще что-то про пастуха.— «Это было дорогой,— сказала мать,— дорогой на одной станции, я держала тебя на руках и разговаривала с маленьким пастухом, которому дала несколько грошей. Не помнишь ли еще, что было в руках у пастуха?

— Нет, не помню.

— У пастуха был кнут втрое больше его самого».

Старушки, вязавшие чулки, были бабушка и тетка нашего отца.

Сельцо Грешнево стоит на низовой Ярославско-Костромской дороге. Тракт назывался Владимиркой и Сибиркой. Барский дом выходил на самую дорогу, и все, что по ней ехало и было видно, начиная с почтовых троек и кончая арестантами, закованными в цепи в сопровождении конвойных,— было постоянной пищей нашего детского любопытства. Во всем остальном, Грешневская усадьба ничем не отличалась от обыкновенного типа тогдашних помещичьих усадеб. Местность ровная, плоская; извилистая речка (Самарка) — перед ней пастбища, луга, нивы, а позади бесконечные дремучие леса, сливающиеся с горизонтом. Невдалеке Волга.

В самой усадьбе более всего замечателен старый, обширный сад, обнесенный решетчатым забором, остатки которого сохранились доныне. Ничего остального нет и следа. Где стоял обширный дом, недавно сгоревший, там теперь скромное здание с надписью: «Распивочно и на вынос».

СКЛЕП ПРИ ЦЕРКВИ СЕЛА АБАКУМЦЕВО, В КОТОРОМ ПОХОРОНЕН А. С. НЕКРАСОВ, ОТЕЦ ПОЭТА

Фотография А. В. Попова, 1935 г

И ничего больше!

Самый тракт по случаю сильных весенних разливов давно упразднен: почтовая гоньба идет теперь по другому высокому берегу Волги. К этому тракту, в старое время, *прибегали только весною по случаю бездорожиц.*

Куда как глухо там теперь стало. Не верится, что в 20 верстах Ярославль, а в 40 Кострома.

Сельцо Грешнево, начинавшееся и оканчивавшееся столбами с надписью —«столько-то душ принадлежащих гг. Некрасовым», составляло только ничтожную часть родовых наших поместий, находившихся, кроме Ярославской, еще в Рязанской, Орловской и Симбирской губ. В одно время, довольно отдаленное, все имение представляло в целом несколько тысяч душ. Из них прадед наш (воевода) проиграл половину; дед наш, штык-юнкер в отставке, проиграл вторую. Отцу нашему проигрывать было нечего, а в карты играть он тоже любил. К выходу его в отставку по случаю раздела имения с братьями, на всех, т. е. трех братьев и двух сестер, оставались 400 душ. На часть отца досталось сельцо Грешнево с господским домом, где мы и поселились и где брат провел свое детство. За нашим садом непосредственно начинались крестьянские избы. Я помню что это соседство было постоянным огорчением для нашей матери: толпа ребятишек, нарочно избиравшая для своих игр место по ту сторону садового решетчатого забора, как магнит притягивала туда брата — никакие преследования не помогали. Впоследствии он проделал лазейку и при каждом удобном случае вылезал к ним в деревню, принимал участие в их играх, которые нередко оканчивались общей дракой. Иногда высмотрев, когда отец уходил в мастерскую, где доморощенный столяр Баталин изготовлял незатейливую мебель, брат зазывал к себе своих приятелей. Беловолосые головы одна за друго⟨й⟩ пролезали в сад, рассыпались по аллеям и начинали безразличное опустошение: от цветов до зеленой смородины и проч. Заслыша гам, старуха-нянька, приноровившаяся разом выживать «пострелов», трусила с другого конца сада, крича: «Барин, барин идет!», и спугнутые ребята бросались опрометью к своей лазейке. Впоследствии, когда брат уже был в гимназии и приезжал в деревню на каникулы,— сношения с приятелями возобновлялись — он пропадал по целым дням, бродил с

ними по лесам или отправлялся на реку удить рыбу. Еще позднее, когда приезжал уже из Петербурга (с 1844 года), те же приятели возили его в своих незатейливых экипажах на охоту.

Стихи брат начал писать лет с семи, у матери нашей хранились первые:

Любезна маменька примите
Сей слабый труд
И рассмотрите
Годится ли куда-нибудь.

К тому же времени относится и сатира на старшего брата Андрея, любившего пофрантить:

Намазал брови салом
И сделавшись чудаком,
Набелил лицо крахмалом,
Чистит зубы табаком.

В гимназии учился хорошо только по некоторым предметам; древние языки ему не давались. Читал много, без всякого разбора. Писал сатиры на учителей и на товарищей. Один из них, Златоустовский, сильно отдул его за следующую:

Хоть все кричи ты луку, луку
Таскай корзину и кряхти,
Продажи нет и тольку руку
Так жмет, что силы нет нести.

Брат говорил, что в ранней молодости, он что прочитает, тому и подражает. Таким образом, к 15 годам составилась у него уже целая тетрадь, с которой он и уехал в Петербург в 1838 году.

⟨2⟩

По приезде в Петербург, брат вскоре стал готовиться в университет, голодал, приготовлял в военно-учебные заведения 9 мальчиков по всем русским предметам. Это место доставил ему Григорий Францович Бенецкий. Он тогда был наставником и наблюдателем в Пажеском корпусе и чем-то в Дворянском полку. Это был отличный человек, брат всегда вспоминал о нем с любовью и уважением.

Однажды Бенецкий предложил брату напечатать его стихи: «Я вам продам по билетам рублей на 500». Брат напечатал книгу «Мечты и Звуки». Тут его взяло раздумие, он хотел ее изорвать, но Бенецкий уже продал до сотни билетов кадетам, деньги были прожиты. Как тут быть? К тому же Полевой напечатал несколько его пьес в «Биб. для Чтения». В раздумии брат пошел к Жуковскому. Принял его седенький, согнутый старичок, взял книгу и велел притти через несколько дней. Когда брат пришел, он похвалил какую-то его пьесу, но сказал: «Вы потом пожалеете, если выдадите эту книгу». Брат сказал ему, что теперь уже поздно, и объявил почему он не может не выдать.

Жуковский дал ему совет: «Снимите с книги ваше имя».

«Мечты и Звуки» вышли под двумя буквами Н. Н.

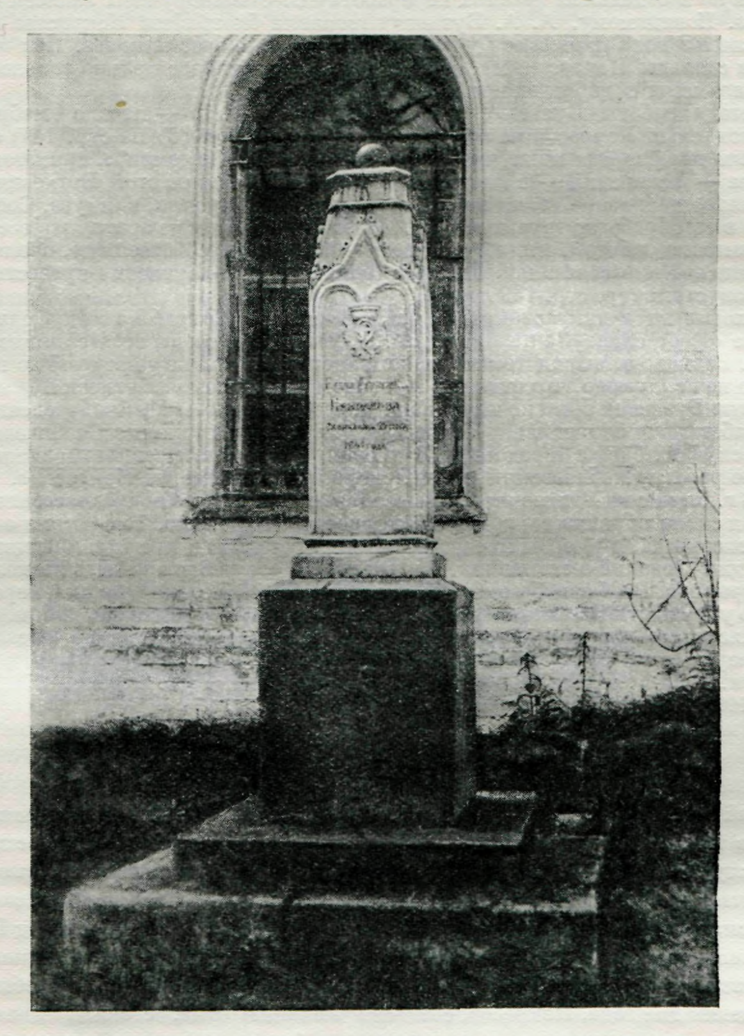
Его обругали в какой-то газете, он написал ответ и впоследствии вспоминал, что это был единственный случай, что он заступился за себя и свое произведение. Ответ, говорил брат, был глупый — глупей самой книги. Все это происходило в 40-м году. Белинский тоже обругал его книгу.

Брат раздал на комиссию экземпляры — ни одного не продалось. Это был лучший урок. Он перестал писать сериозные стихи и стал писать эгоистические.

⟨3⟩

С Полевым познакомил брата профессор университета, фамилию забыла, у него он печатал стихи и что-то маленькое перевел с большим усилием. Это были самые тяжелые для него годы. Впоследствии я не раз от него слышала: «Господи! сколько я работал, я исполнил, без преувеличения, до 200 печатных листов журнальной работы, принялся за нее почти с первых дней прибытия в Петербург». Брат работал в то время в

Инвалиде, в Литературных прибавлениях Инвалида, в Литературной газете, в Пантеоне и т. д. Был поставщиком у тогдашнего Полякова, писал азбуки, сказки по его заказу. В заглавии сказки «Баба Яга, костяная нога» он прибавил Жо⟨п⟩а Жиленая, брат замарал в корректуре. Увидав его, Поляков изъявил удивление и просил выставить первые буквы Ж... Ж.... Неизвестно, пропустила ли ему цензура. Лет через тридцать, по какому-то неведомому праву, выпустил эту книгу Г. Печаткин. Ж... Ж... там не было, но зато было имя брата, чего не было в Поляковских изданиях. До брата стали доходить слухи, что Белинский обращает внимание на некоторые его статейки.



МОГИЛА МАТЕРИ НЕКРАСОВА ЕЛЕНЫ АНДРЕЕВНЫ
В ОГРАДЕ ЦЕРКВИ СЕЛА АБАКУМЦЕВО
Фотография А В. Попова, 1935 г.

Раз случилось так: обругал брат Загоскина в «Еженедельной Газете», потом читает в «Ежемесячном Журнале» о том же. Позднее Белинский сказал ему: «Вы верно смотрите, ⟨но⟩ зачем вы похвалили Ольгу?»

— Нельзя, говорят, ругать все сплошь,— отвечал брат.

«Надо ругать все, что не хорошо, Некрасов,— нужна одна правда!»

Феоклист Онуфриевич Боб — первый его псевдоним, Перепельский — второй для прозы и водевилей.

С этим псевдонимом случилось вот что. Приятель его, офицер Н. Ф. Фермор помогал

ему в работе. Уезжая в Севастополь, он оставил ему кипу своих бумаг — брат пользовался ими для своих повестей, но там был списан отрывок из печатного. Думая, что это собственные записки Фермора, он вклеил эти страницы в одну свою повесть.

«Жаль,— говорил брат,— что никто из моих доброжелателей не доискался до этого факта — вот бы случай обозвать меня литературным вором».

Полностью печатается впервые по автографам из собрания В. Е. Евгеньева-Максимова.

Почти весь текст представляет собою несколько отредактированную, сокращенную и смягченную в отдельных деталях переработку собственноручных записей и диктанта Некрасова. Повидимому, А. А. Буткевич готовила биографию Некрасова и для этой работы использовала имевшиеся у нее предсмертные наброски поэта. При этом всюду, где записи сделаны Некрасовым в первом лице, они последовательно заменены ею формой третьего лица с добавлением: «брат».

Для метода работы Буткевич характерно одно место — начало наброска ⟨3⟩; в продиктованных Некрасовым воспоминаниях (набросок ⟨5⟩ на стр. 147) есть слова: «С Полевым познакомил меня профессор д⟨уховной⟩ а⟨кадемии⟩», при этом фамилия профессора — Успенский — в записи отсутствует; фамилии этой Буткевич не знала, а сокращенное написание «д. а.» не поняла или неверно прочла, как «ун». Соответствующее место в ее обработке звучит так: «С Полевым познакомил брата профессор университета, фамилию забыла». Ряд других мест — например, собственную, очень неразборчивую запись Некрасова в наброске ⟨1⟩ (на стр. 139) — Буткевич прочесть не смогла и просто опустила (ср. стр. 139 и 180).

Не восходит ни к диктантам, ни к записям самого Некрасова лишь один отрывок в наброске ⟨1⟩ от слов: «За нашим садом...», кончая: «в своих незатейливых экипажах на охоту». Возможно, что он также является переработкой не дошедшей до нас рукописи, однако не исключено, что отрывок — воспоминания самой Буткевич.

Обработка Буткевич была использована первоначально А. М. Скабичевским в 1878 г. для его работы над биографией Некрасова. Тексты, цитируемые Скабичевским, в нескольких случаях ближе к редакции Буткевич, чем к первоначальным записям Некрасова. Свою работу Скабичевский начал вскоре же после смерти Некрасова. Уже 29 января 1878 г. он писал Буткевич: «Милостивая государыня Анна Алексеевна. Простите меня, что я снова обращаюсь к Вам с покорнейшею просьбою. Те отрывки о жизни Николая Алексеевича, к-рые Вы мне дали, очень любопытны и представляют драгоценный материал для сведений о его жизни. Вы говорили, что у Вас еще есть несколько подобных же отрывков. Вы были бы очень обязательны, если бы отыскали их и переслали мне. Я не смею утруждать Вас личным посещением, но Вы были бы очень добры, если бы переслали мне, что можно, и если что есть на мое имя в редакцию или же через Салтыкова. Будьте уверены, что все будет тщательно сохранено и возвращено Вам по миновании надобности. Ваш покорнейший слуга А. Скабичевский». (Не издано. ИЛИ АН, фонд 203, № 108).

Н. В. ГЕРБЕЛЬ. Н. А. НЕКРАСОВ

Николай Алексеевич Некрасов, известнейший из современных русских поэтов, родился в 1822 г., в Ярославле, в дворянской семье. Отец его в молодости служил в военной службе и во все продолжение войны 1812—1814 годов состоял адъютантом при графе Витгенштейне принимая деятельное участие во всех сражениях корпуса русских войск, прикрывавшего Петербург, а двое дядей пали в сражении под Бородиным. Первоначальное воспитание Некрасов получил дома, а с тринадцатилетнего возраста стал посещать Ярославскую гимназию, начиная с четвертого класса. Пробыв в названном заведении два года, Некрасов, согласно желанию отца, оставил гимназию и, снабженный его письмом на имя начальника петербургского округа корпуса жандармов, генерала Полозова, отправился в Петербург. Отдавая письмо Полозову, Некрасов объявил ему прямо, что содержание его ему хорошо известно, но что он не хочет поступать в Дворянский полк, как того желает отец, а намерен готовиться к поступлению в университет, так как чувствует сильную склонность к литературным занятиям, весьма мало совместным с военной службой. Полозов нашел решимость шестнадцатилетнего юноши как нельзя более благоразумной и советовал ему поскорее приступить к делу. Тогда Некрасов ревностно принялся за книги и стал готовиться с лихорадочной поспешностью к грозному экзамену, долженствовавшему быть ровно через год. Но вскоре всякого рода препятствия стали тормозить успешно начатое дело. Первым и главным препятствием к осуществлению благих намерений юноши был недостаток в деньгах, без которых трудно было сделать что-нибудь, так как без учителей изучать

математику и латинский язык не было никакой возможности. Впрочем, для математики и физики Некрасов вскоре добыл себе дешевого наставника, что же касается латыни, то этот предмет подвигался туго, несмотря на усилия знакомого ему студента Медико-хирургической Академии. Наконец, случай свел его в одном из трактиров Выборгской стороны с профессором Духовной Академии Успенским, который, узнав о затруднениях Некрасова касательно латыни, не только любезно предложил давать ему уроки даром, но даже пригласил его переселиться на некоторое время в его квартиру. Некрасов принял предложение — и долбление латыни началось. Благодаря основательному знанию как латинских классиков, так равно и латинской грамматики и просодии, Успенский в какие-нибудь полгода так хорошо ознакомил своего нового ученика со всеми таинствами языка Цицерона, что уже в самом начале 1840 года Некрасов был совершенно готов к университетскому экзамену, бывающему, как известно, в августе месяце. Начались экзамены. Большая часть предметов, в том числе и латынь с профессором Фрейтагом, отличавшимся крайней строгостью, сошли благополучно; но математика и физика испортили все дело, и Некрасов волей-неволей должен был отказаться от чести поступить в число студентов университета, довольствуясь званием вольного слушателя.

Посещая усердно университетские лекции в течение 1840—1841 годов, Некрасов тогда же начал помещать свои стихотворения и небольшие повести и рецензии в некоторых тогдашних газетах и журналах. Первым поэтическим опытом Некрасова было стихотворение «Мысль», напечатанное в «Сыне Отечества» на 1838 год, а вторым — «Жизнь», помещенное в № 7-м «Библиотеки для Чтения» на 1839 год. Стихотворения эти — плод досуга 16-ти летнего поэта — были замечены. Это обстоятельство решило дело: он решился избрать поэтическую деятельность своей карьерой. В 1840 же году вышел первый сборник стихотворений Некрасова, под заглавием «Мечты и Звуки». Жуковский, прочтя эту небольшую книжку, отозвался о ней с похвалою; что же касается Полевого, поместившего у себя в «Сыне Отечества» первое стихотворение Некрасова, то он принял самое живое участие в начинающем поэте. Один Белинский встретил книжку не дружелюбно, как это можно видеть из следующих заключительных строк его рецензии, помещенной в 3-м № «Отечественных Записок» на 1840 год: «Прочесть целую книгу стихов, встречать в них все знакомые и истертые чувствованьица, общие места, гладкие стишки — и много-много — если наткнуться иногда на стих, вышедший из души в куче рифмованных строчек — воля ваша, это чтение, или лучше сказать, работа для рецензентов, а не для публики, для которой довольно прочесть о них в журналах известие вроде: «выехал в Ростов». Посредственность в стихах нестерпима. Вот мысли, на которые навели нас «Мечты и Звуки» г. Н. Н.». Впрочем, этот суровый приговор не помешал поэту и критику вскоре после того познакомиться и сблизиться. Знакомство это имело большое и благодетельное влияние на развитие таланта Некрасова, требовавшего в то время поддержки и указания. Начиная с 4-й книжки «Отечеств. Записок» на 1845 год, где было напечатано первое из стихотворений Некрасова, вошедших потом во все издания его стихотворений,—«Современная ода», произведения молодого поэта стали все чаще и чаще являться на страницах этого, в то время лучшего, русского журнала. Мы говорим о стихотворных произведениях Некрасова; что же касается прозы, то-есть небольших повестей и рассказов, то они, начиная с повести «Опытная женщина», напечатанной в 10-м № журнала на 1841 год, печатались в нем гораздо раньше. Затем, в «Петербургском сборнике», изданном Некрасовым в 1846 году, и в 4-й книжке «Отечеств. Записок» того же года были напечатаны последующие три его пьесы: «В дороге», «Огородник» и «Когда из мрака заблужденья», которыми начинаются все издания стихотворений Некрасова. В том же 1846 году Николай Алексеевич издал свой комический иллюстрированный альманах «Первое Апреля», похваленный Белинским, а с 1847 года стал издавать, вместе с покойным И. И. Панаевым, журнал «Современник», выходивший потом без малого целых двадцать лет и во все продолжение этого времени стоявший постоянно во главе русской журналистики.

Еще за год до появления в свет 1-й книжки «Современника», читающей и мыслящей публике, благодаря целой туче публикаций, было хорошо известно: кто такие будут

сотрудниками нового журнала и чего можно будет ожидать от него. Почти все писатели — цвет русской науки и литературы того времени — были объявлены его исключительными сотрудниками, причем были названы многие из их произведений, долженствовавших украсить страницы нового журнала, в том числе оба приложения: «Кто виноват?» роман Искандера (Герцена) и «Лукреция Флориани», роман Жорж-Занд, в переводе Кронеберга, известного переводчика «Гамлета» и «Макбета» Шекспира. Поэтому, нет ничего удивительного, если мы скажем, что появление 1-й книжки «Современника» все мыслившие русские люди того времени ожидали с величайшим нетерпением.

Наконец, 1 января 1847 года книжка вышла, вместе с двумя обещанными приложениями, и — можно сказать — превзошла даже смелые ожидания читающей публики. И не мудрено. В ней помещены были: повесть Тургенева, роман Герцена, начало романа Панаева, стихотворения Некрасова, Тургенева и Огарева статьи Белинского, Кавелина, Соловьева, графа Уварова, Никитенко и Кронеберга; наконец, самая «Смесь» была составлена из таких произведений, как «Хорь и Калиныч» Тургенева, «Роман в десяти письмах» Достоевского, «Письма из Парижа» Анненкова, и других; даже статья о модах была написана совершенно в новом роде, именно — в виде живого фельетонного рассказа. Последовавшие за январской остальные одиннадцать книжек «Современника» 1847 года оказались если не лучше, то, во всяком случае, не хуже первой, так как в них были помещены: стихотворения Некрасова, Майкова и Огарева, «Обыкновенная История» — первый роман Гончарова, повесть «Жид» и первые семь рассказов из «Записок Охотника» Тургенева, «Записки доктора Крупова» и четыре письма из «Avenue Marigny» Герцена, «Антон Горемыка» и «Полинька Сакс» — первые и лучшие повести Григоровича и Дружинина, «Письма об Испании» Боткина, «Письма из Парижа» Анненкова, статьи Белинского, Савича, Буняковского, Рулье, Афанасьева, Милютина и других. «Современник» 1848 года, несмотря на совершенное отсутствие стихов, был не менее предыдущего богат прекрасными повестями и учеными и критическими статьями, подписанными именами Тургенева, Гончарова, Герцена, Даля, Григоровича, Дружинина, Гребенки, Грановского, Соловьева, Кавелина, Ковалевского, Перевощикова и других. Эти первые два лучших года существования «Современника» под новою редакцией, ознаменованные совокупными трудами лучших представителей русской науки и русской литературы, помимо благотворного влияния на развитие вкуса в публике и охоты к чтению, замечательны особенно тем, что выдвинули вперед и сделали известными имена лучших наших писателей сороковых годов: И. А. Гончарова, Ф. М. Достоевского, Д. В. Григоровича, А. В. Дружинина и В. Н. <П.> Боткина и упрочили едва начинавшуюся известность И. С. Тургенева и Н. А. Некрасова.

Начало «Современника» совпало как раз с началом гонения на стихи, поднятого «Отечественными Записками» и продолженного другими журналами между прочим и «Современником», хотя во главе его и стоял поэт. Начиная с 1848 года, в который редакция «Современника» не нашла во всей русской литературе ни одного стихотворения, годного занять место на ее страницах, и продолжая это гонение в течение всего следующего года, она только во 2-й книжке 1850 года нашла возможным поместить у себя «Странную ночь», комедию в стихах г. Жемчужникова. Стихотворения же Некрасова стали появляться только с июльской книжки того же года. Таким образом, целые три года Некрасов не печатал у себя ни чужих, ни своих стихотворений, ограничивая свою литературную деятельность составлением мелких статей для смеси и небольших рецензий для отдела критики, да сочинением *неправдоподобных рассказов*, вроде «Новоизобретенной привиллегированной краски Дирлинга и К°», напечатанной в 4-й книжке журнала на 1850 год и прошедшей никем не замеченной.

Первыми стихотворениями Некрасова, появившимися после трехлетнего молчания на страницах «Современника» (1850, № 9), были две коротенькие пьесы любовного содержания: «Буря» и «Ты всегда хороша несравненно», не представляющие ничего замечательного; но начиная с 3-й книжки журнала на 1853 год, где было помещено известное его стихотворение «Блажен незлобивый поэт», стали появляться те лучшие из его поэтических произведений, которые впоследствии прославили его имя и сделали его дорогим для каждого русского. Стихотворения эти были «Муза», «В деревне», «Не-

ЭКЗЕМПЛЯР «СТИХОТВОРЕНИЙ» НЕКРАСОВА С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ: «МИЛОМУ И ЕДИНСТВЕННОМУ ДРУГУ МОЕМУ ЗИНЕ. Н. НЕКРАСОВ. 12 ФЕВР. 1874»

Собрание В. В. Иванова, Москва

СТИХОТВОРЕНІЯ

Н. НЕКРАСОВА

сжатая полоса», «Забытая деревня», «Маша», «Влас», «Внимая ужасам войны», «Замолкни, муза мести и печали», «Застенчивость» и некоторые другие. Затем в течение 1857 — 1860 годов Некрасов не написал ничего замечательного, и только начиная с 1861 года, в котором был напечатан в «Современнике» его рассказ «Коробейники», стали снова появляться в печати как мелкие его пьесы, так и целые поэмы, исполненные высокого достоинства. Из больших его произведений, напечатанных в этот последний период существования «Современника», особенно выдаются: рассказ «Мороз, Красный нос» и первая глава поэмы «Кому на Руси жить хорошо». С прекращением «Современника» на 4-й книжке 1866 года, Некрасов перенес свою литературную деятельность в «Отечественные Записки», перешедшие, в начале 1868 года, под другую редакцию, где и напечатал целый ряд мелких стихотворений, рассказов и поэм, в том числе две главы из поэмы «Русские Женщины»—«Княгиня Т***» и «Княгиня Вол-ская» (1872, № 4 и 1873, № 1) и четыре главы из поэмы «Кому на Руси жить хорошо» (1869, №№ 1 и 2; 1870, № 2 и 1873, № 2).

«Стихотворения» Н. А. Некрасова выдержали, в течение семнадцати лет, шесть изданий: 1-е было напечатано в 1856 году в Москве, в одном томе; 2-е — в 1858 году в Петербурге, в одном томе; 3-е — в 1864, там же; 4-е — в 1864, в трех частях 5-е — в 1869, в четырех частях, и 6-е — в 1869 — 1873, в пяти частях [1].

Перепечатывается из издания: «Хрестоматия для всех. Русские поэты в биографиях и образцах. Составил Ник. Вас. Гербель», СПб., 1873, 536—538. Частично (до слов: «Стихотворения же Некрасова стали появляться только с июльской книжки того же года» вкл.) сверено с автографом, находящимся в собрании В. Е. Евгеньева-Максимова. Ранее этот автограф находился в собрании А. Ф. Кони; эта часть его собрания составлена из бумаг А. А. Буткевич, перешедших к нему, как к душеприказчику сестры поэта. Бумаги же А. А. Буткевич, в свою очередь, включили в себя материалы, находившиеся к моменту смерти в квартире Некрасова. Таким образом, история сохранившейся

части автографа свидетельствует, по крайней мере, о просмотре биографии самим Некрасовым — тем самым она приобретает значение авторизованного источника: трудно предположить, чтобы, читая свою биографию, Некрасов не исправил вкравшихся ошибок или неточностей. Н. В. Гербель в предисловии к «Хрестоматии» писал о том, что «все 123 биографии составлены мною частью по новейшим печатным источникам, частью — по собранным лично мною материалам» (изд. 1-е, стр. VIII); фактов, изложенных в биографическом очерке Гербеля, в печати в это время не было; они могли быть получены только от самого Некрасова, которому Гербель, очевидно, и дал для просмотра начало составленного им, на основании рассказа поэта, очерка *.

Любопытно, что биография в первом издании «Хрестоматии» Гербеля написана в довольно сдержанных и скромных тонах; между тем во втором издании книги (1880, 588—593) текст биографии расширен и сделан более помпезным, например, первые строки звучат так: «Николай Алексеевич Некрасов, один из любимейших русских поэтов, занимающий третье место после Пушкина и Лермонтова...» и т. д. Ясно, что не связанный с автором Гербель дал текст, который едва ли был бы одобрен Некрасовым в 1873 г.; это может служить еще одним косвенным подтверждением авторитетности перепечатываемой биографии как источника.

[1] Неверно. Изд. 2-е вышло в 1861 г., в 2-х частях; изд. 3-е — в 1864 г., в 2-х частях; изд. 5-е — в 1869 г., в 5 частях (часть пятая — в 1873 г.).

М. М. СТАСЮЛЕВИЧ. Н. А. НЕКРАСОВ

Николай Алексеевич Некрасов родился 22 ноября 1821 года, в Каменец-Подольской губернии, в одном из местечек, где тогда квартировал полк, в котором служил его отец Алексей Сергеевич, женатый на Александре Андреевне Закревской, варшавской уроженке. С ее семьей отец Некрасова познакомился в Херсонской губернии, где Закревский приобрел обширные поместья на известных в то время правах посессионера. Оставив службу с чином майора, отец Некрасова поселился окончательно в своем имении, в деревне Грешнево, Ярославской губернии, на почтовом тракте между Ярославлем и Костромой. Многочисленное семейство (всего было 13 братьев и сестер, из которых теперь в живых два брата Н. А. Некрасова, Константин и Федор Алексеевичи, и одна сестра, Анна Алексеевна), процессы по имению — все это ставило нередко главу семейства в затруднительное положение.

Николай в 1832 году был отдан в Ярославскую гимназию, где и оставался до пятого класса. Проведя все свое детство в деревне, он и во время обучения возвращался туда же при каждом удобном случае: весною — на пасху, летом — на каникулы, зимою — на святки. Одно время его отец был исправником, он любил часто скуки ради брать сына Николая в разъезды по делам службы; таким образом, мальчик 12—13 лет присутствовал при различных сценах народной жизни, при следствиях, при вскрытии трупов, а иногда и при расправах во вкусе прежнего времени. Все это производило глубокое впечатление на ребенка и рано, в живых картинах, знакомило его с тогдашними часто слишком тяжелыми условиями народной жизни.

Отец Некрасова всегда желал, чтобы его сын наследовал его звание и поступил в военную службу. Вследствие того, молодой Некрасов должен был рано оставить гимназию, и в 1839 г. отправился в Петербург для определения в тогдашний Дворянский полк, на Петербургской Стороне. Приятель отца, ярославский прокурор Полозов, дал письмо к своему брату, начальнику III-го округа корпуса жандармов, генералу Полозову, который, в свою очередь, отрекомендовал молодого человека Я. И. Ростовцеву — и дело было почти решено. Но Некрасов встретил в Петербурге своего ярославского товарища Глушицкого, университетского студента, и случайно познакомился с профессором Духовной семинарии Дм. Ив. Успенским; они возбудили в нем такую охоту учиться, что он откровенно признался жене генерала Полозова: вместо Дворянского полка, ему было бы желательно поступить в университет. Полозовы одобрили его намерение и вместе с тем сообщили о том в Ярославль своему родственнику. Через

* Совпадение опечаток (В. Н. Боткин и др.) свидетельствует о том, что текст издания 1873 г. печатался именно по этому автографу. В подборе текстов для хрестоматии Некрасов, однако, участия не принимал.

него узнал обо всем и отец Некрасова. Гнев отца не остановил молодого человека, который вследствие того увидел себя предоставленным своей собственной судьбе.

Между тем друзья, Глушицкий и Успенский взяли на себя приготовление Некрасова к вступительному экзамену в университет, и Успенский занимался с ним с таким успехом, что известный тогда профессор римской словесности Фрейтаг, очень требовательный латинист, поставил ему на приемном экзамене из латинского языка 5 «с плюсом», но в физических науках сам почтенный филолог Успенский был слаб, и это отразилось роковым образом на его ученике: Некрасов чувствовал, что из физики он не может получить отметки выше единицы. Это бы еще ничего, так как одна единица в то время не была препятствием к поступлению в университет, но беда заключалась в том, что льготная единица была уже приобретена на экзамене из географии у проф. Касторского.

В виду такого печального обстоятельства Некрасов решился явиться к ректору П. А. Плетневу и откровенно высказать ему свое положение: он против воли отца поступает в университет — и теперь если его не примут в число студентов, его положение будет отчаянное. Плетнев справился о прочих отметках, отлично рекомендовавших юношу, желавшего притом поступить на философский факультет (ныне — историко-филологический), и обнадежил Некрасова обещанием ходатайствовать за него в совете. На основании этого обещания Некрасов совсем не явился на экзамен из физики, а вследствие того в совете о нем вовсе не было и речи. Потому же и Плетнев не вспомнил о нем, но после, при свиданьи, убеждал его все-таки не оставлять университета и поступить вольнослушателем. Некрасов сначала не решался. Несколько дней спустя, на старом Исаакиевском мосту он видит, что кто-то его догоняет и идет с ним рядом, всматриваясь в него. Это был Плетнев. Он снова стал убеждать его, и Некрасов подал прошение. Так началась университетская жизнь Некрасова, продолжавшаяся в течение 1839—1841 годов. Некрасов поселился на Малой Охте; средства к жизни приходилось добывать уроками, корректурой и литературными попытками; еще до поступления в университет он писал стихи, и первое его стихотворение «Мысль» было напечатано в 1838 г. в «Сыне Отечества». Но деньги, добываемые подобными трудами, были очень скудны; нередко приходилось Некрасову вместе с товарищем Глушицким и их единственным слугою довольствоваться пятиалтынным в день.

В те времена преимущественно в университете сосредоточивалась молодежь из знати, и университетские товарищеские кружки смешивали в себе все состояния и звания. Бедный молодой человек с бюджетом чуть не нескольких копеек в день легко сближался с юношами высших и богатых классов,— и не только сближался, но, благодаря своим личным талантам, способностям и веселому характеру, мог даже первенствовать между ними; на студенческих собраниях и пирушках, устраиваемых в то время на подобие немецких кнейпов и коммершей, предводительствовал не тот, кто знатнее всех, но кто лучше дрался на эспадронах и рапире, кто был мужественнее и физически ловче. В таких-то веселых и разгульных товарищеских кружках внезапно очутился провинциальный юноша, взросший в деревне, и тут-то он ознакомился впервые с обыденною жизнью и нравами других общественных классов, которые без университетской жизни остались бы ему известными только по слухам. Эта новая обстановка, как и прежняя, деревенская, не остались без влияния в будущем на поэзию Некрасова и на самый его характер, а также и на условия дальнейшей жизни: завязанные тогда им связи сохранились и впоследствии; недостатки и слабые стороны жизни высших общественных слоев стали ему знакомы из первых рук и хорошо знакомы. Новые впечатления столкнулись в Некрасове с первыми воспоминаниями из деревенской жизни совсем иного рода, и этот контраст окончательно определил будущий характер его поэзии. К этому присоединилась другая противоположность, лично испытанная им: при близости с молодежью более чем достаточною, беззаботною и наслаждающеюся, он сам терпел на каждом шагу много тяжелых лишений и с трудом добывал кусок насущного хлеба. Нечего было и думать серьезно об университетской науке и правильном окончании курса при такой обстановке, требовавшей почти всего времени на добывание самых первобытных средств к существованию.

Между тем литературные способности и наклонности дозволяли молодому человеку выступить на арену общественной жизни немедленно, без всяких экзаменов, каких потребовала бы научная дорога, да и притом литературные труды окупались на месте в виде хотя бы и скудного гонорара, в то время как научный труд требовал на себя затраты уже готовых денег. Еще в 1839 г. Некрасов посылал свои первые опыты в «Литературную Газету», издаваемую тогда А. А. Краевским, и в «Отечественные Записки», а в 1840 году он решился выпустить в свет собрание первых своих мелких стихотворений под названием «Мечты и Звуки», но с одною подписью начальных букв имени и фамилии: дело шло не о славе, а о куске насущного хлеба. Будущий его приятель, Белинский, строго отозвался об этом сборнике; но к юному поэту отнеслись снисходительно Жуковский и Полевой, в «Библиотеке для Чтения». В 1841 году Некрасов решился совсем оставить университетские лекции, и с того времени для него открылась в тогдашних петербургских литературных кружках новая школа, продолжавшаяся пять лет (1841—1846) и заключившаяся в 1847 году решительным выступлением его на журнальное поприще: вместе с Панаевым он приобрел у П. А. Плетнева издательское право на «Современник», основанный в 1836 году Пушкиным.

Этот период литературной школы можно считать определяющим в жизни Некрасова и вместе самым тяжелым в материальном отношении. Под гнетом ежедневной нужды он пробовал свои силы всячески — даже писал водевили для Александринского театра; под псевдонимом Перепельского * предпринимал различные издания: так, в 1845 году вышла его «Физиология Петербурга»; в 1846 году им издан был замечательный «Петербургский Сборник», как раз уже накануне журнального поприща. В этом периоде завязались у Некрасова те литературные связи, которыми определилась его дальнейшая журнальная деятельность и ее характер. При этом существенное место принадлежало влиянию Белинского.

С 1847 г. начинается период журнальной деятельности Некрасова, которая, за небольшим перерывом (1866—67 гг.), продолжалась до настоящего времени, в течение тридцати лет: с 1847 по 1866 год — в «Современнике», и с 1868 г.— в «Отечественных Записках». В этом периоде жизнь его тесно связана с историею упомянутых журналов, которые он редактировал или один, или вместе с другими своими сотрудниками, и где он помещал все свои произведения этой эпохи.

Последнее полное собрание стихотворений Н. А. Некрасова вышло в 1873—74 годах и составило шесть частей в трех томах; в нынешнем году к этому собранию присоединилась, в виде дополнения, особая книга под заглавием: «Последние песни Н. Некрасова 1874—77 годов».

Перепечатывается из издания: «Николай Алексеевич Некрасов», СПб., тип. М. М. Стасюлевича, 1877, стр. III—XII («Русская Библиотека», вып. VII). Биография Некрасова в этом издании заканчивалась следующим примечанием: «Начало настоящего очерка, до оставления Н. А. Некрасовым университета, написано с его слов и было прочтено ему для фактической проверки; серьезная болезнь его уничтожила возможность воспользоваться его указаниями для последующих периодов...» (стр. XII). Через год, перепечатывая очерк в «Вестнике Европы», Стасюлевич сопроводил его более подробным комментарием: «Год тому назад, в феврале, еще до операции, выслушивая у больного его различные воспоминания из различных эпох его жизни, мы просили у него позволения делать заметки, с тем, чтобы, изложив их после, по его словам, в следующий раз, как говорится, мы читали протоколы предыдущего нашего заседания, а потом он будет рассказывать дальше — или дополнит и исправит предыдущее. К сожалению, эта мысль пришла нам в голову слишком поздно: болезнь не ждала исполнения всей программы, и дело остановилось на первом периоде, до оставления Некрасовым здешнего университета...» («Вестник Европы» 1878, № 2, 910). Таким образом, авторизованной, строго говоря, является лишь часть биографии до абзаца: «Между тем литературные способности...». Характерно, что продиктованная Некрасовым часть (до конца 30-х годов) заняла пять страниц, а вся следующая (тридцать с лишним лет), написанная Стасюлевичем, уместилась меньше чем на двух страницах.

---

* «Шила в мешке не утаишь», оригин. водев. 1841 г.; Ф. О. Боб, оригин. водев. 1841 г.; «Актер», оригин. водев. 1841 г.; «Вот что значит влюбиться в актрису», перев. водев. 1841 г. «Дедушкины попугаи», перев. водев. («Хроника Петербургских театров 1826—1855 гг.» А. И. Вольфа, СПб., 1877).

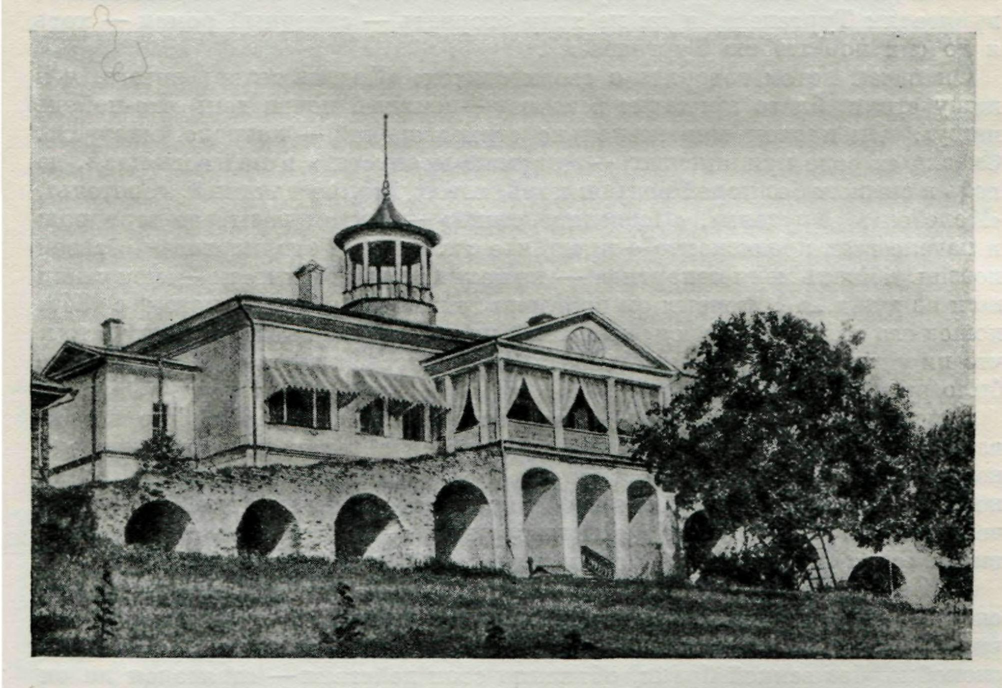
III

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ А. Н. ПЫПИНА

1877, 15 января[1].

У Некрасова. Он лежал в постели, бледный и изнеможенный. Когда я пришел, он начал говорить и мало-помалу оживился. Пришел потом ненадолго Лихачев[2], но затем мы оставались одни.

Он рассказывал, что делается с его стихотворением «Пир на весь мир». Его вынули из дек⟨абрьской⟩ книжки. Между тем Достоевский был раз у Григорьева, и тот в большой компании сказал ему — и для передачи Некрасову — что это стихотворение кажется совершенно возможным.



КАРАБИХА. ФАСАД ГЛАВНОГО ЗДАНИЯ
Фотография 1890-х гг.
Институт литературы АН СССР, Ленинград

Но дня три тому назад был у Некрасова и сам Петров и упрашивал не помещать стихотворения: Некрасову он прямо говорил, что он должен принять в соображение их обстоятельства и не лишать их «куска хлеба»; они — люди семейные, и что ему напрасно «водрузить свое стихотворение на развалинах их существования, а напротив, следут завершить свое поприще «добрым делом» — отложивши печатание»[3].

Некрасов говорит, что он увидел, что это личный страх Петрова: перед тем произошла история с Собеседником[4].— Лихачев прибавил, что на этих днях Тимашев — когда Веселаго и Лазаревский пришли благодарить его за ордена — любезно, но настойчиво требовал, что надо «подтянуть» литературу, которая «распущена»; — происходило потом бурное заседание в Главном управлении, было остановлено «Р⟨усское⟩ Обозрение», и т. д.[5].

Некрасов, на основании своего соображения, хотел, чтобы его стихотворение было пущено в январскую книгу «О⟨теч.⟩ З⟨ап.»⟩, предпо-

лагая, что Григ⟨орьев⟩ не отступит от своих слов. Салтыков боялся этого. Вместе с тем Некрасов намерен сделать другую вещь: теперь же выпустить книжку своих стихов, поместить туда «Пир» и новые стихотворения и представить в цензуру, которой нечего будет сказать против этого издания [6].

Он говорил о романе Тургенева. Первая часть понравилась — выводимые лица нарисованы хорошо; но 2-я часть плоха. Тургенев не достиг своей цели. Если он хотел показать нам, что направление юнош неудовлетворительно — он не доказал; если хотел примирить с ними других — не успел; если хотел нарисовать объективную картину — она не удалась. Все-таки люди были крупнее (первые), да и хождение в народ — недосказано, оно бывало не так глупо. «Вообще скажу, — не говорите только приятелям Тургенева, я их не хочу огорчать — скверный роман — хоть я до сих пор люблю Тургенева» [7].

Он начал потом говорить о своих стихах: «Делать теперь нечего, я и пишу стихи, благо приходят в голову — каждый почти день что-нибудь пишу». Он прочел мне несколько стихотворений — конечно, наизусть. Сказка «в роде пушкинских» — «я думаю пропустят» в ней есть царь, да ведь в сказках без царей нельзя: царь, воевода и крестьянин [8]. «Сеятель», «Молебен», «Друзьям», «Последние стихи» — так он называет этот род; в начале всех предисловие — прощанье с жизнью. Говорил потом о своей поэзии. «Жизнь меня испортила — но только на поверхности — мои стихи шли из души...» В первых он повторял тех, кого читал, но потом, с 1846, пошел его собственный род, не взятый ни у кого. Он ставит их цену в том, что ни у кого из наших писателей не говорилось так прямо о «деле» — не было рутинных пустяков.

Вспоминал об «ошибках» — стихотворении к Муравьеву. Его подбивали (Строганов) написать стихотворение, что этому человеку надоела катковская газета, но что стихотвор⟨ения⟩ от Некрасова могли бы на него подействовать и укротить. «Я тогда проводил много дней не лучше, чем теперь... и посмотрите в стихотворениях — в тот же день, когда я написал эти 12 стихов, я написал стихотворение «Ликует враг» [9].

У Некрасова. Пятница, 25 февраля. Ему, видимо, хочется рассказать разные факты своей жизни и объяснить. Говорил между прочим, что когда вышла книжка Антоновича, он стал писать ответ, в котором спокойно, без всякой брани, объяснял свои действия — «прятался ли он за других» — оказывается, конечно, что нет, и что, например, сам же Антонович советовал выбрать двух редакторов на тот случай, чтоб хоть один мог остаться, если другого запретят, и т. п. [10]

Пятница, 4 марта. Я застал там Белоголового и Богдановского[11]. Некрасов был очень слаб; но все-таки (при мне и Богд⟨ановском⟩) прочел новое стихотворение, записанное его сестрой 3 марта — «Колыбельная песня». Он стоял на постели на коленях в одной рубашке, и его манера чтения делала впечатление пьесы еще сильнее и тяжелее. Затем он встал с постели, опираясь на нас, и еще стал рассказывать... Он чувствует себя тяжело от опиума — «боюсь, что глупею»; просил, что нельзя ли как-нибудь избавить его от какой-то подробности лечения, которая была ему тяжела — говорил, какие мысли бродят в туманной голове, явятся и исчезнут, чтобы потом явиться снова, и кончаются стихами. Он стал рассказывать сюжет, который именно теперь бродил: снежная пустыня, Сибирь, на снегу отпечатались лапки птиц и зверьков; бродит беглый, непомнящий родства; много раз он попадался, начальство бывало строгое: «кто ты?» — «житель» — начальство бесится; «кто ты?» — «сочинитель» — начальству смешно, и бродяга обошелся без наказания. Он жил в селе, и была у него невеста — чиновник отбил, и он ушел сам в Сибирь и бродил «непомнящим родства».— Теперь — время ужасное: дни все дольше, а

А. Н. Пыпину
Нкр/Я
(До выхода 11 № О.З. прошу никому не давать)

ПИРЪ НА ВЕСЬ МІРЪ[1].

(Посвящается Сергею Петровичу Боткину).

Въ концѣ села, подъ ивою,
Свидѣтельницей скромною
Всей жизни вахлаковъ,
Гдѣ праздники справляются,
Гдѣ сходки собираются,
Гдѣ днемъ сѣкутъ, а вечеромъ
Цалуются, милуются —
Всю ночь огни и шумъ.
На бревна, тутъ лежавшія,
На срубъ избы застроенной
Усѣлись мужики;
Тутъ тоже наши странники
Сидѣли рядомъ съ Власушкой;
Власъ водку наливалъ,
«Пей, вахлачки, погуливай!»
Климъ весело кричалъ.
Какъ только пить надумали,
Власъ сыну-малолѣточку
Вскричалъ: «бѣги за Трифономъ!»
Съ дьячкомъ приходскимъ Трифономъ,
Гулякой, кумомъ старосты,
Пришли его сыны,

[1] Изъ второй части «Кому на Руси жить хорошо». Настоящая глава слѣдуетъ за главою «Послѣдышъ», помѣщенною въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1873 г., № 2 и въ отдѣльномъ, 6-мъ изданіи Стихотвореній Некрасова: часть 6 Стр. 9—70.

«ПИР НА ВЕСЬ МИР»

Страница из отпечатанных листов ноябрьской книжки «От. Зап.» за 1877 г. Сверху надпись рукой Некрасова: «А. Н. Пыпину. Некрасов. (До выхода 11 № О.З. прошу никому не давать)»

«Пир на весь мир» был вырезан цензурой из журнала

25 ноября 1876 г. Щедрин писал П. В. Анненкову: «Месяц тому назад возвратился сюда Некрасов из Крыма. Не просто больной, а безнадежно... И вот этот человек, повитый и воспитанный цензурой, задумал и умереть под игом ее. Среди почти невыносимых болей, написал поэму, которую цензура и не замедлила вырезать из 11-го номера. Можете сами представить себе, какое впечатление должен был произвести этот храбрый поступок на умирающего человека. К сожалению, и хлопотать почти бесполезно: все так исполнено ненависти и угрозы, что трудно даже издали подступиться. А поэма замечательная: в большинстве довольно грубая, но с проблесками несомненной силы»

Институт литературы АН СССР, Ленинград

снегу все больше. Попадается ему маленький зверек, замерзший: он взял его на руки, тот задрыгал лапкой, еще жив. Он спрятал зверька, горностая, в шапку, и все бродил; через несколько времени снял шапку посмотреть — зверек ожил и стремглав ринулся в лес. Другая встреча: набрел на кибитку, там тот самый чиновник с его бывшей невестой и ребенком: они сбились с пути, грозит мятель, ямщик ушел искать дорогу. Они просят спасти их; бродяга отводит их в избу, какие строят в пустых местах для всякого случая. Он отводит их туда,— и хочет потешиться мщением; он любит смотреть на огонь и собирается сжечь их; он обложил избу дровами, выбрал место, откуда станет смотреть, — но захотелось ему взглянуть еще раз на эту женщину; он взглянул в волоковое окно и увидел, что она молится и ребенка крестит. Зрелище поразило его, он бросился бежать и без оглядки тридцать верст пробежал.

Он объяснил, что так ему представляется народный характер — при всей беде, порче, необузданности с мягкими, человеческими чувствами в основании...

Он рассказывал все это — ходя и переступая с палкой по ковру — худой, бледный, нервно говорящий то стихами, то рассказами, и утомился окончательно [12].

Среда, 9 марта. К удивлению я встретил его (около трех часов) гораздо свежее. Он ходил по комнате, никого у него не было. Он стал говорить — «только вы никому не говорите»,— что он сделал распоряжение о своих сочинениях — он отдал их сестре с тем, чтобы она из денег употребила известную часть для Н. Г. 〈Чернышевского, его〉 жены и детей. «Она честная, добрая, совестливая женщина и сделает все, как я распорядился» [13]. Денег у него теперь немного: «у меня на лечение выходит в месяц до пяти тысяч»(?), «сколько же я истратил в десять месяцев болезни?»

О книжке Р〈усской〉 Б〈иблиотеки〉 он опасается, чтоб цензура не задержала: выбор сделан такой, да и всё «народ» [14]. Из слов Стасюлевича он видит, что «он не понимает этого»; ему кажется, что Тургенев — самый либеральный писатель; от этого о своей биографии: «останутся стихи, да наберутся послания, письма, и довольно». Разница с Тургеневым: «я с барами хотел быть барин, хотя не был по природе барин; но я же мог подраться с кем попало в ресторане Лерхе,— Тургенев бы повесился от этого; он к Бел〈инскому〉 поедет в белых перчатках, его тянуло к какой-нибудь аристократической барыне, а я бы не пошел туда, разве если б можно было выиграть тысяч пять шутя». — Старая поэзия: Пушкин — великий поэт; но это «птица, сидящая на дереве», — содержания в литературе не было; Н. Г. 〈Чернышевский〉 сумел это сказать по поводу просто Авдеева, — он указал, что старая литература дрянь, и это уж было много [15].

Перепечатывается из «Современника» 1913, № 1, 229—233. Автограф неизвестен.

[1] В «Современнике» опечатка: 1876.

[2] Владимир Иванович Лихачев (1837—1906) — приятель Некрасова, юрист, член и товарищ председателя петербургского окружного суда, видный либеральный общественный деятель и городской голова Петербурга в 1885—1892 гг., с 1896 г.— сенатор. Его жене — Елене Осиповне (1836—1904) — писательнице, сотруднице «Отечественных Записок» и деятелю женского освободительного движения, Некрасов в 1874 г. посвятил экспромт «Уезжая в страну равноправную», а в 1877 г. посвятил ей поэму «Мать».

[3] См. стр. 174—175.

[4] Речь идет о ежедневной политической и литературной газете «Собеседник», начавшей выходить в Петербурге в 1877 г. под редакцией В. П. Клюшникова (№№ 1—6) и Ю. М. Богушевича (№№ 7—38). Газета была прекращена по «высочайшему повелению» за напечатание статьи Ю. Клячко «Два канцлера» (о Бисмарке и Горчакове). 8 января 1877 г. А. В. Никитенко записал в своем дневнике: «Запрещена новая газета „Современник“... по доносу Мезенцова, начальника третьего отделения... Редактору... велено подать в отставку». («Записки и дневник», изд. 2-е, СПб.. 1905, II, 581. Ср. Р. Семент-

ковский. Среди отошедших. Из моих воспоминаний.—«Исторический Вестник» 1917, № 7—8, 103—106).

[5] Александр Егорович Тимашев (1818—1893) — в это время министр внутренних дел. Феодосий Федорович Веселаго (1817—1895) — историк русского флота, цензор, член совета Главного управления по делам печати. Василий Матвеевич Лазаревский (1817—1890) — член совета Министерства внутренних дел и Главного управления по делам печати. О нем см. ниже, в работе С. Макашина и Б. Папковского, Некрасов и литературная политика самодержавия.

Александръ Гавриловичъ
КОКШАРСКІЙ

ПОСЛѢДНІЯ ПѢСНИ

СТИХОТВОРЕНІЯ

Н. НЕКРАСОВА

САНКТПЕТЕРБУРГЪ
Въ типографіи А. А. Краевскаго (Басейная, № 2)
1877

«ПОСЛЕДНИЕ ПЕСНИ»

Титульный лист книги, посланной А. Н. Пыпиным Чернышевскому в Вилюйск. Позже Чернышевский подарил книгу, сделав на ней дарственную надпись, О. Ф. Кокшарской

Музей революции СССР, Москва

[6] В «Последние песни» «Пир на весь мир» не вошел.

[7] Речь идет о «Нови» Тургенева, печатавшейся в это время в «Вестнике Европы».

[8] Сказка «в роде пушкинских» неизвестна, хотя К. И. Чуковскому и удалось напасть на ее след (см. прим. к Полн. собр. стих. Некрасова, изд. 9-е, Л., 1935, 604), а В. Е. Евгеньев-Максимов обнаружил даже проект программы вечера Литературного фонда (в память Некрасова), на котором должна была читаться «Сказка о царе, воеводе и мужике». Чтение сказки было запрещено цензурой (см. статью В. Евгеньева-Максимова, Некрасов и Пушкин.—«Литературный Современник» 1938, № 3, 205). «Сеятелем», «Друзьям», «Молебен» и «Последние песни» вошли в сборник «Последние песни».

[9] Ср. прим. 5-е к наброску ⟨15⟩.

[10] Ответ Некрасова Антоновичу и Жуковскому на их брошюру: «Материалы для характеристики современной русской литературы. I. Литературное объяснение с Н. А. Некрасовым — М. А. Антоновича. II. Post-scriptum. Содержание и программа «Отечественных Записок» за прошлый год — Ю. Г. Жуковского», СПб., 1869 — неизвестен.

[11] О Н. А. Белоголовом см. на стр. 174. Евстафий Иванович Богдановский (1833—1888) — один из хирургов, лечивших Некрасова во время его предсмертной болезни.

[12] Тот же рассказ см. в воспоминаниях А. С. Суворина (стр. 206). Небольшой отрывок (28 строк) этой неосуществленной поэмы «Без роду, без племени» (или «Бродяга») был по автографу Некрасова напечатан Сувориным в «Новом Времени» (1878, № 662).

[13] В составленном 13 января 1877 г. завещании авторские права на свои сочинения Некрасов завещал А. А. Буткевич; имя Чернышевского в завещании, конечно, не названо; см. «Новый Мир» 1931, № 4, 191—192.

[14] Стихотворения Некрасова в серии «Русской Библиотеки» (вып. VII) не встретили цензурных затруднений и вышли в свет в апреле 1877 г.; см. Н. Ашукин, Летопись жизни и творчества Н. А. Некрасова, 1935, 505—506.

[15] Имеется в виду рецензия на «Романы и повести» М. В. Авдеева (СПб., 1853, 2 тома) в № 2 «Современника» за 1854 г. В этой рецензии Чернышевский отрицательно характеризовал Авдеева как писателя несамостоятельного и подражательного. Этому было противопоставлено требование от писателя «мысли» и социального содержания, ибо, писал Чернышевский, «наш идеал не в прошедшем, а в будущем».

В. А. ПАНАЕВ. ВОСПОМИНАНИЯ

‹1›

Когда мне понадобился рисунок к моему экзамену [1], я и отправился к Даненбергу [2]. Перед этим, за недостатком времени, я не был у него несколько месяцев. Он жил на Васильевском острове в 4 линии, занимая одну комнату во втором этаже, окнами на улицу. Тотчас по моем приходе, Даненберг взял большой лист рябой бумаги и начал рисовать голову толстейшим, мягким карандашом. В комнате стояли ширмы, и я слышал, что за ширмами есть живое существо.

Менее чем в час рисунок подходил к концу, и я беспрерывно просил, чтобы Даненберг делал его похуже, дабы могло быть вероятие, что я сам исполнил рисунок; но, несмотря на это, он вышел замечательно хорош, так что когда я подал его потом профессору рисования, то он расхохотался и сказал: этот рисунок сделан не вами, а каким-нибудь «художником». Я, конечно, смолчал, но формальность представления рисунка была исполнена.

Во время рисования Даненберга вышел из-за ширмы человек в татарском засаленном халате, волоча ноги и хлопая туфлями, подошел медленно к окошку, и, уткнув палец в притолку окна, сказал — «три часа, пора поесть».

Когда этот незнакомец скрылся опять за ширмами, я тихонько спросил Даненберга о том, что значило указание пальцем на притолку окна? Даненберг засмеялся и сказал: «Это наши часы; на притолке отмечены чертами тени от переплета окна для солнечных часов».

Не окончив еще рисунка, Даненберг вышел в сени, и вслед затем принесены были щи; они оказались очень хороши, и мы с аппетитом поели их втроем.— «Извините» — сказал Даненберг — «у нас второго блюда нет».

Поевши щей, незнакомец сказал Даненбергу, что ему надо сходить со двора. Даненберг тотчас же ушел за ширму, и я заметил, что он вышел оттуда в туфлях. Затем вышел незнакомец, уже одетый, и спросил Даненберга: «что, сегодня свежо?» «Да, свежо» — ответил Даненберг. «Так я надену плащик» — сказал незнакомец. — «Пожалуйста» — ответил Даненберг.

На все это я обратил внимание, и когда, по уходе незнакомца, мы остались вдвоем с Даненбергом, то на мои вопросы он рассказал мне, что несколько месяцев тому назад он, случайно, познакомился с этим молодым

человеком по фамилии Некрасов, находившимся в крайнем положении, и пригласил его к себе.

Рассказывая вкратце... свою историю, Некрасов, между прочим, передал нам следующий эпизод [3].

— Когда,— говорил он, — я истратил все деньги, и профессор, у ко-

169

Всему конецъ, не бойся гроба!
Не будешь знать ты больше зла!
Не бойся клеветы, родимый,
Ты заплатилъ ей дань живой,
Не бойся стужи нестерпимой:
Я схороню тебя весной.

«Не бойся горькаго забвенья:
Ужь я держу въ рукѣ моей
Вѣнецъ любви, вѣнецъ прощенья,
Даръ кроткой родины твоей...
Уступитъ свѣту мракъ упрямый,
Услышишь пѣсенку свою
Надъ Волгой, надъ Окой, надъ Камой,
Баю-баю-баю-баю!..»

Читал мне сам
4-го марта

«БАЮШКИ-БАЮ»

Страница из книги «Последние песни», посланной А. Н. Пыпиным Чернышевскому в Вилюйск. Пометка рукой Пыпина: «Читал мне сам ‹Некрасов› 4-го марта ‹1877›»

Музей революции СССР, Москва

торого я жил и готовился в университет, пригласил меня удалиться от него, я попал в критическое положение и стал пописывать забавные стишки для гостинодворцев. Некоторое время я кое как перебивался, но, наконец, пришлось продать все скудное мое имущество, даже кровать, тюфяк и шинель, и остались у меня только две вещи: коврик и кожаная подушка. Жил я тогда на Васильевском острову, в полуподвальной ком-

нате, с окном на улицу. Писал я лежа на полу; проходящие по тротуару часто останавливались перед окном и глядели на меня. Это меня сердило, и я стал притворять внутренние ставни, так однако, чтобы оставался свет для писания [4]. Однажды прошло уже три дня, как я питался одним черным хлебом. Хозяйка объявила мне, что потерпит еще два дня, а затем выгонит вон. Лежу я на полу, в приятном расположении духа после приговора хозяйки, и пописываю. Вдруг появляется на пороге человек, большого роста, очень видный, в светло-сером плаще и спросил меня: — Здесь ли живет г. N. Я ответил ему раздраженным тоном, что никакого N тут нет, отвернулся и продолжал писать. Вижу, однако, что господин в плаще не уходит. Подождав немного, я ему сказал:

— Что вам нужно? — небось любуетесь на мою обстановку.

— Признаюсь,— ответил он, — ваша обстановка озадачила меня; хотя я тоже не в завидном положении, но у меня есть в кармане 20 рублей и довольно хорошая квартира; не пожелаете ли поселиться у меня? пожалуйте хоть сейчас, я живу очень близко отсюда.

— Мне нужно заплатить хозяйке 5 руб.,— сказал я.

— Вот вам 5 руб., заплатите и идемте со мною.

Я тотчас же расстался с хозяйкой, взял подмышку коврик и подушку, и мы отправились вместе с господином в плаще. Фамилия этого человека была Даненберг; мы прожили с ним не малое время; выходили мы со двора поочередно, так как сапоги мои были негодны, и у меня не было шинели, а у него был плащ. (Этот плащ, довольно оригинальный, я видал на Даненберге еще в Казани) [5].

Тогда я вспомнил нашу встречу с Некрасовым у Даненберга, вспомнили мы с ним и оригинальные солнечные часы, и вкусные щи, и после того, много, много Некрасов рассказывал еще доброго о Даненберге.

Перепечатывается из «Русской Старины» 1893, № 9, 498—499 и 500—501. Автограф неизвестен.

[1] В. А. Панаев в конце апреля 1840 г. держал экзамены для поступления в Институт путей сообщения, к этому времени и относится его рассказ о встрече с Некрасовым.

[2] Клавдий Андреевич Даненберг — уроженец Казани, сын военного (командира полка?), по желанию отца поступил на медицинский факультет Казанского университета, но вскоре бросил его и против воли родителей, лишенный их поддержки, уехал в Петербург, где и поступил в Академию художеств (см. Н. Успенский, Из прошлого, М., 1889, 228—231). По словам В. А. Панаева, «Даненберга все любили, и это был веселый, добрый и задушевный человек» (стр. 498). Вскоре Даненберг «покинул Петербург навсегда» (стр. 499), и дальнейшие сведения о нем отсутствуют.

[3] Этот рассказ относится, по словам В. А. Панаева, к концу 1847 г.

[4] Сходный рассказ см. у Н. Успенского, Воспоминание о Н. А. Некрасове. Письмо в редакцию.—«Иллюстрированная Газета» 1878, № 6, от 5 февраля, 47. Успенский рассказывает еще о том, что домовладелец был крайне недоволен тем, что Некрасов закрывал ставни. Этим эпизодом Некрасов начал свой рассказ «Без вести пропавший пиита» в «Пантеоне русского и всех европейских театров» 1840 (№ 9); его же он ввел и в «Жизнь и похождения Тихона Тросникова» (М.— Л., 1931, 82).

[5] Н. В. Успенский, по обыкновению путая, передает весь этот эпизод так, будто бы Даненберг переехал в комнату к Некрасову, налепившему на окно своей комнаты записку: «Отдается квартира» («Из прошлого», 228). Рассказ В. А. Панаева более правдоподобен. Рассказ об одной одежде на двоих с мелкими вариантами содержится и в воспоминаниях Н. В. Успенского (230—231) и, очевидно, соответствует действительности. Любопытно, что рассказ Успенского о том, как Некрасов соскоблил со своих сапогов ваксу и написал ею очерк, «спасший его от голодной смерти» («Из прошлого», 4—5), содержится в «Без вести пропавшем пиите» и, может быть, к нему и восходит.

⟨2⟩

Я расскажу то, что передавал мне сам Некрасов о себе, до 1847 года, когда он явился уже соиздателем «Современника». Отец Некрасова был ярославский помещик средней руки, т. е. не богатый и не бедный. Он был человек мало образованный и грубоватый, подобный всем средним поме-

щикам того времени, с достоинствами и недостатками, которые были присущи этой среде. Отец Некрасова, кроме сельского хозяйства, занимался содержанием почтовой гоньбы и потому имел в Ярославле контору [1].

Когда подошло время обучать детей, отец Некрасова отдал их в Ярославскую гимназию и поместил их жить в своей конторе под надзором какого-то крепостного дядьки.

— Мы учением, — говорил Некрасов,— не занимались, а занимались больше кутежом, и я сильно приударял в картеж и в прочие забавы [2].

Прикащику в конторе приказано было денег барченкам не давать, но удовлетворять их требования. Когда отец наезжал в Ярославль и поверял счета прикащика, то стал замечать, что расходы на хереса и проч. для барчат все росли и росли; затем Некрасов стал брать и деньги у прикащика на картеж. Последний не осмелился отказывать будущему своему барину. Отец стращал то тем, то другим, но, наконец, вышел из терпения и чуть не побил сына.

— Тогда, — рассказывал Некрасов, — я объявил отцу, что не хочу учиться в гимназии, а хочу поступить в университет. Отец согласился отправить меня в Петербург, а не в Москву, потому что в Петербурге жила родственница, старуха Маркова. Дал мне 500 руб. ассигнационных и письмо к Марковой, чтобы она оказала покровительство его сыну и пристроила его для приготовления в университет. Надо тебе сказать, — повествовал Некрасов, — что хотя в гимназии я плохо учился, но страстишка к писанию была у меня сильная, так, что я писал сочинения почти для всех товарищей. Прибыв в Петербург, я отправился к старухе Марковой; жила она в своем деревянном доме, на Литейной, против Симеоновского переулка. Прихожу, вижу древнюю старуху, сидящую у окна и вяжущую чулок; подал я ей письмо от отца, она позвала приживалку прочесть.

— А, так ты из Ярославля? — спросила она.

— Из Ярославля, бабушка.

— Сюда в Петербург приехал?

— Сюда, бабушка.

— Учиться?

— Учиться, бабушка.

— Хорошо, учись, учись.

Сижу и жду — что будет дальше.

— Так отец твой жив? — спросила она опять.

— Жив, бабушка.

— Ведь ты из Ярославля?

— Из Ярославля, бабушка.

И затем пошли одни и те же вопросы несколько раз. Вижу, что толку нет никакого, и ушел. Разочек еще сходил и опять то же. — Ты из Ярославля — и т. д. Плюнул и больше туда ни ногой.

Надо заметить, что я знал старуху Маркову и несколько раз бывал у нее в доме. Ее сын был товарищем моего отца по Лейб-Уланскому полку, делал с ним поход 1812-го года, и они были очень дружны, почему я и посещал этот дом, приблизительно в то время, когда Некрасов являлся к старухе. Очень ясно помню ее, постоянно сидящую у окна с чулком. Сын ее был в то время полковым командиром лейб-гвардии Уланского его высочества полка, который стоял в Новгородских поселениях и потому бывал редко в Петербурге, поэтому Некрасов и не встретил его у старухи; иначе Марков, как человек задушевный, вероятно, не бросил бы Некрасова на произвол судьбы [3].

— Так я и стал проживать, — говорил Некрасов, — в какой-то грязной гостинице, шлифовал тротуары, да денежки спускал. Наконец, я пристроился у одного профессора, который взялся приготовить меня в университет. Денег у меня почти уже не было, надо было писать отцу, а

кто его знает — прислал ли бы он или нет? Между тем, у профессора была женка смазливенькая, и я стал за нею приволакиваться. Заметил это профессор, да и вытолкал меня вон. Куда голову преклонить — не знаю? Оставалось еще несколько рублишек, я нанял себе угол за два рубля в месяц. Пить, есть надо, я и задумал стишонки забавные писать. Напечатал их на листочках и стал гостинннодворским молодцам продавать. Разошлись. Маленько оперился и комнатку на Васильевском острове нанял. Вот после этого ты и встретил меня у Даненберга. Ну потом, я стал уже маленькие стихотворные книжки издавать, мало-по-малу поправляться и достиг я знакомства с Белинским. Белинский стал мне работу давать, и я тогда совсем уже оправился. А потом познакомился с Ив. Ив. Панаевым и на твоих глазах издал «Петербургский Сборник», а теперь, как ты видишь, издаем с Ив. Ив. «Современник»[4].

Перепечатывается из «Русской Старины» 1901, № 9, 492—494. Автограф неизвестен.

[1] Неизданные данные о деятельности А. С. Некрасова в качестве содержателя почты находятся в Ярославском обл. архиве.

[2] Подтверждение этих строк воспоминаний Панаева находим в неизвестном до сих пор в литературе письме Некрасова к Б. И. Ордынскому, затерянном в составе статьи Е. А. Боброва о нем в «Варшавских Университетских Известиях» (1903, № 8, 3). Ордынский напомнил Некрасову о том, что они одновременно учились в Ярославской гимназии. Отвечая ему, Некрасов писал: «Весьма вероятно, что обучались мы в Ярославской гимназии вместе. Впрочем, я собственно более предпочитал проводить классное время в попутном Цареградском трактире, в игре на биллиарде: поэтому и не помню моих товарищей тогдашних».

[3] Версия о Марковой известна только по воспоминаниям В. А. Панаева; обычная версия — рекомендательное письмо Н. П. Полозова генералу Д. П. Полозову (см. выше). Кем Маркова приходилась А. С. Некрасову, неизвестно. Упоминаемый В. А. Панаевым ее сын — с 1831 до 1853 (?) г. полковой командир лейб-гвардии уланского его императорского высочества Михаила Павловича полка, генерал-майор (впоследствии генерал-лейтенант) Иван Васильевич Марков (ум. 1853; о нем см. В. Матвеев. Лейб-гвардии уланский его величества полк. 1817—1859, СПб., 1860).

[4] О жизни у Д. И. Успенского и дальнейшей жизни в Петербурге см. ниже в статье С. Рейсера «Некрасов в Петербургском университете».

А. С. СУВОРИН. НЕДЕЛЬНЫЕ ОЧЕРКИ И КАРТИНКИ

‹1›

... Он приехал в Петербург, когда ему не было еще 16 лет; приехал он с письмом своего отца к жандармскому генералу Полозову, соседу по имению. В письме была просьба определить сына в Дворянский полк (теперь Константиновское училище); Полозов отправил его к Я. И. Ростовцеву, который принял его и сказал, что определить можно. Но Некрасову вдруг не захотелось в Корпус и, не долго думая, он пришел к Полозову и стал просить его, чтоб он не беспокоился на его счет: «Я хочу в университет поступить». — «Тем лучше», сказал Полозов. Г-жа Полозова накормила его картофелем с маслом, расспросила о родных и отпустила с миром.

Молодой человек остался на полной своей волюшке с 150 р. асс. в кармане, с феской, шитой его сестрой золотом, и с архалуком с бархатными полосками. Он, конечно, считал себя вполне обеспеченным и немедленно подписался на чтение в библиотеке и взял «Современник». Читая его, он писал подражания всему, что читал, и, разумеется, сходился с молодежью. Из его знакомых всех ближе к нему был один студент Медико-хирургической академии, столь бедный, что бегал с Петербургской стороны на Разъезжую к Некрасову, «чтоб затянуться».

Скоро и Некрасову пришлось очутиться в таком же положении, так как отец не любил шутить с непослушным сыном и не стал присылать ему денег. Это было самое горькое время. Приходилось голодать буквально, но какой аппетит тогда был — ужас! — говорил Некрасов. — Раз мы играли

в карты на булки. Я выиграл 45 коп., послали за булками; не помню, сколько съели два мои товарища, но я съел все остальное. Но такие случаи были нечасты.

Задолжал я солдату на Разъезжей 45 рублей. Стоял я у него в деревянном флигельке. Голод, холод, а тут еще горячка. Жильцы посылали меня ко всем чертям. Однако я выздоровел, но жить было нечем, а солдат пристает с деньгами. Я кое как отделываюсь, говорю, что пришлют. Раз он приходит ко мне и начинает ласково: «Напишите, что вы мне должны 45 руб., а в залог оставляйте свои вещи». Я был рад и сейчас же удовлетворил его просьбу. Ну, думаю себе, гора с плеч долой. Отправляюсь к приятелю на Петербургскую сторону и сижу до позднего вечера. Возвращаюсь домой

ШКОЛА В СЕЛЕ АБАКУМЦЕВО, ПОСТРОЕННАЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ И НА СРЕДСТВА НЕКРАСОВА

Фотография А. В. Попова, 1935 г.

вдоволь наговорившись и совершенно уверенный в том, что солдат меня не скоро теперь потревожит. Дворник пропустил меня с какой-то улыбочкой: извольте мол, попробуйте итти. Подошел я к флигельку и стучусь. «Кто вы?» — спрашивает солдат. — «Постоялец ваш, Некрасов», — отвечаю. — «Наши постояльцы все дома», — говорит. «Как, говорю, все дома: я только что пришел!» — «Напрасно, говорит, беспокоились: вы ведь от квартиры отказались, а вещи в залог оставили...».

Что было делать? Пробовал бедняга браниться, кричать — ничто не помогло. Солдат остался непреклонен. Была осень, скверная, холодная осень, пронизывающая до костей. Некрасов пошел по улицам, ходил-ходил, устал страшно и присел на лесенке одного магазина; на нем была дрянная шинелишка и саржевые панталоны. Горе так проняло его, что он закрыл лицо руками и плакал. Вдруг слышит шаги. Смотрит — нищий с мальчиком. «Подайте, Христа ради», — протянул мальчик, обращаясь к Некрасову и останавливаясь. Он не собрался еще с мыслями, что сказать, как старик толкнул мальчика:

— Что ты? не видишь, разве, он сам к утру окоченеет. Эх, голова! Чего ты здесь? — продолжал старик.

— Ничего,— отвечал Некрасов.

— Ничего, ишь гордый! Приюту нет, видно. Пойдем с нами.

— Не пойду. Оставьте меня.

— Ну, не ломайся. Окоченеешь, говорю. Пойдем, не бойсь, не обидим. Делать нечего. Некрасов пошел. Пришли они в 17 линию Васильевского острова. Теперь этого места не узнаешь, все застроено. А тогда был один деревянный домишко с забором и кругом пустырь. Вошли они в большую комнату, полную нищими, бабами и детьми. В одном углу играли в три листа. Старик подвел его к играющим.

— Вот грамотный, — сказал он, — а приютиться некуда. Дайте ему водки, иззяб весь.

Некрасов выпил полрюмки. Одна старуха постлала ему постель, подложила под голову подушечку. Крепко и хорошо уснул он. Когда проснулся, в комнате никого не было, кроме старухи. Она обратилась к нему: «Напиши мне аттестат, а то без него плохо!» Он написал и получил 15 копеек.

«С ними пошел разживаться», сказал Некрасов. Этот рассказ я слышал от него два года тому назад, и он так врезался в моей памяти, что я точно слышу его теперь. Это было после обеда. Покуривая сигару, здоровый, довольный, он с видимым удовольствием вспоминал эти горькие годы, когда нужда закаляла его характер, учила уму-разуму и говорила: крепись, не падай никогда, не сдавайся без бою.

Перепечатывается из «Нового Времени» 1877, № 380, от 3 марта. Автограф неизвестен.

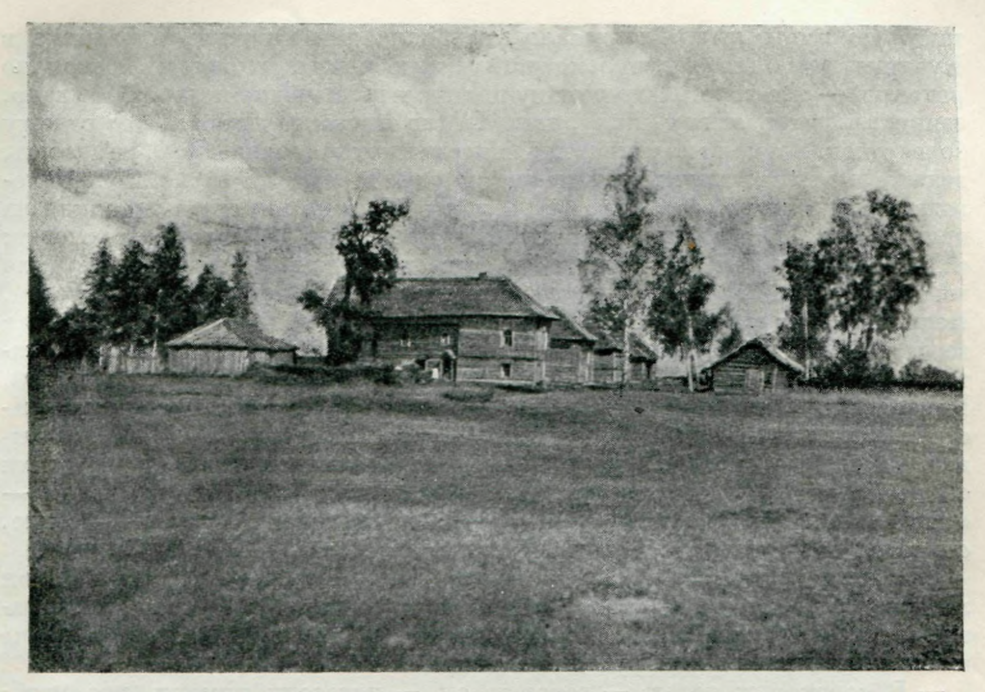
‹2›

... Не зная ни одного иностранного языка, почти ни одного иностранного слова, получив отрывочное, кое-какое образование, не кончив нигде курса, даже в гимназии, он быстро все схватывал и не только не терялся среди образованных, научно развитых, молодых людей сороковых годов, но стал между ними, как нечто очень оригинальное, самобытное, крепкое, поражавшее знанием людей и жизни вообще. Действительно он знал ее ближе и лучше, чем Белинский, Тургенев и многие другие, с которыми судьба его сталкивала. Не даром он прожил на лоне крепостного права, не даром голодал и холодал, сходился со всяким людом, брался за всякое писанье. Он смело шел к жизни. Попал в круг артистов — и начал писать пьесы для театра, то переделывая, то сочиняя. Сочинил он «Похождения Столбикова» в 5 действиях, с прологом и эпилогом, «но, — говорил он, — пролог и эпилог не спасли пьесы». Зато огромный успех имела «Шила в мешке не утаишь, девушки под замком не удержишь».

— Первый акт только сочинил я,— говорил он мне, — а второй выкрал почти целиком из Нарежного, и этот акт и имел особенный успех...

... Однажды, рассказывая мне разные анекдоты из своей жизни, рисуя ту бедность, которую он видел, то нахальство непомерное, с каким эксплоатировался всякий труд и литературный в особенности, потому что тут так же эксплоатировался и талант; рисуя умственную ничтожность тех людей которые являлись наилучшими пиявками, он сказал:

— Я дал себе слово не умереть на чердаке. Нет, думал я, будет и тех, которые погибли прежде меня,— я пробьюсь во что бы то ни стало. Лучше по владимирке пойти, чем околевать беспомощным, забитым и забытым всеми. И днем и ночью эта мысль меня преследовала, от нервного волнения я подпрыгивал на своей кровати, и голова горела, как в горячке. Я мучился той внутренней борьбою, которая во мне происходила: душа говорила



ДЕРЕВНЯ ГОГУЛИНО, БЫВШАЯ ВОТЧИНА ОТЦА НЕКРАСОВА, УПОМЯНУТАЯ В «КОРОБЕЙНИКАХ»
Фотография А. В. Попова 1935 г.

одно, а жизнь совсем другое. И идеализма было у меня пропасть, того идеализма, который вразрез шел с жизнью, и я стал убивать его в себе и стараться развить в себе практическую сметку. Идеалисты сердили меня, жизнь мимо них проходила, они в ней ровно ничего не смыслили, они все были в мечтах, и все их эксплоатировали. Я редко говорил в их обществе, но когда напивался вместе с ними — на это все мастера были, я начинал говорить против этого идеализма с страшным цинизмом, с таким цинизмом, который просто пугал их. Я все отрицал, все самые благородные стремления, и проповедывал жесткий эгоизм и древнее правило — око за око, зуб за зуб. Пускай их! Когда, на другой день, проспавшись, я вспоминал свои речи, то сам удивлялся своей смелости и пропасти цинизма...

Я ручаюсь за подлинность этих слов, которые, вероятно, не мне одному случалось слышать из уст Некрасова... [1]

... Один я между идеалистами был практик,— говорил Некрасов, продолжая ту речь, начало которой я привел выше.—И когда мы заводили журнал, идеалисты это прямо мне говорили и возлагали на меня как бы миссию создать журнал.

И он создал этот журнал, несмотря на все препятствия, на отсутствие сотрудников, денег и возможности писать что-нибудь такое, что живо затрагивало бы общество. Мы вообразить себе не можем того времени — так мы далеко ушли от той мелкой, но трагической борьбы, потому что она иссушала мозг. Только натура необычайно сильная могла ее выдержать. Некрасов тогда работал по целым суткам. Он рассказывал мне, как писались, например, романы «Три страны света» и «Мертвое озеро»:

— У меня в кабинете было несколько конторок. Бывало зайдет Григорович, Дружинин и др. Я сейчас к ним: становитесь и пишите что-нибудь для романа, главу, сцену. Они писали. Писала много и Панаева (Станиц-

кий). Но все, бывало, нехватало материала для книжки. Побежишь в Публичную библиотеку, просмотришь новые книги, напишешь несколько рецензий — все мало. Надо роману подпустить. И подпустишь. Я, бывало, запрусь, засвечу огни и пишу, пишу. Мне случалось писать без отдыху более суток. Времени не замечаешь, никуда ни ногой, огни горят, не знаешь, день ли, ночь ли; приляжешь на час, другой и опять за то же. Теперь хорошо вспомнить об этом, а тогда было жутко, и не раз мне приходили на память слова Белинского, которые он сказал мне за неделю до смерти: «Я все думаю о том, — говорил он, лежа грустный, бледный, — что года через два и вы будете лежать так же беспомощно, как я. Берегите себя, Некрасов». Но разве можно было себя беречь?.. А как на нас смотрели тогда, — я не говорю о властных особах, — например, такие знаменитости, как Гоголь. Раз он изъявил желание нас видеть. Я, Белинский, Панаев и Гончаров надели фраки и поехали представляться, как к начальству. Гоголь и принял нас, как начальник принимает чиновников; у каждого что-нибудь спросил и каждому что-нибудь сказал. Я читал ему стихи «К родине». Выслушал и спросил: «Что же вы дальше будете писать?» — «Что бог на душу положит». — «Гм», — и больше ничего. Гончаров, помню, обиделся его отзывом об «Обыкновенной истории»...

Рассказывал он обыкновенно много и живо. Это была живая и умная летопись литературы и жизни, и притом такой жизни, которая для большинства нас — terra incognita. Любил читать свои стихотворения, но не иначе, как в интимном кружке.

— В сороковых годах, — говорил он, — писатели думали, что необходимо составлять себе репутацию прежде всего в большом свете, а потому некоторые из нас из фрака не выходили. Я никогда этого не делал. Я бывал у графини Разумовской и других, но в карты там играл: я был равный с равными, а не заискивал, не представлял своих стихов на суд этих господ и госпож. Я всегда думал, что надо репутацию у публики завоевать, а большой свет — какая это публика?

Говаривал он, в особенности в последние годы, и о своем значении в литературе, и всегда чрезвычайно скромно...

... Большие надежды возлагал он на свою поэму «Кому на Руси жить хорошо». Уже больной, он раз говорил с одушевлением о том, что̀ можно было бы сделать, «если бы еще года три — четыре жизни. Это такая вещь, которая только в целом может иметь свое значение. И чем дальше пишешь, тем яснее представляешь себе дальнейший ход поэмы, новые характеры, картины. Начиная, я не видел ясно, где ей конец, но теперь у меня все сложилось, и я чувствую, что поэма все выигрывала бы и выигрывала. Боюсь, что не проживу. Плох стал».

Он, действительно, становился плох, а как он страдал от своей болезни, что выносил — представить трудно. «В январе будет ровно три года,— говорил он незадолго до смерти, — как я заболел», но страдал он особенно сильно года полтора... Весной 1877 г. страдания усилились необычайно; несчастный рвал на себе белье, схватывал себя за горло. Предположено было сделать ему операцию. За несколько дней до нее я зашел к нему и, против обыкновения, застал его в хорошем состоянии.

Комната была страшно натоплена; больной лежал на кровати, в углу, покрытый простыней — он не мог выдерживать на себе даже одеяла, которое казалось слишком тяжело — так чутки были его нервы.

— Я вас с год не видал таким хорошим, — сказал я.

— Да, сегодня просвет такой нашел, — начал он тихим голосом.— Знаете, как в лесу, в темной чаще. Идешь, идешь и вдруг просвет увидишь. Так и у меня. Несколько дней было ужасно тяжело; я думал, что уж конец. Лежишь в полусознании под влиянием морфия и этих адских мук. Слышишь и видишь даже, что кто-то ходит тут такой унылый, и

ВИД ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
Литография с рисунка Андре Дюрана, 1840-е гг.
Исторический музей, Москва

так жалко мне его, так хочется утешить его, а не могу... Да, сегодня просвет у меня, но он сейчас кончится, боюсь. Вот что, чтобы не терять времени: я виноват перед вами — все никак не могу переслать, а стихи вам готовы.

Он быстро поднялся с кровати и при помощи человека подошел к столу. На нем была одна рубашка. Тут только увидел я, до чего он исхудал и как сгорбилась спина его. На столе лежали листы, исписанные карандашом. Он взял их и снова улегся. Все делал крайне торопливо.

— Видите что. У меня что-то странное выходит. Лежишь дни и ночи с закрытыми глазами, и все картины проходят: люди, деревья, сцены. Отбою нет; приглядываешься, всматриваешься — и так все ясно. В последнее время все мне представляются степи. Без конца лежит степь и степь, сибирская, беспредельная. Вот вижу, снег идет, так и валит хлопьями, и степь белеет, и я смотрю на нее долго-долго. Этот образ степи просто не дает мне покоя. И я задумал целую поэму, которую назову: «Без роду, без племени». Разные подробности у меня уже сложились, несколько стихов набросано на этих листах, а другие в голове. Понимаете, что будет. По этой степи ходит человек. Он вырвался из острога на волю. А воля эта — степь. И зимой и летом он там. Он бежит, бежит до истощения сил, голодает, голодает. Нигде нет приюта. Тут я опишу, как мучит человека холод, голод, жажда. Это ужасные муки. Я знаю теперь, что значит физическая мука. И вот он идет, и ничего нет, кроме снега и степи... Вдруг видит он что-то черное. Он туда, смотрит — горностайка. Замерз бедняга. Подумал-подумал — бросить горностайку или взять с собой? Все-таки товарищ, божье созданье, все будто не один в этой проклятой степи. Снял он шапку, положил горностайку, надел ее опять и снова идет. Все степь и снега, сил нехватает итти. И вот слышит звон. Остановился, прислушался. Жилье близко. Да что там его ждет? Этот звон только раздражает, только напоминает, что есть близко люди, да нельзя к ним итти — он бродяга, без роду, без племени. А звон продолжается. Перекреститься или нет? —думает он. Чему радоваться? И озлобление берет его, и вспоминает он, как жил он между людьми, как этот звон колокольный вызывал в нем чувство. Снял он шапку — глядь, а горностайка шевелится: он согрел его на голове своей. Глядит он на него, по шерстке гладит. Ну, хочешь со мной, или на волю? Присел, спустил горностайку — прижался зверек и вдруг бросился на волю... Это начало. Вот вам несколько стихов — делайте с ними что хотите... [2].

... Некрасов подошел к столу и стал есть, разрезая куски еще на меньшие.

— Я много говорил, — сказал он. — Этого нельзя. Если бы Николай Андреевич (Белоголовый) узнал, задал бы он мне.

И этот человек, у которого голова была полна поэтическими образами, который так много мог бы еще сделать, — умирает. Я посидел минуту и стал прощаться.

— Дай бог, чтобы вам становилось лучше и лучше.

— Нет, этого не будет.

Он пожал мне руку и повернулся к столу, потом опять обернулся ко мне, сделал два-три шага вперед и сказал шопотом:

— Через несколько дней отправляюсь на тот свет.

— Полноте, Николай Алексеевич.

— Нет, это так. Да оно и лучше.

Голос его дрогнул — в нем послышались слезы. Несмотря на невыносимые страдания, он все-таки хотел жить, и когда проходили припадки и он мог вздохнуть свободно, он говорил своим близким: «А все-таки я рад, что я здесь еще, а не там».

... В последний раз я видел его 7 декабря. Накануне я поздравил его запиской со днем ангела и пожелал здоровья. Он написал мне в тот же ден

карандашом на листе почтовой бумаги, где было переписано его стихотворение «Букинист и библиограф», между прочим, следующее: «Я не могу похвалиться здоровьем. Эта жизнь мне в тягость и сокрушение. Но лучше об этом не начинать» [3]. Я вошел тотчас же, как доктор от него вышел, и присел около кровати. Он стал говорить, но шопотом; говорил минут пять; иногда вдруг вырывалась из горла резкая нота, точно невольно, и шопот становился еще тише. Он попросил папироску и стал курить. Руки были худы страшно, и он жаловался, что рука устает держать папироску. Он весь истаял, но все мысли его вертелись на литературе, ее идеале, ее задачах. «Сколько я передумал за это время, — шептал он, — Боже мой, сколько передумал! Времени много. Закрыты глаза. Полагают, что я сплю, а я думаю, думаю, пока боли не напомнят о себе. И о том думаю, что без меня будет... Вот глаза закрываются... Устал. Заходите».

Через несколько дней был у него Боткин. Некрасов уже почти не говорил. Боткин вышел от него в слезах.

И вчера так многие плакали, провожая его в могилу...

Перепечатывается из «Нового Времени» 1878, № 662 от 1 января, 3—4. Автограф неизвестен.

[1] Здесь и дальше Суворин очень точно передает слова Некрасова о его различии с людьми 40-х годов, с идеалистами и диалектиками, оторванными абстрактным философствованием в гегельянском роде от практической жизни. Ср., например, отрывок ⟨9⟩ его автобиографии (стр. 155), опубликованный Скабичевским, I (385—387), но неизвестный еще Суворину в то время, когда он публиковал эти строки.

[2] Ср. прим. 12-е к записям А. Н. Пыпина.

[3] Стихотворение «Букинист и библиограф» было опубликовано Сувориным в составе этого же очерка. Полный текст письма Некрасова к Суворину см. во втором некрасовском томе настоящего издания.

С. Н. КРИВЕНКО. ИЗ РАССКАЗОВ НЕКРАСОВА

Некрасов рассказывал: «Приехал я в Петербург в 1837 г. (в год смерти Пушкина). Отказавшись поступить в Дворянский полк, как того хотел отец, и начав готовиться в университет, я был лишен отцом денежных средств... Да я и сам никогда не обращался к нему за деньгами, порешив раз навсегда полагаться только на себя. Во время приготовлений в университет приходилось перебиваться кое-какою работою: уроками, первыми литературными попытками в прозе» и т. п.

Жил сначала Некрасов с Глушицким*, а затем у профессора Успенского, который, хотя и запивал на неделю, на две, но был человек очень хороший, добрый и занимался с Некрасовым хорошо. После неудачи с экзаменом положение Некрасова стало еще более неопределенным и затруднительным. Приходилось разыскивать уроки, которые с трудом находились, приходилось писать для тогдашних издателей, «по заказу», повести, рассказы, сцены, держать корректуру и проч. Некрасовской прозы ‹наберется› «до 300 листов». Жить литературным трудом тогда было «гораздо труднее, чем теперь: издатели платили самые пустяки». Все это время Некрасов сильно нуждался. Так, напр.: проживая с Глушицким, они довольно долгое время втроем (третьим был крепостной мальчик Глушицкого; тогда дворянских детей отпускали в Петербург для поступления в Дворянский полк и в университет с крепостными людьми) питались одним обедом, стоившим 15 к., который они брали в кухмистерской.

* С Глушицким знакомство произошло случайно вскоре же по приезде в Петербург. Произошло это знакомство, насколько помнится мне, таким образом: Глушицкий тоже только что приехал в Петербург с целью поступления в университет и, отыскивая кого-то из своих знакомых (?), попал в квартиру, где жил Некрасов. Разговорившись, Глушицкий предложил Некрасову поместиться вместе, в комнате последнего. Некрасов сказал Глушицкому, что у него нет никаких средств, на что тот ответил, что и у него тоже очень мало средств, «но будем как-нибудь жить», добавил он. Так и порешили [1].

«Ровно три года, — говорил Некрасов, — я чувствовал себя постоянно, каждый день голодным. Приходилось есть не только плохо, не только впроголодь, но и не каждый день. Не раз доходило до того, что я отправлялся в один ресторан в Морской, где дозволялось читать газеты, хотя бы ничего и не спросил себе. Возьмешь бывало для виду газету, а сам пододвинешь к себе тарелку с хлебом и ешь...». Силы Некрасова постоянно надрывались, наконец, он сильно заболел. Доктора объяснили причину болезни продолжительным голоданьем, и Некрасов, во время последней своей болезни, чувствуя большое сходство в болезненных ощущениях, видел связь между нею и первою болезнью. Он был убежден в том, что начало его болезни положено было именно тогда. Некрасов чуть не умер. Большинство тогдашних докторов, видевших его, приговорили его уже к смерти, и остался он жив, вопреки всяким ожиданиям, благодаря молодости и крепкому организму. Лечиться и жить во время болезни было не на что. Приходилось пользоваться милостью квартирных хозяев, какого-то отставного унтер-офицера и его жены, у которых он нанимал комнату на Разъезжей улице. Задолжал им Некрасов до 40 р. «Хозяин, — говорил он, — еще ничего, но хозяйка постоянно беспокоилась, что я умру и деньги пропадут. За перегородкою постоянно слышались разговоры по этому поводу. Наконец, в один прекрасный день ко мне явился хозяин, объяснил свои опасения с откровенностью и просил меня — написать ему расписку в том, что я оставлю ему за долг свой чемодан, книги и остальные вещички. Я написал. Думаю — чего доброго, не станут и кормить, да и люди они были, действительно, бедные. Через несколько времени мне стало, однако, лучше, и я вскоре настолько уже оправился, что решился пойти с Разъезжей на Выборгскую сторону, к одному знакомому студенту-медику. Добравшись кое-как до него, я там засиделся до позднего вечера. Возвращаясь ночью домой, сильно прозяб, так как на мне было холодное пальтишко, а дело было осенью — в октябре или ноябре. Прихожу к дверям, звонюсь раз, другой... Не пускают. Говорят, что в моей комнате поместился уже другой жилец... Что же касается до моего долга, то хозяева считают себя вполне удовлетворенными моим имуществом, которое я им отдал за долг, в чем и выдал расписку. Скверно стало мне. Я остался один на улице, остался без ничего и больной. Пошел я, хорошенько не сознавая, куда иду, на Невский проспект и сел там (кажется, около Доминика) на скамеечку, которые выставлялись на улицу для посетителей. Озяб. Чувствовал сильную усталость и упадок сил. Наконец, заснул. Разбудил меня какой-то старик, оказавшийся нищим, который, проходя мимо, сжалился надо мною и пригласил меня с собою куда-то ночевать. Я пошел. Пришли на Васильевский остров в 15 линию. Там, в самом конце улицы, стоял небольшой деревянный, полуразвалившийся домик, в который мы и вошли. В доме оказалось много народу. Все это были нищие, которые собирались здесь ночевать. Не помню уже я всех разговоров, которые велись в тот вечер, помню только, что написал кому-то прошение и получил за это 15 коп.»[2].

Ходил ли Некрасов еще ночевать к своим новым знакомым или приютился у кого-либо другого, он не говорил. Через несколько времени встретился он с одним полковником (фамилии не помню, что-то вроде Квитницкого), у которого был пансион и который предложил ему занять место наблюдателя и репетировать учеников по русскому языку и арифметике. С этого времени Некрасов стал оправляться. Скопив деньжонок, он задумал издать свои стихотворения, которые писал между работою и которые были изданы особою книжкой под заглавием «Мечты и звуки». Приготовив стихотворения к печати, Некрасов отправился показать их и посоветоваться с В. А. Жуковским. Жуковский нашел стихи плохими, но заметил в

Некрасове талант и посоветовал ему снять с издания свою фамилию. «У вас есть талант, из вас будет толк,—говорил ему Жуковский,—и вам будет после неловко...». Некрасов послушался, и «Мечты и звуки» вышли без его фамилии.

Некрасов сходился со многими либеральными кружками того времени,— студенческими и литературными — и присутствовал на их собраниях. Тяжелое, — говорил он, — производили они на меня впечатление: преобладала часто фраза, диалектика, говорились общие места, говорили

ПАМЯТНИК НА МОГИЛЕ НЕКРАСОВА НА КЛАДБИЩЕ НОВОДЕВИЧЬЕГО МОНАСТЫРЯ В ЛЕНИНГРАДЕ

Фотография 1921 г.

Институт литературы АН СССР, Ленинград

больше о Западной Европе, видно было незнание русской жизни и русского народа... Я сознавал, что все это было не то, что нам нужно, но в то же время спорить с ними не мог, потому что они знали гораздо больше меня, гораздо больше меня читали. Сознавая все больше и больше, что нам нужно нечто иное, я начал работать, учиться...» [3]. Настоящая деятельность Некрасова началась только со знакомства его с Тургеневым и Белинским. Кажется, познакомился он раньше с Тургеневым, который и показал его стихотворение «На родине» Белинскому. Белинский был в восторге, расхвалил Некрасова и говорил, «вот такие-то произведения и нужны нам». Тургенев, с своей стороны, расхваливал Некрасова, убеждая его писать еще в том же направлении. «То,—говорил он,—что у вас выражено в одной

строке, нам нужно несколько страниц, чтобы выразить, прозой». Сначала Некрасов написал только первую половину стихотворений, конец был сочинен некоторое время спустя на улице, по пути к Белинскому, причем у Некрасова сохранились в памяти даже самые мелкие обстоятельства. «Как сейчас —говорил он —помню: купил я у разнощика фунт винных ягод, иду—ем их и сочиняю...». Из личных отношений к Тургеневу Некрасов рассказал только небольшую часть, обещая рассказать потом, когда дойдет очередь. «Тургенев,— говорил он,— выразился печатно, что я— люблю деньгу. Натура у меня была скорее широкая, чем склонная к скряжничеству, хотя Тургенев и мог подумать, что я человек скупой. Проголодав несколько лет и чуть не отправившись к праотцам, я почувствовал какую-то не то боязнь, не то уважение к деньгам. Я берег каждый грош. Я с отвращением зашивал деньги в галстук и постоянно носил их там. Тургенев же был богатый помещик. Получая значительный и определенный доход, он мог разбрасывать и разбрасывал деньги направо и налево. Нередко случалось, что, получив деньги из деревни, он их спустит в два-три дня и приходит ко мне просить денег на обед. Для обеда я никогда не отказывал, а больше не давал... Мне все равно теперь говорить о своих слабостях, которые, разумеется, были и у меня. Так, напр.: я любил играть в карты, я был картежник. Может быть, даже я унаследовал эту слабость в крови. Дед мой был картежник, он проиграл 10 т‹ысяч› (душ или десятин — не помню) в карты; отец также был картежник. Но денег я никогда не любил...».

Полностью печатается впервые по автографу ИЛИ (Ф. 134, оп. 1, № 37). Значительные отрывки этих записей, с рядом неточностей и пропусков, в качестве рассказа Некрасова, впервые у Скабичевского I (111—113 и 367), но без ссылок на Кривенко как на источник его сообщения. Автограф обнаружен А. Я. Максимовичем среди бумаг А. Ф. Кони, восходящих, повидимому, к архиву А. А. Буткевич. Автограф — без подписи и других признаков авторства: оно установлено мною сличением рукописи с другими автографами Кривенко в собраниях ИЛИ, а также следующими словами в наброске его воспоминаний о Некрасове: «Кое-что я, впрочем, после его смерти записал по памяти, по просьбе Скабичевского, когда он биографию составлял, и отдал ему в материалы. А не запиши я, как он ужасно нуждался в первые годы по приезде в Петербург, так это и осталось бы незаписанным». (С. Кривенко, Собрание сочинений, СПб., 1911, I, стр. XV, XVI). Вероятно, именно записью по памяти, спустя некоторое время, и объясняются отдельные ошибки Кривенко: «Квитницкий» вместо «Бенецкий», «На родине» вместо «Родина» и т. д.

Сравнительно с публикацией Скабичевского новыми являются рассказы о знакомстве Некрасова с Тургеневым и Белинским и данные о стихотворении «Родина».

Повидимому, рукопись Кривенко дошла до нас не полностью: к утраченной части восходят, вероятно, следующие строки текста Скабичевского, переданные им в форме прямой речи, как рассказ Некрасова: «Разбирать приходилось всякие книги, какие только попадались под руки, не одни художественные, но подчас и самые ученые. Собственных-то благоприобретенных знаний на это, конечно, нехватало: зато выручала Публичная библиотека. Пойдешь туда, подымешь всю ученость по предмету книги, ну, и ничего, сходило с рук».

[1] Брат Андрея Ивановича Глушицкого, Николай, в письме в редакцию «Петербургского Листка» опровергал сообщение о том, что Некрасов некоторое время жил с А. И. Глушицким, ссылаясь на то, что Глушицкий был в числе «казеннокоштных» студентов и, следовательно, жил при университете (1878, № 107, 1 июня, 2—3).

[2] Любопытно, что этот эпизод голодных дней своей юности Некрасов ввел в биографическую в значительной мере повесть «Жизнь и похождения Тихона Тросникова»: см. изд. 1931 г., 315 и до 336; ср. также 248—249.

[3] Скабичевский, вероятно справедливо, толкует это место, как относящееся к спорам «с людьми, принадлежавшими к кружку Белинского». Это прежде всего Герцен, живший в 1840—1841 гг. в Петербурге. Абстрактное философствование гегельянцев было чуждо и внутренне неприемлемо для практической натуры Некрасова. Характерна в этом смысле его позднейшая приписка на стихотворении «Я за то глубоко презираю себя...», написанном в 1845 г. в Соколове у Герцена: «Может быть, навеяно тогдашними разговорами. В то время в московском кружке был дух иной, чем в петербургском, т. е. Москва шла более реально, чем Петербург...» (Н. Некрасов, Полн. собр. стихотворений, изд. 9-е, Л., 1935, 472. Ср. те же мысли в стихотворении начала 40-х годов «Труженик», опубликованном мною в «Звезде» 1938, № 1, 167).

ИЗ НЕИЗДАННЫХ И НЕСОБРАННЫХ СТИХОТВОРНЫХ ТЕКСТОВ НЕКРАСОВА

Публикации Н. Ашукина, А. Максимовича, И. Розанова и К. Чуковского

I

‹В АЛЬБОМ М. ФЕРМОР›

На скользком море жизни бурной
Пусть ваша скромная ладья
Плывет по гладкости лазурной
До тёмной цели бытия
Без бурь, без горя, без ненастья...
Пускай роскошные мечты
Вас подарят годами счастья,
Слетя с безбрежной высоты...
Пускай убийственная скука
От вас далеко улетит,
И никогда печалей мука
Младого сердца не смутит.

Душевно уважающий Вас
Н. Некрасов.

Стихотворение написано Некрасовым в альбом Марии Фермор, повидимому, в 1838—1839 гг. и является, таким образом, одним из наиболее ранних автографов поэта. Именно в эти годы юный поэт, только что приехавший в Петербург, подружился с семьей Ферморов, особенно с Николаем Федоровичем Фермором, преподавателем Инженерного училища. Фермор принимал большое участие в распространении первого сборника стихов Некрасова «Мечты и звуки», вышедшего в 1840 г. (Д. Григорович, Литературные воспоминания, Л., 1928, 58). Некрасов посвятил ему свое стихотворение «Изгнанник», напечатанное в 1839 г. в № 9 «Сына Отечества» (В. Е. Максимов, Литературные дебюты Некрасова, СПб., 1908, 31). Их отношения младший брат Николая Федоровича, Владимир Федорович, называл «дружески родственными» («Архив села Карабихи», М., 1914, 213). Николай Федорович Фермор был человек замечательный. О его трагической судьбе рассказано в очерке Н. С. Лескова «Инженеры бессеребренники» (Соч., изд. Маркса, IV). Н. Ф. Фермор дал торжественную клятву «служить отечеству с совершенным бескорыстием» и, несмотря ни на что, «останавливать малейшее злоупотребление» и не щадить воров и взяточников. Однако такие взгляды в инженерном ведомстве, где процветала «система самовознаграждения», сочувствия не встретили. Проповедь бескорыстия доставила Николаю Федоровичу ряд хлопот и столкновений с начальством, в результате которых «фанатик честности», «потеряв веру к людям», захворал нервным расстройством. Отправленный Николаем I для лечения за границу, он бросился с парохода в море и утонул. «Душевные страдания Фермора,— пишет Лесков,— говорят, послужили мотивами Герцену для его «Записок доктора Крупова», а еще позже — Феофилу Толстому, который с него написал свой этюд «Болезни воли».

В альбоме Марии Фермор, среди записей конца тридцатых — начала сороковых годов, имеется только одна запись 1864 г.; это — стихотворение Вас. Ив. Немировича-Данченко, посвященное памяти трагически погибшего Николая Федоровича.

Повидимому, Мария Фермор — сестра Николая Федоровича, свято чтившая его память. Более точных сведений о ней у нас не имеется. Павел Федорович Фермор, инженер, генерал-лейтенант (1810—1888), был женат на Александре Михайловне Чихачевой. Лесков в своем очерке упоминает Марию Павловну Фермор, вышедшую замуж за петербургского генерал-губернатора А. А. Кавелина. Но это описка Лескова: Кавелин был женат на Марии Павловне Чихачевой, двоюродной сестре Александры Михайловны («Петербургский Некрополь», СПб., 1912, II, 293; СПб., 1913, IV, 353; В. В. Руммель и В. В. Голубцов. Родословный сборник русских дворянских фамилий, СПб., 1886, I, 342).

Альбом М. Фермор, принадлежавший писателю Павлу Сергеевичу Сухотину (1884—1935), находится ныне в Государственном литературном архиве.

Печатаемое стихотворение, до сих пор не включенное в собрание стихотворений Некрасова, впервые было опубликовано мной в «Литературной Газете» 1938, № 1.

Н. Ашукин.

II

⟨ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ: «СРЕДИ МОИХ ТРУДОВ ДОСАДНЫХ» и «ЗАЧЕМ НАСМЕШЛИВО РЕВНУЕШЬ»⟩

⟨1⟩

Среди моих трудов досадных
И жалких юности тревог
Минут немало благодатных
С тобою проводить я мог.
Но чаще, натерпевшись муки,
Устав и телом и душой,
С запасом молчаливой скуки
Встречался мрачно я с тобой.
Ни смех, ни говор твой веселый
Не прогоняли мрачных дум.
Они бесили мой тяжелый,
Больной и раздраженный ум.
Я думал: нет в душе беспечной
Сочувствия душе моей.
И горе в глубине сердечной
Держалось дольше и сильней.
Но скоро прерван был разлукой
Поток однообразных дней.
И стало то, что было мукой,
Единой радостью моей.
Стою один, как на кладбище
Прошедших, невозвратных дней.
И образ твой светлей и чище
Рисуется душе моей.
Мне стали дороги и милы
Те грустно прожитые дни.
Как много нежности и силы
Душевной вызвали они!
Их вспоминая с умиленьем,
Я пролил много сладких слез,
И думал с тайным сокрушеньем —
Кто ж больше горя перенес:

Тот, кто по слабости позорной
Его бесплодно проклинал,
Или кто радостью притворной
Его, сквозь слезы, прикрывал?..

⟨2⟩

Зачем насмешливо ревнуешь,
Зачем, быть может, негодуешь,
Что музу темную мою
Я прославляю и пою?

АВТОГРАФ СТИХОТВОРЕНИЯ ИЗ АЛЬБОМА МАРИИ ФЕРМОР
Один из наиболее ранних автографов поэта (1838—1839 гг.)
Центральный литературный архив, Москва

Не знаю я тесней союза,
Сходней желаний и страстей —
С тобой — моя вторая муза —
У музы юности моей!
Ты ей родная с колыбели...
Не так же ль в юные лета
И над тобою тяготели
Заботы, скорбь и нищета?
Ты под своим родимым кровом
Врагов озлобленных нашла
И в отчуждении суровом
Печально детство провела.
Ты в жизнь невесело вступила...
Ценой страданий и борьбы,
Ценой кровавых слез купила
Ты каждый шаг свой у судьбы.

Ты много вынесла гонений,
Суровых бурь, враждебных встреч,
Чтобы святыню убеждений —
Свободу сердца уберечь.
Но, устояв душою твердой,
Несокрушимая в борьбе,
Нашла ты в ненависти гордой
Опору прочную себе.
Ты так встречаешь испытанья,
Так презираешь ты людей,
Как будто люди и страданья
Слабее гордости твоей.
И говорят: ценою чувства,
Ценой душевной теплоты —
Презренья страшное искусство
И гордый смех купила ты.
Нет, грудь твоя полна участья!
Ког да порой снимаешь ты
Личину гордого бесстрастья
Неумолимой красоты.
Когда скорбишь, когда рыдаешь
В величьи слабости твоей,
Я знаю, как ты проклинаешь
Как ненавидишь ты людей!
В груди, трепещущей любовью,
Вражда бесплодно говорит.
И сердце обливаясь кровью
Чужою скорбию болит.
Не дикий гнев, не жажда мщенья
В душе скорбящей разлита.
Святое слово всепрощенья
Лепечут слабые уста.
Так, помню, истощив напрасно
Все буйство скорби и страстей,
Смирилась кротко и прекрасно
Вдруг муза юности моей.
Слезой увлажнены ланиты,
Глаза поникнуты к земле
И свежим терпием увитый
Венец страданья на челе.

В 1861 г. вышло второе издание «Стихотворений Н. Некрасова» в двух частях. На заглавном листе читаем «Издание второе с издания 1856 г. с прибавлением стихотворений, написанных после этого года. Санктпетербург. В типографии Эдуарда Праца. 1861». В первой части XVI + 252 страницы, во второй 242. В первом издании 1856 г. было помещено 75 произведений, в это вошло 90.

Ко второму изданию цензура придиралась гораздо строже, чем к первому. В стихотворении «Поэт и гражданин» в издании 1856 г., где оно помещено в самом начале и с особой нумерацией, было три места, где текст заменен точками. В издании 1861 г., где стихотворение не выдвинуто в начало, а затеряно в середине второй части, количество мест, замененных точками, то же, но кое-что вовсе опущено без обозначения точками, кое-что смягчено, изменено и тем ослаблено.

Известный библиограф и редактор собраний сочинений многих наших классиков П. А. Ефремов, лично знавший Некрасова, свой экземпляр второго издания «Стихотворений Некрасова» — принадлежащий ныне мне — обогатил многочисленными рукописными добавлениями как в тексте, так и на вклеенных листах, вплетенных в со-

ответствующие места книги, а, кроме того, в конце книги добавлено 40 страниц рукописного текста. Здесь помещено 17 стихотворений: 1) Белинский, 2) Старушке, 3) У парадного крыльца, 4) Отрывки из путевых записок графа Гаранского, 5) Папаша, 6) Среди моих трудов досадных, 7) Когда горит в твоей крови, 8) Зачем насмешливо ревнуешь, 9) В альбом («Не пошлость старого обычая поэтов»), 10) Еще скончался честный человек, 11) Новый год, 12) Колыбельная песня, 13) Гроб, 14) Карета, 15) Наследство, 16) Детство («Родился я в губернии»), 17) Как быстро по пути прогресса...

Большинство этих стихотворений появилось в печати позднее, но некоторые до сих пор не вошли в собрания сочинений Некрасова. К ним относятся и опубликованные выше два лирических стихотворения, обращенные, несомненно, к А. Я. Панаевой.

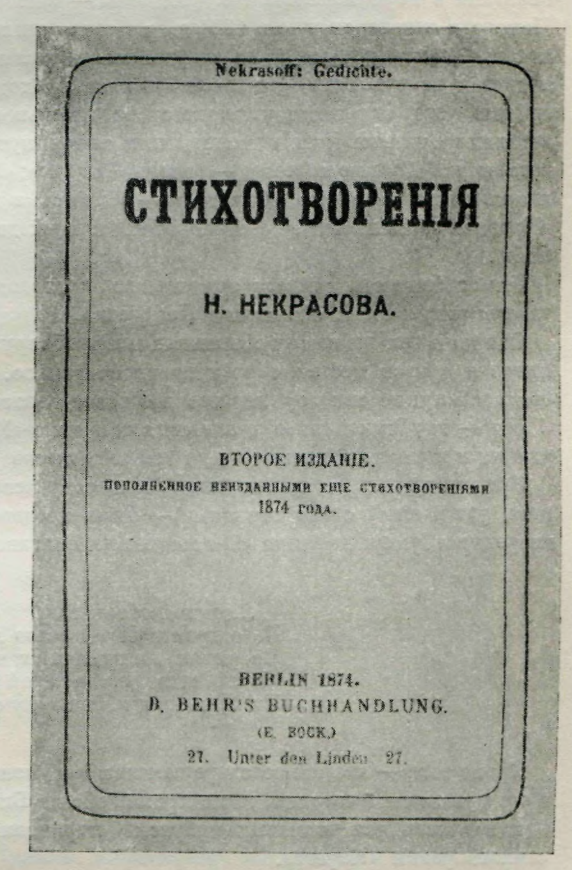
Впервые оба стихотворения были напечатаны мною в «Литературной Газете» 1938, № 1.

Ив. Розанов

III
КАРЕТА

О филантропы русские! Бог с вами,
Вы не притворно любите народ,
А ездите с огромными гвоздями,
Чтобы в потьмах усталый пешеход,
Или шалун мальчишка, кто случится,
Вскочивши на запятки, заплатил
Увечьем за желанье прокатиться
За вашим экипажем...

После выхода сборника «Стихотворений Н. Некрасова» (М., 1856), имевшего необычайный успех, быстро разошедшегося и потом продававшегося по повышенным ценам, его автор довольно скоро стал жертвой заграничных контрафакций.


Nekrasoff: Gedichte.

СТИХОТВОРЕНІЯ

Н. НЕКРАСОВА.

ВТОРОЕ ИЗДАНІЕ.
ПОПОЛНЕННОЕ НЕИЗДАННЫМИ ЕЩЕ СТИХОТВОРЕНІЯМИ
1874 года.

BERLIN 1874.
B. BEHR'S BUCHHANDLUNG.
(E. BOCK.)
27. Unter den Linden 27.

БЕРЛИНСКАЯ КОНТРАФАКЦИЯ СБОРНИКА «СТИХОТВОРЕНИЙ» НЕКРАСОВА, ИЗДАННОГО в 1856 г.

Второе издание контрафакции, 1874 г., содержало неизвестное в русских изданиях стихотворение «Карета»

Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград

Первая перепечатка сборника 1856 г. появилась в 1859 г. в Лейпциге, у Вольфганга Гергарда (Наумбург, типография Г. Пеца). Она была повторена там же в 1869 г. (с обозначением «2-ое издание»).

Две другие контрафакции того же сборника появились в Берлине в 1862 г. и («второе издание») в 1874 г. Обе имели на титульном листе обозначение: «B. Behr's Buchhandlung (E. Bock). Unter den Linden, 27», а после текста — указание на типографию: Imprimerie de Rosenthal et Cie à Berlin». Надо отметить, что все эти контрафакции в основном ограничиваются составом сборника 1856 г.: все написанное Некрасовым позднее в них уже не попадает.

Но в то время как два лейпцигских издания, не мудрствуя, полностью повторяют сборник 1856 г.,— издания берлинские, видимо с целью рекламы, именуют себя — первое «пополненным по рукописям», второе — «пополненным неизданными еще стихотворениями 1874 года».

Это «пополнение» было осуществлено весьма примитивным способом: в обоих изданиях сборник начат «Тишиной», далее воспроизведен подряд весь состав сборника 1856 г., к которому в конце присоединены пять произведений, напечатанных в «Современнике» в 1857—1860 гг.: «Эпилог ненаписанной поэмы» (т. е. «Несчастные»), «Песня Еремушке», «Знахарка», «Убогая и нарядная» и «Папаша».

Во втором издании, в качестве «неизданных стихотворений 1874 г.», добавлены стихотворения «Утро» («Ты грустна, ты страдаешь душою») и «Три элегии» — несомненно, просто перепечатанные из «Отечественных Записок» (1874, февраль) и сборника «Складчина» (1874, вышел 25 марта).

Ввиду такого случайного состава «пополнений» можно предположить, что все эти зарубежные издания выходили без ведома автора и были действительно контрафакциями. Это подтверждается и характером текстов: «Тишина», например, в этих сборниках напечатана в первоначальной журнальной — «благонамеренной»— редакции, от которой Некрасов отказался уже в 1861 г., включая стихотворение в свой сборник. При перепечатке «Несчастных» (под старым наименованием «Эпилог ненаписанной поэмы») издатели не заметили, что в нее полностью входит отрывок «Петербургское утро», и оставили этот отрывок в качестве самостоятельного стихотворения. Наконец, те стихи, заглавия которых были изменены или вычеркнуты Некрасовым, остались при старых заглавиях («Старые хоромы» — теперь «Родина»; «Из Шенье» — теперь просто «Да, наша жизнь текла мятежно», «Отрывок» — «О, письма женщины, нам милой», «Сознание»— «Праздник жизни, молодости годы»; «В черный день» — «Поражена потерей невозвратной»).

Эта особенность отчасти оправдывает исследователей, до сих пор игнорировавших тексты зарубежных сборников Некрасова.

Однако в тех же самых сборниках мною обнаружено подлинное стихотворение поэта, нигде в другом месте ни разу не напечатанное, не вошедшее в собрание сочинений Некрасова и до сих пор неизвестное исследователям.

Это — опубликованное выше стихотворение «Карета». Оно включено в берлинском здании в известный цикл «На улице» в качестве последнего, пятого, номера.

Принадлежность стихотворения Некрасову несомненна. Та же тема — барский экипаж, утыканный сзади гвоздями,— была позднее разработана Некрасовым в стихотворении «Сумерки» (цикл «О погоде»; напечатано в 1859 г.):

...друг любезный,
Не сочувствуй ты горю людей,
Не читай ты гуманных книжонок,
Но не ставь за каретой гвоздей,
Чтоб, вскочив, накололся ребенок!

Кроме того — что является решающим аргументом в пользу авторства Некрасова — в его рукописной тетради, ныне хранящейся в Библиотеке имени Ленина (№ 5763, лл. 9 и 10), есть два черновых наброска карандашом — две первоначальные редакции стихотворения «Карета».

⟨1⟩

Хотелось бы кой что сказать и тем,
Которые о ближнем хл⟨опотали?⟩*
А ездят в экипаже огражденном
Гвоздями сзади, чтоб старик усталый
Или шалун, оборванный мальчишка,
Впотьмах ⟨дерзнув⟩ забраться на запятки,
То поплатились бы увечьем
За дерзость эту

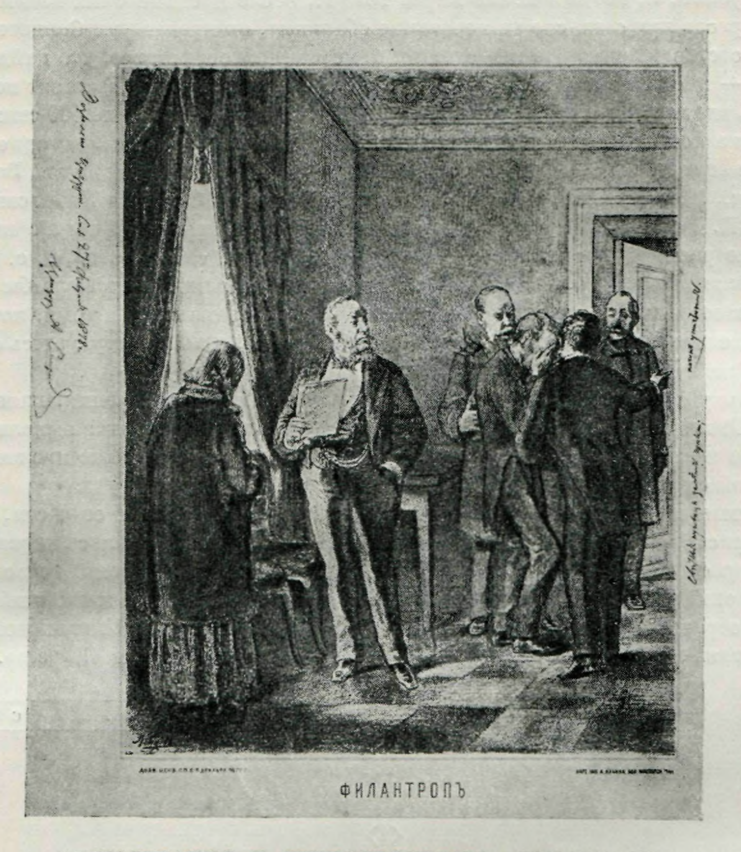


ИЛЛЮСТРАЦИЯ К СТИХОТВОРЕНИЮ «ФИЛАНТРОП»

Автолитография А. И. Лебедева, 1877 г.

На полях листа пометки цензора: «светлые пуговицы заменить черными», «погон уничтожить»

Литературный музей, Москва

⟨2⟩

Хотелось бы и тем сказать словечко,
Которые жалеют бедняков**,
А ездят с заостренными гвоздями,
Чтобы впотьмах усталый пешеход
Или шалун, оборванный мальчишка***,
Вскочивши на запятки, заплатил
Увечьем за желанье прокатиться
За их каретой

---

* ⟨Первоначально:⟩ Которые хлопочут о ближнем.
** ⟨Первоначально:⟩ Хотелось бы сказать словцо и тем,
Которые о бедном сожалеют
*** ⟨Первоначально:⟩ Или бедняк, мальчишка шаловливый

Остается решить два вопроса: каким путем попало в руки берлинского спекулянта-издателя стихотворение Некрасова, которое сам автор, повидимому, решил не печатать, и каков первоначальный источник его текста.

Разрешить первый вопрос мне не удалось, относительно второго решаюсь высказать предположение, более или менее вероятное.

Сборник стихотворений Некрасова, вышедший в конце 1856 г. в издании К. Солдатенкова и Н. Щепкина, был запродан Солдатенкову еще в середине 1855 г. Пока рукопись лежала у издателя, Некрасов написал и напечатал в «Современнике» ряд новых стихотворений, и, когда в конце марта 1856 г., после предъявления взаимных претензий, Некрасов дал согласие на печатание сборника, он предложил Солдатенкову изменить его состав: «Печатайте мои стихи и присоединяйте к ним все, что найдете в Современнике,— писал Некрасов 27 марта 1856 г.— Это прибавление составит не до 600 стихов ⟨как, видимо,было условлено.—*А. М.*⟩, а до 1000,— за лишние 400 стихов я прошу Вас только исключить из данной Вам тетрадки некоторые пьесы, которые, как очень слабые, могут только повредить книге. Список этих пьес я пришлю Вам на днях» (Собр. соч., М.— Л., 1930, V, 240; список не сохранился). О том же Некрасов писал 5 апреля В. П. Боткину: «Пусть Солдатенков печатает мои стихи, чорт с ним!.. Боюсь только, не распорядился ли он, по наущению Кетчера, самовластно, т. е. не отдал ли моей тетради в цензуру и не приступил ли уже к печатанию. Это было бы худо, ибо я думаю некоторых пьес из данных ему не печатать, а заменить их теми, которые написал в последнее время. Для этого составляю новую тетрадь, которую здесь отдам в цензуру». (Там же, 242).

Поскольку в издание 1856 г. действительно вошли стихотворения, напечатанные в 1855—1856 гг. в «Современнике», можно полагать, что Солдатенков выполнил просьбу Некрасова и за счет этих новых стихотворений исключил несколько прежних из ранее переданной ему тетради.

Мне думается, что именно эта первоначальная тетрадь, в той ее части, которая по воле Некрасова была исключена и заменена новыми стихами, явилась первоисточником ряда некрасовских текстов, обнаруженных за последнее время исследователями: стихотворений, вписанных в экземпляр Ефремова, ныне принадлежащий И. Н. Розанову, тетрадки Лазаревского, ныне утерянной Библиотекой Украинской Академии Наук, а также попавшего в берлинский сборник стихотворения «Карета».

А. Максимович

IV

⟨1⟩

⟨ДВА ОТРЫВКА ИЗ «НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ»⟩

Смутный говор — дуэли и драки.
Назначенья и сплетни Двора.
Лошадиные призы, собаки.
Берты, Марты, охота, игра.
Тут же речь о сивухе зловонной,
О финансах родной стороны —
Погоди, якобинец салонный,
Мы идем — мы послушать должны!
(Их уж мало: иные успели
Все земное свершить и опять
Ретроградные песни запели,
Тем начальство велело молчать.
Те в расчетах своих обманулись,
Не сумев по течению плыть,
На крестьянском вопросе свихнулись

УТОПЛЕННИЦА

Картина маслом В. Г. Перова, 1867 г.

Третьяковская галлерея, Москва

И в Москву переехали жить).
Так горячее первое племя
Либералов прошло навсегда.
Но и в наше довольное время
Недовольные есть господа.

<2>

Разорило чиновников чванство,
Прожилась за границею знать,
Отчего оголело дворянство
Бесполезно и речь затевать!
Все, что было — у каждого сплыло,
И остался в наличности шиш,
Даже ты, откупное светило,
За грошовым пикетом крехтишь.
Кабаками нажившись до-сыта,
Ты обширных земель накупил,
Для которых покуда нет сбыта.
Капитал твой не то, чтобы сплыл,
Но уж он не в руках, а «в тумане»,
Занятые рублишки в кармане,
. . . .
. . . .
. . . .
Не о том ли печалишься, друг,
Что народ понемногу уходит
Из твоих всехватающих рук?
Погоди,— мы вина накурили,
Но покуда его мы не сбыли —
Дело грязное — надо бросать!
Продадим как-нибудь свою водку
И опять ты начнешь прожигать
Купоросом крестьянскую глотку...
. . . .

В 1863—1864 гг. Некрасов начал работать над большим циклом сатир о петербургском «Английском клубе». В своих сатирах Некрасов хотел подвести первые итоги «Недавнего времени» — времени реформ 60-х гг., показать ренегатство либералов, показать, как реформа оттолкнула дворянских идеологов вправо.

Этот цикл был непосредственным продолжением сатир «О погоде». По первоначальному замыслу в него должна была войти полная картина Английского клуба — парадные обеды, разговоры в гостиной, газетная, игорная. Следующим звеном был «Театр» (окончательное заглавие —«Балет»). Замысел не был полностью осуществлен.

Напечатанные два отрывка взяты из черновой рукописи «Недавнего времени», хранящейся в Институте литературы АН СССР.

Тема первого отрывка — разброд среди либералов, их ренегатство после реформы 1861 г. Во втором изображен крупный буржуазный делец, откупщик.

А. Максимович

V

<«ЕСЛИ ТЫ КРАСОТЕ ПОКЛОНЯЕШЬСЯ»>

Если ты красоте поклоняешься —
Снег и зиму люби. Красоту
Называют недаром холодною.
Погляди ты коней на мосту,

Полюбуйся Дворцовою площадью
При сиянии солнца зимой:
На колонне из белого мрамора
Черный ангел с простертой рукой —
Не картина ли?

Отрывок стихотворения на тему о красоте зимнего петербургского пейзажа публикуется по записи, сделанной сестрой поэта Анной Алексеевной Буткевич на обороте копии стихотворения Некрасова «Притча» (1870) — Институт литературы Академии Наук СССР (фонд 203).

Никаких указаний на авторство Некрасова у нас нет. Однако самый факт записи его рукой Буткевич, на одном листе со стихотворением, несомненно принадлежащим Некрасову, свидетельствует в пользу такого предположения.

Стихотворный размер отрывка необычен для Некрасова; правда, у поэта встречается трехстопный анапест с характерным чередованием дактилических и мужских окончаний (ср. «Средь ликующих, праздно болтающих, обагряющих руки в крови»), но при этом никогда не бывает чередования рифмующих (четные с нерифмующими (нечетные) строками — чередования, в русской традиции свойственного только хореическому стиху.

Тема стихотворения — красота столицы в морозный день — находит себе несомненное соответствие в творчестве Некрасова, в частности — в стихотворении «Кому холодно, кому жарко» (цикл «О погоде», ч. II, 1865):

Но зимой — дышишь вольно; для глаза —
Роскошь! Улицы, зданья, мосты
При волшебном сиянии газа
Получают печать красоты.
. . . .
Все свежо, все эффектно: зимой,
Словно весь посеребренный, пышен
Петербург самобытной красой!

Очень возможно, что публикуемый отрывок связан именно со стих. «Кому холодно, кому жарко» как первоначальная разработка темы в ином тоне и в ином стихотворном размере (примеры таких «творческих заготовок», не совпадающих по форме с окончательным воплощением темы, неоднократно встречаются у Некрасова).

Упоминаемые в отрывке «кони на мосту» — статуи Аничкова моста; «колонна из белого мрамора» — покрытая инеем гранитная Александровская колонна посреди Дворцовой площади в Ленинграде.

А. Максимович

VI

НЕСКОЛЬКО НЕИЗДАННЫХ ВАРИАНТОВ

До нас дошло немало первоначальных набросков, сделанных Некрасовым для поэмы «Белинский» в 1855 г. Некоторые из них не так давно появились в печати. Один опубликован Н. С. Ашукиным в брошюре «Памяти Некрасова» (изд. Русского общества друзей книги, М., 1928, 18—19), другой — мною, в Полном собрании стихотворений Некрасова (Л., 1935, 469).

Ниже воспроизводятся те отрывки, которые оставались до сих пор неизвестными После слов об отце Белинского:

Он только пить любил да палкой
К ученью сына поощрял —

в одном из первоначальных вариантов читаем:

Ученье было бестолково,
А обхожденье так сурово,

Что он по суткам пропадал
И как волченок одичал...
Когда отец его скончался,
Он до Москвы кой-как добрался
Из Пензы, помнится, пешком.
Учился пополам с грехом...

Характеризуя идейное могущество произведений Белинского, поэт писал в одном из первоначальных набросков:

. . . . . . мыслью новой
Стремленьем к истине суровой
Дышал горячий труд его.
Он полагал в него всю душу.
Он говорил: «Я все разрушу
И не оставлю ничего».

Та строфа, которая ныне завершается строкою «Он шел один не колебим», первоначально имела такую концовку:

В несчастьи он мужал душою,
В борьбе он силу почерпал,
И сеять * щедрою рукою
Добро и Правду продолжал.

Первоначально поэма «Белинский», очевидно, была задумана в другом размере. Среди тех же черновиков поэта имеются такие, например, записи, относящиеся к Белинскому:

Недосказанной, многострадальной
Наступил этой жизни конец.
Сокрушается в думе печальной
Много теплых и добрых сердец.
Это был человек бескорыстный...

Сюда же относится такое двустишие:

Я долго размышлял над жизнию твоей,
Великий человек, безвестный для людей.

В «Размышлениях у парадного подъезда» в первоначальной рукописи были такие стихи о русском народе и его горестных песнях:

Испытуемый грозной судьбою,
Песен счастья не складывал он.
Он стонал под татарской пятою,
И доныне напев его стон.

В окончательном тексте это четверостишие заменено знаменитым отрывком:

Стонет он по полям, по дорогам,
Стонет он по тюрьмам, по острогам
и т. д.

В «Крестьянских детях» после строки «Ванюша в деревню въезжает царем» в первоначальном тексте было четверостишие, характеризующее самостоятельность и бойкость крестьянского мальчика:

Сам с воза сползает! Проворство, сноровка
Ему достаются шутя,
И любо глядеть, как свободно и ловко
К труду переходит дитя.

---

* ⟨Вариант:⟩ сыпать.

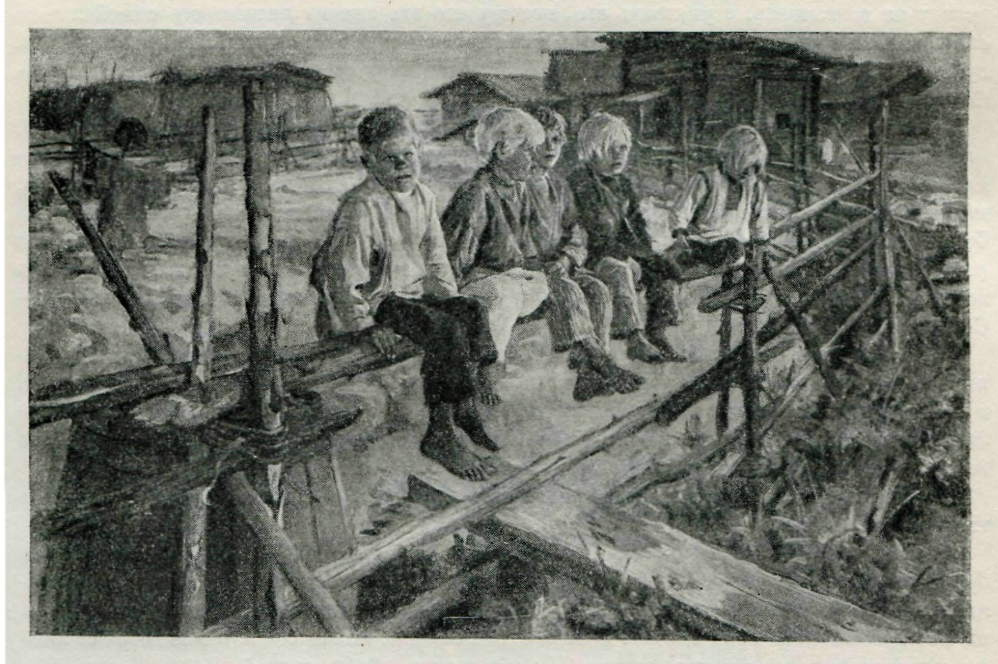
XVII глава поэмы «Мороз, Красный нос» в черновом автографе начиналась такими строками:

Минув занесенное жниво
И тихо ступив на бугор,
Савраска вступает пугливо
В пушистый серебряный бор.

В одном из последних вариантов «Балета» было такое обращение к музе:

Смейся, хлопай, покрикивай с нами,
Глупо злиться на этих людей.
Легче сердце им тронуть ногами,
Чем суровою песнью твоей.

К. Чуковский.



«ВОРОБЬИ»
Картина маслом И. М. Прянишникова, 1880-е гг.
Художественный музей, Иваново

Вышеприведенные тексты найдены мною в рукописях Некрасова во время моей многолетней работы над текстологией полного собрания стихотворений Некрасова. Последние четыре строки сообщил мне покойный А. Я. Максимович, заново обследовавший все рукописные фонды поэта.

VII

⟨ЗАМЕТКА О МЫСЛИ В ПОЭЗИИ⟩

Сравнение — поэзия, картина — поэзия, событие может быть поэтично, природа — поэзия, чувство — поэзия, а мысль — всегда проза, как плод анализа, изучения, холодного размышления — но следует ли из этого, что поэзия должна обходиться без мысли? дело в том, что эта мысль-проза в то же время — сила, жизнь, без которых собственно и нет истинной поэзии.

И вот из гармонического сочетания этой мысли-прозы с поэзией — и выходит настоящая поэзия, способная удовлетворить взрослого человека — и в этом задача поэта.

Некрасов не любил многословных творческих деклараций: в своих критических статьях, в переписке он всегда конкретен и очень скуп на общие теоретические высказывания.

Краткая «запись для себя», сделанная Некрасовым на полях стихотворной рукописи, касается очень важного, принципиального и насущного для Некрасова вопроса о роли мысли в искусстве; ее надо рассматривать как итог размышлений поэта, подведенный им уже в конце своего творческого пути.

Неразрывное сочетание поэзии и сознательной мысли — одно из основных свойств поэзии Некрасова, своей идейностью осуществлявшей требования демократической эстетики, основы которой были предугаданы еще Белинским и развиты Чернышевским и Добролюбовым.

Вопрос о значении мысли был неразрывно связан с вопросом об активной общественной роли искусства: «Отнимать у искусства право служить общественным интересам значит не возвышать, а унижать его, потому что это значит лишать его самой живой силы, т. е. мысли, делать его предметом какого-то сибаритского наслаждения, игрушкой праздных ленивцев» (В. Белинский, Взгляд на русскую литературу 1847 года — Собр. соч., XI, 145).

Противники демократической эстетики, выдвигая теорию «искусства для искусства», лишали писателя права на сознательную критику мира. Говоря словами Добролюбова, они хотели, чтобы «писатель-художник удалялся от всяких жизненных вопросов, не имел никакого рассудочного убеждения, бежал от философии, как от чумы, и во что бы то ни стало — распевал бы как птичка на ветке». Они утверждали, что элемент рассудка («дидактизм») враждебен поэзии, «придает мертвенность, вялость и холодность поэтическому произведению» (Н. Добролюбов, Дневник, 19 января 1857 г.— Собр. соч., VI, 458).

Полемизируя с этим утверждением, Добролюбов говорил, что «дидактизм отвлеченный, головной нужно отличать от дидактизма, перешедшего в жизнь, в натуру поэта, в инстинктивное чувство добра и правды, чувство, придающее жизнь, энергию и поэзию произведению гораздо более, нежели просто какое-нибудь чувство природы или безотчетного наслаждения красотой» (там же).

Именно такой «дидактизм... перешедший в натуру поэта» — характерная особенность творчества Некрасова.

«Я утверждаю,— писал он Л. Н. Толстому 13 апреля 1857 г.,— что никогда не брался за перо с мыслью, что̀ бы такое написать, или как бы что написать: позлее, полиберальнее? — Мысль, побуждение, свободно возникавшие, неотвязно преследуя, наконец заставляли меня писать. В этом отношении я, может быть, более верен свободному творчеству, чем многие другие» (Некрасов. Собр. соч., Л., 1930, V, стр. 291).

Для Некрасова «холодная мысль» была реальной силой, определявшей его сознание и волю. Говоря о мысли, Некрасов имел в виду не отвлеченное умствование, а живое, органически присущее личности, активное отношение к миру.

Белинский называл мысль «живой силой». Добролюбов говорил о «чувстве добра и правды», придающем искусству «жизнь, энергию», Некрасов называет мысль «силой, жизнью».

Заметка Некрасова публикуется по карандашной записи на полях беловой рукописи стих. «Уныние» (1874), хранящейся в Институте литературы АН СССР (Фонд, 203, № 37, л. 1).

А. Максимович

«ЗАМЕТКИ О ЖУРНАЛАХ»

НЕСОБРАННЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ НЕКРАСОВА

Публикация |А. Максимовича|

Вопрос об авторстве анонимных «Заметок о журналах», печатавшихся в «Современнике» в 1855—1856 гг., был поставлен давно, однако до сих пор не получил окончательного и достоверного разрешения.

Еще в 1878 г., А. М. Скабичевский писал в биографии Некрасова: «Как на более выдающиеся и позднейшие его ⟨Некрасова⟩ критические статьи, мы можем указать на «Журнальные заметки» в «Современнике» 1856 года, которые он писал по случаю уезда за границу И. Панаева, заведывавшего этим отделом. Статьи эти можно легко отличить по тому, что все они начинаются со слов «читатель» (на это отличие есть письменное указание в бумагах Некрасова)» [1].

Ссылаясь на указание Некрасова, Скабичевский имел в виду, несомненно, заметку «Прозы моей надо касаться осторожно», сохранившуюся в записи А. А. Буткевич. В ней говорится: «Я писал одно время заметки о журналах (в 1855 или 1854 и 56 год ⟨ах⟩). Эти статейки можно отличить, потому что я их, для отличия от других, начинал словами: Читатель» (ИЛИ АН СССР, фонд 203, № 46).

Скабичевский, писавший свою статью по материалам Буткевич, использовал это свидетельство небрежно, указав один лишь 1856 г. из трех, приблизительно названных Некрасовым, что и повело к дальнейшим недоразумениям [2].

А. Н. Пыпин, очевидно не зная подлинного свидетельства Некрасова и не взяв на себя труд обследовать весь цикл «Заметок о журналах» в целом, высказал по поводу цитированных слов А. М. Скабичевского ряд критических соображений, ограничивавших возможное участие Некрасова в этих «Заметках» в пределах 1856 г.

«Действительно,— пишет он в своем «Обзоре литературной деятельности» Некрасова,— обращение к «читателю» есть в «Заметках» за апрель 1856 г. (в майской книжке этого года); но по сохранившемуся «оригиналу» этой статьи, руки Ч⟨ернышевско⟩го видно, что Некрасову принадлежит только одно начало статьи (стр. 105—109, в «оригинале» отмечено, видимо впоследствии: «писано под диктовку Некрасова», и писано это карандашом); а дальше, статья до конца писана обычной манерой Ч⟨ернышевско⟩го... Далее, обращение к «читателю» есть в «Заметках» за май 1856 (напечатанных в 1856, № 6); но и здесь Некрасову могло принадлежать только начало (стр. 235—244), остальное написано Ч⟨ернышевским⟩, как показывает сохранившийся «оригинал». Таким образом, авторство «Заметок» определяется несомненно. Единственная статья, относительно которой возможно недоумение, есть... статья за февраль 1856 г. (в мартовской книге «Современника» того года) — «оригинал» этой статьи не сохранился. Нам представляется возможным участие здесь Некрасова, как в упомянутой выше статье за апрель» [3].

Пыпин умалчивал о том, что «Заметки» за декабрь 1855— январь 1856 г. и за март 1856 г. тоже начинались обращением «читатель», так же, как и четыре предыдущие «Заметки» 1855 г., которые были вовсе оставлены им без внимания.

Авторитет Пыпина сыграл решающую роль: никто уже не пытался вновь рассматривать этот вопрос, и «Заметки о журналах» были прочно забыты — вплоть до наших дней, когда И. Н. Розанову удалось обнаружить в неизданной до тех пор переписке Некрасова с его другом В. П. Боткиным совершенно конкретные указания на авторство отдельных статей рассматриваемого цикла.

Суммируя результаты своей публикации, И. Н. Розанов писал: «Оказывается, что журнальные обозрения в «Современнике» за указанное время велись не Н. Г. Чернышевским, как думали раньше (напр., В. Евгеньев-Максимов), а другими лицами. Статья в № 10, «Заметки о журналах за сентябрь месяц», принадлежит Некрасову (см. письмо № 1). Подобные же заметки в №№ 8, 11, 12 за 1855 г. и № 2 за 1856 г. писались, повидимому, им же при заметном участии Боткина (см. письма №№ 1, 5, 6, начало указанной статьи в № 10, а также письма Боткина)» [4].

И. Н. Розанов ограничился этими беглыми суммарными указаниями.

Остается сделать последний шаг: произвести систематическую ревизию всех накопившихся данных, проверить указанный самим Некрасовым критерий и попробовать установить «некрасовский цикл» исчерпывающим образом.

Совокупность всех данных, имеющихся в литературе, убеждает в том, что Некрасов начал этот цикл статьей «Заметки о журналах за июль 1855 г.» («Современник» 1855, № 8), написанной им совместно с В. П. Боткиным и (как свидетельствует обнаруженная мною наборная рукопись) при техническом участии А. Я. Панаевой (которая переписывала цитаты).

Пропустив очередной, сентябрьский номер «Современника» (где обзор журналов был дан И. И. Панаевым в его «Заметках и размышлениях Нового Поэта по поводу русской журналистики»), Некрасов продолжал далее свои заметки подряд, начиная с октябрьского номера 1855 г. и кончая июньским номером следующего, 1856 г.

Некрасов не был при этом единоличным автором этих обзоров: «Заметки» составлялись им при участии В. П. Боткина (за июль и декабрь — январь) и Н. Г. Чернышевского (за декабрь — январь, февраль, апрель и май), а также, возможно, при участии других лиц, специалистов по тому или иному вопросу (ср., например, разбор статьи о Гольфштроме в «Заметках» за ноябрь, который, скорее всего, принадлежал специалисту). Официозные отчеты, — например, о деятельности умершего министра, кн. Ширинского-Шихматова, — также могли составляться второстепенным сотрудником редакции [5].

Сотрудничество Некрасова кончается на «Заметках» за май 1856 г. («Современник», июнь); дальнейшие составлял единолично Чернышевский (иногда также с участием других лиц: Добролюбова, Пыпина). Уезжая за границу, Некрасов в начале августа 1856 г. набрасывает известные «условия с г. Чернышевским», в которые последним пунктом входит обязательство «писать заметки о журналах» [6].

С переходом обзоров от Некрасова к Чернышевскому литературная тематика в них все более вытеснялась чисто публицистической, что привело к новой коренной реорганизации: «Заметки о журналах за июнь 1857 г.» («Современник» 1857, № 7) явились последней статьей этого цикла, который сменился «Современным обозрением» того же Н. Г. Чернышевского.

Итак, мы утверждаем, что «некрасовский цикл» обнимает девять статей, печатавшихся подряд — с августа 1855 по июнь 1856 г. включительно.

Основной ключ — свидетельство самого Некрасова, которое полностью подтверждается: все эти статьи действительно начинаются обращением «читатель», а во всех следующих, начиная с июльской книжки 1856 г., это обращение не встречается ни разу, исчезая именно тогда, когда заметки приобретают исключительно публицистический характер, т. е. именно тогда, когда Некрасов прекращает свое сотрудничество.

То же подтверждается другим основным источником — свидетельствами, идущими от Чернышевского.

Сводкой таких свидетельств в известной мере является «Полное собрание сочинений Н. Г. Чернышевского», СПб., 1906, II, где авторство статей было проверено сыном критика, М. Н. Чернышевским, по наборным рукописям и корректурным листам «Современника». Сопоставляя с этим изданием весь цикл «Заметок о журналах», мы видим, что все статьи, не имеющие обращения «читатель», полностью входят в состав сочинений Чернышевского, тогда как статьи, начатые этим словом, или вовсе не включены (как принадлежащие не Чернышевскому), или включены частично — всегда начиная с середины (так как начало принадлежит Некрасову).

Этим не только подтверждается полная достоверность указанного Некрасовым критерия, но и дается возможность выделить конкретную долю участия Некрасова.

Правильность аттрибуций М. Н. Чернышевского может быть проверена: мы частично располагаем теми же документальными свидетельствами, из которых он исходил, устанавливая границы авторства Н. Г. Чернышевского.

Укажу, во-первых, на две известные мне рукописи: в Доме-музее Н. Г. Чернышевского в Саратове (под инвентарным № 1687) хранится рукопись «Заметок о журналах» за май (напечатанных в «Современнике» 1856, № 6). Текст, весь написанный рукою Чернышевского, начинается словами: «Радушно приветствовали мы Русскую Беседу...» и кончается: «...приобретет общее уважение,— чего мы от души желаем». Это — лишь часть статьи, именно та, которая вошла в «Полн. собр. сочинений». Над текстом пометка рукой Некрасова: «Заметки о журналах» (видимо, Некрасов, компануя «Заметки» и присоединяя текст Чернышевского к своему, сделал это указание для метранпажа).

Вторая рукопись (там же, № 1019) относится к «Заметкам о журналах» за апрель («Современник» 1856, № 5). Несколько первых листов, писанных Чернышевским чернилами, начинаются словами: «От «Русского Вестника» публика ожидала...» и кончаются: «...О лекции покойного Грановского «Океания и ее жители» мы уже имели случай говорить». (Таким образом, эта часть опять-таки точно соответствует перепечатанному в «Полн. собр. соч.»).

Далее следует отдельный лист, писанный также Чернышевским, но карандашом и с позднейшей пометой Чернышевского над текстом: «Писано под диктовку Некрасова»; там же помета Некрасова, видимо для метранпажа: «В заметки о журналах. Апрель 1856 ⟨«Современник» 1856, № 5⟩... Начало статьи».

Записи этого листа очень наглядно показывают, как происходила компановка «Заметок» в условиях спешной журнальной работы и как в некоторых случаях осуществлялось тесное сотрудничество Некрасова и Чернышевского. Поэтому приводим этот небольшой текст полностью [7]:

«[P. S.] 28-го апреля вышел в Москве и сейчас только, когда уже эта книжка оканчивалась печатанием *, получен здесь 1 № «Русской Беседы». Нам ** еще не было времени просмотреть книжку ***, но спешим сказать, что наружность журнала производит самое приятное впечатление****; содержание, судя по обертке, разнообразно; из него мы успели прочесть только несколько стихотворений, и в числе ***** их нашли два превосходных. Они принадлежат г. И. Аксакову. Приводим их здесь

(набирай № 1 и 2 из книги)

Давно не слышалось в русской литературе такого благородного, строгого и сильного голоса. Замечательно также следующее стихотворение г. Хомякова

(набирай из книги № 3)»

⟨Далее вставка, рукою Некрасова:⟩

«Да еще пробежали мы вступительные страницы журнала, которые не худо ****** пробежать всякому, кто желает получить понятие о «Русской Беседе» *******. Вот как сама она излагает цель свою.

(набирай № 4 стр. I, II, III, IV, V, VI)»

⟨Конец — рукою Чернышевского:⟩

«Подробнее ******** мы познакомим читателей с 1-м нумером «Русской Беседы» в следующем месяце».

---

* «⟨Первоначально:⟩ ⟨1⟩ когда уже совершенно окончена, ⟨2⟩ когда уже оканчивалась печатанием эта книжка нашего журнала.

** ⟨Первоначально:⟩ ⟨1⟩ Мы не успели прочитать, ⟨2⟩ Мы не успели еще и п⟨рочитать⟩, ⟨3⟩ Мы едва успели бегло

*** ⟨Первоначально:⟩ просмотреть «Русскую Беседу»,

**** ⟨Далее зачеркнуто:⟩ [а та стр⟨аница⟩] [мно]

***** ⟨Первоначально:⟩ и в том числе два

****** ⟨Первоначально:⟩ которые знакомят читателей с целью «Беседы». Сокращенно приводим здесь,— так к. они всего лучше.

******* ⟨Первоначально:⟩ понятие о том, чего должно ож⟨идать⟩.

******** ⟨Первоначально:⟩ Подробнее надеемся

М. Н. Чернышевский указывает еще на рукопись «Заметок» за декабрь — январь; перепечатывая принадлежащую Н. Г. Чернышевскому часть этой статьи, он сопровождает ее «примечанием издателя» (объясняющим помещение статей не по порядку): «Предыдущий лист был уже отпечатан, когда в рукописях нашлось указание на принадлежность этой статьи моему отцу»[8].

Кроме этих материалов, следует принять во внимание списки статей Н. Г. Чернышевского, неоднократно составлявшиеся им самим.

Мне известны четыре таких списка. Три — в Доме-музее в Саратове (№№ 1021 и 1022). Один, находящийся в частном собрании (Москва), воспроизведен в «Литературном Наследстве», № 25—26, М., 1936, 203—205.

Один из двух списков, хранящихся под № 1022, относится к статьям второй половины 1856 г. и к 1857 г. и нам не нужен.

Из числа остальных трех список № 1021 наименее определенен.

В номере втором «Современника» 1856 г. Чернышевский указывает «Заметки о журналах», но тут же приписывает: «Некрасов?» С таким же вопросительным знаком он указывает: «В заметках о журн⟨алах⟩ — № 3 — вставка о Гоголе?»

Третье указание —«Вставка о Русской Беседе» (№ 6) — дано без вопросительного знака, однако книжка журнала указана неточно: «№ 5, 6». Вставка о «Русском Вестнике» (№ 5) не указана.

Список частного собрания также не вполне точен. Во втором номере Чернышевский своих «Заметок» не указывает, в третьем указывает суммарно —«Заметки о журналах», не выделив части, принадлежавшей лично ему (о письмах Гоголя). В пятом и шестом номере он уточняет: «Заметки о журналах» — «о Чичерине», «о Русской Беседе».

Совершенно точные, с указанием даже страниц журнала, сведения дает один из двух списков № 1022.

Чернышевский так указывает свои статьи 1856 г.:

«№ 2. В заметках о журналах — о Р. Вестнике (стр. 219—222).
№ 3. Заметки о журн. стр. 80—90 (о письмах Гоголя).
№ 5. В зам. о ж. о Русском Вестнике стр. 109—118.
№ 6. В З. о журн., о Р. Беседе стр. 244—256.
№ 7. Заметки о журналах.
№ 8. Заметки о журналах.
№ 9. В заметках о журн. стр. 122—133.
№ 10. Зам. о журн.
№ 11. Заметки о ж. (Кроме стр. 170—175, которые принадлежат Добролюбову).
№ 12. Зам. о ж.».

* * *

Нам осталось суммировать все данные об авторстве каждой отдельной статьи из цикла «Заметки о журналах».

«Заметки о журналах за июль месяц 1855 года» («Современник» 1855, № 8, 258—276). Статья начинается словами: «Читатель, вопреки вашим постоянным фельетонистам...». Прямое упоминание о ней — в письме Некрасова В. П. Боткину от первого сентября 1855 г.: «Милейший Боткин, вероятно тебя рассердила вымарка о Жихареве в нашем фельетоне... Фельетон наш, говорят, понравился. Если приедешь, в октябре смастерим другой. Я хотел было написать на октябрьскую книжку, да одному как-то скучно и неповадно». Вопрос авторства и точные границы участия Некрасова окончательно выясняются наборной рукописью статьи, обнаруженной мною в Доме-музее Чернышевского (№ 4283, значащийся как «рукопись с пометой Н. А. Некрасова от 27 июля без года», и № 4202, значащийся как «разрозненные страницы неизвестного произведения из военной жизни»). Некрасовым написано начало (первые два листа отсутствуют), до фразы «Итак, хороших стихов нет в «Отечественных Записках» включительно; далее идет текст, написанный рукою В. П. Боткина, до слов: «...поздравить русскую публику с новым женским талантом»; далее до конца идет некрасовский текст [9].

НА ПАШНЕ
Картина маслом М. К. Клодта, 1872 г.
Третьяковская галлерея, Москва

«Заметки о журналах за сентябрь 1855 года» («Современник» 1855, № 10, 165—185). Статья начинается словами: «Читатель, нынешний раз вы будете иметь дело с автором, который беседовал с вами о журналах в VIII книжке Современника». Прямое упоминание о ней — в письме Некрасова к Боткину от 24 сентября 1855 г.: «Теперь 10 № будет отличный. Некогда мне писать — я оканчиваю фельетон. Но о Писемском ни слова: отложил до тебя — вместе напишем дельный отзыв». Это полностью согласуется с упоминанием о Писемском в тексте статьи: «Рассказ г. Писемского «Питерщик» доныне остается лучшим его произведением. «Плотничья артель» также принадлежит к этому роду рассказов автора, но как мы имеем намерение вскоре говорить подробно о г. Писемском, то и отлагаем суждение о ней до того времени». Статья, повидимому, написана Некрасовым единолично. В нее включен пародический куплет: «В пирогах, в ухе стерляжьей» — одно наличие которого могло бы уже свидетельствовать в пользу авторства Некрасова.

«Заметки о журналах за октябрь 1855 года» («Современник» 1855, № 11, 71—87). Статья начинается словами: «Читатель, в то время как Россия оплакивает столько героев...» Упоминание о ней — в письме В. П. Боткина от 18 ноября 1855 г.: «Здесь... то, что ты сказал о Гран⟨овском⟩, очень понравилось, так что Елиз. Богд. ⟨Грановская⟩ вырезала это место и положила к себе. ...Твои «журнальные обозрения» очень здесь нравятся — продолжай их»[10].

Косвенным доказательством авторства Некрасова можно считать последующую автореминисценцию: в черновой рукописи стихотворения Некрасова «Элегия. А. Н. Е⟨рако⟩ву» (1874) находим строки:

Старо, неправда ли, печь хлебы из муки?
Однакож из песку, попробуй, испеки!

(ИЛИ АН СССР, фонд 203), соответствующие следующим строкам статьи: «Очень однообразная вещь печь хлеб все из муки да из муки; он даже не всегда и удается,— однакож никому не приходит в голову печь его из песку». Повидимому, в статье есть вставки, принадлежащие неизвестному нам автору — так, например, опущенные нами в следующей ниже публикации отзывы о специальных статьях Д. Р⟨овинского⟩ («Академия Художеств до времен императрицы Екатерины II») и особенно П. П. Семенова («Гольфштром, его причины и отношения к развитию цивилизации в Европе») едва ли могли принадлежать самому Некрасову.

«Заметки о журналах за ноябрь 1855 года» («Современник» 1855, № 12, 271—284). Статья начинается словами «Читатель, вам, вероятно, часто случалось слышать...», что является единственным доказательством принадлежности ее Некрасову. Об участии в ней каких-либо соавторов сведений нет, и, ввиду ее чисто литературного содержания, очень вероятно, что она полностью написана Некрасовым. Общий характер высказываний — о журнальной политике, о Кс. Полевом, о Пушкине, о Дружинине — соответствует позиции Некрасова.

«Заметки о журналах за декабрь 1855 и январь 1856 года» («Современник» 1856, № 2, 201—223). Статья начинается словами: «Читатель, прежде чем говорить о новых книжках журналов...». Упоминание о ней (свидетельствующее, по крайней мере, о редактировании заметок Некрасовым) — в его письме к В. П. Боткину от 7 февраля 1856 г.: «Понравится ли тебе, как я пригнал твои страницы о Карлейле,— кажется, ладно». В качестве косвенного доказательства авторства Некрасова следует указать на слова: «Бедные, бедные старушки, затерянные в неведомых уголках обширной Руси, несчастные матери героев, погибших в славной обороне!»— очень близкие к образам стихотворения Некрасова «Внимая ужасам войны», помещенного в предыдущем номере «Современника» (1856, № 1).

Конец статьи, посвященный «Русскому вестнику», принадлежал Чернышевскому, как указано в его собственных списках (именно эта часть была перепечатана в Полн. собр. соч. Н. Г. Чернышевского, II, СПб., 1906, 345—348), что, в общей системе изложенных выше критериев авторства, является косвенным свидетельством в пользу принадлежности остальной части Некрасову. Последние несколько строк, не перепечатанные в указанном издании,— информация о скором выходе в свет «Стихотворений» Фета, повидимому, принадлежали опять-таки Некрасову.

«Заметки о журналах за февраль 1856 года» («Современник» 1856, № 3, 78—95). Статья начинается словами: «Читатель, в добрый час молвить, оживление русской литературы, о котором мы недавно говорили, продолжается». Косвенное упоминание о ней — в письме Некрасова к В. П. Боткину 7 февраля 1856 г.: «Я сейчас прочитал Рудина, вторую часть (хочу писать о ней)». Это намерение осуществлено в конце статьи, причем высказывания о характере Рудина полностью согласуются с обычными для Некрасова мыслями об общественной роли идеалистов-либералов. В качестве косвенного аргумента в пользу авторства Некрасова можно отметить, во-первых, то, что начало статьи явно ведется от имени «журналиста», т. е., на языке того времени, издателя журнала, а во-вторых — наличие автоцитаты из стихотворения «Поэт и гражданин», впервые напечатанного позднее настоящей статьи — в «Стихотворениях Н. Некрасова», М., 1856 (цензурное разрешение 14 мая, вышла 19 октября 1856 г.).

Чернышевскому принадлежала, как указано в его списках, основная часть статьи, касающаяся напечатанных в «Москвитянине» писем Гоголя. Она была перепечатана в Полн. собр. соч. Н. Г. Чернышевского, II, СПб., 1906, 336—344, причем отзыв о Рудине, приписываемый нами Некрасову, был в этом издании откинут.

«Заметки о журналах за март 1856 года» («Современник» 1856, № 4, 223—237). Статья начинается словами: «Читатель, хотя дело и не касается журналов, но вам будет отрадно...», и это является единственным доказательством принадлежности ее Некрасову, если не считать того, что в отзывах о Майкове и Крестовском можно установить аналогию с предшествующими отзывами Некрасова об этих писателях. Об участии в статье каких-либо соавторов сведений нет, и можно предполагать, что она полностью написана Некрасовым.

«Заметки о журналах за апрель 1856 года» («Современник» 1856, № 5, 105—109). Статья начинается словами: «Читатель, поздравляем вас с новым журналом!» Принадлежность начала Некрасову окончательно подтверждается описанной и перепечатанной выше рукописью, писанной Чернышевским под диктовку Некрасова, с собственноручной вставкой последнего. Вторая основная часть — отзыв о «Русском Вестнике» и об исследованиях Б. Н. Чичерина — принадлежала Чернышевскому, как указано в его собственных списках. Именно эта часть была перепечатана в Полн. собр. соч. Н. Г. Чернышевского, II, СПб., 1906, 363—370.

«Заметки о журналах за май 1856 года» («Современник» 1856, № 6, 235—256). Статья начинается словами: «Читатель, мы еще ничего не говорили вам...» Она резко членится на две части: беллетризованный отзыв о «Чиновнике» Соллогуба, написанный от лица мелкого чиновника, в жанре привычных Некрасову фельетонов натуральной школы, и суховатый разбор «Русской Беседы». Последний принадлежал Чернышевскому, как указано в его списках и что подтверждается также сохранившейся рукописью (с пометами Некрасова, свидетельствующими о его редакторском участии). Такое точное ограничение доли Чернышевского пределами второй половины статьи подтверждает вероятность принадлежности первой половины Некрасову.

* * *

Таковы данные, позволяющие ввести в оборот некрасоведения значительный массив журнальных статей, относящихся к периоду полной идейной и творческой зрелости Некрасова, к моменту его сближения с представителями революционной демократии.

Значение этого факта трудно переоценить. Из огромного наследия Некрасова-журналиста и критика нам были известны лишь случайные клочки: кроме статьи о Тютчеве (1850) и фельетонов «Свистка» (авторство которых в полном объеме устанавливается также лишь в настоящем издании), нам было известно полтора-два десятка юношеских фельетонов и рецензий 1840 гг. 50-е же годы, наиболее существенные для окончательного становления Некрасова, были представлены случайными и мало значительными статьями — вроде рецензий на стихи И. Ваненко «Осада Севастополя, или таковы русские!» или на брошюрку «О новоизобретенном способе отделения извести из свеклосахарных сиропов посредством стеариновой кислоты».

«Заметки о журналах» задуманы в совершенно ином плане. Они были вызваны насущной потребностью стать выше обычных журнальных дрязг и литературных пересудов, создать принципиальную идейную трибуну журналиста.

Этого настойчиво требовала вся усложнившаяся журнальная обстановка — общее оживление в стране, рост общественных группировок, осознание журналов как выразителей тех или иных борющихся идейных течений.

В этих условиях критические фельетоны И. И. Панаева — опытного, талантливого, передового журналиста — оказывались слишком легковесными, недостаточно принципиальными; нужен был серьезный, искренний, поучительный голос, и «Заметки о журналах» явились первой попыткой создать новый тип идейной критики. Не отказываясь от случайных откликов на журнальную злобу дня, они стремились иметь «характер воспитательный», затрагивали серьезные темы общественной морали и давали оценку наиболее существенным литературным явлениям тех лет.

Статьи эти, заключающие в себе отзывы о таких писателях, как Гоголь, Тургенев, Писемский, Лев Толстой, высказывания о задачах литературы, явятся основным материалом для изучения литературных взглядов Некрасова в середине 50-х годов.

О т р е д а к ц и и. Не имея возможности перепечатывать цикл «Заметок о журналах» полностью, редакция и с к л ю ч и л а и з п у б л и к а ц и и:

1) первую статью цикла —«Заметки о журналах за июль месяц 1855 года», вошедшую в Собрание сочинений Некрасова (Госиздат, М.— Л. 1930, III, 427—444);

2) восьмую статью цикла —«Заметки о журналах за апрель месяц 1856 года», приведенную в части, принадлежащей Некрасову, по рукописи, выше, во вступительной статье А. Я. Максимовича;

3) все части статей, заведомо принадлежащие не Некрасову, а В. П. Боткину и Н. Г. Чернышевскому;

4) отзывы, не касающиеся произведений художественной литературы и, новидимому, также не принадлежащие Некрасову.

Кроме того, в публикации сокращены некоторые объемистые цитаты и подробные пересказы содержания (все сокращения отмечены в тексте и снабжены аннотациями).

«Заметки о журналах» печатаются по тексту «Современника» 1855—1856 гг.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] С к а б и ч е в с к и й, Николай Алексеевич Некрасов, его жизнь и поэзия.— «Отечественные Записки» 1878, № 6, 395. Ср. в настоящем томе: стр. 153.

Мотивировка, приводимая в статье А. Скабичевского, неверна: вместо «Заметок о журналах» Панаев тогда же стал составлять «Заметки о петербургской жизни».

[2] Правда, В. Горленко в статье «Литературные дебюты Некрасова» тогда же называл более широкую (тоже неточную) дату:«около года (с конца 1855г. и до августа 1856 г.)»,— но это утверждение, не подкрепленное никакими доказательствами, не могло иметь вес, особенно если учесть, что в своем перечислении отдельных тем «Заметок о журналах» он приписал Некрасову «полемику с славянофилами и... с... Чичериным об историческом значении русской сельской общины», которая явно не могла ему принадлежать («Отечественные Записки» 1878, № 12, «Совр. заметки», 165).

[3] А. П ы п и н, Н. А. Некрасов, СПб., 1905, 232—233, прим.

[4] «Печать и Революция» 1928, кн. 1, 47.— В списке И. Розанова номером первым обозначено письмо Некрасова Боткину от 24 сентября 1855 г., номером пятым — письмо от 24 ноября 1855 г., номером шестым — от 7 февраля 1856 г.

[5] Таким образом, авторство Некрасова относительно рассматриваемых статей следует понимать в ограниченном смысле. Именно статьи с обращением «читатель», несомненно, начаты и редакторски составлены Некрасовым, однако не всегда принадлежат ему единолично: иногда они включают материалы других лиц (ср. в письме к В. П. Боткину от 7 февраля 1856 г.: «понравится ли тебе, как я пригнал твои страницы о Карлейле,— кажется, ладно»).

[6] Н. Н е к р а с о в, Собрание сочинений, М.—Л., 1930, V, 256, прим.

[7] Текст совпадает с журнальным; перепечатывая его здесь по рукописи, в основную публикацию мы этой заметки не включаем.

[8] Н. Ч е р н ы ш е в с к и й. Полное собрание сочинений, СПб., 1906, II, 345.

[9] Две цитаты (из статьи Л у к и н а «Об опеке и попечительстве» и из романа Д и к к е н с а «Тяжелые времена») вписаны рукою А. Я. Панаевой; вместо выписки двух цитат из статьи И. Б е р г а «Десять дней в Севастополе» наборщику было дано указание набирать с печатного (правленного Некрасовым) текста (ныне № 4202).

[10] «Голос Минувшего» 1916, № 9, 181.

СЕМЬ АНОНИМНЫХ КРИТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ НЕКРАСОВА ИЗ «СОВРЕМЕННИКА» 1855—1856 гг.

ЗАМЕТКИ О ЖУРНАЛАХ ЗА СЕНТЯБРЬ 1855 года

Читатель, нынешний раз вы будете иметь дело с автором, который беседовал с вами о журналах в VIII книжке «Современника». Книжки журналов по поводу осеннего времени полнее и любопытнее, и потому беседа наша будет, если не живее, то продолжительнее предыдущей. Мы приступаем к ней под самым приятным впечатлением, которое сообщил нам рассказ г. Григоровича «Школа гостеприимства» («Библиотека для Чтения», № 9). Наконец, г. Григоровичу удалось выполнить задачу, которую он упорно преследовал во всех своих произведениях, не относящихся к на-

КАЛИКИ ПЕРЕХОЖИЕ
Картина маслом И. М. Прянишникова, 1870 г.
Третьяковская галлерея, Москва

родному быту, именно: в «Накатове», в повести «Новый год», в «Свистулькине», и которая состояла в том, чтоб написать нечто легкое, игривое, одной стороной прикасающееся к действительности, другой — к карриктуре,— словом, нечто такое, что с виду только легко, а в исполнении представляет огромные трудности. Задача и цель такого произведения: возбудить в читателе смех,— тот беззаботный, добродушный смех, который, по словам Гоголя, «как бы излетает из светлой природы человека». Несколько искр этого редкого и дорогого смеха вырывает у читателя новая повесть г. Григоровича — вот лучшая похвала, которую мы можем сказать ей. Не пускаемся ни в изложение содержания, ни в выписки, потому что черты добродушного комизма, которым исполнена повесть, могут производить впечатление только в целом, когда читатель проникнется мирным, веселым и не лишенным своей грации тоном и колоритом рассказа. Читатели, уважающие в г. Григоровиче даровитого автора народных

повестей и романов, так серьезно и благородно понимающего свою задачу и так прекрасно служащего ей, в авторе «Школы гостеприимства» полюбят веселого, беззаботного рассказчика, повидимому думающего об одном, чтоб посмешить их и самому посмеяться вместе с ними. Есть, впрочем, черта в новом рассказе г. Григоровича, которая может произвести неприятное впечатление, но она, собственно, не относится ни к литературе, ни к читателям; ее заметят только немногие, и потому мы умалчиваем о ней, предоставляя себе при другом случае коснуться вопроса о том, в какой степени можно вносить свои антипатии в литературные произведения? [1]

В IX № «Библиотеки для Чтения» помещено стихотворение г. Бенедиктова «Малое Слово о Великом». Если б стихотворение было только слабо, мы оставили бы его в покое: чье «слово» не побледнеет перед личностию Петра?[2] О нем собственно и не может быть великих слов. Но... вот, для примера, как отразилось в стихотворении г. Бенедиктова одно из бессмертных дел Великого — основание Петербурга.

Р а з, заметив з а х о л у с т ь е,
Лес, б о л о т н ы й у г о л о к,
Глушь кругом, при Невском устье
Заложил он городок.
Ш а т о к г р у н т, д а с б о к у м о р е:
Р а с х л е с т н е м к Европе путь!
Эта дверь не на затворе,
Дело сладим к а к - н и б у д ь.
Нынче — сказана граница.
Завтра — срублены леса,
Чрез десяток лет — столица,
Через сотню — чудеса!

Кто не почувствует, как эта картина бедна, не полна и не верна, начиная с природы до того, что думает или говорит у г. Бенедиктова Преобразователь, решаясь заложить город? З а х о л у с т ь е, болотный у г о л о к — разве эти слова сколько-нибудь дают понятие о пустынной, грандиозной и дикой природе, среди которой гениальная мысль Великого угадала необходимость русского города? А то, что думает он... но, впрочем, припомним лучше картину, нарисованную Пушкиным по тому самому фону,— тогда все будет ясно само собою:

На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн.
И в даль глядел... Пред ним широко
Река неслася; утлый челн
По ней стремился одиноко...
. . . .
...И думал он:
Отсель грозить мы будем Шведу,
Здесь будет город заложен
На зло надменному соседу.
Судьбою здесь нам суждено
В Европу прорубить окно,
Ногою твердой стать при море,
Сюда по новым им волнам
Все флаги в гости будут к нам
И запируем на просторе.

Мы не думаем требовать, чтоб г. Бенедиктов дал нам нечто равняющееся достоинством Пушкину,— мы только обращаем его и наших читателей внимание на тон, которым говорит Пушкин сравнительно с тоном г. Бенедиктова. Не правда ли, тон не последнее дело в литературном произведении, не говоря уже о других требованиях? До какой степени удовлетворяет стихотворение, например, внутреннему пониманию характера и верному его отражению до малейших подробностей можно уже видеть по приведенной выписке. У Пушкина Петр думает:

Судьбою здесь нам суждено
В Европу прорубить окно... и проч.

Г-н же Бенедиктов заставляет его думать так:

Эта дверь не на затворе,
Дело сладим как-нибудь...

Но возвращаемся к тону стихотворения, не предъявляя никаких других требований. Великое дело введения в России флота отразилось у г. Бенедиктова в следующих четырех стихах:

Взял топор — и первый ботик
Он устроил, сколотил,
И родил тот ботик — флотик,
Этот флотик — флот родил.

Указ о бороде в следующих:

Надо меру взять иную!
Русь пригнул он... быть беде!
И хватил ее, родную,
Топором по бороде:
Отскочила! — Брякнул, звякнул
Тот удар... легко ль снести?
Русский крякнул, Русский всплакнул:
Эх, бородушка, прости!
Кое-где и закричали:
«Как? Да видано ль во век?»
Тсс... молчать! — И замолчали.
Что тут делать? — царь отсек.

Важные исторические факты, имевшие столь сильное влияние на судьбу целого народа, не являются ль несколько в чуждом им свете, переданные таким тоном, с такой точки зрения?

Это не народный язык — и не язык людей образованных,— что же это такое?.. Не беремся отвечать,— знаем только, что на такой тон нельзя написать удовлетворительного произведения о предмете, который избрал г. Бенедиктов.

Заметим еще, что стремление к оригинальности, к обычной у г. Бенедиктова вычурности и ухарской громозвучности (о которой мы ничего не сказали, потому что о ней уже было говорено слишком много), местами привело автора к неверному употреблению слов, как, например, в следующем куплете:

И в тот век лишь взор попятишь,
Все оттоль глядит добром —
И доселе, что ни схватишь,
Отзывается Петром...

Возможно ли: попятить взор? Для этого единственное средство, чтоб глаза выскочили на затылок, но попяченные таким образом они едва ли сохранят способность что-нибудь видеть. Вторая половина куплета тоже не верна. Схватить можно и недостойный предмет.

Мы не распространились бы так о новом стихотворении г. Бенедиктова, если б не считали его человеком даровитым, но идущим, к сожалению, по ложной дороге (что мы несколько раз говорили и теперь повторяем с полным убеждением) [3]. Самое удачное место в стихотворении следующее:

И с ремесленной науки
Начал он и, в деле скор,
Крепко в царственные руки
Взял он плотничий топор.

С бодрым духом в бодром теле
Славно плотничает царь;
Там успел в столярном деле;
Там — глядишь — уж и токарь.

Приловчил к станку он руку
И Данилыча зовет:
«Эку выточил я штуку!» —
Да и штуку подает.

К мужику придет: «Бог помочь!»
Тот трудится, лоб в поту.
«Что ты делаешь, Пахомыч?»
— Лапти, батюшка, плету;

Только дело плоховато,
Ковыряю, как могу,
Через пятое в десято.—
«Дай-ка, я те помогу!»

Сел. Продернет, стянет дырку,
Знает где и как продеть,
И плетет в частоковырку,
Так-что любо поглядеть.

Это место хорошо — именно своей тривиальностью. Так и дóлжно говорить о плетении лаптей, кто бы их ни плел. Но когда хотим говорить об основании города среди пустыни, вследствие соображений, гениально прозревающих в даль грядущего, об устройстве флота, о распространении просвещения «на Руси — немножко дикой» (стих г. Бенедиктова),— ясно, что тогда нужен тон другой.

Все сказанное в той же степени относится к другому стихотворению г. Бенедиктова: «Отечеству и Врагам его», в котором между прочим есть такие стихи о любви автора к родине:

Я люблю тебя во всем
. . . .
В русской деве светлоокой
С звонкой россыпью в речи,
В русской барыне широкой,
В русской бабе на печи,—
В русской песне залюбовной,
Подсердечной, разлихой,
И в живой, сорви-головной,
Всеразгульно-плясовой,—
В русской сказке, в русской пляске.
В крике, в свисте ямщика,
И в хмельной с присядкой тряске
Казачка и трепака *.
В пирогах, в ухе стерляжей,
В щах, в гусином потрохе,
В няне, в тыковнике, в каше
И в бараньей требухе[4]...

Последних четырех строк нет у г. Бенедиктова; мы их сочинили, увлекшись примером поэта. Но не правда ли, они очень идут тут? Их как будто недоставало! Выражать любовь свою к отчизне любовью к трепаку или к няне и к ботвинье (блюдам, впрочем, прекрасным), смешивая эти пустяки с предметами действительно существенными и достойными сочувствия каждого русского, теперь уже слишком несвоевременно. Такой патриотизм давно и достойно отмечен прозванием: квасного. Любовь к отечеству заключается прежде всего в глубоком, страстном и небесплодном желании ему добра и просвещения, в готовности нести ему на алтарь достояние и

* Библ. для Чт., № 8.

БРОДЯЧИЙ МУЗЫКАНТ
Рисунок М. С. Башилова
Русский музей, Ленинград

самую жизнь; в горячем сочувствии ко всему хорошему в нем и в благородном негодовании против того, что замедляет путь к совершенствованию, указываемый ему пекущимся о благе его монархом. Пожалуй, к этим необходимым принадлежностям каждого истинного сына своей земли можно присоединять и любовь (как оно часто и бывает) к каждой мелочи родного быта, обычаев, нравов — до вкуса в пище. Но это уже не есть условие необходимое. Можно не любить трепака или квасу — и умереть за отечество, жертвою любви к нему и сознания своего долга. И, наоборот. Любя и квас, и трепака, и очищенную — можно дойти до забвения своих обязанностей, если сознание долга в человеке слабо и любовь к родине не имеет основы разумной.— Сколько у нас иностранцев, которые, пожив в России два-три года, утверждают, что не могут обойтись без русской ботвиньи, блинов, щей, каши, простого вина, но это не дает им права быть русскими, а нам предполагать в них наших братьев, горячих сынов нашей родины. Русский же, какими-нибудь судьбами проведший бóльшую часть жизни вне отечества и даже не знающий о существовании ботвиньи или трепака — все-таки наш брат, все-таки русский... Дело, очевидно — не в трепаке! — Обо всем, сейчас сказанном, в свое время было уже очень много говорено в русской литературе, но после прекрасных образцов разумного, благородного патриотизма,— нам неприятно было встретиться с прежней манерой... Ничего не может быть приятнее для русского, как чтение таких произведений, где торжествует чувство патриотизма. Но надобно, чтоб это великое чувство было выражаемо достойным его образом!

Переходим к «Отеч. Запискам».

X № «Отечественных Записок» открывается повестью г. Писемского «Плотничья артель». Дарование г. Писемского достаточно известно читателям «Современника», напечатавшего в течение последних трех лет несколько более или менее удачных произведений этого писателя, как-то: «Богатый жених», роман; — «Раздел», комедия; — «Леший», рассказ из народного быта; — «Фанфарон», нравоописательные очерки, внушенные автору, как он сам заметил, «Снобсами» Теккерея; — «Виновата ли она?»,

повесть. Которое из этих произведений более понравилось публике и которое действительно должно назвать лучшим, сказать теперь уже можно положительно: это «Леший», рассказ из народного быта. Подобные рассказы особенно удаются автору, и после мастерских очерков гг. Даля, Тургенева и Григоровича, народные очерки г. Писемского, конечно, лучшие в русской литературе. Рассказ г. Писемского «Питерщик» доныне остается лучшим его произведением. «Плотничья артель» также принадлежит к этому роду рассказов автора, но как мы имеем намерение вскоре говорить подробно о г. Писемском, то и отлагаем суждение о ней до того времени [5]. Это нам не мешает заметить теперь же, что народный язык в этом рассказе удивительно верен.

⟨Далее опущена полемика с Жихаревым и выписки из двух «лучших мест» из его «Дневника чиновника».— *Ред.*⟩

Следуя порядку размещения статей в «Отечественных Записках», нам теперь должно бы говорить о статье «Очерки из старинной русской литературы», но мы не читали начала статьи, помещенного где-то в прежних нумерах журнала, и потому проходим продолжение молчанием. Критика и библиография «Отечественных Записок» отличаются обычною дельностью, вполне выкупающею тоже обычную сухость статей. Затем следует «Смесь», в которой помещены: «Простой случай», драматическая сцена И. Горбунова, и «Провинциальные типы» Ивановского-Елецкого. Обе эти вещи совершенно незначительны, но ⟨так⟩ как под ними стоят новые имена, то мы скажем о них по нескольку слов. «Простой случай» — дагеротипный список с купеческого разговора — разговора не интересного, не характерного и не забавного. Под громким же заглавием «Провинциальные типы. Листки из записной книги светского человека. I. „Феденька“», напечатан пустой рассказ, наполненный дешевым глумлением над провинцией, которой сочинитель не знает, может быть потому, что не живал в ней, а вернее потому, что не в состоянии был бы узнать ее, если бы прожил в ней даже полстолетия. Ни тени дарования, наблюдательности, ума не встретите в этом типе. Но что всего хуже — это, так сказать, внутренний смысл повести. Герой ее — «Феденька», так называемая «широкая русская натура». Эту натуру, как многое, чем пробавляется теперь беллетристика, пустил в ход г. Тургенев своим «Каратаевым» (в рассказе того же названия). С той поры ее трепали, трепали и не перестают трепать, схватывая только внешние приемы и нисколько не понимая сущности характера, так верно подмеченного и художнически поставленного г. Тургеневым. Недавно еще мы встретили фразистое и надутое изображение Томилина (в повести «Поездка в деревню»), с его титанической страстью к цыганке; теперь нам дают «Феденьку». Что такое «Феденька»? Автор или «светский человек» приезжает на какой-то званый обед в провинции и жестоко отделывает с помощью своего ядовитого остроумия провинцию и провинциалов, делая на каждом шагу замечания в роде следующих:

«... На больших *провинциальных* обедах *всегда* приходится сожалеть о том, что *подают суп на донышке*...

«... *Провинциальные* барышни *считают за стыд* съесть кусок говядины».

Ничто и никто ему не нравится; между гостями он отличает только одного Феденьку, худенького мужчину, с волосами на половину седыми, в поношенном сюртуке, застегнутом до верху. Это и есть широкая натура: он пьет лихо, задорен в ссорах, говорит отрывисто и под конец повести, как водится, рассказывает свою историю, служащую, так сказать, пояснением его меланхолии, неприличия в поступках и страсти к спиртным напиткам.

⟨Далее опущены цитаты из повести «Феденька».— *Ред.*⟩

Не говорим уже о пошлости содержания, о неверности языка, с точками после каждого слова (что делает печатную страницу похожею на то, как будто на нее просыпали горсть гороху), языка, которым никто не говорит, кроме заик и сумасшедших; умалчивая о ничтожности рассказа вообще, скажем два слова о смысле его. Феденька, вступающий в брак, имея на шее сто тысяч долгу, которых нечем ему заплатить; Феденька, который, женившись, нимало не делается лучше, но продолжает пить, играть и ездить с собаками, забывая о жене, о детях — до такой степени, что когда ему однажды случилось счесть их и насчитать пять, он восклицает: откудова? Феденька, принимающий любовь и самоотвержение своей жены, как животное без мысли, без сознания, и в течение двадцати лет ни разу не подумавший о том, что ей это стоит? Наконец, Феденька, на которого не подействовала даже и смерть жены, будто бы бесконечно им любимой,— Феденька, продолжающий и по смерти жены, без всякой мысли о детях, так же точно пить и играть, как пил и играл при ней,— что такое этот Феденька, как не отъявленный неисправимый негодяй? Дайте такому человеку другую жену, он опять поступит точно так же... Кажется, ясно? и между тем все сочувствие повести на стороне Феденьки! «Светский человек», при его рассказе «растроганный и увлеченный, чуть было не бросился к нему на шею», и автор видимо разделяет увлечение своего светского человека. «Светский человек», наивно очарованный вместе с автором своим Феденькою, старается (конечно безуспешно) навязать свое сочувствие и читателю, восклицая в одном месте: «Читатель! полюбите как и я моего Феденьку!» Но читатель не ребенок: он, к счастью, знает, что думать о таких личностях и таких авторах. Если автор хотел подражать Тургеневу, то пусть бы он вспомнил, что тот же г. Тургенев, написавший «Каратаева», создал лицо Веретьева (в повести «Затишье»). Веретьев также натура широкая, но которой хватает только на мерзости,— и вот этот-то Веретьев мог бы пояснить автору, что такое его Феденька. Но, впрочем, оставим автора; он не мог сделать того, чего не сделал, ибо руководился в своем рассказе только желанием написать «тип», не имея способности ни понимать характеров, ни оценивать поступки людей. Нас более занимает вопрос, зачем напечатан этот вздор в дельном журнале? Неужели из пренебрежения к той отрасли литературы, которую называют «легкою»? В одном месте того же нумера «Отечественных Записок» сказано: «Кажется, число читателей, желающих чему-нибудь научиться, а не убивать время над пустейшими сказками и романами английских фабрик, и ныне не много увеличилось. Нам часто случалось видеть неразрезанными те страницы «Отечественных Записок», на которых помещены многие превосходные исторические и критические статьи» («Библиогр. Хрестоматия», стр. 6). Эти слова несколько странно читать в журнале, половина которого ежемесячно наполняется русскими повестями (или — если хотите — сказками) и английскими романами. Неужели таков взгляд журнала на легкую литературу?[6] Если таков, тогда, разумеется, все равно напечатать «Феденьку» или «Плотничью артель»,— но едва ли он таков. Эта фраза, очевидно, дело опрометчивости, как и самое напечатание «Феденьки». Иначе мы не хотим думать. Можно и должно скорбеть, что дельные ученые статьи у нас не всеми разрезываются, но нет причины негодовать и огорчаться, что в журналах наших отдел словесности постоянно разрезан и, следовательно, прочтен. Это все-таки лучше, чем если бы оба отдела оставались неразрезанными. Довольно ограничиться заботою, чтоб читаемый отдел заслуживал прочтения, и посильным содействием, чтоб наука и искусство шли у нас рука в руку, помогая друг другу в деле общественного воспитания. Нельзя сказать даже, чтоб последнее время вовсе не представляло утешительных признаков в этом отношении; вспомним, что менее 15 лет назад тре-

бования читающей публики вполне удовлетворялись романами Дюма и Фудраса, которых на перебой переводили лучшие тогдашние журналы, как теперь Теккерея и Диккенса. От Дюма и Фудраса к Теккерею и Диккенсу, от Теккерея и Диккенса к русским туристам и ученым, владеющим искусством живого литературного изложения — к Боткину, Грановскому, Никитенко (которых произведения и самые имена столько же не чужды теперь массе публики, как произведения любимых ею беллетристов — Гончарова, Григоровича и Тургенева),— это все-таки движение вперед. И оно совершилось на наших глазах, в какие-нибудь пятнадцать лет, и сами же «Отечественные Записки» были едва ли не главною его причиною!

Вообще заслуги «Отечественных Записок» для русского общества так велики, что каждый читатель охотно простит этому журналу и не один такой промах, как помещение слабого или лишенного смысла рассказа,— но мы распространились о «Феденьке» не с намерением упрекнуть «Отечественные Записки».— Подобные явления, как бы они ничтожны ни были сами по себе, всегда будут обращать на себя наше внимание, если только они касаются, так сказать, нравственного значения литературы. И вот по какой причине. Мы уже имели случай заметить (в 8 № «Современника»), что литература наша в последнее время, при многих своих хороших сторонах, неприятно поражает своим всетерпящим равнодушием, апатией, неопределенностью в воззрении своем на такие явления действительности, о которых собственно не должно быть двух разноречивых мнений. Доказательств этому, к сожалению, слишком много. Станем ли оправдывать такие повести, которые, представив, например, в данных обстоятельствах любовь, принесенную в жертву расчету, малодушно отходят в сторону и предоставляют публике решить: хорошо это или худо и т. д.? А таких повестей теперь довольно, и мы выбрали еще самый нерезкий пример; но ограничимся им; его достаточно, чтоб нас поняли,— и спросим: достойна ли литературы подобная уклончивость? и к чему она? В обществе еще бывают обстоятельства, где вы принуждены подавать иногда руку человеку двусмысленному, назвать тот или другой факт не тем именем, которого он заслуживает, — в литературе не существует такого неудобства. Литература не должна наклоняться в уровень с обществом в его темных или сомнительных явлениях. Во что бы ни стало, при каких бы обстоятельствах ни было, она должна ни на шаг не отступать от своей цели — возвысить общество до своего идеала, — идеала добра, света и истины! Иначе она потеряет все свое благодетельное влияние и придет к самым безотрадным результатам, потому что как бы много ни извиняла литература, оправдываясь, чем только можно в таких случаях оправдываться, общество всегда будет снисходительнее литературы к самому себе, и, таким образом, если б искусство, перестав служить истине единой и вечной, начало служить истине относительной,—идея добра и зла, нравственности и порока, смутно стала бы представляться... Какова бы ни была собственно русская литература и теперешняя ее деятельность, не забудем, что она во всей своей массе служит представительницею умственной жизни народа — и будем больше уважать ее, будем служить ей осмотрительнее! Не забудем, что все те, которые с университетской или с другой учебной скамейки унесли с собою в отдаленные и разнообразные пределы отечества бóльшую или меньшую частицу любви к науке, к литературе, уважения и доверия к умственному труду,— все они следят за нашею деятельностью, ищут в ней разъяснения волнующих их вопросов, поддержки своим благородным убеждениям, оружия против невежества и закоснелости! И чем более дадим мы здоровой и плодотворной пищи их любознательности, их благородной жажде света и истины, тем прочнее и дольше удержат они в сердце своем любовь ко

всему доброму, справедливому и прекрасному любовь, так беспощадно охлаждаемую действительностью,— и тем благодетельнее будет, в свою очередь, их влияние на тот круг, в среде которого поставлены они судьбою действовать и морально первенствовать! Многое еще можно бы сказать о значении литераторов, литературы, журналистики, но довольно. Заключим, чем начали: будем же осмотрительнее, как в том, что̀ мы пишем, так и в том, что̀ печатаем в наших журналах. Образование не забывает услуг, ему оказываемых, когда-нибудь нам скажут спасибо.

Как утешение, как подкрепление для каждого честного литератора на его тернистом пути,— мы можем предложить небольшую статейку г. Погодина, написанную им (№ 12 Москвитянина) по поводу «Нового издания сочинений Пушкина и Гоголя». Статейка не чужда обычных стран-

ПОХОРОНЫ КРЕСТЬЯНИНА

Картина маслом В. Г. Перова, 1865 г.

Третьяковская галлерея, Москва

ностей г. Погодина в манере и в слоге, даже иногда в мысли; но дело в деле, а не в форме, и не в отдельных мыслях, а в целом значении статьи:

«Здесь льется кровь, там губит огонь, везде падают храбрые, принимая на свою грудь смертоносные удары врагов отечества, сердца смущаются беспрестанно различными чувствами одно другого тягостнее, страх объемлет душу, чем кончится это Европейское Действие, которое открыло нам сначала такой блистательный, великолепный кругозор и обнялось впоследствии со всех сторон такими темными, непроницаемыми тучами... но вот объявлены в газетах сочинения Пушкина и Гоголя! Усталое внимание отвлекается невольно от ужасов войны к любезным страницам, перевертываются листы как будто сами собою, встают знакомые, милые образы, сменяются радующие взор картины, слышатся

сладостные, родные звуки! Мы забылися, унеслися в какую-то волшебную даль, нас вспрыснуло, кажется, живою водою, на сердце стало легко и весело, тоска неизвестности исчезла, верится в добрый конец доброго начала, русское чувство торжествует...

«Удивительная сила поэзии! Удивительная сила таланта! Честь вам и слава и горячая благодарность отечества! воскликнул я недавно, обращаясь к мужественным защитникам Севастополя. Честь вам и слава и горячая благодарность отечества! воскликну я теперь, поминая наших славных витязей слова и мысли, являющихся перед нами вновь с заветными откровениями своей души.

«Не даром получили и они почетное место в русских летописях! Победа досталась им также приступом, с бою. Чего не испытали они при жизни! Сколько тяжелых камней брошено в их безответные могилы! Злое невежество старалось всеми силами опозорить их чистое имя, наложить свое черное клеймо на их достойную память, и пламенную их любовь, преданность к добру и порядку вменить чуть не в преступное злоумышление *.

«Да! тернистый путь вообще достался на земле поэту, художнику, ученому! Внутренние их бóрьбы тяжеле еще внешних ударов, которых пример сейчас мы показали. Люди светские, люди так называемые занятые, то-есть служащие дневи и злобе его, люди пресыщенные и упоенные не имеют понятия о тех нравственных терзаниях, которыми исполнена их жизнь, хоть иногда, сознаемся, и по собственной вине, составляющей горшее мучение. Толпа не может вообразить, чего стоит им часто одно выражение, которое она называет счастливым! С каким усилием вырывается из сердца звук, которым услаждается ее тонкий и взыскательный слух! Иной отшельник переживет в глубине уединенной кельи всю жизнь своего народа, испытает на себе все его болезни, перечувствует все скорби,— тяжело ему отыскивать в веках, по кровавым следам, пути его уклонений, и еще тяжеле видеть между ними прямую дорогу, усыпаемую притом цветами его послушного воображения. Какое отчаяние овладевает им по временам, когда он видит невозможность противудействовать злу! Счастлив еще, что такие минуты для него не пропадают даром, что действенный след их обнаружится непременно в его сочинениях и сделается неиссякаемым источником высших наслаждений для отдаленных потомков.

«Русская словесность особенно счастлива в этом отношении. Жизнь Кантемира, Ломоносова, Державина, Фон-Визина, Карамзина, Крылова, Пушкина, Гоголя и других наших писателей, старого и нового времени, представляет много высоких явлений, кои, понятые и оцененные умною историею, воссияют ярко в венце русской славы, не уступая в блеске никаким другим государственным Заслугам и гражданским Доблестям, прежним и нынешним!

«Но к чему их сравнивать? Они все для нас равны, и все имеют одинакое право на нашу благоговейную признательность,— в церкви и на престоле, в суде и на полчище, в избе и на кафедре, кто жизнию, кто смертию, кто годами, кто минутами, кто трудом, кто подвигом, кто постоянною службою. Пушкин нам за то

любезен,
Что чувства добрые он лирой пробуждал,
Что прелестью живой стихов он был полезен,
И милость к падшим призывал.

---

* Здесь разумеется множество журнальных и газетных статей и толков по поводу сочинений Пушкина и в особенности Гоголя.— Примеч. «Москвитянина».

«Нам дорог также Нахимов, десять месяцев ежеминутно живя умиравший и сраженный, наконец, роковою пулей в своем родном Севастополе. Мы не нарадуемся на Иннокентия [7], который поет, дондеже есть, возбуждает к деятельности за правое и святое дело, прославляет доблих, утешает скорбных, призывает к трудам усталых, ободряет робких, и на пажитях смерти, несмотря ни на какие опасности, спешит везде сеять глаголы живота своими красноречивыми устами. Незабвен для нас Гоголь, пламенно алкавший совершенствования и выставивший с такою любовью, верностью и силою наши заблуждения и злоупотребления, да видя содрогаемся и исправляемся. Поклонимся низко отцу Александру [8], совершающему молебное шествие по стенам Соловецкой обители, под градом пуль, ядер и картечий,— и храброму Хрулеву [9], схватывающему Брянскую роту для отражения неприятелей из занятого предместия...» и прочее...

Кем бы и как бы ни были изложены подобные мысли, им не может не сочувствовать каждый литератор, каждый истинно русский вообще! Прочитав эти строки, мы невольно задумались о судьбе Гоголя и вспомнили его же слова: «Слышут ли это в могиле истлевшие его кости? отзывается ли душа его, терпевшая суровое горе жизни?..» Тот же незабвенный покойник сказал: «Мир, как водоворот: движутся в нем вечно мнения и толки, но все перемалывает время, как шелуха слегает ложь и как твердые зерна остаются недвижные истины. Что признавалось пустым, может явиться потом вооруженным строгим значением...» [10] Да!

Между современными литераторами нет Пушкиных и Гоголей, но настоящий факт не служит ли лучшим ручательством, что всякая деятельность, отмеченная стремлением к добру и правде, любовью к отечеству, к его благоденствию, славе и просвещению, не будет забыта. Сегодняшний день лучше вчерашнего, завтрашний будет лучше сегодняшнего, и таким образом время делает свое дело. «Бодрей же в путь!» Правдивое признание заслуг, честь и благодарность ожидают всякого совестливого труженика мысли. Но горе и стыд тем, кто приносит истину в жертву корысти и самолюбию! Для них нет впереди света, не греет и не животворит их надежда лучшего будущего, это лучшее — час их обличения и позора! Стыд всем сплетничающим, клевещущим, барышничающим, обращающим благородное оружие литератора — мысль и слово — в орудие личных своих интересов и страстей. Но о таких мы ни слова. Таких, к счастию, нет в нашей литературе...

Кроме приведенной статейки, в XII № «Москвитянина» мы обратили внимание на «Севастопольские письма» г. Б⟨ер⟩га.

⟨Далее опущена цитата из Берга — характеристика командующего южной армией, генерала Лидерса.— Р е д.⟩

Нам понравились еще небольшие стихи г. Б⟨ер⟩га, которые он сложил, проезжая (в начале нынешнего года) под Одессой мимо пустынного Черного моря, которое плещется у самых колес едущих.

О чем ты стонешь, сине море?
Что пасмурно твое чело?
Скажи ты мне, какое горе
В твоих пучинах залегло?

Ты плачешь, море, что не стало
Тебе знакомых кораблей,
Что смело реяли бывало
Одни среди твоих зыбей.

Не плачь, не плачь ты, сине море,
Глубоко вопли затаи:
Пройдет твое лихое горе,
Вернутся соколы твои!

Я видел страшные траншеи
И вал из камня и земли,
Где притаившись, словно змеи,
Рядами пушки залегли.

За ними — славы ратоборцы,
Стоят и хладно битвы ждут.
Твои питомцы — Черноморцы,
Им бой не в бой и труд не в труд!

Пускай придут; все это ляжет,
Отчизне жертвуя собой...
Кто ж будет жив, кто перескажет
Про этот день, про этот бой?..

Дуфиновка, деревня под Одессой,
1855, 28 февраля.

В этих стихах слышится живой голос, живое чувство очевидца,— вот отчего такая разница между ними и множеством стихотворений на ту же тему, сочиняемых в Москве, в Петербурге и во всех городах, где есть грамотные люди и откуда только ходит почта в редакции русских журналов.

В заключение скажем несколько слов о «Современнике», которого мы не считаем удобным исключать из нашего обзора, ибо думаем, что стремление наше отразить в очерках наших сколько-нибудь характер, направление, достоинства и недостатки настоящей русской литературы может быть достигнуто только в таком случае, если мы будем принимать в соображение и поставлять на вид читателю все стороны ее. У нас теперь четыре литературных журнала [11] (некоторые насчитывают даже менее четырех); итак, если умалчивать о деятельности одного из этих, положим, четырех, очевидно, что цель не может быть достигнута. Притом, не странно ли: сегодня я могу говорить, например, о г. Григоровиче, потому что повесть его помещена в «Библиотеке для Чтения», а завтра уже не могу, потому что повесть его помещена в «Современнике?» Ведь я, как в том, так и в другом случае, не заставляю читателя верить мне, а представляю ему мое мнение, которое он волен принять или отвергнуть, согласно с своими понятиями. Такая уступка внешнему, так сказать, признаку беспристрастия — в сущности плохая гарантия искренности мнений журнала. Добросовестный журнал хвалит то или другое произведение не потому, что оно в нем напечатано, а печатает его потому, что оно достойно похвалы — вот наш взгляд, и в силу его мы будем говорить о «Современнике»,— разумеется, коротко и только о самом замечательном в нем. Если же нам не удастся даже на столько внушить доверия к нашим мнениям, чтоб нас хоть не подозревали в подкупе, нам останется только смиренно передать перо другому. Впрочем, то, что мы имеем сказать на этот раз,— более относится к русской литературе вообще, чем к «Современнику».

Дельное, так сказать, практическое направление, принятое нашей литературой в последние пятнадцать или двадцать лет и состоящее в стремлении к изучению своего, национального [12],— во всех его проявлениях и сословиях, почти не коснулось сословия военного. Со времени фразистых повестей Марлинского, в которых и офицеры и солдаты являлись в несвойственной им мантии средневековых воинов,— мы не имели ничего о русском солдате. И вот является писатель, который вводит нас в этот совершенно новый для нас мир [13]. Подобно г. Тургеневу, который девять лет тому назад начал свои очерки народных характеров и постепенно поставил перед нами ряд оригинальных, живых и действительных лиц, о которых мы до него не имели понятия,— г. Л. Н.

Т⟨олстой⟩ в своей «Рубке леса» представляет нам несколько типов русских солдат, типов, которые могут служить ключем к уразумению духа, понятий, привычек и вообще составных элементов военного сословия. Еще несколько таких очерков, и военный быт перестанет быть темною загадкою.

Мастерство рассказа, полное знание изображаемого быта, глубокая истина в понимании и представлении характеров, замечания, исполненные *тонкого и проницательного ума — вот достоинства* рассказа г. Л. Н. Т⟨олстого⟩, который, мы уверены, прочтут читатели «Современника» с живейшим удовольствием. Полагаем также, что чита-

РОДЫ В ПОЛЕ ВО ВРЕМЯ ЖАТВЫ

Акварель П. П. Соколова, 1874 г.

Третьяковская галлерея, Москва

тели наши прочли не без интереса «Ночь весною в Севастополе», рассказ, так просто, верно и картинно передающий до мельчайших подробностей жизнь в осажденном городе...

Кстати, в нынешней книжке «Современника» читатели встретят рассказ «Восемь месяцев в плену у французов», который мы особенно рекомендуем их вниманию. Автор лицо новое: это — армейский солдат, уроженец Владимирской губернии, города Шуи, Таторский [14]. Под Альмой ему двумя пулями пробило руку, он попал в плен, был в Константинополе, был в Тулоне, потом возвращен уже без руки в Одессу, где и вздумал описать свои похождения (или, вернее, продиктовать). Рассказ его представляет несомненные признаки наблюдательности и юмора, словом: таланта... Даровита русская земля!

⟨«Современник» 1855, № 10, 165—185; без подписи.⟩

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Персонажи повести Григоровича «Школа гостеприимства» представляют собою портреты писателей — сотрудников «Современника». «Антипатии» автора сказались в различном характере этих комических портретов: тогда как писатели либерально-дворянского круга (Панаев, Тургенев) обрисованы в тонах легкой иронии, юмора, «дружеского шаржа»,— представитель нового, демократического «Современника», Н. Г. Чернышевский, изображен, под именем Чернушкина, со злостью и издевательством. Это дает право рассматривать «Школу гостеприимства» как памфлет, направленный непосредственно против Чернышевского.

В ответ на отзыв Некрасова Григорович писал ему в ноябре 1855 г.: «Удивляюсь и радуюсь вместе с тем, что Вам не противна „Школа гостеприимства"; я даже просил Панаева не упоминать о ней, до того казалась она мне мерзкою: спросите у Дружинина, как я за нее пугался и как в ней сомневался» («Некрасовский сборник», П., 1918, 103).

Историю создания повести, возникшей из шуточной пьесы, игранной летом 1855 г. в имении Тургенева и первоначально имевшей иной характер, см. К. Чуковский, Люди и книги шестидесятых годов, Л., 1934, 5—9.

[2] Некрасов разделял характерное для западников преклонение перед Петром I; (ср., например, прославляющие его строки в поэме Некрасова 1857 г. «Несчастные»). По этому поводу Н. Г. Чернышевский в 1886 г. писал, подчеркивая свой отрицательный взгляд на Петра: «Некрасов сохранил о Петре то мнение, какое воспринял в кругу Белинского и Герцена. Имей я хоть маленькое влияние на его образ мыслей, он не мог бы писать о Петре то, что он писал; имей я хоть сколько-нибудь большое влияние, он писал бы тоном, прямо противоположным тому, каким писал» (заметки при чтении посмертного издания «Стихотворений Н. А. Некрасова».—«Современный Мир» 1911, кн. X, 166). Об отношении революционных демократов к Петру I см.: И. Морозов, Н. Г. Чернышевский и вопрос о Петровских реформах.—«Литературное Наследство», М., 1936, № 25—26, 189—207.

[3] Некрасов имеет в виду, между прочими, свой отзыв о Бенедиктове в рецензии на «Дамский альбом, составленный из отборных страниц русской поэзии» («Современник» 1854, январь): «Удивительный поэт г. Бенедиктов! Непостижимое сочетание дарования (не подверженного ни малейшему сомнению) с невероятным отсутствием вкуса... и чем более будет проходить времени, тем более будут стихи г. Бенедиктова смешить читателей (а еще не более десяти лет тому назад, вспомните, нужно было доказывать, что они смешны); но к этому смеху невольно примешивается грустное чувство: у г. Бенедиктова есть талант, несомненный и прекрасный; ...И не прискорбно ли, что этот прекрасный талант пошел по ложному пути?..»

Сам Некрасов, в начале своего поэтического пути, находился под непосредственным воздействием поэзии Бенедиктова (прямые подражания Бенедиктову, относящиеся к юношескому сборнику Некрасова «Мечты и звуки», учтены в статье К. А. Шимкевича.— Сб. «Поэтика», вып. V, Л., 1929). В середине 40-х годов, резко изменив характер своей поэзии и, видимо, учтя выступления Белинского против Бенедиктова, Некрасов начинает относиться к поэзии последнего с оттенком насмешки; ср. в его «Обыкновенной истории» (1845):

Лишь один Бенедиктов бы мог
Описать надлежащим размером
Эту легкость воздушную ног... и т. д.

Некрасов дважды упоминает Бенедиктова в своей известной статье о Тютчеве (1850); он указывает, что причиною «вычурности», которой отличались Марлинский и Бенедиктов, было «преимущество, отдаваемое форме в ущерб содержанию», и утверждает, что никем в то время не замеченный Тютчев обнаружил «в десять раз более истинного таланта», чем прославленный Бенедиктов («Русские второстепенные поэты».—«Современник» 1850, № 1). Ср. еще отзыв, по поводу стих. Бенедиктова «К России», в «Заметках о журналах за ноябрь 1855 г.» («Современник» 1855, № 12): «г. Бенедиктов, когда захочет, может явиться истинным поэтом, без погремушек, без трескотни, сильным простотой и правдой, неразлучными спутниками поэзии» (см. ниже, стр. 264).

[4] Этот пародический куплет, прибавленный Некрасовым к стихотворению Бенедиктова, послужил поводом для одного из полемических выпадов «Библиотеки для Чтения» против «Современника»: «Поищем, нет ли еще где-нибудь поэзии...— А, вот она, дорогая гостья! <следует комментируемое четверостишие>... Вот в чем заключается современная поэзия, по мнению „Современника". ...После бараньей требухи, так удачно уложившейся в стих, странно было бы искать высшей поэзии в стихах журнала чисто литературного...» («Библиотека для Чтения» 1855, ноябрь).

[5] Некрасов не возвратился к подробному разбору «Плотничьей артели», ограничившись сдержанным отзывом в настоящей статье. О его отрицательном отношении к повести Писемского см. в настоящем томе, в статье А. Лаврецкого.

[6] Некрасов воспользовался для выпада против «Отечественных Записок» (нелитературность и «ученость» которых постоянно подчеркивалась в полемике «Современника») рецензией узко специального характера на «Ученые записки Академии Наук» («Отеч. Записки» 1855, октябрь, библ. хроника).

[7] Иннокентий (1768—1855) — флотский священник, во время бомбардировки Свеаборга (в июне 1855 г.) служивший молебен на палубе военного корабля «Россия».

[8] Отец Александр (Андроник) Павлович (ум. в 1874 г.) — архимандрит, настоятель Соловецкого монастыря, отказавшийся сдать его двум военным английским кораблям (в июне 1854 г.) и организовавший его оборону.

[9] С. А. Хрулев (1807—1870) — генерал, известный храбрыми вылазками во время обороны Севастополя (1855).

[10] Приводимые цитаты заимствованы из «Театрального разъезда после представления новой комедии» Гоголя (заключительный монолог автора).

[11] «Современник», «Отечественные Записки», «Библиотека для Чтения», «Москвитянин».

[12] Некрасов, связанный цензурными условиями, лишь в письмах расшифровывает существо этого «дельного направления»: «Это именно то, что нужно теперь русскому обществу: правда,— пишет Некрасов Толстому 2 сентября 1855 г.,— правда, которой со смертию Гоголя так мало осталось в русской литературе. ...Эта правда в том виде, в каком вносите Вы ее в нашу литературу, есть нечто у нас совершенно новое». О том же Некрасов писал Тургеневу 18 августа 1855 г.: «Эта статья ⟨«Севастополь в мае».— *А. М.*⟩ исполнена такой трезвой и глубокой правды, что нечего и думать ее печатать». Повесть все же была напечатана, однако, действительно, сильно пострадала от цензуры (ср. письмо И. И. Панаева Толстому.— П. Бирюков, «Биография Льва Николаевича Толстого», М.—П., 1928, I, 116, а также слова Некрасова в цитированном выше письме: «Возмутительное безобразие, в которое приведена Ваша статья, испортило мне последнюю кровь. До сей поры не могу думать об этом без тоски и бешенства»).

[13] О том же Некрасов писал самому Толстому: «Не пренебрегайте подобными очерками: о солдате ведь наша литература доныне ничего не сказала, кроме пошлости. Вы только начинаете, и в какой бы форме ни высказали Вы все, что знаете об этом предмете,— все это будет в высшей степени интересно и полезно» (2 сентября 1855 г.), а также Тургеневу: «Это очерки разнообразных солдатских типов (и отчасти офицерских), то-есть вещь доныне небывалая в русской литературе».

[14] Таторский — солдат, устные рассказы которого были обработаны Н. П. Сокальским, впоследствии напечатавшим «Современные рассказы из военной жизни русских солдат», СПб., 1856. Некрасов писал Тургеневу 17 сентября 1855 г.: «На-днях приходил ко мне незнакомый юноша — из Одессы — с тетрадкой солдатских рассказов, которые он записал со слов солдат раненых, беспрестанно привозимых в Одессу.— В числе этих рассказов один оказался удивительный. Юноша-то бездарен (что видно по другим рассказам), но солдат (Таторский по фамилии), рассказавший ему о своем восьмимесячном плене у французов (после Альмы), должно быть, человек с большим талантом — наблюдательность, юмор, меткость—и бездна русского. Я в восторге».
Критика сочувственно отнеслась к этим рассказам, воспринимая их в одном ряду с севастопольскими повестями Л. Толстого и усматривая и в тех и в других совершенно особый новый жанр. Ср., например, отзыв Вл. Зотова в «С.-Петербургских Ведомостях» 26 января 1856 г., № 21.

ЗАМЕТКИ О ЖУРНАЛАХ ЗА ОКТЯБРЬ 1855 года

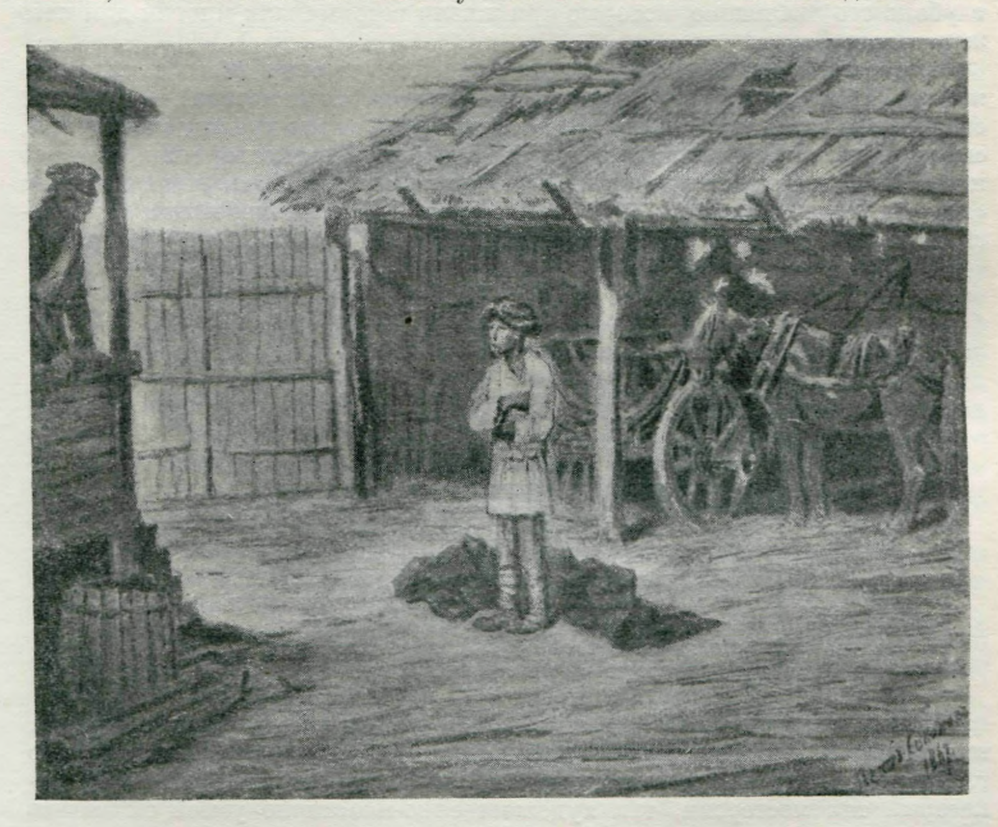
Читатель, в то время, как Россия оплакивает столько героев, со славою погибающих за отечество на войне, ей приходится оплакать еще потерю скорбную и, может быть, не заменимую. Наша юная наука, наша литература также имеют своих героев, людей бескорыстно и доблестно служащих делу просвещения; людей, свято хранящих в сердцах своих благородный огонь лучших человеческих верований, стремлений и подвигов; неустрашимо и самоотверженно проносящих этот святой огонь под дуновением временных бурь и неблагоприятных случайностей; людей, которым скромная доля ученого, награждаемого сочувствием истинных ценителей просвещения, обольстительнее всех других поприщ, где их дарования, их деятельность могли бы открыть широкий простор их личному честолюбию и своекорыстию. К числу таких людей, которых мы, подражая Карлейлю, можем назвать, без преувеличения, героями, принадлежал недавно скончавшийся Т. Н. Грановский [1]. Это был один из самых даровитых и богатых знанием ученых, это был профессор, к которому любовь его слушателей доходила до восторженного благоговения, наконец, это

был человек, в котором сила и чистота убеждений, возвышенное благородство мыслей, чудная прелесть богато одаренной и широко развитой личности — соединялись в прекрасное целое, благодатно полное, неотразимо обаятельное! Да, по нашему мнению, что-то цельное, что-то полное — больше, чем всякая другая русская личность — представлял собою Грановский. На нем лежала печать спокойной силы, которая должна была сказаться и сказывалась,— не тратясь в колебаниях, в исканиях,— сказывалась не напряженно, но уверенно и легко. Так великая река катится по своему направлению, совершая несуетливо и важно свой непреложный, неизменный ход. Настоящим признанием Грановского была кафедра, и каков он был на кафедре — это, к счастию, знают и не забудут многие и многие русские люди. Писал он мало, и хотя сочинения его представляют несомненные достоинства, но бледно будет понятие о Грановском того, кто вздумает судить о нем по одним его сочинениям. Каков он был, наконец, в беседе, на этой третей и самой обширной своей кафедре,— об этом вообще трудно говорить, но еще труднее говорить теперь, когда рана, нанесенная смертью любимого человека, еще слишком свежа в сердце каждого, кто знал Грановского. Мы его знали, мы его любили... Вызвать из души своей ряд воспоминаний, быть может, лучших в нашей жизни — душою которых был он,— мы теперь не имеем силы...

Самым замечательным, самым живым, что произвела русская литература прошлого месяца, было несколько горячих, искренних страниц, вызванных смертью Грановского. Первое место здесь принадлежит небольшой статейке г. Каткова (в «Московских Ведомостях» от 6-го октября), в которой горячо, сильно и глубоко сказалось сожаление о потере прекрасного и полезного человека. В ней есть счастливо уловленные черты, которые могут дать понятие о личности Грановского тому, кто не знал его (мы их подчеркиваем). «Кто знал покойного,— говорит г. Катков,— тот поймет всю силу этой потери, всю глубину нашей скорби. Смерть похитила его в цвете сил, посреди поприща, на котором он так прекрасно, так благотворно, так славно действовал! Он унес с собою столько сокровищ,— *это обаяние избранной природы, эту ясность и юность духа, эту чистоту убеждений, эту возвышенность помыслов, этот дар возбуждения, эту чарующую прелесть слова!* В многочисленных слушателях Тимофея Николаевича, рассеянных во всей России, скорбно отзовется эта весть. Все они хранят в себе прекрасный образ своего наставника и высокую поэзию его уроков. Московское общество стекалось на публичные его лекции и помнит эти минуты умственных наслаждений, помнит *это лицо, столь выразительное, запечатленное думою, и этот тихий, глубокий, проникавший в душу голос, и эту речь, столь оживленную, столь изящную.* Он был создан для своей науки. Его обширная, изумительная память сохраняла все подробности событий; он владел необыкновенным даром воссоздавать их для созерцания; мысль его всегда была согрета нравственным убеждением, которое и сообщало такую прелесть его слову. Чудные образы вставали перед слушателями из исторических могил, с своими заветными думами, с своею скорбию, с своим торжеством. *Нередко два-три магические слова вызывали великую историческую тень и оживляли далекую эпоху.* Как историк, он, в созерцании человеческих дел, преимущественно одушевлялся идеалами нравственной красоты и видел в своей науке могущественное средство для воспитания нравственного чувства. *Он был исполнен любви; мысль его была рыцарски-великодушна...*».

Все это справедливо и прекрасно. Удивительно тепла и трогательна статья: «Два слова ученика о наставнике», написанная одним из слушателей покойного профессора, студентом (в № 122 «Московских Ведомостей»); любовью дышит в ней каждое слово; счастливых выражений, характеризующих личность Грановского, в ней также много (мы опять их подчеркиваем): «Так, должно примириться с мыслию: нет Т. Н. Грановского! знавшие его уже не найдут его в своем кругу; а мы, его слушатели, более не увидим нашего благодушного наставника, входящего своею тихою поступью в аудиторию, с добрым взором, с выражением спокойной думы на лице; не услышим более его симпатического голоса. Не сухую науку передавал он; его учение было проникнуто духом живой истины, которая везде одна, что в науке, что в жизни. Та же благородная душа, тот же гуманный характер, та же безоблачность взгляда, те же прекрасные порывы, которыми отличался покойник в жизни, глубоко чувствовались и в чтениях его.

«Ученики чтили его как наставника, любили как человека. В его образе для них пленительно слилось значение избранного служителя науки с значением человека, которому доступно было все человеческое, который правду своей науки вносит не в отмеренную рамку часовых уроков, но в самую жизнь свою, так что она слышалась у него во всех его словах и действиях.



НЕДОИМЩИК

Акварель П. П. Соколова, 1867 г.

Русский музей, Ленинград

«При громадной учености, он был совершенно чужд педантизма; он отличался готовностью с одинаким участием выслушивать возражения от равного себе и низшего; он приобретал себе уважение и славу безо всякого со своей стороны домогательства.

«Мир его праху. Пусть же всякий из нас оценит всю важность потери, которая так неожиданно нас поразила,— и пусть имя Грановского на веки останется в нашем университете одним из лучших его преданий, одним из лучших его залогов.

7-е октября 1855 г. Студент»

Наконец, в том же 122 № «Московских Ведомостей» есть еще небольшая статья, в которой развивается весьма справедливая мысль о значении Грановского как человека общественного.

В заключение выразим здесь наше искреннее желание, чтоб публике не долго пришлось ждать издания сочинений Грановского. Хотя Грановский как профессор, как человек общественный далеко оставлял за собою Грановского-писателя, но сочинения его представляют достоинства первоклассные. Одна уже их живая, художнически-прекрасная форма, при строго-ученом содержании, сообщает им весьма важное значение. Издания сочинений Грановского, с его биографией, портретом, с приложением всего замечательного, вызванного его смертью,— вот чего ждем теперь мы, ждет вся публика от друзей покойного, между которыми есть люди, глубоко его любившие, которые при жизни готовы были многим для него жертвовать...

Переходим к октябрьским журналам. Здесь прежде всего наткнулись мы на любезное нам имя г. Фета и — такова сила поэзии! — тяжелое, скорбное чувство, под влиянием которого писали мы предыдущие строки, смягчилось, при воспоминании одного чудного стихотворения, которое нам всегда приходит в голову неразрывно с именем г. Фета. Мы вспомнили «Диану». Выписываем ее здесь, чтоб не слишком резко перейти и окунуться в омут журнальной ежедневности.

ДИАНА

Богини девственной округлые чéрты,
Во всем величии блестящей наготы,
Я видел меж дерев над ясными водами,
С продолговатыми, бесцветными очами;
Высоко поднялось упругое чело —
Его недвижностью вниманье облегло,
И дев молению в тяжелых муках чрева
Внимала чуткая и каменная дева.
Зефир вечеровой между листов проник —
Качнулся на воде богини ясный лик;
Я ждал — она пойдет с колчаном и стрелами,
Молочной белизной мелькая меж древами,
Взирать на сонный Рим, на вечный славы град,
На желтоводный Тибр, на группы колоннад,
На стогны длинные! Но мрамор недвижимой
Белел передо мной красой непостижимой[2].

Всякая похвала немеет перед высокой поэзией этого стихотворения, так освежительно действующего на душу; мы искренно пожалели, что г. Фет, которому природа дала лучший из даров своих — дар поэзии,— который так мастерски, так художественно-пластично умеет описывать «Диану», вздумал описывать Марью Ивановну и тому подобные личности (см. № X «Отечественных Записок», повесть «Дядюшка и двоюродный братец»). Попытка совершенно не удалась, чему мы, признаемся, душев-

но рады; авось вторая неудача охладит г. Фета к прозе и возвратит его к настоящему его делу — к стихам.

За повестью г. Фета следуют в «Отечественных Записках» путевые заметки г. Гончарова о «Манилле». Нужно ли говорить, что статья прекрасна, отличается живостью и красотой изложения, свежестью содержания и той художнической умеренностью красок, которая составляет особенность описаний г. Гончарова, не выставляя ничего слишком резко, но в целом передавая предмет со всею верностью, мягкостью и разнообразием тонов? Не далее как в прошлом нумере нашего журнала помещена статья г. Гончарова «От Мыса Доброй Надежды до Явы»; статья не велика, но уже по ней могут судить читатели, как увлекательно рассказывает романист-путешественник свои впечатления.

За «Маниллой» помещено начало романа Гаклендера [3] «Европейские негры». Перевод немецкого романа в настоящей нашей литературе — такое редкое явление, что его невозможно пройти молчанием. Мы прочли первую часть и не можем поздравить журнал с особенно счастливым приобретением. Скука, бесцветность, сентенции столько же благонамеренные, сколько и лишенные жизни, холод и отсутствие малейших проблесков поэзии — вот характеристические свойства романа.

〈Далее опущено изложение романа Гаклендера и цитаты из него.— Р е д.〉

Нет, недаром вся Европа признала, что легкая литература Германии переживает период упадка, что черпать из нее нечего. В политических романах Гуцкова есть хоть то достоинство, что они характеризуют настоящее состояние Германии,— у Гаклендера не нашли мы покуда и этого. Недавно у нас в журналах пошли толки, что английские романы надоели; что переводить все с английского, да с английского, все Теккерея и Диккенса — наконец скучно и однообразно... Конечно, относительно «Редклифских Наследников» [4], «Окорока Ветчины» [5] и тому подобных, пожалуй, и так,— но что касается Теккерея и Диккенса, то не худо помнить, что это лучшие е в р о п е й с к и е таланты нашего времени; что однообразие при постоянном печатании их произведений существует только для читателей, не идущих далее оглавления журнальных книжек, и что во всяком случае поправить дело печатанием плохих немецких романов едва ли можно. Очень однообразная вещь печь хлеб все из муки да из муки; он даже не всегда и удается,— однакож никому не приходит в голову начать печь его из песку. Никакая реформа в литературе, даже самая незначительная, не совершается насильственно, по капризу, для разнообразия; все приходит своим чередом, по своим законам, корень которых в действительности; упадок французской литературы и в то же время блестящее развитие английской — привели русскую литературу к необходимости знакомить своих читателей с писателями Англии; может быть, очередь дойдет и до Германии...

Лучшее в романе Гаклендера — его заглавие, но оно слишком широко... Мы возвратимся к роману Гаклендера, при его продолжении, если окажется нужным.

〈Далее опущена страница о «Дневнике чиновника» Жихарева — совет «Отечественным Запискам» прекратить печатание его или печатать с большими сокращениями.— Р е д.〉

Новое издание «Сочинений Гоголя» и пяти глав II тома «Мертвых Душ» начинает вызывать толки о Гоголе, к сожалению, довольно бледные или односторонние, не представляющие ничего целого. Октябрь месяц дал две статьи о Гоголе,— одну в «Библ. для Чтения», другую в «Отечественных Записках».

Насколько незначительна статья г. Р-ва, в «Библиотеке для Чтения», не заключающая в себе ничего, кроме благородного, но вполне неудавше-

гося желания сказать что-то о Гоголе хорошее и новое, настолько же любопытна статья г. Писемского по поводу второго тома «Мертвых Душ». Прежде всего, однакож, нужно сказать, что эта статья не имеет ничего общего с тем, что разумеют под словом к р и т и к а. Если вы захотите искать в ней проницательного и всестороннего проникновения в сущность поэзии Гоголя, то она вам не даст ничего или почти ничего, с этой стороны следует подступать к ней даже с осторожностию и оглядкою; но в ней вы найдете несколько, так сказать, ч а с т н ы х заметок о Гоголе, заметок верных, метких и если не всегда новых, то хорошо сказанных. К таким относим мы все, что говорит автор о Тентетникове, о Костанжогло, о генерале Бетрищеве, в особенности о Хлобуеве. Но взгляд автора на Гоголя вообще не глубок и односторонен, вследствие чего значение Гоголя, его деятельность, самое его влияние — все под пером г. Писемского, так сказать, сужено (конечно, без намерения: г. Писемский жаркий поклонник Гоголя и не без основания называет себя учеником его). Он мерит Гоголя на довольно обыкновенную мерку и приходит иногда к странным выводам. Так, он почти вовсе отказывает Гоголю в лиризме (подумал ли критик, на какое бедное значение низводит он одним словом великого писателя, и как бы это было прискорбно, если б было справедливо?) Это делает он на основании двух-трех неудачных лирических отступлений в первом томе «Мертвых Душ». Но почему же г. Писемский позабыл «Невский проспект», позабыл «Разъезд», в котором найдем чудные лирические страницы, позабыл «Старосветских помещиков», чудную картину, всю, с первой до последней страницы, проникнутую поэзией, лиризмом? Ах, г. Писемский! Да в самом Иване Иваныче и Иване Никифорыче, в мокрых галках, сидящих на заборе — есть поэзия, лиризм. Это-то и есть настоящая, великая сила Гоголя. Все неотразимое влияние его творений заключается в лиризме, имеющем такой простой, родственно-слитый с самыми обыкновенными явлениями жизни — с прозой,— характер, и притом такой русский характер! Что̀ без этого были бы его книги! Они были бы только книгами — лучше многих других книг, но все-таки книгами. Гоголь неоспоримо представляет нечто совершенно новое среди личностей, обладающих силою творчества, нечто такое, чего невозможно подвести ни под какие теории, выработанные на основании произведений, данных другими поэтами. И основы суждения о нем должны быть новые. Наша земля не оскудевает талантами — может быть, явится писатель, который истолкует нам Гоголя, а до тех пор будем делать частные заметки на отдельные лица его произведений и ждать — это полезнее и скромнее. Что до нас, то мы всегда принадлежали и надеемся впредь принадлежать к тем, которые, по словам г. Писемского, питали п о л н у ю в е р у в л и р и з м Г о г о л я, и думаем, что в России много найдется людей, думающих одинаково с нами. Напрасно г. Писемский ссылается на «горячего, с тонким чутьем, критика»[6], который будто бы, по п р е и м у щ е с т в у, открыл в Гоголе социально-сатирическое значение. Критик, о котором говорит г. Писемский, выше всего ценил в Гоголе — Гоголя-поэта, Гоголя-художника, ибо хорошо понимал, что без этого Гоголь не имел бы и того значения, которое г. Писемский называет социально-сатирическим. Вспомним, что самое слово п о э т в применении к писателю-прозаику начало на Руси появляться в первый раз в статьях этого критика по поводу Гоголя. А до него у нас думали, что поэтами называют только людей, пишущих стихи.

Нельзя согласиться также и с некоторыми частными замечаниями г. Писемского о второй части «Мертвых Душ». Так нам кажется и неверно, и неуместно по тону замечание его о Кошкареве, которого г. Писемский называет каррикатурой: «А чтоб придать ему (продолжает он) хоть с к о л ь к о - н и б у д ь ч е л о в е ч е с к у ю ф о р м у, автор называет

его сумасшедшим. Лицо это совершенно не удалось, и в создании его вы решительно не узнаете не только юмориста, но даже сатирика, даже пасквилиста, и оно мне совершенно напоминает изображения Европы, Азии, Африки, Америки в виде мифологических женщин, как будто страна, хоть, например, Азия, может быть остроумно и понятно изображена в фигуре женщины, с черными волосами и, с огненными глазами и, пожалуй, с кинжалом в руке...» (стр. 71). Это описание лубочной картинки и красноречивое осмеяние ее, несмотря на всю тонкость свою, едва ли найдет себе сочувствователей

ОФЕНЯ-КОРОБЕЙНИК

Картина маслом Н. А. Кошелева, 1865 г.

Третьяковская галлерея, Москва

в применении к одному из лиц, выведенных Гоголем. Что Кошкарев, как многое во втором томе «Мертвых Душ», нуждается в окончательной отделке, что он может быть даже нуждается в ней более, чем другие лица — с этим согласится всякий, но страсть возводить свое частное хозяйство на степень административного учреждения, откуда, как ручьи в широкий бассейн, все притекало бы к личности хозяина, усилие поправить недостаток порядка не отвержением системы, а расширением тех же мер, самое помрачение Кошкарева на этой идее (мы сомневаемся в его полном сумасшествии и, во всяком случае, не думаем, чтоб Гоголь мог взять сумасшествие, это античеловеческое состояние, для придания Кошкареву человеческой формы),— все это задатки такого характера, который даже и в первоначальном, слабом очерке никак не дает нам права на сравнение его с лубочными картинками, украшающими комнаты станционных смотрителей. Еще менее верен, по нашему мнению, укор г. Писемского

Гоголю за анекдот о черненьких и беленьких, осуждаемый критиком как неудачный и лишенный значения. «Следовало бы,— говорит он,— взять более резкий и типический случай, которых много ходит в устных рассказах». Это решительное: «следовало бы» замечательно в устах начинающего писателя, который сам называет себя поклонником и учеником Гоголя. Очевидно, что здесь г. Писемский, как писатель не без таланта, увлекся мыслию о том, как сам бы он выполнил эту сцену — и пришел к убеждению, что он выполнил бы ее лучше. Только следствием такого убеждения мог быть приговор столь решительный и откровенный, и только поэтому читатель встречает его без улыбки. Лучше ли бы выполнил эту сцену г. Писемский — это вопрос, но в суждениях наших о недостатках и ошибках Гоголя не забудем, что он был не только художник, но и проницательный, строгий критик своих произведений. Не забудем также, что анекдот о «черненьких и беленьких» обошел всю Россию прежде, чем вторая часть «Мертвых Душ» явилась в печати, возбуждая всюду смех, тысячи забавных применений и служа коротким и резким определением множества однородных с ним фактов: значение, которому суждено долго за ним оставаться. Это ли доказательство, что анекдот выбран неудачно? Нет, мы сомневаемся, чтоб кем-либо мог быть выбран пример с большею меткостью и вместе умеренностью, обличающею такт истинного художника. Правда, много ходит устных рассказов, и Гоголь, конечно, знал их не менее каждого из нас. Но многие ли удостоились чести целиком попасть в его сочинения?

Нечто родственное с замечанием, о котором мы сейчас говорили, и — так сказать — поясняющее его, слышится нам в следующей фразе г. Писемского, ведущей впрочем к весьма дельной заметке о Костанжогло: «Зная отчасти Россию и вглядываясь внимательно...» и проч. Зачем вы говорите нам о вашем знании России, когда вызвали нас послушать о Гоголе? Это невыгодно для вас.

Еще одно замечание, может быть, незначительное, но когда речь идет о таком писателе, как Гоголь, то лучше сказать лишнее, чем не договорить. Нам не понравилось, что г. Писемский прилагает к Гоголю слово «пасквилист», — то-есть мы не думаем, чтоб подобным названием он оскорблял его память — замечание, которое сделал об нас один критик по поводу подобного обстоятельства, — * но мы думаем, что оно совершенно нейдет к Гоголю. Под словом «пасквиль», «памфлет», в самом лучшем их значении, разумеется сатира односторонняя, носящая на себе горячечный след страстей и увлечений времени, ее породившего, не обегающая решительных приговоров о лицах, еще действующих, о событиях, еще не успевших определиться. Ничего подобного не найдете в сочинениях Гоголя. Можно наверное сказать, что во всей России ни один человек не

* В «Москвитянине» № 13 или 14 г. А. Григорьев объявляет с укором, что «Современник» позорит память Пушкина, перепечатывая пасквили на него,— на том основании, что мы, говоря об отношениях к Пушкину критики его времени, перепечатали, между прочим, пародию на Пушкина из «Телеграфа»[7]. Этот упрек можно только объяснить следующими словами г-на же Григорьева: «Признаемся — говорит он в своей статье — мы с злобной радостию следили за промахами современной критики». В злобе редко человек сохраняет здравый смысл и способность видеть вещи такими, каковы они есть. Не г-ну Григорьеву учить нас любить и чтить память Пушкина, не г-ну Григорьеву, который, вступаясь за память одного покойника, не нуждающегося ни в чьей защите, в то же время покрывает осуждением другого, нуждающегося если не в защите, то в полном признании своих заслуг [8],— и с каким спокойствием делает это г. Григорьев, знающий твердо, что те, которые бы хотели вступиться за того, на кого он нападает, не имеют в руках своих равного с г. Григорьевым оружия! Это лишило нас всякой охоты говорить подробнее о статье г. Григорьева и входить с ней в какие-либо прения, чего она заслуживает по некоторым дельным и метким замечаниям, рассеянным в ней на ряду с бессмыслицами и комическим самохвальством.

найдет, чем обидеться *лично* во всех его сочинениях, чего нельзя сказать о последнем фельетонисте с покушением на остроумие по поводу промокших сапогов пешехода. Чем дарование слабее, тем легче и неизбежнее пасквиль закрадывается в произведение; но он *ни насколько* не входит в творчество — или перестает быть пасквилем. Гоголь был юмористом в самом высоком и чистом значении слова, со всем спокойствием и беспристрастием художника, возводящего явления жизни в перл создания. Это выражение, столь часто, но не всегда удачно повторяемое, в приложении к его произведениям имеет полный и прекрасный смысл.

В заключение мы должны повторить, что статья г. Писемского все-таки приятное явление среди фельетонной мелкоты, на степень которой низошла современная критика.

При малочисленности специальных изданий, наши литературные журналы по необходимости должны иногда отдавать несколько своих листов каким-нибудь важным историческим материалам. Положим, что это дело, собственно говоря, чуждое журналу, издающемуся не для одних ученых, а для всей публики, требующей от журнала не «Собрания грамот и актов», а статей, удобных для чтения. Но журналы могут отвечать в подобных случаях: «если этот материал не будет напечатан у нас, то он останется вовсе ненапечатанным» — и против такого ответа нечего сказать при том условии, что материал, о котором идет дело, важен для истории и не был еще известен публике. Но какая необходимость помещать в журнале статью, которая состоит из утомительных перепечаток и нимало не важных выписок? Такова именно статья г. Д. Р-ого, «Академия Художеств до времени императрицы Екатерины II» («Отеч. Зап.», № X).

⟨Далее опущены отзывы как об этой статье, принадлежащей Д. Ровинскому, так и о статье П. П. Семенова «Гольфштром». — *Ред.*⟩

В «Москвитянине» № 13 и 14 (одна книжка) помещено продолжение «Севастопольских Писем» г. Б⟨ер⟩га. В них, как и в предыдущих, попадаются места интересные. Жаль только, что г. Б⟨ер⟩г в них, так сказать, распахнулся (а это не для всякого писателя выгодно), дал полную волю своему перу и к делу начал примешивать безделье такого рода:

Все как прежде в Севастополе...
Были вылазки на-днях —
Много нехристей ухлопали
В их же балках и во рвах.
Ходят ялики и ботики
К Графской пристани... а я
Так же роксь в Библиотеке,
Хоть от бомб там нет житья... и пр.

Сколько необходимо и можно сохранение даже самых мелких подробностей обороны Севастополя, столько же не нужно сохранение подобных виршей, в которых не только нет ничего хорошего, но даже есть нечто неприятное, в особенности бестактное.

В «Москвитянине» нашли мы еще стихотворение «Цветок на могилу незабвенного К. Н. Батюшкова». Плохое. Не стишки нужны бы теперь о Батюшкове, а дельная его биография, но дождемся ли мы ее? Неизвестно.

⟨Далее опущен отзыв об «Очерке жизни и трудов князя П. А. Ширинского-Шихматова». — *Ред.*⟩

В X № «Библиотеки для Чтения» особенно понравился нам небольшой очерк г. Яновского «Кушник», переносящий нас в безлюдье глубокого севера, в самую глушь Архангельской губернии. Не дурен также очерк г. Максимова «Нижегородская Ярмонка». Хорошо переведены г. Крешевым две «Оды» Горация: 1) «Помпею» и 2) «Слуге».

Мы искренно желали бы сказать что-нибудь хорошее о стихотворении г. Никитина «Неудачная присуха», но хорошего ничего сказать не можем.

Г. Никитин не без дарования, но он лишен чувства меры, не богат вкусом и не выдерживает народного тона своих стихотворений [9] — недостатки, портящие почти каждую его пьесу. И в «Присухе» есть удачные стихи, именно все, что относится к описанию глупого деревенского парня:

Лицо некрасиво,
На вид простоват,
Но сложен на диво
От плеч и до пят...
. . . .
И с радости дома
Так парень мой спал,
Что бури и грома
Всю ночь не слыхал.
. . . .
На крепкие руки
Припав головой,
Колотит от скуки
Об лавку ногой —
И вдруг повернулся,
Плечо почесал,
Зевнул, потянулся
И громко сказал...

Но все остальное в стихотворении, кроме выписанных нами строк, слабо, бесцветно и очень растянуто.

В «Современнике», № X, мы не считаем лишним указать на статью Карлейля «О героях и героическом в Истории». Так как она принадлежит писателю с европейской известностью, то мы можем ее хвалить сколько душе угодно, не опасаясь никаких подозрений. Но хвалить Карлейля — дело лишнее. Это один из самых знаменитых людей нашего времени. Только на Руси он почти не был известен. И мы не можем достаточно возблагодарить В. П. Боткина, который взял на себя труд познакомить русскую публику с гениальным мыслителем. Подобный труд не мог бы быть выполнен обыкновенным переводчиком: нужно проникнуться любовью к писателю, сочувствием к его воззрению на жизнь и природу, нужно сверх того самому иметь талант, чтоб передать на другой язык эту оригинальную, увлекательную прозу, так не похожую на обыкновенный литературный язык,— прозу, приближающуюся к поэзии более, чем множество стихотворных произведений. Сила и глубина мысли, при лирической стремительности, картинности выражения, — вот достоинства Карлейля в подлиннике; они перешли и в перевод. К этому мы еще можем прибавить, что есть вещи, которые мало прочесть один раз: часто только при вторичном чтении раскрываются читателю их лучшие стороны. Статья Карлейля принадлежит к таким вещам.

В нынешнем XI № «Современника» попросим читателей обратить внимание на рассказ г. Окова и на стихотворение г. Гранкина. Но не считаем нужным указывать на статьи г. г. Боткина и Дружинина и еще менее на повесть г. Тургенева [10]. Что касается до г. Тургенева, то для славы ему недостает только одного, чтоб явился какой-нибудь ожесточенный гонитель его произведений, разобрал бы их по косточкам и доказал бы до очевидности ясно, что они никуда не годятся. Но что прикажете делать! Нет и нет такого человека! Точно так, как нет и такого, который написал бы о них дельную статью, раскрыв, почему он так им сочувствует, и доказав, что сочувствие это вполне справедливо.— Критика в апатии... Впрочем, что касается до брани, то не забудем, что г. Тургеневу доставалось достаточно в первое время его поприща. У всякого писателя своя судьба. Иного бранят с начала поприща, иного посередине, иного при конце; редко, но бывают и такие счастливцы, которых бранят и сначала, и посередине, и при конце.

Заключим наши заметки литературной новостью. Недавно г. Тургенев окончил и отдал уже нам новую свою повесть, под названием «Рудин». По объему это целый роман, а по содержанию, как последнее произведение таланта развивающегося, новая повесть г. Тургенева представляет и новые достоинства. «Современник» считает себя счастливым, что может начать свой следующий год таким произведением...

<«Современник» 1855, № 11, 71—87; без подписи>

РУБКА ЛЕСА
Картина маслом И. И. Шишкина, 1867 г.
Третьяковская галлерея, Москва

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Т. Н. Грановский, близкий в середине 40-х годов к Белинскому, Герцену, Огареву, занимал более умеренную позицию; поворот Герцена влево, от либерализма к социализму, не коснулся Грановского и привел к разрыву между ними.

Отношения Грановского и кружка «Современника» не были особенно близкими даже при жизни Белинского; Грановский был склонен в равной мере поддерживать «Отеч. Записки» Краевского, стремился помирить оба конкурирующих журнала, а к самим Панаеву и Некрасову относился сдержанно, порою враждебно (ср. «Т. Н. Грановский и его переписка», II, 276, 431, 468). Однако, каковы бы ни были непосредственные личные отношения, Грановский был для литераторов круга «Современника» одним из наиболее крупных, уважаемых и любимых общественных деятелей. Его неожиданная смерть ощущалась ими как большое несчастье, как тяжелый урон для просвещения и общества.

[2] Выбор этого стихотворения (впервые напечатанного еще в «Стихотворениях» А. Фета М., 1850) очень характерен для того несколько рационалистического понимания Фета, при котором наивысшую оценку получали его «антологические», «пластические» стихотворения и не принимались в расчет, откидывались, как «непонятные», все наиболее впечатляющие элементы его творчества, составлявшие все его своеобразие. Таким образом, Фет воспринимался, в сущности, вне его индивидуальной поэтики, в одном ряду, скажем, с «пластиком» Аполлоном Майковым. При этом, естественно, должны были наиболее одобряться именно стихотворения, подобные процитированной Некрасовым «Диане». И действительно, это стихотворение высоко оценивалось современниками (Тургеневым, Дружининым, В. П. Боткиным; см. сводку их восторженных отзывов в примечании Б. Бухштаба к изд.: А. А. Фет, Полное собрание стихотворений.—«Советский Писатель» 1937, стр. 707).

[3] Гаклендер (Fr. W. v. Hackländer, 1816—1877) — известный немецкий беллетрист. Среди его произведений, имеющих характер безобидного юмора, разбираемый

Некрасовым роман «Europäisches Sklavenleben» (1854) стоит особняком как не вполне удачная попытка выступить в роли социального сатирика-моралиста.

[4] «Редклифские наследники» (The Heirs of Redcliffe, 1853) — роман Ш. Иондж (Jonge, 1823—1901).

[5] «Окорок ветчины» — повидимому, «Окорок единодушия»— роман Ю. Энсворта (Ainsworth, 1805—1882).

[6] Имеется в виду Белинский.

[7] В своих «Замечаниях об отношении современной критики к искусству» А. Григорьев, нападая на третью статью Н. Г. Чернышевского по поводу «Сочинений Пушкина» в издании Анненкова («Современник», 1855, № 7), писал: «И чем же доказывает он свое положение? <о том, что современная Пушкину критика «была не так поверхностна и пуста, как обыкновенно думают»>... пародией на стихотворение Пушкина «Поэт и Чернь», помещенной в «Телеграфе», пародией, которую как бесчестящую ее, может быть одумавшегося, сочинителя, не следовало перепечатывать, пародией, ругающейся над великим поэтом...».

[8] Некрасов имеет в виду Белинского, имя которого было запретным в тогдашних условиях; это обстоятельство раскрывает смысл намека, содержащегося в следующих словах Некрасова: «...те, которые бы хотели вступиться за того, на кого он нападает, не имеют в руках своих равного с г. Григорьевым оружия!»

[9] В стихотворениях Никитина, среди условно-крестьянской разговорной речи, иногде встречались слова литературно-«поэтической» сферы:

— Эх, тошно, родная!
И днем и во сне
Сторонка родная
Все грезится мне...
. . . .
Но очи недвижно
Смотрели вперед... и т. д.

[10] В ноябрьской книжке «Современника» были помещены статьи: В. П. Боткин. Выставка в императорской Академии художеств. Октябрь 1855 года; А. В. Дружинин, Георг Крабб и его произведения, статья первая; повесть Тургенева «Постоялый двор».

ЗАМЕТКИ О ЖУРНАЛАХ ЗА НОЯБРЬ 1855 года

Читатель, вам, вероятно, часто случалось слышать, а может быть, и самому говорить, что в наше время в самом воздухе есть что-то располагающее — как бы сказать, к откровенности, к излияниям, к признаниям,— одним словом, к сознанию, с которым неразрывно связано стремление к усовершенствованию... Благородная, великая черта времени! великая и высокоутешительная черта в народе, могучее доказательство здоровья и силы, залог прекрасного будущего! Эта черта отразилась, между прочим, и на русской литературе. Кто читает журналы, тот не мог не заметить, что в последнее время критика наша вступила в акт сознания, сознания своей мелочности, пустоты, раздробленности, крайнего потворства, пристрастия и бессилия. Это сознание постоянно росло, становилось смелее и, наконец, в прошлом месяце выразилось ясно, резко и до самоотвержения благородно. Откуда бы ни подул первый ветер, нам приятно сказать, что честь смелого и прямого признания принадлежит «Отечественным Запискам»[1]. Приглашаем читателей пробежать следующую страницу:

«...Когда журналы привыкли к своим рутинным пределам и заключили в них все литературные и богатую часть самостоятельных ученых трудов — все журналы начали обозревать друг друга. Шутка сказать! Журнал обозревает другой журнал! Можно себе представить, как прилежно, усердно они устремили друг на друга взоры. Часовой, который ходит на каланче, не смотрит так пристально на дым, вылетающий из трубы вверенной ему части, как обозреватель начал обозревать литераторов и сотрудников, — не проронит ли из них кто-нибудь обмолвки, а редакция не пропустит ли опечатки. Но это бы еще ничего: это мелочи; а мелочи всякий легко заметит. Зло крылось не там, а в отношениях критики к литературным талантам.

Тут журналист и литератор были поставлены в странные отношения. Положения между журналистами и литераторами возникли такие: или литератор (подлежащий критике) вовсе не участвует в журнале, или, напротив, он исключительно участвует в одном этом журнале. Это два самые простые положения, которые могли быть объяснены предубеждением автора против одного журнала и любовью к другому, любовью писателя к одному изданию и нелюбовью к другому, потому что с направлением одного он согласен, с направлением другого не согласен. Одним словом, какие бы ни были причины, но в этом случае они не сложны, и следствия их легко могут быть объяснены. Похвалы критики в этом случае, или справедливые, или пристрастные, для читателя могут быть ясны. Повторяем: это положение самое простое. Но дела изменялись, когда автор, участвующий в журнале, переходил в другой журнал; мнения о писателе в этом случае начинали обыкновенно колебаться, по причинам, о которых публика никак не могла догадаться. С одной стороны, писателя начинали больше хвалить, с другой — начинались легкие гонения, которые крепчали и крепчали по мере того, как отступничество автора делалось невозвратным. Во всех этих положениях авторам нужна была некоторая самостоятельность и гордость, чтоб выносить хладнокровно, а может быть, и с презрением подкопы неприязненного журнала под его репутацию. Во всех этих случаях нашей журнальной жизни автор должен был обладать некоторою твердостью характера... Но что прикажете делать тому, кто не обладает этою силою характера в достаточной степени, или кого, по доброте душевной, увлекают многие или даже все журналы, который не имеет твердости отказать одному, сказать прямо жесткое слово другому? Они должны участвовать во всех журналах! Это положение, самое выгодное для писателя, но в то же время и самое бесцветное, ставит журнальных обозревателей просто в тупик. Все теории, весь вкус, весь навык писать рецензии делаются здесь недостаточными, чтоб скрыть шаткость отзывов. Посудите сами, как тут быть. Писатель, которого, например, я намерен разбирать во враждебном журнале, написал, положим, дурную статью. Что должен я сказать? — что она дурна и что у автора мало таланта? Но этот автор пишет в моем журнале, и, отзываясь невыгодно о нем, я бросаю подозрительный свет и на свой собственный журнал. Я должен хвалить его? Но тогда автор, приобретший дурную привычку помещать статьи во всех журналах, пользуясь такою снисходительностью, будет помещать только дурные статьи в моем журнале, а все лучшие во враждебном... Как быть? Ведь у нас нет еще журнала исключительно критического. Мы нуждаемся в стихах, мы нуждаемся в повестях, мы нуждаемся в ученых статьях. Талантливые сотрудники известны наперечет. Что ж, если мы начнем прямо, добросовестно высказывать им в глаза наше мнение? Этак, пожалуй, они отойдут в другой журнал...» («Отеч. Зап.», № XI, стр. 22).

Все это истины — горькие, но не подлежащие сомнению! К ним следует только прибавить, что в то время как в верхних слоях журналистики все эти печальные явления обнаруживались постепенно в формах более или менее приличных, доходили лишь до известной степени, оставляя иногда место правде, уважению к искусству и к читателям,— в слоях второстепенных дело пошло иначе: пристрастие, отношения, мелочные закулисные соображения стали на первом плане, и, кроме них, ничего уже не хотела знать критика тех журналов, в которых уважение к истине

никогда не было первенствующим началом *. Критика быстро пошла к падению,— остановить этот поток не было никакой возможности, ибо в общей схватке на критической арене не осталось уже ни одного бойца без пятна и упрека, который смело, с полным правом мог бы возвысить свой голос против распространяющегося зла. Но всему есть граница; в самом падении лежит возможность обновления и восстания, — разумеется, для тех, в ком не вовсе умерло животворящее начало истины. Влияние страстей, личных отношений, соперничества не чуждо, до некоторой степени, всякой деятельности в ее кипучем пылу, но когда страсти заходят слишком далеко, и ложь в ее более податливых представителях готовится праздновать полное торжество, дерзко колебля треножник искусства, а с ним и правды,— личные страсти должны умолкнуть! Иначе нас заподозрят, что никакие движения, кроме этих мелких страстей, нам недоступны, и будет гибнуть бесплодно даже и то в нашей работе, что есть в ней истинного и чистого. Вот с какой точки зрения считаем мы приведенное выше признание «Отеч. Зап.» чрезвычайно важным и благородным. Дело самой публики определить, кому какая доля принадлежит в ныне обличаемом зле, но, если нужно, и мы, с своей стороны, готовы дойти до самообвинения, лишь бы сделать возврат к прежнему ходу дел невозможным. Вот о чем должно теперь подумать — и подумать серьезно. Всякая перемена к лучшему начинается с отрицания прежде бывшего сознания, его несостоятельности или полной негодности. Акт этого сознания совершился. Нужно идти далее. Но ведь отношения журналов к пишущим, пишущих к журналам — остаются те же... Следовательно, что же делать? как же быть? Неужели после честного и откровенного сознания в негодности системы снова возвратиться к ней? бранить чужих, хвалить своих, снова пустить в ход фигуры умолчания, уклончивости, задавая читателю шарады там, где он требует дела, и постепенно дойти опять до перечисления опечаток, переборки старых фельетонов и доброжелательных намеков, что у такого-то журнала нехватает денег на расплату с сотрудниками, тогда как у другого сундуки ломятся от золота?.. Это было бы слишком горько, это было бы постыдно. И если что-нибудь подобное будет, то мы спешим сказать, что не перо, пишущее эти строки, посягнет на такую работу и — нам приятно было бы думать — не перо, написавшее благородную статью в XI № «Отечественных Записок». Но вот мы и договорились до единственного средства, которое, по нашему крайнему разумению, может помочь делу. Это средство очень простое, о котором не раз толковалось, но которое теперь само вызывается к применению. Это средство — выставлять имя под журнальными обзорами и всякими критическими и полемическими статьями. Изо ста дурных дел девяносто девять совершаются во мраке, и только одно при дневном свете. Свет — хорошая вещь во всем и всегда. Чем сложнее и таинственнее машина, в которой скрипят перья, затекают десятки рук и которая на тридцатый день выбрасывает в книжные лавки толстую книгу с повестями, науками, критикой, фельетонами, тем злоупотребление мнений удобнее, соблазнительней и безнаказанней. Сегодня пишет один, через месяц другой, там третий. Кто написал ту статью, кто другую, не знает не только публика, но даже не всегда знают близкие к литературе люди. Они знают только, что в таком-то журнале работают такой-то и такой-то, и человек, напечатавший вчера нечестную статью, сегодня является в их

* Чтоб убедиться, до чего дошло, наконец, это критическое растление, довольно пробежать следующие статейки, явившиеся не далее как в прошлом месяце. Не в том дело, что разбираемые статьи не нравятся критику, но с какой точки он смотрит, какие побуждения им руководят!

〈Далее опущены отзывы «Библиотеки для Чтения» о «Современнике» и «Отечественных Записках».— Р е д.〉

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К СТИХОТВОРЕНИЮ «ПСОВАЯ ОХОТА»
Хромолитография с акварели П. П. Соколова
«Альбом акварелей к стихотворениям Н. А. Некрасова». Приложение к журналу «Север» на 1894 г.

круг совершенно спокойно, с ясным и открытым лицом. Для него, таким образом, нет суда не только общественного, но даже и своего домашнего. Совесть его с каждым месяцем делается менее щекотливою, он доходит быстро до решительного бесстыдства, и позор его деятельности разделяется между всеми его товарищами, падая даже на таких, которые имеют и честные убеждения и любовь к искусству и только горько пожимаются при известии, что такая-то или такая-то статья приписывается им. Обтерпевшись и видя, что как ни действуй — все одно, и эти последние не строго выдерживают характер: журнальная ржа проедает понемногу даже честные и сильные души... Не говорите нам о том, что за мнения журнала отвечает журнал, журналист, редакция. Это, может быть, было хорошо прежде, но теперь этого недостаточно. Все знают, что не вы одни пишете в вашем журнале, следовательно, вы отвечаете за других,... кто же не знает, что в деле моральной ответственности отвечать за других значит почти то же, что ни за кого не отвечать? То ли это, что отвечать за себя, за *свой* ум, за *свою* честность? Самый нещекотливый человек задумается произнесть сомнительное слово, если должен его скрепить свидетельством своего имени. Конечно, где не бывает исключений! Есть люди, ворующие среди белого дня, с открытым лицом; но если б для похищения чужой собственности достаточно было протянуть руку, не обнаруживая лица — сколько протянулось бы рук?

Вы теперь очень спокойно говорите и печатаете, что «авторы и *критика* сообща *обманывали* публику». («Отечественные Записки», № XI, журн. стр. 25). Какая критика? — Критика журналов, отвечаете вы. Но попробуйте поставить вопрос таким образом: *кто* был орудием этого обмана в таком-то журнале? Кто в таком-то? Вы увидите тотчас, что отвечать будет не так легко. Вот почему

важна подпись имен. Она важна и в другом отношении. Публика наша никогда не отдавала своей симпатии журналу без того, чтоб эта симпатия не выразилась определенно в сочувствии к тому или другому лицу, действующему в журнале. Так было с «Телеграфом», так было с «Отечественными Записками» сороковых годов[2]. И зато какая вера была к журналу, какая живая связь между им и читателями! Если лицо, влекущее симпатию публики, само не сказывалось, публика узнавала его сторонними путями и освобождала журнал от великодушной и смешной роли ответчика. Только в последние годы ход дела изменился, конечно, не к лучшему, — живые личности, говорящие с публикой, всегда были и будут для нее интереснее отвлеченного представления: «журнал», которое теперь предлагают взамен их. Итак, дайте же простор личностям, покажите — чьими устами вы говорите? публика скоро разберет, кто говорит дело, кто нет; быть может, найдутся такие люди, которые пробудят ее симпатию, — тем она будет верить, а об остальных будет знать, что думать. Таким образом, выиграет и литература и справедливость, а вы освободитесь от затруднительного положения, на которое теперь, не без основания, жалуетесь. Теперь говорят: «Современник» (или «Отечественные Записки») меня обругал...», а тогда будут говорить: «такой-то критик меня обругал». Конечно, тут остается еще выход оскорбленному авторскому самолюбию в претензии, зачем журнал напечатал неблагоприятный отзыв... Но это только до времени, пока критик не приобретет авторитета. Однакож время кончить эти скучные рассуждения. Какими бы они ни показались читателю, мы их набросали здесь в доказательство нашей готовности сделать все, что можем с своей стороны для того, чтоб русская критика вышла на прямую дорогу.

Может быть, кто-нибудь нам скажет: всякое дело, предлагаемое другим, должно начинать с себя: почему ж вы не выставляете имени под вашими статьями? До сей поры мы этого не делали из опасения увеличить взыскательность читателей к нашей спешной работе, но если б наше предложение нашло сочувствие, мы с удовольствием принесли бы эту, в сущности ничтожную, причину в жертву нововведению, которое считаем полезным и нужным.

В то время, как таким образом проявляется усилие облагородить современную критику, а с тем вместе и поднять в общественном мнении литературу, — находятся люди, которые... действуют совершенно в другую сторону. Так, недавно «Северная Пчела» возобновила свои нападения на Гоголя, но так как эти выходки были уже обличены*, то мы переходим прямо к тому, что говорится в № 255 «Северной Пчелы» о Пушкине. Автор статейки г. К. П.[3] недоволен трудом г. Анненкова, и как издателя, и как биографа. Издание ему не нравится за опечатки (в этом он прав — до некоторой степени), а биография — за то, что г. Анненков не в ы с т а в и л Пушкина таким, каким разумеет его К. П. По словам г. К. П., г. Анненков «как будто задал себе задачу не д о г о в а р и в а т ь н и ч е г о, представлять многое в п р е в р а т н о м в и д е и х в а л и т ь Пушкина, точно как члены французской Академии» и прочее... Хвалить! а по мнению г-на К. П. следовало делать совершенно противное!

«Конечно, теперь еще нельзя говорить о нем в с е г о; но через осмнадцать лет после его кончины, при утвердившейся незыблемо славе его, как поэта, можно и должно определить: какого рода был он поэт! Для этого необходимо рассмотреть направление и философию того общества, в котором он воспитался до юношеских лет, изобразить теорию, господствовавшую в словесности, указать великих современных поэтов ино-

---

* <Примечание — цитаты из статьи М. Р. «Несколько слов о Гоголе» («С-Петербургские Ведомости», № 259) — опущено.— Р е д.>

странных, которые имели на него влияние, наконец представить характер и жизнь самого Пушкина — и нам объяснится все в его сочинениях: и достоинства их, и недостатки, и легкие успехи поэта в первое время его деятельности, и озлобление, которое возбудил он против себя в современниках своею изменчивостью, своим тщеславием, которому готов был жертвовать всем».

Так вот чего не договорил г. Анненков! Пушкин отличался изменчивостью!!! Пушкин готов был всем жертвовать тщеславию!!! Но где же факты? где доказательства? Ни фактов, ни доказательств нет, да и быть не может.

«Пушкин слишком долго следовал философии, господствовавшей во Франции и у нас в начале нынешнего столетия, и хотя в последние годы своей жизни он чувствовал, как ничтожно растрачивались поэтические его силы, хотел расширить круг своей деятельности, делал попытки в разных родах, но слабость характера мешала и вредила ему вовсем: и в жизни и в сочинениях, заставляя часто изменять направление. Основною причиною этому была сроднившаяся с ним гибкая философия, от которой не мог он освободиться».

Все это грустно читать. Опровержения тут не нужны, но странно — неужели г. К. П. думает, что кто-нибудь поверит ему на слово в таком деле? От Пушкинского периода, прекраснейшего периода нашей литературы, уцелело еще несколько людей, не без пользы и славы проходивших одно с ним поприще,— людей, дорогих каждому русскому благородством характера и всей своей деятельности и за то облеченных доверием общества, — пусть бы еще кто-нибудь из таких людей сказал нам что-нибудь подобное... и тогда поверить этому было бы невозможно... Но дело в том, что никто из таких людей ничего подобного не скажет, — иначе они не были бы тем, что они есть, не были бы достойными Пушкина современниками, любившими и любящими в нем и друга, и человека, и поэта — гордость и славу своего отечества.

Все дальнейшее в статейке должно еще более удивить читателя.

«Ею (гибкою философиею) проникнут весь знаменитый рассказ об Онегине, пленительный красотою и прелестью многих стихов, умных отступлений, лирических мест, но выражающий собою и весь образ мыслей поэта. Он любуется, изображая светского шалуна, он не понимает ничтожности этого светского себялюбца, и вместе с ним подсмеивается над многим, что вовсе не смешно. Онегин готов, из корыстных видов, лицемерить у постели умирающего дяди, готов убить друга за пустую размолвку и важничать, почти как Хлестаков, перед провинциялами и провинциялками, чтоб (высшая цель!) наконец играть жалкую роль в светских салонах. Все это изображает поэт, явно поставляя Онегина выше всех его окружающих, обрисовывая с каким-то одобрительным самодовольством его фанфаронские затеи, его ничтожность, пустоту».

Опровержения и тут излишни. Все, что усиливается заподозрить в Пушкине г. К. П., — его глубокая любовь к искусству, серьезная и страстная преданность своему призванию, добросовестное, неутомимое и, так сказать, стыдливое трудолюбие, о котором узнали только спустя много лет после его смерти, его жадное, постоянно им управлявшее стремление к просвещению своей родины, его простодушное преклонение перед всем великим, истинным и славным и возвышенная снисходительность к слабым и падшим, наконец весь его мужественный, честный, добрый и ясный характер, в котором живость не исключала серьезности и глубины, — все это вечными, неизгладимыми чертами вписал сам Пушкин в бессмертную книгу своих творений — и пока находится она в руках читателей, ни г. К. П., ни подобные ему не подкопаются под светлую личность поэта намеками

на какую-то изменчивость, гибкую философию... и прочее. Мы первые знаем, что Пушкин не нуждается в защите, и пишем эти строки только для успокоения нашего личного негодования... да еще, может быть, с благодарностию прочтут нас люди очень молодые, но успевшие уже полюбить литературу и в ней Пушкина. В таких юношах, очень естественно, г. К. П. может затронуть чувство ученика, перед которым оскорбили бы его любимого наставника. Им мы можем сказать: не слушайте ни г. К. П., ни подобных ему. Читайте сочинения Пушкина с той же любовью, с той же верою, как читали прежде, — и поучайтесь из них. Читайте биографию Пушкина, написанную Анненковым, — верьте приведенным в ней фактам (они не выдуманы и не преувеличены), поучайтесь примером великого поэта любить искусство, правду и родину, и если бог дал вам талант, идите по следам Пушкина, стараясь сравняться с ним, если не успехами, то бескорыстным рвением, по мере сил и способностей, к просвещению, благу и славе отечества!

За мнениями о характере Пушкина следует в статейке приговор его литературной деятельности. Опровергать эту часть не стоит, но можно, для забавы читателей, выписать некоторые суждения г. К. П. «Его повести в прозе — произведения умного, искусного писателя, но не вдохновенного поэта. Он писал их с трудом, и сначала очень неудачно». Далее следует уверение, что пушкинская метода сочинения напоминает работу наборную, и в пример приводятся пять строк из «Летописи Горохина», почти слово в слово повторенных в «Дубровском» (описание запущенного барского двора). Так. Но г. К. П. позабыл прибавить, что «Дубровский» и «Летопись» явились в печать уже после смерти Пушкина. Если б Пушкин печатал эти повести сам, то, конечно, изменил бы сходное место; а что подобные перемещения больших и малых отрывков из одного сочинения в другое встречаются в черновой работе у всех писателей — великих и малых, — об этом, кажется, не нужно и говорить. Затем следует обвинение: зачем Пушкин не был поэтом всеобъемлющим, писателем превосходным во всех родах? «Хорошо почти все, что писал он; даже хороши «История Пугачевского Бунта» и критические его статьи; но не такие сочинения дают право называть его первостепенрым поэтом. Он великий поэт лирический, лучший наш версификатор; но вдохновение его всегда кратковременно, изменчиво, и оттого, можно сказать, не доставало его ни на поэму, ни на роман, ни на драму. Что такое его «Борис Годунов»? Прекрасные отдельные сцены, но не драма, которая могла бы быть представлена на театре».

В заключение своей статейки г. К. П. простодушно замечает: «вот какого рассмотрения сочинений Пушкина желали мы...» Верим, но любопытно знать, много ли в России найдется людей, разделяющих ваше желание?

В ноябрьских журналах, после прекрасной статьи (или вернее: поступка) «Отечественных Записок», замечательны некоторые строфы стихотворения г. Бенедиктова «К России». Оставляя слабую сторону стихотворения, выписываем удачные строфы, доказывающие, что г. Бенедиктов, когда захочет, может явиться истинным поэтом, без погремушек, без трескотни, сильным простотой и правдой, неразлучными спутниками поэзии:

Пусть нас зовут врагами просвещенья!
Со всех трибун пускай кричат, что мы —
Противники всемирного движенья,
Поклонники невежественной тьмы!
Неправда! Ложь!— К врагам готовы руку
Мы протянуть: давайте нам науку!

Уймите свой несправедливый шум!
Учите нас: мы вам «спасибо» скажем;
Отстали мы? Догоним и докажем,
Что хоть ленив, но сметлив русский ум.

Вы хитростью заморскою богаты,
А мы спроста в открытую идем,
Вы на словах возвышенны и святы,
А мы себя в святых не сознаем:
И кто из нас или нечестный воин,
Иль гражданин, но не закона страж,
Мы скажем: «Царь! Он Руси недостоин.—
Изринь его из круга: он не наш».

Твоя казна да будет нам святыня!
Се наша грудь — Отечества твердыня,
Затем, что в ней живут и бог и царь,
Любовь к добру и пламенная вера!
И долг и честь — да будут наша сфера!
Монарх — отец, отечество — алтарь!

Не звезд одних сияньем лучезарен,
Но рвением к добру страны родной,
Сановник наш будь истинный боярин,
К а к о н с т о и т в с т и х а х Р о с т о п ч и н о й![4]
Руководись и правдой и наукой
И будь второй князь Яков Долгорукой!
Защитник будь вдовства и сиротства!
Гнушайся всем, что криво, низко, грязно!
Будь в деле чужд Аспазий, Фрин, соблазна,
Друзей, связей, родства и кумовства!

ПОСЛЕДНИЙ КАБАК У ЗАСТАВЫ

Картина маслом В. Г. Перова, 1868 г.

Третьяковская галлерея, Москва

И закипят гигантские работы,
И вырастет богатство из земли,
И явятся невиданные флоты,
Неслыханных размеров корабли,

И миллион громаднейших орудий,
И явятся — на диво миру — люди,
И скажет царь: откройся свет во мгле
И мысли будь широкая дорога
Затем, что мысль есть проявленье бога
И лучшая часть неба на земле.

Повесть г. Михайлова «Наш Дом» («Библиотека для чтения») неокончена, роман г. Григоровича «Переселенцы» («Отечественные Записки») только что начат. Итак, по отделу словесности говорить не о чем, но можно выписать следующие строки, доказывающие, что г. Дружинин и в самой легкой своей вещи умеет обронить умную мысль, теплое слово [5].

«Кто из нас не провожал когда-либо приятеля, на минуту внесшего небольшое развлечение под тихую нашу кровлю, не следил глазами за его исчезающим экипажем и не дивился странности ощущений своих в это время? Действительно, странные ощущения испытывает деревенский житель в день отъезда своего гостя! Как длинны кажутся часы, еще вчера проходившие так быстро! Как холодно и пусто глядит окрестность, которою за несколько часов назад восхищался наш посетитель! Боже мой, какою уныние наводящею пеленою лежат эти ровные, вспаханные поля и другие поля, налево, с которых только что снят яровой хлеб! Как все глухо и неприветливо в старой роще, сколько желтых листьев навалилось за один день, и как шелестят они под ногами! Сад противен, прислуга бродит нехотя, яблоки валяются по дорожкам, бабы приходят на озеро с какими-то грязными лоскутьями их, намочивши, колотят колотушками, от которых раздается резкий, однообразный стук по всему берегу! Солнце как будто перестает греть, и с наступлением вечера небо подергивается зеленоватыми тонами — признаком наступающих холодов. Ночью надо ждать мороза, а вы как будто приготовились к тому, что завтра все цветы ваши померзнут, листы опадут все, а соседние пригорки исчезнут «под белой скатертью снега, посреди которой серыми волнами станет плескаться холодное, шумливое, печальное озеро!» («Деревенский Черкес», рассказ. «Библиотека для Чтения»).

В «Отечественных Записках» выше всяких похвал статья г. Кудрявцева «Воспоминание о Тимофее Николаевиче Грановском». Все знавшие, любившие и ныне оплакивающие Грановского, конечно, пошлют из глубины сердца благодарность г. Кудрявцеву за эти трогательные строки. В статье о «Пропилеях» заметили мы стремление к витиеватости слога, которое, кажется, пора оставлять. Пусть судят читатели, — вот небольшой пример:

«Жуковский свершил, повидимому, свое человеческое и авторское поприще, которому положены известные пределы самою природою. В продолжение целого полувека он сиял незакатным светилом на горизонте русской поэзии и, по прекрасному выражению одного известного нашего писателя, много оставил нам «нетленных слов», равносильных «благим делам». Судьба, так безжалостно похитившая у нас Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, в пору высшего развития их таланта, по отношению к Жуковскому была, повидимому, милостивее к русской литературе» и прочее.

В заключение, мы должны приветствовать нового деятеля на журнальном поприще. Читатели уже знают из объявлений о предпринятом в Москве г. Катковым «Русском Вестнике». Судя по программе и по именам сотруд-

ников, это будет дельный и прекрасный журнал. Во всяком случае, имена людей, стоящих во главе издания, служат несомненным ручательством, что наша литература приобретет в «Русском Вестнике» деятеля доброкачественного и добронравного...

* * *

N3. Только что заключили мы эти «Заметки», а с ними и настоящую книжку «Современника», как получили от Ап. Ник. Майкова следующее стихотворение, которое и спешим представить нашим читателям, извиняясь перед поэтом, что помещаем стихотворение здесь [6], так как первый отдел книги уже заключен.

ОТРЫВОК ИЗ ПОЭМЫ «ЗЕМНАЯ КОМЕДИЯ»
(Памяти Пушкина)

Над прахом гения свершать святую тризну
Народ притек. Кто холм цветами украшал,
Кто звучные стихи усопшего читал,
Где радовался он и плакал за отчизну.
И было сладко всем. Одним в его стихах
Все новая краса и сила открывалась;
В тех — к родине любовь сильнее разгоралась,
И всякий повторял с слезами на глазах:
«Да, чувства добрые он пробуждал в сердцах».

Но вдруг, среди толпы, я крик ужасный внемлю.
То на земь кинулся как жердь сухой старик.
Он корчился, кусал и рыл ногтями землю,
И пену ярости точил его язык.
. . . .
Его никто не знал. Но старшие в народе
Припомнили, что то был старый клеветник,
Из тех, чья ненависть и немощная злоба
Шли следом за певцом, не смолкли и у гроба,
Дерзая самый суд потомства презирать.

И вот, поднявшися и бормоча без связи,
На холм могильный стал кидать он комья грязи.

Народ, схватив его, готов был растерзать.
Но вождь мой удержал. «Ваш гнев певца обидит»,
Сказал: «Стекайтеся, как прежде, совершать
Поэту память здесь и гроб его венчать,
А сей несчастный — пусть живет и видит».

А. Майков.

<«Современник» 1855, № 12, 271—284; без подписи>

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Отклик «Заметок о журналах» на выступление обозревателя «Отеч. Записок» явился звеном в широкой журнальной дискуссии конца 1855 — начала 1856 г. на тему о недостатках литературной критики и о необходимости бросить мелочную полемику и перестроить полемические отделы «журналистики». Эта дискуссия была связана с новыми задачами журналистики в обстановке общественного подъема и обострившейся идейной дифференциации классовых групп.

Журнальная конкуренция, поверхностная, придирчивая полемика рекламно-коммерческого назначения («битье по карману») постепенно все более сменялись принципиальными дискуссиями на общественно-политические темы, идейной борьбой между журналами, которые окончательно оформились как органы определенных политических группировок. Конкуренция журнальных предприятий сменилась борьбой направлений журналистики. Успех у читателя стал определяться победой направления. Это отмечали все журналисты См., например, высказывания по этому поводу рецензента «Библиотеки для Чтения» О. Колядина («Библиотека для Чтения», 1856, март, «Журналистика», 1); ср. также ретроспективные соображения Н. Чернышевского в его статье «История

из-за г-жи Свечиной» (Н. Чернышевский, Полное собрание сочинений, СПб., 1906, VI, 243—244).

Изменение значения и роли журнала объясняет повышенный интерес всех критиков к техническому, казалось бы, вопросу о перестройке отдела «Журналистики». «Отеч. Записки» предложили заменить прежние полемические обозрения журналов, или так называемую «журналистику»,—«обзором литературных и ученых произведений, появляющихся в журналах». Такой «обзор» по типу приближался к отделу «критики» или «библиографии»: отдельные статьи журнала рецензировались на правах отдельных книг или брошюр; обозреватель получал свободу действия — рецензировать отдельные интересные ему статьи, пропуская неинтересные; он уже не был связан обязанностью сплошного обзора.

«Современник» в комментируемой «Заметке», сочувственно откликнувшись на предложение «Отечественных Записок», со своей стороны, предложил уничтожить анонимность журнальных отзывов, поощряющую литературную безнаказанность и журнальные интриги. «Отечественные Записки» немедленно согласились и провели это предложение на практике,— с тем большей легкостью, что у них оставался резервный плацдарм в виде газеты «С.-Петербургские Ведомости», где можно было вести инспирированную полемику в интересах журнала, оставаясь в стороне и не роняя достоинства последнего. В то же время сам «Современник» не решился осуществить свое предложение, и «Заметки о журналах» остались анонимными.

Они не подверглись коренной перестройке, так как с самого начала были отличны от типичных полемических обозрений: самое возникновение «Заметок» взамен фельетонов Нового Поэта было, повидимому, вызвано потребностью создать серьезную, спокойную принципиальную критику текущей журналистики. Однако тип «Заметок» не остался неподвижным: по мере перестройки других журналов, «Заметки» «Современника» отходят от сплошной регистрации журнальных мелочей, посвящая статьи двум-трем наиболее интересным явлениям, при этом рядом с оценками художественных произведений появляются подробные разборы исторических, политических и экономических трудов. С передачей «Заметок о журналах» полностью в руки Чернышевского, обзоры художественных произведений в них исчезают совсем.

[2] Говоря о сочувствии публики «к тому или другому лицу, действующему в журнале», Некрасов имеет в виду в первом случае Полевого, во втором — Белинского.

[3] г. К. П.— К. А. Полевой.

[4] Ироническое подчеркивание строки принадлежит Некрасову.

[5] Эти слова о Дружинине послужили поводом для нападок «С.-Петербургских Ведомостей», постоянно враждебных «Современнику». «Какую пользу принесет подобная критика?— писал рецензент.—«Русский Черкес» слаб не по изложению, всегда безукоризненному у автора, а по мысли и содержанию, неестественному и утрированному, и мы думаем, что гораздо справедливее и полезнее было бы, рассказав содержание, указать на его недостатки» («С.-Петербургские Ведомости» 22 декабря 1855 г., № 281; ср.: там же, 1 декабря 1855 г., № 261).

[6] Можно предположить, что помещение «Отрывка» Майкова после «Заметок о журналах» было вызвано соображениями злободневности: стихотворение оказывалось направленным против К. Полевого и Булгарина, о клеветнических нападках которых на Пушкина и Гоголя говорилось выше в комментируемой статье.

ЗАМЕТКИ О ЖУРНАЛАХ ЗА ДЕКАБРЬ 1855 и ЯНВАРЬ 1856 гг.

Читатель, прежде чем говорить о новых книжках журналов, необходимо хоть бегло оглянуться на истекший литературный год: каков бы ни был он в других отношениях, не помянуть его добром со стороны русского литератора было бы величайшею неблагодарностию. В литературе нашей давно не было года столь живого, богатого, благотворного по своим последствиям. В этом году русская публика получила издание своего национального поэта, — издание, достойное того великого значения, которое имеет Пушкин в истории развития русского общества [1]. В этом же году русскому обществу дан был Гоголь, которого прежних изданий едва достало для десятой доли читателей, желавших наслаждаться и поучаться творениями великого русского комика. Уже этих двух фактов достаточно, чтоб сделать 1855 год надолго памятным для каждого истинного ревнителя отечественного просвещения. Но это еще далеко не все: пути, которыми вливается просвещение в публику, значительно расширены: в 1855 году получили право существования несколько новых журналов [2]. Не касаясь столетнего юбилея Московского университета и многого другого, что не относится прямо к литературе, но будет иметь благоде-

тельное влияние на развитие нашего просвещения вообще,— переходим к отдельным литературным явлениям, характеризующим 1855 год.

Здесь прежде всего мы опять должны остановиться на труде, связанном с именем Пушкина. Мало сказать, что в 1855 году русская публика получила удовлетворительное издание «Сочинений Пушкина». Нужно еще сказать, что публика в этом году в первый раз получила понятие о личности своего любимого поэта, — личности, достойной, по своим возвышенным качествам, изучения, подражания и поклонения. Первый том нового издания Пушкина, носящий название материалов для его биографии, есть капитальная книга, каких немного во всей русской литературе. Ее, без сомнения, должно поставить во главе литературных явлений 1855 года. Мы уже довольно сказали, в первой нашей статье, по поводу нового издания Пушкина («Современник» 1855, № 2) [3], о труде г. Анненкова, который дал нам возможно полную картину жизни и творчества Пушкина, возведенную строгой обработкою к форме самостоятельного литературного произведения, и теперь должны только прибавить, что труду г. Анненкова, кроме его литературного достоинства, принадлежит, по справедливости, значение важной общественной заслуги. Когда вопрос касается биографии Пушкина и честного исполнения такого труда, подобное выражение не должно никому казаться преувеличенным.

Не забудем также, что издание Анненкова обогатило русскую поэзию несколькими новыми сокровищами, которые должны считать принадле-

НА МИРУ

Эскиз маслом С. А. Коровина к его одноименной картине, 1886 г.

Художественный музей, Иваново

жащими 1855 году, так как только в нем они сделались достоянием публики. Мы говорим о новых стихотворениях и прозаических отрывках Пушкина, найденных г. Анненковым при тщательном пересмотре бумаг поэта и украсивших собою новое издание. Такие пьесы, как «Воспоминания в Царском Селе», «Муза» («Наперсница волшебной старины» — см. «Современник» 1855, № 2), вторая половина превосходной пьесы «Воспоминание» («Когда для смертного умолкнет шумный день» — см. «Современник» 1855, № 2), как пушкинский «перевод XXIII песни ариостова Orlando furioso», новые строфы из «Домика в Коломне» и мн. др., конечно, увеличили богатство русской литературы более, чем некоторые современные изделия большого объема. А сколько пьес неоконченных, недоделанных, блещущих искрами поэзии, рассеяно в биографии, составленной г. Анненковым! Кто умеет наслаждаться поэзией, для того в перечитывании «Материалов» скрывается источник бесконечного наслаждения. Один такой отрывок, как сейчас следующий, может наполнить на целый день душу, склонную к изящному, избытком сладких и поэтических ощущений.

Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя!
Одна в глуши лесов сосновых
Давно, давно ты ждешь меня.
Ты под окном своей светлицы
Горюешь, будто на часах,
И медлят поминутно спицы
В твоих наморщенных руках.
Глядишь в забытые вороты,
На черный отдаленный путь:
Тоска, предчувствия, заботы
Теснят твою всечасно грудь.
То чудится тебе...

Какая поэзия! какая музыка! и сколько тут читаешь между строками! Поэт жалеет о своей няне; а кого нам жаль? Нам жаль его самого больше, чем няню, о которой мы забываем, слушая эту музыку любви и сиротливой грусти, исходящую из благородного, мужественного, глубокострадающего сердца! или, лучше сказать, нам никого не жаль: при чтении подобных вещей господствующее чувство — наслаждение.

И таких отрывков в издании Анненкова десятки! Не умеет наслаждаться поэзией тот, кому ничего не говорят эти отрывочные, недописанные строки, оставляющие за собой перспективы для мысли, для чувства, как звук «внезапно порванной струны...» Нам случалось встречать и таких людей, которые, запасшись первым изданием Пушкина (в 11 томах), думают, что они знают великого русского поэта и что им узнавать более нечего: «все-де остальное — обрывки да обракованный автором хлам». С такими господами мы не намерены входить в спор и можем только изъявить свою радость, что таких господ немного, в чем убеждает нас быстрый, блистательный успех издания г. Анненкова.

В 1855 году, кроме издания прежних сочинений Гоголя, вышли в свет его последние произведения — второй том «Мертвых Душ» (5 глав) и «Авторская Исповедь».

В 1855 году, по поводу столетнего юбилея Московского университета, вышло несколько важных сочинений, связанных с значением и деятельностию учреждения, торжество которого послужило поводом к их появлению. Все эти сочинения в свое время были рассмотрены в «Современнике».

В 1855 году писатель, с талантом первоклассным, после пятилетнего молчания, возобновил свою деятельность, подарив русскую публику богатым запасом своих путевых впечатлений. Еще недавно мы говорили

подробно о путевых заметках г. Гончарова [4], по поводу отдельно изданной им книги «Русские в Японии».

К 1855 году относится если не появление, то развитие деятельности нового, блестящего дарования, которого первое произведение появилось в 1852 году и на котором останавливаются теперь лучшие надежды русской литературы. По характеру нашего беглого очерка, здесь не место входить в анализ таланта графа Толстого (Л. Н. Т.); но нам приятно заметить, что теперь уже нет ни одного русского читателя, интересующегося успехами родной литературы, которому было бы чуждо недавно обнародованное имя автора повестей: «Детство» («Современник» 1852, № 9), «Набег» («Современник» 1853, № 3), «Отрочество» («Современник» 1854, № 4), «Записки Маркёра» («Современник» 1855, № 1) «Севастополь в декабре месяце» («Современник» 1855, № 6), «Рубка леса» («Современник» 1855, № 9) и, наконец, напечатанной в нынешнем году повести «Севастополь в августе 1855 года». Эта последняя повесть, как своими достоинствами, так и недостатками, окончательно убеждает, что автор наделен талантом необыкновенным. Недостатки ее, кроме некоторой небрежности изложения,— отсутствие строгого плана, в котором частности сводились бы к общему и единому, представляя соразмерное, замкнутое целое; отсюда: некоторая неполнота впечатления, лежащая, впрочем, главным образом в самом названии повести, настраивающем читателя к ожиданию колоссальной картины разрушения осажденного города, — картины, общее изображение которой не входило в план автора, о чем мы не сожалеем: как истинный художник, автор понял, что едва ли возможна такая картина: воображение читателя, настроенное целым годом страшной действительности, едва ли подчинилось бы самому широкому, мастерски набросанному изображению. Достоинства повести первоклассные: меткая, своеобразная наблюдательность, глубокое проникновение в сущность вещей и характеров, строгая, ни перед чем не отступающая правда, избыток мимолетных заметок, сверкающих умом и удивляющих зоркостью глаза, богатство поэзии, всегда свободной, вспыхивающей внезапно и всегда умеренно, и, наконец, сила — сила, всюду разлитая, присутствие которой слышится в каждой строке, в каждом небрежно оброненном слове, — вот достоинства повести. В самой мысли провести ⟨?⟩ ощущения последних дней Севастополя и показать их читателю сквозь призму молодой, благородной, младенчески-прекрасной души, не успевшей еще засориться дрянью жизни, видим мы тот поэтический такт, который дается только художникам. Володе Козельцову суждено долго жить в русской литературе, может быть, столько же, сколько суждено жить памяти о великих, печальных и грозных днях севастопольской осады. И сколько слез будет пролито и уже льется теперь над бедным Володею! Бедные, бедные старушки, затерянные в неведомых уголках обширной Руси, несчастные матери героев, погибших в славной обороне! вот как пали ваши милые дети, — по крайней мере, многие пали так, — и слава богу, что воспоминание о дорогих потерях будет сливаться в вашем воображении с таким чистым, светлым, поэтическим представлением, как смерть Володи! Счастлив писатель, которому дано трогать такие струны в человеческом сердце.

Мы хотели еще поговорить о других лицах повести, в особенности о характерах солдат и между ними Мельникова; но мы и так написали уже целую страницу, собираясь сказать несколько слов, и притом подверглись опасности, что нас обвинят в «самохвальстве» (как будто граф Толстой и мы — одно и то же), — обвинение, которое повторяется каждый раз, как нам случится только заикнуться о каком-нибудь произведении, помещенном в «Современнике». Но почему же мы не можем сказать своего мнения об интересующем нас (и публику) писателе, тогда как другие

журналы расточают ему громкие, даже преувеличенные похвалы? Если думать о том, «что скажут?», то придется сложить руки. Есть такие положения, где — что̀ ни делай и ка̀к ни делай — непременно что-нибудь скажут, и скажут что-нибудь нехорошее. И беда была бы, если б над всеми толками и пересудами не господствовало убеждение, что толки останутся толками, а дело — делом; что у публики есть свои глаза. Итак, сказав в нынешнем нумере несколько слов о последней повести графа Толстого, в следующем будем говорить о «Рудине», повести г. Тургенева, потому что — скажем прямо — повесть г. Тургенева и повесть графа Толстого мы почитаем самыми живыми литературными явлениями настоящего времени.

Переходим к заключению нашего беглого очерка характеристических черт 1855 года. Нет сомнения, что мы многое пропустили и, притом, мы почти не выходили из области так называемой изящной словесности; но и указанных фактов достаточно для подтверждения нашей мысли, что в русской литературе давно уже не было такого плодотворного года, как прошлый. Деятельность лучших наших писателей в 1855 году также не противоречит этому заключению, равно как и достоинство журналов, в которых, в настоящее время, нельзя не видеть признаков оживления, вместе с искренним стремлением улучшить и облагородить существенную часть журналистики — критику... Да! мы забыли еще замечательное явление 1855 года, перевод дантова «Ада». «Современник» изготовляет критический очерк о труде г. Мина; а, между тем, появление Данта в русском переводе побудило нас поспешить помещением статьи Карлейля о Данте. Здесь, кстати, мы сообщим несколько замечаний о Карлейле, набросанных одним нашим литератором, — замечаний, с которыми нельзя не согласиться.

〈Далее опущены характеристика Карлейля, принадлежащая В. П. Боткину, и отзыв о статье Мокрицкого «Воспоминания о Брюллове». — Р е д.〉

В 17-м (он же и 18-ый) нумере «Москвитянина», продолжение которого, к сожалению, нам, кажется, не суждено увидеть, помещена комедия г. Островского «Не так живи, как хочется». Считаем долгом сказать несколько слов об этом новом произведении* нашего, бесспорно, первого драматического писателя. «Не так живи, как хочется» не имело большого успеха на сцене, и, читая эту комедию, понимаешь, почему это должно было так случиться; но спешим прибавить, что разве только в первом, известном произведении г. Островского можно найти такие живые и мастерски очерченные лица, как в «Не так живи, как хочется». Не говорим уже о верности языка: русский склад и в жизни и в речи дан г. Островскому более, чем кому-либо из современных писателей; он обладает им спокойно и вполне, и от всех его лиц, действительно, веет русским духом. Содержание «Не так живи, как хочется» совсем просто: у Спиридоновны — хозяйки постоялого двора — живет дочь Груша, веселая, бойкая и умная девка, превосходный тип мещанки-кокетки. В нее влюбляется Петр Ильич, сын зажиточного купца, строгого и благочестивого. Петр бросил жену, вышел из повиновения у отца, — загулял, словом. Груша принимает его сперва за холостого, потом узнает от его же жены, что он женатый, и расстается с ним. Петр спешит домой, разъяренный и хмельной, выбегает куда-то с ножом в руке и возвращается уже совсем другим человеком. Он рассказывает, что, услышав колокольный звук, он вдруг очнулся на берегу полыньи на Москве-реке. Потрясенный близостью смерти, он

---

* Во 2-м нумере «Русского Вестника» появилась еще комедия г. Островского, под заглавием «В чужом пиру похмелье». Поговорим о ней в мартовской книжке «Современника».

внезапно чувствует отвращение к своим бесчинствам, раскаивается и мирится с семьей. Кроме поименованных выше лиц, в комедии мы находим еще лица Агафона и Степаниды, бедных уездных мещан, родителей петровой жены, Даши; лица Васи, молодого купеческого сынка, добродушного и смирного, тетки Афимьи и кузнеца Ерёмки, развращенного и пропащего человека, опасного балагура и плута.—Лучше и выдержаннее всех лиц— Груша. Кажется, так и видишь ее, слышишь ее смех. Это настоящая русская девушка, смышленая, даже лукавая, но с душой, — беззаботно веселая, но с характером. Автор сумел, нисколько не нарушая истины, придать ей особенную прелесть. Мать ее тоже очень хороша. Видно, что она была такой же Грушей в молодости, и дочка вышла в нее. Вася мил

ПО ЭТАПУ

Картина маслом Н. Л. Скадовского, 1891 г.

Третьяковская галлерея, Москва

и невольно привлекает к себе читателя. Из остальных лиц нам больше всего понравился отец петровой жены, Агафон, тихий и кроткий человек. Из Ерёмки автор мог бы сделать многое: в нем видятся начатки какого-то мещанского Мефистофеля, но дело так и осталось при этих начатках: автор не развил их, — и Ерёмка, такой, каким он представлен в комедии, является лицом обыденным и чуть не пошлым... А жаль! — Мы считаем уместным именно по поводу этого Ерёмки выразить, в чем, по нашему мнению, можно упрекнуть г. Островского. Обладая замечательной сценической сноровкой, тонким пониманием условий театральных, он жертвует для них полнотой и шириной своих лиц; они сло́ва лишнего у него не вымолвят, — все, так сказать, пригнано у них как раз в меру, как платье от модного портного. Многие, пожалуй, готовы похвалить за это г. Островского; но нам кажется, что с его талантом можно и должно иметь гораздо высшие притязания, чем на лавры какого-нибудь Скриба, этого Шармера [5] драматического искусства. Вообще, мы готовы просить г. Островского — не сужать себя преднамеренно, не подчиняться никакой системе, как бы

она ни казалась ему верна, с наперед принятым воззрением не подступать к русской жизни. Пусть он даст себе волю разливаться и играть, как разливается и играет сама жизнь; пусть он разовьет в себе дух истинной художнической свободы и справедливости. У Шекспира король Лир восклицает: «На земле предо мной нет виноватых!». Великий дух Шекспира веет в этом слове, и да опочиет он на каждом писателе! Точно: лица, выводимые писателем-художником, перед ним не виноваты; он не судья им, он не имеет права питать к ним злобу, определять им наказания, точно так же, как не его дело награждать, раздавать венки и выставлять образцы добродетели или примеры для подражания. Это все дело самой жизни, самих лиц. Глядите на них прямо и открыто, и они, как в чистом зеркале, отразятся в вашем произведении. И нравственный урок скажется сам собою. Без чистой любви к истине нет художества; но и излишняя боязнь отступать от истины также вредна. Уверяем г. Островского, что ему не для чего с таким, можно сказать, археологическим рвением гоняться за точностью народного языка; ему менее чем кому-либо следует бояться выпасть из русского тона: тон этот в нем самом, в свойствах ума его. Мы решаемся все это высказать г. Островскому потому, что ценим его дарование и не можем не сожалеть о том, что он сам связывает себе руки. Считаем также долгом сказать ему два слова о пристрастии его к крутым и неожиданным развязкам. (В комедии, помещенной во 2-м нумере «Русского Вестника», оно выступает еще заметнее.) Мы так уверены в таланте г. Островского, что никак не ищем причины этого факта в неуменьи совладать с прямым развитием характера до конца; мы думаем, что крутые развязки являются у г. Островского также от желания угодить сценическим условиям — избежать длиннот. Желание это доводит его до торопливости и преувеличенной сжатости и тем самым не достигает своей цели. Вследствие того же самого желания, он, например, в «Не так живи, как хочется» в половине 2-го акта сводит все свои действующие лица в комнате постоялого двора так неправдоподобно, хотя бы Скрибу ⟨в пору⟩, хоть и не так ловко, как бы француз сумел это сделать. Внутреннее чувство зрителя не может не смутиться при внезапной перемене возвращающегося Петра, и никакая игра актера тут помочь не может. Отчего г. Островский не захотел показать нам самую эту ночную сцену на Москве-реке, со всей ее фантастической и грозной обстановкой? Сценические условия ему препятствовали; да бог с ними, с этими сценическими условиями!

Повторяем: при всех недостатках комедии г. Островского, в ней есть много такого, что мог написать только он один... Одно лицо Груши чего стоит! Кстати, мы слышали от некоторых пуристов упрек автору за то, что он заставляет Грушу отпить вина из рюмки и отвечать потом Петру, спрашивающему, что́ с нею: «Я пьяна». Но эти упреки так вздорны, что о них и говорить не стоит. Все сцены, где она является, особенно последняя, в которой она на пиру с подружками принимает Петра, про свадьбу которого она уже знает, сцена, где жена Петра выпытывает у Васи, куда ездит ее муж, последняя сцена Петра с теткой — прекрасны. Нам остается желать, чтобы г. Островский шел вперед своею дорогою, не стесняя и не задерживая самого себя, и он сам, быть может, удивится, что́ произведут его силы, когда он им даст полный простор и свободу.

Затем, по части беллетристики лучшим (из оконченных) произведением декабрьских книжек должно признать повесть г. Зотова [6] «Докторша» («Отеч. Записки»). Особенное значение придают ей мысли и соображения, к которым она приводит. Потому мы решаемся посвятить ей две-три страницы.

Чувство сиротливости и одинокости невольно сообщается человеку, прочитавшему эту повесть. Стоишь в раздумьи, точно умер старый зна-

комый: хоть и ничего не имеешь с ним общего, а все-таки жаль, все-таки задумаешься... Признаться, «Докторша» произвела на нас странное, тоскливое чувство: она повеяла рутиной двадцатых и тридцатых годов, а между тем повесть написана добросовестно, толково и даже тепло. Вы чувствуете, что попали в теплую и опрятную комнату, видите плачущих и смеющихся людей; но вы остаетесь совершенно глухи и к смеху их и даже к страданиям... Ни слезы их, ни смех не действуют на вашу душу. Боже! неужели мы такие эгоисты, неужели наше сердце так очерствело в собственных несчастиях, что мы холодно и равнодушно взираем на эту страшную драму, на сумасшествие графа Перского, на низкие происки его братца, Корсалинского, на ползание и пресмыкание пана Жончика? Неужели в нас не пробудили симпатии этот честный и образованный доктор, Грохович, его жена, возвышенная и благородная натура? К сожалению, нет, потому что и порок и добродетель под пером г-на Зотова не получают живой физиономии, они не шевелят вашего сердца и остаются какими-то мертворожденными намеками на живые чувства. Много сделала вреда старая романическая школа: много она убила талантов, много она завещала готовых формочек, в которые легко отливать добродетельных людей...

Какой-то юморист назвал музыку самым шумным из всех предрассудков, а мы скажем, что в наше время писать повести по мерке прежних нравоописательных романов — один из самых грустных предрассудков.

Как вам понравится подобное содержание?

〈Далее опущено изложение содержания повести Зотова. — Р е д.〉

Боже мой, как все это избито, в какие закутано старые складки романических приемов. Складки тяжелые, потертые, давно оставленные... Ведь дело вот в чем: разбираемая нами повесть написана искренно; пером автора руководила не литературная спекуляция, а убеждение, что будет хорошо, занимательно. Не грустно ли видеть автора, который тратится на то, на что не сто́ит терять и сил, и времени. Какая цель повести г. Зотова? что́ он доказал ею? одно только то, как легко и бесполезно писать подобные романы, для которых не нужно ни поэзии, ни правды, ни художественных приемов, ни мысли, взятой из жизни. Подобные произведения — анахронизм в настоящее время и живое доказательство, как жалки романы во вкусе Поля Феваля, Дюма и т. д., как грешно современному литератору сочинять подобные побасенки... Гораздо лучше подражать гг. Гончарову, Тургеневу, Григоровичу, графу Толстому, хотя вообще подражание вещь нехорошая, но по крайней мере могут удасться хоть две-три теплые и свежие страницы. Неужели автор полагает, что медицинские рассуждения в его повести о Кондильяке, Гейнроте, Оскироле, Линнее, Соваже, Коллене, Дарлинге и т. д. и т. д. выкупают пустоту, отсутствие вкуса в его повести? О вкусах, конечно, не спорят; но странно видеть человека, ныне пишущего, который грудью стоит за рутинные предания устаревших литературных понятий, который с добросовестностью вызывается итти по тропе, заглохшей крапивой и диким папоротником. Как же после этого не смеяться, если, например, какая-нибудь добрая и честная старушка сидит себе одиноко в уголку и все рассказывает про старину, вспыхивает и волнуется, и дрожит, и все рвется в родимое село, в сердечную сторонку?

Первые книжки журналов на 1856 год представили довольно много русских сочинений; в них начаты три русские романа: «Крушинский» г. Потехина («Библиотека для Чтения»), «Плен у Шамиля» г. Вердеревского («Отечественные Записки»), «Последнее действие комедии» г. Крестовского («Отечественные Записки»). Если к ним присоединить «Рудина», который назван автором повестью, но более относится к области романа, да две повести — «Севастополь в августе месяце» («Современник») и «Переписку» И. Тургенева («Отечественные Записки»), то надо будет сознать-

ся, что по части беллетристики начало 1856 года блистательно. И тут еще не все: новый журнал «Русский Вестник», кроме «Старушки», повести Евгении Тур, дал комедию г. Островского «В чужом пиру похмелье», а «Отечественные Записки» напечатали в первом своем нумере первую книгу «Од» Горация, в прекрасном переводе г. Фета. Мы покуда лишены возможности говорить о большей части названных здесь произведений, так как почти все они не окончены. О «Переписке» г. Тургенева мы могли бы и желали бы говорить; но нам удобнее будет говорить о ней в связи с другими произведениями того же автора, которого деятельности вообще мы думаем коснуться по поводу «Рудина». Но мы можем сказать несколько слов о статье «Взгляд на русскую критику» [7], относящейся, по нашему мнению, к области юмора и ошибочно попавшей в критический отдел. Три эпохи издания «Современника»: пушкинская, плетневская и нынешняя, в этой статье странно смешаны автором: деятели одной эпохи упрекаются в противоречии тому, что говорили деятели другой эпохи; сводятся мнения за восемнадцать лет разных лиц, от Пушкина и Гоголя до Анненкова, Боткина, Галахова, Гаевского, Грановского, Дудышкина, Некрасова, Панаева, Тургенева, Чернышевского и других, писавших и пишущих критические и библиографические статьи в нынешнем «Современнике»,— эти мнения сводятся, и противоречия, встречаемые в них, возбуждают то удивление автора, то усмешку, то благородное и горячее негодование. Если автор желает быть последователен и довести свой «взгляд» до конца, то в последующих статьях ему должно бросить взгляд на противоречия, существующие между «Отечественными Записками» Свиньина и «Отечественными Записками» г. Краевского [8]. Тут найдется не меньше места для удивления, для юмора, для негодования автора. И труд будет не менее полезный. Но к чему так далеко ходить? Довольно будет, если автор коснется разных годов «Отечественных Записок» за время редижирования их одним лицом, и посмотрит, например, в каком отношении между собою находятся: статья «О Бородинской годовщине» Жуковского, статьи о Пушкине и статья о переведенной г. Ордынским «Поэзии» Аристотеля? [9] Впрочем, длинная шутка редко удается, и потому всего лучше будет, если автор остановится на первом «взгляде». Да притом и неловко будет «Отечественным Запискам» печатать «взгляд» на самих себя; а что касается до «Современника», то он спешит объявить, что не примет подобного «взгляда» на свои страницы, как бы ядовито ни были в нем доказаны противоречия нынешних «Отечественных Записок» с свиньинскими.

⟨Далее опущен отзыв о «Русском Вестнике», принадлежащий Н. Г. Чернышевскому. — Р е д.⟩

В заключение сообщим литературную новость. В конце февраля или начале марта появится роскошное — в полном смысле слова — издание «Стихотворений» А. А. Фета. В состав его войдут только лучшие пьесы, окончательно и строго пересмотренные. Только по выходе издания, таким образом обделанного, публика увидит, какого поэта в г. Фете имеет современная русская литература.

⟨«Современник» 1856, № 2, 201—223; без подписи⟩

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Изданные П. В. Анненковым «Сочинения Пушкина», первое издание, ставившее себе научно-критические цели.

[2] Из числа журналов общего характера в 1855 г. были разрешены (и начали выходить в 1856 г.) следующие издания: «Русский Вестник», «Русская Беседа», «Сын Отечества» Старчевского, «Живописная Русская Библиотека» Кс. Полевого и «Музыкальный и Театральный Вестник» М. Раппопорта.

[3] Эта статья по поводу «Сочинений Пушкина» принадлежала Н. Г. Чернышевскому.

[4] Статья о «Русских в Японии» принадлежала А. В. Дружинину («Современник» 1856, № 1).

ПОЛДЕНЬ В ОКРЕСТНОСТЯХ МОСКВЫ
Картина маслом И. И. Шишкина, 1869 г.
Третьяковская галлерея, Москва

[5] Шармер — модный петербургский портной.

[6] Владимир Рафаилович Зотов (1821—1896) — беллетрист, драматург, журналист. Известны шесть писем Некрасова к Зотову, из которых три относятся к июню — августу 1844 г. и свидетельствуют о близком знакомстве и общем участии в издательских предприятиях. Об этом периоде своего знакомства с Некрасовым В. Р. Зотов впоследствии рассказал в отрывке «Из воспоминаний» («Исторический Вестник» 1890, № 2, стр. 338—342). Знакомство Некрасова с Зотовым не порывалось и в последующие годы.

[7] «Взгляд на русскую критику» был помещен в январском номере «Отеч. Записок», с подписью Г. Б — в — в <Г. Благосветлов>.

Анализируя критику «Современника» на всем протяжении существования журнала, автор утверждал, что «вместо «чистых и вечных» начал, критика «литературного журнала» по предмету изящной словесности 1) не имела решительно никаких начал; 2) за отсутствием всякого определенного направления противоречила себе на каждом шагу; 3) представляла отзывы о таких сочинениях, которых она вовсе не читала; 4) составляла целые сотни рецензий, которые равнялись «кимвалу брящающему», галиматье; наконец, 5) хвалила или унижала писателей, под влиянием личных побуждений и оскорбительного пристрастия».

В своем ответе на статью Благосветлова Некрасов допустил некоторое преувеличение, обвиняя автора в сознательном смешении разных эпох жизни журнала, тогда как в действительности Благосветлов устанавливал противоречия, главным образом, внутри этих эпох.

В частности, он указывал на перемену отношения некрасовского «Современника» к «народным» повестям натуральной школы (к Григоровичу): безоговорочная их защита скоро сменилась критическим отношением —«Современник» стал подчеркивать их литературную условность и идеализацию действительности. Благосветлов обвинял журнал в непоследовательном отношении к «исключительно-эстетической» критике, которую «Современник» еще в 1848 г. признал «потерявшей всякий кредит», а на деле «постоянно противоречил своим собственным мыслям и казнил исторических писателей на основании той же исключительно-эстетической критики, которую, за шесть лет перед тем, считал решительно невозможною».

В качестве примеров такой критики, опирающейся только на эстетический вкус рецензента, были приведены отзывы о поэзии XVIII в., у которой, по словам «Современника», «форма пьес, конечно, подражательная и устарелая; художественности часто и следа нет». Статья заканчивалась иронической характеристикой методов критики «Современника».

[8] «Отечественные Записки», издававшиеся в 1820—1830 гг. П. Свиньиным, были органом поверхностного патриотизма, прославлявшим «российские достопримечательности», «российских мужичков-самоучек» и т. п. Они не имели ничего общего с «Отеч. Записками» А. Краевского, которые были основаны только в 1839 г.

[9] Эти статьи упомянуты Некрасовым как основные вехи развития передовой критической мысли: знаменитая статья «О Бородинской годовщине» Жуковского (1839) была написана Белинским в период его крайнего гегельянства и преклонения перед «разумной действительностью». Его же одиннадцать статей о Пушкине (1843—1846) развивали фейербахианскую теорию художественного «пафоса». Наконец, разбор книги «О поэзии. Сочинение Аристотеля, перевел Б. Ордынский» (1854) принадлежал Н. Г. Чернышевскому и явился первым принципиальным выступлением новой демократической эстетики. Все эти статьи, соответствующие совершенно различным этапам развития русской критики, были впервые напечатаны в «Отечественных Записках» Краевского.

ЗАМЕТКИ О ЖУРНАЛАХ ЗА ФЕВРАЛЬ 1856 года

Читатель, в добрый час молвит, оживление русской литературы, о котором мы недавно говорили, продолжается. Лучшие современные таланты, как бы соревнуя друг другу, дарят публике произведения, которые обещают сделать нынешний год памятный в нашей литературе. Весело — не правда ли? — быть читателем в такое время... и даже — поверите ли? — не совсем печально быть журналистом. Благодаря великому и святому закону вознаграждения, и он, многострадальный поставщик чтения (которого не всегда позволительно смешивать с поставщиком дров или свеч), и бедный русский журналист делается иногда причастным некоторым радостям, соединенным с его призванием. Кто испытал муку, и стыд, и тоску недовольства, печатая вещи, недостойные печати, кто по сту раз читал и перечитывал и бросал под стол иную рукопись, а кончал-таки тем, что со скрежетом зубов посылал ее в типографию (как будто,

подобно некоторым сортам вин, плохое сочинение может улучшиться, полежав несколько времени), мы должны признать за тем и право наслаждения, когда приходится выбирать из хорошего, теряясь в соображениях, чтó напечатать прежде, чтó потом. Редкое время, золотое время в жизни журналиста, — на этом пути не без терний... но что до терний! На каком пути их нет?

И все то благо, то добро...

Покуда достает любви, не страшны тернии, и память о них живет не долее жесткого слова, сказанного любимым существом, и не труднее прощается... но опять-таки: покуда достает любви... И пусть же родник ее струится неиссякаемо в сердцах русских писателей, русских журналистов, понимающих свое призвание! С нею много доброго, много прекрасного сделает русская литература, много уже сделавшая, издавна игравшая и играющая такую важную роль в развитии нашего отечества, которое дорого каждому русскому и еще дороже должно быть каждому литератору, по самой сущности его цели, чуждой материального результата: только успехи отечества на поприще просвещения могут обеспечивать его личный успех, состоящий в стремлении оставить по себе память честного и полезного деятеля, на могилу которого, по неизменному закону Провидения (благословенный закон!) непременно, рано или поздно, упадает один из лучей той славы, в блеске которой желает он и самоотверженно стремится видеть свое отечество!

Сознавая великую цель русской литературы, радуясь ее оживлению, видя в ее настоящем много даровитого, самобытного, мы в то же время не ослепляемся насчет ее настоящих достоинств. Между нами нет гениев. Ко всем ныне действующим писателям вообще и к каждому порознь можно применить следующие стихи:

. . . .
. . . .
. . . . .Заметен ты;
Но так без солнца звезды видны...
В ночи, которую теперь
Мир доживает боязливо,
Когда свободно рыскал зверь,
А человек бродил пугливо,—
Ты твердо светоч свой держал;
Но небу было неугодно,
Чтоб он под бурей запылал,
Путь освещая всенародно.
Дрожащей искрою, впотьмах,
Он чуть горел, мигал, метался...
Моли, чтоб солнца он дождался
И потонул в его лучах!

Так. Нет сомнения, когда явится это желанное солнце, этот будущий великий русский поэт, подобный тем, которые делают эпохи в литературе и в истории развития своего народа, — нет сомнения, тогда многое из производимого теперь потускнеет или представится в другом свете; но от того не умалятся заслуги теперешних русских писателей, — тех писателей, которые твердо держали светоч Знания, Истины и Добра, среди сумерек, не освещенных лучезарным сиянием гения... Итак, читатель, не требуя от русской литературы того, чего она дать не может, оцените в ней два неоспоримые ее качества — Даровитость, часто блестящую, и Честность стремлений, изумительную, если о ней пристально подумать, — и полюбите ее, если вы еще принадлежите к тем, которые ее не любят...

Переходим к журналам.

⟨Далее опущен отзыв о «Москвитянине» и о напечатанных в нем письмах Гоголя, принадлежащий Н. Г. Чернышевскому. — Ред.⟩

Новый московский журнал «Русский Вестник» в двух последних книжках представил довольно значительное по объему стихотворение г. Огарева «Зимний Путь». Особенную важность этому стихотворению придает то обстоятельство, что это покуда лучшее из беллетристических произведений, представленных новым журналом. Достоинства этого стихотворения, свойственные вообще г. Огареву, определяются во всем своем объеме следующею строфою:

Еще в избах кой-где мерцает
Лучины дымный огонек,
И дева вечный свой клубок
В полудремоте напрядает.
Я живо помню, как порой
Спокойная картина эта
Своею милой простотой
Меня пленяла в прежни лета;
Но ныне девы сонный лик,
Храпящий на печи старик
И вечно плачущий ребенок
В дырявой люльке, и теленок
Над грязным месивом — ей-ей —
Как жалкий образ жизни скудной,
Тоской болезненной и трудной
Тревожат мир души моей.
Милей мне в этой деревушке
Воспоминанье об одной
Соседке, добренькой старушке
С нехитрой, детскою душой.
Она, бывало, пред иконой
Взывает в искренней мольбе,
Чтоб бог е м у был обороной
И пекся о е г о судьбе;
Иль, молча, сидя на диване,
Гадает трепетно о н е м,
И все о н е м, о милом Ване,
О внуке ветренном своем.
«Ну! что ваш внук?» — «Писал недавно».
«Чай, денег просит милый внук?»
«Ну что ж что просит? Вот забавно!
Ему ведь нужно для наук.
А мне... Стара я для наряда,
И ничего самой не надо!»
И вынет дочери портрет,
В живых которой больше нет,
И смотрит с грустною отрадой,
И смотрит долго, и потом
Утрет слезу свою тайком.

Много таких задушевно-грустных небрежно-поэтических строф читатель найдет в «Зимнем Пути», — и если он не встретит в остальных строфах ничего свежее, энергичнее, выработаннее по форме, то не встретит также и ничего такого, что было бы ниже приведенной нами строфы, в своем роде прекрасной.

Кстати о стихах. Во 2-м № «Русского Вестника» прочли мы пьесу г. К. Аксакова «Солнце и Луна» [1]. Это стихотворение напомнило нам другую пьесу, сходную с ней по содержанию, которую доставил автор ее для напечатания в «Современнике», но которую напечатать мы не решились. Теперь печатаем ее здесь, уверенные, что те, кому понравилась пьеса «Солнце и Луна», отдадут справедливость и стихотворению г. Лебедева, написанному на ту же тему:

Работай, юноша-поэт,
Во славу мысли и искусства!
Гони мечту, туманный бред
И неосмысленные чувства...

Законы истины святой
Средь нашей жизни многосложной,
То величавой, то ничтожной,
Подметь и миру их открой.

Зачем ты ищешь вдохновенья?
Оно в тебе заключено,—
Великих душ и песнопенья
Благоуханное зерно.
Оно, быть может, плод богатый
Произрастит: не заглуши
Ты негой сил и их растратой
Сокровищ истинных души.

Ах, как обманчивы и милы
Мечты и рой кипучих грёз,—
Отрава деятельной силы,
Залог грядущих горьких слез!
Укор тому, кто их лелеял,
Кто силы духа промотал,
Кто много-много в жизни сеял —
И только плевелы пожал.

Кто на земле — лунатик странный —
Душой мечтательной летел
В какой-то области туманной...
Там много слов, но мало дел;
Там все милей, там все чудесней,
И грезы, радужной семьей
Слетаясь в хоры, звонкой песней
Голубят сон души больной.

Но все идет к разумной цели,
Всему приходит череда;
Мечтанья быстро пролетели,
Настало поприще труда.
Но где же он, поклонник неги?
Он здесь, измученный, больной;
Он — робкий путник на ночлеге
В стране безвестной и чужой.

Почуял он впервые муки
В сознаньи немощи своей,
Как перед ним вставали звуки
Иных, неведомых речей:
Он в этой жизни, в этом мире
Томится скорбью и трудом;
Он — лишний гость на светлом пире,
Он — нищий сердцем и умом!

А прежний мир? Он так чудесен!
Ему бы вновь отдаться сну,
Ему бы грез и сладких песен
И бледноликую луну...
. . . .
Во славу мысли и искусства
Работай, юноша-поэт.
Гони мечту, туманный бред
И неосмысленные чувства.

И. Лебедев[2].

Признаться, мы не умеем сказать, которое стихотворение лучше, но можем сказать положительно, что ни то, ни другое не удовлетворяет нас в смысле поэтического произведения.

Отметив лучшее (и оконченное) в московских журналах, мы должны были бы перейти к петербургским; но петербургские журналы продолжают статьи, начатые ими в первых книжках. Покуда мы можем сказать только о «Рудине», оконченном во втором нумере «Современника» и возбудившем в публике жаркие и разнородные толки.

Не знаем, лучшая ли повесть г. Тургенева этот «Рудин» [3]. Вообще спор о литературных рангах большею частью бывает бесплоден, даже в том случае, повидимому, более всего уместном, когда дело идет о присуждении безусловного первенства тому или другому произведению известного автора. Обыкновенно бывает, что по одним качествам надобно поставить выше остальных одно произведение, по другим — другое, по иным качествам — третье, и т. д. Настоящий случай, кажется, подходит под это правило. Уступая некоторым другим произведениям г. Тургенева в художественной выдержанности целого, «Рудин» должен быть поставлен, по глубине и живости содержания, им охватываемого, по силе и по самому характеру впечатления, им производимого, очень высоко. Существенное значение последней повести г. Тургенева — ее идея: изобразить тип некоторых людей, стоявших еще недавно во главе умственного и жизненного движения, постепенно охватывавшего, благодаря их энтузиазму, все более и более значительный круг в лучшей и наиболее свежей части нашего общества. Эти люди имели большое значение, оставили по себе глубокие и плодотворные следы. Их нельзя не уважать, несмотря на все их смешные или слабые стороны. Они, вообще говоря, оказывались несостоятельны при практическом приложении своих идей к делу, — отчасти потому, что еще недостаточно приготовлена была почва к полному осуществлению их идей, отчасти потому, что развившись более помощью отвлеченного мышления, нежели жизни, которая давала для их воззрений и чувств одни отрицательные элементы, они, действительно, жили более всего головою; перевес головы был иногда так велик, что нарушал гармонию в их деятельности, хотя нельзя сказать, чтобы у них сухо было сердце и холодна кровь. Эту отрицательную сторону полно и прекрасно изобразил г. Тургенев. Не столь ясно и полно выставлена им положительная сторона в типе Рудиных. Вероятнее всего, произошло это оттого, что г. Тургенев, сознавая в себе очень сильное сочувствие к своему герою, опасался увлечения, излишней идеализации и, вследствие того, иногда насильственно старался смотреть на него скептически. Оттого характер Рудина, действительно, не столь отчетливо представлен, как многие другие характеры в той же повести. Но неясность его, однако же, не так велика, чтобы трудно было читателю угадать и те его черты, которые оставлены несколько туманными. Мы не все стороны его жизни знаем одинаково хорошо; но тем не менее он живой является нам, и появление этой личности, могучей при всех слабостях, увлекательной при всех своих недостатках, производит на читателя впечатление чрезвычайно сильное и плодотворное, какого очень давно уже не производила ни одна русская повесть. Остальные лица повести очерчены почти безукоризненно, а создание такого характера, как Лежнев, открывает ту благодатную и желанную сторону в таланте г. Тургенева, которой вообще не встречалось в русских писателях последней эпохи... По поводу Лежнева мы когда-нибудь еще возвратимся к повести г. Тургенева. Прибавим, что при многих недостатках «Рудина» в художественном отношении, он показывает, что для г. Тургенева начинается новая эпоха деятельности, что его талант приобрел новые силы, что он даст нам произведения еще более значительные, нежели те, которыми заслужил, в глазах публики, первое место в нашей новейшей литературе, после Гоголя.

〈«Современник» 1856, № 3, 38—95; без подписи〉

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЖНИЦ С ПОЛЯ
Картина маслом В. Г. Перова, 1874 г.
Третьяковская галлерея, Москва

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Солнце и Луна» К. Аксакова — аллегорическое стихотворение, в котором лживая Луна противопоставляется Солнцу правды:

Твоих поклонников довольно,
Довольно в мире, о луна!
Тоски, и скорби добровольной,
И лжи, и нравственного сна.
. . . .
О солнце! враг видений лживых!
Тот только солнце любит смело,
Кто жизнь в мечту не обратил,
Кому доступно в мире дело,
Кто не изнежил данных сил... и т. д.

Говоря о том, что подобные стихотворения неудовлетворительны «в смысле поэтического произведения», Некрасов высказывается против облеченной в стихи дидактики.

[2] И. Лебедев в литературе неизвестен.

[3] Ср. в письме Некрасова к А. Н. Майкову от 1 октября 1868 г.: «Я сейчас прочитал Рудина, вторую часть (хочу писать о ней), ей-богу, это очень хорошо... нет, уж мы очень загнали нашего седого Митрофана! И эпилог хорош и верен, только сух несколько... Но по мысли верен. Анненков тут едва ли прав. Противоречия нет. Почему же такая рефлектирующая голова не могла, наконец, попробовать действовать».— Письма, V, 236. Анализ отношения Некрасова к Тургеневу и его оценки «Рудина» см. в настоящем томе в статье А. Лаврецкого, Литературно-эстетические взгляды Некрасова, стр. 60—61.

ЗАМЕТКИ О ЖУРНАЛАХ ЗА МАРТ 1856 года

Читатель, хотя дело и не касается журналов, но Вам будет отрадно прочесть следующие строки, котороми открывается речь графа Д. Н. Блудова, по случаю назначения его президентом Императорской Академии Наук [1].

⟨Далее опущены цитаты из речи Блудова и рассуждения по ее поводу.— Ред.⟩

Переходим к журналам. — В 3-м № «Отечественных Записок» окончены два романа, начавшиеся с первой книжки, и мы теперь должны горении г. Майкова «Рыбная Ловля», украшающем тот же 3-й № «Отеч. Записок». Мы всегда любили поэтический талант г. Майкова, всегда ценили его и верили в него, верили даже тогда, когда талант этот несколько удалился от истинных условий творчества [2], не допускающих ничего преднамеренного, заданного самому себе самим же поэтом или кем бы то ни было. Кто так начал, как начал г. Майков, и так продолжал:

I

На дальнем севере моем
Я этот вечер не забуду.
Смотрели молча мы вдвоем
На ветви ив, прилегших к пруду;
Вдали синел лавровый лес,
И олеандр блестел цветами;
Густого мирта был над нами
Непроницаемый навес;
Синели горные вершины;
Тумана в золотой пыли
Как будто плавали вдали
И акведуки и руины...
При этом солнце огневом,
При шуме водного паденья,
Ты мне сказала в упоеньи:
«Здесь можно умереть вдвоем»...

II

FORTUNATA

«Ах, люби меня без размышлений,
Без тоски, без думы роковой,
Без упреков, без пустых сомнений,
Что тут думать? Я твоя, ты мой!
Что тебе отчизна, сестры, братья?
Что нам в том, что скажет умный свет?
Или холодны мои объятья?
Иль в очах блаженства страсти нет?
Верь в любви, что счастью не умчаться,
Верь, как я, о гордый человек,
Что нам век с тобой не расставаться
И не кончить поцелуя ввек...»

(«Очерки Рима», 1847)

Тот, кто так начал и так продолжал, конечно, не мог возбудить сомнения в своем таланте; но одно время поэт начинал внушать опасение, чтоб талант его, принявший направление, ему несвойственное, не остановился в своем развитии. И мы душевно рады, что теперь уже подобное опасение должно назвать совершенно неосновательным. «Рыбная Ловля» г. Майкова — лучшее доказательство, что талант его растет и совершенствуется. Ее, бесспорно, должно назвать лучшим произведением г. Майкова.

Тихонько удочки забравши, впопыхах
Бегу я к пристани. Вослед мне крикнул кто-то,
Но быстро я челнок свой оттолкнул от плота
И, гору обогнув, зарылся в камышах.
Злодеи-рыбаки уж тут давно: вон с челном
Запрятался в тростник, тот шарит в глубине...
Есть что-то страстное в вниманьи их безмолвном,
Есть напряжение в сей людной тишине:
Лишь свистнет в воздухе леса волосяная,
Да вздох послышится — упорно все молчат
И зорко издали друг за другом следят.
Меж тем, живет вокруг равнина водяная,
Стрекозы синие колеблют поплавки
И тощие кругом шныряют пауки,
И кружится, серебрясь, снетков веселых стая,
Иль брызнет в стороны, от щуки исчезая.
. . . .
Чтобы вздохнуть, кругом я взоры обвожу.
Как ярки горы там при солнце заходящем!
Как здесь, вблизи меня, с своим шатром сквозящим,
Краснеют темных сосн сторукие стволы
И отражаются внизу в заливе черном,
Где белый пар уже бежит к подножьям горным.
С той стороны село. Среди серебристой мглы

Окошки светятся, как огненные точки;
Купанье там идет: чуть слышен визг живой,
Чуть-чуть белеются по берегу сорочки,
Меж тем, как слышится из глубины лесной
Кукушка поздняя да дятел молодой...
Картины бедные полунощного края!
Где б я ни умирал, вас вспомню умирая;
От сердца пылкого все злое прочь гоня,
Не вы ль, миря с людьми, учили жить меня?..

Эти два превосходных отрывка сами за себя говорят достаточно. Нам остается только сказать, что любое место во всей пьесе не уступит им в поэтическом достоинстве.

«Последнее действие комедии», роман В. Крестовского (псевдоним дамы-писательницы, как было сказано в одном объявлении) [3], замечательно во многих отношениях: в нем высказались все достоинства и недостатки этого автора. Из ныне пишущих женщин-писательниц г-жа Крестовская серьезнее других посмотрела на литературное дело, внимательнее вгляделась в изображаемый ею мир и обнаружила стремление пойти дальше женских чепцов, гримас, салонных шпилек и огорчений своих героинь, поняв, что только тот из писателей имеет право на симпатию и уважение читателя, кто шевелит его сердце, пробуждает негодование ко всему низкому и презренному, кто касается серьезных общественных вопросов, в ком энергия, мысль и правда идут дружно об руку. Нельзя не сознаться, что влияние женщин-писательниц в нашей литературе далеко не так благотворно, как следовало бы ожидать: они вдались в мелочность наблюдений, в фальшивый экстаз, в мелодраматическую искренность и наводнили нас, по большей части, утомительными, болтливо-педантическими размышлениями в форме повестей, рассказов, пословиц и т. д. Иногда берет, право, досада, как это они позволяют своим героям пить вино и играть в карты, когда этим шалунам следовало бы, как несовершеннолетним, драть за такие проделки уши или ставить их в угол. Кроме шуток, в деле обрисовки мужских характеров наши писательницы решительно слабы. Другой недостаток наших писательниц следующий: в каждой их повести — по крайней мере двадцать два бала или десяток вечеринок и бесчисленное множество визитов, французских фраз и карточек. Все это очень и н т е р е с н о в жизни, но скучно, мелко и незани-

БОЛЬШАЯ ДОРОГА
Картина маслом Л. Л. Поплавского, 1870-е гг.
Художественный музей, Краснодар

мательно в литературе. Факт грустный, но не подлежащий сомнению: почти у всех наших писательниц лучшие произведения их — первые повести; остальное — вариации на одну и ту же тему. Вообще всем им вместе и каждой порознь вредит... как бы деликатнее выразиться?.. то, что они, если можно сказать, преисполнены «ненужных слов и мыслей, ставших общим местом».

В произведениях г-жи Крестовской менее всего слышится напряженной крикливости и светской болтливости. Ей иногда удаются даже мужские характеры: хотя они не рельефны, но в них слышится наблюдательность и мысль. И вообще, — если б в повестях г-жи Крестовской было поменьше «книжности» и побольше жизни, они поспорили бы с лучшими произведениями новейшей литературы. Резонёрство и ум, переходящий в умничанье, — вот коренной их недостаток, тем более важный, что благодаря ему, при всех своих достоинствах, повести г-жи Крестовской — скучны. После первых своих, не совсем удачных, литературных дебютов, она заметно развивается и идет вперед.

Содержание романа «Последнее действие комедии» можно рассказать в нескольких словах. В одном губернском городе живет семейство, принадлежащее к губернской аристократии. Глава семейства — пустейший человек, красавец собою, мот, картежник и любезник; жена его (старуха сравнительно с ним) черствое существо, благодушное по внешности, но безобразное по своим понятиям, лицемерка и ханжа. У нее на все есть готовый афоризм. Спрашивают ее, например: «вы расстроены болезнию вашей дочери?» — она с величавой кротостью отвечает так: «Я? нет. Что такое болезнь? На то мы рождены. Кто переносит с терпением, тому и болезнь в сладость». Все, что ни делается вокруг ее, она называет безумием. Скажут ей, например, что такая-то девушка — хорошенькая собой, она с укоризной ответит: «красота человеческая есть прах и тление. Чем меньше этого безумия — браков, тем лучше». У этих супругов есть сын — кислый, ничтожный юноша, и дочь, немолодая, но замечательная девушка по уму и сердцу. Все дело в романе заключается, главным образом, в мелких семейных отношениях и в характеристике губернских нравов. Промотавшийся отец хочет поправить свои расстроенные обстоятельства и трактует об этом самым циническим образом с своим достойным сынком. Молодая девушка, впавшая в какую-то страшную апатию и безотрадную сосредоточенность, наконец оживляется. Оживить печальную жизнь немолодой девушки, конечно, может только одно — любовь. В этой любви, накипевшей годами, так давно и тщетно ею ожидаемой, высказались вся энергия и благородство этого несчастного существа, начинавшего уже глохнуть среди тяжелой семейной обстановки. Но это чувство не спасло ее: брак, по стечению обстоятельств, расстроился, а с ним, скоро после того, окончилось и ее земное существование.

Содержание просто и не ново, но тем больше чести автору, что он умел совладать с этим старепьким сюжетом. Лучше всех выдержан характер лицемерки-ханжи, г-жи Оршевской, и ее приятельницы, Пелагеи Михайловны. Обе они корчат постные физиономии, никого не обвиняют и всех ненавидят, ничем тленным не интересуются; а, между тем, Пелагея Михайловна, вся воплощенное сребролюбие, имеет капитал, одолжает людей и жмет их с холодностью ростовщика. Елена Ивановна, которая считает себя безгрешною, — ничтожная жена, дурная мать, но которой вся цель жизни состоит в том, чтоб служить своими добродетелями живым укором другим людям. Они друг друга ненавидят, ссорятся, вздыхают и мирятся. Одна скажет: «Не ропщите, не ропщите!.. Ох, ропот... вы знаете, что такое... или уныние. Боже избави!» Другая, которая не умеет еще так ловко маскироваться, взбесится, а потом с сокрушением прибавит: «да... гордость — начало всякого греха!»

Отдавая должное прекрасному таланту г-жи Крестовской, мы укажем и на его недостатки. Главный мы указали уже в коротких словах выше; скажем о нем подробнее. В ущерб художеству, она любит слишком много анализировать и рассуждать[4]. Эти анализы длинны, как монологи в старых драмах, утомительны, как прописные морали. Так, например, одно вступление в роман производит самое неловкое впечатление[5]: это какое-то оправдательное словопрение, и оно значительно предупреждает читателя против всего романа, который, вопреки ожиданиям, оказывается интересным. В этих рассуждениях есть что-то детское, словно автор боится того, чтоб не сказали, что он пишет безделушку, и он спешит рассеять это сомнение и доказать серьезность своих занятий тремя-четырьмя страницами философских рассуждений. Пусть автор отрешится от этой замашки незрелых талантов, пусть он вспомнит, что все истинные художники скупы на слова, от своего лица говорят кратко и мало; пусть автор, не жалея, уничтожает целые страницы своих анализов и рассуждений, если только он горит желанием совершенствовать свой художнический талант. Кроме утомительности, эти анализы более всего затемняют отношения действующих лиц (это более всего заметно в ее последнем романе), придают мертвенность там, где вспыхнула неподдельная жизнь, ослабляют и свежесть и поэзию рисунка, придавая всему характер книжности. Еще посоветуем автору, для будущих его успехов, прятать как можно подальше от читателя свою личную мысль, нерасположение к тому или к другому лицу и казнить своих героев их же поступками. Осветите только равным, правдивым светом ваши фигуры, и, поверьте, читатель все поймет. Тепло, гуманно перо автора, но торопливо и слишком резко там, где должен всплыть наружу весь герой, и часто автор, совершенно некстати, выскакивает сам на страницы своего романа. Это вредит делу.

Повесть г-на Вердеревского[6] «Плен у Шамиля» чрезвычайно интересна. Это — невымышленный рассказ о восьмимесячном пребывании в плену у Шамиля семейств князя Орбелиани и князя Чавчавадзе. Не рассказываем его содержание, потому что оно отчасти уже известно читателям из наших газет, и отсылаем любопытствующих к самому рассказу. Скажем одно: повесть г-на Вердеревского представляет в высшей степени интересную и мало известную нам картину нравов воинственных горцев. Поэтому его повесть, сверх литературного интереса, имеет еще интерес политический и исторический и, впоследствии, может служить весьма важным мемуаром для историка далеко неисследованного нами края. Здесь в особенности любопытны характеристика домашней жизни Шамиля, портреты его жен, приближенных сановников, влияние имама на народ, выкуп и размен пленниц и переговоры по этому случаю. Благодаря рассказу г-на Вердеревского, для нас несколько уяснилась загадочная личность Шамиля, человека, бесспорно, замечательного, хитрого и изворотливого, лукавого и недоверчивого. Его дипломатические переговоры, осторожность и недобросовестность, пламенное желание получить миллион за выкуп и столь же пламенное желание увидеть своего сына, поручика Джемаль-Эддина, исполнены живого интереса. Наконец, драматизм всего происшествия, пребывание в плену еще более придают колорита этой оригинальной картине. Мы уверены, если б перевести эту повесть на иностранные языки, она имела бы за границею успех: так ново, драматично и картинно все событие.

Что же касается собственно до исполнения повести, то в этом отношении она не совсем удовлетворительная, и хотя автор говорит в своем предисловии, что он «постиг всю важность простоты в настоящем (описываемом) случае», но, к сожалению, он менее всего придерживался этой простоты. Слог его напыщен и витиеват, обилует излишеством эпитетов, и вообще видно, что г-н Вердеревский как будто старается разжалобить своего чи-

тателя и вследствие этого историю, и без того драматическую, усиленно тянет вверх, так сказать, на самую верхушку пафоса и красноречия. Неприятно также поражает тон его повести: словно читаешь песнопение какого-нибудь миннезингера, живописующего семейные огорчения благотворительных владетелей замка. Но, повторяем, интерес повести так велик, что даже и это, с течением рассказа, исчезает и не делается столь резким. Мы поздравляем «Отечественные Записки» с приобретением такой, истинно капитальной статьи, потому что недостатки произведения нимало не относятся к журналу — это уже вина самого автора.

В 3 № «Библиотеки для Чтения» в высшей степени замечательная статья г. академика Устрялова «Первые морские походы Петра Великого в 1693 и 1694 гг.». Вообще обнародованные доныне эпизоды из громадного труда г. Устрялова несомненно свидетельствуют о высоком и всеобщем интересе, который должна возбудить «История Петра Великого», таким образом изложенная. Нет сомнения, что она завоюет себе столько же читателей и такую же славу, как завоевала история Карамзина, и что труду нашего академика предстоит в своем роде роль столь же блистательная и благотворная по влиянию, какая долго принадлежала «Истории Государства Российского» [7].

Появился 21 (он же и 22) нумер «Москвитянина». В нем, к сожалению, не встретили мы продолжения писем Гоголя к г. Погодину, и вообще содержание его небогато. В «Крымских Письмах» Н. В. Б. [8], интересу которых журнал наш уже не однажды отдавал справедливость, любопытнейшим на этот раз показалось нам следующее место:

«Приписка к письму от 28-го октября.

Государь приехал сегодня во втором часу. Замечательное обстоятельство: тотчас после того, как он из церкви прошел в дом, назначенный для его помещения, — над этим домом явилось 22 орла, которые кружили долго и потом полетели по направлению к Евпатории. Немного погодя явилось опять столько же (и все со стороны Севастополя), и опять покружили над его домом и полетели к Евпатории. Надо заметить, что до сих пор орлов здесь было очень мало. Во все время, как мы здесь живем, пролетели орла два-три».

Да еще очень хороши стихи, навеянные автору ханским дворцом в Бахчисарае:

Проснулись вновь дворца немые сени:
В жилище непробудной тишины,
В чертоги сладострастия и лени
Повеяло дыхание войны.
Где осенял высокоствольный тополь
Веселых одалиск игривую семью,
Сидит солдат, израненный в бою,
И видит в снах своих гремящий Севастополь...
О мрамор старых плит рукой он оперся...
Там прежде бил фонтан и царствовала нега...
Вдруг — слышит он — гремит почтовая телега,
И русский колокольчик залился —
И сердце екнуло у русского солдата;
И сон другой он видит наяву —
И Русь широкую, и матушку-Москву;
Пред ним жена и малые ребята —
И слезы каплют на траву...

Не правда ли, удивительные стихи! И прочувствовано сильно и сказалось хорошо. В том же письме нашли мы прекрасный перевод сонета Мицкевича «Странник»:

Так, я достиг давно желанной цели:
У ног моих цветущий край земли,
И моря шум, и реют корабли,
Качаяся в волнах, как в колыбели.

Но снятся мне родимые метели...
О Русь, леса дремучие твои
Отраднее и слаще сердцу пели,
Чем звонкие Байдара соловьи.
И кажется мне краше и дороже
Немая ширь и глушь моих степей,
Чем пышное цветов душистых ложе...
Там я любил на утре лучших дней,
Там и она... но снится ли ей то же,
Что снится мне о прошлом и об ней?

Кстати, снимем с г. Б. обвинение в некоторых мелочах и чисто-личных подробностях, которые попадались в прежних его севастопольских письмах и казались не всегда уместными: ныне г. Погодин объявил, что он, вопреки желанию автора, не хотел исключить таких мест, из опасения нарушить искренность и безыскусственность писем.

ПОЖАР В ДЕРЕВНЕ
Рисунок К. А. Савицкого, 1887 г.
Третьяковская галлерея, Москва

В последних книжках «Русского Вестника» появилось несколько замечательных статей ученого содержания. Мы будем говорить о них в следующем месяце. Журнальная деятельность в Москве обещает и еще более оживиться изданием нового журнала «Русская Беседа», предпринятым г. г. Кошелевым и Филипповым [9]. Мы можем ошибиться, но у нас есть твердое убеждение, что «Русской Беседе», так или иначе, суждено играть благородную и благотворную роль в русской литературе и вообще в развитии нашего общества. Как бы ни проявились убеждения людей, соединяющихся в «Беседе», в основе их убеждений лежит начало животворящее — бескорыстная и глубокая любовь к России; а такая основа уже сама собою исключает апатию, разрешающуюся в деятельность рутинную и бесплодную. С нетерпением ждем первого № «Беседы», обещанного в начале апреля.

Упомянув о новом журнале, нельзя умолчать и о журнале, который в своем роде также производит впечатление новости. Это «Пантеон» [10], которого первая книжка на 1856 год на-днях появилась в Петербурге. «Пантеон» никогда не был журналом лишним в русской литературе, и мы

душевно рады его возобновлению и обещанию — впредь издаваться аккуратно.

Желая ему всяких успехов, не можем не указать издателю его на следующее обстоятельство. Главнейшая причина неуспеха его журнала заключается, по нашему мнению, в неопределенности его направления: хочет ли «Пантеон» быть журналом в роде «Отечественных Записок», «Современника», или же основная цель его быть изданием специальным, согласным с его первоначальным назначением? От этой двойственности цели «Пантеон» не имеет никакой определенной физиономии. Было бы гораздо лучше, если б он избрал одну которую-нибудь цель и строго держался ее. К чему подражать другим журналам, когда «Пантеон» может иметь собственный, совершенно самобытный характер? Нам кажется, что журнал по преимуществу драматический (пожалуй, с прибавлением иногда повестей, но только не таких, какие появлялись в прошедшем «Пантеоне»), — журнал, который поставил бы своею целью — драматическую отрасль искусства и, в случае недостатка русских пьес, переводил бы классические произведения иностранных литератур, — такой журнал скоро приобрел бы уважение публики, получил бы физиономию и сделался бы необходимым. Но «Пантеон» сгубила гоньба за многосторонностию: никто никогда не пестрил своих оберток таким разнообразием (кажущимся), как «Пантеон». Знамя с надписью: «Русский театр и стремление к его развитию» казалось ему слишком легким и ничтожным. Он взял и театр, и литературу, и науку... и сломился под тяжестию такого многоцветного знамени. Теперь он снова поднялся, и мы желаем, чтоб обновление его было прочно.

〈Далее опущены объяснение с «СПб. Ведомостями», указывавшими, что «Современник» перепечатал, приписав Пушкину, стихотворение Туманского «За днями дни идут чредой», и полемика по этому поводу с А. А. Краевским. — Р е д.〉

〈«Современник» 1856, № 4, 223—237; без подписи〉

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Опущенный отзыв об этой речи, произнесенной Блудовым по случаю назначения его президентом Академии Наук, не следует, конечно, понимать в смысле сочувствия этому верному слуге самодержавия; автор статьи (у нас нет никакой уверенности, что это — Некрасов) рассматривает речь сановника как официозный документ, свидетельствующий о решении правительства в той или иной мере «поощрять просвещение» в связи с назревавшими реформами; исходя из этой декларации, автор статьи рисует широкие культурно-просветительные задачи деятельности Академии Наук.

[2] Некрасов имеет в виду «тенденциозные» стихи Майкова 1854 г. (см. в настоящем томе мою вступительную заметку к публикации эпиграммы Майкова «Авторам послания к Лонгинову»).

[3] В. К р е с т о в с к и й — псевдоним Н. Д. Хвощинской (1825—1889), известной романистки, дебютировавшей в 1847 г. стихами, в 1850 г. напечатавшей первую повесть. Прозаические произведения Хвощинской пользовались большим успехом и уже в 1859 г. были изданы, в 6 частях, ее «Романы и повести В. Крестовского».

[4] Та же склонность к излишней рефлексии и мелочному психологическому анализу была отмечена в рецензии на повесть в стихах Хвощинской «Деревенский случай» («Современник» 1854, январь). А. Н. Пыпин, в кн. «Н. А. Некрасов», СПб., 1905, 236, предположительно считает автором рецензии Некрасова, что подтверждается ее общим характером.

[5] Роману Хвощинской было предпослано морализующее вступление, в котором автор на протяжении трех страниц занимается оправданиями характера тематики романа и объясняет его заглавие.

[6] Е. А. В е р д е р е в с к и й — поэт и прозаик, начавший литературную деятельность в 1820-х годах; в 1854—1856 гг.— редактор газеты «Кавказ». Написанная им вместе с неким Н. Дункель-Веллингом шовинистическая брошюра «Шамиль в Париже и Шамиль поближе» (Тифлис, 1855) была рецензирована Некрасовым («Современник» 1855, июль; авторство устанавливается наличием автографа, хранящегося в Доме-музее Н. Г. Чернышевского в Саратове).

[7] Н. Г. Устрялов (1805—1870) — профессор истории, академик. Предсказание «блистательной и благотворной роли» его работам о Петре мало соответствовало их скромным достоинствам. См. статью Добролюбова по поводу первого тома «Истории царствования Петра Великого» Устрялова (Полн. собр. соч. Добролюбова, М., 1936, III, 114—212 и прим. А. В. Предтеченского, 605—609).

[8] Н. В. Б.— Н. В. Берг; о нем см. в примечаниях к публикации его писем к Некрасову в следующем томе наст. издания.

[9] «Русская Беседа» (1856—1860) — ежемесячный журнал, орган славянофилов, выходивший в Москве под редакцией А. И. Кошелева и Т. И. Филиппова. Подробный отзыв о первой книжке «Русской Беседы» был дан Н. Г. Чернышевским в «Заметках о журналах» за май («Современник» 1856, № 6).

[10] «Пантеон» (1852—1856) — литературно-художественный журнал, издававшийся Ф. А. Кони. Возник в результате преобразования чисто-театрального журнала «Пантеон и Репертуар русской сцены» (1850—1851) в общелитературный журнал крайне разнообразного содержания, с уклоном в историю и теорию театра. В годы Крымской войны «Пантеон» постепенно утратил популярность, как журнал, далекий от общественных тем и к тому же не получивший права на перепечатку военных известий из «Инвалида».

ЗАМЕТКИ О ЖУРНАЛАХ ЗА МАЙ 1856 года

Читатель, мы еще ничего не говорили вам о комедии графа Соллогуба «Чиновник», игранной с успехом на сцене, напечатанной в 3 № «Библиотеки для Чтения» и наделавшей, как говорится, шуму [1]. И мы очень рады, что ничего не говорили, потому что от нас вы верно не услышали бы о ней такого дельного и меткого слова, какое сейчас услышите. Дело в том, что комедия графа Соллогуба, затронув один из самых живых современных вопросов, вызвала, между прочим, следующее суждение о ней специалиста, — суждение, с которым мы совершенно согласны и которое поэтому с удовольствием помещаем здесь.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О КОМЕДИИ «ЧИНОВНИК»

Из записок «Чиновника»

«А нечего сказать, хотелось бы мне сегодня пойти в театр — посмотреть на «Чиновника». Кажется, будь один лишний рубль, зашел бы непременно».

Таково было рассуждение мое с самим собою, в среду на масляницe, 22 февраля сего 1856 года, когда я, возвращаясь от должности в пять часов пополудни, остановился, по обыкновению моему, в подъезде Александринского театра и прочитал выставленную второпях боком афишу, для чего должен был и голову склонить несколько набок. Рассуждение это прервалось само собою, при мысли об отсутствии не только лишнего, но даже и необходимого рубля в моем кармане, — и я пошел своей дорогой, с тем умилительно-грустным чувством в душе, которое поймет только господин, прочитавший обеденную карту у Дюссо, когда обладает средствами, достаточными на приобретение лишь папироски.

«Впрочем, ежели бы и был у меня рубль — рассуждал я далее — ежели бы он теперь и был у меня, вот со мной в кармане, так неужели мог бы он назваться лишним, когда я в месяц имею таких рублей только 28, а у меня жена, трое детей, да еще старушка-матушка, да есть сестра замужем за человеком, служащим другой год без жалованья, в ожидании вакансии... Тоже надо нанять и кухарку на все руки; надо одеться, чтоб на службе-то не сидеть оборванцем: нынче этого не любят, да и самому неприятно, все как-то хочется почище. А опять возьмите: в семействе болезни, родины, крестины... не дай бог, похороны... вот они, лишние-то рубли, и понадобятся. Нет, кабы лишние-то были, так не стал бы я отмеривать сюда каждый день с Выборгской да назад столько же: я бы лучше нанял квартиру хоть повыше, да поближе к должности. А то теперь как:

к должности надо явиться в 9 часов, стало быть выйти из дому в 8; просидишь до 4, как следует; да как начальник-то приехал в 12, так у него, гляди, усердия-то хватит за половину пятого. Известно, сытый голодного не разумеет. Назад-то когда же придешь? в 7 часу. А подмышкой принес работки и на вечер. Вот они и все радости мира сего... начинай завтра сначала... так тут не до театров».

В таких-то безотрадных размышлениях дойдя до квартиры, я потолковал с своими и, приладившись к своему рабочему, он же и чайный, столику, засел за обычное писание. Но, как ни был я занят своим делом, безотвязная мысль: хотелось бы и мне посмотреть на этого «Чиновника»,— нет-нет и прошмыгнет между лбом и глазами. Проснулась ли страсть моя к театру, зародившаяся еще давно-давно, когда мы жили далеко отсюда и не так как живем, когда у покойного батюшки бывали домашние спектакли, где и я на 13 году отличался в «Провинциальном Адонисе», и где сотни рук подхватывали меня со сцены и сотни уст заверяли батюшку, что ну... такой мальчик не пропадет (последствия, впрочем, мало оправдали это предсказание)... проснулась ли, говорю я, страсть эта, убаюкиваемая в последние годы ежедневным прочитыванием афиш в подъезде Александринского театра, имя ли гр. Соллогуба, которому я некогда поклонялся за его «Большой свет» и «Историю двух калош», или, наконец, утешительная надежда увидеть на сцене не того чиновника, каких нам доселе показывали: пьяных, небритых или смешных своею важностию, или гадких своею алчностию: нет! а чиновника-человека, сознающего всю важность своего призвания, во всякую минуту и во всех обстоятельствах помнящего всю святость клятвы, данной им богу пред первым шагом своим на это скользкое и многотрудное поприще, — мысль о «Чиновнике» из головы моей не выходила, и долго бы не удалось мне посмотреть на него, ибо лишнего рубля и теперь еще у меня нет, — долго бы «Чиновник» этот был виновником моих и сладких снов и бессонных ночей, а иногда и причиною неуместной рассеянности, ежели бы, в месте моего служения, не получался журнал «Библиотека для Чтения». Книга за март, обойдя, как и следовало, по рукам старших, дошла до меня только на сих днях. С жадностию схватил я ее и, на этот раз не пожалев расстаться с гривенником, прикатил домой на «Ваньке» и засел за чтение.

Я отыскал прямо отдел «Петербургской Хроники», перевернул несколько страниц, и вот... вот стр. 122: «В среду на масляницe, на сцене Александринского театра дана новая комедия графа Соллогуба «Чиновник», — комедия, имевшая огромный и вполне заслуженный успех. С большим удовольствием рассказал бы я здесь содержание этой прекрасной пьесы; но — увы! — это невозможно: вы сами прочтете ее в этом журнале...»

Так она здесь, эта прекрасная пьеса! Не отходя с места, я прочел ее в этом журнале.

Богатая, молоденькая, умненькая и хорошенькая графиня, вдова, приехала из Петербурга в свое имение и, от нечего делать, позволяет ухаживать за собою своим соседям: старому селадону Стрельскому и промотавшемуся, убежавшему от невесты, повесе Мисхорину; но когда третий сосед ее, дрянной старичишка, ябедник и сутяга Дробинкин заводит с нею тяжбу, вследствие чего приезжает из губернского города молодой, умный, образованный и богатый чиновник Надимов, то, как и следовало ожидать, графиня и Надимов влюбляются взаимно, и она говорит ему: «Останьтесь». Затем следует картина, и занавес опускается. Кажется, эта завязка не новая и, по причине частого употребления, мало интересная. Не думаю, чтобы и сам автор, положа руку на сердце, не согласился со мною в том, что, сосредоточив все свое внимание на главном лице комедии, чиновнике, он вовсе не занялся отделкою прочих, отчего и вышли все они бесцветны до такой степени, что, как говорит рецензент «Библиотеки

для Чтения», и даровитый артист Сосницкий был словно связан чем-то в роли Стрельского. Я же прибавлю к этому: истинно удивляться нужно г-ну Мартынову, ежели он что-либо сделал из роли Дробинкина; а затем, отложив в сторону графиню, Стрельского, Мисхорина и Дробинкина, займемся мы и главным лицом комедии — чиновником Надимовым.

Сколько раз случалось мне встречать на службе добрых, благонамеренных, истинно прекрасных молодых людей, которые, при всех этих качествах, ежели начальник на шаг их от себя отпустит, не сделают ему ничего, кроме чепухи, и не оттого, чтобы они не хотели заняться делом

ВЫХОД ИЗ ЦЕРКВИ
Картина маслом А. М. Морозова, 1865 г.
Третьяковская галлерея, Москва

как следует: нет! усердия у них много; да или они не умеют за дело приняться, или же молодость возьмет свое, и тогда прости-прощай дело, за которым они ехали с такими прекрасными намерениями. Такие люди сами по себе только бесполезны; но ежели вместе с таким чиновником случится тут же какой-нибудь, что называется, до́ка, о! тогда этот прекрасный чиновник делается уже вредным, ибо до́ка, загораживаясь его присутствием, обрабатывает дело так, как тому и во сне не снится, тем более, что и сон прекрасного молодого чиновника безмятежен, как сон самой невинности.

Образец такого чиновника показал нам ныне и автор предлежащей комедии, в лице Надимова.

Когда вышеупомянутый ябедник и сутяга Дробинкин послал губернатору жалобу на вышереченную графиню, за подкос его сенокосных

лугов, и губернатор, выйдя на этот раз из законного порядка (ибо жалобы в подобных случаях приносятся не губернаторам, а земским судам), послал на место, для производства об этом следствия, своего чиновника Надимова, то г. Надимов, влетев щеголем к графине, приступил прямо к трактату о несбыточности надежд человеческих, потом пошел с графиней в сад, прогуливался с нею под ручку, рассказывая, как обманулся он в первой любви своей, и, наконец, влюбился в графиню... А дело, за которым он приехал? Помилуйте! до того ли теперь ему, тем более, что бестолковый Стрельский наводит его на мысль, будто графиня выходит за Мисхорина, и в то же время он, Надимов, получает от губернатора, с нарочным, предписание исследовать один из поступков того же Мисхорина. Не зная, как видно, вовсе своих обязанностей, ни порядка следственного производства, Надимов тут же объявляет Мисхорину, в чем он обвиняется, и в чужом доме приступает к формальному допросу обвиняемого; а тот, вероятно, смекнув, с кем имеет дело, говорит ему: «да позвольте! вы-то сами кто такой? как вас самих зовут?» Вот была бы штука, ежели бы Мисхорин, под каким-нибудь невинным предлогом выйдя из комнаты, сел на тройку да уехал на все четыре стороны! Был бы тогда чиновник с праздником. Но этого не случилось. Разговор из официального пошел на откровенности, и Надимов, в припадке великодушия к сопернику, забыв об отношениях следователя к обвиняемому, дает ему свои деньги, а сам, полагая, что он, Надимов, имеет право, во всякое время и ничего не сделав, сесть и уехать с места своего назначения, объявляет торжественно, что он уезжает; но потом, порассказав несколько о тягости трудов своих, хотя на этот раз трудов, кажется, у него не было, и услыхав от графини утешительное: «останьтесь», остается, вероятно, для составления, вместе с прочими лицами, картины.

Итак, если автор комедии «Чиновник» хотел нам показать одного из чиновников, делающих за глазами начальства чепуху, то он вполне достиг своей цели, и комедия его есть истинное зеркало действительности; но как в то же время ему угодно было вложить в уста чиновника этого несколько чисто прекрасных слов о любви к отечеству, о долге каждого содействовать к искоренению взяточников, о службе по совести, то зачем же было этого так честно говорящего человека показывать нам с такой пустой, ничтожной стороны?

Надимов, как видно из его же о себе рассказов, проболтавшись несколько лет по свету без цели и без разума, испытав любви и сладости и горести, вспоминает, наконец, что у него есть отечество, которое он должен любить и которому, вступив в гражданскую службу, он может принести немалую пользу уже и тем, что ототрет собою взяточника, и с этою-то мыслию, не гнушаясь мелкою должностию, определяется чиновником особых поручений при начальнике одной из губерний нашей широкой и богатой Руси*.

Чиновники особых поручений суть руки, глаза и уши начальника губернии. Губернатор, при множестве обязанностей, удерживающих его постоянно в губернском городе, не может, да и закон его не обязывает, бывать в губернии более одного раза в год; а между тем, в губернии много совершится в этот год такого, где нужно бы ему и взглянуть, и прислушаться, и распорядиться. И вот для этого-то он и имеет у себя чиновников особых поручений, людей, им самим избранных, испытанных, опытных и непременно добросовестных; ибо случится ли в губернии особой важности уголовное происшествие, губернатор посылает произвесть о нем следствие чиновника своего, потому что чиновники места, где происшествие

* В пьесе Надимов называет себя просто чиновником, но по положению, данному ему автором, он именно чиновник особых поручений.

это случилось, как люди местные, могут иметь с прикосновенными к делу лицами и отношения личные, которых у чиновника, губернатором избранного, быть не должно... а здесь безделица! здесь идет дело о состоянии, о чести, о политической, быть может, смерти человека, и нередко дворянина: следствие есть основа всего, ибо, от первой и до самой высшей инстанции, суд судит вас по произведенному чиновником следствию, и ежели при производстве следствия этого все законом постановленные формы соблюдены, никакой суд ничего для вас не сделает. Если губернатору принесена жалоба на неправильные или противозаконные действия властей и мест уездных, он посылает своего чиновника поверить эти действия. Дошло ли до губернатора, что такой-то из чиновников уездных живет шире того, как бы мог он жить по средствам, данным ему от правительства, или, получая рублей 500 в год жалованья, проигрывает по 500 рублей за вечер, — и губернатор дает своему чиновнику первое попавшееся под руку дело в том уезде, а между тем поручает ему вглядеться в этого бонвивана и артиста на зеленом поле, прислушаться к говору о нем того общества, в котором он вращается, а ежели, на беду, человеку этому вверено еще и хранение сумм казенных, то неожиданно для него и посмотреть, крепко ли они у него уложены. Случится ли в губернии болезнь повальная, неурожай на хлеб, где нужны распоряжения и быстрые и безукоризненные впоследствии, губернатор и за этим посылает того же чиновника. Вот и теперь, еще в недавнюю годину испытаний наших, заготовление и отправка провианта, формирование и обмундировка ополчения, все это делалось лицами, особо для того назначенными; но чтобы взглянуть на все, наблюсти за всем, удостовериться, все ли в исправности, и тут, конечно, употреблялись губернаторами те же чиновники. И не забудьте, что все, что чиновник этот сделает, что он увидит, узнает и о чем доложит губернатору, все это принимается так, как бы видел, слышал, сделал губернатор сам. Так сколько же опытности и в деле и в жизни, сколько добросовестности, благонамеренности и испытанной честности должны иметь эти чиновники! И эти-то места, сопряженные с такой тяжкой ответственностию перед богом, законом и добрыми людьми, г. Надимов относит к числу мелких должностей, полагая в простоте своего непорочного сердца, что крупные должности только тут в Петербурге, и забывая пословицу наших прадедов, научающую нас тому, что всякий кулик велик в своем болоте, что только круг действий чиновника в губернии теснее здешнего, а значение-то в своем месте одно и то же. Разница в том, что чиновник губернский, коли сделает промах, так на одну свою губернию, а уж тут человек размахнется на всю Русь православную...

Честно ли же со стороны вашей, г. Надимов, спрашиваю я теперь вас самих, перед лицом всех, — проболтавшись, как выше сказано, несколько лет без цели, без разума, затесаться прямо на такое место, которого и значения-то вы не понимаете, а между тем гордитесь, что оттерли собою взяточника и что, имея большое имение, не берете взяток, так неосторожно вам предлагаемых, как говорится, среди белого дня, в обществе четырех человек и в том числе молоденькой графини?.. Хорошо рассказываете вы о пользе вступления вашего и вам подобных на службу; но слова, батюшка, не есть дела, пользу-то от вас мы сейчас видели. Оно и видно, что любовь к отечеству, с которою всякий честный человек родится, всасывает ее с молоком матери и становится с нею на ноги, не была для вас первою любовью, а пришла на ум уже впоследствии от нечего делать. Да и с чего берете вы, что вступлением своим на службу оттерли вы непременно уже взяточника?.. А может быть, иной молодой человек, один из тех, которые по закону обязаны по окончании курса наук прослужить три года в местах губернских, уже не три, а шесть и более лет потрудился честно, добросовестно, при-

обрел познания, которых у вас нет, и по справедливости надеялся занять то место, которое вам угодно было выхватить у него из-под носа? В таком разе, м. г., воображая принесть собою пользу, вы делаете тройное зло: беретесь за дело не по силам, лишаете достойного — вознаграждения, а службу — полезного чиновника. А сколько еще каждое из этих трех зол повлечет за собою таких, которых вы и не подозреваете, но которые должны бы тяжело ложиться на вашу безукоризненную, по мнению вашему, совесть! Да и зачем вы, вооружаясь так грозно на взяточников и взятки, облекаете последние в такой тесный смысл, такую вещественную форму? Ведь не одна только передача из рук в руки денег, вещей, лошади, барана, курицы есть взятка. Нет, милостивый государь, на службе всякое удовлетворение вашего «Я» насчет вашего же служебного положения есть уже взяточничество, и взяточничество наглейшее и вреднейшее того, о котором идет теперь дело; а от иной подобной взяточки, быть может, и вы не откажетесь.

Итак, г. Надимов, скажу вам вашими же словами [2]: шутить тут нечего, тут нет ничего смешного, и смеяться я не в силах. Мне кажется, что тут, напротив, надо плакать и каяться и слезами покаяния стереть пятно, наложенное на нас веками. Надо вникнуть в самих себя, надо исправиться, надо крикнуть на всю Россию, что пришла пора, и, действительно, она пришла, искоренять зло с корнями. Теперь словами не поможешь, надо действовать, и лучшее порицание дурному — пример хорошего. Надо, чтобы каждый из нас, кто дорожит честью своего края, пожертвовал собою и (здесь я говорю уже от себя) прежде всего сознал бы свое место. Многое мог бы я сказать вам по поводу взяточников и взяток, быть может, многое и к искоренению последних; но, к несчастью, на разных путях мы с вами: вы, с вашим незнанием дела, на театральных помостах пожинаете лавры за ваши разглагольствования о любви к отечеству; я же, с моим многолетним трудом, не осмелился бы подать и голоса, если бы вы не задели за живое всякого из нас, сознающих не хуже вашего и действительное присутствие посреди нас зла, и необходимость рано или поздно вырвать его с корнем, — предложением вашим заменить одно зло другим: ибо согласитесь, что система оттирания со службы людей малодостаточных и уже по одному тому, как полагаете вы, взяточников, людьми, подобными вам, есть ничто иное, как починка «т р и ш к и н а к а ф т а н а». Смейтесь над взяточниками, порицайте их, мешайте их с грязью, бросайте в них каменьями: они этого заслуживают, — но не говорите же и того, чтобы уже одно звание, один вид незначительного чиновника внушали мысль о возможности предложить ему подкуп. Стало быть, вы до сего часа не заметили даже и той действительной пользы, которую принесла службе благодетельная мера — оставлять молодых людей, по окончании курса наук, служить непременно в нижних и средних инстанциях. Разберите-ка хорошенько, что из этого вышло на самом деле, и тогда вы увидите, что со времени его учреждения много уже у нас развелось таких чиновников, которым, несмотря на то, что у них нет больших имений, как у вас, не всякий осмелится сделать предложение, подобное тому, какое было сделано вам. Снизойдите же из мира фантазии в мир действительный, оглянитесь попристальнее на то, что окрест вас очью совершается, и вы тогда постигнете, что человеку, как вы, подобные предложения могли сделать не иначе, как полковник — спроста, а Дробинкин — разве насмех.

Некогда мне с вами, г. Надимов, долго разговаривать: пора на службу; но на прощанье скажу вам в коротких словах то, о чем на досуге не мешало бы поговорить и более: ежели вы точно честный человек и любите свое отечество, не загораживайте же собою дороги труженику, а поезжайте лучше в ваше саратовское имение: там вас ждут, быть может, тысяча

подобных вам людей, быт которых вверен вам судьбою. Там увидите вы, и, быть может, не без пользы человечеству, каким пóтом орошалась та земля, из которой добывались средства к бессознательному шатанью вашему доселе по свету; а увидев это, вы приберете к рукам непременно плута-старосту, вы выгоните вон непременно немца-управителя, и, самым уже возвращением вашим на свою землю, сократив расходы, сократите требования и облегчите труд людей, вам подвластных. А служба — она от вас не уйдет. Разве нет ее там же в вашем околодке? Служите по выборам; но и тут не давайте глазам своим разгораться прямо на место предводительское, — ответственность не малая, — нет! а, не гнушаясь мелких должностей, идите в земский суд: там есть должности старших

ОБЕД НА СЕНОКОСЕ
Картина маслом А. М. Морозова, 1861 г.
Третьяковская галлерея, Москва

или непременных заседателей и, наконец, исправников. Начинайте с первых, потому что надо вам еще учиться, как мы видели это сейчас из опыта, — и из вас потом выйдет хороший исправник. Побудьте заседателем в уездном суде, и вы сделаетесь современем судьею; а до этого дай бог с честию дойти всякому. Самое слово «судия» определяет уже всю святость обязанностей этого звания, и если вы в должности этой соедините в себе кротость, милосердие и правосудие, божественным законом нам предписанные, если вы, произнеся в день несколько приговоров над себе подобными и отходя ввечеру ко сну, без страха, с лицом светлым, осмелитесь сказать: «Господи! я не нарушил твоей заповеди!», о, тогда сознаете вы, существуют ли на свете служебные обязанности, которые бы можно было назвать мелкими должностями и которыми благомыслящий и благородный человек позволил бы себе погнушаться. Вы будете уездным предводителем дворянства тогда уже, когда узнаете людей, вас окружающих, и вместе с тем изучите все, что до того вам знать следует; а если затем,

под руководством уже вашим, будут избираемы в уездные должности, о которых мы сейчас говорили, люди, вам подобные, которые, так же, как и вы, станут начинать с начала, тогда в ваш уезд губернатору незачем будет и посылать чиновников, — разве что разобрать какого-нибудь честного горемыку с каким-нибудь купцом-прощалыгой. Конечно, и по выборам нельзя же все должности замещать людьми достаточными, нельзя же отвергать и недостаточных, по одному только этому подозревая в них людей нечистых; но бывает и так, что иной бедняга малодушный суетится, мечется перед выборами, вымаливает себе местишко и клянется и распинается, что оправдает доверие, а смотри, в голове-то у него сидит, как бы ригу поправить да обгорелого мужика обстроить. Пособите ему, если у вас есть избыток — пусть его поправится; две сотни вам ничего не значит, а он надолго починился. Но и скажите ему: «вот тебе, положим, Хрисанф Сергеич, место, а вот тебе и поправка; смотри ж, нужды у тебя нет, а шалить будешь, мы вышвырнем тебя, как гадину». Да и не жалейте ж потом уж ни его, ни жены, ни детей его: пред ним вы виноваты не будете, а перед женою и детьми его виноват уже он сам. После всего этого спрашиваю я вас: кто же, как не вы, будет избран в предводители дворянства всей губернии? А между тем, пока вы с чистою совестию шли к этому высокому призванию, другой молодой человек по выходе из университета, где-либо в другом конце трудился с таким же бескорыстием, с такою же добросовестностию на службе от правительства; проходил все должности с помощника столоначальника, был и секретарем и чиновником особых поручений, асессором и советником, послужил и в министерстве: везде надо посмотреть, надо поучиться, надо же и себя показать, — и наконец труды его вознаграждены по заслугам: он стал в вашей же губернии губернатором. И вот тогда-то оба, в цвете лет, но уже с опытом в деле и жизни, оба с чистою совестию пред богом и государем, дружно рука об руку поведете вы к совершенству, быть может, тысячу людей, которых служба и честь будут вам вверены. Да не покажется же вам долго ожидать этого, ибо не сами ли вы сказали: «нескоро делаются великие перевороты»?..

«Чиновник».

〈Далее опущена вторая половина статьи — разбор «Русской Беседы», *принадлежащий Н. Г. Чернышевскому.* — Ред.〉

〈«Современник» 1856, № 6, 235—256; без подписи〉

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Комедия гр. Соллогуба «Чиновник», имевшая большой успех на сцене, вызвала ряд резко отрицательных отзывов демократической и либеральной критики, из которых особенно известны позднейшие статьи Н. Ф. Павлова («Русский Вестник» 1856, № 6), сочувственно интерпретированные Н. Г. Чернышевским («Современник» 1856, №№ 7 и 8).

[2] Дальнейшее, начиная от слов: «шутить тут нечего» до слов: «пожертвовал собою», является дословной цитатой из реплики Надимова («Чиновник», явление двенадцатое).

От редакции. Суммируя все данные об авторстве каждой отдельной статьи из цикла «Заметок о журналах», автор настоящей публикации, ныне покойный, А. Я. Максимович, пришел к выводу, что наличные материалы подтверждают «вероятность принадлежности» Некрасову критического фельетона о комедии Соллогуба «Чиновник» (см. выше, с. 231). В действительности, как это установил М. М. Гин, такая атрибуция ошибочна. Автором фельетона был М. Н. Львов. В биографической справке о нем, опубликованной в 1858 г. в «Русском художественном листке» В. Ф. Тимма (№ 7, от 1 марта) сказано: «Первым из напечатанных его [М. Н. Львова] произведений была статья „Несколько слов о комедии Чиновник (из записок чиновника)", помещенная в „Современнике" за июнь 1856 года». Ср. с этим указание Чернышевского в письме к Некрасову от 13 февраля 1857 г.: «Львов (который написал разбор „Чиновника" соллогубовского)...» (Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., М., 1949, т. XIV, с. 341). Таким образом, в «Заметках о журналах за май 1856 года», Некрасову принадлежат лишь первые строки статьи (вводные замечания к фельетону).

НЕКРАСОВ — УЧАСТНИК «СВИСТКА»

Статья и публикация А. Максимовича

1

Организатором, руководителем и основным сотрудником «Свистка» был Добролюбов. Второе место по праву принадлежит Некрасову, который, можно предполагать, был автором самой идеи издания при «Современнике» особого сатирического листка. «„Свисток“ придумал, собственно, я,— рассказывал Некрасов незадолго до смерти,— а душу ему, конечно, дал Добролюбов»[1].

Первые два номера «Свистка», вышедшие в январе и апреле 1859 г., были целиком составлены Добролюбовым (за исключением статьи «Вредная добродетель», принадлежавшей Н. Г. Чернышевскому).

Сотрудничество Некрасова начинается только с третьего номера (октябрь 1859 г.), трагедией «Забракованные» — произведением, однако, несколько случайным для тематики «Свистка» и, видимо, не специально написанным для него, а лишь обработанным на материале более ранних заготовок, восходящих еще к 40-м годам.

Однако о начавшемся активном участии Некрасова в «Свистке» говорит сохранившийся первый лист цензорской корректуры того же третьего номера. Правка свидетельствует о том, что Некрасов к этому времени уже не был случайным сотрудником, но уже занимался организацией и редактированием номера: вносил цензурные замены, правил стихи и давал указания о порядке верстки (ИЛИ, фонд 250, оп. 2, № 75).

В четвертом номере «Свистка» («Современник» 1860, № 3) Некрасов принимает еще более близкое участие: он дает два стихотворения, написанные, видимо, уже в расчете на «Свисток» (хотя и в середине 1859 г.), отвечающие общей его тематике и основанные на злободневном материале. Это — «Дружеская переписка Москвы с Петербургом», задуманная и осуществленная Некрасовым в тесном сотрудничестве с Добролюбовым которому принадлежат прозаическое введение и объемистые «библиографические примечания», пародирующие псевдоученых комментаторов).

Принадлежность этих двух стихотворений Некрасову устанавливается его предсмертной заметкой, сохранившейся в записи А. А. Буткевич: «Из Свистка многое я перепечатал, иное не стоит, но там есть Переписка Москвы с Петербургом, текст — стихи мои, примечания Добролюбова. Эту пьесу я не хотел зачесть своею при жизни Гербель просто это пустил в своей хрестоматии, без моего позволения). Теперь ею можно воспользоваться для статейки обо мне, и ввести ее в приложение, когда будет издание моих сочинений»[2].

Это определенное указание Некрасова на его единоличное авторство (в стихах) несколько противоречит свидетельству Добролюбова. В письме к своему другу И. И. Бордюгову от 4 июня 1859 г. Добролюбов послал ему стихотворение «Ты знаешь град, где Минин и Пожарский...», являющееся первоначальной краткой редакцией «Петербургского послания» (входящего в «Дружескую переписку...»); в письме же, ошибочно датированном им 28 мая (повидимому, 28 июня 1859 г.), он пишет: «Изображение Москвы, столько тебя устрашившее, принадлежит мне менее, чем на половину. Это мы с Некрасовым однажды дурачились, и, конечно, все лучшие стихи его»[3].

Надо думать, однако, что даже эта скромная доля участия Добролюбова («менее чем на половину», «все лучшие стихи его») относилась лишь к первоначальному ва-

рианту «Послания»: при окончательной обработке Некрасов воспользовался, видимо, лишь собственными строками и поэтому мог с полной определенностью называть стихотворение своим. Это соображение отчасти подтверждается наборной рукописью (ИЛИ № 86/1914. VIIIС — архив Добролюбова).

Рукопись состоит из двух частей: вступительной заметки и «библиографических примечаний», написанных рукой Добролюбова, и двух стихотворений (на отдельных листах), написанных рукой Некрасова. В тексте рукописи Некрасова зачеркнута первоначальная редакция первой строфы, предварительно подвергнутая сильной правке. Две поправки в черновике принадлежат Добролюбову, но в процессе дальнейшей переработки Некрасов их отверг.

Именно, вместо первоначального:

Где, Гегелю по мудрости ровесник,
Катков науку с жизнию мирит,
Как водопад, бушует «Русский Вестник»,
И «Атеней», как ручеек, журчит?

Добролюбов написал:

Вилльменю в прозорливости ровесник,
Где хрестоматию Галахов сочинял,
Как водопад, бушует «Русский Вестник»,
И «Атеней», как ручеек, журчал.

Эту несогласованную синтактически редакцию Некрасов заменил окончательной:

Тот славный * град, где смелый провозвестник
Московских дум и английских начал,
Как водопад, бушует «Русский Вестник»,
Где «Атеней», как ручеек, журчал?

Стих 64, первоначально записанный:

Там граф Толстой «Альберта» сочинил,

затем замененный стихом:

Там сам себя Чичерин поразил,—

Добролюбов хотел изменить так:

Чичерин там гремел и отгремел,

однако Некрасов не принял этой замены, уничтожавшей рифму.

Этот пример очень характерен: видимо, варианты Добролюбова, действительно, отсеивались по мере обработки стихотворения.

Единоличное авторство Некрасова подтверждается и записью в сохранившейся бухгалтерской книге «Современника» за 1860 г. (ИЛИ). По счету Некрасова указано: «В 3 № ⟨«Современника»⟩ в Свистке 3 ⟨страницы⟩» [4].

Весь остальной материал четвертого номера «Свистка» (за исключением «новых творений Козьмы Пруткова») [5] принадлежал Добролюбову.

2

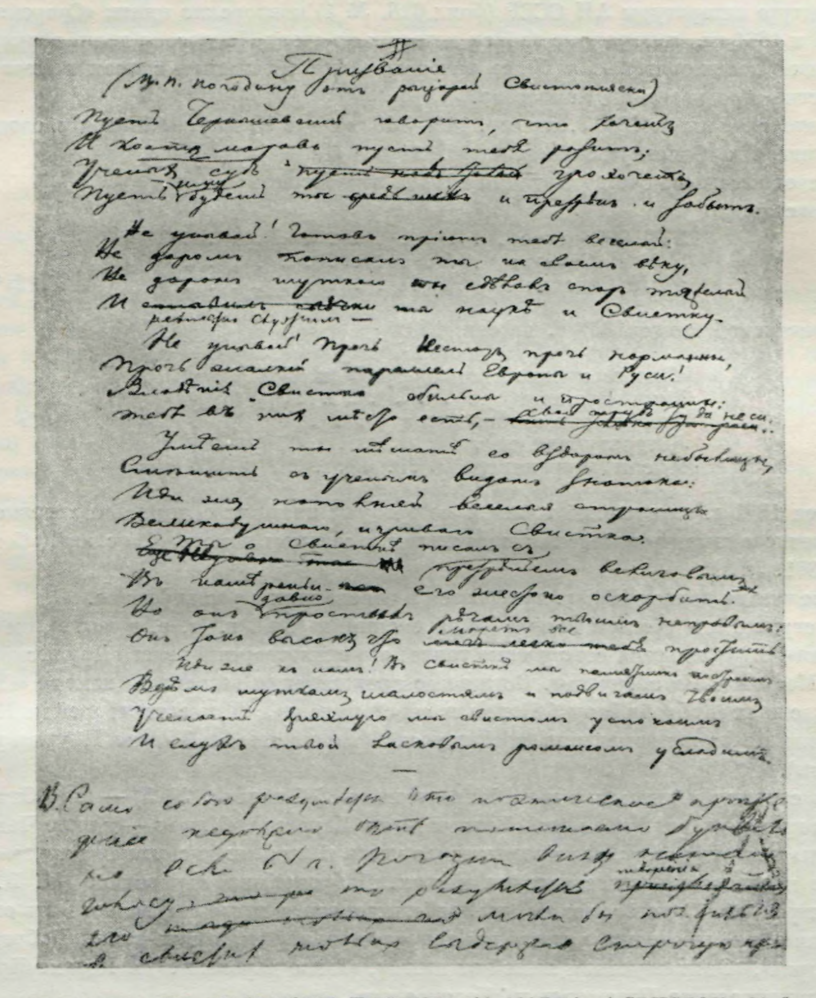
Для того, чтобы определить участие Некрасова в следующих номерах «Свистка», необходимо предварительно заняться вопросами авторства.

Несмотря на большое значение «Свистка» для истории сатирической журналистики 60-х годов, несмотря на то, что именно в нем работа Некрасова теснейшим образом переплеталась с работой Добролюбова, вопросы аттрибуции некрасовских текстов в «Свистке» до сих пор не были подвергнуты внимательному рассмотрению.

Некрасоведам были известны, во-первых, те из напечатанных в «Свистке» произведений Некрасова, которые были им самим перепечатаны, в том или ином виде, в по-

* ⟨В печатном тексте:⟩ мудрый.

следнем прижизненном собрании стихотворений: «Первый шаг в Европу», «Литературная травля, или Раздраженный библиограф» (в собрание сочинений вошло под названием «Литературная травля, или „Не в свои сани не садись“» в переработанной редакции 1860 г.) и «Мое желание. Романс господина, обиженного литературой» (в совершенно переработанном виде вошло в состав стихотворения «Из автобиографии генерал-лейтенанта Федора Илларионовича Рудометова 2-го, уволенного в числе прочих в 1857 году», напечатанного в собрании стихотворений).



СТРАНИЦА ИЗ «РАЗВЯЗКИ ДИСПУТА 19 МАРТА» («СВИСТОК» № 5)

Совместный автограф Добролюбова (стихотворение) и Некрасова (прозаическое послесловие)

Институт литературы АН СССР, Ленинград

Во-вторых, некрасоведы знали произведения, перечисленные, со слов самого Некрасова, в письме Н. В. Гербеля к М. М. Стасюлевичу (оно было процитировано в примечаниях С. И. Пономарева. — Некрасов, Стихотворения, 1879, IV, стр. CXLVI).

Гербель писал: «В „Свистке“ он ⟨Некрасов⟩ указал мне сам при пересмотре у меня на квартире „Современника“ за все годы, для выборки из него своих стихотворений в новое полное их издание: 1) ⟨Забракованные⟩[6] (Совр. 1859, т. 77, № 10, Свист. 501 стр.). 2) Протест против нападки на Кювье (Совр. 1860, т. 81, № 5, Свист. 38 стр.). 3) Что поделывает наша внутренняя гласность? (То же, т. 84, № 12, стр. 34). 4) Состоя-

ние образованности в Камышине, и Мальчик с пальчик (То же, стр. 38 и 39). 5) Вступительное слово Свистка (Совр. 1863, т. 95, № 4, стр. 8)».

К этому перечню была добавлена «Дружеская переписка Москвы с Петербургом», и этим до самого последнего времени ограничивался круг известных произведений Некрасова в «Свистке».

Работая над установлением авторства критических и публицистических произведений Некрасова, *я* привлек дополнительный документальный материал: хранящиеся в Институте литературы АН СССР (фонд 628, № 4) конторские книги «Современника» за 1860 и 1861 гг., гонорарные записи которых по счету Некрасова дали возможность с большей достоверностью и более исчерпывающе установить список напечатанных в «Свистке» произведений Некрасова.

В конторской книге 1860 г., на стр. 148—149, в счете Некрасова, находим следующие относящиеся к «Свистку» записи:

«На счет кассы <со счета> Издания 1860 г. заработано:

В Свистке

3 № В Свистке	3	50
5 № В Свистке	5	
12 № Свисток по 50 р.	9	28.12»*

В конторской книге 1861 г. на стр. 158:

«Вместо предисловия о шрифтах	$7^{1}/_{2}$	100»
Гимн Времени	$1^{1}/_{2}$	
Финансовые соображения . . .	2	
Литературная травля	$3^{1}/_{2}$	
Мысли журналиста	$1^{1}/_{2}$	

Записи 1861 г. совершенно точны и не требуют никаких специальных разысканий: все перечисленные произведения напечатаны в седьмом номере «Свистка» («Современник» 1861, № 1).

Приведенные записи 1860 г. нуждаются в пояснениях и расшифровке.

Три страницы в третьем номере «Современника» 1860 г. (т. е. в четвертом номере «Свистка») определяются совершенно точно: это стихотворный текст «Дружеской переписки Москвы с Петербургом». Остальные произведения четвертого номера «Свистка» принадлежали Добролюбову («Наука и свистопляска», «Три стихотворения Конрада Лилиеншвагера» и примечания к «Дружеской переписке») и Козьме Пруткову («Пух и перья»).

Пять страниц в пятом номере «Современника» («Свисток», № 5) — это «Отъезжающим за границу» (включая стих. «Первый шаг в Европу»), «Кювье — в виде Чацкина и Горвица» и, повидимому, вся прозаическая часть «Развязки диспута 19 марта», состоящая из предисловия и послесловия к стих. Добролюбова «Призвание (М. П. Погодину от рыцарей Свистопляски)», что, действительно, в итоге составляет пять страниц. Остальные произведения пятого номера принадлежали, опять-таки, Добролюбову («Оговорка», «Опыт отучения людей от пищи», «Юное дарование») и Козьме Пруткову («Еще произведение Пруткова» и «Черепослов»).

Принадлежность Некрасову заметки «Отъезжающим за границу» подтверждается тем, что включенное в нее стихотворение «Первый шаг в Европу» было полностью перепечатано им в собрании стихотворений 1873—1874 гг. Принадлежность ему же заметки о Кювье подтверждается черновым наброском, хранящимся в *ИЛИ* (фонд 203, № 18).

По поводу «Развязки диспута 19 марта» Б. Бухштаб пишет в примечаниях к Добролюбову: «В первом издании «Сочинений Н. А. Добролюбова» перепечатано только стихотворение без предисловия и послесловия. Очевидно, у Чернышевского были основания считать предисловие и послесловие не принадлежащими Добролюбову. Дей-

* Первая колонка цифр относится к объему и обозначает число печатных страниц; вторая колонка — причитающийся гонорар в рублях (обычно из расчета 100 руб. за лист в 16 печатных страниц; в одном же, особо оговоренном случае,— из расчета 50 рублей за лист).— *А. М.*

ствительно, в... рукописи послесловие написано рукой Некрасова (вступление же отсутствует). В изданиях под редакцией М. К. Лемке и под редакцией Е. В. Аничкова вступление к стихотворению напечатано в основном тексте, послесловие же не напечатано. Полагаем, однако, что вступление не было включено Чернышевским по тем же основаниям, что и послесловие: очевидно, и оно принадлежит Некрасову, который не только снабдил стихотворение Добролюбова пояснениями, но и изменил кое-что в тексте» [7].

Рукопись, на которую ссылается Б. Бухштаб, хранится в ИЛИ (фонд 203, № 26). Стихотворение Добролюбова было исправлено Некрасовым в двух местах. Стих:

И ставил свечки ты науке и «Свистку»

Некрасов исправил:

И ревностно служил науке и «Свистку»;

стих:

Он так высок, что мог легко тебя простить

Некрасов исправил:

Он так высок, что может все простить.

Девять страниц в двенадцатом номере «Современника» («Свисток» № 6) расшифровываются не так четко.

В той же конторской книге указано, что участниками шестого номера «Свистка» были Добролюбов (31 страница) и М. Михайлов (3 страницы). Вместе с девятью страницами Некрасова это и составляет сорок три страницы (фактически — сорок три с третью) — полный объем номера.

Материал, принадлежащий Добролюбову, точно известен: это «Два графа», «Неаполитанские стихотворения» и «Новое стихотворение Аполлона Капелькина».

М. К. Лемке присоединял к числу произведений Добролюбова еще и открывающее этот номер вступление —«Причины долгого молчания Свистка» [8], очевидно руководствуясь тем, что Добролюбову, действительно, принадлежала напечатанная Чернышевским первоначальная редакция вступления «Новое назначение Свистка», которая была, видимо, запрещена цензурой (о чем см. ниже) и поэтому была заменена другой, с новым названием: «Причины долгого молчания Свистка».

РЫНОК В ПЕТЕРБУРГЕ

Картина маслом А. Ф. Чернышева, 1851 г.

Третьяковская галлерея, Москва

Однако, несмотря на то, что в этой последней статье были использованы некоторые темы и даже часть текста запрещенного вступления, приписывать ее Добролюбову нет основания.

Во-первых, сам Некрасов категорически указал на свое авторство, и это утверждение тем более авторитетно, что оно было адресовано как раз самому Добролюбову: «В XII <номере «Современника»>, наконец, пустили «Свисток»,— сообщал Некрасов в декабре 1860 г.,— который состоит 1) из небольшого вступления, напис<анного> мной. 2) Два графа. 3) Неаполит<анские> стих<отворения>. 4) Что поделывает наша внутрен<няя> гласность (несколько выписок из газет) и еще две статейки, стих<отворение> Ап. Кап.<елькина> (Дики желанья мои) я тоже пустил тут» [9]. Во-вторых, весь указанный в конторской книге объем статей Добролюбова полностью исчерпывается перечисленными выше и заведомо принадлежащими Добролюбову произведениями.

Таким образом, все остальное —«Причины долгого молчания Свистка», цикл «Что поделывает наша внутренняя гласность?» и фельетон «Г. Геннади. исправляющий Пушкина»— принадлежит Некрасову и Михайлову. Так как принадлежность Некрасову заметки «Причины долгого молчания Свистка» установлена, а в то же время фельетон о Геннади нет основания приписывать Михайлову [10], то три принадлежащие последнему страницы следует искать среди статеек цикла «Что поделывает наша внутренняя гласность?»

Единственным источником для выделения принадлежащих Михайлову статей этого цикла является уже цитированная справка Н. В. Гербеля. Перечисляя принадлежащие Некрасову отдельные статьи из цикла «Что поделывает...» etc, Гербель не упомянул одну только заметку «Шестнадцать гусей — жертва нашей безграмотности» (также занимающую около трех страниц), и можно поэтому предположить, что именно она не принадлежит Некрасову, а написана Михайловым.

Это предположение нельзя, однако, считать безусловно достоверным, так как список Гербеля не отличается идеальной точностью (так, стих. «Вместо предисловия» названо им по заголовку, относящемуся ко всем последующим заметкам цикла «Что поделывает...» etc; статьи же Некрасова, видимо, названы не все).

Отсутствие упоминания, таким образом, могло быть случайным, поэтому допустимы догадки, по-иному решающие вопрос авторства.

Я выдвигаю предположение, что Михайлову были оплачены выписки из статеек Ильминского, Карпова и Пациентова (см. текст) и что Некрасов своими краткими обрамляющими заметками оформил их в единый цикл под рубрикой «Что поделывает наша внутренняя гласность?», присоединив к нему свое стихотворение в качестве своеобразной «передовой статьи».

Ведь более естественно предполагать, что цикл оформлен целиком одним лицом по готовым материалам и что в таком случае Некрасову принадлежит завершающая редакционная работа, а Михайлову, его сотруднику,— подготовительная.

Как бы то ни было, сотрудничество Михайлова, видимо, ограничивалось этим циклом о «гласности».

Так решается вопрос об авторстве произведений 1860 г.

Таким образом, суммируя все данные, мы получаем следующий, более или менее исчерпывающий, список напечатанных в «Свистке» произведений Некрасова:

«Свисток» № 3, стр. 501—516 («Современник» 1859, № 10):

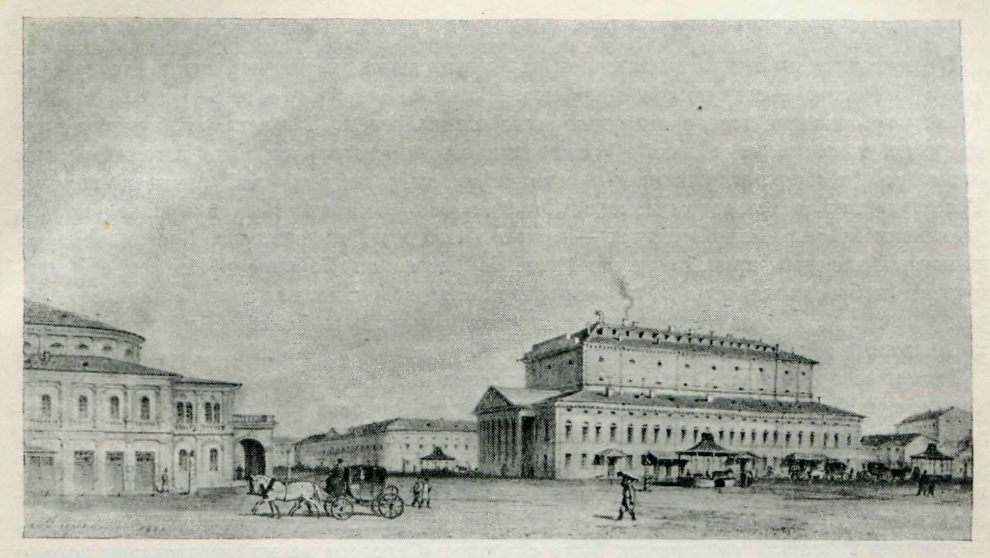
1. «Забракованные. Трагедия в 3-х действиях, с эпилогом; с национальными песнями и плясками и великолепным бенгальским огнем». Подпись: Чурмень.

«Свисток» № 4, стр. 30—33 («Современник» 1860, № 3):

2. «Дружеская переписка Москвы с Петербургом» (тексты стихотворений).

«Свисток» № 5, стр. 35—41 («Современник» 1860, № 5):

3. «Отъезжающим за границу» (включая стихотворение «Первый шаг в Европу. Письмо первое»).



ЗДАНИЕ ИТАЛЬЯНСКОЙ ОПЕРЫ В ПЕТЕРБУРГЕ
Акварель А. Ф. Чернышева, 1851 г.
Институт литературы АН СССР, Ленинград

4. «Кювье — в виде Чацкина и Горвица» (включая стихотворение «О гласность русская! ты быстро зашагала»).
5. «Развязка диспута 19 марта» (прозаическое вступление и послесловие).

«Свисток» № 6, стр. 1—3, 34—40, 40—43 («Современник» 1860, № 12):

6. «Причины долгого молчания Свистка».
7. «Что поделывает наша внутренняя гласность?»:
«Вместо предисловия» (стихотворение «Друзья мои! мы много жили»).
«Шестнадцать гусей — жертва нашей безграмотности».
«Состояние образованности в Камышине, по свидетельству г. Карпова».
«Мальчик с пальчик, или красноречивые противники».
8. «Г. Геннади, исправляющий Пушкина (Письмо в редакцию)». Подпись: Григорий Сычовкин.

«Свисток» № 7, стр. 1—8, 9—10, 35—37, 41—44, 45—46 («Современник» 1861, № 1):

9. «Вместо предисловия, о шрифтах вообще и о мелком в особенности».
10. «Гимн «Времени», новому журналу, издав<аемому> М. Достоевским».
11. «Финансовые соображения. (Голос из провинции)». Подпись: У — — — кий старожил*.
12. «Литературная травля, или Раздраженный библиограф (Эпизод из поэмы-автобиографии Саввы Намордникова)».
13. «Мысли журналиста при чтении программы, обещающей не щадить литературных авторитетов». Подпись: × ×

«Свисток» № 9, стр. 8—12, 67—71, 72—73 («Современник» 1863, № 4):

14. «Вступительное слово «Свистка» к читателям».
15. «Песня об «Очерках» (Из лирической драмы «Видение на Неве»)». Подпись: Савва Намордников.
16. «Мое желание (Романс господина, обиженного литературой)». Подпись: Савва Намордников.

---

* В корректуре: Угличский старожил.

3

В результате мы получаем возможность значительно расширить наше представление о Некрасове — сотруднике «Свистка».

Мы уже отмечали тесное сотрудничество Некрасова и Добролюбова, которое проявляется, конечно, не столько в «коллективном творчестве», сколько в тематических откликах и в координированной работе, имевшей в виду единый замысел номера. Так, например, в четвертом номере «Свистка» основной удар был направлен против реакционной «московской» науки — против Погодина, вызвавшего Костомарова на известный диспут о происхождении Руси. Некрасовская «Переписка Москвы с Петербургом» (набросанная, правда, годом ранее и, следовательно, вне связи с данным номером «Свистка»), попадая в этот номер, играет роль общего фона, общей иронической характеристики мудреных «московских умов».

Тематическая близость материалов Некрасова и Добролюбова еще более бросается в глаза при ознакомлении с пятым номером, когда Некрасов вплотную занялся «Свистком» с тем, чтобы потом полностью взять его в свои руки.

Первый из некрасовских фельетонов «Свистка»—«Отъезжающим за границу», в котором, в качестве «первого письма» некоего странствующего россиянина появилось стихотворение «Первый шаг в Европу», обратил на себя внимание цензуры. В докладе Главного управления было сказано: «Свисток» за май представил только еще первое письмо, имеющее целью уронить наших помещиков, но и оно замечательно». и, приведя последние фразы стихотворения Некрасова:

Ах! лучше б, душечка, в деревне девок стричь... и т. д.—

цензурный обозреватель дает им следующую оценку: «Здесь уже без всяких прикрас, без всяких разысканий в чужой истории или законодательстве [11] указывается на ненормальное положение нашего отечества» [12].

Стихотворение «Первый шаг в Европу» было впоследствии перепечатано Некрасовым в приложениях к шестой части его стихотворений (СПб, 1874, 219—221), без заключительного стиха «И тяжко я вздохнул о родине моей», с неточной датой «1861», а также без введения и послесловия.

Прозаическое введение, с одной стороны, подготовляло частичный переход «Свистка» на западную тематику, предполагавшийся в связи с заграничной поездкой Добролюбова. Ср. слова этого введения: «Сопровождать приличными звуками отъезжающих за границу «Свисток»... решится только тогда, когда сам побывает в Европе и посмотрит, в какой мере и с какой стороны почтенные наши сограждане, там проживающие, заслуживают свиста». Таким образом, здесь намечается использование Европы в качестве фона, подчеркивающего отрицательные стороны отечественных «почтенных сограждан».

И в то же время это предисловие, если и не маскировало, то, во всяком случае, как бы условно дезавуировало антикрепостническую направленность стихотворения, вводя дополнительную, осложнявшую восприятие, тему: самое стихотворение здесь преподносится иронически как факт «безымянной гласности», довлеющей себе: «Он ‹автор письма› и не мог выставить имени. Он уже и так принес большую жертву гласности обнародованием факта, и, таким образом, кроме литературного достоинства, произведение его имеет цену общественной заслуги».

Следующая за «Первым шагом в Европу» заметка «Кювье — в виде Чацкина и Горвица» примыкает к первому «Письму из провинции» Добролюбова («Современник» 1869, № 1; «Свисток» № 1, стр. 98—210), появившемуся в связи с известным «литературным протестом» против антисемитских выступлений журнала «Иллюстрация»[13].

Добролюбов высмеивал эту «бурю в стакане воды», считая, что она по случайному и частному поводу отвлекает общественное внимание от действительных и коренных недостатков социального строя, от более насущных вопросов и направляет общественную энергию в русло либерального красноречия.

Как можно судить по заметке о Кювье, Некрасов, не считавший удобным отказываться дать свою подпись под «протестом», в то же время разделял точку зрения Добролюбова.

Ссылка на «дело о двух тысячах голодающих и мрущих рабочих, в котором г. Кокорев допускал паузы по месяцу и более» связана также с Добролюбовым: его большая статья о Кокореве —«Опыт отучения людей от пищи» была помещена в том же номере «Свистка» (стр. 4—27).

Пятый номер был последним номером «Свистка», который в основном организовал и заполнил Добролюбов; с его отъездом за границу издание «Свистка» переходит в руки Некрасова, которому принадлежат все основные произведения следующих номеров «Свистка»— шестого и седьмого.

4

Шестой номер «Свистка» появился в декабрьской книжке 1860 г., через семь месяцев после пятого, вышедшего в мае; предисловие Некрасова давало шутливое объяснение «причин долгого молчания Свистка».

Это «долгое молчание» было отчасти связано с отъездом Добролюбова за границу в конце мая 1860 г. Очередной, шестой номер мог появиться лишь тогда, когда у Добролюбова начали складываться первые итоги заграничных впечатлений. Европейская политическая тематика легла в основу большой статьи Добролюбова «Два графа» и его же цикла «Неаполитанские стихотворения»[14] (что на три четверти заполнило шестой номер «Свистка»).

Еще 22 августа В. И. Добролюбов передавал Н. А. Добролюбову желание Некрасова: «...ему желательно было бы, дескать, твоего Свистка, да ведь едва ли это возможно»[15]. Позднее, в ответ на какое-то не дошедшее до нас напоминание, сам Добролюбов писал: «Пока скажите ⟨Некрасову⟩, что ведь «Свисток» зависит весь от материалов, которых у меня решительно нет. О Европе я сочинил кое-что для октября, хоть и плоховато вышло, но сойдет, может, коли цензура пропустит; а для России пусть мне пришлют что-нибудь достойное внимания — я и обработаю. А то ведь ничего нет, решительно ничего! Об Европе я и для ноября пришлю непременно»[16].

Почти все, что было прислано Добролюбовым для этих двух номеров «Свистка», тогда в печати не появилось, и состав подготовленных им материалов может быть установлен лишь на основании посмертного издания собрания сочинений критика, где Чернышевский напечатал две добролюбовские подборки для «Свистка» в их первоначальном виде, под номерами 6 и 7.

Шестой номер (соответствующий подготовленному «для октября») состоял из предисловия «Новое назначение Свистка», стихотворения «Сирия и Крым», «Писем благонамеренного француза» и цикла «Неаполитанские стихотворения». Седьмой (подготовленный «для ноября») включал статью «Два графа» и стихотворение «Мое желание».

Именно к первоначальному, шестому номеру должно относиться следующее письмо В. И. Добролюбова: «Читали мы с Иваном Максимовичем твой «Свисток» в корректуре,— писал он 19 октября своему племяннику,— дивились твоему умению говорить и доказывать так, как захочешь,—и убедительно выходит. Дожидались Некрасова, и тогда пошлют к цензору. Цензура плоха, и не знаю, пройдет ли; но хлопотать будут, Авдотья Яковлевна говорит»[17].

Эти опасения были основательны: цензура задержала выход «Свистка» еще на два месяца [18], состав его был изменен (в него полностью вошел добролюбовский «седьмой» номер, а из «шестого»— только «Неаполитанские стихотворения»)[19].

В связи с этим Некрасову пришлось, вместо написанной Добролюбовым и, повидимому, запрещенной цензурою вступительной заметки «Новое назначение Свистка» написать свои «Причины долгого молчания Свистка».

В конце этого предисловия Некрасов использовал, с незначительными изменениями, несколько фраз из текста Добролюбова — фраз, мотивировавших переход «Свистка» на западную тематику [20].

При этом, повторяя перечисление статей Добролюбова, Некрасов оставил упоминание и о тех, которые были запрещены цензурой.

Всю «русскую» часть номера Некрасов взял на себя, заполнив своим обзором «нашей внутренней гласности» ту брешь, которая образовалась в результате цензурной катастрофы.

Цикл заметок «Что поделывает наша внутренняя гласность?» («несколько выписок из газет», как характеризует его Некрасов в цитированном письме к Добролюбову) продолжал борьбу, начатую Добролюбовым против пустозвонной либеральной гласности.

Стихотворение «Друзья мои! Мы много жили», напечатанное «вместо предисловия» к циклу о гласности, имеет свою предъисторию. Первоначальным вариантом того же замысла являются куплеты «Всевышней волею Зевеса», известные в трех редакциях: в записи Добролюбова [21], в копии, напечатанной библиографом Д. П. Сильчевским [22], и в копии А. Я. Панаевой, по которой печатал это стихотворение К. И. Чуковский. Запись Добролюбова хранится в Институте литературы АН СССР (№ 1856/VIIIC, архив Добролюбова № 28); местонахождение двух других копий неизвестно.

Прямая генетическая связь двух стихотворений, помимо близости жанра, темы и материала, подтверждается тем, что один куплет из текстов Сильчевского—Панаевой с некоторыми изменениями вошел в стихотворение «Свистка».

В тексте Сильчевского—Панаевой:

На грамотность не без искусства
Накинулся почтенный Даль —
И обнаружил много чувства,
И благородство, и мораль.

В «Свистке»:

Припомним, что не без искусства
На грамотность ударил Даль —
И обнаружил много чувства
И остроумье, и мораль...

К. И. Чуковский датирует «Всевышней волею Зевеса» 1857 г. (по упоминанию о третьем томе «Губернских очерков» Щедрина, вышедшем в этом году). Такая датировка правдоподобна, хотя можно отнести это стихотворение и к 1858 г. («Очерки» вышли в конце 1857 г.). Во всяком случае, существенно отметить, что Некрасов выступал «в духе Свистка», иронически относясь к либеральному прогрессу, еще задолго до того, как сам «Свисток» был осуществлен.

Стихотворение «Друзья мои! Мы много жили» также известно в двух редакциях: в архиве А. Н. Пыпина (ИЛИ, фонд 250, оп. 2, № 76) сохранилась цензорская корректура шестого номера «Свистка», где текст этого стихотворения отличается следующими вариантами:

Стих 1	Друзья мои! Вы много жили
Между 4 и 5 стихами	Припомним, что уж наш Амур, И взят трактатом, не картечью, Что мстит Каткову «Русской Речью» За Свечину Евгенья Тур.
Стих 27	Шептал: настала мне беда
» 35	Но что ж? решить мне не дано
» 37	Я твердо знаю лишь одно
» 43	Грозой классических страстей.

Четверостишие, не попавшее в печатный текст, было очень злободневным. Присоединение левого берега Амура к России (по Айгунскому договору, заключенному 16 мая 1858 г. между Россией и Китаем), явившееся результатом ряда военных экспедиций сибирского генерал-губернатора Н. Н. Муравьева-«Амурского», оживленно обсуждалось в русской печати 1858—1859 гг. «Статей, написанных об Амуре в последние два года, так много,— писал Добролюбов,— что из перечня их могла бы, пожалуй, составиться даже особенная отрасль русской библиографической науки» [23].

Вторая строфа стихотворного предисловия, говорящая о противниках грамотности, является, в сущности, лейтмотивом трех объединенных предисловием заметок.

Обучение народа грамоте было предметом оживленной дискуссии в журналистике начала 60-х годов. Именно к 1860 г. относится составленный Тургеневым проект «Об-

щества для распространения грамотности и первоначального образования», который упомянут Некрасовым в заметке «Шестнадцать гусей...». Либералы видели в грамотности народа панацею от всех зол российской жизни (ср. у Некрасова: «... подобными фактами злоупотреблений наполнены газеты, с припевом, постоянным с некоторого времени: нужна грамотность!»).

Некрасов охотно осмеивает консерваторов — противников грамотности: Даля. Бланка, Беллюстина, перепечатывает статейку, обличающую провинциальных зубров [24], но в то же время самым подбором фактов показывает, что общественные недуги коренятся глубже, что грамотность сама по себе не решает дела.

Не отсутствие грамотности, а мошенничество и хищничество, коренящиеся в общественном укладе, погубили гусей женщины, доверившейся жулику —«придворному адвокату» («Шестнадцать гусей — жертва нашей безграмотности»). «Эта статейка с ее моралью,— говорит Некрасов,— может служить хорошим образчиком того, что поделывает наша внутренняя гласность».

Пресловутая же гласность часто нисколько не мешает скрытию темных делишек, и обличение их иной раз приводит лишь к состязанию в красноречии («Мальчик с пальчик, или красноречивые противники»).

Последняя принадлежащая Некрасову статья шестого номера — фельетон «Г. Геннади, исправляющий Пушкина»— является в нашей публикации *наиболее ценным новым приобретением* некрасовского текста.

Интересный и, может быть, даже для наших дней актуальный по своей теме, он является блестящим образцом фельетонного мастерства Некрасова.

Фельетон написан от лица наивного провинциала, недоумевающего по поводу «сверхнаучного» (а по существу, очень неудачного) издания сочинений Пушкина.

Направленное конкретно против редактора этого издания, «известного библиографа и библиофила» Г. Н. Геннади [25], выступление Некрасова включалось в тот общий

«ВСЕВЫШНЕЙ ВОЛЕЮ ЗЕВЕСА»
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ (1857 г.)
СТИХОТВОРЕНИЯ «ДРУЗЬЯ МОИ! МЫ МНОГО ЖИЛИ» («СВИСТОК» № 6)

Запись некрасовского текста рукой Н. А. Добролюбова

Институт литературы АН СССР, Ленинград

поход против «библиографии», который был провозглашен Добролюбовым с первых его шагов на журнальном поприще.

Библиография в 50-е годы прошлого века заменяла собою то, что мы теперь называем литературоведением: к ней относили все историко-литературные исследования и заметки по частным вопросам. В работах библиографов тех лет сказывалось увлечение мелочными и узкими разысканиями случайных фактов, большей частью не имеющих принципиального интереса. Библиограф был скорее коллекционером литературных раритетов, чем историком; от литературной критики он был совершенно оторван.

Между тем, даже история литературы с уклоном в библиографию была неприемлема для идеологов революционной демократии, видевших в таком уклоне подмену принципиальных задач литературной критики, которую они, наоборот, стремились сблизить с публицистикой, сделать основным средством идейного воспитания общества. Свое первое выступление в «Современнике» Добролюбов начал с осуждения «библиографической критики»: «Она занимается фактами, она собирает факты,— а что ей за дело до выводов! Выводы делайте сами... Результаты поистине блистательные! Можно надеяться, что далеко уйдет с ними молодое поколение. Много эта критика сообщит ему живых воззрений, много породит отрадных, прекрасных явлений в области умственной жизни, много подействует на развитие общества!.. Наполняя литературу указателями, основывая свою славу на составлении указателей, они смело будут говорить всей России: вот где истинное ученое достоинство, вот где основательные, дельные труды, заслуживающие бессмертия в потомстве!»[26]

Это метило прямо в Геннади: именно он может быть назван наиболее законченным представителем такого библиографического крохоборчества, именно он в изобилии составлял указатели (хотя и не «собачьих кличек», как издевался Некрасов): шесть годовых указателей «географических, этнографических и статистических статей, помещенных в Губернских Ведомостях», три указателя «исторических статей и материалов, помещенных в Губернских Ведомостях», и ряд других «указателей», «указаний» и «списков».

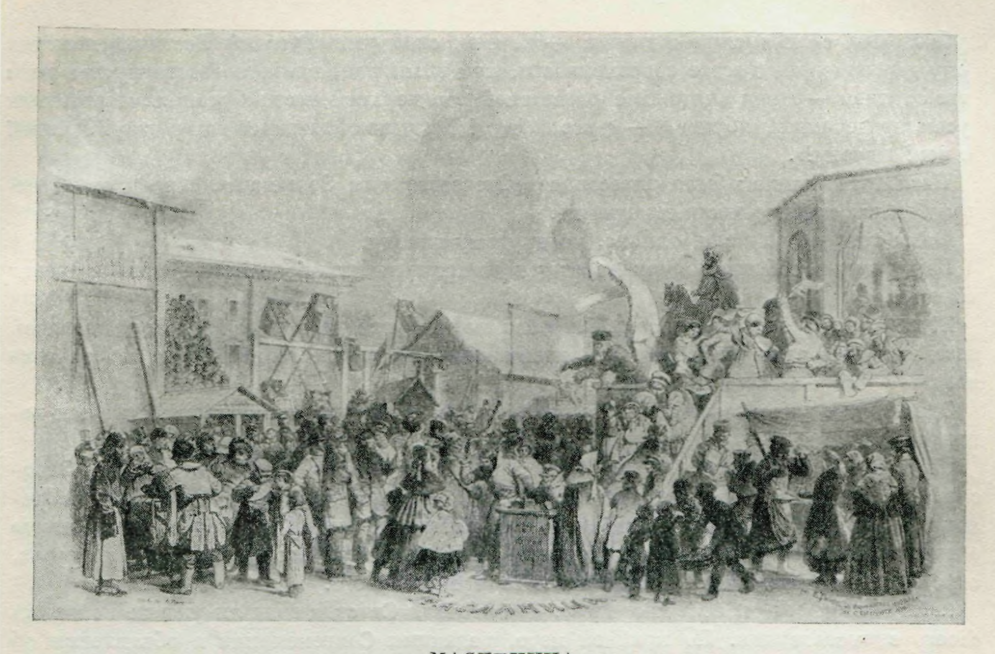
«Списки» эти подчас оказывались неудовлетворительными, так как Геннади не отличался особенным терпением и трудолюбием. Получил анекдотическую известность составленный им «Список сочинений Гоголя»[27], в котором были пропущены «Мертвые души». Этот случай дал Некрасову сюжет для его «Литературной травли, или Раздраженного библиографа» («Свисток», № 7):

Шекспировских творений
Составил полный список,
Без важных упущений
И без больших описок.
Всего-то две ошибки
Открыли журналисты,
Как их умы ни гибки,
Как перья ни речисты:
Какую-то Заиру
Позднейшего поэта
Я приписал Шекспиру
Да пропустил Гамлета.

Предпринятое Геннади издание сочинений Пушкина, исполненное небрежно и неумело, было встречено единодушным порицанием критики. Наиболее ярким выражением общего недовольства явилась процитированная в фельетоне Некрасова эпиграмма С. А. Соболевского:

О жертва бедная двух адовых исчадий:
Тебя убил Дантес и издает Геннади![28]

Неудачны были и другие издательские предприятия Геннади: «Жизнь Ваньки Каина, им самим рассказанная. Новое издание Григория Книжника»[29] (СПб., 1859) и «Эротические стихотворения русских поэтов. Собрал Григорий Книжник» (СПб., 1860), упоминаемые в фельетоне Некрасова и встреченные в «Современнике» уничтожающими отзывами.



МАСЛЕНИЦА
Автолитография В. Тимма
В правом углу надпись: «Рисовал В. Тимм на Исаакиевской площади в С.-Петербурге. 1858»
«Русский Художественный листок В. Тимма», 1858 г., № 4.

Нетерпимо отрицательное отношение «Современника» к трудам незадачливого Григория Книжника было, повидимому, связано также с отрицательной оценкой самого Геннади как человека и гражданина.

Социальный облик Геннади был ясен и не вызывал симпатий: барич, с аристократическими замашками, богатый наследник (у отца — 20 тысяч десятин), диллетантски забавляющийся библиографией,— именно таким изобразил его Некрасов в «Литературной травле...». Еще более ненавистной была личная черта этого барича, которую его биограф определил кратко и ясно: «любострастие его не знало никаких границ»[30]. См. рецензии «Современника» на издание Геннади «Эротические стихотворения русских поэтов», где эротика умышленно отождествлена со сладострастием и бульварной порнографией: «Теперь почтенный книжник, от разбоя переходя к сладострастию, издал...» и т. д., и ниже: «По шарлатанству своему книжонка эта принадлежит к тому же роду, как «Правда о мужчине и женщине», «Атака женских сердец», «Улика пылких женщин» и пр.» («Современник» 1860, № 4, библиография, 403—406).

5

В седьмом номере «Свистка» произведения Некрасова играли ведущую роль.

Фельетон «Вместо предисловия о шрифтах вообще и о мелком в особенности» был заполнен легкой полемикой — преимущественно с «Русским Вестником». Это была обычная журнальная полемика «на коммерческой подкладке», пресловутое «битье по карману». Некрасов говорил о несвоевременном выходе книжек и по этому поводу, в особом стихотворении «Разговор в журнальной конторе», сравнивал «Русский Вестник» с «Москвитянином»; высмеивал неудобный для читателя новый шрифт; намекал, что читатели недовольны слабыми статьями этого журнала.

Принципиальный интерес имела общая оценка «Русского Вестника» как поставщика массового, обывательского либерализма. Изображая какого-то пожилого господина, раздраженного неудобным шрифтом, Некрасов писал: «И вот каковы люди! Пять лет этот человек был жарким поклонником «Русского Вестника», он почерпал оттуда свои

убеждения, свои высшие взгляды, — короче: свой ум. «Русский Вестник» помогал ему держаться на высоте современности, как и многим, внезапно застигнутым этим требованием,— и вот ничтожное разветвление в верхней части буквы ѣ, ничтожный усик, приделанный к букве ь,— и все забыто! Приязнь обратилась во вражду! О люди! о век! о время!».

Несколько шпилек было адресовано «Отечественным Запискам», журналу, «богатому опытностью по части программ».

Фельетон был написан, однако, по другому поводу.

Центральным событием журналистики того времени было появление нового журнала «Время».

Журнал имел большой успех; направление его, еще не определившееся, казалось независимым и прогрессивным, и «Современник» был заинтересован в том, чтобы установить с ним идейный контакт.

Однако уже в первом номере «Времени» можно было уловить подозрительные и неприятные нотки.

«Посторонний сатирик» (А. Ф. Писемский), полемизируя с «Отечественными Записками», стремившимися «остановить свист», говорил в своем «письме» в редакцию «Времени»: «Пусть себе свищут! Если свист будет кстати, общество, к которому вы взываете о приостановлении его, будет в выигрыше. Если же он окажется дурным, то, поверьте, он сам собою прекратится: само общество прекратит его.

...Не понимаю, о чем вы хлопочете. Знаменитый Свисток едва ли уже не покончил своего существования. По крайней мере, редакция Современника в объявлении об издании своего журнала на 1861 год необыкновенно робко и то в выноске и мелким шрифтом упоминает о нем. А далеко ли то время, когда она с гордостью считала Свисток своим важнейшим отделом, употребляя на него лучшие свои силы?»[31].

Редакция «Современника» справедливо усмотрела в этой двусмысленной защите «свиста» элемент несомненного недоброжелательства, тем более, что в качестве примера «свиста», ликвидирующего самого себя, в одном ряду со «Свистком» «Современника» Писемский упоминал фельетоны Булгарина, который «свистал бывало каждую субботу и досвистался до того, что убил в общем мнении свою газету».

Некрасов счел необходимым немедленно в шуточной форме поставить это на вид редакции «Времени», очевидно надеясь, что она сумеет преодолеть реакционные элементы в своей среде. Подобную же тактику «разделения» пробовал ранее применить и Чернышевский по отношению к «Русской Беседе», противопоставляя всем ее сотрудникам реакционное выступление Тертия Филиппова («Заметки о журналах», 1856).

«Доказав свою невинность,— так заканчивается фельетон,—«Свисток» спешит уверить новый журнал, что нисколько не сердится за опрометчивое его суждение. Напротив, «Время» ему понравилось, и он, как восторженный юноша, не умеющий скрывать своих чувств, сложил ему гимн, который и печатает теперь с большим удовольствием».

Далее следовал «Гимн «Времени», новому журналу, издаваемому М. Достоевским».

В редакции «Времени» он был справедливо расценен как дружеское приветствие «Современника». «Его привет,— писал впоследствии по этому поводу Страхов,— был действительнее всяких объявлений».

Стихотворение Некрасова «Финансовые соображения»[32] было посвящено экономическому кризису конца 50-х — начала 60-х годов, всеобщим толкам о безденежье, что оживленно комментировалось в тогдашней прессе [33]. «Еще ранее на эту злободневную тему отозвался Добролюбов в своей статье «Мысли о дороговизне вообще и о дороговизне мяса в особенности» («Свисток» № 2, «Современник» 1859, № 4). Торговый, промышленный и финансовый кризис потрясал в те годы всю экономику России.

Царь дурит — народу горюшко!
Точит русскую казну,—

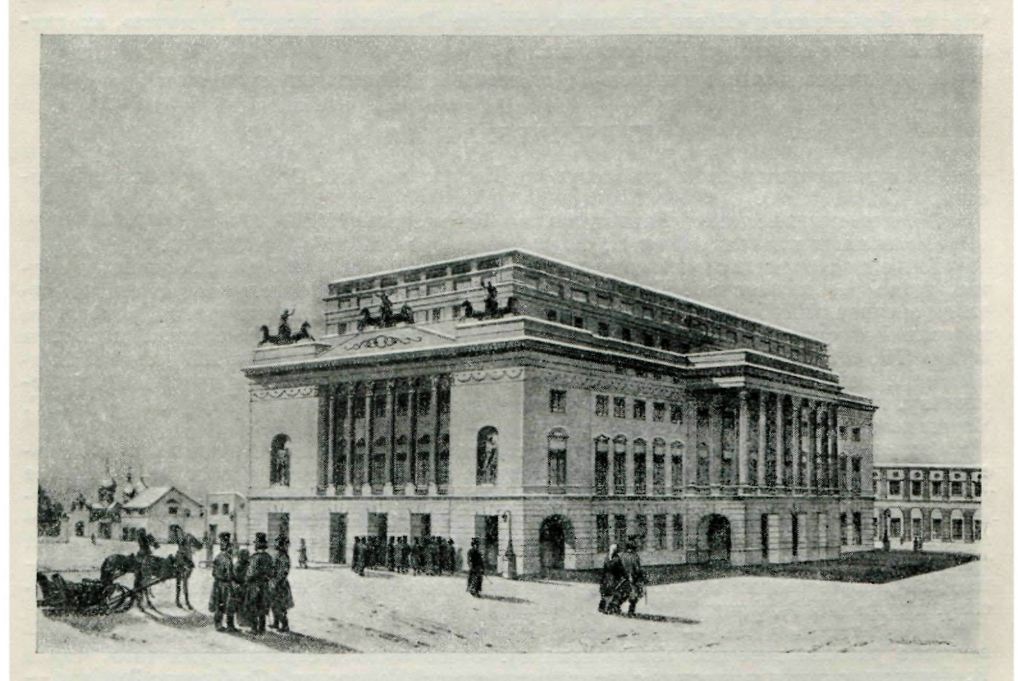
писал Некрасов о Крымской войне 1854—1855 гг. Действительно, эта война внесла глубокое расстройство в русские финансы; царское правительство покрывало дефицит беспримерным расширением эмиссии; 400 миллионов бумажных денег, выпущенных

для покрытия военных расходов, создали в 1855—1856 гг. искусственное промышленное оживление, дутый экономический расцвет, который уже в 1858—1859 гг. перешел во «всеобщий промышленный и коммерческий застой, дающий положению дел... характер кризиса», как признавались тогда даже официозные экономисты [34].

Всеобщее отсутствие кредита ощущалось особенно резко «после недавнего финансового «процветания», которое развило привычку к роскоши у привилегированного столичного общества, о чем пишет Некрасов в «Финансовых соображениях»[35].

Смысл стихотворения Некрасова «Литературная травля, или Раздраженный библиограф» достаточно ясен после того, что сказано выше по поводу фельетона «Г. Геннади, исправляющий Пушкина».

Стихотворение «Мысли журналиста при чтении программы, обещающей не щадить литературных авторитетов» относится к объявлению о подписке на журнал «Время»



АЛЕКСАНДРИНСКИЙ ТЕАТР
Литография с рисунка Андре Дюрана, 1840-е гг.

где говорилось: «Мы решились основать журнал, вполне независимый от литературных авторитетов — несмотря на наше уважение к ним — с полным и самым смелым обличением всех литературных странностей нашего времени. Обличение это мы предпринимаем из глубочайшего уважения к русской литературе. Наш журнал не будет иметь никаких нелитературных антипатий и пристрастий»[36].

Следующий, восьмой номер, вышедший в январе 1862 г., повидимому, составлялся без участия Некрасова; в него вошли произведения Добролюбова, Чернышевского, Г. З. Елисеева и М. А. Воронова.

В последнем, девятом номере («Современник» 1863, № 4), в котором значительное участие принял Щедрин, появились три стихотворения Некрасова: «Вступительное слово «Свистка» к читателям», «Песня об «Очерках» и «Мое желание. Романс господина, обиженного литературой». Все эти стихотворения входят в собрание сочинений Некрасова и комментированы К. Чуковским.

На этом заканчивается наш очерк работы Некрасова в «Свистке».

«Свисток» прекратился на девятом номере, но «свистковская линия» в творчестве Некрасова в какой-то мере продолжалась, развиваясь и углубляясь.

Не говоря о случайных, не очень значительных произведениях (как, например, «Легенда о некоем покаявшемся старце»—1865, «Притча о Киселе» — 1867 или «Притча» — 1870), таким развитием линии «Свистка» можно считать известный сатирический цикл «Песни о свободном слове» (1865) и обозрение «Современники» (1875).

Сатира Некрасова началась в 40-е годы юмористическими стишками «провинциального подьячего Феклиста Боба» и «Записками петербургского жителя А. Ф. Белопяткина», расцвела в фельетонах «Свистка» и дала зрелый плод в предсмертной «трагикомедии», обличившей «геров нашего времени».

В нашу публикацию входят напечатанные в «Свистке» произведения Некрасова, за исключением хорошо известных и не раз перепечатывавшихся в собраниях сочинений: трагедии «Забракованные», «Дружеской переписки Москвы с Петербургом», «Литературной травли», «Мыслей журналиста», «Вступительного слова «Свистка» к читателям», «Песни об очерках» и «Моего желания», а также «Развязки диспута 19 марта», входившей в собрание сочинений Добролюбова.

Все разъяснения отдельных намеков отнесены в комментарии за текстом.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См. в настоящем томе: «Автобиографии Некрасова», 153. Ср. «Отечественные Записки» 1878, № 6, 98.

[2] См. в настоящем томе: «Автобиографии Некрасова», 153.

[3] «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова», М., 1890, 513 и 522.

[4] То же, несмотря на опубликованное им же письмо Добролюбова к Бордюгову, подтверждал и Чернышевский. Перепечатывая «Дружескую переписку» в посмертном издании сочинений Добролюбова, он в примечании указывал: «Стихотворения, к которым написал Добролюбов это предисловие и библиографические примечания, написаны не им» (IV, 468). То же — в его письме к А. Н. Пыпину от 1 ноября 1886 г.: «Ты спрашиваешь, действительно ли стихотворение «Москва и Петербург» принадлежит Некрасову, а не Добролюбову. Действительно, да; оно принадлежит Некрасову» («Н. Г. Чернышевский. Литературное наследие», М.— Л., 1930, III, 191).

[5] Сохранилась цензорская корректура стихотворений Козьмы Пруткова, свидетельствующая о редакционном участии Некрасова в четвертом номере «Свистка». На полосе тиснуты стихотворения «Философ в бане», «Новогреческая песнь», «От Козьмы Пруткова к читателю в минуту откровенности и раскаяния» и «К месту печати. М. П.». Некрасов, выделив первое стихотворение для помещения в очередном номере, отчеркнул три остальных и написал на полях: «Оставить до след⟨ующего⟩ №». На обороте — надпись Добролюбова; «NB. Обертку мне пришлите поправленную, а главное Некрасову. Н. Д.» (ИЛИ, фонд 250, оп. 2).

[6] В тексте примечания — по вине ли самого Гербеля или в результате опечатки — заглавие указано неверно: «Заброшенные». Этого было достаточно для того, чтобы В. Дернова исключила пьесу из списка произведений Некрасова. «Сообщение Гербеля,— пишет она,— ...не подтвердилось относительно стих. «Заброшенные». На указанном месте напечатана трагедия Чурменя «Забракованные» («Некрасовский сборник», П., 1918, 175).

[7] Н. Добролюбов, Полное собрание сочинений. М., 1939, VI, 723.

[8] Н. Добролюбов, Полн. собр. соч., под ред. М. Лемке, IV, 540—543.

[9] «Звенья», М., 1935, V, 483.

[10] Принадлежность этого блестящего фельетона Некрасову подтверждается как жанром — письмо, написанное от лица наивного провинциала (ср. хотя бы некрасовский же фельетон 40-х годов —«Письмо *** помещика».—«Литературная Газета» 1844, № 15),— так и связью его со стихотворением Некрасова, помещенным в следующем номере «Свистка»: «Литературная травля, или Раздраженный библиограф», где Некрасов нападает на того же злополучного библиографа Геннади.

[11] Намек на статьи Чернышевского «Июльская монархия и политика» («Современник», № 5) и Ю. Жуковского «Из человеческой правды и нравственности» (там же), разобранные в том же докладе.

[12] Цензурное дело Главного управления цензуры № 285 начато 28 июня 1860 г.; цитирую по кн. В. Евгеньева-Максимова: «„Современник“ при Чернышевском и Добролюбове», Л., 1936, 431 и 426, сноска.

[13] Справку о возникшей по этому поводу полемике см. в комментарии С. Рейсера к письму Добролюбова.— Н. Добролюбов, Полн. собр. соч., М., 1939, VI, 702—703.

[14] Такая «заграничная» основа не помешала (а скорее помогла) Добролюбову создать произведения, публицистически направленные на критику русской действительности, а также пародировать в них стихотворения официозных русских поэтов.

[15] «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова», М., 1890, 592.

[16] Там же, 607.

[17] Там же, 708.

[18] Ср. в письме Чернышевского Добролюбову от 10 ноября 1860 г.: «Цензура... не пропустила „Свистка"». («Переписка Н. Г. Чернышевского...», под ред. Н. К. Пиксанова, М., 1925, 82).

[19] В Институте литературы АН сохранилась цензорская корректура шестого номера, подписанная к печати 17 декабря 1860 г. и содержащая только «Причины долгого молчания Свистка», цикл «Что поделывает наша внутренняя гласность?» и добролюбовское «Новое стихотворение Аполлона Капелькина». Таким образом, «Два графа» и «Неаполитанские стихотворения» были вставлены позднее, перед самым выходом номера. Также лишь потом был присоединен фельетон Некрасова о Геннади.

В корректуре два цензорских вычерка: в заметке «Шестнадцать гусей», в словах жулика-адвоката—«Я службу свою начал денщиком при дворе» вычеркнуто: «при дворе»; в заметке «Состояние образованности в Камышине», после слов: «...это, без сомнения, будет благодарственный адрес г. г. Далю, Бланку, Беллюстину» вычеркнуто: «и... кому-нибудь еще, потому что нельзя же думать, чтобы г-ном Беллюстиным и кончилось».

[20] Именно, от слов: «Господин Ржевский может теперь...» — до слов: «...свои трансцендентальные теории о веществе»; от слов «Новый Век...» — до: «...их приветствовать»; и от слов: «...он от себя будет говорить немного» — до конца.

[21] Давно пора рассеять недоразумение, связанное с этой записью. Влад. Княжнин, в своем описании архива Добролюбова, публикуя текст записи, характеризовал ее следующими словами: «Писано рукою Д—ва. Этот набросок — одна из попыток совместного — Н. А. Некрасовым и Д—вым — писания сатирических стихотворений» («Временник Пушкинского Дома. 1913», СПб., 23). Предположение Княжнина о «совместном писании», ничем не обоснованное, было закреплено в некрасоведческой литературе К. И. Чуковским, который в многочисленных изданиях Некрасова под своей редакцией так описывал эту рукопись: «В копии Добролюбова приведены только три первые куплета, подписанные Некрасовым, а за ними следовали еще два, сочиненные Добролюбовым: «Кругом воров открылась масса <и т. д.>». Между первым и вторым куплетами в наброске Некрасова были такие строки: «Клейнмихель прочь, Перовский умер... нумер» (Некрасов, Полное собрание сочинений, изд. «Academia», М.—Л., 1934, I, 744). Таким образом, К. Чуковскому уже известно, какие стихи сочинил Некрасов, и какие — Добролюбов. Все это, однако, является недоразумением. Описание К. Чуковского (который, возможно, имел в своем распоряжении только публикацию Княжнина) очень неточно и поэтому дезориентирует читателя. Можно подумать, что копия подписана рукой Некрасова и что два «сочиненные Добролюбовым» куплета являются *продолжением* основного, подписанного Некрасовым текста («наброска Некрасова»).

В действительности, весь документ, в том числе и фамилия Некрасова написан рукой Добролюбова; два четверостишия являются не продолжением текста, а вставкой после двенадцатого стиха, что точно обозначено знаком вставки; если эту вставку осуществить, то подпись Некрасова будет относиться ко всему тексту. Никаких других следов совместного творчества нет, и говорить о нем нет оснований.

Повидимому, Добролюбов записывал стихи Некрасова напамять, не все куплеты подряд, отмечая знаком тире повторяющиеся рефрены или вспоминая только рифмы; вспомнив дополнительно два четверостишия, он записал их на свободном месте внизу. В окончательный текст они не вошли, повидимому, потому, что были наименее цензурными:

Кругом воров открылась масса,
Повсюду ложь, обман и зло,
Лишь первые четыре класса
Остались чисты, как стекло.
Мужик не вынут из-под пресса,
Но уж программа издана.
Как быстро по пути прогресса
Шагает русская страна!

Такие стихи печатать было немыслимо.

[22] «Биржевые Ведомости» 1898, № 208, от 1 августа.

[23] Н. Добролюбов, Полн. собр. соч., М., 1937, IV, 402—403 («Путешествие на Амур»; см. там же исторический комментарий А. В. Предтеченского, 539—541).

[24] Существенно то, что эта статейка свидетельствует о вражде к просвещению в среде привилегированного провинциального общества, а не в среде народа.

[25] Григорий Николаевич Геннади (1826—1880) — известный библиограф и библиофил. Сын богатого помещика, Геннади, по собственному признанию, «занимался библиографией не по необходимости, а просто из любви к искусству». Его работы

изобиловали промахами. Однако, несмотря на неточность, некоторые позднейшие работы Геннади имели для своего времени капитальное значение и до сих пор не утратили своей ценности; достаточно назвать «Справочный словарь о русских писателях и ученых», Берлин, 1876, I, и «Русские книжные редкости», СПб., 1872. В 1859—1860 гг. под ред. Геннади вышло собрание сочинений Пушкина, повторенное в 1869—1871 гг. Текст этих изданий оказался ненадежным. Исчерпывающий список работ Геннади и биографические сведения о нем см. в книге: У. Иваск, Григорий Николаевич Геннади. Обзор жизни и трудов, М., 1913.

26 Н. Добролюбов, Полн. собр. соч., М., 1934, I, 30 («Собеседник любителей российского слова»).

27 «Отечественные Записки» 1853, № 9, отд. VII, 29—35.

28 С. Соболевский, Эпиграммы и экспромты, М., 1912. Ср. еще его же эпиграмму «Вопиющая несправедливость».

29 Григорий Книжник — псевдоним Геннади.

30 Этому была посвящена эпиграмма Соболевского:

Когда я был Аркадским принцем,
Я предрассудков не был раб!
Забыв свой сан, я разночинцем
...девок всяких, всяких баб!
Далась кухарка мне Агафья,
Давалась прачка, тем гордясь!!!
И лишь одна библиографья,
Что с ней ни делал, не далась.

Далее биограф сообщает, что в имении отца Геннади было два барских дома, один из которых «получил специальное предназначение для интимных по характеру, но очень открытых для всех, вечеров. Здесь постоянно происходили не поддающиеся описанию оргии, в которых отец и сын соперничали в изобретательности» (У. Иваск, цит. соч., 7).

31 «Время» 1861, № 1. Критическое обозрение, 60.

32 Сохранилась цензорская корректура, на одном листе стихотворения. В стихе шестом некрасовского стихотворения цензор вычеркнул слово «финансовый», и Некрасов заменил его словом «невидимый»; стих «Денег было всегда не обильно» он исправил: «Деньги были всегда не обильны» и подписался: «Угличский старожил».

33 Ср. целый поток брошюр с характерными заглавиями: «Два современные вопроса: безденежье и дороговизна», СПб., 1860; «Причины нынешнего безденежья и средства к ослаблению их действия» — Н. Тарасенко-Отрешков, СПб. 1861; «Наше безденежье»— А. Красильников, СПб., 1864; «Мысли, как нам избавиться от безденежья» — И. Лихачев, СПб., 1865. В каждой из этих брошюр констатируется: «Ныне повсеместно слышны в России сетования на «безденежье»— из брошюры Тарасенко-Отрешкова; «отовсюду слышатся «нескончаемые жалобы на недостаток денег»— из брошюры А. Красильникова, и т. п.

34 Один из таких экономистов, В. Безобразов, характеризуя тогдашний кризис, констатировал следующие его черты: «Недостаток сбыта, накопление непроданных товаров, трудность и медленность всех денежных оборотов, ...невозможность отыскания капиталов за самые высокие проценты и под лучшие обязательства... и, наконец, всеобщее безденежье ⟨разрядка моя; под безденежьем понималось не только отсутствие капиталов и кредита, но и недостаток монеты в обращении.— *А. М.*⟩, которое составляет главный и почти исключительный предмет жалоб во всех классах русского общества и на всех концах России» (В. Безобразов, О некоторых явлениях денежного обращения в России, М., 1863, ч. II, 24).

35 О той же роскоши Некрасов писал также в «Балете»:

Есть в России еще миллионы,
Сто̀ит только на ложи взглянуть,
Где уселись банкирские жены —
Сотни тысяч рублей, что ни грудь!
. . . .
Тешить жен — богачам не забота,
Им простительна всякая блажь.
Но прискорбно душе патриота,
Что чиновницы рвутся туда ж.
Марья Савишна! Вы бы надели
Платье проще!

Сильное развитие роскоши, являющееся одной из причин преувеличенной потребности в деньгах, отмечается и в упомянутых выше брошюрах (ср. еще А. Шипов, О недостатке денежных знаков в обращении народном, и т. д. СПб., 1861, 8).

36 «Московские Ведомости» 1860, № 272, 27 октября.

НЕИЗВЕСТНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НЕКРАСОВА В «СВИСТКЕ»

⟨1⟩
ОТЪЕЗЖАЮЩИМ ЗА ГРАНИЦУ

Призвание Свистка широко: он должен услаждать слух почтенной публики, остающейся дома, и может сопровождать приличными звуками отъезжающих за границу. Он это понимает, но на последнее он решится только тогда, когда сам побывает в Европе и посмотрит, в какой мере и с какой стороны почтенные наши сограждане, там проживающие, заслуживают свиста. А между тем теперь всё едет за границу; места в почтовых экипажах забраны за два месяца вперед; на пароходах давка.

ВИД ДОМА А. А. КРАЕВСКОГО НА УГЛУ ЛИТЕЙНОГО ПРОСПЕКТА И БАССЕЙНОЙ УЛИЦЫ В 1858 г.
Из альбома акварелей Ф. Баганца, 1858—1860 гг.
Музей истории и развития Ленинграда

Не сказать ничего этим почтенным людям, покидающим отечество, а, следовательно, нуждающимся в утешении — было бы не хорошо. И мы очень рады, что подвернулся человек, который прислал нам свой «Первый шаг в Европу». Стихотворение, как видно, писано уже несколько лет тому назад, но благая мысль, руководившая почтенным автором, понятна без объяснений: ее можно перевесть известной нашей пословицей: «в чужой монастырь со своим уставом не ходят». Но не в мысли дело, в произведении так написанном могло бы и вовсе не быть мысли и все-таки оно было бы превосходно: так необыкновенна его форма! Это что-то дантовское. Давно уже решено, что мы имеем великих писателей по всем отраслям и во всех родах, но русского Данта еще не было. Пушкин написал несколько подражаний Данту, но это не более как попытка. Майков несколько удачнее воспроизвел манеру Данта в своем «Отрывке» [1], но пальму первенства в этом роде мы решительно даем автору «Первого шага». Жизненность содержания дает ему силу, пусть читатель сам судит...

ПЕРВЫЙ ШАГ В ЕВРОПУ

Письмо первое

Как дядю моего Ива́на Ильича
Нечаянно сразил удар паралича
В его наследственном имении Корсунском,—

Я памятник ему воздвигнул сгоряча,
А души заложил в совете опекунском.

Мои домашние, особенно жена,
Пристали: «жизнь для нас на родине скучна»;
Кто: «ангел!» кто: «злодей! вези нас за границу!»

Я крикнул старосту Ивана Кузьмина,
Именье сдал ему и — укатил в столицу.

В столице получив немедленно паспо́рт,
Я сел на пароход и уронил за борт
Горячую слезу, невольный дар отчизне...

«Утешься,— прошептал нас увлекавший чорт,—
Отраду ты найдешь в немецкой дешевизне»—

И я утешился... И тут уж не долга
Развязка мрачная: минули мы брега
Священной родины, минули Свинемюнде,

Приехали в Берлин — и обрели врага
В Луизе-Августе-Фернанде-Кунигунде.

Так горничная тварь в гостинице звалась.
Но я предупредить обязан прежде вас,
Что Лидия — моя дражайшая супруга —

Ужасно горяча: как будто родилась
Под небом Африки; в ней дышут страсти юга!

В отечестве она не знала им узды:
Покорно ей вручив правления бразды,
Я скоро подчинил ей волю и рассудок

(В сочельник крошки в рот не брал я до звезды,
Хоть голоду терпеть не может мой желудок),

И всяк за мною вслед во всем ей потакал,
Противоречием никто не раздражал
Из опасенья слез, трагических истерик...

В гостинице едва я умываться стал,
Вдруг слышу: Лидия бушует словно Терек.

Я бросился туда. Вот что случилось с ней...
О ужас! о позор! В небрежности своей
Луиза Лидию с дороги раздевая,

Царапнула слегка булавкой шею ей,
А Лидия моя, не долго размышляя, ...

Но что тут говорить? Тут нужны не слова,
Тут громы нужны бы... Недвижна, чуть жива
Стояла Лидия в какой-то думе новой.

Растрепана коса, поникла голова:
«На натиск пламенный ей был отпор суровой!..»[2]

Слова моей жены: «О, друг, Иван Ильич!»
Мне вспомнились тогда: «здесь грубость, мрак и дичь,
Здесь жить я не могу — вези меня в Европу!»

Ах! лучше б, душечка, в деревне девок стричь
Да надирать виски безгласному холопу!

И тяжко я вздохнул о родине моей...
. . . .

Более нет ничего. Но судя по тому, что в начале означено: письмо первое, мы вправе надеяться продолжения. Жаль, что автор не выставил своего имени: любопытно бы знать, кому принадлежит такое дарование. Но, с другой стороны, как подумаешь, то увидишь, что он и не мог выставить имени. Он уже и так принес большую жертву гласности обнародованием факта, и, таким образом, кроме литературного достоинства, произведение его имеет цену общественной заслуги.

«Свисток» радуется, что ему удалось напечатать такую вещь, в которой счастливо сочетались оба эти качества.

⟨«Современник» 1860, № 5, «Свисток» № 5, 35—37; без подписи⟩

⟨2⟩

КЮВЬЕ — В ВИДЕ ЧАЦКИНА И ГОРВИЦА

В № 67 «С.-Петербургских Ведомостей», 25 марта, то-есть ровно через шесть дней после диспута гг. Погодина и Костомарова[3], появилась восторженная статейка г. Северцова[4], в которой между прочим было сказано:

«Кювье, тридцать лет направлявший беспримерно до тех пор быстрые успехи зоологии, объявил, что предел назначен, что наука век должна оставаться на этой же степени развития, только обогащаясь подробностями. Жофруа Сент-Илер отстоял начатый им, теперь уже сделанный, новый шаг науки, и мы видим для нее, благодаря этому протесту против осуждения на застой, хоть бы великим Кювье, такую необъятную будущность, что сведения, удвоенные против казавшихся почти окончательными в 1830 году, теперь являются слабым началом дальнейшего развития.

Этот плодотворный протест против застоя был, как нам показалось... и проч.».

Это было сказано собственно не в обиду Кювье или кому-нибудь, статейка имеет тон восторженный, до обиды ли тут? — а в похвалу настоящему времени, когда... когда происходят такие явления, как диспут гг. Погодина и Костомарова, который очень понравился г. Северцову. Однако три академика, гг. Бэр, Брандт и Миддендорф, поняли дело иначе и через три дня (заметьте, какая поспешность — тотчас видно, что вопрос нешуточный, не то, что дело о двух тысячах голодающих и мрущих рабочих, в котором г. Кокорев допускал паузы по месяцу и более)[5], именно 29 марта, поместили в 69 № «С.-Пб. Ведомостей» следующий протест:

ПРОТЕСТ ПРОТИВ НАПАДКИ НА КЮВЬЕ

«В № 67 «Санктпетербургских Ведомостей» нынешнего года, в фельетонной статье: Два слова о диспуте гг. Погодина и Костомарова, автор ее приписывает великому Кювье, будто он объявлял: что предел успехам зоологии назначен, что наука век должна оставаться на той же степени развития, только обогащаясь подробностями, и что Жофруа де Сент-Илер успешно протестовал против такого осуждения на застой, произнесенного великим Кювье.

Мы, нижеподписавшиеся, считаем долгом торжественно объявить, что заключающееся в этих словах обвинение прямо противоречит всему духу творений Кювье и что мы с сожалением видим такие слишком неосторожные отзывы, оскорбляющие память великих преобразователей науки. Даже если бы у гениального естествоиспытателя случайно когда-либо вырвались подобные выражения, то не должно пользоваться ими, чтобы вводить публику в заблуждение относительно значения Кювье в истории науки.

Бэр, Брандт, Миддендорф».

«Свисток», некогда пришедший в умиление от протеста против г. Зотова в пользу гг. Чацкина и Горвица [6], не мог не умилиться этим новым протестом, не мог не воскликнуть:

О, гласность русская! ты быстро зашагала,
Как бы в востороженном каком-то забытье:
Живого Чацкина ты прежде защищала,
А ныне добралась до мертвого Кювье.

И хорошо, очень хорошо вышло! Кювье человек мертвый,— ему ничего: у всякого достанет ума сообразить, что̀ и почему с ним делают: умер, защищаться не может, так вот его и защищают. Если посмотрим с другой стороны, то и г. Северцову тоже ничего: он выскользнул из рук диких коканцев и жив остался, так что̀ ему три академика? Словом, очень хорошо, безобидно вышло,— так хорошо, что мы не отдали бы нового протеста за десять зотовских, не отдали бы ни за что, разве

За спор о Свечиной Каткова
с Евгениею Тур! [7]

⟨«Современник» 1860, № 5, «Свисток» № 5, 38—39; без подписи⟩

⟨3⟩

ПРИЧИНЫ ДОЛГОГО МОЛЧАНИЯ СВИСТКА

Всякий раз, когда «Свистку» случалось замолчать на долгое время, об нем распространялся в публике один и тот же слух, повторяемый очень многими с сердечным удовольствием, иными с искренним соболезнованием, что «Свисток» умер! Так было и ныне, — даже придумали очень правдоподобную причину его смерти: говорили, что «Свисток» скончался, убитый находчивостью г. Краевского, который отвлек будто бы (именно с этим намерением) все рабочие литературные силы к составлению статей для «Энциклопедического Словаря» [8]. Как ни остроумно это предположение, наступило время уведомить публику, что оно неверно. «Свисток» жив, и для объяснения долгого своего молчания имеет достаточно причин. Мы могли бы и умолчать о них, потому что если, по словам гг. Кокарева и Бенардаки [9], «в делах коммерческих должна быть неизбежная часть тайны», то почему же не быть ей и в делах литературных — особенно, если при этом не спрашивается с подписчиков никаких добавочных сумм! Но мы не хотим

ОБЛОЖКА АЛЬБОМА «РИСУНКИ К СТИХОТВОРЕНИЯМ Н. А. НЕКРАСОВА»
Тетрадь I, СПб., 1865 г.
Автолитография Н. В. Иевлева

тайны, и объявляем, что главнейшею причиною молчанья «Свистка» были скромность и благонравие, свойственные его юному возрасту. Он молчал, потому что не хотел говорить о самом себе. Назвавшись собранием литературных и журнальных заметок, он, естественно, должен был касаться литературы и журналистики, а журналистика последнего времени, как известно читателям, только и занималась «Свистком». Уже одного страха, чтоб не показалось кому-нибудь, что «Свисток» нисходит до оправданий против таких личностей и талантов, какие почтили его своим вниманием,— достаточно было бы, чтоб заставить его молчать; но к этому присоединилось обстоятельство, более важное и прискорбное,— разочарование начинает чувствовать «Свисток»! Так скоро?— спросит читатель.— Увы! так скоро. Давно ли, полный юных сил, надежды и стремлений, считал он деятельность свою чем-то необходимым и благотворным? давно ли все его занимало,—

Все волновало юный ум?[10]

на что только не отзывался он своим свистом, то кротким и умиленным, то негодующим? А теперь слава его не занимает: полезность деятельности своей считает он сомнительною, важность обличения разных литературных глупостей и низостей отрицает; капитальный труд свой «О вреде людоедства», которым занимался он в часы досуга, надеясь упрочить им свое имя в литературе и благотворно подействовать на убеждения современников,— он бросил на половине! Увы! увы! с ним случилось то же, что случается со всеми юношами нашего поколения...

В начале жизни гордо мы глядим
В широкий путь, открытый перед нами.
И первыми горячими трудами
Блестящие надежды подадим...[11]

А потом? Потом следует то, что произошло со мною в сию минуту. Начал я свою мысль стихами (и читатели отдадут справедливость, что они не дурны), но сил у меня не хватает или, вернее, не хватает энергии потрудиться лишние полчаса, и я доканчиваю ее прозой. Нет, я и прозой доканчивать ее не буду, потому что она и так понятна, а если и не понятна кому, то что за беда: кто от этого проиграет? Никто. А я выиграю — выиграю полчаса времени, которое употреблю хоть на чищение ногтей. Горе, когда человека начинают посещать такие соображения,— не свищется ему. Даже такой факт, как появление статейки г. Беллюстина о вреде грамотности [12], не задирает его за живое; а уж г. Дзюбин, объясняющий побег рабочих с Волжско-Донской железной дороги «привлекательностью высокой платы за уборку хлеба и сена», тогда как г. Смирнов объясняет тот же факт проделками и притеснениями приказчиков подрядчика [13],— г. Дзюбин так даже и впечатления малейшего не производит. Что ж ему после того полтавские дворяне [14], что споры о том, должно ли назначить жалованье предводителям или не должно? Что ему объявление г-жи Евгении Тур об издании «Русской Речи» и «заметка» «Русского Вестника» на это объявление, и ответ г-жи Тур, и новая заметка «Русского Вестника»? Господин Ржевский [15] может теперь, отделавши кадастровых чиновников, профессоров и экзаминаторов, и указавши способы развития пролетариата, может хлопотать о способах сокращать университетские штаты: г. Краевский может издавать или не издавать «Энциклопедический Лексикон»; г-жа Каролина Павлова и г. Н. Греков могут, сколько угодно, перепечатывать в журналах свои старые стихотворения; г. Козлянинов может бить или не бить, по своему усмотрению, особ прекрасного пола, подвертывающихся ему под руку [16]; в «Русском Вестнике» могут распускаться новые цветы со старым запахом экономической деятельности; г. Летголла может уверять г. Костомарова, что он не знает ни слова по-литовски [17]; г. Страхов может переносить из «Светоча» в «Русский Вестник» свои трансцендентальные теории о веществе [18]; новый «Век» [19] с новыми «Основами» [20] может водворяться в русской литературе, «Свисток» даже губами не пошевельнет, чтобы их приветствовать... Постигнутый разочарованием, он сделал то, что обыкновенно делают в таких случаях русские смертные: он (и вот третья и последняя причина долгого молчанья «Свистка») отправился за границу, конечно, не без надежды набраться новых впечатлений и не без намерения поделиться ими с читателями. Может быть, он от себя будет говорить немного [21], но зато он вам представит некоторые выдержки из обширной корреспонденции, которую завел он с людьми, близкими ему по сердцу и духу; зато он даст вам подлинные документы о состоянии умов в Европе,— ему только известные и доставшиеся ему из первых рук; наконец, он сообщит вам и о том, с каким достоинством держат себя в настоящих трудных обстоятельствах наши любезные соотечественники, путешествующие по Европе. Читайте же и поучайтесь плодами новой деятельности «Свистка»!

⟨«Современник» 1860, № 12, «Свисток», № 6, 1—3; без подписи⟩

⟨4⟩

ЧТО ПОДЕЛЫВАЕТ НАША ВНУТРЕННЯЯ ГЛАСНОСТЬ

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Друзья мои! Мы много жили,
Но мало думали о том,
В какое время мы живем,
Чему свидетелями были?

Припомним, что не без искусства
На грамотность ударил Даль [22] —
И обнаружил много чувства
И остроумье, и мораль;
Но отразил его Карнович [23],
И против грамоты один
Теперь остался Беллюстин! [24]

Припомним: Михаил Петрович
Звал Костомарова на бой [25];
Но диспут вышел неудачен, —
И огорчен, уныл и мрачен
Молчит Погодин, как немой!

Припомним, что один Громека [26]
Заметно двинул нас вперед,
Что «Русский Вестник», к чести века,
Уж издается пятый год...
Что в нем писали Булкин [27], Ржевский [28],
Матиль [29], Григорий Данилевский [30]...
За публицистом публицист
В Москве являлся вдохновенной,
А мы пускали легкий свист
Порой, быть может, дерзновенной...

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К СТИХОТВОРЕНИЮ «УБОГАЯ И НАРЯДНАЯ»

Автолитография Н. В. Иевлева

Альбом «Рисунки к стихотворениям Н. А. Некрасова»

Тетрадь I, СПб., 1865 г.

И мнил: «настала мне беда!»
Кривдой нажившийся мздоимец.
И спал спокойно не всегда,
Схвативши взятку, лихоимец,
И русский пить переставал [31]
От Арзамаса до Украйны,
И Кокорев публиковал,
Что есть дела, где нужны тайны.
Ну что ж? решить нам не дано,
Насколько двинулись мы точно...
Ах! верно знаем мы одно,
Что в этом мире все непрочно,
Где нам толкаться суждено,
Где нам твердит memento mori
Своею смертью «Атеней» [32],
И ужасает нас Ристори [33]
Грозой разнузданных страстей!

При таком настроении, явно выражающем разочарование, о котором говорено выше, «Свисток» естественно удаляется от решительных приговоров над последними фактами русской гласности, и только приводит некоторые из них, чтоб не оставлять своего читателя в неведении о ней.

ШЕСТНАДЦАТЬ ГУСЕЙ – ЖЕРТВА НАШЕЙ БЕЗГРАМОТНОСТИ

Такая уж птица гусь, историческая. Древние гуси Рим спасли, новейшие пали жертвою нашей безграмотности! И вот каким образом. Об этом повествует в «Одесском Вестнике» г. Ильминский, имея в виду собственно доказать «необходимость распространения грамотности» («Одесский Вестник» 1860, № 130). Статейка его называется «Адвокат».

«Одна девица-дворянка, уроженка Каменец-Подольской губернии, прибыла в г. Одессу и, на приобретенные собственными трудами деньги, купила на Новой Слободке землянку. Узнав впоследствии о смерти своих родителей в то время, когда братья и сестры ее продали оставшееся имение, а причитавшуюся ей часть оставили покупателю, для удовлетворения ее, лично,— она обратилась к соседям с просьбой, чтобы ей указали, к кому можно прибегнуть для ходатайства по ее делу. Спустя несколько дней, к ней вошел однажды чиновный человек, отрекомендовавший себя за известнейшего в России адвоката. Он заметил при этом, что слышал от соседей о нужде ее в человеке, который взял бы на себя роль ее ходатая, и так как он вполне сочувствует ее горестному положению, то с живейшим участием готов принять на себя этот труд, репутация же его как адвоката известна не только в России, но даже в целой Европе. На вопрос, где он служит, откашлявшись и приняв воинственную позу, он отвечал таким образом: «Извольте-с видеть, сударыня, я службу свою начал денщиком и, по прослужении — с 25 лет получил обер-офицерский чин. Во все время моей службы вел большую адвокатуру-с, и ходатайств моих боятся не только какие ни на есть земские суды, но даже и самые сенаты-с». Обрадовавшись такому сильному адвокату, она, с полной уверенностью в успехе своего дела, поручила ему вести процесс. Он тут же заметил, что с процентами ей придется получить несколько тысяч, и обязал ее условием, по выигрыше дела, уплатить ему 570 р. Начало этого дела последовало в августе месяце прошлого года.

Спустя два или три дня, он зашел к ней и увидел на дворе 16 собственных ее гусей, попросил тотчас же одного из них зажарить, и когда гусь был готов, то намекнул, что между прочим не мешало бы позаимствовать

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К СТИХОТВОРЕНИЮ «В ПОЛНОМ РАЗГАРЕ СТРАДА ДЕРЕВЕНСКАЯ...»
Автолитография Н. В. Иевлева
Альбом «Рисунки к стихотворениям Н. А. Некрасова»
Тетрадь I, СПб., 1865 г.

полуштоф водочки. По уничтожении гуся с необходимым дополнением он подал ей счет предстоящим издержкам, добавив, что любит аккуратность. В счете было написано следующее: на прошение 3 р., на пересылку ответа по этому прошению 1 р. 33 к., на запросное отношение к ее братьям и сестрам 1 р. 33 к., и на обратный ответ 1 р. 33 к. Получив эти деньги, он вышел, но через 4 дня явился опять, изволил скушать 2-го гуся и выпить 2 полштофа вина, а уходя, снова взял деньги, по следующему счету: на уведомление о процентных деньгах на причитающийся капитал 3 р., за пересылку оттуда денег 1 р. 33 к., на квитанцию об отсылке и присылке обратно 1 р. Спустя два дня, он не замедлил явиться, утром, и, вследствие просьбы ее — истребовать ей свидетельство на свободное прожитие, уничтожил 3-го гуся и выпил два полштофа вина. Тогда же он потребовал деньги: на бланк для свидетельства 6 р., за отсылку и присылку из Каменец-Подольска 1 р. 51½ к., а по известному тяжебному делу дал счет такого содержания: на прошение 1 р., на публикацию, дабы известно было всей России, что она имеет тяжбу, 4 р. 97½ к., и, получив деньги, сказал при уходе, что дело ее, по случаю италийской войны, маненько позадержится. Чрез 2 или 3 дня явился и сказал, что мир заключен и дело ее не за горами, а на понудительное прошение потребовал 1 р. 52½ к. и, в восторге от скорого успеха, потребовал два гуся, из коих одного съел тут же, а другого, за неимением у ней денег, взял с собой живьем. Спустя несколько дней, явился утром и объявил, что дело решено в ее пользу. На радостях он велел зажарить гуся, а сам занялся исчислением процентов на причитающийся капитал и запил эту радостную для нее весть, как он говорил, двойной порцией

спиртуозно-жизненного элексира, и в заключение всего не замедлил снова потребовать денег, в числе прочей галиматьи, на пересылку одного прошения по оптическому телеграфу. Но так как на удовлетворение этих издержек у просительницы не было денег, то он взял остальных 9 гусей живьем, а при уходе вспомнил еще о необходимом расходе на припечатание публикации в сенатских ведомостях о выигрыше ею дела и взял на пополнение этого расхода пух и перья с сожранных им гусей. Потом, через несколько дней, он явился однажды с самодовольной физиономией и со словами: «вот оно-с, что значит придворный адвокат-с», вручил ей свидетельство будто бы от г. министра финансов, полученное по телеграфу, коим он разрешил получить ей деньги. При этом он с особенным значением указал на подпись. Она, действительно, была мудреная и состояла из каких-то иероглифов; самое же свидетельство было написано на гербовом листе, 15-копеечного достоинства, исписанном сверху до низу повторением одних и тех же слов, а именно: терли, терли, терли... В заключение, адвокат сказал, что ему нужны деньги, рублей 30, на последние расходы: а как у ней решительно ничего уже не было, то она, по его убеждению, продала землянку и вручила ему следуемые деньги. Таким образом, в 8 посещений адвокат успел заграбить 16 гусей, пух и перья от 7 из них, около $^1/_2$ ведра вина, 24 р. $80^3/_4$ к. сер. деньгами и землянку. После того, он водил ее в течение 3 месяцев по всем присутственным местам. Нередко случалось ей дожидать его до ночи у ворот присутственных мест и со слезами возвращаться потом в квартиру. Это продолжалось до тех пор, пока не прочли ей свидетельство, полученное по телеграфу ее адвокатом, и не убедили в положительном обмане. Это обстоятельство я долгом счел сделать известным для того, чтобы еще раз доказать необходимость распространения грамотности».

Вот сколько бед наделало отсутствие грамотности! Процветай она, и неизвестная девица не лишилась бы последнего имущества, шестнадцать гусей пользовались бы жизнью и неизвестный адвокат (хорош гусь!) не расстроил бы желудка, что неизбежно с ним последовало при таком непомерном истреблении гусей и водки и что — вероятно — вменилось ему в наказание за его проделку! По крайней мере из статейки не видно, чтобы обманщик потерпел какие-либо другие неприятности. Эта статейка с ее моралью может служить хорошим образчиком того, что поделывает наша внутренняя гласность. Подобными фактами наполнены газеты, с припевом, постоянным с некоторого времени: нужна грамотность! Польза грамотности доказывается иногда странным образом. «Г. Георгиевский (сказано в № 266 «Моск. Ведом.») сообщает в «Одесском Вестнике» слух о том, что славный наш писатель И. С. Тургенев прислал из-за границы в Петербург составленный им проект «Всероссийского общества для распространения в народе образования» [34]. «Вот еще доказательство (говорят «Моск. Ведом.») до какой степени всеми чувствуется...» и проч. Что ж тут удивительного, что Тургенев чувствует пользу грамотности? Читая эту фразу, иной, пожалуй, подумает, что он когда-нибудь чувствовал противное. Нужно ли говорить, что знаменитый наш романист никогда не разделял мнения гг. Даля, Бланка [35] и Беллюстина?

СОСТОЯНИЕ ОБРАЗОВАННОСТИ В КАМЫШИНЕ ПО СВИДЕТЕЛЬСТВУ г. КАРПОВА

«Камышин (Саратовской губернии), 16-го ноября. В № 234 «Московских Ведомостей» напечатано письмо, в котором говорится, будто в Камышине еще с 1820 года существует публичная библиотека. Это известие крайне

удивило нас, потому что мы, жители Камышина, никогда и не слыхали о существовании этой библиотеки, не знаем где она находится, кто ею заведует и в каком она теперь положении. Впрочем, хоть и прискорбно, а надо признаться, что жители Камышина не имеют надобности в библиотеке, ибо не имеют никакого интереса к чтению. Нравственная сторона нашей молодежи развита очень мало, и, конечно, не их надо винить в этом, а их отцов, которые не понимают важности образования. Такое равнодушие к духовным интересам особенно странно встретить у нас, потому что городское общество вполне обеспечено в материальном отношении и могло уделить излишек своих средств на воспитание молодого поколения. А это делают очень редкие. Чтение книг не духовного содержания считается многими делом безнравственным. О развитии у нас чтения можно судить по тому, что 250 купеческих домов выписывают в нынешнем году только 2 экземпляра «С.-Петербургских Ведомостей», 1 экз. «Московских Ведомостей», 2 экз. «Искры», 2 экз. «Семейного Листка» не модного журнала. Везде открывают училища, заботятся о народном просвещении, а у нас об этом и помину нет. Кажется, что если бы кто-нибудь и предложил открыть хоть женское училище, то поднял бы против себя целую бурю и потерял бы репутацию степенного человека. Грамотность для женщины почитается многими не только лишнею, но и вредною».

Вот так сторонушка! Как видно, камышинцы действуют начистоту: **запил — и двери запер,** по русской пословице. Зато мы теперь знаем, что́ прежде всего напишут они, когда научатся писать,— это, без

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К СТИХОТВОРЕНИЮ «ТРОЙКА»
Автолитография Н. В. Иевлева
Альбом «Рисунки к стихотворениям Н. А. Некрасова»
Тетрадь I, СПб., 1865 г.

сомнения, будет благодарственный адрес гг. Далю, Бланку, Беллюстину и другим подобным, которые еще прибудут: по приблизительному исчислению, в России появляется в год, по крайней мере, по два печатных противника грамотности (а сколько таких, которые печатно не заявляются!), да притом, как известно, год на год не приходит. Нет, советуем камышинцам поторопиться, а то писание адреса составит труд, с которым не справятся юные начинающие грамотеи!

МАЛЬЧИК С ПАЛЬЧИК, ИЛИ КРАСНОРЕЧИВЫЕ ПРОТИВНИКИ

Утешеньем в том, что у нас много людей безграмотных, много противников грамотности — да послужит нам то, что у нас много также людей красноречивых и что красноречивые люди наши являются не в литературе, где, казалось бы, им всего естественнее являться, а в других сферах... в каких именно сферах, читатель сейчас увидит.

В «Московских Ведомостях» № 228, было напечатано:

«На прошедшей неделе, в субботу, 15 числа, в полночь, проходя по Тверской улице вместе с моим знакомым, я услыхал продолжительный, раздирающий душу детский плач, как будто бы над ребенком совершали какую-нибудь болезненную операцию.

Ночь была холодная, воздух сырой с изморозью, проникающий до костей, даже сквозь ваточное пальто. Когда мы проворно подбежали к тому месту, откуда слышался плач, то увидали бегущего ребенка 7 или 8 лет, полураздетого, без сапог, с тремя калачами на руке. Со сдержанным рыданием, подпрыгивая от холода, он объяснил мне, на мои расспросы, что он очень озяб, что у него щиплет и режет ноги, что послал его за калачами хозяин, портной Поппе, у которого он живет в учении. Вслед за ребенком, я вошел в мастерскую Поппе, но мастеровые, узнав о причине моего прихода, не вызвали ко мне хозяина. На другой день мальчик был им прогнан. Этот глубоко возмутительный, бесчеловечный факт в настоящее время, при усиленном старании правительства к улучшению быта ремесленников, мне кажется, заслуживает огласки». Подписано: «Москва, 20 октября. Е. Пациентов.»

Прочитав статейку, трудно было удержаться, чтоб не сказать, что г. Пациентов хорошо пишет, но впоследствии оказалось, что портной Поппе пишет лучше!

Формальным следствием раскрыто, что мальчик, встреченный г. Пациентовым, у портного Поппе в учениках никогда не жил. Он только ходил, по знакомству, к ученику, жившему у Поппе. Таким образом, Поппе оказался совершенно невинным как в дурном одеянии мальчика, так и в ночных его странствиях за калачами, и написал в свою очередь следующее:

«Статья г. Пациентова имела для меня чрезвычайно неприятные последствия: меня требовали в ремесленную управу, требовали в полицию, производили дознания о том, в чем я был так же невинен, как и г. Пациентов, или всякий другой; *я должен был отвлекаться от работы, упускал заказы, манкировал срочными делами, беспокоился за свой кредит, за участь моего заведения, едва открытого; родные мои беспокоились обо мне, знакомые справлялись о моем деле, родители и родственники мальчиков*, может быть уже решавшиеся отдать их мне в ученье, *не решались на это; обо мне говорили в Москве с недоверчивостию* и, вероятно, *с чрезвычайно обид-*

ными для личности моей прибавлениями» — и проч. и проч. и проч.

«Не оспаривая (прибавляет г. Поппе), что г. Пациентов одарен гуманностию в достаточном количестве, а, может быть, и литературными способностями в количестве громадном или сомнительном, о чем судить не могу,— я тем не менее присутствию ремесленной управы объяснить честь имею, что считаю поступок г. Пациентова оскорбительным для моей чести и вредным для моего кредита, и прошу дать делу сему гласность и законный ход, при чем присовокупляю, что никакого материального вознаграждения со стороны г. Пациентова получить не желаю».

Ремесленная управа напечатала в удовлетворение г. Поппе весь ход дела. Таким образом, нам остается только литературная сторона его; и мы охотно свидетельствуем, что соперники не уступили друг другу в красноречии.

〈«Современник» 1860, № 12, «Свисток» № 6, 34—40; без подписи〉

〈5〉

Г-н ГЕННАДИ, ИСПРАВЛЯЮЩИЙ ПУШКИНА

(Письмо из провинции)

Милостивые государи, издатели «Свистка»!

Будучи со времен детства и до лет, ныне преклонных, глубоким чтителем поэзии и преимущественно нашего родного русского слова (не того, которое издается его сиятельством графом Григорием Александровичем Кушелевым-Безбородко [36], а вообще), я не смущаюсь толками о значении Пушкина, которыми занимались в последнее время в наших журналах разные критики, как-то: гг. Дудышкин, Де-Пуле, Аполлон Григорьев, Милюков и другие,— не смущаюсь и продолжаю читать произведения Пушкина и наслаждаться ими. В свое время было у меня издание на толстой серой бумаге, которым подарила русскую публику компания друзей покойного поэта [37]. Когда даже эта толстая серая, истинно монументальная бумага износилась от частого употребления мною книги, я приобрел издание «Сочинений Пушкина», вышедшее под редакциею почтенного критика и эстетика нашего П. В. Анненкова [38]. Вид экземпляра этого издания, которое я почти не выпускаю из рук, стал ныне тоже весьма плачевен. На многих страницах частью слезы чувствительности моей, частью табак (который нюхаю от слабости зрения) сделали уже нечеткими некоторые драгоценные стихи и строки; многие страницы — ибо бумага слишком тонка — истерлись и изорвались, и я подумывал уже о приобретении другого экземпляра; но меня останавливала высокая цена. Понятно поэтому, с каким удовольствием я узнал, что выходит новое, дешевое издание сочинений моего любимого поэта, и притом под редакциею известного, как было, помнится, сказано в «Санктпетербургских Ведомостях», библиографа и библиофила нашего Геннади. Человек я не ученый, а только, как уже сказано выше, поклонник поэзии, которою услаждаю свое сельское уединение, а потому и не могу судить, чем прославился известный библиограф и библиофил наш Геннади. Думаю, впрочем, что чем-нибудь важным, если так отзываются о нем «Санктпетербургские Ведомости». Говорили мне, что главная заслуга г. Геннади заключается в том, что он издал редкое ныне описание жизни российского Картуша Ваньки Каина и сборник эротических стихотворений под заманчивым заглавием «Любовь»; но, выписав эти книги, я увидал, что в полученном мною сведении заключалась грубая ошибка. Во-первых, книги эти изданы каким-то Григорием Книжником [39], а не г. Геннади; во-вторых, обличают они до-

стойное толкучего рынка безобразие в эстетическом отношении. Конечно, известный библиограф и библиофил наш не мог бы поставить на ряду с превосходным стихотворением Пушкина «Для берегов отчизны дальной» площадную песню «Ванька Таньку полюбил» или что-то еще хуже, как это сделано в сборнике эротических стихотворений. Его у меня зачитал один забулдыга; а то я доказал бы по пунктам, что такой книги никак не мог издать известный наш библиофил и библиограф. Один приятель мой, которому я поручил приобресть для меня новое издание сочинений Пушкина, извещал меня из Петербурга, будто там кто-то пустил в ход такой стишок об этом новом издании:

О жертва бедная двух адовых исчадий:
Тебя убил Дантес и издает Геннади [40].

Но это меня не смутило, ибо я знаю (преимущественно из «Санктпетербургских Ведомостей»), что у вас в Петербурге множество разных литературных партий, и литераторы не только пишут друг на друга эпиграммы, но и дерутся *. Я издание все-таки выписал. Многое было для меня в нем ново; но многого знакомого прежде я не узнал. Последнее обстоятельство было для меня крайне грустно; но я думаю, что отстал от современных требований науки, столь дружно подвигаемой в наше время совокупными усилиями русских ученых библиографов и библиофилов г.г. Михаила Семевского, Полторацкого, Тихменева и других. Если б не моя отсталость, я, вероятно, встретил бы уже где-нибудь в повременных изданиях разрешение моего недоумения. Но, повидимому, все находят издание известного библиографа и проч. вполне соответствующим условиям современной науки, ибо никто и не заикнулся, что г. Геннади исполнил задачу свою не совсем удовлетворительно. Я, признаюсь, как простой читатель, был крайне огорчен, что, например, в стихотворении «Роняет лес багряный свой убор» явилось несколько куплетов, которые совсем испортили для меня эту пьесу [42], очень мною любимую. Сначала я думал, уж не сам ли известный и проч. сочинил их; но оказалось, что он взял их из рукописи самого Пушкина, и только вставил их в тех местах, где Пушкин их зачеркнул, разумеется как плохие и нарушающие общую стройность пьесы. Но не надо забывать, что Пушкин писал все для таких читателей, как я, которые хотят наслаждаться и потому находят неприятными разные помарки в книге. Вероятно, в этом смысле он и говорил в своем известном стихотворении, что не умрет «весь». Г. Геннади, становясь теперь в уровень с требованиями своей глубокомысленной науки, хочет, чтобы не умерло не только ни одно слово, но даже ни одно чернильное пятно, которое он встретит в рукописях великого поэта. Петербургский приятель мой, купивший для меня новое издание, сообщает мне вдобавок, что истинно просвещенные библиографы недовольны изданием г. Геннади. Они находят, что он недостаточно уважает деятельность великого поэта, ибо спас далеко не все из черновых тетрадей, что бы следовало спасти. Прошу вас сообщить мне, справедливо ли известие, будто готовится еще издание сочинений Пушкина, уже вполне удовлетворяющее требованиям библиографической науки, издание, как пишут мне, драгоценное для людей ученых; но которого я не куплю, ибо в нем, слышно, будут все стихотворения Пушкина напечатаны следующим образом:

Пора! трубят уже рога —
Пора, пора! уж рог трубит —
Пора, пора! рога (звучат) трубят,
Давно (чернильное пятно)
Давно — — — — — —

---

* См. статью г. Воскобойникова: «Перестаньте бить и драться, гг. литераторы!» в СПб. Вед. 1860, № 261 [41].

ОБЛОЖКА АЛЬБОМА «РИСУНКИ К СТИХОТВОРЕНИЯМ Н. А. НЕКРАСОВА»
Тетрадь II, СПб., 1865 г.
Автолитография А. И. Лебедева

В охотничьем псари уборе
Псари в охотнич. уб—х
Чем св. уж на к(смазано)
Борзые пр. на сворах.
(Тут капля коричневого цвета)
И барин — — —
Выходит барин на крыльцо... и т. д.[43]

Унылое чувство сознания старости и увядания овладевает невольно человеком, когда подумаешь, что становишься уже не способен понимать те высокие стремления, которыми одушевляются люди, занимающиеся наукой, прославившей имя г. Геннади.

Недоумения, вопросы и грустные размышления о своей собственной отсталости, изложенные в этом письме, я хотел напечатать в таком журнале, где имя г. Геннади хоть раз встречалось без объяснительных слов: «наш известный библиограф и библиофил»; но таких журналов оказалось только два: «Коммерческая Газета» да «Свисток». Думаю, что в «Коммерческой Газете» письма моего не поместят, и потому посылаю его к вам.

Григорий Сычовкин.

PS. В письме моем оказывается ошибка. Я узнал, что г. Геннади составил указатель ученых статей «Коммерческой Газеты» за все года и был поэтому назван там «нашим известным библиографом и библиофилом...» Не составляет ли он указателя и к «Свистку»? Тогда письмо мое будет как раз кстати.

⟨«Современник» 1860, № 12, «Свисток» № 6, 40—43; подпись «Григорий Сычовкин»⟩

⟨6⟩

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ, О ШРИФТАХ ВООБЩЕ И О МЕЛКОМ В ОСОБЕННОСТИ

Скажите, пожалуйста, что за скачки у этого «Свистка»! То в полгода словечка от него не добьешься; со всех сторон его задевают, чуть не едут на нем верхом,— он, как чурбан в басне о лягушках и царе [44], молчит! То вдруг начнет появляться каждый месяц [45]; может быть, появлялся бы и чаще, но ведь это почти то же, что езда из Москвы в Петербург; больше одного раза в сутки ни туда, ни сюда приехать нельзя, и дорога длинна, а главное поезд только один раз в день идет; разве завести экстренные поезды [46], как сделал уже «Русский Вестник», приславший нам 1 № своей «Летописи» на 1861 год, тогда как «главный поезд с грузом № 23 и 24 1860 года застрял где-то на половине пути [47], вероятно, по причине глубоких снегов» *.

Такие толки, без сомнения, раздадутся при появлении настоящего № «Свистка», появляющегося вслед за № 6, который вышел только в прошлом месяце.

Но, милостивые государи, «Свисток» ничего не делает без причины, и на нынешний раз, точно так же, как всегда, он имеет законную причину, оправдывающую скорое его появление.

Просим прислушаться. Речь пойдет о шрифте. Вам уже, конечно, известно, что с 1861 года появился на Руси новый журнал «Время». Вот это-то «Время» между прочими упреками, делаемыми им всей литературе вообще и каждому автору в разбивку, вздумало упрекать «Свисток» тем, что он публиковал объявление о самом себе «робко, мелким шрифтом» [50]. Робко — это ничего; у всякого свои понятия о храбрости... Но — мелким шрифтом! [51] об этом стоит подумать, необходимо объясниться.

---

* 13 января 1861 года, после долгого ожидания, означенный груз прибыл благополучно в С.-Петербург, упакованный в один тюк, с двойным нумером: 23—24.

РАЗГОВОР В ЖУРНАЛЬНОЙ КОНТОРЕ

—«Одна-то книжка — за две книжки?»
(Кричит подписчик сгоряча).

Приказчик

«То были плоские коврижки,
А эта — толще кирпича!
В ней есть «Гармония в Природе»[48]
И битва с Утиным в Смеси [49].
Читайте, сударь, на свободе!»

Подписчик (*принимая книгу*)

«Merci, почтеннейший, merci!»

(*уходит*)

Так древле тощий «Москвитянин»
По полугоду пропадал,
И вдруг, огромен, пухл и странен,
Как бомба, с неба упадал.
Подписчик в радости великой
Бросался с жадностью на том
Плохих стихов и прозы дикой,
И сердце ликовало в нем.
Он говорил: «Так ты не умер?
Как долго был ты нездоров!»
И принимал нежданный нумер
Охотно за пять нумеров.

Примеч. конторщика.

Читателю известно, что с тех пор, как г. Серно-Соловьевич, в зале Пассажа, пред многочисленным собранием, вошел в подробное прение о к у р с и в е [51], вопрос о шрифте получил в России громадное значение. Говорят, что иногда книжки журналов запаздывали по целым месяцам по причине спора, возникавшего между почтенными редакторами, каким шрифтом должна быть отпечатана та или другая статья, и где именно следует поставить к у р с и в. Лучшие умы пошли далее: от шрифтов крупных и мелких, от косых и прямых, они перешли к обсуждению самой формации шрифтов. «Русский Вестник», как и всегда, явился первым, подавшим свой голос в этом деле: в 1-м № своей «Летописи» он предложил некоторые изменения в отлитии русских букв и ввел их у себя, начав таким образом год блистательным нововведением [52]. Здесь мы должны на минуту уклониться с прямой дороги и сказать несколько слов об этом нововведении. Нет сомнения, что преобразование в русском шрифте, изобилующем в настоящем своем виде прямыми линиями, при малейшей порче шрифта делающими чтение затруднительным,— нет сомнения, что это преобразование нужно, но, тем не менее, по поводу попытки «Русского Вестника» «Свисток» слышал следующие рассуждения, о которых, принимая в соображение важность вопроса, не считает удобным умолчать.

— Может быть, нововведение господина Каткова очень хорошо,— говорил недавно один господин, потрясая 1 № «Летописи Русского Вестника»,— но я полагаю, что место таким попыткам не в газете, а в каком-нибудь специальном издании, посвященном филологии или просто: вопросу о шрифтах. Пятьдесят три года читаю я русские книги и журналы и ни-

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К СТИХОТВОРЕНИЮ «НА ВОЛГЕ»

Автолитография А. И. Лебедева

Альбом «Рисунки к стихотворениям Н. А. Некрасова»

Тетрадь II, СПб., 1865 г.

когда не встречал затруднения в чтении их, исключая того случая, когда господину Лажечникову вздумалось напечатать своего «Басурмана» хотя и по-русски, но с каким-то чудовищным правописанием [53], которым поставлялось читателю в обязанность разучиться всякому правописанию, да еще того небольшого периода в издании «Отечественных Записок», когда редакция, в виду всей России, чуть было не повихнулась на букве *ж*, но это скоро и благополучно прошло [54]. И вот теперь, под старость, получаю «Летопись», начинаю читать... да еще в слух, перед мало знакомыми людьми пришлось читать. Представьте себе! читаю — и запинаюсь, поминутно запинаюсь. Глаз мой, в течение долгого времени освоившийся с обыкновенным русским шрифтом, никак не может привыкнуть к этим закруглениям, усикам, раздвоениям, рожкам, подножкам и ко всяким другим улучшениям, введенным «Летописью» в русский шрифт. Подножки! Усики! Спрашивается, зачем тут усики?

Усы гусара украшают,
Усы герою вид дают,
Невест усами добывают,
Усы для девушек магнит...

Но я не девушка! А эти высокие *к*, *ф*, *ь* — что это такое? для чего?.. В целом страница представляет какую-то невообразимую пестроту, неровную, несимметричную, как будто с высокой-высокой колокольни смотришь на подгулявшую толпу, покачивающуюся с боку на бок, или, еще лучше, как будто, к ужасу г. Серно-Соловьевича, ящик курсива всыпали в ящик обыкновенного прямого шрифта да и пошли писать, то есть набирать! так что сам господин Серно-Соловьевич едва ли в состоянии различить, что здесь собственно набрано курсивом, что прямым шрифтом. А уж я так просто и прочесть не умел порядком; некоторые гости ушли, не дослушав чтения и — что мудреного — сочли меня за безграмотного! Вот какую услугу оказал мне «Русский Вестник»!

— Из чего вы убиваетесь!— возражали ему.— Так-то у нас во всем, ничего для общей пользы; маленькое затруднение для глаз, пустой щелчок самолюбию — и мы готовы бросить камень в того, кто хлопотал для пользы науки. Ведь господин Катков, конечно, имел в виду пользу науки...

— Пользу науки! — грубо вскричал господин.— Хочешь пользы науке, так печатай свои опыты особо. Если я в науке радетелен, заплачу деньги и испорчу глаза — и жаловаться не буду. Или объяви заранее. А то —

На языке тебе невнятном
Свои статейки подношу,
И в заблуждении приятном,
Вниманья твоего прошу... *

Покорно благодарю! Я не хотел ни денег бросать, ни глаза портить, я хотел читать «Современную Летопись». Так и давайте мне ее в таком виде, чтоб я мог читать. Еще бы вы вздумали для пользы науки ставить буквы кверху ногами или санскритский алфавит ввели бы, да не объявили бы заранее! Покорно благодарю! Целый год теперь убивайся, привыкай к новому шрифту, а там удержится ли еще он, или вздумается выписать другой журнал.

— Да зачем же другой? — говорили ему.— Вы всегда были таким жарким поклонником «Русского Вестника»...

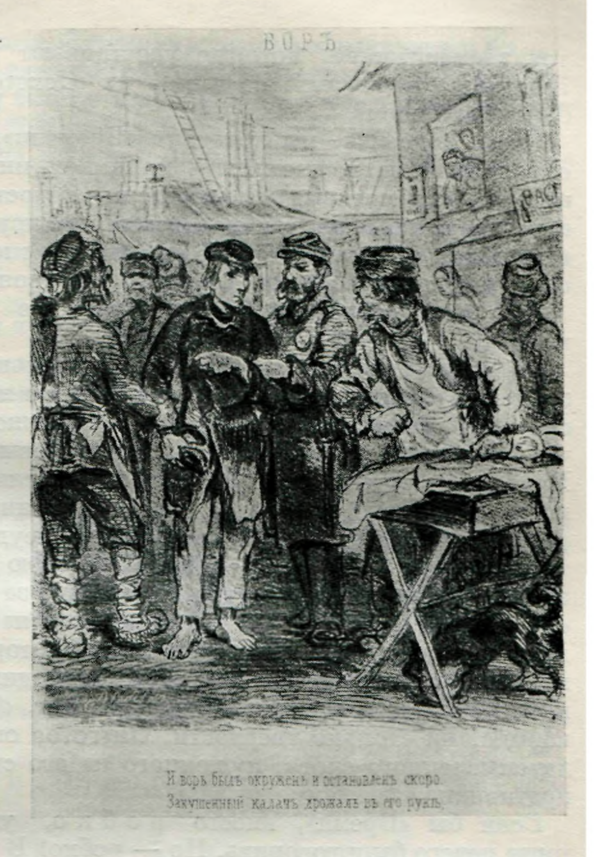
— Так по-вашему целый век и прикажете мне выписывать только его? — запальчиво возразил господин.

— Почему же нет?

— Почему, почему? А вот почему, милостивый государь:

* Пушкин: «Иностранке»[55].

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К СТИХОТВОРЕНИЮ «НА УЛИЦЕ» («ВОР»)
Автолитография А. И. Лебедева
Альбом «Рисунки к стихотворениям Н. А. Некрасова»
Тетрадь II, СПб., 1865 г.



И воръ былъ окруженъ и остановленъ скоро.
Закушенный калачъ дрожалъ въ его рукѣ.

Каким ни ухищряйся шрифтом
Печатать слабые статьи,
Верь, ни сотрудники твои,
Ни сам ты — век не будешь Свифтом!

Он посмотрел на нас с явным самодовольствием. Он, видимо, был счастлив, что ему удалось высказать свое негодование в этой плохой эпиграмме. Мы пробовали ему заметить, что г. Катков никогда не претендовал на славу Свифта и потому, конечно, останется совершенно равнодушным к этой выходке; но он не дал нам рта разинуть, продолжая порицать шрифт «Летописи». И вот каковы люди! Пять лет этот человек был жарким поклонником «Русского Вестника», он почерпал оттуда свои убеждения, свои высшие взгляды,— короче: свой ум. «Русский Вестник» помогал ему держаться на высоте современности, как и многим, внезапно застигнутым этим требованием,— и вот ничтожное разветвление в верхней части буквы ђ, ничтожный усик, приделанный к букве ь,— и все забыто! Приязнь обратилась во вражду! О люди! о век! о время!

Само собою разумеется, что эти два последние восклицания не относятся ни к «Веку», издаваемому г. Дружининым и К°, ни ко «Времени», издаваемому г. М. Достоевским. Но так как мы кончили наше отступление, то и переходим к одному из этих журналов, с которым начали нашу беседу.

Собственно мы начали статейку с тем, чтобы сказать «Времени», что никак мы не можем признать справедливым упрека его в том, что «Свисток» объявил о себе мелким шрифтом. Мы всегда думали и продолжаем думать, что этот случай должно приписать в заслугу ему. Да когда же, скажите на милость, «Свисток» говорил о себе, не в выноске, крупным шрифтом? Во-первых, крупные шрифты у нас берегутся для публикования имен

тех знаменитостей, которые удостаивают нас обещанием своих произведений, а во-вторых: не всегда ли «Свисток» отличался скромностию и благоприличием?

Итак, надеемся, мы доказали «Времени», что мелкий шрифт в нашем объявлении не должен быть понимаем иначе, как за выражение этих качеств, при которых «Свисток» желает остаться навсегда. Горькую минуту переживает он, когда «Время» или другой какой-либо журнал будет в состоянии с полным правом обратиться к нему с известным карамзинским вопросом: «Бедный Свисток! где твоя невинность?» [56].

Он откровенно сознается, что не желает дожить до этого времени.

Объяснившись и успокоив умы касательно мелкого шрифта, мы теперь займемся словом «р о б к о», так как это маленькое словечко, признаемся, тоже укололо нас, хотя и менее, нежели мелкий шрифт. Глупо! но что же делать? у всякого есть свои мировые судьи, своя г-жа Свечина [57]. Притом, не служит ли и эта самая щекотливость доказательством невинности «Свистка»? Это не то, что обстрелянные журналисты, на которых раздражительные господа, потерпевшие неудачи на различных поприщах— акционерном и других,— изливают свою жолчь из разных газетных закоулков, покуда их оттуда не выгонят за глупость, как отовсюду, куда они совались. Молчат обстрелянные журналисты, даже виду не подадут, долетели ли до них хоть брызги помой, которыми была разведена жолчь,— молчат, и сохнет, и тает, как воск, не по дням, а по часам, раздражительный господин в тщетном ожидании. Нет, «Свисток» не имеет ни столько навыка, ни столько твердости. Он готов оправдываться против каждого двусмысленного слова, пущенного на его счет, разумеется, если уважает противника.

Если бы «Время», вместо р о б к о, употребило слово к р о т к о, тогда нечего бы и говорить. Но — робко! В чем же, по мнению «Времени», выразилась робость «Свистка»! В том, что он не написал о себе широковещательного объявления, не расхвастался в нем своими заслугами, не натыкал в него сотни заглавий небывалых статей и десятки имен с сомнительной знаменитостью? Помилуйте! да если вопрос только в этом, так «Свисток» мог бы удивить публику своею храбростию не хуже самих «Отечественных Записок». Вы скажете, у него не хватит воображения, не найдется уменья составить хорошую программу, нужно набить руку, напрактиковаться, что приобретается годами, а вы сами уши нам прожужжали своей неопытностью? Что ж! положим так. Но разве нельзя воспользоваться чужою опытностью? «Свистку» стоило переписать почти любую из программ на 1861 год — и вы не назвали бы его робким.

Он мог бы сказать, например:

«Свисток» не имеет надобности рекомендоваться публике «подробными программами, а потому редакция с удовольствием оглядывается на прошедшее свое поприще, в котором находит разгадку постоянного своего успеха в публике, несмотря на обилие вновь являющихся повременных изданий. Не для того, чтобы хвалиться всем тем, что успел сделать в это время, а для того, чтоб искать в прошедшем руководящей идеи для будущего, бросим мы взгляд на пройденное нами широкое поприще».

Довольно. Рука устает выписывать. Скажите, чем это было бы худо? Очень бы даже хорошо! И труда никакого не стоило бы, потому что это выписано с л о в о в с л о в о из программы одного большого журнала, богатого опытностию по части программ [58]. Затем «Свисток» сумел бы, конечно, переписать с громкими прибавлениями названия статей, в нем помещенных, перечислить имена сотрудников, в нем участвовавших, расхвалив их напропалую и задев по дороге сотрудников чужого прихода,— и, наконец, заключил бы так:

«Читатели видят, что редакции «Свисток» в прошлом году посчастливилось соединить на своих страницах [59] превосходные произведения Якова Хама, Аполлона Капелькина и Конрада Лилиеншвагера» [60].

В следующем году «Свисток» надеется быть еще счастливее, поместив следующие статьи:

Литературная травля или раздраженный библиограф, самообличительная поэма-автобиография... Саввы Намордникова [61].

Исторические параллели [62]:

Б. А. Кокорев и Лафит.

Жорж Санд и Евгения Тур.

Битва Горациев с Куриациями и бой 13 декабря 1859 г. в петербургском Пассаже.

Ламорисьер и Н. Ф. Павлов.

Легенда о Чернокнижии, или Шотландская ведьма — поэма А. Капелькина.

Ряд статей О вреде людоедства — Дарьи Куницыной (урожденной княжны Бесхвостовой) [63].

Ряд статей О юморе у жителей Лапландии и у самоедов (посвящается редакторам «Свистка») — И. Шутенкова (потомка древней графской фамилии, утратившей документы при пожаре Москвы в 1812 году) [64].

«Тысячу двести стихотворений» — Конрада Лилиеншвагера.

Жох и Плоцка, драма — Анны Монументовой (псевдоним мужчины-писателя).

Идиллия и Предсказания — Якова Хама.

Человек без денег — солдат без ружья! — Хаджи-подхалимова (поэт-самоучка, армянского происхождения. Мать грузинка) [65].

Как понимают Свисток образованные народы Европы, ряд писем из Лондона Титмарша Младш. (племенника славного Тэккерея, давшего клятву писать исключительно в нашем журнале) [66].

Истина в науке
Истина в искусстве
Истина в жизни — Три лекции А. Украинского [67], которые будут читаны в зале Пассажа, в пользу новозадуманного Общества для сдирания шкуры — с живых и мертвых, под благовидными предлогами, по новому способу, им же изобретенному.

Басни К. Пруткова*.

И проч. и проч. и проч. Сколько еще могли бы мы насчитать статей! сколько поименовать сотрудников! Но в том-то и дело, что при всей легкости в подборе подобных хвастливых обещаний, при всей безответственности в случае их неисполнения, «Свисток» удержался в границах скромности и приличия.

Спрашивается теперь: порицания или похвалы достойно подобное поведение?

* Это имя, как действительно знаменитое, должно быть напечатано в полтора раза крупнее прочих, чего не сделано здесь из опасения обезобразить страницу.

Доказав свою невинность, «Свисток» спешит уверить новый журнал, что нисколько не сердится за опрометчивое его суждение. Напротив, «Время» ему понравилось, и он, как восторженный юноша, не умеющий скрывать своих чувств, сложил ему гимн, который и печатает теперь с большим удовольствием.

ГИМН «ВРЕМЕНИ»,

НОВОМУ ЖУРНАЛУ, ИЗДАВ. М. ДОСТОЕВСКИМ

Меж тем как Гарибальди дремлет,
Колеблется пекинский трон,
Гаэта грому пушек внемлет,
Дает права Наполеон,—
В стране затронутых вопросов,
Не перешедших в сферу дел,
Короче: там, где Ломоносов
Когда-то лирою гремел,
Явленье нового журнала
Внезапно потрясло умы:
В нем слышны громы Ювенала,
В нем не заметно духа тьмы.
Отважен тон его суровый,
Его программа широка...
Привет тебе, товарищ новый!
Явил ты мудрость старика.
Неси своей задачи бремя,
Не уставая и любя!
Чтобы ни «Век», ни «Наше Время»
Не покраснели за тебя;
Чтобы не сел тебе на плечи
Редактор-дама «Русской Речи» [68].
Чтоб фельетон «Ведомостей»
Не похвалил твоих статей!
Как пароксизмы лихорадки,
Терпи журнальные нападки,
И Воскобойникова лай
Без раздражения внимай!
Блюди разумно дух журнала,
Бумагу строго береги:
Страшись «Суэзского Канала»
И «Зундской Пошлины» беги! *
С девонской, с силурийской почвы
Ученой дани не бери;
Кричи таким твореньям: «прочь вы!»
Творцам их: «чорт вас побери!»
И то как о «Сухих Туманах» **
Статейку тиснешь невзначай,
Внезапно засвистит в карманах...
Беда! Ложись — и умирай ***.

* О «Суэзском перешейке», о «Зундской пошлине» — любимые статьи скучных журналов. Действие их на читателя ужасное. Один известный журнал имел неосторожность коснуться раз Суэзского перешейка — и долго потом не мог поправиться.

** О «Сухих Туманах» — одна из последних статей, напечатанных в «Атенее», после которой он вскоре умер.

*** «Свисток» надеется, что редакция «Времени» оценит бескорыстность и доброжелательство этих предостережений, которыми вовсе не должно пренебрегать.

Будь резким, но не будь бранчливым,
За личной местью не гонись.
Не называй «Свистка» трусливым
И сам безмерно не гордись!
Припомни ямбы Хомякова,
Что гордость — грешная мечта,
Припомни афоризм Пруткова,
Что все на свете — суета!

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К СТИХОТВОРЕНИЮ «ДЯДЮШКА ЯКОВ»
Акварель Б. М. Кустодиева, 1910 г.
Институт литературы АН СССР, Ленинград

Мы здесь живем не вечны годы,
Здесь каждый шаг неверен наш,
Погибнут царства и народы,
Падет штенбоковский Пассаж,
Со срамом Пинто удалится
И лекций больше не прочтет,
Со треском небо развалится
И «Время» на косу падет! *

⟨«Современник» 1861, № 1, «Свисток» № 7, 1—10; без подписи⟩

* Последние два стиха заимствованы у Дмитриева.

⟨7⟩

ФИНАНСОВЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

(Голос из провинции)

Денег нет — перед деньгами.
(Народная пословица

Между тем, как в глуши
В преферанс на гроши
Мы палим, беззаботно ремизясь,

Из столиц каждый час
Весть доходит до нас
Про какой-то финансовый кризис.

Эх! вольно ж, господа,
Вам туда и сюда
Необдуманно деньги транжирить.

Надо жить поскромней,
Коли нет ни рублей,
Ни уменья доходы расширить.

А то роскошь у вас,
Говорят, завелась
Непонятная даже рассудку.

Не играйте, молю,
В ералаш по рублю,
Это первое: вредно желудку.

Во-вторых, но — увы!..
Рассердились уж вы:
«Ты советовать нам начинаешь?»

Что ж? я буду молчать.
Но ведь так продолжать —
Так, пожалуй, своих не узнаешь!

Каждый графом живет:
Дай квартиру в пятьсот,
Дай камин и от Тура кушетку [69].

Одевает жену
Так, что только — ну, ну!
И публично содержит лоретку!

Сам же чуть не банкрут...
Что ж мудреного тут,
Если вы и совсем разоритесь?

Вам Прутков говорит:
«Мудрый в корень глядит»,
Так смотрите на нас — и учитесь!

Ведь у нас в городах,
Ведь у нас в деревнях
Деньги были всегда не обильны.

А о кризисе дум
Не вспадало на ум —
Сохранял, сохраняет Всесильный!

Целый год наш уезд
Все готовое ест:
Натащат, навезут мужичонки.

На наряды жене
Да на выпивку мне
Только вот бы и нужны деньжонки.

Что ж добуду кой-как...
А что беден бедняк,
Так ведь был не богаче и прежде.

Что поднимет мужик
Среди улицы крик,
Непростительный даже в невежде:

«Я-де сено привез
Да и отдал весь воз
За размен трехрублевой бумажки!

Лишь бы соли достать,
А то стал я хворать
И цынга появилась у Глашки»,—

Так за эту бы речь
Мужичонку посечь
Да с такой бы еще прибауткой:

— «Было что разменять,
А ты смел рассуждать —
Важный барин, с своею Глашуткой!»

Ну и дело с концом...
Больше, меньше рублем —
Велика ли потеря на лаже? [79]

А для тех, у кого
Вовсе нет ничего,
Так совсем не чувствительно даже...

⟨«Современник» 1861, № 1, «Свисток», № 7, 35—37;
подпись: «У⟨гличс⟩кий старожил»⟩

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Некрасов имеет в виду стих. А. Н. Майкова «Отрывок из поэмы «Земная комедия» (Памяти Пушкина)», напечатанное в «Современнике» 1855 г. (№ 12, «Заметки о журналах», 284), в связи с нападками Кс. Полевого на Пушкина («Северная Пчела» 1855, № 255).

[2] «На натиск пламенный ей был отпор суровый» — перефразированная цитата из Пушкина («К Вельможе»).

[3] Имеется в виду публичный диспут о происхождении Руси, состоявшийся 19 марта 1860 г. в зале С.-Петербургского университета.

[4] Н. А. Северцов (1827—1885) — известный зоолог и путешественник. Во время экспедиции на низовья Сыр-Дарьи, в 1857—1858 гг., подвергся нападению коканцев (ферганских узбеков), ранивших его и взявших в плен, из которого Северцов был освобожден только через месяц по требованию русских властей (ср. его статью «Месяц плена у коканцев» — «Русское Слово» 1859, X, 221—318; отд. изд. СПб., 1860).

[5] В том же номере «Свистка» (стр. 4—27), в статье «Опыт отучения людей от пищи», Добролюбов разоблачал действия учредителя Общества Волжско-Донской железной дороги, миллионера В. А. Кокорева, «благоразумные распоряжения» которого вызвали у нанятых обществом рабочих массовые болезни и смертность.

[6] Речь идет об известном «литературном протесте» против антисемитских статей В. Р. Зотова в журнале «Иллюстрация»; см. сводку возникшей полемики в примечаниях С. Рейсера к статье Добролюбова «Письмо из провинции».— Н. Добролюбов, Полное собрание сочинений, М., 1939, VI, 703.

[7] «Спор о Свечиной»— длительная полемика М. Н. Каткова с Е. Тур, поместившей в издаваемом Катковым «Русском Вестнике» (1860, № 7) статью «Госпожа Свечина» по поводу книги «Madame Svetchine, sa vie et ses oeuvres, par le comte de Falloux, de l'Académie Française», Paris, 1859.— Резкую характеристику реакционного католического салона Свечиной Катков объявил «односторонней». Возникший спор повел к полному разрыву Е. Тур с редакцией «Русского Вестника». В основе этой полемики лежала, повидимому, журнальная конкуренция; см. подробное изложение полемики в статье Н. Г. Чернышевского «История из-за г-жи Свечиной» («Современник» 1860, № 6; Полн. собр. соч., VI, 243—264).

С. П. Свечина (1782—1857) — писательница по религиозно-моральным вопросам; в середине 1810-х годов, под влиянием Жозефа де-Местра, перешла в католицизм и, поселившись в Париже, примкнула к ультрамонтанской партии.

[8] «Энциклопедический словарь, составленный русскими литераторами и учеными» начал издаваться в 1861 г., под ред. А. А. Краевского (см. объявление о нем —«Московские Ведомости» 1860, 27 октября, № 232). Огромное осуществляемое на правительственную субсидию издание прекратилось в 1869 г. на пятом томе. Редакторство Краевского возбудило неприязненные толки: «Сей муж не только вмешался в издание Энциклопедического Лексикона, но объявил себя его главным редактором»,— писал П. В. Анненков Тургеневу 17 сентября 1860 г.—«Это было знаком всеобщего негодования. На него опрокинулись пасквили, насмешки, позорные изобличения, преимущественно в «Искре». Я его видел притихшим и грустным, но еще не все исчерпано. Ждут первого выпуска Лексикона, чтобы пуститься в травлю» («Труды Публичной библиотеки СССР имени Ленина», изд. «Academia», 1934, III, 96).

[9] В. А. Кокорев (1817—1889) и Д. Е. Бенардаки — крупные откупщики. Источник приписанных им слов нами не найден.

[10] Неточная цитата из «Разговора книгопродавца с поэтом» (у Пушкина —«нежный ум»).

[11] Источник цитаты не найден; возможно, что четверостишие принадлежит самому Некрасову.

[12] Речь идет о статье «Теория и опыт» («Журн. Мин. Нар. Просв.» 1860, кн. 10, 36—38), в которой И. Беллюстин, повторяя мысли В. И. Даля о вреде грамоты без просвещения, доказывал, что дело обучения народа требует осторожности и что к нему нельзя подпускать каждого желающего.

И. Беллюстин — калязинский священник, автор нашумевшей книги «Описание сельского духовенства», написанной по инициативе и по поручению М. П. Погодина и напечатанной анонимно за границей («Русский заграничный сборник», Париж, 1858, I, тетрадь 4). Книга вызвала большое возмущение в официальных церковных сферах, была запрещена к ввозу в Россию, и в ответ на нее вышли два инспирированных издания (ср. сочувственную по отношению к Беллюстину рецензию Добролюбова.— Полн. собр. соч., М., 1937, IV, 237—252, 343—347, 499—500 и 531—532). «Над Беллюстиным было уже 17 следствий, он каждую минуту на волосок от Соловков»,— записывает 29 мая 1859 г. в своем дневнике В. Ф. Одоевский («Литературное Наследство», М., 1935, № 22—24, 99; ср. еще 94).

[13] Некрасов имеет в виду появившуюся в «Московских Ведомостях» (12 ноября 1860, № 246) «Заметку провинциала» (о действиях подрядчика Гладина), подписанную В. Смирновым.

[14] Возможно, что Некрасов имеет в виду крепостническую статью «Полтавского помещика» («Отечественные Записки» 1858, № 10), упомянутую Добролюбовым в «Литературных мелочах прошлого года».

[15] В. К. Ржевский (1811—1885) — сотрудник «Русского Вестника», реакционный публицист, видный чиновник Министерства внутренних дел, впоследствии сенатор. В статье «Способ собирания прямых налогов во Франции» («Русский Вестник» 1860, № 18, 23, 227—262) Ржевский, опровергая мнение защитников сельской общины, на примере Франции доказывал, что налоги могут быть успешно собираемы и без круговой поруки сельского населения. Он же поместил в «Русском Вестнике» статью «О мерах,

содействующих развитию пролетариата» (1860, №№ 25 и 27). Статьи о профессорах и экзаминаторах и о сокращении университетских штатов нам неизвестны.

[16] Козлянинов (действительная фамилия — Козлянинов, ср. «Московские Ведомости», 1860, 25 октября, № 230, заметка Льва Камбека) — помещик, побивший в вагоне железной дороги пассажирку (письмо в редакцию Александра Мансурова.— «Московские Ведомости» 1860, 24 августа, № 185).

[17] Ю. Летголла (псевдоним Ю. Ю. Беркгольца) на страницах «С.-Петербургских Ведомостей» обличал ошибки Н. И. Костомарова в области литовской филологии.

[18] Н. Н. Страхов в статье «Об атомистической теории вещества» («Русский Вестник» 1860, 27, 134—194) хотел «показать бессилие эмпиризма в известных случаях», доказывая условность и несостоятельность атомистической теории. Несколько философских статей Страхова появились ранее в журнале «Светоч».

[19] «Век»— еженедельная газета, выходившая в 1861—1862 гг. под ред. П. И. Вейнберга, при ближайшем участии А. В. Дружинина (редактировавшего литературный отдел), К. Д. Кавелина (юридический отдел) и В. П. Безобразова (экономический отдел). Бесцветно-либеральная газета Вейнберга не имела успеха («в то время требовались от публицистического органа нерв, чуткость и живое слово, а не солидная ученость»,— говорит по этому поводу Н. Шелгунов — «Воспоминания», М., 1923). «Современник», напечатавший составленное Некрасовым сочувственное извещение о начале издания «Века», впоследствии относился иронически к либеральному прекраснодушию, характерному для этого журнала (ср. стих. Добролюбова «Новый век»—«Современник» 1862, № 1; «Свисток», № 8, стр. 5).

[20] «Основа, южно-русский литературно-ученый Вестник»— ежемесячный журнал, издававшийся в 1861—1862 гг. П.А. Кулишом (под ред. В. М. Белозерского) и являвшийся органом украинофилов. Ср. рец. Чернышевского.— Полн. собр. соч., СПб., 1906, VIII, 48—60.

[21] Далее следует указание на ряд статей Добролюбова, частью вошедших в тот же номер «Свистка», частью же либо только задуманных, либо написанных, но запрещенных цензурой. Так, «подлинные документы о состоянии умов в Европе» — это напечатанные в том же номере «Неаполитанские стихотворения» (рисующие, как сказано в прозаическом введении, как раз «положение дел и настроение умов» и названные там же «поэтическими документами»). «Выдержки из обширной корреспонденции» — несомненно, «Письмо благонамеренного француза о необходимости посылки французских войск в Рим» и т. д., запрещенное цензурой и напечатанное Чернышевским в посмертном издании сочинений Добролюбова. Наконец, слова «он сообщит вам и о том, с каким достоинством держат себя в настоящих трудных обстоятельствах наши любезные соотечественники, путешествующие по Европе» — имеют в виду, скорее всего, сохранившуюся лишь в незаконченной рукописи статью Добролюбова «Что о нас думают в Париже»; возможно предположение, что эта статья вообще не была закончена и предназначалась для другого номера, поскольку Чернышевский, издавая впоследствии добролюбовский «Свисток», не включил ее в реконструируемый им шестой номер.

[22] Некрасов имеет в виду журнальную дискуссию по вопросу об обучении народа грамоте, начавшуюся еще в 1856—1857 гг. В. И. Даль в своем «Письме к издателю «Русской Беседы» А. И. Кошелеву» (1856, кн. III, 1—16) утверждал, что грамота «сама по себе ничему не вразумит крестьянина; она скорее собьет его с толку, а не просветит. Перо легче сохи; вкусивший без толку грамоты норовит в указчики, а не в рабочие,...; он склоняется не к труду, а к тунеядству... А что писать нашим писакам? Разве ябеднические просьбы и поддельные виды».

[23] Ответ Е. Карновича Далю был напечатан в «Современнике» (1857, № 10, 123—128).

[24] См. выше прим. 12-е.

[25] Михаил Петрович — историк М. П. Погодин, о диспуте которого с Костомаровым см. выше прим. 3-е.

[26] С. С. Громека (1823—1877) — отставной жандармский офицер, либеральный публицист, сотрудник «Русского Вестника», автор обличительных статей о полиции («Русский Вестник» 1857—1859 гг.).

[27] Булкин — псевдоним С. А. Ладыженского, сотрудника «Русского Вестника», автора исторических романов.

[28] В. К. Ржевский — см. выше, прим. 15-е.

[29] Г. А. Матиль — сотрудник «Русского Вестника», где печатались его статьи об Америке.

[30] Г. П. Данилевский (1829—1890) — популярный беллетрист, в конце 50-х — начале 60-х годов работавший по земским выборам и много писавший по земским вопросам.

[31] Ср. статью Н. А. Добролюбова «Народное дело. Распространение обществ трезвости» («Современник» 1859, № 9).

[32] Издававшийся в 1858—1859 гг. в Москве под ред. Е. Ф. Корша умеренно-либеральный журнал «Атеней» был прекращен самим издателем из-за недостатка подписчиков.

[33] Аделаида Ристори (1822—1906) — итальянская драматическая актриса, с большим успехом гастролировавшая в 1860—1861 гг. в Петербурге. Все газеты и журналы были полны описаний ее игры, от которой, по словам обозревателя «Русского Вестника», «занимался дух и сердце замирало». Некрасов видел Ристори еще раньше, в Париже, и относился к ее игре сдержанно: «Видел я Леметра, вот это столько же то, сколько не то Ристори» (письмо к Тургеневу от 15/27 мая 1857 г.). Ср. отрицательную оценку П. В. Анненкова: «Ристори — ремесленница» (письмо к Тургеневу от 9 декабря 1860 г.— «Труды Публичной библиотеки СССР имени Ленина», изд. «Academia», 1934, вып. III, 107).

[34] Проект, составленный Тургеневым в августе 1860 г., осуществлен не был, так как встретил «сильнейшую оппозицию» в официозных кругах, связанную с «нерасположением правительства» к общественной инициативе в деле народного образования. (См. исчерпывающую сводку данных в комментариях Ю. Оксмана к циркулярному письму с «Проектом программы общества для распространения грамотности и первоначального образования».— «Сочинения И. С. Тургенева», Л.—М., 1930, XII, 716—720; текст «письма»— там же, 459—465).

[35] Г. П. Бланк в своих статьях выступал в защиту крепостного права («Труды Вольно-экономического общества» 1856, № 6; 1857, № 1).

[36] «Русское Слово» (1859—1866) — с 1860 г. ежемесячный радикально-демократический журнал, издававшийся на средства богатого мецената гр. Г. А. Кушелева-Безбородко (1832—1876), под редакцией Г. Е. Благосветлова (1824—1880) и при ближайшем участии Д. И. Писарева и В. Зайцева.

[37] Собрание сочинений Пушкина, изданное в 1838—1841 гг. под ред. друзей поэта, было очень неудовлетворительным. Ср. отзыв о нем Чернышевского: «Боже! Каково было это издание! Любители курьезных книг должны дорожить им, как дивом небрежности и неряшества внешнего и внутреннего, как редкостью, достойною занимать место наряду с тем знаменитым изданием Виргилия, в котором список типографских и других погрешностей наполнил в полтора раза более страниц, нежели самый текст» («Современник» 1856, № 5, Критика, стр. 1).

[38] Издание сочинений Пушкина под ред. П. В. Анненкова, вышедшее в 1855—1857 гг., составило эпоху в изучении Пушкина.

[39] Григорий Книжник — псевдоним Геннади, под которым он выпустил переиздание старинной повести «Жизнь Ваньки Каина, им самим изложенная. Новое издание Григория Книжника. Жизнь и похождения Российского Картуша, именуемого Каином, известного мошенника и того ремесла людей сыщика» (СПб., 1859) и антологию «Эротические стихотворения русских поэтов. Собрал Григорий Книжник» (СПб., 1860). Издание «Жизни Ваньки Каина», выпущенное Геннади, не удовлетворяло научным требованиям: в основу его был положен позднейший текст, в котором отсутствовали существенно важные народные песни, имевшиеся в первоначальном тексте. (См. сводку отзывов в брошюре: У. Иваск, Григорий Николаевич Геннади. Обзор жизни и трудов, М., 1913, 29—30).

Сборник «Эротические стихотворения» возмущал критиков беспринципной пестротой своего состава: в нем, наряду с «признанными классиками» — Пушкиным, Баратынским,— были перепечатаны стихотворения третьестепенных поэтов (Бороздны, Вуича, Зотова, Милькеева и пр. и т. п.) или поэтов хотя и значительных, но принадлежавших допушкинской поре и потому отвергавшихся демократической критикой 50-х — 60-х годов (как, например, Мерзлякова или Нелединского-Мелецкого).

«Современник» встретил сборник уничтожающей рецензией, в которой Григорий Книжник был отождествлен с литературными предпринимателями, издателями бульварно-порнографической литературы («Современник» 1860, № 4; «Библиография», 403—406).

В действительности, в сборник Геннади входила только высокая лирика на тему о любви вообще; никакой «эротики» в специфическом смысле этого слова в ней не было, как не было и «площадной» песни «Ванька Таньку полюбил», упоминаемой в комментируемом фельетоне (если эти слова не относятся к «псевдонародным» песням-романсам Нелединского-Мелецкого, Мерзлякова, Вельтмана, равно неприемлемым для демократической критики 50-х—60-х годов). Но отрицательное отношение «Современника» к сборнику Геннади вполне последовательно: ведь Добролюбов даже о таких стихотворениях Пушкина, как «Я вас любил, любовь еще, быть может...» и «Нет, нет, не должен я, не смею, не могу...», именно в это время отзывался более чем холодно. (Н. Добролюбов, Полн. собр. соч., М., 1935, II, 580).

[40] Приведенная эпиграмма принадлежит С. А. Соболевскому.

[41] Резкая статья Н. Воскобойникова (члена кружка А. П. Милюкова, в который входили Ф. М. и М. М. Достоевские, Н. Н. Страхов и др. писатели, позднее сотрудники «Времени») была направлена против обличительной литературы и демократической публицистики. «Мы полагаем,— писал Воскобойников,— что всем этим господам ⟨«Русскому Вестнику», полемизирующему с Е. Тур, Новому поэту, Добролюбову, Чернышевскому⟩ время остановиться. Пора перестать пришивать к разным личностям разные грязные истории. Пора перестать возражать бранью на мнения. Эти осадки дряни обличительной литературы должны исчезнуть».

[42] Издание сочинений Пушкина под редакцией Геннади положило начало порче основного авторского текста введением в него зачеркнутых в рукописи строф. Так, в стихотворение «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор») Геннади ввел четыре восьмистишия ранней редакции, с примечанием: «Эта и последующая строфа, заключенные в знаки ⟨ ⟩, отброшены были Пушкиным из этого стихотворения и напечатаны были в VII томе последнего издания сочинений его из рукописи; помещаем их в тексте к своим местам для удобства чтения». Это сомнительное «удобство» было куплено дорогой ценой: введенные строфы своим мажорным тоном разрушали единство элегической темы; после слов:

Минутное забвенье горьких мук —

Геннади печатал:

Товарищи! сегодня праздник наш.
Заветный стол! Сегодня там, далече,
На пир любви, на сладостное вече
Стеклися вы. При звоне мирных чаш
Вы собрались...
и т. д. (I, 329).

Против этого некритического отношения к редактированию текста, против редакторского произвола выступил в следующем номере «Свистка» Чернышевский («Современник» 1861, январь, «Свисток», № 7), приложив к своей статье «Ответ на вопрос, или освистанный вместе со всеми другими журналами «Современник», издевательское примечание от имени «безвестного, но полезного труженика науки». Именно к цитате из Жуковского:

Что такое все награды
Пред сокровищем таким —

Чернышевский дал сноску: «Цитата ошибочная: г. Геннади поместил эти стихи в пьесе Пушкина: «Роняет лес багряный свой убор...». Но по точнейшим исследованиям оказывается, что хотя они и действительно написаны на листке, лежавшем подле черновой рукописи этого стихотворения, однако же принадлежат известному гр. Хвостову, листок из бумаг которого случайно оказался на столе Пушкина» (Н. Чернышевский, Полн. собр. соч., СПб., 1906, VIII, 76).

Сводку отзывов об издании Геннади см. в упомянутой брошюре Ивaска, 34—35.

[43] В своем комическом образце ученой транскрипции Некрасов предвосхитил позднейшее увлечение механической репродукцией рукописей, характерное для академического пушкиноведения (Якушкин и др.). При этом, исходя из запросов рядового читателя, Некрасов справедливо протестует против засорения окончательного текста вставками из первоначальных редакций. Выступление Некрасова до сих пор остается актуальным, так как и теперь встречаются ревнители усовершенствования текста Пушкина вставками из черновиков.

[44] Басня Крылова «Лягушки, просящие царя».

[45] Предыдущий, шестой, номер «Свистка» появился при декабрьской книжке 1860 г.

[46] «Экстренные поезды» — отдел «Современной Летописи» «Русского Вестника», с 1861 г. выходивший в виде отдельного приложения к журналу.

[47] «Русский Вестник» выходил два раза в месяц; №№ 23 и 24 — книжки за первую и вторую половину декабря.

[48] «Гармония в природе» — объемистые статьи ботаника А. Н. Бекетова, посвященные явлениям приспособляемости, трактуемым с точки зрения «уразумения мировой гармонии», основанием которой Бекетов считал «Общефизические свойства, коими одарена материя силами божества» («Русский Вестник» 1860, № 11, 197—241 и № 12, 534—594).

[49] «Русский Вестник» в редакционной статье «Еще несколько слов о мировой Юстиции» (1860, № 12, 312—318) полемизировал со статьями Б. Утина по вопросу о характере английской юстиции («Современник» 1861, № 11).

[50] Слова «робко, мелким шрифтом» взяты из «Письма постороннего сатирика» ⟨А. Ф. Писемского⟩ в редакцию нашего журнала по поводу книг г. Панаева и «Нового поэта» («Время» 1861, № 1, Критическое обозрение, 60).

[51] Некрасов имеет в виду диспут Н. Перозио и Смирнова о деятельности «Общества русского пароходства и торговли», происходивший в зале Пассажа 13 декабря 1859 г. Этому диспуту («первому митингу в России», по выражению эмигранта Н. И. Сазонова) Добролюбов посвятил статью «Любопытный пассаж в истории русской словесности» («Современник», 1859, № 12, 402—403), где, между прочим, был высмеян и «юный литературный деятель» Н. А. Серно-Соловьевич (впоследствии организатор «Земли и Воли»), выступавший в качестве посредника со стороны Смирнова, защитника общества. По поводу его речи Добролюбов писал: «Г. Серно-Соловьевич в течение четверти часа занимал собрание весьма глубокими и красноречивыми рассуждениями о шрифте, каким напечатано замечание г. Перозио о милях. Весьма одушевленно и с чрезвычайною твердостью ораторствовал он о курсиве и пускался в весьма тонкие соображе-

ния о том, что хотел г. Перозио сказать курсивом. Но, к несчастью, г. Полетика не сумел оценить и этих благородных усилий на пользу ораторского и отчасти типографского искусства...»; и в начале статьи: «О, какое великое дело язык, слог и шрифт!» (Полн. собр. соч., М., 1937, IV, 164 и 158).

[52] В первом номере «Современной Летописи» «Русского Вестника» 1861 г. вместо передовой была помещена статья о принципах композиции нового шрифта, которым стала печататься «Летопись» (а затем и весь журнал). Создавая на основе элементов латинской графики новый шрифт, издатели стремились усилить его четкость и характерность начертаний путем введения кривых линий и увеличения числа букв, выступающих за линию строки. Попытка была не особенно удачной, так как составители шрифта не добились графической однородности: отдельные буквы выступали и рябили в глазах, затрудняя чтение. Аналогичная, но гораздо более радикальная реформа русского шрифта (и правописания) была ранее предложена Белинским в рецензии 1845 г. на книгу К. М. Кодинского «Упрощение русской грамматики» (Полн. собр. соч., СПб., 1914, X, 51—61).

[53] Лажечников, создавая историческое повествование на фольклорной основе, стремился приблизить письменный язык к языку произносимому путем употребления графем, более близких к реальному звучанию речи. Так, он писал (притом также в своей, авторской, речи): ево, этова, полезнейшева, прозваннова, нашол, дешовый, поражон, учоный — и соединял слова: какбудто, можетстаться, влицо и т. п. (см. «Басурман», М., 1838).

[54] Некрасов имеет в виду орфографические новшества Краевского: «Он пытался сделать некоторые грамматические перевороты,— пишет в своих воспоминаниях И. И. Панаев,— и между прочим дать большую самостоятельность букве *ж*. Все это, однако, не принялось и вскоре забыто было самим изобретателем. Соболевский звал в это время Краевского — Краежским, петербуржским журналистом» («Литературные воспоминания», изд. «Academia», Л., 1928, 115).

Ср. в первоначальной, журнальной редакции стихотворения Некрасова «Деловой разговор», где в лице журналиста высмеян Краевский:

Я даже был творцом таких нововведений,
Которые должны мой корректурный гений
Потомству передать,— хоть осмеяли их!
(«Современник» 1851, август).

[55] У Пушкина иначе:

На языке, тебе невнятном,
Стихи прощальные пишу;
Но в заблуждении приятном
Вниманья твоего прошу.

[56] У Карамзина: «Ах, Лиза, Лиза! где ангел хранитель твой? Где твоя невинность?» («Бедная Лиза»).

[57] Речь идет о полемике «Русского Вестника» с Б. Утиным (редакционная заметка по поводу статьи Утина «Очерк исторического образования суда присяжных в Англии») и Е. Тур (см. выше, прим. 7-е).

[58] Образец программы «одного большого журнала, богатого опытностью по части программы» почти буквально взят Некрасовым из объявления «Отечественных Записок» о подписке на 1861 г. (Ср., например, «Московские Ведомости», 13 октября 1860 г., № 221).

[59] Некрасов пародирует здесь бестактную фразу объявления «Библиотеки для Чтения»: «С конца прошлого года по настоящее время «Библиотека для Чтения»... успела счастливо соединить в этом отделе: ...драмы А. Н. Островского «Гроза» и самого редактора ⟨А. Ф. Писемского⟩ — «Горькая судьбина» («С.-Петербургские Ведомости» 1860, 13 ноября, № 248). Объявление было подписано самим же Писемским.

[60] «Яков Хам, Аполлон Капелькин, Конрад Лилиеншвагер» — псевдонимы Добролюбова в «Свистке», пародирующие имена: Хомякова (Хам-Яков. Ср. статью Б. Бухштаба, Добролюбов пародист.— ИОН, 1936, № 1—2, 260), А. Майкова и Розенгейма.

[61] Эпизод из поэмы «Литературная травля, или Раздраженный библиограф» Саввы Намордникова (псевдоним Некрасова), высмеивавшей библиографа Г. Геннади (см. о нем во вступительной статье к публикации), был помещен в том же номере «Свистка», стр. 41—44.

[62] «Исторические параллели» — пародическое использование «сравнительных жизнеописаний» Плутарха, в которых параллельно давались биографии какого-нибудь знаменитого грека и напоминающего его римлянина. Здесь же намечено сопоставление осмеиваемых русских общественных деятелей с известными историческими личностями Европы. Мысль о таких «Плутарховых парах» была подсказана Некрасову статьей Добролюбова «Два графа», появившейся в предыдущем номере «Свистка» («Современник» 1860, № 12, «Свисток» № 6; ср. Полн. собр. соч., V). Возможно,

что данный «проспект» является действительной программой неосуществившихся статей Добролюбова.

В. А. Кокорев (1817—1889) — миллионер-откупщик, вышедший из кулацкой семьи, делец большого размаха, прикрывавший хищнические операции демагогическими «либеральными» выступлениями; иронически сравнивается как «государственный ум» с известным политическим деятелем Жаком Лаффитом (1767—1844) — сыном плотника, банкиром, во время Реставрации — деятелем парламентской оппозиции, при Людовике-Филиппе — председателем совета министров и министром финансов.

Критики неоднократно называли Евгению Тур «русской Жорж Санд». В «Русском Вестнике» 1856 г. Е. Тур печатала свои извлечения из мемуаров Жорж Санд.

Битва Горациев с Куриациями — известный эпизод римской истории, описанный в первой книге Тита Ливия и послуживший темой трагедии Корнеля «Horace». Сопоставляемый с этим «бой» в пассаже — нашумевший диспут между Перозио и Смирновым о деятельности «Общества русского пароходства и торговли», окончившийся скандалом. См. выше, прим. 51-е.

Ламорисьер и Н. Ф. Павлов.— Это сравнение содержит намек на ренегатство Павлова. Николай Федорович Павлов (1805—1864) — писатель, критик и публицист. В 1835 г. издал «Три повести», либеральные антикрепостнические тенденции которых вызвали сочувствие читателей (за разрешение книги цензор получил строгий выговор, и было запрещено ее перепечатывать). В 1847 г. Н. Ф. Павлов напечатал нашумевшие «Письма к Гоголю», направленные против его реакционной публицистики (по желанию Белинского перепечатанные в «Современнике» 1847 г.). После ссылки в Пермь (в середине 50-х годов, по жалобе полуразоренной им жены его, поэтессы К. Павловой) — либеральный публицист и критик, сотрудник «Русского Вестника» (статьи о комедии Соллогуба «Чиновник» и «Биограф-ориенталист» — в защиту Грановского от клеветнических воспоминаний В. В. Григорьева). К началу 1860-х гг. резко правеет и оказывается в лагере реакции, с 1860 г. издавал на деньги Министерства внутренних дел газету «Наше Время», одной из специальных задач которой была травля деятелей революции, в частности Чернышевского.

Ламорисьер (1806—1865) — французский генерал, помогавший Кавеньяку в подавлении июньского восстания 1848 г.; военный министр Второй республики, высланный из Франции после переворота Наполеона III в декабре 1851 г., в 1859 г. амнистированный. В 1860 г. командовал армией папы Пия IX, воевавшей с революционными пьемонтцами. Прославляемый русской реакционной прессой (в том числе «Нашим Временем» Павлова), он был, как писал Герцен, «отступник всех знамен, легитимист, орлеанист, республиканец, палач июньских дней, тройной изменник» («Религиозное значение С.-Петербургских Ведомостей».—«Колокол» 1860, л. 73—74).

А. Капелькин — созданный Добролюбовым пародический персонаж поэта-эклектика, «юного дарования, обещающего поглотить всю современную поэзию». Его стихотворения (принадлежащие Добролюбову пародии) были напечатаны в предыдущем номере «Свистка» («Современник» 1860, декабрь; «Свисток» № 5). В дальнейшем этот псевдоним использован не был, и объявленная здесь «Легенда о чернокнижии, или шотландская ведьма» в печати не появилась (не имеет ли этот замысел отношения к А. В. Дружинину,— автору «Путешествия Чернокнижникова» и пропагандисту английской поэзии?). Об Аполлоне Капелькине см. в статье Б. Бухштаба, Добролюбов-поэт (Н. Добролюбов, Полн. собр. соч., М., 1939, VI, стр. XXII—XXIV).

[63] Дарья Куницына, урожденная княжна Бесхвостова — повидимому, Е. Тур (графиня Евдокия Салиас, урожденная Сухово-Кобылина), изображенная в лице Матрены Суханчиковой в «Дыме» Тургенева и в лице Хавроньи Прыщовой в его же «Нови» (ср. «Сочинения Тургенева», Л.—М., 1930, XII, 512—514). Статьи «О вреде людоедства» — намек на выступления Е. Тур, имевшие характер благонамеренно-либерального трюизма, и, в частности, возможно, на ее заметку о Чаннинге («Русский Вестник» 1858, № 8) и на ее перевод статьи Чаннинга (там же, 1859, № 4) — по словам Добролюбова, статьи «о том, что не должно пьянствовать и почему не должно». Именно Добролюбовым подсказана тема статей «О вреде людоедства». Ср. его рассуждения относительно «литературных протестов», порицавших антисемитизм: «...в каждом кружке людей есть такие общие понятия и интересы, которые предполагаются уже всем известными и о которых потому не говорят... Вам становится просто неловко и совестно в присутствии человека, с азартом рассуждающего о негуманности людоедства или о нечестности клеветы. Одно из двух: или сам рассуждающий находится еще на той степени нравственного развития, которая допускает возможность рассуждений и споров о подобных предметах, или он вас считает так мало развитым, что полагает внушить вам истинные понятия о людоедстве или клевете» («Письмо из провинции».—«Современник» 1859, январь; «Свисток», № 1, 201—202).

[64] Ряд статей о юморе у жителей Лапландии и у самоедов — повидимому, намек на статью того же Н. Ф. Павлова «Вотяки и г. Дюма» («Русский Вестник» 1858, № 16). Ср. в том же номере «Свистка», в заметке Н. Черны-

шевского «Знаменитый наш остроумец Н. Ф. Павлов». «Что вы, что вы, прилично ли упоминать на страницах «Свистка» о вотяцком остроумии!» («Ответ на вопрос, или освистанный вместе со всеми другими журналами «Современник». — Н. Чернышевский, Полн. собр. соч., СПб., 1906, VIII, 76). В статье Павлова с вотяками сопоставляются просвещенные россияне, заискивающие у путешествующего по России А. Дюма; в частности, осмеивается помещик, бестактно представивший свою жену знаменитому писателю, а не его ей, как даме.— Намеки Некрасова на «графскую фамилию, утратившую документы при пожаре Москвы в 1812 г.», находят соответствие в деталях биографии Павлова: вольноотпущенный крепостной, он был воспитанником Московского театрального училища, где во время пожара 1812 г. его документы, действительно, сгорели. В то же время общеизвестен его «аристократизм» («маркиз Павлов» — в «Искре»), особенно к концу литературной деятельности. (Ср. в том же комментируемом номере «Свистка», в фельетоне Нового Поэта «На рубеже старого и нового года»: «Один совершенно лысый и полный, с двойным лорнетом на носу, очень гордо посматривавший на всех, в тончайшем белье и с дырявыми сапогами... Мне сказали, что это один из героев «Нашего Времени», по имени Феопотала. Он всем объявлял, что он самого аристократического происхождения, а именно — сын чорта».)

[65] Хаджи Подхалимов — персонаж Дружининских «Новых заметок петербургского туриста» («Век» 1861, №№ 13 и 16), повидимому, имевший смысл памфлета на неизвестного нам афериста-выскочку.

[66] Титмарш — псевдоним Теккерея, под которым он выпустил свою известную «Paris Sketch Book».

[67] А. Украинский — А. А. Краевский, издатель «Отечественных Записок». В словах о «новозадуманном обществе для сдирания шкуры — с живых и мертвых» можно видеть намек на редактируемый им «Энциклопедический словарь», вызвавший в то время ряд нападок, как очередная афера литературного кулака. По поводу тем его лекций ср. насмешки Нового Поэта над неким ученым журналистом (несомненно, А. А. Краевским), «на глубокомысленном челе которого кажется начертано огненными буквами: «истина в науке, истина в искусстве, истина в жизни» («Современник» 1847, № 12, 189), и его же фельетон «На рубеже старого и нового года», появившийся в комментируемом номере «Свистка»: «Я,— продолжал ученый редактор злобно,— развиваю истину в науке, истину в искусстве и истину в жизни...» (выше там же прямо названо имя Краевского).

[68] «Редактор-дама «Русской Речи»...» — Евгения Тур (см. о ней прим. 63-е).

[69] «Дай камин и от Тура кушетку».— Всеобщее отсутствие кредита ощущалось особенно резко после недавнего финансового «процветания», которое развило привычку к роскоши и чрезвычайно повысило жизненные потребности привилегированного столичного общества. «Все жалуются на безденежье, толкуют о каких-то банкротствах, — вздор!— иронизировал Новый поэт (И. И. Панаев) в одном из своих фельетонов: — Приезжайте в Петербург, взгляните на его новые здания, войдите внутрь этих дворцов, и вы убедитесь, что вас обманывают, что Петербург не знает, куда девать денег, что здесь попираются капиталы на каждом шагу. Люди с весьма незначительными средствами живут теперь в Петербурге так, как «жили во время оно только очень богатые люди. У кого, например, теперь нет ковров, бархатов, тюлевых занавесок, туровской мебели!» («Петербургская жизнь. Заметки Нового поэта».—«Современник» 1860, № 12, Смесь, 384).

[70] Размен трехрублевой бумажки, с разорительной потерей на лаже — явления того же финансового кризиса. Правительство, выпустив почти не обеспеченные золотым запасом бумажные деньги, было вынуждено в 1856 г. прекратить их обмен на золото; ценность бумажных денег стала постепенно падать, звонкая монета почти исчезла из оборота и стала товаром — предметом спекуляции менял. Спекуляция эта была организована очень широко, сеть скупщиков золота и мелкой разменной монеты охватывала Россию и возглавлялась столичными менялами-тузами. При размене бумажек на звонкую монету меняла получал лаж — разницу в цене между золотом и кредитными билетами. Этот лаж в то время доходил до 15—20 процентов — 15—20 копеек на рубль. «Так как торговля монетой была бесконтрольной и негласной (законом был установлен прием бумажных денег по их нарицательной цене), то «люди недобросовестные и бесчестные, пользуясь легкомыслием и невежеством, часто получали и сбывали товар (монету) по самым несообразным ценам» (В. Безобразов, назв. соч., ч. I, 17). Жертвой такого положения и сделался мужик некрасовского стихотворения.

РАЗЫСКАНИЯ В ОБЛАСТИ БИОГРАФИИ И ТВОРЧЕСТВА

НЕКРАСОВ В ПЕТЕРБУРГСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Статья С. Рейсера

1

Начиная в 1878 г. статью о литературных дебютах Некрасова, один из первых его биографов — В. П. Горленко отмечал, что «в тех попытках биографий Н. А. Некрасова, которые появились до сих пор, период 1838 — 1845, т. е. первых годов пребывания поэта в столице, признается самым темным в биографическом отношении» [1].

Через 36 лет следующий исследователь и биограф Некрасова—В. Е. Евгеньев-Максимов констатировал: «Биографические потемки, если можно так выразиться, окутывают целые периоды жизни знаменитого поэта. В особенности темными в биографическом отношении представляются первые 8—9 лет пребывания Некрасова в Петербурге, а между тем они падают как раз на тот возраст, когда определяются взгляды и убеждения, устанавливаются привычки и вкусы, одним словом, формируется человек» [2].

Через 32 года после того, как были написаны эти строки, мы не можем отметить сколько-нибудь значительного прогресса в изучении биографии Некрасова. Мы представляем себе, да и то, с рядом белых пятен, жизнь Некрасова со средины 40-х годов, но Некрасов первых лет жизни в Петербурге предстоит нам в совершенном тумане.

Трудность изучения биографии раннего Некрасова усугубляется тем обстоятельством, что материал для изучения и выводов почти совершенно отсутствует. По крупицам надо собирать показания мемуаристов, большей частью сказанные не непосредственно о Некрасове, а, в той или иной связи, по поводу обстоятельств жизни тех лет, и сказанные притом много лет спустя. Неудивительно, что эти показания сплошь и рядом сбивчивы и противоречивы, а порою и вовсе недостоверны [3].

Свидетельства самого Некрасова немногочисленны и почти все относятся к периоду предсмертной болезни. Воспоминания поэта фиксируют бывшее за три с лишним десятка лет до того,— и немудрено, что память ему во многом изменила, а кое в чем действовал и хорошо известный в психологии процесс вытеснения тяжелых или неприятных воспоминаний.

2

Один из первых неясных вопросов, возникающих при изучении биографии молодого Некрасова,— вопрос о годе приезда поэта в Петербург. Впрочем, этот вопрос решается сравнительно просто, и если он запутан, то лишь благодаря домыслам невнимательных биографов.

Некрасов приехал в Петербург в 1838 г. Эта дата, в числе прочих, неоднократно указывалась им самим и подтверждается записями дневника Н. А. Полевого. Этот важный документ обычно не учитывается в литературе о Некрасове: мимо него прошел даже последний по времени биограф поэта — Н. С. Ашукин в своей «Летописи жизни и творчества Н. А. Некрасова» (1935).

Между тем, в опубликованном в «Историческом Вестнике» еще в 1888 г. (№ 3, 669—673) дневнике Н. А. Полевого зафиксирован ряд посещений Некрасова.

Первая запись 3 октября 1838 г. гласит: «Вечером был Фермор и юноша Некрасов»; 17 октября — «Вечером юноша Некрасов»; в записи от 30 октября Некрасов впервые именуется поэтом: «Вечером поэт Некрасов с Фермором». Далее Некрасов упоминается еще в записях 2 и 15 декабря.

В № 5 «Сына Отечества» за 1838 г. (ценз. разр. 25 сентября) впервые появилось в печати стихотворение Некрасова «Мысль» со следующим примечанием редактора: «Первый опыт 16-летнего юного поэта».

Во всяком случае, в начале октября 1838 г. Некрасов уже был в Петербурге; у нас нет оснований не доверять записи Некрасова, указывающей и месяц приезда — июль. Эту дату подтверждает и уточняет А. А. Буткевич, называя 20-е число.

Дневник Н. А. Полевого опубликован за 1838—1845 гг. Однако в 1837 г. Некрасов в Петербурге еще не мог быть: в этом году он значится живущим у отца.

18 июля 1838 г., т. е. за два дня до отъезда Некрасова в Петербург, А. С. Некрасов подал прошение о выдаче его сыну свидетельства об обучении в гимназии: он взят домой якобы по болезни, а по выздоровлении будет определен в Дворянский полк.

3

Некрасов фактически оставил гимназию, вероятно, еще осенью 1836 г., хотя продолжал числиться в ней до июля 1837 г. [4],— весною 1836 г. он был оставлен на второй год в пятом классе.

Уже по одному этому ясно, что успехи его в гимназии не были сколько-нибудь значительны: данные гимназического архива, опубликованные, в свое время, П. В. и В. Е. Евгеньевым-Максимовым, свидетельствуют, что Некрасов был далеко не в числе первых учеников [5].

Впрочем, самую яркую характеристику своих гимназических лет дал сам Некрасов в письме к филологу-классику Б. И. Ордынскому.

Ордынский, школьный однокашник Некрасова, напомнил однажды в письме к нему об их совместном пребывании в Ярославской гимназии, и Некрасов ответил ему на это: «Весьма вероятно, что обучались мы в Ярославской гимназии вместе. Впрочем, я собственно предпочитал проводить классное время в попутном цареградском трактире, в игре на биллиарде, поэтому и не помню моих товарищей тогдашних» [6].

Таков был образовательный ценз будущего поэта, когда в июле 1838 г.,— никому неведомый, без всяких связей и почти без денег,— он поехал в Петербург — город, где ему было суждено прожить последующие 40 лет жизни.

4

Существует два основных и не очень отличных друг от друга варианта рассказа самого Некрасова об истории его отъезда в столицу и попытке стать студентом С.-Петербургского университета.

Первый вариант находится в автобиографической записи Некрасова от 7 июня 1872 г. в тетради М. И. Семевского; второй, более распространенный,— в авторизованном биографическом рассказе, записанном М. М. Стасюлевичем в начале 1877 г. со слов Некрасова. Оба документа, как и все остальные свидетельства самого поэта или непосредственно идущие от него, напечатаны в этом же томе, что избавляет меня от необходимости повторять здесь соответствующие тексты (см. выше публикацию «Автобиографии Некрасова» и в ней: стр. 148—149, 162—164 и 188—189).

ВИД г. ЯРОСЛАВЛЯ
Акварель неизвестного художника, 1830-е гг.
Исторический музей, Москва

Первый биограф Некрасова — А. М. Скабичевский писал свою работу о Некрасове, пользуясь данными его архива и указаниями сестры поэта — А. А. Буткевич. В согласии с рассказом Некрасова Скабичевский указывал, что «в первые дни по прибытии в Петербург Некрасов не покидал еще намерения поступить в Дворянский полк... и дело было почти решено. Но случайная встреча с ярославским товарищем, студентом Андреем Глушицким, перерешила всю судьбу юноши. Глушицкий вместе с двумя другими студентами, Ильенковым и Коссовым... начали отговаривать Некрасова от поступления в корпус и развивать перед ним все преимущества университетского образования и так увлекли его, что Некрасов решился во что бы то ни стало итти в Университет» [7].

Это место статьи Скабичевского вызвало в свое время возражение Н. Г. Чернышевского, который сообщил, что поступление в университет отнюдь не было результатом случайной встречи, а было целью поездки Некрасова в Петербург: «Мать хотела, чтобы он был образованным человеком, и говорила ему, что он должен поступить в университет, потому что образованность приобретается в университете, а не в специальных школах» [8].

Все дошедшие до нас рассказы самого Некрасова о его университетских годах, а также свидетельства Скабичевского и Чернышевского можно резюмировать, несмотря на противоречивость отдельных деталей, следующим образом.

В июле 1838 г. Некрасов приезжает в Петербург, чтобы по желанию отца поступить в Дворянский полк. Поездка в Петербург вполне соответствовала желанию самого Некрасова, предполагавшего реализовать в Петербурге свои поэтические планы и желавшего продолжить свое образование (тут сыграло роль и влияние любимой матери).

Вскоре по приезде в Петербург Некрасов отбросил мысль о военной карьере; этому способствовали встречи с ярославскими товарищами А. Глушицким, Ильенковым и Коссовым. Случайное знакомство с Д. И. Успенским [9], поселившим у себя молодого поэта, способствовало решению стать студентом университета. Эта попытка, по рассказу Некрасова,

имела место лишь один раз (в том же 1838 г.); на экзамене из латинского языка Некрасов получил 5 (или 5 с плюсом) и из всеобщей истории (у Касторского) — 1. Кроме того, Некрасов успешно сдал экзамен из русской истории (у Устрялова) и неудачно сдал экзамен из закона божия (у Райковского).

После провала на экзаменах Некрасов, благодаря помощи Плетнева, был принят в число вольнослушателей.

В 1841 г., лишенный материальной поддержки отца, сильно нуждавшийся Некрасов оставил университет. По его воспоминаниям, известную роль в этом решении сыграл и насмешливый отзыв проф. Никитенко о сборнике «Мечты и Звуки» (см. ниже).

5

Работая в 1938 г. над биографией молодого Некрасова, я для проверки и уточнения изложенных выше сведений обратился к архиву С.-Петербургского университета (ныне фонд № 14 Лен. обл. ист. архива).

Эти поиски дали совершенно неожиданные по ценности материалы и позволили существенно уточнить все имевшиеся в литературе данные и установить ряд новых. Многие детали были прочно забыты поэтом за тридцать с лишним лет последующей жизни и оставались неизвестными биографам. При этих розысках мне посчастливилось найти три новых автографа Некрасова, едва ли не самые ранние из всех сохранившихся в наследии поэта. Соответствующая часть рассказов самого Некрасова и последующие неуверенные и противоречивые комментарии некрасоведов впредь уже не могут служить источником для биографии поэта. Возможность новых архивных находок, конечно, не исключается, но они могут дать только дополнительные подробности [10].

В результате просмотра нескольких десятков дел я натолкнулся на «Дело правления имп. С.-Петербургского Университета о выбывших студентах С.-Петербургского Университета до окончания курса наук» (1839 г., арх. № 6010).

На 50-м листе этого дела нашлось следующее заявление Некрасова:

Его Высокородию Господину Ректору
Императорского Санкт-Петербургского Университета,
Статскому Советнику Кавалеру Ивану Петровичу Шульгину

Дворянина Николая Алексеева сына Некрасова

Покорнейшее прошение

Желая вступить в число своекоштных студентов Императорского Санкт-Петербургского Университета по факультету Восточных языков, для продолжения своего образования, и представляя вследствие того при сем документы мои о Рождении и Крещении и о Дворянстве, покорнейше прошу Ваше Высокородие дозволить мне держать приемный в Санкт-Петербургский Университет экзамен и, по выдержании мною оного, допустить меня к слушанию Профессорских лекций.

К сему прошению дворянин Николай Алексеев сын Некрасов руку приложил.

Июля 14-го дня
1839 года. С. П. Б.

Жительство мое: Рождественской части 6-го квартала у Малоохтенского перевоза в доме купца Трофимова [11].

Итак, в 1839 г. Некрасов пытался поступить на факультет восточных языков.

К экзаменам Некрасов, как это видно из другого найденного мною дела, был допущен. В «Деле совета имп. С.-Петербургского Университета о приемном экзамене в студенты в 1839 году» (арх. № 4339, св. 44) сохранились данные о полученных Некрасовым отметках. Они были в 1920 г., видимо, по какому-то иному источнику, частично опубликованы В. Е. Евгеньевым-Максимовым [12]. Привожу их полностью по разысканному мною делу: 25 или 27 июля 1839 г. Некрасов экзаменовался в так называемой второй комиссии (по наукам историческим и словесным) и получил:

По закону божиему, церковной истории и катехизису	1	(у А. И. Райковского)[13]
» географии и статистике	1	(у В. С. Порошина)
» всемирной истории	1	(у М. М. Касторского)
» русской истории	1	(у Н. Г. Устрялова)
» русской словесности	3	(у П. А. Плетнева)

Первый же день экзаменов показал слабую подготовленность Некрасова и безнадежность дальнейших попыток. Предстояли еще испытания в первой комиссии (по древним и новейшим языкам) и в третьей (по наукам физическим и математическим), но четыре единицы заранее обрекали на неудачу попытки поступления в университет. Свидетельства об окончании гимназического курса Некрасов не представил, в первый же день экзаменов он получил больше двух разрешенных уставом единиц, притом одну из них — особенно неприятную — по закону божию: по этому предмету отметка не могла быть ниже тройки [14]. Поэтому на дальнейшие экзамены Некрасов вовсе не явился (в черновой ведомости карандашная пометка: «отказ⟨ался⟩»), и постановление приемной комиссии гласило: «не принимается».

Любопытны некоторые детали: в ведомости есть графа «возраст»; Некрасов указал «18 лет», т. е. датой своего рождения он считал 1821 год.

ЯРОСЛАВСКАЯ ГИМНАЗИЯ
С фотографии 1880-х гг.
Частное собрание, Москва

На вопрос «Где обучался?» Некрасов ответил: «Дома». Таким образом, он предпочел скрыть факт своего пребывания в Ярославской гимназии. Естественно предположить, что, имея какое-либо подходящее свидетельство об образовании, он не преминул бы приложить его для усиления своей позиции В заявлении ректору тоже упоминаются лишь документы о рождении и дворянстве [15].

Одновременно с Некрасовым экзаменовались и были приняты среди прочих 70 с лишним кандидатов следующие воспитанники Ярославской гимназии:

	Общая сумма баллов	Средний балл
Андрей Глушицкий	30.0	3.0
Юлий Пальмин	31.0	3.1
Аркадий Покровский	32.0	$2^{10}/_{11}$
Павел Ильенков	35.0	3.5
Идельфонс Коссов	Сведений нет	

П. А. Ильенков (1819—1877) и И. К. Коссов (1822—1890) — впоследствии видные профессора химии и технологии; первый из них в 1848—1850 гг. активно сотрудничал в «Современнике» Некрасова. Андрей Глушицкий окончил II (физ.-матем.) отделение философского факультета в 1842 г., но дальнейшая судьба его неизвестна [16].

О Покровском и Пальмине также никаких сведений нет.

Стоит еще отметить такие знакомые нам имена поступавших одновременно с Некрасовым: Владимир Апол. Солоницын (общая сумма баллов 25.0, средний балл 2.5), Валериан Майков — (34.0 и 3.4) и Михаил Лонгинов — (37.0 и 3.7).

6

Неудача не обескуражила Некрасова, и он решает поступить в университет вольнослушателем с тем, чтобы впоследствии снова держать вступительные экзамены [17]. На этот раз Некрасов предпринимает попытку попасть не на факультет восточных языков, а на философское отделение. Предшествовала ли этому решению беседа с Плетневым,— сказать трудно, но если и имела место, то отнюдь *не как с ректором* университета: Плетнев в это время ректором не был,— он стал им лишь с февраля 1840 г. [18].

Напомню, что университетский устав 1835 г. ставил вольнослушателей, в известной степени, в более благоприятное положение, чем студентов. Они могли держать не только переходные экзамены наравне со студентами, но и выпускные, и даже защищать диссертации на ученые степени, вовсе не имея среднего образования. С другой стороны, положение Некрасова, как «нищего дворянина», давало ему шансы — при удаче на приемных экзаменах — попасть в число 20-ти «казеннокоштных» студентов университета [19]. А. Глушицкому, державшему экзамены вместе с Некрасовым, как видно из архивных документов, это удалось в том же 1839 г. Следовательно, после провала на приемных экзаменах в 1839 г., Некрасову следовало поступить вольнослушателем, держать в 1840 г. переходные экзамены с I на II курс и осенью этого же года — вновь приемные. При удаче он сразу стал бы казеннокоштным студентом II курса. Но, и оставаясь вольнослушателем, он мог получить законченное высшее образование, не заботясь о приемном экзамене.

Так или иначе, 4 сентября 1839 г. Некрасов подал следующее заявление (арх. № 6010/1466):

Свидѣтельство

Дано сiе отъ Ярославскаго Губернскаго предводителя дворянства, отставному Майору Алексѣю Сергѣеву сыну Некрасову, въ слѣдствiе прошенiя Его въ томъ, что онъ Г. Некрасовъ, имѣетъ у себя пять человѣкъ дѣтей при недостаточномъ состоянiи своемъ, заключающемся въ 147-ми душахъ, обремененныхъ казенными и партикулярными долгами, и самъ находясь въ болѣзненномъ положенiи затрудняется въ доставленiи содержанiя сыну своему Николаю находящемуся нынѣ вольнымъ слушателемъ въ Санктпетербургскомъ Университетѣ, а равно и положенной за обученiе платы каждогодно по сту рублей вносить не имѣетъ возможности въ чемъ и удостовѣряю за подписанiемъ и съ приложенiемъ герба моего печати. Губернскiй Городъ Ярославль Сентября 27 дня 1839 года

Губернскiй Предв. [illegible]

№ 556

Что сiе Свидѣтельство Ярославскаго Губернскаго предводителя [illegible] печать

СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ

Документ представлялся Некрасовым при поступлении в университет в 1839 г.

Областной исторический архив, Ленинград

Его Высокородию Господину Ректору
Императорского Санкт-Петербургского Университета
Ординарному Профессору Статскому Советнику и Кавалеру
Ивану Петровичу Шульгину

Дворянина Николая Алексеева сына Некрасова

Прошение

Желая слушать лекции профессоров Императорского Санкт-Петербургского Университета по I-му отделению философского факультета [20], покорнейше прошу Ваше Высокородие принять меня в число вольных слушателей оного Университета по означенному факультету.

К сему прошению дворянин Николай Алексеев сын Некрасов руку приложил. Документы же мои представлены мною при прошении о допущении меня к приемному экзамену 14 июля сего года.

4 сентября 1839 г.

Жительство имею: Рождественской части 6-го квартала в доме Трофимова.

На заявлении положена резолюция: «Допустить», и в разысканном мною «Альбуме вольнослушающих университетские лекции с 1.IX. 1839 г. по 1842 г.» (арх. № 16235) находим в алфавите следующие сведения:

Некрасов Николай

Время вступления:	Июля ⟨?сентября⟩ 1839 г.
Звание родителей:	⟨Пропуск!⟩
Уволен:	24 июля 1841 г.

За право слушания университетских лекций вольнослушатели, как и студенты, должны были с 1839 г. платить немалую по тем временам сумму — 100 р. асс. в год.

Таких денег у остро нуждавшегося Некрасова, конечно, не было.

Обычная версия гласит, что рассерженный неисполнением родительской воли Алексей Сергеевич Некрасов прекратил всякую помощь сыну и вообще прервал с ним всякие отношения. Находка одного важного документа университетского архива позволяет внести существенный корректив в этот рассказ.

Вольнослушатели освобождались от установленной платы в том случае, если могли, в установленном порядке, обосновать свое тяжелое материальное положение [21].

Очевидно, вскоре же после подачи ректору заявления о приеме в число вольнослушателей Некрасов обратился к отцу за такого рода документом и получил его. В делах университета нашелся документ (арх. № 6009, св. 612), в котором ярославский губернский предводитель дворянства А. Н. Глебов 27 сентября 1839 г. свидетельствовал о том, что А. С. Некрасов «затрудняется в доставлении содержания сыну своему Николаю» [22].

Привожу этот документ полностью, любопытный, между прочим, и как пример свидетельства о бедности, выданного помещику и владельцу 147 душ крепостных крестьян:

№ 556 | Цена один рубль |

Свидетельство

Дано сие от Ярославского Губернского предводителя дворянства, отставному майору Алексею Сергееву сыну Некрасову, вследствие прошения его в том, что он, г. Некрасов, имеет у себя пять человек

детей при недостаточном состоянии своем, заключающемся в 147-ми душах, обремененных казенными и партикулярными долгами, и сам, находясь в болезненном положении, затрудняется в доставлении содержания сыну своему Николаю, находящемуся ныне вольным слушателем в Санкт-Петербургском Университете, а равно и положенной за обучение платы каждогодно по сту рублей взносить не имеет возможности, в чем и удостоверяем за подписанием и с приложением герба моего печати.

Губернский город Ярославль, Сентября 27 дня 1839 года.

Губернский предводитель ‹А. Н.› Глебов.

У сего свидетельства Ярославского губернского предводителя гербовая печать.

ВИД НА НЕВУ
Акварель И. Шарлеманя, 1855 г.
Музей истории и развития Ленинграда

Вероятно, свидетельство о бедности было университетом признано, и Некрасов был освобожден от платы за учение. Документальных доказательств этому, правда, не найдено, но не встречается таких доказательств и для других представлявшихся свидетельств о бедности. За академическую бездеятельность вольнослушателей не увольняли, лишь бы они аккуратно платили свои 100 р. в год. То, что Некрасов два года не сдавал переходных экзаменов, никого в университете не интересовало. Но если бы он не заплатил за право учения, он был бы уволен еще в 1839 г. Весьма сомнительно, чтобы Некрасов смог заплатить за себя, если бы его свидетельство о бедности не было признано заслуживающим внимания.

7

Год спустя, в 1840 г., Некрасов, в это время уже автор вышедшей, правда, анонимно, книжки стихов, решил еще раз держать вступительные экзамены, на этот раз по юридическому факультету, третьему по счету.

Вот текст найденного мною заявления Некрасова (№ 909):

Его Высокоблагородию
Господину Проректору С.-Петербургского Университета
Игнатию Иакинфовичу Ивановскому

Николая Некрасова

Прошение

Желая вступить в число студентов Императорского С.-Петербургского Университета по юридическому факультету, прошу всепокорнейше Ваше Высокоблагородие допустить меня к приемным экзаменам. Принадлежащие мне документы были представлены мною в Правление Университета прошедшего года.

Николай Некрасов.

24 июля 1840 года.

Жительство имею: В Свечном переулке в доме купца Щапкина, близ Лиговского канала.

Отметки, полученные Некрасовым на этот раз, известны: их опубликовал, по данным И. А. Шляпкина, В. Е. Евгеньев-Максимов в упомянутой выше статье 1920 г. Значит, соответствующие документы в архиве университета были; но ни аналогичного 1839 г. дела о приемных экзаменах, ни иных материалов мне разыскать не удалось: очевидно, они утрачены. Привожу данные В. Е. Евгеньева-Максимова (Шляпкина), пополняя их сведениями об экзаминаторах, извлекаемыми мною из «Дела о распоряжениях, сделанных по случаю приемного экзамена молодых людей в число студентов Университета» (1840 г., арх. № 4413, св. 47):

Закон божий	3	(у А. И. Райковского)
Росс. словесность	5	(у А. В. Никитенко)
Логика	2	(у Н. Ф. Рождественского)
Греч. яз.	$1^1/_2$	(у И. Я. Соколова)
Лат. яз.	3	(у Э. Е. Шлиттера)
Нем. яз.	2	(у Ф. К. Свенека)
Франц. яз.	2	(у К. А. Сен-Жюльена)
География и статистика	1	(у В. С. Порошина)
История	2	(у М. М. Касторского)
Математика	1	(у А. А. Воскресенского)
Арифметика	2	
Геометрия	1	
Алгебра	0	(у В. А. Анкудовича)
Аналитика	0	

Таким образом, доведенные на этот раз до конца экзамены дали Некрасову в общей сложности $25^1/_2$ баллов по 12 предметам, т. е. в среднем 2.1, что было недостаточно для поступления в число студентов.

Дальнейших попыток поступления в университет Некрасов не предпринимал и, повидимому, университет вскоре оставил. Едва ли соответствует действительности рассказ Николая Глушицкого о том, что причиной, из-за которой Некрасов оставил университет, был издевательский отзыв А. В. Никитенко на одной из его лекций о сборнике «Мечты и звуки» [23].

Вероятнее другое — чисто бытовое объяснение: для Некрасова, лишенного материальной поддержки отца, наступили тяжелые, полуголодные годы жизненной борьбы. «Учиться и зарабатывать хлеб трудно,— писал сам Некрасов,— и я бросил» [24].

Дальнейшее пребывание в числе вольнослушателей не сулило никаких перспектив молодому журналисту, увлеченному театральной и литера-

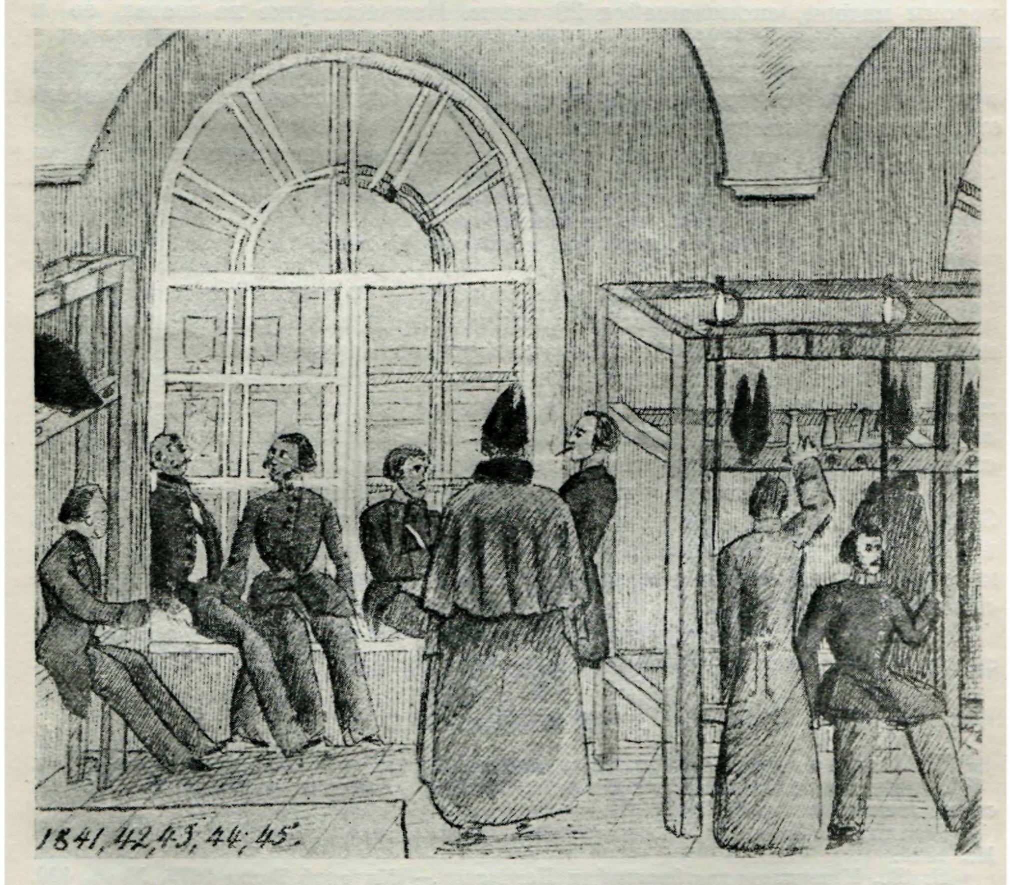
турной жизнью столицы,— к этому времени уже автору сборника стихов, ряда рассказов, очерков и шедших на сцене Александринского театра водевилей.

В упомянутом выше «Альбуме вольнослушающих...» против имени Некрасова есть пометка: «Уволен 24 июля 1841 г.», и внизу расписка: «Документы обратно получил. Некрасов». Но, вероятно, фактический уход намного предшествовал дате увольнения и получения документов: после неудачи экзаменов 1840 г. Некрасов вряд ли посещал университет.

8

Найденные документы позволяют уточнить некоторые важные моменты первых лет жизни Некрасова в Петербурге.

Первая попытка поступления в университет относится к июлю 1839 г.— через год по приезде в Петербург. Весьма вероятно, что первым делом Некрасова в Петербурге было устройство своего сборника стихов. Материальные затруднения несколько затянули это дело; цензурное разрешение цензора А. И. Фрейганга было дано 25 июля 1839 г., т. е. через год по приезде, как раз в те дни, когда Некрасов сдавал в первый раз вступительные экзамены [25].



СТУДЕНЧЕСКАЯ РАЗДЕВАЛЬНЯ В ПЕТЕРБУРГСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Зарисовка 1840 г. в «Альбоме А. Бобринского»
Институт литературы АН СССР, Ленинград

Некрасов трижды пытался поступить в университет и получить систематическое и законченное образование: в первый раз — в июле 1839 г. на факультет восточных языков, в сентябре того же года — вольнослушателем I отделения философского (историко-филологического) факультета и в июле 1840 г.— на юридический факультет. Первая и третья попытки окончились неудачей: с грехом пополам оконченные в 1836 г. пять классов Ярославской гимназии были далеко недостаточным образовательным фундаментом, чтобы в 1839 г. никому неизвестному, не имевшему никаких связей бедному провинциалу удалось стать студентом столичного университета, предъявлявшего в то время к поступающим довольно строгие требования. Надежд стать «казеннокоштным» студентом, после двухкратных неудач, не было никаких.

Лишенный материальной помощи, 19-летний юноша начал бедствовать.

Я отроком покинул отчий дом
(За славой я в столицу торопился).
В шестнадцать лет я жил своим трудом,
И, между тем, урывками учился...

— писал Некрасов, незадолго до смерти, в поэме «Мать».

24 июля 1841 г. Некрасов взял из канцелярии университета свои документы и в этот или на следующий день уехал в Грешнево на свадьбу своей сестры Елизаветы, но, вместо свадьбы, он попал на похороны матери, скончавшейся 29 июля. Некрасов уже не застал ее в живых: он приехал домой 1 августа.

По меткому выражению одного мемуариста, Некрасов вскоре перешел в другой университет — в «университет Виссариона Белинского», который ему удалось блестяще окончить.

Белинского Некрасов всю жизнь считал своим подлинным учителем:

Молясь твоей многострадальной тени,
Учитель! перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колени.

Связи с Петербургским университетом были на много лет прерваны [26]; лишь в 60-х годах Некрасову пришлось принимать участие в помощи исключенным из Петербургского университета студентам.

Может быть, под влиянием воспоминаний о собственном трудном и неудавшемся студенчестве, Некрасов через четверть века ходатайствовал перед ректором университета Плетневым о стипендии бедному студенту и начинающему литератору Николаю Успенскому.

А в самом конце жизни, уже на смертном одре, Некрасов выслушал адрес 395 студентов университета, пришедших выразить ему свою любовь и уважение; растроганный Некрасов подарил им автограф стихотворения, которое должно было открыть сборник «В черные дни» (впоследствии «Последние песни»).

И гроб с телом Некрасова к кладбищу Новодевичьего монастыря, среди прочих, несли студенты того же Петербургского университета.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Н. Некрасов, Стихотворения, Посмертное издание, СПб., 1879, IV, стр. CLI.

[2] В. Евгеньев ⟨Максимов⟩, Николай Алексеевич Некрасов. Сборник статей и материалов, М., 1914, 87.

[3] Таковы, в особенности, «Воспоминания» Ю. К. Арнольда, вып. II, М., 1892; вып. 3, М., 1893.

[4] П. В., Материалы для биографии Некрасова.—«Мирской Толк» 1879, № 46, 430. Дворянский полк — в 1807—1855 гг. военно-учебное заведение для детей дворян; впоследствии Константиновский кадетский корпус.

[5] В. Евгеньев ⟨Максимов⟩, цит. соч., 61 сл. и публикация «Мирского Толка».

[6] Эти неизвестные исследователям затерявшиеся строки из недошедшего до нас полностью письма Некрасова извлечены мною из статьи: Е. Бобров, Б. И. Ордынский.—«Варшавские Университетские Известия» 1903, № 8, 3.— О времяпрепровождении Некрасова в гимназические годы см. еще в воспоминаниях В. А. Панаева.—«Русская Старина» 1901, № 9, 492 и в известных воспоминаниях Авдотьи Панаевой (изд. 4, 1933, 554).

[7] Н. Некрасов, Стихотворения, посмертное издание, СПб., 1879, I, стр. XXVII. Ср. Н. Глушицкий, По поводу биографии Н. А. Некрасова, помещенной в «Отечественных Записках».—«Петербургский Листок» 1878, № 107.— Так же, как у Скабичевского, излагал этот эпизод Некрасов Суворину в беседе с ним незадолго до смерти. См. «Новое Время» 1878, 20 марта, № 380.

[8] А. Пыпин, Н. А. Некрасов, СПб., 1905, 245.— В рассказе Пыпина Чернышевский по цензурным причинам назван «одним современником, который близко знал Некрасова». Едва ли заслуживает доверия сообщение Валерьяна Панаева об отъезде Некрасова в Петербург для поступления в университет с согласия отца.—«Русская Старина» 1901, № 9, 492.

[9] Дмитрий Иванович Успенский поступил в С.-Петербургскую духовную академию из Петрозаводской духовной семинарии; в академии учился на XII курсе в 1833—1837 гг. и окончил ее со степенью кандидата. По окончании академии Успенский был определен в семинарию при Петербургской духовной академии учителем финского и греческого языков в низшем отделении; спустя четыре года, в 1841 г., он был переведен (повидимому там же, в низшем отделении) на преподавание других предметов, а именно: катехизического учения, латинского языка и учения о богословских книгах; в феврале 1842 г. он уволился в светское звание в невысоком чине титулярного советника; повидимому, некоторое время, уже не будучи духовным лицом, он продолжал еще преподавать в семинарии, но в 1844 г., как сообщает историк академии А. Родосский, он «совсем уволился от учительских должностей и поступил на службу чиновником в штаб корпуса путей сообщения». О дальнейшей его судьбе сведений нет.

Никаких ученых трудов у Успенского нет; есть лишь указание на то, что он занимался составлением финского словаря, но в печати эта работа неизвестна (А. Надеждин, История С.-Петербургской православной духовной семинарии, СПб., 1885, 40 и 320; А. Родосский, Биографический словарь студентов первых XXVIII курсов С.-Петербургской духовной академии. 1814—1869. СПб., 1907, 504).

Единственное, что дает хоть некоторое представление об Успенском,— упоминание о нем в воспоминаниях Д. И. Ростиславова, где он назван ловким и догадливым студентом («Вестник Европы» 1883, № 7, 143).

Несколько лет спустя Некрасов изобразил своего бывшего учителя в «Тросникове» под именем Григория Андреевича Огулова —«господина в темнозеленом фраке с белыми пуговицами, в шляпе без донышка и в грязных манжетах». Огулов двадцать пять лет прослужил учителем «в одном из петербургских духовных училищ — и, наконец, был отставлен за неумеренное пристрастие к вину». Некрасов дает и подробную характеристику литературных вкусов своего учителя, старовера, восхищавшегося Сумароковым, Петровым, Ломоносовым, Кантемиром и ругавшего «на чем свет стоит все новое» («Жизнь и похождения Тихона Тросникова», М.— Л., 1931, 117—118).

Некрасов прожил у Успенского (в темном чулане «подле столовой, за перегородкой») около полугода,— вероятнее всего, с конца 1838 г. 15 декабря этого года Некрасов и Успенский были у Полевого («Исторический Вестник» 1888, № 3, 672—673). Об обстоятельствах ухода от Успенского см. в воспоминаниях В. Панаева («Русская Старина» 1901, № 9, 494).

[10] Краткое сообщение о найденных материалах было мною сделано 16 апреля 1938 г. на заседании Некрасовской сессии филологического факультета Лен. Гос. Университета.

[11] Это заявление интересно еще в том отношении, что дает возможность подтвердить автобиографичность и даже документальную точность «Тросникова». Герой некрасовской повести накануне поступления в университет жил как раз «близ Малоохтенского перевоза» (назв. изд., 125).

[12] В. Евгеньев-Максимов, Биографический очерк.— В кн.: Н. А. Некрасов, Стихотворения, П., 1920, стр. XXII—XXIII.

[13] Ср. Ф. Глинка, К биографии Некрасова.—«Исторический Вестник» 1891, № 2, 586.

[14] Согласно правилам 1837 г., поступающий в университет должен был иметь знания в объеме гимназического курса, а средний экзаменационный балл не мог быть ниже 3 (по 5-балльной системе). При этом от поступающего на историко-филологический факультет требовалось иметь не ниже 3 по латинскому языку, закону божию и русской словесности. Вообще же можно было иметь не более двух единиц. См. В. Григорьев, Императорский С.-Петербургский Университет в течение первых пятидесяти лет его существования, СПб., 1870, 802.

[15] В университетском уставе 1835 г. в § 91 сказано: «Все желающие вступить в число студентов Университета должны выдержать предварительные испытания по правилам, изданным Министерством народного просвещения. При сем принимаются в уважение

одобрительные свидетельства об окончании полного гимназического курса и дают право предстать прежде прочих на испытание и быть и вовсе освобожденным от оного».— И. Соловьев, Русские университеты в их уставах и воспоминаниях современников, СПб., 1914, вып. I, 44.

[16] В письме Некрасова к В. П. Гаевскому от 28 января 1873 г. упоминается о писателе Николае Ивановиче Глушицком, брате «репетитора». В делах Лит. фонда 1871—1873 гг. имеется ряд заявлений его с просьбами о помощи (Архив Лит. фонда в Институте литературы Академии Наук СССР).

[17] Так же поступил и Тихон Тросников (назв. изд., 125).

[18] В 1836—1840 гг. ректором университета был И. П. Шульгин. Научным сотрудником Ленинградского областного исторического архива Б. Павловым (скончавшимся в Ленинграде в дни блокады) был найден журнал заседания совета университета, состоявшегося 21 августа 1839 г. и обсудившего результаты приемных экзаменов. Плетнев на этом заседании не присутствовал, о Некрасове никаких разговоров не было, и он без всяких комментариев был внесен в список непринятых «по неокончанию или по неявке к испытаниям».

[19] См. В. Григорьев, назв. соч., 298.

[20] I отделение философского факультета впоследствии было преобразовано в историко-филологический факультет.

[21] См. В. Григорьев, назв. соч., 304.

[22] Этот документ был найден в 1939 г. названным выше Б. Павловым и сообщен им редакции «Литературного Наследства».

[23] «Петербургский Листок» 1878, № 107. Ср. А. Скабичевский, назв. выше изд. Некрасова, I, стр. XXXVII—XXXVIII.

[24] В «Тихоне Тросникове» несколько иначе: герой выдержал экзамены и был «объявлен студентом», но не попал в число «казеннокоштных» (стр. 147, ср. стр. 145).

[25] Отсутствие средств на напечатание сильно задержало издание сборника. Разрешительная виза того же Фрейганга на выпуск книги в свет датирована 6 февраля 1840 г. (Экземпляр книги из библиотеки С.-Петербургского цензурного комитета; ныне в отделе редких книг библиотеки Лен. Гос. Университета).

[26] Рассказ о том, будто бы Некрасов присутствовал 10 мая 1855 г. на защите диссертации Чернышевского, не соответствует действительности, так как в это время Некрасова не было в Петербурге. (См. Н. Ашукин, «Летопись...», 138).

ГРИГОРИЙ ТОЛСТОЙ И НЕКРАСОВ

К ИСТОРИИ ЖУРНАЛА «СОВРЕМЕННИК»

Статья Корнея Чуковского

> Ты, в котором чуть не гения
> Долго видели друзья,
> Рыцарь доброго стремления
> И беспутного житья.
>
> Н. Некрасов

1

Существует рассказ о том, будто в 40-х годах минувшего столетия один русский степной помещик встретился в Париже с Карлом Марксом и так увлекся его революционною проповедью, что обещал ему тотчас же по приезде в Россию продать все свое имущество с тем, чтобы вырученные деньги пожертвовать на нужды европейской революции.

Об этом повествует в своих «Литературных воспоминаниях» критик и мемуарист Павел Васильевич Анненков [1]. Из тех же «Литературных воспоминаний» мы знаем, что, вернувшись на родину, помещик и думать забыл о своих «горячих словах» и никаких денег на революцию не дал. Впрочем, Анненков не сомневается в том, что, заявляя о готовности «бросить себя и весь свой капитал в жерло предстоящей революции», этот человек в ту минуту был искренен.

Установить фамилию этого человека было довольно легко, потому что она, как мы увидим ниже, неоднократно встречается в тогдашней переписке Маркса и Энгельса, равно как и некоторых других эмигрантов, проживавших в то время в Париже. Фамилия этого человека — Толстой.

Но чтó это был за Толстой, долго оставалось невыясненным, причем разнообразные догадки, высказывавшиеся по этому поводу, слишком уж далеко отклонялись от подлинных фактов.

Так, Марсель Гервег, редактор переписки своего отца, немецкого поэта Георга Гервега, печатая письмо Карла Маркса, где упоминается этот Толстой, объявил его Львом Николаевичем [2], хотя Льву Николаевичу было в ту пору не больше семнадцати лет и он ни разу еще не выезжал за границу.

Другой исследователь, немецкий биограф Бакунина, «специалист по анархизму», доктор Макс Неттлау, высказал предположение — столь же беспочвенное,— будто речь идет о Дмитрии Толстом, впоследствии пресловутом министре народного просвещения и внутренних дел, хотя Дмитрий Толстой был в ту пору зеленым юнцом, только что сошедшим со школьной скамьи и чрезвычайно далеким от всякой политики.

Неизвестный редактор архивного наследия Анненкова, опубликованного лет через пять после смерти писателя, найдя в одном из документов упоминание о том же Толстом, окрестил его Феофилом Толстым, и этот

домысел был столь же неудачен [3]. Феофил Толстой, музыкант и писатель, близкий к придворным кругам, в качестве многолетнего соратника Фаддея Булгарина имел в ту пору слишком определенную репутацию воинствующего реакционера, и, конечно, никакие связи с революционными деятелями не были доступны ему.

Подлинного имени Толстого не установил и Евгений Ляцкий, редактор полного собрания писем Белинского. Белинский в одном из писем упоминает об этом самом Толстом, но Ляцкий, не узнав, чтó это был за Толстой, зарегистрировал его фамилию без имени-отчества [4].

Впрочем, нашелся исследователь, занявшийся этим вопросом вплотную. После тщательных раскопок в зарубежных и русских архивах он пришел к убеждению, что это был Яков Николаевич Толстой, небезызвестный парижский агент русской политической полиции.

Проявив большую эрудицию, исследователь сочинил нечто вроде трактата о Якове Толстом, о его доносах и предательствах, а также о его провокаторских отношениях к Марксу. Но так как Яков Толстой здесь не при чем, то весь этот кропотливый труд являет собою сплошную фантастику.

В литературе о Марксе и Энгельсе эта ошибка держалась не меньше пятнадцати лет. Еще в 1926 г. вышла в Центрархиве интересная книга «Революция 1848 г. во Франции» [5], и в предисловии к ней повторяется та же легенда о личных сношениях этого чиновника тайной полиции с Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом [6].

Между тем, с первого же взгляда нетрудно заметить, что ни одной чертой своей личности Яков Толстой не похож на того «степного помещика», который фигурирует в воспоминаниях Анненкова. Яков Толстой был осторожный, замкнутый, уклончиво-корректный чиновник дубельто-бенкендорфской школы; тот же Толстой, о котором мы сейчас говорим, был, судя по воспоминаниям Анненкова, человеком другой, прямо противоположной психологической складки.

И все же, когда я в 1928 г. в своем предисловии к «Воспоминаниям» Авдотьи Панаевой указал, что «степной помещик», встречавшийся с Марксом в Париже, был не Яков, а Григорий Толстой, человек в своем роде весьма примечательный, и что именно об этом Григории Толстом говорится в воспоминаниях Анненкова, мое утверждение было встречено с большим недоверием.

В «Летописях марксизма» появилась статья, где опровергали мое указание на Григория Толстого как пустую гипотезу, не подкрепленную фактами, и при этом выражали сожаление, что я не представил читателю никаких писем Григория Толстого, дабы «произвести экспертизу и путем их сравнения с имеющимся в оригинале письмом Толстого к Марксу доказать тождественность их почерков» [7].

Писем я, действительно, никаких не представил, но, как мы ниже увидим, у меня имелось много других оснований, чтобы утверждать с абсолютной уверенностью, что парижским знакомым и собеседником Маркса и Энгельса был отнюдь не пресловутый полицейский агент Яков Николаевич Толстой, а владелец села Ново-Спасского, Лаишевского уезда, Казанской губернии, Григорий Михайлович Толстой, человек довольно популярный в тогдашних политических, писательских и светских кругах.

Ведь в литературе издавна известен один поступок Григория Михайловича, который во многих подробностях и во всей внутренней сущности так изумительно похож на описанный Анненковым поступок неведомого «степного помещика», что прямо-таки невозможно отказаться от мысли, что оба поступка совершены одним и тем же человеком.

2

Эпизод, о котором я сейчас говорю, входит в биографию Некрасова и до того характерен, что давно уже следовало бы возможно пристальнее всмотреться в него, тем более, что эпизод этот связан с одним из важнейших событий в истории нашей общественности — с основанием журнала «Современник».

КАРЛ МАРКС
Фотография 1860-х гг.
Институт Маркса—Энгельса—Ленина при ЦК ВКП(б), Москва

Дело происходило в 1846 г. То был поворотный год в жизни молодого Некрасова, год его необыкновенных литературных и житейских удач. Именно в этом году Некрасов после долгих поисков, затянувшихся на многие годы, нашел, наконец, впервые свой собственный, некрасовский стиль,— глубоко народный, самобытный, вполне отвечавший демократическим требованиям нарождавшихся в ту пору в России широких читательских масс. Ему было 25 лет. Он только что написал «В дороге», «Огородника», «Псовую охоту», «Родину», «Тройку» — то-есть первые стихотворения, в которых послышался его подлинный голос, и сразу, в ка-

кие-нибудь несколько месяцев, он встал перед молодежью, перед Белинским и Герценом, как одна из центральных литературных фигур, призванных сказать в современной поэзии новое, еще неслыханное слово.

Еще в 1843—1844 гг. Белинский считал Некрасова «не более как полезным журнальным сотрудником», а в 1845 г., прочитав стихотворение «В дороге», он с восторженным удивлением говорит молодому писателю: «Да знаете ли вы, что вы — поэт, и поэт истинный» [8].

В 1846 г. это удивление сменилось уверенностью; и можно смело сказать, что тот Некрасов, которого мы знаем теперь, Некрасов «Коробейников», «Мороза, Красного носа», «Кому на Руси жить хорошо», впервые сформировался именно тогда, в 1845—1846 гг.

Именно с этого времени Некрасов под могучим влиянием Белинского перестал сочинять водевили для «александрынских» подмостков, стряхнул с себя личины «Перепельского», «Пружинина», «Ивана Грибовникова» и осознал до конца свой будущий творческий путь. В биографии Некрасова 1845—1846 годы — это годы перелома и необычайного духовного роста. Характерно, что, издавая впоследствии собрания своих стихотворений, он выбрасывал оттуда решительно все, что было написано им до этой знаменательной даты.

Другая удача Некрасова, относящаяся к тем же переломным годам, заключалась в небывалом успехе его «Петербургского сборника». Он и раньше издавал не без успеха ходкие альманахи, брошюры и книги, но именно «Петербургский сборник», вышедший в свет 12 января 1846 г. с «Бедными людьми» Достоевского, стал выдающимся литературным событием. Успех его был, по выражению Белинского, «страшный»: «Только три книги на Руси шли так страшно,— сообщал он из Петербурга приятелю,— «Мертвые души», «Тарантас» и «Петербургский сборник» [9].

Именно с этого времени вчерашний, как он сам говорил о себе, «литературный бродяга», сделавшись в несколько месяцев полноправным членом кружка Белинского, получил счастливую возможность объединить все, что было молодого и творческого в передовой литературе эпохи. Недаром Гоголь в том же 1846 г. назвал всю эту группу «некрасовцами»: и Панаева, и Достоевского, и Герцена, и Тургенева. И теперь, когда все впервые уверовали в редакторский гений Некрасова, когда впервые окончательно выяснились его огромные возможности и как поэта, и как собирателя лучших сил передовой литературы, он не мог не подумать об осуществлении великого замысла — о создании боевого журнала, который под руководством Белинского, при участии Герцена, Тургенева, Гончарова, Григоровича, Боткина, Панаева, Дружинина, Анненкова, явился бы средоточием всего прогрессивного, что существовало в тогдашней России.

Он, действительно, был гениальным редактором. В нем чудесно совместились все качества, необходимые для того, чтобы в условиях царской цензуры создать столь могучие аккумуляторы передовой русской мысли, какими явились его «Современник» и «Отечественные Записки».

Оттого-то так легкомысленны те мемуары, где сообщается, будто мечта о журнале пришла к нему неожиданно, чуть ли не за чайным столом, или будто ему посоветовал какой-то добродушный помещик: «а почему бы вам не приняться за издание журнала?» Мысль о журнале — упорная, страстная — не могла не зародиться у Некрасова еще в 1845 г., когда он работал над созданием «Петербургского сборника». Не забудем, что именно к этому времени — к 1846 г., у него сформировались убеждения, которые сделали его единственным в тогдашней России великим революционным поэтом. У Булгарина были все основания в том же 1846 г. доносить о нем тайной полиции: «Некрасов — самый отчаянный коммунист:

стоит прочесть стихи его и прозу в С.-Петербургском Альманахе, чтоб удостовериться в этом. Он страшно вопиет в пользу революции».

Революционная настроенность Некрасова, его демократизм, ненависть к николаевской рабовладельческой монархии должны были определить и действительно определили программу журнала.

У Некрасова было все для осуществления его давнишнего замысла: им был заранее намечен великий идейный руководитель журнала — Белинский; у него была сплоченная группа высокодаровитых сотрудников, которые воплощали в себе все будущее русской литературы; у него была боевая программа — борьба с самодержавием, с крепостничеством; у него был обширный издательский опыт, какого не было ни у кого из писателей, окружавших Белинского; у него были налаженные связи с фабрикантами бумаги и с типографами, и было бы противоестественно, если бы он не попытался использовать все эти богатые возможности.

Одного у него не было: денег. Конечно, и «Петербургский сборник» и две другие книги, которые он — тоже чрезвычайно удачливо — издал и распродал вскоре после выхода «Петербургского сборника», принесли ему кое-какие доходы, но для издания журнала был нужен большой капитал.

И наиболее вероятным кажется мне предположение о том, что именно за денежными средствами для задуманного им общественно-литературного дела и отправился он в мае 1846 г. в казанскую глушь к тому самому Григорию Толстому, которого исследователи именовали то Дмитрием, то Львом, то Феофилом, то Яковом.

Из воспоминаний Валериана Панаева мы знаем, что еще осенью 1845 г. этот Григорий Толстой прямо из-за границы приехал на несколько недель в Петербург, где познакомился с юным Некрасовым, а также с Достоевским, Григоровичем и другими писателями, входившими тогда в кружок Белинского.

Знакомил его со всеми, конечно, Иван Панаев, с которым он незадолго до этого довольно близко сошелся в Париже.

Валериан Панаев вспоминает: «Среди знакомых появилось новое для литературного кружка лицо: Григорий Михайлович Толстой, которого я знал с детства. Это был ⟨...⟩ образованнейший человек и в полном смысле джентльмен как в жизни, так и по характеру и по манерам. Толстой проводил постоянно время за границей. Он только что приехал и жил некоторое время в Петербурге до отъезда своего в деревню Ново-Спасское, Казанской губернии, Лаишевского уезда, куда и пригласил на лето Ивана Ивановича с женой, а также Некрасова, для дивной охоты на дупелей, которые водились там в несметном количестве» [10].

Некрасов и супруги Панаевы приняли его приглашение. Ехать им пришлось в экипажах — через всю Россию — из Петербурга в Казань. Вслед за воспоминаниями Валериана Панаева, исследователи не раз утверждали, будто Некрасов и в самом деле проехал все эти тысячи верст только для того, чтобы пострелять дупелей. Дело изображалось так, будто мысль о журнале и в голову не приходила ни ему, ни Панаеву, покуда они не приехали в гости к Толстому. Просто группа петербургских писателей совершила увеселительную прогулку в живописное имение богатого барина, и если бы хозяин по случайному поводу не заговорил с ними об издании журнала, у русской молодой демократии, пожалуй, и не было бы никогда «Современника».

Между тем, в мемуарной литературе есть указания на то, что еще до поездки к Толстому мысль об основании журнала была «заветной мечтой» Некрасова. По словам Авдотьи Панаевой, он так и заявил Григорию и Владимиру Толстым: «Я ⟨в Петербурге⟩ много рассуждал с Белинским об основании нового журнала, но осуществить нашу заветную мечту невозможно без денег» [11].

В одной из своих предсмертных автобиографических записей Некрасов, упомянув о своей поездке к Толстому, без всяких обиняков указал ее цель: «Я возбуждал вопрос об издании журнала. Дело остановилось за деньгами» [12].

Самое слово «возбуждал» не оставляет сомнений, что инициатива в этом деле принадлежала Некрасову и что ему вовсе не требовалось ездить такую даль, чтобы ему подсказывали его же идею.

3

Поездка, играющая столь заметную роль в биографии Некрасова, останется для нас непонятной, покуда мы не дознаемся, что́ за человек был Григорий Толстой и каким он должен был показаться Некрасову, появившись в кружке Белинского осенью 1845 г.

До сих пор сведения о том периоде жизни Григория Толстого заимствовались почти исключительно из мемуаров Авдотьи Панаевой, где очень бегло и скупо рассказывается, что Григорий Толстой, проживая в Париже в 1845 г., часто встречался с Михаилом Бакуниным и проводил с ним почти все вечера в каких-то горячих беседах.

Между тем, существуют более подробные материалы о Григории Толстом — главным образом, об интересующем нас периоде его биографии.

Материалы эти, остающиеся до сих пор незамеченными, имеют, как мне кажется, немалую ценность: они объясняют нам, какие мотивы руководили Некрасовым, когда, затевая журнал «Современник», он счел необходимым привлечь, в качестве одного из основателей этого радикального органа, именно Григория Толстого.

Укажу раньше всего на воспоминания немецкого историка и публициста Карла Теодора Фердинанда Грюна (1817—1887), того самого, с которым русский читатель знаком по ранней переписке Маркса и Энгельса и по их «Немецкой идеологии», где целая глава посвящена Карлу Грюну как представителю так называемого «истинного социализма» [13].

Вспоминая о своем пребывании во Франции в 1845 г. (то-есть за полгода до встречи Некрасова с Григорием Толстым), Карл Грюн сообщает, что среди революционеров, с которыми он встречался в то время в Париже, русские казались ему революционнее всех, и при этом он называет Бакунина, а также «некоего графа Толстого», который был, очевидно, неразлучен с Бакуниным.

«Тогда все стремления были однородны,— пишет он.— Задача состояла в том, чтобы разрушить старое и на его место водворить нечто новое, великое — точно не знали, что́ именно. Русские радикалы, смелостью превосходившие всех других, импонировали особенно сынам великого царства середины ⟨т. е. немцам⟩. Если эти русские шли так далеко, чего же не могли ждать мы, остальные? Однако наши личные отношения были весьма ограничены, прежде всего — вследствие полной противоположности нашего образа жизни. Бакунин и прочие русские — из них я припоминаю еще одного графа Толстого (Герцена же я никогда не видал, он жил тогда, кажется, в Женеве) [14]— все не занимались в сущности ничем, кроме чтения газет; они превращали ночь в день и день в ночь» [15].

Этот отрывок из воспоминаний К. Грюна, написанных в 1876 г., давно уже напечатан в русском историческом журнале, но редакция журнала не заметила того обстоятельства, что «граф Толстой», которого Карл Грюн ставит рядом с Бакуниным и Герценом, и есть все тот же Григорий Толстой. Правда, Грюн ошибочно зовет его графом, но это обычная ошибка иностранца, пишущего о богатом русском барине. К тому же, он мог полагать, что у нас все Толстые — графы. Как бы то ни было, он запомнил

на всю свою жизнь, что в предреволюционном Париже, среди тех, кто стремился «разрушить старое и на его место водворить нечто новое великое», был какой-то Толстой, друг Бакунина, и что наряду с Бакуниным, наряду с другими русскими радикалами, жившими в то время в Париже, он смелостью своих революционных речей превосходил всех других «разрушителей старого». Что этот смелый радикал был именно

АВТОГРАФ ПИСЬМА МАРКСА К ГЕОРГУ ГЕРВЕГУ ОТ 26 ОКТЯБРЯ 1847 г.

Маркс просит узнать через Бакунина, «каким путем по какому адресу и каким образом» он может отправить письмо Г. М. Толстому

Институт Маркса—Энгельса—Ленина при ЦК ВКП(б), Москва

Григорий Толстой, косвенно подтверждается «Воспоминаниями» Авдотьи Панаевой, которая, рассказывая о своей заграничной поездке (в 1844 г.), сообщает, что Бакунин познакомил ее в Париже с казанскими помещиками братьями Толстыми и что она часто проводила вечера вместе с ними, слушая их горячие речи, то-есть речи Бакунина и братьев Толстых. Почему Панаева говорит о братьях Толстых, я не знаю; думаю, что Григорий находился там со своим двоюродным братом Владимиром, но Владимир Толстой был, должно быть, довольно бесцветной личностью потому, что другие источники даже не упоминают о нем [16].

Могут возразить, что ни Карл Грюн, ни Авдотья Панаева не являются свидетелями вполне достоверными. Но, во-первых, оба они, не зная друг друга, утверждают одно и то же, а во-вторых, у нас есть еще одно показание, на этот раз незыблемо точное, не подлежащее ни малейшим сомнениям: подлинное письмо самого Михаила Бакунина, тоже до настоящего времени никем не замеченное. Это письмо не только подтверждает правильность мемуарной записи Грюна, но, к нашему удивлению, свидетельствует, что Григорий Толстой в то время был в глазах Бакунина самым пламенным из всех деятелей европейской демократии, каких Бакунин когда-либо встречал, а встречал он к тому времени и Георга Гервега, и Луи Блана, и Прудона, и Герцена, и Арнольда Руге, и Фохта, и Вейтлинга, не говоря уже о Марксе и Энгельсе. Это звучит неправдоподобно, но это документально доказанный факт: в зиму 1845—1846 гг. Бакунин был так очарован революционным максимализмом Григория Толстого, что ставил его выше двух величайших борцов за свободу, считая, вопреки очевидности, что Григорий Толстой — человек революционного действия, а они — лишь теоретики, приверженцы кабинетных доктрин.

Вот это письмо, где Бакунин с такой страстной восторженностью прославляет революционный энтузиазм Григория Толстого:

«Целую зиму ⟨1844—1845⟩ мы были здесь в Париже неразлучны,— сообщает он своему брату Павлу 29 марта 1845 г.,— проводили целые дни вместе, и не прошло почти ни одного вечера, в котором бы мы, читая и разговаривая, куря цигаретки и запивая их чаем, не засиживались бы до трех часов ночи...

Мы слились духом и сердцем: у нас общая цель и общий путь, хотя и в разных краях и обстоятельствах. Я узнал после твоего отъезда множество людей в Германии, Швейцарии, Бельгии, Франции, познакомился со многими и самыми замечательными демократическими знаменитостями, *и могу тебя уверить, не знаю ни одного человека, который не был бы ниже его в демократическом отношении; я не знаю демократа, которого мог бы сравнить с ним, потому что то, что в других — слова, теории, системы, слабые предчувствия, то стало в нем жизнью, страстью, религией, делом!..* Милый Павел, встреча моя с ним в Париже для меня была великое счастье; я отогрел несколько очерствелую душу и окреп и возмужал и снова помолодел в любовных отношениях с ним...».

Таково было мнение Бакунина о Григории Толстом. Правда, Бакунин был человек увлекающийся, но если он провел с Григорием Толстым в «любовных отношениях» столько месяцев, если, наблюдая его изо дня в день, проводя в беседах с ним целые ночи, он пришел к убеждению, что Григорий Толстой — его ближайший собрат по революционной борьбе, значит, были в этом казанском помещике какие-то душевные качества, которые способствовали подобным иллюзиям.

Даже учитывая всегдашнюю наклонность Бакунина к гиперболической фразе, мы не можем пренебречь сделанной им характеристикой Григория Толстого.

Ведь писал эти строки Бакунин первого периода революционной работы, полный еще неистраченных сил и воплотивший — как казалось тогда — в своей огромной фигуре «протестацию» многомиллионных народов против угнетавшего их деспотизма. Это был молодой Бакунин, веривший, что революция — завтра, и замечательно, что он считал Григория Толстого не только своим единомышленником, но и своим двойником,— искренно видел в нем второго Бакунина.

«Он ⟨Григорий Толстой⟩ через полгода или через год возвращается на святую Русь,— писал в том же письме Бакунин брату,— он отыщет

тебя, где бы ты ни был, и вполне заменит тебе меня, тем более, что можешь быть наперед уверен, что его слова, его чувства и его мысли будут вполне и без всякого ограничения также и мои слова, мои чувства и мои мысли. Вверься ему вполне, милый друг, я посылаю тебе в нем спасителя, который поможет тебе и словом и делом».

Это письмо внушено не мимолетным увлечением. Оно написано после долгого знакомства с Григорием Толстым. Печатая это письмо в своей книге «Годы странствий Михаила Бакунина» [17], проф. А. А. Корнилов даже не сделал попытки узнать, кого изображает здесь знаменитый бунтарь как своего лучшего друга. Та глава, где приводится это письмо, названа Корниловым так: «Встреча с русским демократом в Париже осенью 1844 г.», и, насколько я знаю, до сих пор для исследователей остается неведомым, что этот «русский демократ» и есть опять-таки Григорий Толстой.

Правда, в целях конспирации Бакунин нигде не называет его по фамилии, но, если бы даже не существовало воспоминаний Карла Грюна и Авдотьи Панаевой, можно без большого труда доказать, что все вышеприведенные дифирамбы Бакунина посвящены именно Григорию Толстому. Дело в том, что Бакунин называет «русского демократа» в одном месте своего письма «родственником Елизаветы Петровны», а единственной Елизаветой Петровной, которая в ту пору находилась в близких отношениях с Бакуниным, была Елизавета Петровна Языкова, замечательная русская женщина, старшая сестра декабриста Ивашева. В литературе о декабристах ее самоотверженная преданность пострадавшему брату пользуется почетной известностью [18].

Елизавета Петровна жила в Дрездене с 1838 г. вместе с больным мужем, Петром Михайловичем Языковым, и младшей сестрой. У Елизаветы Петровны и поселился Бакунин по приезде в Дрезден осенью 1841 г. и здесь познакомился с Григорием Толстым, именно как с ее другом и родственником. Проф. А. А. Корнилов, должно быть, не знал, что деды Григория Михайловича Толстого и Елизаветы Петровны Языковой были родные братья и что девичья фамилия ее матери, генеральши Веры Ивашевой, была Толстая. «Грегуар Толстой», как его называли в семействе Ивашевых, был в доме у Елизаветы Петровны Ивашевой на правах своего человека. Характерно, что в одном из писем Бакунин, вспомнив о семье Елизаветы Петровны, в тех же самых строках вспоминает и Григория Толстого:

«Поклонитесь от меня хорошенько Елизавете Петровне и всем барышням и Григорию Михайловичу» [19].

С Елизаветой Языковой, как мы увидим ниже, Григория Толстого связывала давняя дружба. Так как из воспоминаний Карла Грюна и Авдотьи Панаевой мы знаем, что Бакунин в те годы был в близком общении с каким-то Толстым, и так как из всех Толстых, которые могли бы встречаться с Бакуниным в Дрездене в 1841 г. и в Париже в 1844—1845 гг., только Григорий Михайлович был «родственником Елизаветы Петровны» 〈Языковой〉, мы имеем основания утверждать, что восторженные строки Бакунина в письме к брату относятся именно к Григорию Толстому.

Из этого же письма мы видим, что Бакунин не сразу сошелся с Толстым. В Дрездене в 1841 г., когда они встречались у Елизаветы Языковой, их знакомство не стало дружбой. «Ты помнишь,— пишет своему брату Бакунин,— мы всегда уважали его 〈т. е. Григория Толстого〉 и признавали в нем благородную и богатую природу; но нам казалось тогда, что в нем есть недостаток энергии, мы упрекали его в отсутствии практического идеализма. Мы были чужды ему, несмотря на все уважение,

которое питали к нему. Он также смотрел на нас, и особливо на меня, несколько искоса. Теперь же наши отношения совершенно переменились. Мы слились духом и сердцем» [20].

Значит, любовь к этому человеку зародилась издавна и не была внезапным увлечением Бакунина, подобно многим его дружбам и привязанностям.

К тому времени политическая экзальтация Бакунина уже дошла до крайнего предела, и, так как разрушение старого мира стало, в сущности, единственной темой всех его тогдашних писаний, разговоров, речей, нет никакого сомнения, что любимейшим его собеседником мог быть в ту пору лишь тот, кто вполне разделял его бунтарские мысли. Ведь не стал бы он излагать эти мысли в течение десятков ночей перед каким-нибудь безучастным филистером.

И если бы во время этих еженощных бесед Толстой ограничился ролью пассивного слушателя, Бакунин не называл бы Толстого обновителем его зачерствелой души, не подчеркивал бы, что это — человек революционного д е й с т в и я.

И разве стал бы Бакунин так уверенно называть Григория Толстого ближайшим своим другом и союзником, лучшим своим представителем на русской земле, если бы Григорий Толстой не высказывал изо дня в день те же максималистские взгляды, какие высказывал в ту пору Бакунин.

Не забудем, что дело происходило в Париже, в предгрозовую эпоху, за три года до февральских событий, в раскаленной добела эмигрантской среде, для которой революция была единственным содержанием жизни.

4

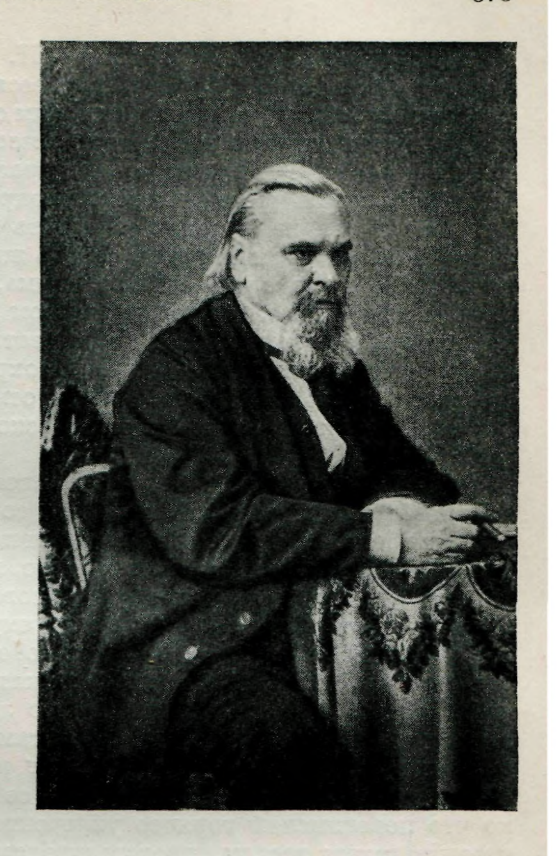
Знал ли Некрасов, отправляясь в село Ново-Спасское, что он едет к единомышленнику, идейному собрату Бакунина? Конечно, знал, потому что, во-первых, Авдотья Панаева во время своего пребывания в Париже многократно присутствовала при откровенных ночных разговорах Бакунина и братьев Толстых, и эти разговоры так поразили ее, что она и через сорок лет вспоминала о них, как об одной из достопримечательностей тогдашней парижской жизни.

Во-вторых, учитывая жгучий интерес Белинского к тому, что в те годы происходило в Париже, трудно представить себе, чтобы, приехав прямо из Парижа в Петербург осенью 1845 г. и очутившись в кружке Белинского в качестве лучшего друга Бакунина (о чем могли свидетельствовать те же Панаевы), трудно представить себе, чтобы Григорий Толстой, так близко стоявший к парижской эмигрантской среде, начитавшийся и «Трибюн», и «Насиональ», и «Попюлер», и «Реформ», вдоволь надышавшийся революционным воздухом великого города, не стал бы рассказывать в этом кружке о Феликсе Пиа, Кавеньяке, Ледрю Роллене, Жорж Санд, Викторе Гюго и других знаменитостях предреволюционной Франции, чьи имена звучали, как родные, для передовых русских людей той эпохи.

Высказывал ли он в кружке Белинского максималистские взгляды, которые так пленили Бакунина, мы, конечно, не знаем, но, несомненно, что в этом кружке у него прочно сложилась репутация человека передовых убеждений. Ниже мы видим, что не только Панаевы, но и Боткин и Анненков, то-есть наиболее влиятельные члены кружка Белинского, были свидетелями его парижского сближения с Бакуниным и другими революционными деятелями.

Едва ли под влиянием Бакунина сделался он анархистом. Но революционную страсть (хотя бы и на короткое время) Бакунин, несомненно,

Г. М. ТОЛСТОЙ
Фотография 1860-х г.
Собрание К. И. Чуковского, Москва



возбудил в нем, и Некрасову естественно было надеяться, что журналу, руководителем которого будет Белинский, охотнее всего окажет поддержку убежденный сторонник революционной борьбы, ближайший товарищ Бакунина. Не станет же давать деньги на радикальный журнал тот, кто не сочувствует его направлению. Здесь нужен был свой человек, человек той же партии; у Некрасова были все основания считать Толстого именно таким человеком. Этому способствовало и то обстоятельство, что всем была, конечно, известна его родственная и дружеская близость к декабристу Ивашеву.

Повторяю, Некрасов потому, главным образом, и обратился к Толстому, что Толстой был как бы одним из заочных членов кружка Белинского, другом Бакунина и прославленных европейских демократов, человеком передовых убеждений. Об этом сказал сам Некрасов в той самой автобиографической записи 1877 г., которая была упомянута выше. Здесь Некрасов именует Толстого своим приятелем и добавляет: «...он бывал за границей, обладал некоторым либерализмом». Сдержанность этой характеристики понятна в ретроспективной оценке, отразившей разочарование Некрасова в последующем поведении Толстого, но все же здесь подтверждается даваемое нами объяснение причины, заставившей поэта обратиться именно к Григорию Толстому [21].

Много лет спустя в газете «Волжский Вестник» была напечатана заметка П. Юшкова «Н. А. Некрасов в селе Спасском», и в этой заметке читаем: «Гостеприимный, умный, развитой и замечательно оригинальный человек был Григорий Михайлович. Человек хорошо образованный, богатый, изъездивший не раз Европу, Григорий Михайлович был сыном своего времени. Это был вполне человек сороковых годов, человек увлекающийся, страстный... Село Ново-Спасское, где жил Григорий Михайлович

во время приезда к нему гостей — Н. А. Некрасова и И. И. Панаева,— большое, богатое село, раскинувшееся привольно и широко по оврагу речонки Курлянки, с большим густым садом. В то время Григорий Михайлович жил в деревянном флигеле, построенном у сада, с террасой, выходящей в сад. Тут-то, на этой террасе, в хорошие, ведреные дни, особенно по вечерам, часто сиживали Некрасов, Панаев и Толстой — и тут-то было окончательно решено арендовать «Современник» у Плетнева. Далеко за полночь на этом балконе велась живая увлекательная речь о новом журнале, обдумывалась его программа, те улучшения, какие предполагалось ввести в него, и проч. При этом все трое давали друг другу слово работать для журнала и поддерживать его, кто чем может» [22]. (Отмечу кстати, что эта газетная вырезка сохранилась в бумагах Н. Г. Чернышевского, с его собственноручной отметкой: «Волжский Вестник» 1887, № 338, и ныне находится в саратовском доме-музее его имени, по инвентарю № 1038).

Юшков дважды упоминает об «увлекательной речи» и о «живых жарких беседах», которые Толстой вел со своими гостями, но оба раза эти «жаркие беседы», по его словам, были посвящены «Современнику». Думаю, что хотя новый журнал (его название, кстати, тогда еще не определилось, так как, находясь в имении у Толстого, Некрасов еще не знал, какой из двух-трех петербургских журналов ему удастся приобрести) должен был горячо интересовать всех четырех собеседников, все же он не был единственной темой их долгих деревенских разговоров. Человек, исколесивший Европу, проживший несколько лет в предреволюционном Париже, водивший знакомство и с декабристами, и с крупнейшими демократами и социалистами Запада, многое мог рассказать заезжим петербургским литераторам. И трудно представить себе, чтобы Григорий Толстой, только что переживший горячее увлечение идеями Маркса, не рассказывал петербургским гостям, представителям радикальной общественной мысли, близким друзьям Белинского, о своих парижских встречах с Марксом и не поведал бы о своих великодушных намерениях продать Ново-Спасское, дабы истратить вырученные деньги на улучшение благосостояния своих крепостных и на другие мероприятия подобного рода.

В числе этих других мероприятий было, очевидно, и предоставление группе Белинского средств на создание боевого демократическог журнала.

Из тех документов, которые мы печатаем ниже, мы знаем, что Григорий Толстой отнесся к планам Некрасова с живейшим сочувствием, изъявляя полную готовность отдать этому делу и силы, и средства. Недаром Анненков назвал его в своих воспоминаниях «пылким», а Юшков «увлекающимся»: тот «практический идеализм», который открыл в этом человеке Бакунин, оказался на первых порах действительно горяч и активен. Ради нового журнала Толстой был готов принести большие материальные жертвы. И можно ли сомневаться, что в его тогдашнем сознании эти жертвы были одной из форм той новой общественно-политической деятельности, о которой еще так недавно он с энтузиазмом говорил Карлу Марксу. И не потому ли Некрасов после этих разговоров с Толстым так уверился в полную реальность его обещаний, что ему, как и Марксу, Толстой заявил о своем твердом намерении продать все свои «степные имения».

Вскоре в литературных кругах стала известна и сумма, которую вносит Толстой в «Современник». Первоначальный фонд «Современника» должен был состоять из 25 000 Панаева и 25 000 Толстого [23].

Эти деньги нужны были Некрасову возможно скорее. Нужно было затратить немалые суммы не только на приобретение писательских рукописей, не только на широкую рекламу, еще не виданную в истории русского журнального дела, но и на изрядное количество замаскированных

Mon cher ami

Je vous recommande Mr Annenkoff — C'est un homme qui doit vous plaire sous tous les rapports. Il suffit de le voir pour l'aimer.

Il vous parlera de moi. Il m'est impossible de vous dire tout ce que je voudrais car dans quelques minutes je pars pour Petersbourg. — Soyez persuadé que l'amitié que je vous porte est bien sincère. — Adieu n'oubliez pas

Votre véritable ami.

Tolstoy.

АВТОГРАФ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОГО ПИСЬМА К МАРКСУ, ПОЛУЧЕННОГО П. В. АННЕНКОВЫМ ОТ Г. М. ТОЛСТОГО в 1846 г.

С этим письмом Анненков явился к Марксу в Брюссель

Институт Маркса—Энгельса—Ленина при ЦК ВКП(б), Москва

взяток; на уплату «гонорара» подставному редактору, цензору А. В. Никитенко, на выдачу аванса владельцу «Современника» П. А. Плетневу, получившему в первый же год 5850 руб. ассигнациями за одно лишь название журнала [24].

Деньги с каждым днем были все более нужны, но Григорий Толстой не прислал ни гроша. Для Некрасова это было тяжелым ударом. Было поставлено под угрозу самое существование «Современника». Не получая обещанных денег, Некрасов в минуту крайности попросил Григория Толстого выслать хотя бы «только 7 или 5 тысяч ассигнациями», то-есть нечто весьма незначительное по сравнению с той суммой, которая была обещана ему в Ново-Спасском. Но Толстой остался глух и к этой просьбе. Наконец, когда настоятельная потребность в деньгах миновала и Некрасову путем величайших усилий удалось наладить издание журнала, Толстой прислал ему не деньги, а вексель, который было почти невозможно учесть. Причем векселю предшествовало письмо, заключавшее в себе странный совет уладить все дело так, чтобы можно было обойтись и без векселя.

Оскорбленный Некрасов отослал этот вексель обратно и написал Толстому такое письмо (оно сохранилось лишь в черновике):

«Вы, казалось, так хорошо понимали важность в этом деле своевременного получения денег на журнал. Вы так ручались за себя, а Ваши уверения казались мне такими дельными и несомненными, что я скорее боялся не получить денег от Панаева, чем от Вас. Помню, что эту боязнь и Вы со мной разделяли. Что же вышло! Деньги от Панаева я давно получил и истратил, а от Вас — после двух писем моих к Вам, в которых настоятельную надобность в деньгах я доказывал цифрами — вдруг получил заемное письмо в 12 500 рублей ассигнациями, то-есть половину обещанной Вами суммы».

В сущности, это было и не «половина обещанной суммы», так как из дальнейших строк того же письма выясняется, что добыть в Петербурге деньги под залог этого толстовского векселя было почти невозможно.

Но, может быть, Толстой не то чтобы не хотел, а не мог выполнить свое обещание? Может быть, у него в это время не случилось свободной наличности?

В том-то и дело, что деньги у него все же были, и он, если бы захотел, мог прислать их Некрасову.

«...Вы имели возможность внести деньги,— пишет ему в дальнейших строках того же письма Некрасов.— Доказательство: Ваши собственные письма, в которых Вы уведомляли, что приступаете к хлебной торговле, и деньги, бывшие у Вас, употребили на закупку хлеба».

Значит, Григорий Толстой уже настолько охладел к недавнему своему увлечению, что предпочел имевшиеся у него наличные деньги вложить в привычную дворянскую коммерцию — скупку и перепродажу зерна. Замечательно, что при этом он не проявил даже свойственного ему «джентльменства»: на два настоятельных письма Некрасова он не ответил, а перед тем, как прислать ему вексель, поручил какому-то Петру Андреевичу написать Авдотье Панаевой, чтобы она посоветовала Некрасову обойтись без обещанных денег.

Это особенно оскорбило Некрасова.

«Мало того,— пишет он,— даже присылке самого векселя предшествовало письмо Петра Андреевича (к Авдотье Яковлевне), в котором было сказано, что вексель Вы пришлете, и мы должны постараться занять под него, а, *впрочем, нельзя ли как-нибудь извернуться, всего бы лучше*.

Что это значит? Я долго думал. Если Вы хотите, чтобы мы извернулись без Вашего векселя, то на что же было посылать его... А если мы,

получив, должны были держать его без употребления, то в чем же заключалось бы участие Ваше в издержках на журнал. Да и, во всяком случае, оно не могло быть действительно, ибо при основании журнала мне, как я Вам писал, настоятельно нужны были деньги, а не вексель...

Итак, надежда моя на денежное содействие Ваше при основании журнала оказалась ошибочной. Вашего содействия не было, и журнал основан средствами Панаева и некоторыми другими, к которым я должен был прибегнуть. Препровождаю Вам обратно Ваш вексель».

В заключение письма Некрасов извещал Толстого, что не считает его больше участником-компаньоном «Современника»: «Если предполагаемое участие Ваше в этом предприятии не состоялось, то, конечно, вина не моя и не Панаевых. Что касается до Панаевых, то я объяснился с ними и сказал, что если они со мной не согласны, то я от всего отказываюсь и отступаюсь. Они предоставили это, как все дела по журналу, моему распоряжению»...[25].

Вот каким оказался при первом же столкновении с действительностью боевой идеализм этого «апостола свободы», в котором Бакунин в ту самую пору видел своего собрата по революционной борьбе, веря, что служение революции было для него «жизнью, страстью, религией, делом».

И об этом человеке Бакунин писал незадолго до того своему брату: «Он возвратит тебе и жар и свежесть юношеского стремления, разрушит в тебе отвратительную мудрость преждевременной старости и снова зажжет в сердце твоем веру в то, что в окружающем тебя мире называют невозможным ⟨то-есть в русскую революцию⟩, и страсть к отважным предприятиям»[26].

Некрасов после этого случая прервал с ним отношения навсегда. По крайней мере, во всей известной нам переписке Некрасова имя Григория Толстого больше не упоминается ни разу.

5

И все же у нас есть свидетельство, что через несколько лет Некрасов отнесся к Григорию Толстому куда снисходительнее и попытался, уже без всякого гнева, объяснить его неприглядный поступок общими условиями русского быта.

Свидетельством этим является роман Некрасова «Три страны света», который, через два года после поездки в село Ново-Спасское, он писал совместно с Авдотьей Панаевой.

Роман «Три страны света» писался, как известно, поневоле. Грозная цензура 1848 г. вырезала все шесть повестей, находившихся в портфеле «Современника», и Некрасов был вынужден возможно скорее изготовить такой материал, который в течение долгого времени мог бы печататься в журнале из месяца в месяц и был бы забронирован от цензуры.

Других целей у Некрасова не было, когда он совместо с Авдотьей Панаевой засел за этот громоздкий роман. Сам он не признавал в нем художественно-литературных достоинств. «Если увидите мой роман,— писал он Тургеневу в декабре 1848 г.,— не судите его так строго. Он писан с тем и так, чтобы было что печатать в журнале — вот единственная причина, породившая его»[27].

Но роман оказался лучше, чем думал о нем Некрасов. Не мог такой могучий поэт, в первые же годы своей поэтической зрелости, совершенно отвлечься от волновавших его чувств и мыслей и превратиться в простого ремесленника, хотя бы его и побуждали к тому обстоятельства его журнальной работы. Несмотря на принадлежность романа к жанру развлекательного чтения, многие встречающиеся в нем мысли и образы перекликаются с основными мотивами таких стихотворений Некрасова,

в которых поэт выражает задушевнейшие свои убеждения [28]. И нет ничего удивительного, что в трактовке образа Григория Толстого наметилась,— правда, еще в зачаточной форме,—одна заветная идея молодого поэта, которая через несколько лет нашла более рельефное свое воплощение в его лучших стихах и поэмах.

По моему убеждению, Григорий Михайлович Толстой выведен в романе под именем Григория Матвеевича Данкова. Наружность Данкова изображается Некрасовым так:

«...Данкову было лет тридцать пять. Высокий, плечистый, с довольно полным выразительным лицом... с манерами, которых размашистую резкость облагораживала изящная простота, он представлял собою совершеннейший тип русского красивого молодца» [29].

Здесь полное портретное сходство с наружностью Григория Толстого. В то время, когда Некрасов гостил в Ново-Спасском, Толстому и в самом деле было «лет тридцать пять», так как родился он в 1808 г.

Валерьян Панаев, вспоминая об одной своей встрече с Григорием Толстым, раньше всего отмечает его высокий рост и красоту:

«Он был хорош собой и прекрасного роста»,— говорит о нем мемуарист [30].

«Во мне роста два аршина 8 вершков»,— сообщает о себе сам Григорий Толстой в одной мемуарной заметке [31].

Мне неизвестны портреты Григория Толстого, относящиеся к годам его молодости, но, судя по его стариковскому фотопортрету, который подарен мне его правнучкой, это был действительно высокий, осанистый, широкоплечий мужчина с выразительным, красивым и очень русским лицом.

Но не только наружность новоспасского барина воспроизвел в своем романе поэт. Он тут же в трех строчках наметил тогдашние вехи его биографии.

В романе мы читаем о Данкове:

«Один богатый помещик той губернии, весьма умный и образованный, живший то в Москве, то в Петербурге, то в Париже, вздумал, наконец, пожить в своей губернии с самой благой целью» [32].

Здесь каждое слово — о Григории Толстом.

Григорий Толстой был, действительно, одним из самых богатых и образованных помещиков заволжского края. Правда, Некрасов дважды называет его не казанским, но «с — ским» помещиком, однако это не противоречит фактическим данным, потому что Григорий Толстой, как мы ниже увидим, всеми своими корнями был связан именно с Симбирской губернией.

Из разных мемуарных источников мы знаем, что в 1842 г. жил он в Москве, в 1844 и в 1845 гг.— в Париже и в Петербурге, а в 1846 г. поселился у себя в Ново-Спасском с намерением остаться там подольше или, говоря словами Некрасова, «пожить в своей губернии с самой благой целью».

В романе из-за цензурных стеснений Некрасов лишь обиняками указывает, в чем эта «благая цель» заключалась. Но в «Воспоминаниях» Авдотьи Панаевой, гостившей в Ново-Спасском в то же самое время, подцензурные намеки Некрасова расшифровываются с полною ясностью. Оказывается, Григорий Толстой, после долгих странствий по Европе, поселился в деревне затем, чтобы облегчить, по возможности, жизнь многочисленных своих крепостных. Вместе с каким-то родственником (может быть, с братом Владимиром) он, по словам Панаевой, устроил в своем имении школу для крестьянских детей, лично оказывал крестьянам медицинскую помощь, уничтожил барщину и проч.,— словом, обнаружил так много гуманных стремлений, что вызвал будто бы негодование соседей-помещиков.

«В наше время,— говорит в романе Григорий Данков, — стыдно ничего не делать... Я довольно постранствовал по свету, теперь хочу работать, работать, приносить пользу обществу».

На подцензурном языке того времени это означало, что богатый и образованный барин хочет отдать все силы облегчению участи своих крепостных.

Очевидно, либеральные новшества, которыми он так эффектно щегольнул перед приехавшими из столицы молодыми писателями, были представлены им в виде первоначальных шагов на пути к улучшению крестьянского быта. Из романа Некрасова явствует, что в качестве программы ближайшего будущего этот alter ego Бакунина намечал более широкие и смелые планы.

«Когда,— пишет Некрасов,— тряхнув своими длинными кудрями, остриженными в кружок, он энергически ударял кулаком по столу и заводил речь о той жажде благородной деятельности, которая кипит в его груди, нельзя было не сочувствовать, не верить каждому его слову, нельзя было не сознаться, что он призван действовать, и сделает много хорошего».

Но, конечно, все это оказалось таким же бахвальством, как и те обещания, которые дал он Некрасову по поводу его «Современника». Через несколько страниц Некрасов пишет, что Каютин «сначала удивлялся, почему Данков медлит приводить в исполнение свои остроумные и общеполезные планы, о которых прекрасно и с таким жаром говорил. Но когда поближе присмотрелся к делу, когда сам пожил этой жизнью, удивление его кончилось»[33].

Последняя фраза производит впечатление скомканной. По цензурным условиям 1848—1849 гг. выразить резче свое осуждение этому разладу между словом и делом автор, конечно, не мог. Но отчетливым комментарием к данному отрывку романа являются, как уже сказано, стихотворения Некрасова, где несколько раз та же самая тема выражалась гораздо яснее.

Возьмем хотя бы только что процитированный нами отрывок из речи Григория Данкова. Ведь это — слово в слово то самое, что говорит в поэме Некрасова «Саша» вернувшийся из-за границы Агарин:

Бил,— говорит,— я довольно баклуши...
Благословите на дело... пора!

Слово «дело» занимает в поэзии Некрасова почетное место. Для Некрасова это — священное слово, и он всегда с особым уважением произносит его:

Вы еще не в могиле, вы живы,
Но для дела вы мертвы давно...

В его стихах выведена целая вереница людей, которые, при высоком благородстве своих убеждений, никогда не воплощают их в дело. Тот же самый Агарин —

Если ж за дело возьмется,— беда!
Мир виноват в неудаче тогда.

И в черновике Некрасова об Агарине (когда он еще назывался Чужбининым) сказано:

Он по природе своей благороден,
Только заносчив и к делу негоден.

Проклятие высоким словам, которые не стали делами,— один из центральных мотивов некрасовской лирики на протяжении всей жизни

поэта. В том самом году, когда была написана «Саша», он снова повторил эту тему в стихах, начинающихся такими строками:

Самодовольных болтунов,
Охотников до споров модных,
Где много благородных слов,
А дел не видно благородных,
Ты откровенно презирал.

В «Поэте и гражданине» клеймит он «богатых словом, делом бедных», и вообще примат действования, антитеза благородного слова и благородного дела — такова была насущная тема наступавшей эпохи — 40-х и 50-х годов. Достаточно вспомнить о тургеневском Рудине. «Тип был один, оттенков было много»,— так выразился Некрасов впоследствии. Образ Данкова в «Трех странах света» есть, насколько я знаю, наиболее ранняя литературная экспозиция этого типа. Данков у Некрасова для того-то и твердит с таким упорством: «работать, работать, приносить пользу обществу!»,— и сам Некрасов (в коротком отрывке о нем) для того и повторяет слова: «деятельность», «действовать», «сделает», чтобы читатель яснее увидел из дальнейшего текста, что за всеми благородными фразами красноречивого барина скрывается полное отсутствие благородных поступков. К разным «оттенкам» этого типа Некрасов, как известно, относился по-разному:

Шалит землевладелец крупный,
Морочит модной маской свет [34],

— презрительно сказал он об одной категории этих людей, но о той, в которую он включил и Данкова, он отзывался иначе, с какой-то пренебрежительной жалостью, и постоянно указывал на нравственную чистоту их неосуществленных стремлений:

Ты стоял перед отчизною
Честен мыслью, сердцем чист...
. . . .
...Известен он достаточно: его
Прозвал Тургенев «лишним». По натуре
Он честен был, но был большой лентяй...
. . . .
Как он был чист, как он далеко видел,
Как честно, хоть бесплодно, ненавидел,
И шапку перед ним готов я снять...

— говорил поэт в одном из черновых вариантов «Медвежьей охоты».

Впоследствии он не раз повторял, что эти люди сеют «все-таки доброе семя», что «мы должны добром их поминать», этих «рыцарей доброго стремления и беспутного житья», что разрыв между словом и делом есть не вина, а беда всех этих Агариных, Данковых, Решетиловых, Чужбининых, Пальцовых, так как та историческая обстановка, в которой они принуждены были жить, обрекала их на полное бездействие, выбросив их за борт общественной жизни.

В затуманенном, по цензурным условиям, отрывке о Григории Данкове эта мысль, как мы только что видели, изложена Некрасовым так: Каютин сперва удивлялся, почему Данков медлит приводить в исполнение свои общеполезные планы, но «когда сам присмотрелся к делу, сам пожил этой жизнью», перестал удивляться, то-есть понял, что в русском быту существует ряд вполне объективных причин для того, чтобы Данковы, при всей своей честности, всегда до конца своих дней оставались пустыми фразерами, не воплотившими в дело своих благородных намерений.

6

Таков был художнический метод Некрасова. Отбросив все случайное и личное, он обобщил свои впечатления от встречи с Григорием Толстым и с необыкновенной зоркостью разглядел в нем еще не определившийся общественный тип.

И чем пристальнее мы вникаем в те скудные, бессвязные клочки и обрывки биографии Григория Толстого, которые дошли до нас в немногих мемуарах и письмах, тем больше убеждаемся, что, определив его

П. В. АННЕНКОВ
Акварель А. А. Попова, 1853 г.
Институт литературы АН СССР, Ленинград

как одну из разновидностей Рудина (чуть ли не за десять лет до появления тургеневской повести), Некрасов (в который раз!) обнаружил свою непревзойденную способность схватывать раньше других самую суть социальных явлений, едва намечавшихся в тогдашней России.

Духовная биография Григория Толстого, действительно, очень типична для так называемых «лишних людей».

Как и большинство представителей этого типа, он был человеком высокой европейской культуры. Мы не стали бы подчеркивать в нем это качество, если бы в литературе не существовало попытки представить его темным, захолустным помещиком чрезвычайно низкого культурного уровня.

Между тем, каждый встречавшийся с ним указывает раньше всего именно на его образованность. Очевидно, она каждому бросалась в глаза. И Юшков, и Валериан Панаев, и Авдотья Панаева однообразно повторяют друг за другом, едва только назовут его имя: «человек широко образованный», «образованнейший человек» и т. д.

Некрасов в своем романе наделяет его тем же эпитетом: «богатый помещик, весьма умный и образованный...».

И не только в столицах, но и в деревенской глуши, в Казанской и Симбирской губерниях, он вращался среди наиболее культурных слоев тамошнего дворянского общества.

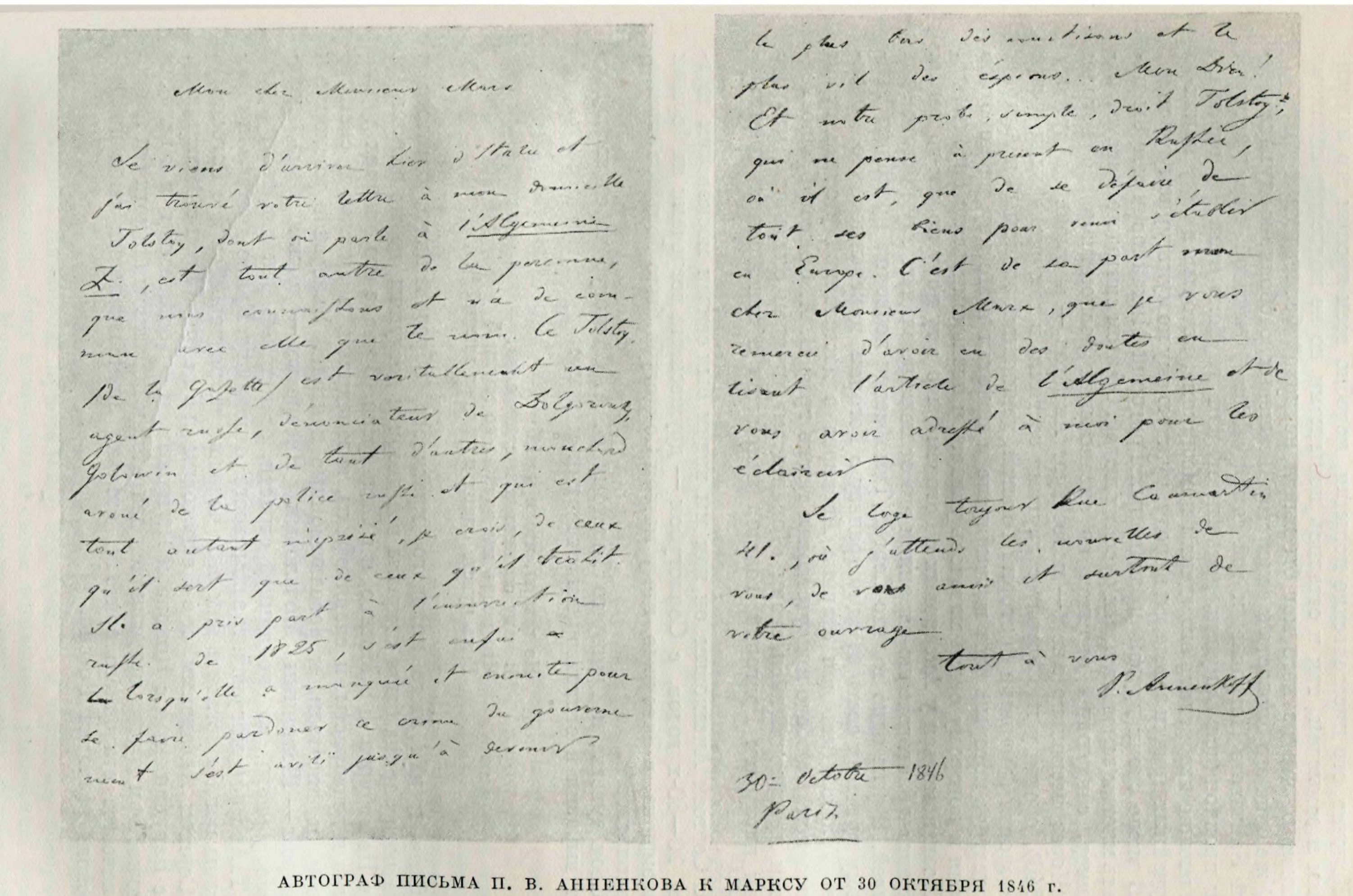
«Дворянство симбирское,— говорит в своих «Записках» В. А. Соллогуб,— считалось образованным, влиятельным и богатым. Здесь я услыхал впервые имена Ивашевых, Тургеневых, Бестужевых, Ермоловых, Столыпиных, Кротковых, Киндяковых, Татариновых и многих других. Между ними были люди замечательно просвещенные, но встречались также и оригиналы или, скорее, самодуры большой руки» [35].

Хотя имение Толстого находилось в Казанской губернии, но сам он по всем своим семейным и дружеским связям принадлежал именно к тому кругу симбирского общества, которое, по словам Соллогуба, славилось своей образованностью и включало в себя «замечательно просвещенных людей». Многие из перечисленных Соллогубом помещиков были близкими родственниками Григория Толстого.

Вообще мы ничего не поймем в этом человеке, если искусственно вырвем его из этой среды, где он сформировался и вырос. То был верхушечный слой богатого поместного дворянства, в недрах которого за несколько лет до того созрели декабристские убеждения и верования. Во время декабрьского восстания Григорию Толстому шел уже восемнадцатый год, и это не случайность, что среди его близких родных, с которыми он рос и воспитывался, было так много людей, связанных с идеологией декабризма. Ивашевы и Завалишины — в кругу этих замечательных русских семейств прошли его детство и юность. Особенно тесно он был связан с Ивашевыми. Ивашевы заменили ему родную семью [36].

Единственное «дело», которое он совершил за всю свою долгую жизнь, связано с семейством Ивашевых. Я говорю о его тайной поездке в Туринск к декабристу Василию Петровичу в 1838 г., тотчас же после смерти генерала Ивашева, отца декабриста. Правда, никакой отчаянной смелости для этого ему не потребовалось, ибо он предпринял поездку после того, как ее благополучно совершили другие: годом раньше предприимчивый «Пьер Зиновьев», пламенный друг Елизаветы Петровны, успел дважды побывать у декабриста Ивашева — сначала один, а потом — вместе с нею, причем, как рассказывают, она во все время пути выдавала себя за мужчину. Елизавета Петровна гостила у своего ссыльного брата целых две недели, при явном попустительстве местных властей, несомненно подкупленных щедрыми взятками. Но хотя Григорий Толстой съездил к декабристу по проторенной дороге, когда убедился, что риску здесь не так уж много, все же он проявил при этом несомненное мужество и не без гордости до конца своих дней вспоминал об этом путешествии. Единственное его литературное произведение, известное нам до настоящего времени, так и озаглавлено: «Поездка в Туринск к декабристу Ивашеву» [37].

Всякий, кто даст себе труд отыскать этот рассказ в «Русской Старине», согласится со мною, что у Григория Толстого был несомненный талант беллетриста. Должно быть, его вообще тянуло к писательству: Бакунин в одном из своих писем вспоминает какое-то юмористическое произведение Григория Толстого, написанное в Дрездене в 1841 г. [38].


Mon cher Monsieur Marx

Je viens d'arriver hier d'Italie et j'ai trouvé votre lettre à mon domicile. Tolstoy, dont on parle à l'Algemeine Z., est tout autre de la personne, que nous connaissons et n'a de commun avec elle que le nom. Le Tolstoy de la Gazette, est véritablement un agent russe, dénonciateur de Bolgrowsky, Golowin et de tant d'autres, mouchard avoué de la police russe et qui est tout autant méprisé, je crois, de ceux qu'il sert que de ceux qu'il trahit. Il a pris part à l'insurrection russe de 1825, s'est enfui et lorsqu'elle a manqué et ensuite pour se faire pardonner ce crime du gouvernement s'est avili jusqu'à devenir le plus bas des courtisans et le plus vil des espions... Mon Dieu! Et notre probe, simple, droit Tolstoy, qui ne pense à présent en Russie, où il est, que de se défaire de tout ses biens pour venir s'établir en Europe. C'est de sa part mon cher Monsieur Marx, que je vous remercie d'avoir eu des doutes en lisant l'article de l'Algemeine et de vous avoir adressé à moi pour les éclaircir.

Je loge toujours Rue Caumartin 41, où j'attends les nouvelles de vous, de vos amis et surtout de votre ouvrage.

Tout à vous

P. Annenkoff

30 octobre 1846

Paris.

АВТОГРАФ ПИСЬМА П. В. АННЕНКОВА К МАРКСУ ОТ 30 ОКТЯБРЯ 1846 г.

В ответ на запрос Маркса «Анненков разъясняет, что парижским агентом III Отделения, разоблаченным «Ausburger Allgemeine Zeitung», является не Григорий, а Яков Толстой

Институт Маркса—Энгельса—Ленина при ЦК ВКП(б), Москва

Конечно, его писательские попытки, подобно всем прочим его начинаниям и замыслам, так и остались попытками, но не подлежит никакому сомнению, что из него мог бы выйти неплохой беллетрист.

Уже одна его близость к семейству Ивашевых, особенно к одухотворенной Елизавете Петровне, к той самой «Лизе» Языковой, перед которой так преклонялся Бакунин, доказывает, как глубоко неправы писатели, желающие изобразить его «диким помещиком», который в силу каких-то случайных причин затесался в среду, чуждую ему по культурному уровню.

В числе своих друзей и знакомых Григорий Михайлович мог бы назвать многих замечательных русских людей. Об этом свитедетельствует, например, следующий отрывок из аксаковских воспоминаний о Гоголе:

«Через несколько дней,— повествует Аксаков,— а именно в субботу ⟨1840⟩, обедал у нас Гоголь с другими гостями, в том числе были Юрий Федорович Самарин и Григорий Толстой, давнишний знакомый и товарищ по театру, который жил в Симбирске и приехал в Москву на короткое время и которому очень хотелось увидеть и познакомиться с Гоголем» [39].

Познакомиться у Аксаковых с Гоголем было в ту пору не так-то легко: Аксаковы благоговейно охраняли его от нежелательных ему посторонних людей. И уже одно то, что Сергей Тимофеевич позволил Григорию Толстому притти и сесть за одну трапезу с Гоголем, показывает, что Григорий Толстой был для старика Аксакова в достаточной степени своим человеком. На обеде присутствовал также граф В. А. Соллогуб, впоследствии прославившийся своим «Тарантасом», причем оказалось, что и с этим писателем Григорий Толстой находится в отношениях приятельских.

С Сергеем Аксаковым, он, как мы видим, был связан московским театром 20—30-х годов, с Соллогубом — дружескими встречами на берегах Черемшана, в Заволжье, где у матери Соллогуба было большое имение, Никольское [40].

Свои чувства к Григорию Толстому В. А. Соллогуб через несколько лет выразил в стихотворном послании к нему:

Не говори, что я погиб
В чаду столичных наслаждений,
Что вновь мы дружно не могли б
Быть чувств одних и разных мнений [41].

Словом, для этого молодого, красивого, образованного, богатого и знатного барина были открыты все двери и доступны любые знакомства и в Петербурге, и в Москве, и в Симбирске. В числе его близких друзей были и декабристы, и славянофилы, и западники, и актеры, и светские люди, и писатели, и революционные деятели. Увлечение московским театром — Щепкиным, Мочаловым, Писаревым — должно быть, доходило у него до подлинной страсти, если такой фанатик театра, как С. Т. Аксаков, мог увидеть в нем своего сотоварища. Какие драгоценные мемуары мог бы оставить нам этот человек, встречавшийся и с Гоголем, и с Сергеем Аксаковым, и с Некрасовым, и с Белинским, и с Загоскиным, и с Бакуниным, и с Николаем Языковым, и с Достоевским, и с великим множеством других выдающихся деятелей и переживший, хотя бы только в качестве стороннего зрителя, столько знаменательных эпох политического развития России.

7

Вот и все, что я знал о Григории Толстом, когда выступил в печати с утверждением, что именно он, а не Яков Толстой, встречался в Париже с Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом [42].

Именно об этом Толстом — о Григории Михайловиче — Бакунин писал Лазарю Бернайсу ⟨в марте 1844 г. в Париже⟩: «Милый Бернайс. Толстой хотел еще вчера пойти со мной к вам, но ему что-то нездоровится. Он просит вас сегодня вечером между 7 и 12 зайти к нему. Будут также Гервег, Маркс и компания» [43].

И Арнольд Руге в своем письме к Кехли имеет в виду именно этого Толстого — Григория Михайловича,— когда пишет 24 марта 1844 г.: «Вчера мы, немцы, русские и французы, собрались совместно на обед, чтобы поближе рассмотреть и обсудить наши дела; русские: Бакунин, Боткин, Толстой (эмигранты—демократы, коммунисты); ⟨немцы:⟩ Маркс, Риббентроп, я и Бернайс; французы: Леру, Луи Блан, Феликс Пиа и Шёльхер. В общем мы прекрасно столковались...» [44].

Именно об этом Толстом — о Григории Михайловиче — Карл Маркс писал через три года Георгу Гервегу (26 октября 1847 г.): «Я просил бы тебя узнать у Бакунина, каким путем, по какому адресу и каким образом я могу переправить письмо Толстому» [45].

И Георг Гервег отвечал Карлу Марксу именно об этом Толстом, о Григории Михайловиче (3 ноября 1847 г.): «Адрес Толстого такой: Казань, Казанская губерния» [46]. (Таким образом, скажу в скобках, моя догадка о том, что это был казанский Толстой, подтверждается документальными данными).

Из всего этого явствует, что в течение трех лет (с 1844 по 1847 гг., а быть может, и дольше) Карл Маркс поддерживал какие-то отношения с этим казанским помещиком, участвовал вместе с ним в обсуждении политических вопросов, был у него в его парижской квартире (вместе с Фридрихом Энгельсом) и даже переписывался с ним.

И у Григория Толстого, очевидно, были все основания считать, что он пользуется некоторым доверием Маркса, раз он решился в 1846 г., уже находясь где-то на пути в Петербург, дать своему приятелю Павлу Васильевичу Анненкову рекомендательное письмо к Карлу Марксу и подписать его словами: «Ваш истинный друг».

Вот полностью текст этого письма (в переводе с французского), с которым Анненков явился к Марксу в Брюссель:

«Мой дорогой друг. Рекомендую Вам господина Анненкова. Этот человек должен понравиться Вам во всех отношениях. Достаточно увидеть его, чтобы полюбить. Он расскажет Вам обо мне. Не имею возможности в настоящее время высказать Вам все, что хотел бы, так как через несколько минут уезжаю в Петербург.

Примите уверения в искренности моих дружеских чувств. Прощайте и не забывайте вашего истинного друга Толстого» [47].

Вследствие такой рекомендации Маркс, по словам П. В. Анненкова, «очень дружелюбно» принял его [48].

Анненков добавляет при этом, вспоминая, несомненно, свой первый разговор с Марксом, неизбежно коснувшийся Толстого, что «Маркс находился под влиянием своих воспоминаний об образце широкой русской натуры, на которую так случайно наткнулся, и говорил о ней с участием, усматривая в этом новом для него явлении, как мне показалось, признаки неподдельной мощи русского народного элемента вообще» [49].

Казалось бы, что интерес, проявленный Марксом к Толстому, должен был побудить Анненкова пристальнее всмотреться в человека, который, по его же словам, «был искренен» в своем тогдашнем увлечении революционными идеями Маркса. Этого, однако, не случилось. Необходимо признать, что Анненков, который вполне справедливо считается одним из самых замечательных русских мемуаристов,— наиболее серьезным, талантливым, правдивым и вдумчивым,— в данном случае изменил своему

обычному стремлению к истине, обо многом умолчал, кое-что исказил и, в целом, дал не вполне объективную характеристику Григория Толстого именно той поры.

Сила Анненкова всегда заключалась в тонком умении изображать сложные и противоречивые черты человеческой психики, о чем свидетельствуют хотя бы его классические воспоминания о Гоголе. В данном случае он этой своей силой не воспользовался и написал о Григории Толстом те поверхностно ядовитые строки, на которые мы уже ссылались выше. Приводим эти строки полностью, так как уже одно то, что в них упоминается имя Маркса, побуждает нас возможно тщательнее проанализировать их.

«По дороге в Европу,— пишет Анненков,— я получил рекомендательное письма к известному Марксу от нашего степного помещика, также известного в своем кругу за отличного певца цыганских песен, ловкого игрока и опытного охотника. Он находился, как оказалось, в самых дружеских отношениях с учителем Лассаля и будущим главой интернационального общества; он уверил Маркса, что, предавшись душой и телом его лучезарной проповеди и делу водворения экономического порядка в Европе, он едет обратно в Россию с намерением продать все свое имение и бросить себя и весь свой капитал в жерло предстоящей революции.

Далее этого увлечение итти не могло, но я убежден, что когда лихой помещик давал все эти обещания, он был в ту минуту искренен.

Возвратившись же на родину, сперва в свои имения, а затем в Москву, он забыл и думать о горячих словах, прозвеневших некогда так эффектно перед изумленным Марксом, и умер не так давно престарелым, но все еще пылким холостяком в Москве» [50].

Вышеприведенные строки Анненкова очень часто цитировались в разных статьях, посвященных многозначительной теме «Карл Маркс и русские люди». Но так как исследователи исходили из ошибочной мысли, будто в воспоминаниях Анненкова речь идет о Якове Толстом, нам приходится по-новому вчитываться в старые, всем известные строки.

Оставим в стороне мелкие неточности этой иронической записи. Григорий Толстой умер не в Москве, как утверждает Анненков, а в селе Левашове, Спасского уезда, Казанской губернии. Вернувшись на родину, он, вопреки утверждению Анненкова, сперва побывал в Москве, а уж потом воротился в деревню. Но дело, конечно, не в этих подробностях, а в том ироническом, неуважительном тоне, с каким Анненков третирует Григория Толстого, как некую разновидность ноздревского типа. У Анненкова получается довольно упрощенный образ лихого бреттера, тешившего свои страсти картежной игрой, охотой, трактирными песнями, женщинами.

Может быть, все это было в Григории Толстом, но было, конечно, и многое другое, о чем Анненков почему-то предпочел умолчать.

Если бы Григорий Толстой был и вправду таким степным дикарем, каким изображает его Анненков, разве стал бы он сам, Павел Анненков, друг Белинского, Станкевича, Герцена, водиться с этим человеком, как с близким приятелем! А он знал Григория Толстого чуть ли не с самого раннего детства, бывал у него и подолгу беседовал с ним. Вернувшись из-за границы, после свидания с Марксом и Энгельсом, он продолжал поддерживать связи с Григорием Толстым. В его записных книжках, опубликованных Н. О. Лернером в журнале «Былое», есть, между прочим, такие заметки, относящиеся к 1849 г.:

«Летом объезжаю заволжских помещиков, Григория Толстого, Ермолова и других...». «В виде продолжения к летним прогулкам следует сказать о двухдневном плавании из Богородска до Симбирска в рыбачьей лодке в большом обществе с Толстым, Ермоловым, Чернявским и прочими» [51].

Да и не дал бы ему Григорий Толстой рекомендательного письма к Карлу Марксу, если бы не считал его, Павла Анненкова, близким человеком, единомышленником. И Анненков не воспользовался бы рекомендацией Толстого, если бы в то время питал к нему те язвительно-высокомерные чувства, с которыми стал трактовать своего старинного знакомого по прошествии тридцати с чем-то лет.

Подобно Ивашевым, Соллогубам, Языковым, Анненков был помещиком Симбирской губернии [52]. В тех пренебрежительных словах, кото-

НЕКРАСОВ

Рисунок карандашом П. Петровского, 1852 г.

Институт литературы АН СССР, Ленинград

рыми он характеризует своего земляка, не чувствуется, что этот «степной помещик» был один из просвещенных людей своего поколения, что он любил не только цыганские песни, но и квартеты Бетховена, не только карты, но и философские книги, что с ним беседовал и вел переписку Маркс, что он смолоду вращался среди лучших людей, какие только были в России.

Вопреки своему обычаю, Анненков исказил облик изображаемого им человека в сторону карикатуры и шаржа.

8

Но здесь нам необходимо отвлечься, хотя бы на самое короткое время, от Григория Толстого и напомнить читателю об одной неприятности, которая произошла с мемуарами Анненкова в 1880 г.

В ту пору в «Вестнике Европы» печатался его известный мемуарный труд «Замечательное десятилетие». Там он, между прочим, вспоминал о первых литературных шагах Достоевского. По его словам, Достоевский, помещая в «Петербургском сборнике» своих «Бедных людей», предъявил будто бы к Некрасову забавное требование, внушенное чрезмерным самомнением: поместить каждую страницу романа в особую типографскую рамку, в отличие от прочих повестей и рассказов, печатавшихся в том же альманахе.

«Роман и был действительно обведен почетной каймой»,— заключил свое повествование Анненков [53].

Его слова было нетрудно проверить. Взяли «Петербургский сборник» Некрасова, перелистали в нем «Бедных людей» и никакой рамки вокруг текста нигде не нашли. Роман Достоевского был напечатан Некрасовым без всякой «почетной каймы».

Дорого обошлась Анненкову эта кайма. В «Новом Времени» Буренин и Суворин поместили целую серию едких заметок, где называли утверждение Анненкова «глупою сплетнею», «явным журнальным вздором» [54]. Суворин обратился по этому поводу к самому Достоевскому. Достоевский ответил, что он «очень доволен» газетными заметками, где изобличается Анненков [55]. После этого в той же газете было напечатано следующее:

«Ф. М. Достоевский, находясь в Старой Руссе, где он лечится, просит нас сообщить, что ничего подобного тому, что рассказано в «Вестнике Европы», не было и не могло быть» [56].

Конечно, Анненков не рассказал бы этого анекдота о рамках, если бы он не был уверен, что рассказывает чистейшую правду. Ведь знал же он, что его сообщение легко поддается проверке. Когда он писал свои воспоминания (за границей, в Брюсселе и в Бадене), он был уверен, что рамки эти он видел своими глазами.

Он так и написал М. М. Стасюлевичу 19 апреля 1880 г.: «Не знаю, какой экземпляр был в руках оппонента моего из «Нового Времени», но знаю, что я сам видел первые экземпляры «Сборника» с рамками» [57].

Все это, конечно, была аберрация старческой памяти. Впрочем, не следует думать, будто Анненков выдумал весь эпизод. Мы знаем из разных источников, что Достоевский действительно требовал каких-то типографских преимуществ для своих «Бедных людей». Не стали бы Некрасов и Тургенев упоминать об этой «почетной кайме» в известной своей эпиграмме (1847), не стал бы рассказывать о ней в своем фельетоне Панаев (1855), если бы для этого не было никаких оснований [58].

Но память Анненкова сыграла с ним коварную шутку. Притязания Достоевского он принял за осуществившийся факт, и через три десятилетия ему стало казаться, что он сам был очевидцем того, о чем он только слышал от других. Он, так сказать, закруглил услышанный им эпизод, сделал его более эффектным, придал ему острую концовку. Это часто бывает с мемуаристами, имеющими вкус к беллетристике. Их услужливая память диктует им то, чего требует беллетристический канон.

То же самое произошло и с воспоминаниями Анненкова об отношениях Григория Толстого и Маркса.

Григорий Толстой интересовал мемуариста не сам по себе, а как одна из разновидностей того типа образованных русских дворян, о которых Маркс выразился в 60-х годах (имея, быть может, в виду и Григория Толстого): «Они ⟨русские аристократы⟩ всегда гонятся за самым крайним из того, что только дает Запад. Это — чистейшее гурманство» [59].

Та глава анненковских мемуаров, где фигурирует Григорий Толстой, посвящена типологической характеристике именно этой категории русских дворян. По мнению Анненкова, эти «лишние люди» вели «азартную игру со всем содержанием Парижа» (то-есть с его передовыми идеями) и,

вместе с тем, «не выработали в себе никакой ответственности перед собственной совестью, никакого обязательного начала для устройства собственной жизни и поведения» [60].

Григорий Толстой был, конечно, подходящей моделью для такого типового портрета. Но стремление Анненкова к «ярко типическому» (отмеченное в нем Щедриным) подсказало мемуаристу такие детали, которых не было в изображаемом им человеке. Эти детали были так правдоподобны, так резко обозначали характерный для данного социального типа разрыв между «словом» и «делом», между горячностью первоначальных порывов и быстрым охлаждением к ним, что Анненков соблазнился художественной их выразительностью и, быть может, вполне бессознательно допустил в своем повествовании об отношениях Карла Маркса и «степного помещика» несколько отклонений от подлинных фактов. Впрочем, все эти отклонения касаются одного единственного пункта. Остальные факты изложены правильно, в полном соответствии с истиной.

Григорий Толстой действительно говорил Карлу Марксу, что он хочет продать свои степные поместья. Это подтверждается рядом непреложных свидетельств. Прежде всего, сам П. В. Анненков сообщал Карлу Марксу в письме от 8 мая 〈1846г.〉:

«Я только что получил известие, что Толстой принял решение продать все имения, которые ему принадлежат в России. Нетрудно догадаться, с какой целью» [61].

Когда Анненков писал это письмо, Толстого уже не было в Париже. Он вернулся в Россию. Через несколько месяцев Анненков в новом письме к Карлу Марксу упоминает снова об этом замысле Григория Толстого, как о таком факте, о котором Карл Маркс, несомненно, осведомлен.

Поводом для этого второго письма было следующее.

В ту самую осень, когда Григорий Толстой, вскоре после возвращения в Россию, проживал безвыездно в своей казанской глуши и занимался, как мы знаем, куплей-продажей зерна и вел деловую переписку с Некрасовым, одна из заграничных радикальных газет, «Ausburger Allgemeine Zeitung», разоблачила Якова Толстого как тайного агента петербургских жандармов. А так как парижские эмигранты не знали о единовременном пребывании в Париже двух разных Толстых, им естественно было подумать, что разоблачение относится к Григорию Толстому, тем более, что они звали его просто — Толстой, не принимая во внимание его имени-отчества.

Карл Маркс обратился за разъяснениями к Анненкову, и тот, извещая Маркса, что парижским агентом III Отделения был не этот Толстой, а другой, написал в защиту отсутствующего Григория Михайловича (30 октября 1846 г.):

«О боже! И наш честный, простой, прямой Толстой, который теперь в России думает только о том, как бы распродать все свои имения и поселиться в Европе! Благодарю Вас, мой дорогой Маркс, от его имени, что Вы усомнились, читая статью в «Allgemeine...», и обратились ко мне за разъяснениями» [62].

И, наконец, у нас имеется третье свидетельство, исходящее от Фридриха Энгельса. В своем письме к Карлу Марксу (от 16 сентября 1846 г.), написанном еще в тот период, когда парижские эмигранты не знали о существовании двух разных Толстых и принимали Григория за Якова, Энгельс в понятном раздражении писал: «Этот Толстой и есть не кто иной, как наш Толстой, навравший нам, что он хочет продать в России свои имения» [63].

Эта резкая фразеология объясняется тем, что Энгельс в то время думал, будто речь идет о шпионе Толстом. Как бы то ни было, в этом письме заключается подтверждение того, что было сказано Анненковым: «степной

помещик» действительно говорил Марксу и Энгельсу, что он намерен распродать свои имения.

Но, стремясь к беллетризации своих мемуаров, Анненков присочинил от себя фантастическое «жерло революции», куда будто бы Толстой собирался, с одобрения Маркса, «бросить и себя и весь свой капитал». Здесь была дешевая ирония, недостойная Анненкова: в ней слышалось неуважение не только к Толстому, но и к Марксу [64].

На беду Анненкова, в числе тех языков, которые знал Карл Маркс, был также и русский язык. Маркс прочел в апрельской книжке «Вестника Европы» за 1880 г. XXV—XXXI главы «Замечательного десятилетия» и здесь же на полях 496-й стр., против места, где говорится о безымянном «степном помещике», написал (подчеркнув в тексте слова: «Он уверил Маркса»):

«Ложь. Ничего подобного он ⟨т. е. Григорий Толстой⟩ не говорил. Напротив, он уверял, что вернется к себе домой для вящшего блага своих крестьян. Он даже был настолько наивен, что приглашал меня с собой» [65].

Эти энергичные строки отнюдь не зачеркивают всего повествования Анненкова о Григории Толстом. Напротив, они подтверждают его сообщения о встречах и беседах Толстого с Марксом. Не протестует Маркс и против утверждения Анненкова о «самых дружеских отношениях», существовавших в 1845 г. между «степным помещиком» и «будущим главой интернационального общества», так как слова эти находятся выше того текста, к которому относится опровержение Маркса. Равным образом, это опровержение не может относиться к тем строкам, где Анненков говорит о намерении «степного помещика» продать «все свои имения», ибо, как мы только что видели, Толстой действительно заявлял об этом Марксу и Энгельсу.

Так что возражение Маркса относится исключительно к тем строкам мемуаров Анненкова, где говорится о революционных стремлениях Толстого. Возникший у Толстого благородный «порыв» (как любили выражаться в то время) повысить благосостояние своих крепостных, употребив на это средства, вырученные от продажи имения,— черта социальных мечтаний, типичная для многих тогдашних дворян, принадлежавших к поколению Огарева и Герцена,— расширился в памяти Анненкова до масштабов практического служения делу европейской революции и водворения коммунизма в Европе. Против этого-то искажения истины и протестовал в своей записи Маркс.

Эта запись самым неожиданным образом снова возвращает нас к Некрасову, ибо в ней мы находим и подтверждение тому, что сообщает Авдотья Панаева, и реальный комментарий к тем страницам некрасовских «Трех стран света», где говорится о помещике Данкове, прототипом которого является Григорий Толстой.

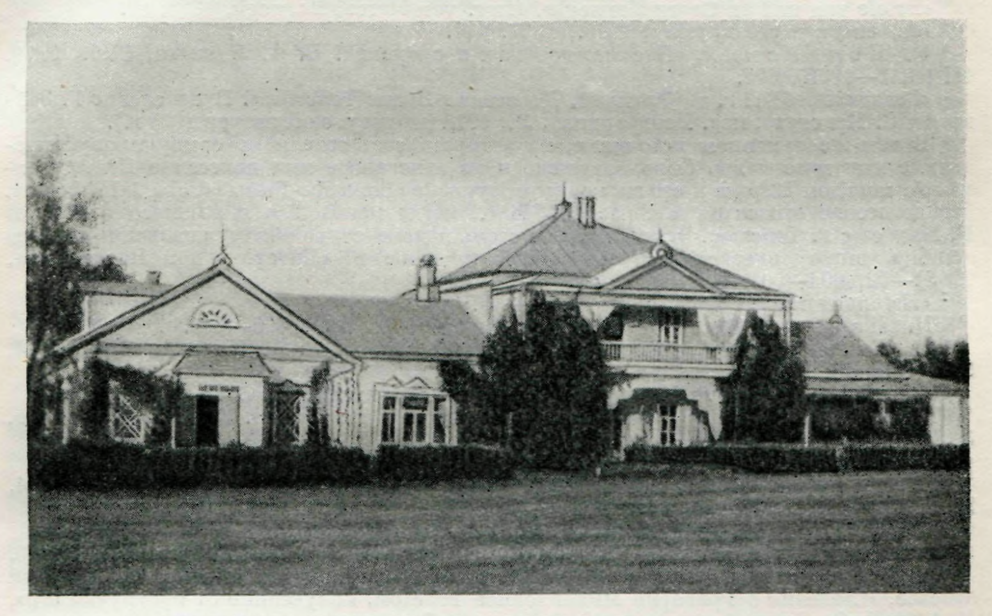
В романе Данков, как мы знаем, вернувшись из-за границы в деревню, решает, по выражению Некрасова, «пожить в своей губернии с самой благой целью».

Теперь эта «благая цель» приобретает, благодаря свидетельству Маркса, совершенно конкретное содержание: она заключается в том, чтобы, поселившись в деревне, приносить крестьянам наибольшую пользу.

И Авдотья Панаева в книге своих мемуаров, и Некрасов в «Трех странах света» сообщают то самое, что сказано в этой записи Маркса. Оба они видели Григория Толстого через несколько месяцев после его свидания с Марксом, и оба в один голос свидетельствуют, что он, действительно, пытался привести в исполнение те планы, которые незадолго до этого излагал, во время пребывания в Париже, великому своему собеседнику. Так, беглая запись Маркса, сделанная на полях русской книги, дает

нам возможность расшифровать подцензурные строки в одном из первых романов Некрасова.

Но, конечно, Григорий Толстой не был бы «лишним человеком», Агариным, «рыцарем доброго стремления и беспутного житья», если бы стал до конца осуществлять свои благородные планы. Проведя в качестве благодетельного помещика три-четыре месяца в своей усадьбе, он при первых же заморозках уехал в Симбирск, а в декабре 1847 г. действительно продал свое Ново-Спасское. Но у нас нет решительно никаких документов, позволяющих утверждать, что средства, вырученные от этой продажи, были использованы им для «вящшего блага» крестьян. Думаем, что и в этом случае он остался верен себе.



ДОМ В КАЗАНСКОМ ПОМЕСТЬЕ Г. М. ТОЛСТОГО — СЕЛЕ НОВО-СПАССКОМ

По семейным преданиям потомков Г. М. Толстого, в этом доме в июне 1846 г. был решен вопрос об издании «Современника»

Фотография

Собрание К. И. Чуковского, Москва

Характерно, что в черновых набросках к своей «Саше» Некрасов первоначально хотел приписать ее герою, Агарину, именно такое внезапное охлаждение к «вящшему благу» крестьян. В этих черновиках приехавший из-за границы помещик сперва проповедует самоотверженное служение интересам крепостного люда, а потом нарушает свои же собственные гуманные заповеди,— и за такую измену крестьянам любимая женщина отвергает его. В окончательной версии «Саши» этот мотив, в силу цензурных условий, всячески приглушен и затушеван, но в черновых вариантах отказ Агарина от служения народному благу выступает со всей очевидностью. Некрасов и здесь обнаружил глубокое знание этой породы людей.

* * *

Уже одно то, что Григорий Толстой так или иначе, хоть на самое короткое время, вошел в соприкосновение с Марксом и Некрасовым, побудило нас возможно внимательнее присмотреться к нему, тем более, что и сама по себе его личность, столь выразительно характеризующая его среду и эпоху, не может не представлять интереса для историка русской

общественности. Недаром Некрасов вплоть до 70-х годов настойчиво возвращался к многообразным подобиям этого типа в ряде стихов и поэм. В созданной Некрасовым большой галлерее «рыцарей на час», «героев слова», Решетиловых, Агариных, Пальцовых, первое по времени место занимает именно Григорий Толстой, воплощенный в образе Данкова на страницах раннего романа Некрасова.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] П. Анненков, Литературные воспоминания, «Academia», Л., 1928, 478—479.
[2] «Briefe von und an Georg Herwegh». Hrsg. von Marcel Herwegh, 1898, 89.
[3] «Анненков и его друзья», СПб., 1892, 521.
[4] В. Белинский, Письма, под ред. и с примеч. Е. А. Ляцкого, СПб., 1914, III (1843—1848), 472.
[5] «Революция 1848 г. во Франции. Донесения Якова Толстого». Предисловие Г. Зайделя и С. Красного, изд. Центрархива, Л., 1926 (на титуле обозначен 1925 г.).
[6] В том же архивном источнике, из которого составители почерпнули опубликованные ими материалы, было помещено и не замеченное ими донесение Якова Толстого о молодом Марксе и его знаменитом журнале «Deutsche-Französische Jahrbücher». Это донесение относится как раз к 1844 г., когда произошла и парижская встреча К. Маркса с Г. Толстым. Этот документ, столь красноречиво обнаруживающий грубую ошибку автора предисловия, опубликован ныне в «Литературном Наследстве», № 31—32, 604—605.
[7] «Летописи марксизма» 1928, VI, 41—42.
[8] И. Панаев, Литературные воспоминания, Л., 1929, 403—404.
[9] В. Белинский, Письма, под ред. и с примеч. Е. А. Ляцкого, СПб., 1914, III (1843—1848), 100.
[10] «Воспоминания В. А. Панаева».— «Русская Старина» 1901, CVII, 491.
[11] Авдотья Панаева, Воспоминания, под ред. и с примеч. Корнея Чуковского, Л., 1927, 209.
[12] См. в настоящем томе: «Автобиографии Некрасова», 164.
[13] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., М.—Л., 1929, XXI (Переписка), 4, 23, 28, 32—35, 41, 47—50, 52 и т. д.
[14] Герцен в то время еще находился в России.
[15] «Из воспоминаний Карла Грюна о Бакунине».—«Голос Минувшего» 1913, I, 186.
[16] В 1928 г. известный знаток казанской старины В. П. Ильин прислал мне, по моей просьбе, «Сведения о Григории Михайловиче Толстом, полученные от правнучки его», Е. А. Казембек, и там, между прочим, сказано: «Сделавшись самостоятельным владельцем своего состояния, ‹Толстой› вместе с братом Владимиром проживал большей частью за границей — преимущественно в Париже...». «Брат Григория Михайловича — Владимир был женат на крестьянке...».
[17] А. Корнилов, Годы странствий Михаила Бакунина, Л.—М., 1925, 283—284.
[18] О. Буланова, Роман декабриста, М., 1925; М. Беляев, От ареста до ссылки.— Сб. «Памяти декабристов», Л., 1926, II, 5—50.
[19] А. Корнилов, цит. соч., 89.
[20] Там же, 283—284.
[21] Вот полностью эта автобиографическая запись Некрасова: «Летом 1846 года я гостил в Казанской губ. у приятеля своего, помещика Григория Матвеевича ‹?Михайловича› Толстого; он бывал за границей, обладал некоторым либерализмом. Жили мы с ним в бане и, сидя на балконе, часто беседовали о литературе. В соседстве приехал Панаев с семьей, у него было там имение. Я возбуждал вопрос об издании журнала. Дело остановилось за деньгами. Панаев заявил, что у него есть 25 000 р. свободного капитала, Толстой обещал ссудить также 25 000 р.» (см. в настоящем томе: «Автобиографии Некрасова», 164—165).

Оговорка Некрасова в наименовании Толстого любопытна тем, что присваивает ему отчество Данкова из романа «Три страны света». Моя догадка, что Григорий Михайлович Толстой выведен Некрасовым в образе помещика Григория Матвеевича Данкова, получает, тем самым, дополнительный аргумент.
[22] «Волжский Вестник» 1887, № 338.
[23] В. Евгеньев-Максимов, «Современник» в 40—50 гг., Л., 1934, 38.
[24] Там же, 39.
[25] Там же, 39—40.
[26] А. Корнилов, цит. соч., 288.
[27] Н. Некрасов, Собр. соч., М.—Л., 1931, V, 126.
[28] Корней Чуковский, Рассказы о Некрасове, М., 1930, 186—190.
[29] Н. Некрасов, Собр. соч., М.—Л., 1930, IV, 263.

[30] «Воспоминания В. А. Панаева».—«Русская Старина» 1893, XII, 543.

[31] «Русская Старина» 1890, XI, 338.

[32] Н. Некрасов, Собр. соч., цит. изд., IV, 362—363.

[33] Там же, 294.

[34] В черновом автографе «Саши» то же слово «морочит» применяется к Агарину: «Как он морочит...» (ЛБ, рук. отд., М/5764).

[35] В. Соллогуб, Воспоминания Л., 1926, 235.

[36] Матерью Григория Толстого была крепостная «девка» Авдотья, и довольно долго он числился ее незаконнорожденным сыном. Лишь на десятом году его жизни отец его, отставной майор Михаил Львович Толстой, женился на этой Авдотье, и она стала Евдокией Савельевной. И лишь в 1825 г., уже юношей, он был узаконен «высочайшим» указом. С самого раннего возраста в радушном семействе Ивашевых он чувствовал себя лучше, чем в отеческом доме. Декабрист Василий Петрович Ивашев относился к нему, как к своему младшему брату. Отец декабриста, Петр Никифорович Ивашев, богатейший помещик Симбирской губернии, генерал-аншеф, сподвижник Суворова, приходился ему по жене родным дядей. Дочери этого большого симбирского барина были выданы за именитых заволжских людей: одна — за Языкова, другая — за князя Хованского, третья — за гвардии штабс-капитана Ермолова, и Григорий Толстой, или, как все они звали его, Грегуар, на правах близкого родственника, чувствовал себя своим человеком в их симбирских (и казанских) усадьбах.

Все эти столбовые симбирцы были для Грегуара Толстого кузинами, дядями, тетками и по-семейному любили его. Его родословная была исстари связана с историей Симбирска: его прадед по отцу, Борис Толстой, был при Екатерине II воеводой «Симбирской провинции». Его дядя, тайный советник Александр Васильевич Толстой, был симбирским губернатором при Павле. (П. Мартынов, Город Симбирск за 250 лет его существования, Симбирск, 1898, 368, 383).

Знаменитые Ундоры, симбирское имение Ивашевых, в XVIII столетии было толстовской вотчиной. В одном из своих неизданных писем к сестре декабриста, княгине Хованской, Григорий Толстой говорит, что для него приехать из Казани в Ундоры — это все равно, что вернуться с чужбины в отчизну.

Вот отрывок из неизданного французского письма той же княгини Хованской к ее брату, декабристу Ивашеву (от 28 августа 1835 г.), посланного ему из Симбирска:

«Вот уже два дня, как мы наслаждаемся обществом моего кузена Грегуара Толстого, который прогостит у нас еще несколько дней. Он привез с собой одного молодого человека, чудесного музыканта» и т. д. (ЛБ, рук. отд., М/5783).

Вся эта симбирская знать очень близко принимала к сердцу дела и поступки «Грегуара» Толстого. В 1834 г. генеральша Ивашева пишет сыну-декабристу из Симбирска:

«Вот еще новость, которая доставит тебе удовольствие: Грегуар Толстой женится в ближайшее время. Его невеста Екатерина Языкова, прекрасная, как день, и очень умная,— и он такой очаровательный молодой человек...» (ЛБ, рук. отд., М/5786).

[37] «Русская Старина» 1890, XI, 327—351.

[38] См. письмо Бакунина к брату Павлу от 29 марта 1845 г. в цит. кн. А. Корнилова, 282—284.

[39] С. Аксаков, Мое знакомство с Гоголем.— Полн. собр. соч., П., 1886, III, 342—343.

[40] В. Соллогуб, Воспоминания, М.—Л., 1931, 229—233.

[41] Иными словами: пусть ничто не мешает радикалу Толстому питать самые дружеские чувства к такому блюстителю реакционных идей, каким заявил себя В. А. Соллогуб. Стихотворение Соллогуба кончается так:

Где б мы ни встретились с тобой,
В Париже шумном, в теплой Ницце,
В Симбирске, нам стране родной,
Иль в нашей чопорной столице,—
Мы, повинуяся судьбе
И нами избранному кругу,
Все будем верными себе,
Все будем верными друг другу...
Крепясь душевной простотой,
Сомненьем не тревожась грубым,—
Ты — всюду тот же будь Толстой,
Я — буду тем же Соллогубом.

(«Сочинения В. Соллогуба», СПб., 1856, IV, 559).

[42] Мое утверждение было, как сказано выше, встречено с большим недоверием, но теперь оно уже ни в ком не вызывает сомнений. Так, в алфавитном указателе к I тому «Переписки Маркса и Энгельса» (Собр. соч., т. XXI), вышедшему в 1929 г., сказано: «Толстой Яков Николаевич, граф (1791—1867), на дипломатической и политической службе в Париже, 34, 35, 41, 42, 61». А уже в IV томе той же «Переписки», вы-

шедшем в 1931 г., в общем указателе о том же самом лице напечатано с указанием тех же страниц: «Толстой, Григорий Михайлович (1808—1871), казанский помещик, один из русских приятелей Маркса и Энгельса в 40-х годах, I, 34, 35, 42, 61».

Таким образом, гипотеза о Григории Толстом уже вошла в научный обиход в качестве достоверного факта.

[43] Архив ИМЭЛ.

[44] Там же. Ср. «Летописи марксизма» 1928, VI, 47. Подлинник — по-немецки.

[45] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., XXV, 36—38.

[46] Архив ИМЭЛ.

[47] Там же.

[48] П. Анненков, Литературные воспоминания, Л., 1928, 479.

[49] Там же.

[50] Там же, 478.

[51] П. Анненков. Две зимы в провинции и в деревне.—«Былое» 1922, 18.

[52] Там ему и его многочисленным братьям принадлежало село Чириково (Чирьково тож), а также село Павловка, деревня Иевлево, деревня Моревна (П. Мартынов, Селенья Симбирского уезда, Симбирск, 1903, 157—161). Характерно, что он называет Толстого «нашим степным помещиком», то-есть причисляет его к своим землякам, к симбирцам. По уездной табели о рангах в 30-х и 40-х годах Григорий Толстой, как один из «ивашевцев», стоит гораздо выше, чем Анненков.

[53] «Вестник Европы» 1880, апрель, 479.— В позднейшем отдельном издании воспоминаний Анненкова эта фраза отсутствует.

[54] «Новое Время» 1880, №№ 1473, 1499, 1500, 1510 (от 4 апреля, 5, 6 и 16 мая).

[55] «Письма русских писателей к А. С. Суворину», Л., 1927, 50.

[56] «Новое Время» 1880, № 1515 (от 21 мая).

[57] «М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», СПб., 1912, III, 384.

[58] См. мою статью «Плеяда Белинского и Достоевский» в кн.: «Н. Некрасов, Тонкий человек», М.—Л., 1928.

[59] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 1932, XXV, 534 (письмо Маркса к Л. Кугельману от 12 октября 1868 г.).

[60] П. Анненков, цит. соч., 476.

[61] Архив ИМЭЛ. Ср. «Летописи марксизма» 1928, VI, 46. Подлинник — на французском языке.

[62] Там же.

[63] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 1929, XXI, 34—35.

[64] Вообще во всем этом знаменитом фрагменте анненковских воспоминаний есть оттенок фальши: здесь Анненков почему-то скрывает свои подлинные отношения не только к Толстому, но и к Марксу. Его отношения к Марксу, как мы знаем из его переписки, были благоговейно почтительны, но на страницах «Вестника Европы»,— быть может, в угоду либеральной редакции этого органа,— к почтительности примешивается какой-то наигранный иронический тон.

[65] Приведем подлинный (французский) текст пометки Маркса: «C'est un mensonge! il n'a dit rien de la sorte. Il m'a dit au contraire qu'il retournerait chez lui pour le plus grand bien de ses propres paysans; il avait même la naïveté de m'inviter d'aller avec lui...». «Русская Мысль» 1903, VIII, 63.

НЕКРАСОВ И ПАРИЖСКАЯ КОММУНА

Статья |И. Власова|*

«Честь и слава вам, доблестно павшие...»
Некрасов

До сих пор в литературе о Некрасове не ставился вопрос о том, как отнесся великий русский поэт-демократ к такому событию мировой истории, как Парижская Коммуна, современником которой он был и которую Ленин назвал «величайшим образцом величайшего пролетарского движения XIX века».

Между тем, следовало бы уже давно предположить, что Некрасов, обладавший и как поэт, и как редактор такой непосредственной отзывчивостью к явлениям текущей политической жизни, не мог пройти мимо современного ему исторического явления столь крупного масштаба.

Специальное обследование материалов, относящихся к этой теме, привело нас к убеждению, что Некрасов сделал смелую, но безнадежную попытку откликнуться на события Коммуны и франко-прусской войны в двух стихотворениях, принадлежащих к лучшим и широко известным образцам его политической лирики.

Речь идет о стихотворениях «Смолкли честные, доблестно павшие...» и «Страшный год».

Первое из них в течение ряда десятилетий, вплоть до настоящего времени, считалось «посвященным» подсудимым известного «процесса 50-ти» (1877) и признавалось предсмертным откликом Некрасова на политическую реакцию в тогдашней России.

Стихотворение «Страшный год» до сих пор рассматривалось, как протест против надвигавшейся русско-турецкой войны 1877—1878 гг.

Обосновать новое понимание названных стихотворений как откликов Некрасова на события Парижской Коммуны и франко-прусской войны — такова задача настоящей статьи.

1

Для передовых русских современников Парижская Коммуна была яркой революционной молнией, прорезавшей на короткое время серое небо буржуазной эпохи и вновь приковавшей все взоры к Франции. Особенно сильное впечатление события Коммуны, естественно, произвели на молодую и революционно настроенную часть русского общества.

П. Л. Лавров писал, что 1871 год «вызвал в революционных элементах русской интеллигенции определенное движение, которое резко выступи-

---

* Смерть помешала автору довести публикуемую здесь работу до конца. В распоряжении «Литературного Наследства» оказалась лишь предварительная редакция статьи. Однако, учитывая существенный интерес выдвинутой И. И. Власовым гипотезы, мы печатаем статью, введя в нее отсутствовавшие звенья аргументации и документально-фактических мотивировок и придав изложению литературно-законченную форму. Доработка статьи произведена С. А. Макашиным.— Ред.

ло в начале 70-х годов как энергичная сила на фоне унылой и сознающей свое бессилие русской оппозиционной интеллигенции» [1].

При этом Лавров подчеркивает одну характерную черту в восприятии парижских событий в России, указываемую и многими другими современниками. Не столько само возникновение Коммуны вызвало в революционных элементах русской интеллигенции «определенное движение», «сколько кровавая расправа с коммунарами». Именно она сильнее всего воздействовала на чувства наиболее активной части русского общества и усилила накопившееся уже раньше недовольство условиями политической жизни в стране.

Как мы увидим, такие же настроения, в связи с кровавой расправой над коммунарами, переживал и один из главных «властителей дум» тогдашней передовой интеллигенции — ее любимый поэт Некрасов.

Радикально-демократическая печать в России, несмотря на суровые цензурные условия, проявила активный интерес к разыгравшимся во Франции событиям. «Отечественные Записки» не составляли, разумеется, исключения.

Непосредственные отклики на начавшуюся франко-прусскую войну появляются впервые в июльской книжке «Отечественных Записок» за 1870 г. В ней напечатано стихотворение А. Н. Плещеева, в котором есть строки:

Скоро ль сменится любовью
Эта ненависть племен,
И не будет братской кровью
Меч народов обагрен?..

В августе помещена хроника Н. Демерта — «Наши общественные дела» — на тему о влиянии франко-прусской войны на внутреннее положение России. В октябрьской книжке тот же Н. Демерт начинает свое «внутреннее обозрение» такими характерными словами: «Так как судьбами всего мира в настоящее время распоряжается несколько сотен крупных капиталистов, то трудно определить, когда кончится затянувшаяся война», и т. д. В том же номере напечатаны статья М. М. ⟨М. Е. Салтыкова-Щедрина⟩ «Сила событий» и стихотворение Д. Минаева «Над полями битвы»:

...две нации ведут упорный бой,
Две нации льют кровь, изобретая
Орудья к истреблению людей...

С ноябрьской книжки журнала началось печатание «Бесед по поводу прусско-французской войны» Г. З. Елисеева, которые продолжались и в 1871 г. Наконец, в декабрьском номере помещены отзывы о трех новых книгах под общим заглавием «Франция или Германия?», а также статья Н. Павловского «Свежие и отживающие военные силы».

Еще большее внимание уделяет журнал развертывающимся во Франции событиям в следующем году, несмотря на усилившееся, в особенности после установления Парижской Коммуны, давление цензуры.

В январе 1871 г. помещены «Военно-поэтические отголоски» Выборгского пустынника, т. е. В. П. Буренина. В феврале напечатаны: статья Н. К. Михайловского о Бисмарке, «Беседа о войне» Г. З. Елисеева и очерк «Женщины в современной войне». В марте снова «Военно-поэтические отголоски» Выборгского пустынника и очередная «Беседа о войне» Г. З. Елисеева.

Только в июльском номере появился первый отклик на события, непосредственно связанные с Парижской Коммуной и ее гибелью. Это — стихотворение Н. Курочкина «Паровая гильотина», с большой смелостью

НЕКРАСОВ
Автолитография И. Н. Крамского, 1878 г.
Литературный музей, Москва

бичующее буржуазное правительство Тьера за массовый расстрел коммунаров:

...постыдно
В наши дни сожгли Париж,
Где правители «льют слезы»
Из-за «камней крепостей»
И наводят митральезы
Против женщин и детей.
На войне, как в лихорадке,
Кровь людскую льют ручьем,
И расстреливать десятки
Тысяч стало нипочем...

Слова о «камнях крепостей» содержали сатирический намек на речь Жюля Фавра, который лицемерно обвинял коммунаров в том, что из-за них были повреждены артиллерией версальцев форты Парижа.

В июне 1871 г. Некрасов привлек к составлению корреспонденции из Парижа П. Д. Боборыкина, который должен был специально отправиться для этого из Петербурга во французскую столицу. Однако Боборыкин написал только два «письма» из Парижа. Они были напечатаны в августовской и ноябрьской книжках «Отечественных Записок» за 1871 г., под общим заглавием «На развалинах Парижа»[2].

«Письма П. Д. Боборыкина представляют собой, в сущности, наиболее злободневную и полную информацию журнала о Париже 1871 г. Боборыкин дает ряд острых, живых, но несколько поверхностных наблюдений над жизнью великого города в «страшный год» войны и Коммуны: «Все пережито им ⟨Парижем⟩ в течение одного года: лихорадка шовинизма, легкомыслие дерзости, эпидемия самообмана, пароксизмы страха и отчаяния, томление осады, одушевление опасности, голод, холод, геройство неумелости, вспышки народного броженья,— наконец, вооруженный взрыв небывалых, громадных размеров, где впервые выступил работник не с пикой и ножом, а с грозной артиллерией; и опять новая вереница адских испытаний: резня, разрушение, зарево пожаров, зверства солдатчины, человеческая бойня, превышающая все, что только воображение европейца могло создать в условиях возможной гуманности... Один год стоит вечности. Все потрясено, разбито, окровавлено, рассеяно, залито лавой разрушения».

В обещанном третьем «письме» Боборыкин предполагал «найти настоящий ключ к уразумению главного нерва революции 18-го марта», но либо такая задача оказалась для автора непосильной, либо возникли цензурные затруднения. Очередное «письмо» в журнале не появилось.

В сентябрьской книжке возобновилось прерванное войною печатание «Парижских писем» постоянного французского обозревателя журнала Шассена (Клод Франк) и продолжалось до конца года. С ноября началось печатание переведенной с французского Варф. Зайцевым повести «Красная рубашка во Франции»,— записок об участии гарибальдийцев, этой своеобразной «интернациональной бригады» тех дней, во франко-прусской войне на стороне французов.

Таков краткий обзор основных материалов, касающихся событий во Франции 1870—1871 гг., появившихся за эти же годы в «Отечественных Записках». Даже эти материалы, не говоря о всех других возможных источниках информации, показывают, что Некрасов находился, подобно всем передовым русским людям эпохи, в атмосфере живой и глубокой заинтересованности развивавшимися во Франции драматическими событиями. Но, вместе с тем, изучение этих материалов обнаруживает, что позиции «Отечественных Записок» в отношении Коммуны определялись не Некрасовым или Щедриным, а народнической частью редакции и находились в полном соответствии с народнической идеологией.

Правда, главный народнический публицист журнала, Михайловский, не дал (вероятно, по соображениям цензурного порядка) специальной статьи о Коммуне, но его взгляд на нее достаточно выразительно определяется из ряда отдельных упоминаний в его статьях данного периода. События 1870—1871 гг. Михайловский считал «историческим атавизмом»

АВТОГРАФ СТИХОТВОРЕНИЯ «СМОЛКЛИ ЧЕСТНЫЕ...»
С ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ ЗАГЛАВИЕМ «СОВРЕМЕННАЯ ФРАНЦИЯ»
Институт литературы АН СССР, Ленинград

и ставил в заслугу Луи Блану, к которому относился с политической симпатией, что он сумел избежать крайностей «парижских и версальских неистовств» [3].

Луи Блан и его соглашательская тактика поднимаются на щит и Шассеном. Его корреспонденции определенно враждебны Коммуне, хотя одновременно они и резко обличительны по отношению к Тьеру и к Жюлю Фавру. Мелкобуржуазный демократ Шассен враждебен Коммуне именно потому, что если не увидел, то почувствовал в ней опыт диктатуры пролетариата. Наиболее решительные, энергичные и революционные элементы

Коммуны — якобинцы, эбертисты и бланкисты — неизменно квалифицируются им в самых резких выражениях.

С чисто прудонистских, популярных в раннем народничестве, позиций трактует Коммуну другой публицист журнала, Н. Павловский. Для него Коммуна — это «принцип федерализма в его извечной, во французской истории, борьбе с централизмом» [4].

Конечно, в журнале отмечались, особенно после кровавой «майской недели», и зверства версальцев. Однако, даже сочувствуя коммунарам, народнические публицисты и рецензенты «Отечественных Записок» откровенно порицали метод «революционного насилия» коммунаров и вслед за либералами осуждали их «крайности». В этом отношении показательна позиция другого публициста журнала, Г. З. Елисеева. В своих анонимно печатавшихся «Беседах о франко-прусской войне» он, упрекая республиканскую партию в бездейственности, вместе с тем с откровенным осуждением относится к доктринерству «крайних красных» [5].

Для народников в полном согласии с их взглядами, Парижская Коммуна была специфическим и чуждым русским условиям явлением западноевропейской жизни, с ее ожесточенными классовыми битвами и борьбой.

Очевидно, что не эти взгляды и оценки определяли отношение к Парижской Коммуне Некрасова и Щедрина, хотя они и стояли во главе журнала. Правда, русские революционные демократы, так же как идеологи европейского мелкобуржуазного социализма, не могли вполне понять «тайны» Коммуны. Поняли эту «тайну» Маркс и Энгельс и гениально истолкованный ими опыт парижских коммунаров, штурмовавших в 1871 г. твердыни буржуазного мира, явился одним из важнейших теоретических оснований, на котором построили победу русского пролетариата Ленин и Сталин. «Мы все стоим на плечах коммуны»,— писал Ленин (XXIV, 14).

Но отдельные представители русской демократии подошли довольно близко к пониманию классовой природы Коммуны. В первую очередь это относится к очевидцу парижских событий Лаврову, что отчасти объясняется его личным общением с Марксом и Энгельсом, к которым он ездил в Лондон по делу организации помощи Коммуне, и к Щедрину, сделавшему смелую, но безнадежную попытку напечатать в «Отечественных Записках» статью (пятая глава «Итогов»), гневно клеймящую «одичалых консерваторов Франции», версальских палачей, и выражающую уверенность в исторической правоте дела Коммуны и неизбежности его победы в будущем. К этим двум именам необходимо будет теперь, как увидим, прибавить имя великого поэта русской революционной демократии — Некрасова.

Цензурные условия не позволили Некрасову поместить в «Отечественных Записках» те материалы, которые бы выражали отношение к Коммуне его и Щедрина, а не Михайловского и Елисеева.

Сам поэт за весь 1871 год поместил в журнале только одну поэму — «Недавнее время», написанную летом в Карабихе (датирована 1 июля 1871 г.). В «послесловии» к поэме Некрасов счел необходимым объяснить читателю, почему он обратился к историческим темам и не касается животрепещущих тем современности:

...читатель, в вопросах текущих
Права голоса мы лишены...
. . . .

Так, намекая на цензурные условия, объяснил Некрасов отсутствие в журнале его собственного прямого отклика на «текущие» события во Франции. Но одновременно косвенный намек на эти события и на их отражение в политике самодержавия Некрасов, думается нам, дал в тех

строках «Недавнего времени», где он говорит о февральской революции 1848 г.:

Взволновался Париж беспокойный,
Наступили февральские дни,
Сам ты знаешь, читатель достойный,
Как у нас отразились они.

Во всяком случае, читая эти строки чуть ли не в самые дни совершавшихся в Париже грозных событий, современник невольно должен был ассоциировать прошлое с настоящим, историю с современностью.

Но скоро Некрасов выполнил и свое обещание, данное читателю в том же «Недавнем времени»:

Погоди, если мы поживем,
Дав назад отодвинуться фактам,
И вперед мы рассказ поведем...
И всегда по возможности будем
Верны истине задним числом.

«Задним числом», в 1872—1874 гг., Некрасов создал два замечательных, «верных истине» стихотворения, прямо относящихся к событиям, о которых в 1871 г. он не рискнул писать.

2

В конце апреля 1872 г. в Париже вышел в свет сборник политической лирики Виктора Гюго «L'Année terrible» («Страшный год»). В этой книге французский поэт объединил свои стихи, посвященные событиям, которые пережила Франция с августа 1870 г. по август 1871 г.,— франко-прусской войне и Парижской Коммуне.

Своеобразная лирическая хроника «Страшного года» разделена на главы по месяцам. По содержанию своему она естественно распадается на две части.

Первая начинается стихотворением о разгроме французской армии при Седане и содержит ряд картин войны, проникнутых чувством глубокого патриотизма и ненависти к пруссакам. Вторая представляет собой сцены из жизни, борьбы и поражения Парижской Коммуны.

Вся книга проникнута мрачным, пессимистическим настроением. Недаром ее последнее стихотворение — заключительный аккорд — озаглавлено «Dans l'ombre» («Во мраке»).

Грозные события разгрома Франции и насилия прусской военщины над побежденной страной и создали у поэта настроение беспросветного отчаяния.

С другой стороны, не удовлетворяло Гюго и развитие событий в период Парижской Коммуны. Отношение его к Коммуне было противоречиво. Возникновение Коммуны Гюго горячо приветствовал: он надеялся, что она продолжит сопротивление французской армии пруссакам и расторгнет позорный для Франции прелиминарный мир, заключенный правительством Национальной обороны. Он надеялся также, что Коммуна вступит на путь реформ, осуществляя их через обычный буржуазно-демократический парламентаризм.

Когда началась ожесточенная борьба между коммунарами и войсками версальского правительства Тьера, Гюго пытался примирить борющиеся стороны, призывая их к взаимному «прощению». После разгрома Коммуны Гюго мужественно протестовал против кровавых зверств версальских палачей, вступаясь за коммунаров, призывая версальцев к пощаде и милосердию в отношении побежденных. Но, возмущаясь насилиями версальцев, Гюго осуждал и ответные действия коммунаров, в особенности расстрелы ими заложников.

Преувеличивая, как всякий социалист-утопист, значение и действенность слова, Гюго пытался вызвать чувства великодушия у версальцев, но, разумеется, все его гуманистические призывы оставались гласом вопиющего в пустыне и еще более обостряли пессимистическое настроение писателя.

Виктор Гюго пользовался в России огромной популярностью. Каждая вновь выходившая его книга, будь то роман или сборник стихов, тотчас же переводилась на русский язык. Неоднократно бывало, что сразу появлялось несколько переводов, печатавшихся в толстых журналах и издававшихся самостоятельными книжками [6].

Естественно, что и «L'Année terrible» сразу же после выхода книги привлек к себе внимание как редактора «Отечественных Записок» — Некрасова, так и постоянных сотрудников журнала—поэтов-переводчиков.

Первым взялся за перевод отрывков из этой книги Вас. Ст. Курочкин. Уже в июльской книжке журнала за 1872 г. был напечатан отрывок его перевода с подробным заглавием «Из книги Виктора Гюго «Грозный год». Август 1870 г.»[7].

В. Курочкин начал перевод книги с ее первой главы, отражавшей события августа 1870 г.— поражение французской армии при Седане и последовавшее затем падение Наполеона III.

В примечании к переводу В. Курочкин писал: «Предположив перевести несколько стихотворений и отрывков из новой книги Гюго, я остановил свой выбор на таких, в которых наиболее рельефно выражается, в связи с общим миросозерцанием Гюго, его взгляд на современные события и глубоко оригинальная манера изложения. Затем распространяться о значении самой книги и ее автора считаю излишним. Это было бы все равно, что доказывать важность событий, составляющих ее содержание».

Июльскую книжку «Отечественных Записок» просматривал как редактор сам Некрасов. Она подготовлялась к печати еще до его отъезда на летние месяцы в Карабиху. Разумеется, поэт не мог не заинтересоваться новой книгой Виктора Гюго и не пожелать ближе познакомиться с нею. Так оно и было, как увидим.

В «Отечественных Записках» за 1872 г. были напечатаны еще два перевода стихотворений из «Страшного года» Гюго: в № 10 (октябрь) было помещено стихотворение «Фалькенфельс», в переводе П. И. Вейнберга, и в № 12 (декабрь) — «Два трофея», в переводе Д. Д. Минаева.

Переводы эти были гораздо слабее, чем очень удачный перевод В. Курочкина. Но и они должны быть упомянуты как свидетельство того интереса, который был проявлен редакцией «Отечественных Записок» к новой книге Гюго.

Собираясь в середине июня 1872 г. отправиться из Петербурга в Карабиху, Некрасов занялся подготовкой материала для творческой работы над «Княгиней Волконской», последней из трех своих «декабристских поэм». Он провел несколько вечеров с сыном М. Н. Волконской — князем Михаилом Сергеевичем Волконским. По просьбе поэта Волконский читал ему французские «Записки» своей матери и тут же переводил их на русский язык, а Некрасов, слушая, делал заметки карандашом в своей тетради.

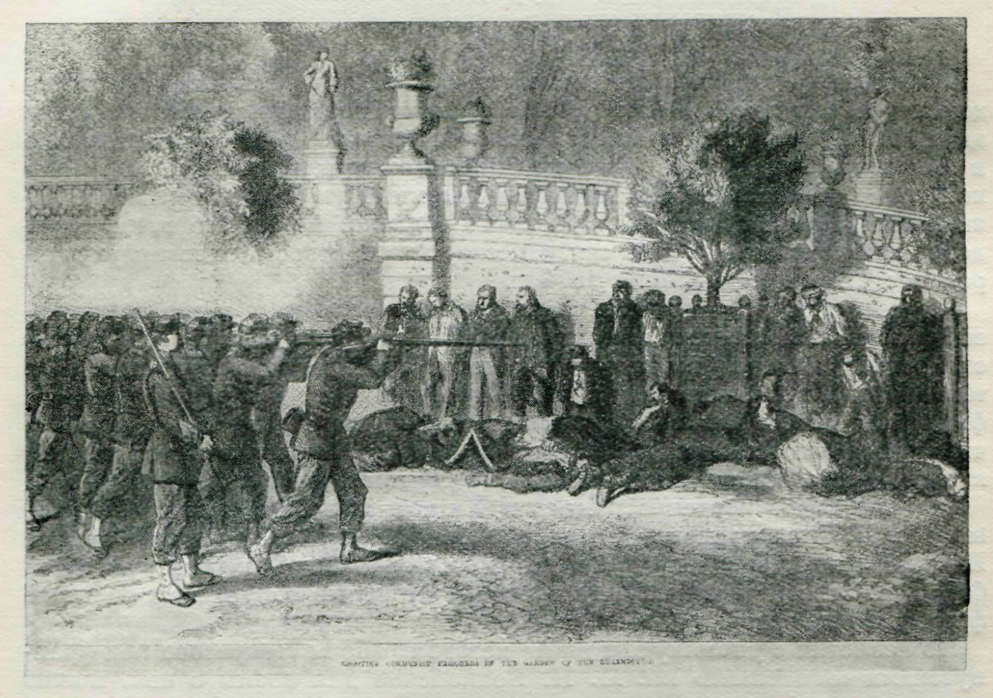
Одновременно Некрасов позаботился обеспечить себя и другими материалами, свидетельствовавшими о наличии у него в эту пору активного интереса к современной Франции и ее бурным событиям.

Перед самой поездкой в Карабиху он обратился к своей сестре А. А. Буткевич в Москву с такой просьбой: «В четверг или в пятницу — и то поджидаем для тебя,— мы едем в Москву и потом в Карабиху. Я очень бы желал, чтобы ты ехала с нами... Купим «L'Année terrible» Виктора Гюго

и будем перелагать в русские стихи дорогой. Да еще у меня есть книжица на французском, с которою ты должна меня ознакомить» [8].

А. А. Буткевич приняла предложение брата и, присоединившись к нему в Москве, поехала в Карабиху, где пробыла с ним до августа. Что дело было именно так, видно из письма А. Н. Плещеева к Некрасову от 26 июня 1872 г. В письме этом Плещеев просит передать его «искреннее почтение Анне Алексеевне, возвращения которой здесь ждут нетерпеливо» [9].

Таким образом, А. А. Буткевич выполнила первую часть просьбы Некрасова и поехала в Карабиху. Возникает вопрос, помогала ли она ему (Некрасов плохо знал французский язык, а Буткевич владела им



РАССТРЕЛ ПЛЕННЫХ КОММУНАРОВ В ЛЮКСЕМБУРГСКОМ САДУ
Современная английская гравюра
Музей ИМЭЛ при ЦК ВКП(б), Москва

свободно) в ознакомлении с книгой Виктора Гюго, которую поэт хотел «перелагать в русские стихи»?

Среди черновых рукописей Некрасова, находящихся в Институте литературы Академии Наук (фонд 203, № 29), сохранился листок почтовой бумаги, на котором имеется карандашная запись таких стихотворных отрывков:

⟨1⟩

Гений злобы и бешенства носится,
Над тобою, страна безответная,
Все жестокие страсти разнузданы:
Подозрительность, алчность и мстительность.

⟨2⟩

Да едва ль кому и нужен ныне
Этот стих восторженно-призывный

В населенной мертвыми пустыне.
Словно камень брошенный — в пучине
Сгибнет он, бесследный, безотзывный.

Или есть еще, сердца живые

⟨3⟩

Но гремел, когда они родились,
Ярый гром, ручьями кровь текла...
Эти души робкие смутились
И, как птички в бурю, притаились
В ожиданьи света и тепла.

В литературе о Некрасове давно уже существует указание, что приведенные тексты представляют собой отрывки первоначальной редакции двух стихотворений Некрасова: «Смолкли честные, доблестно павшие...» и «Страшный год». Такое указание было сделано еще в 1913 г. К. И. Чуковским [10]. Правильно констатировав несомненную связь отрывков с названными стихотворениями, Чуковский, однако, не вполне точно определил самый характер этой связи и сверх того недостаточно аргументированно датировал отрывки 1874 г.

Мы полагаем, что отрывки имеют более раннюю дату и что возникновение их относится к тому моменту, когда у Некрасова еще не было вполне определенного плана использования написанных стихов. Содержа в себе, так сказать, в синкретическом виде и «Страшный год» и «Смолкли честные...», фрагменты опубликованной рукописи, тем не менее, не могут быть сочтены черновиками этих произведений в точном смысле этого слова, так как возникли раньше их замысла и по другому поводу. По какому же?

Сравнительное изучение рукописи Института литературы и «L'Année terrible» В. Гюго приводит нас к заключению, что стихотворные записи Некрасова представляют собою не что иное, как художественную обработку его непосредственных, прямых впечатлений, полученных от книги французского поэта.

По аналогии с упомянутым выше методом работы Некрасова над французскими «Записками» кн. М. Н. Волконской для поэмы о ней, можно представить себе, как рождались эти стихи. Сестра поэта А. А. Буткевич читала ему книгу Гюго и переводила по-русски, а Некрасов тут же записывал свои впечатления и затем (это могло быть и позже) «перелагал» их в стихи. Их связь с впечатлениями и мыслями, возникшими у Некрасова непосредственно от соприкосновения с поэтическими образами книги В. Гюго, особенно отчетливо видна во втором отрывке.

Стихи:

Да едва ль кому и нужен ныне
Этот стих восторженно-призывный... и т. д.

заключают в себе не только прямую и очень точную характеристику патетически-приподнятого стиля сборника Гюго, действительно заполненного «призывами» к Совести, Разуму, Чести и т. п., но и горько-скептическое суждение Некрасова об общественной судьбе этого страстного выступления французского поэта-демократа в условиях реакции, охватившей после разгрома Парижской Коммуны не только Францию, но и всю Европу.

Таким образом, исписанный Некрасовым листок почтовой бумаги является, по нашему мнению, доказательством, что его намерение, выраженное в письме к А. А. Буткевич, ознакомиться с ее помощью с «L'An-

née terrible» Гюго и затем «перелагать в русские стихи» содержание сборника было частично осуществлено в Карабихе летом 1872 г. Этим годом, вернее всего, и должна быть датирована рукопись отрывков, относимая К. И. Чуковским к 1874 г., когда, как увидим, произошло лишь окончательное оформление сделанных в Карабихе два года назад «заготовок» в два самостоятельных стихотворения.

АВТОГРАФ, СОДЕРЖАЩИЙ ОТРЫВКИ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ РЕДАКЦИЙ СТИХОТВОРЕНИЙ «СМОЛКЛИ ЧЕСТНЫЕ...» И «СТРАШНЫЙ ГОД»

Институт литературы АН СССР, Ленинград

Другим доказательством знакомства Некрасова с книгой стихов Гюго является само заглавие одного из стихотворений Некрасова, вышедших из этих черновых набросков. «Страшный год» — не что иное, как перевод французского названия книги Гюго «L'Année terrible».

Конечно, такое совпадение заглавий могло бы быть совершенно случайным и не указывать на связь «Страшного года» Некрасова с одноименной книгой Виктора Гюго. Но дело в том, что сам Некрасов устраняет возможность какого-либо сомнения на этот счет.

Кроме основного заглавия, Некрасов дал своему стихотворению в его окончательной редакциии подзаголовок «1870», подчеркивая этим, что оно относится к событиям года франко-прусской войны. Но известно, что эта война и возникшая в тесной связи с ней Парижская Коммуна и составляют все содержание «Страшного года» Гюго.

За все время пребывания в Карабихе летом 1872 г. Некрасову, видимо, не удалось заняться обработкой сделанных им при слушании книги Гюго стихотворных набросков. До 17 июля поэт был поглощен «усердным» писанием «Княгини Волконской», а 19 июля «Отечественным Запискам» было объявлено первое предупреждение за июльскую книжку. Секретарь редакции Н. С. Курочкин срочно сообщил Некрасову о причинах административной кары, постигшей журнал, а также информировал его о принятых им мерах предосторожности для августовской книжки.

«Составляется книжка,— писал Н. Курочкин,— таким образом, что в ней не будет ни одной строчки, к которой можно было бы придраться». «Из опасения новой беды» Курочкин, в частности, решил изъять из августовского номера продолжение переводов своего брата из «L'Année terrible», о чем сообщил Некрасову в том же письме[11]. Некрасов, видимо, санкционировал решение, и, таким образом, вторая часть перевода Вас. Ст. Курочкина из книги Виктора Гюго не увидела свет. Сам же Некрасов в этих условиях также вряд ли был расположен к завершению работы над сделанными набросками, поскольку не было надежды напечатать стихотворения такой тематики в ближайшее время. Как увидим, он вернулся к карабихским записям лишь по прошествии двух лет, в 1874 г.

3

В истории создания стихотворения «Страшный год» можно различить следующие этапы.

Из первоначального синкретического наброска, сделанного летом 1872 г., Некрасов ввел в стихотворение (в переработанном виде) три строфы и дописал две новые. Затем в переписанное уже начисто стихотворение из пяти строф Некрасов вписал на полях еще одну строфу, поместив ее между первой и второй (автограф ИЛИ, фонд 203, № 31— см. факсимильное воспроизведение). В итоге получилось стихотворение в шесть строф — наиболее ранняя редакция «Страшного года». Характерно, что уже в ней отсутствует та строчка отрывков 1872 г., которая содержала непосредственную характеристику стиля «L'Année terrible»:

Этот стих восторженно-призывный...

Конструкция с указательным местоимением исчезла и была заменена двумя строками о «поэзии» вообще:

Лишь молчит поэзия святая,
Дочь весны, свободы и любви...

Таким образом, прямая и наиболее явная связь стихотворения с впечатлениями, полученными Некрасовым от сборника Гюго, оказалась завуалированной.

Впрочем, в упомянутой новой строфе, вписанной на полях, появились две строчки, которые вновь ощутимо связывали стихотворение с книгой Гюго, на этот раз с самой поэтической манерой ее. Вот эта вписанная строфа:

Грозный пир злодейства и насилья,
Торжество картечи и штыков.
О любовь! — вот все твои усилья!
Разум! — вот плоды твоих трудов!

Вся книга Гюго полна таких восклицаний и полных пессимизма обращений к Любви, Разуму, Совести, Свободе. В произведениях же русского поэта-реалиста эти риторические «призывы» совершенно необычны.

Окончательная редакция «Страшного года», результат еще одной переработки, содержит уже семь строф, причем в новой строфе, несмотря на то, что стихотворение имеет в виду в первую очередь события 1870 г., т. е. франко-прусской войны, имеется уже и ясное указание на острую классовую борьбу во время Парижской Коммуны и на «мстящую трусость» французской буржуазии, купающейся в крови побежденных в бою коммунаров [12]:

Где вражда, где трусость роковая,
Мстящая — купаются в крови,
Стон стоит над миром не смолкая...
Только ты, поэзия святая,
Ты молчишь, дочь счастья и любви!

В результате упорной работы над произведением Некрасов добился того, что в сжатой форме одного небольшого стихотворения дал яркий образ Франции «страшного» 1870—1871 года. В одном этом стихотворении Некрасов художественно сконденсировал, в сущности, все элементы общей картины кровавого разгрома Франции пруссаками и кровавого разгрома Коммуны версальцами. Ознакомление с реалиями этой картины приходило к Некрасову, как ко всякому современнику, из многих источников. Но среди них, по силе художественного воздействия, публицистической заостренности и гневному пафосу ненависти к преступникам войны и насильникам свободы, на первом месте стояла книга злободневной политической лирики поэта-трибуна французской демократии. Впе-

ДОМ-УСАДЬБА НЕКРАСОВА В КАРАБИХЕ. ФАСАД ГЛАВНОГО ЗДАНИЯ
С фотографии 1910-х гг.
Институт литературы АН СССР, Ленинград

чатления от нее входят в число непосредственных творческих импульсов, способствовавших созданию «Страшного года» Некрасова.

Напомним окончательный текст стихотворения:

Страшный год! Газетное витийство
И резня, проклятая резня!
Впечатленья крови и убийства,
Вы вконец измучили меня!

О любовь! — где все твои усилья?
Разум! — где плоды твоих трудов?
Жадный пир злодейства и насилья,
Торжество картечи и штыков!

Этот год готовит и для внуков
Семена раздора и войны,
В мире нет святых и кротких звуков,
Нет любви, свободы, тишины.

Где вражда, где трусость роковая,
Мстящая — купаются в крови,
Стон стоит над миром не смолкая...
Только ты, поэзия святая,
Ты молчишь, дочь счастья и любви!

Голос твой, увы, бессилен ныне!
Сгибнет он, не нужный никому,
Как цветок, потерянный в пустыне,
Как звезда, упавшая во тьму.

Прочь, о, прочь, сомненья роковые!
Как прийти могли вы на уста?
Верю, есть еще сердца живые,
Для кого поэзия свята.

Но гремел, когда они родились,
Тот же гром, ручьями кровь лила...
Эти души кроткие смутились
И, как птицы в бурю, притаились
В ожиданьи света и тепла.

У нас нет достаточных данных, чтобы судить о времени окончательной обработки стихотворения. К. И. Чуковский полагает, что оно было написано в 1874 г., «судя по его рукописям» [13]. К этому именно году он, как мы уже упоминали, относит и первоначальный набросок на листке почтовой бумаги, который мы датируем 1872 г.

Некрасову не удалось напечатать «Страшный год» в «Отечественных Записках». Но через два года он нашел способ опубликовать его в другом месте. Он поместил его в сборнике «Братская помочь пострадавшим семействам Боснии и Герцеговины», изданном группой литераторов в СПб. в 1876 г. (стр. 73).

Появление «Страшного года» в воинствующем славянофильском сборнике, призывавшем к вооруженной борьбе против турок в защиту славян, как бы давало стихотворению определенный «адрес» и тем самым вуалировало от цензуры его подлинный смысл. Однако, обойдя цензуру, Некрасов ввел в заблуждение и всех будущих исследователей своего творчества.

АВТОГРАФ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ РЕДАКЦИИ СТИХОТВОРЕНИЯ «СТРАШНЫЙ ГОД»

Институт литературы АН СССР, Ленинград

Вопреки своему содержанию, дате написания и, наконец, имеющемуся в рукописи подзаголовку «1870», принадлежащему самому Некрасову, «Страшный год» долго рассматривался в связи с надвигавшимися событиями русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Так, во всех «однотомниках» стихотворений Некрасова, выходивших с 1920 по 1935 гг., «Страшный год» сопровожден таким комментарием редактора:

«Есть основание думать, что дата франко-прусской войны (1870 г.) указана Некрасовым лишь для обхода цензуры, а на самом деле это был протест против надвигавшейся войны за освобождение славян (1877—1878)»[14].

Доказывать ошибочность такого комментария после всего сказанного не приходится. Да и само содержание «Страшного года» лучше всего опровергает традиционное толкование. Как бы широко ни раздвигать рамки теоретически допустимых датировок стихотворения — от 1872 г. до 1876 г. (год появления в печати), все равно оно писалось в период, когда в русской жизни не было ровно ничего такого, о чем пишет Некрасов: ни «резни», ни «впечатлений крови и убийства», ни «торжества картечи и штыков» и т. п. Предполагать же, что такой требовательный к реализму и политической конкретности своих образов поэт, как Некрасов, встал здесь на путь художественных антиципаций, предвосхищений грядущих событий,— значит выходить за пределы не только реально-исторического комментария, но и художественного метода поэта.

Отметим и другое. В собраниях стихотворений Некрасова, издания «Academia», 1935 г., и Детиздата, 1938 г., цитированного комментария уже нет. Но зато в обоих «собраниях» допущена другая ошибка. При хронологическом порядке размещения стихотворений (по датам их написания) «Страшный год» отнесен к 1870 г., в то время как даже первоначальные наброски произведения не могут быть датированы, как мы показали, ранее июня 1872 г. Таким образом, помета Некрасова «1870», служившая для читателя своего рода реально-историческим комментарием к стихотворению, произвольно и ошибочно превращена в дату его написания. Тем самым читатель лишен был возможности (в произведении, созданном «в 1870 году»!) увидеть в «Страшном годе» имеющийся там, как указано выше, отклик не только на франко-прусскую войну, но и на поражение Коммуны в мае 1871 г.

4

Творческая история стихотворения «Смолкли честные...» менее сложна. Четыре строки отрывка, написанного в Карабихе летом 1872 г., превратились в тринадцать строк очень сильного и яркого революционного стихотворения.

При использовании первоначального наброска исчезла четвертая строка:

Подозрительность, алчность и мстительность...

а остальные три строки были использованы с изменениями и в другой комбинации.

В бумагах Некрасова сохранился чрезвычайно интересный и важный автограф стихотворения (ИЛИ, фонд 203, № 37, см. факсимильное воспроизведение). Оно написано карандашом на обороте наборной рукописи стихотворений «Уныние» и «На покосе». Несмотря на то, что рукопись имеет вид черновика, она дает, если читать ее с поправками, внесенными в первоначальную запись, окончательный текст произведения.

И вот, оказывается, что, закончив свою творческую работу, записав полностью окончательный текст, Некрасов под воздействием еще владевшей им инерции свободного замысла, не стесненного оглядкой на цен-

зуру, дает своим стихам заглавие «*Современная Франция*». Но, конечно, такое название было совершенно невозможным в цензурном отношении. Оно прямо и точно указывало, что стихи воспевают «честь и славу» «доблестно павших» парижских коммунаров, скорбят об их гибели и одновременно гневно бичуют «злобу и бешенство» версальской кровавой контрреволюции.

Некрасов зачеркивает одиозное заглавие и тут же шифрует его знаком***, с добавлением в скобках: «(*С французского*)». Этим добавлением Некрасов, несомненно, хотел не столько обозначить охарактеризованную выше связь своего стихотворения с книгой В. Гюго, сколько дать читателю сигнал для правильного понимания стихов, относящихся к Франции, к Коммуне. Однако, как видим, «сигнал» этот до современников не дошел, а позднейшими исследователями не был правильно понят.

Отметим далее, что первая строка окончательного варианта стихотворения, как это видно из воспроизводимого автографа, читалась сперва так:

Честь и слава вам, доблестно павшие...

Это непосредственное обращение поэта к «павшим» бойцам революции в стихотворении начала 70-х годов, озаглавленном «Современная Франция», могло относиться только к парижским коммунарам. Уже эта строка, кстати сказать, обнаруживает несостоятельность традиционного отнесения стихотворения к подсудимым «процесса 50-ти». Известно, что процесс этот не имел смертных приговоров. Некрасов адресует свою строку «доблестно павшим» в неравной борьбе с версальцами коммунарам. Впрочем, и вся окончательная редакция стихотворения звучит не менее определенно.

Приведем транскрипцию автографа (ИЛИ, фонд 203, № 37):

[СОВРЕМЕННАЯ ФРАНЦИЯ]

***

(С французского)

Смолкли честные,
[Честь и слава вам], доблестно павшие!
Смолкли их голоса одинокие,
За несчастный народ вопиявшие,
Но разнузданы страсти жестокие.

Вихорь злобы и бешенства носится
Над тобою, страна безответная.
Все живое, все доброе косится...
[Вихрем злобы и бешенства]
Слышно только, о ночь безрассветная!
Среди мрака, тобою разлитого,

Как враги торжествуя / меж собою скликаются,
Как на труп великана убитого
Кровожадные птицы слетаются,
Ядовитые гады сползаются. [15]

Как следует датировать эту редакцию? Ответ, казалось бы, дает сам Некрасов. В его бумагах, находящихся в Пушкинском Доме, сохранился листок почтовой бумаги, где поэт перечисляет стихи, сочиненные им в 1874 г. (фонд 203, № 42). Среди них упомянуто и стихотворение «С французского» (Смолкли честные...), первоначальный набросок которого, как мы думаем, восходит еще к 1872 г. Однако неизвестно, какую именно

редакцию датирует Некрасов 1874 г. Дело в том, что опубликованный нами автограф написан, как уже отмечалось, на обороте наборной рукописи стихотворений «Уныние» и «На покосе», и, значит, возникновение его должно быть приблизительно одновременным этой рукописи. Но стихотворения «Уныние» и «На покосе», написанные также в 1874 г., появились в печати: первое — в январе 1875 г., а второе — в июне 1876 г. Тем не менее, нет оснований оспаривать датировку самого Некрасова. Правильнее предположить, что наборная рукопись «Уныние» и «На покосе» фиксирует значительно более раннюю, чем это нам известно, попытку Некрасова напечатать названные стихотворения.

27 мая 1875 г. Некрасов был у библиографа П. А. Ефремова и записал ему два стихотворения: «Смолкли честные...» и «Пророк», также относящийся к 1874 г. (лист, вклеенный в принадлежавший П. А. Ефремову экземпляр «Стихотворений Н. Некрасова», СПб. 1874, ч. VI — Библиотека Института литературы АН СССР). Таким образом, «Смолкли честные...» были подарены впервые П. А. Ефремову. Важно подчеркнуть, что и в этой записи, отнюдь, разумеется, не предназначенной для публикования и не требовавшей никакой цензурной маскировки, Некрасов также пометил вначале: «(С французского)». После смерти поэта Ефремов пытался опубликовать стихотворение в «Русской Старине», но безуспешно: оно не было пропущено цензурой.

По свидетельству В. Е. Евгеньева-Максимова, относящемуся еще к 1914 г., в его распоряжении была еще одна редакция стихотворения «Смолкли честные...». «В наших руках,— писал он,— имеется корректурный оттиск его, приспособленный поэтом для печати. В оттиске стихотворение названо переводом «с французского», ему дано заглавие «2-е декабря 1852 г.», ссылаясь на которое можно было утверждать, что пьеса вызвана отнюдь не впечатлениями русской жизни, а знаменитым coup d'état Наполеона III, и, наконец, несколько смягчено первое трехстишие, читающееся так:

Растворилися тюрьмы глубокие...
Смолкли честное знамя державшие,
За страну неуклонно стоявшие...

Однако и в таком виде рассматриваемое стихотворение своевременно появиться в печати не могло»[16].

Этот комментарий В. Е. Евгеньева-Максимова представлялся до сих пор совершенно бесспорным и дословно цитировался К. И. Чуковским во всех однотомниках Некрасова под его редакцией.

Между тем, комментарий этот, дающий в руки исследователю ценные материалы, одновременно неверно освещает их и содержит ряд мелких неточностей.

Прежде всего, подчеркнем, что и в корректурном оттиске, свидетельствующем о попытке Некрасова напечатать стихотворение, оно тоже обозначено: «(С французского)». Значит, и в третьем известном нам источнике стихотворения (не считая копии А. А. Буткевич) Некрасов не забыл сохранить, очевидно, весьма важный в его глазах намек на Францию как на реально-исторический фон, на котором должно восприниматься стихотворение. Что касается заглавия «2-е декабря 1852 г.» (кстати это не дата знаменитого coup d'état, произошедшего годом раньше, 2 декабря 1851 г., а дата провозглашения Луи-Наполеона императором Франции), то это, конечно, только ложная расшифровка намека, введенная Некрасовым единственно для обхода цензуры.

Ошибочная интерпретация стихотворения как непосредственного отклика на текущие события русской политической жизни не позволила В. Е. Евгеньеву-Максимову правильно воспринять и комментировать

приводимый им вариант корректурного оттиска. Исследователь называет его «смягченным вариантом». Между тем, по сравнению с заменявшими или заменившими его стихами общеизвестной редакции, приводимое В. Евгеньевым-Максимовым трехстишие характеризуется, несомненно, своей большей политической остротой и конкретностью. Строки:

Растворилися тюрьмы глубокие...
Смолкли честное знамя державшие...

— по нашему мнению, не могут быть поняты иначе, как прямое указание Некрасова на известные факты из истории подавления Парижской Коммуны — на массовые расстрелы пленных коммунаров в тюрьмах Ла-Рокетт и Сатори. Эти факты имели место в конце мая 1871 г. О них много писали современные французские и английские газеты. Они потрясли Глеба Успенского, который, будучи в 1872 г. в Париже, предпринял даже специальное паломничество к этим тюрьмам, ставшим голгофой коммунаров, и о сильнейших впечатлениях своих с болью и гневом тогда же написал в письмах в Россию. От Глеба Успенского, а также от П. Боборыкина, по их возвращении из Парижа, скорее всего и узнал Некрасов об этой расправе с коммунарами и сделал попытку отразить и этот трагический эпизод в своем стихотворении о Коммуне и ее павших бойцах.

Таким образом, «корректурный оттиск» В. Е. Евгеньева-Максимова (оставшийся, к сожалению, неизвестным нам в подлиннике), вопреки комментарию, которым он снабжен при его публикации, дает дополнительные и яркие аргументы в защиту основного тезиса нашей статьи.

5

Стихотворение «Смолкли честные...» имело своеобразную литературную судьбу. При жизни Некрасова оно не могло быть опубликовано

«1871 г.» (ПАВШИЕ КОММУНАРЫ)
Современный офорт неизвестного художника
Музей ИМЭЛ при ЦК ВКП(б), Москва

в России и впервые появилось только в 1879 г. в зарубежной «Земле и Воле» [17].

Повидимому, редакция этого издания имела в своем распоряжении вполне исправный список стихотворения, так как оно напечатано без ошибок, кроме одного разночтения в сравнении с рукописью, а именно: в одиннадцатой строке вместо начального слова «как» напечатано «так»;

Так на труп великана убитого... и т. д.

Это, на первый взгляд несущественное, разночтение на самом деле резко искажает мысль Некрасова. Говоря о том,

Как враги, торжествуя, скликаются,
Как на труп великана убитого,
Кровожадные птицы слетаются,
Ядовитые гады сползаются...

— поэт непосредственно подразумевает под «великаном убитым» Парижскую Коммуну, вокруг «трупа» которой торжествуют «кровожадные птицы» и «ядовитые гады» победившей буржуазно-помещичьей контрреволюции. А вариант «Земли и Воли» превращает строки о «великане убитом» в простое литературное сравнение.

Кроме того, в «Земле и Воле», вместо заглавия, над стихотворением поставлены три звездочки и подзаголовок: «Посвящается подсудимым процесса 50-ти». В примечании сказано: «Из неизданных стихотворений Н. А. Некрасова».

Слова: «Посвящается подсудимым процесса 50-ти» принадлежали самой редакции, а отнюдь не Некрасову. Но у редакции «Земли и Воли» не было достаточных объективных оснований ни для такого заголовка, ни, особенно, для прямых утверждений, что стихотворение «написано под впечатлением арестов и процессов над русской революционной молодежью». Публикация «Земли и Воли» положила начало народнической легенде о том, что Некрасов написал стихотворение «Смолкли честные...» под впечатлением «процесса 50-ти» и «посвятил» его участникам этого процесса. Легенда эта неоднократно повторяется в мемуарах революционеров-семидесятников.

Вторично стихотворение было напечатано опять в зарубежном издании — в газете «Общее Дело» в марте 1882 г. Здесь оно использовано чисто публицистически в качестве передовой статьи «Новый год».

«Не имев возможности выпустить январский номер «Общего Дела»,— говорится в этой передовой,— мы не могли своевременно представить нашим читателям наше обозрение истекшего года и наши виды на Новый год. В настоящее время мы, вместо всего этого, представляем им нижеследующее стихотворение Некрасова. В нем они найдут и обозрение старого года и поразительную картину русской жизни, которой начинается новый».

Самое стихотворение напечатано с большими искажениями и с пропуском двух строк из тринадцати. В примечании к стихотворению редакция «Общего Дела» дает совершенно произвольный комментарий, который следует привести целиком: «Это — одно из последних стихотворений Некрасова. Мучимый жестокой болезнью поэт, как известно, тяжело страдал от мысли, что не всегда был верен своему призванию и не заслужил благодарной памяти лучших людей России. Едва узнала об этом публика, как множество горячих заявлений в уважении, любви и признательности посыпались на него отовсюду и преимущественно со стороны русской молодежи. Тогда-то он и написал эти прекрасные стихи. Они — последняя вспышка благородного гения поэта, осветившая ту безрассветную ночь, о которой говорится в них и среди которой мы живем теперь» [18].

В стремлении дать боевую «передовую» сотрудник «Общего Дела» увлекся и допустил ряд неточностей. «Смолкли честные...», как мы видели выше, в отрывке было написано еще в 1872 г., а в окончательной редакции — в 1874 г. Поэтому нельзя называть это стихотворение «одним из последних» или «последней вспышкой благородного гения поэта». Нельзя было утверждать и то, что непосредственным поводом к написанию стихотворения явилась политическая реакция в России.

(Съ французскаго)

Смолкли честные, доблестно павшие,
Смолкли ихъ голоса одинокие,
За несчастный народъ вопиявшие...
За-то разнузданы страсти жестокия,

Вихорь злобы и бешенства носится
Над тобою, страна безответная!
Все живое, все доброе косится...
Слышно только... о, ночь безразсветная!

Среди мрака, тобою разлитаго,
Как враги торжествуя скликаются,
Как на трупъ великана убитаго
Кровожадныя птицы слетаются,
Ядовитые гады сползаются...

Н

БЕЛОВОЙ АВТОГРАФ СТИХОТВОРЕНИЯ «СМОЛКЛИ ЧЕСТНЫЕ...» ОЗАГЛАВЛЕННЫЙ «(С ФРАНЦУЗСКОГО)»

Автограф был подарен Некрасовым в 1875 г. П. А. Ефремову

Институт литературы АН СССР, Ленинград

Одним из издателей-редакторов «Общего Дела» был доктор Н. А. Белоголовый, друг Щедрина и лечащий врач Некрасова в последние годы его жизни. Характерно, что в его газете ничего не сказано о «посвящении» стихотворения участникам «процесса 50-ти».

Но убеждение в том, что «Смолкли честные...» умирающий Некрасов посвятил подсудимым в этом процессе, было широко распространено среди революционеров конца 70-х и начала 80-х годов. Из их мемуаров, писем и дневников оно перекочевало и в научно-критическую литературу о Некрасове и прочно закрепилось здесь. В плену этой народнической легенды и по сей день находятся литературоведы.

«Процесс 50-ти,— писал В. Е. Евгеньев-Максимов еще в 1918 г.,— возбудил целый ряд поэтических откликов, из которых назову известное стихотворение Полонского «Что мне она — не жена, не любовница»

и не менее известное стихотворение Боровиковского «Мой тяжкий грех, мой умысел злодейский». Не мог на него, конечно, не откликнуться и Некрасов. Хотя состояние его здоровья было более чем плохо, и страдания, которые ему приходилось выносить, поистине безмерны, тем не менее его стихотворение, посвященное судившимся по «процессу 50-ти», озарено огнем истинного вдохновения и, на мой взгляд, представляет собой одну из лучших лирических пьес Некрасова»[19].

А в своей книжке 1921 г. «Некрасов. К столетию рождения» В. Е. Евгеньев-Максимов дал (см. стр. 77) стихотворению «Смолкли честные...», в полном соответствии со своим пониманием его, заглавие: «Погибшим революционным борцам 70-х годов».

Гипноз легенды настолько велик, что даже там, где современный исследователь имеет в поле своего зрения документы и факты, очевидно противоречащие традиционному пониманию стихотворения, он строит иногда свои выводы, исходя из этого понимания и вопреки фактам. Такой именно случай произошел с Н. С. Ашукиным, автором капитального научно-справочного труда «Летопись жизни и творчества Н. А. Некрасова» («Academia», 1935). На стр. 497 своей книги под датой «февраль — начало марта 1877 года» автор регистрирует: «Обработано стихотворение «Смолкли честные, доблестно павшие...» Обоснование датировки: стихи «посвящены подсудимым процесса пятидесяти»; «процесс происходил с 21 февраля по 10 марта 1877 г., поэтому и дату окончательной обработки стихотворения относим к этому времени». Но о какой обработке 1877 г. идет речь? Ее не было. И автограф 1874 г., озаглавленный «Современная Франция», и «ефремовский» автограф 1875 г., озаглавленный «(С французского)», не содержат в себе ни одной буквы вариантов по сравнению с тем текстом списка, который был передан Некрасовым в 1877 г. осужденным «процесса 50-ти» и который ныне печатается во всех собраниях как окончательный. Н. С. Ашукину известны оба автографа, и он не оспаривает их датировок, хотя и именует почему-то рукопись 1874 г. «черновым наброском». О его знакомстве с названными автографами свидетельствуют стр. 451 и 460 его книги. Ошибка исследователя — результат невольного подчинения силе и авторитету традиционного взгляда, усыпившим критический анализ.

Необходимо, однако, признать, что традиционный комментарий к стихотворению «Смолкли честные...» восходит к источникам и свидетельствам, авторитетность которых не может быть подвергнута сомнению в основном и существенном.

Приведем основные относящиеся сюда показания современников, удостоверяющие, что Некрасов действительно послал свое стихотворение находящимся в тюрьме участникам «процесса 50-ти».

«Когда началось известное движение «в народ» и последовали затем многочисленные аресты и процессы,—свидетельствует Л. Дейч,— только Некрасов не побоялся по адресу преследуемых сказать, несмотря на цензурные тиски, по этому поводу горячее слово одобрения, сочувствия:

Смолкли честные, доблестно павшие...

Уж и как же мы тогда были признательны Некрасову за дружелюбное его к нам отношение. Оно тем более ценно, что никто другой из тогдашних крупных писателей не выступал на защиту революционеров, а некоторые из них относились к нам даже крайне враждебно. Так, к слову, поняли мы тогда нашумевший новый роман Тургенева «Новь», появившийся в «Вестнике Европы» за 1876 г., как написанный человеком, отрицательно относящимся к нашим стремлениям»[20].

В. Н. Фигнер в своих воспоминаниях, подтверждая свидетельство Л. Дейча, авторитетно уточняет его. Она прямо относит стихотворение

«Смолкли честные...» к подсудимым «процесса 50-ти» и рассказывает, каким путем Некрасов передал им стихотворение. «Жена писателя Елисеева, редактора «Отечественных Записок», передала мне от Некрасова, лежавшего тогда на смертном одре, стихотворение к судившимся по процессу 50-ти»,— говорит В. Н. Фигнер [21].

Как известно, одной из обвиняемых в «процессе 50-ти» была Лидия Николаевна Фигнер, родная сестра Веры Фигнер. Естественнее всего поэтому предположить, что В. Н. Фигнер передала рукопись стихотворения своей сестре, находившейся в тюрьме, во время свидания с нею, а Лидия Фигнер, в свою очередь, сообщила стихотворение другим участникам процесса.

В. Богучарский передает со слов рабочего Петра Алексеева, с которым он встретился в Якутской ссылке, что стихотворение «Смолкли честные...» было передано именно ему, как одному из главных героев процесса, произнесшему знаменитую речь [22].

Другой подсудимый в этом деле, И. С. Джабадари, пишет в своих мемуарах: «Сочувствие публики к Петру Алексееву после произнесенной им речи было так сильно, что на другой день вся камера его была завалена табаком, сигарами, фруктами, жареной дичью, поросятами, индейками, конфетами и печеньем, а также платьем и бельем. Петруха ‹Алексеев›, вскормленный на черном хлебе, иногда, быть может, пополам с лебедой, дивился, какими сластями питаются баре, купцы и попы, и шутя говорил, что если бы его всегда кормили так на убой, он, пожалуй, и не произнес бы своей речи» [23].

Вполне вероятно, что и Некрасов, посылая свое стихотворение с женой Г. З. Елисеева, просил доставить его именно Петру Алексееву.

«Процесс 50-ти» происходил с 21 февраля по 10 марта 1877 г., и в последний день его Петр Алексеев произнес свою речь, с ее знаменитыми заключительными словами: «Подымется мускулистая рука миллионов рабочего люда, и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится впрах».

Как видно из обвинительного заключения и официального судебного отчета о процессе, на суде была в очень слабой степени раскрыта революционно-пропагандистская работа П. Алексеева в кружках ткачей и рабочих железнодорожных мастерских Москвы и Петербурга [24]. Поэтому в глазах обвинения в течение всего процесса П. Алексеев занимал очень скромное место; его ожидало, вероятно, сравнительно небольшое наказание.

Все резко изменила его ярко-революционная речь — «последнее слово», и он был приговорен к самой высокой по этому процессу каре — 10 годам каторги. Эта речь и жестокость приговора сразу сделали имя П. Алексеева широко известным и вызвали к нему общее сочувствие передовой интеллигенции. Конечно, сразу же узнал его имя и Некрасов. Нет сомнений, в частности, что о речи П. Алексеева беседовал с Некрасовым Щедрин, навещавший умиравшего поэта едва ли не ежедневно. А на Щедрина речь Алексеева произвела сильное впечатление.

В письме от 15 марта 1877 г., т. е. на пятый день после приговора по «процессу 50-ти», Щедрин писал П. В. Анненкову: «А у нас, между тем, политические процессы своим чередом идут,— на-днях один кончился (вероятно, по газетам знаете) каторгами и поселениями, только трое оправдано, да и тех сейчас спровадили в места рождения. Я на процессе не был, а, говорят, были замечательные речи подсудимых, в особенности одного крестьянина Алексеева и акушерки Бардиной» [25].

Подчиняясь порыву восхищения мужеством рабочего-революционера и его товарищей, глубоко сочувствуя их судьбе, испытывая к ним то высокое уважение, с которым он всегда относился к людям революционного

подвига и дела, Некрасов захотел выразить волновавшие его чувства и мысли непосредственно самим осужденным. «Певец русской революции», он избрал и для этого случая слово художника-поэта. Он передал в тюрьму осужденным революционерам одно из наиболее ярких своих революционных стихотворений, оставшееся по этой именно причине ненапечатанным. Хотя и написанное по другому поводу, оно было уместно, актуально и применимо в данной ситуации. Ведь оно прославляло доблесть, героизм и благородство бойцов революционной армии в их неравной битве с силами «царюющего зла».

С Некрасовым неоднократно ведь бывало, что он связывал написанное раньше и по другому поводу стихотворение с какими-либо позднейшими событиями. Когда в 1875 г. больной Щедрин уезжал лечиться в Европу, Некрасов написал ему известное стихотворение «М. Е. Салтыкову при отъезде за границу». Казалось бы, что по самому жанру оно должно было быть почти что экспромтом, вызванным данным конкретным поводом. Однако оказывается, что целых две строфы из трех, образующих стихотворение:

...журнальный путь...
На путь, где шагу мы не ступим
Без сделок с совестью своей,
Но где мы снисхожденье купим
Трудом у мыслящих людей.
Трудом — и бескорыстной целью...
Да! будем лучше рисковать,
Чем безопасному безделью
Остаток жизни отдавать...

— отнюдь не были сочинены для данного случая Некрасовым. Они были взяты из отсеченных им самим стихов его «современной повести» «Суд», написанной в 1867 г., т. е. за восемь лет до того и совершенно по другому поводу. Сейчас Некрасов связал эти неиспользованные в печати восемь стихов с другим событием.

Так поступил Некрасов и в данном случае. Неиспользованный, в силу очевидной цензурной невозможности, отклик на падение Коммуны и гибель коммунаров поэт как бы «переадресовал» в 1877 г. людям русского революционного подвига тех дней. Но очевидно, что такая «переадресовка» не отнимает у стихотворения его первоначального и основного смысла, и если он все же оказался на десятилетия заслоненным и неведомым для читателя, то лишь в силу все еще недостаточной разработанности некрасовского наследия, с одной стороны, и стойкости созданной современниками традиции, с другой.

Биографам Некрасова известны и другие аналогичные случаи, когда поэт передавал списки своих стихотворений представителям того коллективного «читателя-друга», которому он, в соответствующих условиях, хотел выразить свое общественное сочувствие или подчеркнуть свою солидарность. Один из этих случаев тем более интересен, что относится к тому же стихотворению «Смолкли честные, доблестно павшие...».

В начале февраля 1877 г. Некрасова посетила депутация студентов и поднесла ему адреса от четырех высших учебных заведений: Петербургского университета, Медико-хирургической академии, Харьковского университета и Харьковского ветеринарного института, с многочисленными подписями студентов. Некрасов подарил депутации автограф стихотворения «Вам, мой дар ценившим и любившим», написанного 1 февраля того же года. Эти сведения, помещаемые во всех биографиях Некрасова, не вполне, однако, точны. Они должны быть дополнены «Справкой о Некрасове» Н. Михайловского, напечатанной во 2-м томе его «Откликов» [26].

В ней указывается, что по поводу нахождения автографа стихотворения «Вам, мой дар ценившим и любившим» Михайловский «получил

несколько писем, подтверждающих верность списка, а двое из корреспондентов сообщают, кроме того, что студенческая депутация, поднесшая Некрасову, по случаю его тяжелой болезни, адрес, получила от него в подарок не одно, а два стихотворения. Оба корреспондента сообщают совершенно тождественные списки обоих стихотворений, из чего можно заключить, что их было действительно два». Вторым из этих стихотворений было «Смолкли честные...».

Таким образом, в том же 1877 г. стихотворение «Смолкли честные...» было передано Некрасовым не только народникам-революционерам, но и революционно настроенной студенческой молодежи России. Очевидно,

А. А. БУТКЕВИЧ, СЕСТРА НЕКРАСОВА
Фотография 1870-х гг.
Институт литературы АН СССР, Ленинград

однако, что факт этот не может быть поставлен в какую-либо генетическую связь с историей возникновения произведения и что политическая жизнь русского студенчества 70-х годов, хотя и богатая революционными эпизодами, находится за пределами конкретно-исторических реалий стихотворения.

То же следует сказать и о версии, связывающей «Смолкли честные...» с «процессом 50-ти».

При обычном соотнесении стихотворения к современным ему событиям русской политической жизни невозможно дать сколько-нибудь убедительный реально-исторический комментарий к его образам. Стихотворение написано в 1872—1874 гг. Это был период нового общественного оживления, период «второго демократического подъема» (Ленин) в России, ознаменованный «хождением в народ». А Некрасов рисует картину подлинной вакханалии реакции и белого террора, создает исключительный по силе и яркости образ воинствующей, торжествующей контрреволюции и пишет о ее массовых кровавых жертвах, о «доблестно павших», о «великане убитом». Эти картины и обозначения, принимая во внимание точность, можно сказать, пропагандистскую конкретность некрасовских реа-

листических образов, не раскрываются на русском историческом материале 1872—1874 гг.

Однако совершенно понятно и то, почему стихотворение было воспринято русскими революционерами-современниками, как относящееся непосредственно к ним, и почему в нем увидели непосредственный отклик на политическую обстановку в царской России 1870-х годов. Самый факт передачи Некрасовым списка стихотворения подсудимым «процесса 50-ти» достаточно удовлетворительно отвечает на первый вопрос. Ответ на второй содержится в том обобщенном образе воинствующей реакции, данном в стихотворении, который одинаково ярко характеризовал как Францию версальских палачей, так и отечественную контрреволюцию конца 1870 — начала 1880-х гг. («Письмо Ваше,— сообщал, например, Щедрин П. В. Анненкову 17 февраля 1877 г., — застало меня среди неистовств белой анархии, которая, кажется, надолго воцарилась у нас»).

Таким образом в качестве заключительного вывода можно утверждать, что стихотворение Некрасова «Смолкли честные, доблестно павшие...» имеет как бы два «адреса»: первоначальный и основной, французский,— парижским коммунарам и вторичный, русский, — народническим революционерам.

6

Наше изучение стихотворений «Страшный год» и «Смолкли честные...» требует еще дополнительной характеристики и иллюстраций отмеченной выше связи этих произведений с В. Гюго.

Как следует назвать эту связь? В чем и как она выразилась?

Сам Некрасов в уже упомянутом выше письме 1872 г. к сестре, А. А. Буткевич, определил, как мы видели, свое творческое намерение в отношении заинтересовавшей его книги Гюго так: «Купим «L'Année terrible» и будем перелагать в русские стихи...» (выделено нами.— *И. В.*). Выше было показано, что намерение свое Некрасов в какой-то мере осуществил: при помощи А. А. Буткевич он ознакомился летом 1872 г. в Карабихе с новой книгой Гюго.

Вряд ли можно сомневаться в том, что столь активный интерес, проявленный Некрасовым к «L'Année terrible», был вызван не просто тем, что это была свежая новинка прославленного французского поэта, столь популярного и любимого в демократических кругах тогдашней России. Новый сборник политической и социальной лирики Гюго привлек пристальное внимание Некрасова прежде всего потому, что он был посвящен событиям, приковавшим к себе страстно заинтересованное внимание всей революционной и демократической России,— событиям Парижской Коммуны. Эти события, особенно же кровавая расправа с коммунарами, вызвавшая взрыв ненависти к версальским палачам в широких кругах русской демократической интеллигенции, и явилась непосредственным прямым поводом создания Некрасовым стихотворений «Страшный год» и «Смолкли честные...».

Их замысел возник, как всегда у Некрасова, вполне самостоятельно и органически, из гущи самой жизни, из настоятельной потребности отозваться на явления общественной жизни, а не из литературного источника, какой бы силы яркости он ни был. Но Некрасов знал книгу стихов Гюго. Более того, приведенный к ней своей заинтересованностью в событиях, которые она описывает, и высоко оценив ее, видимо, еще до карабихских чтений с А. А. Буткевич (скорее всего, через свою осведомленность в переводах В. Курочкина из «L'Année terrible» для «Отечественных Записок»), Некрасов не просто захотел поближе узнать злободневные стихи Гюго.

Междоусобица во Францiи: Парижъ въ маѣ 1871 г.

ОТРАЖЕНИЕ СОБЫТИЙ ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ В РУССКОЙ ПЕЧАТИ

Гравюра А. Даугеля «Париж в мае 1871 г.», помещенная в № 129 «Всемирной иллюстрации» 19 июня 1871 г

Он сам сказал, что намеревался использовать этот художественный источник для собственной творческой работы.

«Перелагать» — не значит переводить. «Перелагать стихи» так, как это делал Некрасов, не значит и подражать. «Самый русский из всех русских писателей», Некрасов был им не только по языку и национальности, но и по художественному материалу своей поэзии и по глубочайшей, органичнейшей своей связи с русской жизнью. Переводчиком или подражателем иностранных поэтов в обычном смысле он никогда не был. Правда, с помощью Григоровича он переводил в молодости французские водевили, но в его литературной биографии это еще пора «Перепельского», «Пружинина», и т. д., а не Некрасова. А когда в годы творческой зрелости ему случилось, всего несколько раз, обратиться к «переложению» произведений иностранных авторов, то английский поэт Джордж Крабб заговорил под его пером такими, например, стихами:

У бурмистра Власа бабушка Ненила
Починить избенку лесу попросила... и т. д.

Очевидно, что ни о переводном, ни о подражательном характере «Забытой деревни» Некрасова, которую начинают эти строки, не может быть и речи. Ознакомление (при помощи А. В. Дружинина) со стихами Крабба могло сыграть тут лишь роль внешнего толчка, определенного впечатления, вызвавших у Некрасова с в о и ассоциации, с в о и образы и давших повод для с в о е г о, собственного, вполне самостоятельного творчества.

В плане такого соотношения следует понимать и отмеченную нами связь «Страшного года» и «Смолкли честные...» с «L'Année terrible» Гюго. Сильные и яркие образы французского поэта, особенно же нарисованные им с величайшим гневом картины неистовств белого террора, оказались в числе источников того общего восприятия Некрасовым событий 1870—1871 гг., которое вызвало его собственный поэтический отклик на эти события.

Оба стихотворения Некрасова, таким образом, вполне самостоятельны и оригинальны. Они не являются ни переводами каких-либо определенных строк из книги В. Гюго, ни подражаниями им. Но впечатления от трагических событий во Франции, полученные Некрасовым при слушании сборника Гюго, отчасти тогда же записанные и переработанные в стихи, нашли несомненное отражение в обоих произведениях.

Сборник «L'Année terrible» состоит из 109 стихотворений, создававшихся в течение целого года. Некрасов о тех же событиях франко-прусской войны и гибели Коммуны написал всего два стихотворения и одно из них назвал тем же названием — «Страшный год», которое у Гюго относится ко всей книге... Мало того,— теми же словами он начал и первую строку:

Страшный год! Газетное витийство
И резня, проклятая резня...

В этом стихотворении Некрасов сжато и сильно конденсировал свои впечатления от событий 1870—1871 гг. и их художественного отображения в книге Гюго.

Можно указать несколько стихотворений сборника, впечатление от которых дало, видимо, непосредственную художественную акцентуацию для образов «Страшного года» Некрасова. Это, прежде всего, два стихотворения, начинающиеся словами: «День или ночь сейчас?» и «Я видел кровь...». Оба они довольно близко к подлиннику переведены на русский язык Георгием Шенгели [27], поэтому их можно процитировать в его переводах:

День или ночь сейчас? О, ужас беспредельный!
Вся тьма раскована рукою злобы хмельной,
Раскаты грома, гул. Внимаем, побледнев,
Как наугад разит слепой и глупый гнев.
Ни человеческим, ни божеским законам
Нет места. Бешенство блуждает по загонам,
Картечью в пленников вгрызаясь, точно волк,
Злодейство ли творя иль выполняя долг...
. . . .
Вихрь задушил почти сиделку эту — совесть.
О, ночь! О, страшных дней неслыханная повесть...
Злодейства разлились по миру, как потоп.

Процитируем теперь несколько строк из второго стихотворения «Я видел кровь...»:

Я видел кровь; она со всех сторон текла.
Резней и ужасом дышала ночь и мгла.
Там убивали всех. Зачем? Убийства ради.
О, скорбь!.. И понял я, что надо о пощаде
Сказать кому-нибудь. И я заговорил,—
Что пощадить врага, безумца в схватке адской,
И к пленным подойти с участливостью братской,
Понять и выслушать — достойней и умней;
Что бог на нас глядит; что лик грядущих дней
Враждою помрачен, а просветлен любовью;
Что тот, кто кровь пролил, сам захлебнется кровью;
...Что бешенство убийств не в силах искупить
Утроенных злодейств разнузданная свора,
Что дать нельзя резне достойного отпора,
Расстреливая сплошь и женщин и детей...
. . . .
И я пошел вразрез всей этой бойне черной...

Некрасов не сделал никаких текстуальных заимствований из материала этих стихотворений. Он создал собственное произведение. Но некоторые детали его обнаруживают несомненную генетическую связь «Страшного года» с непосредственными впечатлениями от слушания только что приведенных «восторженно-призывных» стихов Гюго. Некрасов говорит о той же «проклятой резне» — о тяжелых «впечатлениях крови и убийства», о «жадном пире злодейства и насилия». И он так же, как Гюго, с пафосом восклицает:

О любовь! — где все твои усилья?
Разум! — где плоды твоих трудов?

Подобно Гюго, обличает Некрасов и кровавые зверства версальцев, мстящих побежденным врагам-коммунарам:

Где вражда, где трусость роковая,
Мстящая — купаются в крови,
Стон стоит над миром не смолкая...

И, подобно Гюго, он думает, что франко-прусская война и разгром Коммуны вызовут в будущем новые схватки тех же борющихся сторон:

Этот год готовит и для внуков
Семена раздора и войны...

Для стихотворения «Смолкли честные...» можно указать одно из произведений Виктора Гюго из сборника «Страшный год», которое, повидимому, знал Некрасов. Это стихотворение «Nos morts» («Наши мертвецы»), входящее в раздел книги за декабрь 1870 г. [28].

В «Nos morts» Гюго дает романтически-жуткую картину пустынного поля битвы, на котором распростерты изуродованные трупы «павших за свою страну» французских солдат. Они лежат в лужах крови, «чудовищ-

ные ястребы копаются в их раскрытых внутренностях», под ними «ползают черви, гусеницы и муравьи». Проходят ночи среди неподвижности и сурового сна. Эти трупы ушли наполовину в землю, «как корабль, погружающийся в пучину». Леденящий ветер проносится в этом безмолвии. Обнаженные и окровавленные тела поливает дождь. Эта картина смерти заканчивается возгласом поэта:

О, павшие за мою родину, я завидую вам!

При сравнении исполненной мрачного пафоса картины Гюго со стихотворением Некрасова невольно воспринимаешь общность некоторых художественных образов и сравнений.

В «Смолкли честные...» на труп «великана убитого» тоже слетаются «кровожадные птицы», сползаются «ядовитые гады»; над «доблестно павшими» борцами «вихорь злобы и бешенства носится» и «разливает свой мрак безрассветная ночь».

Любопытно отметить, что другая редакция стихотворения «Смолкли честные...», сохранившаяся в корректурном оттиске у В. Евгеньева-Максимова, ближе отражает в одном пункте непосредственное, прямое впечатление Некрасова от французского подлинника. Как в «Наших мертвецах» Гюго говорится о павших за свою страну, так и у Некрасова в этой редакции сказано:

За страну неуклонно стоявшие...

— в то время как в окончательной редакции стихотворения эта строка заменена другой:

За несчастный народ вопиявшие...

Это очень существенная замена. Она как бы перевела художественные впечатления, полученные Некрасовым от «Наших мертвецов» Гюго, в новый идейно-политический регистр и сконденсировала их здесь, отчего стихотворение получило совершенно новое и самостоятельное содержание и окраску. Ведь у Гюго речь идет о французских солдатах, павших в битве с внешним врагом своей родины, а Некрасов посвящает свои стихи революционерам-коммунарам, «доблестно павшим» за дело беззаветного служения народу.

Вполне самостоятельную и независимую от Гюго позицию занял Некрасов и в оценке французских событий 1870—1871 гг., изображенных в «L'Année terrible». В то время как утопический гуманист Гюго скорбит о ненависти и злобе, проявленной, по его мнению, обеими борющимися сторонами — и версальцами, и коммунарами,— и призывает их к примирению, революционный демократ Некрасов совершенно определенно становится на сторону коммунаров, прославляя и героизируя их как бойцов, «доблестно павших» в борьбе «за народ». Изображая гибель Коммуны, он называет ее «убитым великаном», говорит о мрачной ночи торжествующей реакции, которая разлилась над Францией после разгрома коммунаров, и когда упоминает о врагах Коммуны, которые, «торжествуя, скликаются», о «кровожадных птицах» и «ядовитых гадах», собирающихся вокруг трупа «убитого великана», он, конечно, имеет в виду французскую контрреволюционную буржуазию, которая «купается в крови» побежденного ею классового врага, охваченная «мстящей трусостью».

Необходимо, наконец, отметить, что у Некрасова отсутствуют тот безнадежный пессимизм и мрачное отчаяние, которыми окрашена вся книга Виктора Гюго. Некрасов верит, что «есть еще сердца живые» среди современников поражения Коммуны, что они только временно, до нового подъема революционного движения, «притаились» в ожидании «света и тепла».

Даже, будучи свидетелем «безрассветной ночи» политической реакции, он верит в будущую победу народа и гонит от себя «прочь сомненья роковые» в возможности этой победы.

Крупнейший революционный поэт России, Некрасов, как и Щедрин, гневно заклеймил палачей Парижской Коммуны. Вместе с тем, в поэтических образах своих стихотворений он ярко и мужественно выразил свое сочувствие революции. Вдохновенные и скорбные строфы стихотво-

«КОММУНА 1871 г.»
Современная акварель неизвестного художника
Музей ИМЭЛ при ЦК ВКП(б), Москва

рения «Смолкли честные...» являются замечательным русским памятником, воздвигнутым певцом русской революции в честь вечно неувядаемой славы павших коммунаров и бессмертного, по словам Ленина (XV, 160), дела Коммуны.

ПРИМЕЧАНИЯ

П. Лавров, Взгляды на прошедшее и настоящее русского социализма.— «Календарь «Народной Воли» на 1883 г.», Женева.

[2] «Архив села Карабихи. Письма Н. А. Некрасова и к Некрасову», М., 1916, 237.

[3] «Отечественные Записки», 1871, № 12, 204.

[4] Там же, № 5, 127—152.

[5] Там же, № 3, 185—213.

[6] См. об этом: М. Алексеев, Виктор Гюго и Россия,—«Литературное Наследство», М., 1937, кн. 31—32.

[7] В. Курочкин французское прилагательное «terrible» перевел не совсем точно словом «грозный». Более правильно было бы передать его словом «страшный» или «ужасный». В позднейших многочисленных переводах из этой книги Гюго ее называют обычно «Страшный год»,— так же, как сделал это Некрасов.

[8] А. А. Буткевич хорошо знала французский язык. Еще в августе 1869 г. Некрасов предлагал ей заняться переводами с французского для издававшегося им журнала. «Мне кажется,— писал он ей 13(25) августа из-за границы,— тебе надо приниматься за работу. Начинать переводить с французского для «Отечественных Записок». Этой работы я могу доставлять сколько угодно» (Некрасов, Сочинения, V, 469—470).

[9] «Архив села Карабихи», 153—154.

[10] «Русское Слово» 1913, № 285.

[11] «Архив села Карабихи», 114—116.

[12] В своей книге «Комментарии к поэме «Кому на Руси жить хорошо» (М., 1933 124—125) И. Н. Кубиков уже отметил, что стих. «Страшный год», вероятно, вызвано поражением Парижской Коммуны в мае 1871 г., «ибо по смыслу стихотворения видно, что дело идет о какой-то сильной стороне, карающей обессиленного врага». Но эта догадка не была развита и аргументирована автором с достаточной полнотой.

[13] Впрочем, полной уверенности в том, что стих. «Страшный год» относится именно к 1874 г., у К. И. Чуковского нет. В издании «Собрание сочинений Некрасова», М.—Л., 1930, 283, он пишет: «Хотя Некрасов в подзаголовке этого стихотворения и указал 1870 г., т. е. год франко-прусской войны, но, судя по его рукописи, оно, кажется, было написано позже».

[14] Н. Некрасов, Полное собрание стихотворений, изд. 9-е (стереотипное), Л., 1935, 525.

[15] Есть еще копия с этого автографа, написанная рукой А. А. Буткевич. Хранится она также в Институте литературы АН СССР, фонд 134, оп. 11, № 2. Архив А. Ф. Кони.

[16] В. Евгеньев, Николай Алексеевич Некрасов, М., 1914, 210, и «Некрасовский сборник. Неизданные письма и воспоминания, статьи, библиография», под ред. В. Е. Евгеньева-Максимова и Н. К. Пиксанова, П., 1918, 29—30.

[17] «Земля и Воля», Социально-революционное обозрение, № 5, 8 апреля 1879, 5. В России стихотворение «Смолкли честные, доблестно павшие» впервые смогло появиться в печати лишь в революционном 1905 г., да и то в провинциальном издании. Оно было опубликовано Ф. Н. Юшковым по списку, полученному от известного артиста М. И. Писарева (лично общавшегося с Некрасовым), в казанской газете «Волжский Вестник» (№ 4, от 11 ноября 1905 г., стр. 2: «Ненапечатанное стихотворение Н. А. Некрасова»). Текст содержит ряд вариантов.

[18] «Общее Дело», газета политическая и литературная, № 47, март 1882, Женева. Передовая статья под заглавием «Новый год».

[19] См. «Некрасовский сборник», под ред. В. Е. Евгеньева-Максимова и Н. К. Пиксанова, П., 1918, 29.

[20] Л. Дейч, Некрасов и семидесятники. Сб. «Некрасов, Памятка ко дню столетия рождения», П., 1921, 10.

[21] В. Фигнер, «Процесс 50-ти» 1877 г., изд. Общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев, М., 1927, 26.

[22] В. Богучарский, Активное народничество семидесятых годов, М., 1912, 301.

[23] Воспоминания И. С. Джабадари о «процессе 50-ти» напечатаны в журнале «Былое», 1907, август. Ср. брошюру: И. Майнов, Петр Алексеевич Алексеев (1849—1891), М., 1924.

[24] «Процесс 50-ти». Предисловие В. Каллаша, изд. В. М. Саблина, М., 1906.

[25] Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собрание сочинений, М., 1939, XIX, 91.

[26] Н. Михайловский, Отклики, СПб., 1904, II, 323—324.

[27] В. Гюго, Избранные стихи. Перевод и примечания Георгия Шенгели, М., 1935 здесь напечатано 24 стихотворения из книги «Страшный год»).

[28] V. Hugo, L'Année terrible.— Oeuvres complètes, Edition nationale, 1888, XII, 121—122.

НЕКРАСОВ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ПОЛИТИКА САМОДЕРЖАВИЯ

К ИСТОРИИ ЖУРНАЛА «ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПИСКИ»

Статья Б. Папковского и С. Макашина

I. ВВЕДЕНИЕ. — II. ЛИТЕРАТУРНАЯ ПОЛИТИКА П. А. ВАЛУЕВА. — III. ПЕРЕХОД «ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАПИСОК» К НЕКРАСОВУ И РАСКОЛ В БЫВШЕЙ РЕДАКЦИИ «СОВРЕМЕННИКА». — IV. «НЕГЛАСНОЕ РЕДАКТОРСТВО». — V. «ОСОБЫЕ СООБРАЖЕНИЯ» А. Е. ТИМАШЕВА. — VI. ТАКТИКА НЕКРАСОВА. — VII. Ф. М. ТОЛСТОЙ. — VIII. В. М. ЛАЗАРЕВСКИЙ. — IX. НЕКРАСОВ И СОВЕТ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ. — X. БОРЬБА ЗА ГАЗЕТНУЮ ТРИБУНУ. — XI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ

«Отечественные Записки» Некрасова и Щедрина — выдающееся явление русской культуры. Значительность роли, выполненной журналом в истории русской передовой мысли, в литературном и общественном движении эпохи, общепризнанна и неоспорима. Ленин часто цитирует статьи, печатавшиеся на страницах «Отечественных Записок». Большевистская «Искра» писала об «Отечественных Записках», как о журнале, сыгравшем прогрессивную роль в революционном движении страны.

На страницах журнала протекало последнее десятилетие поэтической деятельности Некрасова и развернулось сатирическое дарование Щедрина — двух корифеев русской революционно-демократической литературы. «Отечественные Записки» находились в идейной близости с революционной борьбой 70-х годов и стояли в центре всего демократического движения эпохи. Их воздействие на формирование взглядов русских передовых людей нескольких поколений было поистине огромно.

Создание «Отечественных Записок», как ранее «Современника»,— одна из великих и неоспоримых общественных заслуг Некрасова. На протяжении более трети века (1846—1884) эти журналы являлись мощными аккумуляторами той передовой мысли в России, которая, по словам Ленина, «под гнетом невиданного, дикого и реакционного царизма жадно искала правильной революционной теории...» [1].

Без глубокого и принципиального осмысления активности Некрасова как инициатора, организатора и руководителя своего второго радикально-демократического журнала в условиях политического гнета самодержавия и реакции, многое в жизни и творчестве поэта, а также и в истории освободительной борьбы эпохи, должно остаться непонятным. И действительно, многое, и иногда самое важное в деятельности Некрасова — руководителя «Отечественных Записок» остается для нас до сих пор неясным.

Как, в каких конкретных политических условиях, какими методами и средствами, ценой каких неизбежных жертв удалось Некрасову в 1868 г. сначала воссоздать для русской демократической мысли журнальную трибуну, только что разгромленную самодержавием (запрещение «Современника» в 1866 г.), а затем оборонять эту трибуну от постоянного натиска правительства,— эти вопросы не получили до сих пор доста-

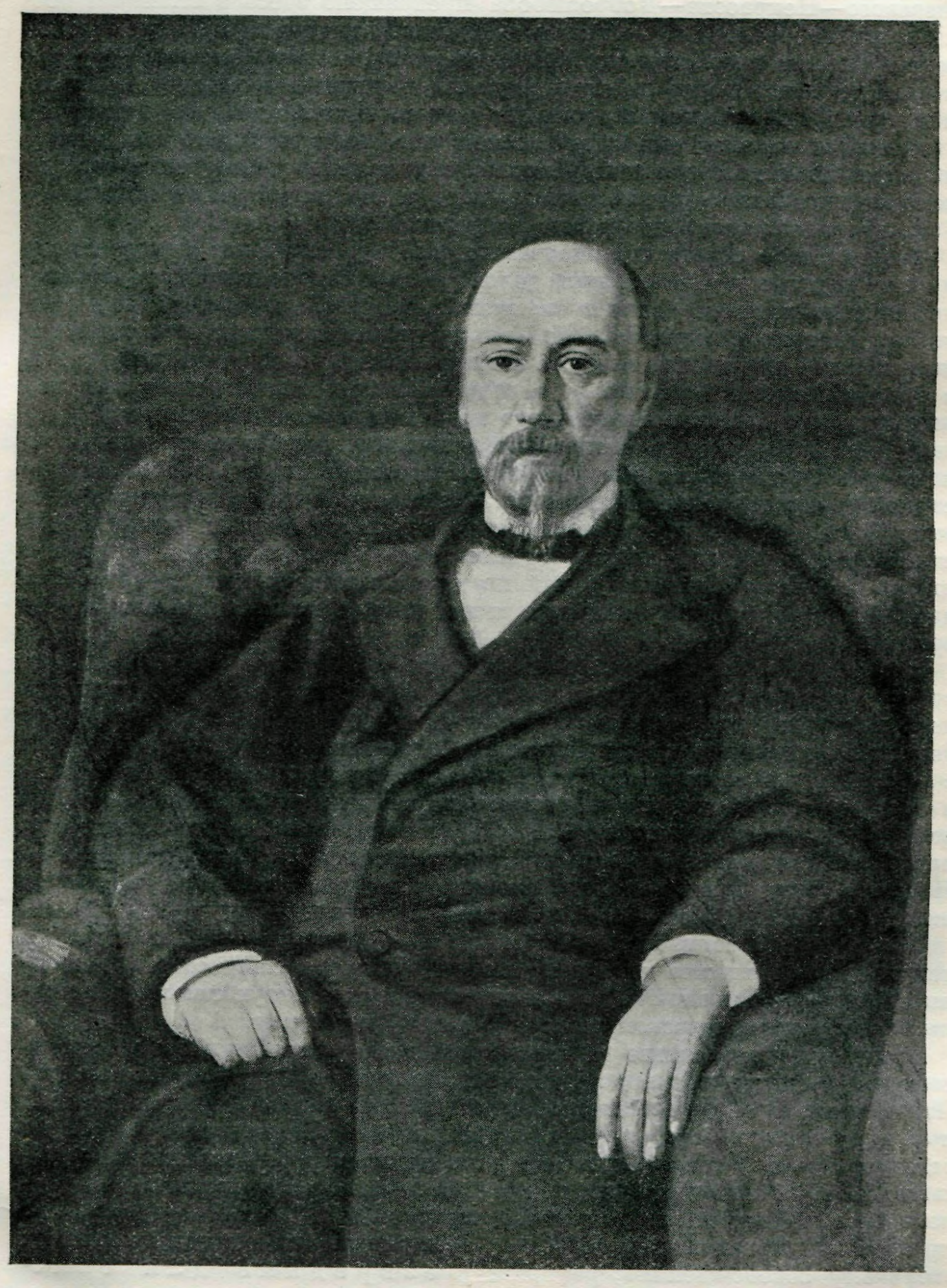
точно полного исторического освещения. Да и многие важные фактические детали нам неизвестны.

Наша работа, как по своему содержанию, так и по форме, далека от полного охвата темы. Ее задача: выяснить, на основании преимущественно архивных источников, некоторые вопросы деятельности Некрасова — организатора и редактора «Отечественных Записок» и ввести в исследование ряд новых фактов и документов. Собранные материалы и их истолкование могут, нам думается, способствовать как расширению наших знаний о работе Некрасова в «Отечественных Записках», так и пониманию общей картины положения демократической печати в условиях литературной политики и тактики самодержавия на рубеже 60-х—70-х годов.

II. ЛИТЕРАТУРНАЯ ПОЛИТИКА П. А. ВАЛУЕВА

Мысль о создании нового журнала вместо закрытого правительством летом 1866 г. «Современника» естественно должна была возникнуть у Некрасова сразу же после пережитой катастрофы. Мысль страстная, напряженная, немедленно потребовавшая себе, как всегда у Некрасова, претворения в деловые планы и практические предположения. При этом, конечно, Некрасов мечтал о возобновлении именно «Современника», т. е. о воссоздании боевого демократического журнала, который бы вновь мог стать идейным центром и штабом революционно-освободительного движения в стране. Ни о чем другом и не мог думать Некрасов — соратник и друг Белинского, Чернышевского и Добролюбова, уже отдавший два десятилетия своей жизни и творчества на упорную, непримиримую литературно-журнальную борьбу с самодержавно-крепостническим строем в России. Поэтому так странно звучат в известных воспоминаниях Г. З. Елисеева слова о том, что Некрасов под влиянием пережитой катастрофы задумал порвать с традициями «Современника» и дать своему будущему журналу «новую окраску». По Елисееву, выходит буквально так, что если этого все же не случилось, то только потому, что это он, Елисеев, «отсоветовал Некрасову давать другую окраску журналу» и что это он убедил Некрасова в новом журнале «развернуть то же самое знамя ⟨«Современника»⟩ и нести его так же твердо и неуклонно, как и прежде» [2].

Елисеев писал свои воспоминания в 1885—1891 гг., когда старость и болезни сильно ослабили его память и литературную трудоспособность. Его мемуарный труд не был завершен. Сохранившаяся рукопись «Воспоминаний»—хаотична и фрагментарна. Это—собрание отрывков публицистического, исследовательского и мемуарного характера, часто без начала и без конца изобилующих повторениями, текстуальными совпадениями и множеством вариантов. Научно-критического издания «Воспоминаний» Елисеева не существует, а то, которое имеется (сб. «Шестидесятые годы», Academia, 1933), далеко от полноты и точности текста. Сверх того, оно не везде убедительно по своей композиции. Все это заставляет с осторожностью относиться к мемуарным свидетельствам Елисеева и тем традиционным точкам зрения, которые на этих свидетельствах базируются. В его мемуарах найдется немало мест, где объективность изложения событий и оценка фактов эпохи могут быть заподозрены, в том числе и в части формулирования собственных былых взглядов. В этом смысле показательно, например, определение «знамени» «Современника», которое будто бы содержалось в том самом письме Елисеева, в котором он убеждал Некрасова быть верным этому знамени. «Смысл моего письма,— вспоминает Елисеев,— был такой: «Современник»... заявил себя горячим борцом за новую идею и постоянно твердо и неуклонно, шаг за шагом, шел за новыми



НЕКРАСОВ

Портрет маслом Н. Н. Ге, 1868 г.

Русский музей, Ленинград

реформами... Отступить от этого пути, хотя бы на одну пядь, было бы нерезонно и невыгодно» [3]. Революционное знамя журнала Чернышевского—Некрасова—Добролюбова превращено здесь в штандарт российского либерализма. Следует усомниться, конечно, в наличии именно такой оценки направления «Современника» в недошедшем до нас письме 1867 г. Скорее можно предполагать, что ее внес туда Елисеев-мемуарист. Но, с другой стороны, не подлежит сомнению, что не Елисеев был тем человеком в тогдашней России, который мог задумать и, в меру изменившихся исторических условий, осуществить воссоздание боевого демократического журнала, продолжателя традиций «Современника». Таким человеком мог быть и был Некрасов.

Практическое осуществление замысла Некрасова было одновременно и очень трудным и очень смелым делом. Ленин, в одной из своих характеристик 60-х годов, в связи с «запиской» Витте «Самодержавие и народность», говорит о тех казенных, чиновнических взглядах на общественные явления той эпохи, которые сказываются «в игнорировании революционного движения, в затушевывании тех драконовских мер репрессии, которыми правительство защищалось от натиска революционной «партии» [4]. В свете этого ленинского указания на напряженность и остроту политической борьбы в стране становится особенно очевидной трудность задачи Некрасова. Ему нужно было под «недремлющим оком» III Отделения и бдительной цензуры, в условиях победы самодержавия над «революционным натиском» начала 60-х годов, восстановить только что разгромленный одной из «драконовских мер» правительства идейный штаб революционной «партии», каким являлся закрытый «Современник».

Некрасов должен был использовать для воссоздания журнала все ресурсы и способы, весь накопленный им опыт организатора и руководителя легальной революционно-демократической печати в стране политического бесправия и полицейского произвола. Некрасов понимал, что, выступая с прямыми действиями против такого противника, как самодержавие, в лице его официальных контролирующих органов в области печати, он дела не сделает. Литературной политике и тактике властей он должен был противопоставить и противопоставил свою тактику самообороны и борьбы. Некрасов знал при этом, что необходимо будет пойти на некоторые жертвы, и он, как всегда, не испугался этих жертв.

В какой же исторической обстановке и в условиях какой политики и тактики правительства в области печати пришлось Некрасову организовывать «Отечественные Записки» и вновь собирать вокруг них оппозиционные силы демократической литературы и публицистики?

Характеризуя в статье «Гонители земства и аннибалы либерализма» тактику самодержавия в условиях революционной ситуации 60-х годов, Ленин писал: «При таких условиях самодержавное правительство... не могло поступать иначе как беспощадно истребляя отдельных лиц, сознательных и непреклонных врагов тирании и эксплуатации (т. е. «коноводов» «революционной партии»), запугивать и подкупать небольшими уступками массу недовольных. Каторга — тому, кто предпочитал молчать, чем извергать тупоумные или лицемерные хвалы «великому освобождению»; реформы (безвредные для самодержавия и для эксплуататорских классов реформы) — тем, кто захлебывался либерализмом правительства и восторгался эрой прогресса». Ленин добавляет при этом: «Мы не хотим сказать, что эта рассчитанная полицейско-реакционная тактика была отчетливо сознаваема и систематически преследуема всеми или хотя бы даже несколькими членами правящей клики. Отдельные члены ее могли, конечно, по своей ограниченности не задумываться над этой тактикой

в ее целом и наивно восторгаться «либерализмом», не замечая его полицейского футляра. Но в общем и целом несомненно, что коллективный опыт и коллективный разум правящих заставлял их неуклонно преследовать эту тактику» [5].

Охранительно-провокаторская тактика «либеральных» уступок и подачек в незримом «полицейском футляре» имела своей задачей изолировать широкие массы недовольных в стране от ее активно-революционных элементов. Видоизменяясь, в зависимости от развития революционного движения в стране и обусловленных этим развитием колебаний правительственного курса, то в сторону реакции и полицейских репрессий, то в сторону социально-экономической и политической демагогии, тактика «полицейского футляра» неизменно присутствует во всех основных мероприятиях правительства периода 60-х — 80-х годов. Она лежит, в частности, в основе всех его «либеральных начинаний» этого периода, достигая особого размаха в так называемой «диктатуре сердца» Лорис-Меликова и в пресловутой «народной политике» или «политике содействия» гр. Н. П. Игнатьева.

В 1867—1868 гг., когда Некрасов создавал «Отечественные Записки», ему пришлось непосредственно столкнуться с одним из проявлений тактики «полицейского футляра» — с литературной политикой тогдашнего министра внутренних дел, графа П. А. Валуева. Характерному выразителю правительственного курса на том критическом для самодержавия этапе, когда оно вынуждено было отражать натиск мощной революционной волны начала 60-х годов, Валуеву приходилось лавировать между либералами и крепостниками, осуществлять «либеральную» политику ради сохранения незыблемости основ абсолютизма. С одной стороны, Валуев проводит земскую реформу 1864 г., бывшую, по определению Ленина, «одной из тех уступок, которые отбила у самодержавного правительства волна общественного возбуждения и революционного натиска» [6]. Но с первых же шагов созданных им земских учреждений Валуев начинает бороться с ними, усиливая административный надзор за их деятельностью. Под руководством Валуева вырабатывается в 1863 г. так называемый «проект первой русской конституции», предполагавший ежегодный созыв законосовещательного «съезда государственных гласных» из представителей губернских земских собраний и крупных городов, с обеспеченным дворянским большинством. Но неприкосновенность самодержавия в проекте, по словам самого Валуева, сохранена настолько, что на этот счет «не представилось даже надобности в какой-либо оговорке или пояснении или подтверждении». Валуев проводит, наконец, в 1865 г. «либеральный» закон о бесцензурной печати и вместе с тем усиливает ее преследование полицейско-административными мерами.

Проводившаяся Валуевым «либеральная политика» в оболочке «полицейского футляра» может быть продемонстрирована его замечанием, сделанным на журнале заседаний Совета Главного управления по делам печати от 25 февраля 1868 г.

В протокольной записи журнала речь шла о «тенденциозных статьях», помещенных в радикальном журнале «Дело» и в газете «Петербургский Листок». «Тенденциозность» заключалась в том, что в статьях говорилось о бедственном положении народа. Для журнала «Дело» такие статьи были признаны характеризующими «вредное направление» издания. Но появление подобных статей в газете «Петербургский Листок» член Совета Главного управления по делам печати Ф. Толстой счел случайным явлением. Мнение, высказанное Ф. Толстым, и его аргументация вызвали пространное замечание Валуева.

«Я считаю,— писал министр, — положительно ошибочным, в политическом отношении, и положительно неудобным, в административном,

постоянно повторяющееся в докладах Совета явление психической адвокатуры в пользу тенденциозных статей. Кто знает цель писателей? Кто может поведать гг. членам Совета тайну мысли и дела сочинителей статей в «Петербургском Листке»? Нахожу эту статью, о которой здесь речь, положительно тенденциозною, она из рода той, которая систематически рисует в темном виде страдание русского народа, она совершенно подстать тем стихам, о «страдании шире степей», которые самим Советом признаны противоцензурными... [7]

Прочитав вышенаписанное, я нахожу, что по вопросу, затронутому в начале моей заметки, моя мысль еще не вполне высказана. Особенно прошу Ф. М. Толстого не принимать моих соображений за направленную против него критику. Я весьма ценю и уважаю его взгляды и его постоянное, деятельное участие в делах Совета. Мне только случайно пришлось высказаться по поводу его отзыва, но такие же отзывы весьма нередко случались в Совете и не с его стороны. Еще в начале 1866 г. я заметил, прописывая мое мнение на журнале Совета, что он стоит не между печатью и правительством, а на стороне правительства, и что он — звено правительства. Все Управление по делам печати — от отдельных цензоров до М⟨инистра⟩ В⟨нутренних⟩ Д⟨ел⟩ — не составляет судебного учреждения. Мы не призваны входить в разбирательство побуждений и намерений писателей, кроме случаев очевидных. Мы имеем дело с читателями и должны принимать в расчет действия статей гораздо больше, чем мотивы их зарождения и составления. Все члены Управления весьма не точно определяли бы свою задачу, если бы они считали себя заступниками благонамеренной печати перед высшей властью, будто бы склонной ее осуждать без оснований и стеснять без надобности. Думаю, что никакой М⟨инистр⟩ В⟨нутренних⟩ Д⟨ел⟩ не уступит другим чести быть прямым заступником законной свободы мысли и слова. Но законной свободой он может признавать только ту, которая не играет законом, не обходит его, не старается уснащать при этом кривотолками, не возбуждает к нему подозрения и не враждует против того правительства, которое ее даровало и ее охраняло. Когда произведение печати преднамеренно или без намерений должно быть признано вредным по своему направлению, по своему влиянию и по происходящим из него впечатлениям,— мы не властны быть снисходительными» [8].

Валуев не собирался уступать никому «чести быть прямым заступником законной свободы мысли и слова». Таков был «либеральный» фасад его литературной политики. Разъяснения, что́ следует понимать под «законной свободой»,— таков был «полицейский футляр» этой политики. О некоторых приемах тактики, при помощи которых эта политика осуществлялась, дают представление записи из неопубликованной еще части дневника Валуева и другие неизданные бумаги его архива.

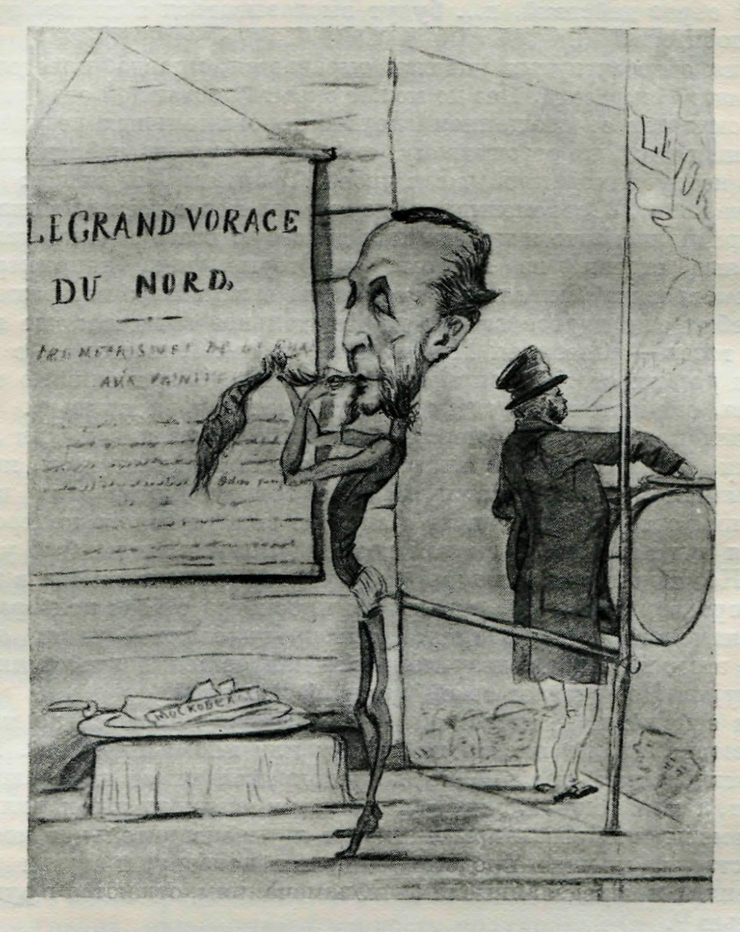
Размышляя о причинах роста оппозиционных настроений в литературе и журналистике и бессилии правительства эффективно противодействовать этим настроениям, Валуев приходит к выводу, что «нельзя кроить печать как виц-мундир», что «насилие, приказание и т. п. не производят хорошей прессы и не помогают прекратить дурной». Для надлежащего идейно-политического руководства печатью «нужно непрерывное влияние,— писал он позже,— и, так сказать, присутствие в надпечатной области» [9].

Высказанная здесь мысль о недостаточности одних карательных цензурно-полицейских мер в области контроля за печатью и о необходимости создания одновременно методов внецензурного идейно-организационного воздействия на нее и является той отправной точкой, исходя из которой Валуев пытается разрабатывать в применении к печати

и литературе практические формы тактики либеральных уступок в «полицейском футляре».

«Открытие», сделанное Валуевым, в действительности было не ново и не оригинально.

В первые годы министерства Валуева (1861—1868), когда цензура еще формально была подчинена министру народного просвещения, с тем же рецептом борьбы с «нежелательной печатью» выступил председатель Петер-



КАРИКАТУРА НА П. А. ВАЛУЕВА И ЕГО ЛИТЕРАТУРНУЮ ПОЛИТИКУ

Рисунок неизвестного художника, 1860-е гг.
Исторический музей, Москва

бургского цензурного комитета В. А. Цеэ. Проект изложен в «Записке», получившей личное одобрение Александра II. В бумагах Валуева эта записка сохранилась и, видимо, привлекла его пристальное внимание.

В. А. Цеэ ставил перед собою задачу «примирить» оппозиционную журналистику с правительством. Он предлагал для достижения этой цели не столько карать и репрессировать, сколько «направлять нашу литературу», т. е., говоря словами Валуева, действовать «в надпечатной области». Обо всем этом рассказано в книжке В. Е. Рудакова «Последние дни цензуры в Министерстве народного просвещения» (СПб., 1911). Однако Рудаков приводит только ту часть «Записки», в которой автор сообщает о поло-

жительных результатах, якобы достигнутых при помощи нового метода. Цеэ рассказывает, как, «действуя с литераторами откровенно», он старался заслужить их доверие, доказывая им бессмысленность оппозиции «при таком правительстве, которое идет очень прогрессивно». Он повествует далее, что большинство литераторов будто бы «с готовностью объявили согласие заслужить сделанное им доверие, но что они не вдруг (ибо слишком быстрый переход лишил бы их доверия публики), а постепенно оставят прежний образ действий, и... будут высказываться в пользу правительства и порядка».

Реляция о достигнутых успехах омрачается, правда, поведением «Современника» Некрасова. Цеэ не может скрыть постигшей его тут неудачи, хотя и смягчает ее обещанием скорых положительных результатов от примененного им к строптивому изданию «другого действенного средства». В неопубликованной части своей «Записки» Цеэ пишет:

«К сожалению, «Современник»... до сих пор менее всех изменил прежнее свое направление, зато я против него действую всего строже, чаще запрещаю целые статьи, из которых некоторые (как, например, статья Серно-Соловьевича) были представлены на высочайшее воззрение; вскоре я употребил еще другое весьма действительное средство: две из наших лучших газет — «Северная Пчела» и «Русский Инвалид» — в дельных, умных и резких статьях опровергают учение «Современника» и, можно надеяться, окончательно подточат его значение и влияние» [10].

Наивным надеждам Цеэ не суждено было оправдаться. Они лишь обнаружили, перед более чем он проницательным начальством, как отстал от понимания усложнившихся явлений современности этот чиновник, занимавший ответственный пост в системе политического контроля самодержавия над печатью. В скором времени Цеэ вынужден был уйти в отставку. Но важно подчеркнуть, что при нем широко вошла в практику система предварительного, негласного просмотра статей цензорами помимо официального цензурования. В неопубликованной части «Записки» введение этого метода предварительного контроля и воздействия «домашней цензуры» Цеэ считает своей большой заслугой.

«Почти ежедневно,— пишет он, — редакторы являются ко мне за советами: могут ли они писать по такому или иному предмету. Высказывая им откровенное мое мнение, я предохраняю их от напрасного труда и расхода, а само общество от бесполезного и вредного сочинения. Бывают даже примеры, что редакторы приносят на предварительное мое рассмотрение статьи, прежде представления их цензору, и статьи эти, уже исправленные и переделанные по моим замечаниям, отдаются в руки законного судьи» [11].

Министр народного просвещения Головнин переслал Валуеву «Записку» Цеэ со следующей припиской: «Записка эта представлялась государю, и его величество написал на ней: «Весьма дельно, дай бог действительного успеха» [12].

С оценкой «высочайшей» резолюции Валуев не мог не считаться, и он действительно поощрял метод негласного предварительного цензурования и неофициальных консультаций чиновников цензурного ведомства с редакторами периодических изданий даже и после принятия закона о бесцензурной печати 1865 г.

Ниже мы увидим, какие мало приятные сюрпризы для властей таил в себе этот метод «частных соглашений печати с цензурной властью» (В. М. Лазаревский). С замечательным искусством обращенный Некрасовым в свою пользу, он превратился в его руках в действенное оружие борьбы с цензурой, с ее карами и дезорганизаторскими попытками в отношении демократической печати. Но промах был замечен не скоро. А в данный момент власти, во главе с самим царем, были довольны, полагая, что

наконец-то найден «дельный» способ обуздания «вредной» печати и управления ею.

Стремление овладеть периодическою печатью и использовать ее как одно из средств воздействия на общественное мнение страны и даже на само правительство диктовалось Валуеву его пониманием неустойчивости, шаткости положения самодержавия. Валуев опасался, что без принятия каких-то специальных мер русский абсолютизм не сможет выдержать нового кризиса, подобно пережитому в начале 60-х годов, и вместе с тем признавал неизбежность кризисов в ближайшем будущем.

Характерны в этом отношении неопубликованные записи в его дневнике 1866 г.:

«Если ближе всмотреться и сообразить, как шатко и гнило все, что меня окружает, как может со дня на день назреть кризис...». «Есть что-то как бы надломленное в нынешнем строе России, во всем, что ежедневно у меня перед глазами...». «Я вижу болезненные признаки и чую предстоящие кризисы. То, что есть, далее быть не может. Но как изменится и чем заменится?» [13].

Больше всего тревожит Валуева все увеличивающаяся изоляция правительства от «общества». Она усматривается им в оппозиционности всей неофициальной периодической печати различных политических направлений. Об этом говорит запись в дневнике от 17 апреля 1865 г.:

«Русский Инвалид» продолжает итти своей дорогой, наперекор взглядам $^3/_4$ правительства. Между тем «Московские Ведомости» становятся отчасти на ультрадворянскую точку зрения. «Голос» попрежнему проводит нигилистические тенденции. На стороне правительства — никого» [14].

У Валуева возникает сначала мысль «об основании новой еженедельной газеты под прямым влиянием Министерства В⟨нутренних⟩ Д⟨ел⟩... для большего влияния на публику» [15].

Быть может, даже (для такого предположения существуют некоторые данные), Валуев пробовал практически осуществить свои замыслы. Возможно, что для этой цели им была использована еженедельная газета «Неделя» (с м а р т а 1866 г. п о н а ч а л о 1867 г.). Но как бы то ни было, замысел в целом не получил сколько-нибудь законченного развития и воплощения. Он не сулил ничего большего, чем создание еще одного казенно-правительственного органа, бессильного как раз в силу своей официозности оказывать влияние на общество. Тогда Валуев пытается создать неофициальную правительственную прессу по немецкому образцу, т. е. учредить нечто вроде Reptilien-Fond'а, существовавшего в Германии, или, иначе говоря, намеревается попросту подкупать газеты и журналистов с целью привлечения их на сторону правительства [16]. Но и здесь ждали Валуева неудачи. Подкупленный русским правительством Шедо-Ферроти был очень скоро разоблачен, а предпринятая Валуевым, через Ф. М. Толстого, попытка склонить к изданию тайного рептильного органа Е. Л. Маркова не привела ни к каким результатам. Об этом говорит запись в дневнике от 23 июля 1865 г.:

«Трудно у нас вести всякое дело,— записывает Валуев,— а дело прессы — в особенности. Нет ни навыка, ни такта, ни надлежащего образования в наших литераторах-публицистах. Между тем спесь и упрямство большие во многих. Поездка Ф. М. Толстого в Тулу не привела к сделке с г. Марковым. Он решительно отказался, что благородно с его стороны, но еще раз доказывает затруднительность приобретения деятелей для стороны правительственной» [17].

В «Докладной записке о внутреннем положении России» (26 апреля 1866 г.) Валуев вновь возвращается к вопросу о методах ограничения и нейтрализации вредных для самодержавной власти выступлений в печати.

Важно отметить при этом, что Валуев, умевший порой трезво-реалистически воспринимать и оценивать современные ему социально-политические явления, исходит из предпосылки невозможности произвести в литературе желательный для властей «переворот», из сознания неизбежности существования в стране враждебных самодержавию общественных настроений, а в литературе — выражающих эти настроения оппозиционно-демократических изданий. Тем большее значение приобретает для Валуева, как министра, вопрос о создании методов и средств ограничения неизбежного зла.

«...В литературе давно преобладает стремление к материализму и социальной нивелировке,— пишет Валуев.— В периодической прессе, которая составляет в наше время господствующие виды литературной деятельности, встречаются, за исключением официальных журналов, весьма немногие изъятия из общего правила... Недостаток способных писателей затрудняет организацию правительственной прессы ⟨...⟩. В отношении к нашей литературе вообще и к периодической прессе — в особенности, нельзя ни ожидать, ни произвести внезапного переворота. Нельзя вызвать, равным образом, значительное число новых деятелей и нельзя устранить прежних. *Но можно их сдерживать в известных пределах, и даже пределах довольно тесных*, посредством точного применения законоположений 6 апреля 1865 г., если со стороны судебной власти будет оказано надлежащее содействие»[18].

Однако усиление судебных репрессий против печати не являлось в глазах самого Валуева тем главным рычагом воздействия на нее, который был ему нужен и которого он искал. Скорее это была неизбежная для официальной «Записки» дань настроениям «сфер» после выстрела Каракозова, когда от министров требовались доказательства их готовности проявить «спасительную» твердость и строгость.

Из двух, по определению Ленина, основных методов реакционно-полицейской тактики самодержавия — «тактики запугивания и развращения»[19], Валуев, не избегая первой, больше все же склонялся ко второй.

В одной из «записок» Валуева, написанной уже после его отставки с поста министра внутренних дел, мы вновь обнаруживаем следы упорной работы его мысли по созданию механизма внецензурного воздействия на печать, который бы позволил правительству направлять и контролировать ее в рамках надежного «полицейского футляра».

«Благоволите с своей стороны,— пишет Валуев неизвестному, но, несомненно, близкому к правительственным сферам корреспонденту,— подумать о том «клапане», о котором я говорил вчера. Рука М⟨инистра⟩ В⟨нутренних⟩ Д⟨ел⟩ не может быть вполне отодвинута от печати. Разрешение изданий и утверждение редакторов суть однократные и большей частью формальные действия. Нужно непрерывное влияние и, так сказать, присутствие в надпечатной области»[20].

Что̀ означают слова о «клапане» — не вполне ясно. Но основные контуры литературной политики и тактики Валуева достаточно определяются приведенными материалами. Платформой этой охранительной политики являлись признание недостаточности борьбы с враждебной правительству печатью силами одних карательных средств и поиски новых форм противодействия, сочетавших административные преследования (тактика «запугивания») с попытками скрытого идейного руководства и управления (тактика «развращения»).

Валуев стремился ввести оппозиционно-демократическую литературу и журналистику в определенные каналы внецензурного наблюдения и воздействия, для чего поощрял систему предварительного негласного цензурования статей и неофициальных сношений ответственных чинов-

КАРИКАТУРА НА ЛИБЕРАЛЬНЫХ МИНИСТРОВ АЛЕКСАНДРА II
Изображены: Н. А. Милютин, Д. А. Милютин, М. Х. Рейтерн, А. В. Головнин
Надпись (по-французски): «Вот так-то эти господа желают пустить самодержавие в открытое море демократии»
Рисунок неизвестного художника, 1860-е гг.
Исторический музей, Москва

ников цензурного ведомства с редакторами, издателями и даже постоянными авторами в изданиях периодической печати.

В условиях литературной политики Валуева и происходила вся работа Некрасова по организации нового журнала, завершившаяся переходом в его руки «Отечественных Записок».

III. ПЕРЕХОД «ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАПИСОК» К НЕКРАСОВУ И РАСКОЛ В БЫВШЕЙ РЕДАКЦИИ «СОВРЕМЕННИКА»

Закрытие в 1866 г. «Современника» и «Русского Слова» оставило без литературной работы группу демократических писателей, связанных с этими радикальными органами. Часть их вынуждена была искать себе заработка в других изданиях. Это обстоятельство, как увидим ниже, явилось предметом специального внимания и, вместе с тем, беспокойства органов политического и цензурного контроля. Наблюдать за «неблагонамеренной» литературой и ее деятелями в их разрозненном состоянии было труднее. И хотя полицейское наблюдение было усилено, оно мало что давало властям.

Сохранился «Список литераторов и каррикатуристов, находящихся в живых», составленный в канцелярии петербургского обер-полицмейстера в 1866 г. Почти всех сотрудников «Современника» и «Русского Слова» полиция по шаблону именует здесь «социалистами», «крайними

красными», «красными», «крайними нигилистами» или просто «нигилистами» [21].

Неудовлетворенный этим реестром полицейских этикеток, петербургский обер-полицмейстер Ф. Ф. Трепов отдал распоряжение: «Завести новое дело о С.-Петербургских литераторах и журналистах» [22]. Секретным агентам полицейского розыска были даны соответствующие инструкции. Власти опасались возможного возрождения «крамольного» «Современника», под своим ли именем или под маркой какого-либо другого издания. Агентам вменялось в обязанность узнавать и сигнализировать о возникновении таких намерений. И они сигнализировали.

Один из агентов доносил, например, обер-полицмейстеру, что «эта покойная редакция ⟨«Современника»⟩ не имеет теперь своих органов, а потому старается подчинить своим формам какое-нибудь из молодых периодических изданий. Так, были сильные попытки взять в руки направление «Гласного суда». Агент сообщал при этом, что в редакции этого издания партия «Современника» имеет своих людей: некоего Сиялковского — «крайнего социалиста» и Троицкого — «демократа скорее из зависти, чем по убеждениям». Однако, как выясняется из донесения, и полиция имела в той же редакции свою агентуру. Она не только следила за писателями, близкими к Некрасову, но и принимала меры, чтобы газета не подпала под влияние «партии красных». Об этом свидетельствует другое агентурное донесение, ставящее полицмейстера в известность, что Сиялковскому отказано в работе и что секретарь редакции Троицкий, «лакей партии красных, Елисеева и К⁰», заменен в редакции Колосовым». «При том доверии,— говорится в донесении,— которым пользуется в редакции Колосов, все старания их ⟨«партии красных»⟩ тщетны». Из видных сотрудников «Современника» остался только Н. А. Демерт, который, по словам агента, страстно «ненавидит дворянство» [23].

За намерениями и действиями Некрасова и всей группы «Современника» бдительно следила не только петербургская полиция, но и центральный орган политического розыска, III Отделение. Некрасов был окружен глазами и ушами его секретных сотрудников. Об этом свидетельствует ряд документов, обнаруженных нами в архивных фондах этого учреждения, и среди них такое агентурное донесение [24]:

Секретно

Совершенно частным образом узнано, что запрещенный журнал «Современник» возобновляется. Право издания сего журнала, как оказывается, принадлежит покойному г. Плетневу, бывшему ректору здешнего университета и имевшему счастие читать лекции ныне царствующему государю императору. Некрасов же был не более как арендатор, плативший за означенное право известную сумму и принявший на себя роль ответственного редактора. Прекращение журнала нанесло существенный ущерб не только арендатору, но и наследникам того, кому навсегда принадлежит право издания. Поэтому вдова г. Плетнева лично утруждала государя императора всеподданнейшею просьбою о возобновлении журнала и, как говорят, получила всемилостивейшее на то разрешение.

Вероятно, что все это справедливо, ибо известно, что г-жа Плетнева возобновила сношение с прежними сотрудниками «Современника», между которыми известный Слепцов опять принимается за описание народного быта и с этой целью намерен поехать в провинцию.

Говорят, что и другие сотрудники «Современника» встрепенулись и теперь сильно работают для возобновления издания.

10 ноября 1866 г.

⟨*На первой странице, на полях, карандашом, рукой Гл. нач. III Отделения и шефа жандармов Шувалова:*⟩ Est ce vrai? ⟨*и ниже другим почерком:*⟩ Pas que je sache.— 11.XI *

В какой мере достоверны эти любопытные сведения, добытые агентом III Отделения? Материалов и фактов для подтверждения их в полном объеме у нас не имеется. Однако в архиве канцелярии Главного управления по делам печати сохранилось «дело», из которого видно, что вдова П. А. Плетнева, Александра Васильевна, действительно подавала «на высочайшее имя» прошение «о дозволении детям ее, по наследству после отца, пользоваться правом собственности на литературный журнал «Современник». (Прошение датировано 30 октября/11 ноября 1866 г. и помечено Парижем, где проживала тогда просительница) [25]. Прошение было переслано из канцелярии Министерства двора на рассмотрение в Главное управление по делам печати, и начальник его, Похвиснев, 31 марта 1867 г. докладывал о нем министру внутренних дел, с замечанием, что «дозволение наследникам тайного советника Плетнева пользоваться правом собственности на этот журнал может последовать лишь с высочайшего его императорского величества соизволения». Архивное «дело» на этом кончается, свидетельствуя тем самым, что «соизволения» Александра II на ходатайство Плетневой не последовало. Возможно, что одной из причин отказа явилось доверие властей как раз к той информации, которая содержалась в опубликованном нами документе. Указания агента на сношения А. В. Плетневой с редакцией закрытого «Современника» могли внушить властям подозрение, что за спиной подательницы прошения стоял и действовал Некрасов, пытавшийся таким способом возродить журнал. Правдоподобность такого предположения находит себе некоторое косвенное подтверждение в ряде других агентурных донесений, найденных нами в делах III Отделения и частично публикуемых в последней главе настоящей работы. В этих донесениях зафиксированы настойчивые попытки Некрасова, после закрытия «Современника», подчинить своему фактическому, но негласному руководству некоторые из существовавших периодических изданий. Во всех этих случаях Некрасов, естественно, выступал с соответствующим ходатайством перед властями не сам, а через других лиц. Несомненно, что об этой активности Некрасова мог знать весьма ограниченный круг его доверенных лиц. В воспоминаниях современников мы не находим об этом ни слова. А между тем, III Отделение было в курсе дела, хотя, разумеется, агентурные донесения, основанные часто на одних слухах, требуют очень осторожного отношения к сообщаемым в них фактам.

Так или иначе, попытка Некрасова возродить «Современник», если она действительно имела место в эпизоде с прошением А. В. Плетневой, потерпела крушение в результате бдительности органов политического наблюдения. Возможно, что именно эта неудача побудила Некрасова обратиться к другим замыслам издательского характера, предшествовавшим переходу в его руки «Отечественных Записок». Об этих замыслах мы узнаём, на этот раз, из писем самого Некрасова.

Летом 1867 г. у Некрасова возник план издания непериодических литературных сборников, и он уже вел переговоры о статьях для них (например, с Писаревым) [26]. В писательской среде это предприятие было встречено с большим сочувствием. «До-нельзя рад...,— писал Некрасову П. И. Якушкин 21 августа 1867 г.,— что Вы опять беретесь за издательство: Вы соберете вокруг себя людей, с которыми не стыдно будет работать» [27]. Но для Некрасова это был, разумеется, паллиатив. При помощи сборника или ряда сборников он мог сохранить и поддержать, на время

* «Правда ли?»—«Мне не известно».

отсутствия журнала, литературные силы и отчасти традиции закрытого «Современника». Мечтал же он о возобновлении журнала, и поэтому, как только осенью 1867 г. наметились практические возможности подчинить своему руководству журнал Краевского «Отечественные Записки», Некрасов прекратил работу по организации сборника.

Переговоры с Краевским начались, вероятно, сразу же после приезда Некрасова в Петербург, в сентябре 1867 г. Некрасов натолкнулся на «барышнический расчет» Краевского. Последний рассматривал свои издания с чисто коммерческой точки зрения. Главной заботой была их доходность, в отношении же направления Краевский был достаточно беспринципен. Но эти качества Краевского как собственника журнала облегчали Некрасову ведение переговоров, и он действительно добился успеха.

«Отечественные Записки» без ярко выраженного направления влачили жалкое существование. После смерти С. С. Дудышкина, в сентябре 1866 г., Краевский редактировал журнал сам. Это отнимало много времени, но положения издания не поправляло. Журнал был на хорошем счету у цензуры, но у читателей успеха не имел. Количество подписчиков было невелико и едва достигало 2 000. Предприятие Краевского становилось все более убыточным. Передать редакцию «Отечественных Записок» в руки Некрасову было выгодно. Популярность имени поэта, его опыт редактора-издателя сулили журналу новый успех.

«Ваше имя на обертке,— писал М. В. Авдеев Некрасову,— знамя, которое теперь в с ё и значения которого вряд ли еще скоро кто добьется» [28]. Но имя Краевского также пользовалось вполне определенной репутацией. В литературных кругах помнили о его ренегатстве в 1848 г., а крикливый либерализм «Голоса» не мог скрыть беспринципности и торгашеского духа издательских предприятий Краевского.

Сочетание имени Краевского с деятелями бывшего «Современника» представлялось для многих совершенно невозможным и недопустимым. Из воспоминаний Елисеева и ряда других свидетельств известно, что Некрасову пришлось затратить немало труда и усилий чтобы убедить своих будущих товарищей по редакции, в том числе Щедрина, пойти на аренду журнала Краевского, а особенно на сохранение его подписи ответственного редактора. Возникновение возможных в начале толков об отходе от прежнего направления не пугало Некрасова. Основным доводом его, по словам Елисеева, было убеждение, что о направлении должен говорить сам журнал: «Из него увидят, изменили ли мы прежнему направлению» [29].

Решение превратить либерально-оппортунистический журнал Краевского в демократический орган, который продолжал бы боевые традиции «Современника», было одним из тех, по выражению Щедрина, «маневров» Некрасова, при помощи которых он умел достигать своих основных целей. В данном случае, когда было очевидно, что ни самому Некрасову, ни кому-либо из остальных редакторов бывшего «Современника» власти не дадут разрешения на «свой» журнал, необходимо было пойти на негласное редакторство под защитной маркой какого-либо официально ответственного перед властями и приемлемого для них лица. Краевский был здесь наиболее походящим человеком. Он уже имел журнал и подписывал его как редактор, он давно практиковал принцип своего невмешательства в редакционные дела и был достаточно безразличен к идейной окраске журнала.

Свои переговоры с Краевским Некрасов вел параллельно переговорам с бывшими сотрудниками «Современника», имея, очевидно, в виду привлечь к работе в «Отечественных Записках» всю руководящую группу своего первого журнала. Этого, однако, не случилось.

«Я был в полной надежде,— читаем в воспоминаниях Елисеева,— что прежний «Современник» возродится в «О⟨течественных⟩ З⟨аписках⟩» в полном составе всех бывших сотрудников... Как вдруг произошло нечто совсем для меня невероятное». И Елисеев приводит затем известный рассказ о том, как возник конфликт на почве денежных расхождений, «спор из-за четвертака», будто бы и приведший к расколу в бывшей редакции «Современника».

Кратко содержание рассказа Елисеева сводится к следующему: на одном из совещаний об «Отечественных Записках», происходившем у А. М. Унковского, Ю. Г. Жуковский вдруг заявил Некрасову, что согласится участвовать в журнале лишь в том случае, если будет получать половину прибыли, и, не смущаясь присутствием Елисеева, прибавил, что в качестве редакторов, оплачиваемых из общередакционных сумм, находит нужным пригласить Антоновича и Пыпина; что же касается Елисеева, то, «если угодно» Некрасову привлечь и его к редактированию журнала, он может «оплачивать его из своей доли» [30].

Перед Некрасовым возникла необходимость выбора: Антонович и Жуковский или Елисеев. Некрасов предпочел последнего. В результате новая редакция «Отечественных Записок» составилась без Жуковского и Антоновича. Не захотел войти в нее из-за дружеской солидарности с Жуковским и Пыпин. В редакции, таким образом, остались лишь Некра-

«НОВЫЙ ГОД В ЖУРНАЛИСТИКЕ»

Карикатура А. М. Волкова в «Искре», 1868, № 1

Объяснение карикатуры см. в публикации «Неизданные рисунки А. М. Волкова к стихотворению «Суд».—«Лит. Наследство», т. 53—54

сов и Елисеев. Несколько позже, с осени 1868 г., к ним присоединился М. Е. Салтыков, только что вернувшийся из Рязани после предложенной ему окончательной отставки с государственной службы (в ходе переговоров он принимал участие лишь в одном совещании, в октябре 1867 г.).

Нарисованная в «Воспоминаниях» Елисеева картина возникновения конфликта, приведшего к распаду бывшей редакции «Современника», не оспаривалась до сих пор исследователями. В подтверждение ее ссылались обычно на письмо Некрасова к Пыпину, датируемое октябрем—ноябрем 1867 г. Но хотя письмо это действительно содержит в себе указания на несогласие Некрасова предоставить Жуковскому и Пыпину восьмые доли доходов от журнала, оно, тем не менее, не может служить «несомненным доказательством»[31] полной достоверности рассказа Елисеева.

Приводимые ниже материалы заставляют пересмотреть общепринятую версию о подлинных причинах раскола в бывшей редакции «Современника» при организации «Отечественных Записок» Некрасова.

Известный корректив в версию Елисеева вносит уже ответное письмо Пыпина Некрасову. На категорический вопрос последнего, согласен ли Пыпин «принять участие» в редакции «Отечественных Записок» на условиях, подобных тем, которые он имел в «Современнике»,— был дан отрицательный ответ. Он был сформулирован в следующем письме Пыпина, сохранившемся в черновике:

«Николай Алексеевич! Я очень жалею о том, что Ваши переговоры с Жуковским кончились, как я вижу, безуспешно, потому что это мешает и мне принять участие в деле по разным соображениям, которые я Вам укажу. Прежде всего, как я говорил Вам, Жуковский представляется мне необходимым для журнала как человек очень талантливый и для многих предметов из всех нас наиболее компетентный. Если Вы думаете, что в настоящую минуту журнал может обойтись без него, то я этого не думаю, и мы не знаем,— может быть он будет нужен завтра. Относительно цензурности его писаний, я говорил Вам также, что сколько мог я видеть из своих разговоров с ним в последнее время, за эту сторону его деятельности можно было бы не иметь никаких опасений. Это мое мнение о Жук⟨овском⟩ мимо всяких личных отношений. По моим понятиям, из всего нашего прежнего кружка это наиболее даровитый и симпатичный и достаточно деятельный журналист.

По лич⟨ным⟩ отнош⟨ениям⟩ я также дос⟨тато⟩чно с ним связан. Мысль о новой литер⟨атурной⟩ деят⟨ельно⟩сти приходила нам нередко в последние полтора года, и здесь я всего больше сходился с ним в понятиях и желаниях. Мы об этом говорили с ним еще так недавно, что — по простым человеч⟨еским⟩ отношениям мне в наст⟨оящую⟩ минуту совсем невозможно вступить в дело, сепаратно от него, в особ⟨енно⟩сти при вышеупомянут⟨ом⟩ моем мнении о нем.

Относительно матер⟨иальной⟩ части дела, я сам, как Вы знаете, не принадлежу к числу особо требовательных и предполагал решение этого вопроса возможным, если бы только состоялись Ваши переговоры с Жуковским. Относительно долей, о которых Вы упоминаете, я с своей стороны (да вероятно и Жуковский) ни на минуту не противоречили бы предоставлению такой же доли и Елисееву [как близкому участнику в журнале я находил бы это весьма справедливым]. Если Жук⟨овский⟩ придает этому пункту такую важность, это — его вопрос, конечно, не лишенный смысла, из желания человека по ⟨возможности⟩ обеспечить близких. Очень жаль, если это об⟨стоятель⟩ство не может быть улажено.

Но, сколько я понимаю, есть еще затруднение, которое раз уже было препятствием для меня и [пожалуй] остается и теперь, если Краевский

будет и з д а т е л е м журнала. Я ничего не хочу сказать этим лично против Краевского, но наши литер⟨атурные⟩ отношения были таковы, что соединение двух литературн⟨ых⟩ оттенков, столь различных, в одно, представляется мне невозможным. Или мы должны слишком перемениться (хотя мы уже значительно переменились), или Краевский должен перемениться, для того чтобы эта комбинация была возможна. В настоящую минуту она поставила бы журнал в весьма фальшивое положение; я в этом убежден уже только по тем суждениям, какие мне случалось слышать от людей даже посторонних литературе. Этот пункт, конечно, известен городской сплетне и подвергается должным комментариям. Изменение Краевс⟨кого⟩-редакт⟨ора⟩ в Кр⟨аевского⟩-издателя нисколько не изменяет дела. Это, кажется, главнейший пункт всех недоразумений.

Для меня лично отказаться от Вашего предложения вовсе не так легко; Вы можете себе это представить, и это Вам объяснит, что упоминаемые мной затруднения кажутся мне действ⟨ительно⟩ велики. [При всей трудности моего положения я предпочту не связывать себя никакими обязательствами, которые могут ставить меня в фальшивое положение и втолкнуть снова в журнальные дрязги, обвинения, доносы.] Вы можете себе представить также, что после всяких испытанных удовольствий литературы человеку может казаться привлекательным только дело, где он может считать себя внутренне удовлетворенным,— в кружке близко известных людей. Я говорил Вам, что мне представилась в перспективе возможность такого дела и что я из-за этой перспективы не желал брать других дел... Если прежний кружок расходится, мне это истинно жаль, но виной этому не я. Если это дело не состоится или не состоялось, то у меня и вовсе пропадает охота еще раз пускаться в бурное море, т. е. в журнальные дрязги, в которых я не буду даже иметь прежнего кружка... Я на этот случай решил себе уклониться на известное время от всяких предприятий этого рода, хотя бы и в ущерб материаль⟨ным⟩ выгодам. Это я теперь и сделаю. Авось, проживу год — два, как прожил до сих пор»[32].

Письмо Пыпина свидетельствует, что не «материальная часть дела» имела для него решающее значение в возникшем конфликте, а вопрос об участии или неучастии в новой редакции Жуковского и опасения попасть в «фальшивое положение», участвуя в издании Краевского. В письме есть следы каких-то предшествующих разговоров корреспондентов на эту тему. Пыпин оспаривает мнение Некрасова, что новый журнал может «обойтись» без Жуковского, а также выражает уверенность, что «относительно цензурности его писаний» можно теперь «не иметь никаких опасений». Можно поэтому предполагать, что в беседе с Пыпиным Некрасов не только говорил о невозможности договориться с Жуковским по вопросу о доходах, как единственной причине расхождения с ним, но и ссылался при этом на какие-то другие трудности.

Что̀ именно мог говорить Некрасов Пыпину о Жуковском, а также Антоновиче и какова была его действительная позиция по вопросу о желательности или нежелательности привлечения их в редакцию нового журнала, мы, разумеется, не знаем. Здесь возможны лишь догадки и предположения. Но прежде чем сформулировать их, необходимо ознакомиться еще с одним документом, содержащим совсем новые данные об обстоятельствах, сопровождавших переход «Отечественных Записок» в руки Некрасова.

При обсуждении в Совете Главного управления по делам печати «вредного» направления «Отечественных Записок» 19 сентября 1871 г. «наблюдавший за журналом» член Совета Ф. Толстой счел нужным предста-

ДОМ КРАЕВСКОГО НА ЛИТЕЙНОМ ПРОСПЕКТЕ, В КОТОРОМ ЖИЛ (с 1857 г.) И УМЕР НЕКРАСОВ

Здесь же помещались редакции обоих некрасовских журналов: «Современник» и «Отечественные Записки»

Фотография 1918 г.

Институт литературы АН СССР, Ленинград

вить Совету «краткий очерк обстоятельств, при которых образовалась редакция названного журнала в ныне существующем составе».

Приведем из журнала заседаний Совета эту часть протокольной записи выступления Ф. Толстого:

«Еще осенью 1867 года распространился слух, что г. Краевский передает права свои на «Отечественные Записки» г. Некрасову, бывшему издателю и редактору «Современника», прекращенного по высочайшему повелению. Известно было также, что с передачею «Отечественных Записок» в заведывание г. Некрасова в состав редакции войдет бóльшая часть писателей, участвовавших в запрещенном «Современнике». Переговоры, происходившие в то время между гг. Краевским и Некрасовым, дошли до сведения бывшего министра внутренних дел ⟨П. А. Валуева⟩, и если его высокопревосходительство не воспрепятствовал соглашению, состоявшемуся между вышеупомянутыми лицами, то это потому только, что находил более удобным сосредоточить бродячие литературные силы бывшего «Современника» в одном журнале, полагая, что в противном случае они разбредутся по другим изданиям, что поставит еще в большее затруднение цензурное ведомство. Однако же из бывших сотрудников «Современника» признано было необходимым устранить от участия в «Отечественных Записках» гг. Антоновича и Юлия Жуковского, отличавшихся крайними воззрениями, о чем и были поставлены в известность как г. Краевский, так и г. Некрасов. Некрасов подчинился этому требованию, и в литературном нашем мире известно, какую бурю негодования возбудило удаление означенных писателей из вновь состоявшейся редакции в так называемых либеральных кружках. Антонович и Жуковский издали (в 1869 г.) брошюру под названием «Материалы для характеристики современной русской литературы», в которой Некрасов выстав-

лен как отступник, предатель и корыстолюбивый угождатель власти. Тем не менее, нельзя было сомневаться, что журнал, в состав редакции которого вошли гг. Елисеев, Салтыков (Щедрин) и сам Некрасов, будет издаваться в оппозиционном духе с явно обличительными тенденциями. С первых же нумеров это высказалось так ясно, что Краевский, который оставался ответственным редактором de jure, испугался и 9 апреля 1869 года подал прошение о передаче звания редактора Накрасову, который, со своей стороны, ходатайствовал о дозволении принять на себя полную ответственность за издание «Отечественных Записок». Бывший министр внутренних дел не отверг категорически ходатайства Некрасова, но объявил ему, что следует повременить.

С тех пор дело так и осталось в ненормальном положении, т. е. что Краевский только считался ответственным редактором, не имея почти никакого влияния на состав книжек журнала. Об этом гофмейстер Толстой неоднократно доводил до сведения как бывшего начальника Главного управления ⟨Похвиснева⟩, так и нынешнего г. министра внутренних дел ⟨Тимашева⟩, при докладах его в качестве исправляющего должность начальника Главного управления...» [33]

Итак, по авторитетному и зафиксированному в официальном документе свидетельству Ф. Толстого, разрешение на издание группой «Современника» заведомо оппозиционного журнала было дано властями *по определенным мотивам тактического характера*, а отсутствие в новой редакции Антоновича и Жуковского явилось результатом прямого требования тех же властей.

ДОМ НА ЛИТЕЙНОМ ПРОСПЕКТЕ ПРОТИВ КВАРТИРЫ НЕКРАСОВА

Некрасов наблюдал из окон своей квартиры сцену, происходившую у этого крыльца и давшую ему сюжет для стихотворения «Размышления у парадного подъезда»

Фотография 1921 г.

Институт литературы АН СССР, Ленинград

В какой мере достоверно это сообщение, заставляющее, в случае признания его соответствующим истине, внести существенные коррективы в традиционное изложение истории организации обновленных «Отечественных Записок» и возникновения конфликтов в редакции?

Хорошая информированность Ф. Толстого в делах и обстоятельствах, касавшихся взаимоотношений «Отечественных Записок» с властями, ведавшими делами печати, не подлежит сомнению. Его сообщение о мотивах, побудивших Валуева предоставить Некрасову возможность издавать журнал оппозиционного направления, находит себе достаточно удовлетворительное объяснение (а тем самым и подтверждение) в изложенных выше принципах и приемах политики Валуева в области печати. Решение собрать «бродячие литературные силы бывшего «Современника» в одном журнале», где они могли удобнее и надежнее контролироваться цензурными властями и полицейским наблюдением, было подсказано Валуеву его тактикой практиковать либерализм в «полицейском футляре». С другой стороны, сохранившаяся записка Некрасова к Краевскому от 30 ноября 1867 г. подтверждает, что в ходе переговоров и хлопот об аренде «Отечественных Записок» Некрасову действительно пришлось обращаться непосредственно к министру внутренних дел П. А. Валуеву. По словам этой записки, министр не находил, «со своей стороны», особых препятствий к переходу журнала к Некрасову, но советовал ему лично побывать у Мезенцова — управляющего III Отделением, а сам обещал переговорить с Шуваловым — главным начальником III Отделения и шефом жандармов.

Несомненно, что в ходе этих переговоров с властями, предшествовавших подаче Некрасовым и Краевским установленного прошения о разрешении издавать журнал, и было предъявлено требование об устранении Антоновича и Жуковского как наиболее скомпрометированных, с точки зрения «наблюдающих властей». Антонович был известен как боевой публицист и полемист «Современника». Материалы III Отделения свидетельствуют, что в 60-е годы он находился под самым пристальным наблюдением секретных сотрудников этого учреждения [34]. Жуковский нашумел в 1866 г. своей статьей «Вопросы молодого поколения», за которую был подвергнут судебному преследованию.

Из опубликованного В. Е. Евгеньевым-Максимовым письма того же Ф. Толстого к Валуеву от 31 мая 1866 г. известно, что после каракозовского выстрела, в последние дни «Современника», редакции его уже было предложено Советом Главного управления по делам печати вовсе устранить от участия в журнале «некоторых из зловреднейших писателей» (как, например, Антоновича и Ю. Жуковского) [35]. То же требование было предъявлено и сейчас, при переходе «Отечественных Записок» в руки Некрасова. Вынужденный подчиниться этому требованию ради получения возможности издавать журнал, Некрасов, однако, сразу же попытался нарушить его, как только «Отечественные Записки» уже были в его руках. Об этом свидетельствует его дружеское письмо к Жуковскому от 11 марта 1868 г. Оно существенно дополняет и комментирует весь эпизод и должно быть приведено.

Поводом к письму явилось заявление Жуковского и Пыпина, опубликованное во 2-й книжке «Современного Обозрения» за 1868 г. В нем говорилось: «Неопределенность объявлений некоторых журналов ⟨имелись в виду «Отечественные Записки»⟩ и действительное обещание сотрудничества, данное нами редакции «Современного Обозрения», подало повод к словесным, а потом и печатным толкам о новом вступлении на журнальное поприще бывших постоянных сотрудников «Современника». В виду этого Жуковский и Пыпин сообщали, что «поводом к отождествлению их имен с тем или другим изданием может служить только

положительное заявление о ближайшем участии их в трудах данной редакции».

Заявление в «Современном Обозрении» задевало Некрасова и побудило его написать Жуковскому следующее письмо:

«Многоуважаемый Юлий Галактионович, не думаю, что Вы желали меня обидеть вашим объявлением, но оно вышло очень неловко. Фраза: неопределенность объявлений некоторых журналов — влечет за собою другую, которую всякий подразумевает, именно: рассчитанную на то, что публика подумает, что и мы принимаем участие в «От. Зап.», и заключает в себе нечто такое, чего я не могу переварить. Да если б я угомонил свое самолюбие, то между нами — публика, которая получит очень странное понятие о моем смирении, узнав, что это объявление не помешало мне войти с Вами в соглашение по участию в журнале. Дело могло бы быть поправлено, если б возможно было прямое объяснение, но оно покуда невозможно: администрация смотрит всё еще на Ваше имя с ужасом и заставляет нас перепечатывать страницы, где встречается фраза, упоминающая Ваши статьи»[36].

Вот что «после долгих и тяжелых размышлений» счел нужным сообщить Некрасов Жуковскому. Ответное письмо последнего не сохранилось, но о его характере можно судить по следующей записке Некрасова: «Я Вам несказанно благодарен за Ваше письмо. Во всей этой путанице мне всего важнее было, чтоб мы лично не разошлись, и я очень рад, что не ошибся, думая, что откровенный способ самый лучший»[37].

В свете всего вышеизложенного мы можем признать, что сообщение Ф. Толстого об обстоятельствах, сопровождавших образование редакции обновленных «Отечественных Записок» в 1868 г., соответствует действительности и что, таким образом, раскол в бывшей редакции «Современника» был непосредственно вызван прямым вмешательством властей. «Спор из-за четвертака», несомненно имевший место, отходит на второй план. По понятным причинам ни Некрасов, ни Елисеев, ни даже сами Жуковский и Антонович в своем известном выступлении 1869 г. не могли предать гласности подлинную причину своего невхождения в «Отечественные Записки». Расхождения по вопросу о распределении доходов тем самым заняли в свидетельствах современников неподобающее им место основного фактора в распаде редакции первого некрасовского журнала.

Можно предполагать на основании приведенных писем Некрасова к Пыпину и Жуковскому, что он был откровенен с ними (Антонович был в это время за границей) и полностью информировал их о требованиях, предъявленных властями. Одновременно, в обход этим требованиям, Некрасов уже в самом начале 1868 г. имел какое-то, до сих пор неизвестное нам, «соглашение» с Жуковским о его работе в «Отечественных Записках», хотя и не мог еще реализовать его («администрация смотрит всё еще на Ваше имя с ужасом»). Тем не менее, известно, что вынужденное устранение Жуковского и Антоновича от участия в «Отечественных Записках» привело вскоре к тому, что между бывшими товарищами по редакции «Современника» возникла ожесточенная борьба. Она выразилась, как известно, в издании Антоновичем и Жуковским в начале 1869 г. памфлета против Некрасова и «Отечественных Записок» под названием «Материалы для характеристики современной русской литературы» и в ответных статьях на этот памфлет Щедрина и Елисеева.

В своей статье-рецензии («Отечественные Записки» 1869, кн. 4) Щедрин в первую очередь счел нужным указать и подчеркнуть, что Антонович и Жуковский хотят выместить свои неудачи и разочарования «даже не на тех, кто был главной и действительной их причиной (до тех,

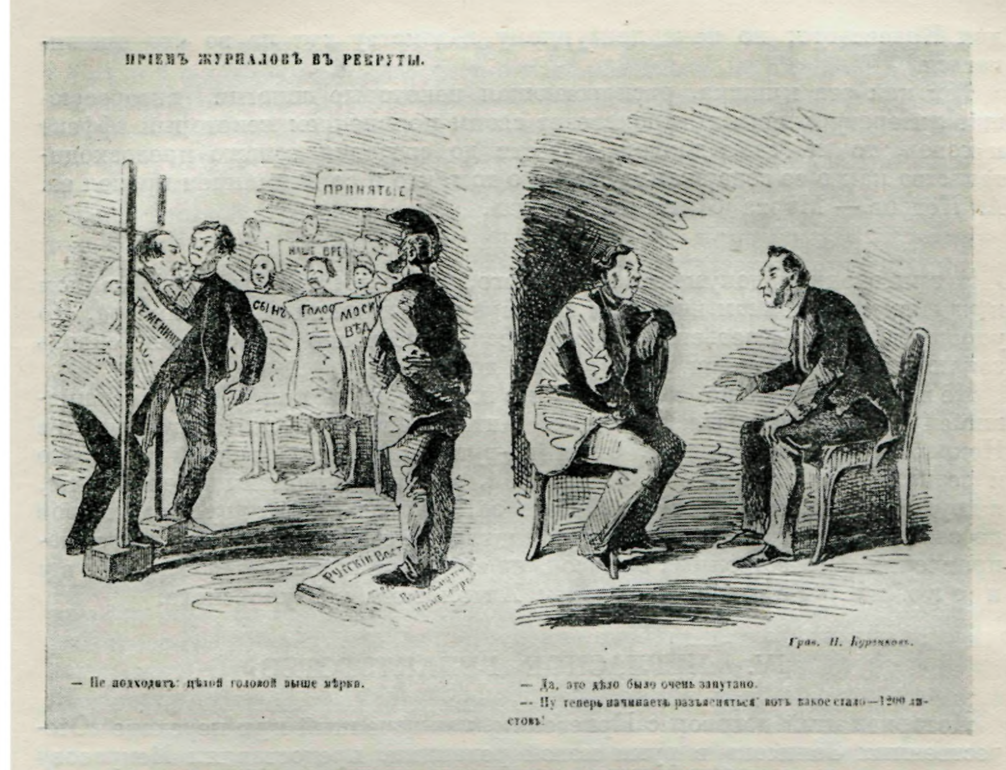
в ком собственно и заключается источник всевозможных литературных неудач, пожалуй, рукой не достанешь), а на тех, кто находится ближе под руками»[38]. Этот недвусмысленный намек Щедрина на «действительную причину» устранения Антоновича и Жуковского из редакции «Отечественных Записок» впервые конкретно раскрывается только теперь, после опубликования сообщения Ф. Толстого.

Организационный распад бывшей редакции «Современника» в 1869 г. был совершившимся фактом. Истории этого распада мы здесь не изучаем. Причины его, разумеется, глубже, чем те вскрытые нами внешние обстоятельства, которые сопровождали организационную работу по созданию «Отечественных Записок» в 1867—1868 гг. и привели к устранению из редакции журнала трех старых сотрудников Некрасова.

Для раскола в бывшей редакции «Современника» существовали свои внутренние причины и предпосылки, о чем мы можем здесь лишь упомянуть. Антонович и Жуковский уже в «Современнике» снизили теоретический уровень мысли Чернышевского. Но на путь прямой ревизии взглядов великого ученого и революционера Жуковский, а вместе с ним и Пыпин, вступили уже за пределами «Современника» в программной заметке к № 1 журнала «Современное Обозрение» (1868). Елисеев в своих воспоминаниях указывает, что это был очень серьезный повод для расхождения[39]. На резкое поправение Антоновича и особенно Жуковского указывает и Щедрин в рецензии на их памфлет. Что касается Пыпина, то в опубликованном выше ответном письме его к Некрасову он прямо пишет, что «мы уже значительно переменились», и дает понять, что Некрасову не следует более опасаться былой цензурной неприемлемости статей его друга Жуковского. Поправение Пыпина и Жуковского, их начавшийся отход от заветов шестидесятничества и революционной демократии очень скоро привели первого к руководящему участию в таком типично-либеральном органе, как «Вестник Европы», а Жуковского — к крупному посту в Государственном банке, давшему ему чуть ли не министерское положение.

Разумеется, устраняя Антоновича и Жуковского из редакции некрасовского журнала, III Отделение и Валуев меньше всего вникали в сущность начавшихся идейных расхождений внутри редакции бывшего «Современника» (будь это так, позиция властей должна была бы быть здесь прямо противоположной). Для органов политической полиции, чья практика общественной дискриминации отдельных лиц основывалась часто лишь на имевшихся в архивах III Отделения справках о действительной или мнимой «неблагонадежности» данного лица, Жуковский и Антонович были «крайними нигилистами», «вредными писателями». С точки зрения властей они подлежали удалению с литературной арены. Но это удаление произошло при таких обстоятельствах и было проведено в такой форме, что привело их к вражде против Некрасова и его журнала.

Рассчитывали ли Валуев и III Отделение на неизбежность возникновения «драки» и раскола в лагере «Современника» или, иначе говоря, содержало ли требование удаления Антоновича и Жуковского, как бы «проведенное» через «согласие» Некрасова, зерно провокационного намерения властей? Материалов для достаточно уверенного ответа на этот вопрос нет. Единственный найденный нами официальный документ, специально относящийся к выступлению Антоновича и Жуковского против Некрасова, не вносит ясности в вопрос. Тем не менее, этот документ — донесение председателя С.-Петербургского цензурного комитета А. Петрова начальнику Главного управления по делам печати М. Похвисневу — заслуживает быть опубликованным. Вот его текст[40]:



«ПРИЕМ ЖУРНАЛОВ В РЕКРУТЫ»
Карикатура из «Искры» 1863 г., № 30

«Вчера представлена в Цензурный комитет бесцензурная книжка «Материалы для характеристики современной русской литературы», состоящая из двух статей: 1) Литературное объяснение с Н. А. Некрасовым — Антоновича и 2) Post-scriptum, содержание и программа «Отечественных Записок» за прошлый год—Ю. Г. Жуковского. Обе статьи принадлежат к разряду полемических. Антонович обличает Некрасова как поэта в шаткости, неискренности его убеждений, упрекает его в намерении выставить перед общественным мнением Антоновича — отвергнутым сотрудником «Отечественных Записок»; наконец, статья излагает всю журнальную деятельность Некрасова как сотрудника «Отечественных Записок» и потом редактора «Современника» и доказывает, что хотя Некрасову долго удавалось пользоваться в нашей журналистике знаменем коновода либерального направления, но впоследствии сделалось очевидным, что этот либерализм был напускной и что его литературной деятельностью всегда руководил денежный расчет. При этом исследовании или, лучше сказать, распутывании разных литературных сплетней, Антонович не скрывает, что он принадлежит к либеральной партии, или отрицательному направлению вместе с Белинским, Искандером, Чернышевским, Добролюбовым, и что «Современник» при содействии этих людей под руководством Некрасова пришел в цветущее состояние и имел явное преимущество перед «Отечественными Записками» Краевского. Антонович нигде не касается самого внутреннего направления «Современника»; он говорит об успехе «Современника», как об успехе коммерческого предприятия. Он не разбирает внутреннего достоинства одного или другого убеждения; он имеет в виду только доказать искренность или фальшивость этого убеждения. Таким образом, в этой книжке есть, может быть, факты, впрочем очень ловко обозначенные, обидные для Некрасова,

для Краевского; но пока цензурному ведомству тут не во что вмешиваться.

Так как эта книжка, раскрывающая некоторые сплетни, интересующие литературный мир, произведет своим появлением некоторый эффект и говор, то я счел долгом довести до сведения вашего превосходительства как о ее содержании, так и о том, что я со вниманием прочел ее. А. Петров.— Марта 6 дня 1869 года».

В приведенном документе нет ничего, что говорило бы о задуманном и удачно проведенном властями маневре провокационного характера. Но удовлетворение «третьего радующегося» явственно проступает сквозь заключительные строки цензорского донесения.

Не подлежит, однако, сомнению, что вспыхнувший конфликт, завершившийся враждебным выступлением Антоновича и Жуковского против Некрасова и его журнала, были на-руку правительственной политике и реакции. Не случайно и Ф. Толстой, в приведенном выше документе, и другой член Совета Фукс, в «Отчете за 1872 год», и ряд других цензоров не забывали с удовлетворением ссылаться в своих характеристиках направления «Отечественных Записок» на вред, причиненный «Некрасову и его партии» выступлением Антоновича и Жуковского.

IV. «НЕГЛАСНОЕ РЕДАКТОРСТВО»

Нотариальный договор с Краевским, заключенный при переходе «Отечественных Записок» в руки новой редакции, предоставлял Некрасову «полную свободу во всем, что касается собственно редакции журнала...». Взаимоотношения Некрасова и Краевского, роль и место каждого в руководстве изданием определялись со всей ясностью и отчетливостью: «⟨1⟩ Некрасов ⟨...⟩ принимает на себя исключительное заведывание редакциею журнала «Отечественные Записки» и становится гласно ответственным редактором этого журнала как перед правительством, так и перед публикою ⟨...⟩; ⟨2⟩ Краевский, оставаясь собственником журнала «Отечественные Записки», принимает на себя все обязанности издателя журнала, то-есть всю хозяйственную часть издания ⟨...⟩.» [41].

Нотариальный договор завершал и юридически оформлял предпринятую Некрасовым борьбу за воссоздание литературно-журнальной трибуны для «партии бывшего «Современника». Важное политическое значение «договора», в условиях литературно-журнальной борьбы революционных демократов и либералов, заключалось в том, что он явился документом, знаменовавшим успех Некрасова в решении главной поставленной им задачи: «отнять орган у противной партии и превратить его в орган своей партии». При этом задача эта была решена так, что воссоздание, а затем и деятельность нового органа радикально-демократической мысли в России были осуществлены при помощи материальных средств самой «противной партии» в лице издателя-собственника журнала — Краевского.

Разумеется, такой исход переговоров означал успех Некрасова, хотя ему и пришлось пойти на некоторые уступки, важнейшей из которых было признание за Краевским, как за собственником издания, права на «участие в охранении журнала» от возможных цензурно-административных преследований [42]. Тем не менее, и этот пункт договора был средактирован так, что вновь и со всей определенностью

оговаривал «полную свободу Некрасова во всем, что касается собственно редакции журнала» [43].

Из воспоминаний Елисеева известно, что ответственное редакторство Некрасова (или кого-либо другого из бывшей редакции «Современника») являлось для Салтыкова и для самого Елисеева непременным условием их участия в реформированных «Отечественных Записках».

Достоверность данного свидетельства целиком подтверждается письмом Салтыкова к Некрасову от 26 ноября 1867 г. из Рязани, в котором читаем: «...я получил от Вас ‹19 или 20 ноября› телеграмму о том, что «Отеч‹ественные› Записки» переходят к Вам без участия Краевского, и искренно сожалел, что все это случилось месяцем позже ‹тех дней в октябре, когда Салтыков был в Петербурге и участвовал в совещании у Некрасова по поводу «Отеч. Зап.»› ...Ответ я уже послал Вам в тот же день по телеграфу. Я просил Вас объявить меня в качестве сотрудника...» [44].

Частично подтверждая воспоминания Елисеева, приведенные строки Салтыкова, а также цитированный выше нотариальный договор Некрасова — Краевского, одновременно вскрывают одну важную ошибку памяти в елисеевском рассказе о переходе «Отечественных Записок» в руки Некрасова. Ошибка эта, оставаясь незамеченной, не оговаривалась до сих пор при обращениях исследователей к этому мемуарному источнику.

Елисеев сообщает, что на известном октябрьском совещании 1867 г. по поводу «Отечественных Записок» Некрасов, исходя из бесперспективности надежд на утверждение редактором журнала кого-либо из бывших сотрудников «Современника», тогда же убеждал и убедил присутствующих, в том числе и Салтыкова, в необходимости временно «пойти под Краевского». «В таком роде держал к нам свою речь Некрасов,— пишет Елисеев,— и мы с Салтыковым не могли не признать ее резонною». Более того, Елисеев прямо утверждает о состоявшемся по этому вопросу решении: «...было решено: временно оставить Краевского ответственным редактором «Отечественных Записок»...» [45].

Но в том-то и дело, что вряд ли это «было решено» на совещании в октябре. Сомнительно даже, чтобы такое решение вопроса могло тогда предлагаться Некрасовым. Его позиция в этом вопросе (которую он занимал в ходе всех переговоров с Краевским в течение октября — ноября) определялась решением добиться утверждения себя ответственным редактором журнала, а вовсе не «итти под Краевского», хотя бы и временно. И как только Некрасову удалось, около 19—20 ноября, достигнуть в переговорах с Краевским успеха в этом трудном вопросе и получить право назвать себя в проекте договора «гласно ответственным редактором», он поспешил послать об этом телеграмму Салтыкову. Очевидно, что ни эта телеграмма, ни ответ на нее Салтыкова, ни договор с Краевским, именующий во всех сохранившихся вариантах Некрасова ответственным редактором, не были бы возможны, если бы был прав Елисеев, если бы в октябре уже существовало совместно принятое решение Некрасова, Салтыкова и Елисеева издавать журнал от имени Краевского.

Нельзя, однако, заподозрить, что Елисеев просто выдумал всю сцену, в которой Некрасов доказывал ему и Салтыкову необходимость пойти на компромисс и согласиться на временное редакторство Краевского. Наоборот, можно утверждать, что Елисеев хорошо запомнил и воспроизвел потом памятные для него аргументы и доводы Некрасова. Но он ошибочно приурочил эту беседу к октябрьскому совещанию, то-есть к началу переговоров, когда она не могла еще иметь ме-

ста. Ситуация же, при которой мог произойти описанный Елисеевым эпизод, возникла позже и знаменовала собою следующий этап борьбы Некрасова за создание журнала.

Такая ситуация могла возникнуть лишь после того, как власти отказали Некрасову в утверждении его редактором и одновременно дали понять, что и никто другой из бывшей редакции «Современника» не будет утвержден на посту официального руководителя издания. А это могло произойти лишь после 8 декабря 1867 г.— даты официального заключения нотариального договора с Краевским, в котором Некрасов все еще именуется «гласно ответственным редактором этого журнала как перед правительством, так и перед публикою». И лишь тогда, когда власти отказали Некрасову в праве такого наименования, перед редакцией и должна была возникнуть во всей своей остроте дилемма: пойти ли на компромисс и сохранить только что созданный демократический орган ценой номинального подчинения его «редакторству» Краевского или соблюсти «чистоту риз» и отказаться, в данный, по крайней мере, момент, от возможности иметь для своей партии — «партии «Современника» — журнальную трибуну.

В этих конкретных условиях, вероятно, и произошла описанная Елисеевым сцена спора главных сотрудников журнала с Некрасовым из-за «редакторства» Краевского, закончившегося общим признанием необходимости пойти на эту вынужденную уступку ради сохранения большого общественного дела, существа которого эта уступка ни в коей мере не затрагивала.

Как следует датировать этот эпизод? — Ни в декабре 1867 года, ни в январе 1868 года Салтыкова, одного из главных участников обсуждения вопроса о Краевском, не было в Петербурге. Он приехал в столицу лишь 1-го или 2-го февраля. Через день или два после приезда сатирик присутствовал на обеде, устроенном Некрасовым у себя на квартире по случаю выхода в свет первой книжки обновленных «Отечественных Записок». Был на обеде и другой запомнившийся Елисееву участник, или, точнее, свидетель спора — Д. И. Писарев. Присутствовал и сам Елисеев [46]. Вряд ли можно сомневаться, что разговоры собравшихся были посвящены в первую очередь журналу и редакционным делам, а среди них самому больному для всех вопросу—о продолжающемся, вопреки желанию всех, официальном редакторстве Краевского. Именно здесь Некрасов и мог информировать своих сотрудников о неудаче всех своих попыток освободиться от Краевского и развернуть при этом, запомнившуюся Елисееву, аргументацию в защиту необходимости пойти, в создавшихся условиях, на компромисс, т. е. на временное сохранение status quo. Допустимо поэтому предположение, что описанное Елисеевым выступление Некрасова, приуроченное мемуаристом к октябрю 1867 г., в действительности имело место на редакционном обеде в начале февраля 1868 г. и что, таким образом, Елисеев в своих воспоминаниях контаминировал обстоятельства и содержание двух различных и разновременных эпизодов.

Необходимо было остановиться на ошибке воспоминаний Елисеева — результате столь обычной для мемуаристов контаминации событий в их памяти,— чтобы устранить восходящие к этой ошибке неверные представления об исходных позициях Некрасова в борьбе за самостоятельность руководства в созданном журнале.

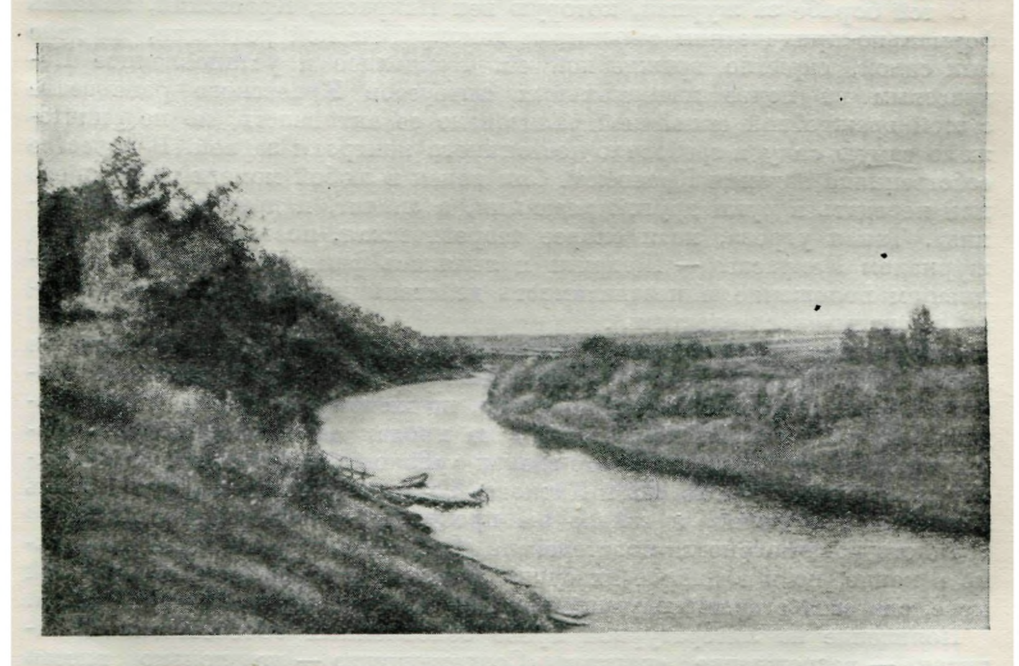
Не допуская Некрасова к официальному руководству «Отечественными Записками» и сохраняя в роли «ответственного редактора» радикально-демократического органа Краевского, известного своим оппортунизмом и угодливостью перед властями, Валуев и Шувалов пре-

следовали определенные цели, которые лежали в русле все той же охранительной тактики «полицейского футляра», требовавшей использования любых средств, способных ограничивать, «сдерживать в известных пределах» неизбежное «зло». Краевский был подходящим рычагом такого «сдерживающего» воздействия, а его деловая (коммерческая) коалиция с революционно-демократической группой представляла, казалось, удобную возможность применять этот рычаг по отношению к наиболее организованной и опасной антиправительственной силе в тогдашней литературе. В этом следует видеть разгадку того, что власти, превосходно осведомленные о всей полноте реального руководства Некрасова в журнале, неизменно отклоняли, однако, его, да и самого Краевского, ходатайства о простом, казалось бы, юридическом признании положения, существовавшего de facto.

Власти имели достаточное основание видеть в Краевском умного, гибкого и понимающего проводника своей политики и рассматривать его, в этом смысле, как своего рода соглядатая и пособника в самом штабе противника. Валуевские идеи и принципы «охранительно-либеральной» политики в области печати не только разделялись Краевским, но, в известной мере, самостоятельно вырабатывались и формулировались им и, тем самым, как бы подсказывались правительству. Об этом свидетельствует, например, совместное с В. Скарятиным обращение Краевского в 1862 г. к министру народного просвещения (ему было подчинено тогда цензурное ведомство) А. В. Головнину по поводу слухов о предстоящем якобы запрещении «Современника» и «Русского Слова».

Авторы письма настойчиво рекомендовали тогда правительству не предпринимать столь крайних мер против радикальной печати. Их аргументы были таковы:

1. «...Всякое преследование обращает преследуемого из призрака в действительную силу...».



РЕКА КЕРЕСТЬ, ОПОЯСЫВАЮЩАЯ ОХОТНИЧЬЮ УСАДЬБУ НЕКРАСОВА В ЧУДОВСКОЙ ЛУКЕ

Фотография А. В. Попова, 1935 г.

2. «Запрещение «Современника» и «Русского Слова» сделает новый прискорбный поворот в общественном мнении... Запрещение возвратит им сразу сочувствие всех, еще колеблющихся, все еще не установившихся окончательно в своих воззрениях, окружив преследуемых ореолом мучеников».

3. «Такое стеснение печати наложит молчание на тех писателей, которые сочтут невозможным биться с людьми, преследуемыми правительством, а между тем, потаенная литература будет все расти и читаться с жадностью».

4. «Даже в явной литературе может возобновиться та глухая, упорная борьба литературы (поддерживаемой сочувствием публики) с правительством, которая ознаменовала сороковые годы и которая находила возможность проявляться, несмотря ни на какие строгости и бдительность правительства; роман, повесть, сказка, куплет и даже медицинская книга служили средством к этой борьбе» [47].

Нетрудно убедиться, что Краевский и Скарятин весьма отчетливо сформулировали здесь те же охранительно-реакционные принципы либерализма («свободы печати») в «полицейском футляре», которые лежали в основе всей литературной политики Валуева, а затем и сменившего его Тимашева.

«Исторический опыт самодержавия,— писал Ленин,— не только заставлял правительство следовать тактике запугивания и развращения, но и многих независимых либералов побуждал рекомендовать правительству эту тактику» [48].

Рекомендации Краевского и Скарятина министру Александра II служат выразительной иллюстрацией к этим словам Ленина.

Краевский на посту официального редактора «Отечественных Записок» вовсе не был, как иногда представляют себе, безобидной фигурой дельца-предпринимателя, чуждого всякой идеологической активности.

В той борьбе за журнал, которую вел Некрасов, Краевский, являясь формально-юридическим союзником демократической редакции, на деле был силой, скрытно враждебной ей. Найденное и установленное Некрасовым на почве материальных интересов Краевского равновесие с этой враждебной силой нейтрализовало ее активность, но не уничтожало самую силу и требовало постоянного контроля за ней. В качестве собственника издания Краевский был волен в любой момент продать его или передать в руки другой редакции, а значит, и другого «направления». Такая угроза, хотя скорее теоретическая, постоянно висела над журналом Некрасова — Щедрина и являлась фактором, сильно осложнявшим положение и независимость действий редакции (что, разумеется, и учитывалось властями).

Уже незадолго до правительственного запрещения журнала, Щедрин писал Н. А. Белоголовому: «Отечественные Записки» условился продолжать редактировать и в будущем году, но не могу ручаться, чтобы бездельный старый кобель Краевский не продал их какому-нибудь прохвосту, подобно тому, как он это сделал с «Голосом», продав его за 250 тысяч рублей компании Циона и Каткова. Тогда положение мое будет очень комическое. Конечно, я сейчас же прекращу всякое участие...» [49].

Такого рода опасности подстерегали «Отечественные Записки» не только в конце, но и в начале их существования, как об этом, по крайней мере, свидетельствует следующий, еще не освещавшийся в печати эпизод.

Появление на литературной арене обновленных «Отечественных Записок» — возрождение «партии «Современника» — не только внесло тревогу в лагерь реакции, но породило здесь немедленно проекты борьбы с «воскресшим вожаком преступной клики» (определение, данное «Отечественным Запискам» в 1871 г. М. Р. Шидловским) [50].

ОХОТНИЧЬЯ УСАДЬБА НЕКРАСОВА В ЧУДОВСКОЙ ЛУКЕ

Первое окно от входа направо — кабинет поэта, еще правее — окно спальни. Влево от двери — гостиная. Наверху — помещение для гостей

Фотография А. В. Попова, 1935 г.

К соучастию в одном из таких проектов, исходивших от лидера феодально-крепостнической реакции М. Н. Каткова, была сделана попытка привлечь и Краевского. Летом 1869 г. Катков намеревался через посредство Е. М. Феоктистова, будущего начальника Главного управления по делам печати, и Б. М. Маркевича, известного мракобесно-крепостнического публициста и романиста, создать нечто вроде блока между реакционными «Московскими Ведомостями» и либеральным «Голосом» Краевского. Содержание и детали катковского проекта неизвестны, но достаточно определенные намеки на указанный план действий содержатся в двух неизданных письмах Феоктистова к Краевскому, отрывки из которых мы и приводим.

«Многоуважаемый Андрей Александрович,— писал Феоктистов 30 мая 1869 г.,— приехав в деревню, я нашел уже здесь письмо М⟨аркевича⟩ из Москвы. С великим удовольствием посылаю Вам его, ибо в нем выражено, от имени Михаила Никифоровича ⟨Каткова⟩, несколько мыслей, которым я постоянно сочувствовал. Тесная связь между лучшими органами нашей печати более необходима в настоящую минуту, чем когда-нибудь. Не думаете ли Вы нынешним летом побывать в Москве? Это было бы очень хорошо...» [51].

Ответ Краевского неизвестен. Но из следующего письма Феоктистова к нему видно, что издатель-редактор «Голоса» и «Отечественных Записок» сочувственно отнесся к «мыслям» Каткова и даже выразил намерение приехать к нему в Москву для личного свидания и переговоров. Вот что писал Феоктистов своему корреспонденту 1 июля 1869 г.:

«Искренне благодарю Вас, многоуважаемый Андрей Александрович, за Ваше доброе письмо. Оно порадовало меня тем более, что я узнал из него о намерении Вашем отправиться в начале августа в Москву. Что касается того, застанете ли Вы там Каткова — c'est une question vicieuse *

* Это неосновательный вопрос.

Куда ему деваться? Он постоянно сиднем-сидит в своем углу и никуда не показывается. Если бы, впрочем, я узнал, что в назначенное время его не будет (а узнать это я должен непременно), то, конечно, тотчас же сообщил бы Вам. Я теперь и поспешил уведомить его о Ваших планах 〈...〉»[52].

У нас нет никаких сведений о содержании московских переговоров, если только они состоялись. Но очевидно, что замысел Каткова — Феоктистова — Краевского потерпел неудачу, не успев даже выкристаллизоваться. Очевидно, однако, и другое: проектировавшееся под лозунгом установления «тесной связи между лучшими органами нашей прессы» соглашение Каткова с Краевским должно было быть непосредственно направлено против Некрасова и его журнала. «Тесная связь» между «Голосом» и «Московскими Ведомостями» неизбежно должна была повести к разрыву Некрасова и всех группировавшихся вокруг его журнала писателей радикально-демократического лагеря с Краевским как собственником и официальным редактором не только «Голоса», но и «Отечественных Записок». Расторгнуть нотариальный контракт не представляло труда. И тогда «партия «Современника» вновь лишилась бы своего органа, своей трибуны и была бы удалена, по крайней мере на время, с арены литературно-общественной деятельности.

Сохраняя с Краевским как с собственником-участником «предприятия» внешние корректные отношения, используя его богатый, журнально-издательский опыт и умение предупреждать и отводить цензурно-административные удары, Некрасов и Щедрин превосходно знали, разумеется, с кем они вынуждены были иметь дело. Об их восприятии морально-политического облика своего «ответственного редактора» дает, например, представление сатирически заостренный портрет-характеристика Краевского в одном из писем Щедрина к И. С. Тургеневу.

Имея в виду начавшийся в 80-х годах разгул реакции в стране, сатирик писал: «Вообще впечатление очень унылое 〈...〉. Но есть и комического немало. Как известно, теперь у нас исправляет должность честного журналиста Андрей Краевский (o tempora, o mores!); так вот я к нему на днях зашел понаведаться и, представьте, услышал такую предику: не то — дескать — жалко, что нас с Вами могут водворить,— что мы? Россию жалко — вот что! Согласитесь, что Андрей, жалеющий Россию,— явление в высшей степени курьезное! Я думал, что он в заключение все-таки прибавит: а впрочем, мне 〈.........〉, но нет, не прибавил! Покачивается, сивый мерин, в качалке, и сокрушается! И видно, что даже совесть имеет чистую»[53].

Стремление освободиться от редакторского имени Краевского на обложке «Отечественных Записок» никогда не покидало Некрасова. Из воспоминаний Елисеева мы знаем, что он надеялся довольно скоро ликвидировать ненормальность положения со своим «негласным редакторством». Но мы до сих пор почти ничего не знали о конкретных попытках Некрасова, предпринимавшихся им в этом направлении. Приводимые ниже материалы впервые документально подтверждают свидетельство Елисеева и сообщают новые факты из истории борьбы Некрасова за свой журнал и его независимость.

Вторая попытка Некрасова стать официально во главе «Отечественных Записок» вместо Краевского (после первой — при организации журнала) относится к апрелю 1868 г. В приведенном выше (см. 2-ю главу) выступлении Ф. Толстого на заседании Совета Главного управления по делам печати от 19 сентября 1871 г. содержится любопытное указание на обстоятельство, которым воспользовался Некрасов, предпринимая свое ходатайство. Ретроспективно констатировав в своем выступлении «оппозиционный дух с явно обличительными тенденциями», сразу же проявленными в 1868 г. реформированными «Отечественными Записками»,

Ф. Толстой заявил далее: «С первых же нумеров это высказалось так ясно что Краевский, который оставался ответственным редактором de jure, испугался и 9 апреля 1868 года подал прошение о передаче звания редактора Некрасову, который, со своей стороны, ходатайствовал о дозволении принять на себя полную ответственность за издание «Отечественных Записок».

Прошение в Совет Главного управления по делам печати Краевский действительно подавал. Черновик его был написан Некрасовым, что уже одно свидетельствует о его инициативе и заинтересованности в этом деле. Поданное 9 апреля прошение 12 апреля докладывалось Валуеву, а 16 апреля Краевскому было послано уведомление, что «решение г. министра внутренних дел» на его ходатайство «не последовало» [54].

Прошение Некрасова неизвестно. Но, основываясь на выраженном в его письме к Краевскому от 9 апреля 1868 г. опасении, что «через шесть лет... может встретиться опять необходимость испрашивать высочайшее разрешение»,— следует предполагать, что сам Некрасов с ходатайством о предоставлении ему права быть гласно ответственным редактором журнала обращался, или намеревался обратиться, к самому царю, причем Тимашев был против этого [55].

Что касается «испуга» Краевского, побудившего его согласиться на передачу редакторства Некрасову, то испуг этот, несомненно, был вызван анонимной статьей, появившейся в № 44 «Петербургской газеты» от 6 апреля 1868 г. Статья принадлежала перу редактора-издателя этого рептильного, субсидировавшегося правительством издания— И. А. Арсеньева, бывшего по совместительству штатным агентом III Отделения. Обливая грязью и клеветой Некрасова, Арсеньев раскрывал перед властями его тактику в деле аренды «Отечественных Записок» и прямо писал о «воскресении умершего насильственною смертью «Современника». На другой день, 7 апреля, Некрасов писал Краев-

КУХНЯ В ОХОТНИЧЬЕЙ УСАДЬБЕ НЕКРАСОВА В ЧУДОВСКОЙ ЛУКЕ
Фотография А. В. Попова, 1935 г.

скому: «Гнусный донос Арсеньева меня мало смутил. Всего этого я ожидал, потому-то и не охотно решался возвратиться на журнальное поприще, но, раз преодолев отвращение, могу сказать, что всем этим гадам, со включением и крупных, не сбить меня с толку 〈...〉. Важнее вопрос, как это подействует на администрацию, но Арсеньев гад слишком презренный, не имеющий даже и там тени кредита» [56].

Из того же выступления Ф. Толстого на заседании Совета, которое мы цитировали, видно, что он, следуя, вероятно, указаниям самого Некрасова, и после неудачи попытки 1868 г. не раз обращал внимание начальника Главного управления по делам печати и самого Тимашева на ненормальность негласного редакторства Некрасова. Однако никаких результатов это не давало. Тогда возник другой план.

В конце лета 1870 г. была предпринята третья по счету попытка освободить «Отечественные Записки» от редакторской подписи Краевского. На этот раз предполагалось добиться утверждения ответственным редактором журнала Салтыкова-Щедрина. Попытка закончилась также безрезультатно. Но документы, относящиеся к этому неизвестному до сих пор эпизоду, представляют интерес как для истории журнала, так и для биографии сатирика, и заслуживают быть опубликованными.

Прежде чем подать соответствующее прошение, Некрасов и Салтыков вели предварительные разговоры с близким к редакции членом Совета В. М. Лазаревским. Об этом свидетельствует неизданная записка к нему Некрасова от 1 сентября 1870 г. Некрасов просит Лазаревского уведомить, когда будет заседание Совета, и зайти к нему: «У меня будут в это время Салтыков и Краевский, и мы должны посоветоваться с Вами об одном деле, которое сегодня же (если есть заседание) должно поступить от нас в Совет». На записке Некрасова имеется пометка Лазаревского: «О передаче Салтыкову редакции «Отечественных Записок» [57].

В цензурном «деле» «Отечественных Записок» нет никаких упоминаний об этом факте. Между тем, прошение Краевского и Салтыкова об утверждении последнего в звании ответственного редактора действительно поступило в Главное управление по делам печати.

Прошение было подано в Главное управление 1 сентября 1870 г. Как свидетельствуют неопубликованные еще письма к Лазаревскому, Некрасов все время следил за «движением дела». Так, в одной из записок Некрасов, спрашивая о новостях «по нашему делу», прибавляет: «У меня сидит Салтыков. Напишите». Однако 23 сентября, не получив еще никакого официального ответа, Краевский и Салтыков взяли обратно свои бумаги. Об этом мы узнаём из следующего письма Краевского к начальнику Главного управления по делам печати М. Н. Похвисневу:

Милостивый государь
Михаил Николаевич.

В текущем месяце, я, вместе с г-м Салтыковым, подал в Главное управление по делам печати прошение о дозволении г-ну Салтыкову быть ответственным редактором по журналу «Отечественные Записки». Ныне же, по некоторым вновь встретившимся обстоятельствам, ни я, ни г. Салтыков не желаем давать дальнейшего хода нашему прошению.

Вследствие сего, имею честь покорнейше просить ваше превосходительство, приостановив ход означенного дела, приказать возвратить мне означенное прошение.

С совершенным почтением и преданностью имею быть
вашего превосходительства покорнейший слуга
Андрей Краевский.

22 сентября 1870 [58].

На письме, полученном 25 сентября, имеется резолюция Похвиснева «Возвратить». И на следующий день, 26 сентября, Краевскому действительно было возвращено «прошение его, от 1 сентября, о передаче редакторства «Отечественных Записок» М. Е. Салтыкову», как обозначено в подшитой к «делу» копии препроводительной записки.

Каковы были те «вновь встретившиеся обстоятельства», которые заставили Салтыкова, Краевского, а значит, и Некрасова прекратить начатые хлопоты, мы не знаем. Можно, однако, предполагать, что причина

№ 2236. 22/IX. Возвратить. 25 СЕН 1870

Милостивый государь

Михаилъ Николаевичъ.

Въ текущемъ мѣсяцѣ я, вмѣстѣ съ г-мъ Салтыковымъ, подалъ въ Главное Управленіе по дѣламъ печати прошеніе о дозволеніи г-ну Салтыкову быть отвѣтственнымъ редакторомъ по журналу «Отечественныя Записки». Нынѣ же, по нѣкоторымъ вновь встрѣтившимся обстоятельствамъ, ни я, ни г. Салтыковъ не рѣшаемся давать дальнѣйшаго хода нашему прошенію.

Вслѣдствіе сего, имѣю честь покорнѣйше просить Ваше Превосходительство, пріостановивъ ходъ означеннаго дѣла, приказать возвратить мнѣ означенное прошеніе.

Съ совершеннѣйшимъ почтеніемъ и преданностію имѣю честь быть

Вашего Превосходительства покорнѣйшій слуга Андрей Краевскій

22 сентября 1870.

23 Сент.

АВТОГРАФ ПИСЬМА А. А. КРАЕВСКОГО К НАЧАЛЬНИКУ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ М. Н. ПОХВИСНЕВУ ОТ 22 СЕНТЯБРЯ 1870 г.

Исторический архив, Ленинград

лежала в негласной информации, полученной Некрасовым или Краевским о позиции в этом вопросе Тимашева, предрешавшей верную неудачу и этому ходатайству.

Через месяц Некрасов вновь пытался, при помощи Ф. Толстого, возбудить вопрос о своем редакторстве. 23 октября 1870 г. в Совете Главного управления по делам печати обсуждалось донесение Петербургского цензурного комитета о десятой книге «Отечественных Записок». Обсуждение приняло весьма острый характер. Заседание Совета происходило под председательствованием генерала М. Р. Шидловского. Он был только что назначен на пост начальника Главного управления по делам печати

вместо М. Н. Похвиснева, вынужденного подать в отставку после своего отказа подчиниться требованию министра Тимашева «объявить официальные предостережения редакторам антипрусских газет» (в связи с франко-прусской войной)[59]. Шидловский находил, что почти все материалы октябрьской книжки («Соловьи» Некрасова, «Вольтер-человек и Вольтер-мыслитель» Михайловского, «Очерки умственного развития нашего общества» Скабичевского, «Почему у нас в лесистых местностях в дровах нуждаются» Демерта и «Наши общественные дела», того же автора) ярко характеризуют «вредное» направление журнала.

«Направление «Отечественных Записок»,— заявил Шидловский (в протокольной записи «журнала» заседания), — проводящее отрицательные и материалистические начала и возбуждающее вопросы, способные поддержать враждебные отношения сословий, нельзя не признать вредным, и это направление вполне выразилось в вышеуказанных статьях. Вообще в журнале систематически поддерживается направление, которое уже многократно было принимаемо Управлением печати к сведению и должно, наконец, побудить Совет принять действительные меры к его прекращению»[60].

В защиту Некрасова и его журнала выступил Ф. Толстой. В статьях 10-й книжки «Отечественных Записок» он не находил повода к преследованию, считая, что они или «неуловимы для судебного преследования» (статья Михайловского о Вольтере), или не могут «служить поводом к предостережению» (статья Скабичевского — «Очерки умственного развития нашего общества») и что нельзя ставить в вину автору «мрачного настроения его духа» (статья Демерта «Наши общественные дела»). Что касается некрасовского стихотворения «Соловьи», то в нем Ф. Толстой «не находит решительно ничего предосудительного и полагает, что ставить в вину поэту, что он приурочивает привольные рощицы, в которых нет для птиц ни сетей, ни силков, к таким идеальным местностям, в которых не было бы ни податей, ни рекрутчины,— значило бы налагать тяжелую руку на поэзию вообще».

Заключительная часть защитительной для «Отечественных Записок» речи Ф. Толстого записана в журнале Совета так:

«По всем изложенным соображениям член Совета ⟨Ф. Толстой⟩ полагал бы все вышеуказанные статьи, подобно прежде заявленным, принять к сведению, в ожидании более резкого проявления неодобрительного направления «Отечественных Записок».

При этом гофмейстер Толстой выразил мнение, что настоящее неодобрительное направление названного журнала в значительной степени объясняется ненормальным положением его редакции, при котором ответственность перед правительством несет лицо, не принимающее никакого участия в литературной стороне издания (Краевский), а лицо, управляющее делом (Некрасов), не имеет никакого формального отношения к администрации печати. Член Совета выражает полное убеждение, что если бы узаконенная ответственность возложена была на г. Некрасова, через утверждение его редактором означенного издания, то можно было бы ожидать значительного улучшения в направлении журнала, так как этот литератор всегда обнаруживал внимание к внушениям власти и готовность к требуемым уступкам»[61].

Заключительные слова о «внимании к внушениям власти» и т. п. являются слишком очевидным тактическим аргументом Ф. Толстого, действовавшего тут по указаниям Некрасова и в защиту его интересов, чтобы нужно было опровергать здесь эти слова по существу.

После длительного обсуждения Совет пришел к следующему решению, в котором высказал и свое мнение по вопросу об утверждении редактором Некрасова:

«... Принять вышеуказанные статьи «Отечественных Записок» к сведению с тем, чтобы подвергнуть этот журнал административной карательной мере, если в следующей книге его будет продолжаться проявление вредного направления.

Что же касается до возбужденного гофмейстером Толстым вопроса о перемене редактора «Отечественных Записок», то, соглашаясь с выраженным мнением о ненормальности положения названного журнала в этом отношении, которое проявляется, между прочим, в том, что два издания — «Отечественные Записки» и «Голос»,— состоящие под редакцией одного лица, следуют направлениям, совершенно противоположным, Совет находит, однако же, невозможным постановить по этому предмету какое-либо заключение, так как перемена редактора повременного издания обусловливается, с одной стороны, ходатайством о том издателя, а с другой — разрешением г. министра внутренних дел» [62].

Утверждая журнал заседания, Тимашев надписал на нем: «Согласен с мнением Совета. 3 ноября 1870». Смысл министерской резолюции не вполне ясен, так как непонятно, относилась ли она (что вероятнее) к заключению Совета о вредном направлении журнала и запроектированной (по этому поводу) карательной мере или же к мнению Совета о ненормальности положения «Отечественных Записок» в отношении их редактора. Во всяком случае, никаких изменений в существовавшее ненормальное положение резолюция министра не внесла.

Весною 1872 г., в связи с предстоящим длительным отъездом Краевского за границу, Некрасов сделал очередную, четвертую по счету, попытку получить для себя или Елисеева временное редакторство в журнале. Относящиеся к этому эпизоду документы случайно оказались в архивных делах газеты «Голос» и потому не были замечены исследователями. Приводим их полностью:

В Главное управление по делам печати

Имея надобность отправиться за границу на три месяца, покорнейше прошу Главное управление по делам печати дозволить мне передать о т в е т с т в е н н у ю редакцию «Отечественных Записок», на время моего отсутствия, дворянину Николаю Алексеевичу Н е к р а с о в у или коллежскому советнику Григорию Захаровичу Е л и с е е в у, состоящим с 1868 года главными сотрудниками и членами редакции означенного журнала. Удостоверение как того, так и другого в согласии их принять на себя временно ответственную редакцию при сем прилагаю.

Редактор «Отечественных Записок» А. Краевский

6 марта 1872 г.

⟨*Карандашом внизу:*⟩ [Доклад об отказе, со ссылкой на деятельность Некрасова и Елисеева в «Совр⟨еменнике⟩» и на продолжение того же направления в «Отечественных Зап⟨исках⟩». Сношение с III Отд⟨елением⟩].

⟨*Надпись карандашом зачеркнута, а выше сделана другая надпись:*⟩ За поступившим новым ходатайством — приобщить к делу [63].

К прошению Краевского приложено собственноручное заявление Некрасова:

В Главное управление по делам печати

Я, нижеподписавшийся, сим удостоверяю, что принять на себя обязанности ответственного редактора Отеч⟨ественных⟩ Записок на время отсутствия г. Краевского из Петербурга согласен, буде на то последует разрешение Главного управления по делам печати. ⟨6?⟩ марта 1872.

Дворянин Ник⟨олай⟩ Алексеевич Некрасов [64].

Записка Елисеева в «деле» отсутствует.

Из приведенных документов видно, что в Главном управлении, после получения отрицательного ответа из III Отделения на посланный туда запрос, было решено заготовить доклад об отказе Некрасову и Елисееву в утверждении одного из них временным ответственным редактором «Отечественных Записок».

Некрасов на этот раз меньше всего надеялся на утверждение себя редактором «Отечественных Записок» и хлопотал в первую очередь за Елисеева. При встрече с Лонгиновым он сказал, что хотел бы поехать за границу и поэтому просил, «чтоб был назначен Елисеев, но если относительно Елисеева возникнут трудности, то я готов к услугам вашим» [65].

Сообщая об этом Лазаревскому, в неизданном письме к нему от 7 марта 1872 г., Некрасов передает, что Лонгинов встретил его «на ты», вспомнив их старое знакомство 40—50-х годов, что подало некоторую надежду на благополучный исход дела.

О дальнейшем ходе ходатайства Некрасов имел сведения от того же Лазаревского, а также Веселаго и др. Негласно извещенный ими, вероятно, о заготовленном уже отказе, Некрасов и на этот раз не довел дела до вынесения официального решения Совета.

После неудавшейся попытки получить согласие властей на утверждение, хотя бы и временное, редактором «Отечественных Записок» одного из фактических руководителей журнала, Некрасов подсказал мысль о возможности передать редакцию сыну Краевского — Александру Андреевичу (1839—1882). Некрасов писал при этом Краевскому: «Неужели и ему откажет эта крыловская разборчивая невеста. Хорошее комическое стихотворение можно бы написать по поводу оценки качеств, признаваемых цензурою желательными для редактора» [66].

Краевский воспользовался мыслью Некрасова, но остановил свой выбор не на сыне, а на другом своем родственнике. 22 марта 1872 г. он подал новое ходатайство, аннулировавшее первое. Краевский просил утвердить ответственным редактором «Отечественных Записок» и «Голоса» своего родственника (зятя) и ближайшего сотрудника, фактического редактора «Голоса», известного историка В. А. Бильбасова.

Приводим этот документ:

В Главное управление по делам печати

Намереваясь в самом непродолжительном времени отправиться за границу, я имел честь запросить Главное управление по делам печати о дозволении передать ответственную редакцию «Отечественных Записок» г. Некрасову или г. Елисееву. Ныне, по изменившимся обстоятельствам, имею честь покорнейше просить о дозволении передать ответственную редакцию означенного журнала доктору исторических наук статскому советнику Василию Алексеевичу Бильбасову, которому я просил уже позволения передать и ответственную редакцию «Голоса» на все время моего отсутствия.

Редактор «Отечественных Записок» А. Краевский.

22 марта 1872 г.

⟨*Вверху надпись карандашом*:⟩ Ожидать отзыва [67].

О Бильбасове, по существовавшему порядку, также наводились справки в III Отделении. 23 марта того же года из III Отделения сообщили, что не встречается препятствий к утверждению Бильбасова ответственным редактором «Отечественных Записок» и «Голоса», но что «III Отделение не принимает на себя ответственности за будущую деятельность этого лица в звании редактора» [68].

О дальнейшей судьбе ходатайства Краевского никаких документов больше не удалось обнаружить. Тем не менее оно было очевидно удовлетворено, так как майская книжка «Отечественных Записок» за 1872 г. вышла за подписью В. Бильбасова, как ответственного редактора.

После 1872 г. вопрос об утверждении Некрасова или кого-либо из членов редакции «Отечественных Записок» ответственным редактором этого журнала, видимо, уже не возбуждался больше. Официальным редактором попрежнему именовался Краевский. Однако Некрасов все же не терял надежды на возможность утверждения его или кого-либо из близких ему лиц редактором своего журнала. Когда в марте 1873 г. он заключил

АВТОГРАФ ЗАЯВЛЕНИЯ НЕКРАСОВА В ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ ОТ 6 ‹?› МАРТА 1872 г.
Исторический архив, Ленинград

очередной контракт с Краевским на продолжение срока аренды журнала еще на десять лет (с 1 января 1874 г. по 1 января 1884 г.), то вновь специально оговорил, что последний «остается и ответственным перед правительством редактором «Отечественных Записок» *впредь до того времени, когда представится возможность исходатайствовать у правительства право на гласную передачу обязанностей ответственного редактора «Отечественных Записок» Некрасову*, или которому-либо из его товарищей по редакции [гг. Салтыкову и Елисееву], или, наконец, тому лицу, которое Краевский и Некрасов изберут с общего согласия» [69].

Как известно, условия политической жизни в стране такой «возможности» не представили. В течение девяти лет, вплоть до своей смерти, организатор и руководитель лучшего журнала эпохи и великий поэт оставался на положении *негласного* редактора *своего же* издания.

V. «ОСОБЫЕ СООБРАЖЕНИЯ» А. Е. ТИМАШЕВА

Победа крепостнической реакции во второй половине 60-х годов потребовала другой политики и других людей для ее осуществления, чем в только что пережитую пору кризиса самодержавия в условиях революционной ситуации начала десятилетия.

В начале 1868 г. «либеральный» Валуев вынужден был выйти в отставку. Его преемником Александр II назначил генерал-адъютанта А. Е. Тимашева. На период его пребывания на посту министра и приходится в основном работа Некрасова в «Отечественных Записках».

Тимашев был, по словам дневника Валуева, «умен, сердит, односторонен, честолюбив» [70]. До своего назначения министром он управлял III Отделением. Оттуда вынес он методы администрирования и приемы руководства. Когда в 1871 г., по поводу декларации князя Горчакова о Парижском трактате, Тимашев задумал изложить перед специально созванными им редакторами петербургских периодических изданий правительственную точку зрения по данному вопросу, он закончил свою речь словами: «Если вы будете держаться враждебного тона, то примите к сведению, что правительство не ограничится угрозами, а прибегнет к суровым карательным мерам» [71]. В том же выступлении, которое даже Е. М. Феоктистов назвал «нелепым», «глупым» и «постыдным», Тимашев заявил, что «общественного мнения самостоятельного в России не существует».

Следуя общему реакционному курсу правительства и пользуясь личными связями, Тимашев еще больше укрепил контакт цензурного ведомства со стоявшим за его спиной III Отделением.

Испытывая почти органическую неприязнь ко всему, что именовалось печатью и литературой (Тимашев полагал, что «для России достаточно одной правительственной газеты», проект которой и представлялся им царю), он, по словам Александра II, записанным в дневнике Валуева, хотел вначале «отстранить от себя заведывание делами печати» [72]. И действительно, первое время своего министерства он почти не вмешивался в дела печати. Он стал заниматься ими через год, начав с пересмотра цензурных законов в сторону усиления контролирующей и карающей власти администрации.

«М⟨инист⟩р В⟨нутренних⟩ Д⟨ел⟩, — читаем в записи дневника Валуева от 23 октября 1869 г.,— следуя системе не подвергаться неприятности без прямого к тому принуждения, придумал возложить пересмотр или дополнение закона о печати, о чем с 1866 года производится переписка, на особую Комиссию, под председательством особо назначенного от г⟨осуда⟩ря лица. Это переложение дела с больной головы на здоровую ген⟨ерал⟩ Тимашев произвел на следующей белой нитке. Он заявил, что, будучи призван к применению власти, ему неудобно испрашивать ее усиления или расширения... Г⟨осуда⟩рь согласился, избрав затем председателя от себя, помимо предлагавшихся ген⟨ералом⟩ Тимашевым лиц. Выбор пал на князя Урусова, и сего дня должно было состояться по этому предмету высочайшее повеление» [73].

Комиссия Урусова должна была свести все действующие постановления о печати в единую систему и внести в нее ясность и полноту. «Опыт показал,— говорилось в «высочайшем рескрипте» Урусову,— что временные правила от 6 апреля 1865 года во многих случаях возбуждают недоразумения и не всегда могут служить достаточно положительным руководством при судебном преследовании» [74].

В начале 1872 г. Урусов представил проект устава о печати и цензуре, который должен был заменить все действовавшие до этого постановления. Проект предусматривал предоставление бо́льших прав не министру

внутренних дел, а судебным учреждениям. Однако, ссылаясь на то, что в комиссии Урусова высказывалось много иных точек зрения, Тимашев, в своем докладе Александру II 4 февраля 1872 г., представил эти точки зрения так, что проект Урусова был навсегда похоронен. Только для проформы и было создано особое совещание под председательством Тимашева, при участии шефа жандармов, управляющего III Отделением и обер-прокурора святейшего синода для согласования этих различных точек зрения.

Уже до этого, 14 января 1872 г., Тимашев вошел с представлением в Государственный совет, в результате чего был издан закон от 7 июля 1872 г., предоставлявший министру внутренних дел право налагать арест на книги и журналы до выхода их в свет, а затем представлять их в комитет министров для окончательного запрещения. В последнем опять сказалось отмеченное Валуевым стремление Тимашева избежать излишних нападок на себя общества и переложить ответственность за свои действия на комитет министров.

Через год, 16 июля 1873 г., было утверждено новое Положение. Министру внутренних дел предоставлялось право воспрещать оглашение или обсуждение в бесцензурной прессе и во всех вообще изданиях того или иного вопроса и приостанавливать на 3 месяца периодические издания, нарушившие подобные распоряжения.

Таким образом, к концу 1873 г. Тимашев, независимо от права судебного преследования, пользовался столь обширными административными правами, что мог вполне обходиться без помощи суда. Фактически это означало дальнейшее и очень значительное усиление произвола и бесправия печати. По словам Е. М. Феоктистова (в письме к П. В. Анненкову от 24 января 1872 г.), Тимашев все же продолжал твердить, что он «все еще недостаточно вооружен властью для борьбы с литературой» [75].

Однако, несмотря на проведенное законодательное усиление репрессивного механизма цензурной власти, Тимашев в своей практической деятельности уже не был в состоянии проводить линию прямолинейно-разгромной борьбы с «нежелательной прессой». Так же, как Валуев, он вынужден был считаться с неизбежностью существования оппозиционной печати в условиях широко распространенных в стране настроений недовольства и политического протеста. И так же, как Валуев, он был озабочен уже не ликвидацией «неблагонамеренной литературы», что признавалось практически неосуществимым, а возможной локализацией и нейтрализацией ее «разрушительных тенденций».

В условиях начинавшегося «второго демократического подъема» (Ленин) в России и роста революционного подполья в стране, политика Тимашева, насколько можно судить по приводимым ниже материалам Главного управления по делам печати, склонна была рассматривать «Отечественные Записки», сосредоточившие вокруг себя значительную часть идейных сил революционного протеста в стране, как «наименьшее зло», как своего рода «клапан», дающий легальный и потому контролируемый выход для части этих сил. Предполагалось, что закрытие этого «клапана» (возможно, в этом смысле и употребил это выражение Валуев в цитированном выше документе) должно было повести к значительному усилению подпольной антиправительственной литературы и к увеличению и обострению оппозиционных выступлений во многих периодических изданиях, по которым бы «разбрелись» литературные силы ликвидированных «Отечественных Записок».

Трудно сказать, за отсутствием документальных данных, насколько ясно сознавал и формулировал такую тактику сам Тимашев (вспомним еще раз указание В. И. Ленина, что отдельные члены правящей клики

самодержавия могли, по своей ограниченности, не задумываться над реакционно-охранительной тактикой «полицейского футляра», но что «коллективный опыт и коллективный разум правящих заставлял их неуклонно преследовать эту тактику...[76]»). Но она достаточно отчетливо зафиксирована и в резолюциях самого министра на журналах заседаний Совета и в выступлениях отдельных членов Совета — проводников политики правительства в области печати и литературы.

Наиболее рельефно выразил политику и тактику самодержавия в отношении оппозиционной печати и ее основного органа — «Отечественных Записок» — Ф. М. Толстой. Он сделал это в своем выступлении на заседании Совета Главного управления по делам печати 19 октября 1871 г., на котором обсуждалось «Недавнее время» Некрасова и другие материалы 10-й книжки «Отечественных Записок».

Выступая в защиту некрасовского журнала, которому грозило предостережение, Толстой умело использовал для этих целей аргументы и соображения, заимствованные из арсенала литературной политики и тактики самих властей.

«Журнал «Отечественные Записки»,— заявил Толстой,— есть неминуемое последствие закона 6 апреля 1865 года. Нельзя было не ожидать, что у нас не образуются так называемые оппозиционные органы печати. Это предвидел законодатель, включив в закон 6 апреля 16-й пункт IV главы, дозволяющий обсуждение целого законодательства и распубликованных правительственных распоряжений, с условием, чтобы только не оспаривалась обязательная сила законов и не употреблялись бы выражения, оскорбительные для установленных властей. Следовательно, критическое воззрение на правительственные распоряжения и на положение страны, подчиненной этим распоряжениям, дозволено с условием не оспаривать обязательной силы законов и не оскорблять властей. Поэтому обязанность наша строго наблюдать, чтобы печать не выходила из указанных пределов, но мы не можем остановить то, что дозволено законом, т. е. закрыть рот оппозиционной прессе.

Гофмейстер Толстой сознает, что эти беспрестанные нарекания и нередко ложные изветы раздражают и затрудняют администрацию, но карать можно только тех публицистов, которые выходят из пределов закона. Таким образом, в течение последних двух лет «Отечественные Записки» с ныне обсуждаемым ⟨десятым⟩ нумером ⟨за 1871 г.⟩ включительно ни на волос не изменили своего направления. Оно осталось так же оппозиционно, так же неодобрительно, так же заносчиво, как и прежде, но положительно вредным гофмейстер Толстой его не находит, потому что несравненно зловреднее было бы, если бы литературные силы, открыто подвизающиеся ныне в «Отечественных Записках», укрылись бы в подпольной литературе. Удерживать «Отечественные Записки» в пределах благоразумия возможно еще, так как редакция подчиняется иногда советам и указаниям, чему служат свидетельством десятки статей, выключенных из заготовленных уже нумеров журнала, но обесцветить совершенно «Отечественные Записки» невозможно и даже, можно сказать, не совсем политично по выше сказанным причинам.

Предостережение уменьшит, конечно, на некоторое время задор «Отечественных Записок», но это только до окончания подписки, а с января месяца журнал этот примет прежний тон. Конечно, администрация во всякое время может покончить с периодическим изданием, но тогда куда же деваться шести или семи тысячам подписчикам на «Отечественные Записки». Они набросятся на «Дело» или на «Вестник Европы», а сей

последний несравненно зловреднее «Отечественных Записок», потому что журнал этот тонким и иносказательным образом подкапывается под основные начала нашего государственного устройства» [77].

Неожиданное, на первый взгляд, указание на бо́льшую, чем «Отечественных Записок», «зловредность» либерального «Вестника Европы» должно быть понято, как употребленный Толстым ловкий ход в защиту некрасовского журнала, основанный на одном «конъюнктурном» эпизоде. Всем членам Совета было, разумеется, хорошо известно, что тогда как «Отечественные Записки» не навлекли на себя к этому времени еще ни одной крупной цензурно-административной кары,— декабрьская книжка «Вестника Европы» за 1870 г. была арестована за статью Пыпина о последних годах Александра I, возбудившую недовольство самого царя.

В продолжавшемся обсуждении председательствующий в Совете Главного управления по делам печати М. Р. Шидловский «выразил совершенное свое несогласие с мыслью, высказанно́ю гофмейстером Толстым, о необходимости будто бы правительству оставить прибежище оппозиционным писателям в одном журнале и терпеть их выходки, чтобы не преследовать их разрозненные силы в разных изданиях: такой прием был бы несовместим с достоинством правительства, показывая его бессилие в борьбе с враждебными ему элементами».

«Оппозиционное направление при нашем строе государственном,— заявлял далее Шидловский, — не может иметь места; могут быть вредные, противоправительственные партии, и их должно преследовать, хотя бы они и не затрагивали явно основных начал нашего государственного права. Если правительство в отношении к «Отечественным Запискам» не принимало доселе никакой меры, то без сомнения это единственно

ДОМ ЛАВАЛЯ НА АНГЛИЙСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ В ПЕТЕРБУРГЕ
Здесь жил декабрист С. П. Трубецкой
Дом описан в поэме Некрасова «Княгиня Трубецкая»
Фотография 1940 г.

в надежде, что направление этого журнала исправится и изменит свой вредный характер. Этого исправления, как Совет может усмотреть из предшествовавшего перечня статей, не видно, и потому Совету надлежит, наконец, вступить в свои права и определить ту меру взыскания, какой должен подвергнуться журнал»[78].

После столь определенного выступления своего непосредственного начальника другие члены Совета поспешили присоединиться к нему и признали, что направление и характер «Отечественных Записок» уже достаточно определились и что «журнал в совокупности статей, помещенных на его страницах, выражает столь вредное отрицательное направление, которое долее не может быть терпимо»[79].

Однако к единой точке зрения на заседании Совета его участники все же не пришли.

«Большинство членов Совета (председатель и пять членов) полагает,— записано в протоколе,— объявить журналу «Отечественные Записки» первое предостережение. А меньшинство (два члена) полагает принять указанные статьи к сведению, как определяющие вредное направление журнала»[80].

Шидловский, незадолго перед тем приехавший из Тулы, где он был губернатором (и в этом качестве — начальником Салтыкова), в цензурном ведомстве был человеком случайным и не соответствующим по своей негибкости и ограниченности новым требованиям правительства. Это был администратор «старой школы». На литературу он смотрел вполне глазами щедринского «помпадура». Выразительную характеристику Шидловскому в этом отношении дает следующая, еще не бывшая в печати, запись из дневника В. М. Лазаревского.

«Говорят, — читаем в этом дневнике под 23 февраля 1871 г.,— что Тимашев, как бы в доказательство, что он не совсем глуп, изрек следующее: «Г. Шидловский тем только и замечателен, что во всю жизнь свою ни разу не сказал либерального слова».

Сегодня он сказал, это слово 〈...〉. В горячих и продолжительных прениях с Шидловским на заседании Совета Главного управления по делам печати 〈по поводу передовой в подцензурной газете «День» — еженедельнике Об-ва распространения просвещения между евреями, издав. в Одессе〉 Ф. И. Тютчев заметил между прочим: «Для чего литература и печать, если отрицать значение ее заявлений?».

«Для забавы, для забавы! — крикнул не своим голосом Шидловский.— Для того, чтобы людям, которым нечего делать, было что читать. Другого значения литература и вообще печать не имеют!».

Все умолкли. Многие поотодвинулись на своих креслах от стола 〈...〉 (Были у меня по этому случаю Некрасов и Салтыков)»[81].

Не случайно именно Шидловский послужил Щедрину живой моделью для гротескного образа градоначальника с «органчиком» в голове в «Истории одного города». Подобно этому сатирическому герою Шидловский имел в арсенале своего администрирования лишь два средства: «не потерплю» и «раззорю». Как сановный бюрократ старой формации он не мог «вместить в себя» самой мысли о возможности какой-либо оппозиции в печати, литературе или в какой-либо другой области русской жизни. И подобно тому как решительно пресекал он, будучи губернатором, малейшие проявления недовольства и протеста в руководимой им губернии, подобно этому намеревался он «пресечь» и «зловредные» «Отечественные Записки». Тонкостей и новшеств усложнившейся политики и тактики правительства он не понимал, признавая, по выражению того же В. М. Лазаревского, лишь «прямую борьбу в лоб». Несомненно, по этой причине Шидловский и оказался на своем посту начальника Главного управления по делам печати «калифом на час». Он занимал этот пост менее года.

Под давлением Шидловского большинством членов было решено объявить «Отечественным Запискам» предостережение. Заготовленный текст предостережения, вместе с журналом заседания Совета, был представлен на утверждение министру Тимашеву.

Однако Тимашев, вместо того чтобы утвердить предостережение (оно объявлялось от имени министра) и этим самым подтвердить предложенную Шидловским прямолинейную борьбу правительства с оппозиционной литературой, согласился «по особым соображениям» с мнением меньшинства.

Но при этом он решительно высказался против предварительного чтения материалов «Отечественных Записок» членом Совета Ф. М. Толстым.

В своей резолюции на журнале заседания Совета Тимашев писал: «Вполне соглашаясь с мнением большинства о вредном направлении журнала «Отечественные Записки», я нахожусь, однако ж, к крайнему моему сожалению, вынужденным, по особым соображениям, ограничиться и на этот еще раз принятием последней книжки упомянутого издания к сведению для определения его направления; но вместе с тем прошу г-на заведывающего Главным управлением по делам печати объяснить г. г. членам Совета о совершенном неудобстве того способа наблюдения, которому были подвергаемы «Отеч. Записки», редакция которых, как мне известно, считала себя вполне огражденною от законной ответственности, так как статьи, ею помещенные, были предварительно одобрены наблюдавшим членом Совета...— 24 окт. 1871 г.» [82].

После такой резолюции министра, вызванной отчасти промахом негласного цензора, допустившего напечатание «оскорбительных» для Тимашева некрасовских стихов о «генерал-адъютанте» в «Недавнем Времени», Толстой вынужден был подать в отставку.

Употребленное Тимашевым выражение «особые соображения» заслуживает внимания. В данном случае эти «особые соображения» министра спасли «Отечественные Записки» от неминуемой, казалось, тяжелой кары «предостережения». Но оказывается, что это не единичный случай. В другой раз те же «особые соображения» Тимашева отвели от некрасовского журнала угрозу ареста очередного номера и возбуждения судебного преследования против редакции. Материалы, относящиеся к этому эпизоду, таковы.

В февральской книжке «Отечественных Записок» за 1871 г. была помещена статья «Фердинанд Лассаль» В. А. Зайцева (?), укрывшегося за псевдонимом М. М. Статья появилась вскоре после того, как 2-й том русского издания сочинений Лассаля был подвергнут судебному преследованию. Петербургский цензурный комитет забил тревогу. В Совете Главного управления также считали, что «трудно предположить, чтобы редакция «Отечественных Записок» не знала о том, что второй том сочинений Лассаля подвергнут судебному преследованию».

Статье М. М. придавалось еще бо́льшее значение в связи с тем, что в «том же номере журнала помещена другая статья, под заглавием «Сельские фарфоровые заводы», сама по себе не имеющая ничего предосудительного, но при сопоставлении со статьей о Лассале приобретающая тенденциозный характер» [83].

На заседании Совета, посвященном обсуждению инцидента, большинство присутствовавших (председатель и шесть членов) считало нужным, как записано в протоколе, «возбудить судебное преследование против редакции журнала по статьям 1036 и 1037 Улож. о Наказаниях, с предварительным наложением ареста на нумер журнала и применением к указанной статье ст. 1045 Улож. о Наказаниях, а меньшинство — три члена — полагают: предварительно принятию этой меры предложить через председателя С.-Петербургского цензурного комитета редактору журнала

исключить означенную статью, а один член — преследовать редакцию, если до истечения срока выхода нумера журнала она сама не заявит желания исключить означенную статью»[84].

Утверждая журнал Совета, Тимашев сначала согласился с решением большинства, но через три дня изменил свое решение. Вслед за краткой резолюцией на журнале: «Вполне согласен с большинством. 17 февраля 1871 г.», последовала пространная резолюция, написанная неуклюже канцелярским и достаточно безграмотным языком:

«Вследствие просьбы редактора Краевского и принимая в соображение, что на основании решения Уголовного Кас⟨сационного⟩ Депар⟨тамента⟩ Прав⟨ительствующего⟩ Сената по делу о сочинениях Писарева за невыпуском книги в свет, должен ограничиться *по особ⟨ым⟩ сообр⟨ажениям⟩* уничтожением уличенной статьи: разрешаю, по исключении статьи «Биография Лассаля» и уничтожением оной, выпустить книгу в свет.— 20 февраля 1871»[85].

Приведем, наконец, еще один случай, когда «особые соображения» министра спасли «Отечественные Записки» от суровой кары, на этот раз от второго предостережения.

Незадолго до отставки Тимашева в Совете Главного управления дебатировался вопрос о четвертой книжке «Отечественных Записок» за 1877 г. Цензор Еленев сделал заявление о трех статьях этой книжки:

1) О рассказе Н. Н. Златовратского «Золотые сердца», который, по определению Еленева, «написан на одну из излюбленных тем нашей передовой литературы (особенно со времени романа Чернышевского «Что делать?»): представить в самом привлекательном и героическом виде типы так называемых новых людей, т. е. людей, относящихся враждебно ко всему существующему порядку и замышляющих некое «общее дело», под которым обыкновенно разумеется упразднение этого порядка».

2) Об анонимной статье С. Н. Кривенко «Физический труд как необходимый элемент образования», которая признавалась Еленевым (ошибочно приписывавшим статью Н. К. Михайловскому) вредной потому, что автор «ни к селу ни к городу пускается в развитие известной социалистической теории о том, что как в древности, так и в настоящее время устройство гражданских обществ основано единственно на том, что высшие правительственные классы посредством силы или обмана овладевают трудом низших рабочих классов».

3) Об очерке Г. Иванова ⟨Глеба Успенского⟩ «Из памятной книжки», в котором, по определению Еленева, «обращает на себя внимание крайне тенденциозное описание той подавленности, страха и безнадежности, под которыми будто бы стонало русское общество в конце 30-х и начале 40-х годов».

В заключение Еленев, «находя, что все три указанные статьи обнаруживают вредное направление журнала, которое было замечено в предыдущих книжках того же журнала, полагал объявить ему предостережение».

При обсуждении вопроса к общему решению члены Совета не пришли. Мнения разделились. В протоколе записано: «...Большинство членов Совета (председательствующий ⟨В. В. Григорьев⟩ и шесть членов) полагают: объявить журналу... второе предостережение, а меньшинство (четыре члена) полагают: записать об означенных статьях в журнал заседаний»[86].

Казалось, что вновь предостережение было неминуемо. Но и на этот раз, подписывая журнал Совета, Тимашев не утвердил предостережения. Текст его резолюции гласил: «*Ввиду особых соображений по настоящим обстоятельствам нахожу возможным согласиться с меньшинством*.— 27 апреля 1877»[87].

СОВѢТЪ

ГЛАВНАГО УПРАВЛЕНІЯ

ПО

ДѢЛАМЪ ПЕЧАТИ

М. В. Д.

14 Октября 1871 г.

№ 61.

Совѣтъ Главнаго Управленія по дѣламъ печати слушалъ:

I

Заключеніе Члена Совѣта Толстаго по представленію С.Петербургскаго Цензурнаго Комитета о десятой книжкѣ журнала „Отечественныя Записки“.

ЖУРНАЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ, ПОСВЯЩЕННОГО ОБСУЖДЕНИЮ 10-го № «ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАПИСОК» ЗА 1871 г.

Сверху резолюция министра внутренних дел А. Е. Тимашева

Исторический архив, Ленинград

В резолюциях на журналах заседаний Совета Главного управления по делам печати Тимашев в течение семи лет неоднократно употреблял выражение «по особым соображениям». Причем эти слова встречаются только в его резолюциях, касающихся «Отечественных Записок», и всегда являются в них мотивировкой отказа санкционировать предлагавшиеся Советом карательные меры против журнала.

Являлись ли «особые соображения» Тимашева одним из конкретных проявлений сознательно проводимой им тактики «полицейского футляра»? «Щадил» ли он несомненно ненавидимый им некрасовский журнал потому, что действительно опасался с закрытием его попасть из «огня» легальной оппозиционной литературы в «полымя» революционной подпольщины? Или его «особые соображения» вызывались еще и другими какими-либо обстоятельствами? — На эти вопросы мы не можем еще дать вполне определенных и обоснованных ответов.

С одной стороны, несомненно, в свете всего вышесказанного, что Тимашев, как и Валуев, вынужден был применять в своей борьбе с революционным движением и его литературно-пропагандистским выражением не только политику устрашений и репрессий, но и охарактеризованную Лениным тактику «либеральных» уступок в «полицейском футляре». Правда, по своим взглядам и убеждениям Тимашев лично вряд ли симпатизировал этой тактике. Но не забудем, что десятилетием позже даже сам «министр борьбы» гр. Д. А. Толстой, который ненавидел газету «Голос», долго не отваживался закрыть ее, так как, по свидетельству Е. Феоктистова, «ему казалось, что «Голос» служит органом какой-то чрезвычайно сильной партии и что если нанести ему удар, то чуть ли не произойдет бунт». При этом Феоктистов добавляет: «Такую же боязливость высказал он и по отношению к «Отечественным Запискам» [88].

С другой стороны, вполне допустимо предположение, что «особые соображения» Тимашева возникали как непосредственный результат использования Некрасовым или Щедриным в нужный момент их связей с «сильными мира сего». А к Тимашеву у них был «ход» через близко стоявшего к нему Лазаревского. Из воспоминаний того же Феоктистова, а также из письма самого Щедрина к Краевскому мы знаем, что Д. А. Толстой не предпринимал решительных шагов против «Отечественных Записок» отчасти и «по старому товариществу» (лицейскому) с сатириком, несмотря на то, что «в течение долгого ряда лет этот журнал усердно занимался... проповедью социалистических учений и пользовался большим почетом среди самых отъявленных врагов существовавшего порядка вещей» [89].

Но так или иначе, «особые соображения» Тимашева в конечном счете являлись объективно одним из конкретных выражений все той же охарактеризованной Лениным охранительно-реакционной тактики самодержавия, которое вынуждено было итти в своей борьбе с революционным движением в стране на известные уступки и вместе с тем стремилось облечь их в «полицейский футляр» и тем обезвредить.

VI. ТАКТИКА НЕКРАСОВА

«Отечественные Записки», как и сам Некрасов, находились «вечно под судом» самодержавной власти. Опасности и беды цензурно-административных преследований подстерегали каждую очередную книжку журнала. «В отношении «Отечественных Записок», — писал Щедрин, — принято совершенно особое правило — не давать предостережений, а прямо арестовывать номер и предавать сожжению. Понятно, сколько змеиной мудрости требуется, чтобы издавать журнал при наличности постоянной угрозы в этом духе. Понятно также, какое необходимо здоровье физическое,

чтобы кипеть в этом котле... Я положительно убеждаюсь, что не гожусь для такой деятельности, и ежели Некрасов умрет, то не знаю, как и поступить» [90].

«Змеиная мудрость» Некрасова заключалась в том, что он умел не только разгадывать в каждый данный момент тактику и намерения своего противника — самодержавия, но, исходя из их понимания, вырабатывать и противопоставлять им свои собственные тактику и приемы борьбы. При этом обладая своим превосходным знанием политического быта и самой психологии самодержавия и его слуг, Некрасов замечательно искусно нащупывал и использовал в своих целях все слабые стороны и промахи противника.

Так было и при организации «Отечественных Записок», когда Некрасов поставил перед собой, казалось вовсе неосуществимую, задачу — возродить через $1^1/_2$—2 года после выстрела Каракозова «крамольный» «Современник». Вряд ли можно сомневаться, что Некрасов, при его связях и информированности о всех закулисных делах и намерениях правительства в области печати, не знал о подлинных мотивах, по которым министр Валуев дал свое согласие на журнал. Некрасов должен был знать это, хотя бы от того же Ф. М. Толстого, с которым был достаточно близок. Можно не сомневаться, что в переговорах с властями Некрасову и официально были поставлены определенные условия или требования: правительство разрешает оппозиционный журнал с условием, что Некрасов обязуется в нем сдерживать оппозиционные силы литературы в определенных, дозволенных законом границах. И Некрасов должен был, конечно, «обещать» Валуеву, Мезенцову и Шувалову «выполнять» это условие. Здесь, как и во многих других случаях, Некрасову приходилось использовать обычную «военную хитрость» и внушать противнику ложные представления, дезориентировать представителей самодержавной власти и «убеждать» их в своей «благонамеренности». И мы знаем, что Некрасов достиг многого этим своим искусством.

Антонович, говоря о «Современнике» и характеризуя руководящую редакторскую работу в нем Некрасова, вспоминал:

«А между тем, Некрасов в не литературной, но начальственной относительно литературы сфере распространял и поддерживал такое убеждение, что он не принимает никакого участия в редактировании журнала, что он интересуется журналом только с материальной стороны, что его сотрудники что хотят, то и делают, без его ведома и согласия. И такое убеждение, действительно, держалось в этих сферах. Одна особа сказала однажды Некрасову: «Мы знаем, что Вы — человек вполне благонадежный, что Вы сами ни в чем неповинны, но что всё неодобрительное творит Ваш главный штаб, и вся Ваша вина только в том, что Вы дали полную волю Вашему штабу, вовсе не смотрите за ним; поэтому советую Вам...» и т. д. Так мало осведомлена была особа об истинном положении дела; она не знала и не воображала, что в этом главном штабе почти главную роль играл сам же Некрасов» [91].

Реакционно-охранительной и провокационной тактике «полицейского футляра», проводившейся Валуевым — Тимашевым, Некрасов противопоставил свою тактику. Она неизменно выводила революционно-демократическую литературу из всех сооружаемых властями вокруг нее «полицейских футляров» и капканов, держала передовую мысль и ее журнальные органы в идейно-политической независимости и чистоте и конкретизировалась в таких, например, фактах, как появление в «Современнике» «Что делать?» Чернышевского, уже арестованного властями, или постоянное сотрудничество в обоих некрасовских журналах не только оппозиционно-демократических писателей, но и многих профессиональных революционеров эпохи. Общие же результаты применявшейся Некрасовым

тактики борьбы с «полицейским футляром», давшей ему возможность длительного сохранения журнальной трибуны для самого передового общественно-политического течения русской мысли той эпохи, общеизвестны.

Один из основных приемов тактики борьбы Некрасова за журнал был построен на использовании средства, первоначально введенного в цензурную практику самими властями. Речь идет о негласном, неофициальном контакте с руководящими чиновниками цензурного ведомства. Рекомендуя это средство, Валуев, как мы знаем, рассчитывал при его помощи оказывать «давление» и «осуществлять постоянное присутствие» и руководство цензурной власти в области литературы. Но практика «надпечатного», по выражению Валуева, вмешательства цензурных властей в дела «Отечественных Записок» была обращена Некрасовым против самих властей.

Приемы и методы, при помощи которых Некрасов устанавливал и поддерживал «дружбу с чиновниками» цензурного ведомства, достаточно известны. Некрасов называл царскую цензуру «гнусным ведомством». Это был враг, с которым он находился в состоянии постоянной, напряженной борьбы. «Для каждого времени,— писал о Некрасове Г. З. Елисеев,— является «свой муж потребен». Герой тот, кто понял условия битвы и выиграл победу». «Условия битвы», соотношение сил не позволяли небольшому отряду русской революционной демократии 60—70-х годов, в передовой шеренге которого вел бой Некрасов, открыто штурмовать непоколебленные еще твердыни самодержавия. Борьба с врагом в этих условиях требовала маневрирования, сложных обходных движений «прикармливания зверя». Все это широко и применял Некрасов в своей борьбе с царской цензурой. Однако было бы неправильно полагать, что такие приемы и средства борьбы являлись индивидуальной тактикой Некрасова. Это была тактика группы единомышленников, тактика редакции «Отечественных Записок», одобрявшаяся Щедриным, Елисеевым и Михайловским и продолжавшаяся и после смерти Некрасова.

Возможность и успешность применявшихся Некрасовым методов использования крупных царских чиновников для «охранения» своего журнала находит себе объяснение в общих условиях политического быта самодержавия. Его государственный аппарат не являлся в эту пору идейно и организационно целостным орудием власти, не был вполне верной и надежной «опорой трону», которому служил. Элементы недовольства, критики и скептицизма, а наряду с этим беспринципность, льстивость перед начальством, склонность к коррупции всех видов и форм, существовали во всех звеньях и прослойках царской бюрократии, свидетельствуя, уже для этой эпохи, о далеко зашедшем разложении исторически умиравшего русского абсолютизма. Активное участие многих министров и сановников Александра II, как и самой царской семьи, в безудержной вакханалии антигосударственного хищничества, в пору российского грюндерства 60—70-х годов («железнодорожная горячка») — один из немногих хорошо известных тому примеров.

Более конкретные для нашей темы, но не менее выразительные иллюстрации к сказанному мы находим в неизданном дневнике В. М. Лазаревского — члена Совета министра внутренних дел и Главного управления по делам печати, о характере деловых и личных отношений с которым Некрасова мы будем говорить ниже. Характеристики Лазаревского тем более интересны и объективно ценны, что они, во-первых, относятся непосредственно к тем представителям власти (цензурной), с которыми Некрасов как редактор и литератор больше всего имел дело, и что, во-вторых, эти характеристики и оценки принадлежат хорошо осведомленному человеку и даны с полной откровенностью интимно-дневниковых записей, не рассчитанных на оглашение.

Вот несколько отрывков, относящихся к периоду с конца 60-х по начало 80-х годов (годовые даты отсутствуют в рукописи):

О М. Н. Турунове — председателе С.-Петербургского цензурного комитета (1864—1865), члене Совета министра внутренних дел и Главного управления по делам печати (с 1866 г.), начальнике отдела перлюстрации («черного кабинета») III Отделения, сенаторе:

«21 декабря ⟨1869—1872?⟩. Сегодня Некрасов сообщил мне чрезвычайно любопытные сведения о Турунове. Оказывается, что Некрасов дал ему деньги на поездку летом за границу.

— То-есть занял? — спрашиваю я.

ПОТЕРЯ РУКОПИСИ.

Въ воскресенье, 3 февраля, во второмъ часу дня, проѣздомъ по Большой Конюшенной отъ гостинницы Демута до угольнаго домъ Капгера, а оттуда чрезъ Невскій проспектъ, Караванную и Семеновскій мостъ до дома Краевскаго, на углу Литейной и Бассейной, обронен̀ъ свертокъ, въ которомъ находились двѣ прошнурованныя по угламъ рукописи, съ заглавіемъ: ЧТО ДѢЛАТЬ. Кто доставитъ этотъ свертокъ въ означенный домъ Краевскаго, къ Некрасову, тотъ получитъ **ПЯТЬДЕСЯТЪ РУБ. СЕР.**

2018

ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕКРАСОВА О ПОТЕРЕ РУКОПИСИ «ЧТО ДЕЛАТЬ?» ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Объявление было помещено в «Ведомостях С.-Петербургской городской полиции» 5, 6 и 7 февраля 1863 г.

— Какое занял! Просто дал 1500 рублей. — Но вчера, — продолжал он, — представьте, этакое свинство, он опять просит 1500 рублей, — иначе не может давать вечеров. Я отказал, т. е. не отказал совсем, а обещал, когда уплатит мне долг барон Врангель.

Турунов — порядочная скотина, но все-таки я не думал, что Некрасов просто платит ему, чтобы быть спокойным от III Отделения и от цензуры.

Кстати, как-то Валуев (когда я управлял Депортаментом Общих дел) спрашивает меня:

— Как, по вашим замечаниям, давно уже началось у Турунова разжижение мозга?

А вывел в сенаторы».

О Ф. Н. Еленеве (Скалдине) — цензоре С.-Петербургского комитета в 60-х годах, члене Совета Главного управления по делам печати и одновременно авторе известных очерков «В захолустье и в столице», печатавшихся в «Отечественных Записках» за 1867—1869 гг.:

«10 июня. Еленев заявил в Совете, что в силу того, что он был цензором, он ничего не брал от журналистов, так что когда однажды предложили ему папиросу, то он отказался, высказав это убеждение.

Иллюстрация к сему. Еленев, под именем Скалдина, печатал в «Отечественных Записках» большое сочинение, изданное после отдельной книгой. Получал двойную плату за листы. Оттиски получал даром. Книгу эту изъял после их продажи и усиленно, недостойно, глупо стал после, при всяком случае, ругать «Отечественные Записки», глумиться над ними и т. п.».

О П. А. Вокаре — члене Совета Главного управления по делам печати:

«Вокар — сортир, в который испражняется цензура.

В одно из заседаний Совета Феоктистов наклоняется ко мне (мы сидели об руку) и шепчет:

— Ведь вот Вокар — уж на что болван и скотина, а, подите, как дела свои обделывает».

О Г. П. Данилевском — члене Совета Главного управления по делам печати, известном историке-романисте:

«26 ноября ⟨1885 г.⟩ состоялось первое предостережение Ив. Серг. Аксакову за статью о русской дипломатии, в 21-м номере «Руси» ⟨...⟩. Когда, по очереди, пришлось подписывать протокол Григ. Данилевскому, то сей архи-брехунец заржал жеребенком:

— Ах, с каким наслаждением я подписываю на этом протоколе свое имя».

Галлерея образов и характеристик ближайших соратников Лазаревского по долголетней работе в высшем цензурном органе царизма завершается таким «групповым портретом», включающим и самого автора:

«Цензоры — блюстители нравов. Следовательно, мы — члены Совета (цензоры по преимуществу) — должны быть люди безукоризненно нравственные и, как нарочно,— все мерзавцы. И оттого — постоянное трогательное единогласие».

И дальше — как вздох сожаления об утраченных моральных устоях самодержавной власти и ее слуг — апелляция к главному идеологу феодально-дворянской реакции в России начала века:

«⟨А. С.⟩ Шишков отличался неподкупной честностью убеждений. «Необходимо, — говорил он, — чтоб цензура составлена была из немалого круга людей честных, ученых, благоразумных. Надо, чтобы они были умные и осторожные».

Лазаревский констатирует этой записью, что всех этих качеств уже не имел современный ему цензурный аппарат полицейско-крепостнического государства и что больше всего отсутствовала среди высших «блюстителей нравов» именно «неподкупная честность убеждений».

На том участке русской освободительной борьбы, на котором действовал Некрасов со своим «штабом» (выражение в одном из жандармских донесений о поэте), цензурно-охранные силы самодержавия и реакции были его непосредственным, прямым противником. Именно цензурный аппарат самодержавия ближайшим и конкретнейшим образом противостоял всей литературно-общественной, а тем самым и политической активности Некрасова и тому делу, на службу которому эта активность была отдана. Не следует, однако, думать, на основании приведенных свидетельств Лазаревского, что в той постоянной войне, которую вел Некрасов с цензурой, он имел дело с противником, уже в значительной мере дезорганизованным и нестойким. При всей той гнили, которую таили в себе высшие сановно-бюрократические сферы самодержавия, государственный аппарат царизма, включая и цензурную власть, был хорошо организованной и грозной силой. Разбить и уничтожить эту силу было дано лишь Великой Октябрьской революции. В эпоху же подготовки и созревания сил русской революции радикальные демократы 60—70-х годов, ведя тяжелую, неравную борьбу с «чудищем царизма» (Герцен), должны были создать особые тактику и формы этой борьбы.

VII. Ф. М. ТОЛСТОЙ

Феофил Матвеевич Толстой (1809—1881), или «Феофилка», как его обычно называли в кругу редакции «Отечественных Записок», был первым по времени влиятельным членом Совета Главного управления по делам печати, использованным Некрасовым для неофициальной защиты журнала в этой высокой цензурной инстанции.

Композитор-диллетант, неудачливый беллетрист и музыкальный критик (под псевдонимом Ростислав) и, вместе с тем, сановник, обладатель придворного чина гофмейстера, Ф. Толстой подвизался на цензурном поприще уже давно. Контакт с ним как с представителем цензурной власти Некрасов установил еще в пору «Современника». Именно от Ф. Толстого, и тогда уже бывшего членом Совета Главного управления по делам печати, впервые узнал Некрасов о грозивших его журналу в 1866 г. бедах. Через него же пытался поэт спасти положение, понудив Толстого, уже после постановления комиссии Гагарина о прекращении «Современника», написать протест по этому поводу министру внутренних дел [92].

Начиная издание нового журнала и сразу же создавая систему его «охранения» от цензуры, Некрасов должен был вспомнить о Толстом. И действительно, в конце 1867 г. Некрасов вступил с ним в переговоры. Об этом свидетельствует краткое письмо Некрасова к Толстому от 23 октября 1867 г., в котором сказано: «Мне и должно, и желательно, и нужно побывать у Вас, что, наконец, и исполню завтра же часу в 1-м» [93].

Вероятно, на этом свидании и была достигнута принципиальная договоренность о сотрудничестве Толстого в деле «охранения» журнала. При этом, для усиления эффективности такого сотрудничества, Толстой, возможно по совету Некрасова, принял на себя обязанности официально наблюдающего за «Отечественными Записками» члена Совета (все издания были «прикреплены» к определенным членам Совета), что должно было придавать его мнениям о журнале, заявляемым на заседаниях, большую авторитетность. Однако, если судить по выступлениям Толстого в Совете, относящимся к 1868 г., то создается впечатление, что «защищать» «Отечественные Записки» он стал не сразу, а лишь с конца года, что, однако, могло быть приемом своего рода конспирации (от властей) установленной им деловой связи с редакцией некрасовского журнала.

В переговорах с Ф. Толстым принимал, со своей стороны, участие и Краевский. С Толстым у него уже существовало давно налаженное сотрудничество по «охранению» газеты «Голос».

Сохранилась записка Толстого к Краевскому, в которой он, приступая к негласному «домашнему» цензурованию «Голоса» в 1867 г., как бы определяет круг своих обязанностей и возможностей в принятых им на себя перед издателем-редактором газеты обязательствах.

«Вам известно, вероятно, различие,— писал Толстой,— существующее между обязанностями члена Совета Гл⟨авного⟩ Упр⟨авления⟩ и обязанностями цензора. Цензор отвечает перед Советом за одобрение или за неодобрение просматриваемой корректуры (в подцензурных изданиях); мнение члена Совета имеет законную силу только в совокупности мнений других членов и по утверждении журнала министром.

След⟨овательно⟩, просматривая в угождение Вам корректуру, я принимаю на себя роль цензора, но прошу Вас иметь в виду, что в настоящем случае я снимаю с себя всякую ответственность и действую только как частное, совещательное лицо, а не как член Совета» [94].

«В угождение» Краевскому, расплачивавшемуся за это высокими гонорарами за музыкально-критические статьи Ростислава и за заведывание им музыкальным отделом в «Голосе», Толстой с 1869 г. берет на себя

также предварительный, неофициальный просмотр и статей «Отечественных Записок», т. е. становится «домашним цензором» при редакции журнала.

Первым из сохранившихся документов, свидетельствующим о начавшемся сотрудничестве, является письмо Ф. Толстого к Краевскому от 5 июля 1869 г., в котором читаем:

«Благодарю Вас за доверие и пользуюсь им на благо общего нашего дела, т. е. для постепенного и безмятежного развития свободного слова.

В настоящую минуту я «калиф на час» и потому я должен был оставить надзор за О⟨течественными⟩ З⟨аписками⟩ за наблюдающим временным членом; вследствие этого отметки и сокращения, которые сделаны в оттисках с Вашего дозволения, сделаны нами с общего согласия.

Как ни ненавистен «красный карандаш» — это цензорское орудие,— но, вникнув в наши отметки, Вы, конечно, согласитесь, что тут нет желания оскопления, а только посбавлен излишний задор, от которого страсти возбуждаются, но не удовлетворяются.

Вся суть осталась в неприкосновенности, и потому я в полной надежде, что никто не будет в претензии: на Вас — за Вашу снисходительность и за Ваше доверие, а на нас — за нашу осторожность, проистекающую от искреннего желания быть полезным общему нашему делу» [95].

Таким образом, даже будучи «калифом на час», т. е. временно исправляя должность начальника Главного управления по делам печати, Ф. Толстой, отстранив от себя на время свои официальные обязанности наблюдающего за «Отечественными Записками» члена Совета, вместе с тем не прекращал их неофициального цензурования.

Неудачник в литературе и искусстве, хорошо понимавший свою непригодность для писательства и, вместе с тем, всю жизнь тянувшийся к нему, Ф. Толстой, несмотря на свое гофмейстерство и высокое служебное положение, держал себя с «заправскими» деятелями литературы и журналистики, даже такими как Краевский, не только скромно, но даже как-то приниженно. Роль просвещенного и бескорыстного защитника литературы чрезвычайно импонировала ему. И можно ли сомневаться, что Некрасов, с его знанием психологии врага и с его острым практическим умом, умело «играл» на этой «струне», когда являлась необходимость заставить «домашнего цензора» выступить на заседании Совета в защиту журнала. Конечно, Ф. Толстой никогда не переставал быть царским цензором, чиновником «гнусного ведомства». Иногда он до такой степени ревностно оскоплял статьи, что Щедрин кратко обозначал эту операцию выражением: «Феофилка гадит», а Елисеев в трудные для журнала минуты искал утешения в поговорке: «бог не выдаст, Феофилка не съест». И всё же у него была психологически-моральная потребность убедить себя в том, что он выступал в защиту некрасовского журнала из искреннего желания блага литературе: надо было как-то облагородить в своем сознании ту двойную игру, которую вел он в цензурном ведомстве.

В одном из писем к Краевскому 1869 г. Ф. Толстой писал:

«Должен признаться, что в литературном деле я разыгрываю роль Дон-Кихота и подчас крыловской мухи.— То с мельницами сражаюсь, то жужжу: «мы пахали!».

Но смехотворное, может быть, участие мое в литературе все-таки истекает из источника чистого, и согласитесь, что служение моему отечественному слову — бескорыстное.

Я желаю, по возможности, преуспеяния нашей литературы — вот единственная моя цель» [96].

Свое предварительное цензурование статей «Отечественных Записок» Ф. Толстой не скрывал ни от Петербургского цензурного комитета, ни от

ЗЕМСТВО ОБЕДАЕТ
Картина маслом Г. Г. Мясоедова, 1872 г.
Третьяковская галлерея, Москва

Совета Главного управления. «Домашняя цензура», как знаем, поощрялась Валуевым. Толстой считал это даже своей заслугой и сам указывал, что редакция исключала целые статьи из приготовленных уже книжек журнала [97].

Как опытный чиновник Ф. Толстой в своих выступлениях в Совете, связь которых с директивами, получаемыми от Некрасова, наоборот, тщательно скрывалась, не забывал время от времени указывать, что активность его «в надпечатной области» оправдывает и подтверждает планы и предположения министра [98]. «Сдержанность тона» «Отечественных Записок» за 1869 г. Ф. Толстой также приписывал своему влиянию. Так, в журнале заседаний Совета Главного управления по делам печати от 17 декабря 1869 г. (журнал специально составлялся для министра и утверждался им) читаем: «Эту сдержанность тона ⟨Петербургский цензурный⟩ комитет объясняет, впрочем, и происходившими ежемесячными соглашениями редакции с надлежащими учреждениями ⟨т. е. с упомянутым комитетом и наблюдающим членом Совета Ф. Толстым⟩» [99].

Относительное цензурное благополучие «Отечественных Записок» в 1868—1869 гг. не означало, конечно, что журнал не страдал от цензуры. Спасая бо́льшее и основное, Некрасов должен был итти на некоторые уступки и жертвы. Они были необходимыми элементами его тактики самообороны, так как давали в руки защищавшим его членам Совета необходимые и убедительные в глазах власти аргументы защиты («уступчивость» Некрасова).

В этом отношении характерна запись в журнале заседаний Совета от 31 декабря 1868 г.

Ф. М. Толстой,— сказано в протоколе,— «находит нужным сравнить образ действия двух редакций: «Отечественных Записок» Некрасова и «Всемирного Труда» Хана. Для ноябрьской книжки «Отечественных Записок» предназначалась статья Унковского по поводу книги Самарина. Цензурное ведомство нашло целесообразным исключить всю статью. Редактор исполнил это. Иначе поступила редакция «Всемирного Труда».

Хотя она и сделала некоторые исключения, но все-таки напечатала статью, и цензурное ведомство,— заключает Толстой,— имеет право заподозрить благонамеренность г. Хана»[100].

В октябре 1869 г. цензуровавший «Отечественные Записки» цензор Н. Е. Лебедев написал в Главное управление по делам печати донесение о 10-й книге «Отечественных Записок», по поводу статьи Г. З. Елисеева «О направлении в литературе», в которой доказывалась полная несостоятельность законодательства о печати и необходимость «предоставить прессе бóльшую свободу»[101]. Цензор полагал, что статья дает повод для возбуждения судебного преследования. Совет Главного управления намеревался объявить «Отечественным Запискам» предостережение. В защиту журнала выступил Ф. Толстой. Его мнение и принятое затем решение Совета записаны в журнале заседаний так:

«Член Совета полагает, что непоследовательные разглагольствования автора означенной статьи[102] никакого вреда принести не могут. Предостережение в настоящем случае подало бы повод упрекнуть Главное управление в том, что оно преследует за неумеренность выражений, а не за зловредные мысли. Но полезно было бы сделать редакции внушение, указав на все те уклонения, о которых заявлено было как в предыдущих, так и в настоящем заседании Совета.

На основании вышеизложенного ⟨мнения Ф. Толстого⟩ Совет п о л а г а е т: предварительно принятию карательной меры, пригласить редактора и предупредить его, что, в случае продолжения предосудительного направления, он может подвергнуться законной ответственности».

Однако в дело вмешался министр внутренних дел А. Е. Тимашев. Он нашел недостаточным приведенное выше решение Совета. В своей резолюции Тимашев писал:

«Нахожу недостаточным внушение, так как направление журнала «Отечественные Записки» уже вполне достаточно обнаружилось, а потому прошу обсудить это издание по общему его характеру»[103].

После этой резолюции Главное управление по делам печати потребовало доклада от Петербургского цензурного комитета о направлении «Отечественных Записок». Доклад был составлен цензором Лебедевым и представлен на обсуждение Совета.

Лебедеву была известна резолюция министра, и, составляя донесение, он не мог не учитывать, что во «вредном» направлении процензурованных им самим «Отечественных Записок» будут видеть его собственные упущения. Тон отчета поэтому был довольно безобиден[104].

Выступая на заседании Совета, Толстой согласился с Комитетом, что «Отечественные Записки», «хотя и не заслуживают одобрения, но не могут вызвать немедленной карательной меры, так как не касаются основных начал государственного устройства, не проводят субверсивных доктрин и довольно сдержаны по тону»[105].

Совет Главного управления, в свою очередь, согласился с донесением Петербургского цензурного комитета и с заключением Ф. М. Толстого. Он признал «направление «Отечественных Записок» не вполне одобрительным, но, вместе с тем, находит, что направление это избегает таких крайних проявлений, которые должны были бы подать повод к немедленному принятию карательных мер против названного журнала. По этим соображениям Совет п о л а г а е т: в настоящее время ограничиться принятием вышеизложенного к сведению, как материал для характеристики «Отечественных Записок», поручив Цензурному комитету и наблюдающему члену следить за этим изданием с особенно строгим вниманием и по выходе каждой книжки журнала доводить до сведения Совета о содержании и направлении заключающихся в ней статей».

Решение Совета было утверждено Тимашевым[106].

Однако, несмотря на специальное предписание «наблюдающему члену», т. е. Ф. Толстому, следить за «Отечественными Записками» «с особенно строгим вниманием», его характеристики журнала за 1869 г. показывают, что Толстой не только не проявил в них «строгости», которой требовал от него министр, но, наоборот, устранил из них ту агрессивность, которая была в его первых отзывах за 1868 г. Он сам счел нужным сказать об этом и мотивировать изменение своего отношения к журналу так:

«В отзывах моих за прошлый ⟨1868⟩ год (№№ 5 и 6) и представленном обзоре 9-й и 12-й книг «Отечественных Записок», в которых указывалось на статьи Щедрина, Скабичевского и Скалдина, я находил, что в «Отечественных Записках» начинало в то время проглядывать тесное их родство с бывшим «Современником». В текущем году сатирический тон со свойственной Щедрину иносказательной резкой речью уступил место более сдержанному направлению» [107].

Это писалось в год, когда на страницах «Отечественных Записок» печатались «История одного города», «Помпадуры и помпадурши», «Господа ташкентцы» Щедрина — произведения, с огромной силой разоблачавшие и бичевавшие весь политический строй и быт самодержавия. Очевидно, что причина изменения тона отзывов Толстого была иная и заключалась она в том, что к этому времени Некрасов уже имел с ним вполне налаженный контакт и оказывал свое воздействие на его выступления в Совете.

Ф. Толстой считал, и, нужно признать, не без основания, что ему удалось принести известную пользу «Отечественным Запискам», и уже в 1881 г., т. е. много лет спустя после своей отставки, напоминал Краевскому, что Щедрин, как преемник Некрасова по редакции, сознаёт оказанные им, Толстым, «услуги по защите журнала» [108]. «Услуги» эти, вероятно, могли бы быть значительнее, если бы и по отношению к редакции «Отечественных Записок» Толстой не был одновременно «слугою двух господ» — Некрасова и Краевского, и второго — больше, чем первого. Об этом свидетельствуют еще не опубликованные письма Толстого к Краевскому, которые будут ниже приведены.

Пользуясь своими давними личными связями с Краевским, а также его положением официального редактора и собственника «Отечественных Записок», Ф. Толстой предпочитал обращаться по делам своего «негласного цензорства» непосредственно к нему, а не к Некрасову. Тем самым Толстой «вмешивал» Краевского в редакционные дела журнала, и предусмотренная Некрасовым номинальность его официального редакторства, несомненно, далеко не всегда соблюдалась. В этом, кстати сказать, и заключалась одна из причин настойчивых, но тщетных усилий Некрасова и Щедрина освободиться от редакторской подписи Краевского на журнале, о чем говорилось выше. Информируемый Ф. Толстым и другими негласными цензорами об их требованиях, предъявляемых в процессе предварительного ознакомления с материалом, Краевский — и в этом были заинтересованы власти — должен был оказывать со своей стороны давление на Некрасова.

О переговорах с Краевским по поводу предложенных Ф. Толстым и принятых редакцией изменений в одной из статей свидетельствует следующее письмо Ф. Толстого, относящееся к июлю 1869 г. (без обращения):

«Благодарю Вас за добросовестное исполнение принятого Вами добровольного обязательства, я хочу сказать о перепечатании отмеченных пассажей. Я твердо убежден, что, делая ничтожные исключения, мы оба с Вами служим верою и правдою неокрепшему еще у нас свободному слову. Всего не усмотришь, а вольно практикующая цензура стоустой толпы так и ловит каждое слово и каждый промах, для

того, чтобы как-нибудь да напакостить ⟨литературному⟩ делу. Так, например, в «Парижских письмах» на стр. 151 приведена программа одной из фракций социалистов, в которой сказано, между прочим,— параграф 12 — «Экспроприация всех финансовых комиссий» и пр. и пр. (посмотрите там же), другими словами, «отнятие собственности частной в пользу неимущих».

Это как исторический факт можно и должно огласить, но что нехорошо, это — одобрение Вашего корреспондента этого предложения.

Я не полагаю, чтобы эти обмолвки вызвали протест со стороны членов Совета, но сообщаю Вам для Ваших будущих наблюдений. Ф. Т⟨олстой⟩[109].

Итак, Ф. Толстой, недовольный очередной корреспонденцией Шассена («Парижские письма»), напечатанной в 7-й книжке «Отечественных Записок» за 1869 г., давал указания и советы Краевскому, инструктируя его для «будущих наблюдений» над цензурностью материалов подготовляемых номеров журнала. Очевидно, что Краевский систематически вел такие «наблюдения» и что, таким образом, обычные представления о его якобы полном невмешательстве в редакционные дела журнала не вполне соответствуют действительности.

Когда редакция «Отечественных Записок» уклонялась по каким-либо причинам от предварительного цензурования Ф. Толстого, последний, в ответ на это, предпринимал иногда ходы, которые Щедрин определял цитированным уже выражением: «Феофилка гадит».

В сентябре 1869 г. Ф. Толстой писал Краевскому:

«Августовская хроника От⟨ечественных⟩ Зап⟨исок⟩ не была у меня в просмотре, и я признаюсь Вам, что я обязан заявить ее в Совет. Есть повод надеяться, что заявление мое не поведет к каким-либо карательным мерам, но, желая сохранить примирительный характер добровольных наших соглашений, я считаю долгом по секрету уведомить Вас о том»[110].

В награду за оказываемые изданиям Краевского услуги Ф. Толстой, как указывалось уже, состоял заведующим музыкальным отделом в «Голосе», а также писал музыкальные обозрения в «Отечественных Записках». Сотрудничество Ф. Толстого в названных изданиях было откровенной взяткой, весьма обременительной для дающих и весьма выгодной для берущего. Ф. Толстого никто и нигде не хотел печатать, а он так рвался к журнальной трибуне. Нет ничего удивительного, что как только Толстой, «разоблаченный» начальством, вынужден был в ноябре 1871 г. покинуть Главное управление по делам печати и стал практически не нужен ни «Голосу», ни «Отечественным Запискам», «вознаграждение» его прекратилось. Ему было отказано во всех видах сотрудничества. Об этой второй своей «отставке» он говорит в ряде писем к Краевскому:

⟨27 декабря 1871 г.⟩

Милостивый государь Андрей Александрович!

Благодарю Вас за извещение о передаче музыкального отдела «Голоса» сыну Вашему. Так как за сим приглашения от заведующего ныне этим отделом не последовало, то я должен принять извещение это за чистую отставку.

Благодарю и за это! Совпадение двух отставок, т. е. отставки, полученной мною за слишком усердное заступничество журнала, издаваемого под Вашей фирмой, и отставки из числа Ваших сотрудников — чрезвычайно знаменательно. Это доказывает, что число моих недоброжелателей увеличивается не по дням, а по часам. При нынешних обстоятельствах нельзя не порадоваться такому обилию вражды и недоброжелательства; по словам великого Щедрина, «Самодовольная

СПАСОВ ДЕНЬ НА СЕВЕРЕ

Картина маслом И. М. Прянишникова, 1887 г.

Третьяковская галлерея, Москва

современность» попирает только людей менее или более даровитых, превознося бездарности; следовательно: «Благодарю — но ожидал!».

Кстати, о «Самодовольной современности» великого Щедрина, которая и [послужила] была причиною (хотя тайной) озлобленного взрыва неукротимого арх⟨ангела⟩ Михаила ⟨Шидловского⟩,— сосед Ваш Николай Алексеевич Некрасов поступил в отношении моей персоны еще благодушнее Вас.

Переиначив мои мысли в Муз⟨ыкальном⟩ обозрении и заставив меня воскликнуть «в добрый час» по поводу влияния, приобретенного ратклифистами в консерватории, он, т. е. Некрасов, не обратил ни малейшего внимания на покорнейшую мою просьбу уведомить меня, что же от меня требуется? что мне дозволяется и что запрещается?

Согласитесь, что нельзя писать статью, не зная о чем писать можно. Покорнейшая моя просьба передана была барином ⟨Некрасовым⟩ на обсуждение г. Салтыкова, и великий Щедрин — в воздаяние трудов, понесенных мною при злосчастном моем наблюдении за желчными его измышлениями, которые я выносил, можно сказать, на собственных плечах,— оставил просьбу мою без ответа.

Он достиг своей цели, потому что, не получая ответа и не удостоившись свидания ни с ним, ни с Некрасовым, я должен считать себя отставленным от сотрудничества.

Впрочем, да не возрадуется зело великий Щедрин: сугубая моя отставка не повредит доброму моему имени. Всё, что может быть, — это то, что благомыслящие люди скажут, пожимая плечами: «Чудак этот человек! вздумал придерживаться каких-то убеждений, тогда как ни в Совете, ни в редакциях люди с убеждением и не удобны и не пригодны».

Одно только странно, — это то, что меня изгоняют за негодностью тогда именно, когда статьи мои перепечатываются западными газетами: в Бельгии, в Echo du parlement — архиполитический журнал, во Франции, в Gazette musicale и в Presse musicale. В последней — перевод статьи о Риголетто, помещенной в Голосе.

За сим — прощайте; смею надеяться, однакож, что при встречах мы не будем отворачиваться друг от друга. Это было бы слишком смешно и слишком радостно для многочисленных моих недоброжелателей.

Ф. Толстой[111].

27 дек⟨абря 1871 г.⟩

Через два дня, разочарованный и уязвленный Толстой шлет своему корреспонденту следующие строки:

29 декабря ⟨1871 г.⟩

Милостивый государь
Андрей Александрович!

Бесцеремоннее и, скажу более, неблагодарнее поступить, как поступили Вы со мною — и злейший враг не придумал бы.

Вы воспользовались моей невзгодою по службе, чтобы придавить меня еще более и выказать перед публикою — или, может быть, пред Глав. Упр. по делам печати, что и Вы, с своей стороны, чуждаетесь меня и отставляете меня за негодностью.

Так же поступил и собрат Ваш — Некрасов.

Любезное, нечего сказать, возмездие за все труды мои и за горячее сочувствие, оказанное мною литерат⟨урному⟩ делу!

...Ожидать справедливости на сем свете — нельзя, но такой вопиющей несправедливости, как выказанной Вами в отношении меня, я еще до сих пор не встречал.

Ф. Т⟨олстой⟩[112].

Много лет спустя, в 1881 г., в письме от 13 июля Ф. Толстой писал Краевскому:

«Я выразил желание удостоиться дарового экземпляра Ваших изданий, конечно, не из корысти, но как вещественного доказательства, что преемники покойного Некрасова сознают оказанные мною услуги. Известный Вам Фукс и еще кой-кто сильно точили зубы на О⟨течественные⟩ З⟨аписки⟩. Почти каждое заседание я вынужден был отстаивать их от набегов этих ревнителей мрака, и не будь моего заступничества, то многое из того, что я оставлял в О⟨течественных⟩ З⟨аписках⟩ на свой страх, подало бы повод к какой-либо административной мере.

Я просил также содействия Вашего для того, чтобы пристроить племянницу моей жены, бывшего сотрудника самого Лароша, в Вашу или в другую какую-либо редакцию.

Известное изречение «да, наши предки Рим спасли!» смешно, конечно, в наше время, но сердце раздирается, когда видишь, что родная правнучка Кутузова-Смоленского рыскает до упаду, отыскивая себе кусок хлеба, т. е. заработок в какой-либо из многочисленных наших редакций.

Мне же по случаю служебного моего краха, вызванного известными Вам обстоятельствами, помочь ей не из чего; тем более, что я также в настоящее время нахожусь не у дел в журнальной части. С Катковым я разошелся уже несколько лет, не сумев подделаться под его направление; с Комаровым, потому, что «он мягко стелет — да жестко спать»; с Вами потому, что Вы сами указали мне дверь; прочие же издатели знать меня не хотят. По какой это причине — я решительно понять не могу, потому что в 7 лет пребывания моего в Совете я никому никакого вреда не учинил.

Припомните извет Трубникова, издававшего во время нечаевского процесса Биржевые Ведомости и осмелившегося провозгласить в передовой статье, что испр. должность начальника Гл. Управления оттого мирволит к Голосу, потому что не кто иной как Ростислав — сотрудник постоянный издателя Голоса.

Цензурный комитет представил доклад в Совет по случаю нахальной этой статьи, и я же истощил все свое красноречие, чтобы доказать, что «никто в своем деле судьею не может быть» и что приличие требует не подвергать суду Трубникова.

Счастливо для Трубникова, что в то время заведывал министерством добродушный и сладчайший князь Лобанов; будь тогда Тимашев — Трубникову не миновать бы шестимесячного заключения в смирительном доме. Присмирел бы он тогда!

Впрочем, всё суета сует в сем мире скоротечном»[113].

После отставки Ф. Толстого наблюдение за «Отечественными Записками» было поручено члену Совета Главного управления по делам печати В. Я. Фуксу, который, по словам Ф. М. Толстого, сильно точил зубы на журнал Некрасова. Впрочем, и Фукс скоро был в числе «приручаемых» и «прикармливался» на специальных вечерах у Некрасова, на которых бывал Щедрин, принимавший там, по образному выражению современника, «иудино лобзание» от Фукса, имевшего привычку прикуривать свою сигару от сигары сатирика.

«Прирученный» Некрасовым В. Я. Фукс в скором времени стал «защищать» «Отечественные Записки» в Совете и в этом отношении явился преемником Ф. М. Толстого.

Однако, как при Ф. Толстом, так и при В. Фуксе, роль primo motore— «первого двигателя» — в организованной Некрасовым защите своего журнала в Совете Главного управления по делам печати, как высшей цензурной инстанции, играл В. М. Лазаревский.

VIII. В. М. ЛАЗАРЕВСКИЙ

В конце 60-х — начале 70-х годов, т. е. в первую пору существования некрасовских «Отечественных Записок», имя Василия Матвеевича Лазаревского (1817—1890) значило многое в чиновничьих кругах цензурного ведомства и Министерства внутренних дел. Будучи членом Совета Главного управления по делам печати (начиная с 1866 г.), он пользовался здесь репутацией наиболее влиятельного и авторитетного чиновника. Такая репутация проистекала не только из его «обширной многоопытности и неутомимого рачительства к делам государственным», как говорилось в «высочайшем рескрипте» при пожаловании ему в 1877 г. чина «тайного советника». Лазаревский был лично близок к Тимашеву и занимал одновременно с должностью в цензурном ведомстве место члена Совета министра внутренних дел. Этого было достаточно, чтобы с мнением Лазаревского считались особо. В иных случаях его выступление в Совете Главного управления могло склонить остальных членов к принятию рекомендованного им решения.

В лице Лазаревского Некрасов нашел, таким образом, в аппарате руководства царской цензуры весьма полезную и эффективно, как увидим, использованную силу для «охранения» своего журнала, подобной которой не знали ни «Современник», ни «Отечественные Записки» более позднего периода.

Здесь не место входить в изложение биографии Лазаревского. Но некоторые факты, необходимые для обрисовки литературного портрета этого «друга-врага» Некрасова, соприкасавшегося с жизнью и работой поэта в течение ряда лет и о котором мы имели до сих пор неверные представления, должны быть сообщены.

К своим высоким постам в цензурном ведомстве Лазаревский поднялся по ступенькам удачно и гладко пройденной чиновно-бюрократической карьеры, сначала в провинции (Оренбург), а с 1850-х годов — в столице, при министрах Л. А. Перовском и М. Н. Муравьеве («Вешателе»).

Но биография Лазаревского не исчерпывается его послужным списком. Он был еще литератором, а главное — охотником.

Писательская деятельность Лазаревского не принесла ему ничего, кроме уязвлений и уколов его «трудному и злому», по собственной оценке, самолюбию. Как и Ф. Толстой, но еще с бо̀льшим основанием, он был в литературе полным неудачником. Его объемистый роман «Житейские встречи» и ряд рассказов и переводов и по сию пору остаются в рукописях, обременяя папки его архива. А несколько повестей, которые Лазаревский напечатал в начале 50-х годов в тогдашних «Отечественных Записках» («Капельмейстер», «Девичник» и др.), встретили столь отрицательное отношение критики (от «Москвитянина» до Дружинина), что это обстоятельство сразу и навсегда оборвало беллетристическую карьеру автора. Десятилетием позже «народные повести» Лазаревского, сентиментально идеализировавшие патриархальную гармонию крепостного крестьянина и доброго помещика, упомянул однажды, чтобы воздать им суровое до̀лжное, Н. А. Добролюбов. В одной из своих статей в «Современнике» 1860 г., говоря о литературной моде начала 50-х годов «на русского мужика», критик писал: «За несколькими писателями, действительно наблюдавшими народную жизнь, потянулись целые толпы таких сочинителей, которым до народа-то и дела никогда не было... Тогда-то обратили на себя внимание гг. Данковский, Лазаревский, Мартынов и многие им подобные... Как мужик с своей деревней связан, как управляется, какие повинности несет, чей он, и как с барином, с управляющим, с окружным или исправником ведается — это вы могли

открыть в весьма редких случаях... Житейская сторона обыкновенно пренебрегалась... а бралось, без дальних справок, сердце человеческое, и так как для него ни чинов, ни богатства не существует, то и изображалась его чувствительность у крестьян и крестьянок» [114].

Более удачны были литературные труды Лазаревского, посвященные специальным вопросам охоты. По поводу его книги «Об истреблении волком домашнего скота и дичи и об истреблении волка» (СПб., 1876) И. С. Тургенев со свойственным ему комплиментарным преувеличением писал автору: «Монография останется в литературе наряду с подобными сочинениями С. Т. Аксакова». Были у Лазаревского, обладателя ученой степени кандидата философии, как будто и научные интересы. В его архиве имеются почти законченные рукописи «Полного малороссийского словаря», «Опыта географического словаря» и ряда других трудов, ему принадлежащих. Там же хранятся тетради с записями фольклорных, этнографических и диалектологических материалов; он помогал их собирать В. Далю, с которым был связан с конца 40-х годов. Однако на всех этих «опытах» и начинаниях Лазаревского, всегда незавершенных и хаотичных, лежит яркая печать диллетантизма. Барин-помещик, потративший всю жизнь на совершение карьеры крупного столичного бюрократа, Лазаревский по существу был далек от всяких подлинно научных и литературных интересов.

Но в его жизни была одна живая и глубокая страсть — охота. Охотник он был, судя по материалам его архива, действительно неутомимый и увлекающийся, что даже несколько противоречит его общему психологическому облику. «Охота — мое лучшее удовольствие»,— записал он

ПОДАТИ

Картина маслом Н. В. Орлова, 1895 г.

Третьяковская галлерея, Москва

однажды в своем дневнике. Вопросы охоты интересовали Лазаревского не только практически. Он был непременным участником и членом всякого рода охотничьих обществ и комиссий, участвовал в разработке специального законодательства об охоте, писал на охотничьи темы статьи и, как упоминалось, даже книги и т. п.

Возникновение личного знакомства Некрасова с Лазаревским относится, видимо, еще к концу 50-х годов. Наиболее ранняя из сохранившихся (далеко не полностью) в дневнике Лазаревского записей бесед с Некрасовым датирована 1860 г. Знакомство возникло, вероятно, на почве общих охотничьих интересов. Однако сближение началось десятилетием позже и также на почве охоты. «Мы охотимся вместе с Некрасовым с 1868 года»,— сообщает Лазаревский в своем дневнике. Одновременность даты начавшегося сближения и момента, когда Некрасов брал в свои руки дело руководства новым журналом, надо полагать, не была случайностью.

«Охотничья дружба», столь легко и естественно возникшая между завзятыми охотниками, да еще укрепляемая, со стороны Некрасова, разного роду услугами и одолжениями, какие он сразу же стал оказывать своему компаньону, сулила многое для журнала, когда этим компаньоном становился крупный и влиятельный чиновник цензурного ведомства. И действительно, возможности, предоставленные сближением с Лазаревским, были использованы Некрасовым, как увидим, широко.

Однако находились ли они действительно «в близких, приятельских отношениях», как об этом сообщает биографическая литература о Некрасове? [115]

На эти вопросы, как мы сейчас убедимся, не столь легко ответить. И всё же ответ должен быть дан отрицательный. Место, занимаемое до сих пор Лазаревским в биографии Некрасова, должно быть определено заново; иную оценку должно получить его отношение к поэту.

Если судить по сохранившимся письмам Некрасова к Лазаревскому (в большей своей части еще не опубликованным), их отношения за период 1868—1874 гг. действительно представляются близкими и дружескими. Уже самые эпистолярные обращения как будто бы свидетельствуют об этом: «Дорогой Василий Матвеевич», «многомилейший Василий Матвеевич», «добрейший друг», «отче, друже и брате», «глубоко чтимый и любимый друг», «многолюбивый друг» и т. д.

Правда, в одном из своих еще не изданных писем к Лазаревскому, выясняя возникший в их отношениях, на почве недоразумений по охоте, конфликт, Некрасов писал: «Положим, мы не то, что называется в строгом смысле д р у з ь я (я так думаю, что отношения, завязываемые в 40 лет, не могут быть названы дружбою, ибо у каждого до этих лет успевает накопиться более желчи и холоду, чем допускает дружба, безусловно понимаемая), но все-таки мы были коротки настолько, что эта короткость обязывает говорить прямо...» [116]. Таким образом, не друзья, «в строгом смысле», но все же искренне и дружественно расположенные друг к другу люди — таково признание самого Некрасова.

А вот признание Лазаревского в черновике неизданного и вряд ли отправленного письма к Некрасову от 5 мая 1871 г.: «Вы хотите объяснения — оно коротко. Вы знали, что я любил Вас, но я сам не знал силы этой привязанности, доходившей до страсти» (последние три слова зачеркнуты).

Таковы эти личные, друг для друга лишь предназначенные объяснения и признания, которых мы раньше не знали. Казалось, они должны были бы окончательно утвердить за Лазаревским традиционную репутацию «друга» Некрасова, усилить отблеск славы поэта на человеке, чья любовь и сила привязанности к Некрасову доходили «до страсти»...

если бы не существовали и не дошли до нас другие признания этого же человека — глубоко утаенные, лишь для самого себя предназначенные и потому целиком, часто до цинизма даже, откровенные.

Мы имеем в виду «дневник» и «воспоминания» Лазаревского, лишь недавно обнаруженные вместе с другими остатками его архива в г. Горьком [117].

Слова «дневник» и «воспоминания» употреблены нами условно, лишь для обозначения двух различных видов автобиографических записей, найденных среди бумаг Лазаревского.

И те и другие записи сохранились далеко не полностью. В теперешнем своем виде — это беспорядочное собрание разрозненных и отрывочных заметок самого Лазаревского, часто на отдельных листках и даже клочках бумаги, перемешанных с подлинниками писем к нему, черновиками его собственных писем, различными выписками, справками и т. п. Некоторые эпизоды, отраженные в дневниковых записях, повторяются в переработанном виде в отрывках мемуарного характера. Имеются наброски биографически-портретных характеристик отдельных лиц (например, М. А. Марко-Вовчок) и др. Изучение этой архивной россыпи, которую мы в дальнейшем будем для удобства называть «Записками», позволяет думать, что Лазаревский намеревался, видимо, переработать свой дневник (он сохранился в небольшом количестве беспорядочных и хронологически разорванных записей) в воспоминания и что отчасти он уже приступил к этой работе, хотя вряд ли с намерением опубликовать ее.

«Записки» Лазаревского — документ, несомненно, несколько необычный для того вида и жанра литературы, к которому принадлежит. Это своего рода «дневник» Глумова — циничного героя из пьесы Островского «На всякого мудреца довольно простоты». Подобно Глумову, Лазаревский маскировался и приспособлялся в жизни. С министром Тимашевым он держался как почтительный чиновник, послушный исполнитель и проводник его политики, с цензорами — как цензор, с Некрасовым и Щедриным — как либерал, если не демократ. Но подлинные свои мысли Лазаревский, как и Глумов, доверял лишь интимному дневнику. В нем он отводил душу и в искренности с самим собой отдыхал от постоянного напряжения лицемерия и маскировки.

Найденные «Записки» Лазаревского ярко вскрывают беспринципность, двоегласие и вместе с тем опустошенную душу и часто грязный цинизм этого человека, столь неосторожно зачисленного в «друзья» Некрасова.

Лазаревский не щадит в своих «Записках» почти никого и ничего (исключение — Т. Г. Шевченко и отчасти М. Е. Салтыков, о котором сказано: «вообще очень порядочный господин»). Он резко критикует, морально клеймит своих сослуживцев и начальников по цензурному ведомству, которых прекрасно знает, понимает и презирает, а вместе с ними и всю царскую цензуру, которой, однако, раболепно служит (см. приведенные выше характеристики цензоров и членов Совета с заключительным выводом: «все — мерзавцы»).

Он с нескрываемым удовольствием пишет о «глупости» Тимашева, перед которым однако угодничает (преподнося министру свою книгу «Об истреблении волков...», Лазаревский надписал на ней: «Его Высокопревосходительству... твердому, мудрому и зоркому уничтожителю «волков» зла государственного. С истинным почтением...» и т. д.).

Он не щадит самого себя, заявляя, что его «будущность всецело перешла в гниение»; однако в письме к Некрасову патетически восклицает: «в чести имени есть своя святость...; охраняя эту честь, я забывал свое будущее...».

Дневник Лазаревского вскрывает всю фальшь и подлинно иудушкино лицемерие его «дружбы» с Некрасовым.

Лазаревский пишет: «Я в продолжение трех лет показывал и доказывал себя беззаветно ему ⟨Некрасову⟩ преданным». «Показывал», «доказывал», т. е. носил личину друга и одновременно рукой врага собирал и вносил на страницы своего неопрятного дневника клевету о поэте.

В качестве «близкого человека» Лазаревский очень часто «запросто» обедал у Некрасова, охотно отзываясь всякий раз на его приглашения. В качестве Лазаревского-Глумова он записывал об этих «дружеских» встречах: «это была положительно жертва с моей стороны».

Общаясь с Некрасовым часто и неофициально, Лазаревский не увидел в нем «ни поэта, ни гражданина» и даже, как в человеке, не нашел в нем ни одной положительной черты (если не считать любви к охоте). Он судит о поэте (в своем дневнике) «применительно к подлости» собственного лицемерия и, одновременно, применительно к удивительно низменному и ограниченному кругу своих интересов. Напрасно было бы искать в его дневнике записей, бесед и разговоров на литературные или общественные темы. Их нет. На глазах у Лазаревского создавались такие произведения, как «Дедушка», «Недавнее время», «Русские женщины», и др. Но ни об одном из них он даже не упоминает.

В заключительной записи своего дневника, относящейся в Некрасову и датированной 15 января 1877 г., Лазаревский окончательно срывает с себя маску, которую носил в обществе поэта и близких ему («мы в глазах ближайших его друзей считались ближайшими друзьями», записал он однажды). Прочтя принесенные ему В. И. Лихачевым листы только что вырезанного цензурой из «Отечественных Записок» некрасовского «Пира на весь мир», Лазаревский испытал нечто вроде пароксизма злобы и бешенства. И взяв дневник, он вылил на уже безнадежно больного поэта ушат такой грязной, отвратительной и гнусной клеветы, до которой никогда не опускались наиболее яростные и злобные враги Некрасова.

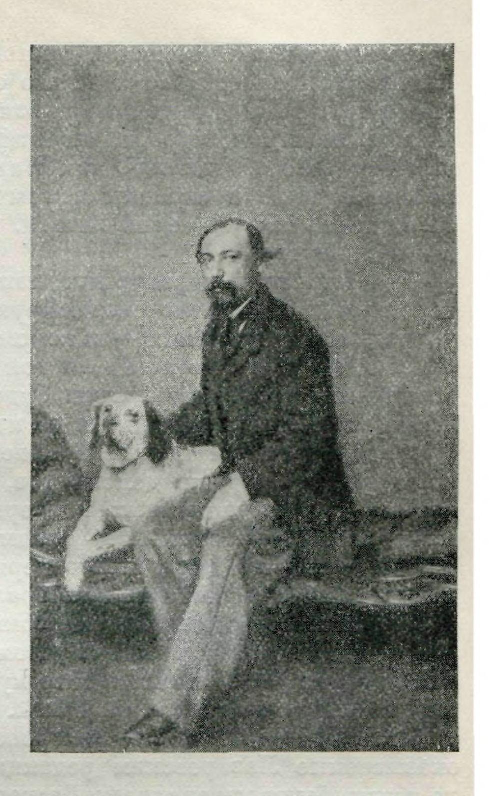
Так подвел итог своим отношениям с Некрасовым человек, который еще недавно готов был уверять, что сила его привязанности и любви к поэту «доходит до страсти».

Некрасов, разумеется, не знал и не догадывался, какого рода «летопись» тайно ведет о нем Лазаревский. Не числя его среди друзей, Некрасов, однако, действительно поддерживал с влиятельным цензором и товарищем по охоте близкие бытовые отношения. Домашние и ресторанные обеды, совместные поездки на охоту и посещения театров, игра в карты и т. п.— в пределах этого обычного и для Некрасова и для Лазаревского быта они легко сохраняли внешне дружеские связи. Общее увлечение охотой особенно помогало этому. Но дальше этого быта Некрасов и не пускал Лазаревского. Отмеченная выше поразительная бедность его дневника, не зарегистрировавшего почти ни одного факта из литературной жизни поэта,— результат не только узости интересов Лазаревского. Поле его возможных наблюдений было ограничено самим Некрасовым, о чем свидетельствует также их переписка, почти сплошь посвященная цензурным делам и охоте.

Бытовое общение и охота были удобной рамкой для д е л а, которое связывало Некрасова с Лазаревским.

Разгадал ли Некрасов в Лазаревском «Глумова» — мы не знаем. Но что он знал о его беспринципности и легкой податливости на далеко идущие компромиссы, к тому же всегда хорошо маскируемые,— это несомненно. Эти качества характера Лазаревского, занимавшего столь влиятельное положение в цензуре, были широко и эффективно использованы Некрасовым в интересах защиты «Отечественных Записок».

НЕКРАСОВ
Фотография Тулинова, 1860-е гг.
Институт литературы АН СССР, Ленинград



С 1868 г. по 1873 г. Лазаревский, искусно направляемый Некрасовым, был, по существу, главным «адвокатом» «Отечественных Записок» в Совете Главного управления по делам печати, не раз спасая журнал от грозивших ему бед. Лазаревский же, стоявший, как указывалось, близко к Тимашеву, являлся для Некрасова и Щедрина главным источником их информации о планах и намерениях властей.

Разумеется, воссоздать картину этих деловых отношений Некрасова и Лазаревского полностью невозможно. Обо всем главном уславливались и договаривались при личных встречах, на словах. Однако сохранившиеся письма и записки Некрасова к Лазаревскому, частично публикуемые во II томе настоящего издания, образуют солидную документацию негласного сотрудничества влиятельного члена Совета Главного управления по делам печати в цензурном «охранении» журнала.

С другой стороны, «Записки» Лазаревского отчасти разъясняют мотивы и, так сказать, психологию этого сотрудничества для самого Лазаревского.

У нас нет материалов для достаточно определенных суждений о политических взглядах Лазаревского. Обличительные тирады его дневника и личные связи с Некрасовым и Щедриным, в свете всего сказанного, вовсе еще не уполномачивают усматривать в его взглядах какой-то особенный либерализм.

С 1866 г. до своей смерти в 1890 г. Лазаревский был одним из руководящих деятелей царской цензуры. Оставаясь всегда царским цензором, Лазаревский подчас действительно был непрочь пококетничать, даже наедине с самим собой, чем-то вроде либерализма. В его дневнике есть, например, такая запись:

«При чтении я отмечаю карандашом не те места, за которые могли бы обвинять, а те, которыми можно бы оправдать.

Хорошими вещами я любуюсь как читатель и болею сердцем как цензурная власть».

Этот афоризм лицемерия, достойный Иудушки Головлева, опирался, однако, у Лазаревского и на его отчетливое понимание общей политики правительства в отношении оппозиционной печати вообще и «Отечественных Записок» в частности, и тактики, при помощи которой эта политика осуществлялась. Так же, как Валуев и Тимашев, Лазаревский считал нежелательным и опасным закрытие легальных органов противоправительственной журнальной печати. Об этом свидетельствует такая запись в его дневнике:

«Две партии литературных направлений — это две гири на концах коромысла. Они вечно балансируют и должны балансировать, иначе — упразднить одну из них — и коромысло станет колом.

И потом: куда же деваться той силе, которую хотят и предполагают возможным упразднить. Одна будет делать только глупости. Другая — набираться силы. Накопится ее избыток, и должен последовать взрыв».

Противодействуя иногда в Совете попыткам «упразднения» журнальной трибуны «партии» демократов, выступая здесь против таких «твердолобых» и прямолинейных консерваторов-реакционеров как, например, Шидловский,—Лазаревский, таким образом, целиком находился в фарватере основного для данного периода направления политики и тактики правительства — тактики «либерализма» в «полицейском футляре».

Защита «Отечественных Записок» и контакт в этом деле с Некрасовым и Щедриным могли, таким образом, иметь в сознании Лазаревского свою идеологическую и психологическую мотивировку. Но трудно сказать, в какой мере нуждался он в ней.

Зато с достаточной определенностью можно предполагать, что услуги, оказываемые Лазаревским редакции «Отечественных Записок», далеко не всегда были материально бескорыстны. Правда, касаясь в своем дневнике этих щекотливых вопросов, Лазаревский изменяет тут цинической откровенности других своих признаний и многого недоговаривает. В его изложении дело представляется так, что Некрасов неоднократно пытался давать ему прямые или слегка замаскированные взятки, но что эти попытки неизменно оканчивались неудачей, разбиваясь о его, Лазаревского, неподкупность и добродетель.

Приведем некоторые относящиеся сюда записи из дневника Лазаревского.

«17 декабря ⟨1870 г.⟩. У Еракова мы играли с Салтыковым (Щедрин) в пикет. Подле сидел Некрасов. Было выпито. Некрасов предложил мне ни с того, ни с сего:

— Хотите, Василий Матвеевич, я устрою у себя карточный вечер собственно для Вас?

Я расхохотался:

— Что я за игрок!

— Ну, хотите играть со мной вообще в доле? Для чего и вручите мне 1 000 рублей.

Я отвечал, что если он имеет в виду, чтобы я не был при этом в проигрыше, так я, разумеется, на это не согласен, рисковать же тысячью рублями не вправе и не могу.

Он приставал ко мне раз пять — шесть с тем же предложением. Я отказался наотрез. Он затем уехал на игру...

2 марта 1871 г. 28 февраля Некрасов просил меня притти по делу о покупке у Владимирова дачи. Я застал у него Еракова и Лялина. Через полчаса мы разошлись. Он долго упрашивал меня остаться обедать⟨...⟩. 2 марта, не помню за чем, я зашел к нему поутру. С первых слов он мне рассказал, что 28-го был у него гр. Граббе и играл до 4-х часов, но когда садились обедать, то Граббе и Лялин, отказавшись,

уехали обедать к Дюссо, где с какими-то проезжими проиграли до 4 часов утра, и Лялин, приехав домой, лег и умер (задохся). Я Лялина видел у него раза два, знакомы не были. При этом он рассказал мне, что Лялин держит мужской пансион, до 40 мальчиков, по тысяче рублей за каждого. Пил и играл, запутал свои дела, но все еще имел около 8 тысяч чистого дохода от пансиона. Что 24-го Лялин просил у него взаймы 5 тысяч, чтоб устроиться с делами, но он указал ему, что гр. Граббе выиграл в последнее время 25 тысяч и если даст 2 с половиной тысячи, то Некрасов тоже даст другую половину. Что при этом он имел в виду, если бы к пансионному делу Лялина приставить, в половине, по экономической части, хорошего человека, то дело могло бы для обоих быть очень выгодным. Мне как бы отдаленный луч сверкнул. Минут через пять подобного же разговора он опять вернулся к этой мысли и развил ее несколько подробней, но прямо ровно ничего не сказал, обо мне даже не намекнул, но я ясно уже это понял, что он меня готовил в эти половинщики и, следовательно, как бы для меня рисковал дать ему эти деньги. Я, разумеется, не сказал ни слова на вызов для развития мысли, хотя совершенно сознательно подумал: зачем ты, милый друг, рисуешь мне радужно будущность, которая всецело перешла в гниение...».

Продолжая запись, Лазаревский упрекает далее Некрасова в том, что он не выполнил двух его просьб. Содержание первой неясно, а вторая заключалась в том, что Лазаревский, в поисках дополнительных средств, хотел получить «аренду» (так называлось правительственное вспомоществование, выдававшееся наиболее крупным чиновникам из сумм на расходы «известные его императорскому величеству») и просил Некрасова о содействии и посредничестве. «Я развил ему ‹Некрасову›, — пишет Лазаревский,— более чем подробно, что Краббе легко может устроить для меня через Зеленого (мне очень обязанного) аренду». Некрасов будто бы «ничего из этого не передал Краббе».

«Может показаться странным,— заканчивает Лазаревский изложение этого эпизода,— почему я позволил себе рассчитывать на такую угодливость». И разъясняет эту странность так: «Во 1-х — я в продолжение трех лет показывал и доказывал себя беззаветно ему ‹Некрасову› преданным. Во 2-х, что мы в глазах ближайших его друзей считались ближайшими друзьями».

Приведем из «Записок» Лазаревского еще один эпизод, документированный не только дневниковыми и мемуарными записями, но и приложенными к ним письмами Некрасова и самого Лазаревского. Эпизод связан с историей нелегального сотрудничества П. Л. Лаврова в «Отечественных Записках» и представляет более широкий интерес.

Известно, что по соображениям конспирации Лавров в своих сношениях с редакциями легальных русских журналов должен был прибегать к посредничеству третьих лиц. Для редакции «Отечественных Записок» таким лицом являлась М. А. Маркович (Марко-Вовчок). Однако ее переписка с «государственным преступником», находившимся за границей, в эмиграции, не могла, разумеется, гарантировать редакции необходимой конспирации. В этой связи у самой Маркович или у Некрасова возник план использовать, для предохранения эпистолярной связи «Отечественных Записок» с Лавровым, имя и адрес Лазаревского. По своей должности, репутации, положению он находился, разумеется, вне подозрений цензоров «черного кабинета». С Лазаревским же Маркович находилась в давних и приятельских отношениях.

В феврале 1871 г. Лавров, находившийся тогда в Брюсселе, куда он ненадолго приезжал из Парижа и где познакомился с Марксом и Энгельсом, начал высылать указанным ему способом, через Лазаревского — Маркович, рукопись своей статьи (или статей) о франко-прусской войне и

осаде Парижа. Однако весь задуманный план рухнул, хотя рукопись и дошла (неизвестно, однако, полностью ли) до подставного адресата.

Лазаревский недаром был царским цензором. Он сам, помимо «черного кабинета», действительно не обратившего внимания на корреспонденцию, заподозрил в полученных им двойных конвертах конспирацию и потребовал у Некрасова объяснений. Они были достаточно драматичны. Некрасову с трудом удалось потушить историю и успокоить перетрусившего Лазаревского. Какою ценою было достигнуто это? Лазаревский и тут, видимо, чего-то недоговаривает. Он сообщает лишь, что Некрасов весьма откровенно предложил ему деньги за недоносительство властям, но что предложение было с негодованием отвергнуто. Изложение эпизода обрывается на неразрешенном конфликте. Однако из дальнейших записей видно, что отношения между Некрасовым и Лазаревским скоро восстановились.

Приводим из дневника Лазаревского относящиеся к данному эпизоду записи и документы.

⟨1⟩

8 марта 1871 года. В конце ноября 1870 г. Некрасов как-то, в общем разговоре, жаловался, что или должен произвести какие-то уплаты или оставаться без денег дня три, пока получит 9 декабря тысяч 9—10 — свою долю по изданию Отечественных Записок, которые он обыкновенно получает одновременно, в конце года. Я тогда взял взаймы в Министерстве внутренних дел 1000 руб. и предложил ему. Пока, говорит, еще перебьюсь; коли нужно будет — возьму. Через несколько дней, после, при каком-то случайном разговоре, я предложил ему двести рублей, в долю игры. Он принял долю — 16 коп., т. е. 6-ю часть с рубля. Признаюсь, что я после очень жалел об этом, и о том, числа 20 декабря, прямо сказал ему это, поставив вопрос так, что я одинаково этим стеснен: и спросить деньги, как бы не доверяя, и оставить, как будто напрашиваясь на большой выигрыш, между тем как мои деньги собственно ему не нужны. Он ответил, что дело уже сделано, что при значительном выигрыше его я могу получить значительный куш; я спорил, он возражал, и порешили на том, что деньги мои останутся у него до Нового года. В Новый год я был у него. Он показал мне ежедневные отметки игры, в чистом выигрыше было у него 3275 руб. Так как в дни серьезной игры игроки не любят давать денег из кармана, то я, конечно, не спросил их, приписывая непередачу их этому обстоятельству. Я виделся с ним 3 января,— он сказал, что проиграл в эти дни 3 тысячи руб. Я настолько не считал уже себя в этой игре, что, имея в виду отправление детей в школу, прямо написал ему 4 января о присылке мне денег. Он прислал в пакете, без всякой записки, 200 руб. У нас не были еще кончены с ним счеты за день последней охоты. По моим расчетам, я был должен ему рублей 80—90. Я, на другой день получения 200 руб., т. е. 5 января, послал ему 100 руб., при записке, что если этого нехватает до полного расчета, то он может добавить из переданных ему моих денег Николаем Карловичем Краббе. Он ничего не ответил. Так это и осталось до 25 февраля. За это время мы виделись раз десять, и часто tête-à-tête.

11 февраля получил я из Брюсселя письмо. Распечатав, я нашел другой конверт с надписью: Марии Александровне Маркович. Так как она в последнее время мне пакостила, интригуя против Л. Ив., то, отправляя к ней это письмо, я написал, что крайне сожалею, не имея сведений, какой корреспонденции я передатчик. Она не ответила мне, не пришла сама, и 14 февраля не приехала к обеду к Еракову, где знала, что буду я. 26 февраля получил я другое письмо из Брюсселя, с надорванным и отчасти расклеившимся конвертом. Получил я письмо часа в два.

К 4-м пошел к Некрасову. Я захватил с собой это письмо, чтобы показать ему, что оно, по моим соображениям, могло быть на почте прочитано. Когда пили водку, я говорю Некрасову, что имею сказать ему несколько слов à part. Были Салтыков, Успенский, еще кто-то.— Ах, я вам еще не отдал 33 руб. от Краббе,— до того странно ответил он мне, что это не могло не броситься в глаза. Денежный вопрос был у него, видно, на душе. Мы пошли в кабинет. Ответ сей показал мне, что он почему-то растерялся. Эту растерянность я приписал тому, что как раз я, вынув письмо,

В. М. ЛАЗАРЕВСКИЙ
Фотография 1870-х гг.
Областной исторический архив, г. Горький

стал говорить ему о своих соображениях. Он сразу мне ответил, что это письмо от Лаврова. Меня это огрело, как обухом по лбу. И первое то письмо было от него. Если его читали на почте, значит проверяющий знал, что я передатчик писем государственного преступника. Что это письмо не было там читано, разумеется, ручаться он не мог. С другой стороны, эта баба, получив мое заявление, что я не желаю получать анонимных писем, не остановила переписки. Я был взбешен до-нельзя. 27-го я написал ей, чтобы она возвратила перевод Аденьки, отданный ей для напечатания в журнале. Она сказала, что пришлет ответ вечером, но не прислала. 28-го — мои именины. Она, конечно, не пришла. Не желая ее видеть и я писал в субботу о переводе. В понедельник, 1 марта, я послал ей письмо, выразив нелепость ее поступка. О вновь полученном из Брюсселя

не говорил ни слова. Свое письмо я читал Некрасову, т. е. давал читать. Он не сказал ничего, ни pro ни contra, прочитавши. Предложил вскрыть письмо брюссельское и, по содержанию его, или отдать ей, если не опасно, или действовать по моему усмотрению в противном случае [или уничтожить тут между нами]. Я на это заметил, что решать вопрос: отдать ли ей письмо как пустое, или придержать как важное — критериума нет. 6 марта я был у Некрасова. Говорил, что не захватил письма Мар. Алекс. в ответ на мое.— А вы послали свое?— Да.— Ну, батюшка, я этого не думал.— Как не думали, если вы одобрили? — Я? Одобрил? Напротив, я находил, что письмо это очень резко.— Ну, думали вы или не думали, я так понял ваше молчание.— Перед богом и перед честью клянусь в этом — впрочем, будьте спокойны, что̀ бы вы мне тогда ни сказали, я и тогда, как и теперь, не переменил бы в нем ни одной фразы. (Мар. Алекс. была перед тем у него, его не застала дома и, как известно, заходила с Кристовым ⟨помощником почт-директора СПб. почтамта⟩, вероятно, по поводу ее письма. Он послал мне это известие, чтобы доказать, что с ней не виделся). Говорили еще долго о том, и я убедил его вполне, что она поступила со мной более чем мерзко.

Во время этого разговора он опять вспомнил о 33 рублях и вынул из комода 50 руб., которые, повертевши в руках, положил на стол. Когда я уходил, он напомнил о них; я вынул бумажник, взял оттуда 25 руб. и положил на стол, взявши с него 50 руб.— Ну, так все-таки за мной еще 8 руб. Затем, когда он стал прощаться, на пороге кабинета, он вдруг заговорил: — А нам нужно свести счеты. Видите ли, я вчера отыгрался вполне от проигрыша после Нового года, с меня вам следует 6-я доля выигрыша до Нового года.— Я возразил на основании того, что, пока он был в выигрыше, я денег не получал, а когда он проиграл, то, на спрос мой, переслал только мои деньги. Подобный спор продолжался минут 20. Я положительно отказался и вышел, он за мною, уговаривал через 4 комнаты, до лестницы, взять деньги.— Ну, если не хотите взять, так они пусть останутся у меня, теперь у меня пойдет большая игра, может быть я много выиграю — вы в доле. Я так же положительно отказался. Тогда он ловким оборотом заметил, что если это расчеты по охоте, так зачем же я прислал еще 100 руб. Я ответил, что прислал 100 руб. по расчету за охоту, считая свой долг от этого. Весь смысл этого безвременного предложения в том, что и Некрасов, как и Мар. Алекс., знал, что первое письмо было от Лаврова, и не сделал ни одного шага, чтобы остановить эту мерзость, зная, что я могу расплатиться будущностью моих детей.

Между прочим, он не раз замечал мне, что если бы я принял какие-нибудь серьезные меры по поводу этой корреспонденции, то я потерял бы в мнении либерального кружка. Я ответил на это, что Мар. Алекс. поставила мне вот какую ловушку: как герою русской сказки, мне теперь два пути: пойду по одному — подлец перед либеральным кружком, пойду по другому — подлец перед семейством. При этом другом — оно пропадет с голоду, я сам пойду на улицу, где либеральный кружок через неделю перестанет узнавать меня, и мне тогда останется сочинить статью под заголовком — Лазаревский и редакция Отечественных Записок — и затем кинуться в воду. Когда, пришедши домой, грустно заявил об этом Л. Ив., мне стало положительно ясно, что он хотел подкупить меня этими 500 руб. ⟨...⟩, более чем подкупить, а обратить меня по делу этой переписки в раба, обязанного молчать.

⟨2⟩

14 марта 1871 г. Я сказал Некрасову, что получено 4-е письмо. Полное сочувствие тяжелому моему положению. Убеждение, что на

всякие меры я имею право и основание. На замечание, что не пойти ли мне к Мезенцову и сказать, что получена статья из Парижа, я заметил, что будь это при Похвисневе, я бы ему прямо сказал, в чем дело. Он согласился с основательностью такой меры. Бесконечные уверения, что это так и останется тайной. На эти уверения я даже перестал уже возражать. Мы простились приятельски. Одевшись уже, я вернулся из передней. Он мялся. Я сказал, что его замечание о Мезенцове и мое о Похвисневе дало мне сейчас мысль сообщить об этом Мансурову.

Я сейчас, говорит, приду. Он мялся долго, конечно обдумывал. Когда пришел, то сразу начал говорить: если письмо и было прочитано, то, не усмотрев в нем ничего серьезного, отослали мне и больше уже не читали, и, стуча по биллиарду кулаком, непривычно громко, несколько раз повторял:

— Я не был на настоящей точке зрения до настоящей минуты, а теперь уверен, что тут не может быть никакого правительственного вмешательства, и дело нужно оставить как есть. Иначе, если я ⟨Лазаревский⟩ теперь заявлю, то сам навязываюсь на разбирательство, при котором я ⟨Лазаревский⟩, как молчавший так долго, буду виноват первый.

— Значит, мне выхода уже нет, и теперь я ваш сообщник.

— После этого прошу вас прекратить разговор.

Я повернулся и ушел.

Финал этого разговора, в день 14 марта, совершенно ясно показывает, как следует понимать его начало, производящее, по первому взгляду, странное впечатление.

Конечно, Некрасов не собирался направлять Лазаревского к начальнику III Отделения с доносом на самого себя и ставить тем самым и себя лично и журнал свой перед лицом неотвратимой катастрофы. Конечно, Некрасов не мог признать и за Лазаревским права «на всякие меры». Это была бы такая же катастрофа. Но, видя испуг Лазаревского, Некрасов, опасался предательства с его стороны. Необходимо было узнать его мысли и намерения. С целью выведать их, Некрасов и завел свой «откровенный» разговор. Он дал результат. Лазаревский признался в своем желании сообщить все властям, через Н. П. Мансурова — директора одного из департаментов в Министерстве внутренних дел. Некрасов должен был сразу же принять меры против возникшей опасности. Он тут же постарался внушить перепуганному Лазаревскому, что предательство, донос уже не спасут его, «как молчавшего так долго». Он дал понять также, намекая на что-то известное Лазаревскому, что в случае правительственного вмешательства и разбирательства он все равно будет признан «сообщником» редакции и что выход для него один — молчание.

Весь разговор и последние слова Некрасова произвели на Лазаревского весьма гнетущее действие. Вернувшись к себе, ночью, он написал Некрасову такое письмо:

⟨3⟩

⟨В ночь на 15-е марта 1871 г.⟩

«В чести прожитого, в чести имени есть своя святость. Тут основа и движение общественных начал; охраняя эту честь, я забывал свое будущее и будущее своего семейства.

Вы мне сказали не н о в о с т ь, что тут записка об осаде Парижа. Я был уверен в этом. В с я и с т о р и я о б э т о м п р о ш л а н а м о и х г л а з а х, и з о д н я в д е н ь. Разрешение редакции, в том и в другом случае, выслать ее на мое имя последовало не вступно вслед за моим п р о т е с т о м против такой высылки.

Прошу Вас предъявить это письмо Салтыкову.

Прошу Вас сообщить ему и наш вчерашний разговор.

В дневнике моем он записан.

Как личность не вне вопроса, и в то же время, как хозяин местности беседы, Вы закончили ее крайним неприличием.

Я не оценил ваших, очень памятных, доводов, что к молчанию я обязываюсь потому, что теперь мыслить о своей охране для меня уже бесполезно.

Рассудит нас будущее.

Конечно, мы сделаем себе взаимную честь, не признавая друг друга при встречах».

Было ли отправлено это письмо? Мы думаем, что нет. И не потому, что текст его сохранился в архиве отправителя (хотя рукопись не похожа на черновик). А потому, что, находясь в состоянии нервного возбуждения, Лазаревский сказал в письме то, что не доверил даже своему дневнику и что создавало бы, будь письмо послано, компрометирующий его документ.

Вопреки всем записям дневника, Лазаревский признает в письме 1) что он знал об отправителе и содержании корреспонденций, поступивших на его имя из Брюсселя и Парижа, 2) что «вся история об этом прошла на моих глазах, изо дня в день»; 3) что редакция «Отечественных Записок» вела с ним, Лазаревским, прямые переговоры, добиваясь его согласия на посредничество в конспиративных связях с Лавровым, хотя разрешения на это от него и не получила.

Письмо, таким образом, существенно корректирует дневниковые записи и делает понятным намек Некрасова на неизбежность признания сообщничества Лазаревского в этом деле, в случае его разбирательства властями.

Утром того же 15 марта Лазаревский получил следующую записку от Некрасова (приводится по подлиннику):

〈4〉

〈15 марта 1871 г.〉

До прихода литературной братии мне еще нужно сделать счет по 3-ей книге, и я никак не успею до часа зайти к Вам. А между тем, нахожу нужным поговорить о вчерашнем деле с хладнокровием, которого мы вчера не выдержали. С е м ь р а з п р и м е р ь, — о д и н р а з о т р е ж ь. Если Вы тех же мыслей, то не зайдете ли ко мне?

Ваш Некрасов.

Лазаревский принял предложение, и встреча состоялась. В его дневнике она была записана, видимо, подробно, однако соответствующие листы рукописи утеряны. Сохранилось лишь следующее начало записи:

〈5〉

1 5 м а р т а 〈1871 г.〉. Только что я встал. В 10 часов приносят письмо от Некрасова. Я пошел к нему.— Я вчера,— говорит,— не играл, все думал по этому делу и признал вполне, что всему виной эта дура 〈Маркович〉. Хотите, она придет к вам извиниться... — Мне противно ее видеть.— Хотите, я сейчас за ней пошлю, чтоб пришла сюда.— Не хочу.— Хотите, она напишет извинительное письмо, которое может служить документом.— Поймите, что ни то, ни другое, ни третье не вносит ровно ничего, что бы могло изменить сущность вопроса. С своей стороны, я должен сказать вам две вещи: 1) что письма могут быть

читаемы и посылаемы ⟨отделом перлюстрации⟩ как ничего не заключающие, в ожидании чего-нибудь серьезного, но тем не менее я уже признан передатчиком, 2) ⟨на этом запись обрывается⟩.

О чем дальше говорили Некрасов и Лазаревский и чем закончилась эта встреча, остается, таким образом, неизвестным. Но нижеприводимый

СТРАНИЦА ИЗ ДНЕВНИКА В. М. ЛАЗАРЕВСКОГО

Запись от 8 марта 1871 г., связанная с историей нелегального сотрудничества П. Л. Лаврова в «Отечественных Записках»

Областной исторический архив, г. Горький

документ свидетельствует, что испуг и колебания Лазаревского привели его в какой-то момент к решению довести обо всем до сведения властей, т. е. сделать донос на Некрасова и редакцию «Отечественных Записок». Этот документ — письмо Лазаревского к министру внутренних дел Тимашеву (черновик, без подписи):

〈6〉

Ва〈ше〉 Вы〈соко〉-Превосходительство
Милостивый Государь

С 11 минувшего февраля представлены мне с почты четыре заграничных письма: два из Брюсселя и два из Парижа. Под конвертом первого из них оказался другой, с адресом знакомой мне г-жи Маркович (известной под литературным псевдонимом Марко-Вовчок). Отправляя к ней это письмо, я заявил о нежелании получать для передачи подобную корреспонденцию, о которой не имею никакого понятия. Так как сколько-нибудь удовлетворительного объяснения на это от нее не последовало, то, недоумевая о сущности вещи и не желая быть агентом подобной переписки, я оставлял пока у себя последующие письма, не вскрывая их. Ввиду этой неизвестности я считаю служебной обязанностью представить упомянутые три письма и конверт четвертого на благоусмотрение Вашего В〈ысоко〉-Превосходительства как непосредственного моего начальника.

С истинным почтением и глубокой преданностью имею быть Вашего Превосходительства покорнейший слуга.

17 марта 1871 г.

Шаг к предательству, сделанный Лазаревским, дался ему не легко. О его душевном состоянии и тяжелых переживаниях дает представление письмо к Некрасову, написанное им, очевидно, одновременно с письмом к Тимашеву.

〈7〉

〈17 марта 1871 г.?〉

Не послано

Неповинный ни в чем, я вот уже три недели терплю муки поистине невыносимые. Мне предлагают спасение, обратив их из острых в хронические. Так быть граждански — противно разуму общественного склада, физически — не под силу нервам. И когда я думаю, что взяли меня, ничего даже не подозревавшего, взяли обдуманно и повесили на крюк за ребро, и стерегут, чтоб не сорвалась жертва, время от времени отуманивая ее дурманом,— я теряю всякое человеческое чувство, и смысл, и волю. Для меня становится понятным, как человек подходит к сумасшествию, к самоубийству. Я весь опутан. Выход один — разбирательство и приговор по суду. Пусть рассудит нас общественная совесть. Считаю нужным прибавить, что́ 15 марта я говорил уже вам лично: Мария Александровна теперь на втором плане. Это не больше как загребистая дура; олицетворение наглости с медным лбом. На ее клавикордах играли иные руки: это — редакция «Отечественных Записок».

На письме к Некрасову имеется пометка: «не послано». На черновике письма к Тимашеву Лазаревский такой пометки не сделал. И тем не менее, не приходится сомневаться, что Лазаревский в последний момент удержал себя или вернее был удержан от рокового шага. М. Д. Лобач-Жученко прямо сообщает по этому поводу, несомненно со слов М. А. Маркович, что «только решительное вмешательство Не́красова и Салтыкова» воспрепятствовало перепуганному Лазаревскому осуществить его намерение обратиться к властям — в III Отделение и к министру Тимашеву (см. «Твори Марка Вовчка», т. IV, Харків, 1928, стр. 203).

Финал эпизода не ясен. В «Записках» Лазаревского есть еще два документа, относящихся сюда. Это взаимно примирительные письма, которыми обменялись Некрасов и Лазаревский в начале мая, т. е. уже по прошествии $1^{1}/_{2}$ месяцев после изложенных событий. Некрасов писал Лазаревскому:

⟨8⟩

⟨Понедельник, 3 мая 1871 г.⟩ [118]

В субботу воротился я из Чудова — убил 24 дупеля, только что прилетевших. Советую туда поехать, охота недурная.

Посылаю Вам бумагу, заключенную с кн. Мухранским, который чуть не отдал свои земли другому. Да и нам отдал только на один год. По уговору с Краббе — мы эту арендную плату берем на себя вдвоем.

М. А. МАРКОВИЧ (МАРКО-ВОВЧОК)
Фотография 1860-х гг.
Институт литературы АН СССР, Ленинград

Я не заходил к Вам по моим обыкновенным причинам: утром — газеты и корректуры, после обеда — сон, вечером — клуб; но почему Вы не завернете? В последнее время мне это начало казаться отчасти странным; думал пойти к Вам, да тоже как-то дико показалось; допустив раз мысль, что тут творится нечто неспроста,— должен от Вас ждать развязки. Не сказал ли я чего-нибудь лишнего при наших разговорах о письмах? Или не есть ли это последствие какой-либо сплетни со стороны М. А. ⟨Маркович⟩, которая по поводу этих писем не раз заходила ко мне. Я полагаю, что едва ли для нее не было бы одним из сильнейших удовольствий известие о нашей ссоре, но доставлять ей это удовольствие в мои расчеты не входило; не думаю, чтоб и в Ваши. Во всяком случае, люди — не собаки, и обрывать так отношения, подобные нашим, очень уж как-то дико. Вот почему я все это пишу и жду объяснения.

Попрежнему преданный Вам Некрасов.

Лазаревский отвечал на это Некрасову:

⟨9⟩

⟨Среда⟩ 5 мая 1871 г.

Письмо Ваше взбунтовало во мне все, начинавшее улегаться. Два дня вот уже и в голове и сердце тревога. Вы хотите объяснения — оно коротко. Вы знали, что я любил Вас, но я сам не знал силы этой привязанности [доходившей до страсти]. Вы видели до какой степени страдал я во всех смыслах; Вы, как медиатор, не стали на стороне нравственных прав, которым, прежде всего, как человек умный, Вы не могли не сочувствовать.

Неприязни к Вам во мне нет. Вы знаете, что я всегда говорю и действую по правде. Встретившись, я бы подошел к Вам, но встречи бы не искал.

Прошлое не воротится, и об этом тоже я буду жалеть. Но во имя приличий — будем соблюдать приличия. Люди не собаки — это правда. У собак нет нерва, нравственной боли, у человека он есть, а у глупых людей даже особенно болезнен.

Степан сегодня пишет мне, что есть дупель и тяга. Я уже давно из халата только по вторникам вылезаю. Хочется дохнуть болотом, а главное — нужно вознаградить собаку. На всякий случай я сказал Шидловскому, что, быть может, на-днях уеду. Кстати, у нас звонят, что он заменяет Мезенцова, и очень скоро. Много болтают о других прочих ⟨нрзб.— переменах?⟩.

Вскоре отношения были восстановлены полностью, и Лазаревский попрежнему стал активно защищать «Отечественные Записки» в Совете, консультировать и информировать Некрасова в делах цензурного «охранения» журнала, охотиться с Некрасовым, посещать на его абонемент театры... и попрежнему заносить в свой дневник клевету о поэте.

Наше изложение истории о конспиративной попытке редакции «Отечественных Записок» получить и напечатать корреспонденции Лаврова об осаде Парижа в 1871 г. было бы неполно без некоторых самых кратких, итоговых комментариев и выводов.

Прежде всего, возникает вопрос о судьбе, постигшей статью или статьи Лаврова. Поскольку три письма, содержащие лавровские рукописи, из четырех присланных, находились в руках у Лазаревского (это явствует из письма его к Тимашеву), можно предполагать, что они были уничтожены им, после того как он раздумал дать ход своему доносу. Среди позднейших печатных работ Лаврова специальной статьи об осаде Парижа (она могла сохраниться у автора в копии) не появлялось.

Приведенные документальные материалы открывают, далее, истинную причину временного перерыва сношений редакции «Отечественных Записок» с Лавровым в 1871 г. Известно, что этот перерыв налаженной связи с журналом, который Лавров больше всего ценил, причинил ему немало неприятных переживаний. Он с горечью должен был констатировать в своих письмах к Е. А. Штакеншнейдер, что «порядочные люди ⟨т. е. редакция «Отечественных Записок»⟩ порывают с ним всякие сношения и не заботятся об их поддержании». Виня в невнимании к себе также Марко-Вовчок, он даже заговорил, в письме к той же Штакеншнейдер, о «повальном понижении нравственности, особенно литературной и издательской», имея в виду Марко-Вовчок и редакцию «Отечественных Записок» [119].

Эти и многие другие аналогичные обвинения Лаврова по адресу Некрасова и редакции в целом должны быть теперь сняты. Дело было не в «нарочитом невнимании» и не в «создаваемом конфликте», а в простых мерах предосторожности, побудивших редакцию временно прекратить конспиративную связь, находившуюся под угрозой полицейского раскрытия.

Что касается Некрасова и Лазаревского и их роли в эпизоде с корреспонденциями Лаврова, мы вправе сделать, на основании всех изученных нами материалов, такие выводы.

Обращение к Лазаревскому с просьбой предоставить «политическую благонадежность» его имени и высокого служебного положения для прикрытия конспиративной связи редакции «Отечественных Записок» с революционером-эмигрантом показывает, как далеко и смело пытался иногда проникать Некрасов в лагерь врага, осуществляя свою тактику борьбы с ним. Сама возможность такого рискованного обращения к Лазаревскому показывает меру его участия в других, политически более невинных, но существенно важных услугах, которые он постоянно оказывал редакции «Отечественных Записок».

Дружеские письма (впрочем, очень немногие, остальные — часто деловые), близкое бытовое общение и т. д.— лишь искусно и умело созданная рамка для нужного использования Лазаревского. Некрасов не был и не считал себя его другом. Некрасов не мог считать себя другом человека, которого не уважал. А что он не уважал Лазаревского, видно хотя бы из того, что неоднократно предлагал ему взятки. Лазаревский от взяток якобы отказывался, но его отношение к Некрасову от таких неуважительных предложений не менялось.

«Дружба» Некрасова с Лазаревским, начавшаяся в 1868 г., в момент организации «Отечественных Записок», кончилась в 1874 г.,— кончилась резко и решительно, вплоть до прекращения всякого личного общения. Внешним поводом для разрыва послужили недоразумения по сов-

АВТОГРАФ ЗАПИСКИ НЕКРАСОВА К В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ ОТ 15 МАРТА 1871 г.

Областной исторический архив, г. Горький

местному охотничьему хозяйству. Но по существу причина лежала в ином. 1874 год был очень трудным для «Отечественных Записок». Цензурные репрессии сыпались на журнал одна за другой: майская книжка была задержана, тираж сентябрьской уничтожен. Лазаревский либо уже не мог, либо не хотел больше защищать некрасовский журнал. В условиях начавшегося подъема революционного движения в стране и ответных контрмер правительства его позиция негласного «адвоката» демократического органа становилась опасной. Почвы для «дружбы» больше не существовало, и связи Некрасова с этим «другом-врагом» были прекращены.

IX. НЕКРАСОВ И СОВЕТ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ

В борьбе Некрасова с царской цензурой его «дружба» с чинами Совета Главного управления по делам печати призвана была обеспечивать «главную коммуникацию» противоцензурной обороны журнала. Судьбы «Отечественных Записок» в значительной мере определялись этим высшим цензурным органом царской России. Возможность оказывать воздействие на решения Совета, организация и проведение защиты журнала на его заседаниях венчали всю систему мероприятий, созданных Некрасовым для «охранения» своего издания от преследований цензуры.

Изучение протоколов («журналов») заседаний Совета Главного управления по делам печати позволяет достаточно ясно увидеть картину того, как осуществлялась на практике организованная Некрасовым защита «Отечественных Записок» в высшей цензурной инстанции.

Протокольные записи выступлений членов Совета Ф. Толстого и В. Лазаревского — негласных «адвокатов» редакции «Отечественных Записок» в высшем цензурном «суде» — показывают в ряде случаев, что их защитительные речи умело и тонко подготавливались иногда самим Некрасовым.

Как это делалось, видно, например, из следующего, еще не бывшего в печати, письма Некрасова к Лазаревскому от середины апреля 1872 года:

«Вот книга — представлена сегодня в цензуру — пожалуйста, пробегите еще мою поэму. Если у Вас завтра будет заседание, то не возникнут ли толки? Я побаиваюсь за сцену на площади; но прошло 50 лет! да и все это есть у Корфа, которого книги во многих тысячах экз⟨емпляров⟩ в руках у публики [120] — картинка чисто внешняя, не гнущая мысль читателя ни в которую сторону..., ну, да Вы найдете, чтó сказать в защиту. Только выживший из ума Петров может напугаться и предупредить Лонгинова, как он сделал с «Д е д у ш к о й», на которого, кстати, тоже можно сослаться,— этот дед, в сущности, резче, ибо является одним из действительных деятелей,— а не по сопутности захваченных событиями, как эти дамы,— и притом выведен нераскаявшимся, т. е. таким же, как был.

Я посылаю тоже книгу и подобную записку Каменскому и прошу его завтра обедать. Прошу и Вас.

Александр зовет на глухарей. Поговорим завтра».

⟨*Против первых строк письма рукой Лазаревского помечено:*⟩ «От. Зап. К н я г и н я Т р у б е ц к а я» [121].

Письмо не требует особых комментариев. Некрасов в деликатной форме дружеской записки подсказывает Лазаревскому, накануне заседания Совета, аргументы в защиту своей поэмы «Княгиня Трубецкая», пригла-

шает его и другого члена Совета, также защищавшего «Отечественные Записки», Д. И. Каменского, на обед, упоминает о перспективах хорошей охоты.

Такова была подготовка «защиты». Как она происходила, можно показать на материалах (еще не бывших в печати) обсуждения в Совете Главного управления по делам печати некрасовской поэмы «Недавнее время».

Как явствует из печатаемых документов, Ф. Толстой в неофициальном порядке советовал Некрасову не печатать этой резко-обличительной сатирической поэмы или, по крайней мере, пойти на смягчение и изъятие отдельных ее мест. Однако Некрасов, отвергнув первый совет, лишь в малой мере последовал и второму. По выходе 10-й книжки «Отечественных Записок» за 1871 г., в которой появилось «Недавнее время», Некрасов узнал, что из-за его поэмы журналу грозит предостережение. Некрасов, несомненно, принял свои обычные меры и постарался надлежащим образом подготовить предстоящие выступления своих «защитников» в Совете — Ф. Толстого и В. Лазаревского.

Петербургский цензурный комитет нашел стихотворение Некрасова, наряду с другими статьями десятой книжки[122], «крайне предосудительным». В «Недавнем времени» Цензурному комитету не нравилось все: и описание Английского клуба, и нравов недавней мрачной эпохи, и изображение личностей, посещавших клуб, и, особенно, — ненависть поэта к аристократическому обществу и доносам.

Доклад Цензурного комитета поступил на обсуждение в Совет Главного управления.

«В означенном стихотворении,— записано в журнале заседаний,— поэт, желая описать настоящее положение одного именитого клуба (без сомнения, Английского), проводит параллель между прежними и настоящими его посетителями. Относясь иронически к прежнему недавнему времени, когда этот клуб посещался разными знаменитостями из высшей административной сферы и аристократического круга общества, поэт в самых непристойных и мрачных красках описывает время последних лет царствования императора Александра I. Так, говоря о том, что первые новости, вследствие тогдашнего безмолвия русских газет, узнавались прежде всего в этом клубе, он припоминает события об аресте Полевого, произведшем на поэта самое тяжелое впечатление. Поэт не предвидел, что его самого ожидают последствия еще худшие со стороны той же карающей власти, причем выражает свою мысль в следующих стихах на стр⟨анице⟩ 266:

Не такие еще поощренья
Встретишь ты на пути роковом,—
Но не понял я песенки спросту,
У Цепного бессмертного мосту
Мне ее пояснили потом.

Упоминая о том, что в то время и первые известия с поля военных действий узнавались раньше всего в означенном клубе, поэт замечает о неблагодарности русских к героям, жертвовавшим собою на войне, и, напротив, помнящих тех, которые грабили солдат, прятали русскую корпию впрок и потом продавали англичанам (стр. 267).

Описывая затем некоторые личности клубных посетителей, отличавшихся своим невежеством и тупоумием, поэт, говоря о каком-то молодом человеке из высшего круга, посвящавшем все свое время еде, попойке и ухаживанию за актрисами, утешает его тем, что бездарность не может помешать ему сделаться генерал-адъютантом, носить украшения на груди, так как всего этого можно достигнуть с меньшим знанием и меньшим талантом.

Далее следует описание в самых мрачных красках обращения военного начальства с солдатами, в пример которого поэт приводит какого-то мужа, управлявшего больницей и пожарной командой, который будто для приучения солдат к действию на пожарах заставлял их проводить время в угарной бане и делал столько фальшивых тревог, что при действительном пожаре и люди и лошади оказались до того измученными, что не были в состоянии действовать. Или когда ожидали этого генерала в больнице, то для очистки воздуха отворялись все форточки, после чего прибавлялось всегда несколько больных горячкою и несколько преждевременных смертей (стр. 272 и 273).

Далее поэт замечает, что после февральской революции доносы сделались всеобщими, и предержащие власти не отказывались принимать их (стр. 273). Газеты в то время все молчали, современных вопросов никто не смел касаться, допускались только доносы; в то время все так было угнетено, что даже доносчик Авдей (указание на Фаддея Булгарина) казался исчадием ада (стр. 274).

На стр. 275 с иронией упоминается о победах на маневрах под Красным Селом и о порожденной ими уверенности в нашем превосходстве над Европой.

Переходя затем к новому времени, т. е. к нынешнему царствованию, поэт замечает (на стр. 278), что надежды на него не сбылись, что оно не сдержало своих обетов, к удовольствию ретроградов и невежд; но что в начале оного Россия была удивительно хороша, что тогда она сбивала свои оковы, как будто спеша куда-то. При этом, бичуя предшествовавшее время, автор доходит до крайности в выражениях ненависти к прежнему обществу, говоря следующими стихами, на стр. 279:

Мы взывали: даруйте свободу
Угнетенному нами народу,
Мы прошедшее сами клянем!
Посмотрите на нас: мы обжоры,
Мы ходячие трупы, гробы,
Казнокрады, казенные воры,
Угнетатели, трусы, рабы!

В конце стихотворения поэт, отвечая на делаемый ему будто вопрос, почему он коснулся прошедшего, а не настоящего времени, поясняет, что он лишен права голоса в текущих вопросах; прикасаться же к ним робко и несмело находит бесполезным, так как в этом случае он бы более запутывал их»[123].

Первым в защиту «Недавнего времени» на заседании Совета выступил Ф. М. Толстой. Одновременно он защищал и себя как неофициального цензора журнала, указывая на то, что им были сделаны попытки предотвратить печатание произведения. Приводим протокольную запись выступления Ф. Толстого:

«Недавнее время». Это стихотворение Некрасова принадлежит к разряду сатирических стихотворений. Этот род поэтических произведений, со времен Ювенала, всегда отличался некоторой едкостью, необходимою для того, чтобы выставить рельефнее недостатки и даже пороки, бичуемые сатириком-поэтом. Этот род поэзии существовал и существует во всех литературах. Грубый памфлет возмущает, но тонкая поэтическая сатира принимается образованными обществами снисходительно даже со стороны тех, до кого она менее или более касается.

При этом гофмейстер Толстой заявил, что он, впрочем, советовал Некрасову не печатать этого стихотворения, потому что сатира должна быть более объективного характера, т. е. должна более обобщать свой предмет, а здесь прямо указывается на один из клубов, в котором, конечно, в течение

нескольких лет перебывало множество разного рода личностей, но все-таки клуб — рамка слишком тесная для поэтической сатиры. С свойственным поэтам самолюбием, Некрасов не захотел пожертвовать произведением, которым он остался, повидимому, доволен, и поступил неосторожно.

Гофмейстер Толстой советовал также выключить в стихах

У Цепного бессмертного мосту
Мне ее пояснили потом...

АВТОГРАФ ПИСЬМА НЕКРАСОВА К В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
ОТ 3 МАЯ 1871 г.

Областной исторический архив, г. Горький

эпитет «бессмертный», который отзывается иронией, и заменить его словом «известного мосту», но Некрасов не согласился.

Цензурный комитет обращает особое внимание на следующие стихи:

Впрочем, быть генерал-адъютантом,
Украшенья носить на груди —
С меньшим знанием, с меньшим талантом
Можно... светел твой путь впереди!

Очевидно, что слово «генерал-адъютантом» вставлено сюда для стиха и для соблюдения местного колорита. Поэт хотел этим выразить, что можно достигнуть высших почестей без особенных заслуг. Это совершенно избитая, всем известная тема.

В стихах «Недавнее прошлое» ⟨?⟩ много едкого, много грустного и, пожалуй, не совсем приятного для русского общества, но, по мнению гофмейстера Толстого, стихотворение не выходит из пределов сатиры. Английский сатирик Свифт — с которым не сравнится, конечно, Некрасов — и не такие правды высказывал английскому обществу, что не мешало ему, однако ж, пользоваться всеобщим уважением»[124].

Для связи с последующим изложением подчеркнем то место в выступлении Толстого, где он пытался отвести от некрасовского «генерал-адъютанта», совсем не случайно всполошившего весь цензурный муравейник, содержавшийся тут опасный намек на самого шефа цензурного ведомства, министра внутренних дел генерал-адъютанта Тимашева, ранее управляющего III Отделением «у Цепного бессмертного мосту». Но Толстому не помогли ни указания на «местный колорит», ни на «избитость» якобы только и выраженной Некрасовым «всем известной темы» о том, что «можно достигнуть высших почестей без особенных заслуг», ни, наконец, на случайность появления этого слова, вызванного якобы требованием стихотворного размера. Как увидим ниже, пропущенный Толстым как неофициальным цензором журнала «генерал-адъютант» стоил ему его дальнейшей цензурной карьеры. Именно после этого заседания, где Толстой защищал «Недавнее время», он вынужден был после замечания Тимашева подать в отставку.

После доклада Ф. Толстого выступил председательствующий в Совете начальник главного управления М. Р. Шидловский.

«Относительно стихотворения «Недавнее время» Некрасова, — сказал он,— член Совета Толстой заявил, что это есть изображение жизни известного Английского клуба, но, по мнению председателя, клуб здесь только маска, под прикрытием которой поэту удобнее порицать порядки недавнего прошлого, к нам очень близкого; в этом стихотворении автор не только глумится над прошлым царствованием, но и проводит тяжкую для нас мысль, что и настоящее царствование не оправдало тех общих ожиданий, которые оно вызвало в своем начале»[125].

Это свое мнение Шидловский высказал «после прочтения в Совете более рельефных мест» стихотворения.

При дальнейшем обсуждении 10-й книжки «Отечественных Записок» высказались члены Совета Еленев, Петров, Вокар и Стремоухов, которые присоединились к мнению Шидловского и находили, «что вредный характер «Отечественных Записок» уже достаточно определился и с особенной рельефностью выражается в последней, 10-й книжке», что подбор статей в журнале Некрасова «в совокупности выражает столь вредное отрицательное направление, которое долее не может быть терпимо, полагали бы объявить этому журналу предостережение»[126].

Последним в заседании выступил Лазаревский. Его «защитительная речь», таким образом, заключала прения, а речь Толстого открывала их. Такое распределение порядка их выступлений вряд ли было случайным.

«Член Совета Лазаревский заявил,— гласит протокольная запись,— что он не может вполне согласиться с выраженными в Совете взглядами на некоторые из подлежащих обсуждению статей. Таким образом, он наблюдает, что стихотворение Некрасова «Недавнее время» есть действительно не более как характеристика Английского клуба, что доказывается уже тем, что почти все выведенные там лица не суть какие-нибудь общие образы, а лица более или менее весьма угадываемые. Пьеса эта скорее, так сказать, анекдотического склада. Что касается частностей, то здесь

собственно два места, вызывающие обвинение,— это намек на объяснение в III Отделении и стих «Впрочем, быть генерал-адъютантом». Касательно первого, никто не станет отрицать, что здесь не заключается не только ничего оскорбительного для власти, но что в свободной печати, известной язвительностью у нас, положительно нельзя указать на что-либо другое, где бы отношение могущественного лица выразилось с большим благодушием к человеку, увлекшемуся дальше дозволяемых пределов. В таком освещении это лицо и его действия могут вызвать в читателе чувство только симпатическое. В объяснение же вышеприведенного стиха не следует упускать из виду, что речь идет о личности, шалости которой суть только невольная дань молодости и избытку внутренних сил, но каждый, конечно, согласится, что подобная личность, именно по богатой своей организации, всегда способна отряхнуть напускную желчь, чтобы сделаться человеком, способным к высшему гражданскому достоинству.

Наконец, что касается вообще характеристики Некрасова как поэта, то он уже, так сказать, закончился в своем поприще. Он всегда верен своей музе, им же очеркнутой. Два-три стихотворения более или менее ничего не прибавят и не убавят ни к современному, ни к историко-литературному его значению. Если тут вносилось в общественное сознание зло, было довольно времени, чтобы оно сказалось, чтобы остановить. Если этого не было, то последнее стихотворение не сильно само по себе дать особый колорит сумме всей поэтической его деятельности» [127].

Как видим, и Лазаревский, вслед за Толстым, пытается, и очень умело, нейтрализовать предосудительность метивших в генерал-адъютанта Тимашева стихов («Впрочем, быть генерал-адъютантом») ссылкой на избыток внутренних сил, на «богатую организацией» личность, способную «к высшему гражданскому достоинству», т. е. министерскому портфелю и «светлому» пути чиновничьей карьеры.

Лазаревский считал, что после того, как Совет главного управления по делам печати в конце 1869 г. обсудил, по указанию Тимашева, «общее направление и характер «Отечественных Записок», выходивших под негласной редакцией Некрасова»,— направление журнала не изменилось:

«В заключение член Совета Лазаревский согласился с тем местом заявления гофмейстера Толстого, где говорится о состоявшемся в 1869 г. существенном пересмотре вышедших до того времени книжек «Отечественных Записок» под негласной редакцией г. Некрасова. Заключение, данное в то время и Цензурным комитетом, и Советом Главного управления по делам печати, известно. С тех пор и до настоящего времени ни одна книжка «Отечественных Записок» в общем значении ее характера не выходила, так сказать, из ряда вон. По всему вышеизложенному член Совета Лазаревский не видит оснований объявлять ныне «Отечественным Запискам» предостережение и полагал бы, согласно мнению гофмейстера Толстого принять оные к сведению, как определяющие вредное направление журнала» [128].

На заседании Совета Главного управления по делам печати члены Совета не пришли к единому мнению: «Б о л ь ш и н с т в о членов Совета (председатель и пять членов) п о л а г а е т,— записано в журнале заседаний,— объявить журналу «Отечественные Записки» первое предостережение, а м е н ь ш и н с т в о (два члена) п о л а г а е т принять указанные статьи к сведению, как определяющие вредное направление журнала».

Министр внутренних дел Тимашев, «п о о с о б ы м с о о б р а ж е н и я м», согласился с мнением меньшинства, т. е. с мнениями Ф. Толстого и В. Лазаревского. Заготовленный уже текст предостережения «Отечественным Запискам» не был подписан им [129].

X. БОРЬБА ЗА ГАЗЕТНУЮ ТРИБУНУ

В предыдущем изложении было уже показано, что одной из важнейших задач цензурных и жандармско-полицейских учреждений царизма в их борьбе с «неблагонамеренной печатью» являлась локализация общественного воздействия этой печати «возможно более узкими и тесными пределами». На этом принципе зиждилась, как мы видели, политика Валуева — Шувалова, разрешивших Некрасову в 1868 г. издание «Отечественных Записок». «Сосредоточить бродячие литературные силы бывшего «Современника» в одном журнале» Валуев «находил более удобным», считая, что в противном случае они «разбредутся» по многим изданиям, что представлялось опасным.

Царская цензура и ее руководители были вполне последовательны поэтому в своей политике, когда допускали (хотя и в искалеченном часто виде) произведения Некрасова и Щедрина на страницы «Отечественных Записок» и одновременно запрещали эти же самые произведения в дешевых и популярных изданиях.

Предметом особой настороженности и бдительности цензурно-полицейских властей являлся контроль за недопущением литературной группы бывшего «Современника» в газету. Для такой настороженности властей имелись основания. В условиях широкого развития в 60—80-е годы русской газетной печати и «чудодейственно-быстрого рождения читающего человека на Руси» (М. Горький о 70—80-х годах) Некрасов не мог не оценить значения и преимуществ газеты как средства литературно-общественного и политического воспитания массового читателя, в отличие от журнала, обращенного всегда к численно ограниченной аудитории.

Борьба Некрасова за создание газетной трибуны до сих пор не освещалась в литературе, посвященной изучению его журнально-издательской деятельности. Однако существуют материалы, позволяющие утверждать, что мысль о проникновении в газету занимала Некрасова и что, уже начиная с 60-х годов, он неоднократно пытался подойти к практическому решению этой задачи.

Было бы, однако, поспешно заключать, на основании тех скупых, разрозненных и иногда требующих подтверждения фактов, которые будут сейчас сообщены, что Некрасов мог всерьез мечтать в эти годы о создании для русской демократии той эпохи, когда она и субъективно и объективно была революционной, своей повседневной политической печати, своего рода газетного «Современника» или газетных «Отечественных Записок». В условиях русской политической действительности не только 60—70-х годов, но и более поздней эпохи, существование независимой легальной газеты последовательно демократического направления было невозможно. Лишь революция 1905 г. впервые дала возможность, весьма впрочем кратковременную, для создания ряда легальных газет революционного направления (вплоть до большевистской «Новой Жизни»). В 70-е же годы повседневная печать так называемого прогрессивного лагеря была сплошь оппортунистической и полностью зависимой от чрезвычайно жесткого и придирчивого к ней контроля цензуры и органов политического надзора царизма.

В этих условиях Некрасов мог думать о более скромных и все же очень важных задачах: об организованном проникновении своей литературной «партии» в одну или несколько существующих газет для пропаганды и популяризации там того направления общественной мысли, на службу которому были поставлены им «Современник» и «Отечественные Записки». Под этим углом зрения и следует рассматривать неоднократно предпринимавшиеся Некрасовым попытки негласного проникновения в издания

массовой периодической печати, о чем мы узнаем из впервые публикуемых ниже документов.

Любопытное свидетельство о наиболее раннем плане Некрасова создать массовую газету для народа мы находим в забытой главе из воспоминаний А. Я. Панаевой, не вошедшей в их отдельное издание и публикуемой в настоящем томе. Вот что сообщает по этому поводу А. Панаева:

БОГОМОЛКИ-СТРАННИЦЫ

Этюд маслом И. Е. Репина 1878 г. для картины «Крестный ход в Курской губернии»

Третьяковская галлерея Москва

«Некрасов при самом начале издания «Современника» мечтал о дешевой газете.

— Кабы были деньги, сейчас бы начал издавать дешевую газету. Я уверен, что дешевая газета десятки тысяч имела бы подписчиков.

Многие сомневались в успехе дешевой газеты, но Некрасов горячо защищал свою мысль об издании такой газеты.

В Крымскую кампанию Некрасов особенно горевал, что не удалось ему осуществить свою идею относительно издания дешевой газеты:

— Ведь в самом захолустье России жаждут прочесть, что творится с их сыновьями, мужьями, а разве большинству доступно выписывать наши дорогие газеты?

И будь у Некрасова тогда деньги, он наверно бы стал издавать дешевую газету».

В литературе нет никаких других сведений об этом проекте Некрасова, но нет и оснований заподозрить достоверность сообщаемого Панаевой.

Если не считать относящегося к 1857 г. намерения Некрасова издавать вместе с Щедриным, И. Панаевым и др. юмористическую газету «Правда», то следующим начинанием в этой области явилась попытка (датируемая 1857—1860 гг.) создать специальную газету для путешествующих с весьма широкой общей программой, о чем мы узнаем впервые из публикации С. А. Рейсера в этом томе.

К 1872 или 1873 г. Некрасов, по свидетельству А. Г. Бородиной, чьи воспоминания также публикуются в настоящей книге В. Е. Евгеньевым-Максимовым, предполагал купить у Ф. Н. Устрялова газету «Новое Время», но «потом раздумал».

Обнаруженные нами новые архивные источники, относящиеся к 1867—1876 гг., содержат ряд любопытных указаний на неизвестные до сих пор попытки Некрасова негласно проникнуть в некоторые периодические издания для использования их в качестве дополнительных к «Отеч. Запискам» рупоров того «направления», которому Некрасов, по его собственному выражению, «служил». Приводим эти документы в их хронологической последовательности, отдельными эпизодами.

1

В марте 1867 г. издатель-редактор газеты «Неделя» Н. Мунт просил о передаче редакторства купцу 2-й гильдии В. Е. Генкелю. По существующему порядку, Главное управление по делам печати запросило в III Отделении сведения о политической благонадежности Генкеля. Присланная справка характеризовала Генкеля как человека «исключительно коммерческого» и политически «благонадежного». Против передачи ему газеты III Отделение не возражало, но составленный в этом смысле ответ, посланный за подписью Мезенцова, содержал следующее предупреждение:

«Необходимо только иметь в виду, чтобы он ⟨Генкель⟩ не был подставным лицом. В настоящем случае такое опасение представляется тем более имеющим вероятность, что на газету «Неделю», как известно, имел виды бывший редактор запрещенного журнала «Современник» Некрасов, а также сотрудники как этого, так и тоже прекращенного журнала «Русское Слово» [130].

2

В январе 1868 г. А. И. Мамонтов подал в Главное управление по делам печати прошение о разрешении ему издавать в Москве газету «Театральный Листок». Запрос в III Отделение вызвал, в свою очередь, предписание его начальника Мезенцова Московскому губернскому жандармскому управлению о наведении необходимой справки. Она скоро была получена и содержала положительную, с точки зрения властей, характеристику Мамонтову. Но Мезенцов, читая эту характеристику, подписанную начальником Московского жандармского управления, генерал-майором С⟨нрзб.⟩, вспомнил, что фамилия Мамонтова ему знакома, и потребовал выяснить, не было ли в III Отделении «дела», в котором она упоминалась. Такое «дело» действительно нашлось (Дело 1 эксп., 10 апреля 1866 г. № 100, ч. 156, «о покушении»). Вследствие этого последовало вторичное, на этот раз устное предписание

жандармскому полковнику Воейкову «произвести самую тщательную проверку сведений» о Мамонтове. В ответ на это предписание и был послан публикуемый документ:

Помощник начальника
Московского Губернского
Жандармского Управления
10-го февраля 1868 года
№ 16
Москва

В 3-ю Экспедицию III Отделения

Секретно

Действительный студент Московского университета Анатолий Иванов *Мамонтов* ходатайствует о разрешении ему издавать в Москве «Театральный Листок». По поводу сего, согласно словесного поручения, сделанного мне лично в С.-Петербурге, хотя и собраны сведения, но имеющие между собой некоторую разность, заключаются в следующем ⟨!⟩:

Редактором упоминаемого «Листка» будет называться и подписываться Анатолий Мамонтов, но редакцией будут управлять гг. Алексей Николаевич *Плещеев* и Николай Александрович ⟨!⟩ *Некрасов* (бывший редактор «Современника»). Газета эта не ограничится эстетическою критикою наших драматических произведений, цель ее — не искусство для искусства: *но редакторы предполагают проводить здесь, под прикрытием критических обзоров, доктрины современной политической философии и намерены действовать скорее как публицисты, чем как издатели листка, посвященного исключительно искусствам.*

Тенденции их предвидеть не трудно, по крайней мере достоверно известно (но под большим секретом мне передано), что Плещеев, предполагая участвовать в издании «Антракт», разошелся с г. *Родиславским* ⟨подчеркнуто красным карандашом⟩ за то, что последнего хотел устранить от направления издания, а действовать самостоятельно с целями уже объясненными; но г. Родиславский устранил самого Плещеева и издает один. Вследствие сего Плещеев с сотрудниками своими *Некрасовым* и *Островским* ⟨подч. красн. каранд.⟩ предложил Мамонтову принять номинальное звание ответственного редактора «Театрального Листка», настоящим же редактором будет Плещеев. Предложение это для Мамонтова выгодно потому, что он имеет на Малой Дмитровке в доме Хлудова собственную типографию, где предполагается печатать и «Театральный Листок». Основной капитал для издания дают Островский и часть оного Плещеев.

По другим же сведениям, цель издания «Театрального Листка» объясняется мне иначе, что задуманное предприятие есть то, чтобы иметь в своем распоряжении орган произвольного суда над драматическими произведениями и, опираясь на этот авторитет, взять в монополию репертуар столичных театров. Все произведения других авторов будут строго разбираемы, в них всегда найдут недостатки, и только пьесы Островского будут превозносимы до небес. Наша публика еще не дозрела до того, чтобы иметь свое суждение. Она толкует пока по печатным отзывам и верит в печатное слово, а чем более пьес г. Островского будет на репертуаре, тем ему более дохода. Издатель «Антракта» не имеет таких даровитых сотрудников, каковы Некрасов, Плещеев и Островский, и долго состязания не выдержит; тогда «Театральный Листок» будет установлять законы для Московской и Петербургской сцен. Петербургский «Театральный журнал» по отзывам знатоков также плох.

Сообщая эти сведения относительно лиц и направления листка, я считаю долгом объяснить о характеристике г. Мамонтова, как лично мне известного в политической его неблагонадежности. Он, сын почетного гражданина и бывшего откупщика, воспитывался в Московском университете, откуда хотя и вышел действительным студентом, но этому много способствовали средства и связи отца его, нежели действительные успехи.

Мамонтов по окончании курса в 1860 году отправился за границу, пробыл там два года, посетил Лондон, Париж, Берлин, Вену, Швейцарию и Италию. На границе Австрии и Италии был подвергнут обыску и у него найдены портреты Гарибальди, Мадзини, Огарева и Герцена, а также памфлет на Русское правительство.

Возвратясь в Россию, Мамонтов занялся издательской деятельностью, сблизился со Спиридовым ⟨подч. красн. каранд.⟩, учителями Марксом, Худяковым (известными по 4 апреля). Спиридову ⟨подч. красн. каранд.⟩ дал под вексель две тысячи рублей серебром, потом завел типографию, на которую перебрал у отца до 150 тыс. руб., но, в сущности, столько не истратил.

При типографии устроил отделение наборщиц, называвших себя обществом коммунисток. В 1866 году Мамонтов был подвергнут обыску по близкому его знакомству с отставным поручиком Спиридовым ⟨подч. красн. каранд.⟩, который оказался одним из главных деятелей революционного общества, уехал за границу и, несмотря на вызовы, в Россию не возвращается. Мамонтов, по всем упоминаемым обстоятельствам, отдан под секретный надзор полиции.

Мамонтов образован плохо и не имеет природного хорошего ума, с театральным же искусством едва ли знаком, поэтому положительно не может быть благонадежным редактором «Театрального Листка».

У Анатолия Мамонтова в типографии находится фактором бывший С.-Петербургский студент, новгородский мещанин Иван Савелов Матросов, ⟨который⟩ был привлечен в Комиссию по студенческим беспорядкам СПб. университета, а также по ассоциации; он участвовал в народных школах, где был преподавателем, впоследствии поступил в типографию Мамонтова; последний под руководством Матросова делал переводы с английского из Вальтер-Скотта; переводами этими занимались также нигилистки, и напечатанные книги продавались даже с целью их распространения.

⟨Далее опускаем подробное изложение о возникшем «неудовольствии» между Мамонтовым и Матросовым, о намерении последнего завести читальню и соединить с нею Черепинскую библиотеку путем женитьбы на падчерице Черепина Людм. Зубчаниновой, о намерении ехать в Пензу к Черепину, «чтобы убедиться, насколько он упал в нравственном отношении», и о секретной поездке Черепина в Москву.⟩

Сообщая тщательно собранные сведения об Анатолии Мамонтове, насколько он может быть благонадежным редактором, счел необходимым коснуться и некоторых лиц, в том числе и об Матросове, как о человеке, тоже обращающем на себя внимание, а посему я, со своей стороны, полагал бы невозможным всем поименованным лицам разрешить какое-либо издание.

О чем имею честь довести до сведения 3-й Экспедиции III Отд. с. е. и. в. к.

Полковник Воейков 3-й

⟨*Сбоку на полях рукой Н. Мезенцова:*⟩ «Так и уведомить» [131].

3

18 марта 1868 г. Главное управление по делам печати запросило III Отделение: «Не встречается ли препятствий к удовлетворению просьбы содержательницы типографии рижской гражданки Луизы Вольф издавать

КОННАЯ ЯРМАРКА
Акварель П. П. Соколова, 1886
Третьяковская галлерея, Москва

ей в С.-Петербурге газету под названием «Гласность», без предварительной цензуры, под редакцией лейтенанта Василия Афиногеновича Куницкого».

III Отделение, как обычно, навело справки. Луиза Вольф, в представленной Мезенцову записке, была охарактеризована как «женщина совершенно не опасная»; о Куницком сказано, что, «не имея достаточного литературного понятия, ⟨он⟩ постоянно принимает участие в разных изданиях из-за одного тщеславия и тратит на это большие деньги». Заканчивается записка так: «Говорят, что в газете «Гласность» примет участие Н. А. Некрасов».

11 июля ⟨!⟩ 1868 г. Мезенцов ответил Похвисневу согласием, но в конце письма добавил, подчеркнув: «К сему не излишним считаю присовокупить для сведения В. пр., что в газете «Гласность», как ходят слухи, будет принимать участие Н. А. Некрасов»[132].

4

В воспоминаниях М. Слепцовой «Штурманы грядущей бури» имеется указание на неудавшуюся попытку А. А. Слепцова — участника революционного движения 60-х годов, бывшего члена первой «Земли и Воли», автора ряда прокламаций, сотрудника «Современника», человека близкого в свое время Чернышевскому — предпринять в 1868 г. издание журнала с участием Некрасова.

«В том же 1868 г.,— пишет М. Слепцова,— он ⟨Слепцов⟩ задумал научно-популярный журнал для юношества и для широких слоев мало подготовленного читателя. Охотно отозвались на его пылкий призыв Щедрин, Некрасов, Успенский, Тургенев, Достоевский... весь цвет тогдашней литературы. Получив разрешение на выпуск журнала под заглавием «Природа и люди», Слепцов представил в цензуру список сотрудников. Цензура возопила: Обман! Обман! Разве такие авторы станут писать для юношества? — И журнал был запрещен раньше, чем увидел свет»[133].

Неудачей закончилась и вторая аналогичная попытка Слепцова, почти одновременная первой. Об этой попытке мы узнаем из запроса начальника Главного управления по делам печати Похвиснева в III Отделение от 19 октября 1868 г.

Из названного документа видно, что Слепцов действительно подавал просьбу о разрешении ему «с 1 января будущего, 1869 г. издавать, под его редакторством, без предварительной цензуры, библиографический, критический и научный журнал под названием «Литературная Летопись». Справка о Слепцове и отпуск ответа III Отделения отсутствуют в «деле». Но на полях запроса Похвиснева чей-то рукой (Мезенцова?) помечено: «Отказать со ссылкой на предыдущую деятельность и на участие сотрудников закрытого «Современника»[134].

В издании «Литературной Летописи» А. А. Слепцову было, таким образом, отказано.

5

Среди неизданных писем Некрасова к В. М. Лазаревскому есть небольшая записка:

«Уведомьте, отче, друже и брате, можете ли сегодня вечером в 8 придти ко мне на полчаса,— нужно Елисееву и Салтыкову с Вами посоветоваться, и мне отчасти».

⟨*Сбоку записки рукой Лазаревского помечено:*⟩ «15.IX.69 — об издании Елисеевым и Салтыковым газеты «Стрела»[135].

Этот проект,— непосредственная причастность к которому Некрасова несомненна, хотя сам он и не назвал своего имени в числе инициаторов,— редакция «Отечественных Записок» попыталась осуществить.

Лазаревский, видимо, отсоветовал Салтыкову и Елисееву, не говоря уже о Некрасове, хлопотать от своего имени, ввиду явной безнадежности получить в этом случае разрешение властей. Ходатайство об издании «Стрелы» было подано поэтому от имени М. А. Маркович (Марко-Вовчок), не впервые, как мы знаем, использованной редакцией «Отечественных Записок» в качестве подставного лица. Ее прошение поступило в Главное управление по делам печати 28 октября 1869 г. и в тот же день разбиралось. Приводим запись этого обсуждения из журнала заседания Совета:

«Прошение госпожи Маркович (псевдоним— Марко-Вовчок) о разрешении ей издания газеты «Стрела» по программе, при сем прилагаемой.

Член Совета Фукс находит неудобным разрешить г-же Маркович предположенное ею издание под ее же редакторством. Администрацией печати принято было за правило уклоняться от утверждения лиц женского пола в звании ответственных редакторов журналов вообще и политических — в особенности; исключения касались лишь модных и детских журналов. Такое правило признавалось соответственным в виду возможных компликаций по отношениям редакторов к администрации и суду. В настоящем случае не представляется оснований отступать от означенного правила; авторские достоинства Марко-Вовчка вовсе не устраняют предусматриваемых неудобств. Впрочем, член Совета не видит препятствий к разрешению г-же Маркович просимого ею издания, но под ответственным редакторством другого лица. С этим мнением согласился член Совета Вокар.

Член Совета Варадинов выразил мнение, что г-же Маркович, как женщине, не может быть предоставлено права ни издательства, ни ответственного редакторства политической газеты.

Член Совета Толстой находит вышеизложенные доводы недостаточными для отказа в ходатайстве г-жи Маркович. Известность ее (Марко-Вовчка) в литературе и честное направление служат верными гарантиями в благонадежности издания. Между нашими редакторами так мало литераторов, что появление таких редакторов, как Марко-Вовчок, весьма желательно, и отказывать ей не имеется достаточного основания. С этим мнением согласились члены Совета Каменский, Веселаго и Стремоухов.

Члены Совета Еленев и Лазаревский, находя, что г-жа Маркович представляет не менее гарантий благонадежности, чем многие из лиц, утвержденных уже в звании редактора, полагают возможным разрешить г-же Маркович предположенное ею издание, с исключением из его программы юридического отдела.

По мнению председательствующего ⟨Похвиснева⟩ утверждение женщин редакторами действительно может повлечь за собой нежелательные усложнения, как в отношении администрации к таким редакциям, так и в случаях судебного преследования. По этим соображениям, бывшим министром внутренних дел ⟨Валуевым⟩ принято было за правило допускать редакторство женщин только в детских, модных и т. п. изданиях. Но, с другой стороны, имя Марко-Вовчка пользуется заслуженной известностью в нашей литературе, а потому председательствующий полагал бы возможным разрешить сие издание, но с уничтожением всего первого отдела программы, то-есть ее политического и юридического характера. С этим мнением согласился член Совета Петров.

На основании вышеизложенного большинство членов Совета (четыре члена) полагают: испрашиваемое г-жой Маркович издание разрешить по представленной программе.

Председательствующий же и прочие члены Совета остались при вышеизложенных «особых мнениях» [136].

К протокольной записи заседания Совета приложена следующая программа, написанная, видимо, рукой Маркович:

Программа газеты «Стрела»

1) Вопросы и известия относительно законодательства, управления, суда, замечательных событий иностранных и общественных.
2) Хроника общественной жизни.
3) Литературные обозрения замечательных книг, журналов, газет.
4) Сатирические заметки, очерки, стихи.

«Стрела» будет выходить раз в неделю, в объеме не менее одного листа.
Цена без пересылки и доставки 4 руб. 50 к.[137].

Министр Тимашев, разумеется, не разрешил издания «Стрелы». На журнале заседания Совета он наложил резолюцию: «Вижу много неудобств в разрешении редакторства женщине, а потому признаю нужным просьбу отклонить. 12 ноября 1869 г.» [138].

Опубликованные документы, помимо основного факта, ими установленного, любопытны как пример того «маскарада», к которому прибегали иногда и редакция «Отечественных Записок», и власти в их отношениях взаимной борьбы. В приведенном эпизоде в «маски» обряжены и люди, и документы. Прошение подавала Маркович, но на самом деле за ее спиной стояли Некрасов и Щедрин. Представленная программа газеты поражает своей скромностью, в действительности же ее убогость прикрывала проект создания газетного филиала «Отечественных Записок». Сановные цензоры на заседании Совета были превосходно осведомлены (во всяком случае, Лазаревский и Толстой) о том, чьё и какое дело они обсуждают; но, удерживая «смех авгуров», они говорили и спорили только о редакторских достоинствах Маркович и представленном ею куцом проекте. Министр Тимашев, запрещая газету, мотивировал отказ «неудобством» предоставления редакторства женщине; на самом деле он пресекал выход на газетную арену «партии» Некрасова и Щедрина, так как, несомненно, был информирован III Отделением об их замысле.

6

В январе 1870 г. С. В. Звонарев, бывший служащий конторы «Современника» и доверенный человек Некрасова в его денежных делах, ставший в 70-е годы книгопродавцем, подал прошение в Главное управление по делам печати о разрешении ему издавать иллюстрированный журнал «Иностранное Обозрение» под редакцией М. А. Маркович (Марко-Вовчок). На этот раз редакторство было отклонено сразу же. В постановлении Совета говорилось:

«Совет, не находя удобным разрешение издания г. Звонареву, издательская деятельность которого не может быть названа благонадежною, и, согласно недавней резолюции г. министра ⟨Тимашева⟩ о неудобстве допущения к редакторству женщин, полагает: означенное ходатайство отклонить» [139].

Приложенная программа «Иностранного Обозрения» показывает, что журнал ставил перед собой задачу подробно освещать жизнь западных стран не только в публицистических статьях, но и в сатире. Вряд ли можно сомневаться, что и это издание было задумано Некрасовым и Щедриным, а Звонарев и Маркович выступали их подставными лицами.

7

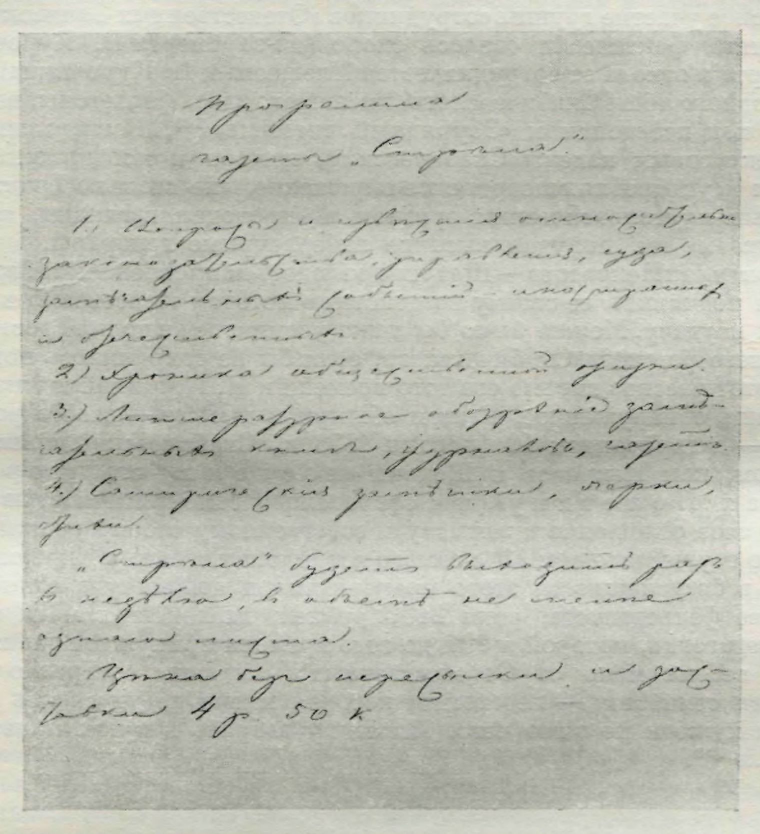
Из письма Г. З. Елисеева к М. А. Маркович, датированного 30 июля 1870 г., видно, что летом этого года Салтыков-Щедрин вновь вел предварительные переговоры о возможности издания газеты. На этот раз он

советовался с Ф. М. Толстым, и, очевидно, тот указал ему на отсутствие шансов на успех.

«Что касается газеты предполагаемой,— писал Елисеев в этом письме, то, после слов Толстого Салтыкову, не знаю что и делать. Надобно о сем глубоко подумать» [140].

8

Существенный интерес представляют сообщения и свидетельства А. М. Скабичевского о настойчивости, с какой Некрасов и редакция «Отечественных Записок» пытались добиться овладения газетной трибуной.



Программа
газеты „Стрела".

1. Вопросы и известия относительно законодательства, управления, суда, замечательныя события иностранныя и отечественныя.
2) Хроника общественной жизни.
3.) Литературное обозрение замечательных книг, журналов, газет.
4.) Столичныя известия, театры, зрелища.

„Стрела" будет выходить раз в неделю, в объеме не менее одного листа.

Цена без пересылки и доставки 4 р. 50 к.

ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ «СТРЕЛА»

Программа была приложена к ходатайству об издании газеты, подававшемуся Некрасовым от имени Марко-Вовчок в Главное управление по делам печати 28 октября 1869 г.

Исторический архив, Ленинград

В своих «Литературных воспоминаниях» Скабичевский рассказывает:

«Редакция «Отечественных Записок» давно уже мечтала завести при журнале свою газету. Но при трудности разрешения новых изданий в те тяжелые времена мечты эти оставались мечтами. Елисеев подбил меня подать просьбу в Главное управление о разрешении мне издавать новую газету... Мы нарочно придумали самое благонамеренное название — «Русак». Но, увы, ничего не вышло...

Вслед за тем у Елисеева возникло намерение взять в аренду «Петербургский Листок», с которым происходил какой-то кризис, но и это не удалось, и слава богу: вряд ли могло выйти что-либо путное из внезапного превращения уличного листка в радикальную газету».

Дальше Скабичевский сообщает о том. как по прямому предложению Некрасова и Щедрина ряд видных постоянных сотрудников «Отечественных Записок», а именно: братья Н. и В. Курочкины, Плещеев, Демерт и, наконец, сам Скабичевский — были «посланы» осенью 1874 г. в либеральную газету «Биржевые Ведомости» В. А. Полетики, чтобы там «проводить взгляды „Отечественных Записок". При этом обязательным условием, поставленным Некрасовым и Щедриным, была анонимность или псевдонимность участия в газете названных писателей, продолжавших «сохранять в «Отечественных Записках» те же позиции, какие имели до того времени».

Негласное участие группы сотрудников «Отечественных Записок» в газете Полетики фактически свелось скоро (из-за смерти В. Курочкина и Н. Демерта и отхода от сотрудничества Плещеева и Н. Курочкина) к работе в ней одного лишь Скабичевского, писавшего здесь фельетоны, вплоть до 1879 г., под псевдонимом «Заурядный читатель»[141]. Возлагавшихся на него Некрасовым надежд Скабичевский, как он и сам признается, не оправдал и, употребляя щедринское выражение, «не столько сражался» с либерально-плутократическим органом и «проводил взгляды», «сколько был сражаем» им, получая высокие литературные гонорары.

В целом, план Некрасова — Щедрина овладеть направлением либеральной газеты и подчинить ее своему воздействию методом «завоевания изнутри» потерпел неудачу. Можно было бы даже усомниться в полной достоверности позднего рассказа Скабичевского, если бы не сохранилось подтверждающее этот рассказ письмо его того времени к Н. К. Михайловскому, недавно лишь обнаруженное. В этом обширном письме — своего рода «исповеди» — датированном 10 февраля 1878 г., Скабичевский прямо говорит о том, как Некрасов и Щедрин «послали» его «держать в руках Полетику», и с откровенной самокритичностью характеризует свое отношение к замыслу и собственному своему участию в попытке его осуществления: «Я с самого вступления своего в Биржовку был убежден в безуспешности этого предприятия и пошел туда единственно в качестве фельетониста, ради 2400 рублей, избавивших меня от проклятой педагогии, которой я был до того времени принужден заниматься, получая весьма мало от От⟨ечественных⟩ Записок, сообразно увеличившемуся семейству,— педагогии, которая мне и не удавалась и была противна хуже я не знаю чего. Полетику забрать в руки, конечно, не удалось...»[142].

9

В феврале 1876 г. А. С. Суворин купил с помощью В. И. Лихачева, близкого знакомого Некрасова и Щедрина, газету «Новое Время». Переговоры о приобретении газеты, а вместе с нею и принадлежавшего ей в Петербурге книжного магазина происходили в конце 1875 г.— начале 1876 г. и породили оптимистические надежды среди демократической интеллигенции. Суворин еще «ходил тогда в либералах» и даже сохранял репутацию демократа и «красного» (из-за своего ареста в 1866 г. за книгу «Всякие», уничтоженную цензурой).

Известно, что Суворин, приобретя «Новое Время», сразу же обратился с предложением сотрудничества в нем к Некрасову и Щедрину, что оба приняли предложение, но что оно ограничилось напечатанием в газете, в том же 1876 г. (№№ 112—114), лишь одного щедринского очерка «Тяжелый год», ранее запрещенного цензурой в «Отечественных Записках». Отмеченный Лениным поворот Суворина «к национализму, к шовинизму, к беспардонному лакейству перед власть имущими»[143] оборвал уже в том же 1876 г. всякие связи с ним Некрасова и Щедрина.

Вот все, что до сих пор было известно о деловых взаимоотношениях, связывающих обоих руководителей «Отечественных Записок» с Сувориным в начале 1876 г. Обнаруженные нами во 2-м секретном архиве III Отделения два агентурных донесения сообщают новые сведения о намерениях и планах Некрасова и Щедрина.

⟨А⟩

2 января 1876 г. № 3

Получено сведение, что фельетонист «Биржевых Ведомостей» А. Суворин (Незнакомец), известный своим резким направлением и влиянием на молодежь, намеревается открыть в Петербурге книжный магазин. В компанию с ним предполагают вступить известные писатели Н. Некрасов и М. Салтыков (Щедрин), в руках которых находится журнал «Отечественные Записки» и которые сами по себе всегда были представителями отрицательного направления. Магазин этот предполагает привлечь к себе в качестве покупателей всю интеллигентную молодежь провинции и столиц, чего, несомненно, он и достигнет, благодаря популярности названных лиц и в особенности тому, что в нем образуется склад изданий известного пошиба. Весьма вероятно, что магазин будет содействовать распространению таких книг, которые будут соответствовать лишь его тенденциозным целям [144]

⟨Б⟩

9 февраля 1876 г. № 90

Получено сведение, что известный писатель-фельетонист А. Суворин (Незнакомец) составил компанию для приобретения от г. Трубникова газеты «Новое Время». В составе этой компании называют известного либерала — товарища председателя Окружного суда Лихачева и литератора Н. Некрасова.

Предполагается, что «Новое Время» сделается самым веским либеральным органом, в духе прежних «С.-Петербургских Ведомостей», около которого сгруппируется целая партия и который, заведя обширные связи с провинциею, будет иметь огромное влияние на молодежь и на все русское общество.

Когда подобное положение занимали «С.-Петербургские Ведомости» г. Корша, где Суворин занимал главную роль, то из провинции нарочно приезжали земские деятели для знакомства с редакциею.

При этом присовокупляется, что в последнее время Суворин принял раздражительный тон и деятельность его для общества, несомненно, поведет к возбуждению раздражения в молодежи.

Говорят, что Суворин уже подал прошение в Главное управление по делам печати.

⟨*Сверху карандашом:*⟩ «Иметь в виду, когда поступит запрос Главного управления по делам печати. 9/II» [145].

Мы исчерпали имевшиеся в нашем распоряжении факты, относящиеся к истории борьбы Некрасова за создание при редакции «Отечественных Записок» своей газетной трибуны. Задачу эту поэту не удалось разрешить. На этом участке борьбы победа осталась за властями и их тактикой «тесных пределов» для демократически-оппозиционной литературы. Неоднократные попытки Некрасова расширить область распространения идей своего «направления» за пределы, доступные журналу, путем негласного проникновения в газету, также неизменно терпели неудачу. Упорству, настойчивости, изобретательности и конспирации, проявленным на этом пути Некрасовым, противостояли такие заградительные цензурно-политические

щиты и рогатки, которые оказались непреодолимыми. Но наступательная активность Некрасова в борьбе с тактикой «тесных пределов», его практические усилия придать подлинно массовый характер пропаганде передовых, освободительных идей русской демократии представляют одну из существенных сторон его журнально-издательской деятельности и заслуживают специального внимания.

XI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Отечественные Записки» и творчество самого Некрасова представляли активную силу, действовавшую против самодержавия. Полицейско-охранительные учреждения царизма отдавали себе в этом ясный отчет.

В 1883 г. директор департамента полиции В. К. Плеве представил царю специальную «Записку о направлении периодической прессы в связи с общественным движением в России». «Записка» представляет собой краткий очерк сведений о развитии «неблагонамеренной печати» за период 1848—1883 гг., извлеченных из некоторых «дел» III Отделения и департамента полиции. Задача «Записки», как она сформулирована в тексте — «удостоверить связь известного литературного направления с ростом крамолы, черпающей нравственную силу в сочувствии к ее злодеяниям, которое читается между строк, а иногда и в самом тексте произведений этого направления».

Свой обзор жандармские историографы начинают с «Отечественных Записок» и «Современника» 1848 г. (в первом журнале конкретно имеется в виду «Запутанное дело» Салтыкова), которые именуются «первыми пионерами назревающего <...> отрицательного отношения к историческому призванию нашего нынешнего государственного строя и к основам существующего общественного быта». Обзор завершается перечнем изданий 1883 г. «с противоправительственной программой», руководимых людьми, «вся литературная деятельность которых составляет непрерывный протест против существующего порядка вещей». Этот перечень открывают «Отечественные Записки», «редактируемые Салтыковым (Щедриным) при деятельном участии Григория Елисеева и Михайловского, в сотрудничестве с несколькими ссыльными и поднадзорными».

Оба некрасовских журнала, называемые в другом месте «источниками умственной и нравственной смуты», поставлены, таким образом, главными вехами развития «социально-революционного течения в периодической печати за последние 25 лет». Более того, все основные выводы и характеристики «Записки» опираются в значительной мере на восприятие и оценку деятельности «Современника» и «Отечественных Записок».

Не имея возможности привести здесь обширный текст документа полностью, ограничимся несколькими отрывками, непосредственно относящимися к «Отечественным Запискам» Некрасова:

«Одну из главных причин общественных бедствий, удручающих наше отечество, следует искать в области особого мира идей и понятий, в котором замечается присутствие и даже господство воззрений позитивизма и материализма, охвативших довольно заметный круг лиц образованного класса. В этих воззрениях чуется сила фанатизма и убеждений в высшей степени превратных, движущих нередко на преступную деятельность и посягающих на бытие существующего законного порядка <...>.

Печать наша в лице ее представителей либерального толка упорно стоит на мысли, что все отрицательные стороны современной русской жизни могут быть искоренены помощью государственного переустройства, и частью пассивно и злорадно присутствует в созерцании противоправительственного движения с надеждой, что власть скоро сознается в своем бессилии и начнет переустраивать Россию по шаблону их мечтаний и желаний, частью

же становится в ряды борцов этого движения. Под влиянием этого последнего течения создались литературные произведения тенденциозного направления с наклонностью в воззрениях на государственный строй — к республике, в общественно-экономических — к коммунизму, в религиозных вопросах—к атеизму. Произведения этого рода стали евангелием известной

КНИЖНАЯ ЛАВОЧКА
Картина маслом В. М. Васнецова, 1876 г.
Третьяковская галлерея, Москва

части современного общества и толкнули наиболее незрелые его силы, по преимуществу учащуюся молодежь, на путь отчаянной борьбы с современным строем, запятнавшую страницы нашей новейшей истории несмываемыми злодеяниями ⟨...⟩. Дошло дело до того, что со стороны печати были делаемы попытки извинять, смягчать, ослаблять, иногда даже оправдать, возвеличить, возвести на степень героизма и мученичества злодейские подвиги подпольных деятелей крамолы ⟨...⟩.

Здесь нельзя пройти молчанием то губительное влияние, которое имело на молодежь сочувствие Некрасова первым проявлениям практической революционной деятельности. Этот талантливый печальник, по выражению его друзей, народного горя, стоя на краю могилы, ободрял пропагандистов стихами, которые заучивались и повторялись с упоением подрастающим поколением:

...Двиньтесь вперед!
Сейте разумное, доброе, вечное!
Сейте! Спасибо вам скажет сердечное
Русский народ...

Тот же Некрасов со злобной насмешкой встретил меры правительственного преследования, которое постигло пропагандистов, и призывал новые силы на смену выбывающим. Глубокое впечатление производят следующие места его стихотворений:

В телеге той
Сидит с осанкою победной
Жандарм с усищами в аршин,
И рядом с ним какой-то бледный
Лет в девятнадцать господин.
Какое ж адское коварство
Он помышлял осуществить,
Разрушить думал государство
Или инспектора побить?..

Или:

В тряской телеге два путника пыльные
Скачут... едва разглядел:
Подле лица молодого прекрасного
С саблей усач...
Брат, удаленный с поста опасного,
Есть ли там смена? Прощай!

А также:

Есть времена, есть целые века,
В которые нет ничего желанней,
Прекраснее тернового венка...

⟨...⟩ Все изложенное приводит к заключению, что в данный исторический момент правительство находится в борьбе не только с кучкой извергов, которые могут быть переловлены при успешных действиях полиции, но с врагом великой крепости и силы, с врагом, не имеющим плоти и крови, т. е. с миром известного рода идей и понятий, с которыми борьба должна иметь особый характер. Устранить влияние известной литературной клики на журнальное дело, т. е. расстроить внешнюю форму, в которую этой враждебной силе удалось организоваться, значит сделать только шаг к ослаблению ее разрушительного влияния. Сломить же ее окончательно возможно, только противопоставив ей другую подобную же духовную силу — силу религиозно-нравственного перевоспитания нашей интеллигенции, а такой результат может быть достигнут только годами усилий и притом под условием введения строгой общественной дисциплины, по крайней мере в тех областях народной жизни, которые доступны контролю государства» [146].

Итак, департамент полиции, т. е. учреждение, ведавшее политической охраной самодержавия против всяких проявлений революционного и общественного движения, видел в передовой демократической литературе, возглавлявшейся журналами Некрасова, «врага великой крепости и силы», с которым «правительство находится в борьбе» в такой же мере, как и с подпольными профессиональными революционерами.

С такой же ясностью и определенностью и Некрасов — «непримиримый враг цепей и верный друг свободы» — видел основного врага того дела, которому служил,— в самодержавии.

Разница была, однако, в том, что в сознании Некрасова, как и других великих людей демократии нашей страны, этот враг, еще «физически» мощный и господствующий, вместе с тем в морально-идейном отношении был давно дискредитирован, разоблачен и в этом смысле уже не имел «великой крепости и силы».

СТИХОТВОРЕНІЯ
Н. НЕКРАСОВА

СТИХОТВОРЕНІЯ
Н. НЕКРАСОВА
ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ
съ изданія 1856 года, съ прибавленіемъ стихотвореній, написанныхъ послѣ этого года
САНКТПЕТЕРБУРГЪ
въ типографіи Эдуарда Праца
1861

ЭКЗЕМПЛЯР ИЗДАНИЯ «СТИХОТВОРЕНИЙ» НЕКРАСОВА 1861 г. С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ ПОЭТА М. Е. САЛТЫКОВУ

Вторая дарственная надпись принадлежит жене сатирика Е. А. Салтыковой и адресована М. В. Соловьеву

Центральный литературный архив, Москва

В стихотворении «Уныние» Некрасов определил отношение к себе органов политической власти самодержавия словами:

Со стороны блюстителей порядка
Я, так сказать, был вечно под судом.

И это было верно, с той лишь оговоркой, что высшей морально-идейной юрисдикции за этим судом Некрасов не признавал и апеллировал всегда к историческому суду будущего.

А в стихотворении, посвященном Салтыкову, при его отъезде в 1873 г. за границу, Некрасов, характеризуя свой общий с ним «журнальный путь», сказал, что это был

...путь, где шагу мы не ступим
Без сделок с совестью своей,
Но где мы снисхожденье купим
Трудом у мыслящих людей.
Трудом и бескорыстной целью...

И это тоже было верно, с тем лишь пояснением, что «сделки с совестью» обозначают здесь вовсе не уступки в области убеждений, а определенную тактику борьбы, неизбежно связанную с известными компромиссами в области практической работы и поведения, как неизбежным злом всякой легальной оппозиционной деятельности в условиях царизма.

Некрасов был склонен в своей «личной» лирике к поэтическим формулировкам этического, самообличающего характера. Он сам отчасти повинен в том, что его трудная борьба с непоколебленным еще в своей основе «царюющим злом», связанная с применением тактических компромиссов, издавна стала в литературе предметом субъективно-этических оценок и суждений. В зависимости от общего отношения к Некрасову его либо осуждали, либо оправдывали. Очевидно, однако, что это не почва для научного исследования. Своеобразие практической работы Некрасова-редактора и его методов борьбы за свои журналы может быть раскрыто и принципиально осмыслено лишь в том случае, если исследование исходит из исторической действительности.

Такое исследование, отдельные вопросы которого мы попытались осветить, показывает: 1) что осуществить свою задачу — создание в царской России легальных органов демократической мысли — без ряда практических компромиссов Некрасов не мог, но что 2) по существу, от основной своей линии он никогда не отступал и что только верность этой линии позволяла ему успешно противостоять указанной Лениным охранительно-полицейской «тактике запугивания и развращения», применявшейся самодержавным правительством в борьбе с передовой мыслью и ее выражением в печатном слове.

Преграды, которые ставились на журнально-редакторском пути Некрасову и которые он упорно и смело преодолевал; капканы и ловушки тактики «полицейского футляра», из которых он успешно выводил свои журналы, оберегая и сохраняя чистоту и идейную независимость их «направления»; доводивший до бешенства придирчивый и свирепый контроль всесильной царской цензуры, в борьбе с которой, несмотря на многие жертвы, победителем был все же Некрасов,— рисуют перед нами поистине героическую фигуру подлинно революционного народного поэта — борца за освобождение русского трудового народа и крупнейшего организатора и руководителя дела пропаганды передовых идей русской демократии, подготовлявшей это освобождение.

Некрасов глубоко верил, что люди того будущего, для которого он жил и работал, поймут и оценят его «труд» и «бескорыстные цели» высокого общественного идеала, которыми вдохновлялись не только творчество поэта, но и его деятельность на тернистом «журнальном пути».

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ПРИМЕЧАНИЯХ

Архивные источники

ГПБ (Л) — Рукописное отделение Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде.

ИЛИ (Л) — Архив Института литературы Академии Наук СССР в Ленинграде.

ОИА (Г) — Областной исторический архив в г. Горьком.

ЦГИА (Л) — Центральный государственный исторический архив в Ленинграде.

ЦГИА (М) — Центральный государственный исторический архив в Москве.

ЦГЛА (М) — Центральный государственный литературный архив в Москве.

Библиографические источники

Некрасов, Письма — Н. Некрасов, Собрание сочинений, V. Письма 1840—1877. Под ред. В. Евгеньева-Максимова, М.—Л., Госиздат, 1930.

Елисеев, Воспоминания — «Шестидесятые годы». М. А. Антонович — Воспоминания, Г. З. Елисеев — Воспоминания. Вступительные статьи, комментарии и редакция В. Евгеньева-Максимова и Г. Тизенгаузена, М.—Л., «Academia», 1933.

ПРИМЕЧАНИЯ

В. Ленин, Сочинения, изд. 3-е, XXV, 175.

[2] Елисеев, Воспоминания, 345.

[3] Там же.

[4] В. Ленин, Сочинения, изд. 3-е, IV, 125.

[5] Там же, 126—127. Слова: «полицейского футляра» выделены нами.

[6] Там же, 129.

[7] На заседании Совета Главного управления по делам печати 15 февраля 1868 г. разбиралось прошение редактора журнала «Дело» Шульгина о разрешении напечатать две строфы стихотворения, запрещенные цензурой. В этом ему было отказано. Стихотворение, написанное по поводу бывшего в 1867 г. неурожая и вызванных им бедствий, Совет считал «весьма тенденциозным» по своему содержанию, так как автор «выставляет вообще будто бы безотрадное состояние народа Русского, которого «страданье шире и широких степей и полей».

[8] ЦГИА (Л).— Фонд цензуры. Журналы заседаний Совета Главного управления по делам печати в 1868 г., л. 71 и об.

[9] Там же. — Частные фонды. Архив П. А. Валуева. Дневники, № 1, т. III, Запись от 23. V. 1866, л. 28 об.

[10] Там же.— Частные фонды. Архив П. А. Валуева. «Бумаги, касающиеся вопросов печати». Копия записки В. А. Цеэ, от 27. V. 1862, л. 16.

[11] Там же.— Л. 18.

[12] Там же.— Приписка А. В. Головнина от 30. V. 1862, л. 13,— Архив В. А.Цеэ хранится в ГПБ (Л).

[13] Там же.— Частные фонды. Архив П. А. Валуева. Дневники, № 1, т. III. Записи 26. VIII, 1. IX и 10.XI. 1866, лл. 43, 44 об., 59.

[14] Там же.—Частные фонды. Архив П. А. Валуева. Дневники,№ 1, т. II, л. 149 об.

[15] Там же. — Частные фонды. Архив П. А. Валуева. Краткие записи для памяти, № 19, л. 32 об.

[16] Там же.— В «Бумагах, касающихся вопросов печати» Валуева сохранилось пространное описание немецкой официозной прессы и мер воздействия, развращения и подкупов немецкой печати, которыми пользовались власти тогдашней Германии. Это описание было переслано Валуеву из канцелярии Александра II, что, собственно, означало обратить особое внимание на немецкую систему подкупов с целью возможного практического использования этой системы.

[17] Там же.— Дневники П. А. Валуева, т. II, л. 163.

[18] Там же.— Докладная записка П. А. Валуева о внутреннем состоянии России, № 166, лл. 2—5.—Выделено нами — Б. П. и С. М.

[19] В. Ленин, Сочинения, изд. 3-е, IV, 127.

[20] ЦГИА (Л).— Частные фонды. Архив П. А. Валуева. «Бумаги, касающиеся вопросов печати», № 53, л. 3.

[21] Государственный исторический музей в Москве. Отдел рукописей.—«Дело С.-Петербургского обер-полицмейстера о литераторах и журналистах», № 69, 1866, лл. 7—8. В большей своей части дело это опубликовано в «Щукинском сборнике», М., 1906, V, 105—110.

[22] Там же, л. 16.

[23] «Щукинский сборник», М., 1906, V, 510.

[24] ЦГИА (М).— Фонд III Отделения, 2- екр. арх., д. № 708, 1866 г.

[25] ЦГИА (Л).— Фонд канцелярии Главн. управл. по делам печати, дело № 496 А, 1866 г. Ср. «Литературный Музеум», П., 1922, I, 333—334.

[26] Некрасов, Письма, 446—447.

[27] «Ученые Записки Ленинградского пединститута им. А. И. Герцена»,1939, XXIV,79.

[28] Там же, 80.

[29] Елисеев, Воспоминания, 349.

[30] Там же, 353—355.

[31] См. комментарии к письму Некрасова: «Настоящее письмо служит несомненным доказательством, что одним из главных препятствий, помешавшим вхождению Ю. Г. Жуковского в редакцию обновленных «Отечественных Записок», явились разногласия по вопросу о распределении доходов».— Некрасов, Письма, 432—433.

[32] ИЛИ АН.— Фонд 250, № 750.— Текст письма был подготовлен к печати покойным А. Я. Максимовичем.

[33] ЦГИА (Л).— Фонд цензуры. Журналы заседаний Совета Главн. управл. по делам печати в 1871 г., т. II, лл. 429 об., 435. (Журнал заседания от 19 октября 1871 г.). См. также «Ученые Записки Ленинградского пединститута им. А. И. Герцена», 1939, XXIV, 83—84 (в статье Б. Панковского).

[34] См., например, об этом: А. Шилов, П. Л. Лавров в агентурных донесениях секретных сотрудников III Отделения — в сб.: «Материалы для биографии П. Л. Лаврова», П., 1922.

[35] В. Евгеньев-Максимов, Последние годы «Современника», Л., 1939, 165.

[36] Некрасов, Письма, 441—442.— Выделено нами.— Б. П. и С. М.

[37] Там же.— Выделено нами.— Б. П. и С. М.

[38] «Отечественные Записки» 1869, № 4, 373.

[39] Елисеев. Воспоминания, 358.

[40] ЦГИА (Л).— Фонд цензуры. «Дело» Главн. управл. по делам печати.

[41] Наиболее важные пункты «договора» опубликованы В. Евгеньевым-Максимовым в «Голосе Минувшего» 1916, № 2. Полностью документ печатается во II томе настоящего издания.

[42] Письмо Некрасова к Краевскому от 29 ноября 1867 г.— Некрасов, Письма, 435 («...выговариваемое выше участие в охранении журнала»).

[43] Вот начальные строки 9-го пункта: «Но предоставляя Некрасову полную свободу во всем, что касается собственно редакции журнала, Краевский как собственник сохраняет за собою право просматривать в корректурных листах все статьи, приготовленные к печати, и если заметит в них что-либо, могущее вызвать преследование администрации, то имеет право печатание такой статьи приостановить, сообщив свои соображения Некрасову...»—В. Евгеньев-Максимов, Очерки по истории социалистической журналистики в России XIX века, М.—Л., 1927, 137 (примечание).

[44] Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полное собрание сочинений, М., 1937, XVIII.

[45] Елисеев, Воспоминания, 349.

[46] Предположительная дата приезда Салтыкова в столицу устанавливается на основании его слов в письме Некрасову из Рязани от 27 января 1868 г.: «1-го числа я буду в Петербурге на 3 дня».— Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полн. собр. соч., М., 1937, XVIII, 202. О присутствии на редакционном обеде у Некрасова в первых числах февраля 1868 г. Салтыкова и Писарева см.: А. Скабичевский, Литературные воспоминания, ЗИФ, М.—Л., 1928, 209.

[47] В. Евгеньев-Максимов, Неизвестный эпизод из истории некрасовского «Современника».—«Звенья», М.—Л., 1936, VI, 741—745.

[48] В. Ленин, Сочинения, изд. 3-е, IV, 127.— Выделено нами.— Б. П. и С. М.

[49] Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собр. соч., М. 1939.

[50] ОИА (Г).— Бумаги В. М. Лазаревского.

[51] ГПБ (Л).— Письма к А. А. Краевскому, т. Т—Ф, л. 659. Выделено нами.— Б. П. и С. М.

[52] Там же, л. 660.

[53] Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собр. соч., М., 1939, XIX, 279—280.

[54] Некрасов, Письма, 443—444; «Некрасовский сборник. К столетию со дня рождения», под ред. проф. В. Бочкарева, Ярославль, 1922, 79; В. Евгеньев-Максимов, Очерки по истории социалистической журналистики, М.—Л., 1927, 155.

[55] В неизданной части Валуевского дневника имеется такая запись под 20 апреля 1868 г.: «От Тимашева ожидают строгих мер. Он односторонен, горд и груб, Некрасову не советовал подавать гос<уда>рю».— ЦГИА(Л).—Частные фонды. Архив П. А. Валуева. Дневники, № 1, т. I, л. 151.

[56] Некрасов, Письма, 443.

[57] ЦГЛА (М).— Альбом: Письма Н. А. Некрасова к В. М. Лазаревскому.

[58] ЦГИА (Л).— Фонд цензуры. «Дело» Главн. управл. по делам печати по изданию газеты «Голос», 1865, № 15, т. II, л. 112. Письмо это оказалось ошибочно подшитым к «делу» газеты «Голос».

[59] Освещение этого эпизода см. в сообщении: Т. Гриц, Письма Жана Ришпена к М. А. Загуляеву.—«Лит. Наследство», т. 31—32, стр. 935.

[60] ЦГИА (Л).— Фонд цензуры. Журнал заседаний Главн. управл. по делам печати в 1870 г., лл. 426—428 и об.

[61] Там же, лл. 425—426.— Выделено нами.— Б. П. и С. М.

[62] Там же, лл. 427 об., 428.

[63] Там же.—«Дело» Главн. управл. по делам печати по изданию газеты «Голос», 1865, № 15, т. II, л. 185.

[64] Там же, л. 186.

[65] ЦГЛА (М).— Альбом: Письма Н. А. Некрасова к В. М. Лазаревскому.

[66] Некрасов, Письма, 484—485.

[67] ЦГИА (Л).— Фонд цензуры. «Дело» Главн. управл. по делам печати по изданию газеты «Голос», 1865, № 15, т. II, л. 189.

[68] Там же, л. 190.

[69] ГПБ (Л).— Бумаги Бильбасова, Г—72—12, л. 1 и об.

[70] ЦГИА (Л).— Частные фонды. Архив П. А. Валуева. Дневники, № 1, т. I, л.151.

[71] Е. Феоктистов, За кулисами политики и литературы, Л. 1929, 109.

[72] ЦГИА (Л).— Частные фонды. Архив П. А. Валуева. Дневники, т. III, л. 148 об. Запись 19. III. 1868.

[73] Там же, лл. 157 об.— 158.

[74] «Правительственный Вестник» 1869, 1 ноября.

[75] «Литературное Наследство», М., 1935, № 22—24, 741 (примечания).

В. Ленин, Сочинения, изд. 3-е, IV, 127.

[77] ЦГИА (Л).— Фонд цензуры. Журнал заседаний Совета Главн управл. по делам печати в 1871 г., т. II, лл. 442—443.

[78] Там же, т. II, л. 441 об.

[79] Там же, т. II, л. 448.

[80] Там же, т. II, л. 454.

[81] ОИА (Г).— Бумаги В. М. Лазаревского.

[82] ЦГИА (Л).— Фонд цензуры. Журнал заседаний Совета Главн. управл. по делам печати в 1871 г., т. II, л. 415.— Подчеркнуто в тексте.

[83] Там же, т. I, л. 159.

[84] Там же, л. 164.

[85] Там же, л. 157.

[86] Там же.— Журнал заседаний Совета Главн. управл. по делам печати в 1877 г., лл. 242 и об., 246 и об., 247, 249 и об.

[87] Там же, л. 242.

[88] Е. Феоктистов, За кулисами политики и литературы, Л., 1929, 241.

[89] Там же, л. 241, 242.

[90] Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собр. соч., М.—Л., 1938, XIX, 85.

[91] «Шестидесятые годы». Воспоминания М. А. Антоновича и Г. З. Елисеева, «Academia», 1933, 191.

[92] В. Евгеньев-Максимов, Последние годы «Современника», Л., 1939. 164—165.

[93] Некрасов, Письма, 439.

[94] ГПБ (Л).— Письма к А. А. Краевскому, т. Т—Ф, л. 101.

[95] Там же, л. 111—112.

[96] Там же, л. 118

[97] Там же, л. 143б—143г.

[98] В. Евгеньев-Максимов, В тисках реакции, Л., 1926, 36.

[99] ЦГИА (Л).— Фонд цензуры. Журнал заседаний Совета Главн. управл. по делам печати в 1869 г., л. 361.

[100] Там же, л. 612.

[101] Там же.— Журнал заседаний Совета Главн. управл. по делам печати в 1869 г., л. 289.

[102] Статья Г. З. Елисеева «О направлении в литературе» в № 10 «Отечественных Записок» за 1869 г. подверглась существенной переработке М. Е. Салтыкова.

[103] ЦГИА (Л).— Фонд цензуры. Журнал заседаний Совета Главн. управл. по делам печати в 1869 г., лл. 289, 291.

[104] Донесение цензора Лебедева с небольшими сокращениями опубликовано В. Евгеньевым-Максимовым в «Русском Богатстве» 1918, № 1—6.

[105] ЦГИА (Л).— Фонд цензуры. Журнал заседаний Совета Главн. управл. по делам печати в 1869 г., л. 363 и об.

[106] Там же, лл. 361, 363 об.

[107] Там же, —«Дело» Совета Главн. управл. по делам печати по отзывам члена Совета Ф. М. Толстого, 1869, № 76.

[108] ГПБ (Л).— Письма А. А. Краевского, т. Т—Ф, л. 143 в.

[109] ГПБ (Л) — Письма к А. А. Краевскому, т. Т—Ф, л. 123 и об.

[110] Там же, л. 117 и об.

[111] Там же, л. 125 и об.

[112] Там же, л. 126—127.

[113] Там же, л. 143б—143г.

[114] Н. Добролюбов, Сочинения, изд. 7-е (Сойкина), СПб., б. г., III, 181.

[115] См., например, Некрасов, Письма, 468 (примечания).

[116] Письмо от 6 сентября 1873 г.— Как это, так и другие письма Некрасова к В. М. Лазаревскому, цитируемые в настоящей главе, не изданы. Они хранятся (в числе 199 писем и записок, переплетенных в альбом) в ЦГЛА в Москве (переданы из фондов Гос. литерат. музея). Часть этих писем публикуется во II томе настоящего издания.

[117] Архив В. М. Лазаревского был обнаружен в 1941 г. научными сотрудниками Горьковского областного исторического архива А. А. Евстифеевым, Е. А. Шопен и Л. А. Семеновым. Весною 1941 г. один из авторов настоящей работы, С. А. Макашин, ездил в Горький для изучения материалов архива, еще не приведенного тогда в порядок и представлявшего хаотическую груду различных бумаг. Среди них находились два подлинных письма Некрасова к Лазаревскому. Отобранные документы и тексты были в большинстве своем подготовлены к печати названными выше сотрудниками Горьковского обл. архива и присланы затем в редакцию. «Записки» Лазаревского используются в настоящем томе лишь частично.

[118] Датируется по связи с ниже публикуемым ответным письмом Лазаревского от 5 мая 1871 г. и в соответствии с упоминаемой Некрасовым субботой. Ближайшая из предшествующих ответному письму Лазаревского суббота приходилась в 1871 г. на 1 мая.

[119] «Голос Минувшего» 1916, № 7—8, 121, 129.

[120] Книга М. А. Корфа «Восшествие на престол императора Николая I» содержала официальное изложение событий 14 декабря 1825 г.

[121] ЦГЛА (М).— Альбом: Письма Некрасова к В. М. Лазаревскому.

[122] Стихотворение Жемчужникова «В Европе», статья Михайловского «Дарвинизм и оперетки Оффенбаха», очерк Щедрина «Самодовольная современность», статья Демерта «Наша общественная жизнь», очерк Никитина «Многострадальные».

[123] ЦГИА (Л).— Фонд цензуры. Журнал заседаний Совета Главн. управл. по делам печати в 1871 г., т. II, лл. 417—419.

[124] Там же, лл. 437—438.

[125] Там же, л. 343 и об.

[126] Там же, л. 448 об.

[127] Там же, лл. 448 об.— 450 об.

[128] Там же, лл. 453 об., 454.

[129] Текст этого предостережения опубликован в кн.: В. Евгеньев-Максимов, Очерки по истории социалистической журналистики в России XIX века, Гиз, Л., 1927, 165.

[130] ЦГИА.— Фонд III Отделения, 1 эксп. 1865, д. № 15, ч. 22. Ср.: А. И. Герцен, Полное собрание сочинений под ред. М. Лемке, XXI, 96.

[131] Там же. — Фонд III Отделения, 3 эксп., 1868, д. № 13 «По просьбам лиц о дозволении им издавать журналы и газеты». лл. 3—17.

[132] Там же.— Фонд III Отделения, 3 эксп., 1868. д. № 13 «По просьбам лиц о дозволении им издавать журналы и газеты», лл. 55—57.

[133] Там же.— Фонд III Отделения, 3 эксп., 1868, д. № 13 «По просьбам лиц о дозволении им издавать журналы и газеты», лл. 16—17.

[134] «Звенья», М.— Л., 1933, II, 401.

[135] ЦГЛА (М).— Альбом: Письма Н. А. Некрасова к В. М. Лазаревскому.

[136] ЦГИА (Л).— Фонд цензуры. Журнал заседаний Совета Главн. управл. по делам печати в 1869 г., лл. 294 и 298.

[137] Там же, л. 293.

[138] Там же, л. 289.

[139] Там же.— Журнал заседаний Совета Главн. управл. по делам печати в 1870 г., л. 28.

[140] «Правда», № 128, 1939 г. «Щедрин. Из неизданных материалов».

[141] А. Скабичевский, Литературные воспоминания, ЗИФ, М.—Л., 315—322.

[142] ИЛИ (Л).— Фонд 181, оп. 1, № 647.

[143] В. Ленин, Сочинения, изд. 3-е, XXX, 192.

[144] ЦГИА (Л).— Фонд II СА, без шифра, только пом. С/1. Подтверждением сведений, сообщаемых агентом, находим в неизданном письме В. О. Ковалевского к А. О. Ковалевскому от 7 февраля 1876 г. из Петербурга: «Дело с магазином в таком положении: ты верно уже читал, что Базунов сбежал, и следовательно шансы на успех хорошего магазина стали еще больше. Мы почти решили соединиться вшестером: я, Суворин, Лихачев, Некрасов, Корш и Щедрин, внесем по 5 тыс., т. е. 30 тыс. и заведем новый магазин под какой-нибудь фирмой, «Деятельность» что ли, и циркуляры подпишем всеми нашими именами. Многие книжники, как Глазунов, которые никому не дают на Комиссию, заявили, что дадут все свои книги Лихачеву. Мы с этого дела можем легко получать каждый тысячи по $2^1/_2$ только в силу того, что имеем свои издания. Весь вопрос в управлении, которое я не знаю как бы организовать получше» (Архив АН СССР, Москва. Сообщено С. Я. Штрайхом).

[145] Там же.— Фонд II СА, № 375, 1876 г., арх. № 382.

[146] ЦГИА (Л).— Фонд Департамента полиции, 1-й С. А. № 1763, лл. 255—288.

МЕМУАРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ВОСПОМИНАНИЯ ИППОЛИТА ПАНАЕВА

Публикация С. Рейсера

Воспоминания о Некрасове, принадлежащие Ипполиту Александровичу Панаеву (1822—1901), двоюродному брату редактора «Современника»— Ивана Ивановича Панаева, полностью печатаются впервые по автографу, хранящемуся в Институте литературы Академии Наук СССР. Автограф — черновой, с рядом карандашных поправок; поступил от сына И. А. Панаева — Александра Ипполитовича Панаева. Отрывки были опубликованы в статье В. Евгеньева-Максимова «Некрасов в роли редактора-издателя «Современника» («Современник» 1913, № 7; перепечатано в его книге «Николай Алексеевич Некрасов. Сборник статей и материалов», М., 1914, 129—137). Кроме того, несколько строк были использованы К. И. Чуковским в его статье «Под литературным бойкотом» («Звезда» 1929, № 11; перепечатано под заглавием: «Николай Успенский и Некрасов» в книге: «Рассказы о Некрасове», М., 1930). Один отрывок, в совершенно иной редакции, был напечатан самим Ип. Панаевым в «Новом Времени» (1889, 18 января, № 4630).

Первоначальный текст, в котором имя Н. В. Успенского не было названо, был написан[1] до появления в печати клеветнических воспоминаний Успенского (первоначально: «Развлечение» 1888, 11 сентября, № 20—21[2]; отдельное издание — в Москве в 1889 г.). Прочтя в «Новом Времени» от 29 сентября 1888 г. перепечатку нескольких отрывков из этих воспоминаний, Ипполит Панаев выступил в печати с документальным опровержением рассказа Успенского.

Сохранившиеся в архиве ИЛИ конторские книги редакции «Современника» полностью подтверждают точность расчетов Ип. Панаева.

Счет «Современника» с Н. В. Успенским представляется в следующем виде:

До 1 января 1858 г. Успенскому выдано	225 р. 00 к.
В 1859 г.	855 р. 00 к.
	1 100 р. 00 к. <?>[3]
Заработано за это время	471 р. 86 к.
Долг к 1 января 1860 г.	628 р. 14 к.
В 1860 г. выдано	1 216 р. 01 к.
Заработано	267 р. 18 к.
Долг к 1 января 1861 г.	1 576 р 97 к.
В 1861 г. выдано	1 389 р. 79 к.
Заработано	128 р. 12 к.
Долг к 1 января 1862 г.	2 838 р. 64 к.
В 1862 г. выдано	60 р. 00 к.
Заработано	46 р. 88 к.
Долг к 1 января 1863 г.	2 851 р. 76 к.
За 1863 г. книга не сохранилась	
Сведений о выдаче нет	
Заработано, повидимому,	538 р. 21 к.
В книге 1864 г. остаток долга к 1 января 1864 г.	2 313 р. 55 к.

Таким образом, за все время редакцией «Современника» было выплачено Успенскому 3 765 р. 80 к., а заработано им за то же время 1 452 р. 25 к.

В книге 1864 г. записей о выдаче заработков нет. Счет Успенского заключается следующей записью: «Списываются должные г. Успенским редакции деньги в убыль по распоряжению Н. А. Некрасова . . . . 2 313 р. 55 к.»

Возникшая не столь давно в литературе полемика о Н. В. Успенском и его отношениях с Некрасовым и редакцией «Современника» может считаться окончательно завершенной статьями К. И. Чуковского. См. его работы: «Под литературным бойкотом. Николай Успенский и Некрасов» («Звезда» 1929, № 11; перепечатано под заглавием «Николай Успенский и Некрасов» в кн.: «Рассказы о Некрасове», М., 1930); «Судьба Николая Успенского» («Новый Мир», 1930, № 3, более полно перепечатано в изд.: Н. Успенский. Собрание сочинений, Гиз, 1931); ср. также статью: «Н. Успенский, его жизнь и творчество», в изд.: Н. Успенский. Сочинения, «Academia», 1933, I. Попытка воскресить старую точку зрения была сделана в статье М. И. Успенского (племянника Н. В.) «Н. В. Успенский и Н. А. Некрасов» («Известия Академии Наук СССР», VII серия, Отделение общественных наук, 1932, № 7). Эта статья вызвала блестящий ответ К. И. Чуковского, завершивший полемику: «Реакционная легенда» («Литературная Газета» 1933, № 17).

Не внося ничего существенно нового, воспоминания Ип. Панаева ценны общим тоном искренней любви и привязанности к поэту. Характеристика, данная близким к Некрасову в течение ряда лет человеком, связанным с ним не только служебной работой в конторе «Современника», но и дружбой, заслуживает внимания и доверия.

Об Ипполите Панаеве и его роли в кругу Некрасова и редакции «Современника» см. в примечаниях к письмам А. Я. Панаевой к Ип. Панаеву, публикуемым во втором томе настоящего издания, и в моих примечаниях к переписке Добролюбова с И. А. Панаевым («Литературное Наследство», № 25—26, 266).

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] На обложке рукописи воспоминаний поставлена дата: «1903». На листе 2-м карандашом — «1889». Обе эти даты ошибочны. Судя по первоначальной редакции абзаца на стр. 544: «Вскоре по прекращении журнала (около 12 лет тому назад)»,— воспоминания начали писаться в 1878 г., т. е. вскоре после смерти Некрасова.

[2] Обычно указывается неверно: 1889, № 22—23. Любопытно, что воспоминания Успенского тогда же вызвали не отмеченный до сих пор в литературе протест в статье «К» (Вас. Дм. Коровина. См. И. Масанов, Словарь псевдонимов... № 17042), «Воскресные наброски» в «Новостях Дня» (1888, 18 сентября, № 1869, 2) и ответ редакции «Развлечения» (1888, № 24—25, 25 сентября) в заметке: «Тоже защитники».

[3] Вместо 1080 р.— ошибка в документе.

О НЕКРАСОВЕ

С Николаем Алексеевичем Некрасовым я, пишущий эти строки, был знаком более тридцати лет. Многих, еще при жизни его, занимал вопрос: таков ли Некрасов в действительности, каким можно было предполагать его, судя о нем по его сочинениям? В обществе часто заводили разговор об этом, и многие, зная мое близкое знакомство с ним, обращались ко мне с подобными вопросами. После смерти Н. А. вопросы не прекращаются, и раз даже один преподаватель словесности говорил мне, что ему весьма важно иметь настоящее понятие о личности Некрасова, потому что он (преподаватель) находится часто в затруднении отвечать что-либо с уверенностью на постоянные вопросы своих учеников о нравственных качествах народного поэта.

Я хорошо знал Некрасова и никогда не сомневался в добрых и достойных полного уважения качествах его сердца. Поэтому вопросы о нем, в которых порою звучала как бы нота иронии и проглядывало некоторое злорадство, задевали меня за живое. На Некрасова взводили множество небылиц и распускали про него немало самых возмутительных клевет.

И. А. ПАНАЕВ, ЗАВЕДЫВАВШИЙ КОНТОРОЙ РЕДАКЦИИ «СОВРЕМЕННИКА»
Фотография 1861 г.
Институт литературы АН СССР, Ленинград

Отвечать на вопросы я никак не мог хладнокровно. Каждому спрашивающему я объяснял подробно всю нелепость ходивших слухов и, в подтверждение моих уверений, вызывался представить доказательства,— а что я мог это сделать, читающий эти строки увидит из того, что будет изложено ниже.

Прежде нежели буду говорить о некоторых частностях, которые играли немалую роль в составлении об Н. А. мнения,— скажу несколько слов о том, каким человеком вообще я сам разумел Некрасова.

Для публики важно знать: существовало ли противоречие между всем прекрасным и добрым, наполнявшим его произведения, и нравственными качествами того, кто так хорошо выражал это прекрасное и доброе? существовал ли разлад между добрым чувством, выраженным прекрасным стихом, и чувством, живущим в сердце поэта?

На это я твердо и не колеблясь отвечу: никакого разлада не было. Некрасов по своим нравственным качествам не противоречил вовсе тому образу, который рисовался воображением многих не знавших его почитателей его таланта.

Это был человек мягкий, добрый, независтливый, щедрый, гостеприимный и совершенно простой; но достаточною твердостью характера он не обладал. Обстоятельства сложились так, что ему, почти всю жизнь, пришлось проводить в полуофициальных кружках. Это не была его естественная среда, а потому в ней он не мог чувствовать себя свободным: внутренние движения были связаны, женированы; сердце — сжато. Вследствие этого, несмотря на врожденные мягкость, снисходительность и простосердечие, внешние приемы казались иногда сухими, угловатыми и от них как бы веяло холодом.

Смолоду он был чрезвычайно застенчив в обществе и сам сознавался в этом, сказав:

На ногах словно гири железные,
Как свинцом налита голова,
Странно руки торчат бесполезные
На губах замирают слова.

Улыбнусь — непроворная, жесткая,
Не в улыбку улыбка моя,
Пошутить захочу — шутка плоская
Покраснею мучительно я [1].

С годами таковая застенчивость стала выражаться (говоря его же словами) «маскою наружного холода» и тем, что называется: mauvais humeur. Недостаток этот, т. е. эти mauvais humeur, развивается у всех людей, вступающих в хлопотливое, спешное дело и обязанных болтать, когда не хочется говорить,— видеть многих, когда желаешь видеть только близких или когда даже не хочешь никого видеть, и, приходя к Некрасову в такие недобрые минуты, я бывало сижу несколько времени у него молча. И он молчит, лежа, читая или дремля... А потом вскоре... снег растает и растает непременно... Чувствовать обиду, как бы наносимую холодностью приема, тому, кто знал характер Некрасова, было невозможно.

Но не все были ему близки, а потому нет ничего удивительного, что многие судили о нем, как о человеке неприветливом и холодном.

Не знали многие и того, что Николай Алексеевич никогда не пользовался полным здоровьем и долго думал о себе так, как когда-то и выражался:

Цветут, растут колосья наливные,
А я чуть жив [2].

Нервы его были сильно расшатаны и раздражены; особые обстоятельства его грустной молодости, известные его близким, не могли не отзываться на настроении его духа, и правдив был поэт, говоря:

Но рано надо мной отяготели узы
Другой, не ласковой и не любимой Музы [3].

Да, повторяю еще раз: это, в сущности, был самый простой человек, человек с настоящею примитивною русскою натурой,— бесхитростный, веселый и грустный, способный увлекаться и весельем и горем до чрезмерности, не рассчитывающий на завтрашний день и живущий этим русским: «авось», на которое мы часто негодуем, но в глубокий смысл которого никогда не вникаем.

Жизнь полуофициальная, жизнь в Петербурге была его искусственною... Истинная натура его проявлялась при другой обстановке, проявлялась в кругу близких, простых, невысокоумных людей, в кругу людей, ничего от него не ожидающих и не состоящих с ним в каких бы то ни было делах. Летом он обыкновенно уезжал в деревню. Там иногда он уходил из своего дома на несколько дней охотиться с своими приятелями крестьянами-охотниками, проводя дни и ночи с ними и ночуя по разным деревням, в избах своих приятелей-крестьян. Вот в этой-то среде,— я уверен,— он, как говорится, был в своей тарелке,— веселый, свободный, не женированный и бодрый. Я видал его по возвращении из таких странствований по лесам и болотам, продолжавшихся несколько дней, довольного, свежего и в самом хорошем расположении духа. Вспомним посвящение его «Коробейников» другу-приятелю Гавриле Яковлевичу (крестьянину деревни Шоды, Костромской губернии):

Как с тобою я похаживал
По болотинам вдвоем,
Ты меня почасту спрашивал:
Что строчишь карандашом?

Житейская обстановка Некрасова должна была бы устроиться подобно простой и увлекательной обстановке другого народного певца, именно — Беранже: кружок близких приятелей, сельская природа и отсутствие всяких непосредственно касающихся его, смущающих интересов и дел. Беранже имел характер устроить так свою жизнь; у Некрасова характера на это нехватило, и он поплатился за это чувством постоянного стеснения в течение своей полуофициальной жизни, живя в противоречии с своими настоящими сердечными потребностями и вкусами.

Вопросы посторонних лиц о нравственной личности Некрасова скоро сходили и сходят ⟨к вопросу⟩ об отношениях (т. е. денежных отноше-

«ЗЕЛЕНЫЙ ШУМ»
Картина маслом А. Рылова, 1904 г.
Русский музей, Ленинград

ниях) его, как издателя и редактора журнала, с другими литераторами, участвовавшими в издаваемых им журналах.

Если кто-либо усумнится в компетентности моего суда о характере Некрасова вообще, то уже в ответе на последние вопросы усумнившийся должен будет признать вполне мою компетентность, когда узнает, что в период существования журнала «Современник», издаваемого Н. А. Некрасовым совместно с двоюродным братом моим Иваном Ивановичем Панаевым, я в течение 10 лет заведывал хозяйственною частью журнала, и при жизни Панаева, и после его смерти.

Все распоряжения по расчетам с сотрудниками мне были известны, и уплата производилась чрез мои руки. До сих пор у меня целы приходо-расходные книги с расчетами и расписки получателей [4]. Сохранял я это все для того, чтобы иметь, на всякий случай, доказательство для опровержения взводимых на Некрасова клевет. Я мог бы заговорить ранее, и при его жизни, и много раз хотел это сделать; но Николай Алексеевич

не допускал меня привести в исполнение мои намерения, говоря, «что можно сделать это когда-нибудь, после, тогда, когда его не будет» *.

И в этом случае он думал так, как и написал:

Что ты, сердце мое, расходилося?..
    Постыдись! Уж про нас не впервой
Снежным комом прошла — прокатилася
    Клевета по Руси, по родной.
Не тужи! Пусть растет, пусть катается.
    Не тужи! Как умрем,
Кто-нибудь и об нас проболтается
    Добрым словцом![6]

Замечание мое о том, что я могу умереть прежде его, Н. А. оставлял обыкновенно без ответа и оканчивал какою-нибудь добродушною шуткой.

В памяти моей (могущей, впрочем, всегда быть проверенной упоминаемыми выше книгами) осталось ясным, что расчеты с участвующими в «Современнике» постоянными и случайными сотрудниками, по распоряжениям и желаниям как Н. А., так и И. И. Панаева, производились самым широким образом,— производились так широко и нерасчетливо, что для текущих и необходимых расходов по изданию не раз встречались затруднения, вынуждавшие прибегать к займам. Затруднения отстранялись также иногда только благодаря субсидиям, даваемым Некрасовым из своих собственных денег, полученных им из источников, посторонних журналу и о которых я скажу ниже.

При этом надо заметить, что и Некрасов, и И. И. Панаев в денежном отношении пользовались выгодами, доставляемыми журналом, весьма умеренно и иногда получали менее, чем их постоянные сотрудники. Не говоря уже о последних, несколько литераторов, едва вступивших на литературное поприще, кроме значительной полистной платы, получали ежемесячное содержание, что, по мнению Некрасова и И. И. Панаева, было необходимо для того, чтобы поддержать начинающих и дать возможность развиться замечаемым в них некоторым признакам таланта. Без всякого соображения с финансовым состоянием журнала многим деньги выдавались вперед, в счет будущих работ,— на неопределенное время. На замечания мои, что деньги расходуются несвоевременно и ставят издание в затруднение,— Некрасов часто говорил, что если денег у журнала нехватит, то для необходимых потребностей издания он даст свои собственные деньги, что неоднократно и делал.

Приходившие ко мне за получением следуемых им денег часто заявляли мне, что от Некрасова уже прежде получена ими такая или другая сумма, тогда как я об этом ничего не знал. Такие выдачи из своих денег Н. А. производил беспрестанно; но, несмотря на весьма частые тогда свидания со мною, забывал говорить о выданных деньгах. Я просил его много раз выдачи записывать; дал ему для записывания большую графленную книгу, а человек его ** купил ему большой карандаш, в палец толщиною и чуть ли не в аршин длиною (карандаш для черчения шаблонов), так как Николай Алексеевич уверял, что не записывает оттого, что не на-

* Этот мой отзыв о Некрасове был написан мною вскоре после его смерти, и я распорядился, чтобы он непременно был напечатан после моей смерти. Ввиду предстоящего выпуска в свет его биографии отдельной книгой, я решил отдать мною написанное в распоряжение составителя биографии[5].

** Человек этот уже много лет живет с семьею своею барином в купленном им себе доме — в одном из дачных городков близ Петербурга. На похоронах Некрасова я узнал, что он получал от Н. А. ежемесячный пенсион и что пенсион этот, по завещанию Некрасова, должен выдаваться и наследниками Некрасова — до конца жизни того, кому он назначался [7].

ходит во-время карандаша, зарывающегося вечно под корректурными листами, газетами, рукописями и другими бумагами. Но ничего не помогало: книга осталась совершенно чистою, и я насилу мог добиваться раза два или три в год, чтобы он уделил часок на припоминание сделанных им выдач. Припоминание происходило в моем присутствии: Н. А. брал, наконец, листок бумаги и записывал (обыкновенно лежа) то, что мог вспомнить. Разумеется, при этом немало сделанных выдач не было записано; он или действительно не припоминал их, или не хотел вспомнить, и я имею основание думать, что не одна тысяча рублей осталась незаписанною [8].

Много талантов Н. А. предугадал и многим, своевременным пособием в трудное время, дал развиться. Имена таких лиц известны не мне одному. Выдачи вперед, постоянные ежемесячные содержания многим лицам производились несмотря на то, что интересы издателей сильно страдали. Почти всякому обращающемуся к ним деньги выдавались вперед. Некрасов, распоряжавшийся выдачами с согласия И. И. Панаева, никак не мог решиться отказать в выдаче просившему. Одному деньги выдавались по случаю болезни; другому — по случаю поездки за границу; третьему — по случаю выезда из Петербурга в провинцию или приезда из провинции и т. д. На средства «Современника» поддерживались семьи бывших сотрудников, воспитывались малолетние братья одного умершего литератора... «Если денег нехватит для издания — я дам в кассу свои деньги»,— говорил мне постоянно Некрасов.

Помню один случай. Раз, когда касса журнала была почти пуста, я приехал к Некрасову, поставил ему на вид все обстоятельства дела, и он убедился, что выдач вперед в том году решительно невозможно делать, потому что предстояли по изданию разные необходимые уплаты, а на приход могли поступить лишь ничтожные суммы. «Не буду выдавать решительно: нечего делать»,— сказал он.

Только что мы кончили наш разговор и пришли к твердому решению, как явился один из писателей, наших должников, объявил Н. А., что

НЕКРАСОВ
Фотография М. Тулинова, 1861 г.
Институт литературы АН СССР, Ленинград

он хочет ехать в деревню, и просил у него денег вперед. Под влиянием только что оконченного разговора Н. А. сказал: «Денег-то у нас нет; да вы, кажется, еще и нам должны».— Да,— отвечал пришедший, — но здесь положительно ничего не могу делать... А вот поеду в деревню... Там на свободе, в лесах, в лугах... Вы, конечно, это понимаете... Я буду работать даром и пришлю вам работу.— Некрасов молчал... Потом, не глядя на меня, потянулся за бумагой и написал записочку о выдаче из конторы денег. Когда упоминаемый господин ушел, мы оба рассмеялись. «Нельзя, друг,— говорил Некрасов шутя,— что делать: всякому нужны деньги». Подобные слова он повторял мне неоднократно на замечания мои о чрезмерных расходах, стесняющих дело [9].

Был еще один случай, о котором я и до сих пор не могу вспоминать равнодушно. К Некрасову явился раз один молодой человек (обозначим имя его знаком X.), без всяких средств, и принес ему маленькие статейки. Они были написаны интересно, и в авторе Некрасов находил зародыш таланта. Так как молодой человек, как я уже упомянул, был без средств, Н. А. распорядился о выдаче ему ежемесячно по 75 рублей и, кроме того, об уплате за помещаемые коротенькие статейки, сколько мне помнится, тоже по 75 рублей с листа. «Надо поддержать молодого человека; из него выйдет писатель» [10].

Выдачи производились не короткое время. Имея в виду бесспорно благую цель издателей, расход этот я делал охотно. Молодой человек часто приходил ко мне за деньгами, и мне очень приятно было видеть, как он становился на ноги. Раз, тогда, когда уже за ним числилась значительная сумма, он, придя ко мне, объявил, что решился ехать за границу и что Некрасов дает ему средства на это. О выдаче денег он принес от Н. А. записку. Деньги на путешествие были выданы, и молодой человек уехал. Но месяца через два или три, вероятно соскучившись за границей (иностранных языков он не знал), X. написал, что желает возвратиться в Россию, и просил о высылке ему на возвращение денег [11]. Это было летом, и Н. А. случайно тогда приехал на несколько дней в Петербург. В кассе денег было очень мало, и я потому сказал Некрасову, что г. X. действует уже слишком бесцеремонно и что денег в настоящее время послать не из чего. Н. А. согласился со мною, но на этот предмет дал свои деньги и написал молодому человеку письмо, которое, прочитав, я послал с деньгами [12]. В письме этом Некрасов говорил, что желание возвратиться пришло г. X., вероятно, потому, что он совестится расходовать «современниковские» деньги, вспоминая, что он уже и без того должен, что совеститься не для чего, так как г. X. молод и успеет рассчитаться с ним работою. Пусть же он, г. X., продолжает свое путешествие, сколько это будет нужно или для его здоровья, или для его удовольствия, а о долге своем бросит беспокоиться.

Письмо было полно самой добродушной и деликатной веселости, самых искренних и ободряющих выражений.

Через несколько времени г. X. вернулся, снова стал получать помесячные деньги; потом вдруг прервал всякие сношения с «Современником», разумеется, не рассчитавшись с ним и распустив про Некрасова самую возмутительную клевету касательно денежных с ним отношений, основываясь на нелепейшем предположении о мнимых выгодах, которые Н. А. мог извлечь от издания им, Некрасовым, на свой собственный счет, собрания статей г. X., помещенных в «Современнике», отдельной книжкой; тогда как суммой, которая могла бы выручиться от продажи экземпляров, не могла бы выручиться и $^1/_4$ должной г. X. «Современнику» суммы. Н. А. так мало заботился об издании, что напечатанные листы для книги лежали в типографии несколько месяцев и лежали в таком виде и тогда, когда г. X. стал распускать свою клевету. Когда мне передали о последней,

я не хотел верить, но, убедившись, отправился к Некрасову и рассказал ему об этом. Н. А. не вознегодовал, как я имел право ожидать. «Ничего нет удивительного,— сказал он,— не в первый раз... Напрасно ты так волнуешься. Он еще вчера взял у меня деньги (сколько мне помнится, 500 р. с.)». Я предлагал Н. А. тотчас же изобличить г. Х. У меня в руках для этого были все средства. Я хотел вывесить на стене конторы журнала, бывшей при книжном магазине, счет г. Х. На одной стороне было бы указано число напечатанных листов в «Современнике», на другой все сделанные г. Х. выдачи с подлинными расписками его в получении денег. Из счета

ОСМОТР СТАРОГО ДОМА
Картина маслом И. Н. Крамского, 1873
Третьяковская галлерея, Москва

было бы ясно видно, как поддерживался и как рассчитывался за работу г. Х. Некрасов не согласился на мое предложение, несмотря на то, что я сильно настаивал: «и к чему, говорил он: — когда-нибудь узнают, что все это вздор. Вот я его позову и вымою ему голову». Действительно, Некрасов позвал г. Х. к себе... но дело кончилось тем, что Н. А. его не похвалил. Между тем клевета распространилась, и, несколько лет спустя, мне пришлось опровергать ее в Вене в разговоре с одним знакомым мне студентом, австрийским славянином.

Вообще выдачи из кассы «Современника» делались в таких размерах, что у издателей никогда ничего к концу года не оставалось. После смерти Ив. Ив. Панаева не осталось ни гроша. Если бы у Некрасова не было денег, не зависимых от журнала, то он сам, конечно, тоже был бы без гроша,— когда дело продолжалось всё таким же образом.

После смерти И. И. Панаева издание журнала продолжалось. Выдав единственной наследнице И. И. Панаева, взамен права ее на половинную часть выгод, могущих получиться от издания, 50 т. рублей сер.[13], Н. А.

остался уже один хозяином дела, которое шло тем же порядком до тех пор, пока «Современник» издавался. Одним словом, резюмируя все, что сказано мною касательно денежных отношений с сотрудниками «Современника», я скажу, что по сохранившимся у меня книгам и распискам, всякий сомневающийся может убедиться, что таких лиц из сотрудников журнала, которые не остались бы должными «Современнику», очень мало и общая сумма долгов представит значительно крупную цифру.

А между тем, в течение издания, несмотря на затруднительное порою положение кассы и свои собственные нужды, ни Некрасов, ни И. И. Панаев никогда не поминали о долгах и не допускали, чтобы контора делала сотрудникам либо прямые или косвенные напоминания.

Вскоре по прекращении журнала [14] я уехал из Петербурга, и мои деловые отношения с Некрасовым кончились, но дружеские отношения со мною и с моими братьями не прекращались никогда. Несколько лет назад, возвратившись из-за границы, я ему рассказал, что распускаемые клеветы проникли и в Венский университет, как я об этом говорил выше, и напомнил ему, что у меня хранятся все документы, могущие блестящим образом изобличить клеветников. «Это хорошо,— сказал он,— может быть, это когда-нибудь понадобится», и не прибавил ничего.

Выше мы упоминали несколько раз о том, что у Некрасова были свои деньги, а потому нас могут спросить: какие это были деньги?

Николай Алексеевич получал значительные суммы от издания своих сочинений и играл в карты, и — одно время — весьма счастливо. Хорошо ли играть в карты? — это уже другой вопрос. Много почитаемых и уважаемых людей играют в карты, и это не мешает им быть почитаемыми и уважаемыми в обществе. Клевета не касается их имени. По крайней мере деньги, выигранные Некрасовым у людей, которым ничего не стоило проиграть, были им употребляемы уже гораздо лучше, чем деньги, выигранные другими. На деньги Некрасова много поддерживалось не мало неимущих людей, много развилось талантов, много бедняков сделалось людьми *.

Не будем же укорять поэта за эту общую многим натурам, и иногда натурам недюжинным, слабость, тем более, что у Некрасова это было скорее средство развлечения или отвлечения от тягостных дум, чем страсть. Развилась она в нем в ту пору, когда он был болен, хандрил, собирался умирать, и натура его жаждала сильных ощущений, могущих отвлечь его от обычно терзавших его тогда грустных мыслей, с которыми он не мог справиться.

Он писал тогда:

Тот роковой, напрасный пламень
Доныне сожигает грудь,
И рад я, если кто-нибудь
В меня с презреньем бросит камень.
Бедняк! И из чего попрал
Ты долг священный человека?
Какую подать с жизни взял
Ты — сын б о л ь н о й б о л ь н о г о века?..
Когда бы знали жизнь мою,
Мою любовь, мои волненья...
Угрюм и полон озлобленья,
У двери гроба я стою...[16]

Не будем упрекать покойного за то, что, ища отвлеченья от грустных дум и болезненных ощущений, он прибегнул не к истинному лекарству, а к сильному пальятивному средству. Не будем укорять его, тем более, что

* Мне говорили, что Некрасов, несмотря на продолжительные и невыносимые страдания, предшествовавшие его смерти, успел составить самое подробное завещание. Он обязал наследников своих не прекращать выдач прежним пенсионерам и выдать таковые пособия нескольким другим недостаточно известным ему людям [15].

в душе своей он укорял себя искренно, с беспощадною строгостью, для каковой и враг его не смог бы с такою строгостью найти в нем соответствующей вины...

Что враги? Пусть клевещут язвительней,
Я пощады у них не прошу,
Не придумать им казни мучительней
Той, которую в сердце ношу! [17]

Охоту Н. А. любил гораздо более, и летом в деревне, конечно, забывал о картах. В Петербурге же искусственная жизнь создала и искусственные привычки...

Отчего клевета не обходила его? Он имел громадный талант и, кроме того, во вторую половину жизни — деньги. Как, и то, и другое!! Многие не могут переносить этого. Им как будто обидно, точно талант и деньги отняты у них... и они, многие, негодуют на такое совмещение благ... Почему негодуют? — не могу понять! * Скорее бы радоваться, особенно когда вспомнишь о том, как неприглядны были ранние дни жизни Некрасова. Он испытал не мало бедствий: и крайнюю бедность, и совершенную изолированность в те самые годы, когда люди начинают развиваться и нуждаются в нравственной и материальной помощи. Тогда он был совершенно один в Петербурге. А затем сколько лет трудовой, можно сказать, труженической жизни: да, у него действительно (я это знаю, и не я один) бывали дни, подобные тем, о которых он говорит в одном своем стихотворении:

Помнишь ли день, как больной и голодный
Я унывал, выбивался из сил?
В комнате нашей, пустой и холодной,
Пар от дыханья волнами ходил,
Помнишь ли труб заунывные звуки,
Брызги дождя, полусвет, полутьму...[19]

В заключение, всем интересующимся личностью Некрасова, я беру смелость сказать: «Бросьте свои сомнения; перестаньте слушать разные небылицы и клеветы, и верьте, что ваш поэт был тем, чем рисует вам его воображение и что подсказывает сердце. Те чувства, которые он пробуждал в нас своими стихами, он ощущал их, без сомненья, сам, и ощущал в те самые минуты, когда передавал эти чувства бумаге. Это был поэт искренний, человек простодушно добрый и, что бывает весьма редко, человек, не заботящийся о завтрашнем дне, когда сегодня надо помочь другому.

Тяжелые узы искусственной жизни, жизни, вовсе не подходящей его натуре, долгое время гнели его; хотя, может быть, он сам и не сознавал этого ясно. Но гнёт он ощущал — и вот причина неровностей его характера [20].

Достаточной твердости характера он не имел; и сам сознавался в этом и, обращаясь к тени своей любимой матери, молил ее об этом, чтобы она «укрепила» его «волею твердою». Могут, конечно, сказать, что всё, высказанное мною о характере Н. А., есть мое личное мнение. Да, но отчего же вышло, однако, так, что в течение тридцати лет моего знакомства с ним я не переменил о нем моего мнения?

Говорили и говорят многие (даже учителя в учебных заведениях своим ученикам), что Некрасов, выражая в своих стихотворениях трогатель-

* Не потому ли, что так горячо выражал в своих произведениях поэтическую скорбь в разных людских..., он жил, между тем, сам так, как живут достаточные люди, не испытывая материальных лишений.

Но тогда надо негодовать на нас всех. Все мы искренно скорбим о людских бедствиях, а живем между тем сами, как живут люди с достатком[18].

ное и горячее расположение к крестьянам, в сущности относился к ним как суровый и требовательный помещик. Эту клевету весьма легко опровергнуть. Некрасов покинул деревню почти мальчиком и провел, можно сказать, почти всю жизнь в Петербурге. Первые годы он бедствовал, потому что отец, рассердившись на него за то, что он не поступил в Кадетский корпус [21], совершенно перестал заботиться о его нуждах. Когда же Некрасов встал на ноги и сделался известным, он помирился с отцом, но оставался жить в Петербурге, занятый своими литературными делами. После смерти отца следовавшую ему часть недвижимого наследства он предоставил своим братьям. Из этого ясно, что он никогда не мог находиться в отношении крестьян в положении помещика или владельца, от которого они бы зависели.

В действительности же он действительно очень любил простого русского человека, крестьянина, как я поминал выше, и может быть с ним провел много приятных дней и часов своей жизни. Во время его смертельной болезни, в качестве прислуги, при нем состоял крестьянин, который и спал в одной комнате (в которой он должен был поддерживать очень высокую температуру) с умирающим. Разумеется, он был щедро вознагражден по распоряжению Некрасова [22].

Последние годы своей жизни Н. А. был редактором «Отеч. Записок». Жена его мне говорила, что он выдавал ежегодно до... ⟨недописано⟩ рублей на пособия и пенсию разным лицам. Я этому слепо верю. Судя по этой цифре, можно было бы думать, что после него осталось большое состояние, а между тем доставшееся жене и братьям имущество оказалось вовсе незначительным.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Из стихотворения «Застенчивость» (1852).

[2] Из стихотворения «На родине» (1855).

[3] Из стихотворения «Муза» (1851).

[4] Сохранившиеся конторские книги находятся ныне в ИЛИ. О них см. в публикации С. Рейсера в третьем некрасовском томе настоящего издания. «Расписки получателей» использованы В. Е. Евгеньевым-Максимовым в статье: «Практичность» Некрасова в освещении цифровых и документальных данных» (по неизданному архиву конторы «Современника»).—«Вестник Европы» 1915, № 4.

[5] Очевидно, И. А. Панаев имеет в виду биографию Некрасова, составленную А. Голубевым и помещенную в его книге «Н. А. Некрасов», СПб., 1878.

[6] Восьмистишие 1860 г.

[7] Панаев пишет о бывшем лакее Некрасова Василии Матвееве: ему, а в случае его смерти — его жене, в завещании поэта была назначена пожизненная пенсия в 600 р. в год; см. «Новый Мир» 1931, № 4, 192.

[8] В конторских книгах «Современника» неоднократно встречаются записи такого рода: «Да еще по словам г. Вейнберга, выдано в счет Шекспира Н. А. Некрасовым на книги...» (1858—1859); «Н. А. Некрасовым выдано еще в счет Шекспира, по записи о сделанных им выдачах и по словам Вейнберга...» (т а м ж е); «По словам г. Михайлова, Н. А. Некрасов сосчитался с ним окончательно на дому» (т а м ж е); «Кроме того, по словам г. Михайловского, получено им в конце 1859 г. от Н. А. Некрасова в разное время...» (т а м ж е), и т. д.

[9] Отсюда и до абзаца: «Вообще выдачи из кассы...» — текст в рукописи зачеркнут. Он послужил основой для указанной в предисловии к настоящей публикации статьи Ип. Панаева в «Новом Времени».

[10] Речь идет о Н. В. Успенском. Первоначально он получал ежемесячно по 50, а впоследствии по 75 р. (Ип. Панаев пишет лишь об этой второй цифре). Эти выдачи производились с января 1859 г. до конца 1860 г.

[11] К. И. Чуковский весьма правдоподобно предполагает, что речь идет здесь о письме Ник. Успенского, хранящемся ныне среди бумаг Ип. Панаева в ИЛИ («Рассказы о Некрасове», 1930, 18). Привожу по автографу отрывок письма, помеченного —«Париж 9 июня 1861 г. н. ст.»:

«Почтеннейший Ипполит Александрович! Еще раз благодарю вас за все ваши хлопоты касательно меня и извещаю, что я, живо проникнутый сознанием своих долгов спешу их очистить с моей души, а для этого твердо решился ехать скорей в Россию и работать, поселившись где-нибудь в деревне. Прошу вас выслать мне на дорогу денег. Передайте

РОЖЬ
Картина маслом И. И. Шишкина, 1878 г.
Третьяковская галлерея, Москва

Некрасову мою искреннюю благодарность за его ко мне доброе расположение; я прошу у него извинения, если я не так воспользовался его благородным предложением, что я растратил денег более, чем бы нужно — то-есть тратил их не по условию. Меня подкрепляет надежда, что я вскоре расквитаюсь. Пора, пора приступить к расплате, не правда ли?»

[12] Это письмо Некрасова неизвестно.

[13] Эту сумму называет сам Некрасов в письме к В. П. Гаевскому в марте 1876 г. (Собр. соч., 1930, V, 568). Н. С. Ашукин приводит данные К. И. Чуковского о том, что права на издание «Современника» были уступлены Некрасову А. Я. Панаевой за 14 000 р. («Летопись жизни и творчества Н. А. Некрасова». 1935, 303). Однако в ИЛИ (фонд б. Некрасовского музея) хранится следующая расписка А. Я. Панаевой: «1865 года, февраля 21 дня, я, нижеподписавшаяся, сим свидетельствую, что я получила от Некрасова: 1. Пять тысяч руб. сер. наличными деньгами. 2. На 34 т. р. сер. заемных писем д. ст. сов. Абазы, переведенных г. Некрасовым на мое имя, и 3. Контракт с обязательством со стороны г. Некрасова уплатить мне 9 т. р. сер. в три срока, и затем никаких претензий, как по журналу «Современник», так и по другим расчетам с г. Некрасовым, не имею. Вдова коллежского секретаря Авдотья Яковлева Панаева». (Не издано.) Таким образом, 14 000 р.— это сумма, выданная наличными деньгами, общая же сумма — более 48 000 р. (так как сюда надо добавить проценты по заемным письмам).

[14] См. прим. 1 к предисловию к настоящей публикации.

[15] Текст завещания Некрасова, о котором упоминает Панаев, опубликован Н. С. Ашукиным в «Новом Мире» 1931, № 4, 191—192. Первоначально сноска начиналась следующими словами: «Недавно я узнал, что Некрасов до самого дня своей смерти оказывал ежемесячное пособие двум неизвестным недостаточным лицам, близко известным (sic!) покойному Ивану Ивановичу Панаеву. Николай Алексеевич при жизни ничего не говорил мне об этом». «Близко известные» лица — очевидно, мать И. И. Панаева, Марья Акимовна, и А. Я. Панаева. Неоднократные денежные выдачи М. А. Панаевой отмечены в конторских книгах «Современника» (ИЛИ). У покойной Е. В. Базилевской нам пришлось читать (в 1941 г.) неизданное письмо М. А. Панаевой к Некрасову, написанное вскоре после смерти И. И. Панаева по поводу денежной помощи ей из редакции «Современника».

[16] Из стих. «Поэт и гражданин» (1856). Выделено Ип. Панаевым.

[17] Из стих. «Рыцарь на час» (1860).

[18] Отнесенные в сноску строки написаны на полях приблизительно против этого места основного текста.

[19] Из стих. «Еду ли ночью по улице темной» (1847).

[20] Первоначально в рукописи это место было написано так: «К сожалению, он не имел силы разорвать эти узы, своевременно освободиться от них и нравственно независимым уйти в свою естественную среду».

[21] Неточно: в Дворянский полк.

[22] Вероятно, Никанор Афанасьев — ему в завещании Некрасова назначено единовременно 2000 р. («Новый Мир» 1931, № 4, 192).

ЗАБЫТАЯ ГЛАВА ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ АВДОТЬИ ПАНАЕВОЙ

Публикация С. Шестерикова

Предисловия и примечания С. Рейсера

Хорошо известные читателю «Воспоминания» Авдотьи Панаевой по праву занимают видное место в мемуарной литературе о Некрасове.

Впервые напечатанные в «Историческом Вестнике» в 1889 г. и вышедшие в 1890 г. отдельным изданием, эти воспоминания вызвали в свое время немалый шум и полемику в литературе.

Некоторые критики склонны были вовсе отрицать достоверность «Воспоминаний»; другие, наоборот, неумеренно их превозносили.

Нужна была серьезная и кропотливая работа для того, чтобы проверить сообщаемые А. Панаевой сведения и факты, установить правильные даты, расшифровать неназванные имена и т. д., и т. п.

Эта работа была произведена К. И. Чуковским: переизданные под его редакцией в 1927 г. «Воспоминания» Панаевой до 1933 г. выдержали четыре издания. Отредактированный и выверенный текст и тщательно составленные примечания сделали эту книгу необходимым и важным документом в работе историка литературы, а широкий читатель оценил живой и непосредственный язык и яркость этих, читаемых как увлекательный роман, воспоминаний.

Оказывается, однако, что напечатанный в «Историческом Вестнике» текст представляет собою не все, написанное Панаевой.

В нескольких номерах петербургской газеты «Русская Жизнь» за 1891 г. (№ 108, 24 апреля; № 140, 26 мая; № 149, 4 июня; № 165, 21 июня) покойным С. П. Шестериковым было обнаружено еще несколько отрывков под заглавием: «Воспоминания о домашней жизни Некрасова». Несмотря на несомненный историко-бытовой интерес многих страниц этих «Воспоминаний» (например, о настроениях в редакции «Современника» в связи с делом Петрашевского, о завербованных III Отделением слугах Некрасова, о планах издания газеты в эпоху Крымской кампании и т. д.), они прошли мимо всех исследователей жизни Некрасова и издателей его текстов и оказались за бортом литературы о Некрасове, хотя и были в свое время глухо (с неверным годом, без указания номеров и с неточным заглавием) упомянуты в «Обзоре жизни и трудов русских писателей и писательниц» Д. Д. Языкова (вып. XIII, СПб., 1916, 73).

О происхождении этих «Воспоминаний» могут быть высказаны лишь некоторые догадки: возможно, что публикуемые главы были устранены из первого издания записок (в «Историческом Вестнике» 1889) С. Н. Шубинским, как известно, жестоко «проредактировавшим» первопечатный текст. История печатания записок Панаевой (и в «Историческом Вестнике» и отдельным изданием) до сих пор не изучена. Кое-какой, материал есть в переписке А. Я. Панаевой с Чернышевским («Литературное наследие», III, 595—596).

В архиве «Исторического Вестника» в Публичной библиотеке в Ленинграде (1887, «А—П», лл. 165 и 167) находятся два неизданные письма Авдотьи Панаевой к С. Н. Шубинскому следующего содержания:

«Многоуважаемый Сергей Николаевич, Вам, вероятно, не было времени прочесть моей рукописи, что я до сих пор не получила от Вас ответа! Я бы не стала Вас беспокоить, если бы меня не вынуждали мои обстоятельства.

Ради бога, пришлите мне скорей Ваше решение. Готовая к услугам А. Головачева. 2 ноября».

Вторая записка гласит:

«Я писала к Суворину, но ответа не получила. Я просила его отсрочить мне на месяц 200 рублей, которые он мне выдал, что я их заработаю, и чтоб он разрешил мне выдать деньги за те листы, которые я сдала Вам. Если Вы можете, то замолвите слово — я сижу без денег.

Извините, что беспокою Вас. Уважающая Вас А. Головачева».

Любопытные данные содержатся также и в неизданном дневнике С. И. Смирновой-Сазоновой, в записи от 1 декабря 1893 г. (ИЛИ, лл. 113—114):

«Когда Григорович узнал, что в «Историч⟨еском⟩ Вестнике» будут печататься воспоминания Панаевой, то перепугался, что там заденут его. Полетел к Суворину гов⟨орить⟩ о том, что нельзя в порядоч⟨ном⟩ журнале печатать такие вещи. Тот говорит: не мое дело; я в это не вмешиваюсь. Это ведет Шубинский, и человек, мол, он упрямый, не послушает. Тогда Григорович не поленился подняться на пятый этаж к Шубинскому, чт⟨обы⟩ сказ⟨ать⟩ ему: мой добрый друг, Вы знаете, как я Вас люблю! я пришел по дружбе предупредить Вас... И опять о Панаевой. Шуб⟨инский⟩ говорит: очень жаль, что я не знал этого раньше, но я уж ее воспоминания купил и тысячу рублей за них отдал. Но, впрочем, успокоил добр⟨ого⟩ друга, что если будет что-нибудь⟨удь⟩ о нем, то он это выкинет. Григорович бросился обнимать его».

Впрочем, ссылка А. Я. Панаевой на «прежние свои воспоминания» (см. ниже, стр. 561) позволяет рассматривать публикуемый текст и как позднейший, дополнительный очерк, развивающий некоторые главы основного текста.

Возможно, наконец, что «Воспоминания» были написаны одновременно с остальной частью мемуаров, но не были отданы Суворину, в расчете на отдельное дополненное издание. Коммерчески, отдельное издание с новыми, не изданными ранее главами сулило некоторые материальные выгоды, что для остро нуждавшейся в эти годы Панаевой имело существенное значение.

28 марта 1889 г. А. Я. Панаева писала Н. Г. Чернышевскому: «Редакция много выкидывала из них ⟨«Воспоминаний»⟩ по разным своим личным соображениям: в отдельном издании можно будет напечатать эти места» («Литературное наследие», III, 595). О том же писал отцу и М. Н. Чернышевский в письме от 12 марта: «...листа полтора или два последних из этих воспоминаний у ней остались недоданными Суворину в надежде на отдельное издание» (там же, 610, ср. также 607—608). Повидимому, отчаявшись видеть «Воспоминания» отдельной книгой, Панаева предложила неотданные в свое время Суворину главы газете «Русская Жизнь».

Подготовленный С. П. Шестериковым текст был использован К. И. Чуковским в его примечаниях к 6-му изданию однотомника Некрасова (Л., 1931, 513), в которых процитированы (со ссылкой на неосуществившееся издание) строки, относящиеся к истории «Власа».

ВОСПОМИНАНИЯ О ДОМАШНЕЙ ЖИЗНИ Н. А. НЕКРАСОВА

В продолжение почти двадцати лет у Некрасова всегда служили два лакея, и оба были очень типичные субъекты.

Как начался издаваться «Современник», к Некрасову нанялся лакей Петр. Не помню, кто ему рекомендовал его, как честного и не пьющего человека. Наружность Петра была очень невзрачная: маленького роста, несоразмерно широкие плечи, ноги кривые, как всегда бывает у тех, кто

в детстве страдал английской болезнью. Лицо у него было длинное, с неправильными крупными чертами; лоб низкий, с двумя толстыми морщинами, которые двигались вниз и вверх. Трудно было определить, какого цвета были его глаза, полуприкрытые нависшими бровями, да к тому же он постоянно моргал веками. Голова у него была остроконечная, покрытая торчащими вихрами темных волос. Костюм Петра дополнял его уродливость: его отрепанный сюртук был ему не по росту, а полы так длинны, что этот сюртук скорее походил на распашной халат; панталоны, тоже очень старые, всегда были подвернуты внизу и обнаруживали еще более его огромные сапожищи. Жилистая шея его повязана была красным, с черным рисунком, бумажным платком. В одном из его больших ушей была продета сережка. Брился Петр не часто, и потому его подбородок и часть над верхней губой были покрыты как бы щетиной. Петр уверял, что ему всего только сорок лет, когда Некрасов усомнился, по силам ли ему будет, в его преклонные лета, служить у него, потому что придется много ходить с разными поручениями. Петр говорил на «о», растягивал слова и постоянно вставлял среди разговора «вот». Вероятно в доказательство своей бодрости, он был суетлив, и оттого его неуклюжесть выдавалась еще рельефнее. Панаев пришел в ужас, увидев Петра, и заметил Некрасову:

— Где ты отыскал себе такого лакея? Подобных лакеев можно найти только в каком-нибудь захолустье, в уездном городке в гостинице.

— Мне его рекомедовали за честного и не пьющего человека. Для меня важнее всего, чтобы я мог доверять ему бумаги, с которыми мне надо рассылать его.

— Помилуй, да ведь противно смотреть на такое чудище, да еще в таком безобразном и обтрепанном кафтане?

— Приоденется! — флегматически отвечал Некрасов.

Панаев не мог переносить неопрятно одетой прислуги в доме.

Некрасов отдал своему лакею полный костюм из своего платья, но Петр продолжал ходить в своем отрепанном сюртуке-капоте.

— Что же ты не носишь то платье, которое я тебе дал? — спросил его Некрасов.

— А вот доношу, Николай Алексеевич, свой сюртук,— отвечал Петр.

Некрасов по уходе Петра из комнаты заметил мне и двоюродным братьям Панаевым, сидевшим в его кабинете.

— Что делать, придется Панаеву потерпеть, пока Петр доносит свой сюртук.

Вначале Петр перепутывал поручения Некрасова, разнося бумаги в типографию—к цензору, и при этом упорно утверждал, что он разнес бумаги так, как ему было приказано. В это время он быстро моргал веками, и морщины на его лбу приходили в движение — он имел вид идиота.

Всем лакеям присуще благоговение к гостям-генералам или титулованным лицам, но в Петре это чувство доходило до высшей степени. Он вбегал в кабинет Некрасова и задыхающимся голосом произносил: «Генерал-с приехал!». И тут только можно было видеть, какого цвета глаза его, потому что они были вытаращены.

Некрасов не мог добиться от Петра, чтобы он никого не принимал, когда бывала спешная работа по журналу. Петр всем отказывал посетителям, но генерала впускал и на выговоры Некрасова бормотал: «ведь генерал-с вот!»

Панаев всегда приходил в отчаяние, когда Петр врывался в его кабинет с докладом, что к нему приехал граф или князь.

После визита гостя Панаев приходил ко мне и говорил таким тоном, точно бог знает какое случилось несчастье:

— Что же этого Ивана никогда нет в передней, и Некрасова чудище-лакей врывается ко мне с докладом, кто ко мне приехал? Прикажи, чтобы Иван сидел в передней,. а не то пусть убирается вон.

Лакей Панаева был совершенный контраст лакею Некрасова: высокий, стройный, красивый восемнадцатилетний юноша; страшный франт, всегда безукоризненно одетый, он гордо держал свою голову, распомаженную и завитую. Один из аристократических гостей Панаева прозвал Ивана бароном, находя, что у Ивана такой гордый вид и такие манеры, что он не похож на лакея. С тех пор и другие гости стали звать его бароном, и это прозвище льстило ему. Он очень занимался своей красивой наружностью и иначе не чистил самовара и замки, как в старых перчатках Панаева, чтобы не испортить своих рук. Он был круглый сирота и поступил к нам лет четырнадцати. Мы его одевали, но когда он подрос, то его туалет уж очень дорого стоил. Он приходил ко мне с требованием то того, то другого, доказывая, что неприлично комнатному лакею кое-как быть одетым [1].

У Некрасова в кабинете всегда был беспорядок: на окнах лежали книги, рукописи, журналы, газеты, корректурные листы. А на его письменном столе был какой-то хаос. Но Некрасов в этом хаосе находил всегда, что́ ему было нужно, и приходил в отчаяние, когда Петр приводил в порядок его письменный стол. Он призывал Петра и, горячась, говорил ему:

— Опять ты трогал мои бумаги на столе. Куда девался счет у меня из типографии?

— Я только вот пыль стер,— отвечал Петр, моргая глазами.

— Не смей и пыли стирать!

— Как же-с вот?

— Я вот целый час ищу счета после твоей уборки,— продолжая рыться на столе в бумагах, ворчал Некрасов.

— Ну вот и пусть будет пыль! — обиженно бормотал Петр, уходя.

Письменный стол был большой у Некрасова, но ему приходилось писать на маленьком пространстве, потому что этот стол был завален книгами, статьями, корректурными листами.

Первый год Некрасов сам писал рецензии о новых книгах в «Современнике» [2] и откладывал эту работу до последнего дня. Он садился только часов в 12 за работу и часто напролет всю ночь писал. Затем, рано утром, он будил Петра и отсылал свою работу в типографию.

Днем Некрасову мешали писать; постоянно приходили посетители по делам журнала и без всякого дела литераторы. Ему надо было часто ездить к цензорам в комитет, в типографию, читать корректуры, все рукописи, которые присылались из провинции, и те, которые лично приносили сами авторы. Дела было много для одного человека.

Тупость Петра часто выводила из терпения Некрасова: упадет ли книга со стола или корректурные листы, когда он ночью работает,— всё это исчезнет.

Петр оправдывается тем, что это на полу валялось, он и вымел.

— Поди, принеси назад все.

— Да я вот в печь все поклал, как вот топил ее,— объяснял Петр.

Некрасов махал рукой Петру, чтобы он скорее уходил из кабинета.

— Что за охота тебе, Некрасов, держать такого идиота лакея? — говорил Боткин.— Прогони ты его.

— Кто такого идиота будет держать? С голоду помрет. Да в нем есть и хорошие стороны: честен, не пьяница и от скудоумия безопасен, мало ли что срывается с языка в разговорах между нами. Да и не люблю я новое лицо около себя.

Но хорошие стороны в Петре стали умаляться, когда он обжился. За чем бы его ни послали, он всегда дороже заплатит, чем стоит покупка,

даже в аптеке — он уверял, что взяли с него дороже, чем следовало. Если Некрасов или кто из гостей посылал Петра отдать извозчику деньги, то он всегда норовил удержать себе хоть пять копеек. Происходили сцены. Извозчик врывался в переднюю и шумел. Некрасов бранил Петра, почему он не отдавал всех денег. Петр же разыгрывал роль оберегателя Некрасова денег [3].

А. Я. ПАНАЕВА
Акварель неизвестного художника, 1850-е гг.
Институт литературы АН СССР, Ленинград

Между франтом Иваном и Петром с первых же дней установились враждебные отношения. Иван с презрением относился к такому неуклюжему своему собрату и поднимал его на смех в кухне, называя Петра свинопасом, а не комнатным лакеем. Петр также получил прозвище по следующему случаю.

Раз вечером Некрасов читал в корректурных листах описание какого-то иностранного моряка-капитана и как весь экипаж его отбивался от чу-

довищных спрутов, которые лезли на корабль со всех сторон. При чтении присутствовали наши постоянные, общие гости — всё молодежь, но не из литераторов.

— Из типографии вот пришли! — каким-то гробовым голосом произнес вдруг Петр. Приближения шагов его не было слышно: по вечерам, для отдыха своих ног, он надевал валенки.

В эту минуту от казался особенно уродливым: его лицо было заспанное, вихры на голове еще сильнее торчали.

Когда Петр удалялся с корректурой, я заметила, что он меня перепугал своим появлением — мне представилось, что это не он, а спрут вполз в комнату. Молодежь подхватила мои слова и стала звать Петра «спрутом», но только между своими. Некрасов же однажды по забывчивости хотел позвать Петра и крикнул «Спрут!». И к нашему общему удивлению Петр явился на этот зов.

Между нашими постоянными посетителями из молодежи был один шутник и фокусник; он постоянно проделывал разные штуки с Петром, который благоговел к шутнику, вероятно, за то, что тот часто давал на чай.

Этот-то шутник и стал его звать не иначе, как «спрутом». Петр выказывал даже удовольствие, что ему дали какое-то мудреное прозвище, конечно, значение которого он не знал. А затем и другие стали тоже звать его «спрутом».

Шутник, зная, какое производит сильное впечатление на Петра генерал, приехав раз к нам, попросил Спрута принести ему стакан воды и в это время прицепил себе на сюртук генеральскую звезду. Петр, подойдя ближе к нему и увидав звезду, попятился назад, чуть не выронил из рук подноса и, вытаращив глаза, остолбенел.

— Вот тебе на чай,— кладя полтинник на поднос, сказал молодой человек.— Теперь ты должен меня не иначе называть, как генералом.

Но Петр сообразил, что это молодой человек выкинул с ним новую шутку. Он стал называть молодого человека «генералом», но без всякого благоговения.

Вражда между Спрутом и Бароном отзывалась на мне, как на хозяйке дома. Я думаю, сам Соломон пришел бы в тупик рассудить: кто прав, кто виноват, когда прислуга враждует между собой и является с жалобами друг на друга или сваливает вину один на другого.

Я строго запретила являться ко мне с жалобами обоим, но в хозяйстве, поневоле, приходилось, все-таки, устраивать судьбище, которое всегда оканчивалось ничем. Обоих подсудимых я спешила спровадить поскорее от себя, потому что истины трудно было от них добиться.

Иван не в силах был утерпеть, чтобы не разоблачать своего врага. Он говорил мне, что Петр продает бумаги, бутылки из-под вина.

— Как идет из дому, уже у него узел под шинелью. Ни на минуту не оставляет не запертой дверь в свою комнату.

— Тебе-то какое дело? И опять ты со своими глупостями надоедаешь мне? — замечала я Ивану.

— Помилуйте, Авдотья Яковлевна, у нас в кухне никогда прежде ничего не пропадало, а теперь то мелкие деньги исчезнут, то серьги. Мы только молчали, не хотели вас беспокоить, что такой срам происходит у нас.

— Советую тебе следовать примеру других и молчать о том, что у вас делается в кухне,— отвечала я и опечалила этим Ивана.

Из чайного ящика, стоявшего в столовой, быстро стал убывать чай и сахар, а также стеариновые свечи исчезали из буфетной. Иван страшно возмущался и во всем обвинял Петра.

Раз утром Иван явился ко мне и задыхающимся голосом произнес:

— Авдотья Яковлевна, как вам угодно-с, а вы извольте сейчас сделать обыск у всех нас,— опять пропала чайная ложка.

— Как опять? — спросила я.

— О первой пропавшей ложке я ничего вам не говорил, а уж это что же такое,— мы все желаем обыска, чтобы избавиться от сраму, один Спрут артачится и не хочет показать своего сундука.

К великому огорчению Ивана, я отказалась делать обыск сундуков и комодов прислуги.

Иван со слезами говорил:

— Я попрошу вас позволить мне сдать кому-нибудь другому на руки серебро, а за две пропавшие ложки извольте вычесть из моего жалованья.

Не прошло и часу, как Петр пришел ко мне с ложкой в руках и оскорбленным тоном сказал:

— Вот нашел ложку на столе у Николая Алексеевича, вот под бумагами а вот Иван и все в кухне вором меня обзывали. Мальчишке вот, а такую волю дали. Вы вот призовите его и отдайте вот ему ложку при мне.

Но я не исполнила требования Петра и сделала глаз-на-глаз выговор Ивану, что он понапрасну обвинял Петра в краже ложки.

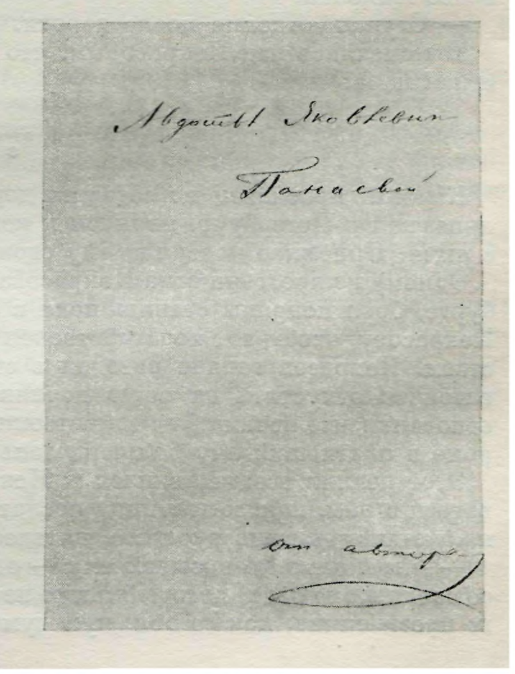
На это Иван с упреком мне отвечал:

— Ах, Авдотья Яковлевна, и вы поверили Спруту? Он испугался, что мы все хотели позвать квартального и просить его сделать обыск у всех у нас. Вот он и принес вам ложку.

Мне пришлось объявить всей прислуге, что какая бы пропажа в доме ни случилась, квартального никто не смел бы звать.

Петр, жалуясь Некрасову на Ивана, как тот обижал его в кухне, даже заплакал и просил защиты.

Некрасов разжалобился и просил меня обуздать Ивана и запретить ему называть вором Петра. Но я объявила Некрасову, что самое лучшее, это не вмешиваться в их распри, потому что тогда покоя не будет от их обоюдных жалоб друг на друга.



ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ НЕКРАСОВА А. Я. ПАНАЕВОЙ НА ЭКЗЕМПЛЯРЕ «СТИХОТВОРЕНИЙ», 1864 г.

Институт литературы АН СССР, Ленинград

***

Некрасову приходилось много ездить по делам журнала. Типография была далеко от нашей квартиры [4]. Он вспомнил, что у его отца стоят в Ярославле дрожки, которыми тот не пользуется, и, послав часть денег отцу за эти дрожки, просил его прислать их ему, а также и лошадь.

С дрожками и с лошадью прибыл дворовый отца Некрасова. Это был еще молодой человек, рябой, с одним глазом, с курчавыми, темными волосами.

Некрасов расспросил его об отце, о дворовых, о крестьянах своей родины, и, дав ему два рубля, сказал:

— Вот, Николай, тебе деньги. Посмотри Петербург, поотдохни, а там я и отправлю тебя домой.

— Николай Алексеевич, вы уж оставьте меня при себе кучером. Старым барином я отпущен на оброк в Ярославль. Вы думаете, что я не сумею править с одним глазом? да я одним лучше вижу, чем другой двумя. Вы уж, сделайте милость, отпишите старому барину, что сами оброк им будете высылать за меня.

— Ну, подумаю.

— Нет-с уж, Николай Алексеевич, оставьте меня при себе, все во дворе и в деревне так уж и прощались со мной, что я останусь при вас. Мои старики за вас богу будут молиться. Сами знаете, в Ярославле место трудно найти; у всякого, кто держит лошадей, свой дворовый кучер.

— Да как ты ездишь-то?

— Господи, в ямщиках жил в Ярославле, на тройке ездил, а с одной лошадью не сумею ездить?

— Ну, а скажи-ка мне по совести, как ты на счет водки.

— Кто же нынче не пьет водки, Николай Алексеевич? — ответил Николай.— Только я пью, как следует. Да уж будете довольны моей службой.

— Ну, хорошо, оставлю тебя, но если ты окажешься неисправным, так держать тебя не стану.

— Останетесь довольны, Николай Алексеевич! — самоуверенно произнес Николай.

— Ступай, отдохни после дороги.

Мы смеялись над Некрасовым, что у него лакей и кучер будут редкостная пара.

***

Каждый ярославец из соседних деревень имения отца Некрасова, если приезжал в Петербург, являлся к нему, и он с удовольствием беседовал с ними. Приезжие поверяли ему свои радости и горе.

Одному из крестьян отца Некрасова посчастливилось нажиться в Петербурге, беря подряды ставить печи в строящихся домах. Он все ходил к Некрасову, чтобы тот ходатайствовал у отца о его выкупе со всем семейством. Некрасов горячо ратовал в своих письмах к отцу, чтобы он согласился отпустить на волю печника. Но отец не соглашался, на том основании, что печник был единственный из его крестьян, живущий на оброке и плативший ему большие деньги.

Этот печник всегда являлся к Некрасову перед праздником посоветоваться с ним, какого гостинца послать старому барину: дорогих вин или какую-нибудь вещь рублей в пятьдесят.

— Ты ничего не посылай ему,— однажды посоветовал Некрасов, рассерженный на отца, который иначе не соглашался отпустить на волю своего крестьянина, как за большую сумму.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К СТИХОТВОРЕНИЮ «ВЛАС»
Рисунок С. А. Коровина, 1878 г.
Русский музей, Ленинград

— Ведь осерчает старый барин, да и вызовет меня в деревню, а у меня сняты подряды на три дома, артель печников большая набрана — разорюсь.

— Слушайся меня. Пиши в деревню, к своим, что болен и хочешь сам вернуться в деревню.

— Для че это?— воскликнул печник потерянно.

— Увидим, что будет,— ответил Некрасов.

Печник, подумав, произнес:

— Известно, ты всякого из нас жалеешь, худого не пожелаешь и мне. Так, значит, не надо посылать старому барину гостинца к празднику и писать в деревню?

Некрасов подтвердил свой совет. Разговор этот происходил при мне. После ухода печника Некрасов сказал:

— Вот и приходится лгать самому и заставлять другого то же делать, чтобы образумить человека, что безбожно требовать такую сумму с крепостного, который и так лет в пятнадцать выплатил за себя оброком большие деньги... Испугается, что ничего не получит.

Некрасов написал стихотворение «Влас» после свидания с одним из бывших крестьян его отца, который был сдан в солдаты, вернулся на родину после продолжительного срока своей службы и, не найдя в живых никого из своего семейства, посвятил остаток своей жизни на собирание пожертвований на построение церкви. Его занесло в Петербург, и он пришел к Некрасову повидаться с ним, с сыном своего бывшего помещика. Некрасов долго беседовал со стариком, попивая с ним чай [5].

* * *

Кучера Николая экипировал Некрасов с ног до головы, но Николай не имел хорошего вида на козлах; он сидел боком, вожжи держал распустивши, задергивал лошадь, нещадно бил ее кнутом, без всякой нужды.

Его новый кафтан очень быстро превратился в засаленный; он никогда не застегивал его на все пуговицы; кушак надет был криво; шляпа на затылок.

Панаев пожимал плечами, встречая Некрасова едущего. Раз я шла с Панаевым, и мы увидали, как Некрасову чуть не попало дышлом в голову, так хорошо правил Николай.

Панаев говорил Некрасову:

— Ездить с таким кучером, это значит подвергать свою жизнь каждую минуту опасности.

— Привыкнет!— флегматично повторял Некрасов.— Да разве извозчики лучше ездят, чем Николай?

Однажды утром Некрасов вернулся домой сильно прозябший. Ему пришлось не только самому править лошадью, но еще держать в объятиях Николая, успевшего окончательно напиться в те промежутки, когда Некрасов заходил в типографии.

На другой день утром Некрасов отечески усовещивал своего кучера, явившегося к нему с повинной головой.

Николай божился, что без приказания Некрасова в рот капли водки не возьмет.

— Я тебе не запрещаю пить водку, но пей в меру и лучше не закладывай лошадь, если напился.

— Слушаю-с!— отвечал Николай.

Как-то мы сидели за завтраком. Некрасов послал Ивана сказать кучеру, чтобы тот скорее закладывал лошадь, но Иван вернулся с ответом, что кучер не будет закладывать лошади, потому что сам барин приказал ему не закладывать, когда он бывает выпивши.

Все присутствовавшие за завтраком, конечно, рассмеялись, и сам Некрасов, улыбаясь, сказал:

— Однако Николай ловко воспользовался моею оплошностью.

Один только Боткин, гостивший в то время у Панаева, не смеялся, а раздражительным тоном сказал Некрасову:

— Я удивляюсь, как тебе не омерзительно смотреть на своего Николая.

— Я не чувствую омерзения к ним, а жалость, потому что с детства насмотрелся на их жизнь, начиная с их детства и до смерти. И мы с тобою были бы такими же, если бы родились дворовыми.

— Гуманность, любезный мой, есть продукт цивилизации, но развитому человеку омерзителен вид двуногого животного.

— А кто превратил их в двуногих животных, как не цивилизованные люди?— спросил Некрасов.

Панаев хотел что-то сказать, но Боткин остановил его вопросом:

— Зачем же ты отпустил на волю своих дворовых и нанимаешь вольную прислугу?

Панаев не нашелся вдруг ответить.

— А это, любезнейший, доказывает, что в тебе не было закваски помещика. Эстетическое чувство в тебе развилось, а такой человек не может видеть около себя этих дикарей.

— Да ведь у Некрасова нет ни души дворовых,— проговорил Панаев.

— Не стоит, господа, продолжать этого разговора,— вставая из-за стола, сказал Некрасов,— пусть лучше я останусь с закваскою помещика на всю жизнь, да не буду с отвращением относиться к людям только потому, что они родились на барском дворе.

Боткин надулся на Некрасова и прочел целую лекцию о том, как необходимо развивать в себе эстетическое чувство.

— Мне претит русский овчинный тулуп,— говорил он,— мое обоняние не может переносить этого запаха. Я в Германии и во Франции с

удовольствием беседовал с рабочими, видел в них себе подобного человека, а не двуногого животного, у которого в лице нет тени интеллигенции, и одежда-то на нем звериная.

Между тем, Николай более не присылал ответа, будет ли он или не будет закладывать лошадь. С этого времени он всегда исполнял приказание, но выходило хуже. Он вывалил раз в пьяном виде Некрасова из саней в кучу грязи. Некрасов принял меры. Как только он замечал, что Николай выпивши, то на половине дороги пересаживался на извозчика, а ему строго приказывал сейчас же ехать домой, распрячь лошадь и лечь спать.

Но однажды, недалеко отъехав от дому, Некрасов отослал лошадь домой, и когда возвратился к обеду, то встревожился, что Николай с тех пор еще не возвращался.

— Ну, значит, Николай нахлестался до бесчувствия и попал в полицию,— заметил он.

Петр был послан разыскивать Николая, который, действительно, очутился на съезжей; дрожки были изломаны, и у лошади зашиблена нога. Все это донес Петр своим бестолковым слогом; о самом же Николае Некрасов спросил:

— Да целы ли ноги и руки у Николая?

— Вот, целехоньки! — ответил Петр.— Вот, только маленько подбита скула,— квартальный бил его.

— А хмель-то вышиб из него?

— Вот, ни в одном глазу нету, теперь, вот, и плачет.

Некрасов велел Петру вместе с Николаем привести лошадь и дрожки домой...

— Вот, квартальный не выпустит Николая, вишь, двадцать пять рублей подай ему,— твердил Петр.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К СТИХОТВОРЕНИЮ «ОГОРОДНИК»

Гравюра с рисунка М. О. Микешина,

«Кругозор» 1876, № 1

С большим трудом добился от него Некрасов, что квартальный требовал с Николая за поломанные дрожки у извозчика, который заявил претензию на Николая в полицию.

— Ах, разбойник! — воскликнул Некрасов.— Лошадь искалечил, дрожки сломал, да еще двадцать пять рублей плати! Пусть же его посидит.

Но на другое утро он послал деньги квартальному.

Дрожки до того были исковерканы, что чинить их не стоило. Ногу лошади надо было долго лечить.

Николай явился с обвязанным лицом к Некрасову, который сурово его спросил:

— Зачем ты пришел, разве я тебя звал?

— Простите, Николай Алексеевич! — слезливым голосом проговорил Николай. — Пожалейте моих стариков. Я уж заслужу вам, только не отсылайте меня к старому барину.

— Дурак ты,— на что мне кучер, когда ни лошади, ни дрожек у меня теперь нет по твоей милости?

— Ногу у лошади я скорехонько залечу, а за починку дрожек вы уж высчитайте из моего жалованья.

— Нет, мне выгоднее и спокойнее держать месячного извозчика, чем свою лошадь.

— Коли я вам не нужен, так я на место пойду, только уж вы не отписывайте старому барину, а то он меня вытребует отсюда.

Николай стал всхлипывать и винить знакомых кучеров, которые его спаивали.

— Теперь, Николай Алексеевич, даю вам крепкий зарок: не токмо пить водку, но даже смотреть на нее не буду.

— И прекрасно сделаешь.

— Так, значит, я буду себе место приискивать, Николай Алексеевич.

— Приискивай.

— Мои старики век за вас будут молить бога.

— Ну, хорошо, хорошо! Сначала залечи себе синяки и никому не показывайся, а потом ищи себе место.

Но Николай более двух недель не уживался на местах и уверял Некрасова, что ему «незадача» и что будто бы его не прогоняли, а он сам уходил с них.

Наконец, однажды он явился просить Некрасова отправить его в деревню.

— Соскучился по своим старикам, Николай Алексеевич. Отец пишет, что мать больна, помрет еще, и я останусь без ее благословения.

— Ну, с богом, отправляйся! — ответил Некрасов и дал ему денег на дорогу.

Перед своим отъездом Николай, прощаясь с Некрасовым, прослезился.

Прошло дней пять. Как-то утром, когда я встала, на мой звонок явилась горничная с заплаканными глазами. Я спросила о причине ее слез и уже предвкушала предстоящую мне тяжелую обязанность разыгрывать роль судьи.

— Ах, Авдотья Яковлевна, мы все наплакались в кухне, глядя на бедного Николая,— отвечала горничная.

— Как? разве он не уехал? — воскликнула я.

— Нет. Сегодня, недавно, пришел в кухню и так плачет, так плачет...— говорила горничная, утирая слезы.— Петр с дворником поили его два дня и все деньги у него отобрали, что ему дано было на дорогу. Он не евши сидел два дня в кучерской,— и горничная опять заплакала.— Он хочет вас повидать.

ОБЪЕЗД ВЛАДЕНИЙ
Картина маслом Н. Д. Кузнецова, 1879 г.
Третьяковская галлерея, Москва

Я пошла в кухню. Николай упал к моим ногам и, рыдая, молил меня отправить его в деревню.

Горничная, прачка и кухарка утирали слезы и тоже просили меня сжалиться над жертвой жестокосердого Петра и дворника.

Некрасов также был поражен, узнав, что Николай еще пребывал в Петербурге. Сгоряча, он хотел было исследовать дело, но, конечно, ничего не добился. Петр божился, что он знать не знал о пребывании Николая в кучерской, а дворник доказывал: почему он должен был знать, что кучер рассчитан и ему, выпивающему, давали деньги.

Некрасов вынужден был дать снова денег на дорогу Николаю, отправив его под присмотром знакомого ярославского огородника, ехавшего также на родину по соседству с деревней отца Некрасова.

* * *

Я уже упоминала в своих воспоминаниях, какие печальные последствия имела история Петрашевского на «Современник». Уныние и тревога царили в редакции. Как издатель «Современника», так и его сотрудники опустили голову. Прежних оживленных споров и разговоров более не слышалось. Гости не собирались на обеды и ужины. Некоторые литераторы забегали в редакцию на короткое время. Все говорили тихим голосом, передавая тревожные известия об участи заключенных молодых литераторов, замешанных в историю Петрашевского [6].

По вечерам, для развлечения, Некрасов стал играть в преферанс, по четверть копейки, с двоюродными братьями Панаева, с художником Воробьевым и его братом [7].

Некрасов тогда еще в Английский клуб не ездил и даже не помышлял о том, что когда-нибудь сделается членом этого клуба [8].

Я заметила, что Петр сделался необыкновенно бодрствующим. Прежде он по вечерам всегда спал, а тут, кто бы ни позвонил у парадной двери, он появлялся в передней.

Иван таинственно сообщил мне, что Петр, как кто придет вечером из гостей, бежит в дворницкую, где постоянно сидит какой-то господин, и что он же подслушивает у двери из темного коридора.

В кабинете Некрасова было две двери: одна — в переднюю, другая — в коридор.

Я стала следить, и точно: спущенная занавеска колыхалась у дверей в коридор, когда играли в преферанс. Тогда я предупредила играющих, чтобы они были осторожнее в разговорах, так как Петр подслушивает у дверей.

Шутник пообещал отучить Петра подслушивать у дверей и на другой же день вечером предупредил играющих, чтобы они не пугались, если Спрут заорет в коридоре.

— Пожалуйста, не выкиньте с ним опасной шутки,—заметил Некрасов молодому человеку.

Вскоре в коридоре раздалось хлопанье хлопушек и дикие крики Петра, который, весь побледнев, стоял прислонясь к стене и дрожащей рукой крестился, когда шутник открыл дверь и осветил свечой коридор.

Петр, вероятно, догадался, что это проделал с ним шутник, и стал сердито посматривать на молодого человека и перестал его называть «генералом».

Советовали Некрасову прогнать Петра, но он отвечал:

— Я никогда так не был доволен Петром, как теперь. Он по своему тупоумию не в состоянии связно передать какой-нибудь подслушанный им разговор, а тем более присочинить что-нибудь подходящее к тому, что говорилось между нами [9].

Петр прослужил у Некрасова года три и сам заявил ему, что хочет ехать на покой в деревню, и тут только сознался, что ему не сорок, а пятьдесят пять лет, и ему тяжело ходить с поручениями.

Рассчитавшись с Петром, Некрасов не огорчился, так как на опыте убедился, что честность его ненадежна.

— А Спрут-то поворовывает у меня деньги,— сказал он мне месяца за два до отъезда Петра. Но меня это не удивило — я уже давно сомневалась в честности Спрута.

Впрочем, Некрасов сам был виноват: он разбрасывал свои карманные деньги на письменном столе, а так как тогда их было у него немного, то убыль легко было ему заметить.

Пропадали также и книги из кабинета, а после отъезда Петра обнаружилось еще, что у Некрасова пропала часть белья и некоторое платье. Но он за это не сердился на Петра; опечалило его только, что Спрут стащил у него разные охотничьи принадлежности, а главное — новые охотничьи сапоги.

— Пусть бы еще вдвое взял из моего белья и платья, только бы охотничьи мои сапоги не трогал,— говорил Некрасов.— Ни одни сапоги так покойны не были, как эти. И на что они ему? На его лапу не влезут.

Но, кроме всего упомянутого, впоследствии оказалось, что Петр с чердака, где лежали отпечатанные листы запрещенного «〈Иллюстрированного〉 Альманаха», постоянно брал их и продавал букинисту. И эта проделка Петра открылась только после его отъезда, когда надо было переезжать на новую квартиру [10].

— Ай да Спрут! — сказал Некрасов, узнав об исчезновении с чердака листов.— Оправдал свое прозвище, все сцапывал, что попадалось. Значит и книги мои он продавал букинистам? На вид совсем идиот, а на наживу денег у него хватило сообразительности.

Я шутливо пеняла Некрасову, что он не снял портрета с Петра себе на память.

***

После Петра к Некрасову нанялся лакей благообразной наружности и не шокировавший Панаева своим неопрятным туалетом. Семен ⟨Василий⟩ [11] был небольшого роста; цвет лица у него был бледно-желтоватый без всякого оттенка. Волосы, брови, ресницы светлые; глаза небольшие, бледносерые. Но, несмотря на эту бесцветность, выражение его лица было суровое. Василию было только двадцать пять лет, а может быть даже и меньше, но веселого лица у него никогда не было, и смеха его также никто не слыхал. Он только иногда улыбался, и тогда из полуоткрытого большого рта его виднелись два ряда крепких, частых, белых, больших зубов. И что удивительно, так это то, что у Василия появлялась улыбка при таких случаях, когда у всякого другого изобразился бы на лице

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К СТИХОТВОРЕНИЮ «ГЕНЕРАЛ ТОПТЫГИН»
Акварель В. А. Серова, 1904 г.
Русский музей. Ленинград

испуг или жалость. Например, он улыбался, если кто ушибется или упадет; улыбался глядя, как колотили упавшую лошадь, везшую какую-нибудь тяжесть, или видя несчастного пьяного с окровавленным лицом. Сам же Василий вина не пил, со двора не ходил, и никто из его знакомых к нему не ходил. Он был несловоохотлив, исполнителен, честен и вообще, как лакей, был хороший.

Но зато сладу с ним не было, так он донимал всю остальную прислугу своими злыми выходками. Со всеми он был на ножах и ни с кем не вел дружбы.

Василий подливал кислоты в кофейник горничной, правда, немного; он насыпа́л нюхательного табаку в перечницу прачки, которая иначе не ела ни щей, ни супа, как только с перцем; протягивал веревку у порога входной двери в кухню для повара, который очень часто во время стряпни бегал выпить в портерную и, впопыхах, иногда не совсем твердый на ногах, со всего размаха растягивался на полу.

Все эти штуки Василий проделывал так ловко, что явных улик никто из пострадавших не мог представить. И когда я делала выговор ему за его злые проделки, он мне отвечал:

— Я в кухне не сижу, почем мне знать, что у них там делается.

Повар часто напивался к самому обеду, и тогда приходилось судомойке вместо него готовить половину обеда. И хотя она лучше повара жарила пирожки к супу и дичь, но Василий, приходя за переменой блюд в кухню, говорил:

— Ах, ты, поломойка, берешься кухарничать! Господа сидят голодные, никто не хочет есть твоей стряпни. Собаку твоими пирожками накормили, и ту вырвало.

И видя на глазах судомойки слезы, Василий улыбался.

На масленице судомойка опять должна была отпускать обед вместо повара и, увлеченная печеньем блинов, не заметила, как у нее затлелось платье от плиты. Василий, видя это, не предостерег ее, а ждал, когда оно совсем загорелось, и тогда только заметил мрачным тоном:

— Кухарка, горишь!

И он улыбался, когда судомойка, увидев себя в пламени, с испугом заметалась по кухне и сильно обожгла себе локоть.

Но любовь, должно быть, смягчает характеры. Женившись на моей горничной, Василий бросил свои злые проделки над остальной прислугой, к которой он, однако, попрежнему относился грубо и пренебрежительно.

У Некрасова очень изменился характер, когда у него началась боль в горле. Он сделался раздражительным и нетерпеливым. Василию часто доставалось от него.

В начале пятидесятых годов Некрасов стал ездить в Английский клуб раза два в неделю и очень счастливо играл в коммерческую игру, но, не имея денег, не мог один играть, а надо было ему товарища, который бы держал половину куша за пуан.

Я несколько раз замечала Некрасову, что он втянулся в карты; он самоуверенно отвечал, что у него всегда хватит настолько характера, чтобы бросить игру, когда захочет. А когда я говорила, что карты вредно должны действовать на его нервы, то он возражал:

— Напротив, за картами я еще притупляю мои нервы, а иначе они бы меня довели до нервного удара. Чувствуешь потребность писать стихи, но знаешь заранее, что никогда их не дозволят напечатать. Это такое состояние, как если бы у человека отрезали язык, и он лишился возможности говорить.

— Может быть, настанет другое время,— говорила я.

— Доживу ли я еще до того времени, перегорит во мне все, и я никуда не буду годен, если и останусь жив.

Хандра часто находила на Некрасова, да и обстоятельства способствовали тому.

Болезнь горла у Некрасова все усиливалась, и он сделался до крайности раздражителен.

Василий приходил ко мне и говорил убитым голосом:

— Что мне делать, Авдотья Яковлевна? Меня прогнал Николай Алексеевич.

— За что?

— Да за то, что я два раза напоминал ему, что надо полоскать горло.

Я советовала Василию дать успокоиться Некрасову и не показываться ему, пока он сам не позовет.

— А как не позовет?

Я утешила Василия, что Некрасов его позовет, и, действительно, через час он позвонил.

— Не пора ли мне полоскать горло? — спросил у Василия Некрасов.

— Пора.

— Так давай! — шопотом произнес Некрасов.

После сильного раздражения и без того не сильный голос совершенно пропадал у него. В это время Некрасов иногда с ужасом говорил:

— Какая предстоит мне перспектива — сделаться немым!

Он вдруг бросал все лекарства, не видя улучшения своей болезни, не держал предписанной докторами диэты и злился, если ему напоминали, что какого-нибудь кушанья нельзя есть; то опять впадал в крайность и чуть что не морил себя голодом.

Одну зиму он даже не выходил на воздух, по совету докторов, чтобы не простудить еще больше горла.

Понятно, что нервы у него были раздражены мрачными мыслями, не покидавшими его, о близкой смерти. Напишет, бывало, стихотворение, прочтет его и заключит словами:

— В печати мне его не удастся видеть: своего последнего, этого последнего стихотворения. К весне буду готов.

— Напротив, весной доктор надеется, что ваша болезнь горла пройдет.

— Петь буду в концертах даже! — иронически отвечал Некрасов и затем разражался бранью на всех докторов.

А иногда Некрасов сам начинал мечтать о том, как к лету он выздоровеет, уедет в деревню и будет ходить на охоту:

— Какое это будет блаженство! Не будешь видеть этих корректур, исправленных цензором, не будешь видеть этого длинного Праца, являющегося за деньгами.

Прац был хозяин типографии, в которой печатался «Современник», когда начался он издаваться.

И точно, вид Праца не только больному Некрасову, но и здоровому человеку не очень-то мог быть приятен. Он приезжал за деньгами, а в

ФОРЗАЦ И ТИТУЛ ОДНОТОМНИКА «ИЗБРАННЫХ СТИХОТВОРЕНИЙ» НЕКРАСОВА, ИЗДАНИЕ ДЕТГИЗА

Акварель Д. А. Шмаринова, 1946 г.

Третьяковская галлерея, Москва

это время денежные дела журнала были очень плохие. Подписка туго прибавлялась после 1848 года, потому что цензура не пропускала ничего живого [12].

Некрасов говорил:

— Право, я удивляюсь, как еще снисходительны подписчики, что продолжают выписывать «Современник». Читать в нем нечего, благодаря цензуре.

— Да ведь и в других журналах читать нечего,— замечал кто-нибудь ему.

— Печальное утешение,— отвечал он.

Некрасов при самом начале издания «Современника» мечтал о дешевой газете.

— Кабы были деньги, сейчас бы начал издавать дешевую газету. Я уверен, что дешевая газета десятки тысяч имела бы подписчиков.

Многие сомневались в успехе дешевой газеты, но Некрасов горячо защищал свою мысль об издании такой газеты.

В Крымскую кампанию Некрасов горевал, что не удалось ему осуществить свою идею относительно издания дешевой газеты:

— Ведь в самом захолустье России жаждут прочесть, что творится с их сыновьями, мужьями, а разве большинству доступно выписывать наши дорогие газеты?

И будь у Некрасова тогда деньги, он наверно бы стал издавать дешевую газету [13].

Несмотря на свою болезнь, Некрасов не охлаждался к журналу и попрежнему старался по возможности выпускать номер хотя сколько-нибудь поживее.

* * *

Я уже упоминала в прежних моих воспоминаниях о пребывании Некрасова за границей [14] и как европейские светила-доктора приговорили его к смерти. Он вернулся в Петербург умирать, а вместо того выздоровел.

Подписка на «Современник» с каждым годом увеличивалась; денежные дела журнала более не озабочивали Некрасова. Он имел хороших помощников по изданию журнала [15] и мог пользоваться отдыхом. Он опять стал ездить в Английский клуб и уже поздно ночью возвращался домой, забыв совет доктора, вылечившего ему горло, что надо вести правильный образ жизни. Когда же ему об этом напоминали, то он сердился и находил, что ему необходимо притупить свои нервы и что игра в карты не может повредить здоровью.

Я как-то раз заметила Некрасову, что, втянувшись в игру, он не в состоянии будет остановиться и тогда, когда его счастье в картах изменит ему.

— В чем другом у меня нехватит характера, а в картах я стоик! Не проиграюсь! — самоуверенно отвечал Некрасов.

Я напомнила ему факт, как несколько лет тому назад он в какой-нибудь час проиграл тысячу рублей, которые для него тогда составляли очень значительную сумму. Однако, играя, он забывал об этом.

— Это был исключительный случай. Я слишком был поражен своим необычайным несчастьем и одурел. Но теперь я играю с людьми, у которых нет длинных ногтей, а если и есть у кого, то он ими не воспользуется.

Факт, который я напомнила Некрасову, заключался в том, что господин А..., только что выступивший на литературное поприще своей повестью, приехал в Петербург из дальней провинции, где он постоянно жил. Он обедал у нас и после обеда предложил Некрасову и Панаеву сыграть в

преферанс. Играли недолго. Панаеву надо было ехать куда-то на вечер, и он уехал. А... предложил Некрасову сыграть в банк.

— Я давно не играл в банк,— сказал Некрасов.

— Ну, ставьте рубль,— сказал А..., тасуя карты.

Некрасов написал мелом рубль, прикрыл карту и, пока ставил небольшие куши, все выигрывал.

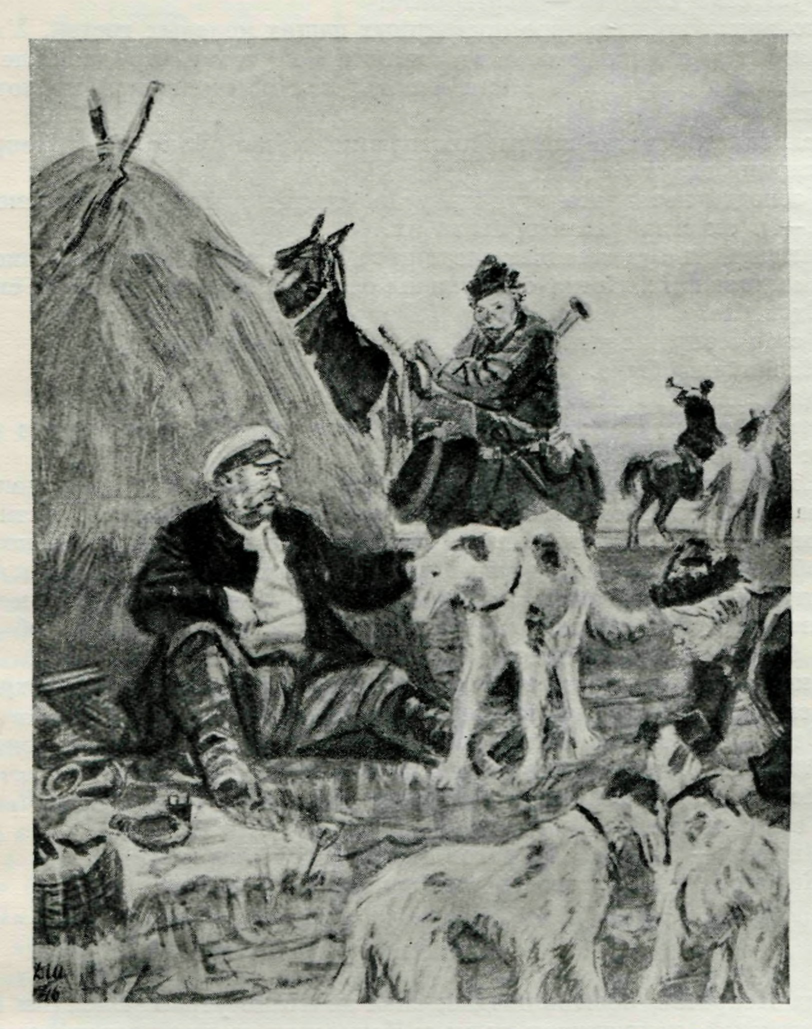


ИЛЛЮСТРАЦИЯ К СТИХОТВОРЕНИЮ «ПСОВАЯ ОХОТА»
Акварель Д. А. Шмаринова, 1946 г.
Третьяковская галлерея, Москва

— Вот какое вам счастье,— говорил А... с досадою.

— Ну, не злитесь,—сказал Некрасов и поставил все 25 рублей, которые выиграл.

Карта его была убита.

Некрасов опять поставил 25 рублей и проиграл их.

Терминов я не припомню, но в какой-нибудь час Некрасов проиграл тысячу рублей.

Я удивилась тогда спокойствию, с которым играл Некрасов, всегда запальчивый в игре. Несмотря на уговаривание А.., продолжать игру,

убеждавшего, что проигравший может отыграть свои деньги, Некрасов. вставая из-за стола, сказал:

— Нет! больше не хочу играть. Сейчас вам принесу деньги.

Получив деньги, А... уехал [16].

Некрасов сидел в раздумьи у стола и сказал:

— Что за странность? Маленький куш ставил — выигрывал, а большой куш стал ставить — карта бита!

В это время пришли трое постоянных наших молодых гостей. Увидав, что раскрыт ломберный стол, они заметили Некрасову, что давно не играли с ним в преферанс, и стали играть, как обыкновенно, по четверти копейки.

Сдавались те самые карты, которыми метал банк А... Некрасов, взяв карты, вдруг сказал:

— Господа, позвольте эту сдачу не считать, мне нужно осмотреть карты,— и он стал рассматривать их.

Играющие и я с удивлением следили за Некрасовым, который пристально расследовал их. Когда он окончил осмотр карт, то спокойно сказал:

— Сдавайте.

Его стали спрашивать, зачем он рассматривал карты.

— Мне нужно было.

Играя, Некрасов все время шутил.

Когда гости, поужинав, ушли, Некрасов, взяв колоду карт в руки, сказал:

— Посмотрите, каждая карта отмечена ногтем. Ай да молодец, вот для чего отпускает себе длинные ногти! Ах, несчастный! Довести себя до такого позора. Если бы это не случилось со мной, я ни за что не поверил бы, чтобы не глупый человек уже в зрелых летах способен был так нагло дозволять себе проделывать такие низкие вещи. И еще талант есть; к кругу литераторов будет принадлежать! Никому не надо говорить об этом, может быть, он образумится.

А... как ни в чем не бывало опять обедал у нас и приглашал Некрасова опять сыграть в банк, но тот отказывался.

— Отыграете, может быть, свои деньги.

— А может быть, еще проиграю вам.

— Не всё же так несчастье вам будет. Да и я скоро уеду домой, тогда увезу ваши деньги.

— Увезите,— отвечал Некрасов и потом говорил мне:

— Кажется, у А... совесть заговорила. Дай-то бог!

* * *

Когда Некрасов, ложась поздно, спал долго по утрам, Василия никто из посетителей, являвшихся лично к Некрасову, не мог уговорить, чтобы он разбудил его, и мне кажется, если бы квартира загорелась, то он только тогда начал бы будить Некрасова, когда уже горела бы соседняя комната.

Раз я заметила, проходя через сени из редакции на свою половину, как у дверей подъезда какой-то господин говорил Василию:

— Третий раз прихожу на этой неделе, и ты мне одно и то же отвечаешь, что он спит.

— Что нужно, идите в редакцию,— отвечал отрывисто Василий.

— Да мне лично нужно видеть господина Некрасова.

— Тогда приходите, когда он не спит!

— А в какое время?

— А я почем знаю? — отвечал Василий, захлопывая дверь.

Я стала говорить Василию, что нельзя так грубо отвечать посетителям.

А. Я. ПАНАЕВА
Фотография 1880-х гг.
Институт литературы АН СССР, Ленинград

— А то будить Николая Алексеевича для всякого, кто его спрашивает? Мало ли таких шляется к нему за деньгами. Кому за делом нужно, так тот идет в редакцию.

Я, однако, сказала Некрасову, чтобы он велел Василию быть вежливым с теми, кто к нему приходит, и хотя сколько-нибудь разнообразить свои ответы: что, мол, дома, нет, или нездоров, не принимает, а то твердит всэ одно: «спит».

Иногда Василию доставалось от Некрасова за церберское охранение его сна. Некрасов, бывало, сам назначит час кому-нибудь, когда его можно видеть, но Василий спровадит явившегося господина.

Некрасов начнет его бранить за это. По праву долго жившего слуги в доме Василий делал ему вопрос:

— Да разве вы приказывали мне, ложась спать, чтобы я вас разбудил, когда придет этот господин?

— Ну, забыл!

— Так я-то чем виноват?

Между Василием и Некрасовым происходили лаконические разговоры.

— Сколько? — спрашивал Некрасов за завтраком.

— Десять,— отрывисто отвечал Василий.

Это значило 10 градусов морозу.

— Сани!

— Ветер.

— Сани! — настойчиво повторял Некрасов.

Через полчаса Василий появлялся в дверях и докладывал мрачным тоном:

— Карета подана!

— Какая карета? Я тебе велел сани заложить! — прикрикивал на Василия Некрасов.

— А ветер?

— Не твое дело! Вели кучеру заложить сани.

Василий удалялся и через четверть часа еще более мрачным голосом произносил:

— Готово!

Некрасов выходил и находил у подъезда все-таки карету.

Он начинал бранить Василия, который, отворив дверцы, говорил:

— Садитесь, что на таком ветру стоять.

Некрасов покорно садился в карету, убедясь, что, точно, сильный ветер.

В передней иногда происходили комические сцены. Некрасов выходил в переднюю, чтобы ехать в клуб. Василий держал шубу наготове.

— Пальто! — произносил Некрасов.

Василий, не слушая его, накидывал ему на плечи шубу. Некрасов сбрасывал ее и, горячась, говорил:

— Русским языком я тебе говорю: пальто подай.

Василий, что-то ворча, подавал пальто и совал в руки Некрасову меховую шапку. Тот бросал ее на стол, и тогда Василий мрачно его спрашивал:

— Простудиться, что ли, хотите?

— Не умничай! — отвечал Некрасов, надевая шляпу.

Василий подавал кашне. Некрасов отстранял рукой кашне и шел с лестницы, а Василий, провожая его до экипажа, тихонько всовывал ему кашне в карман.

Если Некрасов уезжал в клуб обедать в санях и приказывал кучеру приехать за ним в такой-то час, Василий распоряжался, чтобы кучер, заложив карету, взял шубу, меховую шапку и отвез бы их в клуб, а пальто и шляпу немедленно привез бы домой.

У Некрасова всегда были охотничьи собаки, и Василий самым аккуратным образом сам их проваживал и кормил. Собака «Оскар» прослужила несколько лет Некрасову и была уже стара.

Василий однажды при мне позвал Оскара, покоившегося на турецком диване, и сказал:

— Ну, капиталист, иди гулять!

Я спросила, отчего он Оскара называет капиталистом.

— Николай Алексеевич хочет на его имя положить в банк деньги,— ответил Василий.

Я улыбнулась.

— Вы думаете, не положит? Еще вчера опять Оскару говорил, что положит ему капитал.

Василия трудно было убедить, что Некрасов шутил.

Часто из клуба Некрасов приезжал с гостями часов в 12 ночи, чтобы играть в карты. В клубе не хотели играть в большую игру, потому что потом много толковали о том, кто сколько выиграл и проиграл; иногда игра продолжалась с 12 часов ночи до 2 часов пополудни другого дня. И можно судить, какая большая была игра, если однажды Василий поднял под столом; когда гости пошли ужинать, пачку сторублевых ассигнаций в тысячу рублей. Хозяина не нашлось этих денег, и потому решили, пусть возьмет себе Василий их [17].

Добро бы компания игроков были молодые люди, но все почтенных лет, занимающие высокий пост. Часто лакей чей-нибудь из этих игроков ждал приезда своего барина с платьем, чтобы тот мог переодеться у Некрасова, так как прямо приезжал с придворного бала.

Василий нажил себе капитал. Иногда он в один вечер или, вернее, в одну ночь имел дохода от карт до пятидесяти рублей, да, кроме того, получал на чай от гостей по десяти и даже по двадцати пяти рублей.

Меня не интересовало, сколько Некрасов выигрывал и проигрывал, и я никогда не спрашивала его об этом. Но другие интересовались этим и при мне спрашивали, сколько он выиграл вчера.

— Пустяками окончилась у меня игра — тысяч 40 выиграл. Сначала был в выигрыше 150 тысяч, да потом не повезло. Впрочем, завтра на утреннике, может быть, верну эти деньги.

Утренниками Некрасов называл, когда собиралась постоянно одна и та же компания играть у кого-нибудь из них с часу до шести часов вечера.

Некрасов также говорил:

— Я сегодня еду на единоборство.

Это означало, что игра будет с кем-нибудь из компании только вдвоем.

В то время Некрасов исполнял все свои прихоти, не задумываясь о деньгах. Многие, конечно, завидовали ему, многие обращались к нему: кто за деньгами, кто за покровительством чьим-нибудь его влиятельных знакомых.

Сборы бывали большие, когда Некрасов ездил на медвежью охоту. Везлись запасы дорогих вин, закусок и вообще провизии; брался повар, Василий, складная постель, халат, туфли.

Не знаю, получал ли Некрасов от этой охоты такое же удовольствие, какое он испытывал, когда прежде ездил на телеге верст за 35 от Петербурга и брал с собою только фляжку коньяку, пару жареных цыплят и кусок жареной говядины.

Но тогда он возвращался с охоты оживленным и сейчас же принимался за работу. После же охоты со всевозможными удобствами Некрасов был вял, ворчал, что желудок испортил и устал.

Повидимому, при такой жизни человек должен был бы быть довольным, но у Некрасова нередко выпадали дни мрачные. Под предлогом нездоровья он сидел дома, никого не хотел видеть, не спал ночи, ничего не ел, и, по выражению его лица, ясно было видно, что в эти дня два ему было страшно тяжело. Должно быть, в подобные минуты он испытывал те нравственные страдания, которые выразил в своем стихотворении «Рыцарь на час».

Я не знаю, какой капитал был у Некрасова, но, судя по лести и лицемерной дружбе некоторых личностей, окружавших его, должно быть был очень изрядный. Конечно, эти лесть и дружба расточались только в глаза ему, а перешагнув за порог его двери, те же личности беспощадно ругали его и даже клеветали на него.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Нечто очень похожее находим в основном тексте «Воспоминаний» Панаевой, но там речь идет о Василии. Вот этот отрывок: «У нас служил мальчик, лет 16, круглый сирота. Я взяла его еще дитятей. Из замухрышки образовался такой отчаянный франт, что иногда он задерживал обед, потому что не хотел являться к столу иначе, как завитой, ругался с прачкой. если она ему нехорошо накрахмалила рубашку, не хотел чистить ножи и вилки, находя, что у него испортятся руки; вообще он держал себя с такою важностью, что один господин прозвал его «бароном» (изд. 1927 г., 247). Приведенный отрывок относится к 1848—1849 г., как и публикуемый текст. Так как имя Василий встречается в основном тексте у Панаевой всего лишь один раз, да и то мельком, вероятнее всего, что она ошиблась и что имя лакея на самом деле было Иван. Ср. в другом месте: «Насколько я была памятлива на лица, настолько же забывчива на имена и фамилии» (172—173).

[2] Эти рецензии Некрасова неизвестны. Отдел библиографии в «Современнике» с самого начала, в основном, стал вести Белинский. Ср., например, в письме Некрасова к А. В. Никитенко от 22 января 1847 г.: «Библиографию ⟨для № 2 «Современника»⟩ пишет Белинский» (Письма, 76).

[3] В тексте «Русской Жизни» последние два абзаца («— Кто такого идиота будет держать?.. оберегателя Некрасова денег») явно ошибочно попали не на место. Они напечатаны ниже, после абзаца «Вражда между Спрутом... один на другого». Исправляем ошибку по смысловой связи с контекстом.

[4] Типография Праца, где в первые годы печатался «Современник», с 15 мая 1845 г. помещалась на Мойке, возле Цепного пешеходного моста, в доме Н. И. Греча, недалеко от дворца Юсуповых, по тогдашней нумерации № 83,— ныне Мойка, 94 (см.

«С.-Петербургские Ведомости» 1845, 2 июня, № 122/1417). Панаевы и Некрасов жили в это время на Фонтанке, между Аничковым и Семеновским мостами, в доме княгини Урусовой,— ныне Фонтанка, 23 (Письма, 72).

[5] Эти строки разъясняют историю замысла «Власа» (1854), до сих пор неизвестную в литературе.

[6] В «Воспоминаниях» Панаевой нет ничего о последствиях дела Петрашевского для редакции «Современника». О Петрашевском вне связи с «Современником» см. стр. 278. 283, 284 основного текста мемуаров.

Дело Петрашевского упоминается Некрасовым в поэме «Недавнее время» (1871).

[7] Сократ и Ксенофонт Воробьевы.

[8] Некрасов стал членом Английского клуба в 1854 г. (см. «Столетие С.-Петербургского Английского собрания», СПб., 1870, 133), однако бывал там и раньше. См., например, письмо к Тургеневу начала ноября 1852 г. (Письма, 174).

[9] В основном тексте «Воспоминаний» Панаевой завербованными слугами оказываются дворник и лакей Панаева, Василий (Иван?). Ср. Панаева, 247—248.

[10] Этот эпизод рассказан Панаевой также и в основном тексте ее «Воспоминаний» (236). Некрасов и Панаевы в 1857 г. переехали в дом Краевского, на углу Бассейной ул. (ныне улицы Некрасова) и Литейного просп.

[11] Панаева снова путает имена. Все мемуаристы единогласно свидетельствуют, что этого лакея звали Василий. Сохранились и письма Некрасова к Василию Матвееву. Имя его названо также и в духовном завещании Некрасова («Новый Мир» 1931, № 4, 192). Имя Семена в дальнейшем повсюду заменено нами именем Василия.

[12] В 1847 г. у «Современника» было 2 000 подписчиков, в 1848 г.— около 3 000; в 1849 г. число подписчиков, действительно, упало. Ср. в письме Некрасова к Тургеневу в марте 1849 г.: «В нынешнем году у нас подписка на все журналы хуже, вследствие того, что газеты политические в интересе повысились, а журналы по некоторым причинам стали скучны и пошлы до крайности. Так, у Библиотеки для чтения убыло 900 подписчиков, у Краевского — 500, у нас 700» (Письма, 129). Таким образом, в 1849 г. подписчиков у «Современника» было не более 2 400.

[13] О проекте такой газеты в литературе ничего не известно. В 1857 г. Некрасов предполагал начать издание газеты с участием М. Н. Лонгинова, Ф. М. Дмитриева, И. И. Панаева, М. Е. Салтыкова-Щедрина и С. А. Соболевского. Но то был проект юмористической газеты «Правда», и обсуждался он уже после Крымской кампании (Письма, 321).

[14] В 1856—1857 гг.; см. гл. XIII основного текста «Воспоминаний» Панаевой.

[15] Добролюбова и Чернышевского.

[16] Кого имеет в виду Панаева, установить трудно: исходить из предположения, что фамилия литератора-шулера начинается на А, нельзя, так как Панаева часто заменяла подлинные инициалы вымышленными (например, «поэт В.» — Сатин и др.).

Тот же самый эпизод передает в своих воспоминаниях и В. Панаев; см. «Русская Старина» 1901, № 9, 497—498.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Е. И. ЗАРИНОЙ-НОВИКОВОЙ

Публикация С. Радина

Екатерина Ивановна Зарина (урожд. Новикова) стала известна в литературе своим рассказом «Питомцы», напечатанным в декабрьской книжке «Современника» за 1863 г. Рассказ был напечатан анонимно, но имя начинающей писательницы вскоре стало широко известным. «Обличительная» повесть о невыносимо тяжелом быте беспризорных детей, отдаваемых на воспитание немцам-колонистам на правом берегу Невы, стала предметом обсуждения в печати, вызвала, как отмечает и сама Новикова, ревизию Воспитательного дома и несколько улучшила положение его питомцев.

Вслед за «Питомцами» последовал длинный ряд других произведений молодой писательницы: кавказские рассказы, очерки крестьянского быта, несколько пьес и т. д

Екатерина Ивановна была женой известного в свое время публициста умеренно либерального направления, Ефима Федоровича Зарина (1829—1892). Трудность и щекотливость положения Екатерины Ивановны, предложившей свою повесть именно «Современнику», усугублялись тем обстоятельством, что незадолго до этого времени Зарин оживленно полемизировал с Чернышевским. Его статьи «Небывалые люди» («Библиотека для Чтения» 1862, № 1), «Лесть живому и поругание над мертвым» (там же, 1862, № 3), «Сочинения Н. А. Добролюбова» (там же, 1862, № 7) вызвали исключительную по резкости полемику. Чернышевский отвечал Зарину статьей «В изъявление признательности» («Современник» 1862, № 2; Собр. соч., IX). На вторую, наиболее резкую, его статью, помещенную в июльской книжке «Библиотеки для Чтения», Чернышевский ответить уже не мог.

В условиях такой полемики и неприязненных отношений с лагерем революционных демократов естественно недовольство Зарина фактом сотрудничества его жены во враждебном ему органе; этим же, вероятно, объясняется и осторожность редакции «Современника», напечатавшей повесть анонимно.

Екатерина Ивановна Зарина-Новикова скончалась 25 января 1940 г., на 105-м году жизни (некролог ее см. в «Литературной Газете», 1940, № 7). Ее обширные воспоминания, законченные незадолго до смерти, хранятся в Институте литературы Академии Наук СССР. Из них и взяты публикуемые впервые отрывки, составляющие 7, 8 и 10-ю главы третьей части «Воспоминаний» (лл. 43—57 и 85—96 рукописи).

ВОСПОМИНАНИЯ О НЕКРАСОВЕ

1

В конце августа 1862 года мы переехали с дачи на новую квартиру на Итальянскую улицу в доме Красовского. Я не переставала думать, куда приютить «Питомцев». Слыша не раз в нашем обществе отзывы о всех журналах, я нашла, что в «Современник» лучше всего, и мне почему-то казалось, что Некрасов мне скажет правду, если я его спрошу. Меня что-то влекло к нему, а в последнее время я даже любила читать его стихотворения. Но только я должна была отдать рукопись прямо ему в руки,— так было решено. И это решение затянулось на несколько месяцев.

В доме все хворали— дети, матушка и даже я сама, и только через несколько месяцев я могла исполнить свое желание. Это уже был 1863 год.

Сначала я пошла в редакцию журнала «Современник» в надежде увидать там Некрасова и передать ему тетрадь, но его не было, он был дома. Я пошла к нему на квартиру; он жил в доме Краевского, где и умер.

Я просила лакея доложить обо мне. Через несколько минут я вошла в кабинет Н. А. Некрасова, он встретил меня у порога, протягивая мне руку и приглашая сесть. Я села недалеко от письменного стола.

Я не раз видала портреты Некрасова, но в действительности он показался мне лучше, чем на портретах. У него мне понравились глаза: черные, быстрые, очень умные. Когда он на меня глядел, то мне казалось, он насквозь видит меня и читает мои мысли.

— Чем могу служит вам? — спросил он меня.— Голос у него не был так чист и красив, как его глаза, немного сиплый, как будто после болезни.

— Я принесла вам мою первую повесть,— нерешительно проговорила я и подала ему довольно толстую тетрадь.

— А вы давно занимаетесь литературой? — спросил он, разглядывая тетрадь и поворачивая листы. Я видела, как быстро бегали его глаза по строчкам.

Я сказала, когда начала, где первое время работала, в какой газете.

Он спрашивал, сама ли я все это видела, что описываю, или понаслышке.

Я рассказала, как все было, что мы жили на даче в колонии.

Когда он кончил расспросы, я поднялась с места и не двигалась.

Я не решалась спросить его о том, что хотела непременно знать.

— Вы, кажется, что-то хотите спросить меня? — заговорил он, глядя на меня приветливо.

Я приободрилась и высказала ему мое желание.

Он улыбнулся и проговорил:

— Вы позвольте мне завтра прислать вам мой ответ.

— Благодарю вас,— торопливо сказала я, протягивая ему руку.

Он записал мой адрес, проводил меня до самой передней и успел спросить о моей семье и как успеваю я заниматься литературой, имея так много семейных забот. Я отвечала ему.

В передней он взял из рук лакея, державшего мне наготове пальто, и сам подал мне его.

Простившись с ним, я шла домой легко, быстро, как будто у меня были приделаны крылья. Я была счастлива от такого ласкового, любезного приема Н. А.

Я всегда любила читать его стихотворения, а теперь я познакомилась с ним самим.

Придя домой, я увидела серьезное лицо мужа, который сидел за письменным столом и что-то торопливо писал. Он так был занят, что даже не обратил внимания на меня, когда я с веселым лицом вошла в кабинет звать его к столу.

Он машинально оторвался от работы, взглянул на меня молча и снова углубился в свое писанье.

Во второй раз я не пошла его звать, он этого не любил. Через полчаса он вышел сам, пообедал и ушел в кабинет.

Я даже была рада, что он очень скоро ушел, так что я не успела ему рассказать про свой визит к Некрасову и решила подождать ответа. «Может быть, еще и не примет»,— подумала я.

До глубокой ночи мы разговаривали с матушкой: она посоветовала разобрать бумаги покойного отца, где он записывал случаи из его жизни.

— Может быть, это тебе пригодится для твоего писанья,— говорила она.

И, правда, я многим воспользовалась для своих кавказских рассказов из его дневника и записной книжки.

2

На другой день я встала раньше обыкновенного, ожидая ответа. Было два часа дня, когда пришел посланный от Н. А. Некрасова. Я получила от него письмо, в котором он хвалил мою повесть, писал, что я первая подняла давно нужный вопрос о брошенных детях, и это он ставил мне в большую заслугу. Много лестных слов, приглашение быть сотрудницей его журнала. Прислал мне том своих стихотворений с очень любезной надписью [1] и большой гонорар. И обещал поместить «Питомцев» в текущем году в летних месяцах. Это был 63-й год. Такое же милое письмо получила я и от Щедрина-Салтыкова. И когда муж вернулся из редакции, а брат из полка, мы сели за чайный стол, я рассказала им все по порядку от начала моего писанья и до вчерешней моей встречи с Н. А. Некрасовым. Показала, что я получила. Удивления, похвал было бесконечно, но я по лицу моего мужа видела, что это ему не нравится.

— Следующее твое писанье покажи мне, я укажу, куда направить,— сказал он [2].

Но я никогда не показывала ему моих работ, боясь, как бы он не вздумал их поправлять. Но и он, кажется, забыл о желании просматривать мои работы, ему и своей было слишком много.

Когда были напечатаны «Питомцы», то я получила массу писем от литераторов и посторонних лиц, с похвалами, от Дома молодых матерей благодарность, что я открыла такое большое зло. И от моих милых почитательниц чудный бювар с подписями. Администрация тоже обратила

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К СТИХОТВОРЕНИЮ «ГЕНЕРАЛ ТОПТЫГИН»
Акварель П. П. Соколова, 1875 г.
Русский музей, Ленинград

внимание; была ревизия, открылось много злоупотреблений, от многих колонисток отобрали питомцев и передали в соседние деревни, наложили штраф на тех колонисток, которые били детей. Назначили новых смотрителей, вообще улучшили быт этих безвинно виноватых младенцев.

Ободренная такими отзывами и, главное, Н. А. Некрасовым, Щедриным-Салтыковым и моим другом Лесковым, Соловьевым и всей нашей близкой компанией, я со всей энергией и любовью принялась за мои любимые работы. Я работала много, несмотря на мои большие заботы о семье. Писала рассказы, повести и даже пьесы, которые шли в провинции с большим успехом. В 1920 ⟨?⟩ году драма «Былое» в 5 действиях шла раньше ⟨?⟩ в провинциях. Драма «В угаре» из жизни в Поволжье в 4-х действиях, взятая с натуры, шла в Павловске два года и в Детском Селе. Обе шли с аншлагом. Когда к нам приехал из Москвы Алексей Феофилактович ⟨Писемский⟩ и мы встретились с ним, он подошел ко мне и с веселым добродушным лицом, целуя матушку, заговорил:

— Ну, барынька, поздравляю вас с большим успехом. Вы первая смело прорвали брешь, за которой годами скрывали брошенных невинно младенцев, забывая о их существовании. И эти малютки росли, не зная ласки матери, которую, вероятно, не раз малютки звали, плача от побоев толстой колонистки.

Он интересовался знать, что́ я начала писать. Разговор был лестный, приятный для меня и давал мне все более и более смелости писать задуманные мною вещи.

3

В одну из суббот к нам собралось очень много гостей. По обыкновению знакомые литераторы. Пришел и Майков, он очень редко у нас бывал. Все восторгались только что написанными стихами, которые он читал прелестно. Был Н. С. ⟨Лесков⟩ с Екатериной Степановной, Д. Л. Михаловский с женой Люб⟨овью⟩ Ал.

Никогда еще не было такой интересной субботы, как эта.

Разобрали только что вышедший роман Тургенева «Довольно» [3].

Затем говорили о судебных реформах, земском учреждении, о покорении Западного Кавказа Евдокимовым. Все это было очень интересно и ново.

Пришел Решетников; он постоянно жил в Москве, а месяца полтора назад приехал в Петербург.

Привез роман «Подлиповцы». В Москве никто не принимал его романа, так что он приехал в Петербург. Отдал в две редакции и журнал «Заря». Не приняли, только продержали, провели время. Тогда он решился обратиться в «Современник».

— Я только третьего дня виделся с Н. А. Некрасовым, был у него,— заговорил Решетников, обращаясь к моему мужу, который спросил его о его романе.

— Вы виделись с Николаем Алексеевичем. Ну, что же он вам сказал?— спросил Крестовский.

— Удивительный он человек,— улыбаясь, заговорил Решетников,— я расскажу вам мою с ним встречу.

Я вошел в редакцию, но никого там не застал. Ждать Щедрина-Салтыкова мне не хотелось, я хотел лично видеть Н. А. и поговорить с ним.

Прохожу к нему на квартиру, спрашиваю: «Дома?»

— Дома.

— Доложи,— даю ему мою карточку.

Через две минуты лакей докладывает:

— Они лежат, просят пожаловать в кабинет.

Прохожу в кабинет. Н. А. лежит на диване в халате. Едва я вошел кабинет, он мне крикнул:

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К СТИХОТВОРЕНИЮ «КРЕСТЬЯНСКИЕ ДЕТИ» («МУЖИЧОК С НОГОТОК»)
Рисунок В. А. Серова, 1896 г.
Русский музей, Ленинград

— Простите, дорогой Федор Михайлович, что я встречаю вас в таком виде.

Я подошел к нему, мы обменялись рукопожатием.

— Вы извините меня, что обеспокоил вас,— сказал я.

— Э! полноте, что за извинения. Я здоров. Дело в том, что я вчера был в Английском клубе, в картишки играл, мне чертовски везло, кажется, я всех обыграл. Поздно вернулся, голова немного не свежа. Садитесь, пожалуйста. Что привезли? Покажите-ка.

Я подал ему сверток.

— Ого! Тяжелые же ваши «Подлиповцы», — улыбаясь, сказал он мне. И стал перебирать и проглядывать тетрадь, быстро бегая глазами по строкам. Я сижу и думаю: «Пожалуй, и он откажет».

— Ну, Федор Михайлович, возьмите-ка ее и положите на мой письменный стол, дружок мой, и поговорим с вами.

Рукопись вашу я принимаю, а скажите мне, почему это в Москве-то не приняли ее?

— Говорят — не подходяще.

Н. А. громко рассмеялся.

— К их жидким мозгам, что ли? Да?

— Ну, расскажите мне что-нибудь про наших москвичей.

Я рассказал ему о волнении московских помещиков по поводу реформы.

— Да, вопрос очень большой важности. Нелегко нашим избалованным магнатам отказаться от своеволия и порабощения.

Мы довольно долго говорили об этом вопросе. Он высказал, что очень рад такому мировому перевороту, который будет записан в книгу бытия, добавил он.

— А давно вы тут? — спросил он.

Я сказал.

Он быстро поднял голову и дружеским голосом спросил:

— Ах, вот что! Вам, Федор Михайлович, вероятно, деньжонок нужно, да?

Мне было неловко ответить ему на этот вопрос. Я промолчал.

Он улыбнулся.

— Не конфузьтесь, дружок мой Федор Михайлович. Ничего не говорите мне, я все знаю, хорошо знаю. А вот, дружок, откройте-ка средний ящик в письменном столе и возьмите себе деньжонок, сколько хотите.

Я подошел к столу, открыл ящик и едва удержался, чтобы не вскрикнуть от удивления. Я никогда не видел такого количества денег, разложенных пачками в ящике.

— Вы, пожалуйста, Федор Михайлович, не стесняйтесь, берите, сколько нужно, потом мы с вами сочтемся. Я ведь рассказывал вам, как вчера мне чертовски везло, всех обыграл. Берите, вы ведь свои деньги берете, оставляя мне за них своих «Подлиповцев».

Все с любопытством слушали его рассказ. Решетников продолжал:

— Тогда я в уме подсчитал, сколько мне нужно, взял деньги, и, затворив ящик, подошел к Н. А.— Я взял тридцать рублей, благодарю вас.

— Что же так мало, возьмите еще,— несколько раз повторил он мне, но я решительно отказался от его любезного предложения.

— Бросьте вы эту Москву, Федор Михайлович, и переезжайте к нам; у нас гораздо свежее люди и, кажется, сердечнее, а ваших «Подлиповцев» я помещу в нынешнем году. У нас главные заедалы — цензора, но все же лучше ваших, я знаю.

Мы дружески простились, он просил перед отъездом зайти к нему.

— А вы когда уезжаете?— спросил мой муж.

— Дня через два; я, действительно, думаю переехать к вам. Мне наскучила Москва.

Все дружно поддержали его.

— А главное, мне нравится в Ник⟨олае⟩ Ал⟨ексеевиче⟩ его простота и сердечность, с какой он предложил мне деньги,— снова заговорил Решетников.— В его разговоре, манере держаться проглядывает дружеское отношение.

— Да, он в этом отношении очень деликатен,— заметил кто-то.

— Я про него много слыхал похвального у нас в Москве.

Некоторые выражали порицания его поступкам и взглядам, а другие оправдывали.

— У каждого человека есть свои взгляды и убеждения, которых он держится и проводит в жизнь,— сказал Решетников.

Разговор перешел уже на другие вопросы и события дня [4].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Экземпляр, подаренный Некрасовым Зариной, и его письмо к ней неизвестны.

[2] Трудно сказать, соответствует ли действительности и сообщаемый Зариной в другом месте «Воспоминаний» (ч. III, гл. XIII, л. 113) факт, будто бы «несмотря на неоднократные приглашения Н. А. Некрасова работать у него, мой муж отказался по принципиальным причинам». Это могло быть скорее в 1868 г., когда «Отечественные Записки» перешли к Некрасову.

[3] «Довольно» Тургенева впервые появилось в V томе его сочинений, вышедшем в свет в середине апреля 1865 г. (М. Клеман, Летопись жизни и творчества И. С. Тургенева, 1934, 154). Таким образом, разговор, описанный в этой главе, происходил в апреле 1865 г. Но следующий затем отрывок о Решетникове описывает эпизод, относящийся к началу 1864 г. Налицо, таким образом, частая у мемуаристов контаминация дат.

[4] Глеб Успенский, А. Я. Панаев и другие мемуаристы и биографы Решетникова излагают историю его знакомства с Некрасовым и помещения «Подлиповцев» в «Современнике» (1864, №№ 3—5) несколько иначе. Сводку этих материалов см. в примечаниях И. И. Векслера к Полн. собр. соч. Ф. М. Решетникова, Свердловск, 1936, I, 411 и сл.

ВОСПОМИНАНИЯ А. Г. СТЕПАНОВОЙ-БОРОДИНОЙ

Публикация В. Евгеньева-Максимова

Автор публикуемых ниже воспоминаний о Некрасове — Александра Григорьевна Степанова родилась в 1846 г. в семье видного педагога Григория Григорьевича Перетца. Образование получила в частном пансионе, а впоследствии на Высших женских курсах (была слушательницей первого выпуска). Двадцатилетней девушкой она вышла замуж (в 1866 г.) за сына известного карикатуриста Н. А. Степанова — Сергея Николаевича. Знакомство ее с Некрасовым произошло в доме Степановых.

Александра Григорьевна принадлежала к передовым людям своего времени. По сведениям, полученным мною от ее старшей дочери Т. С. Яньковой, она была очень радикально настроена, сочувствовала революционному движению и поддерживала дружеские отношения, между прочим, и с С. М. Степняком-Кравчинским. Ее литературная деятельность выразилась в сотрудничестве в начале 70-х годов в до-суворинском «Новом Времени» и в многочисленных переводах. Сочувствуя женскому движению, она была в последние десятилетия своей жизни деятельным членом Женского взаимноблаготворительного общества. Ее воспоминания о Некрасове были прочтены ею в самом начале 1903 г. на заседании одного из кружков, существовавших при Обществе. Поводом к составлению и оглашению воспоминаний послужило исполнившееся на исходе 1902 г. двадцатипятилетие со дня смерти Некрасова. Воспоминания подписаны фамилией Бородиной: в конце 70-х годов Александра Григорьевна Перетц разошлась с С. Н. Степановым и вышла замуж за известного ботаника, впоследствии академика, Ивана Парфентьевича Бородина.

Обращаясь к содержанию воспоминаний, необходимо, прежде всего, отметить, что в них ярко отразилось то восторженное отношение, которое передовые семидесятники питали к поэзии Некрасова. В воспоминаниях приводится ряд интересных фактов, свидетельствующих о том, как Некрасов дорожил сочувствием молодежи, как подбодряли его выражения этого сочувствия, какие откровенные и искренние беседы он готов был вести, когда видел перед собою человека, настроенного к нему тепло и благожелательно. Воспоминания Бородиной не нуждаются в особых комментариях, их содержание говорит само за себя, вписывая несколько ярких страниц в историю взаимоотношений Некрасова и передовой молодежи 70-х годов.

Воспоминания А. Г. Бородиной дополняются двумя ее статьями в «Новом Времени», в которых речь идет о Некрасове (статьи подписаны инициалами «А. С.»). В первой из них («Новое Время» 1873 г., № 37) содержится резкая отповедь Буренину за его нападки на «Русских женщин» и дается восторженная оценка «Княгине Волконской». Во второй статье («Новое Время» 1873 г., № 61), говоря о «Последыше», автор высказывает свой общий взгляд на поэзию Некрасова, полностью соответствующий тому, что думали о ней семидесятники: «Муза г. Некрасова все крепнет, развивается и идет вперед. Кто из наших поэтов так глубоко прочувствовал и понял русский народ, кто искреннее и честнее относится к нему, кто думает его думами, говорит его языком, плачет его кровавыми слезами,— кто, как не певец скорбей родной земли?..».

Воспоминания публикуются по автографу, хранящемуся в Институте литературы Академии Наук СССР.

ВОСПОМИНАНИЯ О НЕКРАСОВЕ

В шестидесятых годах имя Некрасова было окружено таким ореолом, что каждый из нас, людей тогдашнего молодого поколения, жаждал хоть издали взглянуть на любимого поэта, хоть послушать его на литературном чтении, если уж не было надежды увидеть его где-нибудь в обществе. Сравнительно с другими, мне посчастливилось, так как, благодаря благоприятно сложившимся обстоятельствам, мне удалось не только встретиться с Некрасовым, но и довольно близко познакомиться с ним. Но, прежде чем я приступлю к рассказу об этом знакомстве, скажу еще, что и я видела его, или, вернее, слышала, в первый раз на литературном вечере. Говорю — слышала, так как сидела очень далеко и, благодаря своей близорукости, не могла даже разглядеть столь горячо чтимого мною поэта. Он читал на этом вечере свое знаменитое стихотворение «Размышления у парадного подъезда», и, когда он начал певуче декламировать своим характерным усталым и глухим голосом:

Выдь на Волгу: чей стон раздается
Над великою русской рекой?
Этот стон у нас песней зовется,—
То бурлаки идут бичевой!..

вся зала замерла, а у меня потекли безмолвные слезы, и я почувствовала в эту минуту, как зазвучали все струны моего юного шестнадцатилетнего сердца. В настоящее время, когда критическое сознание гораздо более развито в массе интеллигенции, чем тогда, вряд ли даже может быть понятен тот энтузиазм и то преклонение, какими мы были преисполнены к поэту-гражданину, нашему светочу и руководителю, воплощавшему в себе наш идеал писателя. Ни Пушкина, ни Лермонтова мы не любили и не понимали,— они казались нам тогда такими чуждыми, пели о любви к вечной природе, о красивых ножках, один глядя на жизнь оптимистом, а другой — пессимистично, и все это в то время, когда старые идеалы добра и красоты сороковых годов совсем уж поблекли и когда на смену им шла новая жизнь с другими требованиями и запросами, когда вместе с уничтожением крепостного права стало некогда и не на что (крестьяне уж оброков не платили) восхищаться красотой, а надо было делать будничное, но нужное дело, когда слово польза стояло на первом плане и, конечно, не для себя, а для народа. И с этим-то народом Некрасов впервые познакомил нас и, что самое главное, сумел заставить нас понять и полюбить всех этих Власов, школьников, Арин-солдаток, всех этих баб, замерзающих в поле, ребят, возящих дрова из лесу в шестилетнем возрасте, и, полюбив их, мы горячо привязались и к поэту, который открыл перед нами этот до тех пор почти неведомый для нас мир, и, пристрастные, как всегда бывает в юности, мы вознесли его на недосягаемую высоту, перед которой невольно мельчали в наших глазах великие поэты, которых сам Некрасов считал для себя недосягаемыми образцами.

Вторично я уж встретилась с Н. А. Некрасовым в доме близких мне людей, а именно у старика Степанова, бывшего издателя сатирических журналов «Искры» и «Будильника» [1]. Когда я вошла в гостиную, то Некрасов уже был там и разговаривал с самим Степановым; меня тотчас же ему представили, но я была так поражена неожиданностью встречи, что не сумела даже ничего сказать и молча села в углу гостиной, все время издали поглядывая на знаменитого гостя и стараясь хорошенько разглядеть его. Вскоре, впрочем, ко мне подошли сын Степанова [2] и один из сотрудников «Искры», некий Воронов [3], автор книги «Московские норы и трущобы». Сначала я мало говорила и отвечала нехотя, недовольная тем, что мне мешали смотреть на Некрасова, но потом невольно увлек-

лась спором с Вороновым, который всегда изрекал невозможные парадоксы, и, заспорив с ним, начала страстно и пылко опровергать его. Вдруг около меня раздался знакомый хриплый голос поэта, подошедшего проститься с нами, и я опять так смутилась своей невоздержанностью в споре, что могла только молча подать ему руку. Когда он отходил от меня, то довольно громко сказал провожавшему его до парадной старику Степанову: «Огонь-барышня, люблю таких!..». Таким образом, и эта встреча почти не может быть названа знакомством с поэтом, так как я не об-

А. Г. БОРОДИНА
Фотография 1870-х гг.
Институт литературы АН СССР, Ленинград

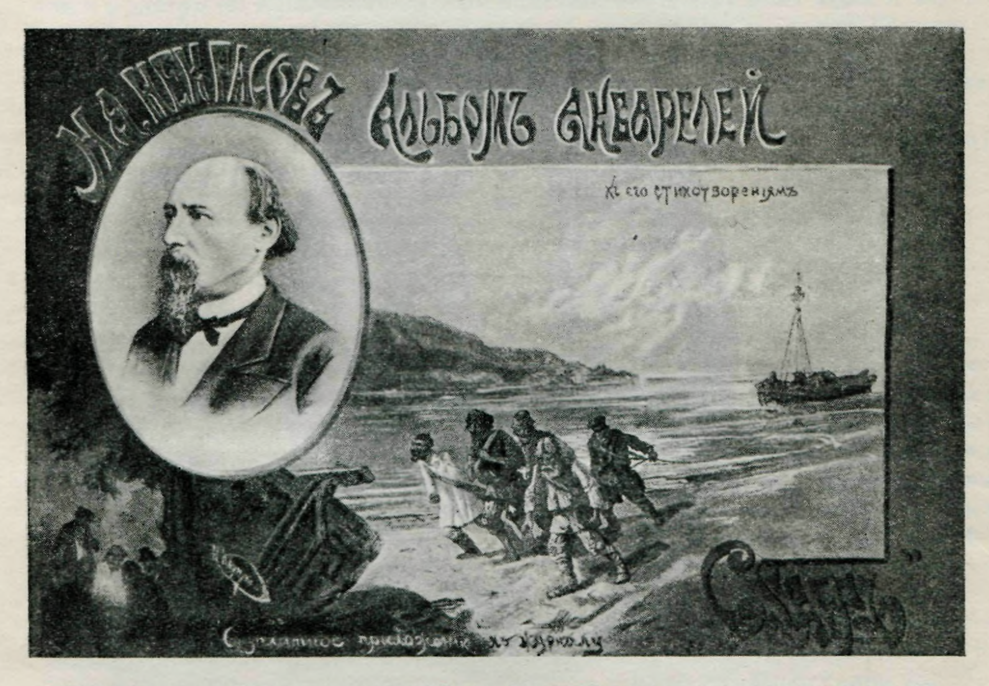
менялась с ним ни одним словом. Между прочим, вспоминая этот эпизод, я не могу не упомянуть о том, что Некрасов был в таких хороших отношениях со стариками Степановыми, что когда их сыну минуло 12 лет и ему подарили альбом, то мать мальчика попросила и его написать что-нибудь в этот альбом, который был сплошь исписан знаменитыми в то время литераторами. Только на двух первых страницах мать мальчика написала прозой, но весьма сердечно, свои пожелания обожаемому единственному сыну [4]. Некрасов, как известно, вообще горячо ценил всегда любящую мать, а С. С. Степанову он, кроме того, и глубоко уважал, как умную и энергичную женщину. И вот в этот альбом двенадцатилетнего мальчика он написал следующее небольшое стихотворение:

Пишите, други! — Начат путь!
Наполним быстро том альбомный,
Но вряд ли скажет кто-нибудь
Умней того, что прозой скромной
Так поэтически сказать
Сумела любящая мать!

Н. Некрасов

17 ноября 1859 г.

Приступая к рассказу о моем знакомстве с Н. А. Некрасовым, я должна прежде вкратце сообщить, при каких обстоятельствах оно совершилось и чем было вызвано. В 1873 г., ровно тридцать лет тому назад, сын историка Устрялова предпринял издание новой газеты «Новое Время» [5], редакцию которой поручил довольно известному в то время поэту Н. Л. Пушкареву [6]. В число сотрудников была приглашена и я для составления журнальных обозрений и библиографических отчетов о вновь выходящих книгах. Газета наша была очень мало известна, шла очень плохо и имела всего 1500 подписчиков, но мы не унывали и надеялись на то, что нам



ОБЛОЖКА «АЛЬБОМА АКВАРЕЛЕЙ П. П. СОКОЛОВА К СТИХОТВОРЕНИЯМ Н. А. НЕКРАСОВА»

Хромолитография с акварельного рисунка Н. Каразина

Приложение к журналу «Север» на 1894 г.

удастся, наконец, завоевать расположение публики. Собственно говоря, я имела мало отношений к остальным сотрудникам и знала только Устрялова и Пушкарева.

Когда я начала писать свои журнальные обозрения, то слава Некрасова была в своем зените,— он стоял тогда во главе «Отечественных Записок», и появление каждой его вещи было событием, как для критики, так и для публики. В этом году он печатал в своем журнале отдельными главами свою знаменитую, оставшуюся неоконченной, поэму «Кому на Руси жить хорошо». Когда появилась глава «Последыш» [7], я, конечно, не могла пройти молчанием этой типичной и яркой картины прежнего помещичьего быта и написала о ней восторженный отзыв [8]. Вскоре после того, когда я была на журфиксе у Ал. Конст. Шеллера (Михайлова тож), с которым была хорошо знакома, он вдруг сообщил мне, что Некрасову кто-то указал на мою статейку; он прочел ее и поинтересовался узнать имя автора, так как я подписывалась всего двумя буквами. Когда ему сообщили, что это пишет женщина, то он выразил желание познакомиться со мной, чем я была, конечно, очень польщена. Тем не менее,

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К ПОЭМЕ «КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО»

Хромолитография с акварели П. П. Соколова

«Альбом акварелей к стихотворениям Н. А. Некрасова». Приложение к журналу «Север» на 1894 г.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К СТИХОТВОРЕНИЮ «ФИЛАНТРОП»

Хромолитография с акварели П. П. Соколова

«Альбом акварелей к стихотворениям Н. А. Некрасова». Приложение к журналу «Север на 1894 г.

так как мне неловко было явиться к поэту прямо на дом, то, может быть, наше знакомство опять не состоялось бы, если бы не случилось, несколько времени спустя, одного обстоятельства.

Дело в том, что газета наша продолжала иметь так же мало успеха, как и вначале, и наш издатель, затратив на нее большие деньги, не находил для себя возможности продолжать ее издание и стал искать на нее покупателя. Кто-то из литераторов сообщил ему, что Некрасов желает купить газету, а когда он передал об этом редактору, то тот, зная, что поэт желал познакомиться со мною, предложил мне съездить к нему и узнать, действительно ли он желает купить газету и на каких условиях? Конечно, я с восторгом ухватилась за такой прекрасный предлог ехать к Некрасову и поспешила написать ему письмо, в котором спрашивала, когда он может принять меня по делу. Вскоре же я получила от него весьма любезный ответ [9], в котором он назначал мне день и час, когда мог принять меня, и добавил к этому, что давно уже желал познакомиться со мною.

Трудно передать словами то взволнованное состояние, в котором я ехала из Лесного на уг. Литейного и Бассейной, где столько лет жил Некрасов и где он и умер. До сих пор после тридцати лет я помню каждую мельчайшую подробность моего свидания с ним. В первой большой комнате, через которую камердинер провел меня в его кабинет, стоял посредине большой билльярд, что мне тотчас же бросилось в глаза. Николай Алексеевич принял меня крайне любезно и тотчас же заговорил со мной о моих фельетонах (за это время мне не раз приходилось писать о его стихах) и сделал это так тонко и деликатно, точно в самом деле считал меня заправским литератором. Меня поразило и тронуло такое внимание к почти неизвестной фельетонистке весьма мало распространенной газеты, и я поспешила заметить ему, что, конечно, он-то вовсе не нуждается в моих похвалах. На это он серьезно и с выражением сказал мне, что напрасно я так думаю, так как его гораздо больше бранят, чем хвалят, искренняя же оценка вполне беспристрастного молодого человека, написанная с таким горячим чувством и непосредственностью, не может не тронуть глубоко человека, измученного жизнью, затравленного недругами и сознающего порой, что его талант идет на убыль. Я тогда уже понимала, что, конечно, местами столь дорогой моему сердцу и уму поэт бывает прозаичен и не все удается ему, тем не менее автор «Русских женщин», «Коробейников» и «Кому на Руси жить хорошо» был для меня и тогда воплощением истинного поэта-гражданина, и за идею я охотно прощала ему такие ничтожные, по моему мнению, недочеты. Поэтому я начала энергично возражать ему и доказывать, что для большинства молодого поколения он все-таки остался могучим властителем наших дум. Тогда Некрасов с горечью и нескрываемым раздражением заметил, что зато старое поколение готово заживо съесть его, что ему не прощают его популярности среди молодежи и успеха его журнала. Тут только я вспомнила, по какому делу я приехала к нему, и заговорила с ним о газете. Он ответил мне неопределенно, что подумает и даст мне ответ, просил приехать еще, добавив, что ему было так приятно поговорить со своим человеком, стоящим вне всяких литературных дрязг, сердечно простился со мною и сам пошел проводить меня до передней.

После этого посещения мне пришлось еще несколько раз быть у Некрасова, и каждый раз он так же весьма сердечно справлялся о моей семье и о моих литературных занятиях. Помню, что когда я была у него вторично, то он спросил меня, есть ли у меня дети? Я отвечала ему, что у меня есть трехлетняя девочка, которой я часто декламирую его стихи, в особенности «Коробейников», которые она особенно любит, и, когда она хочет, чтоб

я прочла ей (я всегда читала наизусть) какой-нибудь отрывок из Некрасова, она всегда говорит мне: «Мама, спой!». Стихи эти она считала песнью. Это ужасно понравилось Некрасову, и он несколько раз повторил мне: «Вот оно детское-то определение всех выше — «Мама, спой!»,— вот вам и высшая похвала для поэта! Значит ваша крошка умница, и позвольте мне сделать ей подарок за то, что она так меня утешила». С этими словами он встал, взял из шкапа тот том своих сочинений (по тогд. изд. III т.),

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К ПОЭМ «КНЯГИНЯ ТРУБЕЦКАЯ»
Акварель Д. А. Шмаринова, 1946 г.
Третьяковская галлерея, Москва

в котором были помещены «Коробейники», вручил мне его на памятı, причем извинился, что в данную минуту не имеет первых томов, которые все разошлись.

В другое мое посещение Некрасов, который и раньше всегда весьма подробно расспрашивал меня о том, что́ я пишу и перевожу, так как я тогда много переводила, узнав, что я начала переводить «La Chartreuse de Parme» Стендаля и намереваюсь написать критико-биографический очерк об этом весьма мало известном у нас писателе, предвосхитившем в этом романе у Ницше тип сверхчеловека в лице будущего картезианца, предложил

мне поместить этот очерк в «Отеч⟨ественных⟩ Записках». Позже, когда он узнал, что я начала эту работу и довела ее почти до половины, он сказал мне, чтоб я привезла написанное к нему в редакционный день, причем обещал познакомить меня с Плещеевым, бывшим у него, кажется, редактором литературного отдела. Я так и сделала и привезла ему свою рукопись, но уж виделась с ним тогда не в его кабинете, как всегда, а в большой приемной с биллиардом посредине. Здесь Ник⟨олай⟩ Алекс⟨еевич⟩ представил мне нескольких из бывших тут литераторов, но я помню только двух — Елисеева и Плещеева, с которым я и переговорила о своем деле.

Мало-помалу выяснилось, что Некрасов не купит нашей газеты, но пока все это не определилось, я продолжала бывать у него, пользуясь всяким к тому предлогом. Так как он был очень занят тогда своим журналом, то обыкновенно я заранее спрашивала, когда могу застать его дома. Однажды, помню, я застала его особенно мрачным,— цензурные дела его не клеились, и он откровенно высказал мне это. Но зная, чем его утешить, я стала ему говорить, что придет время, когда все мы прочтем каждую строчку из написанного им, и даже, если он не будет жив тогда, то все-таки эта мысль должна теперь поддерживать его душевную бодрость. На это он горько заметил мне, что напрасно я думаю, что каждая строчка его стихов сто́ит, чтоб ее читали, что он сам знает, что плохой борец и не умеет стойко стоять под грозой. Потом он мучительно сморщился и потер рукой свой большой, открытый глубокой лысиной, лоб и сказал: «Вы юны и восторженны и не знаете, сколько гадости у меня тут (показывая на лоб). Впрочем, ведь вы уже слышите,— об этом все говорят,— что я слабый человек и способен спотыкаться». На это я, глубоко тронутая благородством такого самобичевания, тихо произнесла:

Не предали они — они устали
    Свой крест нести,
Покинул их дух гнева и печали
    На полпути...[10]

Некрасов молча взял мою руку, крепко пожал ее и произнес только: «Спасибо Вам».

В другой раз, когда я была у Некрасова, разговор коснулся нашей критики, и, помню, как Николай Алексеевич при этом с горечью стал распространяться о том, как несправедлива к нему критика, как его травят почти во всех журналах, как строго и подчас несправедливо к нему относятся, как не хотят понять того, что он не только поэт, но вместе с тем и журналист и издатель журнала. «Другим,— говорил он,— все прощают, а мне ставят каждое лыко в строку; дошло до того, что даже листки малой прессы считают себя вправе читать мне наставления». Желая отвести его от неприятных мыслей, я, смеясь, заметила, что ведь он большой корабль, значит ему и большое плавание, а вот мелким литературным сошкам, вроде меня, и полемика предъявляется особого рода; так, Буренин (писал тогда в «Пет⟨ербургских⟩ Вед⟨омостях⟩» под псевдонимом Z), например, все стрелы своего остроумия направляет на меня только потому, что я «дама», как он выражается, значит и писать могу только по-дамски.

На это Некрасов слегка улыбнулся и заметил, что читал эти выходки Буренина и был очень возмущен ими. «Стыдно ему,— добавил он,— такой талантливый человек и вводит такой неприличный тон в критику».

Особенно врезалось у меня в памяти мое последнее посещение Некрасова, пред его отъездом, кажется, в имение на большую охоту, а может быть, и куда-нибудь в другое место, наверное не припомню. Знаю только, что в этот день он был особенно мрачен и не в духе, опять журнальные

дела огорчали его. Чтобы прервать это тяжелое настроение, я стала его расспрашивать о том, что́ он пишет нового, заметив, что мы, молодежь, с таким нетерпением ждем каждый раз появления «От⟨ечественных⟩ Зап⟨исок⟩» и прежде всего заглядываем в оглавление, нет ли там его стихов. Обыкновенно, упоминание о той популярности, какой он пользовался среди молодежи, всегда действовало на него успокоительно, и он начинал улыбаться и весь как-то расцветал, но на этот раз и это не по-

«СОЛДАТКА»
Рисунок И. Е. Репина, 1891 г.
Третьяковская галлерея, Москва

могло, он продолжал смотреть угрюмо и нервно пощипывал себе бородку. Тогда, удивленная, я спросила его, не случилось ли с ним чего-нибудь особенно неприятного, на что он с горечью отвечал мне:

— Ах, вы, восторженная головка, воображаете, что все судят по-вашему, а вот я недавно слышал, что нарождается теперь новый тип — семидесятников, которые говорят, что мои стихи прозаичны и скучны. Да ведь я и сам знаю, что теперь поэтический талант ослабел во мне, что рифма моя стала скудна и стих иногда вульгарен. Лучше всех я понимаю, например, что не совладал с таким чудным сюжетом, как «Русские женщины», и что я хотел сказать многое, но у меня не вышло.

— Узнаю вас,— прервала я его,— не говорите никогда так при мне о «Русск⟨их⟩ женщинах», Николай Алексеевич, мне больно слышать,

как вы клевещете на себя. Нет, по-моему тот истинный поэт, у кого вылились такие дивные строки!—И я продекламировала следующие стихи, описывающие свидание Волконского с женой в руднике:

Сергей торопился, но тихо шагал,
Оковы уныло звучали.
Пред ним расступались, молчанье храня,
Рабочие люди и стража...
И вот он увидел, увидел меня!
И руки простер ко мне: «Маша!»
И стал, обессиленный словно, вдали...
Два ссыльных его поддержали.
По бледным щекам его слезы текли,
Простертые руки дрожали...
Душе моей милого голоса звук
Мгновенно послал обновленье,
Отраду, надежду, забвение мук,
Отцовской угрозы забвенье!
И с криком: «Иду!» я бежала бегом,
Рванув неожиданно руку,
По узкой доске над зияющим рвом
Навстречу призывному звуку...
«Иду!..» Посылало мне ласку свою
Улыбкой лицо испитое...
И я побежала... И душу мою
Наполнило чувство святое.
И только теперь в руднике роковом,
Услышав ужасные звуки,
Увидев оковы на муже моем,
Вполне поняла его муки,
И силу его, и готовность страдать!..
Невольно пред ним я склонила
Колени — и, прежде чем мужа обнять,
Оковы к губам приложила!..

Я кончила захлебываясь от слез, и это так тронуло Некрасова, что он протянул мне обе руки и сказал: «Нет, вы правы, пока мои стихи будут вызывать такие чувства у людей, они будут истинной поэзией!».

Это было наше последнее свидание; вскоре после того я заболела, потом уехала за границу, многое изменилось в моей жизни, и я больше не видала Некрасова.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Степанов состоял редактором-издателем «Искры» с 1859 г. по 1864 г., а редактором-издателем «Будильника» — с 1865 г. по 1871 г. В 1873 г. издание «Будильника» было перенесено в Москву. Следовательно, встреча А. Г. Бородиной с Некрасовым относится к 1872 г.

[2] Сергей Николаевич Степанов.

[3] Михаил Алексеевич Воронов,— беллетрист. Упоминаемая Бородиной книга Воронова «Московские норы и трущобы» была написана им совместно с Левитовым.

[4] «Пожелания» эти заканчивались словами: «Чем бы ты ни был, куда бы ни забросила тебя Судьба, будь всегда добрым, честным и благородным человеком. Твоя Мать и друг С. Степанова». Вслед за этими словами Некрасов и вписал приводимое ниже стихотворение. Альбом хранится в архиве ИЛИ АН СССР.

[5] В руки Фед. Ник. Устрялова «Новое Время», основанное в 1868 г. А. Киркором и Н. Юматовым, перешло еще в 1872 г. и оставалось в его руках по март 1873 г.

[6] Николай Лукич Пушкарев,— поэт, драматург, журналист, редактор «Московского Обозрения».

[7] В первых двух книжках «Отечественных Записок» за 1873 г.

[8] См. «Новое Время» 1873, № 61.

[9] Письмо Некрасова к А. Г. Степановой в печати не появлялось.

[10] Четверостишие из «Медвежьей охоты».

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Вас. Ив. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО

Публикация С. Макашина

Писательское имя Василия Ивановича Немировича-Данченко (1848—1936), чьи воспоминания о Некрасове ниже публикуются, забыто современным читателем.

Автор принесших ему известность корреспонденций с театра действий русско-турецкой войны 1877—1878 гг. (отд. изд. «Год войны», 3 т., СПб., 1878), читавшихся всей грамотной Россией тех дней, неутомимый путешественник по отдаленным и мало известным тогда окраинам нашей страны, описавший свои впечатления в бесчисленных «путевых очерках» и фельетонах, Немирович-Данченко был также плодовитым беллетристом. Но его удельный вес писателя нисколько не определялся количеством созданного им. От начала до конца своего долгого литературного пути Немирович-Данченко оставался писателем, схватывающим явления жизни поверхностно, никогда не поражая ни глубиной, ни яркостью. Его произведения не перечитывались и скоро забывались.

Подведя, еще перед Первой мировой войной, итог своей литературной деятельности изданием 18-томного собрания своих сочинений (изд. «Просвещение», СПб., 1911—1915), Немирович-Данченко писал после этого мало и случайно. Интерес к нему как к писателю иссяк уже тогда.

После Октябрьской революции Немирович-Данченко доживал годы своей долгой старости за границей, где и умер в 1936 г. (в Праге). Не столько преклонные годы, сколько отрыв от национальной почвы — родной страны и народа, почти полностью обесплодили последнее двадцатилетие жизни писателя. Ему не удалось завершить и начатой им в середине 1920-х годов обширной, судя по наброску плана, мемуарной работы под названием «Близкие дали» (вышел лишь один том под самостоятельным заглавием «На кладбищах»).

Находясь весной 1945 г. в Чехословакии в составе действующих частей Красной Армии, я случайно узнал о местонахождении бумаг, оставшихся после смерти Немировича-Данченко. В дачном местечке Horny Počernicy под Прагой, в семье погибшего в немецком концлагере в Терезине любителя русской литературы д-ра Vojtech Hudaček, я ознакомился с материалами. Они были малочисленны и случайны. Но среди них находилась публикуемая рукопись воспоминаний о Некрасове. Она была подготовлена автором для напечатания в качестве самостоятельной статьи в связи с 50-летием со дня смерти Некрасова, исполнившимся в 1927 г. Что касается датировки самого содержания воспоминаний, то, как явствует из их текста, они относятся к началу 1870-х годов, и даже точнее, к 1874 г. Таким образом, автору было 80 лет, когда он вспоминал о начале своей литературной работы и записывал о встречах и разговорах с Некрасовым, Щедриным и др.

Мемуарист, пишущий о встречах с великим писателем, своим современником, через полвека после его смерти, когда уже совершилась «канонизация» этого писателя в классика, неизбежно ограничен в индивидуальной непосредственности передаваемых им личных впечатлений. Вольно или невольно, они всегда проходят через фильтры существующих общих представлений позднейшего, часто уже историко-литературного, происхождения. Мемуарный очерк Немировича-Данченко о Некрасове не состав-

ляет исключения. И тем не менее, берясь за перо, автор хотел писать и написал именно литературные воспоминания, а не переложение в мемуарный жанр историко-литературных и биографических сведений о поэте.

Доказательством «мемуарности» публикуемого текста служит ряд деталей его содержания, источником которых могло быть только лично слышанное и виденное, а также нарочитая субъективность, внесенная автором в изложение центрального эпизода воспоминаний — своего сотрудничества в «Отечественных Записках». Правда, эта субъективность выразилась не столько в том, что́ автор сказал о себе, сколько в том, что́ он утаил от читателя, но это обстоятельство не меняет дела.

Немирович-Данченко вспоминает о своем появлении в «Отечественных Записках». Он приводит слова Некрасова и Щедрина, звучащие весьма лестно для его первых литературных дебютов и расхваливающие, в частности, его очерки «За северным полярным кругом». Однако нарисованная мемуаристом картина и неполна и не вполне верна.

Сотрудничество Немировича-Данченко в «Отечественных Записках» оказалось кратковременным и неудачным. Впервые он выступил здесь как поэт. В 1871 г. он предложил Некрасову стихотворный цикл под заглавием «Из песен о павших». Стихи были слабые и, видимо, мало понравились Некрасову. Но он все же напечатал пять стихотворений («Отечественные Записки» 1871, № 11, отд. 1, 243—246, подпись: «Д»). Извещая об этом автора, Некрасов писал: «Во уважение серьезных причин, изложенных в Вашем письме, а равно и достоинств Ваших стихотворений, редакция «От‹ечественных› Зап‹исок›» напечатала некоторые из них — лучшие по ее мнению». (Письмо от 22 ноября 1871 г.—«Звенья», 1935, V, 514). Через два месяца Некрасов дополнительно поместил в журнале еще два стихотворения из того же цикла: «Освобожденный» и «После войны» («Отечественные Записки» 1872, № 2).

Ободренный успехом и полученным гонораром, Немирович-Данченко благодарил Некрасова в письме от 23 февраля 1872 г.: «Очень и очень Вам обязан и за нравственную и за материальную поддержку. Позвольте надеяться, что и вперед Вы не откажете мне в добром расположении Вашем ‹...›. Отчего судьба не закинула меня к Вам пять лет тому назад! Иначе была бы направлена моя жизнь»... (Письмо не издано, публикуется В. Евгеньевым-Максимовым во II выпуске настоящего тома, в разделе: «Письма к Некрасову»).

Из того же, только что цитированного письма Немировича-Данченко мы узнаём, что еще в декабре 1871 г. он выслал в редакцию «Отечественных Записок» (Н. А. Демерту) рукопись, под названием «Тьма непроглядная (Очерки из жизни подневольного странника)» и собирался выслать «на суд» Некрасова «поэму», которую заканчивал. Однако ни то, ни другое произведение на страницах «Отечественных Записок» не появилось (очерки и рассказы «Подневольные странники» вышли в 1877 г. отдельным изданием в двух томах, у М. О. Вольфа).

В 1874 г. Немирович-Данченко, уже составивший себе к этому времени репутацию бойкого и занимательного очеркиста, чьи «путевые записки» печатались и в «Вестнике Европы», и в «Деле», и в ряде газет, вновь сделал попытку обосноваться в «Отечественных Записках». К этому моменту непосредственно и относятся публикуемые воспоминания. Предложенные им «очерки Мурманского берега», под общим названием «За северным полярным кругом», были приняты Некрасовым и Щедриным и появились в 8, 9 и 10-й книжках журнала за 1874 г. Однако на этом сотрудничество Немировича-Данченко в «Отечественных Записках» и кончилось. Успешно начатая им, как раз в это время, карьера разъездного фельетониста-очеркиста в «большой» либеральной прессе, приведшая его скоро в «Новое Время», сделала его участие в радикальном органе явно нежелательным, а затем и невозможным для него самого.

Уже в начале 1877 г. Щедрин ядовито высмеял в V главе «Современной Идиллии» элементы «хлестаковщины» в путевых очерках и корреспонденциях Немировича-Данченко, о которых даже один из его собратьев по перу деликатно писал, что «они полны поэзии и, если угодно, художественной правды, но возбуждают сомнения со стороны исторической и географической». А четырьмя месяцами позже Щедрин напечатал

свой знаменитый очерк «Тряпичкины-очевидцы» («Отечественные Записки» 1877, № 8) — одну из наиболее яростных и беспощадных своих сатир на беспринципность, развязность и лживость буржуазной печати и ее деятелей. При всей художественной обобщенности сатирических образов «дунайского корреспондента Подхалимова 1-го» и его газеты «Краса Демидрона», Щедрин дал вполне точные указания на ближайшие реальные прототипы сатиры. Ими были Немирович-Данченко (неоднократно упоминаемый в тексте и под своим именем и его военные корреспонденции 1877 г. в суворинское «Новое Время».

В литературно-журналистских кругах щедринская пародия-памфлет надолго закрепила за ново-временским корреспондентом кличку «Тряпичкина-очевидца». Писательской репутации был нанесен ущерб. Однако Немирович-Данченко нашел в себе мужество признать, хотя бы и задним числом, обоснованность и принципиальность щедринского выступления. Об этом свидетельствует его неизданное письмо к А. С. Суворину от 27 мая 1889 года, в котором читаем:

«Да, умер Щедрин! Вот и еще один «из славных сих» угас. Суров был покойник, ох, суров! Кто не побывал под его желчью! Помните, как он меня в корреспонденте с Дуная честил, да журмя-журил? Сколько потов с меня тогда выгнал! Но ведь и вправду молод-зелен был, завирался для шику. Мир праху его» (ЦГЛА, фонд А. С. Суворина).

В свою очередь, и воспоминания Немировича-Данченко свидетельствуют, что престарелый писатель не сохранил в своей памяти никакого явного или утаенного чувства недоброжелательства к сатирику, хотя по понятным причинам предпочел умолчать о рассказанном эпизоде, который, разумеется, не был забыт.

Печатаемые воспоминания не дают чего-либо принципиально нового для характеристики и понимания Некрасова. Но они и не мельчат образ поэта в бытовых подробностях и анекдотических мелочах. Они говорят о том, что является в том или ином отношении существенным для житейской и литературной биографии поэта (внимание к начинающим писателям, отношение к Пушкину, забота о нуждающихся литераторах и т. п.). Эти свидетельства, исходящие от писателя-современника и записанные с чувством несомненной любви к великому поэту, заслуживают внимания исследователей его жизни и творчества.

МОИ ВСТРЕЧИ С НЕКРАСОВЫМ

Оглядываясь в далекое прошлое, вижу в его туманных далях бесконечную галлерею отошедших от нас властителей дум. Из сплывающегося фона пережитых былей едва ли не самым отчетливым выступает передо мною характерный облик Н. А. Некрасова. И сейчас в моих ушах звучит хриплый, как будто простуженный голос поэта и внимательно всматриваются его пристальные глаза, угадывающие во мне самому мне неясное. Под жесткими усами чуть скользит недоверчивая улыбка, смягченная снисходительностью к маленьким слабостям других, а может быть, и трудною памятью о себе самом.

Я уже напечатал в «Вестнике Европы» «Соловки» и начал в «Деле» очерки «У океана» [1]. Мои первенцы были хорошо приняты литературным миром [2]. Это окрылило меня. Захотелось проникнуть в «Отечественные Записки», где за год перед тем Демерт уже включал в статьи о русской провинции выдержки из моих писем. В то время мы, молодые, с тревогой, робостью и неуверенностью стучались в двери этой редакции, где заправилами сидели сами «боги»: Некрасов, Щедрин, Михайловский. Помню, как крупные, уже признанные таланты, вроде Глеба Успенского, поминали царя Давида и всю кротость его, ожидая свидания с грозным Михаилом Евграфовичем. Ведь Щедрин подчас был так суров и не стеснялся не только с начинающими. Более того, с ними у него суровость была скорее ласковая, нужно было лишь уловить ее: брови хмурились, а глаза смеялись. Но с генералами от литературы он совсем не церемонился. Редактор-

ского респекта к модным именам и авторитетам у него не было и тени. Никогда не мог я забыть, как растерялось одно такое восходящее и модное «светило», когда, теребя его рукопись нервными пальцами, сатирик вдруг огорошил «светило», не стесняясь присутствующими, своим громогласным басом: «Ну, батюшка, вы тут столько набоборыкали» [3]. Я, признаться, вчуже смалодушествовал и направился было к дверям, да наткнулся прямо на Николая Алексеевича. Он угадал в чем дело и удержал меня за локоть, смеясь: «Погодите, мы прочли ваши очерки «За северным полярным кругом». И ему (кивок в сторону Щедрина) понравилось».

— Понравиться-то понравилось,— сердито забасил опять Салтыков.— Да уж очень кругло пишете. Ни на один сучок не наткнешься. А только, чего это вы со всех колоколен зазвонили? Довольно бы и с одной! Сколько литературных просвирен взбудоражили. Не на пожар, слава Богу! И «Вестник Европы», и «Дело», и «Неделя», и «Голос».

Некрасов вступился.

— Нет, это он хорошо. Сразу имя себе сделал.

Щедрин не унимался.

— Сделал-то сделал, но нельзя же так. Точно с луны свалился, проломил крышу и с целым грузом рукописей. Сидят почтенные Стасюлевичи, истово журчат тихою беседою, как по нотам. И вдруг этакое чудище — шара́х на головы... Получайте. Караул закричишь!

***

Редакторы в наше время не стеснялись. Я помню, как тот же Щедрин гильотинировал один слишком затянувшийся роман, кажется, Гирса. Роман не понравился Михаилу Евграфовичу, он просил автора прикончить его, а тот, наоборот, пообещал еще две полновесные части. И вдруг в новой книжке журнала с ужасом прочел описание грандиозной стихийной катастрофы, в которой безвременно погибли все его действующие лица...[4]

...Надо сказать, что Н. А. Некрасов ко всему, что носило печать таланта, относился не только внимательно, но и трогательно. Особенно если молодой писатель был беден, а кто же из нас тогда был богат? Он для таких являлся не издателем, а скорее товарищем, собратом, если хотите, опекуном. Время было тяжелое. Капитал еще не врывался в печать, и самые популярные впоследствии издания начинались с такими ничтожными средствами, с какими нынче не выпустишь и тощей книжки. Случалось для очередного номера закладывать женины серебряные ложки. Разумеется, это не относилось к «Отечеств. Запискам», «Вестнику Европы», «Делу» или «Русскому Вестнику», но и у них бывали затруднительные минуты. Ведь впоследствии средней руки автор за газетный фельетон получал больше, чем, например, Достоевский за печатный лист в мое время.

Н. А. Некрасову не легко достался издательский успех. А ведь он помимо громадного таланта обладал еще практической сметкой, какой не могут похвалиться и заправские коммерческие дельцы. Это и помогло ему создать не одно крупное литературное предприятие, не скупясь с сотрудниками, а широко по тому времени тратя на них подписные тысячи [5]. Он никогда не мог забыть пережитых им былей. Первые годы его литературной деятельности в Петербурге отмечены тяжелыми лишениями, даже нищетою. Я могу здесь привести со слов Николая Алексеевича страничку из мартиролога некрасовской юности [6].

Был скверный осенний вечер в Петербурге. Я встретил поэта на набережной Невы у Зимнего дворца. Ни красок, ни света, все темно и серо кругом, дали казались намеченными карандашом в тумане. Николай Алексеевич стоял, опершись на гранит у Зимнего Дворца. Внизу грузно плыла свинцовая Нева. Холодом веяло. Он оглядел меня и усмехнулся:

— Как вы сейчас напоминаете мне меня самого много, много лет назад. Что, у вас нет теплого пальто?

— Есть. Только я не люблю кутаться.

— Ну, я бы тогда закутался с удовольствием. У меня не один такой вечер в памяти. Позади нетопленная квартира, за которую несколько месяцев было неплачено. Так же я здесь вот стоял и смотрел в ту сторону через реку. Там огоньки мигали. И думалось — завернуть в простыню «Сто русских литераторов» Смирдина, навязать себе на шею и бултыхнуться в тусклую Неву. Трудные были годы... Каторжные... Много они в моей душе вытравили и здоровья отняли не мало.

ВАС. ИВ. НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО
Автолитография В. Фиалы, 1940 г.
Собрание художника, Прага

— У вас отец был богатый.

— Богатый? Нет. Средства, как у средней руки помещика, да... только мне легче было бы жернов на шею... Я мать любил...— оборвал он свой рассказ.

Я думаю, его чуткость к чужой нищете шла именно с этого времени. На себе испытал ее унижения. Часто безжалостный и суровый даже со своими богатыми друзьями — он совершенно менялся, встречая нищего писателя. Мне известны случаи, когда он помогал таким во враждебном ему лагере. Анонимно. Я думаю, они никогда не узнавали — откуда сваливалась к ним благостыня. Раз он через меня послал крайне нуждающемуся мелкому юмористу, лично его преследовавшему когда-то довольно глупыми стихами в благовременно угасшей «Занозе». И глупыми, и, правду сказать, подлыми [7].

— Откуда вы? — встретил меня в воротах дома, где жил тот.

— От ***

Поморщился.

— Охота вам с такой свиньей знаться.

— Нуждается... В доме ни копейки. Больной. Жена плачет.

— Да? Пойдемте вместе...

Молча прошел до своей квартиры в доме Краевского на Литейной.

— Зайдите. У него дети,— говорите?

— Двое...

Нахмурился.

— Дрянь он большая... А все-таки... Жена не причем... Вот что, садитесь на извозчика и слетайте к нему.

— Зачем?

Вложил в конверт две сторублевки,— по тем временам деньги. Ведь в лучших случаях платили по пятидесяти с листа средней руки писателям.

— Только дайте мне слово: ни гу-гу от кого... Если проговоритесь,— никогда не прощу вам. А через неделю вы ему еще отвезете.

Таких анонимных пособий он не мало рассылал. Часто даже не через своих, а был такой лакей-доверенный А. А. Краевского Гаврила, известный всему литературному Петербургу. Надежный человек. Некрасов в деликатных случаях пользовался его услугами. Смешно было, когда знавшие Гаврилу потом являлись благодарить ничего не понимавшего Андрея Александровича Краевского, человека в денежных отношениях точности казначейской, но и неподатливости тоже казначейской.

— Не Гаврила же им помогает? — разводил он руками.

Я мог бы назвать ряд и крупных и малых писателей, которых таким образом не раз товарищески выручал Н. А. Некрасов.

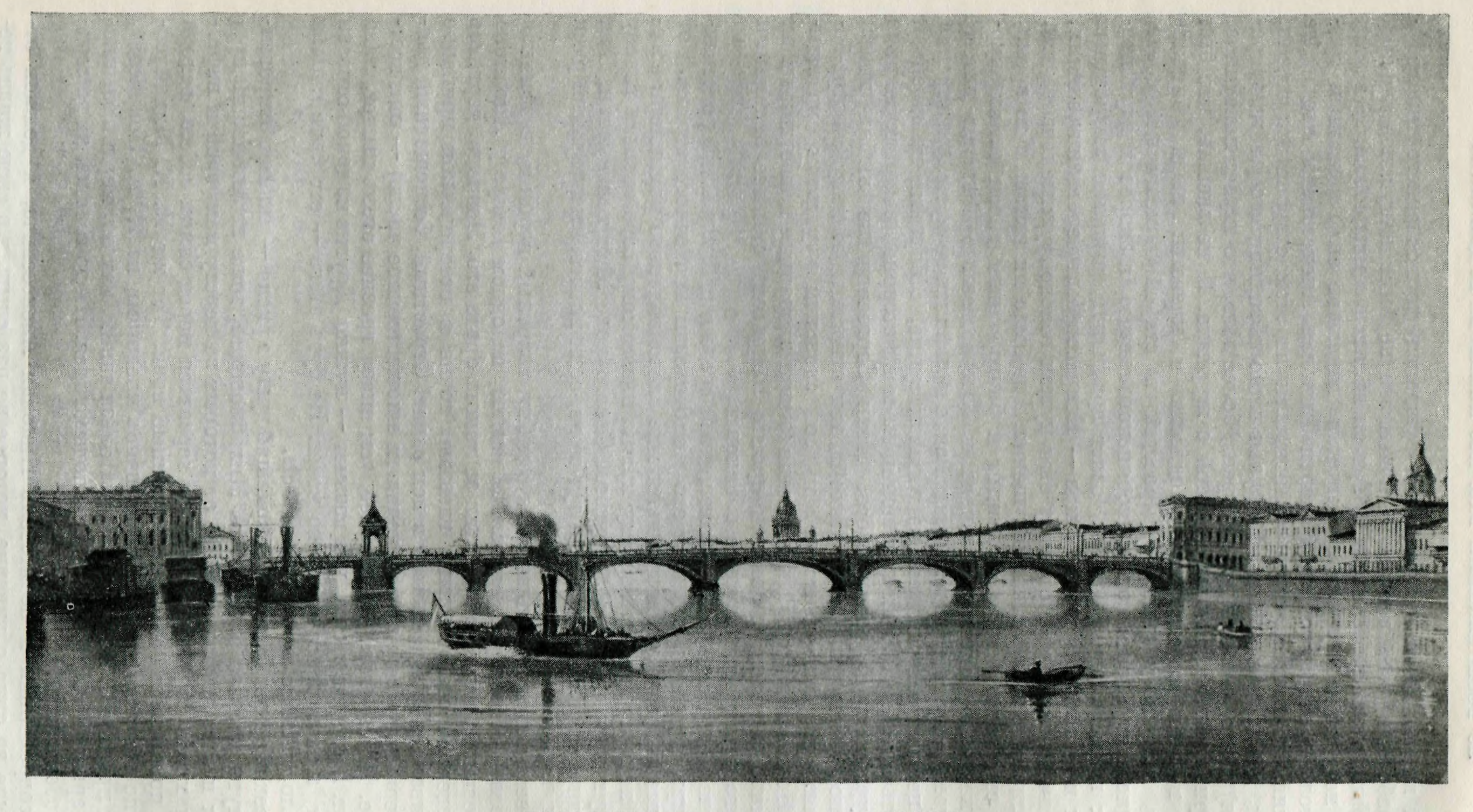
Что за чудесный кружок собирался у Некрасова! Мне редко приходилось бывать там. Я бродяжничал по всей России, но не могу не вспомнить и не упомянуть добрым словом одного из благороднейших наших поэтов, Алексея Николаевича Плещеева. Передо мной до сих пор, точно вчера было, стоит этот друг Некрасова и его ближайший сотрудник по редакции. Не было человека в нашей литературе, который бы так сердечно, я бы сказал, так чутко относился к молодым, еще не печатавшимся поэтам, раз в их первых пробах он замечал искры настоящего дарования. Он их холил, как редкое, нежное, тепличное растение, требующее пристального ухода. Сколько он сделал для Надсона, для Гаршина!

Сын Плещеева, Александр Алексеевич, наружностью очень напоминает отца. Только тот был выше, монументальнее. Тип старинного русского бояринства, в его лучших образчиках. В его фигуре, на его лице лежал отсвет внутреннего благородства. Якоби, Маковский, да не только эти художники охотились за ним, но Алексей Николаевич решительно отказывался позировать им. Не любил показу. «Только этого недоставало, чтобы я являлся перед публикой в бутафорских костюмах». Н. А. Некрасов говорил о нем: «У него тоска по гению. И он его всюду ищет». У старых писателей было это. Даже у А. С. Суворина. Я помню, каким для него явилось праздником, когда А. Н. Бежецкий [8] (а отнюдь не Д. Григорович) открыл Америку в «Осколках» и «Будильнике» — тогда еще молодого Чехова. Целую неделю ходил именинником и говорил Буренину:

— Берегите его. Не давайте в обиду, за него и вам много простится.

* * *

В Некрасове часто замечалось два человека. За письменным столом, в редакции — один. Друг и товарищ писателя, он в Английском клубе или со своими чиновными, богатыми и аристократическими друзьями казался совсем другим. Двуликий Янус. Но хорошею стороною обра-



НИКОЛАЕВСКИЙ МОСТ В ПЕТЕРБУРГЕ
Акварель И. Шарлеманя, 1852 г.
Собрание И. С. Зильберштейна, Москва

щенный к нам, ко всем, кто в нем нуждался, до последнего типографского рабочего, рассыльного. И в нем это не было напускное, личина для публики, для рекламы, нет! Тут он являлся самим собою. И в этом его бы не узнали клубные завсегдатаи, видевшие его за зеленым сукном. Столько лет прошло со смерти Николая Алексеевича, что я, не оскорбляя его памяти, могу остановиться на этой стороне его жизни.

Враги, да сказать правду, и друзья часто обвиняли его (за глаза разумеется) в том, что он крупно играет, более того, что играет наверняка. Лицемерно оправдывали его заботой о журнале. И не знаешь, кто был подлее в этом соревновании подлости и клеветы: люди, близкие к нему, или посторонние. Выросший в старой помещичьей среде, не в идиллии тургеневского «Дворянского гнезда», а скорее в аду щедринских героев, под лай собак, свист арапников, рыдания замученных женщин и бешеные крики игроков — Некрасов был человеком великих, неукротимых страстей, которому был нужен головокружительный риск, опасности, сбивающие с ног ощущения. Где было их искать в то время, да еще ему, связанному серьезным и благородным делом таких журналов, как «Современник» сначала и «Отечественные Записки» потом?

Отводом бунтующей, неукротимой силе и являлся вечером Английский клуб с целыми состояниями на зеленом сукне, с борцами на жизнь и на смерть кругом. В этом отношении на моей стороне являются великие тени Тургенева и Достоевского. Иван Сергеевич не любил поэта. Жизнь поссорила их. Федор Михайлович относился к нему с остро-болезненною подозрительностью и со сложным чувством вражды-любви. Но и тот и другой негодовали, когда злорадные клеветники в их собственных лагерях выдвигали против Некрасова ставшее банальным от частого повторения гнусное обвинение.

Тургенев, выросший сам в помещичьей среде и наблюдавший родственные Некрасову типы, называл его «головорезом карточного стола». Вот подлинные, хорошо запомнившиеся мне слова великого романиста: «Некрасова не выигрыш тешит. Ему нужно или самому себе сломать голову или в пух и прах разбить другого. Своего рода Малахов курган. Там благородная игра со смертью, а тут тоже, если хотите, смертельный риск остаться нищим».

Достоевский говорил иначе. Он сам был азартный игрок и, вспоминая Некрасова, точно оправдывался. Я помню, на одном вечере у Аполлона Николаевича Майкова он схватил за локоть брата его, Леонида, дергаясь и зло сверкая сощуренными глазами, точно в истерическом припадке выкрикивал: «Дьявол, дьявол в нем сидит! Страстный, беспощадный дьявол! Одержимые (он уже переходил на множественное число) — они всегда такие. И чем сверху спокойнее, тем внизу грознее огонь пышет, лава вскипает. Ему померяться, чья возьмет,— нужно. Другие из такой страсти убивают, а он направо и налево мечет. Не будь этого — его бы в клочья разорвало, выжгло бы всего... Да-с!».

Человек великих страстей, отводящий душу в риске,— таким в откровенные минуты рисовал его и Н. К. Михайловский, тоже не любивший правильных и соразмерных людей, от которых за версту камфорой и нафталином пахнет. Он, Некрасов, умел терзаться перед самим собою, исходя кровью покаянных стихов, в бессонные ночи. Тот же Н. К. Михайловский и по тому же поводу, возмущаясь клеветами на Н. А. Некрасова, говорил при мне С. А. Венгерову: «Нельзя таких, как он, мерять обыкновенным аршином. Выше штанов не подымешься. Ни до головы, ни до сердца не доберешься».

Как современник и почитатель Николая Алексеевича, я должен ответить еще на одно обвинение, которое не раз слышал в свою жизнь великий покойник. Сам он на него не отвечал, принял страдальчески на

себя, хотя не раз и сгибался под его тяжестью. В этом отношении он выручал любимую женщину, неповинный в ее опрометчивости, но всецело ответствуя за нее. Ему легче было самому корчиться на дыбе, но не бросить на жертву толпе легкомысленную красавицу, которую он так мученически любил в дни своей молодости. Я говорю о капиталах поэта Огарева, которые она поручила какому-то проходимцу М.[9], а тот или целым рядом спекуляций их растратил, или просто присвоил. Ему верили долго и когда, наконец, потребовали отчета — от них ничего не осталось. Руки

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К ПОЭМЕ «КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО»

Акварель С. В. Герасимова, 1936 г.

Третьяковская галлерея, Москва

Некрасова были чисты. Я бы на поминках поэта мести и печали не упоминал об этом, если бы недавно в печати опять не выплыла на поверхность эта старая клевета.

Много повинен в несправедливом обвинении Некрасова и Тургенев. Любя Огарева и ненавидя Некрасова, он слепо валил с больной головы на здоровую и клеймил Николая Алексеевича, не стесняясь в выражениях. Но ему, психологу и самому так благородно понимавшему мученичество любви, следовало бы глубже проникнуть в душевную драму Некрасова. Я думаю, в данном случае «преступления» Некрасова являются его величайшим оправданием перед высшей справедливостью. Он не только принял на себя чужую вину, но безропотно всю свою жизнь до самой смерти нес этот крест, ни разу не обмолвившись в свое оправдание и в ее обвинение, в обвинение когда-то так нежно и страдальчески любимой женщины. У него как-то (дело шло о похожем на это факте) вырвалось:

— У кого плечи сильнее, тот и волоки ношу. Нечего сбрасывать ее на слабую спину. Мы только согнемся. А ее она раздавит. И молчи!

И он молчал до конца. Гордо молчал. Как молчал Ив. Серг. Тургенев, восторженно любя хотя и гениальную, но не достойную его женщину. В то время умели любить, даже в медвежьих углах дореформенной и далеко не романтической России!

* * *

Некрасов не любил давать начинающим советов, как и что писать. Он говорил: каждый должен вырабатываться сам. Учись ходить без посторонней помощи. Не оглядывайся на других. Сам спотыкайся и, разбивая себе нос, не рассчитывай, что сосед во-время схватит тебя под локоть. Учителя у тебя одни: твой талант и наблюдение. Старайся видеть больше. Именно — видеть. Читатель смотрит — а ты видишь. Чтобы наблюдать, надо также учиться. Не кляни неудачи, они лучшие профессора. Неизвестно еще, что полезнее — чтение плохих или образцовых вещей. Во всяком случае, первое тоже приносит свои плоды чуткому писателю: в каждом из нас заложены минусы. Ты видишь их ясно у плохого писателя и, если в тебе нет самовлюбленности, скоро, благодаря дурной книге, заметишь и в своем поле скверную траву и выполешь ее.

Как-то Тургенев советовал мне: дайте вылежаться каждой вещи хоть год в письменном столе. Встретясь с Некрасовым, я передал ему этот совет. Он усмехнулся: «Ему хорошо. Этот-то год он и без гонорара проживет. Дворянское гнездо. Для ювелирной работы средства нужны. Да и потом, что́ сегодня прекрасно и во-время подано, завтра оно поблекнет, простынет и как в собачьей плошке салом покроется».

Но раз напечатанное в периодическом издании — для отдельной книги всегда надо переработать. Журнал забывают, книга будет жить. Находя у меня слишком много ярких красок, он советовал: «Вам надо писать, как японские живописцы свои картины. Спросите у Гончарова. Он както рассказывал при мне. Они не жалеют колеров и резкостью очертаний не пренебрегают. Но окончив картину и дав ей высохнуть — нежнейшей губкой начинают смывать краски. Теряется подчеркнутость линий и блеск. Все как будто подернуто туманом. К нашей северной природе это идет!» [10]

И вскоре, сам себе противореча, он говорил мне: «Нет серой жизни и серой природы, а есть серые люди».

Где-то я читал, что Н. А. Некрасов не любил Пушкина. Это ложь. Свидетельствую об этом. Поэт гражданской скорби не раз и не два говорил и мне и при мне молодым поэтам: «Учитесь грамоте по Пушкину. Не только читайте — изучайте и любите его [11]. Любите влюбленно, как любят в юности женщину, с восторгом обожания. В нем не только красота и сила. В нем школа и для вас провидение (теперь бы сказали — интуиция). У него не одна гармония стиха — но внутренняя гармония, он больше кого бы то ни было усвоил тайну стройности и соответствия. Посмотрите, как великолепны перспективы его крупных произведений, любой художник — живописец может позавидовать его дальнозоркости. А как он умел отбрасывать иногда пленительные мелочи ради стройного целого. Как он целомудренно скуп на сравнения, которые, как настоящий мот, сыплете вы — всё в одну кучу...».

Следовало бы еще откликнуться на то, что больше всего мучило великого покойника,— на его стихотворение, посвященное Муравьеву; но не нам, не нам судить ошибку человека, спасавшего этим благороднейшее дело своего журнала и добрую сотню сотрудников и рабочих, между которыми были такие, именами которых до днесь гордится вся Россия и каждый русский...

Некрасов, читая свои стихи в Английском клубе, на обеде, данном Муравьеву, не предавал, а спасал. И потом целыми потоками покаянной крови смыл эту — не измену, а ошибку...

— Не нам судить тебя,— обращусь взволнованно к его печальной тени,— ты сам осудил себя и искупил годами страдания свой минутный грех. И мы давно, благословляя твой гений, благоговейно склоняем голову перед твоею великою тенью!

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Соловки. Воспоминания и рассказы из поездки с богомольцами».—«Вестник Европы» 1874, №№ 8 и 9; «У океана. Очерки севера»— «Дело» 1874, №№ 7—9, 11, 12 (Подпись: «В. Н—Д»). Оба цикла печатались, таким образом, одновременно с очерками «За северным полярным кругом» («Отечественные Записки» 1874, №№ 8—10), а не предшествовали последним.

[2] Ср., например, отзыв И. С. Тургенева в письме к М. М. Стасюлевичу от 21/9 октября 1874 г.: «Кто автор записок о Солов⟨ецком⟩ монастыре в В⟨естнике⟩ Е⟨вропы⟩?— Отличная вещь».—«М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», под ред. М. Лемке, СПб., 1912, III, 54.

[3] Речь идет о П. Д. Боборыкине — позднейшем литературном конкуренте Вас. Ив. Немировича-Данченко, находившимся с ним в недружелюбных отношениях. В 1874 г. Боборыкин печатал в «Отечественных Записках» повесть под названием «Доктор Цыбулька, рапсодия» (№№ 3—6). Все известные (в печати и письмах) отзывы Щедрина о творчестве Боборыкина, хотя и бывшего постоянным сотрудником «Отечественных Записок», резко отрицательны. Ср., например, отзыв о повести «Долго ли?» («Отечественные Записки» 1875, № 12) в письме к Некрасову от 10 ноября 1875 г.: «Боборыкина повесть — чорт знает, что такое! Нынче литераторы словно здравого смысла лишились».— Н. Щедрин, Полное собрание сочинений, Л.— М., 1937, XVIII, 317.

[4] Дм. Гирс напечатал в «Отечественных Записках» всего два произведения: роман «Старая и юная Россия» (1868, № 3—4) и «Калифорнийский рудник. Сцены прошлого» (1872, №№ 2—3). Сказанное Немировичем-Данченко к этим произведениям относиться не может.

[5] См. об этом в настоящем томе в работе В. Евгеньева-Максимова «Некрасов-журналист».

[6] Немирович-Данченко мог слышать о первых петербургских годах Некрасова от свидетеля тогдашней жизни поэта и его друга Николая Федоровича Фермор. Знакомство с ним Немировича-Данченко удостоверяется его стихотворением, посвященным трагической смерти Н. Ф. Фермора, собственноручно записанным автором в альбом сестры умершего — М. Ф. Фермор (хранится в ЦГЛА).

[7] Сатирический журнал «Заноза», издававшийся и редактировавшийся поэтом М.П.Розенгеймом, просуществовал с 1863 по 1865 гг. Особенностью журнала была анонимность помещавшихся там литературных материалов, поэтому невозможно с полной определенностью раскрыть имя «юмориста», о котором идет речь. Активными сотрудниками были, прежде всего, сам редактор М. Розенгейм, затем Вс. Крестовский, В. Бенедиктов и Н. Лейкин. Скорее всего, рассказанный Немировичем эпизод относится к Розенгейму. Именно он был автором враждебного Некрасову и Щедрину памфлетного стихотворения «Что думает редактор, когда ему не спится» («Заноза» 1863, № 24) и, вероятно, ему же принадлежит и другое, еще более резкое выступление, на этот раз против одного Некрасова —«Русский Ювенал» («Заноза» 1864, № 30).

[8] А. Бежецкий — псевдоним А. Н. Маслова, постоянного сотрудника «Нового Времени», близко связанного с Д. В. Григоровичем в последние годы его жизни.

[9] Инициал ошибочен. Речь идет о поверенном А. Я. Панаевой — темном дельце и аферисте Н. С. Шаншиеве.

[10] Ср. с этими словами близкую им по содержанию оценку Некрасовым художественной манеры самого Гончарова, в отзыве 1855 г. на его путевой очерк «Манилла»: «Нужно ли говорить, что статья прекрасная, отличается живостью и красотой изложения, свежестью содержания и той художественной умеренностью красок, которая составляет особенность описаний г. Гончарова, не выставляя ничего слишком резко, но в целом передавая предмет со всею верностью, мягкостью и разнообразием тонов».— «Заметки о журналах за октябрь 1855 года» («Современник» 1855, № 11, см. в наст. томе, стр. 251).

[11] С призывами «читать и изучать Пушкина» Некрасов выступал и в печати. См., например, в «Заметках о журналах за ноябрь 1855 года»: «Читайте сочинения Пушкина с той любовью, с той же верою, как читали прежде,— и поучайтесь из них...»— и т. д. («Современник» 1855, № 12, см. в наст. томе, стр. 264).

ЗАПИСИ ДВУХ БЕСЕД С Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИМ О НЕКРАСОВЕ

Публикация В. Евгеньева-Максимова

Два мемуарных отрывка, публикуемые в настоящей заметке, интересны тем, что содержат несколько высказываний Н. Г. Чернышевского, в последний год его жизни, о Некрасове.

Первый отрывок принадлежит Н. А. Панову (1861—1906), забытому ныне поэту и автору большой, незаконченной монографии о Некрасове, печатавшейся отдельными статьми в газете «Уральская жизнь» (Екатеринбург) за 1902—1903 гг. Второй отрывок написан М. П. Красновым, литературным секретарем Чернышевского. Оба мемуариста общались с Чернышевским в Саратове в 1889 г. и записали потом свои беседы с ним, касавшиеся Некрасова.

Воспоминания Н. А. Панова публикуются впервые. Они извлечены из находящейся у нас рукописи заключительных глав его упомянутой монографии о Некрасове, оставшихся ненапечатанными в «Уральской жизни». Записки М. П. Краснова, из которых взят приводимый нами отрывок, были уже опубликованы им самим в газете «Страна» 1908, № 188, но остались полузабытыми.

Публикуемые материалы не вносят чего-либо принципиально нового в давно известную картину отношений Чернышевского к Некрасову. Но они добавляют в эту картину ряд ярких и выразительных штрихов. Зафиксированные обоими мемуаристами высказывания Чернышевского, так же как и характеристика непосредственного воздействия на него некрасовской поэзии, дают нам возможность еще ближе увидеть, непосредственнее почувствовать и понять силу огромной и действенной любви великого критика и публициста к Некрасову. Сквозь долгие годы тюрьмы, каторги и ссылки, до самой смерти, пронес Чернышевский свои непотускневшие чувства любви и уважения к Некрасову и свое преклонение перед его поэтическим гением. Об этом и свидетельствуют красноречиво публикуемые записи.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Н. А. ПАНОВА

⟨...⟩ Было чудное майское ⟨!июньское⟩ утро, когда мы сидели с Николаем Гавриловичем за чайным столиком, близ ресторана в Барыкинском саду, на самом берегу Волги. В воздухе, напоенном запахом сирени, щебетали птицы; одна из них, неподалеку от нас, в кустах боярышника так весело щебетала, что собеседник, сняв шляпу, долго, с поднятою высоко головою, добродушно улыбаясь, искал взором щебетунью. Он чувствовал себя превосходно, жаловался только на удушье, приобретенное им еще в ссылке, охотно вспоминал свое прошлое с момента ареста до переселения в Астрахань, а потом в Саратов, говорил о пережитых невзгодах, о тяжелой неволе, без горечи, повторял: «и не то бывает! бывает хуже!».

Когда зашла речь о «Современнике», он глубоко вздохнул и несколько минут сидел молча, как будто в это время воскресало его славное былое. Про Некрасова, как поэта и человека, он сказал следующее: «Его не все из нас понимали и любили, но он-то видел нас насквозь и, ох,

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К СТИХОТВОРЕНИЮ «ДЕДУШКА МАЗАЙ И ЗАЙЦЫ»
Акварель Г. К. Савицкого, 1921 г.
Институт литературы АН СССР, Ленинград

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К СТИХОТВОРЕНИЮ «КРЕСТЬЯНСКИЕ ДЕТИ»
Рисунок Г. К. Савицкого, 1921 г.
Институт литературы АН СССР, Ленинград

как понимал. Зоркое око имел покойный и был подчас немножко строптив; да ведь надо знать — что́ пережил... не легче, пожалуй, моей каторги. А поэт был большой, как Пушкин, как Лермонтов. Только жаль, не пройти ему теперь в народ, не пройти... Интеллигенция, молодежь его любит, многие почти наизусть знают; но кое-кто поохладел, забывать начинает. Не беда: после оценят, да еще как. Памятник ему в Петербурге поставят, не хуже, может быть, Пушкинского в Москве. И сто́ит он такого памятника, заслужил... Вот вы упомянули, когда мы шли сюда, хваленого N ⟨Надсона⟩, с которым все, особенно дамы, почему-то носятся. Красиво, тепло — и только. Вы говорите: «гражданская скорбь»... Какая там скорбь гражданская! Обычные плещеевские мотивы с собственными вариациями. Нытье, не спорю, искреннее, но оно вас не поднимает. Хныканьем не заставить плакать других. Если хочешь, чтобы тебя слушали, надо рыдать и смеяться, как Байрон, Гейне, Гоголь, Некрасов. Кстати, мнение Гоголя о будущности русской поэзии: «Скорбью ангела загорится наша поэзия». Пророчество сбылось на Некрасове. На-днях я перечитал его от доски до доски... Неотразим! Взять хотя бы «П о с л е д н и е п е с н и». Он ведь только о себе, о своих страданьях поет, но какая сила, какой огонь! Ему больно, вместе с ним и нам тоже. Если помните наизусть его вступление к «Последним песням», прочтите, пожалуйста».

Под веселое щебетанье птиц и голоса рабочих, доносившихся с пристани, под шум волн и пароходных колес, на берегу родной Некрасову Волги прозвучали его же, некрасовские стихи: ⟨...Далее целиком цитируется стихотворение: «Нет, не поможет мне аптека»⟩.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ М. П. КРАСНОВА

⟨...⟩ В минуты сердечной откровенности Чернышевский не мог вспоминать без слез о своих друзьях: Н. А. Некрасове и Н. А. Добролюбове. Про первого Н⟨иколай⟩ Г⟨аврилович⟩, как бы защищая его память от нападок личного свойства, всегда замечал: «Хороший был человек, очень хороший». Помню в главных чертах такой случай. Однажды, отдыхая после обеда, мы незаметно разговорились о поэзии. От стихотворения «Кубок» Жуковского перешли на «Пана Тадеуша» Мицкевича, из которого Н⟨иколай⟩ Г⟨аврилович⟩ прочел по-польски на-память заключительный отрывок. От Мицкевича перешли к Некрасову. Стихотворение последнего «Тяжелый крест» он назвал лучшим лирическим произведением на русском языке. Затем Н⟨иколай⟩ Г⟨аврилович⟩ предложил послушать «Рыцаря на час». Его слегка растянутое, ритмическое чтение, с логическими ударениями, произвело на меня громадное впечатление, и, заслушавшись, я и не заметил, что, чем далее, тем звончее становится голос Н⟨иколая⟩ Г⟨авриловича⟩. Он уже как бы пережил «восхождение на колокольню» и оборвавшимся, надтреснутым голосом начал заключительный стих принесения повинной перед памятью матери. Вдруг Н⟨иколай⟩ Г⟨аврилович⟩ не выдержал и разрыдался, продолжая, однако, читать стихотворение. Я не в силах был остановить его, ибо и сам сидел потрясенный. Эту тяжелую сцену прервала Ольга Сократовна возгласом:— «тебе это вредно».— «Не буду, голубушка, не буду»,— ответил Н⟨иколай⟩ Г⟨аврилович⟩, и мы уселись через некоторое время за работу. ⟨...⟩.

СООБЩЕНИЯ

КОГДА И ГДЕ РОДИЛСЯ НЕКРАСОВ?

К ПЕРЕСМОТРУ ТРАДИЦИИ

Сообщение А. Попова

Пересмотр традиционных указаний на день и место рождения Некрасова, приводимых во всех биографиях поэта, необходим, ввиду ошибочности этих указаний. Сам поэт давал сбивчивые и противоречивые сведения о своем возрасте и месте рождения. Биографы некритически печатали их, добавляя и свои измышления. В результате образовались очевидные и нетерпимые расхождения между печатными сообщениями, с одной стороны, и документами — с другой.

Во всех биографиях поэта день рождения его обозначен 22-м ноября 1821 г., а в метрическом свидетельстве о рождении Некрасова стоит 28 ноября (Государственная библиотека им. Ленина, М. 5769. 11 и М. 5769. 1. 3.). Как произошло столь необычное расхождение между печатной датой и первоисточным документом, откуда и как появилась печатная дата, почему она имеет предпочтение перед метрическим свидетельством, показания которого в этой части вообще являются обязательными для биографа, опорочена ли датировка метрики в данном случае?— таких вопросов не ставило и не разрешало исследование. Между тем, метрическая запись о рождении Некрасова теперь известна по описанию в печатном каталоге, выпущенном Всесоюзной библиотекой им. Ленина: «Рукописи Н. Некрасова», М., 1939, 96. Биография поэта получила, таким образом, документально обоснованную вторую дату его рождения. Необходимо устранить существующую путаницу и выяснить окончательно, когда же в действительности родился поэт — 22 ноября или 28-го.

Дата рождения Некрасова, указанная в его метрике, до сих пор никем не опротестована и никакому сомнению не подвергнута.

Сам поэт еще подростком написал автобиографические стихи под заглавием «День рождения», датируя их 27 ноября, т. е. кануном дня своего рождения.

Позднее, в 1873 г., Некрасов засвидетельствовал своё рождение 28 ноября собственноручной записью в «Альбоме» Семевского (но с неправильным обозначением года: 1822 вместо 1821; ошибка эта повторена Некрасовым и в ряде других автобиографических записей).

День 28 ноября друзья поэта отмечали поздравительными письмами и личными посещениями Некрасова, а сам он, принимая поздравления, приглашал в этот день близких людей к праздничному обеду, как это было, например, в 1872 г. (Письмо А. Н. Еракову 28 ноября 1872 г.— Некрасов, Сочинения, V, 494).

Так, на протяжении почти всей жизни Некрасов считал днем своего рождения двадцать восьмое ноября.

И только в феврале 1877 г., мучимый предсмертной болезнью, доходя до бредового состояния, он, в числе других ошибок, вроде указания на польскую якобы национальность своей матери, неправильно назвал днем своего рождения 22 ноября. Стасюлевич тогда же опубликовал эту дату, как авторизованную, в своем биографическом очерке Некрасова, помещенном в VII томе «Русской Библиотеки», откуда она распространилась по всей биографической литературе и печатается до настоящего времени.

Разумеется, ни сам Стасюлевич, ни его читатели не думали, что авторизованная дата рождения может расходиться с первоисточным документом — метрическим сви-

детельством. Считалось само собой разумеющимся, что каждый человек называет день своего рождения на основании метрики, в соответствии с нею. Стасюлевич, разумеется, и не находил нужным проверять слова Некрасова документальным порядком. Наоборот, объявляя в примечании, что начало биографического очерка написано им со слов самого поэта и было прочтено ему для фактической проверки, Стасюлевич был сам уверен и внушал своим читателям, что это начало содержит в себе безупречную фактическую правду, не нуждающуюся в документальных подтверждениях и добавлениях. Другие биографы доверились сведениям Стасюлевича, идущим от самого Некрасова, и так создалась прочная, но непроверенная традиция, по которой неправильная дата печатается и до настоящего времени.

Ее долголетнему бытованию содействовало и то, что метрическая запись о рождении поэта была обнаружена лишь незадолго до Великой Отечественной войны, в 1939 г., и документ не успел стать достоянием гласности среди исследователей. Составитель «Летописи жизни и творчества Н. А. Некрасова», вышедшей из печати в 1935 г., Н. С. Ашукин, еще не знал о существовании метрической записи о рождении и датировал его на основании «Посмертного издания», т. I, стр. XVI (Н. С. Ашукин, Летопись, 17). Впервые метрическое свидетельство о рождении Некрасова используется (и воспроизводится факсимильно) в настоящей заметке.

При разрешении вопроса о дне рождения Некрасова нельзя обойти молчанием одного места в еще не изданном «Дневнике» А. В. Дружинина (Гос. Центр. Лит. Архив, Москва), которое как будто служит подтверждением ошибочной даты. Н. С. Ашукин под 22 ноября 1853 г. помечает в «Летописи»: «День рождения Некрасова. У него целый день провел А. В. Дружинин» («Летопись», 124). Обоснование записи — в следующих словах дружининского «Дневника»: «Вчера весь почти день провел у Некрасова, неожиданно открывши, что то был день его рождения». Слова «неожиданно открывши» походят, однако, больше на домысел — «открытие» самого Дружинина, чем на фактическое свидетельство о дне рождения Некрасова. 22 ноября 1853 г. было воскресеньем, и Дружинин застал днем у Некрасова трех воскресных посетителей. Между тем через два года тот же Дружинин в том же «Дневнике» уже ничего не говорит о 22 ноября 1855 г., но подробно описывает званый вечер у Некрасова именно 28 ноября,— с многочисленными гостями, парадным обедом, обильным питьем, тостами, музыкой, пением, — чем поэт, действительно, отмечал свое рождение.

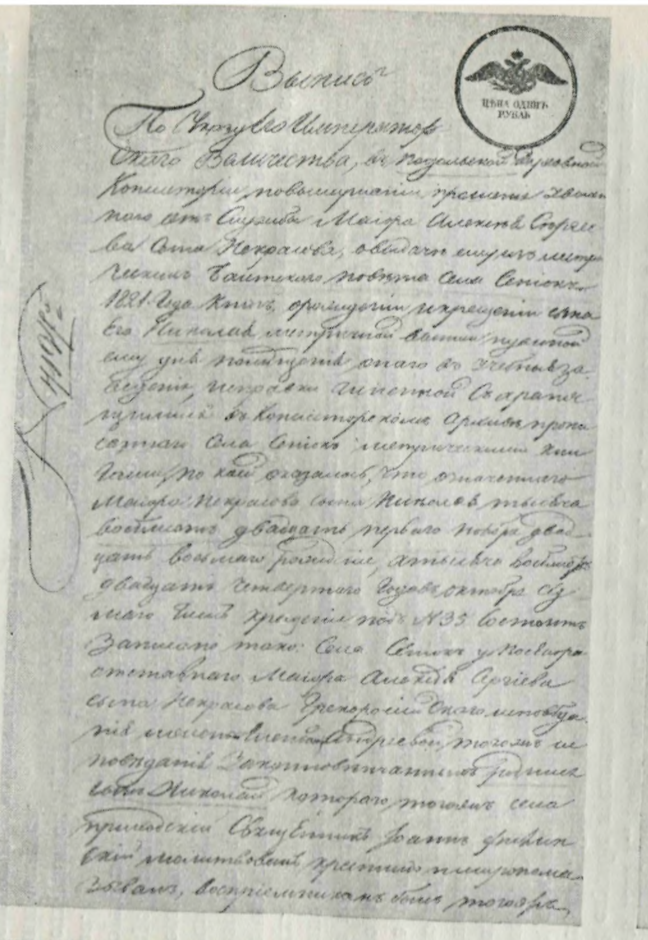
Таким образом, материал «Дневника» А. В. Дружинина не только не укрепляет традиционной даты рождения, но подрывает ее и подтверждает рождение поэта 28 ноября.

Н. С. Ашукин не вник в содержание «Дневника», а также в записку самого Некрасова к А. Н. Еракову 28 ноября 1872 г. с приглашением на обед по случаю дня его рождения. Составитель «Летописи» отмечает (стр. 406) эту записку под 28 ноября 1872 г., но недоговаривает, по какому случаю зовет Некрасов своего друга «на обед».

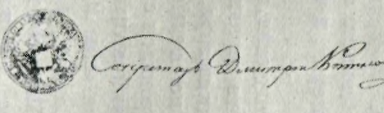
Так, традиционная дата, владея сознанием составителя, помешала ему объективно воспринять материал и сделать правильные выводы из него.

Биографы поэта так же некритически и безоговорочно до сих пор сообщают о рождении его в местечке Юзвин, Винницкого уезда, Подольской губернии.

Но еще в 1902 г. было точно установлено и вслед за тем опубликовано, что в метрических книгах Юзвинской церкви нет записи о рождении Некрасова. К. Оберучев так говорит: «Просмотрев метрическую книгу о родившихся Юзвинской церкви с 1817 года по 1827 год, я не нашел в ней записи о рождении поэта» (К. Оберучев, К биографии Н. А. Некрасова.—«Киевская Старина» 1903 г., январь, 178). Еще решительнее заявляет священник Юзвинской церкви: «Проверены метрические акты с 1818 года, со дня бракосочетания отца поэта, за двадцать лет. Вопросом этим Юзвинской приход больше всех интересуется, но поэт, видно, здесь не родился». (Там же, 179).



Выпись



МЕТРИЧЕСКАЯ ВЫПИСЬ, ФИКСИРУЮЩАЯ РОЖДЕНИЕ НЕКРАСОВА В ДЕНЬ 28 НОЯБРЯ 1821 г. (ст. ст.)

Выпись выдан Подольской духовной консисторией (г. Каменец-Подольск) 18 октября 1832 г.

Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

В Юзвине, принадлежавшем А. С. Закревскому, деду поэта с материнской стороны произошло бракосочетание родителей Некрасова. Повидимому, это и дало повод называть Юзвин местом рождения писателя. Однако поручик 28-го егерского полка А. С. Некрасов, как я устанавливаю, и не жил в Юзвине. Он только приезжал туда для заключения своего брака из г. Литин, Подольской губернии, где в 1817 г. стоял его полк, куда он и возвратился после свадьбы с молодой женой. (О пребывании в Литине 28-го егерского полка в 1817 г. свидетельствует «Собрание законов и постановлений, до части военного управления относящихся». Книжка 1. СПб. В Военной Типографии. 1817, стр. 389).

Безрезультатные поиски юзвинцев становятся вполне понятными.

Свой паспорт Некрасов затерял, и что говорилось в нем о месте рождения, остается неизвестным.

Метрическая выпись о рождении, выданная Подольской духовной консисторией, свидетельствует, что в архиве церкви села Сениок, Балтского повета, «состоит записано тако: Села Сениок у посессора, отставного майора, Алексея Сергиева сына Некрасова, Грекороссийского исповедания, и жены, Елены Андреевой, того же исповедания, законновенчанных, родился сын Николай, которого того же села приходской священник Иоанн Филипский молитвовал, крестил и миропомазывал...». Запись не говорит прямо, где родился «сын Николай», но, называя его родителей, связывает их с селом Сениок: «села Сениок у посессора, отставного майора» и т. д. Получается как будто, что и родился Некрасов в селе Сениок у тамошнего «посессора», т. е. помещика, отставного майора. Такая обманчивая, фактически же неверная редакция записи естественно получилась оттого, что крестили почти трехлетнего ребенка и по трафарету церковной записи соединили с рождением то, что относилось к моменту крещения: отставным майором А. С. Некрасов стал только в январе 1823 г., а родился поэт в 1821 г., когда отец был капитаном. А. С. Некрасов после своей отставки от военной службы временно проживал в селе Сениок перед возвращением в ярославскую вотчину. Запись, не указывая на временное пребывание здесь А. С. Некрасова, сделала ярославского помещика «села Сениок» посессором (по принятой местной терминологии). Сам поэт также никогда не называл местом своего рождения «село», а указывал на одно из «местечек».

Вообще же Некрасов сам точно не знал места своего рождения и называл то Ярославскую губернию («Автобиография»), то город Ярославль («Хрестоматия для всех. Русские поэты в биографиях и образцах. Составил Нк. Вас. Гербель», СПб., 1873, 536), то «одно из местечек» Каменец-Подольской губернии, «где тогда квартировал полк, в котором служил его отец» (Запись Стасюлевича в его биографическом очерке). Название «местечка» не сохранилось в памяти Некрасова и не дошло от его близких.

Конечно, поэт родился не в Ярославской губернии, куда его привезли в трехлетнем возрасте, а на юго-западе тогдашней России, где его отец служил в 1821 г. в 36-м егерском полку, в который перевелся из 28-го егерского полка. Местопребывание 36-го егерского полка в ноябре 1821 г. и есть место рождения Некрасова. Найти это местопребывание полка стало моей задачей.

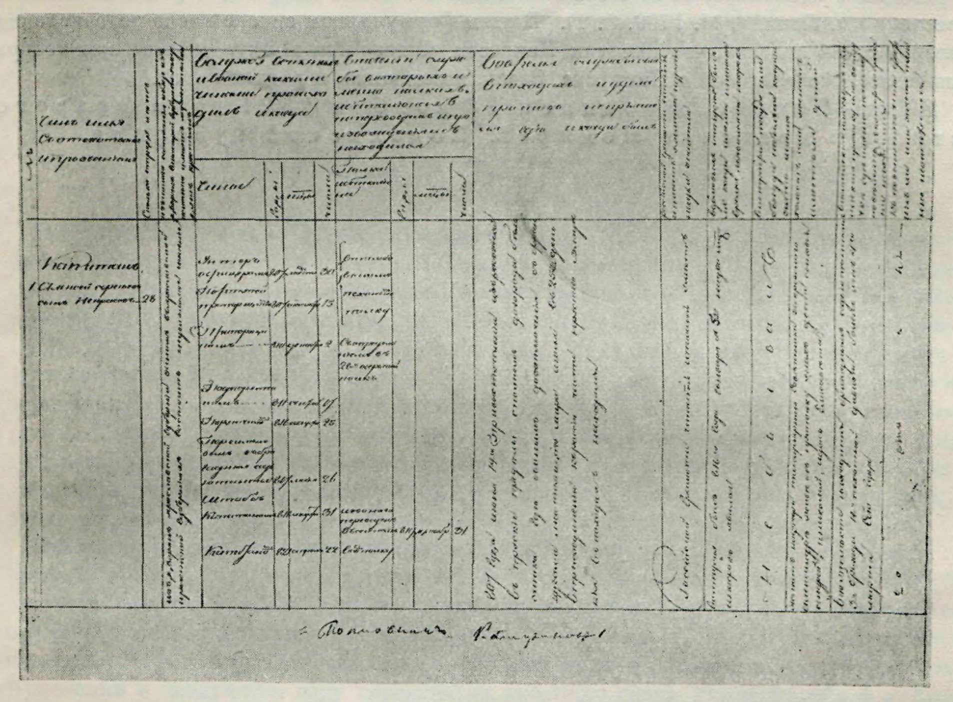
История полка или не была написана или не сохранилась в архивах военного ведомства.

Но сохранился другой источник, недавно мною найденный, который и служит разрешению вопроса.

Перемещением войсковых частей тогда ведал Инспекторский Департамент Главного Штаба. В бумагах этого Департамента оказалось подлинное «Дело по разным сведениям о перемещении войск по квартирам с 1-го Генваря 1821 по 1-е Генваря 1822 года» (Центральный Военно-Исторический архив в Ленинграде, № 368). Генерал-лейтенант барон Толь получил это «дело» при рапорте генерал-майора Хоментовского «от 5 марта сего года» и направил «дислокацию» на «высочайшее» утверждение, которое последовало 14 апреля. По «дислокации» штаб 36-го егерского полка показан в местечке Немиров, Подольской губернии (Лист 58 об.).

В отдельных случаях решения по «дислокации» частично изменялись. Тогда создавалось «дело» по изменению, в котором точно указывалось место нового направления войсковой части, прилагался точный маршрут следования с указанием календарных сроков.

Так как Некрасов родился в конце 1821 г., то важно точно знать, не последовало ли изменение в местопребывании 36-го егерского полка к концу года. «Дела» об изменении местопребывания 36-го егерского полка в архиве не имеется. Но сохранилось «дело», которое свидетельствует, что и во второй половине 1821 г. 36-й егерский полк находился в местечке Немиров, согласно утвержденной «дислокации»



ФОРМУЛЯРНЫЙ СПИСОК О СЛУЖБЕ А. С. НЕКРАСОВА, ОТЦА ПОЭТА

Список, составленный в декабре 1821 г., регистрирует (в графе «имеет ли детей») существование у А. С. Некрасова сыновей Андрея и Николая и дочери Елизаветы

Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

14 октября того же 1821 г., т. е. во второй половине его, барон Толь вновь представлял вице-директору Инспекторского Департамента Главного Штаба «Копию с квартирного Росписания войск 2 Армии», полученного от генерал-квартирмейстера этой армии при рапорте от 29 сентября. Здесь, на обороте листа 185, штаб 36-го егерского полка продолжает значиться в том же Немирове, Подольской губернии. При этом имеется такое важное для нашего вопроса уточнение: «3 бригада, м⟨естечко⟩ Немиров». 36-й егерский полк входил в 3-ю бригаду, составлявшую часть 18-й пехотной дивизии. А. С. Некрасов принадлежал к 36-му егерскому полку и был бригадным адъютантом 3-й бригады.

Таким образом, штаб 36-го егерского полка «по 1-е Генваря 1822 года» находился в местечке Немиров, где стояла и 3-я бригада.

Не выходил полк из Немирова и в следующем, 1822, году. Самое «дело» о размещении войск в 1822 г. не сохранилось, но в том же 1822 г. оно было напечатано в книге, имеющей заглавие: «Собрание законов и постановлений, до части военного управления относящихся. Книжка II. Санкт-Петербург, Печатано в Военной Типографии Главного Штаба. 1822». Часть этой книги составляет «Росписание Армии, отдельных Кор-

пусов и Войск, не вошедших в состав Армии и Корпусов». «Росписание» «высочайше» утверждено 23 марта 1822 г. 36-й егерский полк показан в том же Немирове (стр. 61).

И в 1820 г., как и в 1819 г., 36-й егерский полк стоял также в Немирове («Дело по росписанию о перемещении войск по квартирам с 1-го Генваря 1820 года по 1-е Генваря 1821 г.». Центральный Военно-Исторический Архив, № 252, лист 78).

Таким образом, 36-й егерский полк безвыходно стоял в Немирове, Подольской губернии в *1819, 1820, 1821* и *1822* гг.

В декабре 1821 г., т. е. спустя около месяца после рождения поэта, был составлен «формулярный список о службе и достоинстве 18-й Пехотной дивизии, 3-й бригады бригадного адъютанта, 36-го егерского полка капитана Некрасова» (Всесоюзная библиотека им. Ленина, М. 5769. 3. 1). В этом формулярном списке после перечисления членов семьи сказано, что капитан Некрасов «живет при полку», а полк, как теперь мы знаем, располагался в Немирове. Здесь, несомненно, и родился поэт.

Итак, Некрасов родился 28 ноября 1821 года (старого стиля) в местечке Немиров, Подольской губернии.

НЕНАЙДЕННАЯ ПОВЕСТЬ НЕКРАСОВА «КАК Я ВЕЛИК!»

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАГАДКА

Сообщение С. Шестерикова

В 1917 г. К. И. Чуковский опубликовал в «Ниве» (№ 34—37) отрывок из интереснейшей мемуарно-памфлетной повести Некрасова, в которой изображен кружок Белинского и, под условными именами, выведены: сам Некрасов («Чудов»), Белинский («Мерцалов»), И. С. Тургенев («Решетилов», «Мальчишка»), Д. В. Григорович («Балаклеев»), И. И. Панаев («Разбегаев») и ряд других лиц, близких к редакционному кругу «Отечественных Записок» 40-х годов. Как явствует из этого отрывка, сохранившегося в черновой и не вполне отделанной рукописи, повесть памфлетно заострена в основном против Достоевского и его знаменитого дебюта с «Бедными людьми». Отрывок содержит весьма ироническое освещение восторженного отношения Мерцалова и его окружения к молодому автору Глажиевскому и его повести «Каменное сердце» (как прикровенно обозначены Некрасовым Белинский, Достоевский и «Бедные люди»).

Публикуя эту «драгоценную находку», дающую лишь часть широко задуманной повести Некрасова, Чуковский сопроводил ее обширным комментарием, в котором убедительно вскрыл замысел повести и, повидимому, безошибочно расшифровал имена, под которыми фигурируют в ней ее исторические персонажи. Этот отрывок, под условным названием «Каменное сердце», заимствованным из текста повести Некрасова, Чуковский в следующем году перепечатал вместе со своим комментарием в книжке: «Неизданные произведения Н. А. Некрасова. С объяснительными статьями и примечаниями К. И. Чуковского», кн-во «Петербург», 1918.

Книжка вызвала рецензию в петроградском журнале «Книга и революция» (1920. № 1, 34—36), автор которой прикрылся псевдонимом М. Маврин. В конце своей обширной рецензии он сделал чрезвычайно важное указание (стр. 36): «В 1884 г. в Перми была выпущена литографированная в 16-ю долю листа книжка с таким титулом: «Н. А. Н. Как я велик! Повесть из жизни литературного гения. Пермь. Литография Злотникова. 1884. Не продается». Была ли эта книжка (в 264 страницы) отлитографирована в Перми, был ли там литограф Злотников — неизвестно, но эта повесть и есть та самая, из которой Чуковский дал одну главу, только им и найденную в бумагах поэта. Между тем, в повести пять глав; найденная Чуковским — 3-я. Текст ее значительно отделан автором сравнительно с черновиком, найденным теперь».

Под псевдонимом М. Маврин, как можно совершенно категорически утверждать, укрылся в данном случае М. К. Лемке, неоспоримые архивно-книжные знания которого придают исключительную ценность данной им библиографической справке. А между тем ценность ее как будто признана не в должной степени. При дальнейших перепечатках отрывков из повести Некрасова, все под тем же условным заглавием «Каменное сердце», Чуковский ограничился тем, что констатировал отсутствие этой литографированной «тетрадки» в Библиотеке Академии Наук СССР и в Государственной публичной библиотеке в Ленинграде: «Никому из библиографов, к которым мы обращались за справкой, она неизвестна» [1].

Рецензия Лемке не отмечена в библиографическом указателе Н. Бельчикова, «Н. А. Некрасов в литературе за годы революции. 1917—1928», Гиз, 1929 (в котором ссылка на издания «Каменного сердца» помещена почему-то в отделе «Новые тексты стихотворений», см. стр. 9 и 65); не зарегистрировал ее и Н. Выводцев в своем отзыве о книжке Н. Бельчикова, частично восполняющем ее многочисленные пропуски и неточности («Звезда» 1929, № 8, 229—231). Можно утверждать, не боясь впасть в преувеличение, что рецензия Лемке с заключающейся в ней ценной библиографической справкой не вошла в научный оборот и прочно забыта. Об этом красноречиво свидетельствует факт обращения Н. С. Ашукина («Летопись жизни и творчества Н. А. Некрасова», «Academia», 1935, 281), Л. П. Гроссмана («Жизнь и труды Ф. М. Достоевского», «Academia», 1935, 46) и А. С. Долинина («Письма» Достоевского, Гиз, 1928, I, 481—483) лишь к отрывку этой повести, условно названной Чуковским «Каменное сердце», и абсолютное молчание их о существовании полного (хотя пока не найденного) текста повести Некрасова под заглавием «Как я велик!». Относительно датировки опубликованного К. И. Чуковским отрывка (и, тем самым, приблизительно всей повести) наличествует разногласие: Долинин вообще воздержался от высказывания каких-либо предположений на этот счет; Чуковский предполагал, что «повесть не могла быть написана ранее 1861 года»; вслед за ним Ашукин уверенно уже датировал известный в печати отрывок «не ранее 1861 г.»; Гроссман вряд ли верно, хотя и категорически, отнес всю повесть «к 1846 или 1847 г.».

Печатно зафиксированный вполне авторитетным исследователем факт существования полного текста повести Некрасова, изданного литографским способом отдельной книжкой, должен привлечь к себе внимание всех книжно-библиотечных работников. Нельзя, конечно, ограничиваться спокойной констатацией отсутствия этой, очевидно, редчайшей книжки в двух крупнейших ленинградских книгохранилищах. «Книги имеют свою судьбу», и загадочная книжка с инициалами Н. А. Н., заключающая полный текст повести Некрасова о молодом Достоевском, может найтись на полках скромной провинциальной библиотеки, персонал которой, быть может, даже не подозревает, какая драгоценность имеется в составе ее книжных фондов. Можно предположить, что экземпляр книжки Н. А. Н. должен был бы находиться среди книг личной библиотеки М. К. Лемке, приобретенной после его смерти (ум. 1923) «Международной книгой», в каталогах которой, однако, она не анонсировалась*. Необходимо подчеркнуть, впрочем, что история ее издания, действительно, несколько загадочна, на что намекает и сам Лемке. Дело не в том, конечно, что об этой книжке нет упоминаний ни в одном из известных списков русских книжных редкостей, и даже не в том, что о ней нет сведений в официальных списках новых книг, регулярно печатавшихся в ту пору в «Правительственном Вестнике» и заменявших тогда позднейшую (с 1907 г.) «Книжную Летопись» [2]. Из этого обстоятельства особых выводов все же делать нельзя, так как неполнота официальных списков известна, и пропуски в них достаточно часты. Не может удивлять и то обстоятельство, что книжка не зарегистрирована в «Пятом прибавлении» В. И. Межова к росписи книжных магазинов И. И. Глазунова за 1883—1887 гг., поскольку Межов обычно использовал официальные данные. Гораздо существеннее то обстоятельство, что в официальном «Списке типографий и литографий, находящихся в губерниях», напечатанном в «Правительственном Вестнике» 22 сентября 1883 г. (№ 208), литография Злотникова не указана ни по Пермской губернии, ни по какой-либо иной. Ни словом о ней не упоминает и А. Дмитриев в своей «Пермской летописи», тщательно отмечавший в этой своей работе случаи открытия в Перми частных предприятий такого характера [3].

Местные краеведы должны помочь в установлении факта, существовала ли действительно в Перми литография Злотникова. До этого всякие предположения о «происхождении» книжки Н. А. Н. будут преждевременны и неуместны.

---

* По свидетельству В. Е. Евгеньева-Максимова, М. К. Лемке говорил ему, что экземпляр книжки находился в его распоряжении «всего несколько часов, для ознакомления». — Примеч. редакции.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К ПОЭМЕ «МОРОЗ, КРАСНЫЙ НОС»
Акварель Б. М. Кустодиева, 1921 г.
Институт литературы АН СССР, Ленинград

Во всяком случае, следует надеяться, что коллективными усилиями советских книжно-библиотечных работников забытая и загадочная книжка Н. А. Н. «Как я велик!» будет найдена, увеличив известное нам литературное наследие Некрасова значительным произведением большого историко-литературного и общественного интереса.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См. Н. Некрасов, «Тонкий человек» и другие неизд. произведения. Собрал и пояснил Корней Чуковский, Изд-во «Федерация», М. [1928], 230. Ср.: К. Чуковский, Некрасов. Статьи и материалы, Л., 1926, 325.— В кн.: Н. А. Некрасов, «Каменное сердце». (Повесть из жизни Достоевского), изд. 2-е, испр. и доп., под ред. и со вступит. статьей К. И. Чуковского, изд-во «Полярная Звезда», Пб., 1922,— о рецензии Лемке нет ни слова.

[2] Эти списки (лишенные каких-либо вспомогательных указателей) тщательно просмотрены мною постранично за весь 1884 г., за вторую половину 1883 г. и за первую половину 1885 г. (поскольку книжка с обозначением на титульном листе 1884 г. могла быть фактически издана в конце 1883 г. или в начале 1885 г.).

[3] А. Дмитриев, Очерки из истории губернского г. Перми с основания поселения до 1845 года, с приложением летописи г. Перми с 1845 до 1890 года, Пермь, 1889.

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ Ап. МАЙКОВА О НЕКРАСОВЕ

ИЗ ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРНОЙ БОРЬБЫ 1850-х гг.

Публикация С. Рейсера и А. Максимовича

1

Одно из программных стихотворений Некрасова —«Муза», написанное в 1851 г., появилось в «Современнике» лишь в январе 1854 г., а широкую известность приобрело в 1856 г., после выхода в свет первого издания «Стихотворений» Некрасова. 25 мая 1856 г. Тургенев писал Некрасову: «В Москве твои все последние стихи (особенно «Муза») — произвели глубокое впечатление. Даже Хомяков признал тебя поэтом. Какого тебе еще лаврового венка?» («Голос Минувшего», 1916, № 5—6, стр. 36).

Борьба «чистого» и «тенденциозного» искусства, обострившаяся именно в эти годы, в значительной степени под влиянием творчества Некрасова, шла не только в теоретическом плане. Своеобразными формами ее выражения являлись также поэтические декларации, либо по общим вопросам искусства, либо непосредственно заостренные против Некрасова. Сюда относятся четыре полемических стихотворения Полонского, эпиграммы Щербины, стихотворения Фета, Минаева, Никитина, Владимира Соловьева и др. К этому ряду примыкает и публикуемое стихотворение Ап. Майкова, особенно совпадающее, в своих основных мыслях, со стихами Полонского.

Ап. Майков предлагает поэту «склонить усталый взор к природе...» и в ней почерпнуть источник подлинного вдохновения. О том же у Полонского:

...в цветы ряди страданья,
Любовью — к правде нас веди!
Нет правды без любви к природе...
(«Поэту-гражданину», 1864)

Полемический ответ Ап. Майкова по поводу некрасовской «Музы» остался ненапечатанным. Датировать его следует, повидимому, осенью 1856 г., так как в стихотворении Майкова есть несомненные отзвуки «Поэта и гражданина» (ср., например, «Нет, ты дитя больное века» и «Сын больной больного века»). А это произведение появилось в печати лишь в первом издании «Стихотворений» Некрасова 1856 г.).

Стихотворение публикуется впервые по автографу ИЛИ (Архив Майкова, 17546. CXб, 2). Первые восемь строк (с ошибкою в стихе 5) приведены К. И. Чуковским в примечаниях к однотомнику Некрасова в качестве «любопытного послания какого-то уездного мещанина» (Изд. 9, Л., 1935, 480; в изд. «Academia», 1934, I, вместо «мещанина» — «стихотворца»).

Стихотворение осталось недоработанным, особенно стихи 25, 26, 37, 45 и 65-й. На полях ряд черновых вариантов, но лист по длине оборван и сохранились лишь первые слова строк. После стиха 28 на полях л. 1 следовала вставка, не менее чем в 16 строк; она также не восстановима. Против стихов 63—68 на полях зачеркнутый вариант стихов 63 и след. (8 недоработанных строк).

Н. А. НЕКРАСОВУ
(По прочтеньи его стихотворения «Муза»)

С невольным сердца содроганьем
Прослушал музу я твою,
И перед пламенным признаньем
Смотри, поэт, я слезы лью!..
Нет, ты дитя больное века!
Пловец без цели, без звезды!
И жаль мне, жаль мне человека
В поэте злобы и вражды!
Нет, если дух твой благородный
Устал, измучен, огорчен,
И точит сердце червь холодный,
И сердце знает только стон:
Поэт! Ты слушался не музы,
Ты детски слушался людей,
Ты наложил на душу узы
Их нужд строптивых и страстей;
И слепо в смертный бой бросался,
Куда тебя они вели;
Венок твой кровью окроплялся
И в бранной весь еще пыли!..
Вооруженным паладином
Ты проносился по долинам,
Где жатвы зреют и шумят,
Где трав несется аромат,
[Но ты их] не хотел и видеть,
Провозглашая бранный зов,
И полюбивши ненавидеть,
Везде искал одних врагов.

СТИХОТВОРЕНИЯ

Н. НЕКРАСОВА

ЭКЗЕМПЛЯР ИЗДАНИЯ «СТИХОТВОРЕНИЙ» НЕКРАСОВА 1874 г. С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ ПОЭТА А. Н. МАЙКОВУ

Институт литературы АН СССР, Ленинград

. . . .
Но вижу: бранью не насытясь
И алча сердцем новых сил,
Взлетев на холм, усталый витязь,
Ты вдруг коня остановил.
Постой — хоть миг! И на свободе
Познай призыв своей души.
Склони усталый взор к природе,
Смотри — как чудно здесь в глуши:
Идет обрывком лес зеленый,
Уже румянит осень клены,
А ельник зелен и тенист,
Осинник желтый бьет тревогу,
Осыпался с березы лист
И, как ковром, устлал дорогу —
Идешь — как будто по водам,
Нога шумит... и ухо внемлет
Малейший шорох / Смятенный говор в чаще там,
Где пышный папоротник дремлет
И красных мухоморов ряд,
Как карлы сказочные, спят.
А здесь просвет: сквозь листья блещут
Сверкая золотом струи...
Ты слышишь говор: воды плещут,
Качая сонные ладьи;
И мельница хрипит и стонет
Под говор бешеных колес.
Вон-вон скрыпит тяжелый воз:
Везут зерно. Кляченку гонит
Крестьянин: на возу дитя,
И деда страхом тешит внучка;
А хвост пушистый опустя
Вкруг с лаем суетится Жучка —
И звонко в сумраке лесном
Веселый лай летит кругом.
. . . .
Поэт! Ты слышишь эти звуки...
Долой броню! Во прах копье!
Здесь достояние ⟨1 слово нрзб.⟩
Я знаю — молкнут сердца муки,
И раны тяжкие войны
В твоей душе заживлены;
Слеза в очах, как жемчуг, блещет,
И стих в устах твоих трепещет,
И средь душевной полноты
Иную музу слышишь ты.
В ней нет болезненного стона;
Нет на руках ее цепей.
Церера, пышная Помона,
Ее зовут сестрой своей,
К ней простирают руки нежно —
И, умирив свой дух мятежный,
Она сердечною слезой
Встречает чуждый ей покой...
Отдайся ей душою сирой,

ЭКЗЕМПЛЯР ИЗДАНИЯ «СТИХОТВОРЕНИЙ» НЕКРАСОВА 1861 г. С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ ПОЭТА Я. П. ПОЛОНСКОМУ

Институт литературы АН СССР, Ленинград

Я. П. Полонскому
Некрасов
4 Дек. 1861.

СТИХОТВОРЕНИЯ

Н. НЕКРАСОВА

Узнай ее: она, как мать,
Тебя готова приласкать:
Брось человеческого мира
Тщету и в божий мир ступай.
Он лучезарен и чудесен —
И как его ни воспевай —
Все будет мало наших песен!

2

Публикуемое ниже восьмистишие А. Н. Майкова является его ответом на два стиха из коллективно написанного Некрасовым и Дружининым «Послания к М. Н. Лонгинову»:

А Майков Аполлон, поэт с гнилой улыбкой,
Вконец оподлился — конечно, не ошибкой...

(Лето 1854 г.)

Выражение «оподлился» здесь очень характерно: ту же оценку Майкова мы находим в известной эпиграмме Н. Ф. Щербины:

Он Булгарин в «Арлекине»,
А в «Коляске» Дуббельт он;
Так исподличался ныне
Петербургский Аполлон.

Общее недовольство Майковым было связано именно с упомянутыми Щербиной произведениями: «Арлекином» (поэмой-сатирой на революционную и демократическую Францию) и «Коляской» (стихотворением, прославлявшим Николая I). Они явились основными вехами, отметившими очередной поворот «флюгера-поэта» вправо,— поворот, резко проявившийся в годы Крымской войны (1854—1855).

«Послание к М. Н. Лонгинову» было написано незадолго до появления этих стихотворений в печати, и потому нельзя утверждать категорически, что содержавшийся в нем выпад относится именно к этим стихотворениям,— возможно, что он был вызван каким-либо неизвестным нам конкретно-биографическим поводом. Вероятнее, однако, что основной причиной недовольства Некрасова было именно увлечение Майкова политической тенденциозностью его «новой музы». О ней Некрасов иронически упоминает впоследствии в своем «Послании к поэту-старожилу»:

Нам музу новую свою
Представил автор «Арлекина» —
(«Современник» 1856, июнь).

Майков, по словам Некрасова в позднейших «Заметках о журналах за март 1856 г.» («Современник», апрель 1856), в то время «несколько удалился от истинных условий творчества, не допускающих ничего преднамеренного, заданного самому себе самим же поэтом или кем бы то ни было».

«Одно время,— пишет Некрасов,— поэт начинал внушать опасение, чтоб талант его, принявший направление ему несвойственное, не остановился в своем развитии» (там же).

Тенденциозность, в которую впал тогда Майков, имела официозно-монархический характер (ср. у Щербины—«Булгарин» и «Дуббельт»). Этим может быть объяснена резкость выпада, в ответ на который были написаны публикуемые строки.

Стихотворение Ап. Майкова печатается по авторской записи в альбоме Г. П. Данилевского, хранящемся в Публичной библиотеке в Ленинграде.

АВТОРАМ «ПИСЬМА К ЛОНГИНОВУ»

Не низойду до эпиграммы,
Чтоб отвечать на пасквиль их;
Им лишь одно скажу я прямо — *
Они не судьи дел моих.
Пусть нас грядущее рассудит;
И жду его спокойно я,
И, может быть, им стыдно будет
Каменьев, брошенных в меня.

А. Майков

Дек. 16 1854, С.п.б.

* ⟨Первоначально было:⟩

Я не отвечу эпиграммой
На клевету и пасквиль их;
В лицо я им отвечу прямо —

ГАЗЕТА ДЛЯ ПУТЕШЕСТВУЮЩИХ

НЕОСУЩЕСТВИВШИЙСЯ ПРОЕКТ НЕКРАСОВА

Сообщение С. Рейсера

Среди бумаг И. А. Панаева, находящихся в Институте литературы АН (5104. XXVI. б. 196), хранится подлинник публикуемой ниже «Записки», содержащей проект учреждения особой еженедельной газеты для путешествующих. Адресована «Записка» Константину Владимировичу Чевкину (1802—1875), занимавшему с 1853 по 1862 г. пост главноуправляющего путями сообщения и публичными зданиями; подписана Некрасовым, И. И. Панаевым, А. Н. Ераковым и В. М. Аничковым. Не приходится, однако, сомневаться, что инициатором издания был именно Некрасов (и отчасти, может быть, И. И. Панаев). Что касается Александра Николаевича Еракова (1817—1886), близкого друга Некрасова, и Виктора Михайловича Аничкова (1830—1877), видного военного деятеля, с 1857 г. профессора Академии генерального штаба, стоявшего в эти годы, благодаря своим связям с Н. Г. Чернышевским, близко к кругу «Современника», то они были лишь подставные лица, известные правительству своим положением и благонадежностью.

Датировать этот неосуществившийся, по неизвестным нам причинам, проект Некрасова можно временем с января 1857 по август 1860 г. Именно в это время В. М. Аничков, подписавший докладную записку, состоял в чине подполковника (см. официальный «Список подполковникам по старшинству...» и аналогичный «Список полковников...» за соответствующие годы).

ЗАПИСКА, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ГЕНЕРАЛ-АДЪЮТАНТУ К. В. ЧЕВКИНУ

Быстрое развитие в России всякого рода путей сообщения, облегчая средства переезда, обнаружило в последнее время весьма замечательное увеличение числа путешествующих.

Рядом мер, долженствующих иметь самые благодетельные последствия, правительство доставило уже пассажирам все возможные удобства. В настоящее время необходимо ⟨не⟩ только дать возможность всем и каждому иметь под рукою верные и полные сведения обо всем относящемся до путешествия во всех возможных направлениях, но и ⟨за⟩ самую дешевую и общедоступную плату.

Доселе сведения эти рассеяны в отдельных объявлениях, почтовых маршрутах, двух-трех газетах и некоторых повременных изданиях. Опубликование их этим путем лишено полноты, системы и необходимой периодичности.

Получающий какую бы ни было газету, не может надеяться найти в ней достаточно полные указания, относящиеся до переезда по тому пути, по которому желает он отправиться, ибо, не составляя специальности существующих газет, сведения, необходимые для путешественника, как случайные, бывают, неполны, отрывочны и почти исключительно относятся только до сообщений в окрестностях Столицы.

Все это указывает на необходимость особого периодического сборника или особой газеты, специальная цель которой заключалась бы в доставлении всякому путешественнику всех возможных сведений для переезда

по различным путям сообщения не только внутренним, но и внешним; и чем быстрее будет итти развитие у нас путей сообщения, тем ощутительнее будет необходимость подобной газеты.

Газета эта должна заключать в себе:

а) Общие сведения, необходимые для всякого отправляющегося в путь, как то: распоряжения правительства до путей относящиеся, правила для пассажиров, постановления о паспортах, об открытии новых сообщений и т. п. Все это должно образовать часть газеты официальную.

б) Сведения, относящиеся собственно до переезда, или указатель всех путей сообщения по всему пространству России, а равно и в пунктах соприкосновения русских путей с иностранными. Указатель этот должен состоять из карты сообщений, в самой газете помещаемой и пополняемой с открытием новых путей, и из таблиц с систематическим показанием времени прихода и отхода поездов железных дорог, пароходов, почтовых карет, омнибусов и дилижансов; платы за места оных и за транспортировку клади и т. п.

в) Сведения, полезные для путешественника по прибытии его на место, или при временной остановке в пути, для доставления ему возможности найти всё необходимое в незнакомом городе, а именно: объявления о гостиницах, извощичьих таксах, адресах присутственных мест, банкирских и транспортных контор, магазинах дорожных и других вещей и т. п.

Наконец, для оживления этой общеполезной газеты и для вящего привлечения к ней внимания публики, полезно было бы уделить некоторую часть ее листков литературному прибавлению или фельетону, который доставляя приятное и полезное легкое чтение, мог бы сокращать скучные часы монотонного вояжа.

Лица, возымевшие мысль об основании этой газеты, по близким отношениям с лучшими нашими современными беллетристами имеют возможность оживить этот отдел статьями, совершенно удовлетворяющими такому назначению. Здесь будут сообщать и известия о важнейших новостях: литературных, ученых и политических, в форме легких литературных рассказов описания наиболее посещаемых мест, статьи с указанием на исторические и замечательные предметы в местах и городах, на путях лежащих, статистические сведения о русских и иностранных железных дорогах, пароходных обществах и т. п.

Одним из непременных условий успеха этой газеты, конечно, должна быть общедоступная дешевизна, и потому предполагается издавать ее еженедельно выпусками в два или три печатные листа (от 16 до 24 стр.) с платою не дороже 20 коп. сер. за номер.

При таких условиях газета может быть не только важным пособием для путешественников, но, облегчая трудности переезда, будет способствовать к умножению числа пассажиров на железных дорогах, пароходах, в дилижансах и т. п. Но все это может осуществиться тогда только, когда Главное Управление путей сообщения и почтовое ведомство будут смотреть на эту газету, как на полуофициальный свой орган, и когда она сделается для обоих этих ведомств проводником гласности о всех распоряжениях правительства, относящихся до путешествующих.

Вследствие этого, мы имеем честь обратиться к благосклонному вниманию Вашего высокопревосходительства, представляя на благоусмотрение Ваше вышеизложенное предположение. Убеждение в пользе этого предприятия дает нам смелость беспокоить Вас просьбою почтить его Вашим покровительством.

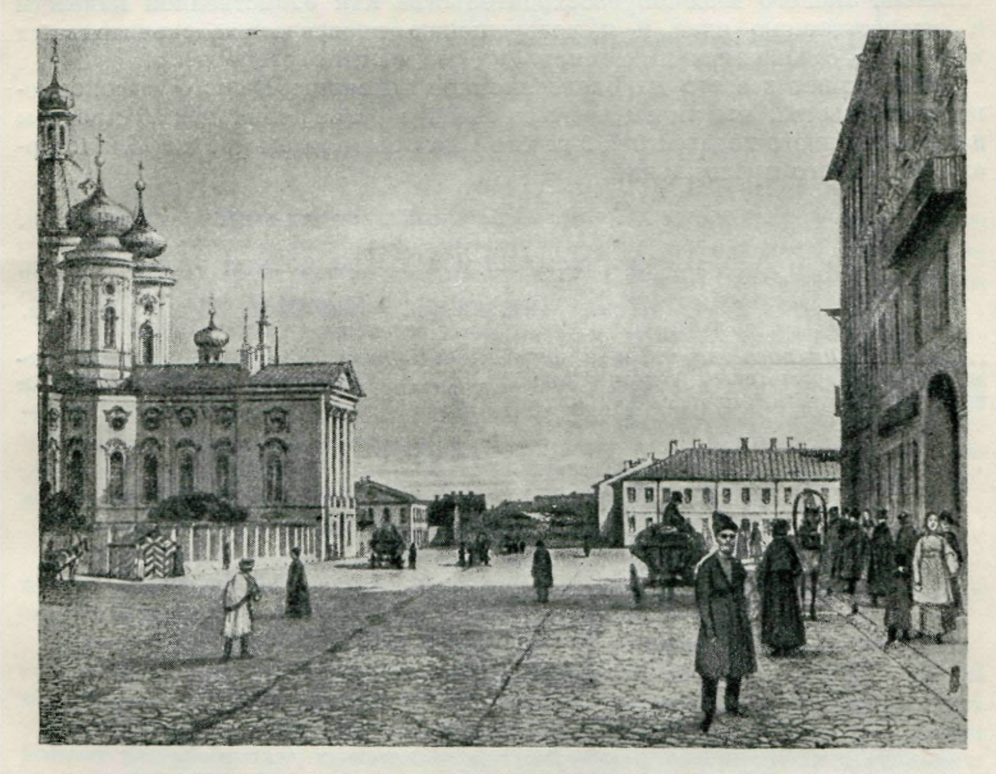
Хотя разрешение всякого вновь предпринимаемого издания непосредственно зависит от Министерства народного просвещения, но в настоящем случае мы сочли необходимым прежде всего представить предположения

свои на предварительное заключение Вашего высокопревосходительства и просить почтить нас отзывом, изволите ли Вы находить возможным, в случае разрешения на издание газеты:

1. Сообщать ей из Главного Управления путей сообщения все распоряжения правительства, касающиеся до путей сообщения в отношении к путешественникам.

2. Все официальные данные касательно движения по железным дорогам, пароходов и т. д.

3. Разрешить розничную продажу газеты на всех станциях железных дорог и пароходных пристанях уже открытых и имеющихся быть откры-



БОЛЬШАЯ МОСКОВСКАЯ УЛИЦА И ВЛАДИМИРСКАЯ ЦЕРКОВЬ В ПЕТЕРБУРГЕ

У церкви, в доме Есауловой, жил (с 20 мая 1861 г.) и в нем же (7 июля 1862 г.) был арестован Н. Г. Чернышевский

Литография 1850-х гг.

Музей Н. Г. Чернышевского, Саратов

тыми для публики,— как постоянную, так и временную по приходе и отходе поездов.

Становясь посредником между Главным Управлением и публикою во всем касающемся до переезда или, лучше сказать, до движения по путям сообщения, Редакция, со своей стороны, обязывается печатать безвозмездно все сведения, доставляемые ей Управлением, и сообщать таковые во всеобщую известность со всею точностью и без малейшего промедления.

Но при дешевизне издания, составляющей непременное условие его успеха, дабы, с одной стороны, не отстать в этом от иностранных газет подобного рода; с другой же — и по виду сделать ее достойною быть органом двух ведомств,— на предприятие необходимо затратить довольно значительный капитал.

[На покрытие предстоящих издержек учредители могут надеяться [тогда только, если право на публикацию всех вышеизложенных сведений исключительно в одной этой газете и на распродажу ее в упомянутых пунктах даровано им будет от подлежащих ведомств в виде привилегии на довольно значительный срок, а именно — от 15 до 20 лет. Разрешение это тем более необходимо, что первые пять, десять лет, т. е. до открытия Главной сети наших железных дорог, по всему вероятию, не только не покроют ее расходы по изданию, но газета будет требовать одних только пожертвований со стороны учредителей,— а потому, не руководствуясь никакими спекулятивными видами, нижеподписавшиеся будут ожидать согласия Вашего высокопревосходительства как единственной надежды к осуществлению идеи и к возвращению впоследствии значительных издержек, отдаваемых ими теперь на это общеполезное дело.

Представляя все это на благосклонное внимание Вашего высокопревосходительства, мы имеем честь просить о разрешении нашей просьбы для дальнейшего ходатайства о газете в почтовом ведомстве и в Министерстве народного просвещения.

Отставной генерал-майор Е р а к о в,

Генерального Штаба подполковник А н и ч к о в,

Иван П а н а е в, Николай Н е к р а с о в.

〈*Сверху над текстом карандашом, рукой К. В. Чевкина* (?):〉 Надо попросить вице-директора искусств〈енного〉 д〈епартамен〉та 〈К. В.〉 Марченко об ускорении благоприят〈ного〉 ответа. 〈Подпись инициалами нрзб.〉.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О «СОВРЕМЕННИКЕ» НА 1857 г.

НОВАЯ РУКОПИСЬ ЧЕРНЫШЕВСКОГО И НЕКРАСОВА

Вступительная заметка С. Александрова

Публикация Н. Чернышевской

Публикуемое «Объявление» относится к истории так называемого «Обязательного соглашения», заключенного в 1856 г. между редакцией «Современника», с одной стороны, и четырьмя крупнейшими беллетристами 50-х годов — Толстым, Тургеневым, Островским и Григоровичем — с другой.

«Исключительное сотрудничество» названных писателей в «Современнике» было оформлено летом 1856 г. в виде специального «контракта». В беловом виде «контракт» до нас не дошел. Однако сохранился его черновой текст, написанный рукой И. С. Тургенева и озаглавленный «Проект условий». Документ опубликован В. Евгеньевым-Максимовым в его статье «Неудавшаяся коалиция», напечатанной в № 25—26 «Литературного Наследства» (стр. 359—361) со случайным ошибочным указанием на принадлежность текста руке Некрасова.

Пункт пятый «Проекта условий» гласил:

«В объявлении о подписке на будущий, 1857 год, именно начиная с сентября,— редакция Современника имеет право объявить об исключительном сотрудничестве участников в ее журнале в течение 4 лет».

Право это было использовано в полной мере. «Объявление» не просто информировало читателей о предстоящем «исключительном сотрудничестве» в «Современнике» четырех крупнейших писателей, но и говорило о «соглашении», как о крупнейшем успехе, достигнутом редакцией. Текст «Объявления», отпечатанный на шести страницах формата «Современника», вкладывался в октябрьскую, ноябрьскую и декабрьскую книжки журнала за 1856 г. Вкладки не имели ни прошивки, ни подклейки. Это обстоятельство объясняет, почему в большинстве экземпляров журнала нам не удалось уже обнаружить текста «Объявления». Мы нашли его лишь в 3 экземплярах из 12 просмотренных в библиотеках Москвы, причем в двух случаях «Объявление» сохранилось в непереплетенных номерах. Очевидно, при переплетении книг вкладка с «Объявлением» чаще всего изымалась.

Кроме вкладывания в книжки журнала, текст «Объявления» распространялся, видимо, и другим способом — листовкой на двух страницах большого формата. Об этом свидетельствует, по крайней мере, факсимиле печатного текста «Объявления», воспроизведенное в издании «Некрасовский альбом», П., 1921, 48—49 (пояснительная надпись и указание на местонахождение подлинника отсутствуют).

Ниже публикуется черновая рукопись «Объявления», обнаруженная Н. М. Чернышевской в архиве саратовского Дома-музея Н. Г. Чернышевского и ею же подготовленная к печати. Рукопись отличается от обоих печатных текстов рядом вариантов (главные из них выделены в нашей публикации разрядкой). Существенный интерес представляет вариант, в котором содержится исключенная из окончательного текста декларация об устройстве хозяйства журнала на артельных началах («Издатели «Современника»... всегда, со своей стороны, думали»..., и т. д.).

Но главный интерес публикуемого документа заключается в том, что он устанавливает неожиданное, казалось бы, участие Н. Г. Чернышевского в деле оформления «Обязательного соглашения» и проведения его в жизнь.

Однако решение вопроса об авторе-составителе «Объявления» представляет известные трудности и требует разъяснений.

Н. М. Чернышевская дает следующее описание внешнего вида рукописи:

«Начало публикуемого нами чернового текста «Объявления» писано рукой Н. А. Некрасова. Это пять первых строк рукописи. Они отчеркнуты красным карандашом, с пометкой на полях: «Некрасов», сделанной рукой И. И. Панаева, который надписал и заглавие: «Объявление о Современнике 1857». Дальше, начиная со слов: «Но оставаясь неизменным по своим издателям и сотрудникам»,— продолжает писать Н. Г. Чернышевский. После слов «знакомить публику с их произведениями» он переходит на скоропись, и до конца рукопись представляет характерную индивидуальную стенограмму Николая Гавриловича. Весь внешний вид рукописи, сильно правленной и почти сплошь перечеркнутой, свидетельствует о том, что текст «Объявления» вырабатывался самим Чернышевским; предположение о копии или списке с чужого текста, лишь переписанного его рукой, исключается».

И, однако, существует весьма авторитетное свидетельство осведомленного современника о том, что соавтором Некрасова (а по сути дела автором, так как доля Некрасова слишком мала) в составлении «Объявления» был совсем не Чернышевский, а И. С. Тургенев. Об этом дважды и со всей определенностью сказал И. И. Панаев в своих письмах к А. Н. Островскому от 30 августа и 7 сентября 1856 г. В первом письме упомянув об «Объявлении», еще не отпечатанном тогда, он добавляет в скобках: «составлением его занимались Некрасов и Тургенев», а во втором извещает: «...посылаю Вам объявление, сочиненное Некрасовым и Тургеневым» («Неизданные письма к А. Н. Островскому...», «Academia», М.—Л., 1932, 322—325).

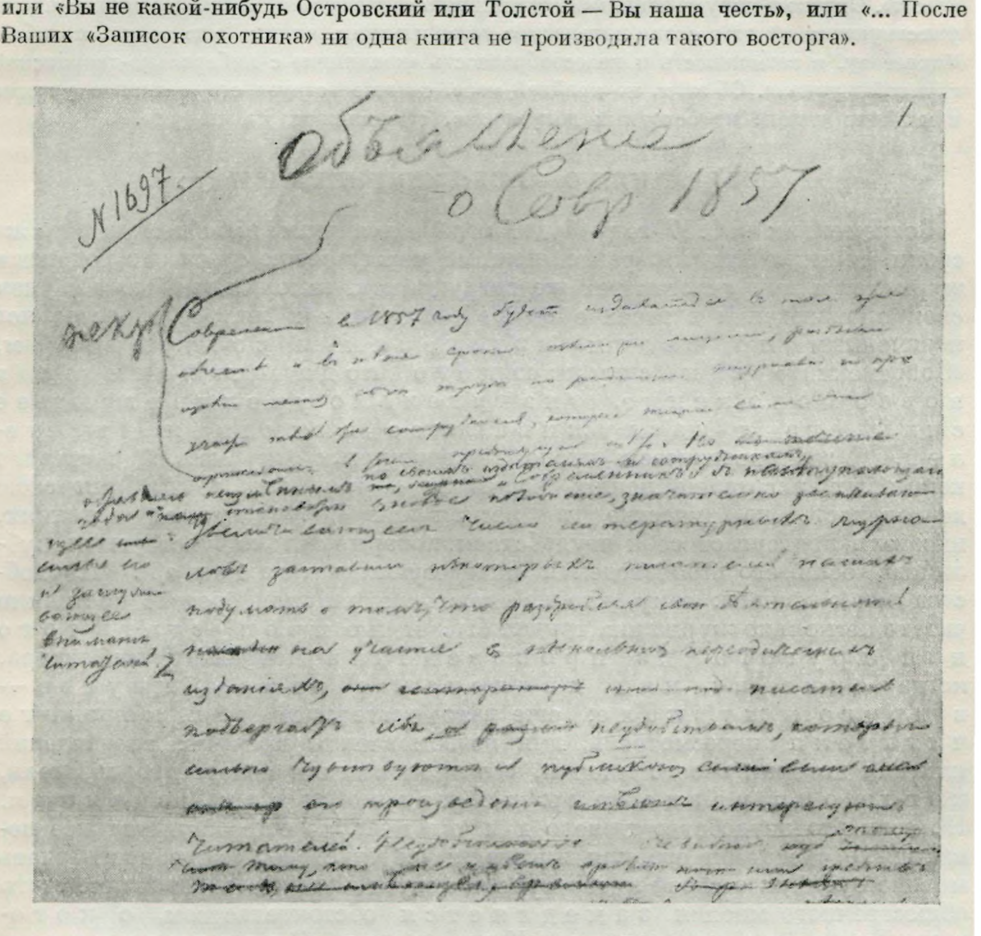
Осведомленность Панаева в делах редакции «Современника», особенно в данное время, когда за отсутствием Некрасова, дела эти целиком находились на руках у него и Чернышевского, не подлежит сомнению. И тем не менее, указание Панаева на Тургенева как на соучастника в составлении «Объявления» не соответствует истине. Панаев, разумеется, знал, что «Объявление» было написано, по существу, единолично Чернышевским. Выше было уже сказано, что рукопись «Объявления» была в руках у Панаева, так как на ней есть его пометки. Таким образом, Панаев сознательно скрыл авторство Чернышевского. Почему? Мы предполагаем, что он сделал это, исходя из некоторых тактических соображений. В момент, когда на Чернышевского уже велись атаки со стороны некоторых участников «Обязательного соглашения» (Тургенева, Толстого) и выражалось недовольство усилением его роли и значения в редакционных делах «Современника», Панаев предпочел, видимо, скрыть участие Чернышевского в составлении одного из важнейших документов редакции, относящихся к этому «соглашению».

Против приписанного Панаевым Тургеневу авторства его в «Объявлении» говорят, кроме рукописи, и другие факты.

Прежде всего — хронология. «Объявление» было нужно редакции для последних книжек журнала за 1856 г. Тургенев же уехал из Петербурга за границу еще 21 июля (М. Клеман, Летопись жизни и творчества И. С. Тургенева, М.—Л., 1934, 85). Вряд ли текст «Объявления» мог заготовляться столь заблаговременно.

Далее. В рукописном тексте «Объявления» о Тургеневе говорится, что он один из «наиболее уважаемых публикою писателей» и что «Современник» «был счастлив» тем, что «в нем появились «Рассказы <?> охотника», которые утвердили за собою г. Тургеневу место, ныне занимаемое им в русской литературе». Трудно предположить, что бы сам Тургенев писал о себе таким образом и чтобы он допустил при этом ошибку в наименовании собственного произведения. Нельзя также допустить, чтобы Тургенев забыл или не знал инициалов А. Н. Островского, замененных в нашей рукописи буквами NN, и вообще проявил бы к драматургу некоторое пренебрежение, ограничившись простым упоминанием его имени без тех высоких оценок, которыми сопровождены имена остальных участников «Обязательного соглашения».

Приведенные наблюдения, свидетельствуя против показания Панаева об авторстве Тургенева, одновременно подтверждают (дополнительно к рукописи) авторство Чернышевского. Из двух его писем к Тургеневу, относящихся к концу 1856 и к началу 1857 г., известно, как высоко оценивал в это время Чернышевский автора «Записок охотника» и его место в современной литературе. В этих письмах мы находим такие, например, слова и оценки Чернышевского, обращенные к Тургеневу: «...в настоящее время русская литература, кроме Вас и Некрасова, не имеет никого», или «Вы не какой-нибудь Островский или Толстой — Вы наша честь», или «... После Ваших «Записок охотника» ни одна книга не производила такого восторга».



ЧЕРНОВАЯ РУКОПИСЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ ИЗДАНИИ «СОВРЕМЕННИКА» НА 1857 г.
Совместный автограф Некрасова и Чернышевского. Заглавие — рукой И. И. Панаева
Центральный литературный архив, Москва

После всего сказанного мы можем с полной определенностью утверждать, что в оставлении или редактировании текста «Объявления» Тургенев, вопреки двукратному свидетельству Панаева, участия не принимал. Начал эту работу Некрасов, но, очевидно в связи с хлопотами перед отъездом за границу (11 августа 1856 г.), завершить ее не успел и поручил закончить дело Чернышевскому, что и было последним выполнено.

Публикуемая рукопись представляет, таким образом, ценный памятник совместного сотрудничества Некрасова и Чернышевского в момент, когда молодому революционному демократу передавались Некрасовым редакторские полномочия по «Современнику».

Существенный интерес рукописи заключается в том, что она дает материал для новых суждений об отношении Чернышевского к «Обязательному соглашению» и о

роли, сыгранной им в практическом осуществлении этого мероприятия редакции «Современника». «Обязательное соглашение», как известно, не оправдало возлагавшихся на него надежд и скоро было аннулировано самой жизнью. Назревавшая революционная ситуация в стране создала почву для окончательного разрыва между «Современником», превратившимся в трибуну для «могучей проповеди» (Ленин) революционера-демократа Чернышевского, и либерально-дворянской группой журнала. Сам Чернышевский прекрасно осознал эту ситуацию в бурный период «Полемических красот». Однако в пору создания «Обязательного соглашения» Чернышевский, вопреки уществующим на этот счет в литературе утверждениям, видимо еще верил, подобно Некрасову, в возможность и целесообразность «коалиции» с либерально-дворянской группой журнала. Об этом, по крайней мере, свидетельствует его активное участие в создании одного из основных документов, оформивших «коалицию».

ОБЪЯВЛЕНИЕ О «СОВР⟨ЕМЕННИКЕ⟩» 1857 ⟨г.⟩

Современник в 1857 году будет издаваться в том же объеме и в те же сроки, теми же лицами, разделяющими между собою труды по редакции журнала, и при участии тех же сотрудников, которые печатали в нем свои произведения в течение *предыдущих* лет. Но, оставаясь неизменным *по своим издателям и сотрудникам*, «Современник» *с наступающего года становится в новое положение, значительно увеличивающее силы его и заслуживающее внимания читателей.* Увеличивающееся число литературных журналов заставило некоторых писателей наших подумать о том, что, раздробляя свою деятельность на участие в нескольких периодических изданиях, писатель подвергает себя неудобствам, которые сильно чувствуются публикою, если его произведения интересуют *читателей.* Неудобства эти очевидны: тому, кто не имеет времени или средств постоянно читать несколько журналов, трудно бывает *не пропустить того или другого из произведений* любимого им автора, когда *одно из них является в одном, другое — в другом журнале;* еще затруднительнее *для каждого читателя* пересмотреть, для возобновления прежних впечатлений или для поверки своего мнения, все произведения известного писателя, *когда они разделены по нескольким изданиям.* Но если это неудобство тяжело для читателя, то еще ощутительнее невыгодные следствия его для писателя: он чувствует потребность знать мнение публики о своей литературной деятельности, а образование этого общественного мнения *замедляется* обстоятельством, *о котором говорено выше. Издатели «Современника», вполне разделяя этот справедливый образ мыслей, всегда, со своей стороны, думали также, что журнал, будучи обязан своим успехом в публике сколько от забот редакции ⟨?⟩ об его достоинстве, столько же или еще более деятельности постоянных своих сотрудников, должен стремиться к тому, чтобы из личного предприятия редакции сделаться предприятием, в выгодах которого участвовали бы наравне с издателями и те писатели, полезное и неизменное содействие которых приобретает ему внимание и сочувствие публики.* Обмен этих мыслей имел своим следствием соглашение четырех *наиболее уважаемых публикою писателей,*—Д. В. Григоровича, NN ⟨?А. Н.⟩ Островского, гр. Л. Н. Т⟨олстого⟩ и И. С. Тургенева, — с издате-

лями «Современника» в том, что все произведения четырех участвующих в договоре авторов с начала наступающего 1856 ⟨1857⟩ года будут помещаться исключительно в этом журнале, — соглашение, от которого выиграют и публика, и писатели, принявшие участие в договоре, и достоинство журнала, приобретающего исключительное право знакомить публику с их произведениями.

Приобретая это новое положение своему журналу, редакция «Современника» останется с тем вместе верна принципу, которого она твердо держалась. Гордясь участием писателей, уже заслуживших сочувствие публики, она употребляет все свои усилия на то, чтобы сделать свой журнал посредником между публикою и вновь являющимися талантами. Она готова признать, что успехи литературы зависят как от развития деятельности писателей, уже пользующихся заслуженною известностью, так и

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К СТИХОТВОРЕНИЮ «ГЕНЕРАЛ ТОПТЫГИН»
Рисунок Г. К. Савицкого, 1921 г.
Институт литературы АН СССР, Ленинград

от готовности журналов дать ход новым талантам. «Современник» был счастлив новыми талантами: в нем появились «Рассказы ⟨Записки⟩ охотника», которые утвердили за собою г. Тургеневу место, ныне занимаемое им в русской литературе; в «Современнике» появились повести г. Григоровича «Пахарь»..., * и в недавнее время «Современнику» досталось удовольствие познакомить русскую публику с талантом графа Толстого. Эти факты не могут не служить редакции «Современника» достаточным побуждением никогда не изменять делу, которое принесло такие плоды не только нашему журналу, но и всей русской литературе. Читатели наши могут быть уверены в том, что редакция «Современника» всегда будет стараться о том, чтобы каждый новый талант нашел в «Современнике» самую радушную встречу и самое почетное место.

* Пропуск в подлиннике. Кроме названного «Пахаря» (1853), Григорович напечатал в «Современнике» повести: «Антон Горемыка» (1847), «Бобыль» (1848), «Четыре времени года» (1849), «Мать и дочь» (1851), «Смедовская долина» (1852).— Р е д.

ОБ ИЗДАНИИ «ИСТОРИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ» ПРИ «СОВРЕМЕННИКЕ»

НОВЫЙ АВТОГРАФ И ЗАТЕРЯВШЕЕСЯ ПИСЬМО НЕКРАСОВА

Сообщение Н. Чернышевской и С. Шестерикова

Приводим два новых документа, относящихся к истории издания при «Современнике» в 1858—1860 гг. «Исторической библиотеки». Первый документ — собственноручно написанное Некрасовым объявление об условиях подписки на издание. Этот некрасовский автограф (карандаш) до сих пор не был известен. Он хранится в Доме-музее Н. Г. Чернышевского в Саратове (инв. № 1/220). Второй публикуемый документ— затерявшееся, нигде не зарегистрированное открытое письмо И. Панаева и Н. Некрасова к П. С. Лебедеву — редактору «Русского Инвалида».

⟨1. ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПОДПИСКИ НА «ИСТОРИЧЕСКУЮ БИБЛИОТЕКУ»⟩

С 1858 года в Петербурге предпринимается издание Исторической Библиотеки — цель которого познакомить русскую публику с классическими творениями [знам] замечательных западноевропейских и американских историков.

Условия подписки

Годовая цена Исторической Библиотеки (состоящей из 180 листов в год до 3000 компактных страниц в 8 д., в формате Современника):

[9] 7.50 р. сер., с пер. [11. 50] [8.50] 9.

Для подписчиков Современника:

[6] 4 р. сер., с пер. [7.50] 5.50.

NB. По этой уменьшенной цене Ист⟨орическая⟩ Б⟨иблиотека⟩ не может быть высылаема *никому*, кроме под⟨писчиков⟩ Совр⟨еменника⟩, и самые подписчики Совр⟨еменника⟩ не могут получить ее за эту цену *ниоткуда*, кроме Конт⟨оры⟩ Совр⟨еменника⟩ и Ист⟨орической⟩ Биб⟨лиотеки⟩. Те же подписчики, которые до издания сего объявл⟨ения⟩ подписались на Совр⟨еменник⟩ в других местах или желают получ⟨ать⟩ И⟨сторическую⟩ Б⟨иблиотеку⟩ по уменьшенной цене, должны обратиться за нею прямо в контор⟨у⟩ С⟨овременника⟩ и И⟨сторической⟩ Б⟨иблиотеки⟩ и известить при этом, у кого и когда подписались они на Совр⟨еменник⟩. Для удобства выписывающих при Современнике будут разосланы конверты с бланками двух родов.

За исправность выхода Исторической Библиотеки ответствует перед публикой редакция Современника.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К ПОЭМЕ «МОРОЗ, КРАСНЫЙ НОС»
Рисунок Г. К. Савицкого, 1921 г.
Институт литературы АН СССР, Ленинград

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К СТИХОТВОРЕНИЮ «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»
Рисунок Г. К. Савицкого, 1921 г.
Институт литературы АН СССР, Ленинград

‹2. ПИСЬМО К РЕДАКТОРУ «РУССКОГО ИНВАЛИДА»›

‹29 октября 1857 г.›

Милостивый Государь Петр Семенович,

17-го сего октября С.-Петербургский Ценсурный Комитет разрешил издание под названием: «Историческая Библиотека» (классические сочинения по всеобщей истории в русском переводе), которое для подписчиков «Современника» мы намерены выдавать по уменьшенной цене. Подробное объявление об этом издании мы уже сдали для напечатания в «Московских Ведомостях» и приготовили для приложения к 11-й книжке «Современника»,— как вдруг, сегодня (29-го октября), в «С.-Петербургских Ведомостях» встретили краткое и неопределенное известие о предприятии подобного же рода. Редакция «Отечественных Записок» объявляет, что она также намерена переводить исторические сочинения и принимать на них подписку вместе с «Отечественными Записками». Чтобы нас не могли заподозрить в подражании Редакции «Отечественных Записок» в предприятии, которое давно нами задумано и на которое последовало уже разрешение Ценсурного Комитета две недели назад тому, — мы покорнейше просим вас, м. г., дать место этим строкам в вашей газете.

Имеем честь быть

И. Панаев.
Н. Некрасов.

29 октября 1857 г.

Письмо обращено к П. С. Лебедеву; напечатано в «Русском Инвалиде» 1857 г., № 234, 31 октября, под заглавием «Письмо к Редактору «Русского Инвалида» (фельетон, стр. 971, ст. 1) со следующим подстрочным примечанием (к заглавию): «Письмо это получено в Редакции «Русского Инвалида» еще 29-го числа, объявление же об издании «Исторической Библиотеки» помещено в библиографических объявлениях сегодняшнего нумера». В этом обширном объявлении (стр. 974), характеризуя задуманное издание, редакция «Современника» писала: «План редакции состоит в том, чтобы, во-первых, передать на русском языке по возможности все сочинения знаменитых западноевропейских и американских историков нашего века; во-вторых, в том, чтобы сборник, ею издаваемый, с возможною полнотою обнял интереснейшие для нашего времени части всеобщей истории... Из всех современных нам историков, слава которых обязывает каждого образованного человека знать их творения, а достоинство творений сообщает высокую увлекательность чтению их, мы назовем Банкрофта, Вашингтона Ирвинга, Галлама, Гизо, Грота, Дальмана, Карлейля, Макинтоша, Маколея, Мишле, Нибура, Прескотта, Ранке, Сисмонди, Августина Тьерри, Шлоссера». Отметив дальше, что «первою задачею своей» редакция считает «дать русской публике по возможности полную коллекцию творений современных нам историков, имеющих европейскую знаменитость», объявление заканчивалось указанием: «Издание начнется переводом Шлоссера «История XVIII века». Как известно, обширный план «Исторической библиотеки» ограничился на деле изданием только этой книги, в анонимном переводе, под редакцией и с анонимным же предисловием Н. Г. Чернышевского («История XVIII ст. и падения французской империи», шесть томов, СПб., 1858—1860).

В переводе, кроме Чернышевского, участвовали Е. А. Белов и А. Н. Пыпин. См. об этом издании заметку Чернышевского в «Современнике» 1860, № 6 (Собр. соч., VI, 285—289).

ДОСТОЕВСКИЙ О НЕКРАСОВЕ И ЩЕДРИНЕ

ДВА НЕИЗДАННЫХ ПИСЬМА Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО к Д. В. АВЕРКИЕВУ

Сообщение А. Михайловой

В 1877 г. Д. В. Аверкиев, видный драматург и критик правого лагеря, обратился к Ф. М. Достоевскому, с которым был близок, с просьбой посодействовать напечатанию своей комедии «Непогрешимые» в «Отечественных Записках». Достоевский на посредничество согласился, но при этом выразил сомнение в его успешности, опасаясь, что самое имя Аверкиева, с его ретроградной репутацией, окажется неприемлемым для руководителей журнала — Некрасова и Щедрина. «Прийди ⟨к ним⟩ хоть сам Мольер, но если он почему-либо сомнителен, то и его не примут»,— предупредил он Аверкиева о суровой требовательности редакции демократического журнала. Личный визит к Некрасову и Щедрину полностью подтвердил и опасения Достоевского и его характеристику. Этому эпизоду посвящены впервые публикуемые здесь два письма Достоевского к Аверкиеву. К ним добавлено одно неизданное письмо Некрасова, содержащее более ранний отказ от сотрудничества автору комедии о Фроле Скобееве в «Отечественных Записках».

Несмотря на частность повода, по которому возникли публикуемые письма, они представляют и значительный общий интерес. Они дают новое выразительное свидетельство той глубокой принципиальности, которая характеризовала литературно-журнальную деятельность Некрасова и Щедрина. Они показывают, как требовательны и непримиримы были руководители радикального органа в деле защиты идейно-политической цельности, чистоты и репутации «направления», которому они, по выражению Некрасова, «служили»,— направления революционно-демократической мысли. То обстоятельство, что публикуемые письма принадлежат перу такого писателя-антагониста революционной демократии, как Ф. М. Достоевский, лишь увеличивает интерес и объективную значительность содержащихся в них свидетельств.

Письма Достоевского и Некрасова печатаются по автографам из личного архива Д. В. Аверкиева, приобретенного Государственной публичной библиотекой им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде в годы Великой Отечественной войны.

1. Н. А. НЕКРАСОВ — Д. В. АВЕРКИЕВУ

⟨25 февраля 1868 г.⟩

Милостивый Государь
Дмитрий Васильевич,

По некоторым причинам пьесу «Коринфская невеста» редакция «От⟨ечественных⟩ З⟨аписок⟩» напечатать не может. Прошу извинить меня, что я не приготовил ответа в назначенный Вами день — меня эти дни не было в Петербурге.

Примите уверение в совершенном уважении и пред⟨анности⟩.

Н. Некрасов

25 февр⟨аля⟩ 1868 г

2. Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ — Д. В. АВЕРКИЕВУ

Петербург, 5 ноября ‹18›77

Многоуважаемый Дмитрий Васильевич,

Прочтя Ваше письмо, я с величайшим удовольствием пожелал как можно скорее исполнить Ваше поручение насчет комедии (то, что Вы написали об ней, т. е. тема: непогрешимость, высокообразованность скороспелых богачей, зависть адвокатов и проч.— все это показалось мне чрезвычайно живым и именно тем, чт̀о теперь нужно на сцену). Я не отвечал Вам до сих пор единственно потому, что всё рассчитывал ответить уже о результате, т. е. пойти туда и посондировать. Но между тем засел дома больной в лихорадке, не велено никуда ни ногой, и принимаю хинин и проч. Кажется, однако, скоро мой арест кончится, и я схожу к Салтыкову (Щедрину), которому мне и без того надо отдать визит. Заметьте себе, однако, что я вовсе не со всеми знаком в редакции «От‹ечественных› Зап‹исок›». Я знаю лишь Некрасова, Щедрина и Плещеева, с остальными же лишь на учтивых словах и вижусь редко. Некрасов по болезни принимает в редакции слишком мало участия, Плещеев не имеет никакого ‹значения›, а значит всё — Салтыков. По моему мнению, он единственно издает журнал, пользуется дружбой и доверенностью Некрасова неограниченной и, кажется, пайщик издания. Он всё и решит. Впрочем, прямо скажу: тут может быть лишь один вопрос (мимо всякого вопроса о достоинстве комедии): «На столько ли имя Ваше ретроградно, что уже несмотря ни на что Вам надо будет непременно отказать?». Они именно держатся такого взгляда, и прийди хоть сам Мольер, но если он почему-либо сомнителен, то и его не примут. Ну вот, я Вам объяснил тайну; само собою разрешить я ее не могу, но с Щедриным поговорю в непродолжительном времени, предлагая ему Вашу вещь совершенно от себя, так что самолюбие Ваше не пострадает,— тогда напишу. А пока свидетельствую полное уважение Вам и Вашей супруге и жму Вам руку.

Федор Достоевский.

3. Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ — Д. В. АВЕРКИЕВУ

Петербург, 18 ноября ‹18›77

Многоуважаемый Дмитрий Васильевич,

Третьего дня я видел Некрасова и Салтыкова и говорил, о чем Вы знаете. Некрасов лежит и похож на труп, изредка шепчет, скоро умрет, но «Отеч‹ественными› Записками» занимается, и я именно застал его и Салтыкова в совещании о выходе следующего №. Я, совершенно неприметно к чему клоню речь, между разговором спросил у обоих: что они думают о Вас как о писателе? Некрасов прямо, с первого слова, сказал: «Что же думать о человеке, который, сколько он там лет пишет, только и делал, что кричал и говорил против нас и того направления, которому мы служим?». Сказано это было весьма резко и решительно, а так как поддержал тут же и Салтыков то же самое, то я и нашел необходимым совсем уже не заговорить ни о комедии Вашей, ни о предложении, о котором они и остались в полной неизвестности.

Полагаю, что Вас не скомпрометировал.— Вы видите, что здесь произнесено суждение не литературное, а направительное. Сообщая Вам это, посоветовал бы Вам не отчуждаться от «Русского Вестника», но знаю, что в этом Ваш взгляд и Ваша воля, а потому, конечно, Вы поступите, как пожелаете.

В заключение свидетельствую Вам искреннее мое уважение, равно и супруге Вашей, и крепко жму Вам руку.

Ф. Достоевский.

Адресат опубликованных писем — Дмитрий Васильевич Аверкиев (1836—1905), известный в свое время драматург, театральный критик и рецензент, автор ряда повестей и публицистических статей и переводчик. Известностью у современников пользовались его драма «Каширская старина» и «Комедия о российском дворянине Фроле Скобееве». Славянофил, националист, консерватор по убеждениям, он с первых же шагов своей литературной деятельности занимает позиции, резко враждебные революционно-демократическому крылу русской литературы и журналистики. Еще в 60-е годы, принимая участие в сатирической литературе, Аверкиев поместил множество пародий и эпиграмм на деятелей прогрессивной печати в юмористическом журнальчике «Оса», редактировавшемся Ап. Григорьевым.

Демократический лагерь, в свою очередь, резко враждебно относился ко всем литературным выступлениям Аверкиева. Так, например, Д. И. Писарев в своей статье 1865 г. «Прогулка по садам российской словесности» именует Аверкиева рыцарем «мракобесия и сикофантства». Его имя неоднократно встречается со столь же резкими квалификациями и в публицистике Щедрина 60-х годов и даже в его художественно-сатирических произведениях: «История одного города» и «Современная Идиллия».

Близость с Ап. Григорьевым и Н. Н. Страховым приводит Аверкиева к сближению братьями Достоевскими. В 1864 г. он становится сотрудником «Эпохи», где печатает свое первое драматическое произведение — историческую драму «Мамаево побоище».

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К СТИХОТВОРЕНИЮ «СЕКРЕТ»

Рисунок П. Ф. Маркова, 1857 г.

Русский музей, Ленинград

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К СТИХОТВОРЕНИЮ «ВЛАС»
Автолитография А. И. Лебедева
Альбом «Кое-что из Некрасова», СПб., 1878 г.

Дружеские его отношения с Ф. М. Достоевским не прерываются и после закрытия «Эпохи». По смерти Достоевского Аверкиев, как бы считая себя продолжателем идей великого писателя, пробовал даже (в 1885 г.), но без всякого успеха, издавать свой ежемесячный «Дневник писателя», заполняя его собственными статьями и беллетристическими произведениями.

При старой редакции «Отечественных Записок» Аверкиев, пользуясь покровительством С. С. Дудышкина, с которым его познакомил Н. Н. Страхов, сотрудничал в них, поместив в № 9 за 1866 г. свою комедию в стихах «Леший». Кроме того, он давал для журнала компиляции об иностранной (преимущественно английской) литературе. С переходом «Отечественных Записок» в руки Некрасова Аверкиев, как бы не понимая того, что журнал изменил свое направление и потому его имя теперь являлось бы одиозным на страницах «Отечественных Записок», спешит напомнить о себе, предложив для одного из первых номеров журнала на 1868 г. свой перевод баллады Гете «Коринфская невеста». Некрасов ответил, как видно из опубликованного письма, весьма сухим письмом с отказом «по некоторым причинам» напечатать перевод. Впрочем, явно неприязненное отношение Некрасова не остановило Аверкиева в его стремлении во что бы то ни стало проникнуть на страницы наиболее популярного тогда журнала, и девять лет спустя он снова пытался при посредничестве Ф. М. Достоевского поместить в «Отечественных Записках» свое произведение — комедию «Непогрешимые». Однако и на этот раз его попытка потерпела неудачу.

СТИХОТВОРЕНИЕ В. М. ГАРШИНА НА СМЕРТЬ НЕКРАСОВА

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ В. М. ГАРШИНА

Сообщение Е. Базилевской

О существовании публикуемого нами стихотворения совершенно не подозревали исследователи жизни и творчества Гаршина. Слабое по форме, оно было сохранено писателем, очевидно, только как память о волновавших его когда-то мыслях и чувствах. Он никогда не упоминал о нем, не упомянул даже в письме своем к матери от 1 января 1878 г., в котором делился с ней непосредственными своими впечатлениями от некрасовских похорон [1]. Скрытое в бумагах авторского архива стихотворение пролежало безвестным более 60 лет.

Оставшееся до конца не отделанным, лишенное художественных достоинств, стихотворение представляет, однако, известный интерес, поскольку характеризует отношение В. М. Гаршина к личности и творчеству Некрасова. Сведения, которыми мы располагали на этот счет до сих пор, были или отрывочны и случайны, или недостаточно достоверны. Прочно вошедшая в историко-литературный обиход плехановская версия о весьма невысокой оценке В. М. Гаршиным поэтического таланта Некрасова служит лучшим тому доказательством.

В известной статье своей «Н. А. Некрасов. К 25-летию его смерти» Плеханов вспоминает, как однажды Гаршин (он был однокурсником Плеханова по Горному институту), «очень невысоко ставивший поэтический талант Некрасова и резко осуждавший тогда (в годы студенчества) «тенденциозность» его поэзии, с насмешкой продекламировал:

Покоен, прочен и легок
На диво слаженный возок...»

«И я,— добавляет Плеханов,— несмотря на все свое пристрастие к поэту «мести и печали», вынужден был согласиться, что «возок» плохо рифмуется с «легок» [2].

По существу воспоминание это не отвечало действительности. Отрицательные отзывы Гаршина о неудачных стихах и прозаизмах Некрасова отнюдь не являлись еще выражением его общего отношения к поэтическому таланту и творчеству Некрасова в целом. Они не имели, в сущности, даже того значения, какое имели высказывания самого Плеханова о «недостаточно сильном», «недостаточно пластичном», нередко «топорном» таланте Некрасова [3]. Плеханов без достаточных к тому оснований обобщил отрицательный отзыв Гаршина и сделал из него неправильный вывод.

Первое сомнение в правильности плехановской характеристики отношения Гаршина к Некрасову должны были вызвать выпущенные в 1934 г. издательством «Academia» гаршинские письма. Встречающиеся в них упоминания и высказывания о Некрасове в совокупности своей уже вносили существенные коррективы в плехановскую версию. И если они не могли еще опровергнуть ее окончательно, то, главным образом, потому, что наиболее важное из этих высказываний, содержащееся в письме к матери о некрасовских похоронах,— могло быть правильно понято и истолковано только в свете публикуемого стихотворения.

Оно было написано Гаршиным, несомненно, в самый день некрасовских похорон. Эта дата устанавливается уже самим заглавием стихотворения: «1877 года, 30 декабря».

Гаршин непосредственно принимал участие в похоронах Некрасова. Он следовал в траурной процессии за гробом поэта, присутствовал при его погребении на кладбище, слушал знаменитые речи над открытой могилой Некрасова, произнесенные Достоевским, Плехановым и другими. Вероятно, сразу же по возвращении с похорон, под воздействием полученных впечатлений, Гаршин и занес в свою записную книжку (ту самую, которая потом сопровождала его в походе в Болгарию) сложившиеся у него стихотворные строки [4].

Приводим текст стихотворения в его окончательной редакции, опуская характерные для черновой записи особенности написания и пунктуации:

1877 ГОДА, 30 ДЕКАБРЯ

Прощай, прощай, прощай, не будет песен больше,
Певец умолк навек.
Быть может, он и мог бы петь их дольше,
Но он был человек,
И умер... Умерла в нем раньше правда жизни.
Не думает ли кто,
Что дерзостью бесцельной укоризны
Хотел я имя то,

Что возбуждало в нас святейшие порывы,
Позорить иль пятнать?
Но были ли они всегда в самом нём живы,—
Кто смеет то сказать?
Его могучий дар, его, быть может, гений
Царил над ним самим,
Над суетой его житейских увлечений,—
Он умер вместе с ним.

Плачь, русская земля, не человека — силы
Лишилась ты навек,
Плачь, потому что гений сшел в могилу,
Хоть умер — человек.

В. Г.⟨аршин⟩ [5]

Эти строки, говорящие о Некрасове как о «гении», как о «силе», утрата которой должна быть оплакана всей «русской землей», как о поэте, возбуждавшем «святейшие порывы»,— очевидно опровергают утверждение Плеханова, что Гаршин «очень невысоко» ставил поэтический талант Некрасова и резко осуждал «тенденциозность» его поэзии.

Нет никаких оснований предполагать, что за три — три с половиною года, прошедшие с момента институтских бесед с Плехановым, взгляды Гаршина на талант Некрасова, на значение его творчества существенным образом изменились. Стихотворение 1877 г. отнюдь не стоит особняком в ряду прочих упоминаний и высказываний Гаршина о Некрасове. Напротив, все предшествующие высказывания и упоминания легко и непосредственно увязываются со стихотворением, все последующие кажутся непосредственно из него вытекающими.

Личного знакомства с Некрасовым у Гаршина не было. В качестве автора «Четырех дней» Гаршин прибыл в Петербург только 9—10 декабря 1877 г., то-есть всего за $2^1/_2$ недели до кончины поэта. Но литературное знакомство началось давно. Стихотворения Некрасова впервые были прочитаны Гаршиным еще в раннем детстве, в те «три года жизни с отцом, в период от пяти до восьмилетнего возраста», когда он, по собственному признанию, «перечитал всё, что мог едва понимать, из «Современника», «Времени» и других журналов за несколько лет» (см. «Автобиографию» В. М. Гаршина). Обстановка, создавшаяся в годы пребывания в гимназии, и ближайшее окружение этих лет (установившееся в это время постоянное общение и близкие личные отношения с представителями радикально-демократических кругов, в первую очередь с руководившей, видимо, его чтением А. Г. Маркеловой [6]) способствовали дальнейшему, более основатель-

ному ознакомлению с произведениями некрасовской музы. Гаршин — гимназист старших классов — уже вполне сознательно интересовался некрасовскими стихами. В августе 1872 г. приобретение «Стихотворений» Некрасова было намечено им наряду с приобретением сочинений Лермонтова, Тургенева, Глеба Успенского, Решетникова и Помяловского [7]. Неизменный живой интерес к поэзии Некрасова обнаруживался Гаршиным на протяжении всех 70-х годов.

«Безусловным поклонником всего у Некрасова,— вспоминал в беседе с нами, 9 мая 1932 г., ближайший друг Гаршина Владимир Михайлович Латкин,— Всеволод Михайлович не был. Например, стихотворение «Кому на Руси жить хорошо» ему положительно не нравилось, но многие вещи Некрасова он очень любил. Одним из наиболее

АВТОГРАФ СТИХОТВОРЕНИЯ В. М. ГАРШИНА НА СМЕРТЬ НЕКРАСОВА

Страница из записной книжки писателя, с датой-заглавием «1877 год, 30 декабря» (день похорон Некрасова)

Институт литературы АН СССР, Ленинград

любимых им было стихотворение «Что новый год, то новых дум, желаний и надежд...». Всеволод Михайлович знал его все наизусть и часто с увлечением декламировал. Весьма нравилось ему стихотворение «Генерал Топтыгин». К числу очень нравившихся принадлежали также стихотворения «Саша» и «Еду ли ночью по улице темной».

Список этих «нравившихся» стихотворений, перечисленных В. М. Латкиным, можно было бы, разумеется, продолжить. Так, например, в письме Гаршина к матери от 6 марта 1875 г. содержится отзыв о картине М. Е. Малышева: «Миша преуспевает решительно, и я убежден, что у него сильный талант. Написал он Дарью. Знаете:

А Дарья стояла и стыла
В своем заколдованном сне...

— Вот эту самую штуку и изобразил. И как хорошо! Некрасова понял до тонкости...»[8]. Этот отзыв прямо указывает на то, что поэтические образы поэмы «Мороз, Красный нос» не оставляли Гаршина равнодушным.

Некоторые некрасовские стихотворения настолько отвечали собственным взглядам и настроениям Гаршина, оказывались настолько ему близкими, что он вспоминал и цитировал их подчас, как выражавшие и передававшие непосредственно его личные переживания, его личные впечатления. Именно в этом плане использовано процитированное им в письме его к матери, от 20 ноября 1881 г., начало часто ему припоминавшегося тогда стихотворения «В столицах шум, гремят витии»[9].

Нет никакого сомнения в том, что, вопреки свидетельству Плеханова, Гаршин высоко ценил поэзию Некрасова, и ей принадлежало далеко не последнее место в ряду тех идейно-художественных факторов, воздействие которых определило общественно-политическое сознание Гаршина и сказалось на самом характере и направлении его литературной деятельности. Плехановская версия о низкой оценке Гаршиным поэтического таланта и значения Некрасова должна быть оставлена.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] В. Гаршин, Полное собрание сочинений, изд. «Academia», М.—Л., 1934, III (Письма), 148. В дальнейшем: «Письма».

[2] Г. Плеханов, Сочинения, изд. 2-е, М.—Л., 1925, X, 377. — Ср. в уцелевшем частично конспекте плехановской речи: «Бел⟨инский⟩: что за талант у этого человека и что за топор его талант... И надо сказать по правде: стихи Некрасова нередко сделаны топором; слово Гаршина; его например:

Покоен, прочен и легок
На диво слаженный возок.
(«Русские женщины»)

«Возок», «легок»— это плохая рифма...» («Литературное наследие Г. В. Плеханова», М. 1938, VI, 232).

[3] В. Е. Евгеньев-Максимов в своем обзоре «Некрасов в критике XIX и XX вв.» («Литературный Современник» 1938, I, 278) рассматривает настоящие утверждения

ФОРЗАЦ И ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ИЗДАНИЯ «СТИХОТВОРЕНИЙ» НЕКРАСОВА 1873 г.
С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ ПОЭТА С. П. БЕЛОГОЛОВОЙ
Институт литературы АН СССР, Ленинград

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К ПОЭМЕ «МОРОЗ, КРАСНЫЙ НОС»

Рисунок В. Топоркова, 1900 г.

Институт литературы АН СССР, Ленинград

Г. В. Плеханова, как «решительно развенчивающие Некрасова как поэта высказывания», как отправную точку, как «лейтмотив» всей его статьи. Для подобной оценки их едва ли имеется достаточно оснований. Основная установка статьи совершенно ясна уже из ее эпиграфа: «Verschiedenen Zeitalltern wird eine verschiedene Begeisterung zu Teil». Поэтического таланта Некрасова Плеханов вовсе не отрицает и, по существу, не «развенчивает». «Сказать, что Некрасов совершенно лишен поэтического дара, значит,— по словам Плеханова,— высказать мысль, ошибочность которой вполне очевидна. Хотя почти каждое стихотворение Некрасова в целом отличается более или менее значительными погрешностями против требований строгого эстетического вкуса, но зато во многих из них можно найти места, ярко отмеченные печатью самого несомненного таланта». Плеханов признает, что есть у него «и вполне безукоризненные вещи, например, хотя бы его знаменитый «Дядя Влас» (Собр. соч., X, 387—388).

[4] ИЛИ, фонд 70, № 7.

[5] Одновременно с автографом стихотворения (в том же 1931 г.) нами был обнаружен и хранящийся в ИЛИ, в архиве В. М. Гаршина, позднейший список стихотворения неизвестной руки (ИЛИ, фонд 70, № 159).

[6] Александра Григорьевна Маркелова (1835—1916) — приятельница матери Гаршина, довольно видная деятельница революционного движения 60-х годов, в молодости член «слепцовской коммуны», переводчица, сотрудница «Дела», «С.-Петербургских Ведомостей» (В. Ф. Корша) и «Молвы» (А. А. Жемчужникова), детская писательница, жена В. А. Коррика. Юный Гаршин бывал у нее постоянно и пользовался книгами из ее библиотеки.

[7] См. письма его к Е. С. Гаршиной от 31 августа, от 3 и от 19 сентября 1872 г.— «Письма», 434—437.

[8] «Письма», 36. Упоминаемая Гаршиным картина М. Е. Малышева неизвестна, и нам не удалось напасть на ее след. Михаил Егорович Малышев (1852—1912)— живописец и иллюстратор, один из ближайших приятелей Гаршина еще с гимназических лет (с 1865 г.), свидетель всей его жизни и автор коротеньких, но весьма ценных воспоминаний о нем (в сб. «Памяти В. М. Гаршина», СПб., 1889, 124—129, под заглавием «О Всеволоде Гаршине», перепечатано в Полн. собр. соч. В. М. Гаршина, изд. А. Ф. Маркса, СПб., 1910, I, 20—24), значительно дополняемых позднейшими устными сообщениями его С. Н. Дурылину, использованными последним в работе: «Вс. М. Гаршин. Из записок биографа» («Звенья», М.—Л. 1935, V, 571—676).

[9] «Письма», 227.

ДВА НЕИЗДАННЫХ РИСУНКА 1850—60-х гг., ПОСВЯЩЕННЫХ НЕКРАСОВУ

«НЕКРАСОВСКАЯ МУЗА» М. О. МИКЕШИНА И «НЕКРАСОВ В РИМЕ» А. Ф. ЧЕРНЫШЕВА

Сообщение А. Савинова

Немногочисленность современных Некрасову изобразительных материалов, касающихся его жизни и творчества, заставляет внимательно отнестись к двум, впервые публикуемым нами, рисункам [1]. Один из них — работы Михаила Осиповича Микешина (1836—1896), другой — Алексея Филипповича Чернышева (1826—1863). Оба рисунка особо ценны тем, что в них отражено непосредственное и живое соприкосновение обоих художников с поэтом.

«Некрасовская муза» (сепия, 1863) М. О. Микешина была известна только по упоминанию в его воспоминаниях о Некрасове, напечатанных в журнале «Пчела» (издавался и редактировался Микешиным). Через десять дней после смерти Некрасова вышел второй номер «Пчелы» (8 января ст. ст. 1878 г.), дополненный особым приложением, посвященным памяти поэта. Здесь был помещен рисунок Микешина, изображающий Некрасова в гробу и снабженный надписью художника: «С натуры 28-го дек. 1877 г.». Микешин участвовал и в похоронах Некрасова. П. Засодимский позднее вспоминал о них: «Многих из людей, известных русскому обществу, шедших в то утро за гробом Некрасова, уже давно нет в живых. Не стало Салтыкова, Достоевского, Елисеева, Дм. Гирса, Шеллера, Плещеева, Панаева, С. Максимова, Омулевского, Григоровича, Микешина, Данилевского и пр. Тысячи народа шли за гробом...» [2].

В эти дни Микешин напечатал среди откликов на смерть поэта и свой отрывок «Из воспоминаний о Н. А. Некрасове», относящийся именно к публикуемому рисунку.

«Не спалось мне как-то ночью лет семь назад,— пишет Микешин,— томила бессонница. Перечитывал я книжку стихотворений Н. Некрасова, и внимание мое остановилось на «Музе» ⟨...⟩. Два-три раза сряду я прочел стихотворение и с каждым разом все сильнее и сильнее вливал в себя прелесть энергичной поэзии и, под парами ее обаяния, стал чертить в альбом ⟨...⟩, путая линии и пятна свето-тени, добивался эскизом выразить смесь лохмотьев, нищеты, экспрессию злобы, мести, разгула, угрозы, дикой энергии и красоты ⟨...⟩. Часы летели незаметно, я только злился на свои бессильные и непослушные руки, не поспевавшие за нервными движениями моей внутренней воли; не войдя с ними в компромиссы, как и Некрасов со своей музой ⟨...⟩, я к утру кончил эскиз ⟨...⟩. После полудня того же дня, в Большой Морской, я встретился с Николаем Алексеевичем, выходившим из какого-то подъезда. Перед тем мы долго не видались. Он добродушно остановился и спросил, что я поделываю.

— Влюблен,— ответил я.

— Оно и видно,— улыбнулся он, глядя на мое истомленное лицо.— Я рассказал, что влюблен в его Музу и как провел с нею прошлую ночь.

Ему захотелось видеть эскиз мой, и он попросил меня принести его к нему: пошел я к нему через три дня,— он спал еще, хотя это было уже за полдень; пошел в другой раз — не застал дома, я и оставил у него свой альбом с эскизом»[3].

«НЕКРАСОВСКАЯ МУЗА»
Рисунок М. О. Микешина, 1863 г.
Русский музей, Ленинград

Остановимся на самом рисунке. Датированный точно («17-е марта 1863 г.»), он был исполнен не за семь, а за четырнадцать лет до этих воспоминаний.

Микешин подписал под рисунком:

НЕКРАСОВСКАЯ МУЗА

Предавшись дикому и мрачному веселью,
Играла бешено моею колыбелью,
Кричала: мщение! и буйным языком
В сообщники свои звала господень гром...

Микешин буквально отразил эти строки: энергичное движение обнаженной женской фигуры, гневное лицо, обращенное к младенцу в откинутой кверху колыбели, прямо отвечают стихам. Рисунок, с точки зрения Микешина, ему удался, и он сделал на нем приписку: «Господин Давыдов. Покажите, пожалуйста, этот эскиз Некрасову; коли он скажет ладно, то я сделаю такой рисунок для гравюры в «Иллюстрацию». (Эта приписка означает, кстати, что «в другой раз» Микешин не оставлял, а послал свой рисунок для передачи Некрасову.)

Рисунок был показан Некрасову. В воспоминаниях Микешина читаем об этом: «Через несколько дней он присылает его ко мне с письмом, в котором, разбирая достоинства и недостатки моей композиции, заявлял, что, по его мнению, я чересчур реально трактовал музу, что муза, вообще, есть миф или тип классического мира, и в пластическом изображении ее необходимо трактовать классически <...>. Я никак не ожидал такого мнения, и в особенности от Некрасова — поэта по преимуществу реального. Это меня и озадачило, и оскорбило; озадачило собственно потому, что по собственному убеждению мне никогда не удавалась погоня за реализмом..., а обидело как автора. Так эскиз этот вместе с письмом его и затерялся в массе других чертежей, черновых композиций, писем.

Я вспомнил об этом случае, рисуя портрет усопшего поэта, и передаю его теперь в печати для характеристики Некрасова. Может быть, мне удастся отыскать в своих портфелях этот эскиз и письмо Николая Алексеевича ко мне по этому случаю, тогда на страницах «Пчелы» помещу и то и другое, а читатели рассудят, справедливо ли было осужденное великим поэтом изображение его «страшной» музы».

Конечно, Некрасов был прав. Взявшись за очень трудную для иллюстрирования тему, Микешин подошел к ней если и не реалистически, то, во всяком случае, слишком конкретно, дав явно неубедительное решение.

Натуралистическая трактовка Микешиным умозрительного образа музы вообще и глубокого, значительного образа музы Некрасова была компромиссом, много более серьезным, чем это казалось Микешину.

Внешне эффектные приемы академического романтизма середины XIX в. были недостаточны для преодоления трудностей работы над «недававшимся» рисунком. Прежде всего, Микешин не уловил сурового гражданского пафоса, глубины социального боевого напряжения стихов Некрасова, хотя он мог увлекаться ими вполне искренно: известно, что в эти годы Микешин соприкасался с представителями передовой молодежи 60-х годов (что закончилось для него жандармскими «увещеваниями»).

Со свойственной ему противоречивостью он одновременно работал и над памятником «Тысячелетие России» — первым триумфом его официальной скульптуры. Тем обиднее для него — «российского Микель-Анджело» (Т. Готье) — прозвучал неожиданный отзыв Некрасова, так и оставшийся им не понятым.

Располагая ныне рисунком, мы можем судить о том, с какой осторожностью и точностью оценки отнесся Некрасов к эффектной, но непродуманной иллюстрации к образу «музы мести и печали» своей поэзии.

* * *

Портреты Некрасова за период 1850—1860 гг. не отличаются обилием и разнообразием. Особый интерес вызывает поэтому рисунок (графит) А. Ф. Чернышева, датированный январем 1857 г.

НЕКРАСОВ В РИМЕ

лева направо: Н. А. Шеншина (сестра Фета), Н. А. Некрасов, А. А. Фет и П. М. Ковалевский

Рисунок А. Ф. Чернышева, январь 1857

Русский музей, Ленинград

«Это было в Риме в половине пятидесятых годов,— вспоминает П. М. Ковалевский [4].— На Монте-Пинчио, залитом декабрьским солнцем, прогуливались двое русских. Один был среднего роста, худощав, с жидкою остроконечною темною бородкою на болезненно-желтом лице, с карими, не без лукавства глазами... Другой, гораздо выше, плотный, с крупным носом на толстом лице, крошечными светлыми глазками и такими же усиками, держался прямо и выступал твердою военною поступью. На нем было серое офицерское пальто (первой реформы нового царствования), с клапаном позади, только без металлических пуговиц. Первый был мне знаком по Петербургу, второго я в первый раз видел <...>. С этих пор началось мое знакомство с Фетом и закрепилось с Некрасовым».

Эти слова с замечательной точностью иллюстрированы рисунком Чернышева, во всех деталях совпадающим также с тем, что сообщается в воспоминаниях П. М. Ковалевского, А. Я. Панаевой и самого А. А. Фета. Последний также помнил эту встречу: «На Монте-Пинчио я встретил молодого поэта Павла Михайловича Ковалевского <...>, он представил меня своей жене, а я его сестре <...>; у нас завязались самые дружественные и непринужденные отношения» [5].

Некрасов прибыл в Италию раньше Фета (2 октября 1856 г.) вместе с А. Я. Панаевой. Фет, приехавший в Рим в ноябре, пробыл с Некрасовым более двух с половиной месяцев; об их совместном времяпровождении несколько раз упоминается в письмах Некрасова в Париж к И. С. Тургеневу.

Дружеским вниманием к Фету пронизан весь рисунок. Нельзя не вспомнить также, что Некрасов и Тургенев готовили в 1855—1856 гг. сборник стихов Фета. «Некрасов находил ненужным выбрасывать некоторые стихотворения, а Тургенев настаивал» [6].

На роль Некрасова — друга Фета и активного защитника его поэзии в эти годы — указывает и Чернышев. Легко и уверенно владевший приемами рисунка, художник сумел очень живо охарактеризовать и Некрасова, и остальных участников сцены.

Сестра Фета своей хрупкостью, болезненными чертами лица и остановившимся взглядом [7] подчеркивает тяжеловатость и флегму своего брата, 36-летнего уланского поручика. Его облик сразу же заставляет вспомнить и изумление Ковалевского перед таким «воплощением автора изящнейших воздушных стихов», и вопрос Л. Н. Толстого (в письме к Боткину): «...откуда у этого добродушного толстого офицера берется такая непонятная лирическая дерзость — свойство великих поэтов?». Рядом с Фетом, по контрасту, выигрывают в своих характеристиках и Некрасов, и Ковалевский — оба более порывистые.

Умеренное шаржирование обусловлено тактичным и легким подчеркиванием наиболее характерных деталей. Таковы угловатые очертания прядей волос у Некрасова, плавность линий фигуры Фета, несколько низко помещенный клапан его пальто и др. Чернышев рисовал, останавливаясь на действительно существенном и нужном для выразительности образа. Он оставил яркое и (при всей условности изображенного «апофеоза») правдивое представление о совместных прогулках поэтов на Монте-Пинчио, одном из излюбленных в Риме мест гуляний, часто посещавшемся и нашими художниками. Документальная ценность рисунка ясна даже по отношению к мелочам. Даже выглядывающая из кармана Фета книжка упомянута в цитированных уже воспоминаниях П. Ковалевского: «Фет вынимал из бокового кармана свою записную книжечку:

— Должно быть, ерунда,— опасался он.

— Прочитайте, скажем; коли ерунда, не утаим».

С тем бóльшим вниманием и доверием можно обратиться к портрету Некрасова. Слегка закинутая назад голова поэта, растрепанные усы, бородка, волосы, сосредоточенное болезненное лицо набросаны Чернышевым, если не прямо с натуры (что, кстати, наиболее вероятно), то под самым свежим впечатлением ее. Зябкая фигура Некрасова в теплой куртке и мягком картузе полна жизненной выразительности.

Портрет изображает Некрасова в те годы, когда, преодолевая болезнь, он энергично работал и как поэт, и как редактор «Современника»: вопрос о руководящей роли Н. Г. Чернышевского в журнале обсуждался в письмах поэта из Италии.

Рисунок интересен и как след римских встреч поэтов с соотечественниками.

«У Ковалевских,— читаем в воспоминаниях А. Панаевой,— по вечерам постоянно собирались русские художники, жившие в Риме. Фет и Некрасов тоже с удовольствием проводили там вечера. Сидя с Ковалевским, можно было забыть, что находишься далеко от родины».

Часто бывал там и А. Ф. Чернышев, живший в Италии (для завершения художественного образования) еще с 1853 г.; в собрании П. М. Ковалевского имелись его рисунки и акварели [8].

Наши сведения о жизни и работах Чернышева еще не обобщены. Семнадцати лет он, благодаря покровительству В. А. Перовского, приехал из Оренбурга в столицу, некоторое время занимался у А. Г. Венецианова, а затем поступил в Академию художеств. В 1840-х годах он часто бывал у А. Р. Томилова — одного из наиболее просвещенных любителей искусства и коллекционеров в России XIX в. Тогда же Чернышев стал известен своими бытовыми и портретными набросками в светских альбомах и получил звание «придворного рисовальщика» с окладом в 600 руб. в год. Картины Чернышева «Отъезд» (1850) и «Благословение жениха и невесты» (1851) говорят о его наблюдательности, реалистических устремлениях и мягком юморе и являются значительными произведениями русской бытовой живописи середины XIX столетия [9]. Болезнь, развившаяся в Риме, привела его в год возвращения на родину (1860) в больницу для душевнобольных, в которой он и умер спустя три года.

Зоркий, трудолюбивый и талантливый художник, соприкасавшийся в своих работах с творчеством П. А. Федотова, Чернышев еще ждет более пристального исследования.

Это подтверждается и публикуемым рисунком, исполненным в минуту отдыха как дружеская шутка и остающимся в своей непринужденности своеобразным и живым сгустком нескольких моментов из жизни одного из величайших поэтов русского народа.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Были выявлены в собрании рисунков Государственного Русского музея при подготовке выставки к шестидесятилетию со дня смерти Некрасова.

[2] «Погребение Некрасова».—«Северный Край» 1902, № 340, от 27 декабря.

[3] Беглый набросок карандашом этой композиции сохранился среди рисунков, принадлежавших потомкам Микешина.

[4] П. Ковалевский, Встречи на жизненном пути. В кн.: Д. Григорович, Литературные воспоминания. С приложением полного текста воспоминаний П. М. Ковалевского, изд. «Academia», Л., 1928, 414—415.

[5] А. Фет, Мои воспоминания. 1848—1889, М., 1890, ч. I, 6.

[6] А. Панаева, Воспоминания, Л., 1929, 270.

[7] Надежда Афанасьевна Шеншина. В это время она трагически переживала свою любовь к авантюристу Эрбелю и вскоре по возвращении в Россию сошла с ума.

[8] Некоторые из них находятся теперь в собрании Государственного Русского музея.

[9] Обе находятся в Государственном Русском музее.

А. И. ЛЕБЕДЕВ — ИЛЛЮСТРАТОР НЕКРАСОВА

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Сообщение С. Макашина

Среди художников прошлого, обращавшихся к иллюстрированию Некрасова, первое место, по праву, должно быть отведено Александру Игнатьевичу Лебедеву (1830—1898)*. Прозванный современниками «русским Гаварни», он более правильно определен в наши дни как «Тимм шестидесятых годов» (проф. А. А. Сидоров). Однако в последующие годы Лебедев перерастает и Гаварни и Тимма, становясь мастером более глубокого и часто трагического характера.

Талантливый рисовальщик, художник-реалист и демократ, воспитанный идеями передовой русской литературы и общественной мысли, остро воспринимавший социальные контрасты и противоречия окружавшей его действительности, Лебедев не случайно связал свое творчество с именами двух крупнейших писателей русской революционной демократии — с именами Щедрина и Некрасова. Сатирику он посвятил особую сюиту своих литографий—«Щедринские типы», изданную отдельным альбомом в 1880 г. (изд. журн. «Стрекоза»). К Некрасову же Лебедев обращался трижды — в 60-х, 70-х и 80-х годах (а может быть, и четвертый раз — в 90-х годах), что уже одно свидетельствует об интенсивности и органичности его идейно-творческого интереса к некрасовской поэзии и ее темам.

В свете современных требований, предъявляемых искусству иллюстрации, некрасовские серии Лебедева, разумеется, уже не вполне удовлетворяют. Художник нигде не поднимается до уровня «истолковываемых» ими произведений и в лучшем случае дает им лишь удачное «жанровое одеяние», графически подчеркивая тем самым социальный характер и демократические симпатии поэзии Некрасова. Отсутствие художественной и творческой адэкватности — судьба всего иллюстративного искусства эпохи, в которую жил и творил художник. Однако он все же ближе других современных иллюстраторов подошел к Некрасову и понял его, как бы далеко,— если измерять не относительным, а абсолютным масштабом,— ни отстоял он от поэта.

Рисунки Лебедева жизненны и правдивы. Они примечательны и тем, что не смягчают нарочитым выбором «нейтральных» сюжетов демократические и социально-протестующие тенденции некрасовского творчества. В отличие от всех других художников 60-х — 90-х годов, неизменно ограничивавших свои иллюстрации к Некрасову узким кругом таких стихотворений, как «Генерал Топтыгин», «Дедушка Мазай», «Дядюшка Яков», «Тройка», «Влас», «Коробейники» и др.,— репертуар произведений, проиллюстрированных Лебедевым, отличается значительно большей широтой выбора и, одновременно, большей остротой и значительностью социально-политической тематики (см. ниже в перечислениях).

Рисунки Лебедева уже много десятилетий неизменно сопровождают иллюстрированные издания, посвященные Некрасову. Но они, сколь это ни странно, до сих пор не привлекли к себе специального внимания исследователей-искусствоведов. Ни в

* Дата рождения А. И. Лебедева (вместо традиционной ошибочной «1826 г.») установлена на основании архивных данных Е. И. Смирновой, научн. сотрудн. ГМИИ, готовящей специальное исследование о художнике.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К СТИХОТВОРЕНИЮ «ОГОРОДНИК»
Автолитография А. И. Лебедева, представлявшаяся в цензуру, 1877 г.
Нижняя виньетка не была допущена к печати
Литературный музей, Москва

одном из существующих библиографических трудов по русской иллюстратике XIX века мы не нашли даже полного и правильного учета-описания лебедевских рисунков. Необходимые сведения отсутствуют и в двух специальных обзорах: В. Адарюкова (с дополнениями М. Холодовской) «Иллюстрированный Некрасов» («Звенья» 1935, V, 541—570) и Э. Голлербаха «Некрасов в изобразительном искусстве» (в альбоме «Н. А. Некрасов в портретах и иллюстрациях», составили Э. Голлербах и В. Евгеньев-Максимов, Л.—М., 1938, 135—140). Указания обоих авторов в части, касающейся иллюстраций Лебедева, не только неполны, но кое в чем и ошибочны.

В. Адарюков и Э. Голлербах указывают, что первая сюита литографий Лебедева, посвященная Некрасову, была исполнена художником совместно с другим популярным рисовальщиком шестидесятых годов Н. В. Иевлевым и издана в 1865 г. в альбоме «Рисунки к стихотворениям Н. А. Некрасова» (изд. книжной торговли Сеньковского и К°). Указание правильное, но ему нехватает точности. Оно должно быть дополнено справкой о том, что названный альбом состоит из двух тетрадей: «Тетрадь I» выполнена Иевлевым, «Тетрадь II» — Лебедевым. Общее количество лебедевских рисунков — десять: «Вор», «Размышления у парадного подъезда», «Орина, мать солдатская», «Филантроп», «Свадьба», «Маша», «Крестьянские дети», «На Волге», «В больнице», «Дешевая покупка».

Вторая некрасовская серия Лебедева, отличающаяся от первой большей остротой социальных характеристик и зрелым мастерством рисунка, была выполнена художником в 1877 г. и издана в альбоме «Кое-что из Некрасова» (изд. В. Панова). В. Адарюков и Э. Голлербах дают не вполне верные сведения о названном альбоме и противоречат друг другу в определении его содержания. Источник путаницы кроется в своеобразной цензурной истории альбома, разделившей его на два отдельных издания. История эта полностью еще не приводилась в печати (ср., однако, в ст. В. Евгеньева-Максимова, Н. А. Некрасов и цензура.—«Нива», 1918, № 21, 330—333) и осталась неизвестной В. Адарюкову и Э. Голлербаху. Примечательная сама по себе, дающая лишний и выразительный штрих для характеристики настороженности, с какой органы политического контроля самодержавия относились к мероприятиям, способствовавшим популяризации творчества Некрасова,— эта цензурная история заслуживает быть введенной в некрасовскую литературу.

Представленные в цензуру литографии Лебедева для альбома «Кое-что из Некрасова» частично подверглись запрещению. С.-Петербургский цензурный комитет наложил veto на четыре рисунка. Это обстоятельство вызвало следующую жалобу художника:

В Главное управление по делам печати

Художника Александра Лебедева

Прошение

Из представленного в Цензурный Комитет альбома рисунков к стихотворениям Некрасова, Комитетом не разрешено печатать четыре рисунка, а именно: к стих. «Мороз, Красный нос», «Огородник», «Орина, мать солдатская» и «Свадьба».

Мне не известно, по каким соображениям Цензурный Комитет нашел невозможным разрешить эти рисунки, а равно и небольшой текст к рисунку из стихотворения «На Волге», заключающийся в невинном разговоре бурлаков о том, когда-то они придут в Нижний Новгород.

Осмеливаюсь обратить милостивое внимание Главного управления по делам печати на то, что в означенных рисунках, как и в тексте к оным, нет даже намека на что-либо непристойное или какое-нибудь осуждение существующего порядка.

В рисунке «Мороз» заключается не более как грустный рассказ о крестьянке, похоронившей мужа и замерзшей в лесу. Надо заметить, что альбом рисунков к этому же стихотворению Некрасова, исполненных г-жою Бем, в настоящее время находится в продаже и к этому же стихотворению были рисунки в журнале «Кругозор».

В рисунке «Огородник» изображена повесть о том, что мужик, полюбив зорянскую дочь, тем самым погубил свою жизнь. К этому стихотворению исунки в журнале «Кругозор» и в других изданиях также были помеены.

Рисунок «Орина, мать солдатская» заключает в себе только простой ассказ старухи о том, что не долго пришлось ей радоваться свиданию сыном, так как он вернулся домой больной и вскоре умер.

СКИЗ ИЛЛЮСТРАЦИИ К ПОЭМЕ «КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО» («ПОСЛЕДЫШ»)
Рисунок А. И. Лебедева, 1882 г.
Русский музей, Ленинград

Наконец, рисунок «Свадьба» изображает венчание простых людей церкви, и в тексте к рисунку, по замечанию поэта, венчающийся — поидимому, разгульного сорта детина, почему и не предвидится ничего весеого в будущей жизни его жены. Подобный рисунок венчания в церкви, этому же стихотворению мною же исполненный, был издан г. Курочиным в отдельном альбоме рисунков к стихотворениям Некрасова.

Осмеливаюсь заметить, что в означенных четырех рисунках, равно и разговоре бурлаков к пятому рисунку «На Волге», чего-либо, не подле-

жащего разрешению, не заключается более того, что можно усмотреть в остальных, из того же альбома, рисунках, Цензурным Комитетом ныне разрешенных.

Поэтому осмеливаюсь покорнейше просить Главное управление по делам печати рассмотреть мои рисунки к стихотворениям Некрасова и разрешить их для издания.

Художник Александр Лебедев.

1877 года
Декабря 14.

Жительство имею: Петербургской части 1-го участка, по Съезжинской улице, д. № 18.

(Центральный исторический архив в Ленинграде. Фонд цензуры. «Дело» Главного управления по делам печати по жалобе художника Лебедева, № 94 за 1877 г., л. 1).

Через пять дней, 19 декабря 1877 г., Лебедев подал в то же Главное управление дополнительное прошение, в котором писал:

«Ныне, представляя при сем рисунки, имею честь объяснить, что один из четырех означенных рисунков, а именно к стих. «Мороз, Красный нос», Цензурным Комитетом разрешен печатать, поэтому покорнейше прошу Главное управление обратить внимание только на остальные три рисунка, а именно: «Орина, мать солдатская», «Огородник», «Свадьба» и соблаговолите разрешить их печатать, хотя бы с некоторыми изменениями текста к ним или даже вовсе без текста».

Получив жалобу Лебедева, Главное управление по делам печати направило ее 22 декабря в Петербургский цензурный комитет и предложило ему дать свои объяснения. Они были представлены председателем комитета А. Петровым 13 января 1878 г. (там же, л. 5) и, согласно резолюции начальника Главного управления, Григорьева, 31 января были доложены Совету Главного управления членом Совета Веселаго. Приведем относящуюся сюда выписку из протокола («журнала») заседаний Совета:

Журнал заседания Совета Главного управления по делам печати № 8 от 31 января 1878 года.

〈. 〉

Ст. III

Заключение Тайного советника Веселаго по представлению С.-Петербургского цензурного комитета о неразрешенных художнику Лебедеву рисунках к стихотворениям Некрасова.

Вследствие предложения Главного управления по делам печати от 22 декабря С.-Петербургский цензурный комитет представил следующее объяснение на жалобу художника Лебедева.

При известном направлении поэзии Некрасова к порицанию существующих условий быта простого народа и сопоставлению его с высшими сословиями, Комитет отнесся с особенною осторожностью к иллюстрациям, усиливающим впечатление стихотворений, и признал, из числа представленных Лебедевым рисунков, неудобными:

1) Огородник, так как в рисунке, приложенном к известному рассказу Некрасова, самому по себе тенденциозному, еще рельефнее выступает глубокая рознь и враждебность сословий, равно как и вопиющая несправедливость приговора, постигшего крестьянина.

2) Орина, мать солдатская, находя крайне неудобным, особенно теперь, при патриотическом настроении всего общества, так рельефно выставленные на рисунке гибельные последствия военной службы.

3) Свадьба — ибо в таком сопоставлении будущего семейного горя и непоправимости зла, вследствие посредничества церкви, обнаруживающемся при сравнении приложенного к рисунку текста с изображением, слышится как бы упрек установленному церковью брачному союзу.

4) Филантроп, вследствие того, что художник придал изображению филантропа служебную обстановку государственного чиновника.

Комитет признает также неудобною подпись к рисунку, изображающему бурлаков, потому что высказанное в ней одним из рабочих желание лучше умереть к утру, чем томиться в этой работе, указывает на невыносимо тяжелые условия, в которые будто бы поставлено наше рабочее сословие.

Соглашаясь вполне с мнением Комитета касательно рисунка Орина, мать солдатская, тайный советник Веселаго, на рассмотрение которого поступило представление Комитета, находил бы возможным разрешение остальных рисунков с следующими ограничениями:

В рисунке к стихотворению Огородник нижнюю виньетку, изображающую преступников, отправляемых по этапу в Сибирь,— уничтожить, а низ рисунка закончить одной средней картиной, изменив при этом и текст к рисунку.

В рисунке к стихотворению Филантроп, для устранения официальной обстановки, которую придал изображению художник, уничтожить у Филантропа светлые пуговицы и у выводящих бедного чиновника — погоны, кант на рукаве и светлые пуговицы.

Рисунок к стихотворению Свадьба, для устранения всяких нежелательных толков о значении брака, разрешить без текста.

Что же касается текста, приложенного к рисунку На Волге, то, по мнению члена Совета Веселаго, он безвреден, и обыкновенному выражению «лучше умереть» едва ли можно придавать то тенденциозное значение, которое усматривает Комитет.

По внимательном обсуждении и рассмотрении подлинных рисунков, Совет полагает запретить рисунок к стихотворению Орина мать солдатская, а в остальном поступить согласно заключения тайного советника Веселаго.

(Центральный исторический архив в Ленинграде. Фонд цензуры. Журналы заседаний Совета Главного управления по делам печати за 1878 г., лл. 62—64).

Заключение Совета было сообщено 20 февраля для исполнения Цензурному комитету и, одновременно, Лебедеву (там же, л. 9).

После внесения в рисунки требуемых изменений они были разрешены 27 февраля С.-Петербургским цензурным комитетом. На воспроизводимых нами листах «Филантропа» (стр. 217), «Огородника» (стр. 647) и «Свадьбы» (стр. 121) видны как дата разрешения, так и цензурные замечания и изъятия. Рисунки «На Волге» и «Мороз, Красный нос» были разрешены, как видно из опубликованных документов, еще раньше.

Таким образом, полностью изъятым оказался лишь один лист: «Орина, мать солдатская» (см. репродукцию в изд. «Некрасовский альбом», под ред. В. Евгеньева-Максимова, П., 1921, 75).

24 марта 1878 г. альбом «Кое-что из Некрасова» был выпущен в свет. В него вошли следующие одиннадцать рисунков: Н. А. Некрасов (портрет), «Влас», «Тройка», «Крестьянские дети», «Мороз, Красный нос», «Дешевая покупка», «На Волге», «Похороны», «Филантроп», «Огородник», «Свадьба».

Однако оказывается, что издатель альбома В. Панов, не рассчитывая, очевидно, на успешность предпринятых Лебедевым хлопот о первоначально запрещенных рисунках и не дожидаясь результатов, выпустил тот же альбом, но в урезанном цензурой виде, еще в декабре 1877 г. Это явствует из следующей архивной «справки», сохранившейся в делах Цензурного комитета:

Справка

Издание «Кое-что из Некрасова» выпущено в свет двумя выпусками. 23 декабря 1877 г. (билет № 4481) выпущены издателем первоначально дозволенные рисунки, а 24 марта 1878 г. (билет № 917) выпущено издание полное, с приложением и тех рисунков, которые были дозволены Главным управлением по делам печати.

Верно: Секретарь Н. Пантелеев.

(Там же. «Дело» СПб. Цензурного комитета по рисункам художника Лебедева к сочинениям Некрасова, изд. Г. Ивановым под заглавием «Кое-что из Некрасова». № 94, 1877, л. 4).

В свете приведенных фактов становится очевидной ошибочность «поправки», внесенной В. Адарюковым в описание «Некрасовского альбома» 1921 г. (под ред. В. Евгеньева-Максимова). В. Адарюков пишет: «К сожалению, в указания относительно иллюстраций вкрались неточности; так указано, что иллюстрации к стихотворениям «Филантроп» и «Свадьба» были помещены в альбоме 1877 г., в действительности же они находятся в альбоме 1865 г.; ...так же нет иллюстрации к стихотворению «Огородник» в альбоме 1877 г.» (цит. соч., 562). Очевидно, что В. Адарюков пользовался первым, цензурно урезанным изданием альбома «Кое-что из Некрасова», где перечисленные рисунки действительно отсутствуют, и не знал о втором издании, где они имеются.

Что касается альбома 1865 г., то иллюстрации ко всем трем названным В. Адарюковым произведениям там тоже помещены, но это совершенно другие рисунки, причем лист «Огородник» принадлежит Иевлеву, а не Лебедеву.

В заключение нашей справки укажем на неясность судьбы еще одной серии рисунков Лебедева, относящихся к Некрасову, на этот раз к его основному и крупнейшему произведению — к поэме «Кому на Руси жить хорошо».

Как видно из неизданных еще архивных материалов (сообщены мне Е. И. Смирновой), Лебедев в 1881 г. обращался к президенту Академии художеств, вел. кн. Владимиру Александровичу, с просьбой о пособии. В последнем художнику было отказано, но одновременно сообщено, что президент взамен пособия «предполагает доставить <ему> заказ на иллюстрирование произведений русского автора». Лебедев в ответ сообщил, что он «как нельзя более был бы счастлив серьезно заняться этой работой», и указал в числе произведений, которые ему хотелось бы иллюстрировать, на поэму «Кому на Руси жить хорошо». Был ли принят выбор Лебедева или, что вероятнее, он был признан неподходящим для Академии, именовавшейся «императорской», и отвергнут ею,— об этом документы не сообщают ничего. И тем не менее, в связи ли с предложением Академии или вне этой связи, но Лебедев приступил к осуществлению своего замысла, оставшегося, повидимому, незавершенным.

В Русском музее в Ленинграде хранится подлинный рисунок Лебедева, значащийся здесь под произвольным названием «Помещик и крестьяне». На самом деле этот незаконченный набросок является превосходной иллюстрацией к некрасовскому «Последышу» из «Кому на Руси жить хорошо» (см. воспроизведение на стр. 649). Художник доработал иллюстрацию, и она существует (или по крайней мере существовала), как это явствует из ее воспроизведения, помещенного в изд.: Н. Некрасов, Стихотворения, под ред. К. Чуковского, Детиздат, М.—Л., 1938, 383. Однако дата «1892 год», проставленная в подписи к рисунку, но нигде не обоснованная, вызывает сомнение и, скорее всего, должна быть отодвинута к началу 80-х годов (1882 г.?), когда Лебедев намеревался, как мы видели, заняться иллюстрированием некрасовской поэмы. К этому же времени и к этому же замыслу следует, мы полагаем, отнести и стоявший до сих пор изолированно рисунок Лебедева, изображающий «Савелия — богатыря святорусского» из 2-й части «Кому на Руси жить хорошо». Лист этот известен нам лишь по цензурному экземпляру, перечеркнутому и запрещенному для печати (хранится в Институте литературы АН СССР, см. воспроизведение выше, на стр. 11).

СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВОГО НЕКРАСОВСКОГО ТОМА

СООБЩЕНИЯ

В ТОМЕ 216 ИЛЛЮСТРАЦИЙ И 3 ВКЛАДКИ НА ОТДЕЛЬНЫХ ЛИСТАХ

Печатается по постановлению
Редакционно-издательского совета
Академии Наук СССР

*

Технический редактор *Г. Н. Шевченко*
Корректор *В. Г. Богословский*

*

Адрес редакции: Москва, Волхонка, 18,
тел. К-3-46-68

*

РИСО АН СССР № 2730. А-03249. Издат. № 2021.
Тип. заказ № 2152. Подп. к печ. 17/XI 1949 г.
Формат бум. 70×108. Печ. л. 45½.
Уч.-издат. 78. Тираж 6000—10000.
Цена в переплете 45 руб.

2-я тип. Издательства Академии Наук СССР
Москва, Шубинский пер., 10

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ
ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ НЕКРАСОВСКИЕ ТОМА
«ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДСТВА»

ВТОРОЙ ТОМ (№ 51—52)

ИЗ НЕИЗДАННОЙ ПЕРЕПИСКИ НЕКРАСОВА

ПИСЬМА НЕКРАСОВА

Подготовка текста и примечания: И. Болотиной, Вас. Гиппиуса, К. Григорьяна, В. Евгеньева-Максимова, А. Иващенко, Л. Катанской, Ю. Красовского, В. Любимовой-Дороватовской, Н. Максимова, М. Маловой, В. Нейштадта, М. Панченко, С. Рейсера, А. Соболевой и И. Ямпольского
Общая редакция и предисловие С. Рейсера

Письма:

Анненкову, Павлу Васильевичу
Антоновичу, Максиму Алексеевичу
Апухтину, Алексею Николаевичу
Боткину, Василию Петровичу
Боткину, Сергею Петровичу
Бутневич, Анне Алексеевне
Вейнбергу, Петру Исаевичу
Веселаго, Феодосию Федоровичу
Грановскому, Тимофею Николаевичу
Григоровичу, Дмитрию Васильевичу
Гроту, Якову Карловичу
Дружинину, Александру Васильевичу
Дружинину, Григорию Васильевичу
Еракову, Александру Николаевичу
Еракову, Льву Александровичу
Жемчужникову, Алексею Михайловичу
Ковалевскому, Павлу Михайловичу
Курочкину, Василию Степановичу
Лазаревскому, Василию Матвеевичу
Лисенкову, Ивану Тимофеевичу
Миллеру, Оресту Федоровичу
Михайловскому, Николаю Константиновичу
Михаловскому, Дмитрию Ларионовичу
Островскому, Александру Николаевичу
Панаеву, Ипполиту Александровичу
Плещееву, Алексею Николаевичу
Полонскому, Якову Петровичу
Пыпину, Александру Николаевичу
Решетниковой, Серафиме Семеновне
Слепцову, Василию Алексеевичу
Степанову, Николаю Александровичу
Трушковскому, Николаю Павловичу
Фету, Афанасию Афанасьевичу
Якоби, Александре Николаевне и Валерию Ивановичу
Якушкину, Евгению Ивановичу
Якушкину, Павлу Ивановичу

ПИСЬМА К НЕКРАСОВУ

Публикация В. Евгеньева-Максимова. При участии: П. Беркова, Б. Бухштаба, К. Григорьяна, Л. Ланского, С. Макашина, А. Максимовича, А. Михайловой, М. Панченко, С. Рейсера, Б. Эйхенбаума и Натальи Эфрос.
Общая редакция и предисловие С. Макашина

Письма:

Абазы, Александра Аггеевича
Авдеева, Михаила Васильевича
Аксакова, Ивана Сергеевича
Анненкова, Павла Васильевича
Антоновича, А.
Асташева, Вениамина Ивановича
Ахматовой, Елизаветы Николаевны
Базунова, Ивана Васильевича
Бакланова, Владимира Павловича
Башмакова, Ивана Ивановича
Бекетова, Владимира Николаевича
Берга, Николая Васильевича
Благовещенского, Николая Александровича
Благосветлова, Григория Евлампиевича

Боборыкина, Петра Дмитриевича
Богрова, Григория Исааковича
Бокова, Петра Ивановича
Боткина, Василия Петровича
Буренина, Виктора Петровича
Вагнера, Николая Петровича
Васильева, Павла Васильевича 2-го
Ватсона, Эрнеста Карловича (и ответные письма Некрасова)
Вейнберга, Петра Исаевича
Величковской, С.
Веселаго, Феодосия Федоровича
Гаевского, Виктора Павловича
Гайдебурова, Павла Александровича
Галахова, Алексея Дмитриевича
Гарновского, М.
Генслера, Ивана Симоновича
Гербеля, Николая Васильевича
Гернгросса, Николая Александровича
Гирса, Дмитрия Константиновича
Головачева, Алексея Адриановича
Гончарова, Ивана Александровича
Григоровича, Дмитрия Васильевича
Громеки, Степана Степановича
Давыдовых, Василия Денисовича и Николая Денисовича
Даля, Владимира Ивановича
Долгорукова, Петра Владимировича
Дружинина, Александра Васильевича
Дубовицкого, Петра Александровича
Еленева, Федора Павловича
Елисеева, Григория Захаровича
Ефремова, Петра Александровича (и ответные письма Некрасова)
Жемчужникова, Алексея Михайловича
Зайончковской, Надежды Дмитриевны
Зайцева, Варфоломея Александровича
Златовратского, Николая Николаевича
Зотова, Владимира Рафаиловича
Иванова, Андрея Максимовича
Ивановой, Екатерины Павловны
Кавелина, Константина Дмитриевича
Казакова, Михаила Васильевича
Капниста, Петра Ивановича
Кетчера, Николая Христофоровича
Ковалевского, Ипполита Антоновича
Ковалевского, Павла Михайловича
Колбасина, Елисея Яковлевича
Кони, Федора Алексеевича
Короленко, Юлиана Галактионовича.
Костомарова, Николая Ивановича
Крабге, Николая Карловича
Краевского, Андрея Александровича
Кроткова, Валерия Семеновича
Крылова, Виктора Александровича
Курочкина, Николая Степановича
Кущевского, Ивана Афанасьевича
Лажечникова, Ивана Ивановича
Лазаревского, Василия Матвеевича (и ответные письма Некрасова)
Левитова, Александра Ивановича
Майкова, Апполона Николаевича
Майкова, В.
Маркова, Евгения Львовича
Маркович, Марии Александровны
Менькова, Петра Кононовича
Мечникова, Льва Ильича
Мещерского, Владимира Петровича (и ответные письма Некрасова)
Минаева, Дмитрия Дмитриевича
Михаловского, Дмитрия Лаврентьевича
Мордовцева, Даниила Лукича
Надеждина, Александра Евграфовича
Неизвестного («Архи-Квазимодо»)
Некрасова, Константина Алексеевича
Немировича-Данченко, Василия Ивановича
Нефедова, Филиппа Деомидовича
Никитенко, Александра Васильевича
Обручева, Владимира Александровича
Островского, Михаила Николаевича
Павлова, Ивана Васильевича
Пальма, Александра Ивановича
Панаева, Ипполита Александровича
Панаевой, Марии Якимовны
Пашино, Петра Ивановича
Петрова, Александра Григорьевича
Плетневых, Петра Александровича и Александры Васильевны
Плещеева, Алексея Николаевича
Погосского, Александра Фомича
Помяловского, Николая Герасимовича
Потехина, Алексея Антиповича (и ответные письма Некрасова)
Пругавина, Александра Степановича
Пятковского, Александра Петровича
Радищева, Павла Александровича
де-Роберти, Евгения Валентиновича
де-Роберти, Леонида Федоровича
Рождественского, Ивана Александровича
Розанова, Павла Петровича
Ромера, Федора Эмильевича

В ТОМЕ 232 ИЛЛЮСТРАЦИИ И ОДНА ВКЛАДКА НА ОТДЕЛЬНОМ ЛИСТЕ

ТРЕТИЙ ТОМ (№ 53—54)

В ТОМЕ 128 ИЛЛЮСТРАЦИЙ

45 руб.